Александр Блок

Литературное наследство

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ



Книга первая

Настоящий том «Литературного наследства» в четырех книгах приурочен к столетию со дня рождения А. А. Блока (1880—1980).

► Том открывают статьи и исследования, рассматривающие актуальные проблемы мировоззрения и художественного метода поэта, своеобразие его творческого пути на фоне великих исторических преобразований, современником и участником которых он был, его традиции в советской литературе.

В томе впервые исследуется неизвестное собрание автографов ранних стихотворений Блока и публикуется его обширная переписка за период с 1901 по 1921 г. (свыше 600 писем). Особенную литературную и научную ценность представляет переписка поэта с отцом — А. Л. Блоком, с В. Я. Брюсовым, С. М. Соловьевым, А. М. Ремизовым, Вл. Пястом, С. М. Городецким, Н. А. Клюевым, К. И. Чуковским, Е. В. Спекторским, Н. А. Нолле и др. Во многих письмах корреспондентов Блока раскрывается содержание утраченной части эпистолярного наследия поэта.

К переписке примыкает большая публикация впервые собранных, в том числе — неизвестных ранее, дарственных надписей Блока на книгах и фотографиях (около 400).

Богатый новый материал, освещающий жизнь, литературную и общественную деятельность поэта, содержится в неизданной переписке, дневниках и воспоминаниях его современников, извлеченной из многочисленных архивных фондов. Здесь, в частности, дневник М. А. Бекетовой и рукопись ее воспоминаний «Шахматово. Семейная хроника», ярко и обстоятельно характеризующих общественную и духовную атмосферу, в которой вырос поэт. Публикуются также фрагменты из дневников А. Белого, К. Чуковского, М. Кузмина и др., относящиеся к Блоку.

В разделе «Разыскания и сообщения» печатаются неизданные документы на темы: «Блок и Горький», «Блок и Луначарский», «Блок и Волошин», «Блок и Ахматова», «К истории постановки драмы „Роза и Крест“» в Московском Художественном театре и мн. др.

Впервые в разделе «Блок за рубежом» собран значительный документальный материал о переводах Блока и восприятии его творчества в Англии, Германии, Франции, США, Болгарии, Чехословакии, Югославии, Италии, Японии.

В томе 400 иллюстраций.

В создании тома приняло участие более 80 исследователей.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

АЛЕКСАНДР БЛОК

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

КНИГА ПЕРВАЯ

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ТОМ ДЕВЯНОСТО ВТОРОЙ

В ЧЕТЫРЕХ КНИГАХ

РЕДАКЦИЯ

Г. П. БЕРДНИКОВ, Д. Д. БЛАГОЙ, А. Н. ДУБОВИКОВ,
И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН, А. С. КУРИЛОВ, С. А. МАКАШИН,
К. Д. МУРАТОВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Л. А. СПИРИДОНОВА,
Л. И. ТИМОФЕЕВ, Н. А. ТРИФОНОВ,
М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА (ГЛАВ. РЕД.)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
1 · 9 · МОСКВА · 8 · 0

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО - ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ
ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

АЛЕКСАНДР БЛОК
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

КНИГА ПЕРВАЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
1 · 9 · МОСКВА · 8 · 0

Том подготовлен
при участии Центрального государственного архива
литературы и искусства СССР, Москва

ГОД ИЗДАНИЯ ПЯТИДЕСЯТЫЙ

Л $\frac{70202\text{-}351}{042\,(02)\text{-}80}$ 548-80 3603020410

© Издательство «Наука», 1980 г.

ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящий том «Литературного наследства» (в четырех книгах) подготовлен к столетию со дня рождения великого русского поэта Александра Блока, исполняющемуся в ноябре 1980 г.

Блок явился одним из выдающихся художников слова, чье творчество стало завершением дореволюционного периода развития русской литературы, и одновременно — одним из зачинателей поэзии новой, советской эпохи. С полным правом к самому Блоку можно отнести слова, сказанные им когда-то о другом писателе: «Он менее всего конец, более всего начало» (V, 469). Блок — живое, движущееся явление современной культуры, поэт истинно народный, популярность которого с годами растет не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Все больший интерес вызывают исследования и документальные публикации, посвященные Блоку. Успехи советского литературоведения в этой области, особенно за два последние десятилетия, весьма значительны. Тем очевиднее стала необходимость планомерного изучения многочисленных архивных фондов с целью выявить еще неизвестные творческие рукописи и переписку Блока, а также мемуарные и документальные материалы, помогающие с наибольшей полнотой осветить жизненный и литературный путь поэта, его идейные искания, общественную деятельность, отношения с современниками.

К публикации новых материалов о Блоке «Литературное наследство» приступило еще на заре своего существования: в 1937 г. вышел в свет том 27—28, целиком посвященный писателям-символистам. В 1978 г. был издан том 89 «Александр Блок. Письма к жене» и, наконец, в канун пятидесятилетия «Литературного наследства» редакторы данного тома совместно с большим коллективом исследователей (более семидесяти пяти) подготовили блоковский том (92-й), состоящий из четырех книг, который, как мы надеемся, явится новым этапом в изучении творческого наследия Блока и литературы его эпохи.

В марте 1931 г. по инициативе И. С. Зильберштейна было начато издание «Литературное наследство», предназначенное для публикации неизвестных ранее творческих, эпистолярных, мемуарных и документальных материалов по истории русской литературы и общественной мысли. Пятидесятилетию издания посвящается настоящий том.

* * *

Книга первая открывается статьями поэта С. С. Наровчатова «Слово о Блоке» и Е. Ф. Книпович «Об Александре Блоке», написанными по просьбе редакции. Е. Ф. Книпович — единственная из наших современниц, кто лично знал Блока и пользовался его дружеским расположением. Большую ценность в мемуарном очерке Е. Ф. Книпович представляют впервые публикуемые отрывки из писем Блока и фрагменты из ее дневника, где изложено содержание бесед с поэтом.

Далее, в разделе «Статьи и исследования», рассматриваются проблемы биографии и творческого пути Блока, закономерно приведшего его к революции, к созданию первой поэмы об Октябре 1917 года. Значительное место принадлежит исследованию своеобразия мировоззрения и поэтики Блока, определивших его особенную роль в русском символизме, его глубокое осознание кризиса символизма и поиски новых путей в искусстве, его влияние на развитие отечественной литературы. Здесь печатаются статьи Л. И. Тимофеева «Наследие Блока», Е. Б. Тагера «Мотивы «возмездия» и «страшного мира» в творчестве Блока», З. Г. Минц «Блок и русский символизм». Одной из первых попыток рассмотреть художественный метод Блока в контексте историко-литературного движения

XIX—начала XX в. явилась статья Г. А. Гуковского «О художественном методе Блока», написанная в 1946 г. специально для «Литературного наследства» и впервые появляющаяся на страницах настоящего тома. Раздел завершается статьей М. Ф. Пьяных «Блок и русская советская поэзия».

«Неизвестные творческие автографы и неизданная переписка Блока» — обширный раздел тома, который начинается в первой и продолжается во *второй книге*. Неопубликованные творческие тексты Блока, представляющие в настоящее время исключительную редкость, печатаются в начале раздела (только новонайденная рукопись заметки Блока о Л. Н. Толстом 1908 г. помещена нами в книге четвертой, — она открывает сообщения на тему «Блок и русские писатели»).

В детстве и отрочестве Блок писал короткие рассказы и стихотворения, составлял рукописные сборники, а затем — с четырнадцати до шестнадцати лет — «издавал» тоже рукописный ежемесячный журнал «Вестник» (1894—1897). Впервые публикуемые произведения и рисунки юного Блока важны для изучения творческого развития поэта. Еще большее значение в этом отношении имеют неизвестные исследователям рукописи автора «Стихов о Прекрасной Даме». До того, как Блок начал печататься, он постоянно посылал свои стихи московским друзьям матери М. С. и О. М. Соловьевым, о которых впоследствии с особенной теплотой вспоминал в «Автобиографии». Первыми читателями и ценителями Блока были также сын Соловьевых Сергей, будущий поэт, и Б. Н. Бугаев (Андрей Белый). Стихи Блока бережно хранились, обсуждались, иногда переписывались, — так сложилось «московское собрание» автографов Блока, содержащих немало существенных различий с окончательными текстами.

Публикация неизданной переписки Блока с двадцатью корреспондентами включает около 600 писем почти за тридцать лет — с 1892 по 1921 г.

Значительная часть писем литературоведов к Блоку могла быть опубликована в данном томе потому, что эпистолярный архив поэта, где сохранилось 2100 писем 440 его корреспондентов, И. С. Зильберштейн приобрел весной 1939 г. у Л. Д. Блок для Государственного литературного музея (см. сообщение И. С. Зильберштейна «О встречах с Любовью Дмитриевной Блок и о судьбе хранившегося у нее архива поэта» («Литературное наследство», т. 89, с. 381—390). Получив 2100 писем, адресованных Блоку, директор музея В. Д. Бонч-Бруевич право первой публикации предоставил «Литературному наследству», так как уже тогда были задуманы блоковские тома. В 1941 г. рукописные фонды Литературного музея перешли в ЦГАЛИ.

Особый интерес, несомненно, привлекут письма к Блоку его отца Александра Львовича — профессора Варшавского университета, человека незаурядного и сложного, чей образ запечатлен в поэме «Возмездие». Новый материал для творческой истории «Возмездия» дают и письма Блока к ученику и биографу его отца — Е. В. Спекторскому.

Самое значительное место занимает переписка Блока с писателями, глубоко отражающая самобытный путь поэта, его идейные и эстетические искания (переписка с В. Я. Брюсовым, С. М. Соловьевым, С. М. Городецким, А. М. Ремизовым, Н. А. Клюевым, Вл. Пястом и др.). Во многих впервые публикуемых письмах корреспондентов Блока раскрывается содержание утраченной части эпистолярного наследия поэта. Некоторые из этих писем имели для Блока принципиально важное, иногда программное значение. Так, по письмам Н. А. Клюева, сохранившимся в архиве Блока, можно видеть, каким волнующим для обеих сторон был этот эпистолярный диалог, начавшийся осенью 1907 г. (некоторые из посланий крестьянского поэта Блок цитировал в статьях 1907—1908 гг.). Известно, что в период после первой русской революции Блок мучительно искал путей преодоления разрыва между народом и интеллигенцией, эти его устремления нашли, видимо, глубокое выражение в письмах к Клюеву. «Из Ваших слов, — отвечал Клюев, — можно заключить, что миллионы лет человеческой борьбы и страдания прошли бесследно для тех, кто «имеет на спине несколько дворянских поколений», «Вы пишете, что не понимаете крестьян. . .», «нельзя зараз переделаться, как пишете Вы. . .» и т. д. Клюев чутко улавливает, что не собственная вина, а высокое чувство нравственной ответственности перед народом, которое испытывают лучшие деятели русской культуры, диктует Блоку эти признания. И он горячо возражает ему, решительно отделяя культуру истинную от плодов цивилизации, чуждых и враждебных народу: «В одном фальшь, что говорите, что я имею что-то против Вас за тяготение Ваше к культуре. Я не знаю точного

значения этого слова, но чувствую, что им называется все усовершенствованное, все покоряющее стихию человека. Я не против этого всего усовершенствованного <. . .>, но я являюсь врагом усовершенствованных пулеметов <. . .>, верю в думы Ваши, чувствую, что такое «Суета» в Ваших устах». И еще: «Если бы Вы не упоминали почти в каждом письме про свое барство, то оно не чувствовалось бы мною вовсе». Чрезвычайно интересны вызванные, несомненно, письмами Блока рассуждения Клюева о народности подлинного искусства и в этом смысле — поэзии самого Блока, имеющей «общелюдское» содержание, близкое «каждому сердцу». Ценность связки уцелевших 44 писем Клюева к Блоку тем более велика, что, к сожалению, ответные письма до нас не дошли.

Из письма С. М. Городецкого к Блоку от 28 июня 1906 г. нам впервые становится известно о чрезвычайно значительном, но не сохранившемся блоковском письме. Письмо было, очевидно, и публицистическим, и исповедальным в одно и то же время. Его тема — кризис символизма и провозглашение реализма, воплотившегося в произведениях Горького, единственно верным и плодотворным методом современного искусства. Это убеждение Блока было неотъемлемо от его веры в революционный путь развития России, в великие творческие силы народа. Именно так и понял его «манифест» Городецкий: «Ваше письмо — самое важное, что совершилось за последнее время в литературе. Его будут воспроизводить в историях литературы <. . .> Наступает великое время, выходит народ. И этому времени — свое искусство, тоже великое». Городецкий цитирует слова Блока: «искусство должно изображать жизнь» «и проповедовать нравственность», «Фома» «Фома Гордеев» Горького — последнее нужное произведение» — и заключает: «Может быть, для Вас действительно дорога к большому искусству лежит через «реализм» <. . .> Вы были одним из ярких воплощений минувшего периода, теперь — крупный поворот, теперь нет никакого сомнения с наступлением нового после письма». Публикуемые документы дают возможность значительно полнее, чем прежде, представить, как формировалась в сознании Блока «концепция живой, могучей и юной России»: «И если где такая Россия мужает, то уж, конечно, в сердце русской революции в самом широком смысле, включая сюда русскую литературу, науку и философию» (VIII, 277).

Многочисленные ранее не известные факты жизни и деятельности Блока послеоктябрьского периода заключены в его переписке с К. И. Чуковским, Н. А. Нолле, Р. В. Ивановым-Разумником, а также в «Дневнике» Чуковского, большие фрагменты из которого впервые публикуются.

Третья книга открывается разделом «Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях» с исследовательской статьей и комментариями. Впервые собранный огромный материал (свыше 380 надписей, в том числе — стихотворных, к ста сорока адресатам) обнаруживает творческое отношение поэта к жанру надписи как литературному документу. Надписи извлечены из многих фондов государственных архивов, библиотек и частных коллекций. Лишь М. С. Лесман и В. Н. Орлов отказались сообщить нам сведения об имеющихся у них книгах с дарственными надписями Блока, и мы были вынуждены ограничиться включением в указанную публикацию только тех книг из их собраний, надписи на которых появились в печати.

Остальная, большая часть третьей книги тома посвящена теме: «Блок в оценках современников» и состоит из разделов: «Блок в неизданной переписке современников», «Блок в поэзии современников» и «Блок в дневниках и воспоминаниях современников».

Созданный «Литературным наследством» тип научной публикации, где события жизни и творчества писателя представлены в неизвестной переписке современников, в настоящем томе особенно богат. Его объем — около 25 авторских листов. Здесь собраны письма за три десятилетия (со времени детства поэта до откликов на его смерть). В огромном числе корреспондентов — родные и друзья Блока, литераторы, издатели, композиторы, художники, деятели театра, незнакомые поэту поклонники его таланта, горячо обсуждающие его произведения. В переписке современников предстает не только Блок в восприятии людей его эпохи, но и сама эпоха с ее напряженной общественной и литературной борьбой и грандиозными историческими преобразованиями.

К эпистолярным свидетельствам современников о Блоке примыкают и стихотворные произведения о нем, разнообразно запечатлевшие его личность и поэтический подвиг. Принадлежащие поэтам разных дарований (от выдающихся до совсем безвестных, чьи

стихи впервые извлечены из архивов), они, собранные вместе, составляют своеобразный «поэтический венок» Блоку.

Среди мемуарных источников следует особенно выделить воспоминания тетки поэта М. А. Бекетовой «Шахматово. Семейная хроника», а также ее дневник. Щедрая русская природа Шахматова — поэтическая колыбель Блока, а культурные демократические традиции бекетовской семьи — первоначальная глубокая почва, на которой вырастало миропонимание будущего поэта. И то, и другое описано М. А. Бекетовой с присущей ей широкой осведомленностью и литературным талантом.

Замечательным документом являются дневники Андрея Белого, отрывки из которых публикуются здесь же. Связанные с трагическим переживанием смерти Блока, они послужили творческим импульсом к созданию известных воспоминаний. В этот же раздел включены воспоминания о Блоке Л. Я. Гуревич и отрывки из дневников В. А. Щеголевой и Ф. Ф. Фидлера.

Четвертая книга состоит из двух больших разделов: «Разыскания и сообщения» и «Блок за рубежом».

В первом из них печатается ряд сообщений на тему «Блок и русские писатели. Традиции. Влияния. Общение». До сих пор заметка о Л. Н. Толстом, написанная Блоком в 1908 г. для толстовского юбилейного сборника, была известна по незавершенному тексту. Недавно обнаруженный беловой автограф заметки впервые знакомит нас с окончательным ее текстом. Теме «Блок о Толстом (новонайденный автограф)» посвящено специальное сообщение. Статьи и сообщения «Блок и Чехов», «Блок и Горький», «Блок и Л. Андреев», «Блок и Луначарский», «Блок и Ахматова», «Блок и Волошин», «Блок и Асеев», «Л. Рейснер о Блоке» и другие существенно дополняют представление об отношениях Блока с его литературными предшественниками и современниками.

Из других публикаций отметим целиком основанные на неизвестном материале сообщения об учении Блока во Введенской гимназии, об истории постановки драмы «Роза и Крест» в Московском художественном театре, о работе поэта над переводом прозы Г. Гейне, о его пометах на пьесе Н. Г. Виноградова «Царь Петр Великий», а также запись лекции М. М. Бахтина о Блоке, прочитанной в середине 1920-х годов.

Впервые в истории изучения Блока публикуется обширный материал о переводах его произведений, восприятии и исследовании его творчества в Германии, Франции, Англии, США, Болгарии, Чехословакии, Югославии. Болгарский исследователь Е. Даскалова, цитируя строки Гео Милева «Блок это не только Блок. Блок — это Россия!», справедливо отмечает: «Одна из центральных фигур в контексте художественной культуры эпохи, Александр Блок оставил, несомненно, заметный след в мировом и особенно славянском литературном процессе». Для отношения к Блоку за рубежом характерно сохранившееся в архиве поэта письмо к нему вдовы А. Стриндберга, писателя, высоко ценимого Блоком. Обращаясь к Блоку с просьбой дать согласие на издание сборника переводов его стихотворений на английский язык, Фредерика А. Стриндберг с восхищением пишет, что его стихи «поют славу» России, «Великой России, единственной стране, где еще бьется сердце».

Том рассчитан как на специалистов-литературоведов, так и на широкие круги читателей, интересующихся жизнью и творчеством Блока, его значением в истории отечественной и всемирной литературы.

Подбор иллюстраций — Н. А. Кайдаловой и Н. Н. Примочкиной.

За помощь в организационной работе по подготовке тома и консультации приносим благодарность доктору филологических наук З. Г. Минц.

Редакция благодарит члена-корреспондента АН СССР Л. И. Тимофеева и доктора филологических наук В. А. Келдыша за участие в обсуждении материалов тома и ценные советы.

Редакторы тома — И. С. Зильберштейн и Л. М. Розенблюм.

СЛОВО О БЛОКЕ

С. С. НАРОВЧАТОВ

Александр Блок — художественное явление огромной силы и размаха, соединяющее в себе русскую классику и новое, советское искусство.

Жизнь Александра Блока, казалось бы, небогата событиями. Он родился и вырос в семье, принадлежавшей к верхам русской академической интеллигенции. Домашнее образование, гимназия и университет последовательно обозначили детство, отрочество и юность поэта. К нему рано пришла известность. «Стихи о Прекрасной Даме» открыли перед ним двери лучших литературных издательств и журналов. В начале зрелости он уже был автором многих блестящих стихотворений, поэм, пьес. Жизнь его текла без внешних потрясений и катастроф.

Откуда же такой размах творчества, бесконечная глубина его поэзии? Александр Блок жил в эпоху войн и революций, тютчевская формула о «роковых минутах мира» может быть полностью отнесена к нему. Поэтическое бытие Блока вобрало в себя отголоски Порт-Артура и Цусимы, громы и раскаты первой мировой и гражданской войны. Оно освещалось всполохами 1905 г., заревами Февральской и Октябрьской революции.

Все эти эпохальные события отложились в душе поэта, заставили тревожней биться сердце, зажгли взгляд провидческим вдохновением и пророческой мудростью. Первым из крупных русских художников он прямо и безоговорочно ответил на главный вопрос, вставший перед людьми его круга, культурным слоем русских людей. 14 января 1918 г. на вопрос газеты «Петроградское эхо»: «Может ли интеллигенция работать с большевиками?» — Александр Блок ответил: «Может и обязана». Это сказал автор «Стихов о Прекрасной Даме», «Незнакомки» и «Шагов командора» — знаменитый поэт, творчеством которого завершался многолетний период русской поэзии и начинался новый, советский путь ее развития.

Какие силы подвигли Блока так четко определить свою позицию в эти дни? Можно бы назвать немало таких сил, но концентрируя внимание на главном, нужно выделить из них две — отрицательную и положительную, которые образовали одну равнодействующую в грозовое время революции. Рождение этих сил в его душе надо отнести ко времени задолго до 1917 г., а развитие их происходило вместе с развитием его творчества.

Первая — сила отрицания — не сразу возникла в нем. Редко кто из поэтов вступал в жизнь, исполненный таких чистых надежд и возвышенных мечтаний, как Александр Блок. Сама жизнь, однако, с жестокой требовательностью вырвала у его музы новые звучания. Читателям молодого поэта после «Стихов о Прекрасной Даме» было неожиданным встретить суровые строки «Фабрики».

В соседнем доме окна жолты.
По вечерам — по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам.

И глухо заперты ворота,
А на стене — а на стене
Недвижный кто-то, черный кто-то
Людей считает в тишине.

Я слышу все с моей вершины:
Он медным голосом зовет
Согнуть измученные спины
Внизу собравшийся народ.

Они войдут и разбредутся,
Навалят на́ спины кули.
И в жолтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.

«Фабрика» стала одним из первых стихотворений Блока, запрещенных царской цензурой. Такие стихи, будь тогда поэт хоть на полшага ближе к революции, охотно бы напечатала любая большевистская газета. Интуицией большого художника Блок ощутил и разделил главное: труд и его присвоение. «И в жолтых окнах засмеются, что этих нищих провели». Напомним, что для многих поэтов и писателей в те времена фабрика была овеществленным Добром или Злом без внутренних градаций. Одни славили ее как пришествие цивилизации в дикость, другие проклинали как вторжение города в патриархальность. Поэт в шестнадцати строках, как бы мы сказали сейчас, провел четкий классовый анализ нового для себя явления. Впервые проснулась в нем сила отрицания: всей своей душой, всей художнической натурой, всем своим лирическим существом он возненавидел этих недвижных, черных, смеющихся в желтых окнах. Какие плоды принесла эта ненависть, мы увидим дальше.

«Готовым к весне» вступал в поэзию Александр Блок. А душевный перелом бросал его прямо в осень. Меняется тон и «цвет» стихов Блока. Поэтический цикл «Город» вырастает под знаком нарастания и крушения первой русской революции 1905 года. От этих дней к нам дошел знаменитый «Митинг», но с его ниспровергательной сутью могут поспорить резкие ноты отрицания существовавшего порядка в стихотворении, написанном в дни всеобщей забастовки. Оно называется «Сытые»:

Они давно меня томили:
В разгаре девственной мечты
Они скучали, и не жили,
И мяли белые цветы.

И вот — в столовых и гостиных,
Над грудой рюмок, дам, старух,
Над скукой их обедов чинных
Свет электрический потух.

. . . . . .

Так — негодует всё, что сыто,
Тоскует сытость важных чрев:
Ведь опрокинуто корыто,
Встревожен их прогнивший хлев!

Теперь им выпал скудный жребий:
Их дом стоит неосвещен,
И жгут им слух мольбы о хлебе
И красный смех чужих знамен!

Пусть доживут свой век привычно —
Нам жаль их сытость разрушать.
Лишь чистым детям — неприлично
Их старой скуке подражать.

Эту ненависть к «сытым», к власть имущим Блок сохранит и упрочит в дальнейших стихах. Он не переносит слова «буржуазность», оно отвратительно ему и по звуку, и по смыслу. В нем самом еще долго будет держаться ощущение «чистых детей», отмахивающихся от «старой скуки» своих отцов, но эта высокомерная брезгливость вскоре уступит место действенному негодованию.

Отвращение к буржуазности он распространяет и на свой быт. «Пойми, наконец, — пишет он жене, — простейшую вещь: что все современное производство вещей есть пошлость и не стоит ломаного гроша, а потому покупать можно только книги и предметы первой необходимости».

Отталкивание от буржуазной культуры у него повсеместно и не ограничивается Россией. Вот что он пишет о Франции: «Я, как истинно русский, все время улыбаюсь злорадно на цивилизацию дредноутов, дантистов и pucelle. По крайней мере над этой лужей, образовавшейся из человеческой крови, превращенной в грязную воду, можно умыть руки. Над всем этим стоит культура, неудачно и неглубоко названная этим именем».

Если вы под этим углом зрения перечитаете стихи Блока, вам явится вся сила ненависти поэта к буржуазности и ее спутнику — мещанству. В тра-

гически-прекрасной «Незнакомке» вы услышите «тлетворный дух» этой буржуазной пошлости, когда

Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается женский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины,
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск.

Буржуазная пошлость пока еще не в силах растоптать и погубить истинную красоту, воплощенную в Незнакомке, «очи синие, бездонные цветут на дальнем берегу», — но дышащая «духами и туманами» Незнакомка уже взята в порочное кольцо, разорвать которое может одна поэзия.

Что же могло оберечь поэта от тлетворного духа буржуазности, обыденного и интеллектуального мещанства? Чутьем огромного художника Блок ощущал ненормальность жизненного уклада, окружавшего его со всех сторон, видел удивительную страну, которая навевала на него светлые мечты и надежды, возбуждала в нем вольные мысли и чувства.

Такой страной была Россия. Но не Россия самодержавная, имперская, официальная, а та, которую он носил в своем сердце.

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!

Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет, —
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты.

«... *Тема о России*... Этой теме я сознательно и бесповоротно *посвящаю жизнь*, — пишет Блок. — Все ярче сознаю, что это — первейший вопрос, самый жизненный, самый *реальный*. К нему-то я подхожу давно, с начала своей сознательной жизни и *знаю*, что путь мой в основном своем устремлении — как стрела, прямой... Несмотря на все мои уклонения, падения, сомнения, покаяния — *я иду*».

Только вот эта Россия, с которой «невозможное возможно» и «дорога долгая легка» могла спасти поэта от одиночества, замкнутости, самоуничтожения. Именно она могла в глухие годы подсказать ему опьяняющие своей жизненностью стихи:

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь!
Принимаю!
И приветствую звоном щита!

Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха — позорного нет!
. . . . . .
И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель — я знаю —
Все равно: принимаю тебя!

Он не идеализировал Россию. «Ненавидя, кляня и любя», писал он поразительные строки:

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?
Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!
Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться. . .
Вольному сердцу на что твоя тьма?

И, продолжая «ненавидеть, клясть и любить», решал вместе с Россией ее тысячелетние вопросы:

Знала ли что? Или в бога ты верила?
Что́ там услышишь из песен твоих?
Чудь начудила, да Меря намерила
Гатей, дорог да столбов верстовых. . .
. . . . . .
За́ море Черное, за́ море Белое
В черные ночи и в белые дни
Дико глядится лицо онемелое,
Очи татарские мечут огни. . .

Тихое, долгое, красное зарево
Каждую ночь над становьем твоим. . .
Что́ же маячишь ты, сонное марево?
Вольным играешься духом моим?

И теперь только с народом, в понимании его судеб и слиянии с народными судьбами, он искал выход из тупиков «страшного мира». Характерно, что в пьесе «Песня судьбы» лейтмотивом, выводящим ее героя из беспросветной снежной замети, становятся некрасовские «Коробейники».

Он пишет: «Кто прозорлив, хоть немного, должен знать, что в трудный писательский путь нельзя пускаться налегке, а нужно иметь хоть в зачатке «Во имя», которое бы освещало путь и питало творчество».

И это «Во имя» властно влечет Блока. Оно действительно освещает его путь и питает творчество поэта. Уже тогда начались отречения от Блока среди его бывших единомышленников — это была для них как бы репетиция к генеральному разрыву с ним в дни Октября. «Александр Блок, рыцарь «Прекрасной Дамы», как будто выскочивший прямо из готического окна с разноцветными стеклами, устремляется в некультурную Русь». . .к «исчадию Волги», — с ненавистью пишет о нем Мережковский, в будущем белоэмигрант, злейший враг Советской власти.

Все глубже проникается Блок настроениями и ощущениями своего народа. Поэтом овладевает чувство неотвратимых свершений и перемен, и, тревожно томительное, оно выплескивается в знаменитом цикле «На поле Куликовом». Уже в то время кажется ему безнадежно страшным положение человека, оторванного от народа в пору решения его судеб. Воскрешая в памяти готолевскую «Птицу-тройку», он пишет: «Тот гул, который возрастает так быстро,

что с каждым годом мы слышим его ясней и ясней, и есть «чудный звон» колокольчика тройки. Что, если тройка, вокруг которой «гремит и становится ветром разорванный воздух, — *летит прямо на нас*!». Обратим внимание: последние строки он подчеркивает: *летит прямо на нас*! Да, события невиданного масштаба, коренной переворот в жизни народа и государства приближались с неотвратимой стремительностью.

К началу революции Блок, пройдя все улицы и закоулки «города», все края и окраины «страшного мира», выходит в ту необозримую степь, над которой поднимается мотив некрасовских «Коробейников» и огненными пламенами сверкают его собственные слова:

И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...

И нет конца! Мелькают версты, кручи...
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови!

Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь...
Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь.

К началу революции отрицательная и положительная линии — отказ от старого, отжившего и утверждение нового, революционного — четко очерчиваются в творческом сознании Блока. С удивительным бесстрашием принимает он на себя возмездие за грехи своего класса в известной статье «Интеллигенция и революция». «Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? — пишет он. — Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа.

Почему валят столетние парки? — Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему — мошной, а дураку — образованностью <...>

Я не сомневаюсь ни в чьем личном благородстве, — пишет дальше Блок, — ни в чьей личной скорби: но ведь за прошлое — отвечаем мы? Мы — звенья одной цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? — Если этого не чувствуют все, то это должны чувствовать «лучшие». —И продолжает дальше: — Что же вы думали? Что революция — идиллия? Что народ — паинька?»

И с удивительной твердостью и последовательностью он безоговорочно принимает Октябрьскую революцию, идя на резкий разрыв со своими давними друзьями, читателями и почитателями среди буржуазной интеллигенции.

Октябрь слил художническое и политическое самосознание Блока в одно одухотворенное целое. И его ответ о возможности работы интеллигенции с большевиками был вполне закономерен: «Может и обязана».

В эти дни Александр Блок, по собственным словам, слушает «музыку революции»... Ее звучание наполняет бессмертные строки «Двенадцати». Чеканный шаг революционного патруля, воспетого гениальным поэтом, надолго определил ритм советской поэзии:

—Шаг держи революцьонный!
Близок враг неугомонный!
Вперед, вперед, вперед,
Рабочий народ!

Строки его становились лозунгами: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Поэма «Двенадцать» стала гениальным творческим свершением революции, открыла собой первую страницу советской поэзии.

Твердое и неуклонное исполнение поэтом своей революционной обязанности вызывает преклонение и восхищение. Вот перечень свершений и дел Блока в ближайшие после того три первые месяца 1918 г. Закончена поэма «Двенадцать». Создано стихотворение «Скифы». Напечатана статья «Интеллигенция и революция». Написана статья «Искусство и революция». Закончен очерк «Последние дни старого режима». Начат очерк «Катилина», где древний мятежник осмыслен революционером античности. Блок включается в работу правительственной комиссии по изданию классиков литературы и репертуарной секции Петроградского театрального отдела Наркомпроса.

Мы видим здесь редкое сочетание творческой, публицистической и общественной деятельности. И вся она в своем триединстве направлена на служение революции. Эти три месяца становятся прообразом следующих, заключительных трех лет его жизни. Выходит отдельным изданием «Двенадцать» с вдохновенными рисунками Ю. Анненкова. Блок заново редактирует и составляет тома своих сочинений; выпускает сборники лирики «За гранью прошлых дней», «Ямбы» и «Седое утро»; перерабатывает и издает пьесу «Песня Судьбы»; выходит книга «Театр», где собрана драматургия поэта.

Публицистика в эти годы чрезвычайно напряженна. Блок выступает с докладами, каждый из которых выносит на суд общества важнейшие проблемы времени, литературы, поэзии. «Крушение гуманизма» и «Без божества, без вдохновенья» — вершины его публицистики.

Огромна его общественная деятельность. По приглашению А. М. Горького он становится членом коллегии издательства «Всемирная литература» и берет на себя редактирование сочинений Г. Гейне. Его блестящий доклад о русских переводах Гейне, который он сделал на коллегии, представляет собой образец подхода, казалось бы, к частной теме. В этом докладе, кроме профессионального разбора материала, проведен анализ кризиса буржуазного гуманизма и либерализма.

Блок утверждается председателем Управления Большого драматического театра. Он участвует в работе Союза деятелей художественной литературы. Становится членом редколлегии «Исторических картин» при Петроградском отделе театров и зрелищ. Входит в коллегию литературного отдела Наркомпроса. Избирается председателем Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов. Участвует в организации Вольной философской ассоциации. И многое, многое другое.

Все это не синекуры, не почетные должности, каждой из них он отдает свой ум и сердце, каждая требует публичных выступлений, превращающихся в статьи, каждая требует поступков, вырастающих в действие, каждая требует — что особенно важно — подтверждения и обоснования своей общественной позиции в дни революции.

Мы с благодарностью и восхищением смотрим сейчас на эту деятельность Блока. Чего стоят лживые и злобные рассуждения об угасании его таланта в эти годы! . . В поэзии с созданием «Двенадцати» он выполнил свою миссию, и после поэмы гений поэта открыл дорогу к революции через другие области человеческого интеллекта. Области, никем еще не пройденные и вновь открываемые в те дни. Ведь каждая из статей Блока, каждый из его докладов, каждая из его должностей были тогда первыми из первых. Он входил в коллегию не стародавнего министерства, а народного комиссариата молодой республики. Он вместе с другими создавал первые культурные учреждения юной советской власти. Он каждым своим поступком утверждал тогда эту

власть, и все это, вместе взятое, вписывал в общую картину становления новой культуры победившего рабочего класса.

Александр Александрович Блок скончался в 1921 г. не только русским, но и советским поэтом. Гениальный талант его получил всеобщее признание. Уроки творчества, деятельности, жизни Александра Блока глубоки и перспективны. Каждая из линий его жизни, деятельности, творчества нашла продолжение и развитие в советской литературе. Получила твердое упрочение и расширение его общественная позиция. Первостепенной задачей советского литературоведения должно стать изучение многогранной деятельности Блока в советские годы. Здесь нас ждет много находок и открытий.

Великий лирический поэт, безоговорочно поддержавший ленинское государство в самую трудную пору его становления, — таким остается Александр Блок в сознании советского народа.

ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

Е. Ф. КНИПОВИЧ

Когда сейчас — через шестьдесят лет — я пытаюсь восстановить в памяти пережитое тогда, я особенно остро ощущаю необходимость жесткой дисциплины, точного разграничения двух времен и двух восприятий.

Я не хочу спорить, не хочу опровергать легенды, бытующие в литературных кулуарах, а также и в работах некоторых мемуаристов, тем более, что я знакома с очень небольшим числом произведений этого жанра.

Попытаюсь «нелживо и неспешно» рассказать о Блоке таком, каким я его знала в 1918—1921 гг.

Понимаю, что по многим приметам и реалиям образа жизни, быта, связей и отношений с людьми Блок пооктябрьских лет не похож на Блока 1901-го или 1908-го гг.

И — в этом я уверена — все-таки похож в том главном, что определяет его путь, о котором он сказал: «путь среди революций; *верный* путь».

Сейчас очень легко быть «умнее» Блока, потому что он действительно не знал революционной теории и не верил в ее значение, потому что острейшее предчувствие «тектонических» сдвигов в судьбах человечества порой получало в его толковании христианско-эсхатологическую окраску. И многое еще можно напомнить и перечислить. А потом — повторить слова самого Блока: «вот мой путь между двух революций — прямой». «Только вкратце хочу напомнить Вам наше личное, — писал Блок в неотправленном письме З. Гиппиус, — нас разделил не только 1917 год, но даже 1905-й, когда я еще мало видел и мало сознавал в жизни. Мы встречались лучше всего во времена самой глухой реакции, когда дремало главное и просыпалось второстепенное. Во мне не изменилось ничего (это моя трагедия, как и Ваша), но только рядом с второстепенным проснулось главное».

Я думаю, что здесь Блок — по великой беспощадности своей — несправедлив к себе. Ведь во время самой глухой реакции созданы не только стихи страшного мира, где воплотилась боль за унижение человека, ненависть ко всем уродствам и болезням в жизни предреволюционного времени. В эти же годы — черные годы — созданы стихи о России, «Ямбы», «На поле Куликовом» — цикл, пронизанный волей к подвигу, огненной любовью к родине, огненной верой в ее великое будущее. Вот это главное — языками пламени прорывавшееся даже в самое страшное время — и стало основным после Октября. Но «второстепенное» — то, что рождало в предреволюционные годы трагическую противоречивость мировосприятия, — тоже продолжало жить в сознании художника, вызывая несправедливое самоосуждение и страх перед великой силой организации, исступленное и нетерпеливое желание, чтобы все в жизни стало прекрасным — тут же, в мгновение ока.

Но взрывы «второстепенного» — гнев на себя и других, опасения, несправедливость оценок — не меняли главной, твердой, нерушимой веры в величие Октября, в необратимость той перемены, которую он внес в жизнь всего человечества. Об этом по-своему, на своем языке, он говорил мне и в 1921 г. И спасибо К. Федину, что он в своих заметках о Блоке дал этому прекрасное подтверждение. Федин вспоминает речь Блока о Пушкине в феврале 1921 г. в Доме литераторов (убежище старой интеллигенции) — трагическую речь «О назначении поэта».

«Когда в душной передней толпились около вешалки, тесня со всех сторон Блока, к нему протолкался старый публицист, из тех, что составляли внутренний лик Дома литераторов. С очевидным удовлетворением, но с болезненной миной он посочувствовал Блоку:

— Какой вы шаг сделали после «Двенадцати», Александр Александрович!

— Никакого, — ровно и строго отозвался Блок. — Я сейчас думаю так же, как думал, когда писал «Двенадцать».

И эта святая верность «главному» отразилась в последние годы жизни Блока на большом и малом — на восприятии и оценке событий, людей, на работе, отношении к трудностям быта.

Аккуратный до педантизма, рыцарски вежливый, органически неспособный не выполнить даже самого незначительного обещания, бесконечно внимательный к нуждам близких и очень далеких — Блок в трудные послеоктябрьские годы мог поистине служить образцом подлинной человечности. Он с огромным уважением относился ко всем видам и формам труда. Он говаривал, что «работа везде одна — что печку сложить, что стихи написать». Ладный, высокий, неутомимый ходок, он спокойно и естественно — без интеллигентского кокетства — орудовал молотком и пилой, топором и лопатой. Блок с теннисной ракеткой — непредставим, но всякую физическую работу он делал так, как делает ее русский человек — «золотые руки». Блока раздражала отвлеченность, физическая неприспособленность интеллигентов, возводимая к тому же в ранг добродетели. Жило в нем чисто горьковское отвращение к «духу», оторванному от плоти, от жизни, а также и к попыткам поднять бытовые лишения (пусть самые тяжелые) до уровня духовной трагедии.

Пафос замятинской «Пещеры» носил для Блока, как и для всех настоящих людей, несколько комический характер. Конечно, очень нелегко терпеть отсутствие тепла и света в доме, постоянное недоедание, а то и голод, обмороженные руки. И очень нелегко волочить, например, на самодельных саночках (а то и просто волоком на веревке) бревно от разобранного деревянного домишки на окраине до своего дома. Но к восприятию событий, работе, интересам все это как бы не имело прямого отношения. Никто из настоящих людей в те годы не бодрился искусственно — просто эти реальные невзгоды лежали в другой плоскости, чем все, чем одаривала тогда жизнь. А от тягот быта оборонялись юмором, шутками. Так, помню, на чуть пародийно-торжественную интонацию, с какой Блок произнес

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые,
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир,

Любовь Дмитриевна откликнулась: «призвать-то призвали, вот только кормят на пиру неважно».

В последние годы жизни Блок любил огорошить поклонника «абсолютных ценностей» заявлением вроде: «У купца честность одна, у барина — другая, а у мужика — третья». И неожиданно утвердив классовость морали, с интересом поглядывал на раздавленного его «цинизмом» собеседника. А по уходе его заявлял мне с озорной усмешкой: «Это я ему нарочно сказал!»

Не менее скептически относился он к инвективам против «комиссаров». Так, некий защитник прав личности, мобилизованный на расчистку улиц после зимних заносов, поведал нам о том, что он в знак протеста швырнул лопату грязного снега в проезжавшую мимо комиссаровскую пролетку. «А в пролетке сидел Анатолий Федорович Кони», — приподняв брови, спокойно внес поправку Блок. Дело в том, что ученый-юрист А. Ф. Кони — знакомый или друг многих больших или даже великих писателей — сразу после Октября включился в культурно-просветительскую работу. Он выступал

с лекциями и воспоминаниями о Толстом, Достоевском, Тургеневе. А. Ф. Кони был в ту пору человеком старым и к тому же тяжело больным. Вот почему Петросовет предоставил в его распоряжение пролетку — по тем временам роскошь неслыханная. Реплика Блока не была фактической справкой. Кто сидел в пролетке, он не знал так же, как его собеседник, смысл реплики — в другом. Она отмечала подлинное отношение «комиссаров» к интеллигенции, работающей для народа.

Исследователи, публицисты, авторы мемуаров порой сознательно, порой бессознательно выбирают из сокровищницы мыслей, высказываний деятеля культуры, о котором идет речь, только то, что более всего подходит к их заранее данной концепции.

Но ведь в такой сокровищнице обычно живет столько противоречивых и равно убедительных утверждений. И думаю, что они настоятельно требуют спокойного и непредвзятого сопоставления.

Ведь даже Иванов-Разумник не замалчивал бессмертных слов — «всем сердцем, всем сознанием слушайте музыку революции». Но, опираясь на строчки стихов, которые Блок создал после поражения революции 1905 г., он пытался обосновать свою концепцию отношения Блока к победившей революции 1917 г., Великой Октябрьской социалистической революции. Блок-де принял и воспел стихийную силу вихря, разрушающего старый мир, но после «Двенадцати», после января 1918 г. стал угасать, не найдя себе места и доли в строительстве нового, безрадостно, ради хлеба насущного, выполняя культурно-просветительские обязанности.

Это неправда. Или, точнее, одна из тех отвратительных, обывательских полуправд, которые, упрощая, в корне извращают подлинную правду.

Надо очень предвзятым взглядом прочесть то, что Блок написал в 1918—1921 гг. — от «Интеллигенции и революции» до «О назначении поэта» и «Без божества, без вдохновенья», — надо закрыть глаза на все раздумья в дневниках и записных книжках о театре для народа, для нового зрителя, об издании классиков для нового читателя, о том, как сейчас должны по-новому прозвучать Шекспир, Гете, Гейне, чтобы твердить об усталом равнодушии Блока к строительству культуры. Слова о том, что ему надоели слишком многочисленные заседания? А кто их любит, даже тогда, когда они не посвящены «объединению ТЕО и ГУКОНА»! Надоело многое другое — претензии О. Б. Каменевой, борьба самолюбий в театре, профессорская тупость и умеренность? Так это же были завалы старого на пути строительства нового. После заседания Комиссии по изданию русских классиков (при Наркомпросе) Блок писал: «Это — труд великий и ответственный; господа главные интеллигенты не желают идти в труд, а не «с кондачка». Вот что я еще понял: эту рабочую сторону большевизма, которая за летучей, за крылатой. Тут-то и нужна их помощь. Крылья у народа есть, а в умениях и знаниях надо ему помочь. Постепенно это понимается. Но неужели многие «умеющие» так и не пойдут сюда». Блок — один из первых «пошел». И спасибо хорошему человеку Самуилу Мироновичу Алянскому за то, что он в воспоминаниях своих сохранил отчаянно-максималистские планы Блока для практического совмещения рабочей и крылатой стороны культурного строительства. «Все нужно добывать революционным путем, надо взять отряд красногвардейцев, объяснить ему цели необходимого для государства похода, поехать вместе с ним на бумажную фабрику, конфисковать всю бумагу, которая найдется на складах, и гнать ее в Питер маршрутными поездами под охраной тех же красногвардейцев. С другим отрядом занять типографию. Вероятно, только так надо действовать. А для таких действий опытных людей еще нет». Слова эти были сказаны, когда Блок уговаривал С. М. Алянского взять на себя обязанности заведующего издательским бюро репертуарной секции ТЕО Наркомпроса.

Ссылку на малый опыт Блок не принял, справедливо посчитав: «Опыт не поможет нашему делу. Мы делаем такое дело, у которого опыта еще нет.

А чтобы его создавать, нужна полная и глубокая уверенность, что дело это очень важное и крайне необходимое».

Я на своей судьбе ощутила доверие Блока к людям, не имеющим опыта, но обладающим кое-какими знаниями и твердой верой в то, что строительство нового — «дело важное и крайне необходимое». И если С. М. Алянский в 26 лет стал заведующим издательским бюро репертуарной секции ТЕО, то я — в двадцать — стала заведующей группой архивных разысканий той же секции, возглавлял которую сам Блок.

С первых дней, с первых шагов нашего знакомства я ощутила (тогда еще не очень понимая и обобщая) эту неразрывную в сознании Блока связь между «крылатой» и «рабочей» стороной культурного строительства.

Поводом для нашего знакомства стало то, что в декабре 1917 г. я послала Блоку по почте стихи, которые я писала, потому что происходящие события заставили меня усумниться в них. Мне был нужен совет, скорее, не литературного характера. Стихи были «дооктябрьские», и в ответном письме Блок справедливо сказал: «Я мог бы сделать Вам довольно много технических замечаний относительно Ваших стихов, которые пока — ничьи, но могли бы стать Вашими при известных условиях и т. д.

. . . Оттого ли, что Вы так любите искусство, Вы очень замкнулись — лица не видно, голоса не слышно. По стихам и по письму мне кажется, что Вас не коснулись события. . . Не думайте, что я Вас призываю думать о политике. Я Вас призываю к потрясению, к прозрению, к удивлению, с которого начинается поэзия, так же и философия».

Что касается стихов, то тут я в ответном письме не стала спорить, но о «незатронутости» событиями сказала довольно сердито.

В ответ тут же пришло коротенькое письмо: «Простите, если я Вас не понял. Я не хотел Вам причинить неприятности. Переписываться теперь трудно, если хотите — зайдите просто, позвонив по телефону, чтобы застать меня дома».

Так и произошла наша первая встреча и трехчасовой разговор — самое любопытное — не о стихах, а о революции, жизни, культуре.

Я отметила в дневнике, который (нерегулярно) вела тогда, и то, что Блок говорит «очень по-своему», «на своем языке» (это он тут же обнаружил и в моей манере говорить), что много он помогает в разговоре жестом и улыбкой. «Бывают разговоры такие, такие, а у нас с Вами — такой (круто ведет рукой вверх). Обрадовался, когда узнал, что я люблю Аполлона Григорьева, что Стриндберга знаю давно и даже читала в подлиннике. «Выясняете», — говорит он и смеется».

Но главное в разговоре было все же о событиях — тоже на «своем языке».

«Сейчас ходить нельзя, разве можно ходить, надо прыгать, летать». — «Как летать?!» — «Да так — летать, полет, élan», — опять помогает себе жестом и смеется».

Чтобы дать мне понятие о том, как он видит, вернее, ощущает события, он рассказывает об океане: на подступах ручеек среди папоротников — и вдруг — «зеленые пропасти, хляби, лохани, крабы, медузы! Что растет, что живет в океане! Ведь можно помешаться, если остро воспринять это — что растет, что живет в океане!»

Об этом необходимом условии полета сказал мне Блок тогда: «Вы не должны честно относиться к жизни — это кадетское отношение — оно и во мне заложено, но его надо преодолевать. Если оно столкнется с главным, то надо думать — вот мое перебило, и обмануть себя, не обманывая. Иначе нельзя — он и есть фаустовский путь».

За точность слов, записанных сразу, я отвечаю. Смысл был не ясен мне тогда. Теперь я понимаю — речь шла все о той же ссоре стихии —носителе духа музыки с нравственностью. Об этом Блок столько раз говорит в дневниках и статьях той поры. Всякая преждевременная попытка помирить мораль с музыкой революции, по его мысли, безнадежна. Помирятся они лишь

тогда, когда все звенья, все составные части морального кодекса старого общества уйдут в небытие: «требуется действительно похоронить отечество, честь, нравственность, право, патриотизм и прочих покойников, чтобы музыка согласилась помириться с миром».

Каждый революционный взрыв, по мысли Блока, даже взрыв, чьи масштабы бесконечно малы по сравнению с Октябрем, или даже предощущение взрыва отражались в искусстве конфликтом музыки с нравственностью, свидетельство тому — Карл Моор и Владимир Дубровский, капитан Ахав и Вильям Радклифф. В этом, кстати сказать, пафос блоковского «Катилины».

Блок очень настороженно относился к излюбленным в ту пору профессорским разглагольствованиям о «нравственности» (в пику «безнравственности» большевиков).

«До сих пор, — пишет Блок в отзыве на статью Ф. Зелинского о двух трагедиях Иммермана, — искусство считают возможным выпускать только в попонке и на ленточке под надзором нравственности. Все-таки — это еще средние века мысли. А реальная политика, насколько могу судить, давно уже сама такую этическую попонку сбросила; хорошо или плохо она поступила, не знаю, но по-своему она права. . .

Если искусству не перечить, оно с нравственностью встретится; если же не отставать от него ни на шаг, твердить художнику на каждом шагу — будь паинькой, то художник начнет бунтовать и выкрикивать свою правду, хотя бы очень грубыми словами, вроде «Октября в искусстве». Слова эти грубы, приспособлены к газетной злобе дня, но в них содержится глубокая правда. Словом, я хочу сказать, что едва мне скажут, что искусство ходит на веревочке у нравственности, я, художник, немедленно примыкаю к стану футуристов, бросаюсь за баррикаду». Не случайно эта инвектива родилась при чтении статьи Ф. Зелинского. Блок все время опасался, что вместе с как будто самым бесспорным, самым краеугольным понятием «нравственность» в дело строительства новой культуры просочится и профессорское, либеральное, «кадетское» толкование этого понятия.

«Кадет» — это в устах Блока было самое достойное осуждения, самое ненавистное понятие.

«Кадет» — он круглый, за него не ухватишься», — говорил Блок в первом же нашем разговоре. «Верно, и слова круглые».

По мысли Блока, что было живым и благородным в среде «шампанских либералов» 40-х годов — у их поздних и выродившихся потомков превратилось в словесную шелуху и лицемерие. И особенно ненавистным для Блока все это было потому, что, как он говорил, «Кадетское — и во мне сидит, оно мое — по крови». Я не думаю, чтобы это было справедливо. Но «второстепенное» в его сознании жило, и с ним скоро пришлось столкнуться.

Первую нашу встречу завершили два эпизода.

— Я хотел бы Вам подарить какую-нибудь мою книгу, — сказал мне Блок, когда я собралась уходить.

— Спасибо, — ответила я, — но у меня все они есть. (Впоследствии он сказал мне, что ответ ему ужасно понравился.)

— Ну, а мой Аполлон Григорьев — он не так давно вышел — у Вас есть?

— Нет, его нет.

— Тогда я Вам его подарю.

И уже в передней, когда была открыта дверь на лестницу, он вдруг спросил:

— А «К Лавинии», где «тополей старых качанье», Вы помните?

— Нет, не помню.

И тут же, у открытой двери, он прочел все стихотворение наизусть.

Мы стали встречаться. Но чуть ли не во вторую встречу Блок сказал мне о том, что надо что-то вместе делать — иначе сейчас нельзя.

Все мы тогда, порой довольно наивно, исходя из чисто логических заключений, припоминали и искали в прошлом то, что может прозвучать сейчас, стать полезным в строительстве нового.

Блоку пришли на память «Ямбы» Барбье, и он попросил, чтобы я достала книгу, а потом мы вместе посмотрим, что мне из нее стоит перевести. От моих слов о том, что я ведь не умею переводить стихи, он попросту отмахнулся.

Он одобрил мой перевод стихотворения «Quatrevingt-treize» *:

Кровавый год — год девяносто третий, —
Не поднимайся вновь из тьмы былых столетий,
Как лаврами увенчанная тень.

Но воплощение свободы из знаменитой «La curée» (у нас переводят как «Собачий пир») вызвало у него скептическую усмешку. Образ женщины из народа, с мощной грудью, размашистой поступью, обветренным лицом, хриплым голосом, и женщины, любящей гром выстрелов и баррикадные схватки, Блок счел для нас весьма буржуазным.

— А «Свобода» Делакруа? — спросила я.

— Также, — ответил он.

Отношение Блока к Франции, французской истории, культуре было весьма сложным. «Древнее» — рыцарский эпос, Тристан-чаровник, а также предания Бретани были ему дороги и близки. Но французский классицизм, «Просвещение» и многое в литературе и искусстве XVIII и даже XIX в. было ему ненужным, для него — чуждым «духу музыки». В его оценке французского реализма XIX в. очень чувствовались «бекетовские» традиции.

Он был в сущности равнодушен и к Бальзаку и считал гениальными лишь первые главы «Серафиты». Очень ценил Золя и даже звал героев «Возмездия» «своими Ругон-Маккарами».

Воспринимал он творчество «отца натурализма» по-своему — как романтическое и даже фантастическое.

Но самой большой его любовью среди великих реалистов Франции — был Флобер. Он даже переводил в свое время «Юлиана-Милостивца». А роман «Educations sentimental» (он настоял на заседании редколлегии «Всемирной литературы», чтобы название было не по-старому, т. е. «Сентиментальное воспитание», а по-новому — «Воспитание чувств») был одним из самых дорогих для него произведений литературы.

Я забегаю вперед и говорю уже о временах «Всемирной литературы». Тогда — в 1920 г. — мы часто вспоминали Флобера.

Но когда я спросила, как он относится к изображению в романе революции 1848 г., он удивился.

— А разве это там есть? Я не помню.

— А что же Вы помните? — засмеялась я.

— Что помню? Фредерик видит ее — мадам Арну — в первый раз на палубе парохода, и алая шаль, брошенная на кресло, чуть не скользнула в воду, и он сделал движение, чтобы удержать ее.

Выбирая и по-своему видя, он оценивал многое в литературе и искусстве. Так, из всего Бодлера, например, он взял для себя лишь две строчки:

Grain de musc qui qit inoisible
Au fond de mon éternité **

Возвращаясь к февралю — марту 1918 г., я вспоминаю ту «проверку на современность», какую проходили в наших разговорах многие писатели, многие произведения литературы. Неожиданной для меня была его оценка Диккенса.

---

* «Девяносто третий год» (*франц.*).

** Зернышко мускуса, которое покоится незримо В глубине моего бессмертия (*франц.*).

— Вы думаете, он нежный, даже сентиментальный? Да он — свирепый! Старый мир весь истыкал, исколотил — им все исколото — ложь, лицемерие, жестокость, тщеславие, презрение к угнетенным.

Часто возникал тогда в разговорах наших и великий сказочник Ганс Христиан Андерсен. «Снежную королеву» и «Ледяницу» (или «Ледяную деву») Блок воспринимал как-то «лично», биографически. И он не очень верил в счастливый конец первой сказки — победа любви Герды над соблазном гибели в ледяном царстве, которому поддан Кай, вызывала в нем меньшее доверие, чем гибель в ледяном потоке, которая настигла Руди — героя второй сказки, сильного, красивого, удачливого, только раз в трудную минуту заглядевшегося в глаза Ледяницы, но почти с рождения отмеченного знаком ее власти над ним.

В ту пору, хорошо зная стихи Блока, я совсем не знала его статей. И близкое к тому, что он мне говорил тогда о двух своих любимцах — Ибсене и Стриндберге, — я потом находила в уже напечатанных текстах.

«Ибсен — орлий клекот, — говорил Блок тогда. — Сидит орел на вершине и клекчет по-своему, не на нашем языке. Идешь к нему, а он уже перепорхнул на другую вершину — и все выше и выше, и не понять его, и уже не видно его, а из горного тумана навстречу выходит — Стриндберг — товарищ, именно товарищ. Вы понимаете, что это за слово — товарищ, ведь это удивительно нужное слово. Не друг, не брат, а именно товарищ. А Ибсена — разве можно понять! Разве «Сольнеса», «Росмерсхольм», «Когда мы, мертвые, пробуждаемся», «Женщину с моря» можно понять?»

Ибсен для многих был в предреволюционные годы «властителем дум». Стриндберг же был в ту пору гораздо менее замечен.

Но (Блок, по-моему, об этом не знал) Стриндберга — и именно в том же «ключе», что и Блок, — воспринял и любил Горький.

Горький неоднократно поминал «смелого шведа» в своих статьях, как молодых, так и зрелых. В 1899 г. он пишет о Стриндберге Чехову: «Это — большой человек, сердце у него смелое, голова ясная, он не прячет своей ненависти, не скрывает любви. И скотам наших дней от него, я думаю, ночей не спится. Большой души человек». И уже после смерти Стриндберга (в 1911 г.) он ставит в пример молодым писателям этого замечательного бунтаря, человека, который «хорошо и просто жил, хорошо и просто умер».

И — опять забегаю вперед — очень нужное слово товарищ вошло и в наши личные отношения.

Летом 1920 г. в веселую минуту Блок выдал мне удостоверение с фантастическим грифом, с фантастической печатью. Оно гласило:

«Предъявитель сего есть действительно товарищ мой Евгения Федоровна. Что приложением печати и подписом подтверждено. Председатель Ал. Б л о к».

Отсюда и пошло полу-в шутку, полу-всерьез то обращение, каким я начинала свои деловые (для памяти) записки ему. В 1919—1921 гг. мы виделись настолько часто, что переписки между нами быть не могло.

Конечно же, наши разговоры в первые месяцы 1918 г. не сводились к литературе (хотя бы и с точки зрения ее революционной и культурнообразующей силы): опасность немецкого наступления, переговоры о мире, «ребячья», по определению Блока, позиция левых эсеров, безоговорочное признание ленинской позиции в вопросе о мирном договоре — следы всего этого есть не только в дневниках и записных книжках Блока, но и в моих записях. Есть в них и следы ненависти Блока — исступленной, какой-то физической, — к буржуазии. Он при каждой встрече давал мне номера газеты, где печатались (а иногда и перепечатывались уже опубликованные) статьи — те, которые потом вошли в его сборничек «Интеллигенция и революция». Дал он мне и номер газеты с «Двенадцатью». Не знаю уже сейчас, почему, но я читала поэму, не дойдя до своей квартиры, на черной лестнице, при свете спичек, которые я зажигала одну за другой.

Все это шло в русле пробудившегося «главного», но очень скоро я стала интуитивно ощущать и существование дремлющего «второстепенного» — отголосков всего того, что выходило на поверхность в самые глухие годы реакции.

«Баюкающая» привлекательность мыслей о самоубийстве, двойники, многие, которые живут в нем (и в Вас — тоже — говорил он мне — живут minimum две). Я тогда в духе дореволюционной терминологии определила это как существование двух Блоков — и этот второй сковывал меня в общении, потому что второстепенного хватало и у меня самой.

24 марта (дата отмечена в записной книжке Блока) во время нашей встречи второстепенное вышло на поверхность; неверие в себя, груз прошлого, ощущаемый через образ одного стихотворения Ибсена («труп в трюме», который не дает кораблю дойти до цели), гибель в ледяных просторах и, наконец, прямой вопрос — «Как Вы думаете — выкручусь я?»

Моя вина — я не поняла, не почувствовала, что это не столько вопрос, сколько просьба. Я не восприняла как должно и те слова, с которых начался наш разговор: «Сегодня умерла моя сестра», — я обманула оказанное мне доверие, и это привело к встречам «на людях», к отчуждению, а, может быть, отчасти и к тому, что я на три летних месяца уехала из Петрограда.

Но через эти три месяца я в письме попыталась ответить на вопросы, вставшие в мартовском разговоре.

«. . . У меня такое чувство, — писала я 1 сентября 1918 г., — точно я стою под висящей лавиной. И не об этом ли говорил Ибсен в «Когда мы, мертвые, проснемся»? Неужели нельзя встретить солнце и не быть погребенной под снегом?. . Теперь я понимаю, почему Вы говорили, что стихи о Прекрасной Даме лучшее, что Вы написали. Тогда с Вами был тот луч солнца, за которым Рубек шел на гору, и который Вы потеряли в красивом сне, в хмельной радости мира, — в Нечаянной радости, которую Вы сейчас ненавидите за это. Верно ли я поняла? И верно ли я поняла «Двенадцать» как залог того, что из своего мира Вы вырветесь в мир большой? Потому что знать то, что Вы знаете, и не выкрутиться — это невозможно. Вы знаете много, скажите, есть ли спасенье, дойдет ли солнечный луч? Не пророчества я жду от Вас и не откровения, но сейчас я не верю Вашим словам о том, что Вы не выкрутитесь, как не можете им верить и Вы».

В ответ на это я получила замечательное письмо (оно пропало вместе с большой частью моего архива в 1941—1942 гг.), из которого мне стало ясным, что общение в месяцы, когда мы не виделись, продолжалось и для него, и было важным, и сейчас мы снова будем что-то «делать вместе». Вот тут-то я и стала заведующей группой архивных разысканий репертуарной секции ТЕО Наркомпроса, получивши двух «подчиненных», которые оба были старше меня. И, кроме того, я была «вовлечена» в работу по Гейне и «Народной серии» «Всемирной литературы» и после праздника первой годовщины Октября должна была по требованию Блока написать статью о «Мистерии-буфф» Маяковского и ее первой постановке.

На деятельности группы архивных разысканий сказался нередкий в ту пору формально-логический подход к решению вопроса об «использовании культурного наследства». Ход мысли был примерно такой. Раз существовала царская драматическая цензура — значит именно в ее архиве должно быть погребено все, что шло «наперекор» официальной идеологии. Увы, на деле все оказалось не так. То, что среди «запрещенных» пьес имело ценность, могло быть обнаружено и без архивных раскопок (например, «Горькая судьбина» Писемского), основной же «массив» составляли произведения либо безнадежно устарелые, либо попросту графоманские и курьезные. Так, моих «подчиненных» (Б. А. Пестовский — брат поэта Пяста и Николай (Носик) Федорович) и меня и Блока (с которым я делилась впечатлениями о работе) очень рассмешила некая мелодрама из древнеиудейской жизни. Содержание ее было следующее. Юноша по пути домой встретил у колодца

в пустыне девушку и тут же обручился с ней, призвав в качестве свидетелей присутствующего при этом дикого кота, а также и колодец. Вернувшись домой, юноша забыл об обручении, женился, и жена ему родила мальчиков-близнецов. Но в канун годовщины обручения в пустыне один из мальчиков утонул в колодце, а другого задрал дикий кот. Когда детей хоронили, появилась некогда обрученная невеста, безумная, полная бессвязных воспоминаний о прошлом —

Вот колодесь тот,
Вот сей дикий кот,
Говорит он «няв» —
Знаете, что «няв» сей значит?

Хор собравшихся на похороны отвечал ей:

Знать хотим, зачем кот плачет!

Я вспоминаю об этом драматургическом курьезе потому, что слова «Знаете, что «няв» сей значит?» вошли у нас в разговорный обиход, стали «формулой» для оценки неудачных стихов, переводов, выступлений.

Моим «начальством», кроме Блока, были Владимир Васильевич Гиппиус — он же критик, поэт Владимир Бестужев — суховатый, корректный, умный, образованный, по совместительству — педагог (Блок очень ценил его), а также и Владимир Николаевич Соловьев — театровед и режиссер мейерхольдовского толка — милый, артистичный, но склонный больше к разговорам, чем к конкретной работе. Оба они погибли в Ленинграде в годы блокады.

Я не помню точно когда, но, очевидно, еще в конце 1918 г. Блок сказал мне: «Я хочу Вас познакомить с моей мамой, и потому, что мама — это я, и потому что она живет в том же доме, и у нее тепло, и там мы можем хорошо встречаться и говорить и вдвоем, и втроем».

Так оно и пошло. И вскоре Александра Андреевна попросила, чтобы я не звала ее по имени-отчеству, а называла бабушкой. И часто из верхней квартиры спускался Блок, и мы с ним, как благонравные дети, садились рядом на маленький диванчик и топили печку, и сидели у печки, и шли долгие разговоры. А когда Блок колол лучину для самовара или растопку для печки, яростно ворча на недостаточно сухие поленья, — я должна была ассистировать, сидя рядом на табуретке. Разговоры шли и о прошлом, и о сегодняшнем дне, о литературе и о людях, о друзьях юности — Андрее Белом и Сергее Соловьеве — неистощимом на выдумки авторе оперы «Подкидыш», где он единолично исполнял все партии — мужские и женские. Помню только начало арии героини:

Отец, отец, поправь мне бант,
Сюда идет философ Кант.

И несмотря на всю доброжелательность рассказов, вывод Блока о друзьях юности был однозначен — «Мы с мамой — искони здоровые; они — искони больные». Много было говорено и о современной литературе, Блок научил меня любить творчество Андрея Белого, особенно его прозу. Не только «Петербург», но и «Серебряного голубя», которого я раньше не знала. И, как всегда, выбирая в произведении литературы что-то главное «для себя», Блок из «Серебряного голубя» взял «черное небо», в котором и в полдень сквозит синева.

Оба они — и мать и сын — высоко ценили Розанова за — в их восприятии — «дух глубины и пытливости» в исследовании человеческого сознания и подсознания, который живет в «Уединении» и «Опавших листьях». Но, отдавая должное (может быть, даже больше, чем должное) таланту Роза-

нова, Блок все-таки ощущал его как глубоко чужого. И не только из-за «духа» «Нового времени» и личных выпадов против самого Блока. Думаю, что это ощущение чуждости было взаимным. Несколько лет спустя, уже в Москве, Андрей Белый сказал мне, что Розанов так определял внешность Блока — античная маска, за которой прячется лицо колдуна из «Страшной мести». Я лично оценила в Розанове необычайную тонкость стилистики, блестящую точность выражения мыслей (глубоко мне чужих), загримированную под нарочитую и глумливую небрежность.

Не научил меня Блок и ценить Бальмонта, правда, и ему самому Бальмонт не был близок.

В его восприятии поэтического творчества современников ощущалось неустанное желание разглядеть не только большую, но и малую удачу, оценить, пусть малый, вклад. И это было естественно, потому что художник действительно большой, ощущающий свою талантом данную власть и силу, всегда великодушен в оценке работы своих современников. Меня всегда поражало в Александре Блоке не только уменье, но и, я бы сказала, какое-то воинствующее чувство необходимости порадоваться малейшей чужой удаче. Он настойчиво повторял точную строку из поэмы В. Пяста — «Пройти, как тонкая игла» (сквозь все случайное в жизни. — *Е. К.*), отмечал свежую рифму Н. Сухотина. И отлично видя в Игоре Северянине черты капитана Лебядкина, вместе с тем стремился приобщить меня к тому вскипающему, струящемуся движению стиха, которое чувствовалось в творчестве этого, по его слову, поэта с открытой душой.

Талант Есенина Блок оценил сразу — еще до революции, в 1915 г., так же как (совсем по-другому) и талант Маяковского. И он взял в свой личный «золотой фонд» две строчки из стихотворения «Порт»:

В ушах оглохших пароходов
Горели серьги якорей.

Все, что в современной поэзии не было «круглым», т. е. таким, где не за что «зацепиться», находило отклик в сознании Блока. Но бывали случаи, когда бесспорный талант проявлялся в сочетании с неприемлемыми для Блока чертами этики и эстетики. И неприятие это переходило в не личную, а — я бы сказала — в гражданственную неприязнь. Так было с поэзией Н. Гумилева.

Иногда Блок брал нас обеих — Александру Андреевну и меня «наверх», в свою квартиру. Великий книголюб — он «хвастался» редкими и любимыми книгами, показывал альбом по имени «Всякая всячина», где по его плану были вклеены фотографии, картинки, рисунки. «Экспозиция» в альбоме не была постоянной — она менялась.

У меня записан 31 июля 1919 г. день, когда я смотрела «Всякую всячину», такой ее состав. «Блок стоял, нагнувшись, за моим креслом, показывая мне свою «всякую всячину». И действительно «всякая всячина» — тут и Стриндберг, и немецкая пестрая лубочная картинка «Gottschütze uns»* (или что-то в этом роде), затем портреты друзей, рисунки Анненкова, Чехонина, Добужинского — подаренные, ликорники из Бекетовского архива, «мазня» (по выражению Блока) Городецкого, Гоголь в гробу и т. д. — и, наконец, целая страница портретов отца. Дойдя до этого, я вся сжалась — весь ужас страшного мира глянул на меня из этих глаз — и вместе с тем — похож на Блока. У него были (по словам Александры Андреевны) зеленые глаза, сросшиеся брови, очень черные, бледное лицо, непомерно яркие губы. «Похож он на Сашу?» — спросила Александра Андреевна. «Да. . . есть. . .» — «На которого, на этого? На этого?» — снова нагнулся ко мне Блок».

Я не была связана с литературной средой и не испытывала никакого желания в нее входить. И это равнодушие Блок не только поддерживал, но

* Будь нам защитой, господи (*нем.*).

даже, я бы сказала, «культивировал». Более того, он как-то незаметно, «не словами», «разрешал» или «запрещал» мне те или иные встречи и знакомства. «Закономерности» в этом я тогда не улавливала, да и не думала о ней. Сейчас я сказала бы, что он «ограждал» меня от моих ровесников (так он «не разрешил» мне дружить с Марусей Неслухавской и закрыл для меня ее дом), особенно от тех, отношения с которыми могли стать не поверхностными. Против внешних или же «светских» встреч, редких при моем образе жизни, он не возражал.

Исключение было сделано (не знаю почему) для Алексея Михайловича Ремизова. С ним Блок меня познакомил сам — и затем спокойно и с удовольствием расспрашивал меня о наших встречах. Друзьями Блок и Ремизов не были, хотя в период «Сирина», «Розы и Креста», да и раньше они встречались часто и дружески. Но в годы революции их связывала не только взаимная симпатия и уважение, но и тайная перекличка в отношении к человеку, человеческому достоинству, человеческой боли, презрение к пафосу «на ходулях», искусственности, заемной романтике. Помню (когда уже мы с Ремизовым подружились) он, увидев Гумилева, прохаживающегося вдоль пайковой очереди в роскошной дохе, сказал тихонько, но выразительно: «Искусственный бродит жираф» (переиначив гумилевскую строчку «Изысканный бродит жираф»). Эмиграция Ремизова была величайшей дикостью, слабостью, безумием и хорошо, что, пройдя все мытарства, он умер, пусть за рубежом, но с советским паспортом.

Я не знала в те годы никого из «серапионов» (кроме — по делам — М. Л. Слонимского — секретаря издательства Гржебина), хотя бывала в «Доме искусств» у Ольги Дмитриевны Форш и на вечерах, прошла мимо многих значительных и замечательных людей. Даже отношения с теми, с кем Блок был связан — Е. П. Иванов, В. Пяст, С. Алянский, стали «многосторонними» и личными уже после смерти Блока. Так же было и с Андреем Белым, с Городецким и, в сущности, с О. Д. Форш и некоторыми другими.

В наших с Блоком отношениях было и некое «естественное неравноправие», которое определялось не только разницей в возрасте, масштабах личности и т. д., а больше всего полным моим равнодушием к его жизни за пределами работы, его дома и нашего общения. Круг «Привала комедиантов» — полинявшие выходцы из дореволюционной богемы, поэты-акмеисты вроде Оцупа и Георгия Иванова, воспринимались мною как-то «этнографически», как представители чужих, малоприятных племен. Что касается театра и людей театра, то — вне сцены — это был особый мир — может быть, в чем-то и замечательный, но «неподходящий» для меня.

В первую нашу встречу (в мае 1918 г.) на чтении «Катилины» в школе журналистов мы с Александрой Андреевной Кублицкой не «поглянулись» друг другу. Я восприняла ее как нервную старушку, она же решила, что «барышня с папиросой — это очередное Сашенькино донжуанство».

Личное общение — очень частое — с конца того же года восстановило истинное положение вещей. В этой старой женщине — больной, маленькой, хрупкой — жила какая-то «внеличная» сила. В ней не было ничего «дамского» — как в Анне Ивановне Поповой (вдове Д. И. Менделеева, матери Любови Дмитриевны), ни профессорски-светского, как в Александре Дмитриевне Бугаевой — матери Андрея Белого (обе они бывали у меня уже в Москве). В ней ощущалось что-то старинное, дворянское — от 40-х годов, а может быть и от 30-х — высокая, наследственная культура, романтизм, изящная насмешливость тех женщин, с которыми дружили Пушкин, Гоголь, Тютчев, Баратынский. Но в этом «семейно-бекетовском» было и другое, то, о чем Блок говорит в «Возмездии»:

Так было и с моей семьей:
В ней старина еще дышала
И жить по-новому мешала,
Вознаграждая тишиной
И благородством запоздалым
(Не так в нем вовсе толку мало,
Как думать принято теперь
. . . . . .).

И нигилизм здесь был беззлобен,
И дух естественных наук
(Властей ввергающий в испуг)
Здесь был религии подобен.
. . . . . .
И заколдован был сей круг:
Свои словечки и привычки,
Над всем чужим — всегда кавычки,
И даже иногда испуг...

Ее коробили даже мои нарочитые «вульгаризмы». Достаточно было сказать, что кто-то «нахлестался» или «просвистался», чтобы она пожаловалась Любови Дмитриевне: «Зачем Женя так говорит! Mais elle n'ena pas le physique! (Ей это не подходит)». И если в веселую минуту Блок вспоминал какой-нибудь достаточно невинный эпизод из «жизни богемы» — тут же следовала реплика: «Саша, ведь Женя — барышня».

Конечно, в этой щепетильности был и элемент иронической пародии на такую щепетильность, но все-таки реплики не были случайны.

Камнем преткновения были в нашей дружбе и вопросы религии. По воспитанию, по традициям я была человеком «арелигиозным». Все философские споры, все ощущения и переживания, связанные с этой стороной внутренней жизни, были мне чужды и ненужны.

Но и для Александры Андреевны и для самого Блока эта сторона внутреннего опыта существовала. И не случайно Блок в разговоре сказал матери обо мне: «Евгении Федоровне не хватает русской церкви». Конечно, речь шла не о попах и их «звероголосии», а о некой малой, белой «символической» церковке русской деревни.

Александра Андреевна до страсти любила и очень тонко воспринимала музыку. С ней никогда не бывало скучно и тогда, когда мы были вдвоем: она развертывала передо мной «пестрый свиток» семейных преданий или вспоминала о Тургеневе, Достоевском, о жизни в Шахматове, о друзьях сына. С ней мы бывали в ледяных залах Консерватории в концертах — вдвоем. Блок (с ним я часто бывала в театре) утверждал, что ему «медведь на ухо наступил».

Я никогда не могла понять (и сейчас не понимаю) «взаимоотношений» Блока с музыкой как искусством. Если «медведь на ухо» — так откуда же такое глубинное ощущение гениальности Мусоргского, страсть к Вагнеру?

Когда я училась в гимназии А. П. Шаффе (ныне школа имени Е. Д. Стасовой), там еще бытовало предание, как лет десять или двенадцать тому назад ученица Любовь Менделеева во время урока пустила в стену класса чернильницей. Когда еще лет шесть спустя я спросила Любовь Дмитриевну Блок, имел ли место такой лютеровский демарш и что его вызвало, она подтвердила, что она действительно это сделала, «потому что уж очень было скучно». Думаю, что и в этом малом происшествии отразился характер любимой дочки Менделеева и жены Александра Блока.

Когда говоришь о большом человеке и его близких, опираясь на письма, «свидетельства современников», факты и т. д., следует помнить о том, что большие люди — это существа страстные и пристрастные, что под влиянием минуты они могут наговорить много злого и несправедливого о самом дорогом и тоже под влиянием минуты признать нечто совершенно им чужое. Надо также помнить о поговорке — «врет, как очевидец», о соотношениях «факта» и «личности» и о многом другом. Я думаю также, что, оценивая человека, не надо идти по стопам гоголевской Агафьи Тихоновны: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича, — я бы тогда тотчас бы решилась».

Человек, особенно большой человек, есть какой он есть. И все черты, все качества его живут в столь крепком «сцеплении», что разъять их можно только ценой убийства. И сколько бы грехов (вполне реальных) ни выискивали в личности и биографии жены Блока мемуаристы и исследователи,

с каким злорадством ни повторяли бы все то недоброе, что сказано о ней в дневниках и записных книжках, остается незыблемым другое —

Люблю тебя — Ангел-Хранитель во мгле.
Во мгле, что со мною всегда на земле
. . . . . .
За то, что я слаб и смириться готов,
Что предки мои — поколенья рабов,
И нежности ядом убита душа,
И эта рука не поднимет ножа.
Но люблю я тебя и за слабость мою,
За горькую долю и силу твою.
Что огнем сожжено и свинцом залито,
Того разорвать не посмеет никто.

К себе Блок здесь (как всегда!) несправедлив. Но сила Любови Дмитриевны действительно была огромна. И вошла она в жизнь Блока и его семьи как сознательная разрушительница «бекетовского». «Яд нежности», такое воспитание чувств, которое делает человека беззащитным перед грубыми прикосновениями реальной жизни, замкнутость сознания в кругу семейных традиций и отношений, прошлое — пусть милое и благородное, которое подавляет настоящее, — все это «бекетовское» было не только враждебным ей, но и — по ее ощущению — препятствием на пути (прямом пути!) ее мужа.

В «бекетовском» она не принимала попытку спрятаться от жизни, от перемен, властно вторгающихся в жизнь. Она нападала даже на фамильные черты внешности родных мужа, на ту породистую некрасивость, какую с такой точностью показал Блок, набрасывая в статье «Михаил Бакунин» портрет своего героя. Была тут и ревность, но было и зверушечье, и детское чутье к реальной опасности.

Бескорыстная и щедрая, под стать мужу, готовая легко и без «нажима» поделиться последним, она вместе с тем вряд ли была доброй.

Я никогда не понимала (и не притворялась, что понимаю) тех мистических переживаний, которые стоят за искусством в «Стихах о Прекрасной Даме». «Божественного» в Любови Дмитриевне я никогда не ощущала. Но человеческий ее масштаб, масштаб личности — был огромен. И особой его чертой была та детскость, которую неустанно отмечал в дневниках, письмах, разговорах ее муж. Это была именно детскость, а не инфантильность прелестного, якобы беспомощного создания (как в «Ариадне» Чехова — «Жан, твою птичку укачало»).

Блок много рисовал — все непритязательные, юмористические рисунки. И Любовь Дмитриевна — «маленькая Бу» (ее он рисовал чаще всего) — всегда изображена на них как девочка в детском платьице, с детской важностью, но с суровой настороженностью, вступающая в «мир взрослых».

И какой-то «игрой в песочек» было и ее коллекционирование старинных кружев и фарфоровых черепков («Би-и-тое, рва-аное» — нараспев комментировал ее находки Блок) и увлечение французским театром, вернее, великолепным французским языком актеров этого театра, так как пьесы — это Любовь Дмитриевна отлично понимала — были третьесортными. Выбор пьес она пыталась даже объяснить. И об этом сохранилась запись в моем дневнике. Блок поддразнивал жену за восхищение премьершей французской труппы — Анриэт Роджерс. Вдруг Любовь Дмитриевна — «Саша, что это я вчера такое умное сказала — про то, почему она только дрянь играет? (хватается за лоб). Вот забыла! Саша, что же это было? Такое умное!» Он смеется с бесконечной нежностью показывая мне на нее глазами. Я тоже смеюсь.

Любовь Дмитриевна не выносила интеллигентского словоблудия на религиозно-философские темы, чувствительной откровенности «с тремоло в го-

лосе». Юмор ее не походил ни на тонкую старинную насмешливость Александры Андреевны, ни на внешне «холодный», без улыбки «английский» юмор Блока. Она и здесь «рубила с плеча», не щадя ни правого, ни виноватого.

Я не очень принимаю актерское чтение стихов. Поэтому и не хочу судить о том, как читала «Двенадцать» Любовь Дмитриевна. На сцене я видела ее мало. Остались в памяти — леди Мильфорд («Коварство и любовь» в Эрмитажном театре в 1919 г.), где она была очень хороша внешне; помню довольно смутно и два спектакля в театре «Народной комедии», где Любовь Дмитриевна играла, если не ошибаюсь, с конца 1920 г. Мне спектакли (особенно «Виндзорские проказницы» Шекспира) даже понравились. Но Блок отнесся к ним настороженно, ощущая в них ту стихию новаторских «исканий», которые он не очень жаловал. Все это было предметом его многолетних «идейно-эстетических» споров с женой.

Была ли Любовь Дмитриевна умна? Несомненно. Отчасти в памяти, отчасти в записях (моих и в дневниках Блока) сохранились темы наших разговоров — и вчетвером (с Александрой Андреевной) и втроем. Разговор о культуре (о нем упомянуто в записных книжках Блока 1920 г.): речь шла («ведущим» был Блок) о неумении «владеть» культурой, расчленять ее, усваивая малые дозы, которые действеннее, чем поглощение «сплошняком» по методу гоголевской свиньи, которая мимоходом съела цыпленка и сама того не заметила.

Второй разговор шел по поводу статьи «Тайный смысл трагедии «Отелло». Совместная концепция Блока и Любови Дмитриевны утверждала, что злодеяния Яго совершаются не по воле человека, а по воле дьявола, который захватил власть над человеком, вселился в него. Яго — одержимый дьяволом, «и если неожиданно ночью осветить его фонарем, то на стене запляшет не тень поручика Яго, а какая-то другая, бесконечно уродливая и страшная тень».

Я же очень косноязычно пыталась тогда выразить мысль, что просто есть периоды, когда время, как проснувшийся вулкан, выбрасывает вперемешку все — огонь и пепел, и лаву, и раскаленные камни. Собеседников своих я, правда, не смогла, вернее, не сумела убедить, хотя Блок такой мыслью заинтересовался.

Отношения мои с Любовью Дмитриевной складывались по-разному.

Приняла она мое появление хорошо и просто, быстро «признала» меня. Хохоча, она рассказывала Александре Андреевне о той сцене, которую ей устроила Л. А. Дельмас при встрече на рынке, требуя объяснения, «почему эта девочка заняла такое место в Вашем доме?». Но мне думается, что постепенно у нее возникло ощущение, что «девочка» получает «не по чину», что Блок слишком глубоко вовлек меня в свою работу, что он — любитель одиноких странствований — слишком часто делает меня спутником и товарищем в загородных прогулках.

Внешне в отношении Любови Дмитриевны ко мне не изменилось ничего. Да и вообще, когда речь идет о людях такого масштаба, ни о каких прямых проявлениях настороженности или враждебности «в тексте» и разговора быть не может. И касается это не только отношений со мной, но и отношений между Любовью Дмитриевной и Александрой Андреевной. Но существование «подтекста», конечно, ощущалось очень явственно и без мещанских «выпадов». И особенно все это обострилось ранней весной 1921 года.

Самая большая близость между нами возникла в последние дни жизни Блока. Я тогда только что вернулась из Москвы, где я была у моей матери и не могла ее оставить после смерти моего младшего брата. Эти дни, а затем четыре месяца, что я еще провела в Петрограде, мы виделись с Любовью Дмитриевной ежедневно, занимались вместе подготовкой первого издания «Возмездия», бывали на кладбище.

Она очень не хотела, чтобы я уезжала. И все повторяла сердито: «Поехала кума неведомо куда».

По великому своему жизнелюбию, она скоро начала играть со мной, как девочка с большой куклой — наряжала меня, кормила, заставляла делать гимнастику. И в последующие годы, когда она бывала в Москве, она жила у меня, ходила по театрам вместе с моей сестрой.

И если связь между нами постепенно ослабела, если я уже не видела ее в последние годы ее жизни, потому что в ту пору меня увлекло в совсем другие «края» — другие люди, работа, отношения, — то это моя вина, и я и сейчас ощущаю это как вину. И я знаю, что Любовь Дмитриевна этого мне не простила. И еще, когда я думаю о ней, я повторяю — между мужем и женой никто не судья. И «да будет заклеймен позором» тот «малодушный», кто с этим не посчитается.

У меня сохранилось несколько билетов в «Большой Драматический театр», на которых написано рукой Блока «первый ряд литер А», а иногда и название пьесы. Это еще одна памятка его чудесного педантизма: если даже мы идем вместе, все равно все должно быть по форме. Но чаще мы приходили в театр порознь. И профиль Блока возникал слева от меня (1-й ряд литер Б), уже когда пригасал свет или даже в первом антракте.

Я (по сохранившимся билетам) знаю, что мы смотрели вместе «Разбойников» и «Дон Карлоса», «Отелло» и «Короля Лира», «Рваный плащ» Сем-Бенелли, «Царевича Алексея» Мережковского. Из памяти совсем исчезли спектакли — «Царевич Алексей» (вероятно, потому, что уж пьеса была очень слаба). О «Рваном плаще» помню только, что спектакль был хороший, что он нравился Блоку, что в постановке выводилась на передний план мысль о народности подлинной поэзии и мертвенности эстетизма.

«Лир» — трагедия очень мной любимая, смысл которой блестяще раскрыт в статье Блока «Король Лир» Шекспира», — как мне кажется, не получил в спектакле должного воплощения.

Крепче всего остались в памяти две шиллеровские постановки — «Дон Карлос» и «Разбойники» — особенно первая из них.

Обе постановки эти были показаны в 1918—1919 г. красноармейцам петроградского гарнизона, и каждой из них предшествовало вступительное слово Блока.

После спектакля он расспрашивал работников театра о том, каковы были впечатления зрителей. И с большим удовольствием слушал рассказ о живой и непосредственной ненависти, какую вызвал в зрителях герцог Альба, а также и об их желании узнать, какова была дальнейшая судьба Карла Моора. Обо всем этом мне Блок рассказывал сам. А десятилетия спустя Товстоногов, вспоминая о тех временах, утверждал, что красноармейцы Петроградского гарнизона шли на Юденича с возгласом — «Бей Альбов».

Тот облик Большого Драматического театра, какой сложился уже в первый его сезон, вполне соответствовал требованиям, которые, по ощущению Блока, предъявляла к искусству революционная современность. Это был театр реалистический «по форме» — романтический «по содержанию», театр, где революционно-романтическое стремление жить с удесятеренной силой не давало реализму опускаться до натурализма.

Обо всем этом Блок и говорил в речи к актерам Большого Драматического при закрытии сезона 1919—1920 г. — первого сезона в истории этого театра, — где утверждал, что победу свою молодой театр одержал потому, что отказался от «исканий», от горделивого стремления навязать зрителю свою волю — подавить его желание самому пройти тот путь, который скромно, без насилия указал ему театр.

Эту необходимость быть скромными, не навязывать, не подавлять творческое соучастие читателя или зрителя во встречах с великим искусством Блок утверждал неустанно, шла ли речь о театре или о «подаче» классического наследия литературы.

«Искания» же были для него «суетой», которую не терпит «служенье муз», потому что «прекрасное должно быть величаво». И если неутомимая алчба нового, такого, чтобы уже ни грана старого (или того, что кажется старым) в нем не оставалось, может быть плодотворной лично, индивидуально для того или иного большого художника, то массу различных индивидуальностей, коллектив, эта алчба объединить не сможет.

«Но юность нам советует лукаво. . .» — это Блок понимал. . . «Не спорю, не хочу спорить; есть и такой путь, и тот, в ком есть ненасытность, в ком очень раздражена и очень бушует кровь, рано или поздно бросится на этот путь». Но сам Блок твердо стоял за «величавый» путь скромности и самоумаления перед лицом жизни и великого искусства и, конечно, именно «излучение» его личности сплотило «массу индивидуальностей», подняло до истинного величия тот гимн «добру и правде», какой с юношеской, «вечно-мальчишеской» страстью «пропел» в «Карлосе» и «Разбойниках» Шиллер.

1920 год был, пожалуй, годом наиболее интересным в совместной работе. И чтобы дать понятие о ее характере, я позволю себе включить сюда мою запись о работе над Пушкиным, запись, сделанную (не помню с какой целью) уже в Москве, примерно год спустя после смерти Блока.

«Пушкинское» все отчетливее проступает в творчестве зрелом. И, наконец, «Возмездие» — человечнейшее произведение Блока, где слились, собрались все пушкинские отзвуки, хранимые памятно с малолетства.

Неслучайно — конец января, начало февраля 1921 г., когда Блок напряженно и непрерывно думал о Пушкине, были и неделями творческого возвращения к «Возмездию». О «пушкинском» в «Возмездии» Блок знал сам. Он у меня взял тогда книгу — альманах «Скрижали», которой у него не было и где было напечатано начало второй главы поэмы.

Я снова открыла эту книгу уже после его смерти, во время разговоров и работы с Любовью Дмитриевной над изданием «Возмездия». Два места были отмечены его рукой. Одно (длинной чертой — много строк)

Под умный говор сказки чудной
Уснуть красавице нетрудно
И затуманилась она,
Заспав надежды, думы, страсти. . .
Но и под игом темных чар
Ланиты красил ей загар:
И у волшебника во власти
Она казалась полной сил,
Которые рукой железной
Зажаты в узел бесполезный. . .

А в набросках к тому же «Возмездию»:

«. . . И няня читает с ним долго, долго, внимательно, изо дня в день.

Гроб качается хрустальный,
Спит царевна мертвым сном».

Первая мысль о подвиге — о пробуждении спящей царевны — от Пушкина, но у Блока это именно подвиг, потому что перед теремом царевны — битва.

Об этом в стихотворении «Сны» из цикла «Родина»:

. . .а няня тянет свой рассказ. . .
. . . . . .
В дымно-синие туманы,
Где царевна спит. . .
Спит в хрустальной, спит в кроватке
Долгих сто ночей,
И зеленый свет лампадки
Светит в очи ей. . .
Под парчами, под лучами
Слышно ей сквозь сны,

Как звенят и бьют мечами
О хрусталь стены. . .
С кем там бьется конник гневный,
Бьется семь ночей?
На седьмую — над царевной
Светлый круг лучей. . .
И сквозь дремные покровы
Стелятся лучи,
О тюремные засовы
Звякают ключи. . .

Вся тоска героя «Возмездия», которому в детстве снились эти сны — тоска о том, что наяву он «не свершил того, что должен был свершить, не его меч ударил со звоном о хрусталь стены» *.

И когда он меня спросил — или пожаловался, — почему ему внутренне «не дается» судьба уже взрослого героя, я ответила — это потому, что герой не пишет стихов — и на несколько удивленное — «как?» — напомнила ему не забытые мной его слова о том, что художник платит случайной жизнью за неслучайность пути. А если нет «пути», то случайная жизнь теряет смысл и значение. Ответом был внимательный взгляд.

Вторая черта, сделанная рукой Блока в альманахе «Скрижали», стоит против строки «Но уж судьба давала знак» (этой строки в окончательном тексте нет). В публикации «Скрижалей» — за ней шли Петр I на «головном фрегате» входящего в Неву флота и кровавая заря, которая вставала, «грозя Артуром и Цусимой, грозя девятым января».

В недели работы над Пушкиным в 1921 г. я застала Блока за чтением статьи Владимира Соловьева «Судьба Пушкина». Я взяла книгу со стола. Многие места были отмечены, подчеркнуты синим карандашом. Но особенно резко, чертами, закрывающими промежутки между строчками, были подчеркнуты слова: «Пушкин убит не пулей Геккерна, а своим собственным выстрелом в Геккерна».

— Почему Вы так подчеркнули это? — спросила я.

«Потому что это неправда», — каким-то одновременно глубоким и звенящим голосом ответил Блок. «Пушкина убила не пуля Дантеса, его убило отсутствие воздуха» — так перефразирует Блок слова Соловьева в статье о «Назначении поэта». И если в статье «О назначении поэта» он кое в чем (например, в определении «черни») с Соловьевым сошелся, то в самом существенном, в нравственной оценке дела Пушкина и в страшной картине преследования поэта, травли (которую Соловьев отрицал) Блок резко опровергает того, кого звал когда-то своим строгим учителем. Блок восстал за человека, за тайную свободу, за права художника.

Другой наш разговор по поводу той же статьи Соловьева (к тому, что его беспокоит, Блок в разговорах со мной часто возвращался по нескольку раз) начался с очень злых и резких нападок Блока на «крайности» пушкинизма, на — по его определению — беззастенчивое, циничное, пошлое и бессмысленное копанье в интимной жизни художника.

В это время Блок думал об издании «портативного» Пушкина — небольших томиков или одного тома, где бы материал был подобран так, чтобы не перегружать внимание нового читателя не самым нужным. Стиль примечаний — простое указание в какую сторону, на какое событие должно свободно, без принуждения направиться внимание читателя — был для Блока ясен. Отсюда он перешел к тому, что Соловьев обвинял Пушкина во лжи, потому что тот, несмотря на то, что написал «Я помню чудное мгновенье», в письмах называл Анну Керн «вавилонской блудницей». «Пушкин — художник, а не священник, — без гнева, но упрямо сказал Блок. — Не надо смешивать. Жизнь Пушкина случайна, жизнь художника всегда случайна, иногда до бессмыслия. Вспомните, что Георгий Петрович рассказывал нам о смерти

---

* Обо всем этом мы говорили позже — в первые месяцы 1921 г., когда Блок снова вернулся к работе над «Возмездием». Тогда он согласился со мной, что «спящая красавица» — второй главы «Возмездия» — не только «отзвук» спящей царевны и Людмилы, но еще и пани Катерина, а колдун — это и колдун «Страшной мести».

Фета. Художник платит случайной жизнью за неслучайный путь. И никакой лжи тут нет. И никто тут не судья».

Много мы говорили о выборе материала. Сделать «портативного» Пушкина в одном томике не представлялось возможным. Каждое исключенное стихотворение вызывало ощущение нареза на живом теле. Наконец, совершенно отчаявшись, Блок сказал: «Начнем брать только от «Редеет облаков летучая гряда». — «Почему?» — «Оно первое, от которого подступают слезы».

В дни мыслей о Пушкине в конце 1920 г. к Блоку часто приходил матрос, поэт-самоучка. Блок очень увлекался его стихами. В их звуке ему слышалось то же бессмысленное, непонятное обаяние, что и в пушкинских эпиграммах. «Почему они сразу запоминаются наизусть?

У Клариссы денег мало,
Ты богат; иди к венцу:
И богатство ей пристало,
И рога тебе к лицу.

Так же и у него:

Если дернут вдруг за юбку,
Сразу свалится она.

Это даже древнее Пушкина, это роднит нас с Пушкиным через Державина». Блок очень увлекался стихами матроса и очень сердился, когда Александра Андреевна говорила, что это барина потянуло на капусту.

Среди спутников Блока в русской и мировой литературе были художники, близкие ему по-особому, такие, отношения с которыми вклинивались в жизнь и биографию. Приходилось слышать от него: «во мне Стриндберг сидит» или «Цыганская венгерка» мне так близка, как будто я сам написал ее». Также «лично», изнутри ощущал Блок и творчество Гейне.

Не трудно понять, почему Гейне — романтик и разрушитель романтизма, «неистовствующий и сгорающий в огне будущего», — стал человечески, товарищески близок Блоку.

Не трудно понять и то, почему об этой близости Блок говорил иногда словами жесткими и жестокими — «есть любовь, о которой можно говорить только ядовитыми, режущими словами». Такая любовь — сухая и горькая любовь зрелого человека и была для Блока подлинной любовью. К любимому он был беспощаден, как к себе самому, и беспощадность эта возрастала с каждым годом. Это не было пессимизмом, а, скорее, великой требовательностью к себе, людям, жизни, а также и доверием к прочности самого главного в жизни человека.

В последние годы все это отразилось в его выступлениях печатных и устных, в его отношении к художникам — «спутникам» и прежде всего к Гейне, в работе над ним в 1919—1921 гг.

Я не буду здесь касаться предыстории этих отношений дооктябрьской поры — это увело бы меня слишком далеко. Вернусь к 1919 г., когда редакционная коллегия «Всемирной литературы» поручила Блоку редактирование собрания сочинений Гейне и он, по собственным словам, «помолодев на десять лет», с увлечением взялся за работу.

Он сразу повел ее не совсем обычным порядком, и его устремления тут же вызвали настороженность некоторых влиятельных представителей академической науки.

Дело в том, что в основе тех споров, которые возникали в связи с как будто частными проблемами творчества Гейне, лежал вопрос об общей его оценке, об основном смысле этого творчества. Для В. М. Жирмунского — в ту пору еще молодого ученого — Гейне был только романтиком, для А. Волынского — только пламенным поборником иудаизма, для крупнейшего античника Ф. Ф. Зелинского — «блуждающим огоньком» лирики, подверженным смене настроений, для профессоров Браудо, Батюшкова, Силь-

версвана — лишь представителем некоего периода в развитии немецкой поэзии. В каждом из этих определений заключался кусочек правды — но «монистического» решения вопроса все они дать не могли. Тот факт, что Гейне был одновременно и романтиком и разрушителем романтизма, и блуждающим огоньком лирики и автором «Силезских ткачей», и воинствующим эллином и пламенным иудеем, и поклонником Шеллинга в философии и скандальным памфлетистом, — этого представители академической науки в расчет не принимали, не пытаясь понять главное — взаимосвязь всех обликов поэта, найти монистическое решение проблемы «Генрих Гейне».

В поисках «монистических» решений, в попытках понять главное — как соотносится наследие художника с самыми великими — с «тектоническими» сдвигами в судьбах человечества — Блока всегда поддерживал Горький, один, кажется, из всех членов редколлегии, уловивший сквозь неточность и условность терминологии не только смысл споров о Гейне, но и смысл доклада Блока о крушении гуманизма.

Блок и Горький — тема особая. О том, каковы были их отношения в 1918—1920 гг. — в период работы в издательстве «Всемирная литература», я знаю только «односторонне». И мне кажется, что отношения эти были больше всего похожи на «интеллектуальный роман», на взаимное восхищение масштабом личности, помогающее идти «поверх» тех или иных разногласий. И еще мне кажется, что и тогда и раньше (о великой любви и уважении к творчеству и личности Горького Блок говорил в статьях, дневниках, письмах с начала 900-х годов) Блок был справедливей и беспристрастнее в оценках Горького, чем Горький в оценках Блока.

Что касается отношения Блока к академической части редколлегии, то тут было и много забавного. Блок признавался мне, что в нем до сих пор живо студенческое чувство к «профессорам» — смесь уважения и почтительной неприязни, а также и досады на разрыв между огромным объемом знаний и академической косностью или даже тупостью в восприятии искусства. Общее определение «профессора» не препятствовало особому отношению к тем редким представителям этого «рода», в работах которых сумма знаний сочеталась с артистизмом и способностью к обобщениям.

Первым среди них был Василий Михайлович Алексеев (о том, что их притяжение было взаимным, В. М. Алексеев сказал мне много лет спустя). Вообще доклады академиков-востоковедов Блок ощущал как некое «крушение» привычного европоцентризма в представлениях об искусстве. Так в 1920 г., вернувшись с заседания редколлегии «Всемирной литературы» после доклада В. М. Алексеева, он стал, волнуясь, объяснять мне, что в культурном наследии великих и древних народов Азии, например, Индии, Китая, есть, по-видимому, немало поэтов по силе равных Гомеру.

Не надо думать также, что Блок не ценил той «платной и питательной пищи», какой были чисто филологические изыскания профессоров. Но обобщения, основанные на этой сумме сведений, нередко стояли для Блока на уровне «профессорских штучек».

Таким образом, «профессора» как «родовое» и отрицательное понятие (близкое, пожалуй, к понятию «кадет») продолжало для Блока существовать.

«А кто же будет писать? Профессора? Профессора? — прикрикнул он на меня, когда я усомнилась в том, что смогу написать предисловие к народному изданию «Тристана и Изольды» Жозефа Бедье. На память об этом эпизоде у меня осталась записка, какой Блок (с чудесным своим педантизмом) сопроводил подобранные им для меня материалы — «Евгении Федоровне для предисловия и примечаний (№! — в народное издание)».

Тут речь шла о «Тристане и Изольде». А в еще одной записке, которая сохранилась у меня, речь идет уже о Гейне. В ней изложены соображения Блока, о которых он просил меня «подумать».

«В предисловие к „Мальманзару“.

Душевное состояние Гейне.
Почему ему понадобился испанский XV век?
Квирога и Риэго. Гимны Риэго.
Пушкин и Риэго.
О том, до чего слаба пьеса как пьеса, и как литературное произведение. И почему он ее все-таки перепечатал?
Связь с Lyr. Intermezzo. Песня арфиста — пролог и Lyr. Intermezzo».

Если же снова вернуться к спорам о Гейне на редколлегии «Всемирной литературы» в 1919 г., то больше всего осталось у меня в памяти то, что было связано с вопросом о романтизме — об эволюции в сторону католической реакции иенских романтиков, о «Романтической школе» Гейне.

Оппоненты Блока объясняли войну, объявленную Гейне иенским романтикам, с которыми он некогда был кровно связан, тем, что набравший силу в его сознании рационализм заставил его, так сказать, выплеснуть вместе с реакционными тенденциями и самый романтизм как мироощущение. Против такой постановки вопроса восстал Блок.

В своем ответе на речь А. Волынского он доказывал, что, отрекаясь от иенских романтиков, Гейне сам оставался романтиком. Ссылаясь на признания поэта, Блок утверждал, что удары его были в сильной мере ударами по себе, что ратовал он не столько против католической реакции, сколько против самой сущности иенского романтизма. «Вот еще о чем не забыть, — писал мне Блок в записке с заседания редколлегии. — Говорят, он против католической реакции, а он по себе бьет. Не против католической реакции, а по тому, что докатятся». Последние слова этой записки дают ключ к пониманию того, почему Блок с такой горячностью вступил в спор. Автору «Балаганчика» и «Диониса Гиперборейского» было слишком понятно отношение Гейне к романтизму, каким он был в начале прошлого века в Германии. Не против католической реакции, а потому что докатятся, т. е. не только против факта политического значения, но против целого мировоззрения, которое в конечном счете отрывает от жизни, затемняет зрение, мешает возможности видеть и понимать события. Защищая право Гейне на измену романтикам, Блок снова поднимал тот вопрос, который был им решен для себя в 1905—1906 гг. И если Гейне отрекался от иенских романтиков, мистические чаяния которых были ему некогда дороги и близки и, отрекаясь, «проплясал над ними свой танец мести, гремя дурацким колпаком Кунца Фо—дер Разена», то и Блок не менее жестоко обошелся с соратниками своей юности в «Балаганчике» и особенно в набросках к драме «Дионис Гиперборейский». В этой драме герой, восставший против забвения жизни и человека, покидает соратников, которые уходят на ледяные вершины в поисках неведомого бога. Юноша-изменник не мог вынести их отвлеченности, их аскетизма, «опрозрачневших рук и лиц», ибо «воск лиц — признак дряхлеющего стремления». Он покидает их и ждет одинокой смерти, его мучат сомнения, «не надо ли за ними», «но поет в нем какая-то мера пути, им пройденного». И он, изменник, обретает в горах легконогую, пляшущую дочь мудрости, а те, кто шел на гибель, те, кого он считал выше себя, возвращаются через некоторое время, «разжирев от исканий». «Они безмерно чем-то гордятся, хвастливы, стали розовыми и упитанными». — Такой конец искателей неведомого божества стоит выпадов Гейне против Шлегеля.

В дни, когда в редакционной коллегии происходили эти споры, были у у нас и «домашние» беседы на эту тему. Я не могла понять, как соотносится с этими спорами тот дифирамб романтизму, каким была написана в эти же дни и показанная мне речь «О романтизме» для актеров Большого Драматического театра. Из объяснения для меня стало ясным лишь одно, что существует как бы два романтизма — один, лежащий в пределах литературы и литературных течений, другой — некая «сущность» в духовном мире человека, народа и человечества, «новый способ жить с удесятеренной силой».

Сейчас я вижу, что понятие это — второго романтизма — было все же попыткой найти имя для реальных явлений, увиденных честным, чутким, сильным художником. «Дух музыки», «человек-артист», «веселая наука» и все другие определения, взятые у Вагнера, Ницше, философов древности, — все это лишь попытка «обозначить» реальные явления, опыт, наблюдения, попытка, скорее, бесплодная, потому что опыт-то был живым, а «имя» оставалось условным и к живой реальности надо было пробиваться сквозь условное обозначение.

Проникновенная же интуиция в постижении реальности открывалась в образах творчества Блока, сразу находящих путь к сердцу и сознанию человека, в образах, связанных, например, с ветром, метелью, океаном. Блок сам чувствовал всю неполноту и непрочность «обозначений». Об этом, в частности, он сам говорит в конспекте заключительного слова в прениях по докладу о «Крушении гуманизма» в «Вольной философской ассоциации».

«Я осторожно сказал слово артист, потому что слова большего сказать не решаюсь, не умею, не имею права». Но определение, прозвучавшее в прениях, «цельный человек» Блок тоже не принял. «Но человек цельный» — опять недосказано. Это опять осторожное слово философа, как мое слово «артист» — осторожное слово художника».

К пониманию того, какие опасности таит в себе «обозначение» — даже условное, даже осторожное, — Блок пришел лишь после Октября.

Многолетняя переписка с Андреем Белым, полусогласие в спорах с некоторыми концепциями Вячеслава Иванова и т. д. — свидетельствует о том, с каким насилием над собой Блок «втискивал» свой опыт, свое ощущение времени в «схемы», по существу ему чужие, в основе которых лежали «мистифицированные» представления о действительном «содержании эпохи».

Мне довелось в 1919—1921 гг. близко подойти к работе Блока над Гейне, в постоянном общении увидеть всю ее сложность. Гейне был для Блока прежде всего художником, но и, кроме того, «литератором-интеллигентом» (так говорил Блок в минуты раздражения). «Ни Гейне, ни его круг народа не знали», — цитирует он в 1919 г. «умные и печальные» слова Герцена, — «и народ их не знал. Ни скорбь, ни радость низменных полей не поднимались на эти вершины». «Все это не объясняет ли, отчего учено-революционная вспышка в Германии так быстро лопнула в 1848 г.? Она тоже принадлежала литературе и «исчезла, как ракета».

«Отрывочные моменты состояния, близкого к божественному, на высоких ступенях духовного нашего достоинства», — насмешливо скандировал Блок революционные предсказания Гейне из III части «Nordensee», написанной под непосредственным впечатлением июльской революции.

Да, по убеждению Блока, Гейне глядел вперед и «в скорбях нашего века предугадал муки новых родов» (из записки к автору этих строк), но вместе с тем «народа он не знал и народ его не знал». Вот откуда и двойственность восприятия — этого неудержимо плывущего в мир нового, которое он приветствовал и которого страшился.

И несмотря на страх при восприятии вступающих на арену истории новых сил, Гейне, по убеждению Блока, был зорче всех либеральных и честных народолюбцев. «Примеры переоценок, — писал Блок в своем дневнике 7 февраля 1919 г., — Гейне и народолюбец. Несмотря на физические отвращения, Гейне чувствует, в чем дело („Силезские ткачи"). Он — артист. Народолюбец при любви не чувствует».

Работа Блока над собранием сочинений Гейне походила не на редактирование, а на общение с живым человеком, бесконечно близким в одном и раздражающе чуждым в другом.

Гейневская ирония, которая способна разложить даже самое светлое — обратить в пустыню весь окружающий его мир — эта ирония доводила Блока до самого злого отчаяния. В годы «страшного мира» он и сам нередко защи-

щался «беззубым смехом» от разрывающих его противоречий. Но такой способ обороны он воспринимал, как тяжкую болезнь, и осуждал его как в других, так и прежде всего в себе.

Второй чертой, вызывающей раздражение Блока, было то, что он называл старостью Гейне. Иногда, рассердясь, он звал Гейне Шейлоком. Я помню, как мы работали в течение целого вечера над переводом небольшого стихотворения, написанного двадцатилетним Гейне.

Wie die wellenschaumgeborene
Stalt mein Lieb in Schönheitglanz*.

Ничего не получалось. «Ничего и не выйдет, — сказал Блок, — это семидесятилетний Фет мог перевести верно — «друг мой пре-елести полна». Ведь тут жесты Шейлока. Schönheitglanz — ведь это о бриллиантах Амалии. Не то, что он влюбился потому, что бриллианты, но от бриллиантов великолепие — Schönheitglanz. Я только сейчас понял, как он стар. Умирающий Шиллер моложе двадцатилетнего Гейне. Вот где юность — Шиллер».

Еще одна особенность творчества Гейне, вызывавшая раздражение Блока, была, по его определению, «метафоричность мышления», т. е. утрата ощущения связи с живым, природным содержанием слова. «Долговязый рвотный порошок», — говорил он горестно и не без отвращения. Но эмоциональную силу языка Гейне-прозаика Блок ощущал постоянно и упорно отстаивал и выявлял ее, редактируя чужие переводы.

Как все подлинные художники, Блок ничего не переводил случайно. У каждого автора он находил свое. Поэтому в 1920—1921 гг. он брал стихи только из «Neue Gedichte» **. «Это зрелый Гейне, старый Гейне — этого-то мне и надо».

— Но ведь все, что Вы переводите сейчас, взято из «Neuer Frühling»***, ведь там речь о новой весне.

— А для меня — как у Вячеслава Иванова — «в дни когда новой весной жизнь омрачилась моя».

У каждого из его переводов того времени есть своя история, каждый из них возник как самостоятельное стихотворение. Блок так на них и смотрел и собирался их включить в следующий сборник своих стихов по тому же праву, по которому так поступали и русские поэты в прошлом.

С текстом Блок обращался свободно. Иногда он настолько изменял стиль стихотворения, что, по собственным его словам, оно становилось стихотворением «на мотив из Гейне». Так, ироническое восьмистишие Гейне послужило всего лишь отправной точкой для великолепного «испанского романсеро».

Только платьем мимоходом
До меня коснешься ты,
По следам твоим несутся
Сердца бурные мечты.
Обернешься ты, вперится
Глаз огромных синева —
С перепугу за тобою
Сердце следует едва.

Работу над чужими переводами Блок производил не только со свойственной ему тщательностью и добросовестностью, но порой — я бы сказала —

---

* Как из пены волн рожденная, Друг мой прелести полна (перевод с нем. А. А. Фета).

** «Новые стихи» (*нем.*).

*** «Новая весна» (*нем.*).

даже с увлечением. Старые переводы использовать было невозможно либо потому, что они не имели отношения к подлиннику из-за формального несовершенства, либо потому, что в них, по определению Блока, каждый очень хорошо рассказывал о себе, что не имело обычно прямого отношения к Гейне.

Переводы тех лет, конечно, были объективнее, но вклад их в русскую «гейниану» оказался весьма скромным. Если же за перевод брались крупные поэты — пропадала объективность. «Что мне делать с «Атта Троллем», — жаловался Блок. — У Гумилева переведено «в гневе вздрагивает сердце», а у Гейне сказано — «все кишки воротит в брюхе».

Бывали дни, когда Блок работал над Гейне не отрываясь, когда все его разговоры сводились к Гейне. Бывали дни, после особенно напряженной работы, когда Гейне его раздражал, вызывал самые резкие отзывы, самые черные подозрения. Но никогда Блок не относился к Гейне спокойно, «историко-литературно». Гейне всегда оставался для него живым современником.

Над чужими переводами стихов Блок работал еще напряженней и тщательнее, чем над прозой. Вес каждого слова, интонация и прежде всего особенность гейневского ритма (которые не давались большинству переводчиков) — вот что Блок стремился утвердить и восстановить, редактируя чужие переводы.

Ритм Блок при редактировании выстукивал карандашом или чуть намечал голосом мелодии. Я поступала так же, и порой у нас возникали споры. Так, я запомнила, что при редактуре перевода стихотворения «Das Mädchen schläft in der Kammer» его музыкальную основу — ритм вальса — мы слышали по-разному. Для Блока он звучал — «Де-ви-ца уснула в коморке». Я же утверждала, что ритм вальса диктует в первом слове некий апостроф — и надо читать «Девиц' уснула в коморке». «Девиц» — с апострофом стала тут же предлогом для шуток и смеха.

Степень самостоятельности жизни как будто однозначных слов Блок также ощущал необычайно остро. Так, при работе над переводом «Поле битвы при Гастингсе» ему в равной мере казалось невозможным написать «Эдит — лебяжья шея» (прозвище, данное героине стихотворения) и — нарушая ритм — сказать «Эдит — лебединая шея»: «Ведь лебяжий может быть пух — нежный, мягкий, без формы, а «лебединая» — это живой и гордый изгиб, это уже и внутренний облик женщины». Пришлось все-таки оставить «лебяжий» и Блок, признав поражение, пошел на кухню колоть лучину, ставить самовар, от времени до времени возвращаясь с гренадерским тесаком отчима в руке, чтобы огорошить меня новым пародийным вариантом гейневской строфы. Из всех их я запомнила, к сожалению, только один —

Лебяжьей шеей — звалась она
Затем, что ноша шею,
Она, как гусь, — король
Был за-интригован ею.

«Это — перевод Мазуркевича, — возгласил он со смехом и позвал Александру Андреевну: «Маменька, идите пить чай, мы с Е. Эф. Книпович уже кончили». Так он нас звал в веселые, озорные минуты — «Вы, маменька, и Е. Эф. Книпович».

Блок никогда не называл меня по имени не только «в глаза», но, по свидетельству Александры Андреевны, и «за глаза». И только раз в записной книжке 1920 г. стоят слова «Два Жени у нас (Иванов и Книпович)». Мне бесконечно дорого, что мы — «Жени» — помянуты вместе. Евгений Павлович Иванов — со всей своей умозрительной путаницей с Христом — каким-то личным, «для» домашнего употребления (он его никому не навязывал), но и с действенной добротой, бескорыстием, мудростью сердца был чу-

десным образчиком человеческой породы и, конечно же, самым близким из немногочисленных друзей Блока.

В конце 1919 г. и весь 1920 г. Блок часто читал нам — и то, что он написал только что, и прежнее, и чужие стихи. У меня сохранились записи о том, как он нам читал главу «Возмездия» об отце. И я хорошо помню этот душный июльский вечер 1920 г. и ворчанье дальней грозы и голос Блока, прерывающийся от подступающих слез, и вдруг — дружное пенье матросов на реке. Читал он нам и «египетскую пьесу» («Рамзеса»), и написанные статьи, и старые свои стихи. И говорил о том, какие из них он «не любит» (например, «Голос из хора») и что даже и в не «нелюбимых» кажется ему подозрительным, например, сделанная им в угоду «канонам» эстетики декадентства замена «детской» строки — «Ах, что значит не жить и не есть» — «подозрительной» строкой, «разверзающий звездную месть» (в стихотворении «Там в ночной завывающей стуже»). Подозрительной казалась ему и «музыка» «Соловьиного сада» — «На этом круженьи и пеньи бог знает куда заехать можно». Неожиданно для меня «нелюбимой» оказалась строфа «Возмездия»:

Пусть церковь божия пуста,
Пусть пастырь спит, я до обедни
Пройду росистую межу,
Ключ ржавый поверну в затворе
И в алом от зари притворе
Свою обедню отслужу.

Он многое открыл для меня в русской поэзии. К моему любимому — Батюшков, Баратынский, Тютчев он хотел «прибавить» Фета и Полонского. И Фета я полюбила. «Ключом» к нему стали два стихотворения, которые мне читал Блок («Я болен, Офелия, милый мой друг» и «Даль небес опять ясна»). С Полонским было сложнее. Я почти его не знала, и мне трудно было пробиться сквозь то «либерально-декламационное» начало его поэзии, которое закрывало для меня главное. Это «главное» я вдруг и «лично» почувствовала, когда Блок прочел мне «Холодную любовь».

Любовь моя давно чужда мечты веселой, —
Не грезит, но зато не спит,
От нужд и зол тебя спасая, как тяжелый,
Ударами избитый щит.
Не изменю тебе, как старая кольчуга
На старой рыцарской груди,
В дни беспрерывных битв она вернее друга,
Но — от нее тепла не жди.

К Брюсову мы оба относились одинаково. Но объяснить мне, в чем прелесть Бальмонта, который был Блоку совсем не близок, ему не удалось. Блок «приоткрыл» мне Иннокентия Анненского («через» стихотворение «Зажим был так сладостно сужен»). Его очень удивляло мое «не личное» (а как к «классику») отношение к Лермонтову.

Мы много говорили и вдвоем, и втроем (с Александрой Андреевной) и о литературе, и о музыке, и об истории — о том, что определяло те или иные «прошлые времена» и что главное сегодня.

Помню разговор о замысле (горьковском) исторических картин — о героях их, о Тристане-чаровнике и Изольде Белокурой, о Возрождении, которое Блок ощущал как «страшное», о людях Возрождения, об Изотте Манатеста — «она — „из прачек — в герцогини“, — скуластая, большеротая, вульгарная, пленительная». Очень часто (уже всегда «вдвоем») он говорил о самом главном — о «стихии большевизма» — живой и великой, отнюдь, вопреки очевидности, не отождествляя ее с коммунизмом и отгораживая ее

от марксизма, о котором он создал собственное представление как о железной догме, сковывающей естественное движение жизни. Очень настойчиво он спрашивал о том, есть ли по-моему в коммунизме — романтизм, т. е. осуществленное стремление жить с удесятеренной силой.

Где-то в начале 1919 г. — точная дата у меня не отмечена — состоялось мое знакомство с Корнеем Ивановичем Чуковским, перешедшее в дружеские отношения, «разрешенные» мне. Познакомил нас Блок на каком-то из спектаклей Большого Драматического театра и усадил Чуковского на свое место (1 ряд литер Б) рядом со мной (1 ряд литер А), а сам ушел в другой конец ряда и все поглядывал — идет у нас разговор или нет.

К сожалению, у меня не сохранилось записей наших бесед, нет связных воспоминаний. Есть беглые заметки: ужинали вместе в 12 часов ночи на кухне Дома искусств, а потом я пошла ночевать к О. Д. Форш; уговаривал меня не общаться с Андреем Белым и не ходить на заседания Вольфилы; втянул меня в работы для издательства Гржебина, «гиперболически» (что было ему свойственно) восхищался всем, что я пишу, и был добрым, очень добрым и чутким в трудные для меня весенние и летние месяцы 1921 г. И пусть эти строки будут моей запоздалой — через шестьдесят лет — благодарностью за все, что он для меня сделал. Когда я видела их вдвоем — Блока и Чуковского — поражала их контрастность — Блок был «статичен», а Чуковский — весь в движении. Как-то в озорную минуту я ему сказала, что он похож на вербную игрушку — крокодила из дощечек — его держат за хвост, а он извивается и гнется во все стороны.

Что касается «статичности» Блока, то она была особой. В ней не было ничего «каменного», «застывшего». Это была величавая статика динамичной силы, скрытая за таким спокойствием, какое свойственно, например, портретам людей Возрождения.

Я видел: мрамор Праксителя
Дыханьем вакховым ожил,

— писал в послании Блоку Вячеслав Иванов («мрамор Пракситэ — эля» — дразнила мужа Любовь Дмитриевна).

О мраморной или бронзовой «маске» каждый по-своему твердили авторы мемуаров, но, думаю, что точнее всех был Горький, который, по великому артистизму своему увидел во внешности Блока то, о чем я сейчас говорила — «флорентийца» эпохи Возрождения, скрытую силу.

Во мне нет данных летописца и поэтому, хотя я много раз слышала выступления Блока на литературных вечерах и вечерах «памяти» (Владимира Соловьева, Леонида Андреева), я совершенно не помню, ни кто на них присутствовал, ни кто на них выступал. Запомнился (наряду с Блоком) лишь Горький (на вечере памяти Леонида Андреева) и Есенин 1918 г. (на вечере в Тенишевском зале) тоненький, юный, выкликавший —

Небо, как колокол,
Месяц — язык,
Мать моя Родина,
Я — большевик.

Блок на вечерах, «на людях», естественно, читал иначе, чем дома (нам — с Александрой Андреевной). «Потенциальная» динамика уходила глубоко в подтекст, проявляясь в чуть намеченных интонациях.

Аплодисменты (так же, как и всякую «дань» своей славе) Блок встречал не только вежливым и благодарным спокойствием, но, я бы сказала, как нечто относящееся не к нему лично, а к чему-то, что стоит за ним и больше него.

Чувство человеческого достоинства сочеталось в нем с таким отсутствием тщеславия, с такой жестокостью «самооценки», какую я не встречала ни в ком другом. Известность, в том числе и зарубежная, не интересовала его. Над французским переводом «Двенадцати», который я для него раздобыла, мы вместе потешались. Да и как было не потешаться над строками такими, например:

Vaneka et Kateka
Sont au cabaret
Elle a des Kierenki
Dans ses bas

В итальянском же переводе что-то для него зазвучало и он несколько дней повторял, усмехаясь:

Libertà! Libertà!
Tra-ta-ta

У меня сохранилось семь книг с дарственными надписями Блока — все, что вышло в 1918—1921 гг. Каждая надпись — «в память» о чем-нибудь, о весне 1918 г., о вечере в Тенишевском зале, где он читал «Ямбы», об осени, когда мне минуло двадцать два года — и так далее.

Но самая дорогая мне надпись (на книге «За гранью прошлых дней») сделана в августе 1920 г. и гласит: «Евгении Федоровне Книпович. В лето Стрельны. Август 1920 года».

Стрельна — это по сравнению с Павловском или Петергофом, конечно, очень скромный памятник старины. Я не знаю, кто строил стрельнинский дворец, «вознесенный» довольно высоко — от него к морю шла широкая лестница («порфирные ступени екатерининских дворцов»). Между морем и парком — огромным, с многовековыми деревьями, стояла стена камышей выше человеческого роста, глухая, непроницаемая для взгляда, какие-то северные «туги». Сам парк был перерезан каналами, где цвели кувшинки. По аллеям и дорожкам можно было бродить часами, не встретив ни одной живой души.

Такой была Стрельна шестьдесят лет тому назад. Наверное облик ее изменило время и до Великой Отечественной войны. Но уничтожили дворец и парк фашисты.

Добраться до Стрельны можно было либо на поезде, либо на трамвае, который шел от Нарвских ворот, очень долго, дребезжа и раскачиваясь. У меня осталось странное впечатление, что трамвай этот всегда был пустой. И никто, кроме нас двоих, на конечной остановке не входил и мы почему-то (чтобы быть «на воздухе») садились прямо на площадку, спустив ноги на ступеньку.

Первый раз мы поехали в Стрельну вместе и бродили по парку и сидели на ступеньках лестницы и почти не разговаривали — от какой-то блаженной лени и отрешенности от всего «городского». Потом мы уже приезжали туда порознь и встречались после купанья на условленном месте («у грота с колодцем»), и бродили по дорожкам, и сидели в траве все с тем же ощущением блаженной отрешенности.

Впрочем, иногда на моего спутника находил озорной стих. Например, через дорожку впереди нас что-то пробежало — то ли молодой бельчонок, то ли крупная полевка. «Ой, посмотрите, кто это пробежал?». Блок ледяным голосом: «Мопс». И все в таком же роде. Как-то на отдыхе он повалился в траву, а я, сидя рядом на кочке, смотрела, как тени листьев скользят по его лицу. И тут меня одолели литературно-музыкальные реминисценции и я пропела: «Эй, Зигфрид, карлика злого убей!». Блок открыл глаза: «Е. Эф. Книпович — у Вагнера птичка эта с дерева поет».

Летом 1920 г. он почему-то стал носить очень красивый аметистовый перстень своего отца. Как-то в Стрельне я захотела рассмотреть перстень

поближе. Блок снял его с пальца и дал мне, и вдруг сказал: «Поносите его, хорошо? А потом я его опять возьму». Я, конечно, согласилась. Было это 17 августа 1920 г. Перстень, перекочевавший на мою руку, естественно вызвал большое оживление в кругу знакомых и незнакомых. Изображение кольца в профиль и анфас сохранилось в моей тетради.

От Нарвской заставы мы возвращались на Офицерскую, как — я не помню, скорее всего пешком. Я тоже была в ту пору ходоком неутомимым.

Александра Андреевна встречала нас, обожженных солнцем, смеющихся, возгласом: «Саша, Женя, ну на что вы похожи!»

Озорство продолжалось и далее. Блок не давал мне встать с места и с комической осторожностью возил меня в кресле по комнате, повторяя: «Маменька, Е. Эф. Книпович переутомилась».

В эти летние дни 1920 г., когда на небе впервые появлялся серпик луны, Блок по очереди подводил нас с Александрой Андреевной к открытому окошку, чтобы мы обе увидели месяц с правой стороны.

Я позволю себе дать здесь выписку из своего дневника 1920 г. Она, как мне кажется, дает представление о том, какой была ласка, забота Блока по отношению к друзьям.

15.VI.20.

— Еще творогу.
— Нет, спасибо.
— Ну, так яйцо.
— Нет, спасибо.
— Вам надо кушать.
— Но я же сытая!
— Все-таки надо съесть яйцо.

(И на лице полная суровость).

А осенью 1920 г. кончились стрельнинские просветы блаженной лени и отрешенности. И я вернула в конце сентября (на премьере «Короля Лира») перстень его законному владельцу, получив взамен красную розу, и началась работа (над Гейне, над Пушкиным, над статьями для «Всемирной литературы»), и походы в театр, и встречи с людьми и на людях.

И постепенно — очень постепенно — в жизни, отношениях, быту проступали черты внутреннего неблагополучия, тревоги, раздражения, повисала какая-то еще неясная угроза.

Ко мне Блок был в ту пору бесконечно добр и ласков, но шутки и смех становились все реже и реже. А вопросы о том, где, в чем живет то, что родилось в Октябре, становились все настойчивее.

Травля, развязанная против Блока «главными интеллигентами» (его выражение), стихла в пределах страны (перекинувшись за рубеж). Но «среды», где живое общение, споры и мысли о «главном» с одинаковым или хотя бы близким пониманием, что такое это «главное», этого в жизни Блока в ту пору не существовало. А великая трезвость и беспощадность уже не позволяли ему искать «своего» там, где его не было, «втискивать» свои выстраданные мысли об основном содержании эпохи в чужие, мертвые формулы — будь то антропософия Андрея Белого или левоэсеровский суррогат революционности Иванова-Разумника.

Блок был великим и страстным книголюбом и, кажется, в марте 1921 г. я, желая как-то его развлечь, подарила ему первое издание «Горе от ума» из библиотеки моего деда. В книгу были вклеены листы тонкой, пожелтевшей бумаги, где выцветшими чернилами было вписано все выброшенное из текста цензурой.

Блок любовно, как живое существо, взял книгу: «Спасибо, я рад, я, может, еще смогу потом и больше обрадоваться. Но сейчас — для меня есть только то, что с собой в могилу».

Затем была поездка в Москву — страшная поездка, подорвавшая последние его силы и волю к жизни. Он очень изменился — даже внешне — после этой поездки.

В конце мая я сама уехала в Москву, к моей матери, похоронившей только что сына — моего младшего брата. Командировку (что тогда было не просто) выхлопотал мне Блок. Я даже не успела проститься с ним уезжая.

Вернулась я в конце июня, и за время моего отсутствия Александра Андреевна уехала в Лугу, к своей старшей сестре — Марии Андреевне — «тете Мане» — милой, самоотверженной, первому любящему, наивному биографу Блока.

О последних неделях жизни Блока я написала большое письмо Корнею Ивановичу Чуковскому, который в это время был в деревне.

По словам покойного Э. Г. Казакевича, письмо это было вклеено в «Чукоккалу» и он его там читал.

Сейчас письмо исчезло бесследно. Ни в «Чукоккале», ни в архиве Чуковского его нет.

Отрывки из этого письма Корней Иванович включил в свою книгу «Александр Блок как человек и поэт», вышедшую в 1924 г. в Петрограде.

Позволю себе воспроизвести здесь эти уцелевшие отрывки. Оговариваю: кто был упоминаемый в письме NN, я не помню.

«Вскоре после его кончины, — пишет К. Чуковский, — одна девушка, бывшая близким другом Блока и его семьи, прислала мне в деревню описание его последних дней; заимствую из этого письма отрывки.

«Болезнь развивалась как-то скачками, бывали периоды улучшения, в начале июня стало казаться, что он поправляется. . . Он не мог уловить и продумать ни одной мысли, а сердце причиняло все время ужасные страдания, он все время задыхался. Числа с двадцать пятого наступило резкое ухудшение, думали его увезти за город, но доктор сказал, что он слишком слаб и переезда не выдержит. К началу августа он уже почти все время был в забытьи, ночью бредил и кричал страшным криком, которого я всю жизнь не забуду. Ему впрыскивали морфий, но это мало помогало. Все-таки мы думали, что надо сделать последнюю попытку и увезти его в Финляндию. Отпуск был подписан, но 5-го августа выяснилось, что какой-то Московский отдел потерял анкеты и поэтому нельзя было выписать паспортов. 7-го августа я с доверенностями должна была ехать в Москву. . . Ехать я должна была в вагоне NN, но NN, как и его секретарь, оказались при переговорах пьяными. На другое утро в семь часов я побежала на Николаевский вокзал, оттуда на Конюшенную, потом опять на вокзал, потом опять на Конюшенную, где заявила, что все равно поеду, хоть на буфере. . . Перед отъездом я по телефону узнала о смерти и побежала на Офицерскую. . . В первую минуту я не узнала его. Волосы черные, короткие, седые виски, усы, маленькая бородка; нос орлиный. Александра Андреевна сидела у постели и гладила его руки. . . Когда Александру Андреевну вызывали посетители, она мне говорила: «Пойдите к Сашеньке», и эти слова, которые столько раз говорились при жизни, отнимали веру в смерть. . .

Место на кладбище я выбрала сама — на Смоленском, возле могилы деда, под старым кленом. . .

Гроб несли на руках, открытый, цветов было очень много».

Такова была смерть. А затем началась другая жизнь — бессмертие.

У Е. Ф. Книпович сохранились семь книг с дарственными надписями ей Блока. Все они приведены в публикации «Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях» в кн. 3 данного тома.

После смерти Блока Е. Ф. Книпович была активной участницей вечеров памяти поэта и научных заседаний, посвященных его творчеству. В рукописном отделе Государственного литературного музея сохранилась переписка известных ученых-фолькло-

ристов Ю. М. и Б. М. Соколовых. В письме Ю. М. Соколова от 3 ноября 1923 г., в частности, говорится: «Вчера вечером у нас на квартире состоялось небольшое литературное собрание <. . .> Книпович прочла чрезвычайно интересный доклад «Четыре редакции «Розы и Креста» Блока». Сопоставление редакций дало возможность более отчетливо представить себе отдельные образы — т. н. образ Странника — поэта Гаэтана, какого-то получеловека-полупризрака, выясняется из первых редакций, как какая-то грозная, безразличная к добру и злу, «третья сила», присутствие которой в жизни всегда так остро чувствовал Блок. Прения были довольно оживленны <. . .> Разошлись в половине второго». В заседании также принимали участие И. Н. Розанов, Н. К. Гудзий, Н. С. Ашукин, поэт П. Антокольский.

Начав работу по переводам и изучению Г. Гейне под руководством Блока, Е. Ф. Книпович выступила в 1929 г. автором одного из первых исследований на тему «Блок и Гейне» в сб. «О Блоке». Ей принадлежит также ряд других статей о Блоке. (*Ред.*).

СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

НАСЛЕДИЕ БЛОКА

Статья Л. И. Тимофеева

Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?

Сто лет назад в жизнь вошел Александр Блок.

Но столетие оказалось тесным для него. Он вступает уже во второй век, и — видится — не остановится и в нем.

Огромность его души таит в себе силу, способную ответить на вопросы, которые задаст ему жизнь все новых и новых поколений, вступающих вместе с ним в третье тысячелетие нашей эры.

Люди такого литья не часто проходят по дорогам Истории. Каждый их шаг полон для нас необычного значения. Вдумываясь в то, что ими совершено, вглядываясь в их находки и открытия, их противоречия и контрасты, мы воспринимаем все новые стороны доставшегося нам наследия, перспективы для творческого восприятия всего, что ими создано.

Такими противоречиями богаты и жизнь и творчество Александра Блока. Мирно его детство «в парке дедов» (II, 74), радостна юность на «высоком белом коне» с девушкой у розовой калитки и лепестками яблонь (III, 470—471), спокойны годы студенчества, интересна литературная и театральная среда, приходит наследство, совершаются поездки за границу. . . «У моего героя не было событий в жизни» (III, 460), — скажет он позднее в наброске плана своей во многом автобиографической поэмы «Возмездие». Внешне жизнь шла замкнуто, благополучно. . .

«Все это время бедно событиями», — прочтем мы и в его «Дневнике» (1912 — VII, 129). «Разговоры, болтовня. С Любой играем в дурака и в акульки. . . Произошло много важных событий. Болезнь тети. Дебют Любы в Народном доме. Остального не записываю — все мельче» (в том же году, VII, 128—131). И письмо к матери: «У меня на виске, наконец, один седой волос» (1916 — VIII, 463).

И — вдруг:

Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням,
И с головой от хмеля трудной
Пройти сторонкой в божий храм.

Три раза преклониться долу,
Семь — осенить себя крестом,
Тайком к заплеванному полу
Горячим прикоснуться лбом.

Кладя в тарелку грошик медный,
Три, да еще семь раз подряд
Поцеловать столетний, бедный
И зацелованный оклад.

А воротясь домой, обмерить
На тот же грош кого-нибудь,
И пса голодного от двери,
Икнув, ногою отпихнуть.

И под лампадой у иконы
Пить чай, отщелкивая счет,
Потом переслюнить купоны,
Пузатый отворив комод,

И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне. .
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

Откуда это зоркое знание чужой, такой далекой жизни, это острейшее чувство контраста того, что есть, и того, что скрыто в ней, эта мгновенность прозрения, казалось бы, полярных явлений действительности? Эта сила любви к родине? Эта уверенность в том, что она все может преодолеть?. .

Тонет в Тихом океане взорванный японской миной броненосец «Петропавловск» — и совсем еще молодой студент Блок видит картину его гибели

во всей ее потрясающей жуткости. «. . . Я вижу <. . .> расплющенных сжатым воздухом в каютах, сваренных заживо в нижних этажах, закрученных неостановленной машиной» (VIII, 98).

Он готовит первую главу «Возмездия», где «Войска <. . .> идут как-будто бы с парада» (III, 307), а в записях к поэме перед ним встает: «. . . Мужик в шинели тащит пушку на Балканы, греет руки, притопывает ногами от мороза, хрюкает во сне от жара, вскакивает, разбуженный толчком, умирает от пули, стонет и кричит от неистовой боли <. . .> за ними еще — голод, лохмотья, спотыканье по снегу на Балканах, кровь, холод, смерть, хуже смерти — воровство интендантов» (III, 456—462). «В глазах солдат и офицеров, возвратившихся с войны, еще стоят — раны, бледные лица, возбужденные глаза, зарева, белое знамя, взвившееся при свете пылающих соломенных избушек Горного Дубняка. . .» (III, 459). Снова картины далекой, мучительной и в то же время так близко, остро, непосредственно ощущаемой чужой жизни, воспринимаемой с какой-то мгновенной пронзительной проницательностью.

Справедливо заметил В. Н. Орлов: «Блок <. . .> при всем его богатом и тонком чувстве России до удивления мало ездил по стране (Петербург, Москва, как-то приехал в Киев) [1]. А ощущал он всю царскую Россию: «Все города России (и столица в том числе) одна и та же станция Режица (жандарм, красная фуражка и баба, старающаяся перекричать ветер). . .» (VIII, 336).

Точно так же в какой-то острейшей перспективе воспринимал он людей: «Посмотрите, — говорил он актерам Большого драматического театра, — на толстую морду, налитую кровью, на улице — и вы уловите черты, которые были в Отелло; посмотрите на сухое лицо прохожего, глаза которого избегают ваших глаз, — и вы уловите черты Яго; посмотрите на розовую, белокурую девушку с удивительно ясными глазами — вы вспомните об иве Дездемоны» (VI, 386).

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!

(III, 136)

Этот дар прозрения, умения мгновенно увидеть и понять скрытое, далекое, не видное обычному зрению и открывал ему поле видимости в тех областях жизни, которые на первый взгляд и не были с ним связаны.

Записи в «Дневнике»: «День начался значительнее многих. Мы тут болтаем и углубляемся в „дела“. А рядом — у глухой прачки Дуни болит голова, болят живот и почки. Воспользовавшись отсутствием „видной“ прислуги, она рассказала мне об этом <. . .> Надо, чтобы такое напоминало о месте, на котором стоишь, и надо, чтобы иногда открывались глаза на „жизнь“ в этом ее настоящем смысле; такой хлыст нам, богатым, необходим». «Ночь белеет <. . .> вижу с балкона: оборванец идет, крадется, хочет явно, чтобы никто не увидал, и все наклоняется к земле. Вдруг припал к какой-то выбоине, кажется, поднял крышку от сточной ямы, *выпил воды*, утерся. . . и пошел осторожно дальше. *Человек*». «Вечерние прогулки <. . .> по мрачным местам, где хулиганы бьют фонари, пристает щенок, тусклые окна с занавесочками. Девочка идет — издали слышно, точно лошадь тяжело дышит: очевидно, чахотка; она давится от глухого кашля, через несколько шагов наклоняется. . . Страшный мир» (VII, 194, 152, 130).

Потому-то в накрахмаленных религиозно-философских петербургских собраниях с их «сладострастной <. . .> болтовней» он как бы сквозь стены видел: «на улице ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, людей вешают, а в стране — реакция, а в России трудно, холодно, мерзко. . .»

Потому-то он так ясно понял и принял — через века — стихийную силу гнева крестьянской массы, когда она жгла и громила помещичьи имения:

«Почему дырявят древний собор? — Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой.

Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? — Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа.

Почему валят столетние парки? — Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть. . .» (VI, 15).

Внешняя, казалось бы, камерность его жизни отбрасывалась глубинным восприятием жизненных противоречий и контрастов, впитывавшим в себя страсти и бури его времени.

«В стихах всякого поэта, — говорил Блок, — 9/10, может быть, принадлежат не ему, а среде, эпохе, ветру» (VI, 336).

Правда, В. Н. Орлов возражает ему в «Гамаюне». Он думает, что Блок «явно преуменьшил действительную пропорцию» [2].

Но вряд ли Блок принял бы это возражение. . .

Милый друг, и в этом тихом доме
Лихорадка бьет меня.
Не найти мне места в тихом доме
Возле мирного огня!

Голоса поют, взывает вьюга,
Страшен мне уют. . .
Даже за плечом твоим, подруга,
Чьи-то очи стерегут!

За твоими тихими плечами
Слышу трепет крыл. . .
Бьет в меня светящими очами
Ангел бури — Азраил!

(III, 286)

Для Блока писатель — «растение многолетнее. . . Как ирис и лилия требуют постоянного удобрения почвы, подземного брожения и гниения, так писатель может жить, только питаясь брожением среды» (V, 370) (может быть, Блоку помнились слова Владимира Соловьева: «. . .Над черной глыбой // Вознестися не могли бы // Лики роз твоих, // Если б в сумрачное лоно // Не впивался погруженный // Темный корень их»? [3]).

В этой же статье («Душа писателя») Блок говорил далее о необходимых для писателя «прислушиваниях, ощупыванья почвы и искании соков, чтобы напоить ими клубни для дальнейшего развития и роста» (V, 370).

В этом неустанном «прислушивании к жизни», в «чувстве пути», о котором настойчиво говорил Блок (тему эту глубоко разработал Д. Е. Максимов [4]), он и находил преодоление «камерности»:

Да. Так диктует вдохновенье:
Моя свободная мечта
Все льнет туда, где униженье,
Где грязь, и мрак, и нищета.

Туда, туда, смиренней, ниже, —
Оттуда зримей мир иной. . .

(III, 93)

Чувство пути у Блока неразрывно связано и в жизни, и в творчестве с темой скитаний, блуждания, поисков: «Путь твой грядущий — скитанье!» (VIII, 233).

«Брожу, брожу... Брожу» («Дневник», 1913 — VII, 231). «Брожу, думаю» (письмо матери, 1908 — VIII, 239). «Я целые часы бродил» (письмо В. Пясту, 1911 — VIII, 370), «Опять вечером и ночью брожу в тоске» (ЗК, 1914, 202), «Бродил, бродил... Оттепель, ветер» (13 января 1918, ЗК, 384).

Его письма, дневники, записные книжки постоянно говорят об этом, и с еще большим постоянством он повторяет это в стихах: «Однажды брел по набережной я» (II, 296), «Однажды в октябрьском тумане // Я брел» (II, 296), «Пойду еще бродить» (II, 299), «Среди толпы блуждаю я» (I, 3), «Усталый от дневных блужданий» (I, 10), «Бреду, как путник запоздалый» (I, 72)...

Не случайны и не бесцельны эти блуждания: «Я вышел в ночь — узнать, понять» (I, 215), «В кабаках, в переулках, в извивах, // В электрических снах наяву // Я искал бесконечно красивых...» (II, 159). Они мучительны, они не даются даром, эти поиски:

Скамья ладьи красна от крови
Моей растерзанной мечты,
Но в каждом доме, в каждом крове
Ищу отважной красоты...
(II, 169)

Мы не можем здесь говорить о развитии этой большой для творчества Блока темы, о ее хронологии, но общее ее направление не вызывает сомнений:

Но я запомнил эти лица
И тишину пустых орбит,
И обреченных вереница
Передо мной всегда стоит.
(II, 189)

И что особенно важно, особенно ощутимо — эти лица для Блока неотделимы от его жизни, их судьбу он воспринимает как свою, не отграничивает ее от себя, а сливается с ней, в ней как бы растворяется:

И пойду путем-дорогой,
Тягостным путем, —
Жить с моей душой убогой
Нищим бедняком.
(II, 77)

В этом — существеннейшая черта лирики Блока: его лирическое «я» расширяется, в него неуловимо входят чужие «я», оно как бы вбирает в себя те или иные грани окружающих его чужих судеб:

Пока такой же нищий не будешь,
Не ляжешь втоптан в глухой овраг.
(II, 84)

Поле зрения Блока шире, он готов испытать судьбу даже Гамлета, даже Демона, включает их в свой лирический кругозор.

Гамлет? Казалось бы, его облик ясен. Нет —

Я — Гамлет. Холодеет кровь,
Когда плетет коварство сети,
И в сердце — первая любовь
Жива — к единственной на свете.

Тебя, Офелию мою,
Увел далеко жизни холод,

И гибну, принц, в родном краю,
Клинком отравленным заколот.

(III, 91)

Демон? Нет — два стихотворения Блока с этим названием подчиняют его облик тому же блоковскому лирическому началу («Иди, иди за мной — покорной и верною моей рабой» (III, 60) и «Прижмись ко мне крепче и ближе <. . .> // Я, горний, навеки без сил» (III, 26), и в него же включено и третье стихотворение, которое как будто и не связано уже с Демоном, но в конце с ним сливается («И я любил. И я изведал»):

И, наполняя грудь весельем.
С вершины самых снежных скал
Я шлю лавину тем ущельям,
Где я любил и целовал!

(III, 160)

Блока не связывает то, от чьего имени он говорит — от имени Гамлета, Демона, женщины («Василек мой синий, // Я твоя сестра» (I, 533), «Мой милый, будь смелым И будешь со мной» (III, 177), «Мой любимый, мой князь, мой жених. . .» (I, 315). В сборнике «Земля в снегу» особый раздел назывался «Мещанское житье». И в нем о многих чужих жизнях он говорил, как о своей: «Холодный день» (II, 191), «Я в четырех стенах убитый» (II, 197), «Не пришел на свиданье» (II, 209). И в нем была и женская скорбь о непришедшем женихе («Нету милого — одна»), и горе бедняка, убитого «земной заботой и нуждой», и мука от того, что «тяжело лежит работа // На каждой согнутой спине» (II, 191).

И в поэме «Соловьиный сад» Блок отказался от рассказа о бедняке, ломающем скалы, и опять-таки обратился к рассказу о своей судьбе, о своем пути.

И о битве на поле Куликовом мы узнаем от ее участника в пыльной кольчуге, готовящегося с другом к бою, «когда наутро тучей черной // Двинулась орда» (III, 251).

Даже судьбу и муки Христа он раскрывает, как свою судьбу, свои муки: «Пред ликом родины суровой я закачаюсь на кресте. . .» (II, 263).

В стихотворной речи нет того авторитетного «чужого слова», о котором говорит М. М. Бахтин применительно к прозе: оно входит в поток индивидуального авторского ритма и тональности стихотворения в целом, в него вливается, им окрашивается (если и исходить из предположения, что в прозе речь персонажа может быть независима от авторского строя повествования, не только речи, но и сюжета, композиции, взаимоотношений характеров).

Поэтому в лирике (во всяком случае) черты чужой судьбы, чужой жизни не приобретают в речи ощутимой самостоятельности, входят в общий строй стиха, создавая неуловимые взаимопереходы. Лирика Блока необычайно насыщена ими.

Конечно, у многих поэтов и задолго до Блока мы можем найти нередко примеры обращения к изображению своеобразных «действующих лиц» («Гусар» Пушкина, например). Сам Блок очень высоко оценил и полностью привел в своей статье «О лирике» (V, 142) стихотворение Бунина такого типа — «Я — простая девка на баштане, // Он — рыбак, веселый человек».

Но в творчестве Блока эта черта — «Храню я к людям на безлюдьи // Неразделенную любовь» (III, 95), — этот облик поэта, который «неустанным слухом ловит // Далекий звук чужой души», приобретали необычайный и непривычный, новый характер.

Это, естественно, не могло быть незамеченным, хотя и по-разному понималось. Еще Валерий Брюсов в рецензии на сборник «Нечаянная радость» указал на стихи, «сложенные от чужого лица» [5]. Не так давно П. П. Громов

в книге «А. Блок, его предшественники и современники» (1966) подробно остановился на «многообразии людского состава» (по его выражению) книг Блока, считая их «многими и разными лирическими характерами, возникающими на страницах сборников Блока». В «Мещанском житье» он видит «рассказы в стихах», а в «Вольных мыслях» — «если не бояться слов» — находит «стихотворные очерки», написанные при этом «философствующим очеркистом» [6].

Короче, если принять эту позицию, мы должны будем просто выделить у Блока самостоятельный жанр лиро-эпического склада, тем самым резко отграничив его от лирики. Так и поступает П. Руднев, который уже прямо говорит, что «к числу его лирико-эпических стихотворений можно отнести, например, такие вещи, как «На железной дороге», «Унижение», сюжетные циклы типа «Плясок смерти», «На поле Куликовом» и др., причем автор устанавливает даже, что фабульное начало возрастает прямо пропорционально увеличению количества строчного объема»!. . [7].

Д. Е. Максимов решительно (и в основе справедливо) выступил против точки зрения П. П. Громова, полагая, что она «разрушает единство поэзии Блока», его «универсальный образ» [8].

К сожалению, здесь все же допускается явная крайность: «обреченных вереница» неотделима от лирики Блока, это несомненно («Но я запомнил эти лица», — говорит он). Она не может быть отождествлена с его универсальным образом, должна быть понята в ее своеобразии, как одна из граней его творчества.

Вернее всего обратиться к самому поэту.

Он писал: «Народ собирает по капле жизненные соки для того, чтобы произвести из среды своей всякого, даже некрупного писателя. И писатель становится добычей толпы; обнищавшие души молят, просят, требуют, берут у него обратно эти жизненные соки сторицею. Нет предела формам этих просьб и требований: девушка смотрит жалобным широким взглядом и просит: „Спой мне песню, чтобы я, как в зеркале, увидала в ней себя, чтобы стала краше, чтобы милый полюбил меня“; обыватель говорит: „Расскажи мне про мое житье-бытье, чтобы стало мне до чрезвычайности жалостно, чтобы заскорузлая душа моя изошла в благодатных слезах о самом себе, о моей неприглядной жизни, о моей некрасивой и старой жене и золотушных детях“; общественный деятель говорит: „Вдохнови меня на правое дело, не то останешься ты презренным тунеядцем, и ни одна капля твоего пустого вдохновенья не достанется обществу, которому ты обязан своим бытием“, и нищий кричит: „Вопи богатым, чтобы они отпирали сундуки и делились золотом с нами, не то мы придем жечь, грабить и бить их, и тебя первого распнем!“ И многие другие просят и требуют у писателя того, что им нужно, как воздух и хлеб. И писатель должен давать им это» (V, 246).

Вот какие вопросы слышались Блоку, и вот какие ответы на них считал он себя призванным давать в своем творчестве (и мы узнаем в его словах и «мещанское житье», и «отмыкайте погреба», и «Нет имени тебе, мой дальний. . .» — II, 110).

Вот почему он спрашивал: «Ты видел ли детей в Париже // Иль нищих на мосту зимой», вот что определяло его отношение к миру — «в огне и холоде тревог» (III, 96) — и прежде всего к людям, входившим вереницей в духовный строй его жизни.

«Плачет ребенок» (I, 306), «Встала в сияньи. Крестила детей» (I, 308), «Вот мальчик, посинев от холода, // Дрожит среди двора» (II, 193), старушка, упустившая «Золотого петушка» («Эх, какая беда приключилась, // Впопыхах не нащупать клюки. . . // Ишь, проклятая, где завалилась!. .» — II, 89). Драматические судьбы женщин («А за гробом — в траурной вуали // Шла невеста, провожая жениха» — III, 123; «Разлюбил тебя и бросил» — II, 262; «Качай чужую колыбель, // Ласкай немилого ребенка» — II, 286; «Ты перед ним, что стебель гибкий. Он пред тобой, что лютый зверь» — II, 133; «Под

насыпью, во рву некошенном» — III, 260), материнская доля: «На́ хлеба, на́, на́ грудь, соси» (III, 281). Самый образ женщины-матери сливается для Блока с обликом России:

Россия-мать, как птица, тужит
О детях; но — ее судьба,
Чтоб их терзали ястреба.

(III, 319)

— переходит в него:

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!

(III, 249)

Этот образ был неодобрительно встречен Горьким [9], на него нападал Сельвинский [10], но для Блока он был и органичен, и дорог. Он сам очень ясно раскрыл его смысл в статье «Народ и интеллигенция» (1908), говоря как раз о Горьком: «Сердце же Горького тревожится и любит, не обожествляя, требовательно и сурово, по-народному, как можно любить мать, сестру и жену в едином лице родины — России» (V, 321).

И эту же дорогую для него мысль он повторил в реферате об Ибсене: «Норвегия — родина, мать, сестра и супруга» (V, 314).

Во всех этих мыслях Блока и заложен глубинный смысл неразрывной связи его творчества с тем потоком чужих жизней, которые через него проходят, в нем растворяются, не теряя своего существа.

И сам он необычайно ясно осознавал это.

«Писатель, — по его определению, — обреченный <. . .> он поставлен в мире для того, чтобы обнажать свою душу», «растрачивать свое человеческое «я», растворять его в массе других требовательных и неблагодарных «я» <. . .> чем более чувствуешь связь с родиной, тем реальнее и охотнее представляешь ее себе как живой организм» (V, 246).

Говоря о поле Куликовом, он писал, что, когда воевода Боброк в стане Дмитрия Донского припал ухом к земле (вспомним: «Я ухо приложил к земле. // Я муки криком не нарушу» — III, 86), он заплакал: «Он услышал, как неутешно плачет вдовица, как мать бьется о стремя сына» (V, 323).

Вот в чем была основа значения тех чужих судеб, тех чужих голосов, которые находили свое выражение в поэзии Блока и определяли, по существу, новый характер его лирики в этом ее истоке.

И опять-таки он сам нашел для нее глубокое и органичное осмысление: «Писатель, верующий в свое призвание, каких бы размеров этот писатель ни был, сопоставляет себя со своей родиной, полагая, что болеет ее болезнями, страдает ее страданиями, *сораспинается* с нею» (V, 443; курсив мой. — *Л. Т.*). И это же слово — сораспятие — он повторил в набросках к «Возмездию» (III, 463).

Не «людской состав», внеположный поэту, не всепоглощающий его «универсальный образ», а поэт, находящий свое самораскрытие в мире, именно растворяя себя в массе чужих «я», сораспинающийся с этими чужими «я» и в этом сораспятии обретающий самого себя.

Мы, вероятно, еще не полно осознаем новый характер этого его лиризма, по отношению к которому самое понятие «лирического героя» (разумея под ним обобщение, охватывающее многообразие индивидуальных переживаний поэта, позволяющее рассматривать его как единый характер) представляется, пожалуй, и в чем-то неприменимым, в чем-то упрощающим существо лиризма Блока.

Своеобразие его прежде всего в том, что одновременно он совмещает различные восприятия явлений действительности, различные точки зрения на них, не теряя своего внутреннего единства.

Поздней осенью из гавани
От заметенной снегом земли
В предназначенное плаванье
Идут тяжелые корабли.

В черном небе означается
Над водой подъемный кран,
И один фонарь качается
На оснеженном берегу.

И матрос, на борт не принятый,
Идет, шатаясь, сквозь буран.

И тут вступает новый голос (он даже не означен кавычками):

Все потеряно, все выпито!
Довольно — больше не могу...

Но дальше:

А берег опустелой гавани
Уж первый легкий снег занес...

и — снова — голос:

В самом чистом, в самом нежном саване
Сладко ли спать тебе, матрос?

(III, 19)

Это не сам матрос рассказывает о судьбе (как у Бунина — «Я — простая девка на баштане»), и не рассказывает о судьбе матроса кто-то (как в «Гусаре»). Как будто это тот — первый — голос, который мы уже слышали, но он уже перестал быть им: он совсем иной, он обращен к мертвецу, а не к нам, в нем ненависть к жизни, погубившей матроса, скрытая угроза ей, боль за матроса, все это как бы переламывает весь строй стихотворения, в этом голосе уже как бы предзвучат те почти нечеловеческие голоса, которые мы услышим в «Демоне», в «Шагах командора». В этом кратком стихотворении слышатся многие голоса, которые создают кратчайшую и в то же время многомерную глубоко драматическую картину пронесшегося перед нами почти только мгновения жизни.

А чьи голоса слышатся нам в стихотворении «Не пришел на свиданье»?

Нету милого — ушла,
Нету милого — одна...

А это — чей голос, почти колдовской:

Загляни еще в окно!
Загляни еще разок;
Загляни одним глазком!

— почти заклинающий.

Кто говорит дальше (тут появились кавычки):

«Как он в губы целовал...
Как невестой называл»

— это воспоминание девушки или кто-то ей об этом нашептывает?

И снова (уже без кавычек):

Посмотри одним глазком,
Что там с миленьким дружком?..

И — конец:

Приподымешь белый край —
И сомнений больше нет:
Провалился мертвый рот.
(III, 209)

Кто слышит о горе девушки, кто знает, что ее ждет, кто посылает ее к мертвому жениху, чьи они — эти голоса?.. Мы не знаем, а от начала — такого безоблачного («Поздним вечером ждала // У кисейного окна») — до конца («Провалился мертвый рот») почти мгновенно в драматической смене голосов пронеслась трагедия. Голоса поют, взывает вьюга...

Вот сразу возникающий голос:

Ты жил один! Друзей ты не искал
И не искал единоверцев.
Ты острый нож безжалостно вонзал
В открытое для счастья сердце.

И — новый голос (он обозначен кавычками):

«Безумный друг! Ты мог бы счастлив быть!..»

И опять другой:

«Зачем? Средь бурного ненастья
Мы, все равно, не можем сохранить
Неумирающего счастья!»
(III, 218)

Это черты лирики нового строя, совмещающей в слитном переживании и чужое и свое «я». И в этих доносящихся до нас голосах сжаты до предела страсть и тревога уже не одного «я».

По лесу блуждает всадник:

В сыром ночном тумане
Все лес, да лес, да лес... <...>
На алые герани
Направил я коня...

И вдруг чужой голос. Чей?

«... В тумане да в бурьяне,
Гляди, — продашь Христа
За жадные герани,
За алые уста?»
(III, 206)

И — все сразу меняется, освещается светом соблазна, тревоги, подстерегающей гибели, которою грозит неожиданно возникший новый голос.

Женская доля: «Всю жизнь ждала. // Устала ждать...» (II, 286). И — новый голос — «Качай чужую колыбель», а завершает стихотворение голос: «А люди — на могильном камне // Начертят прозвище: ПОЭТ».

«Клеопатра» — здесь сначала: «Я сам, позорный и продажный», потом — слышится «вздох истлевших уст», снова — поэт, и снова слова истлевшей царицы (II, 207).

Характер этого лирического строя различен, голоса неожиданно возникают, переплетаются, приходят неизвестно откуда и не получают ответа и в этом своем переплетении создают предельно драматические картины жиз-

ненных мгновений. Они и выходят за пределы лирического «я», и в то же время ему сопричастны, его обогащают, сливаются с ним: «Даже за плечом твоим, подруга, // Чьи-то очи стерегут. . .»

Этот характер лиризма Блока, новизна его строя (конечно, не отменяющие и не заменяющие лиризма в других его более привычных для нас проявлениях, но его обогащающие) многообразны, не однозначны, проявляются каждый раз по-своему, ощущаются как многоразлично проявляющаяся тенденция. «Душа писателя, — по слову самого Блока, — расширяется и развивается периодами, а творения его — только внешние результаты подземного роста души. Потому путь развития может представляться прямым только в перспективе <. . .> вследствие постоянных остановок и искривлений».

Кому («Шаги командора») «Из страны блаженной, незнакомой, дальней // Слышно пенье петуха»? Кому слышится, как «в ответ — победно и влюбленно — // В снежной мгле поет рожок»? Кому видится «Черный тихий, как сова, мотор», когда «В дом вступает Командор»? (III, 80). Кто спрашивает донну Анну — «Анна, Анна, сладко ль спать в могиле?»

«В час рассвета холодно и странно,
В час рассвета — ночь мутна.
Дева Света! Где ты, донна Анна?
Анна! Анна! — Тишина».
(III, 81)

Блока здесь не связывает ничто (даже и «людской состав» нельзя определить!): «Голоса поют, взывает вьюга. . .». Здесь все время совмещается как будто даже и несовместимое, создавая то, что можно назвать лирическим контрапунктом (по аналогии с музыкальным), и тем не менее все стихотворение представляет собой лирическое единство, вместившее в себя всю полноту духовного мира поэта, вобравшего в свое «я» все чужие «я», так же как это мы видим, скажем, в «Незнакомке».

Но очевидно, что это новый характер лирического строя, найденный Блоком.

Все новое, если оно действительно новое, не может не иметь предшественников, так или иначе не рождаться из прошлого. Конечно, и у нового строя лиризма Блока в русской поэзии были и свои предтечи, свои предсвершения. Он мог их впитывать, мог о них и не знать, но в самой природе лирики гуманистического склада, гуманистического направления, столь значимого для ее развития, лежит объяснение того, что в ней в целом не могли не возникать поиски новых подступов к проникновению в духовный мир человека, к звучащим в нем голосам. Это большая самостоятельная тема, которой мы здесь не можем касаться, но, если мы вспомним Лермонтова («Завещание», «Я вам пишу», «Любовь мертвеца», «Сон», «Не плачь, не плачь, мое дитя»), Некрасова («Еду ли ночью. . .», «Вчерашний день», «В дороге», «Тяжелый крест», «В полном разгаре страда деревенская», «Зеленый шум»), Полонского («Что мне она!»), Случевского («После казни в Женеве», цикл «Мефистофель»), А. П. Григорьева («Над тобою мне тайная сила дана»), то при всех различиях между ними мы почувствуем, у каждого по-своему пробивается то, что уже как новое направление развития (наряду, конечно, с другими) открыл и воплотил Блок, внося его в поэзию нашего времени, наших и будущих поколений.

В лирике индивидуальное переживание тем более значимо, чем полнее оно отвечает своему времени («среде, эпохе, ветру»), в конечном счете с ним соотносится самораскрытие поэта в его концепции человека, в его понимании противоречий эпохи.

Именно в строй этого самораскрытия и вносит Блок новый характер, соотнося его со многими ликами носителей переживания — от Демона и Гам-

лета до «нищего бедняка» и «позорного и продажного» поэта или тоскующей девушки («Нет имени тебе, мой дальний»), сохраняя в то же время целостный и неповторимый облик своего лирического «я», «делясь своим заветным с толпой».

В одном лирическом произведении сочетаются различные голоса, неожиданно возникающие и уходящие, спорящие и замолкающие, создающие драматические мгновенные картины жизни в своих переплетениях, более сложные, чем ее только индивидуальное восприятие, так же как различные носители лирических переживаний в творчестве Блока, расширяющие самое представление о лирическом герое его поэзии, мир которого широко открыт чужим судьбам и голосам.

Для Блока эти голоса сами о себе рассказать не могут, они требуют, чтобы о них было рассказано, они не могут, не умеют говорить о себе и молят, и просят, чтобы о них было сказано поэтом. Он говорит о них и за них, но говорит он своим голосом, через свое ви́дение мира, в который включает и их. И этот голос становится общим голосом, он — и голос поэта, и не только его голос, это и их голоса, и вместе с тем и не только их. Здесь и они, и не они, здесь и он, и не он. Это и есть то сораспинание, о котором говорил Блок.

Он узнает, чувствует, выражает то, что открыто этим чужим голосам и судьбам, то, что он сам мог бы и не узнать, и не почувствовать, и не выразить. Его духовный строй растет, впитывая эти «незримые соки», «чтобы напоить ими клубни для дальнейшего развития и роста», как говорил он сам.

Чужие судьбы и голоса, которые сами не могли бы сказать о себе, говоря как бы через его голос, наполняют и его новым и богатым содержанием; растворяясь в них, он возрождается, став обогащенным ими и в то же время дав им все, что было доступно ему. Вот почему эти тончайшие взаимопереходы (он — и не он; они — и не они) придают его духовному строю, его лиризму новый характер, открывают перед ним возможности новых свершений. «. . .Голоса поют, взывает вьюга. . .»

Лирика Блока драматизирована не только по своему непосредственному содержанию («Мы — дети страшных лет России — // Забыть не в силах ничего» — III, 278). Новизна самого характера ее лирического строя, им найденного, объемность, если так можно сказать, формы раскрытия поэтического духовного мира, передающего всю противоречивость, конфликтность, контрастность жизни и открывающего уже и за пределами блоковского исторического времени возможность воссоздавать слитность и общность человеческих переживаний в единстве своего и чужих «я», — вот в чем состояло открытие Блока в области самой структуры лирического рода и что он сам называл сораспятием и сораспинанием, говоря уже о тех непосредственных, конкретных областях, применительно к которым осуществлялось им это открытие.

Этот новый характер лиризма его поэзии, его лирического строя может помочь нам в какой-то мере приблизиться и к пониманию структуры его поэмы «Двенадцать», во многом еще не вполне ясной для нас и в своей идейно-художественной сущности, и в своем строении.

Не ставя здесь, естественно, задачи ее полного анализа, важно остановиться на особенностях ее лиризма, соотнеся ее с теми чертами лирического раскрытия, которые, можно думать, были открыты Блоком, во всяком случае получили отчетливое выражение в его поэзии и даже были им самим определены как сораспятие, как сораспинание.

Вероятно, несколько отойдя от конкретной и понятной для позиции Блока непосредственной этимологии этих определений, мы не нарушим реальный ход мысли поэта, если придадим им несколько более общий характер и скажем, что новизну лиризма Блока можно понимать как со-личностность (если не найдется более удачная замена).

Несомненно, что поиски сколько-нибудь ощутимого образа лирического героя в поэме остаются до сих пор малопродуктивными. Возможно, что это

связано и с новизной характера блоковского лиризма, придающей поэме ту сложность и слитность, примеры которых мы могли видеть во многих его лирических стихотворениях.

Своеобразным «вечным вопросом» нашей критики остается и проблема понимания облика Христа в поэме, находившая самые различные истолкования.

Нам здесь следует остановиться лишь на том, какую роль в структуре поэмы играет новый характер лиризма Блока с его принципами «со-личностности».

Бесспорно прав В. Н. Орлов, когда он говорит о Блоке: «Все, что осело христианской догмой, было ему чуждо, непонятно, более того — враждебно» [11].

Сам Блок писал о Христе: «Я Его *не знаю* и *не знал* никогда» (VIII, 105).

Конечно, ортодоксально-церковное представление о Христе им не принималось и отвергалось.

Но не следует забывать, что в своей двухтысячелетней исторической жизни этот образ получал далеко не однозначное понимание и толкование (характерно, что Блок пишет про «своего полевого Христа» (II, 20) у чертенят, о дедах, которые «пели о своем Христе» (III, 248) — «сжигающем», а в варианте — «чудовищном» (III, 587).

Он терял многие свои черты и обретал широкое эмоциональное гуманистическое наполнение безотносительно к его обрядовой сущности, не связанное с чисто религиозной интерпретацией. По сути, он нес в себе непосредственное художественное содержание, становился своего рода «вечным образом», но который уже нельзя заключить в определенные, ходовые, церковные рамки.

Именно в этом своем широком художественном смысле облик Христа привлекал к себе внимательный интерес Блока задолго до «Двенадцати», причем этот интерес был связан как раз с той направленностью лиризма Блока, о которой мы говорили.

Блок пишет о «распятом на кресте» (II, 252), о себе говорит как о «невоскресшем Христе» (III, 246). Облик Христа вызывает у него представление прежде всего о чужой судьбе, которая неотделима от него самого:

Вот он — Христос — в цепях и розах
За решеткой моей тюрьмы.
Вот агнец кроткий в белых ризах
Пришел и смотрит в окно тюрьмы.
. . . . . .
И все так близко и так далеко,
Что, стоя рядом, понять нельзя,
И не постигнешь синего ока,
Если не станешь сам, как стезя. . .
Пока такой же нищий не будешь,
Не ляжешь, истоптан, в глухой овраг,
Обо всем не забудешь и всего не разлюбишь,
И не поблекнешь, как мертвый злак.

(II, 84)

И, наконец, с особенной полнотой обращается Блок к судьбе Христа и уже полностью соотносит ее со своей в стихотворении:

Когда в листве сырой и ржавой
Рябины заалеет гроздь,
Когда палач рукой костлявой
Вобьет в ладонь последний гвоздь, —

Когда над рябью вод свинцовой
В сырой и серой высоте,

Пред ликом родины суровой
Я закачаюсь на кресте, —

Тогда — просторно и далеко
Смотрю сквозь кровь предсмертных слез,
И вижу: по реке широкой
Ко мне плывет в челне Христос.

В глазах такие же надежды,
И то же рубище на нем.
И жалко смотрит из одежды
Ладонь, пробитая гвоздем.

Христос! Родной простор печален!
Изнемогаю на кресте!
И челн твой — будет ли причален
К моей распятой высоте?

(II, 263)

Здесь уже облик Христа связан у Блока со всей очевидностью с идеей сораспятия, столь органичной для его лиризма, с идеей отождествления с чужой жизнью, с чужой судьбой; для официально-религиозной версии Христа это было явно неприемлемо и недопустимо.

В рукописи «Двенадцати» на странице, где начинается десятая глава, стоит пометка Блока: «И был с разбойником». В печати не раз отмечалось, что она, очевидно, относится к евангельскому рассказу о казни Христа, распятого одновременно с двумя разбойниками. Внимание поэта снова было привлечено именно к идее сораспятия. Конечно, облик Христа не возник внезапно, лишь в десятой главе. Обычно начало работы над поэмой относят к 8 января по записи в 56-й записной книжке, которая начата только 1-го января, но сама запись говорит о поэме, может быть, и не впервые: «Весь день — «Двенадцать» (ЗК, 382), — ее можно понять и как запись не о начале работы, а о ее продолжении. 55-я же Записная книжка до нас не дошла. Так что сказать с полной уверенностью, что ранее у Блока не было записей о поэме в не дошедшей до нас Записной книжке, нельзя, так же как и о том, когда появилась у него мысль о Христе. Но все же несомненно, что она возникала задолго до поэмы и что она была связана с общим его пониманием творчества как сораспятия, сораспинания, сопричастия, со-личностности.

Это начало со-личностности — безотносительно к облику Христа — становится, по существу, основным принципом организующего поэму лиризма, наиболее многообразным его выражением в поэзии Блока, в особенности полно сочетающим многие голоса в их едином лирическом единстве.

Конечно, само по себе такое сочетание голосов в лирике не ново и в поэзии прошлого (мы уже говорили об этом); у раннего Блока так строились, например, стихотворение «Все ли спокойно в народе? — // Нет. Император убит» (1903 — I, 269), позднее — «Посещение» (III, 262) и очень многие другие; вообще, со-личностность как новое направление в развитии лирики не исключает и не должна исключать лиризма обычного типа, их сосуществования.

Но как говорилось, слитность голосов в поэзии Блока уже выносит их за пределы личного переживания, создавая особое со-личностное восприятие мира в его индивидуальных выражениях (вспомним в «Шагах командора» пенье петуха в стране блаженной и пение рожка пролетающего мотора).

В первой же главе поэмы этот принцип воплощен с необычайной полнотой.

В описание черного вечера включается восклицание совсем другого плана: «Ах, бедняжка!», оно сменяется причитаниями старушки, слова писателя перебиваются чьей-то злой репликой: «Вития», и совсем иным и задорным: «Ай, ай! Тяни, подымай!» С лозунгом «Вся власть Учредительному Собранию»

контрастирует ироническая параллель: «. . .И у нас было собрание. . . На время — десять. . .»

Кто же окликает бродягу: «Эй, бедняга! // Подходи — // Поцелуемся. . .»? И — вдруг — замыкающее главу, как кольцо, «Черная злоба, святая злоба. . .» («Черный вечер, белый снег»). И — наконец — врывающееся неизвестно откуда (перекликающееся с «Проходи»?): «Товарищ! Гляди в оба!». . .

В этой главе переплетается более десяти голосов[12], создающих в то же время общую картину позднего вечера и пустеющей улицы во всей сложности ее многоличностного восприятия и вместе с тем внутренне единую (мы уже здесь оставляем в стороне все разнообразие, все богатство словесного строя — от «Бац!» до «Святая злоба»).

Далее это многоголосие как бы укрупняется: во 2-й главе идет перекрестный разговор красногвардейцев вместе с возникающими иными голосами («бубновый туз», «Эх, эх, без креста»), вступает частушка (3-я глава), появляется Катька (4-я глава); монологична 5-я глава (Петруха). 6-я глава снова насыщена голосами (говоря о многих голосах, мы ни в каком случае не допускаем мысли о многоголосой декламации, частой у нас: она разрушает единство стиха, его органическую тональность, даже в басне!).

Особенно резко это многоголосие выражено в острейшим контрасте голосов в конце главы:

Что, Катька, рада? — Ни гу-гу. . .
Лежи ты, падаль, на снегу!

И сразу

Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

7-я глава в целом — монолог Петрухи, но «бедный убийца» — это уже иной голос, а далее говорят уже спутники Петрухи:

«Он головку вскидавает,
Он опять повеселел. . .»

А кончается она, надо думать, словами самого Петрухи (они возвращают нас к словам нищего из статьи «О театре» (1908): «Вопи богатым, чтобы они отпирали сундуки»).

В 8-й главе — богатый контрастными переходами монолог Петрухи, а в 9-й — начало романса, переходящее в восклицание «Гуляй, ребята, без вина», и возникает новый, еще нами не слышанный голос — о старом мире. В 10-й главе снова резкие контрасты: «Али руки не в крови // Из-за Катькиной любви» — и — сразу — «Вперед, вперед, вперед // Рабочий народ», но мы не можем сказать, кто это говорит: слова ли это красногвардейцев? Это — и они, и не они. Поэт среди них, с ними, в них, так же, как в них, высвечивается и его лирическое «я».

Совсем новые интонации начинают 11-ю главу («. . .И идут без имени святого. . .»), строка «Не утянешь сапога» могла бы быть сопричтенной и к ним, но вариант («Ин, не вынешь сапога» — III, 627) позволяет ее считать словами красногвардейцев. Но далее — призыв «Вперед, вперед // Рабочий народ» — это уже не их слова, это переход к смене самого времени поэмы: «мерный шаг» их теряет определенность, он превращается уже в стезю, в путь: «И вьюга пылит им в очи // Дни и ночи напролет. . .», и идут они уже «державным шагом», это уже не тот голос, который в начале поминал о «бубновом тузе».

Единого повествующего голоса в поэме как будто не только нет, но — более того — одни и те же как будто реплики произносятся различными голосами («у бедного убийцы», «Вперед, вперед!»); они переходят одна в другую, возникая и сменяя друг друга в едином общем движении — со-личностном — они сораспинаются.

12-я глава как бы собирает в себе основные темы и голоса поэмы. Здесь и «державный шаг», ведущий вперед, и «старый мир» (и, стало быть, и память о Катьке), «нищий пес», рифмующийся с Христом, «я штыком пощекочу» («ножичком полосну»), «выходи» (и «проходи» 1-й главы) и перемежающиеся голоса:

«Кто там машет красным флагом?
— Приглядись-ка, эка тьма!
Кто там ходит беглым шагом,
Хоронясь за все дома?»

А мы еще давно — в 1910 г. — читали:

«Там кто-то машет, дразнит светом,
Так зимней ночью, на крыльцо
Тень чья-то глянет силуэтом
И быстро спрячется лицо».

(III, 29)

(Скажут — это очень давно, но «три ярких глаза набегающих» из стихотворения «На железной дороге» Блок повторил в 1921 г. в набросках статьи «Ни сны, ни явь».)

И — в последних строках — снова ветер («Ветер, ветер — // На всем божьем свете»):

Это — ветер с красным флагом
Разыгрался впереди

— и новый завершающий голос: «Впереди — // Исус Христос». Конечно, это не Христос — «царь небесный», это тот блоковский Христос, который плыл к его «распятой высоте», вместе с которым Блок «сораспинался». . . «со своей родиной», растворяя в чужих свое «я».

Но слишком велика была сила вековых традиций, чтобы забылось представление и о том «Спасе», которого, «завираясь», поминал Петруха. Противоречие это не снималось поэмой, оно и мучило самого Блока.

Но мы здесь не говорим ведь о самом содержании (и о противоречиях) творчества Блока вплотную. Нам важно лишь в связи с ним понять те новые горизонты, которые открываются перед лирикой в том принципе со-личностности, который был найден Блоком.

Сам он говорил Н.А. Павлович: «Если рассматривать мое творчество как спираль, то «Двенадцать» будут на верхнем витке» [13].

Закончив поэму, он написал (подчеркнув): «Сегодня я — гений» (29 января 1918 г.).

Поэтому именно в этой поэме мы вправе искать и наиболее полное выражение того нового по своему существу лиризма, который вносил в поэзию Блок, который, повторяем, не изменял самой природы лирического творчества, но обогащал, расширял его грани, насыщал его способностью восприятия и передачи оттенков и переливов духовного мира человека и вместе с ним — самого поэта. Этот новый путь развития лиризма, «растрачивая свое человеческое «я», растворяя его в массе других «я», вбирал в себя эти «чужие» «я», находя в них то, что обогащало и духовный строй самого поэта, расширяло и утончало его собственный поэтический мир, делало его созвучным миру в целом: «Мира восторг беспредельный // Сердцу певучему дан».

В этом был глубинный, скрытый смысл того нового содержания, которое обретало поэтическое слово, обращенное к далекому зову других душ в лирике Блока.

В этом она является для нас не только бесконечно дорогим наследием, она завещана нам Блоком и как путь, как движение нашей поэзии вперед, углуб-

ляющее творческое познание жизни нашей поэзии в ее развитии к «правде будущего» (К. Федин).

И этот путь находит в ней отклик. Вспомним у Твардовского:

Я убит подо Ржевом
В безымянном болоте,
В пятой роте
На левом,
При жестоком налете.
. . . . . .
И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она спасена. . .

(«Я убит подо Ржевом»; у Блока: «Как гроб мой тяжелый несли, // Как сыпались комья земли. . .») [14].

Творчество поэта всегда исторично, в нем говорят с нами «среда, эпоха, ветер». Эпоха, слышимая нами в творчестве Блока, исполнена трагизма. «Вся современная жизнь людей есть холодный ужас, — писал Блок С. Тутолминой, — ужас надолго непоправимый» (1916 — VIII, 454).

Лиризм Блока неизбежно был во многом окрашен трагически. Он вбирал в себя прежде всего страдания тех чужих «я», в которых растворялось «я» самого поэта.

Но это — и исторические черты его лиризма в его эпоху. И в другие времена сопричастность художника чужим судьбам, чужим жизням может быть наполнена и совсем иным историческим содержанием, вобрав в себя все богатство, всю со-личностность своего постижения духовного мира человека новой, иной эпохи.

«Человек есть будущее, — писал он сам, — будем верны будущему. . .»

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Вл. Орлов. Гамаюн. Жизнь Александра Блока. Л., «Сов. писатель», 1978, с. 348.
[2] Там же, с. 473.
[3] Владимир Соловьев. Стихотворения. М.—Л., «Сов. писатель», 1974, с. 92.
[4] См.: «Блоковский сб.», 2, с. 25—121.
[5] «Весы», 1907, № 2, с. 85.
[6] П. П. Громов. А. Блок, его предшественники и современники. М.—Л., «Сов. писатель», 1966, с. 192, 241, 261.
[7] «Блоковский сб.», 2, с. 258—260.
[8] Там же, с. 48.
[9] М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 29. М., 1955, с. 93.
[10] См.: П. П. Громов. Указ. соч., с. 337.
[11] Вл. Орлов. Гамаюн, с. 186.
[12] Об этом говорит Л. К. Долгополов в кн.: «Поэма Александра Блока «Двенадцать». Л., «Художественная литература», 1979, с. 33 и след.
[13] «Блоковский сб.», 1, с. 487.
[14] Не имея возможности развивать здесь эту тему, назовем лишь два примера. «Синие гусары» Н. Асеева, «Песня о ветре» В. Луговского; они, как и стихотворение Твардовского, с убедительностью говорят о том, что новый строй лиризма находит в советской поэзии свое продолжение и развитие.

К ВОПРОСУ О ТВОРЧЕСКОМ МЕТОДЕ БЛОКА*

Статья Г. А. Гуковского

1

Творчество Александра Блока принадлежит к крупнейшим явлениям русского и мирового искусства. Понять его специфические черты и его исторический смысл удастся нам только в том случае, если мы соотнесем его с крупным планом истории всего передового искусства XIX и XX вв. Впрочем, вполне допустимо условно ограничить поле изучения фактами русской литературы: такое ограничение не изменит наших выводов, так как именно в русской литературе наиболее полно и даже наиболее отчетливо воплотилось в XIX—XX вв. общечеловеческое передовое движение художественного сознания.

Блок — это не частное или случайное явление. Блок — это гениальный поэт в полном смысле слова, и, стало быть, идейная значительность его творчества не может быть ни осознана, ни измерена только масштабами окружавшей его литературной ситуации или злободневной конкретности фактов его литературной биографии, хотя, разумеется, и эмпирическая современность и биография существенно выразились в индивидуальной специфике его творчества. Общий смысл его искусства шире; он возникает из вековой истории социальной действительности и эстетического сознания, а обращен в вековое будущее. Как и в отношении каждого гениального художника, исследование эмпирического генезиса произведений Блока, каждого в отдельности, являясь необходимым вспомогательным материалом науки, не может разрешить проблемы исторической и идейно-художественной сущности его творчества. Эта проблема может быть решена только исследованием исторического места и объективного идейного содержания искусства Блока как динамического единства в общем стадиальном развитии литературы. Иначе мы за деревьями не увидим леса или будем пытаться вычерпывать море ложкою. В настоящем этюде о Блоке я нимало не ставлю своей целью решить указанную проблему или произвести указанное исследование: для этого потребовалось бы написать капитальный труд о поэзии Блока. Я же считаю возможным предложить читателю лишь некоторые предварительные соображения суммарного характера, некоторые замечания о творческом методе Блока и о месте его творчества в историческом движении искусства России и человечества.

XIX век в передовом течении русской литературы был по преимуществу веком критического реализма. Родившись в 1820-х годах в творчестве Пушкина из недр романтизма начала века, реализм отменил гегемонию романтизма и стал хоть и далеко не однородным, но в целокупности своей ведущим принципом и определяющим художественного метода литературы. Он отверг индивидуализм и субъективизм романтизма начала XIX в., провозгла-

---

* Статья выдающегося советского литературоведа Григория Александровича *Гуковского* (1902—1950) была написана в 1946 г. для предполагавшегося тогда блоковского тома «Литературного наследства». Эта широко проблемная и для своего времени новаторская работа, несмотря на некоторую прямолинейность обобщений, сохраняет интерес как первая попытка рассмотреть художественный метод Блока в связи с историей идейных и творческих исканий в русской литературе на протяжении столетия — от романтизма до возникновения социалистического реализма. Единственный экземпляр этой рукописи сохранил И. С. Зильберштейн. За помощь в составлении примечаний редакция благодарит А. Л. Осповата.

сившего культ абсолютно свободной личности, вознесшейся над миром, поглотившей мир, тем самым пытавшейся отменить объективную самостоятельность мира, культ личности, как бы родившей самое себя, мыслившей себя и свою способность свободного творчества и развития мерилом всех вещей. Он отверг этот дух личности, не скованный ничем в самоутверждении своего права на весь мир, дух, который еще в начале XIX столетия был духом антифеодального протеста личности, выражением эпохи буржуазных революций и надежд на буржуазную анархию как на свободу. Мир романтизма был именно миром утверждения личности, и хорошо сказала Доротея Фейт в письме к Шлейермахеру о романтиках: «Здесь люди всегда ссорятся, что, впрочем, естественно в республике, состоящей из одних только деспотов» [1]. Или иначе — вот слова романтика Шевырева (1828) о романтическом создании Байрона: «человек, духом не признающий никакой зависимости над собою, желающий принадлежать одному себе, заключить в душе своей весь мир, жить в себе и для себя, или эгоист в высочайшей степени, — вот идея Манфреда» [2].

На этой же основе строится и самая романтическая идея национального колорита в искусстве, базированная на понимании народа как нации, а нации — не как реального коллектива, а как метафизической личности, как неизменяемой индивидуальности, безразлично повторенной во множестве ее представителей, и романтический историзм, понятый как «колорит», как эстетический отблеск личности человека и личности нации. Между тем из противоречий и из открытий романтизма, давшего литературе сложно противоречивый анализ эмоции-характера, давшего ей понимание сложного семантического движения внутри слова, понимание «атмосферы», колорита, эмоциональной среды произведения, так же как проблемы национально-исторической индивидуализации культуры, родился реализм, с одной стороны, сохранивший достигнутое романтизмом, а с другой — отменивший его конструктивные принципы. Культуре дифференциального, частного, индивидуального, конкретного, но субъективного реализм противопоставил примат общего, в перспективе — интегрального, коллективного, столь же конкретного, но объективного бытия. Романтизм стремился *раскрыть* характер, но ему нечем было *объяснить* его, так как вне его и над ним он ничего не признавал сущим самостоятельно. Реализм впервые стройно и систематически *объяснил* характер, объяснил человека средой, объяснил частное общим и личное коллективным и тем самым подчинил частное общему, личность среде, индивидуальное — законам бытия коллектива, общества, народа. Реализм как бы взял сложную душу романтического поэта-героя, заключившую в себе весь мир, и вывел состав этой души (вместе со всем миром в ней) из объективного бытия общества, сформировавшего и саму эту душу, и аспект мира внутри ее. Сначала, в 1820-х годах, в творчестве Пушкина реализм вывел человека — личность-характер из *исторической* судьбы его народа. Затем, в 1830-х годах, в творчестве Пушкина, Гоголя, Лермонтова он осложнил определение личности причинами уже не только истории, но и социальной дифференциации народа. Так было построено понятие реальной *среды* как причины, обусловившей человека, и вместе с тем понятие *типа* как характерного представителя ряда личностей, сходных в той мере, в какой они обусловлены одной и той же средой-причиной (одинаковые причины рождают одинаковые следствия). Эти принципы реализма XIX столетия, неизменные при всем разнообразии их применений, лежат в основе ведущей линии русской литературы вплоть до второй половины XIX в., почти до конца столетия. Они глубочайшим образом связаны с потенциальным и все более обнаруживавшим себя демократизмом литературы, поскольку главенство объективного и реального коллективного бытия (среды) противостоит буржуазному индивидуализму и поскольку это главенство среды при признании реального исторического ее изменения, движения предполагает отрицание стабильности, окончательности буржуазного уклада жизни. Демократическим (в пределе развития и

в принципе) было направление реалистического художественного мышления. Социально-исторический метод реализма XIX в. связан и с его критическим, «отрицательным» характером. Еще идеологи «натуральной школы» осознали и социологизм, и антибуржуазность своего метода. Недаром они сомкнутым строем напали на романтика Дюма, обвиняя его именно в угождении «буржуази». А вот как писали о «господствующем направлении современной литературы», о «натуральной школе» «Отечественные записки» в 1848 г.: «Отличительные свойства этой школы — натуральность и воззрение на предметы со стороны общественной жизни. Сильно сказавшаяся потребность последней заставила подвергнуть анализу элементы современной жизни. Вследствие этого вымышленные лица повествований служат представителями сословий, образами различных общественных рядов: посредством первых читатель узнает взаимные отношения последних» [3]. Белинский установил теоретические принципы реализма, и они стали доступны многим. Идеи среды и типичности стали общим достоянием реализма, и в 1848 г. второстепенный литератор Михаил Достоевский мог уже писать: «Хотя люди и розно развиваются, но одни и те же обстоятельства, одна и та же среда, в которой им суждено всю жизнь свою двигаться, действовать, подводит, наконец, натуры их под один уровень и устраивает для них несколько точек соприкосновения, в которых они встречаются друг с другом в желаниях, заботах, помышлениях, надеждах» (повесть «Дочка») [4]. Если человек в своем социальном функционировании — следствие, а среда, общественный уклад — причина, то не человек как личность виноват в зле жизни, а среда, уклад. Так ставится кардинальный вопрос реализма — «Кто виноват?», — и реализм XIX в. отвечает, что в зле мира виновато устройство общества, а не человек. Так обосновывается потенциально необходимый признак реализма XIX столетия — его радикализм или даже революционность — при наличии разнообразных уклонов мысли отдельных писателей-реалистов как личностей. Отсюда и стремление реализма XIX в. снять деление людей на плохих и хороших, отказаться от морального суда над главными героями, над типами (оценка падает главным образом на тех персонажей, которые являются частью среды). «Помните также, что человек никогда не бывает ни совершенно прав, ни совершенно виноват»,[5] — писал еще Гоголь в 1844 г. Анненкову, и эту же мысль глубже и острее развил Чернышевский в «Что делать?» в «апологии» мамаши — Розальской. А Тургенев писал в повести «Переписка» (1855): «Да и кто, скажите на милость, кто бывает когда-нибудь виноват — один? Или лучше сказать, все мы виноваты, да винить-то нас все-таки нельзя. Обстоятельства нас определяют, они наталкивают нас на ту или другую дорогу, и потом они же нас казнят» [6].

Между тем уже эти колебания Тургенева в вопросе о праве на суд над человеком, да и сама тенденция отрицать это право были глубоким выражением внутренней драмы реализма XIX столетия, трагического противоречия в нем, возникшего на почве противоречивости самой общественной действительности середины века. Демократизм передовой русской литературы того времени был необходимо ограничен буржуазными воздействиями эпохи, с одной стороны, сущностью крестьянской стихии — с другой. Поэтому, «разоблачая» романтизм с его индивидуалистическим мечтательством, критический реализм и первой половины, и середины века, да и — в костенеющей традиции — в конце его не мог на самом деле снять проблему индивидуализма. Механическое равновесие индивидуальности и среды — таков был скрытый закон критического реализма, фатально отделявшего личность от среды в том самом акте мысли, который был призван объяснить черты личности чертами среды. Но все же Белинский писал Боткину в 1841 г.: «Ты — я знаю — будешь надо мною смеяться <. . .> но смейся, как хочешь, а я свое: судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира!» (8 марта). И еще в 1840 г.: «Для меня теперь человеческая личность выше истории, выше общества, выше человечества. Это мысль и дума века!» (4 октября) [7]. Огарев

пытался разрешить ту же проблему дуалистически, путем арифметического сложения и внешнего примирения борющихся сил жизни. Он писал Герцену: «Сочетать эгоизм с самопожертвованием — вот в чем дело; вот к чему должно стремиться общественное устройство» [8]. Тургенев всю жизнь бился в тисках этой проблемы, ставшей трагедией его мироощущения и основой его «пессимизма», ибо он, влюбленный в красоту личности и свободу ее, не желал и не мог примириться с подчинением личности закону общего, подчинением слепому, как ему казалось, фатуму объективности, давящей на личность, будь то — прямо — в виде общественного движения эпохи, будь то — мистифицированно — в виде природного круговорота бытия; а между тем и он сам мыслил реалистически и признавал (трагическую для него) причинность социально-исторической среды как общего, определяющего бытия и характер личности как частного. Драма критического реализма XIX столетия заключалась в том, что он, выводя личность из объективных условий среды, на самом деле «выводил» ее, т. е. не мог не отделять ее от среды. Между личностью как следствием и средой как причиной, несмотря на тесную связь, причинную зависимость первой от последней, или, точнее, именно вследствие этой связи, *этого* понимания их связи, образовалась трещина: причина отделялась от следствия, несходного с нею, и наоборот: среда оставалась недифференцированной дурной почвой, над которой возносилась страдательная и трагически зависящая от среды, но не слитая с нею личность. С помощью формально-логической операции причинного объяснения личности средою индивидуализм оказывался не до конца преодоленным. Демократизм утверждения примата среды, коллективного бытия, массы оказывался неполным, не осуществленным до конца, поскольку упиравшаяся индивидуальность отделялась от коллектива.

Романтизм начала прошлого века все еще тяготел над критическим реализмом, почти явно обнаруживая себя как составную часть его то в творчестве Тургенева, то у Островского, то даже у молодого Толстого. Кстати заметим, что отсюда же возникла в литературе и гипертрофированная психологизация, погружение в *анализ* уединенной психики личности; эта гипертрофия анализа единичного сознания была своего рода уходом от неразрешимой для критического реализма XIX в. проблемы *синтеза* личности и среды, индивидуального и коллективного, частного и общего, — того синтеза, который мог быть разрешен лишь передовой литературой XX столетия, основанной уже на сознании социалистического типа. Гипертрофированный психологический анализ личности уже потому не мог разрешить эту проблему и — в этом смысле — уже потому давал неполную картину мира, общества и человека, что он слишком резко делил мир на «я» и не «я», на психику, раскрытую анализом и раздутую им, и весь мир, лежащий за ее пределами, этот анализ мог раскрыть при данных условиях по преимуществу индивидуальный аспект личности, хотя бы и объясненный генетически, с помощью не индивидуального общественного бытия; но ему было трудно раскрыть другой — и важнейший — аспект личности, ее сущность как элемента самой среды, самого коллективного бытия, например аспект личности как носительницы бытия народа. Этот аспект личности до конца откроет в литературе Горький; его же будет — может быть, смутно — искать Блок, который скажет: «Герой уж не разит свободно, — // Его рука — в руке народной» (III, 302). Блок, который возжаждет показать, «как в каждом дышит дух народа» («Возмездие». Пролог — III, 302).

В этом смысле, если принять, что реализму свойственно понимание личности как выражения общего, коллективного исторического и общественного бытия, можно было бы сказать, что весь грандиозный по величию своих художественных созданий и своих идейных открытий критический реализм XIX столетия — это введение, подготовка к будущему реализму, это еще только переход от реализма начала века к реализму грядущего века. Здесь можно провести аналогию со второй половиной XVIII сто-

летия, с той порой «предромантизма», когда строительство романтизма происходило при не преодоленных еще методах мысли классицизма, с порой вызревания буржуазного сознания в недрах еще феодально-абсолютистского общества.

Между тем задача зрелого реализма сперва смутно, затем все более осознанно возникла в русской литературе еще с первых шагов построения реализма XIX столетия, задача слияния и гармонического синтеза начал личного и общественного, индивидуальности и коллектива. Эту задачу выдвинул еще Гоголь, попытавшийся центральным объектом своего изображения сделать не человека как личность, как самостоятельную индивидуальность, а самое *среду*, целое страны, общественного уклада («Ревизор»), народа и общества («Мертвые души»); он стремился как бы утопить личность в целостном образе коллективного бытия общества, и именно потому так усердно выдвигали его как свое знамя поэты круга Блока. Доведя до высшего проявления социальные идеи критического реализма и обосновав тем самым генеральную линию русской реалистической передовой литературы XIX в., Гоголь в то же время породил в литературе стремление к высшему синтезу, но не мог осуществить его, ибо «не приспела еще година», и он пришел в конце своего творческого пути к опасности подменить гармонический синтез личности и общественного начала механическим поглощением личности обществом, к опасности утери высшей ценности человечества — живого творческого человека. Тем не менее великая задача, поставленная Гоголем, продолжала жить и зреть в русской литературе в течение всего XIX в., тем более что в течение всего века передовая мысль мучительно билась над разрешением все более обнаруживавшегося в критическом реализме противоречия индивидуальности и общественности.

Колоссальные попытки разрешить это противоречие и достигнуть синтеза сделали Чернышевский — в одной последовательно демократической линии развития русской культуры, и Достоевский — в другой, извилистой и мучительно непоследовательной. Лев Толстой подвел итоги исканиям своей эпохи, попытавшись создать образ народа путем сплетения огромного количества индивидуальностей и индивидуальных судеб.

Наконец, в отечественную литературу пришел Чехов, открывший дорогу Горькому и показавший, что жизнь великого целого заключена в каждом мгновении и каждой частной судьбе, включенных в это целое. Именно поэтому Горький написал Чехову в 1900 г. по поводу одного из самых реалистических его рассказов — «Дама с собачкой»: «Знаете, что Вы делаете? Убиваете реализм. И убьете Вы его скоро. . .», потому что дело шло об исчерпанности традиций критического реализма XIX в., уже влачивших эпигонское существование, об исчерпанности попыток механически объяснить мир, общество и человека путем арифметического сложения, при помощи формулы: среда + личность, — формулы, фатально отделявшей личность от среды. Но в пору расцвета чеховского творчества уже Горький развернул свою великую деятельность, создав принципы социалистического реализма, представ лучшим людям эпохи не как выразитель одного только личного начала, а как могучая личность, именно в силу своей человеческой значительности воплощающая *целое* могучего и рвущегося вперед народа, не только как сын народа, но и как «сам народ» в личном аспекте. Так его понял Блок, писавший в 1907 г.: «Я утверждаю <. . .> что если и есть реальное понятие «Россия», или лучше — *Русь*, — помимо территории, государственной власти, государственной церкви, сословий и пр., т. е. если есть это великое, необозримое, просторное, тоскливое и обетованное, что мы привыкли объединять под именем *Руси*, — то выразителем его приходится считать в громадной степени — Горького» («О реалистах» — V, 103). Современником Чехова и молодого Горького был уже и Блок, причем таким современником, который хотя и шел иными и косвенными путями, но чуял и стремился разрешать в своем творчестве те же проблемы эпохи.

Между тем романтизм начала XIX столетия вовсе не был убит поэтами, вышедшими из его недр и преодолевшими его на путях построения реализма, Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым. Он продолжал жить на протяжении всего XIX в.

«Для одного деятеля общественный реализм стал матерью, для другого — мачехою», — писал Дружинин в 1857 г.[9]; и многие, не желавшие искать путей демократизации сознания в реализме, отрекались от этой «мачехи» и длили традицию романтизма начала века. Таков был, например, А. К. Толстой, пытавшийся продолжить линию Рылеева и Катенина в своем романтическом творчестве, в конце концов вступившем в открытую борьбу даже с пушкинским реализмом («Царь Борис» — и «Борис Годунов»). Но прогрессивность или даже революционность русского романтизма 1810—1820-х годов неуклонно линяла по мере демократизации передового движения эпохи, по мере поступательного хода самой социальной действительности. Романтизм, как и пафос индивидуализма, все более обнаруживал свою буржуазность, и в соответствии с исторической судьбой буржуазности тускнела и его прогрессивность; его захлестывало мещанство, и он стал высовывать свой нос уже в пошлейшем Болеславе Маркевиче, чтобы докатиться, наконец, до совсем разложившейся литературы реакционных мещанских псевдоисторических романов наследников Вс. Соловьева и Сальяса, неожиданно возродивших в конце века Загоскина или даже Булгарина, и, наконец, докатиться до «графа Амори» [10]. Одновременно, и тоже еще в конце XIX в., романтизм явственно окрасил литературу позднего и все более буржуазного народничества.

Таков был путь буржуазии и всего ее культурного достояния; в конце XVIII в. император Павел приказывал срывать с непокорных голов и уничтожать цилиндры, шляпы — символы революции, головной убор буржуазии; а в начале XX в. цилиндр стал плакатным признаком реакционного буржуа, капитала, удушающего прогресс.

Романтизм начала XIX в. дожил самостоятельно до конца его, скатываясь все более в буржуазную реакцию, и одновременно он давил на реалистическое сознание передовой литературы, где только мог вторгаясь в нее (разумеется, романтика молодого Горького не имеет ничего общего с этим наследием романтизма начала XIX в.).

И вот в конце столетия и в самые первые годы нового века буржуазность, почувствовавшая прилив новых сил и праздновавшая свои кратковременные и иллюзорные победы, попыталась поднять голову и воссоздать гибнущую традицию старого романтизма, влив в нее соки буржуазной цивилизации Запада, изысканную книжность и изощренность вкуса вместе с воинствующим индивидуализмом, борьбой против демократического и реалистического мировоззрения, культом сильной личности, возносящей себя над презираемым ею коллективным и объективным бытием массы, а затем и закономерно объективным бытием природы и истории в целом. Так возник русский «декаданс» и первый этап русского символизма, от Волынского до Бальмонта и ранних Брюсова и Сологуба.

Уже Блок в 1910 г. отчетливо ощутил и смысл этого первого этапа русского символизма, и глубокую принципиальную противоположность его второму этапу, к которому принадлежал он сам. В 1910 г. в статье-речи «О современном состоянии русского символизма» Блок развернул концепцию двух этапов, двух фаз этого течения, причем он определил первый этап как «тезу», а второй — как «антитезу»; и вот как характеризует он «тезу», пользуясь цитатами из поэтов «тезы»: «„ты свободен в этом волшебном и полном соответствий мире". Твори, что хочешь, ибо *этот мир принадлежит тебе*. „Пойми, пойми, все тайны в нас, в нас сумрак и рассвет" (Брюсов). „Я — бог таинственного мира, весь мир — в одних моих мечтах" (Сологуб)» (V, 426). Антитеза, т. е. сам Блок, видит и толкует мир в обратном соотношении личного и общего, субъективного и объективного: «Переживающий все это — уже

не один», — «„возникают вопросы о проклятии искусства, о „возвращении к жизни", об „общественном служении", о церкви, о „народе и интеллигенции» <. . .> Ценность этих исканий состоит в том, что они-то и обнаруживают с очевидностью *объективность и реальность* „тех миров"; здесь утверждается положительно, что все миры, которые мы посещали, и все события, в них происходившие, вовсе не суть «наши представления» (V, 429—431).

Но если столь велико различие — в самом существенном — между первой фазой русского символизма и Блоком, если они решают в противоположном смысле столь определяюще важные проблемы мировоззрения, то почему же Блок считает и «антитезу» символизмом, как и «тезу», т. е. что же общего между двумя этими явлениями. Конечно, известную роль здесь играет и конкретная фактическая история всего этого литературного движения, то, что оба этапа его не были разделены достаточно осознанным резким переломом, что и Блок и Белый связаны учебой и преемством со старшими символистами, что и у Блока, особенно раннего, мы обнаруживаем немало элементов системы старших символистов, что Брюсов, в свою очередь, в 1910-х годах пережил сложную эволюцию, приведшую его в конце концов к позициям, весьма далеким от тех, которые он воплощал в 1890—1900-е годы. Но это обстоятельство не исчерпывает вопрос, а, пожалуй, лишь формулирует его по-новому: что же обусловило возможность такой переплетенности элементов и путей развития «тезы» и «антитезы» в русском символизме? Очевидно, что *решение* проблем в тезе и антитезе было различное: остается предположить, что *постановка* проблемы была в них аналогична, и это обстоятельство, по-видимому, действительно дает ответ на поставленные вопросы.

Классические устои культуры XIX столетия, мышление, делившее мир на замкнутые личности, представление об отдельной личности как носительнице исторической и культурной активности, позитивизм подобной социальной атомистики рушились к концу столетия под напором новых, явственно обнаружившихся тенденций самой общественной действительности. На арену истории все более мощно выступали массы. Капитал, угрожаемый консолидацией сил пролетариата и повинуясь железным законам экономики, перешел к открытой консолидации своих сил уже явно империалистического характера. Даже чуждые Марксову учению, но внимательные наблюдатели увидели, что мир разделен на две мощные социальные силы, представшие взору как силы, не сводимые к активности отдельных личностей. Перед литературой, не связавшей свою судьбу с судьбой пролетарского дела, но стремившейся «не отстать от века», стал во весь рост вопрос о слитном, монистическом восприятии мира, о воссоздании в образах идеи колоссальных единств (или единства), объемлющих человека как личность, ибо, как писал Блок в предисловии к «Возмездию», «мировой водоворот засасывает в свою воронку почти всего человека; от личности почти вовсе не остается следа, сама она, если остается еще существовать, становится неузнаваемой. . .» и т. д. Понимание социального смысла характера эпохи, и понимание научное, обосновало рождение нового этапа реализма в творчестве Горького. Идеалистическое, мистифицированное толкование тех же явлений действительности дало русский символизм. Он тоже не мог более удовлетвориться делением мира на человека-личность и среду-причину, он тоже стремился к единству. Но, во-первых, он шел путем не диалектического единства, а упрощенного слияния, механического объединения обоих полюсов, связанных логически, но разделенных фактически в критическом реализме; он поставил проблему как задачу поглощения одного элемента противоречия другим: либо личность поглотила мир, либо мир —личность. Во-вторых, он воспринял и истолковал среду не столько как социальный коллектив, сколько как извечный космос, целое природы, как мир, ибо он смутился духом пред лицом грядущих битв, убоялся социальной правды современности и в борьбе личного и социального увидел борьбу человека и мироздания. Единство мира и человека, отклонявшее противоречие реализма XIX столетия, и было, может быть, тем принципом миро-

восприятия, который лег в основу обоих этапов, обоих ликов русского символизма и обусловил его эстетическую специфику (человек, факт, предмет, любое явление, взятое не в своей «отдельности», а как «символ», т. е. как проявление единой общей сущности мира). Но здесь же начинается радикальное различие между первой фазой символизма и Блоком. Первая фаза — это была попытка разрешить проблему эпохи субъективно-идеалистически и на основе возрождения и шумного утверждения буржуазного индивидуализма. Эта фаза пыталась построить единство мира и человека, упразднив мир, поглотив его личностью. Это была безумная и, конечно, реакционная попытка опять — и совсем не в тех условиях, как во времена Байрона или Жуковского — вознести личность — индивидуальность, торжествующую свою мнимую победу, — над миром природы, мечты этой личности над миром общества, дела рук этой личности над миром морали, отвергнутой этой личностью, над миром истории, понятой как игра образов, пробегающих в сознании этой личности. Трудно найти в истории новой русской поэзии художника менее исторического по методу, чем Брюсов, несмотря на то что он, кажется, больше всех русских поэтов пользовался «исторической» экзотикой имен, сюжетов и мотивов. Но ведь его роман о позднем средневековье толкует о распрях современных ему русских интеллигентов, его личных знакомых, а все его египетские, римские и какие угодно другие мотивы — это не более, чем китайские тени его фантазии или цветные бумажные фонарики в ночном парке его собственного поэтического мирка, вознесенного над настоящим миром. Блок правильно определил суть этой «тезы» русского символизма. В «антитезе» нас занимает сейчас именно Блок. А он разрешил проблему в обратном соотношении элементов; в страстном порыве к слиянию с миром он менее всего мог и хотел поглотить мир своей раздувшейся и возгордившейся личностью; наоборот, он готов был отдать самого себя и всю свою личность миру, раствориться в нем, сначала как в космической душе, затем как в реальности души народа, и в этой жертвенной самоотдаче обрести нравственное удовлетворение.

2

Так как речь в настоящих заметках идет не о монографическом исследовании поэзии Блока в целом, но только о месте Блока в развитии русской литературы, о некоторых чертах его творческого метода, и так как заметки эти нимало не претендуют на полноту, я считаю возможным не останавливаться на вопросах эволюции Блока, становления и роста его художественного и вообще идейного сознания; говоря о Блоке, я имею в виду зрелого Блока, уже достигшего вершин искусства, Блока по преимуществу третьей книги стихотворений, того Блока, мощный расцвет которого освещает для нас и смысл, и значение всех предшествующих этапов его творческого пути.

Реалистическое искусство XIX в. началось с того, что Пушкин (в 1820-х годах) определил и объяснил человека — вечный объект изображения и воспевания в поэзии — историей его народа, т. е. двумя причинами — его народом и историей. Вслед за тем реализм XIX в. поднялся на следующую, высшую ступень, когда он к определению человека историей народа прибавил определение его социальным признаком, дифференцировал историческое понятие народа понятиями классов и вообще социальных групп; эта социологизация понятия среды (и соответственно типа) оформилась у Пушкина же в 1830-е годы, у Гоголя и Лермонтова последних лет их жизни. В поэзии, в лирике «социологический» реализм XIX в. достиг вершины и обнаружил свои трагические противоречия в творчестве Некрасова. Некрасов, самый социальный из русских лириков (исключая Маяковского), в то же время так и не избавился от противоречий своего личного и социального, демократического и народного (отсюда ведь и тема личной «вины» поэта-личности, и чаяние прощения этой вины отщепенства «за каплю крови, общую с народом», и т. д.), а в своем стремлении к слиянию с народом Некрасов мог, конечно,

отойти от дифференцирующего аналитического метода мысли своей эпохи (этот же метод обусловил и «антропологичность» философского материализма Чернышевского, и основы этики Писарева, и многое другое).

На переломе двух веков русская литература в самых передовых ее явлениях вновь поставила проблему интегральности понимания человека и мира и — по условиям эпохи — смогла теперь подойти к решению этой проблемы. Но и теперь, как почти сто лет назад, на новом этапе реализма, как и на пушкинском этапе его, возникли как бы две ступени уже не только объяснения человека средой, но и синтеза человека и среды: с одной стороны, это — синтез человека-личности и недифференцированного исторического бытия его народа; с другой — это синтез человека-личности и социально-дифференцированного, классово определенного исторического бытия его народа. Первый, неполный — и еще идеалистический — синтез был тем идеологическим пределом, к которому стремился, хотя и не достиг его полностью Блок; второй был достигнут Горьким и развернут его учениками; достиг его и Маяковский. Но как историзм народный идеи «Бориса Годунова» не пропал для социологизма «Пиковой дамы», «Медного всадника», «Ревизора» и «Героя нашего времени», а, наоборот, вошел в него необходимым и существенным элементом, так и историко-национальное понимание личности зрелого Блока не противоречит методу Маяковского, но необходимо обусловливает его. Коротко говоря, дело шло о народе. Блок-публицист (как и Блок-поэт) настойчиво ставит вопрос о разрыве между народом и интеллигентом и о гибельности этого разрыва. Причинно-следственное отношение между *средой* (народом, историей, природой, миром) и *типом* (героем) осложняется: герой — тип есть теперь и следствие среды, и он же есть сама среда, он несет в себе всю целокупность среды, а у Блока он как бы растворяется в среде — ведь «в каждом дышит дух народа». Человек в поэзии Маяковского осознается как диалектическое единство центробежной и центростремительной силы, единство личного и общего. Человек существует в мире, т. е. окруженный миром и сам несущий весь мир в себе. Человек — единица, личность, и как таковая он индивидуален, неповторим и смертен. Человек — это класс, это народ (ибо народ — это коллектив людей, не арифметическая сумма, а система, но все же человеческое единство), и как таковой он бессмертен в вечной жизни общего, он могуч и прекрасен мощью и красотой общей и вечной творческой жизни. Человек как центростремительная сила индивидуальности — это — в пределе — грандиозный и страшный образ Клима Самгина, гибель величия человеческого; человек, реально осуществленный в коллективе и прекрасный, — это Павел Власов; человек как народ пробивается через все помехи временных социальных исканий, и это мы видим в Фоме Гордееве или еще в Егоре Булычеве. Человек как народ обусловливает воинский героизм, ибо, умирая как индивидуальность, он побеждает и живет как народ. И в своей коллективной, общей сущности человек только и обретает утверждение себя как личности — сознание этого чаялось всем великим русским писателям XIX в., от Пушкина («Евгений Онегин»), Гоголя («Тарас Бульба») — до Толстого («Война и мир») и Достоевского («Братья Карамазовы»); но реализовать это демократическое в глубочайшей основе своей чаяние суждено было только русской литературе XX столетия. Всем существом своим Блок тянулся к реализации этого чаяния. Но, ограниченный своим миропониманием, он не смог добиться гармонического синтеза и жертвенно растворил свою личность в коллективном чувстве народа, осознав тем самым свою душу как слитую с народной. Блок скажет в 1910 г., вспоминая о революции 1905 г.: «И сама Россия в лучах этой новой <. . .> гражданственности оказалась нашей собственной душой» («О современном состоянии русского символизма» — V, 431). И Родину он назовет в стихах своих не так, как ее называли раньше, не только матерью, родительницей, создавшей сына и отдавшей его миру, но женой своей (отдаленное предчувствие этого было опять у Гоголя: «Русь! чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь

таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?» [11]).

К сознанию себя, личности как проявления самого народа Блок пришел не сразу, пришел через познание конкретного смысла своего космического самоощущения. Но с начала его самостоятельного творчества он исходил из могучего порыва к интегральности лирического самопознания мира и к возведению своей личности к началам бытия, объемлющим личное. Таким бытием, и объемлющим душу его лирического героя, и воплощенным в ней, был для него прежде всего космос. Уловив принцип возведения личности к *общему*, Блок расширил свою личность до пределов космического бытия вселенной: однако — и это определило и движение Блока вперед, и глубокую суть его «космизма» — он воспринял космос не как безразличный покой, а как стремительное движение, как *историю*, адекватно выраженную в истории человечества, истории народа. Его космос не сияет вечной красотой светил, а летит с ужасающей быстротой вперед, то ли в бездну, то ли к солнцу, и чувство этого движения космоса есть у Блока чувство стремительного хода истории Европы, и прежде всего России как реального единства. Прояснение смысла блоковского «космизма» как реального движения истории, смысла блоковского механического синтеза «я» и мира как синтеза «я» и народа определяет внутреннюю динамику блоковской эволюции; но смысл этот был изначала присущ его поэзии. «Миры летят. Года летят» — это начало стихотворения из «Страшного мира» как бы формулирует отношение космоса и истории у Блока. Среда и в то же время душа блоковского человека — мир, вскрывающий свою душу, как душу народа. И человек Блока, трагический, замученный страшной эпохой, «страшным миром», все же колоссально могуч, прекрасен и велик, потому что в нем дышит душа народа — душа космоса в первичной блоковской образности. Мощь среды могла подавить бренную душу личности в сознании Тургенева, могла стать упреком непокорной душе личности у Некрасова; у Блока мощь среды — и в ее глубокой правде народа (и «космоса»), и даже во мраке ее исторических искажений — это мощь личности. И отсюда пусть трагическое, но все же человекоутверждающее звучание всей поэзии Блока (ср. с этим: «Грешить бесстыдно, непробудно» — и «неожиданное» утверждение родины в концовке этого стихотворения).

Как это бывает по отношению к каждому поистине великому поэту, мы можем взять, в сущности, любое из зрелых и типически выразительных стихотворений Блока и увидеть во всей его ткани, во всем строе его образности, в структуре его стиля воплощение основных элементов мировосприятия поэта. Вспомним то стихотворение 1912 г. из «Страшного мира», начало которого только что было процитировано:

Миры летят. Года летят. Пустая
Вселенная глядит в нас мраком глаз.
А ты, душа, усталая, глухая,
О счастии твердишь, — который раз?

Что счастие? Вечерние прохлады
В темнеющем саду, в лесной глуши?
Иль мрачные порочные услады
Вина, страстей, погибели души?

Что счастие? Короткий миг и тесный,
Забвенье, сон и отдых от забот. . .
Очнешься — вновь безумный, неизвестный
И за сердце хватающий полет. . .

Вздохнул, глядишь — опасность миновала. . .
Но в этот самый миг — опять толчок!
Запущенный куда-то, как попало,
Летит, жужжит, торопится волчок!

И уцепясь за край скользящий, острый,
И слушая всегда жужжащий звон, —
Не сходим ли с ума мы в смене пестрой
Придуманных причин, пространств, времен. . .

Когда ж конец? Назойливому звуку
Не станет сил без отдыха внимать. . .
Как страшно все! Как дико! — Дай мне руку,
Товарищ, друг! Забудемся опять.

Спросим себя, о чем это стихотворение? Разумеется, о жутком полете в неизвестность всего мироздания, о круговращении космических тел, в ко-

тором потерялся человек; а это вихревое движение миров конкретизируется в сознании как ощущение мощного и жуткого бега истории, неудержимого стремления страны, родины — куда, Блоку это неизвестно. Такое осознание содержания этого стихотворения и верно, и неверно; во всяком случае оно неполно и потому неточно. Стихотворение повествует о гораздо более простых, обыденных и вполне реальных вещах. Прочитайте его внимательно, и вы увидите, что в нем рассказано об обыкновенном «Луна-парке», и в частности о довольно ходком развлечении на вечерних гуляньях в увеселительных садах; развлечение это называлось «чертово колесо»; заключалось оно в том, что желающие располагались (просто лежа или сидя «на полу») на большом круге, а затем этот круг неожиданно начинал вращаться, причем публику центробежным движением сдувало с него в самых непредвиденных позах; кто мог, удерживался, уцепившись за край круга; вся операция вызывала «гомерический хохот» присутствующих и участвующих; вдруг круг останавливался, затем вновь начинал кружиться, и так далее. Блок описал поездку на чертовом колесе в «Луна-парке», модное и довольно вульгарное развлечение, и описал точно, реально, точными и вполне объективными штрихами, описал и психологию и даже как бы физиологию катания на этом колесе; у него названы прямо все ощущения всех моментов этого катания, названы без всякой «символики» совершенно вещественно. А в то же время это все-таки стихи о страшном беге космоса в истории. Что же — само чертово колесо стало для Блока символом круговращения миров и бега годов? Конечно, нет. Чертово колесо так и осталось чертовым колесом, и ничем больше, вполне вещественной и во всех отношениях плоской вещью. Но Блок мыслит каждую конкретность бытия, пережитую человеком, как конкретный момент общей жизни природы и истории (его идейная трагедия заключается в значительной мере именно в том, что он не отличал природы от истории). Чертово колесо не имеет и у Блока никакого отношения к платоновым или пифагоровым сферам космоса; но *увлечение* «публики» да и поэта (вместе) вращением, полетом, безумным вихрем движения, смутное и все же властное стремление к этому вихрю — на чертовом колесе — это для Блока — выражение живого и реального чувства движения истории страны, а за нею движения истории мира. Любой, даже самый обыденный и реально объяснимый момент Блок переживает и поэтически осознает как момент не только индивидуальной, но и общей, коллективной, народной и всемирной жизни. Подобно тому как человек столетиями умел выражать в слове *свою* личную боль, *свое* счастье, *свой* страх, *свою* молодость или старость, *свой* подвиг или свою депрессию, в блоковской поэзии человек, ощущая себя как народ, как историю, как человечество, учится выражать это свое переживание не способом внешнего наблюдения фактов истории, а способом переживания истории изнутри. Блок ищет язык для того, чтобы человек стал голосом целого, истории, чтобы субъективно пережить объективный прогресс массового бытия; и он обретает этот язык. Он находит поэтический принцип возведения каждой частной конкретности бытия не к причине, а к сущности общего бытия народа, истории, мира. Поэтому в механическом освещении частного и общего и устанавливается некое равенство поэтических тем: тема вращения чертова колеса с его жужжанием, скользящим краем, остановками и толчками воспринимается как равноценная тема полета миров и лет; устанавливается равенство двух нерасторжимых сторон человека — индивидуальности и носителя «души» народа и мира одновременно. На этом принципе неразрывного и уравновешенного сочетания частного и общего, личного и массово-коллективного чувства истории, на этом принципе возведения конкретного жизненного переживания к сущности переживания истории, на этом понимании человека (лирического героя) как существа хоть и отдельного, но в то же время слитного со всеми вместе, на стремлении говорить от лица личности и от лица народа и истории человечества построена поэзия и, конечно, поэтому и поэтика Блока. При этом для Блока «отдельность» человека — это его вина,

это в нем зло, порча, а слиянность его с бытием общего — это его благо и высокая жизнь. Герой Блока — человек: он влюблен, он «ухаживает» за своей дамой, и рассказ о влюбленности и о «романе» героя и дамы заключен в «Трех посланиях»; и здесь опять прогулка поэта и дамы в лодке на взморье белой ночью — это самая обычная конкретная и нимало не мистическая, а, наоборот, совершенно бытовая реальность, как и зимние прогулки поэта-героя с дамой на лихаче; и все в этих описаниях твердо-предметно и подлинно: и усталое плечо гребца, и несмелые движения дамы, сидящей в лодке у руля, и в другом стихотворении — черный бархат зимнего платья на ее смуглых плечах. Слово поэта здесь точно, отчетливо лепит предмет бытия; оно значит именно вещи, движения, картины и т. п. А все же: «Над бездонным провалом в вечность, // Задыхаясь, летит рысак», а все же: «Темный морок цыганских песен, // Торопливый полет комет!»; и, следовательно, реальнейшая петербургская прогулка и реальнейший бытовой «роман» пережиты в сфере «провала» истории России 1908—1910 гг., а этот провал истории пережит в сфере трагической судьбы мироздания. Двойное бытие человека предчувствовал Тютчев (недаром он оказался так значителен для поэтов эпохи Блока), но то, что у Тютчева неслиянно, разорвано надвое, у Блока стало единым бытием мира, истории и человека. Человеку нет, по Блоку, надобности исчезнуть, чтобы слиться с бытием общего, ибо и в его единичном, частном и личном он все-таки всегда несет в себе общее и принадлежит ему. Поэтому двуединство воспринимающего мир и действующего в мире духа человеческого в поэзии Блока выражено вовсе не только там, где открыто названы обе грани этого двуединства (рысак — вечность; чертово колесо — миры летят), но и во всех тех случаях — а их очень много, когда второй план, тема общего космического и исторического переживания мира, не названы прямо или не выделены в особый словесный мотив, а слиты с конкретным изображением сущего. Достаточно напомнить два-три места из того же «Страшного мира»: «Кругом — снега, трамваи, здания, // А впереди — огни и мрак». Здесь еще налицо как бы параллелизм предметной единичности вещей мира — и восприятия мира в его движении в целом; но уже «огни и мрак» — не то, что «провал в вечность» или «миры летят»; ведь это — реальнейшие огни и вещественный мрак ночных улиц города (в стихотворении описано именно блуждание поэта-героя по городу зимней ночью) и в то же время мрак грядущего и пламя исторических потрясений. Здесь играет роль и то, что сказано «огни» и «мрак», а не, скажем, фонари и темнота, т. е. поэт избрал слова обобщенно-поэтического звучания, не оторванные, однако, от конкретного значения предмета и ощущения его (ср., напр., у Блока в статье 1912 г. «От Ибсена к Стриндбергу»: «Вдруг грохот лавин, свист бури и мрак. И во мраке — голос Вечности» — V, 462). Возьмем начало стихотворения: «Повеселясь на буйном пире, // Вернулся поздно я домой. . .». Речь здесь идет явно об обыденнейшем и весьма человеческом, бытовом моменте жизни (отсюда бытовые формулы второго стиха); но поэт говорит в первом стихе не словами быта; а словами высокой поэзии. Ср.: «На буйном пиршестве задумчив он сидел. . .» — Лермонтов о пророческом предвещении Казотта [12], или «И что ж, ты нас обрел в пустыне под шатром, // В безумстве суетного пира, // Поющих *буйну* песнь и скачущих кругом // От нас созданного кумира. . .» [13] — Пушкин о поэте-пророке; значение слова «повеселясь» начинает колебаться между бытовым значением (вроде «Ну что, повеселились на вечеринке») и значением «высокого веселия духа». А вместе с тем слова «на буйном пире» обозначают одновременно бытовые сборища, буйное опьянение эпохи, стран, сумасшедшей пляски катастрофических игрищ человечества. И разве не такой же характер имеет маленький шедевр Блока — «Ночь, улица, фонарь, аптека»? Ведь и здесь описан реальнейший вид из окна в Петербурге, реальнейшие единичные предметы, а «второй план» (может быть, это первый план блоковской поэзии) хотя и не фигурирует открыто, но он есть; он дает смысл стихотворению в сочетании ужасающей

повторяемости, иллюзорной неподвижности мира с его подлинным стремительным круговым движением («умрешь — начнешь опять сначала. . .»). Таким образом, слово, вовсе не становясь символом, как и предмет, также не символический, а вполне самостоятельный (аптека и есть аптека, а вовсе не символ чего бы то ни было, напр., спасения страждущего человечества), в сознании поэта осмысляется двуедино: как частное восприятие и как часть целого, включающего в себя и самого поэта.

Но что же это за общее бытие, воплощенное в личной теме и отраженное в ее частном и конкретном у Блока? Менее всего это мистическая или иная метафизическая неизменная, вечная «сущность» мира, идея, парящая над миром, вечная субстанция идеализма или даже мистифицированная «вечная женственность», или что-либо в том же духе. Общее, вплавленное Блоком в судьбу личного, — конкретно, объективно, и оно прежде всего безостановочно движется, стремится и меняет облик. Это общее — это по преимуществу *история*, жизнь общего (космоса — человечества — родины — народа), понятая и как жизнь личности, конкретная, объективная история, выявляющая себя в конкретных и единичных *фактах*, объединенных этим единством исторической жизни. Для Блока жизнь — это движение, становление, умирание и рождение, жизнь — это история; а история — это жизнь. И это относится ко всякой жизни: и к жизни мироздания, и к жизни народа, и к жизни человека — личности. И жизнь личности — это та же жизнь народа и мира в единичном проявлении. Поэтому если поэзия есть образное воплощение жизни человека, то она тем самым имеет своим предметом жизнь — историю народа, народов и мира. Поэтому поэзия Блока стремится к растворению лично-лирического начала в общем историческом чувстве, и поэтому же, открывая искусству огромные идейные горизонты, она тем не менее стоит перед опасностью утери человечности, гибели личности, затерявшейся в стихийном движении космоса и человечества. Но поэзия как образное мышление — конкретна, стало быть, она выражает не целое всей истории, а моменты движения истории, мгновения реального пережитого потока ее. Так единственной, в сущности, большой темой Блока оказывается *история*, воспринятая не в перспективе прошлого, а в движении современности, сегодняшнего дня, в злобе дня и в предчувствии и предвидении грядущего. Многие раньше думали, что искусство выражает итоги бытия, устоявшиеся явления его. Блок зовет к другому: он зовет к погружению себя в множественность фактов еще не устоявшегося сегодня, с тем чтобы осознать их общий исторический смысл, чтобы уловить направление движения целого, проявленного во всем разнобое противоречивых частностей. Можно сказать, что Блок менее других поэтов его времени, да, пожалуй, и менее большинства поэтов XIX столетия, писавший о прошлом, все-таки является в высшей степени историческим поэтом, ибо все, что он пишет, — исторично, все написано об истории. Так было с самого начала творческого пути Блока, когда он предчувствовал великие катастрофы и ждал очистительных гроз и видений («Предчувствую тебя. Года проходят мимо — // Все в облике одном предчувствуя Тебя. // Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо, // И молча жду, — *тоскуя и любя*. . .»), и это предчувствие, предощущение было глубоким содержанием его личной лирики. Объективно это было поэтическое ощущение близости революционного потрясения. Затем — основные циклы поэзии Блока в плане предметного «сюжета» говорят о любви, о личных переживаниях, о впечатлениях вещей и событий, а в плане исторической темы говорят о «страшном мире» победы мещанства, реакции, смерти над жизнью, поэзией, народом, о России 1907—1914 гг., потом о бурях войны и о грядущей всесокрушающей и всесозидающей буре революции. Все, о чем предметно говорит Блок, — это не «вечные» темы и явления, не просто «общечеловеческая» лирика; это — предметности, характерные для данного момента истории, выражающие его. И колоссальные исторические обобщения «Возмездия», тоже ведь сотканные из множества предметных, конкретных единичностей, вплоть

до «Галоши сыщика блестят», нимало не неожиданны для творчества Блока, а, наоборот, органически вырастают из всей совокупности его поэтических навыков, так же как исторические обобщения «Двенадцати» и «Скифов». Эволюция Блока в этом отношении осуществлялась по преимуществу движением поэта к все большей осознанности и ко все большей конкретизации его историзма. В начале его творческого пути он мистифицировал историческое общее бытие, выражаемое в личном переживании, в качестве чувства исторического движения жизни космоса. Поэт стремится возвести каждый момент переживания личности к принципу переживания данного момента бытия космоса, стремящегося из бездны к свету. Затем, не теряя чувства космического единства, Блок все более конкретизирует образ космоса до образа единства человечества, — наконец, до образа родины, Руси, народа, — все в том же динамическом аспекте, т. е. не как пребывающих «вечных» сущностей, а как стремительно движущихся и каждый миг меняющих свое бытие исторических единств; и он, поэт, воплощает не пребывание их, а изменчивые исторические моменты их пути и направление их движения, их жизнь в данном ее неуловимо мгновенном движущемся состоянии. В этом смысле все стихотворения Блока принципиально датированы — не только датой их написания, но и датой выраженного в них момента развития истории народа: их тема, их подлинный смысл — это никогда не мир, человечество, Русь вообще, а непременно, скажем, Русь и человек в 1904 г., или в 1908 г., или в 1914 г., и каждая такая дата — это целый комплекс смыслов. Разумеется, самые единства, исторически воплощаемые Блоком, — Русь, народ — Блок мыслит идеалистически, как «душу» народа, истории, мира.

Было бы неверно представлять себе Блока стихийным гением, не отдававшим себе отчета в содержании и направлении своих собственных творческих исканий. Конечно, Блок — теоретик и критик гораздо слабее, чем Блок-поэт, и гораздо более ограничен представлениями и предрассудками символистских кружков и салонов века. Но Блок достаточно отчетливо осознавал и теоретически, к чему он стремится как поэт, хотя — в духе эпохи и своего литературного круга — выражал это осознание более метафорами, чем языком рациональной мысли. Впрочем, в полном соответствии с развитием и ростом самой поэзии Блока его теоретическая мысль осознала его собственный творческий путь не с самого начала, а, видимо, лишь в годы реакции (после 1905 г.), примерно с 1907 г., т. е. тогда, когда наступила пора отмежевания Блока от кружковой «дисциплины» или круговой поруки символистов, когда он идейно и художественно встретился с мыслью о Горьком. Именно в статье 1907 г. «О реалистах» Блок, как кажется, впервые пытается сформулировать свое требование к поэзии — подняться выше выражения индивидуальных и субъективных тем и включить в личное восприятие поэта переживание жизни целого: истории, народа. Именно здесь Блок явственно ставит вопрос о том, что все события в историческом мире пронизаны единством движения, «музыкой» исторической мелодии, и том, что поэзия и должна быть воплощением *этой* музыки. Он еще пользуется расплывчато-космической терминологией; он говорит, что эпигоны реализма, в сущности, натуралисты, «не умеют вскрыть в своих душах что-то большое, синее, *астральное*». Впрочем, и эта формула по-своему важна: Блок хочет обрести язык для выражения «большого, *астрального*» не в надзвездных пространствах, а именно в своей человеческой душе. Но иной характер имеют другие места статьи, где возникает уже не тема «астрального», а тема народа и истории. «И мы, благодарные, слышим и видим, как растет среди нас, расцветает пышным и ядовитым цветом этот юношески страдальческий и могучий голос — голос народной души» (V, 108). Или иначе: «Полезно, когда ветер событий и мировая музыка заглушают музыку оторванных душ и их сокровенные сквознячки» (V, 114). Образы ветра — бури — могучего стремления истории и музыки истории будут сопровождать идейно-эстетическое самосознание Блока до конца его пути. Эти же мысли, тенденции и образы Блок уточняет через два

года; в статье 1909 г. «Душа писателя» он говорит о том, что оправдание писателя — в голосе читателя: «Это даже не слово, даже не голос, а как бы легкое дуновение души народной, не отдельных душ, а именно — коллективной души» (V, 367); так зреет у Блока осознание принципа коллективизма, синтетического, интегрального восприятия общественного бытия. И в другом месте: «Неустанное напряжение внутреннего слуха, прислушиванье как бы к отдаленной музыке есть непременное условие писательского бытия. Только слыша музыку отдаленного «оркестра» (который и есть «мировой оркестр» души народной), можно позволить себе легкую «игру» (V, 370—371), т. е. быть писателем. Здесь Блок достиг осознания поэтического интегрирования и единства трех степеней общности мировосприятия: «музыка» поэтического содержания — это для него восприятие «внутреннего» слуха, т. е. исходит он из своей личности, но это личное восприятие есть в то же время восприятие объективной «музыки» народа, а она, в свою очередь, есть и «музыка» всего мирового процесса. И тогда же Блок все более резко отвергает индивидуализм, нравственное отщепенство, «ячество» символизма первого этапа; в статье «Бальмонт» (1909) он пишет почти с ненавистью: «. . .Всем, знающим Бальмонта, известно, что он занят исключительно самим собою, что весь мир, существующий и несуществующий, он удостоивает своей страстной и чистой влюбленности, а иногда — своих не менее страстных проклятий» (V, 372). В противовес Бальмонту Блок выдвигает лозунг: «Должно учиться вновь у мира» («О современном состоянии русского символизма», 1910; V, 436). К тому же 1910 г. относятся уже почти итоговые формулировки художественного кредо в статьях Блока; таким кредо, таким раскрытием себя является статья «Памяти В. Ф. Коммиссаржевской». Рисуя образ великой актрисы, Блок создает его по своему образу и подобию, как бы формулируя свою собственную «программу» поэта: «В. Ф. Коммиссаржевская видела гораздо дальше, чем может видеть простой глаз <. . .> Оттого эти большие синие глаза, глядящие на нас со сцены <. . .> говорили о чем-то безмерно большем, чем она сама. В. Ф. Коммиссаржевская голосом своим вторила мировому оркестру. Оттого ее требовательный и нежный голос был подобен голосу весны, он звал нас безмерно дальше, чем содержание произносимых слов» (V, 418—419); и сам Блок хотел говорить о безмерно большем, чем он сам, личность, отдельный человек. А в открытом письме Мережковскому, того же 1910 г., Блок говорил о русских писателях: «Мы — люди, люди по преимуществу, и значит — прежде всего обязаны уловить дыхание жизни, т. е. увидеть лицо и тело, почувствовать, как живет и дышит то существо, которого присутствие мы слышим около себя» (V, 443); и ниже — о связи писателя с родиной: «Мы <. . .> ее (т. е. родины) сердечные боли, ее думы и мысли, ее волевые импульсы» (V, 444). Отсюда же, наконец, и знаменитые призывы и признания Блока уже послеоктябрьской поры, как и его принятие революции; сюда относятся и «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию», и запись Блока о работе над «Двенадцатью», относящаяся к 1920 г.: «Во время и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно шум от крушения старого мира)». Это — поразительная запись: поэт *физически* ощущает ход истории; такова и поэзия Блока: физические, вещественные проявления хода истории (поэт видит «лицо и *тело*» души народной в ее движении и творчестве). Вспомним в этой связи потрясающую запись в дневнике Блока в часы окончания «Двенадцати»: «Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг <. . .> *Сегодня я — гений*» (29.I.1918 — ЗК, 387). Наиболее полное, итоговое выражение блоковского понимания задачи поэзии по отношению к интегральному осмыслению единства исторического процесса в конкретных его моментах дано в предисловии к «Возмездию», относящемся к 1919 г. Здесь Блок стремится рационально, в прозе, опираясь на факты, продемонстрировать свой метод прощупывания в рядах самых разнообразных и, казалось бы, даже случайных событий их общего исторического смысла,

причем и лирическое состояние самого поэта включено в ряд этих событий. Нельзя не заметить тут же, что Блок и в 1919 г., уже уяснив себе *социальный* смысл многих явлений жизни, ранее воспринимавшихся им в плане космической феноменологии, все же не отделяет явлений природных от явлений общественных, сохраняя черты символистского позитивизма навыворот. Так, стремясь уловить единство смысла, характера, тональности истории в 1911 г., он подбирает ряд признаков различных проявлений общественного бытия Европы: идеологические искания, творчество Стриндберга, подготовка к войне, начало процесса Бейлиса, «грандиозные забастовки железнодорожных рабочих» в Лондоне, первые провокации войны со стороны Германии, массовое увлечение французской борьбой в петербургских цирках, увлечение авиацией, наконец, убийство Столыпина, «что знаменовало окончательный переход управления страной из рук полудворянских, получиновничьих в руки департамента полиции». Но тут же Блок не забывает отметить, что лето того года было «исключительно жарким, так что трава горела на корню». Блок дает и общую итоговую характеристику года — момента истории: «Зима 1911 г. была исполнена глубокого внутреннего мужественного напряжения и трепета». «Именно мужественное веянье преобладало: трагическое сознание неслиянности и нераздельности всего — противоречий непримиримых и требовавших примирения <. . .> Уже был ощутим запах гари, железа и крови». Это «определение» эпохи и момента, совершенно импрессионистическое и «лирическое» при всем своем стремлении к историзму, обосновано Блоком принципиально в следующем тезисе, венчающем все разнообразие приведенных Блоком наблюдений о 1911 г.: «Все эти факты, казалось бы, столь различные, для меня имеют один музыкальный смысл. Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе всегда создают единый музыкальный напор»; этот «музыкальный напор» и подлежит воплощению в поэзии, улавливающей единство смысла в разнобое конкретностей и в каждой из конкретностей отдельно. Было бы странно нам теперь полемизировать с «философией истории» Блока, разумеется, совершенно ненаучной, видящей в фактах социальной истории такие же проявления и симптомы бытия души мира, как и в «мелочах» быта. Но следует понять этот поэтический манифест Блока именно как формулировку его творческого метода, как его стремление соотнести и внутренне связать единичное с общим, конкретную деталь с историческим смыслом эпохи, личное переживание с объективной коллективной жизнью народов и народа. Для Блока забастовки, нападение немецкого военного корабля на колонию будущих союзников России, изменение социального лица царского правительства, настроения городской толпы — это не только *причины* данного состояния душевной и духовной жизни его лирического героя, не только *условия*, определяющие ее состав, ее характер, а *содержание*, сущность и смысл самой этой душевной и духовной жизни. Так определяется требование слияния личного и исторического, общего. Но это требование слияния, т. е. гармонии, по Блоку, — этической и эстетической нормы, счастья человека, — трагично для него, поскольку оно до конца нереализуемо в его мифологизированной идеологической системе. Человек почуял веяние высшей демократической истины, почуял себя носителем всей мощи коллектива, истории, почуял себя не только результатом истории, но и ее носителем и творцом; но историю он — Блок — представляет еще себе безразлично-расплывчатым единством космического и человеческого «духовного» бытия, и найти формулу своего единства с космосом он не может. Отсюда его замечательные слова о трагическом сознании неслиянности и нераздельности всего, отсюда и опасность для человека, личности раствориться, исчезнуть, погибнуть в потоке истории. Блок возжаждал войти в строй народа, отдать свою личность человека и свой голос поэта общему строю, но самый народ он понял как абстракцию, как «музыкальный» строй, а не как общественную реальность коллектива людей, и страшно ему было отдать свое человече-

ское безликой «духовности». И все же он сделал это. Он имел мужество рвануться из пут индивидуалистического мировоззрения к гармонии коллективного творческого бытия. И в этом порыве он победил, потому что обрел путь, хоть и не дошел до своей цели.

С принципами миропонимания Блока связаны и типические черты его поэтической семантики. Она лишена романтического отрыва слова от предметности. Менее всего, если говорить о зрелом Блоке, мы найдем в ней преобладающее стремление к слову-«символу», слову, значащему не то, что оно значит в узуальном и предметном своем употреблении. Слово Блока точно, конкретно и предметно, ибо «символизм» Блока вовсе не заключается в представлении объективного бытия как иллюзии, субъективной мечты или аспекта личности поэта. Наоборот, мировоззрение Блока объективно, и не мир он поглощает своей личностью, а скорее свою личность он готов растворить в реальном и объективном мире. Для Блока типичен синкретизм восприятия действительности, стремление к простому и все же идеалистическому монизму этого восприятия, стремление увидеть и воплотить взаимосвязь всех вещей и явлений мира, их единую и движущуюся «духовную» основу. В этом смысле каждое отдельное явление мира есть для Блока «символ» единой основы всех явлений, истории мира. Но это не значит, что блоковская поэзия тем самым ставит под сомнение реальность этого отдельного явления, превращает его только в образ «субстанции»; нет, для Блока каждое отдельное явление есть уже сама «субстанция». Так, блоковские рестораны — вовсе не «символы» чего бы то ни было (напр., пьянящего безумия мира), а самые настоящие и весьма обыкновенные рестораны. И блоковские предметы — предметны, а вовсе не иллюзорны. Крендель булочной золотится у Блока потому, что этот сделанный из дерева предмет, висящий над входом в булочную, вызолочен. Блок вовсе не богат метафорами, он не ищет их во что бы то ни стало. Для его зрелой манеры характерно прямое называние предметов, — типа: «Красный штоф полинялых диванов, // Пропыленные кисти портьер. . . // В этой комнате, в звоне стаканов, // Купчик, шулер, студент, офицер. . .» и т. д. «Символичны» здесь не слова, не образы сами по себе, а их смысловое сочетание, сопоставление, иррационально сочетающее различные вещи и факты (названные прямо, точно и конкретно) не по принципу логики суждения, а по принципу эмоциональных аналогий. Стихотворение строится не столько на развитии темы, сколько на накоплении, нанизывании образов, настроенных на один «музыкальный» тон, т. е. организованных не столько соподчинением суждения, рассказа или внешнего изображения, сколько единством общего подчинения всех образов теме синтеза, синкретизма восприятия мира в данный момент его движения. В самом деле, Блок редко повествует, редко описывает последовательно и систематически, редко размышляет в стихах. Он дает ряд элементов поэзии, образов-предметов, движений, эмоций, ряд интонаций, звуков, ритмов, — и каждый такой элемент не зависит от других, но все они вместе зависят от той общей идеи образа, эмоции, которая и есть тема стихотворения. Но эта тема не требует и даже не допускает деформации реального облика вещей и прямого предметного смысла слов, так как вне и тех и других ее не существует. Поэтому трудно принять ставшую уже ходовой и несколько упростившуюся при длительном употреблении концепцию о том, что будто преемникам Блока пришлось на смену его астральному, оторванному от предметной однозначности слов принести в русский поэтический язык простое, вещественное, «земное» слово. Именно у Блока весло значило именно и только весло, карманный ножик — весьма однозначный обыденный предмет, аптека — только аптеку, золотое аи — шампанское, и кольца на пальцах незнакомки — не круги, замыкающие бытие, а драгоценные украшения. А глубина смысловой, идейной перспективы стихов Блока связана с тем, что он сделал в данном отношении мощное открытие исторического значения, открытие, параллельное аналогичным завоеваниям Горького в прозе, в другой тематике и в другой

системе мировоззрения, открытие, далеко не сразу понятое и оцененное русской поэзией. Если бы имело смысл в литературной критике увлекаться внешней научностью терминологии, то это открытие Блока можно было бы обозначить как закон гетерономии лирической темы. Высказанная же в простейшей форме, мысль эта заключается в том, что у Блока лирическая тема стихотворения свободна от подчинения его сюжетной ситуации, может не совпадать с нею. На протяжении веков, и в частности в XIX в., в поэзии (и не только в поэзии) обычно бывало так: если у лирического героя несчастье, беда и т. п., то стихи будут печальны; если же у него «все хорошо», стихи светлы. Разумеется, беда может быть и не «внешним» событием, напр. неудачей в любви, смертью любимой или друга и т. п., — она может быть гражданской бедой или драмой мировоззрения, трагических поисков истины. Но принцип остается тем же: между ситуацией лирического героя и лирическим содержанием стихотворения — отношение прямого соответствия и даже прямой причинности; отдельные дурные, трагические явления жизни обусловливают трагизм стихов, и наоборот. Даже гражданская поэзия XIX в. требовала формальной логики этого же типа: лирическая тема гнева, протеста, пафоса борьбы против общественного зла обосновывалась как бы доказательством — указанием на факты и события, попадающие в поле зрения героя, т. е. вошедшие в его жизнь и тем обусловливающие эту тему. Таким же образом строилась часто и психологическая (лирическая — в проекции на «чужую» психику) тема в романе, повести, драме. Герою плохо — он страдает; герою хорошо — и он веселится. Или — герой *видит*, сам видит зло, и он протестует. Или герой не может обрести истину, вместить ее в свое личное сознание — и он тоскует. Весь мир с его злом и благом повертывается как бы лицом к «я» лирического героя (или героя романа), воздействует на него, а он выступает как воспринимающий внешние впечатления центр, а не как элемент этого мира, вне его лежащего. Так опять человек, раскрываемый в поэзии, отрывается от мира и как бы создает культ своей личности, поскольку в поэзии только то оказывается рождающим тему, содержание, идею искусства, что вошло в личную жизнь героя—человека—личности.

Так, напр., любовная лирика чаще всего строится в XIX столетии именно на прямой сосредоточенности темы вокруг личного события или ситуации; и если герой счастлив в любви, стихи счастливые, а если несчастлив — мрачные: как будто любовь — это все в человеке, как будто человек уже так эгоистичен, что его личное счастье — это все для него; как будто жизнь человека ограничена его личной жизнью. Прямолинейность причинного отношения *личной* ситуации и темы произведения уже давно, во всяком случае с середины XIX в., вызывала, видимо, подозрения и попытки преодолеть ее. В поэзии эти попытки делали и Некрасов, и Фет. Сложные, противоречивые эмоции лирики Некрасова, в том числе любовной, предсказывают блоковское решение проблемы. И все же Некрасов мотивирует печать любви героя и его возлюбленной не чем-то лежащим за пределами их любовных отношений, а именно «сюжетной» ситуацией их любви и их характерами («Мы с тобой бестолковые люди. . .»), социально и исторически определенными, ибо ведь лирика Некрасова глубоко реалистична. Фет, в свою очередь, искал усложненных рисунков эмоций как лирической темы, пытался выйти за пределы рационалистического обоснования эмоции и выйти за пределы узко-личного восприятия мира в слияние с природным космосом; предчувствием Блока звучат знаменитые стихи: «В дымке-невидимке || Выплыл месяц вешний, || Цвет садовый дышит || Яблонью, черешней. || Так и льнет, целуя || Тайно и нескромно. || И тебе не грустно? || И тебе не томно?» и т. д. Лев Толстой писал Фету по поводу этих стихов: «Это новое, никогда не уловленное прежде чувство боли от красоты, выражено прелестно» (11 мая 1873 г.). Однако и Фет не может отказаться от логики личного и лично пережитого обоснования эмоции; и здесь у него суть стихов именно в пережива-

нии невозможности слиться с общим, с миром, с красотой, т. е. в переживании отъединенности индивидуальности. Притом Фет сохраняет и привычное соотношение: грусть — вечер, умирание дня, красота этого умирания, вызывающая у человека тоску и по недоступной красоте, и по ушедшему дню. Блок идет гораздо дальше. Примером может служить его зрелая любовная лирика, хотя бы «Три послания»: любовная ситуация первого и второго стихотворения цикла — совершенно и безмятежно счастливая, а стихи трагичны, и лирическая тема их окрашена ужасом страшного мира. Или — гениальный цикл «Кармен», рассказ о счастливой страсти: лирическая тема этой повести любви и вдохновения не менее трагична и никак не укладывается в тему любви, ее упоений, страданий и т. п. То же и в ряде других случаев: почему так грандиозна скорбь стихов, в которых говорится только о том, как поэт в веселом ресторане переглядывался с дамой за соседним столиком, послал ей цветок и т. п.? Тема (внешне) явно не соответствует ситуации. Конечно, это — не обязательное правило, но важна здесь принципиальная возможность такого несоответствия. Откуда же оно возникает? Разумеется, из принципа блоковского метода, возведшего личность (личность героя) к общему жизни человечества и народа, не в порядке причинности, а в порядке взаимопроникновения. Если человек — это и индивидуальное и общее одновременно и интегрально, то личное человека может быть удовлетворено или не затронуто злом и бедой, но он, человек, как народ, как человечество, может страдать страданием человечества. Личная ситуация не может решить и вопрос о структуре лирической темы, так как сознание поэта-человека слилось с «музыкой» истории. Конечно, скажем, Некрасов не менее, а более тяжело, чем Блок, сочувствовал страданиям народа и душевно остро реагировал на них.

Но даже на Некрасове тяготело его время, и, раскрывая в стихах свое страдание за народ, он никогда не подумал бы говорить в этих стихах о своей счастливой любви или о своем законном отдыхе в английском клубе: то было — личное, человеческое, а страдания за народ — общественное. У Блока этого деления нет. Он говорит о личном, а звучит тема общего. Общее пронизало личное и победило его. Человек и в самом частном, интимном, собственном своем, в самых личных уголках своей жизни не отделен от исторического потока жизни вне его лежащего мира. В XIX столетии, может быть, единственное явление такого восприятия человека и его психологической темы можно обрести у Достоевского (скажем, светлая концовка «Братьев Карамазовых», и в образе Мити, и в образе Алеши). Мистифицированные формы понимания гармонии личного и коллективно-общественного и у Достоевского, и у Блока делают их решение данной психологической и художественной проблемы затуманенным и как бы непрямым. Но было в лирике Блока — явственнее всего именно в любовной лирике — такое могучее стремление подняться над узостью своего индивидуалистического сознания, что она не могла не войти органически в общее дело передового человечества, в построение поэзии, лишенной проклятия индивидуализма.

Нет необходимости останавливаться на том, что принципы блоковской поэзии снимают, в сущности, тематическое деление ее на отчетливые группы. Ведь у Блока, о чем бы частном он ни писал, подлинную основу темы составляет общее, единое, надличное, включающее в себя все сразу, всю жизнь на данное мгновение ее исторического стремления; следовательно, лишь условно и ограничительно можно выделить из лирики Блока, скажем, любовную лирику. Определение цикла «Кармен» или «Трех посланий» как любовной лирики, в отличие от поэзии философской или гражданской, столь же условно, ограничительно и неточно, как, напр., в другой системе, обозначение «Анны Карениной» романом любовным или семейным, а «Преступления и наказания» романом детективным, в отличие от романа общественного, философского и т. п.

Эта общность мира, заключенного в каждом лирическом отражении его, это понимание лирического героя как носителя конкретного чувства человечества в человеке приводят у Блока и к интегральности самого образа лирического героя или, иначе говоря, к отходу Блока от принципа индивидуального характера, замкнутого и твердо определенного, отделенного своими индивидуальными чертами от других, даже близких ему по *типу* людей. *Характер*, именно как признак, отъединяющий личность, конструирующий ее неповторимость, ее индивидуальную специфику, был центром и ведущей проблемой литературы со времен Шекспира. Критический реализм XIX в. объяснил характер средой и тем возвел его к принципу типичности, но одновременно он тем самым укрепил его определенность и личное своеобразие, обнаружив и здесь глубочайшее противоречие своего метода. Самое изучение и критический анализ литературных произведений в эту эпоху свелись главным образом к прояснению, изучению и истолкованию типически осознанных характеров героев, и недаром самое понятие «образ» в ходовом употреблении сузилось до понятия образа героя, характера. При этом рассмотрение *целого* произведения, его общего идейного построения, как и его стиля (тоже — стороны произведения, объемлющей сумму характеров), отступило на задний план. С конца XIX столетия началась в русской литературе борьба против индивидуалистического понимания характера. С одного конца Чернышевский, с другого Достоевский готовили материалы для этой борьбы. В конце века Лев Толстой в «Воскресении», романе художественно соотнесенном с исканиями Достоевского, высказал как тезис смелое положение о преодолении принципа замкнутого характера: «Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т. д. Люди не бывают такими. . . Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою» («Воскресение», ч. I, гл. 59). А затем пришел Чехов, а затем — Горький, показавший, что человек при определенности своего характера все же нимало не исчерпывается своим характером, ибо, будучи характером, личностью, он в то же время является классом, народом, человечеством, *идеей* в конкретном ее обосновании (так Павел Власов — живой человек и в то же время — революционный класс и человек с большой буквы). Только при таком понимании человека может быть до конца полноценна формула: Человек — это звучит гордо. К этому же эстетическому движению примыкает Блок, — но не в прозе, а в лирике, и со всеми осложнениями, возникающими вследствие идеалистической «космической» мистифицированности его мировоззрения. Его лирический герой чрезвычайно прочно впаян в его время, эпоху, исторический момент; но этот исторический момент объективного мира так вошел в него, что оставил мало места для отъединенно-личных черт индивидуальности. Его герой-поэт — это человек с душой мира (постепенно конкретизующейся уже как душа Руси), а не только данная неповторимая личность. Поэтому он — человек по преимуществу, человек, коему ничто человеческое не чуждо и в то же время имя коего — Человек, и оно — тоже по-своему звучит гордо. Но традиционного, в смысле обычной для XIX в. рисовки человека, характера, личного характера, индивидуально дифференцирующего исторические и социальные черты, лирический герой Блока почти не имеет, особенно в зрелой его поэзии. Когда мы читаем у Блока: «Я пригвожден к трактирной стойке. . .» и т. д., то менее всего мы умозаключаем от этих «признаний» поэта-героя, что перед нами — исповедь пьяницы, алкоголика; конкретная черта образа относится нами не к устойчивым признакам характера героя, а к характеристике «страшного мира», безумного распутного исторического момента реакции, опьяневшей в своей безысходности. Между тем у любого реалиста XIX столетия подобное признание непременно исходило бы от алкоголика. Таким же образом стихотворный

рассказ о ресторане не дает нам права характеризовать его лирического героя как вивера, жуира, а трагические строки типа «Нет, я не первую ласкаю. . .» («На островах») нимало не строят характер героя — Дон Жуана. Герой Блока становится человеком, очень личным и конкретным, а все же он задуман как образ каждого интеллигента с поэтической душой, переживающего страшную эпоху иллюзорного торжества мещанства между двумя революциями — в пределах понимания этой эпохи Блоком. Поэтому-то этот герой и вырастает в некий общий образ поэзии. Это и дает ему высокое право говорить о родине не только как о матери, но и как о жене («О Русь моя, жена моя. . .» и т. д.), говорить, обращаясь к человеку, поэту, воину. «Теперь твой час настал, молись», тогда, когда настает час великих битв для всей родины, т. е. слить *час* родины с *часом* его героя. В данном отношении весьма многозначительна глубокая связь Маяковского с опытом, поисками и наследием Блока. Потому что Маяковский, закономерно переплетающий в поэме «Хорошо» рассказ о великих судьбах истории родины и революции с рассказом о конкретно личном, своем, человеческом, неотторжимом от большого плана истории, сплетающий в поэме о Ленине тему всенародной мужественной скорби с лирической темой своей личной скорби, — в новых идейных условиях наследует блоковским путям.

Идейные принципы или, точнее, основы *метода* Блока обусловили еще одну характерную черту его поэзии: величайшую ее *объективность*. Принято — и совершенно справедливо — считать Блока самым лирическим из лириков XX столетия; принято полагать — не менее справедливо — что лирика, лиризм — это поэтическое воплощение субъективного начала в жизни; но дело в том, что у Блока само субъективное, само лирическое «я» синтезировалось, едва не слилось с широким планом объективной исторической действительности. И лиризм Блока даже не возникает на почве объективного бытия, а сам глубочайшим образом объективен. Вероятно, лирика Блока — это самая объективная лирика в дореволюционной русской поэзии. Это выражено и прямо, словесно, тематически. Менее всего зрелый Блок прямо раскрывает свои лично-душевные состояния. Для *лирики* у него относительно мало речи о «я», рассказа о себе, и много речи о мире, его явлениях, моментах и состояниях; или у него «ты», преобладающее над «я», опять другой, объективно предстоящий поэту человек, или общие, безликие формулы лирического раскрытия темы. Возьмем для примера тот же цикл «Страшный мир»: введение к циклу — «К музе» («Есть в напевах твоих сокровенных. . .») — почти совсем лишено прямой темы «я», оно строит образ обобщения в форме обращения «ты» к объективированной теме, поэзии, душе мира, Музе; далее — «В эти желтые дни меж домами» — опять более «ты», чем «я»; «Из хрустального тумана», как и «В ресторане», объективный рассказ; «Песнь ада» — объективна, как сам Данте; «Поздней осенью из гавани» — совершенно лишено «я»; «Унижение» — объективная картина и стихия «ты», поглощающая тему «я»; «Старый, старый сон из мрака» и т. д. и т. д. — вовсе нет никакого «я». Да ведь нет его, в сущности, и в восьмистишии. «Ночь, улица, фонарь, аптека», так как «обращения», условные обороты — «живи еще хоть четверть века» и «умрешь — начнешь опять сначала» — нимало не личны, обращены к человеку вообще, к каждому человеку и ни грамматически, ни идейно, ни тематически, ни эмоционально не сводятся к формам первого лица. И ведь — типично для Блока — это обобщенные, надлично трактованные темы; см. начала типа: «Есть игра: осторожно войти. . .», или «Как тяжко мертвецу среди людей // Живым и страстным притворяться. . .», или «Не спят, не помнят, не торгуют. . .», «На улице — дождик и слякоть. . .», «Похоронят, зароют глубоко. . .» и т. д. и т. д. Грамматически — это различные формулы, но они все не исходят от личного «я» лирического героя, как от точки зрения на мир и на поэтическую тему. И самое движение стихотворений пробегает мир, но не устремляется центростремительно на само воспринимающее мир индивидуальное сознание. Ко-

нечно, у Блока и в третьей книге стихотворений есть немало стихов, прямо говорящих о «я»; конечно, и тема «ты» неизбежно предполагает соотнесенную с ней тему говорящего во втором лице; конечно, нет поэзии без пронизывающего ее всю образа носителя поэтической речи, носителя того взгляда на вещи, на мир, который воплощен в этой поэзии. И у Блока во всех стихах есть этот лирический субстрат, объединяющий их в единство творчества поэта, единство идейное и даже строящее образ души поэта. Но это блоковское «я» отдано поэтом реальной, объемлющей его самого и одновременно струящейся через него самого стихии мира, истории, народа, Руси, и потому оно ищет выражения пусть в мистифицированных, но в объективных образах, притом не столько в образах природы, в которую тщетно пытался погрузиться Фет (ибо его природа упорно возвращала ему его непобедимое личное «я», говорила ему именно о нем, о его личном), сколько в образах повседневного бытия исторического человечества, в образах текущей жизни столицы великой страны, в образах искаженной мукой жизни родины.

1946 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ср. иную редакцию перевода этого письма: «. . .беспрестанно происходят между мужчинами такие же споры, какие были бы вполне естественные в какой-нибудь республике, управляемой явными деспотами» (см.: Р. Гайм. Романтическая школа. Вклад в историю немецкого ума. Пер. с немецкого В. Неведомский. М., 1891, с. 608; там же см. необходимые пояснения к этому документу).

[2] С. ‹П.› Ш ‹е в ы р е в›. Манфред ‹. . .› Сочинение Лорда Байрона ‹. . .› — «Московский вестник», 1828, ч. 10, № 13, с. 61.

[3] «Русская литература в 1847 году» (статья без подписи, А. Д. Галахова). — «Отечественные записки», 1848, № 1, отд. V («Критика»), с. 12.

[4] М. М. Достоевский. Собр. соч., т. I. Пг., 1915, с. 15.

[5] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. 12. [Л.,] 1952, с. 255.

[6] И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в 28 томах. Сочинения, т. 6. М.—Л., 1963, с. 168.

[7] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. в 13 томах, т. XII. М.—Л., Изд-во АН СССР, с. 22; XI, с. 556.

[8] Письмо Огарева Н. Х. Кетчеру. См. Н. П. Огарев. Избр. полит. и философ. произв., т. II. М., 1956, с. 288.

[9] А. В. Дружинин. Собр. соч., т. 7. СПб., 1865, с. 312.

[10] Псевдоним беллетриста начала XX в. Ипполита Павловича Рапгофа.

[11] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. 6, с. 221.

[12] Стихотворение «На буйном пиршестве задумчив он сидел. . .» традиционно связывается с рассказом о писателе-роялисте Ж. Казоте из «Посмертных сочинений» (1806) И.-Ф. Лагарпа (русский пер. см. в кн.: «Некоторые любопытные приключения и сны из древних и новых времен». М., 1829). Согласно этому рассказу (его достоверность оспаривается) в 1783 г. — за шесть лет до Великой французской революции — на пиру у герцогини де Грамон Казот точно предсказал судьбу присутствующих (Мальзерба, Кондорсе и других) и свою собственную: все названные им лица действительно были казнены в 1789 г. Однако Б. М. Эйхенбаум выдвинул предположение, что это стихотворение, записанное на одном листе со стихотворением «Памяти А. И. Одоевского», в большей степени отразило «идейное и историческое родство» поэта «с декабризмом» (Б. М. Эйхенбаум. Статьи о Лермонтове. М.—Л., 1961, с. 333).

[13] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10 томах, т. 3. Л., 1977, с. 225.

МОТИВЫ «ВОЗМЕЗДИЯ» И «СТРАШНОГО МИРА» В ЛИРИКЕ БЛОКА

Статья Е. Б. Тагера

В ноябре 1908 г. Блок дважды выступал с речью об Ибсене перед спектаклями «Строитель Сольнес» в Драматическом театре В. Ф. Коммиссаржевской. Он называл «Строителя Сольнеса» «величайшей из ибсеновских драм» (V, 266). И особенно поражал Блока в этой пьесе крылатый афоризм Ибсена: «Юность — это возмездие».

О том, какое значение придавал Блок этой формуле, красноречиво говорит следующая цитата из его статьи «Генрик Ибсен»: «Здесь вы соприкасаетесь без усилия, вы знакомитесь — не логикою теоретического разума, не категорическим императивом разума практического, не внешним эмпирическим путем, но единственно внутренним путем магии искусства — с одною из мировых истин, равных по значению, быть может, закону всемирного тяготения» (V, 317).

Удивительные слова, слова, мимо которых нельзя пройти. Афоризм Ибсена — мировая истина, сопоставимая с законом всемирного тяготения!

Вскоре, через 2—3 года, Блок приступает к работе над поэмой «Возмездие» с эпиграфом из Ибсена. Тогда же, в 1911 г., в сборнике стихов «Ночные часы» впервые появляется раздел под названием «Возмездие», раздел, который сохранится потом и в каноническом составе третьего тома стихов. Но, разумеется, Блок не заимствовал у Ибсена идею «мировой истины»; Ибсен лишь подсказал слово, формулу, в которую облеклось чрезвычайно органичное для Блока и изначально ему близкое содержание. И естественно, что мотив «возмездия», порожденный всей логикой творческого развития поэта, не ограничен рамками одной поэмы или стихотворного цикла. Этот мотив является сквозным и теснейшим образом сплетен с другими темами зрелого Блока, и в первую очередь с темой «страшного мира».

Поэтому чрезвычайно важно уяснить, каков подлинный смысл этого мотива. Кто объект «возмездия» и кто его осуществляет, кто преступник и кто судья в поэтическом мире Блока?

С первого взгляда ответ на этот вопрос прост и ясен — он подсказывается живой реальностью истории. Когда мы произносим слово «возмездие», то почти автоматически возникает в сознании и эпитет «революционное». В самом деле, российская действительность начала века представала как мир лжи и насилия, буржуазной скверны и растленной самодержавной государственности, а в то же время таила в себе и клокотание назревающих революционных сил, возвещала грядущее пришествие революционной Немезиды.

И если среди современников Блока и были люди, пораженные глухотой, неспособные внимать голосам истории, то сам он явно был не из их числа. Широко известно, с какой гневной непримиримостью отвергал он весь правопорядок современности, ее «позорный строй». «Единственный общий враг наш — российская государственность, церковность, кабаки, казна и чиновники», — писал он матери в апреле 1909 г. (VIII, 281), и подобным высказываниям несть числа. Более того, при всей своей отчужденности от реальной политической борьбы Блок именно в русском революционном движении видел очищающую и «юную» силу. Вспомним хотя бы его знаменитое письмо В. В. Розанову от 20 февраля 1909 г.: «Ведь правда всегда на стороне «юности» <. . .> Современная русская государственная машина есть, конечно, гнусная, слю-

нявая, вонючая старость ‹. . .› Революция русская в ее лучших представителях — юность с нимбом вокруг лица ‹. . .› Нам завещана в фрагментах русской литературы от Пушкина и Гоголя до Толстого, во вздохах измученных русских общественных деятелей XIX века, в светлых и неподкупных, *лишь временно помутившихся* взорах русских мужиков — огромная (только не схваченная еще железным кольцом мысли) *концепция* живой, могучей и юной России ‹. . .› Если есть чем жить, то только этим» (VIII, 277).

Да и в лекции «О театре», написанной незадолго до статьи об Ибсене, обрушившись с гневным сарказмом на скучающий «партер» и все упования на театральное возрождение связав с предвидением возникновения нового «народного театра», Блок недвусмысленно отождествил демократическую «толпу» этого народного театра с понятиями «юности» и «возмездия»:

«Не сегодня-завтра постучится в двери наших театров уже не эта пресыщенная толпа современной интеллигенции, а новая, живая, требовательная, дерзкая. Будем готовы встретить эту *юность*. Она разрешит наши противоречия, она снимет груз с усталых плеч, окрылит или погубит. И мы вовеки не забудем пророческих слов великого строителя Сольнеса, проникнутых вещим, грозовым трепетом: *Юность — это возмездие*» (V, 276).

И наконец, в знаменательном январе 1918 г., под непосредственным воздействием событий Октября, Блок со всей категоричностью провозглашает не только нравственную оправданность, но и нравственную обязательность возмездия со стороны восставших народных масс. «По-моему Ты слишком неосторожно берешь иные ноты, — писал Блоку А. Белый в марте 1918 г. — Помни — Тебе не «простят» «никогда». . . Кое-чему из Твоих фельетонов в «Знамени Труда» и не сочувствую, но поражаюсь отвагой и мужеством Твоим» [1].

И действительно, современному читателю трудно понять, каким мужеством надо было обладать любому художнику начала века, не связанному непосредственно с большевистской партией, чтобы написать:

«Почему дырявят древний собор? — Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой.

Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? — Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа» и т. д.

Таким образом, неоспоримо то, что реальная историческая ситуация, назревание революционного кризиса было той почвой, которая питала настроения и воззрения Блока. Порой даже с отзвуками мотива заслуженного революционного возмездия мы встречаемся и в стихах Блока, например в отдельных строках из цикла «Ямбы» («Дай гневу правому созреть», «Презренье созревает гневом, // А зрелость гнева — есть мятеж») или из поэмы «Возмездие» («Раскинулась необозримо // Уже кровавая заря, // Грозя Артуром и Цусимой, // Грозя Девятым января. . .»), не говоря уже о «Двенадцати».

Стоит, однако, поставить вопрос: а была ли эта ситуация, эта историческая реальность предметом блоковского творчества, она ли воплощалась в поэтической ткани его образов, связанных с мотивом «возмездия»? Попробуем вообразить схему такого художественного создания, в котором речь идет об исторически виновной, отжившей действительности, обреченной пасть под ударами другой, молодой исторической силы. Укладывается ли в эту схему живая поэтическая практика Блока? Вспомним, как построен цикл «Возмездие» в каноническом тексте третьего тома. Он открывается стихотворением «О доблестях, о подвигах, о славе»:

Летели дни, крутясь проклятым роем. . .
Вино и страсть терзали жизнь мою. . .
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою. . .

А заканчивается цикл стихотворением «Как свершилось, как случилось?», стихотворением, развертывающим драму нисхождения лирического героя, не сумевшего охранить порученные ему «сокровища», с горних высот спустившегося в стан врага, в низины преисподней:

Не таюсь я перед вами,
Посмотрите на меня:
Я стою среди пожарищ,
Обожженный языками
Преисподнего огня.

Есть ли в кругу такого рода мотивов место для темы исторически обреченного общественного уклада? Нет, разумеется.

Сложнее обстоит дело с поэмой «Возмездие». Но самая ее незавершенность, «несвершенность», объясняется, на мой взгляд, тем, что «гневные» ямбы панорамно-исторического обрамления так и не могли сомкнуться с лирическим повествованием о трагических срывах и падениях «отца» и «сына», звеньев «рода», построенных на автобиографическом материале.

Транспарант темы «возмездия», раскрывающейся в социально-историческом ракурсе, можно наложить на произведения типа, скажем, горьковской «Жизни Клима Самгина», но он неприменим к блоковской лирике. Заметим также, что показ крушения изжившего себя мира может, конечно, включать драматические эпизоды, но по существу своему отнюдь не трагедиен. Гибель собственнического Содома свидетельствует лишь о торжестве справедливости. А блоковская поэзия, подымающая мотив возмездия, достигает высочайшего трагического накала.

В толковых словарях слово «возмездие» поясняется с помощью синонимов «кара», «наказание». В поэтическом языке Блока «возмездию» соответствует другой синоним, быть может, — «расплата». Карающая рука — это чужая, внешняя, *над* виновным стоящая сила. «Расплата», наоборот, рождается изнутри, из осознания человеком, личностью, своей вины. И в блоковском контексте мотив «возмездия — расплаты» всегда сопряжен с нравственными обертонами этого мотива.

Я оборвал приведенную в начале цитату из статьи «Генрик Ибсен». Вернемся к ней и посмотрим, как сам Блок разъясняет смысл той «мировой истины», что заключена в «Строителе Сольнесе».

«Эта истина, — пишет Блок, — гласит о том, что человек может достигнуть вершины славы, свершить много великих дел, может облагодетельствовать человечество, но — горе ему, если на своем восходящем пути он изменит юности, или, как сказано в Новом завете, „оставит первую любовь свою“. Неминуемо, в час урочный и роковой, постучится к нему в двери „Юность“ — дерзкая и нежная Гильда в дорожной пыли. Горе ему, если он потушил свой огонь, продал свое королевство, если ему *нечем* ответить на ее упорный взгляд, на ее святое требование: „Королевство на стол, строитель!“» (V, 317).

Ибсеновская Гильда вросла в строй блоковских символов. Гильдой прежде всего виделась ему Коммиссаржевская: «Все мы были влюблены в Веру Федоровну Коммиссаржевскую <. . .> и были влюблены не только в нее, но в то, что светилось за ее беспокойными плечами, в то, к чему звали ее бессонные глаза и всегда волнующийся голос: „Подайте мне мое королевство, строитель“» (V, 416). Более того, «Гильда» вторглась и в личную жизнь Блока. «Вчера ко мне пришла Гильда», — писал он матери 28 февраля—1 марта 1911 г. (VIII, 333). И точно так же сообщал Е. П. Иванову: «Ко мне пришла Гильда» [2]. Так называл Блок Наталью Николаевну Скворцову, которую следующим образом характеризовал в письме к Л. Д. Блок: «Вот девушка, с которой я был бы связан единственно, если б не отдал всего тебе» (VIII, 342).

Образ Гильды у Блока, далеко не совпадающий с ибсеновским, образ юной, дерзкой и нежной Гильды — это не судья, который со стороны, с вы-

соты своего судейского возвышения выносит приговор подсудимому; Гильда приходит как бы из глубины собственной души человека. Она вырастает, как голос его молодости, как голос совести, неумолимо напоминающий о когда-то данных и позабытых обетах. Вина героя, по мысли Блока (пусть не отождествляющаяся с виной ибсеновского Сольнеса — Блок по-своему прочитывает пьесу и влагает в нее собственное содержание), вина лирического героя лежит не в плоскости конкретной социальной практики; она и у́же этой практики, потому что это вина личности, а не общества, но в то же время и глубже ее, поскольку речь идет о человеке вообще, о его судьбе, о человеческом предначертании.

Священные заветы юности, обеты первой любви, верность которым обязан хранить лирический герой, — это те метафоры, та пронизывающая всю блоковскую поэзию символика, которая гласит об изначальной миссии человека, о его в конечном счете *историческом долге*, но мыслимом в масштабах «большой», а не «малой», эмпирической истории. Поэт, да и всякая личность, является в мир, чтоб внести в него некие абсолютные ценности, некую «гармонию», преобразующую «мировой хаос», как скажет Блок в своей позднейшей статье, статье-завещании («О назначении поэта»); потому-то и «горе ему, если он потушит свой огонь», если не свершит задуманного, не выполнит своего священного, истинно человеческого долга.

Именно об этом говорит коварный голос «Искусителя», как называлось в первоначальной публикации стихотворение «Ты в комнате один сидишь»:

Не бойся вспоминать меня:
Ты был так молод. . .
Ты сел на белого коня,
И щеки жег осенний холод!

Ты полетел туда, туда —
В янтарь закатный!
Немудрый, знал ли ты тогда
Свой нищий путь возвратный?

Теперь ты мудр: не прекословь —
Что толку в споре?
Ты помнишь первую любовь
И зори, зори, зори?

(III, 76)

Об этом говорит и стихотворение Верлена, явившееся для Блока, по его собственному признанию, «одним из первых откровений новой поэзии» и заканчивающееся словами:

Что ты сделал, что ты сделал?
Исходя слезами,
О, подумай, что ты сделал
С юными годами?

Блок приводит это четверостишие в статье «Три вопроса» как поэтический эквивалент третьего, «проклятого» и самого важного для художника вопроса: «*зачем*?», вопроса о «пользе» искусства, о выполнении художником своего высокого «долга». А в письме к Ф. Сологубу — переводчику верленовских стихов — Блок пишет, что давно носит это стихотворение в памяти: «Оно неразлучно со мною с тех дней, „как постигал я первую любовь“» (VIII, 219).

И, наконец, о том же говорят самые последние, написанные незадолго до смерти стихотворные строки Блока — слова умирающего в объятиях простой польской девушки героя поэмы «Возмездие»:

Мария, нежная Мария,
Мне пусто, мне постыло жить!
Я не свершил того. . .
Того, что должен был свершить.
(III, 472)

В 1909 г. Вяч. Иванов посвятил Блоку лестное и льстивое — в хорошем смысле этого слова — стихотворение «Бог в лупанарии». Но Блок отвергает эту честь. В ответном стихотворении он пишет:

Да, царь самодержавный — ты.
А я, печальный, нищий, жесткий,
В час утра встретивший зарю,
Теперь на пыльном перекрестке
На царский поезд твой смотрю.
(III, 143)

В стихотворении «Как свершилось, как случилось?», словно коррегируя Вяч. Иванова, Блок присваивает своему лирическому герою, низвергшемуся во вражеский стан, в притоны лупанария, другое именование — «падший ангел» («Падший ангел, был я встречен в стане их, как юный бог»).

Любопытно, как использован этот мотив «падения» в «польской» теме поэмы «Возмездие»:

Страна — под бременем обид,
Под игом наглого насилья —
Как ангел, опускает крылья,
Как женщина, теряет стыд.
Безмолвствует народный гений,
И голоса не подает,
Не в силах сбросить ига лени,
В полях затерянный народ.

И лишь о сыне, ренегате,
Всю ночь безумно плачет мать. . .
. . . . . .
А сын — он изменил отчизне!
Он жадно пьет с врагом вино,
И ветер ломится в окно,
Взывая к совести и к жизни. . .
(III, 34)

Характерно своеобразное смещение акцентов: не непосредственная драма порабощения наглой силой, а духовное падение, безмолвие «народного гения», отречение от идеала, предательство обленившейся совести — вот что поистине трагично для Блока. Речь идет о Польше, но «весь мир казался мне Варшавой», как писал Блок в ранней редакции поэмы. Трагический смысл этой «измены» универсален.

С огромной силой эта общезначимая человеческая трагедия развернута Блоком в многосложной символике его гениальных «Шагов командора».

Жизнь пуста, безумна и бездонна!
Выходи на битву, старый рок!

Таково верховное веление духа, категорический императив, изначально движущий человеком. Но в блоковской версии сюжета Дон-Жуан не соблазняет донну Анну, он изменяет ей.

Еще отчетливее дан этот мотив «измены» в стихах, из которых выросли «Шаги Командора»:

Глядись сквозь бледное окно,
К стеклу прижавшись плотно. . .
Глядись. Ты изменил давно,
Бесповоротно.

И в роковой час священной битвы безоружным оказывается изменник («что изменнику блаженства звуки?»), тот, кто променял высокое служение на

свою «постылую свободу», кто предал свою «Деву Света» и тем самым подготовил собственное поражение, вверг себя в безмерный холод одиночества.

Бой часов: «Ты звал меня на ужин.
Я пришел. А ты готов?. .»

На вопрос жестокий нет ответа,
Нет ответа — тишина.

Знаменателен этот вопрос: «А ты готов?». Его нет ни у Пушкина, ни у Мольера. Но его задает устами Командора с неумолимой требовательностью сам Блок, адресуя его, в сущности, каждому. К этой «готовности» звал Блок и в своих «Ямбах»:

Дай гневу правому созреть,
Приготовляй к работе руки.
Не можешь — дай тоске и скуке
В тебе копиться и гореть. . .

Драма человеческого поражения в итоге немощного «безверия», опустошенности, потери «души», утраты тех ценностей, которые единственно только и способны осветить мрак жизни, эта драма и определила в основном содержание блоковских стихов о «Страшном мире».

В литературе о Блоке до недавнего времени нередко можно было встретиться с интерпретацией темы «Страшного мира» лишь как воплощения «капиталистического правопорядка» с его «властью чистогана», «мещанским самодовольством», мира «сытых», в котором «вновь богатый зол и рад», «мира буржуазной пошлости», а порой и как сатирического изобличения царской бюрократии и столыпинской реакции. Во всем этом справедливо только то, что мир реакции, буржуазной пошлости и т. п. — это действительно страшный мир (без кавычек) и что Блок относился к нему действительно с гневным презрением. Но в системе поэтических мифологем Блока символика «Страшного мира» далеко не равнозначна отражению растленной буржуазной действительности.

В одном из ранних своих писем к Андрею Белому Блок признавался, что для него «макрокосм (мир), как и микрокосм (личность) ближе, чем все посредствующие между ними звенья» [3]. Прикованность художественного внимания к этим двум полюсам бытия составляла важнейшую черту мировосприятия Блока, как в известной степени и символизма в целом. Пропуск «посредствующих звеньев», тот вакуум, который возникал там, где пролегали пути, связующие личность с «макрокосмом» — миром, был, конечно, не безвреден, ибо пустовавшая промежуточная зона представляла собой объективную реальность, реальность конкретных общественных отношений. Тем не менее не следует забывать, что в пересечении «микрокосма» личности с «макрокосмом» бытия по-своему отражалась коренная проблема новой эпохи, XX века, — проблема судьбы личности в потрясенном мире. Правда, в своем письме 1903 г. Блок подходил к этой проблеме с позиций «мистика». Но в какие бы идеалистические одеяния туманно-космического, религиозно-мистического покроя ни рядилось это «бытие», в конечном счете за ним таилось пусть не до конца осознаваемое поэтом, но реально-историческое содержание. И вся дальнейшая эволюция Блока неотделима от неуклонного углубления и прояснения подспудного исторического смысла этих категорий — «микрокосма — личности» и «макрокосма — мира».

И весьма важно то, что в творчестве зрелого Блока все жестокое, глухое, мертвенное (мотивы циклов «Пляски смерти», «Жизнь моего приятеля», «Черная кровь») составляет атмосферу «микрокосма», а не большого мирового целого. Трагическая замкнутость в «страшном мире» суждена именно личности как возмездие за отъединенность от широких просторов, где действуют «вне-

личные» силы. Не историческое бытие как таковое, а выключенный из этого бытия человек отмечен страшной печатью опустошенности, роковой неизбежностью позорных падений, душевной и нравственной глухотой. И, наоборот, мировое целое («макрокосм») в противоположность художественным обобщениям Сологуба или Белого просветлено неумирающей красотой, таящейся в самых основах бытия и реализуемой в «музыкальной» природе таких блоковских тем, как «стихия», «Родина», «Россия».

Для уяснения этого значения, которое приобретали в поэзии Блока взаимосвязанные мотивы «страшного мира» и «возмездия», уместно вспомнить об одном чрезвычайно интересном блоковском суждении в его статье «Судьба Аполлона Григорьева». Григорьев, писал он, «никогда не был дилетантствующим критиканом; то есть не «бичевал» никогда «темных царств», а *боролся* с ними; он понимал, что смысл слов «темное царство» — глубок, а не поверхностен (смысл не бытовой, не гражданский только). «Темное царство» широко раскинулось в собственной душе Григорьева; борьба с темною силой была для него, *как для всякого художника* (не дилетанта), — борьбою с самим собой» (V, 500).

Как бы в подтверждение сказанного приводит Блок на той же странице следующую цитату из статьи Григорьева: «Если ‹. . .› идеалы подорваны и между тем душа не в силах помириться с неправдою жизни по своей высшей поэтической природе ‹. . .› то единственным выходом для музы поэта будет беспощадно ироническая казнь, обращающаяся и на самого себя, поколику в его собственную натуру въелась эта неправда ‹. . .› и поколику он сам как поэт познает это искренней и глубже других». Цитату эту Блок сопровождает специальным подстрочным замечанием, в котором, оговорив «суконность» стиля («идеал», «поколику»), в то же время восклицает: «Какая глубокая мысль!»

Статья Блока об Ап. Григорьеве носила в высшей степени личный характер, что сразу было почувствовано и современной критикой. В. М. Жирмунский в своей рецензии так и рассматривал статью Блока как «чрезвычайно ценный документ не только для характеристики творчества и мировоззрения Ап. Григорьева, но также как изложение взглядов самого автора статьи» (V, 766).

В сущности, почти все, сказанное Блоком о Григорьеве, можно переадресовать к нему самому, к его собственному творчеству. Это Блок отвергал «дилетантскую» (если пользоваться его терминологией) критику социального зла в его эмпирическом, сиречь «поверхностном» обличии, и «как всякий подлинный художник» боролся с ним опосредствованно, боролся с «темной силой» в собственной душе, подвергая «казни» «неправду» в самом себе, ту неправду, которую он, «как поэт, сознает искренней и глубже других». Только так раскрывается для Блока глубинный смысл человеческой драмы, порождаемой социальным злом. И поэтому доподлинная сфера «Страшного мира» — это сфера не только буржуазной действительности как таковой, но и мир «потерянной души».

Впервые формула «Страшный мир» возникла в 1910 г. как наименование посланного Брюсову для «Русской мысли» цикла из четырех стихотворений: «Демон», «В ресторане», «Сегодня ты на тройке звонкой» и «Черный ворон в сумраке снежном». При этом возглавлявшее цикл стихотворение «Демон» воссоздавало врубелевского Демона, но прочитанного в ключе блоковской лирики «возмездия». «Демон» трактован как «падший ангел», низвергшийся с горних высот (именно так и интерпретировал Блок врубелевский образ в одновременно писавшейся статье «Памяти Врубеля»):

Прижмись ко мне крепче и ближе,
Не жил я — блуждал средь чужих. . .
. . . . . .
И в горном закатном пожаре,
В разливах синеющих крыл,

С тобою, с мечтой о Тамаре,
Я, горний, навеки без сил. . .
(III, 26)

В черновике ноты одиночества, поражения, усталости выражены еще резче:

Я вижу — в лиловом провале
Лежу я один в забытьи,
И губы и очи устали,
И сломаны руки мои.
(III, 505)

А окончательно сформированный раздел «Страшного мира» в III томе Блок открывал стихотворением «К музе», т. е. обращением к самому сокровенному для поэта, причем образ блоковской «музы», несущей «роковую о гибели весть», «проклятье заветов священных», «попиранье заветных святынь», по своей зловещей и трагедийной окраске поистине является чем-то небывалым в мировой поэзии.

В трудные, хмельные мартовские дни 1910 г. Блок создает стихотворение «Дух пряный марта. . »:

Ты прижималась все суеверней,
И мне казалось — сквозь храп коня —
Венгерский танец в небесной черни
Звенит и плачет, дразня меня.
. . . . . .
И вдруг — ты, дальняя, чужая,
Сказала с молнией в глазах:
То душа, на последний путь вступая,
Безумно плачет о прошлых снах.

С каким-то диким вдохновением вырывается это заключительное двустишие, дважды — самим поэтом — подчеркнутое: курсивом типографским и курсивом интонационным — намеренно резким сбоем ритма.

Вот этот «безумный плач души», вступившей на свой роковой и последний путь, оплакивающей утрату «снов» своей юности, и составляет основной смысл, внутренний пафос стихов о «страшном мире».

Правда, не всегда лирический герой Блока дан в трагически высоком плане; иногда он предстает в жестко-гротескном обличье — в циклах «Пляски смерти», «Жизнь моего приятеля». Но существо образа от этого не меняется. Ведь гротескный мертвец из «Плясок смерти» имеет своего отнюдь не гротескного двойника в стихотворении с эпитетом из Фета — «Там человек сгорел»:

Как тяжело ходить среди людей
И притворяться непогибшим.

А главное — «мертвец» в блоковских стихах трактован весьма своеобразно.

В свое время В. Н. Орлов указал на «Бал» поэта-декабриста А. Одоевского как на стихотворение, предварившее «Пляски смерти» «по теме и приемам разработки» [4]. Вначале Одоевский рисует кружащиеся в вихре танца «четы младые», сияющие роскошью и красотой. Но внезапно картина меняется

Стоял я долго. . . Зал гремел,
Вдруг без размера полетел
За звуком звук! Я оглянулся,
Вперил глаза, весь содрогнулся,
Мороз по телу пробежал.

Свет меркнул: весь огромный зал
Был полон остовов. . .
. . . . . .
Глаза мои в толпе терялись,
Я никого не видел в ней:
Все были сходны, все смешались:
Плясало сборище костей.

Стихотворение Одоевского по-своему классично; не по совершенству художественного исполнения, а по прозрачной отчетливости замысла, классично как образец использования жанра Danse macabre для изобличения мертвенности общества, противостоящего живой душе лирического героя.

Нечто подобное, правда без символики смерти, звучит в «1-м января» Лермонтова. С жуткой «Камаринской», которую затевают души покойников, вырвавшихся из сумасшедших домов и больничных палат, встречаемся мы у К. Случевского; бал-маскарад, «куда наравне с живыми приглашены и мертвецы, чего, впрочем, никто не замечает, потому что живые ничем не отличаются от мертвых», зарисовывает в своей «Творимой легенде» Ф. Сологуб.

У Блока, однако, классическая схема стихотворения Одоевского оказывается перевернутой: именно «мертвецу» тяжко «среди людей живым и страстным притворяться». Пусть Блок беспощаден в обрисовке своего героя, который «виляя задом» нашептывает «сенатору скабрезный анекдот». Но парадокс заключается в том, что маска смерти на лице героя призвана говорить не об отсутствии, а об утрате души.

(Этот мотив многообразно варьируется в цикле «Жизнь моего приятеля»: «Когда невзначай в воскресенье // Он душу свою потерял. . .», «Пробудился: тридцать лет. Хвать — похвать, — а сердца нет». «„. . . Где деньги твои?“ — „Снес в кабак“. — „Где сердце?“ — „Закинуто в омут“» и т. п.).

«Мертвым душам», в собственном смысле слова, терять нечего. И поэтому «настоящие слова» в многоколонном зале произносят не «хозяйка-дура» и «супруг-дурак», а лишь «мертвец» и его точно так же «мертвая» подруга:

«Усталый друг, мне странно в этом зале» —
«Усталый друг, могила холодна».

Вряд ли стоит оспаривать некоторых чересчур ретивых исследователей-социологизаторов, готовых увидеть в блоковском «мертвеце» ядовито разоблаченный поэтом тип «матерого октябриста», но нельзя согласиться и с теми, кто усматривает смысл стихотворения в показе «духовного омертвения» хозяев мира сего, командующих в банках, суде и сенате. Блок никогда, разумеется, не стал бы защищать эти «мертвые души», но не они представляют мишень его поэтического прицела. Его волнует *трагедия безверия* (или — что то же для Блока — обесчеловечения), трагедия, которую способен переживать лишь *живой* человек и предельным, гиперболизованным выражением которой является метафора смерти. И не случайно Блок завершил цикл «Жизнь моего приятеля» таким многозначительным монологом «Смерти»:

Когда осилила тревога
И он в тоске обезумел,
Он разучился славить бога
И песни грешные запел.
. . . . . .
Он больше ни во что не верит,
Себя лишь хочет обмануть,
А сам — к моей блаженной двери
Отыскивает вяло путь.

С него довольно славить бога —
Уж он — не голос, только — стон.
Я отворю. Пускай немного
Еще помучается он.

Аналогичным образом и окружение лирического героя, то, что представляет непосредственную картину так называемого «страшного мира», лишено самозначимости, отнюдь не является изображением объективно существующей реальности. Поэтому тщетны и методологически несостоятельны нередко встречающиеся попытки собрать отдельные детали и приметы в стихах о «Страшном мире», чтобы из мозаики этих черточек составить блоковский образ «буржуазной действительности».

Все аксессуары пространственной среды, в которой действует лирический герой зрелого Блока, спроецированы не вовне, а внутрь; это не фрагменты конкретной социальной действительности, а, в сущности, тот же «ландшафт души», что мы видели в его раннем творчестве, с той лишь разницей, что теперь он изобилует предметными подробностями, порой подчеркнуто оголенными, режущими своей нарочитой прозаичностью. Но эти детали «изымаются» из своего естественного, эмпирического бытия, чтоб превратиться в условные поэтические знаки тревожного и опустошенного «страшного мира».

В чем, например, леденящая выразительность скупого пунктира из голых обозначений в строке: «Ночь, улица, фонарь, аптека»?

В качестве наброска пейзажа ночного Петербурга это и слишком лаконично, и слишком нейтрально.

Когда, скажем, у Пушкина мы читаем в 7-й главе «Онегина»:

Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри. . .
Аптеки, магазины моды

и т. д. и т. д.,

— то перед нами действительно встает калейдоскопически развертывающийся пейзаж тогдашней Москвы.

Но Блок включает свой стих в контекст, говорящий о холодном отчаянии, бессмысленности и безысходности существования, и тем самым преображает мнимо-пейзажный смысл строки. Если это и «аптека», то не та, куда можно зайти по своей надобности (как, впрочем, и в «магазины моды»), а та, которая раскрывает свои двери «скелету», склонившемуся пред «шкапом с надписью *Venena*». Если это и «ночь», то не майская или декабрьская, а вечная ночь «пустой вселенной», глядящей в нас «мраком глаз». Если это и пейзаж, то не Мойки или Фонтанки, а скорее той пустынной планеты, что неизвестно кем, неизвестно зачем запущена куда-то, как жужжащий волчок, и свершает свой «безумный, неизвестный и за сердце хватающий полет».

С подобного рода трансформацией предметных черт якобы реальной действительности мы встречаемся в любом стихотворении III тома.

В строфе стихотворения «Унижение»:

Красный штоф полинялых диванов,
Пропыленные кисти портьер. . .
В этой комнате, в звоне стаканов,
Купчик, шулер, студент, офицер

— мы встречаемся не просто с изображением типичного интерьера и типичных завсегдатаев публичного дома, с картинкой быта и нравов. Но *средствами* интерьера публичного дома, оскорбительной пошлостью всего антуража

пользуется Блок, чтобы вскрыть нечеловечность, царящую в действительности:

Разве дом этот — дом в самом деле?
Разве *так* суждено меж людьми?

Поэтому в заурядно-бытовой план «пропыленных портьер» все время вторгаются внебытовые образы смертной муки: мотивы «казни», «эшафота», «губ с запекшейся кровью», преломившихся «безумной чертой» на «золотой иконе» и т. п.

В стихотворении нет «некрасовской темы», как это иногда утверждают. Ламентации по поводу жертв продажной любви Блок, вероятно, счел бы сентиментальными. Название стихотворения — «Унижение» — адресовано не героине, а герою, лирическому «я» произведения, говорит о безмерности *его* страдания, о драме *его* обездушенности:

Так вонзай же, мой ангел вчерашний,
В сердце — острый французский каблук.

Л. Я. Гинзбург, подвергнув это стихотворение тонкому стилевому анализу, говорит по поводу этих строк, что, создав «небывалую метафору», Блок тем не менее построил образ «по модели древнего символа — сердца, пронзенного острием» [5]. Замечание очень любопытное, но отличие от «модели» заключается не только в головокружительной смелости метафоры, но и в том, что у Блока сердце смертельно уязвлено не любовью, а отсутствием, невозможностью любви.

Чем беспощаднее раскрывал Блок глубину падения человека «страшного мира», тем более требовательными и бескомпромиссными становились его утверждения высоких и общеобязательных ценностей.

В его дневнике 1912 г. есть такая запись: «Собираюсь (давно) писать автобиографию Венгерову ⟨. . .⟩ Во всяком случае, надо написать, кроме никому не интересных и неизбежных сведений, что «есть такой человек» (я), который, как говорит З. Н. Гиппиус, думал больше о правде, чем о счастьи. Я искал «удовольствий», но никогда не надеялся на счастье. Оно приходило само и, приходя, как всегда, становилось сейчас же не собою. Я и теперь не жду его, бог с ним, оно — не человеческое» (VII, 123).

Какая скромная внешне и одновременно поразительная запись! «Нечеловеческим» оказываются не «удовольствия» только, не эгоистически корыстные вожделения, но и «счастье». Оно обманчиво, оно в конечном счете тоже эгоистично. «Правда» — выше. Она — всеобщая.

И в стихах Блока возникает мотив не только утраты счастья («С мирным счастьем покончены счеты, // Не дразни, запоздалый уют»), но и отвержения его: «Нет! Лучше сгинуть в стуже лютой! // Уюта — нет. Покоя — нет».

Пусть Муза подарила поэту «луг с цветами и твердь со звездами», т. е., казалось бы, счастье. Но она не принесла ему высшей ценности, правды, веры; более того, глумилась над ней. Потому-то и осеняет ее не ореол небесного сияния, а «тот неяркий, пурпурово серый» венчик адского, дьявольского огня.

Этот нравственный максимализм диктовал Блоку суровость его осуждения человека, не нашедшего «правды». Но одновременно этот максимализм питался и убеждением в неистребимости всего высокого, подлинно человеческого в мире.

Блок часто и по-разному использовал в своей поэзии евангельский миф. Сквозит этот миф и в разрезе темы «возмездия». Человеческая трагедия словно просветляется отблеском идеи победы над смертью, идеи «воскресения», образа Христа. Так, в стихотворении «Идут часы, и дни, и годы» мы читаем:

Слова? — Их не было. — Что ж было?
Ни сон, ни явь. Вдали, вдали
Звенело, гасло, уходило

И отделялось от земли. . .
И умерло.
. . . . . .
И вдруг (как памятно, знакомо!)
Отчетливо, издалека
Раздался голос: *Ecce homo*,
Меч выпал. Дрогнула рука. . .
(III, 29—30)

Важно заметить, что при первой публикации в альманахе «Мусагета» «Антология» эти стихи под характерным заглавием «Исход» замыкали цикл, названный «Ночные часы» и включавший наиболее мрачные, пожалуй, стихотворения Блока, построенные на мотивах неизбежной гибели («Когда, вступая в мир огромный» и цитированный выше «Искуситель», заканчивавшийся строчками: «Утешься: ветер за окном — // То трубы смерти близкой. . . // Я саван царственный принес Тебе в подарок!»).

В другом стихотворении 1914 г. первая строфа построена таким образом, что сквозь нее как бы смутно просвечивает и облик врубелевского поверженного Демона, и драма, разыгравшаяся на Голгофе:

Ну, что же? Устало заломлены слабые руки,
И вечность сама загляделась в погасшие очи,
И муки утихли. . .

А в заключительной строфе евангельские цитаты возвещают возможность просветленной развязки этой драмы:

Но я — человек. И паденье свое признавая,
Тревогу свою не смирю я: она все сильнее.
То *ревность по дому*, тревогою сердце снедая,
Твердит неотступно: *Что делаешь, делай скорее.*
(III, 46)

Трагедийность блоковского мироощущения не исключала глубочайшей убежденности в возможности и необходимости преодоления зла, в священной обязанности художника стереть «случайные черты», чтобы узреть доподлинный, «прекрасный» лик мира. «Что такое «гений»? — вопрошал Блок в статье «Памяти Врубеля» — ‹. . .› все дни и все ночи налетает глухой ветер из тех миров, доносит обрывки шопотов и слов на незнакомом языке; мы же так и не слышим главного. Гениален, быть может, тот, кто сквозь ветер расслышал целую фразу, сложил слова и записал их; мы знаем немного таких записанных фраз, и смысл их приблизительно однозначащ: и на горе Синае, и в светлице пречистой девы, и в мастерской великого художника раздаются слова: «Ищи Обетованную Землю». Кто расслышал — не может ослушаться» (V, 422—423).

Блок расслышал и не ослушался. Все его творчество от «Стихов о Прекрасной Даме» до «Двенадцати» освещено этими никогда не прекращающимися поисками «Обетованной Земли», извечной антитезы «Страшного мира».

Поиски эти были доподлинно *жизненным* делом Блока. Общеизвестна бесспорная автобиографичность его поэзии. И в лирическом герое стихотворных циклов «Возмездия» и «Страшного мира», в перипетиях его судьбы легко прочитываются отголоски биографии самого Блока, биографии личной, интимной, связанной главным образом с его отношениями с Любовью Дмитриевной, и биографией, так сказать, «идеологической», отражающей вполне конкретные этапы духовной эволюции поэта.

Но совершенно исключительная заразительность лиризма Блока объясняется, разумеется, не этой прямой автобиографичностью, а особым строем его искусства, конденсирующего личный опыт, личные переживания до такой

степени, что они приобретают всеобщее, внеличное значение. Это тот принцип искусства-исповеди, которому Блок посвятил незабываемые слова:

«Я думаю, мы более уже не вправе сомневаться в том, что великие произведения искусства выбираются историей лишь из числа произведений «*исповеднического*» характера. Только то, что было исповедью писателя, только то создание, в котором он *сжег себя дотла* — для того ли, чтобы родиться для новых созданий, или для того, чтобы умереть, — только оно может стать великим. Если эта сожженная душа, преподносимая на блюде, в виде прекрасного творения искусства, пресыщенной и надменной толпе — Иродиаде, — если эта душа огромна, — она волнует не одно поколение, не один народ и не одно столетие» (V, 278).

Душа Блока была огромна.

И поэтому исповедь этой души так потрясает нас.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 335.
[2] «Письма Александра Блока к Е. П. Иванову». М.—Л., 1936, с. 85.
[3] «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 35.
[4] Вл. Орлов. Александр Блок. М., 1956, с. 181.
Л. Я. Гинзбург. О лирике. Л., 1974, с. 305.

БЛОК И РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ

Статья З. Г. Минц

Поэт, оставивший заметный след в истории литературы, неизбежно принадлежит тому или иному литературному направлению. Но он никогда не принадлежит *только* одному литературному направлению. Связанный с национальной культурной традицией как таковой и — шире — с контекстом мировой литературы, он может закономерно изучаться во многих историко-литературных аспектах. Сказанное в полной мере относится к творчеству одного из крупнейших русских поэтов XX в. — Блока. Блок может рассматриваться как продолжатель и завершитель традиций великой русской литературы XIX в. — и как зачинатель новой русской поэзии XX в.; в аспекте реалистических традиций — и как наследник и продолжатель традиций романтических; как автор вдохновенных «эсхатологических» пророчеств о гибели старого мира — и как создатель первой поэмы об Октябрьской революции. Все эти подходы оправданы богатством и многогранностью творчества Блока. Однако в этой многообразной и многогранной картине особо значимо место Блока в том литературном окружении, которое он сам считал для себя наиболее органичным, те связи, которые в значительной мере определили самооценку поэта и разрыв с которыми на определенном этапе эволюции был основным событием его духовного развития.

Нет сомнений, что таким литературным направлением для Блока был символизм, а такой средой — символистская.

Факт связи Блока с литературным движением русского символизма представляется самоочевидным. Парадоксальным результатом такой очевидности явилось то, что связь эта изучена далеко не достаточно. На психологию исследователей, видимо, оказывало давление чувство ненужности специально аргументировать этот тезис. Однако в настоящее время на фоне больших успехов в изучении вне- и антисимволистских тяготений Блока возврат к этой теме закономерен.

Предлагаемая тема занимает в современном советском «блоковедении» особое место. Ее значение трудно оспорить: принадлежность Блока к символизму так же очевидна, как и рано родившееся у него стремление «преодолеть» символизм. Поэтому в основных работах о Блоке вопросу о его связях с символизмом уделяется известное внимание [1]. Наиболее распространена точка зрения, согласно которой «первые годы творчества Ал. Блока (1898—1904) безоговорочно связаны с символизмом» [2], а затем поэт все дальше отходит от прежних единомышленников. Однако при этом часто объявляется, что историческую и художественную ценность имеют лишь две стороны отношения поэта к символизму: исконное противостояние художественных систем или же уход, разрыв, борьба Блока с символизмом. «Говорить приходится не столько о влиянии декаданса, сколько о преодолении его» [3], — замечает В. Н. Орлов в одной из последних работ о Блоке. Показательно, что ряд ученых, говоря о зрелом Блоке, либо не касаются прямо проблем художественного метода, либо (вслед за известными работами В. М. Жирмунского и Л. И. Тимофеева), избегая термина «символизм», заменяют его понятием «романтизм», имеющим смысл или родового обозначения (В. М. Жирмунский), или эвфемизма [4]. Мысль Л. К. Долгополова: «Именно в творчестве Блока ‹. . .› символистская поэзия и обрела свои наивысшие достиже-

ния» [5] — до сих пор почти уникальна в своей определенности. Но и простое утверждение тезиса: «Блок был и остался символистом» — мало меняет в научном решении вопроса [6]. Необходимо полное и разностороннее изучение материала, начатое в известных работах Д. И. Максимова, В. Н. Орлова, П. П. Громова, Б. И. Соловьева, Л. Я. Гинзбурга, Л. К. Долгополова и других [7], однако еще далекое от завершения.

При рассмотрении темы, видимо, надо исходить (как из доказанного в лучших современных исследованиях) из представления, что русский символизм — явление сложное, не покрываемое каким-то одним рядом социологических, эстетических или — тем более — оценочных характеристик. На разных этапах становления и в творчестве разных художников ценность символизма выявлялась по-разному, и общую сущность направления может рассмотреть лишь пристальный взгляд на его историю.

Необходимо учесть и подвижность блоковских оценок символизма, далеко не всегда укладывающихся в прямолинейную схему «ухода». Д. Е. Максимов показал, какую важную роль сыграло в становлении Блока познание собственной эволюции — поэтическая «идея пути» [8]. Блоковские притяжения-отталкивания от символизма — живой пульс этого пути.

Наконец, пора уяснить то простое обстоятельство, что сила и ценность отрыва Блока от символизма (даже если брать *только этот* аспект темы) прямо пропорциональны силам, связавшим его в юности с «новым искусством». И если считать, что связи эти по силе действия ничтожны, то неясно, в чем исторический и художественный смысл блоковских «уходов», та энергия поэтического роста, которая так заметна в его творчестве и о которой он сам так много писал и думал.

Итак, главными аспектами темы «Блок и символизм» представляются:

1) изучение объективной соотнесенности двух идейно-художественных систем: русского символизма и блоковского творчества на разных этапах их эволюции и в связи с историческими обстоятельствами, эти процессы определившими;

2) исследование блоковского отношения к символизму и оценок творчества Блока символистами;

3) рассмотрение важнейшего вопроса об отходе Блока от символизма, о том, *во имя чего* совершался этот отход, что занимало место угасавших мистических «чаяний», становилось общественным и поэтическим идеалом художника;

4) раскрытие сложных идейных, творческих и личных отношений Блока с ведущими писателями-символистами, сближений и разрывов с ними.

Полное освещение темы в рамках одной работы вряд ли осуществимо. В дальнейшем речь пойдет в основном о попытке решения трех первых задач как основных (и то не полностью — так, мало места уделено оценкам Блока символистами). Разумеется, взаимоотношения Блока с неким абстрактным «символизмом», вне связей с реальными, живыми символистами — фикция, и вопроса этого не обойти. Но детальное решение его — сулящее, быть может, ряд принципиально новых подходов к теме — потребовало бы иной композиции статьи: по «лицам», а не в связи с общей эволюцией Блока и символизма [9]. В предлагаемой работе история контактов Блока с отдельными представителями течения изучается только при рассмотрении узловых проблем блоковской эволюции, вне этих контактов необъяснимых.

1

МИРОВОСПРИЯТИЕ И ЭСТЕТИКА РУССКОГО СИМВОЛИЗМА

Литературоведение последних лет сделало важный шаг к истолкованию символизма как оригинального явления в русской культуре конца XIX—начала XX в. И. В. Корецкая справедливо отмечает, что именно теперь мы подходим к «тщательному историко-литературному исследованию симво-

лизма как целого» [10]. Современные ученые, развивая сильные стороны работ предшествующего периода, предпринимают все более интересные попытки понять сложную социальную, идеологическую, философскую и эстетическую природу направления [11]. Становится очевидным, что ощущение кризиса старого мира «реакционными деятелями», видевшими выход в «крайнем мистицизме» и «предельном индивидуализме» [12], никак не исчерпывает социологии и идеологии русского символизма. Даже у ряда «старших символистов» — декадентов 1890-х годов — зачастую видны и неприятие буржуазного мира, реакции, мещанства, и борьба с натурализмом и литературным эпигонством. Что же касается «младших символистов» начала XX в., то ключ к социологии и идеологии их творчества, конечно же, общенациональный и демократический подъем предреволюционных лет. «Веяния предреволюционного подъема и первой в России революции коснулись так или иначе всех течений русской литературы, — писал Б. В. Михайловский. — ‹. . .› В условиях общественного оживления 1900-х годов символисты пытаются преодолеть в той или иной мере свою оторванность от общественной жизни ‹. . .› Они обращаются к большим социальным и философским проблемам, к современности, к вопросам об историческом развитии человечества, о судьбах России» [13].

Углубляется и знание о философских истоках символизма. Слишком общие, хотя и бесспорные указания на идеализм: субъективизм «декадентов» и объективно-идеалистические истоки символизма «соловьевского» толка [14], как и давно (в основном по свидетельствам самих символистов) известные связи «нового искусства» с философией Шопенгауэра, Ницше, Канта, Вл. Соловьева [15], — дополняются более детализованным, чем прежде, выяснением пантеистических корней символизма [16]. Появились и серьезные работы о символизме как художественном методе, о структуре символа [17].

И все же общей концепции русского символизма, итоговой для современного уровня изучения вопроса, пока не создано. Ее нельзя заменить простым смягчением ценностных характеристик направления или дальнейшим изучением отдельных аспектов проблемы. Тема работы заставляет попытаться дать хотя бы предварительный и по необходимости предельно сжатый, неполный очерк символизма и основных этапов его истории.

Доминирующей идеей, легко прослеживаемой в большинстве символистских деклараций и определяющей поэтику символистов (как 1890-х, так и 1900-х годов), является, по-видимому, панэстетизм — представление об эстетическом как о глубинной сущности мира (ближайшим образом восходящее к Wettseele Шеллинга, «Die ewige Weiblichkeit» Гёте и Софии Вл. Соловьева), как о его высшей ценности и наиболее активной преобразующей силе бытия («Красота спасет мир»). Сразу же оговоримся: понятие Красоты в этом значении совсем не обязательно совпадает с представлением о «красивом» и даже о прекрасном, ни в житейском смысле, ни в терминах эстетики. Как известно, символизму 1890-х годов зачастую присущ антиэстетизм, а ряду символистов 1900-х годов — отождествление красоты с хаосом, дисгармонией «стихий». Но признак панэстетизма — восприятие и осмысление мира в эстетических категориях (красота — безобразие, гармония — хаос, и т. д.), а не та или иная *оценка* противополагаемых понятий. В этом смысле эстетизм и антиэстетизм — оба отрицают или отодвигают на второй план этические, логически выводимые и другие нормы жизни во имя «эстетического» подхода к действительности.

Панэстетизм символистов отчетливо виден в их культурной ориентации, отношении к традиции. Достаточно упомянуть хотя бы их хорошо известную постоянную тягу к родине панэстетизма в европейской культуре — античности (ср. античные образы и сюжеты в лирике и поэмах Н. Минского [18], в творчестве Д. С. Мережковского, очень важный глубинный пласт отсылок к античности в «Мелком бесе» Ф. Сологуба [19], определяющую роль интересующих нас тем и образов в творчестве Вяч. Иванова [20], Инн. Анненского [21],

В. Брюсова [22], а также их место в поэзии Сологуба, А. Белого [23], К. Бальмонта и др.). И в культуре других эпох символистов влечет прежде всего то, что связано с традицией панэстетического мироощущения: Ренессанс, романтизм, поэзия Фета, Полонского и т. д. Наконец, главными своими учителями русские символисты считают Вагнера и Ницше, понявших, по точному выражению Вяч. Иванова, «жизнь — как «эстетический феномен» [24].

Панэстетические тенденции символизма отчетливо выявлены в его ведущих темах. Таков прежде всего важнейший мотив утверждения Красоты. Ср. у Н. Минского о лучшем певце мира как «певце красоты» [25], у Д. С. Мережковского:

Есть одна только вечная заповедь — жить
В красоте, в красоте, несмотря ни на что [26];

Красота — единственная сила, способная, по резко переосмысленному символистами образу Достоевского, «мир спасти»; она выше этики, долга и чести:

А ты, Елена, клятвы мира
И долг нарушив, — ты чиста.
Тебя прославит песнь Омира,
Затем, что вся надежда мира —
Дочь белой Леды — Красота [27].

Красота — единственное, что противостоит хаосу и всеуничтожению в романе Ф. Сологуба «Мелкий бес». «Людям новой красоты» посвящает свой первый сборник «Новые люди» (1896) З. Гиппиус. О мире красоты бесконечно тоскует Сологуб-лирик:

Где ты делась, несказанная,
Тайна жизни, Красота?
. . . . . .
Хоть бы в дымке сновидения
Ты порой явилась мне,
Хоть бы поступью видения
В краткий час уединения
Проскользнула в тишине! [28]

Апология Красоты играет определяющую роль в творчестве В. Брюсова:

А я всегда, неизменно,
Молюсь неземной красоте [29].

Не менее значима она для Инн. Анненского, который пронес сквозь все свое «мучительное» творчество надежду на то, что

<. . .> грязь и низость — только мука
По где-то там сияющей красе [30].

У Бальмонта, автора «Литургии красоты» (1905), панэстетические декларации и определенные ими темы звучат даже с известной назойливостью. Красота — основа мира, его главная «идея»:

<. . .> Милый брат, и я и ты —
Мы только грезы Красоты [31].

Быть может, вся природа — желание красоты [32]. Она — цель человеческой и мировой жизни:

Мгновенье красоты
Бездонно по значенью, —
В нем высшее, чем ты.
Служи предназначенью! [33]

По Ю. Балтрушайтису, вся радость «сумрачного» мира в том, что:

Звезды с высоты
Бросят в бездну сонную
Искру красоты. . .[34]
и т. д., и т. п.

Может показаться, что это прославление Красоты — черта в основном «чистого эстетизма», «декадентства». Но и для наиболее пламенных приверженцев Вечной Женственности художники —

‹. . .› Вечности обеты
В лазури Красоты[35];

мир спасает мистически понятая Красота:

На дольнее прозреньем
Врачует Красота[36].

Не случайно первое стихотворение своего первого стихотворного сборника Вяч. Иванов назвал «Красота»[37]. Для Л. Зиновьевой-Аннибал художники тоже «кочевники красоты»[38].

Идеи спасающей мир Красоты господствуют и в лирике, и в первых «симфониях» Андрея Белого и утверждаются как основная тема «соловьевцев» 1900-х годов в «Стихах о Прекрасной Даме».

Эти прямые утверждения панэстетического credo дополняются, так сказать, его «обращенными» поэтическими формулировками. Таково, с одной стороны, символистское «неприятие мира», современности как безобразных. Для Бальмонта, например, воплощение рабства, Сфинкс,

. . . . . .
Восстал — как враг обычной красоты,
Как сон, слепой, немой и безобразный[39],

для Ф. Сологуба в «Тяжелых снах», «Мелком бесе» и лирике главная черта современности — безобразие серой скуки. «В нашей современной жизни совершается непрерывное Распятие Красоты»[40], — пишет С. Соловьев.

«Мука о красоте», тоска о ней в безумном, больном и безобразном мире реальности — основная тема Инн. Анненского:

Молот жизни мучительно, адски тяжел,
И ни искры под ним . . . красоты[41].

Из заветного фиала
В эти песни пролита,
Но увы! не красота. . .
Только мука идеала[42].

— определяет Анненский общую тональность своего творчества в автоэпиграфе к «Тихим песням». С другой стороны, достаточно распространены и декадентски эпатирующие утверждения безобразного (или некрасивого) как поэтического идеала: сологубовское «очарование без красоты», антиэстетизм В. Брюсова («Прокаженный», «Подруги», «Пурпур бледнеющих губ. . .» и мн. др.), или ориентированные на традицию «русского Бодлера» образы «проклятой красоты» у Бальмонта («Я сбросил ее», «К Бодлеру», «Уроды»), или красоты ущербной, болезненной (Инн. Анненский).

Еще важнее другое. По существу, *все* поэтические идеалы русского символизма оказываются либо *«личинами» красоты* (*безобразия*), либо предстают как *эстетизация* тех или иных этических, религиозных, политических

и даже социальных или научных (В. Брюсов) ценностей. Нетрудно показать, например, что прекрасные «миги» счастья, мечты и творческих прозрений [43] в символистской поэзии 1890-х годов или у Брюсова и Бальмонта, идеалы природы (Бальмонт, Блок, Балтрушайтис) или преображающего мир искусства (Белый, Вяч. Иванов, Балтрушайтис) у «младших символистов» — это различные вариации Прекрасного. Так, искусство ценится прежде всего как оформитель и конденсатор прекрасного, его хранитель, более надежный, чем «природа». Ср. у Брюсова:

Так бриллиант невидим нам, пока
Под гранями не оживет в алмазе.
. . . . . .
И я хочу, чтоб все мои мечты
. . . . . .
Нашли себе *желанные черты* [44].

(Курсив мой. — *З. М.*)

Искусство ценнее действительности именно потому, что эстетическое в нем ярче выражено: «Никогда нерукотворная красота природы ‹. . .› не даст нам именно того, что названо «эстетическим волнением» [45]. Ср. в позднейшей (1915) работе К. Д. Бальмонта: «Природа ‹. . .› создает недоделанных уродцев, — чародеи совершенствуют Природу и дают жизни красивый лик» [46].

Равным образом и мистика «Вечной Женственности» у «соловьевцев» 1900-х годов — это *эстетизированная* мистика, весьма далекая от того, что сами символисты называли «историческим христианством». Хорошо известно, например, что символисты начала XX в. систематически и резко критиковали «декадентов» предшествующего десятилетия за культ «чистой красоты», объявляли эстетизм чертой европейской культуры, чуждой России (ср. полемику Д. С. Мережковского в «Новом пути» с А. Б‹енуа?›) [47]. Между тем стоящий в эти годы на «новопутейских» позициях В. Розанов, как и Мережковский, считающий, что «смакование эстетических достоинств не без глубокой причины не прививалось у нас» [48], утверждает: «В святости содержится такой момент эстетики, до которого не касались еще Винкельманы и Лессинги» [49], — восторженно пишет о приметной «глазу народа» «этике и отсюда проистекающей эстетике» [50] и т. д. Типичные для Мережковских и Розанова идеалы «святой плоти» (языческого культа земной красоты) включали и эстетизацию «святости» (религии), и роднящую их с «декадентством» эстетизацию посюсторонней, земной жизни («земного небожительства», «царства Божия на земле»), без которых для символиста немыслимо «оправдание мира». Эстетизация земного — главное отличие символистской поэтики от близкой к ней романтической — еще одно свидетельство экспансии эстетического в мироощущение художников «нового искусства».

Точно так же известная статья ярчайшего представителя «младших символистов» А. Белого «О теургии» начинается с декларативного заявления, что «перевал ‹. . .› в мыслях и чувствах» современного человека — это «перевал к религиозно-мистическим методам» [51], что «художественность» — «суррогат теургии» [52]. Однако выход из кризиса современного сознания Белый видит в искусстве же, хотя и «теургическом» (т. е. в Красоте), а вовсе не в религии как таковой: «Кризис западной мысли направил русло надежд современного человечества на искусство»[53]. Это же можно сказать и о всех выступлениях символистов 1900-х годов. Какой бы резкой ни была их критика «эстетизма», «чистого искусства», как бы решительно ни отвергалось оно во имя мистики, «соборности», «бунта», и т. д., как бы много ни говорилось о религии, русском национальном начале, «теургическом искусстве», — за всем этим всегда обнаруживается исконно символистская «мука о кра-

соге», надежда на «высвобождение истинной красоты из-под грубых покровов вещества» [54] или сомнение в возможности «воплощения» Красоты в мире.

Таково же и романтическое бунтарство символистов периода первой русской революции, их представления о безгранично свободной личности. Мир героики прекрасен:

Прекрасен, в мощи грозной власти,
Восточный царь Ассаргадон,
И океан народной страсти,
В щепы дробящий царский трон [55],

хотя Прекрасное в это время чаще всего объединяется с разрушением, дисгармонией и гибелью:

Я хочу порвать лазурь
Успокоенных мечтаний.
Я хочу горящих зданий,
Я хочу кричащих бурь! [56]

Столь же очевидную эстетизацию революции, стихии народных восстаний, «дионисизма» русского национального характера находим и в «мистическом анархизме» Вяч. Иванова, в «Снежной маске» и «Фаине» Блока, в творчестве Г. Чулкова и др. «Наше неприятие мира характеризуется последним утверждением Мировой Красоты» [57], — определяет сущность «мистического анархизма» Г. Чулков. «Эстетизация зла», предельного индивидуализма и утверждение красоты добра, веры, «соборности», национальных идеалов и т. д. — таковы полюсы мироощущения русских символистов и одновременно рамки, в которых это направление было неизбежно заключено и, выходя из которых, оно переставало быть символизмом (что и показала рассматриваемая ниже ситуация «кризиса символизма»), выходя из которых, оно переставало быть символизмом.

Панэстетическое «зерно» символистского мировосприятия — ключ к его общеидеологической позиции и философской ориентации.

Идеология символистов начала 1890-х годов определялась двойным отрицанием. С одной стороны, все они ненавидели становящуюся буржуазную действительность с ее мещанским практицизмом, утилитаристской «пользой», рационалистской «разумностью». Буржуазный мир представал как логически «правильный» — и безобразный. По тонкому замечанию В. Розанова, именно буржуазные деятели эпохи реакции — а вовсе не «шестидесятники» — оказались подлинными «разрушителями эстетики».

С другой стороны, возникновение символизма стало своеобразной реакцией на кризис философского позитивизма в конце XIX в., а также на совпавший с ним — в России — кризис народничества. Этот последний, как известно, пережит первыми символистами особенно остро, так как они либо сами были связаны с народничеством (Н. Минский, отчасти Д. С. Мережковский), либо выросли в атмосфере народнической или околонароднической культуры (К. Бальмонт, Ф. Сологуб). Народническое же миросозерцание и по его объективному содержанию, и по автохарактеристикам участников движения выявлялось по преимуществу как «этическое». Кризис народничества и был воспринят как крах «этики», перерождение «нравственного» в «филистерское».

Неприятие буржуазной действительности дало основной импульс творческим поискам первых символистов, а ощущение кризиса «разума» (позитивизма) и «совести» («этического» миросозерцания народничества — ср. «При свете совести» Н. Минского) заставило их искать идеал в третьем компоненте знаменитой кантовской триады «Истина, Добро и Красота», ярко ожив-

ленной в русском сознании Вл. Соловьевым. Напомним, что не только романтики, но и сочетавший эстетизм с социализмом Рескин считали главной приметой буржуазного мира его филистерскую некрасивость (ср., например, образы «моргающих» в «Так сказал Заратустра»), а выход искали в построении жизни по законам красоты.

Философские истоки мировоззрения русских символистов также восходят к традициям, прямо или косвенно связанным с панэстетизмом. Так, символисты тонко улавливают эстетическую окраску кантовского агностицизма и скепсиса и особенно — интуитивизма Шопенгауэра (видевшего в искусстве средство преодоления исконного одиночества личности). В столь существенной для символизма пантеистической традиции «новое искусство» хотя и выделяло (особенно в 1890-х годах) Спинозу [58], однако гораздо более важным для него оказалось слияние пантеистических и панэстетических идей в философии Шеллинга. Прямо или опосредованно (через Вл. Соловьева) именно этот эстетизированный пантеизм (воплощенный в образе Вечной Женственности) стал основой символистского миропонимания. В оформлении последнего роль завершающего аккорда сыграло обращение к декларативному эстетизму Ницше, к эстетическим утопиям Вагнера и (более типологически, чем генетически близкого символистам) Рескина. Что касается важных для младших символистов традиций платонизма, то платоновское «двоемирие» (противопоставленность миров «идей» и их материальных отражений) и его ценностная ориентация (подлинность и вечность идеального — вторичность, искаженность и лживость «теней») также были переосмыслены в духе утверждения «идей» как Прекрасного.

Уже в субъективистски импрессионистической поэтике символизма 1890-х годов [59] многое говорило об эстетизме как господствующем критерии отбора и отображения «впечатлений»: эстетизм оказывался единственным содержанием «уединенного сознания» или «воленья» «сверхчеловека», отвергнувшего «общественность» и не верящего в разум. Панэстетизм отразился и в декадентском интересе к самодовлеющей форме. Однако лишь у «младших символистов» он привел к созданию оригинальной эстетической теории и значительных по художественной ценности, во многом новаторских произведений.

Мировоззрение символистов «соловьевского» толка опиралось на идеи платоновского «двоемирия», существенно деформированные в духе пантеизма и панэстетизма. Воодушевленный предреволюционными настроениями, этот символизм вырос не только на констатации «кризиса познания», шопенгауэровском пессимизме и кантианском скепсисе, но и на попытках их преодолеть, на борьбе с кантианским агностицизмом. Все символисты утверждали невозможность постичь мир средствами позитивистской науки XIX в., однако у «соловьевцев» отказ от логического познания, от анализа лишь усиливал стремление *иными путями* проникнуть в тайны бытия. Панэстетизм неизбежно связывал эти пути с искусством. Гносеология «младшего» символизма насквозь эстетизирована.

Для символистов с их платонизмом и двоемирием устанавливались тайные «соответствия» между мирами идей, их материальных «теней» и отображениями этих «теней» в искусстве. «Соответственность» основана на том, что мир создан «Верховным художником» «по требованию абсолютной красоты» [60]. Однако «сродство» жизни и искусства символисты видели не в том, что искусство, отображая действительность, уподобляется ей. Напротив. Не случайно акт Творения — синоним художественного творчества. Искусство, глубинный аналог мира, является именно по своей *внутренней* природе лучшим средством его познать, заглянуть под «покрывало Майи»: «Мы не замкнуты безнадежно в этой «голубой тюрьме» (в мире явлений. — *З. М.*) ‹. . .› Из нее есть выходы на волю, есть просветы [61] ‹. . .› те мгновения экстаза, сверхчувственной интуиции, которые дают иные постижения мировых явлений, глубже проникающие за их внешнюю кору, в их сердцевину. Иском-

ная задача искусства и состоит в том, чтобы запечатлеть эти мгновения прозрения, вдохновения» [62], — писал В. Брюсов в программной статье «Ключи тайн» (1904). Искусство — «познание мира вне рассудочных форм, вне мышления по причинности» [63], т. е. наиболее глубокое и адекватное для символиста ее познание. По Белому, высшая «познавательная ценность заключается в творчестве идей-образов», символов [64], т. е. опять-таки в искусстве. Отсюда представление о всяком искусстве как основанном на символическом мироощущении [65], а о «сознательном» символизме «нового искусства» — как о вершинном достижении культуры: символ, именно из-за своей «многоликости», «многосмысленности» и «темноты» его «последней глубины» (Вяч. Иванов) яснее всего намекает на строение мирового универсума.

Так понятые интуитивизм и иррационализм отнюдь не равны отказу от постижения мира. Зато они порождают характерную для младшего символизма широчайшую экспансию художественных методов познания в области, традиционно закрепленные за философией, наукой и другими проявлениями «мышления по причинности». Отсюда — тяготение к мифопоэтизму в философии (к отмеченным уже традициям Шеллинга, Вл. Соловьева, Ницше), истолкование литературной критики как «поэзии поэзии <. . .> познания» [66] и стремление ее, по точному замечанию Д. Е. Максимова, «превратиться в особый род словесного искусства — стать поэтической, эстетизированной» [67], а также попытки Андрея Белого создать эстетизированную науку и теорию познания.

Но еще важнее для символизма отождествление художественного познания мира с процессом его *творческого преображения* [68]. Искусство, по А. Белому, творит новую действительность, обладающую — после того, как образ создан, — объективной реальностью: «Как только <. . .> символ создан <. . .> *творчество наделяет его онтологическим бытием*, независимо от нашего сознания» [69] (курсив мой. — *З. М.*). Эта «третья действительность» не только совершеннее природной, но и наделяется способностью преодолевать «кошмары» материального бытия. Такое «претворение» для символистов субъективистского и скептического мироощущения ограничивается перестройкой личности художника, для «соловьевца» же речь идет о перестройке мира. В обоих случаях, однако, важнейшей будет преображающая сила искусства — «жизнестроение»: «Мы <. . .> сознаем значение новых, магических слов, которыми вновь и вновь сумеем заклясть мрак ночи, нависающий над нами» [70]. А так как мир алогичен, то и «заклинать» его надо внелогическими средствами — от создания мифов до «колдовства», «магии» алогических звуко- и словосочетаний. Из сказанного очевидно, что символистское «жизнестроение» — создание желаемой действительности — есть *построение жизни по законам и при помощи искусства*, точнее — выявление, выведение на первые планы бытия его «тайной» красоты и эстетичности. Поэтому распространенное мнение о том, что смысл символистской поэтики — в бегстве от действительности, представляется неточным. Субъективно-психологически символист 1900-х годов не похож на парнассца: он не бежит от жизни в «башню из слоновой кости», а утопически стремится словом художника превратить пошлую Альдонсу в прекрасную Дульцинею.

Важной чертой символистской поэтики, также прямо порожденной панэстетическим мировосприятием, был «мифологизм» — восприятие мира как мифа, «творимой легенды». (Миф при этом тоже эстетизировался, отождествляясь с совершенным произведением искусства.) Общая картина мира предстает как некий «универсальный текст» (мировой «космогонический миф», по словам Вяч. Иванова).

Примеры такого восприятия мира символизм находил, в частности, в мифопоэтической философии Вл. Соловьева. Здесь «теза» мирового развития («доприродное бытие», где «Божество как всеединое» пребывало в абсолютном единстве с «Душой мира») [71] оказывалась как бы «*экспозицией*» «сюжета» мирового развития. «Антитеза» (сотворение материального мира зла и Хаоса,

где Душа мира, «ниспадая» в мир «тварной множественности» [72], отторгается от Бога и становится пленницей Хаоса) создавала ряд *коллизий* «мирового мифа». «Синтез» же («воплощение божественной идеи в мире» [73], слияние «земной души со светом неземным» [74] и поражение и претворение Хаоса) становится «*кульминацией*» и чаемой «*развязкой*» «сюжета».

Эта картина мира (сама представляя собой с определенной точки зрения вариант общей схемы мифологического конфликта) широко и весьма своеобразно варьируется в творчестве юного Блока, А. Белого, Д. С. Мережковского, Вяч. Иванова, Ф. Сологуба, в ряде произведений В. Брюсова, К. Бальмонта, Ю. Балтрушайтиса и других, порой вызывая и художественную полемику (наиболее прямую — в «Балаганчике» Блока и в ряде произведений А. Белого), и критику («декаденты» 1890-х годов, Мережковский, Ф. Сологуб, косвенно — Инн. Анненский). Соловьевский «миф о мире» определил ряд существеннейших поэтических представлений русского символизма: символы «Вечной Подруги», Хаоса и противодействующих ему светлых сил; символику «золотого века» — изначальной мировой гармонии; «неприятие мира», цивилизации как хаоса или приравненной хаосу мертвой стагнации (в сочетании с «принятием мира» и «первыми <. . .> восторгами» «книги бытия» [75], с идеями Мережковского о синтезе «бездны тела» и «бездны духа»); наконец, эсхатологические чаяния, предчувствие надвигающейся окончательной битвы со злом и надежды на «новый век» (часто в соединении с ожиданием гибели «этого» мира).

Не менее существенным был сам интерес к мифу, в значительной степени восходящий к Ницше и Вагнеру. Он породил множество «частных мифов» символизма: сологубовский миф о Недотыкомке [76], миф о новых аргонавтах у Белого и близких ему поэтов [77], о Дионисе, Эросе или о страннике, плывущем в поисках истины, у Вяч. Иванова, о Прекрасной Даме у Блока или о России (о мире) как Спящей царевне (этот вариант истории «Души мира» идет от самого Вл. Соловьева и особенно важен для Блока, Белого, Ф. Сологуба) и мн. др. Истоками символистского «мифотворчества» могло быть обращение к мировой мифологии (античной у Вяч. Иванова, Брюсова и др., индейской, скандинавской и др. у Бальмонта, русской у Блока, Сологуба, Ремизова, ветхо- и новозаветной и т. д.), осмысленной как выражение исконно народного мироощущения; к сюжетам мирового искусства, отождествляемым с мифами (к Данте, образам Дон Кихота, Дон Жуана, Фауста и т. д., и т. п.) [78]; к созданию собственных «мифов». Наиболее характерным, однако, стало для символистов создание типичных для XX в. «неомифологических» текстов [79]. Здесь все виды мифов — как правило, имеющих самый различный генезис и резко несходных друг с другом по содержанию — сложно сочетаются в одном тексте, создавая антиномичную «полифонию» точек зрения («Христос и Антихрист» Мережковского, «трилогия лирики» Блока), зачастую приводящую к «игре» цитатами, романтической иронии («Петербург» А. Белого).

Пантеистические поиски «соответственности» «natura naturans» и «natura naturata» воплотились в семантической структуре символа: называя явление земного, «посюстороннего» мира, символ одновременно «знаменует» и все то, что «соответствует» ему в «иных мирах», а так как «миры» бесконечны, то и значения символа для символиста безграничны.

Но мир для символистского пантеизма (пронизанного диалектическим ощущением всеобщей связи явлений, присутствия «всего во всем») — не просто разрозненные ряды «соответствующих» друг другу явлений. И земная действительность, и «миры иные» (в характерном блоковском определении — «миры искусства») — это совершенные, живые единства (искусствоподобные по строению «миры—мифы», «миры—легенды»). И в грандиозном космическом целом *подобны друг другу именно эти «миры»*. «Соответственность» же отдельных символов — результат подобия в живом строении этих миров. Так символистская поэтика утверждает себя как наиболее адекват-

ную эстетическому по своей сути строению мирового универсума — «абсолютного» мифа, универсальнейшего символа (А. Белый).

Эволюция русского символизма с предлагаемой точки зрения описывается как смена господствующих форм панэстетического мировосприятия. Хотя в работе используется общепринятое деление символистов на «старших» («декадентов») и «младших» (мистиков-«соловьевцев»), однако не столько для исчерпывающего обозначения этапов развития символизма, сколько для указания на господствующую (но не единственную!) тенденцию того или иного периода истории «нового искусства». «Декадентство» и «соловьевство» — не только этапы становления символизма, но и полюсы, к которым тяготели те или иные художники на протяжении жизни направления.

И все же в становлении русского символизма легко вычленяются три этапа.

Первый период, как известно, — 1890-е годы. С этим этапом Блок, начавший серьезно писать в конце десятилетия («Отроческие стихи», 1897) и под совершенно иными культурными воздействиями, прямо не связан. Однако в самом конце 1890-х—начале 1900-х годов он становится внимательным читателем произведений «нового искусства», а борьба символистов начала века с «декадентами» определит, как увидим, очень многое в блоковском творчестве.

Особенности первого периода истории символизма обусловлены эпохой (реакция, кризис народничества, позитивизма, народнического гуманизма и т. п., о чем говорилось выше), а также типологией *складывающегося* литературного направления. Отсюда, с одной стороны, формирование панэстетического миропонимания как системы глобальных и абсолютных «неприятий», «отказов». «Декадент» 1890-х годов отвергает современность:

Я действительности нашей не вижу,
Я не знаю нашего века [80],

отказывается от веры — христианской, но и от народнического «народопоклонства», вообще — от веры «в бога и людей»:

Не сотворю себе кумира
Ни на земле, ни в небесах [81];

Ах, о пастыре небесном
Я забыл в земной гордыне,
Но тому, что люди — стадо,
Верю набожно и ныне [82].

Он «ненавидит Родину» [83] и вообще все «реальное» (от быта до идей). Идеал красоты предстает поэтому в философском обличии скептицизма, субъективизма (в пределе — солипсизма). Поэтически ценное совмещено с «я»:

Я — бог таинственного мира [84],
<...> и себя я искренно, хоть первый миг, любил [85],

но, как правило, не с эмпирическим и живым «я», а с его «мечтой» о несуществующем и принципиально невоплотимом («мэонизм» Минского, лирика З. Гиппиус, Ф. Сологуба):

О, пусть будет то, чего не бывает,
Никогда не бывает [86].

Мир Прекрасного стремится как бы сжаться в точку: во времени («миги Красоты»), в пространстве («я») — или «дематериализоваться», вынестись из «мира».

Но такое «шопенгауэрианское» удаление от «суеты» действительности сталкивается с потребностью четко отмежеваться и от культурного фона, подчеркнуть новизну «нового искусства». Это придает «декадентству» характер наступательный. Идеал Красоты не просто удален «от мира», но и активно противостоит всем остальным ценностям — Добру:

О, мудрый Соблазнитель,
Злой Дух, ужели ты —
Непонятый Учитель
Великой Красоты [87],

Истине, реальности и т. д. Отсюда — активность индивидуализма как аморализма, «демонизма», подчеркнутый алогизм [88]. Отсюда же и случаи демонстративного отрицания литературной традиции, прямо предшествующей «новому искусству», — не только натурализма, но и реализма. Особенно характерно отрицание национальной традиции и подчеркнутая ориентация на западноевропейскую (ср. «западничество» первого русского символистского журнала «Северный вестник», пропаганду западного искусства в ряде деклараций Брюсова или статей И. Коневского [89], осознанную подражательность западноевропейским образцам у В. Брюсова, А. Миропольского (Ланга), А. Добролюбова и др.). Наконец, это же стремление к максимально острой конфронтации со всеми господствующими направлениями в искусстве порождает установку на новаторство во что бы то ни стало, экспериментаторство, декларативное подчеркивание новизны, эпатаж (конфронтация с читателем, перешедшая позже к футуристам). Интересно, что у русских декадентов прагматическая установка на новизну значительно опережала объективное новаторство поэтики. Например, оформление сборника стихов А. М. Добролюбова «Natura naturans. Natura naturata» или сборника «Русские символисты» (бумага, графический облик текста и т. д.), как и многие декларации новаторства у раннего Брюсова, мирно уживались с весьма традиционной поэтикой: структурой образа, стиховыми структурами, а зачастую и с вполне традиционным содержанием: ср. эпигонски-народнические мотивы творчества А. Ланга (Миропольского). Именно эта *прагматическая* установка на самоценность эстетического и его воплощений в искусстве была прежде всего уловлена читателями и критикой. Она определила не только оценку творчества «декадентов» как «искусства для душевнобольных». «Установка на прекрасное», на самоценность художественного поиска в известной мере внушила эстетическому сознанию эпохи *«презумпцию* новизны» «нового искусства» и стимулировала возникновение действительно оригинального искусства — символизма 1900-х годов.

Следует напомнить, что в рамках «нового искусства» 1890-х годов развивалось не только «декадентство». Внутри «Северного вестника» выделилось направление, отличное и от неопределенного «идеалистического либерализма» редакции журнала (А. Волынский, Л. Гуревич), и от «декаданса». Творчество и литературно-критические эссе Д. С. Мережковского, проза З. Н. Гиппиус и создававшийся в 1890-х годах роман Сологуба «Мелкий бес» (1892—1902), как и более ранний — «Тяжелые сны», связаны со стремлением «синтезировать» индивидуалистический эстетизм Ницше с объективно-идеалистическими утопиями Вл. Соловьева о спасающей мир Красоте — Вечной Женственности. Ненависть ко всему реальному сменяется «реабилитацией плоти», земли, представлением об идеальном бытии как «синтезе» духовного и плотского («христианского» и «языческого»), скепсис — верой в грядущее «царствие божие на земле», «религией Красоты», а затем — эстетизированной мистикой и эсхатологией в духе «Иоанновой церкви» и идеями создания «религиозной общественности». «Западническая» ориентация уступает место славянофильской и «почвеннической», а отрицанию реализма противостоит мысль о том, что все великое искусство прошлого, в том числе и реалистиче-

ское, глубинно символично. Наконец, в рамках этого же направления зарождается и поэтика символа (творчество Мережковского, Сологуба).

Вместе с тем, хотя хронологически символизм «Северного вестника» формируется в эпоху «декадентства», типологически он, в сознании и читателей, и критики, и самих символистов воспринимается как явление (или предвестие) второго этапа становления русского «нового искусства». 1890-е годы же сохраняют значение времени становления символизма и предельно выраженного выявления «чистого эстетизма» — панэстетизма как такового.

Символизм «второй волны» (1900—1907) вызван к жизни, как уже говорилось, предреволюционным общественным подъемом, а также стремлением растущего «нового искусства» к культурному доминированию, «завоеванию» новых тем, сфер духовной жизни. Он характеризуется бурным вторжением «эстетического» мироотношения во все области культуры. Возникают «эстетизированная мистика», «эстетизированное бунтарство», «эстетизированное народолюбие», эстетизированные идеи национальности и т. д. При этом сознание символистов становится более утопичным, а с другой стороны, заметно демократизируется, но — поскольку речь идет о символизме, а не о попытках его «преодолеть» — конечным «организатором» мира на началах «Истины, Добра и Красоты» мыслится все та же Красота (эстетическое). Тенденция максимального отделения «нового искусства» от традиций и современности сменяется в 1900-х годах противоположной установкой — увидеть «символизм всего» (символизм реальной действительности, исконный символизм и мифологичность народного сознания, символический характер мировой культурной традиции, и т. д.). Отрицание русской культуры у ряда младших символистов в годы первой русской революции превращается в апологию национальных традиций, а отвержение реализма — в ряд попыток «синтеза», создания «реалистического» символизма, «неореализма» и т. п. 1900—1907 годы — период расцвета символизма, его вершинных достижений. Под влиянием грозовой атмосферы революции, начинающихся выступлений народа символизм осознает себя частью национальной культуры. Он не только пытается вписать «новое искусство» в историю русской литературы, но и действительно во многом вписывается в нее и во многом ее обновляет.

Именно на вершинах творческого взлета начинаются и попытки ряда художников *«преодолеть* символизм». Любопытно, однако, что все они так или иначе связаны с пересмотром отношения к «эстетике». «Новым разрушением эстетики» называет подобные устремления Блок, и не случайно идеалом художника-символиста в этой ситуации оказывается гениальный современный «разрушитель эстетики» — Лев Толстой (ср. связь толстовства с жизнью и творчеством А. М. Добролюбова и Л. Семенова, воздействия творчества Л. Толстого на Блока, отчасти — на Андрея Белого, а также на такого, например, представителя «массового» символизма, как М. Криницкий и мн. др.). Не менее показательно, что разрыв с «эстетикой» для ряда символистов оказывается отходом *от искусства вообще* (например, к сектантской деятельности — у Добролюбова, к религиозной публицистике — у Д. С. Мережковского и т. п.). В других случаях речь пойдет о подключении символистского текста к *«внеэстетической» традиции как традиции внесимволистской* (ср. «некрасовское начало» в сб. Андрея Белого «Пепел»). Однако, как увидим, лишь Блоку конца 1900-х и 1910-х годов удалось создать произведения символистские, но в полной мере доступные любым внесимволистским воздействиям (особенно — влияниям реалистической культуры XIX в.), и претворить символистский панэстетизм в искусство, «связанное с нравственностью». Во всех остальных случаях «преодоление эстетики» либо сказывалось той или иной формой разрыва с символизмом, либо приводило, вместо искомого «синтеза», к художественной эклектике (Г. Чулков, ряд «неореалистов»).

Наконец, третий этап истории русского символизма (1908—начало 1910-х годов), не случайно совпавший с годами столыпинской реакции, спра-

ведливо определяется как период «кризиса символизма». Это — время самоизживания панэстетического миропонимания во всех его творческих воплощениях. Действительно, символизм как эстетическое «неприятие мира» уже выразился в 1890-х годах, а как эстетизированный же «восторг мятежа», героики и пафоса разрушения проявился в годы революции. Осмысление опыта революции требовало полного и серьезного выхода из рамок эстетического подхода к миру. Символизм как целое оказался к этому неспособен. Блок, пошедший путями глубоко самобытными, в 1912 г. записал в дневнике: «Никаких символизмов больше». «Кризис» проявляется как творческий спад у многих «мэтров» символизма, их автоэпигонство (Бальмонт, позже Брюсов, Сологуб) или отход от «нового искусства» (Мережковский, в 1910-х годах Вяч. Иванов), как художественные поиски постсимволистской направленности (проза Белого 1910-х—начала 1930-х годов; ср. переход С. Городецкого на позиции акмеизма, футуристические тяготения Ф. Сологуба и Брюсова), наконец, как поэтическая эволюция, субъективно и объективно не ориентированная на символизм как направление *современного* искусства (Блок). С середины 1910-х годов о символизме в целом можно было говорить только в прошедшем времени. Лишь при таком ограничении его можно воспринимать как яркую и оригинальную страницу в истории русской (да и мировой) культуры, говорить о его традициях и роли.

2

СИМВОЛИЗМ РАННЕГО БЛОКА

В «Автобиографии» 1915 г. Блок, как известно, подробно писал о том, что в семье матери, где он рос, «господствовали, в общем, старинные понятия о литературных ценностях и идеалах». Поэтому воспитанию в «бекетовском доме» поэт «обязан ‹. . .› до гроба тем, что литература началась» для него «не с Верлэна и не с декадентства вообще» и «что ни строки так называемой «новой поэзии» он «не знал до первых курсов университета» (VII, 7, 12 и 13) [90].

И сам Блок, и ряд мемуаристов (особенно подробно К. Чуковский), и многие критики и исследователи блоковского творчества писали об огромной роли «бекетовской культуры» в становлении поэта. Сами понятия «бекетовский дом», «бекетовская культура» становятся у зрелого Блока автобиографически точными, но многозначными и емкими историко-социальными и «музыкальными» символами. Это — культура, органически впитавшая в себя и опыт европейских революций (ср.: «Деды дремлют и лелеют // Сны французских баррикад» — I, 313), и глубокие связи с русским освободительным движением на самых разных этапах — от 1840-х годов (ср. в «Возмездии»: «Глава семьи — сороковых // Годов соратник» — III, 315) — через «нигилизм», хотя и «беззлобный» (III, 314), шестидесятничества, — до народничества. Это — культура, неотрывная от позитивизма и религиозного вольнодумства (дед поэта, известный русский ученый-ботаник А. Н. Бекетов был переводчиком, популяризатором и пропагандистом Дарвина). Это — культура, высокий гуманизм и демократизм которой Блок действительно не мог не впитать «с молоком матери» (ср.: VIII, 274). О бытовом, «домашнем» облике бекетовского гуманизма и демократизма ярко свидетельствуют публикуемые в настоящем издании воспоминания М. А. Бекетовой «Шахматовская хроника». Но за этим «домашним» поведением встает образ прогрессивного культурного и общественного деятеля, друга М. Е. Салтыкова-Щедрина, уволенного из университета в годы реакции.

Важна и другая сторона «бекетовской культуры» — ее органическая близость к русской литературе XIX в. Не только эстетические вкусы Бекетовых (деда, бабки, теток, а в какой-то мере и матери Блока) уходили корнями в русский XIX век, но они сами были активными участниками этой культуры, близко знали самых значительных ее представителей. Прадед

Блока Н. Бекетов — знакомый Пушкина, приятель Баратынских, прабабка А. Карелина в 1820-х годах была знакома с Дельвигом, Н. А. Плещеевым и другими писателями из пушкинского окружения, А. Н. Бекетов знал Достоевского (его братья Алексей и Николай в молодости дружили с писателем, жили с ним одной «коммуной»), бабка Блока, Е. Г. Бекетова, талантливая переводчица — корреспондентка А. П. Чехова, и т. д. Русская литература, особенно поэзия, с раннего детства вошла в сознание Блока как неотъемлемо близкая, родная. Поэтому его, так сказать, исходное поэтическое видение мира генетически не было связано с «новым искусством».

Конечно, кое-что из «новой поэзии» Блок все-таки знал. Достаточно указать хотя бы на переводы матери поэта из Бодлера или на позднее, но вряд ли полностью основанное на сдвиге памяти утверждение Л. Д. Блок: Блоку «Верлен и Бодлер знакомы с детства» [91]. Однако — что более важно — «новое искусство» в «бекетовском доме» не столько «не знали», сколько активно не принимали. Слова «декадент», «декадентский» часто встречаются в переписке членов семьи, в их дневниках, семейных стихах и т. д., и всегда как «чужое слово» с иронической или резко отрицательной окраской. «Декадентский» относится либо к людям определенного психологического склада (сложным, изломанным, с «достоевщиной»), либо к искусству вычурному, алогичному и непонятному. Так, мать Блока пишет о «декадентской и китайской истории церемоний», говоря об отношениях с обидчивым П. Красновым [92], бабушка поэта сокрушается по поводу «декадентских» стихов любимого внука, а сам Блок-подросток в духе семейных традиций высмеивает (действительно ему малоизвестную) «декадентскую» поэзию в своем рукописном журнале «Вестник».

Любопытен факт, прошедший мимо внимания исследователей. М. А. Бекетова пишет: «Один из сотрудников «Вестника», муж сестры Екатерины Андреевны ‹тетки Блока. — *З. М.*› Платон Николаевич Краснов особенно любил Блока, повторял его словечки ‹. . .› Блоку было с ним хорошо ‹. . .› Он печатал критические статьи и переводы стихов. С Блоком сближала его между прочим и любовь к древним. В четвертом классе гимназии мальчик болел корью, пропустил много уроков, и Платон Николаевич взялся его подгонять. Дело шло у них хорошо, дружно и весело. А в «Вестнике» скоро появилось шуточное стихотворение «дяди Платона» [93]. Упомянутый здесь П. Краснов — автор одной из первых и самых резких антидекадентских статей в русской печати. Трудно предположить, чтобы взгляды П. Краснова на декаданс, выразившиеся особенно ярко в годы его сотрудничества в «Вестнике», остались неизвестными его другу-гимназисту и не повлияли на него.

Таким образом, первоначальное, воспитанное в «бекетовском доме» отношение Блока к «новому искусству» было (и не могло не быть) не только вполне отчужденным, но и, по всей видимости, априорно негативным. Его первые опыты питала совсем иная поэтическая среда — традиции русской лирики XIX в.

Но вместе с тем рост Блока как поэта (и не только в начале его творческого пути, но и на всем его протяжении) протекал, конечно, не внутри «бекетовской культуры», не только как ее продолжение. Такие особенности домашней культуры, как ее сословно-дворянский характер, связь с «позитивизмом», «западничество» (ср. в «Возмездии»: дед — «ярый западник во всем» и одновременно — «старый барин русский» — III, 315—316), либерализм и «интеллигентство», на разных этапах блоковской эволюции по-разному и в разных целях отрицались поэтом. Путь Блока к поэме «Двенадцать» и статьям 1918—1921 гг. был одновременно связан и с его постоянным возвращением к «бекетовским» традициям, давно ставшим для поэта символом передовой русской культуры XIX в., и с решительным отрицанием либерализма и «интеллигентского» гуманизма. Это был разрыв не только с «домом», но и во многом — со взрастившей Блока социально-культурной средой.

Правда, первые стихотворения Блока (1897—1900), впоследствии объединенные им в цикл «Ante lucem», конфликта со «старинной» культурой «бекетовского дома» еще почти не предвещают, хотя и отличаются чуждым этому миру «аполитизмом» [94]. Стихотворения эти, как показано в ряде исследований, свидетельствуют о талантливом и многостороннем ученичестве у русских романтиков (Жуковский [95], Лермонтов [96]), у Пушкина [97] и поэтов «пушкинской плеяды», у лириков середины века (Фет [98], Полонский [99], Тютчев [100], Ап. Григорьев [101] и др.), наконец, у ряда представителей «массовой» поэзии 1870—1890-х годов [102]. Правда, уже из этого перечня видна известная общность генезиса лирики Блока и ряда русских символистов 1890-х годов (В. Брюсов, И. Коневской, Н. Минский, Д. Мережковский, Ф. Сологуб и др.), однако «за вычетом» существеннейших воздействий на «старших символистов» французского символизма (у Блока незаметных) и лирики и философии Вл. Соловьева (Блоку пока неизвестных). Частичным сходством генезиса определена и некоторая близость тематически-жанровых тяготений: избегание социальных и политических тем во имя лирики интимной, природоописательной (реже — философской) или поэзии психологического самораскрытия, романтические антитезы в поэтической лексике и композиционной структуре (противопоставление «земли» и «неба», «поэта» и «толпы» и т. д.) и др. Роднят Блока с поэзией «конца века» и «порубежная тревога», эсхатологические предчувствия гибели мира, с одной стороны, и фетовский «языческий» пафос земли, земного, яркого чувства [103]. Наконец, важна и ослабленность этического пафоса Блока, и — в основном идущий от традиции — эстетизм.

Эта же общность генезиса видна и в поэтике. Так, для Блока оказалась важной та символика романтиков и «чистых лириков» середины века (а также Тютчева, Ап. Григорьева и др.), которая одновременно и повлияла на творчество художников конца века, и преодолевалась ими (как набор аллегоризировавшихся штампов, утративших живую многозначность символа). Наконец, можно отметить и не привлекавшую пока внимания исследователей, но ярко выраженную поликультурную ориентацию молодого Блока, которая типологически близка символизму. Блок живо ощущает ушедшие культуры как интимно близкие, сегодняшние. Ср. посвящение стихов Е. Баратынскому или А. К. Толстому, полемику с Дельвигом: «Ты, Дельвиг, говоришь: минута — вдохновенье. . .» и др.; обилие эпиграфов и цитат из Библии и Платона, Шекспира, Гейне, Жуковского, Пушкина и Лермонтова, Некрасова, Бодлера; создание стихотворений-вариаций на темы, заданные традицией: литературной («гамлетовский» цикл [104], стих. «Мери» с подзаголовком «Пир во время чумы», 1899), живописной («Погоня за счастьем (Рип—Гросс)», 1899) или музыкальной («Валкирия (на мотив из Вагнера)», 1900). Еще ближе к символизму то, что стихотворения Блока часто оказываются органическим сплавом, сложной «вязью» цитат, реминисценций, мифологем (ср. поэтическое объединение тем Гамлета и Ленского в стих. «Есть в дикой роще, у оврага. . .», 1898). Произведения такого типа создают, кроме сложного образа лирического «я», еще и *свой образ литературной традиции*. Блок уже сейчас полон того особого, впоследствии ставшего символистским чувства истории, которое подразумевает раскрытие связей «я» с мировым целым и с людьми через те или иные историко-культурные уподобления и которое порождается панэстетическим представлением, что история ярче всего кристаллизируется в искусстве.

И все же Блок 1898—1900 гг. — еще отнюдь не представитель «нового искусства». Этический индифферентизм блоковской лирики, ее устремленность «за красотой» (I, 73) весьма далеки от напряженного и осознанного солипсического индивидуализма, «демонизма» и эстетизма декадентов, и творчество Блока развивается в конце XIX в. совсем не в эту сторону. С другой стороны, свои неопределенные мистические «чаяния» Блок «считал «субъективными» и бережно оберегал от всех» (I, 13). Блоковское творчество 1897—

1900 гг. не порождено еще «безумной» символистской убежденностью в абсолютной, самодовлеющей ценности или же в высшей пророчественной святости искусства (Блок пока и свою дальнейшую жизнь не связывает с поэзией, а «внешним образом» готовится стать актером — VII, 13). Лирика возникает как дань высокой культуре и творческой атмосфере, окружавшей поэта, и как отзвук «только личных», но ярких интимных переживаний (роман с К. М. Садовской) [105]. Поэтическая «картина мира» ранней лирики только еще формируется; она фрагментарна и в целом традиционна.

Наивно-романтическое противопоставление поэта и «людей» («Пусть светит месяц — ночь темна. . .», 1898; «Когда толпа вокруг кумирам рукоплещет. . .», 1898; и др.), мотивы ранней разочарованности (то, что Блок в 1907 г., комментируя лицейские стихотворения Пушкина, назовет «шестнадцатилетним пессимизмом») не мешают юному Блоку пламенно и наивно верить в счастье любви («Отроческие стихи», 1897), в высокую дружбу («Ты много — я больше пел. . .», 1898), в возможность слияния человека с природой и т. д. Его идеалы лишены сколько-нибудь четкой социальной устремленности, но они ни в чем не противопоставлены гуманной направленности русской поэзии уходящего века. Более того, многие особенности раннего блоковского мироощущения, которые навсегда войдут в его творчество, органически идут от культуры XIX в. Таково, например, важнейшее представление о высоких целях жизни и искусства:

Хоть все по-прежнему *певец*
Далеких жизни песен странных
Несет лирический венец
В стихах безвестных и туманных, —
Но к цели близится *поэт*,
Стремится, истиной влекомый,
И вдруг провидит новый свет
За далью, прежде незнакомой. . .
(1900, I, 43)

Жизнь без цели (хотя бы далекой, неясной или неосуществимой) кажется Блоку бессмысленной.

Важно и то, что при всей чуждости молодому Блоку напряженного социального чувства или этической проблематики они ни в малой степени не противопоказаны его поэзии. Блок может эти настроения порой отталкивать от себя:

Что человеческие слезы,
Когда румянится закат!
(1898, I, 333)

но они присутствуют в его поэтическом ощущении жизни:

Ужасна ночь! В такую ночь
Мне жаль людей, лишенных крова,
И сожаленье гонит прочь —
В объятья холода сырого!. .
Бороться с мраком и дождем,
Страдальцев участь разделяя. . .
(1899, I, 432)

Значение таких высокогуманных и пронизанных духом поэзии XIX в. мотивов у Блока 1898—1900 гг. не следует преувеличивать: стихотворения, подобные процитированному, в эти годы единичны. Однако их нельзя и игнорировать. К мистико-утопическим надеждам начала XX в. Блок пришел собственным путем, обостряя и углубляя настроения, присущие ему и

раньше. Ему не пришлось отказываться от «декадентства»: его в лирике и миросозерцании молодого Блока не было.

Следующий этап эволюции Блока, этап собственно символистский, связан, как известно, с годами создания сборника «Стихи о Прекрасной Даме» (1901—1902). Смена домашних и книжных воздействий неясными, но мощными импульсами, идущими от раскаленной атмосферы предреволюционных лет; глубокое и исполненное драматизма чувство к Л. Д. Менделеевой; наконец, овладевшие «всем существом» поэта (VII, 13) и художественно оформившие его эмоциональный порыв впечатления от мистической лирики Вл. Соловьева — все это резко изменило мир Блока, способствовало его художественному созреванию.

Начало 1900-х годов — время первого острого размежевания «декадентов» и «мистиков» — сразу определило место Блока как «младшего символиста», пламенно верящего в спасение, преображение материального «царства времени» вечной мистической Красотой:

‹. . .› Явись ко мне без гнева,
Закатная, Таинственная Дева,
И завтра, и вчера огнем соедини.
(I, 110)

Блок 1900—1901 гг. биографически еще не связан ни с выступившими до него «идеалистами» «Северного вестника», ни с «соловьевцами» начала XX в. (А. Белый, Вяч. Иванов), ни с «декадентами» (Брюсов, Бальмонт, Добролюбов). Апогей мистических настроений — лето 1901 г. — был пережит Блоком в «одиноких восторгах». Только в 1902 г. он знакомится с Мережковскими и через семью Соловьевых постепенно протягивается связь к Андрею Белому. Однако внутренне Блок уже с начала нового века рвал связи с «бекетовской» культурой, ощущая себя — все острее — с «новым искусством», постоянно погружаясь в его переживание. Новое — позитивное — отношение молодого Блока к искусству «конца века» было, конечно, не итогом его воспитания в «бекетовском доме», а более или менее осознанным противостоянием культуре этого дома. Правда, благодарно отмеченная Блоком постоянная поддержка матери и бесконечная любовь всех Бекетовых к «Сашуре» (см. VII, 12) смягчали конфликт, но внутренне, в сознании членов семьи, он, конечно, существовал. Коллизия «отцов и детей», бурно пережитая многими символистами, Блоком воспринималась как конфликт с «дедами» (со «старыми»), что указывает на личное, сквозь призму домашних впечатлений, его осмысление. Есть у Блока и более общее (для него, почти не знавшего отца) противопоставление «отцов и детей»: «Нет у нас гения отеческого, зато с современностью очень соприкасаемся. Отцы громили нас ‹. . .› Страшна родителей кара. Позднее будет раскаянье. А того и не будет» (VII, 20).

«Старые» действительно оказывали сопротивление, хотя и очень тактичное и мягкое, «новому искусству». Достаточно указать на «тайный» смысл позднейшего введения теткой Блока, М. А. Бекетовой, композитора Панченко в дом юного поэта. Человек талантливый, стоявший на грани «старых» и «новых» художественных вкусов, он должен был, по мысли Бекетовой, противостоять декадентским влияниям Андрея Белого и симпатиям матери и жены поэта к «новому искусству» [106]. Напомним также о гораздо более прямом и резком отвержении декадентства в семье Менделеевых, о горячих спорах невесты Блока с ее матерью, кузинами [107], о насмешках Д. И. Менделеева [108], и т. д.

Итак, уже в ранней юности, у истоков творчества, вырастает типичное для Блока антиномичное отношение к окружающей его культурной реальности. Самое дорогое, близкое поэт должен покинуть во имя того, что представляется более ценным; но этот «уход» имеет смысл лишь до тех пор, пока

поэт пронзен трагической любовью к покидаемому. Именно разрыв, «уход» (пусть пока что пережитый в сознании ярче, чем в реальных столкновениях со «старыми»), а не сосуществование «бекетовской» и символистской культур стал одной из важных психологических предпосылок раннего блоковского творчества (особенно после 1900 г.). Этот шаг — не только «падение». Он имел важный творческий и нравственный смысл, стал для поэта «начальной *школой пути*». Так же смело — но гораздо более осознанно — будет Блок впоследствии (в 1907—1908 гг. и после Октября) уходить от символистской культуры к «бекетовской» традиции, к демократизму и гуманизму XIX в.

К началу века относится первая попытка Блока критически осмыслить и оценить символизм.

Незавершенная статья Блока о русской поэзии (декабрь 1901—январь 1902 г.), дошедшая до нас в составе его юношеского дневника, по концепции и методу не очень оригинальна (особенно заметны воздействия взглядов Вл. Соловьева и их преломлений у Д. С. Мережковского, З. Гиппиус, Р. Иванова-Разумника). Но место ее в эволюции Блока значительно. Здесь — исходная точка блоковского пути, то, с чего он начинал, от чего потом уходил и к чему опять возвращался, чтобы уйти снова.

Статья написана в бурно эмоциональном ключе, в том осознанно импрессионистическом стиле, подчеркивающем недоверие к ratio, который высоко ценил и пытался ввести в русскую критику Д. С. Мережковский, но который даже в первых ученических пробах Блока выглядит более подлинным и ярким, чем в работах самого Мережковского.

«Следующий очерк не содержит в себе чего-нибудь стройно-цельного. Это критика от наболевшей души, которая стремится защитить от современников белые и чистые святыни» (VII, 21), — определяет свои цели Блок. «Лирическая» стихия статьи соединяется с пламенной апологией символизма.

Символы, писал Мережковский, — «не «вчерашнее изобретение парижской моды», а «возвращение к древнему, *вечному*, никогда не умиравшему *началу*» [109]. Блок также считает символизм начала XX в. «современным *видоизменением вечного* и живого *начала*» (VII, 27), пишет о «цветах символизма всех веков, стран и народов» (VII, 23. Курсив мой. — *З. М.*).

Искусство рассматривается (тоже в русле названной критической традиции) как явление духовной культуры, тесно связанное с человеческой историей, но и «вознесенное» над ней. Подобно Вл. Соловьеву и Мережковскому, Блок равно отрицает и «лживое государство», и «грубый либерализм» — «либеральную жандармерию», и буржуазный мир «великого зла века» — «статичной денежности» (VII, 25; ср. у Мережковского о грубом насилии над искусством «денежного варварства ‹. . .› власти капитала» [110]). Злым силам противопоставляются животворные начала «метафизики и мистики» (VII, 23). Борьба этих начал мыслится Блоком (как и автором книги «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы») в двух планах: как вечное духовное единоборство «бога и дьявола» (у Мережковского — «художественного идеализма» и «художественного материализма» [111]) и как его проявление в XIX в., предшествующее рождению «нового искусства», — как битва шестидесятнического «позитивизма» и «'αριστοχρατ'ов чувства и мысли», рыцарей «Истины, Добра и Красоты» (VII, 23). «На великую философскую борьбу» (VII, 23; ср. в «О причинах упадка. . .» о «великой ‹. . .› *борьбе* ‹. . .› двух диаметрально противоположных миросозерцаний» [112]) «вышел гигант — Соловьев» и вслед за ним — «новое искусство» (VII, 23). Искусство здесь — тоже в духе названной традиции — рассматривается как отражение целостных миросозерцаний, соотнесенных с философией («позитивизм» — «мистика»).

Истоки блоковского понимания культуры (исторические коллизии как отображение вечной борьбы в мире «идей») видны и в решении вопроса о собственно литературном генезисе символизма. Тут, однако, яснее та двойственность отношения к истории и искусству, которая составляет сущность миро-

понимания «соловьевцев». Сочетание платонического и пантеистического подхода порождает (то в плане эволюции, то в форме внутренних антиномий взглядов) у Соловьева отношение к земному миру либо как к «тяжелому сну» [113] псевдобытия, «теням» и «откликам искаженным» истинного мира идей [114], либо как к знакам тех же сущностей, но исполненным высшего смысла, воплощающим идеи в истории, а потому играющим и собственную великую роль — пути к окончательному «синтезу» [115]. «Младшие символисты» будут стремиться утвердить этот второй подход как основной, но постоянное возрождение платоновско-романтической антитезы «земного» и «небесного» — характерный спутник истории русского символизма.

Это же видим и в статье Блока. Ряд ее положений (например, об извечном противостоянии гения и «толпы», которая «может лишь бесноваться перед глухой стеной, скрывающей вечное и неумолимое божество» искусства, — VII, 26) носит безусловно романтический характер. Опосредованные прозой Мережковского отзвуки Ницше видны и в том, что Блок ищет причины возникновения символизма в возросшей «утонченности» чувств «избранных» (ср. отрывок: «Человек, утончаясь. . .» — VII, 26 — и мысль в «О причинах упадка. . .» о «расширении художественной впечатлительности» [116] как об одной из главных черт «нового искусства» [117]). Блок закономерно подходит к мыслям о генетической связи символизма с романтизмом (через Тютчева — «романтика» и предшественника символистов одновременно).

Однако Блок (хотя, видимо, стихийно) ближе к пантеистической стороне соловьевства, чем Мережковский. Поэтому рядом с первой — и не ощущаясь, видимо, как противоречащая ей — развивается и иная точка зрения на генезис «нового искусства». Символизм — не столько продолжение, сколько преодоление романтизма, который предстает у Блока как мироощущение наивное, «старинное». «Неисправимый романтик» Тютчев (VII, 33) не увидел всех глубин мира, несмотря на гениальность поэтических прозрений, так как «оставил себе теплый угол ‹. . .› романтически спокойного и довольно низкого парения» (VII, 34). Идеал символизма, в отличие от романтического, не связан только с «парением», «небом» — он прославляет и «земное»: «Все было ясно. «Передо мной кружится мгла». И боли мимолетной не чуял. Но странно — однажды *проснулось что-то земное*, лодка стукнулась о берег ‹. . .› Далеко *поет земля — близко слышится песня* — и подступает к горлу» (VII, 22. Курсив мой. — *З. М.*). Автоцитата из более раннего (20 сентября 1901 г.) стихотворения «Смотри — я отступаю в тень. . .» («Но предо мной кружится мгла, // Не чуя мимолетней боли. . .» — I, 125) позволяет Блоку отчетливо противопоставить «стародомантическую» позицию, с которой земля — «юдоль», «мгла», а свет Души мира виден лишь «в бессмертьи» (ср. I, 125), и «подлинно символистскую», для которой «песня земли» — высокая ценность.

Пантеизм Блока — особой природы. Для него, видимо, мало значимо прямое восхождение к философским истокам миросозерцания (античность, Спиноза, Шеллинг); важную (но не основную) роль играет обращение к преломлениям пантеизма в работах Вл. Соловьева, а «соловьевства» — в статье Мережковского. Главное же для Блока — это (воспринятая как пантеистическая) традиция русской природоописательной и интимной лирики середины XIX в.: Ф. И. Тютчева, Вл. Соловьева, А. Фета, Я. Полонского. Отношение к Фету особенно показательно. Утверждению Мережковского: «Значение Фета несколько преувеличено» [118] — противопоставляется восторг перед фетовской лирикой, непосредственно образно воплощающей «земное». Фет в финальных набросках статьи приравнен к Соловьеву (см. VII, 37).

Блок (как и многие символисты начала XX в.), воспринимая пантеизм сквозь призму соловьевского «синтеза» и ницшеанства «Северного вестника», придает ему привкус «принятия мира» и «оправдания зла». Мережковский и своей трилогией, и важной для Блока монографией «Толстой и Достоевский», и работами по истории искусства истолковывал гегельянско-соловь-

евское принятие мира человеческой истории в духе «теодицеи» Лейбница: «дьявольское», «антихристово» начало мира — перевернутое божественное, тайный его двойник (родство же двойников обнаружит лишь полнота «синтеза»). Блок принимает этот подход, говоря о двойственности творчества; «Дьявол уносит его (поэта. — *З. М.*), — и в нем находит он опрокинутого, искалеченного, — но все милее, — бога», — и делает отсюда «принимающий мир» вывод: «А если так, есть бог ‹. . .› не в одном небе ‹. . .› а и в «весенней неге» и в «женской любви» (VII, 22). Но тогда источником современного искусства, пронизанного «метафизикой и мистикой» (VII, 23), оказывается не только культура, утверждающая «витание среди нас ‹. . .› Бога, Рока, Духа» (VII, 23), но и извечно враждебные ей силы. Борьба с мистикой «французских революционеров, а гораздо позже и наших шестидесятников» (V, 23) манифестирует не только противостояние, но и глубинное единство врагов: «Источник ‹. . .› и мистицизма, и реализма — один: имя ему — бог» (VII, 32). Поэтому реализм оказывается одним из источников «нового искусства», а будущее культуры — это «море, где враги станут друзьями» и «протянут друг другу руки с разных берегов постигнутой бездны» (VII, 29).

Синтезирующий подход к истории культуры определяет и сложное отношение Блока к «декадентству». Блок то оценивает его как часть «нового искусства» (ср. VII, 30—31), то резко противопоставляет «декадентов» «символистам».

Конспектируя 30 сентября 1901 г. во время работы над статьей какое-то (известное лишь в передаче Блока) [119] выступление Р. В. Иванова-Разумника, который подхватывает настроения круга Мережковских, Блок выделяет мысль, что «декадентство — явление субъективно-индивидуальное» и что «новое искусство» уже прошло стадию «декадентства»: «Настоящее декадентство ‹. . .› *обречено на гибель*» (ЗК, 23 и 24. Курсив Блока). В статье о русской поэзии Блок присоединяется к этой точке зрения, призывая отделять художников-мистиков от декадентов — «настоящих упадочников, дегенератов» (VII, 26).

Декадентов Блок обвиняет (впрочем, что очень любопытно, ни разу не назвав имен) в самоценном эстетстве и формализме, при которых «произведение теряет характер произведения искусства» (VII, 26).

Подлинный символизм для Блока был всегда, неизменно связан с поисками объективного идеала. Мистический идеал его панэстетичен: это — типичная для младшего символизма «нетленная красота в окружении веры и вера в окружении красоты» (VII, 36). Она-то и воплощается в современной поэзии: «Одним из наиболее ярких мистических созвездий выкатилась на синие глубины неба поэзии — Вечная Женственность» (VII, 35).

Не менее важен и другой лик Прекрасного — «золотой век». Символика «золотого века», лишь скрыто присутствующая в «Стихах о Прекрасной Даме», очень существенна для символистов начала XX в., особенно для Вяч. Иванова, Андрея Белого, но и для Минского, Мережковского, З. Гиппиус, Ф. Сологуба (ср. античные мотивы в «Мелком бесе»). В ней наиболее прямо отразилась мистико-утопическая (и мистико-«общественная») природа «соловьевства». Идеал «золотого века» характерно указывает на античные истоки современной культуры. Но он связан у символистов и с эсхатологическими чаяниями и надеждами на грядущее «царство божие на земле» (ср. концовки трилогии Мережковского и «Толстого и Достоевского»). У Блока этот идеал порой окрашивается субъективистски и романтически (ср. о «мечте Золотого Века, быть может, никогда не существовавшего ‹. . .› и вполне недоступного толпе» — VII, 31). Однако Блок стремится «заземлить» образ в истории («Греция») и утвердить его как грядущую прекрасную цель — «страну, в которой нет «болезней», печали и воздыхания» (VII, 31) [120].

Блоковская статья, вершина его символистской «ортодоксальности», — удобная точка отсчета для изучающих путь поэта. Часть высказанных в ней мыслей, по мере усвоения поэтом настроений революционной эпохи, утратит

актуальность, а затем исчезнет из мировоззрения Блока (элитаризм, романтическое третирование «толпы»); часть останется жить, сложно трансформируясь (ср. пантеизм 1901—1902 гг. и позднейшее прославление «человека природы», народа; мечты о «золотом веке» и надежды «Ямбов» на «новый век», и т. д.). Но кое-что из настроений, отразившихся в незавершенном юношеском наброске, окажется кардинально важным для *всех* этапов становления Блока. Таков блоковский панэстетизм; но такова же и вера поэта, что идеал истинного искусства должен быть не «игрой воображения», а всегда — чем-то «объективным» и всемирно значимым.

Но, разумеется, неизмеримо важнее поэзия Блока 1901—1902 гг. «Стихи о Прекрасной Даме» — одно из самых глубоких явлений символистского искусства в России и вместе с тем — произведение удивительной самобытности, в отечественной традиции по существу уникальное.

В многочисленных исследованиях как первого сборника Блока, так и цикла, посвященного Прекрасной Даме [121], господствуют три точки зрения. В одних работах выделяется напряженное ожидание полного обновления мира и лирического героя «бессмертной» любовью нисшедшей на землю Вечной Женственности. Вторая точка зрения акцентирует внимание на биографических реалиях и психологических предпосылках настроений «Стихов о Прекрасной Даме» [122]. Наконец, в большинстве современных работ констатируется (конечно же, справедливо) наличие в тексте обоих планов: «мифологического», космически универсального — и «реального», но их отношения обычно рассматриваются как взаимное противоречие. Однако новаторство «Стихов о Прекрасной Даме» для истории русского символизма и определенное этим новаторством их место в истории русской поэзии — как раз в обратном: в полной нераздельности всех планов стихотворений сборника [123]. Блок воплотил в живой ткани поэтического языка многое из того, что теоретически утверждали или даже поэтически декларировали другие символисты: он создал реальное поэтическое единство многопланового и «многоликого» образа-символа.

И «Стихи о Прекрасной Даме» в целом, и каждое стихотворение в отдельности не только допускают, но и непременно, с авторской точки зрения, подразумевают множественное прочтение. Они должны быть одновременно осознаны и как художественно точное отображение вполне «земных», реальных (даже имеющих прототипов) героев, их взаимоотношений, переплетений страстных эмоций и т. д. — и как символистическое развертывание космически универсального мифа о путях земного воплощения Души мира. При первом прочтении «Стихи о Прекрасной Даме» предстанут как собрание вполне самостоятельных, хотя и отличающихся удивительным единством эмоций и стиля лирических стихотворений, при втором — в них раскроется единое повествование, а каждое стихотворение окажется его частью, соотнесенной с целым и получающей от него глубинные смыслы.

Конечно, в сборнике могут быть выделены тексты, где господствуют мистические интерпретации изображаемого. Таково, например, знаменитое «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо. . .» (4 июня 1901 г.). Здесь и эпиграф из Вл. Соловьева, и написания «Ты», «Тебя», и вынесенность действия в пространства «неба», «закатов» подчеркивают тему страстного ожидания земных воплощений Вечной Женственности и боязни того, что в миг воплощения «Она» «изменит облик», окажется во власти земного Хаоса. В других стихотворениях — и их довольно много, — напротив, заметнее связь с породившими их реальными событиями и настроениями (ср. «Не поймут бескорбные люди. . .», 10 февраля 1902 г., где упоминания «масок, смехов в окне» и лирического «я», ожидающего «Всю ночь, всю ночь — у окна!» — I, 167, почти точно воспроизводят ситуацию ожидания поэтом своей невесты, ушедшей на маскарад к Боткиным) [124]. Однако, во-первых, ни в одном из названных (и подобных им) стихотворений господствующее истолкование не является единственным. Мы ярко ощущаем в «Предчувствую Тебя. . .»

жажду земной любви и возможность обращения текста к земной женщине, а в «Не поймут бесскорбные люди. . .» — мотив рыцарского преклонения перед вознесенной над героем Дамой. Во-вторых, многие стихотворения в равной мере отнесены и к мистическим, и к реальным переживаниям.

Весна ли за окнами — розовая сонная?
Или это Ясная мне улыбается?
Или только мое сердце влюбленное?

(I, 272)

В этих вопросах заключен как бы набор ответов, каждый из которых — безусловная часть единой истины. То, что происходит, — это и радостное биение влюбленного сердца, и приход розовой весны, и явление Той, кто, по словам Вл. Соловьева, «весну‹. . .› приведет». Наконец, в-третьих, смыслы отдельных стихотворений интерферируют, проникая из одних текстов в другие. В результате психологические, любовные, пейзажные, мистические и мистико-утопические планы повествования неразрывно связаны. Любые прямо названные лица, предметы, события неизбежно оказываются и символическими «ознаменованиями» происходящего в иных «мирах». Космическое «знаменует» пейзажное и интимное, интимное — символ мистического, и т. д.

Таким образом, «Стихи о Прекрасной Даме» нельзя рассматривать только как произведение, «перерастающее» символизм. Напротив, во многом это — *наиболее художественно адекватное* воплощение творческих устремлений «нового искусства» начала XX в. Ни частые указания на то, что Блок уклоняется от прямых отображений соловьевской утопии (идей преображения мира, а не только «я»), ни еще более распространенная мысль, что в конце «Стихов о Прекрасной Даме» вера в обновляющую мистическую любовь сменяется скепсисом и отчаянием, не могут поколебать высказанного.

Так, характерная для Блока 1901—1902 гг. холодноватая отдаленность от идей «мистической общественности» имеет множество причин. Будем помнить и то, что поэт в эти годы полностью погружен в «лирическое» (личное) и вполне стихийное переживание преображающей любви, затмившее для него все остальные планы соловьевской мистики, и то, что Блок как человек и поэт всегда целомудренно боялся точных отображений самого для него святого, что именно «главное» и было для него психологически табуированным. Следует отметить и то, что Блок начала XX в. действительно отличается бóльшим (а не меньшим, как иногда считают) общественным индифферентизмом, чем, например, «петербургские мистики» этих лет. Для понимания блоковского пути, его *масштабов* важно помнить, что слова Блока по поводу студенческих волнений в письме отцу от 2 мая 1901 г.: «Настроение мое ‹. . .› отвлеченно и противно всяким страстям толпы» (VIII, 15) — сказаны в то время, когда был создан «Петр и Алексей» с его острой постановкой вопроса об исторической роли петровских реформ, интересом к религиозно-бунтарским движениям народных масс и т. д. Любопытно, что черты «общественно» утопические (в частности, образ элитарного союза избранных, открывающего пути общего преображения) у Блока появляются лишь в последних стихах цикла, по мере назревания революционной ситуации.

Но главное — в ином. Адекватное авторскому, восприятие «Стихов о Прекрасной Даме» требовало умения ощущать универсальные соответствия, отраженность «всего во всем», символическое единство преображения личности, общества и мирового универсума. Поэтому если в каком-то смысле отсутствие прямых мотивов мистически-«общественной» утопии у Блока 1901—1902 гг. весьма показательно, то в другом — оно *не* разрушает многоплановой символичности (в том числе и мистической утопии) «Стихов о Прекрасной Даме». А отраженное в «Стихах. . .» смутное чувство, что сущность точнее всего выражается языком символического намека, было наиболее реальным художественным воплощением символистского панэстетизма.

Не ограничивают символистской «ортодоксальности» «Стихов о Прекрасной Даме» и господствующие в последних разделах настроения резиньяции и романтической иронии, распространяющиеся на основу основ цикла — на веру в подлинность переживания лирического героя, в действительную святость и «мистическую реальность» являвшегося ему «лучезарного виденья». (Ср., например, предвосхищающее трагический скепсис драмы «Балаганчик», 1906, стих. «Все кричали у круглых столов. . .» — 25 декабря 1902 г. — и мн. др.) Такие настроения — типичные для всего русского символизма колебания между «декадентским» (субъективистским и скептическим) и «символистским» (мистико-утопическим) взглядом на возможность земного воплощения Красоты. Но и в другом смысле символизм *внутри себя* заключал мысль о собственной гибели. Слова Блока:

Когда мы воздвигали зданье,
Его паденье снилось нам
(I, 172)

— с внутрисимволистской точки зрения *не только* пессимистичны. Органически близкое Блоку ощущение времени как циклического, как «вечных возвратов», заставляло видеть в гибели залог и символ грядущего возрождения. Для «Стихов о Прекрасной Даме», как и для Андрея Белого или Мережковского, действительно важна идея лжевоплощения (или — более «исторично»: «воплощения прежде времени», когда воплощается «небытие», дьявольский «хаос» — V, 79). Однако идея эта, окрашивая «Стихи. . .» в тона трагические, не выводит произведение из круга типично символистских страхов и надежд.

И все же основания увидеть в «Стихах о Прекрасной Даме» нечто, в символизм начала века не укладывающееся, как и заключенную в них возможность отхода от «соловьевства», — существуют. Но заключаются они в ином. Значительно более последовательно и талантливо, чем другие «младшие символисты», Блок реализует пантеистическую, а не платоновско-романтическую трактовку «земного». Но именно эта яркость и полнота изображения «земных» чувств и породивших их коллизий, которая предполагалась неизбежной, но реально (в творчестве, например, Андрея Белого) оттеснялась мистическими абстракциями на задний план, и подводила «Стихи о Прекрасной Даме» к границам возможного для «соловьевца». В образах и коллизиях первого сборника Блока прояснялась возможность их «отпадения» от символистского и мифологического целого. «Земные» планы повествования соблазняли осмыслить их как единственное или же главное содержание произведения. Действительно, в строках:

Ухожу в розовеющий лес. . .
Ты забудешь меня, как простила
(I, 192)

— и им подобных не только «наивный», но и профессиональный взгляд неохотно узнает коллизии взаимоотношений лирического «я» и Души мира, зато ярко ощущает теплоту «розовеющего леса» и грусть разлуки. И Блок действительно в дальнейшем будет реализовывать эти — пока еще во многом скрытые — возможности «земной» интерпретации изображаемого.

Это же можно сказать и о пронизывающем цикл ощущении близости великих перемен, «невиданных мятежей». Для Блока оно субъективно связано с эсхатологией «петербургских мистиков» и московских «аргонавтов», с апокалиптическими чаяниями «конца мира» и созидания «новой земли» и «нового неба». Еще интимней соединено оно с лирическими надеждами поэта (ср., например, письма этих лет к невесте Блока или письмо к З. Н. Гиппиус от 21 июля 1902 г.).

Но «эсхатология» Блока, очевидно, питается и иным — надеждами предреволюционных лет. Конечно, это же можно сказать и о Белом, и о Брюсове, и даже об общем пафосе журнала «Новый путь», однако и здесь глубоко пронизывающее поэта чувство близости «несказанно» нового придает его стихотворениям простую человеческую убедительность. В них живет ощущение, а не отвлеченная мысль о том, что «новый мир уже при дверях»:

Настежь ворота тяжелые!
Ветром пахнуло в окно!
Песни такие веселые
Не раздавались давно!
(I, 127)

К нам прольется в двери келий
Светлая лазурь.
И полны заветной дрожью
Долгожданных лет,
Мы помчимся к бездорожью
В несказанный свет.
(I, 169)

Более того. Порой именно логическая невыраженность, неопределенность образов этого нового, «несказáнного» мира, при эмоциональной яркости, обеспечивала широту их возможного восприятия. Не случайно З. Гиппиус в 1902—1905 гг. постоянно призывает Блока к «мистической сознательности», а Блок упорно уклоняется от программности, отстаивая свое право чисто интуитивного вживания в реальные знаки «несказáнного». Последовательный интуитивизм раннего Блока был не только спонтанным проявлением его поэтической сущности. Он оказался и средством самозащиты от узко символистской программности и главное — тем поэтическим путем, на котором создаются образы, поддающиеся широкой интерпретации и лишенные определенности мистического догматизма (столь свойственного, например, обоим Мережковским). Поэтому и «новый мир», надеждами на который пронизаны «Стихи о Прекрасной Даме», оказывается у Блока живым миром красоты, любви и счастья.

И еще одна существенная и во многом выходящая из рамок «младшего символизма» особенность цикла. «Стихи о Прекрасной Даме» ведут нас пока еще не в широкий мир «Печаянной Радости», где так «много людей и богов» (II, 104), а в уединенный райский сад «первой любви», где живут только двое: лирический герой, «я», и объект его высокой любви, «ты», «Дева, Заря, Купина». «Уединенность» ранней лирики будет затем вполне сознательно преодолеваться Блоком. Но важно и другое: «лирические персонажи» уже в творчестве Блока 1901—1903 гг. обретают яркость и определенность не только как выразители каких-то эмоций, но и как тонко охарактеризованные поэтические индивидуальности (это, кстати, одно из существенных отличий Блока от импрессионизма любимого им Фета). Если в одних планах образы «Стихов о Прекрасной Даме» мифологически универсальны (Душа Мира и поклоняющийся ей «бедный, тленный» — I, 164 — человек), то в других — они поражают тонкой нюансировкой чувств, психологической мотивированностью и почти дневниковой искренностью, «исповедальностью». Можно сказать, что условность «окружений» героев, мифологическая всеобщность, зачастую условность или незаземленность места действия (она частично снимается обаятельными образами среднерусской природы или городскими пейзажами цикла, но полностью не преодолевается) компенсируется живостью чувств и психологических образов их носителей:

Я долго ждал — ты вышла поздно,
Но в ожиданьи ожил дух,

Ложился сумрак, но бесслезно
Я напрягал и взор и слух.

Когда же первый вспыхнул пламень
И слово к небу понеслось, —
Разбился лед, последний камень
Упал, — и сердце занялось.

Ты в белой вьюге, в снежном стоне
Опять волшебницей всплыла,
И в вечном свете, в вечном звоне
Церквей смешались купола.

(I, 143)

Эпизод встречи изображен так, что может быть истолкован либо мифологически или фантастически («волшебницей всплыла»), либо как метафора чувств, либо, наконец, как нуждающийся в биографическом комментарии. Но сами эмоции напряженного ожидания и бурной, все «смешивающей», головокружительной радости встречи, как и возникающий на скрещении чувств образ «я», наделены полной художественно-психологической реальностью и ни в каком ученом комментировании не нуждаются.

И здесь мы подходим к тому основному, что кардинально отделяет художественную позицию Блока от Вл. Соловьева и «соловьевцев». При всей устремленности Соловьева к показу земных, реальных, «воплощенных» обличий «Души мира», образы «царицы» и лирического «я» у него зачастую лишены именно психологической индивидуализированности (ср. в особенности ранние стихотворения: «Вся в сиянье сегодня явилась. . .», «Прометей», «У царицы моей есть высокий дворец. . .»). Освоенная и Блоком мифологическая всеобщность ситуации у Соловьева дополняется ярким эмоциональным переживанием, но не живым образом носителей эмоций. Образ «царицы» вообще слабо поддается «заземлению», а лирический герой либо оказывается только носителем эмоции, а не «лирическим характером» (в этом смысле Вл. Соловьев ближе к Фету), либо раскрывается ярко, но через поэтические декларации в жанре философской лирики.

На втором этапе своей поэтической эволюции, в так называемом «мартыновском» цикле начала 1890-х годов, Вл. Соловьев склонен особенно подчеркивать «земной» облик героини («Смеялося солнце над нами. . .», «Вижу очи твои изумрудные. . .»), однако искомой многопланности образа он почти никогда не достигает: в стихотворении либо полностью побеждает «земное» — создается произведение интимно-лирическое, либо земное заметно блекнет. Образ же лирического «я» по-прежнему дается средствами философской лирики и, по существу, внепсихологичен.

Наконец, поздний Соловьев (конец 1890-х годов) сознательно отказывается от поисков ценного в индивидуально-человеческом: реальность — лишь «грубая кора вещества», под которой герой учится «осязать нетленную порфиру // И узнавать сиянье божества» («Три свидания»). В самом же герое, наконец, ярко выступает индивидуальное (даже автобиографическое), но лишь затем, чтобы подчеркнуть романтической иронией повествования его «земной», анекдотически сниженный облик. В «высоких» же декларациях герой, как и прежде, — носитель поэтической мысли или чувства, но не «лирический характер».

У Блока, как видим, дело обстояло иначе. Различные планы лирического повествования на протяжении всего текста органически совмещены. Противопоставление это, конечно, легко объясняется разным масштабом поэтического дарования: великий поэт легко воплощает то, что лишь задумано его единомышленниками. Но, думается, дело не только в этом. Концепция поэтической личности и у Соловьева, и у Блока создается на скрещении романтических традиций и стремления их преодолеть, показав ценность че-

ловеческих переживаний в герое. Но Вл. Соловьев при этом более всего ориентирован на традиции Ренессанса (ср. его переводы из Данте и Петрарки, а также темы ренессансной культуры в философских работах Соловьева). Поэтому его лирический герой — в первую очередь человек как таковой. Блок же, хотя субъективно стремится к широчайшему культурному синтезу, создает героя более исторически конкретного, так как поэтической родиной Блока, его, по словам О. Мандельштама, «барсучьей норой», остается русская лирика XIX в. Индивидуализация поэтического переживания ведет его не только к импрессионизму Фета, но и к «лирическому характеру» Некрасова и некрасовской школы, а возможно (хотя четко выявится эта тенденция лишь позже), и к «исповедальности» толстовской прозы. Так оттесняемый «новым искусством» гуманизм ушедшего века неожиданно воскресает в структуре «лирического персонажа». Эстетически ценным оказывается не «земное как таковое», а реальная человеческая личность.

Разумеется, художественные находки такого рода характерны не только для Блока. Стремление к самовыражению зачастую делало образы лирического «я» и у других символистов (Белый, Ф. Сологуб, отчасти Инн. Анненский и др.) внутренне едиными, и не случайно само оформление понятия «лирический герой» относится к символистской и постсимволистской эпохе. Но и в этом ряду (здесь не случайно господствуют художники, так или иначе сохранявшие связь с демократической культурой XIX в.) художественная позиция Блока своеобразна: большинство символистов создали лишь глубоко индивидуальный образ лирического «я», однако замкнутого в «голубой тюрьме» бытия. Блок уже в «Стихах о Прекрасной Даме» создает высокий лирический образ-персонаж, выводящий поэта из мира субъекта. Никто из символистов не мог так ярко, лирически ощутить другого, «не-я», будь то «Дева, Заря, Купина», Россия зрелого Блока или «Двенадцать» и «Скифы».

Итак, Блок «Стихов о Прекрасной Даме» *субъективно* еще во власти «высокой» мистики соловьевства. «Соблазны» реальности и искусства, повествующего о реальном, проистекали в цикле зачастую не от «измен» и «разочарований», а, напротив, из субъективной верности Блока «соловьевству», из того совершенства, с которым в «Стихах о Прекрасной Даме» отобразились панэстетические идеалы воплощенной Красоты и последовательно образное, исключающее все абстракции, символико-мифологическое поэтическое мышление. Но существенную роль в создании столь уникального цикла сыграли и *глубинные*, порой в эти годы не осознававшиеся связи Блока с русской культурой XIX в., которые возникли задолго до обращения поэта к «новому искусству».

3

РАСПУТЬЯ (1903—1906 ГГ.)

Следующий период становления Блока и новый этап его отношения к символизму — 1903—1906 годы. В это время становится заметной парадоксальность и самобытность блоковского пути. С одной стороны, именно теперь, в годы написания стихотворений, позднее образовавших цикл «Распутья», формирования текстов второго сборника Блока — «Нечаянная Радость» (1907), создания трилогии лирических драм (1906), начинается действительный отход поэта от мистико-эстетического утопизма «соловьевства» — первый, но решительный шаг к будущей попытке разрыва с символизмом. С другой стороны, в эти же годы для Блока кончается время «одиноких восторгов». Его вводят в свой круг «мэтры» символизма: весной 1902 г. он знакомится с Мережковскими, в 1903 г. становится сотрудником «Нового пути». Блок — посетитель Религиозно-философских собраний; он ходит на знаменитые «среды» Вяч. Иванова и в годы первой русской революции испытывает чувство близости к нему и увлечение идеями «мистического анархизма». Поездка Блока в Москву в январе 1904 г. приводит к бурному сближению его с московскими символистами: с Брюсовым и особенно с кружком молодых москов-

ских поэтов — «аргонавтов» (А. Белый, С. Соловьев и др.); на 1903—1906 гг. падают также переписка, знакомство, начало, апогей и спад «мистической дружбы» с Андреем Белым. Наконец, март 1903 г. — время первой публикации блоковских стихов в «Новом пути», а конец 1904 г. — время выхода сборника «Стихи о Прекрасной Даме», в целом тепло встреченного символистской критикой.

Таким образом, Блок был восторженным адептом «нового искусства» в годы, когда имя его оставалось почти неизвестным в символистских кругах и неведомым читателям, а время «затухания мистических зорь» совпало с тем, что все большее число людей начало воспринимать Блока как яркого и подающего надежды поэта-символиста. Эта ситуация породила сложные идеологические и психологические коллизии: мучительность для Блока связей с ведущими писателями-символистами, колеблющиеся оценки большинства из них и вместе с тем постоянное недовольство собой, мысли о себе как о «лжепророке» и остро противоречивое отношение к своему неудержимо растущему охлаждению к «соловьевству».

Внутренне неоднородны и творческие поиски Блока-художника. Просыпающийся интерес к революционной современности, к «людям» и социальным проблемам настоятельно ставил вопрос о соотношении действительности и поэтического идеала Блока. Медленно зревшие ответы на этот вопрос не укладывались в рамки «старо»-декадентского «неприятия мира», однако реальные воплощения революции были достаточно непохожи и на «лучезарный взор» «Девы, Зари, Купины».

Предреволюционная и революционная действительность настойчиво и с разных сторон врывалась в жизнь и творчество Блока. Его современник С. Бобров пишет: «Блок гораздо глубже своих собратьев по символизму пережил 1905 год». Отрывок из дневника М. А. Бекетовой, впервые публикуемого ниже, позволяет уточнить вопрос о сдвигах в мировоззрении Блока этого времени: «Сашура говорит о величии социализма и о падении декадентства в смысле ненужности. За общественность, за любовь к ближним».

Университетские волнения, впечатления от одиноких прогулок по «дьявольскому», но одновременно и манящему Петербургу, особенно — от его окраин, события 9 января, потрясшие всю страну и усиленные для Блока семейной драмой — участием его отчима в расправах над революционерами, — все это определило кардинальные сдвиги в миросозерцании поэта. Роль мощного катализатора сыграли и новые литературные впечатления — прежде всего от сборника Брюсова «Urbi et orbi». Брюсов указал Блоку, особенно после 1903 г., совершенно новые поэтические пути к изображению реальности, современных городских будней, современного человека.

Разнонаправленность напряженных поисков нового целостного взгляда на мир и невозможность — пока — разрыва с символизмом как целым проявились в колебаниях Блока между двумя различными, во многом противоположными формами эстетизированного мироощущения — «соловьевством» и «декадентством».

«Соловьевство» и «петербургская мистика» Мережковских критикуются за удаленность от жизни, догматизм. Это — «теория», которая «в основании безукоризненна», но «рассудочна» (VII, 67, 68). Летом 1903 г. Блок пишет А. В. Гиппиусу: «Мы в Вами ‹. . .› страшно загромоздились тревожными теориями ‹. . .› Ваш термин «жизненность» ‹. . .› возбудил желание прильнуть к нему. Надо бы подраться с «теориями» (VIII, 62). Мистические «теории» противопоставляются «жизни» и «счастью» («Я жил среди «петербургских мистиков», не слыхал о *счастье* в теории ‹. . .› весны веяли на меня, а не они» — VIII, 92), а также деятельности и борьбе («Все „отсозерцались“ ‹. . .› Все порываются делать» — VIII, 36). Но вместе с тем отрицание мистических «теорий» оказывается — пока — отрицанием «теорий» вообще, любых «догм» и оценок. И оно неизбежно ведет к «декадентскому» скепсису и «чистому» эстетизму.

Однако Блок в те же годы резко критикует и «декадентство» — как в русском символизме, так и в себе самом. «Начинаю совсем НЕ выносить декадентов» (VIII, 119); «Ненавижу свое декадентство и бичую его в окружающих» (VIII, 156) и т. д., — неустанно повторяет он. Мыслям о том, что мистические «теории» отжили свой век, соответствуют почти такие же высказывания о «декадентстве»: «О «декадентстве» в последнее время (и давно уже) как-то нет помину» (март 1905; VIII, 123). Блок отстраняется от декадентского аморализма (ср. в том же письме ироническое упоминание «гимназистов, отслуживших черные мессы») и эстетства (ср. там же о гимназистах, «говорящих на собраниях много и скучно о черных лилиях»). Но в 1903—1906 гг., в отличие от последующих этапов блоковской эволюции, отрицание «декадентства» зачастую означает попытку вернуться к утопии о спасающей мир Красоте.

Те же противоречия поисков — и в творчестве Блока. Блок цикла «Распутья», сб. «Нечаянная Радость» неуклонно отходит от веры в «Прекрасную Даму», которая «*отошла без возврата*» (II, 7). Но пути его пока — это демонические «распутья», и «действительность», «повседневность», к которым приходит Блок «Пузырей земли» и «Города», — это царство инфернального, хаотического, злого («Город») или этически нейтрального («Пузыри земли»). Блок по отношению к этому царству зла не становится в позу романтического отвержения мира (характерную и для многих символистов 1890-х годов, например для Ф. Сологуба, и для таких символистов 1900-х годов, как Эллис, или, по-иному, «нигилист» Инн. Анненский). Подобно «принимающим мир» «декадентам» Брюсову и Бальмонту и символисту, соединявшему «соловьевство» и «мистический анархизм», Вяч. Иванову, Блок упивается миром «земли». В земном Блока неотразимо притягивают его динамизм («Город в красные пределы. . .») и страстность, — то солнечная:

Солнцу, дерзкому солнцу, пробившему путь, —
Наши гимны, и песни, и сны — без числа!. .
Золотая игла!
Исполинским лучом пораженная мгла!
Опаленным, сметенным, сожженным дотла —
Хвала!

(II, 152)

то «дионисийские» восторги петербургских ночей:

Пускай невинность из угла
Протяжно молит о пощаде!
. . . . . .
Бегите все на зов! на лов!
На перекрестки улиц лунных!
Весь город полон голосов
Мужских — крикливых, женских — струнных!

(II, 141)

Даже революция с таких позиций первоначально представала (в духе Брюсова и Бальмонта) как веселый праздник разрушения и смерти:

Ведь никто не встретит старость —
Смерть летит из уст в уста. . .
Высоко пылает ярость,
Даль кровавая пуста. . .
Что же! громче будет скрежет,
Слаще боль и ярче смерть!

(«Шли на приступ. Прямо в грудь. . .» — II, 59)

Такие «жизненность» и «примирение с действительностью» в пределе ведут, как понимал Блок, к декадентской безоценочности или эстетизации зла. Неудивительно, что в 1903—1906 гг. Блок, в противовес этим настроениям, то упрямо пытается вернуться к эмоциям 1901—1902 гг. (ср. особенно стихотворения 1903 г., где со скепсисом часто соседствует «соловьевская» мистика), то хочет верить в грядущее повторение «мистических зорь» и пробуждение «спящей царевны» («Дали слепы, дни безгневны. . .», 1904; финал «Ночной фиалки», 1905—1906), то «синтезирует» идеалы Души Мира и революции («Ее прибытие», 1904; «Деве — Революции», 1906) [125].

Стихотворения, где нисхождение в мир Красоты отождествляется с сотворением царства всеобщего счастья:

Мы все, как дети, слепнем от света,
И сердце встало в избытке счастья.
. . . . . .
И Дева-Свобода в дали несказанной
Открылась всем — не одним пророкам!
Так все мы — равные дети вселенной,
Любовники Счастья. . .

(II, 320—321)

— особенно интересны. В них Блок стремится преодолеть «декадентский» этический релятивизм, прославить будущее как мир не только Красоты, но и Добра, справедливости («мы — равные дети вселенной»), Истины. Но попытки вернуться через опыт революции в непротиворечивый, «детский» мир «соловьевской» гармонии оказались несостоятельными. Процессы, происходившие в блоковском творчестве, были необратимыми, и если каждый «декадентский» ход поэтической мысли Блока вызывает у него рефлексии раскаяния, ощущения своей «измены» и неизбежности «возмездия», то каждая попытка «возврата» вызывает вспышки автоиронии.

Создается впечатление замкнутого круга колебаний между «соловьевством» как целостной системой взглядов («теорией») и декадентски импрессионистическим отрицанием любых «теорий» (или, что то же самое, брюсовским «всеприятием», «протеизмом»), между этической нормативностью эстетизированной веры — и декадентской «безоценочностью» и даже апологией зла; между требованием «петербургских мистиков» и Андрея Белого создать искусство «теургическое» — и апологией полной свободы творчества. Однако за кажущейся бесперспективностью колебаний вырисовывается основная линия пути.

Д. Е. Максимов убедительно показал, что эволюции Блока может быть представлена как смена целостных и имеющих символический характер «картин мира», в центре каждой из которых — образ, воплощающий представление об основном, субстанциональном начале мира. Для раннего Блока такое начало мира воплощалось в Вечной Женственности, для Блока «второго тома» (периода первой русской революции) — в «символе-категории» «стихия» [126]. Следует напомнить, что сама структура подобной картины мира отражала не только глубокую лиричность мировосприятия Блока, но и была проявлением типичной для символистского панэстетизма экспансии художественного в область мировоззрения.

Пафос «стихии» — основного начала бытия — свойствен был, конечно, не одному Блоку; это — существенная черта символизма эпохи революции 1905 г., а для многих художников — и на протяжении всего творческого пути. В типично блоковском воплощении «стихия» — это начало внерассудочное, постигаемое интуитивно, повышенно эмоциональное, связанное с предельным напряжением «страстей бытия», с красотой и неотрывным от нее динамизмом, энергией. Энергия эта обычно проявляется в разрушении, но и силы разрушающие, и возникающий от их действия «стихийный» мир —

прекрасны (что определяет сущность революционной темы в творчестве Блока). Впрочем, «стихия» (особенно в первых произведениях о городе 1903—1904 гг.) живет и в городе (в мире истории), составляя его глубинную сущность, прорывающуюся сквозь внешнюю мертвую кору («Петр» — «Он спит, пока закат румян. . .»). Что касается такого важного для Блока вопроса, как оценка «стихии», то в течение 1903—1906 гг. заметно, как апология «стихий» (или — реже — отказ от оценок) вначале легко сочетаются с показом ее нравственной релятивности и безжалостности по отношению к человеку («Обман» и др.), а затем все чаще основываются на представлении о «стихии» как универсальной (в том числе и нравственной) норме.

Среди стихотворений о «стихии» выделяются произведения революционной темы. «Стихия» здесь — образ более историчный, чем в интимной лирике Блока, но родственный ей. Это — народные массы, вышедшие на улицы «из тьмы погребов» (II, 153), загадочные и непонятные (их речи — «словеса незнакомых наречий» — II, 153). С ними у Блока сразу же связывается поэтическое представление о будущем: мир стихии — грядущее, быть может, уже стучащееся в дверь:

Пусть заменят нас новые люди!
(II, 153)

Вместе с тем «стихия» — *историческая* сила, которая должна прийти на смену современному миру; в «стихийничестве» революционной лирики зарождаются идеи статей о народе и интеллигенции и «Песни Судьбы»:

Затопили нас волны времен,
И была наша участь—мгновенна.
(II, 154)

В стихотворении «Подымались из тьмы погребов. . .», написанном 10 сентября 1904 г., смена настоящего мира будущим, «стихийным» представлена как мирная, без борьбы:

Не стерег исступленный дракон,
Не пылала под нами геенна.
(II, 154)

Такой подход характерен для Блока кануна революции. Он виден и в «Барке жизни» (декабрь 1904 г.), и в революционной, но одновременно и мистико-утопической неоконченной поэме «Ее прибытие» (декабрь 1904 г.).

Однако с 1905 г. (вскоре после «кровавого воскресенья») образ «стихии» как народа существенно меняется. Теперь со «стихией» связываются образы социальных катаклизмов, радостного разрушения, борьбы и гибели:

Шли на приступ. Прямо в грудь
Штык наточенный направлен.
. . . . . .
Рядом пал, всплеснув руками,
И над ним сомкнулась рать.
Кто-то бьется под ногами,
Кто — не время вспоминать. . .
. . . . . .
Что же! громче будет скрежет,
Слаще боль и ярче смерть!
(II, 59)

Соотношение современного «интеллигентского» и народного мира мыслится теперь как непримиримая борьба («Митинг», 10 октября 1906 г.).

Революционная драма «Король на площади» (1906) резко противопоставляет иллюзиям созидания, «безумной», но «высокой мечте» (IV, 32) о строительстве как пути к счастью, единственно реальный путь в будущее — разрушение, гибель цивилизации. Предсказанная в начале драмы в разговоре трех «неизвестных» (революционеров-анархистов), эта гибель завершает произведение: «За картиной разрушения нет больше ни одного огня <. . .> *Ропот толпы* усиливается и *сливается с ропотом моря*» (VI, 60) [127]. Одновременно с изживанием иллюзий мирного прихода нового образ «стихии» получает и свой законченный поэтический облик: стихийные катаклизмы природы (бури, вьюги, грозы) и катаклизмы социальные объединяются единой символикой (ср. «ропот толпы» и «ропот моря»).

Блок не был, конечно, единственным поэтом-символистом, вырвавшимся на просторы реальности и революции. Революцию приветствовали и В. Брюсов, и К. Бальмонт, и Ф. Сологуб, и Вяч. Иванов, и — отчасти — Белый, и многие другие. Однако бурная импрессионистически-декламационная манера Бальмонта Блоку была чужда. Довольно далек он и от лирики высоко ценимого им (но в основном как прозаика) Ф. Сологуба — как в ее высоком, национально-патриотическом варианте, так и — особенно — в варианте сатирическом. Ближе всего ему стихотворения Андрея Белого. Но существенное воздействие на революционную поэзию Блока оказали лишь два поэта: Брюсов и после 1905 г. — Вяч. Иванов. Здесь, при наличии известных точек соприкосновения, можно особенно легко заметить черты все растущей самобытности поэта.

Брюсов (в основном Брюсов «Tertia vigilia» и «Urbi et orbi») первоначально «заворожил» Блока широким введением в поэзию современной темы, урбанизмом, образами будничной реальности, быта, «простых людей». Именно в прошедшем «под знаком Брюсова» 1903 году соответствующие образы все чаще появляются и у Блока [128]. Революционная тема тоже первоначально является в «брюсовском» облике городской эсхатологии («Последний день»), мотивов грядущего разрушения современного общества. Убедительные параллели: «Конь блед» — «Последний день», «Довольным» — «Сытые» и др. — не раз проводились исследователями. Д. Е. Максимов обратил внимание и на существенное отличие революционной лирики Блока: поэзия Блока менее радикальна (уточняя эту мысль, скажем, что она правильна в основном для блоковского творчества 1903—1904 гг.), но более гуманна и человечна, чем брюсовская [129].

Брюсовские воздействия существенно изменили структуру лирики Блока — они помогли дополнить исконно блоковскую индивидуализированность «лирических персонажей» конкретностью, историзмом фона. Действие из Вечности и Бесконечности перенеслось в современный город (позже, уже вне тесных связей с Брюсовым, оно, не утрачивая исторической четкости, перенесется на просторы России). Появился и сразу стал играть активную художественную роль реальный бытовой «антураж». В дальнейшем — опять же уже безотносительно к Брюсову — лирический фон и «лирические персонажи» встанут в новую — причинно-следственную — связь, которая позволит говорить о сближении поэтики Блока с реалистической.

Родство с Вяч. Ивановым Блок ощущает особенно ярко в 1905—начале 1907 г.

> . . . Наши души спели
> В те дни один и тот же стих,
>
> (III, 141)

— скажет он об этом чувстве позже. Блоку оказывается на какое-то время глубоко созвучным «дионисийство» Иванова, представление о ценности «страстей» — состояний, где утрачиваются границы между «я» и «не-я», личностью и миром, страданием и наслаждением, смертью и воскресением. «Дионисийские» представления Иванова были и для него самого, и для Блока

ответом на вопрос о месте личного начала в революции, о «я» и народе. Пафос самоотдачи господствует в «солнечном цикле» Вяч. Иванова, где добровольное самосожжение — поэтический синоним распятия — символизирует эту новую связь личности и мира. Образы революции как очищающего огня прочно войдут в поэтическое сознание Блока («Пожар», статья «Михаил Александрович Бакунин» и др.), а жертвующий собой юный царь отзовется в стихотворении «Угар» и особенно — в судьбах лирического героя цикла (в первом издании — поэмы) «Снежная маска» (начало 1907 г.). Герой этот, как известно, сгорает «на снежном костре», одновременно оказываясь и «распятым на кресте» (II, 252).

Столь же существенным был для Блока 1905—1907 гг. интерес Вяч. Иванова к мифологии, отразившейся в блоковском творчестве обращением к русскому фольклору, архаическому мироощущению «языческой» Руси («Русь», «Поэзия заговоров и заклинаний»).

Но, разумеется, все эти воздействия на Блока 1903—1906 гг., зрелого поэта огромной силы лишь способствовали становлению индивидуального облика его поэзии. Блок в эти годы подходит к наиболее органической особенности своей поздней лирики — созданию образов, одновременно отделенных от «я» и глубоко лирических, широко обобщенных и сохраняющих всю теплоту индивидуального бытия. Это особенно заметно в эволюции революционной и народной тем его творчества.

Образ народа как массы в стихотворениях 1904—1905 гг. сосуществует с образами людей из народа. Последние чаще всего связаны с социальной проблематикой, с мотивами бедности, униженности, страдания и гибели («Обман», «Легенда», «Повесть»). В этих стихотворениях гуманистическая традиция, прежде скрытая в глубинной структуре образа, выходит на поверхность, становится темой произведения. Здесь же особенно заметно и то, что Блок в годы первой русской революции все чаще обращается к традициям русской литературы XIX в.: Достоевского, Гоголя, позже — Л. Толстого. Под влиянием этих традиций образы «стихий» претерпевают еще одно существенное изменение: первоначально «стихия» наделялась по преимуществу эстетическими характеристиками (красота, динамизм, сила, героика народной массы или прекрасной «дочери народа») — теперь «стихийный мир» и его герои выступают и как объект сострадания, и как носители чувств человечности («Повесть», «чердачный цикл» и др.).

Такая эволюция образов «стихии» связана с пониманием онтологии «стихий». В начале изучаемого периода, но сохраняясь даже до 1907 г., господствует «декадентское», субъективистское представление о «стихии» как «страстях души» или игре ума («Балаганчик»). Впрочем, чисто субъективистские решения чаще заменяются скептико-агностическими, иронией (лирическому герою «стихийно», но какова природа этого состояния — не ясно; ср. знаменитую «Незнакомку», где Прекрасное, явившееся герою, — то пьяное видение, то подлинный идеал, зовущий в «очарованную даль» от пошлой реальности, то двусмысленный эпизод ресторанной жизни, и все эти восприятия «сквозят» одно в другом, не складываясь ни в какое окончательное истолкование происходящего). К концу 1906 г. стихийное начало понимается как объективно идеальное по природе, но, в отличие от Души мира, *уже теперь воплощенное* в действительности, яснее всего проявляющееся в природе, в исполненных страстей (в том числе — и жертвенных страстей) «людях природы» («Прискакала дикой степью. . .») [130], в катаклизмах социальной жизни (бунт в стих. «Пожар» и др.). В стихотворениях о революции и в финале драмы «Король на площади» ясно видна общая для символистов начала XX в. черта — «принятие мира» как принятие его динамизма, бунтарства, постоянного обновления.

Возврат в конце 1906 г. к ощущению объективности мира существенно меняет творчество Блока и его взгляды на искусство. В последних еще нет почти ничего, что выходило бы из рамок либо «соловьевства», либо «декадент-

ства». Однако уже теперь прорезывается кардинальная черта воззрений позднего Блока: в каждой из этих систем он все настоятельнее выделяет то, что в той или иной степени может быть понято как «созвучное» реализму или по крайней мере не враждебное ему. В «соловьевстве» это — объективность поэтического идеала, этическая нормативность (ср. так называемый «чердачный цикл» 1906 г. с его сочувствием голодной и холодной жизни бедняков, их униженности и горю, с его ориентацией на «Бедных людей» Достоевского и социальную прозу XIX в.). В «декадентстве» же Блока притягивает «реабилитация плоти» как мира не только природы и любви, но и исторической реальности, обыденной жизни, быта. Отсюда — осознанное смягчение оценок материализма (ср. запись от конца апреля 1904 г.: «*Примирение с позитивистами*? Всякие возможности» — ЗК, 63), позитивистской этики (запись от 14 августа 1903 г.: «Я не боюсь больше слов. Даже — «польза» не страшна!» — ЗК, 54). В статьях «Поэзия заговоров и заклинаний» (октябрь 1906 г.) и «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» (ноябрь 1906 г.) идеал «земного» и «полезного» утверждается в первом случае как присущий народной культуре, во втором — как национально русский. Именно в народном искусстве осуществлен чаемый «синтез» красоты и пользы (V, 51). При всей связи этой точки зрения с традицией национально романтического идеала, понятия «пользы» и нравственности (особенно во второй статье) слиты так тесно и рассмотрены так подробно, как никогда не рассматривались в символистской критике.

Меняется и отношение к реализму. Новый подход к искусству, формирующийся в эпоху «Нечаянной Радости», Блок уже в 1912 г. склонен называть «фантастическим (или «мистическим») реализмом» (см. VIII, 40; VIII, 46 и др.). Этот термин, восходящий, как известно, к Достоевскому, для Блока 1902—1904 гг. связан с отчетливым стремлением «синтезировать» искусство реальности и мистицизм, осознав первое как дающее тему (предмет изображения), а второй — указание на способ ее интерпретации. Стремление к «синтезу» разнообразных культурных традиций — черта эпохи, присущая значительно более широкому кругу явлений, чем поэтика символизма. Оно есть и у Л. Андреева, и у А. Толстого, и даже у И. Бунина и в конечном счете отображает характерную для искусства революционных эпох тенденцию выступить наследником всего, достигнутого человечеством. Предтечами этого метода Блок 1903—1906 гг. считал Гоголя и Достоевского. И хотя интерес к этим художникам не отделяет Блока от его окружения, Блоком-лириком более, чем другими символистами, Гоголь и Достоевский воспринимаются как учители ви́денья реальности. Таким образом, начало критического отношения к обоим основным типам символистского сознания («чисто» эстетическому и эстетической утопии) у Блока совпадает с ростом тяготения к реализму XIX в. Не следует, однако, упрощать и опережать блоковский путь. Колебания и «синтезы» Блока в 1903—1906 гг. еще не противопоставляют его символизму. Они лишь подводят поэта к наиболее динамичным движениям внутри символизма, — тем, которым суждено будет его разрушить.

1903—1906 гг. — один из самых динамических периодов блоковской эволюции. Блок начинает путь пламенным приверженцем символизма, испытывает и преодолевает воздействия «петербургских мистиков» — круга Мережковских (1902—1903), Андрея Белого и «аргонавтов» (1903—1904), затем обращается к тем символистским произведениям, которые наиболее отчетливо связаны с настроениями предреволюционных лет — с «реальностью» (В. Брюсов) и с героическим пафосом жертвы (Вяч. Иванов). К концу периода Блок как бы «завершает круг» исканий *внутри символизма*. По крайней мере, после «Снежной маски» он никогда больше не находится «под знаком» творчества каких-то «мэтров» символизма. Его искания теперь связываются с устремлением от символизма — к Достоевскому, Л. Толстому, А. Стриндбергу и — в конце концов — к Пушкину. На этом пути и формируется Блок «третьего тома», художник, выявивший все лучшие творческие потенции

символизма, выведший его на магистральные дороги русской культуры и в то же время решительно отказавшийся от всего, что мешало другим символистам выйти на эти дороги (элитарность, отвлеченность или камерность тематики, декадентский аморализм).

4

«НОВОЕ ИСКУССТВО» И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ (БЛОК И СИМВОЛИЗМ В 1907—1909 ГГ.)

Следующий шаг в эволюции Блока, резко изменивший его отношение к символизму, — 1907—начало 1909 г., время создания статей о народе и интеллигенции, циклов «Вольные мысли» (лето 1907 г.), «Фаина» (1906—1908), драмы «Песня Судьбы» (1908). Новый взгляд Блока на мир исторически определен замедленной, но тем более глубокой и органичной реакцией на события революции 1905 г., внутренне же связан с интенсивным влиянием на поэта демократических идей и реалистической культурной традиции.

Так, хорошо известны и не раз привлекали внимание советских ученых высокая оценка Блоком ряда современных ему писателей-реалистов, особенно одиозного для символизма Горького [131], полемика из-за этой оценки с Д. С. Мережковским и Д. В. Философовым, характерное стремление сотрудничать с писателями-«знаньевцами» и т. д. Но центральной все же оказывается ориентация на реализм XIX в.: на Гоголя [132], Л. Толстого [133], Достоевского [134] и др. и на широкую традицию демократической и «народолюбивой» публицистики прошлого столетия — от толстовства, шестидесятничества и народничества до славянофилов и «почвенничества» [135]. Демократизм и реализм прошлого становятся для Блока той внешней по отношению к символизму точкой зрения, с которой он оценивает «новое искусство»: «Для меня, — пишет он в статье «Вопросы, вопросы и вопросы» (ноябрь 1908 г.), — <. . .> гораздо вкуснее старая русская жвачка, чем новая, я думаю, что она гораздо питательнее; я совсем не «модернист», чтобы питаться «воздухом и обещаниями» современной литературы» (V, 339).

Вместе с тем позиция Блока сложна — и он сам это чувствует. Культура XIX в. для него — родная «по крови» «бекетовская» культура, культура «дедов». Но Блок постоянно ощущает (а, возможно, и полемически преувеличивает) также свое родство с символистской культурой, свою «зараженность» ею. И потому точка зрения «старого» реализма, с которой поэт стремится сблизиться, — это для него именно «чужая», но *тем более ценная* социально-культурная позиция.

Более всего привлекает Блока в демократической и реалистической культуре XIX в. пафос человека. Романтическая элитарность 1898—1902 гг. и живой интерес к национальным началам культуры в 1903—1906 гг. сменяются к концу 1906 г. напряженным вглядыванием в образ «маленького человека», завещанный реализмом XIX в. Блок пронзен демократическим ощущением исконно прекрасного в человеке. В статьях «Горький о Мессине» (октябрь 1909 г.) и др. он упоенно пишет, «как живуч, силен и благороден человек» (V, 381). Отсюда — размышления о необходимости самому стать человеком (ср. VIII, 161; VIII, 197 и др.) и столь важные образы «человека» в «Песне Судьбы» и позднейшей лирике.

Пафос «человека», чуждый, как правило, «самоценному» эстетизму «декадентов» (ср., впрочем, брюсовское: «Я люблю идеал Человека» [136]), привлекал многих символистов 1900-х годов, воспринимаясь как завещанный Вл. Соловьевым:

Здесь, с природой в вечном споре,
Человека дух растет
И с бушующего моря
Небесам свой вызов шлет [137],

— и оказал влияние на Бальмонта (испытавшего также бесспорное воздействие М. Горького), Ю. Балтрушайтиса, В. Брюсова, А. Белого и др. Но апология Человека у символистов носила романтический характер: Человек, ницшеанский герой-индивидуалист (Брюсов, Бальмонт) или жертвенный Агнец (Белый, Балтрушайтис), всегда был более или менее отчетливо противопоставлен мещанской массе. С другой стороны, попытки поставить на место Человека народ, дионисийски страстного носителя национальных «стихий», «хаоса» (Брюсов, особенно Вяч. Иванов), всегда отодвигали на задний план интерес к человеку из народа.

Блоковский пафос в 1907—1908 годах иной. Образ «маленького человека» в литературе XIX в. (и соответствующий термин демократической публицистики) включал для Блока две тенденции, символизму в целом чуждые: интерес к социальным проблемам и представление о «человечески прекрасном» как *присущем каждому*. В статье «О драме» (август—сентябрь 1907 г.) Блок как высокую заслугу Л. Андреева выделяет стремление подчеркнуть в герое «Жизни Человека» «заурядно-человеческое с тем же упорством, с каким Чернышевский подчеркивает заурядность Лопухова, Кирсанова, Веры Павловны» (V, 189). Живой, «теплый» демократизм «чердачного цикла» и многих позднейших произведений Блока внутри символизма сопоставим, пожалуй, лишь с трагическим гуманизмом Инн. Анненского и Ф. Сологуба. С этих позиций понятны горькие упреки символизму в отсутствии интереса к «маленькому человеку» и его красоте: «Реалисты исходят из думы, что мир огромен и что в нем цветет лицо человека — маленького и могучего <. . .> Мистики и символисты не любят этого — они плюют на «проклятые вопросы», к сожалению» (20 апреля 1907 г.; ЗК, 94).

Для Блока важна и демократическая «руссоистско-толстовская» антитеза исконного («естественного») в жизни и человеке как высокой нормы — и «цивилизации», истории как искажения естественно прекрасного. Такое представление лежит в основе центральных антиномий блоковской публицистики этих лет: «стихия — культура», «народ—интеллигенция». Оно же определило в цикле «Вольные мысли» и поэтичность образов «людей из народа» (жокея, рабочих, «Небритых и зеленоглазых финнов» (II, 306), матросов, финской девушки), и иронический показ мещанской интеллигенции («дачников», «гуляющих модников и франтов»), а также тему народа и интеллигенции в «Песне Судьбы».

Осознанная ориентация на реалистическую эстетику подводит поэта к поискам смысла и целей искусства *вне чисто эстетических*. Сама по себе такая постановка вопроса не была для символизма новой: с начала 1900-х годов говорилось, как мы видели, о «сверхэстетических» (мистических, религиозно-«теургических», творчески пересоздающих мир и даже общественных) задачах искусства. Блок, однако, ставит вопрос так, как он «новым искусством» еще не ставился. Статья «Три вопроса» (февраль 1908 г.) задает современным писателям «вопрос о *необходимости и полезности художественных произведений*» (V, 236). «Польза», в терминологии, принятой в символистской публицистике, отождествлялась с позитивистской эстетикой и более или менее последовательно, явно или тайно, отвергалась. Блок сам с полной определенностью связывает свой пафос «пользы» с Л. Толстым и с писаревским «*разрушением эстетики*» (V, 261) — т. е. с тем, что с первых дней становления «нового искусства» было главным объектом полемики. «Польза» вызывает представление о долге писателя, его общественном «деле» и о национальной специфике русской культуры: «Для <. . .> нового дела есть богатая почва во всех областях русской жизни, русской общественности, русского искусства» (V, 259). Реализуется «полезность» искусства в его общественно важном содержании, в его правдивости («Всякую *правду* <. . .> мы примем с распростертыми объятиями <. . .> Правда никогда не забывается, она *существенно* нужна» — V, 278) и этическом пафосе (искусство не имеет права терять «критерии добра

и зла» — V, 259). Наконец, в 1908 г., находясь в апогее демократических настроений, Блок объявляет, что подлинное искусство — искусство *для народа* («О театре»).

С этих позиций движение от XIX в. к символизму естественно представляется Блоку спадом, рядом невосполнимых духовных потерь, причем, в отличие от предшествующих лет, он отвергает не отдельные тенденции внутри «нового искусства» («декадентство», «мистический анархизм»), а *символизм в целом*. 25 сентября 1908 г. он пишет: «Не могу принять: ни двух бездн, бога и дьявола, двух путей добра [138], — «две нити вместе свиты» <. . .> ни теории познания (Белый), ни иронии (интеллигентский мистический анархизм), ни «всех гаваней» (декадентство)» (ЗК, 114—115). Но, отрицая и брюсовское «декадентство», прославляющее «все гавани», «и Господа, и дьявола» [139], и романтическую иронию, и «неприятие мира» у декадентов 1890-х годов и у «мистических анархистов» (Вяч. Иванов, Г. Чулков), и неокантианский методологизм Белого («теория познания»), и чаяния синтеза у Мережковского («две бездны») [140] и З. Гиппиус [141], Блок, по существу, критикует и себя, свое прошлое. Его критика стремится стать формой «исповедального искусства» (в смысле Л. Толстого) и тем самым, разрывая цепи направления, сблизиться с реалистической традицией.

Критика символизма начинается отвержением его философских основ — субъективизма и порожденного им этического релятивизма, «иронии» (отождествленной, как уже говорилось, с «мистическим анархизмом»), для которой «все равно <. . .> добро и зло, ясное небо и вонючая яма. Беатриче Данте и Недотыкомка Сологуба» («Ирония», ноябрь 1908 г.; V, 346). Но критика субъективизма имела в творчестве Блока давнюю традицию, восходя к неприятию «декадентства» начала 1900-х годов. Интереснее то, что и религиозно-мистические направления символизма, органически связанные с традициями Вл. Соловьева, теперь решительно не удовлетворяют Блока. В статье «Литературные итоги 1907 года» (ноябрь—декабрь 1907 г.) Блок, говоря о посетителях «религиозно-философских собраний», этого детища Мережковских, иронически пишет об «образованных и ехидных интеллигентах, поседевших в спорах о Христе и антихристе» (V, 210; намек на тематику Религиозно-философского общества и на трилогию Мережковского). Слово «мистик» уже в «Балаганчике» звучало для Блока иронически, отражая его острое разочарование в утопиях «соловьевства». Теперь Блок или отклоняется от размышлений о «воплощении идеала», или переводит их на практическую почву (ср. идеи театра для народа). Взгляд его устремлен не на «конец мира», а на драматические коллизии современной истории и ближайшего будущего.

Резко упрекает Блок символистов в антидемократичности и индивидуализме («Им нипочем, что столько нищих <. . .> Они под крылышком собственного «я» — ЗК, 94), в эстетстве («У них свои цветники («Ор») [142] — там же), устремлении к форме и чистой Красоте, игнорирующем пользу, долг. У символистов, пишет он в статье «Вечера искусств» (октябрь 1908 г.), «нет *ореола общественности*», потому они «еще не имеют права считать себя потомками священной русской литературы» (V, 308). Итоговая мысль Блока — в том, что символизм в целом — синоним «интеллигентской» культуры, а реализм — народной: символисты «слишком культурны», реалисты же — «варвары» (ЗК, 94). И Блок беспощадно объявляет символизм, независимо от субъективных намерений отдельных художников, реакционным: «Вечера нового искусства <. . .> становятся как бы *ячейками общественной реакции*» (V, 308).

Однако позиция, с которой Блок критикует «новое искусство», конечно, не может полностью отождествляться ни со «старым» демократизмом, ни с реалистической эстетикой. Многое в этой критике имеет иные истоки — славянофильские, «почвеннические» — и восходит к романтической эсте-

тике. Так, Блок и в 1907 —1908 гг. стоит на позициях антирационализма и интуитивизма: русская литература, считает он, «всегда <. . .> питала некоторую инстинктивную ненависть к сухому и строгому мышлению, стремилась переплеснуться через логику» (V, 320; «Народ и интеллигенция», ноябрь 1908 г.). Парадоксальность блоковской критики символизма (объективно всегда связанного с интуитивизмом) в том, что он упрекает «новое искусство» именно в «мистическом рационализме» и схоластике: «Как могу я поверить в то, что так страшно *симметрично*, в «богофильство» и «богофобство» Волынского, в «верхнюю и нижнюю бездну» Мережковского в «два пути добра» Минского!» «Губителен яд этой правильности; тот, кто испробовал его, знает, как разлагающе действует он на живую жизнь. Настоящий поэт не может помириться с этой ядовитой симметрией» (V, 283; «Письма о поэзии», август 1908 г.). Истоки этой мысли — в критике Блоком «симметричности» идей Мережковского в 1903—1906 гг. Теперь однако, она обернулась против символизма в целом.

С критикой символизма связаны и ведущие к культуре XIX в. представления Блока об искусстве как хранителе национальных начал жизни. Противопоставляя духовные начала России и Европы как начала цельности («синтеза») и раздробленности (аналитичности), интуитивизма и рационализма, веры и науки, героики и буржуазности (быт, практицизм и т. д.) и находя в модернизме рационалистическую «симметрию», «безгеройность» пассивность, Блок объявляет «новое искусство» чуждым духу русской культуры. Исходя во многом из идеалов и критериев романтической и постромантической эстетики, Блок приходит к критике «модернизма» как «западнического» искусства и апологии реализма как искусства подлинно национального: «Мечты о журнале с традициями добролюбовского «Современника» <. . .> Дрянность «западнических» кампаний («Весы», мистический анархизм и т. п.) <. . .> Распроститься с «Весами». Бойкот новой западной литературы» (12.IX. 1908; ЗК, 113).

Столь же сложно с точки зрения генезиса и соединение Блоком идеалов национальной самобытности и «пользы»: «Вопрос «зачем?» — особенно русский вопрос» (V, 239); для «нового дела» в России есть «такая благодарная почва, как ни в одной стране» (II, 259). То же — в блоковских призывах к созданию героического искусства: мы на грани рождения новой национальной литературы «больших страстей и потрясающих событий» (V, 270), в которой «могут ближайшим образом возникнуть подлинные черты искомого героизма» (V, 273) и которая сменит «западный» по духу русский «модернизм», откуда «Метерлинк украл <. . .> героя» (V, 195). При этом искусство героическое сам Блок с полным основанием связывает с традициями *романтизма*, как пример его приводит *реалистическую* «Грозу» Островского, а аргументы в пользу искусства «больших страстей» зачастую черпает из *революционной литературы начала XX в.* (особенно горьковского типа).

Парадоксальность взглядов Блока особенно заметна там, где он критикует «новое искусство» с позиций символизма же. Так, на блоковские статьи 1907—1908 гг. (особенно о театре) оказали воздействие работы А. Белого и Вяч. Иванова об активной, «жизнетворческой», пересоздающей мир силе искусства. Именно искусство способно «превратить нашу жизнь в сплошной и никогда не бывалый праздник» (V, 254). Эти и аналогичные высказывания созвучны эстетическим утопиям символизма начала XX в.

Как видим, идеалы Блока генетически неоднородны: он критикует символизм то с позиций демократической публицистики и реалистической эстетики, то с романтически-славянофильских, а зачастую, покидая «точку зрения прошлого», — и с позиций горьковских идеалов героического искусства или символистского «жизнестроения». Эта особенность мироощущения Блока 1907—1908 гг. определена стремительностью движения от «нового искусства» к освоению демократической культуры «дедов».

В таких случаях внутри единой системы представлений зачастую оказываются сосуществующими идеи и вкусы, восходящие к разным этапам эволюции художника. Но дело и в другом — в том качественном своеобразии пути Блока, на которое обратил внимание Д. Е. Максимов и которое сам поэт определил как верность себе «через всю <. . .> неверность» (VIII, 201). Ряд основных, исходных предпосылок блоковской «картины мира», сформировавшихся в самом начале XX в., сохранили для него значение на всю жизнь. Оттесненные на задний план иронией и скепсисом 1903—1906 гг., но никогда полностью не исчезавшие, эти представления оживают всякий раз, когда Блок стремится подчеркнуть позитивную сторону своих воззрений. Это представления платоновского «двоемирия» о реальности «иных миров», восприятие любых явлений действительности как символов, мысли об объективном (вне «я» лежащем) поэтическом идеале как единственно ценном, об интуитивном постижении «иных миров» как наиболее глубоком, соловьевский идеал искомого бытия как «синтеза Истины, Добра и Красоты», символистское представление о Прекрасном (или «вечно-женственном») как основе бытия. Блок и в 1907—1908 гг. считает, что «вера и воля <. . .> всякого художника покоится в лоне «вечно-женственного» (V, 313), что природа искусства — платоновский «анамнесис»; он свободно истолковывает наиболее близкие ему реалистические образы, от гоголевских до толстовских, как символы, подчеркивает, что «жизнь — красота», и т. д.

В итоге блоковская «картина мира» в 1907—1908 гг., несмотря на крайнюю резкость критики символизма, в своих глубинных основах во многом остается символистской. Символизм же дает Блоку и способы соединения самых разнородных идей в единое целое. Это, с одной стороны, «синтезирующие» тенденции, вообще свойственные русской культуре начала XX в., с другой — высоко развитая символизмом культура нахождения глубинных «соответствий» между, казалось бы, совершенно различными жизненными и культурными явлениями. Чуждый рационалистическому оперированию мистическими схемами, характерному для Мережковского и З. Гиппиус, или риккертианскому «методологизму» Андрея Белого, не обладая эрудицией Вяч. Иванова, Инн. Анненского или Брюсова и даже, видимо, не всегда точно помня близкие ему по духу высказывания Вл. Соловьева о «синтезе», Блок удивительно тонко *выделяет то общее*, что объективно присуще культуре позднего романтизма, реализму и «соловьевской» разновидности «нового искусства», — представление об искусстве как отображении внеличностных, объективных ценностей и идеалов. Это общее и становится основанием для сближения во многом противоположных традиций и идеалов («польза» и героика, гуманизм толстовского толка и требование национальных начал в искусстве, и т. д.). В 1907—1908 гг. Блоку-критику удалось избежать и мозаичности оценок, и обычной для символистской публицистики камерной и порой тяжеловесной учености. То, что казалось Андрею Белому или Мережковским «инфантильной» наивностью, оказалось внутренне спаянной, органической, хотя и весьма сложной по истокам системой.

Стройность воззрениям Блока придавало, в частности, то, что реалистические и символистские компоненты несли различные функции. Реалистические (и демократические) представления об искусстве отразились в требованиях к его *тематике* (социальность, быт, образ народа и «маленького человека» с соответствующей их оценкой) и *прагматике* (отрицание элитарности, ориентация на широкого, в идеале — народного читателя и зрителя, «полезность» искусства). Воздействия позднеромантических представлений и эстетики заметнее всего в размышлениях о необходимом для русского искусства *пафосе* и *стиле* (героика, отображение национальных начал в литературе). Наконец, символизму во взглядах Блока отводится, по существу, единственная, хотя и первостепенно важная функция — *быть*

«ключом» к многоплановому символическому истолкованию изображаемой действительности. Но в этом случае искусство, утверждаемое Блоком, оставаясь символистским, оказалось бы способным впитывать любые внесимволистские (в том числе — реалистические) представления о мире и задачах художника.

Именно за такое искусство Блок и борется — в критике, лирике («Вольные мысли», «чердачный цикл») и драме («Песня Судьбы»). Не забудем, что резкая критика «интеллигенции» и «нового искусства» адресовалась той же интеллигенции и художникам-символистам. Однако за два года борьбы с индивидуализмом и «модернизмом» пафос блоковских статей существенно изменился.

В начале размышлений о «народе и интеллигенции» (статья «О современной критике», конец 1907 г.) Блок надеется на «одно из очень характерных явлений нашей эпохи <. . .> — «встречу «реалистов» и «символистов» (V, 205). «Встреча» эта — путь к искомому культурному «синтезу»: «Реалисты тянутся к символизму, потому что они стосковались на равнинах русской действительности и жаждут тайны и красоты <. . .>

Символисты идут к реализму, потому что им опостылел спертый воздух «келий», им хочется вольного воздуха, широкой деятельности, здоровой работы» (V, 206). «Синтез» понят как «встреча» интеллигенции и народа («В этом есть что-то родственное «хождению в народ» русских интеллигентов» — V, 206) и явление специфически русское («Движение русского символизма к реализму» обнажает «полное несходство его в этом отношении с западным» — V, 206—207). В его русле осмысляется Блоком и «уход» А. М. Добролюбова, и эволюция Мережковского, Минского, Бальмонта и Брюсова. И хотя Блок ясно видит, что «встреча» получается какая-то безрадостная, «холодная, вечерняя», он надеется, что «если это теперь так, то, может быть, потом будет иначе» (V, 206).

Первые же мечты о движении символизма к реализму встретили резкий отпор символистской и близкой к символизму критики, особенно Андрея Белого. Белый не без известных оснований упрекал Блока в упрощенном понимании путей «встречи»: «Слияние символизма с реализмом объясняет он <Блок. — *З. М.*>, так сказать, по-домашнему: реалисты-де тянутся к символизму, потому что они возжаждали тайны, а символисты идут к реализму, потому что им опостылел «спертый воздух келий». Просто и ясно» [143]. Однако позиция самого Белого — чисто направленческая, внутрисимволистская, и он упрекает Блока, по существу, не в наивности веры в «синтез» реалистической и символистской культуры, а в желании преодолеть духовную и эстетическую ограниченность русского символизма.

В статье «Три вопроса» (февраль 1908 г.) Блок вновь, на этот раз более тонко, ставит вопрос о необходимости для символизма выйти из рамок «школы», обогатившись опытом реалистического искусства (любопытно, что вопрос о движении реалистов к символизму здесь больше не ставится). Определяя 1890-е годы, эпоху «старших символистов», как эпоху ответов на первый вопрос искусства — «как», «на вопрос о формах искусства» (V, 233), Блок оценивает эту ступень развития символизма в целом высоко (критерием оценки характерно становится непризнание «нового искусства» мещанским читателем). Постепенно, однако, новые формы искусства стали «общедоступными» штампами, и тогда (речь идет о «младосимволистском» периоде — начале 1900-х годов) в борьбе с эпигонами символисты были вынуждены ответить на второй исконный вопрос искусства — «о содержании», о том, «что́» имеется за душой у новейших художников» (V, 234). Однако и решение этого вопроса не спасло символизм от эпигонства и опошления. И тогда возник «третий, самый соблазнительный, самый опасный, но и самый русский вопрос: «зачем?» (V, 236). «Вопрос пользы» может погубить слабого художника: он ведет назад к публицистической «идейности» Михайловского (там же). Но истинный художник не убоится «синтеза»:

«Он твердо пойдет по этому пути к той вершине, на которой <. . .> подают друг другу руки заклятые враги: *красота* и *польза*» (V, 237. Курсив мой. — *З. М.*). Как видим, Блок еще надеется на внутреннее перерождение символизма: на преодоление элитарности, служение общенародному «делу», однако обновление «нового искусства» здесь отнесено в будущее.

Наконец, в статьях осени 1908 г. («Вечера «искусств», «Вопросы, вопросы и вопросы») видно полное разочарование в символизме, мысли о его изжитости, «ненужности» (V, 305) и даже реакционности. Хотя «в декадентском общении было некогда много юношески (скорей — отрочески) трогательного» и «члены группы <. . .> были действительно когда-то связаны единством нежных утренних мечтаний» (V, 341), но, считает теперь Блок, все значение символизма было внутрикультурным и не имело для широкого читателя «ничего ни интересного, ни поучительного» (V, 342), т. е. он не был большим русским искусством. Во второй из этих статей Блок резко объявляет все «новое искусство» несуществующим: «Настоящей школы не было никогда. Это так же ясно, как то, что ее не будет» (V, 342).

Таков итог оценки символизма Блоком 1907—1908 гг., знаменательно напоминающий его оценку русской интеллигенции (ср.: «Стихия и культура», декабрь 1908 г.). Итог трагический — ибо Блок произносил приговор и себе, «интеллигенту» и «символисту», но и обращенный к будущему — ибо позиция Блока подготовила его творчество 1910-х годов и периода Октября. Следует прибавить, что Блок оказывается в 1908 г. и в почти полной человеческой изоляции от большинства символистов (ожесточенная и субъективная критика Блока Белым, отход Блока от «мистических анархистов» и Вяч. Иванова). Только одобрительные рецензии лично далекого Блоку В. Брюсова да возобновление осенью 1908 г. (после более трех лет длившегося разрыва) контактов с Мережковскими (творчески поэту уже давно чуждыми) остаются тонкими нитями, соединяющими Блока с художниками «нового искусства». Эта психологическая ситуация также становится как бы «репетицией» той, которая сложится в послеоктябрьские годы. Перед этим, однако, Блоку было суждено пройти эпоху «возвратов» к символизму.

5

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЗИЦИЯ БЛОКА 1909—1911 ГГ.

1909—1911 годы редко выделяются как особый этап эволюции Блока, однако для этого выделения есть и творческие, и идеологические, и биографические причины. Изменяются вновь и отношения Блока с символистами, и его оценка символизма.

Все более острое ощущение глухой реакции подготовило резкий слом настроений Блока [144]. К весне 1909 г. испытанные поэтом в 1907—1908 гг. подъем, вера в близость революции, стремление к общественной деятельности сменяются апатией, чувством безнадежности борьбы («Или надо совсем не жить в России, плюнуть в ее пьяную харю, или — изолироваться от *унижения* — политики, да и «общественности» (партийности) <. . .> Пусть вешают, подлецы, и околевают в своих помоях» — 13 апреля 1909; VIII, 281—282). Ощущение «непробиваемости» ненавистной поэту реакции, максималистское разочарование в известных ему формах «общественности» (прежде всего символистских) и незнание иных ее форм породили новое умонастроение: миру реакции, капитализма, мещанства противопоставима лишь одна ценность — красота природы и искусства. 13 апреля 1909 г. Блок пишет матери о постановке «Трех сестер»: «Это — угол великого русского искусства, один из случайно сохранившихся, каким-то чудом не заплеванных углов моей пакостной, грязной, тупой и кровавой родины» (VIII, 281). Путешествие по Италии, «обжегшей» Блока искусством (VI, 134), усилило эту мысль: «Я теперь ничего и не могу воспринять, кроме искусства, неба и иногда моря <. . .> Европейская жизнь так же мерзка,

как и русская» (VIII, 288). Отсюда — убеждение в праве художника служить лишь творчеству: «Я считаю теперь себя в праве умыть руки и заняться искусством» (VIII, 282).

Противопоставление реальности искусству:

Лишь в легком челноке искусства
От скуки мира уплывешь

(III, 108)

— вновь сближает Блока в годы реакции с символистской эстетикой. «Эстетизм» Блока в 1909—1911 гг. противопоставлен не только идеям «нового «уничтожения эстетики», развивавшимся им в 1907—1908 гг., но и эстетизированной мистике «Стихов о Прекрасной Даме» (теперь Блок по преимуществу говорит о земной красоте: природы, искусства, любви) и эстетизации «стихий» в годы революции (теперь апология хаоса сменяется пафосом гармонии). Новый ключевой символ бытия у Блока — возникающее в начале 1910-х годов представление о мировой субстанции как «духе музыки» — прямо подчеркивает *эстетическую природу бытия* и мысль об искусстве как ее наиболее адекватном и глубоком отражении.

В статьях 1909—1911 гг. детально раскрывается та глубинная картина мира, которая в основах своих остается неизменной для Блока 1910-х годов, но в касающихся символизма выводах будет затем резко переосмыслена. Пока что «символизм» блоковского мироощущения совпадает с высокой оценкой русского символизма — позже вновь, как и в 1907—1908 гг., свяжется с его критикой.

В 1909—1911 гг. Блок постоянно возвращается к идее платоновского «двоемирия», превращенного в символистское «многомирие»: «Существует раскол между этим миром и «мирами иными» (V, 427). «Те» миры «совершенно не похожи на этот мир», в них «нет причин и следствий, времени и пространства, плотского и бесплотного, и мирам этим нет числа» (V, 433). Реальность этих миров — духовная, и именно потому это «действительно реальные миры» (V, 426). Но мы живем «в полном соответствий мире» (V, 426): первичные, духовные «миры искусства», трансцендентные нашей земной действительности, не только «страшно влияют» на нее (V, 433), но и глубинно родственны ей («наши души — причастны Мировой» — V, 454).

Сущность бытия — Прекрасное. В несколько более поздней (конец 1912 г.) статье «Искусство и газета» Блок противопоставляет «красивое» как принадлежащее миру явлений (оно — «только блестящий покров, раскинутый над чем-то иным» — V, 473) и Прекрасное как «мир <. . .> сущностей» (V, 474). Отношение красивого к Прекрасному эстетично по природе: это отношение «условного знака» (V, 473), символа к символизируемой субстанции.

Мир не просто прекрасен — он подобен искусству (точнее, конечно, земное искусство — глубинный аналог космического). Сущность и первооснову мира Блок — в духе романтиков, Ницше и статьи Андрея Белого «Формы искусства» — определяет как «самое совершенное из искусств» — музыку: «Музыка творит мир. Она есть духовное тело мира — *мысль* (текучая) мира», она «предшествует всему, что обусловливает» (ЗК, 150). «Дух музыки» («мировой оркестр») определим и в терминах других искусств: мифа (см. статью «Рыцарь-монах», 13 декабря 1910; V, 451, 454), поэзии, зодчества (ср. отождествление Бога и Зодчего — ЗК, 150), хотя музыка (и «трансцендентная», и как земное искусство) обладает все же наивысшей ценностью. Признавая диалектическую («текучую») природу мира, Блок и ее определяет эстетически как *ритм* (см. V, 370—371).

«Музыкальность» — свойство не только мира сущностей, но и «соответственной» ему земной действительности. Здесь «музыкальность» ока-

зывается главным критерием ценности явлений («Я <. . .> в конце концов должен *оглохнуть вовсе* ко всему, что не сопровождается музыкой» — ЗК, 150—151). Высшее обвинение современной буржуазной цивилизации — обвинение в ее безмузыкальности (она характеризуется «полной потерей ритма» — ЗК, 132; «музыка» покинула современный мир), высшие надежды тоже возлагаются на музыку («Те, кто исполнен музыкой, услышат вздох всеобщей души если не сегодня, то завтра» — V, 371).

Наиболее совершенное орудие познания мира, самый точный отзвук мировой «музыки» — искусство: для проникновения в сущность бытия «иных средств, кроме искусства, мы пока не имеем» (V, 424). Истинное искусство — голос в «мировом хоре»: «Художник — это тот, для кого мир прозрачен, кто <. . .> видит не один только первый план мира, но и то, что скрыто за ним <. . .>, кто слушает мировой оркестр и вторит ему, не фальшивя» (V, 418). Поэтому художник для Блока всегда выше ученого и публициста (ср. статью «Мережковский»).

Искусство, считает Блок 1909—1910 гг., не только познает, но и организует мир: «Музыка <речь идет о музыке как «земном» искусстве. — *З. М.*> творит мир»: при ее слушанье в «ночное небытие начинает втекать и принимать свои формы — становиться космосом — дотоле бесформенный <. . .> хаос» (ЗК, 150), причем «оформляет» мир искусство в целом, в том числе — и его «формы» («Форма искусства есть образующий дух, творческий порядок» — ЗК, 160). Отсюда — поэтические мифы об искусстве как нисхождении (в ад) и восхождении (к вершинам жизни): «Нисхождение под землю и восхождение на гору имеет много общих черт» с искусством (V, 404). Художник идет «по бессчетным кругам Ада» — земной современной жизни, но, зная и «помня» (в смысле платоновского «анамнесиса») о Прекрасной сущности мира, он «может пройти, не погибнув» (V, 433), и привести других к «новому, чудесному» (V, 416), к «обетованной весне» (V, 420) будущего. Искусство преобразует мир, внося в него свою, более высокую, чем жизненная, гармонию: «*Хорошим художником* я признаю лишь того, кто из данного хаоса (а не *в* нем и не *на* нем) (данное: психология — бесконечна, душа — безумна, воздух — черный) творит космос» (ЗК, 160).

Такое осмысление природы и задач искусства — глубоко символистское. Построения Блока носят как бы обобщенно «общесимволистский» характер — принадлежат «младшему» символизму как целому, а не тем или иным его ответвлениям. Блок перекликается в ценностной градации искусств с ранним Андреем Белым («Формы искусства»), в платоновском «двоемирии» — со всеми «младшими символистами», особенно с Вяч. Ивановым, в идеях об «оформлении» жизни искусством — с Вяч. Ивановым (искусство как средство пересоздания мира) и даже с «эстетом» Брюсовым (искусство как придание форм бесформенной действительности; роль формальных компонентов в поэзии).

Блок в 1909—1911 гг., как и в ранней молодости, наиболее значительным из направлений современного искусства объявляет символизм, противопоставляя его «наивному» реализму: «Солнце наивного реализма закатилось; осмыслить что бы то ни было вне символизма нельзя. Оттого писатели даже с большими талантами не могут ничего поделать с искусством, если они не крещены „огнем и духом“ символизма» (V, 433). Сопоставляя современных «бытовиков», вроде П. П. Гнедича, и символистов, Блок убежденно утверждает преимущество последних («Противоречия» — январь 1910 г.). В известной статье «О современном состоянии русского символизма» (март-апрель 1910 г.) Блок, солидаризируясь с докладом Вяч. Иванова «Заветы символизма», детально описывает историю направления, безоговорочно причисляя к нему и себя. Символизм для Блока — опять «школа» (V, 426), история которой представляется ему культурно значимой и отнюдь не исчерпанной: «Мы <. . .> прошли известную часть своего пути

и стоим перед новыми задачами» (V, 425). История символизма мифологизируется Блоком в духе формирующегося в его поэтическом сознании «мифа о пути».

Рассматривая, как и Вяч. Иванов (а Иванов следовал мифопоэтическим представлениям Вл. Соловьева), путь русских символистов в образах-категориях «триады», Блок утверждал изначальность пророческой миссии символизма: «В первой юности нам было дано неложное обетование» (V, 435). Символист периода «тезы» — «обладатель клада» (V, 426), «теург», наделенный «тайным знанием» о мире (V, 427). Он связан с самой сущностью «иных», «еще неизвестных миров» — с Душой мира, и «пребывает» «в лазури Чьего-то лучезарного взора», получая из «иных» миров средство борьбы с земным хаосом — «золотой меч» (V, 427).

Но русские символисты не вынесли своего одинокого счастья, встречи с небесной Лучезарностью. Они возжелали немедленного *воплощения идеала в мире*, «преждевременно потребовав чуда» (V, 435). В «период антитезы» они сошли в мир — но не предсказывать подлинное чудо грядущего перевоплощения земного в Прекрасное как «пророки», а лишь воспевать земное, «данное», красивое — как «поэты» (V, 433). Измена Прекрасному не прошла даром: «воплощение» оказалось ложным, воплощенный преждевременно идеал «изменил облик». Он — не Душа мира, а лишь напоминающая ее «мертвая кукла», «незнакомка» — творение авторской (а не высшей!) воли, «создание искусства» (V, 428—430). Искусство своей волей дало жизнь этому «призраку», но сущность его осталась призрачной — земной, а не истинной — небесной. «Иные миры» отомстили за преждевременность воплощения «мятежом лиловых миров» — земных стихий, страстей, «только красивых» и губительных (V, 431 и 433).

Выход из душевной опустошенности символистов, променявших небесный идеал на «куклу» наличной действительности, — в возврате к высоким внеличностным ценностям: «При таком положении дела и возникают вопросы о проклятии искусства, о «возвращении к жизни», об «общественном служении», о церкви, о «народе и интеллигенции». Это <. . .> явление, конечно лежащее в пределах символизма, ибо это искание утраченного золотого меча, который вновь пронзит хаос, организует и усмирит бушующие лиловые миры» (V, 431). «Синтез», однако, не в простом возвращении к «*первой* любви» (V, 435). Символисты должны вернуться к идеалу обогащенными в Аду земных скитаний, отвергнув прежнее одиночество, поняв, что «тайна», данная художнику, — не его личная, а «всемирная» (V, 427). Цель такого искусства будущего прежняя: борьба с земным злом, искание утраченного «золотого меча», долженствующего «пронзить хаос»; но теперь ясны и опасности пути: воплотиться должен подлинный (а не «измененный», подменный) и «всемирный» (а не индивидуально субъективный) идеал. Соотнося свои идеи «жизнестроения» с Вяч. Ивановым, Блок предупреждает против «декадентского» (характерного для периода «антитезы») их истолкования. Образы искусства опасно «преждевременно» воплощать в жизнь. Необходимо отделять искусство как средство воплощения идеала и художника как воплощающего идеал в искусстве от длительного и мучительного пути *воплощения Прекрасного в жизнь*. Художник должен знать, «чего стоит смешение искусства с жизнью, и оставаться в жизни простым человеком» (V, 436). Искусство — «подвиг», долг, «ученичество», цель которых — служение людям: «Нам должно быть памятно и дорого паломничество Синьорелли, который, придя на склоне лет в чужое скалистое Орвьето, смиренно попросил у граждан позволить ему расписать новую капеллу» (V, 436).

Несмотря на отразившийся в статье отчетливо символистский характер блоковской «картины мира», она сильно отличается от миропонимания раннего Блока. Один из основных мотивов статьи — преодоление «одиночества», элитарности, индивидуализма. Творчество художника, по Блоку,

не определено эпохой (как было бы в реалистической концепции искусства), но обусловлено теми же космически универсальными законами бытия, что и история его Родины: «В период этих исканий оценивается по существу русская революция <. . .> и ее все исторические, экономические и т. п. частичные причины получают свою высшую санкцию <. . .> революция совершилась не только в этом, но и в иных мирах; она и была одним из проявлений помрачения золота и торжества лилового сумрака, то есть тех событий, свидетелями которых мы были в наших собственных душах. Как сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно и в России <. . .> И сама Россия в лучах этой новой <. . .> гражданственности оказалась нашей собственной душой» (V, 431). Заключительная формула этого отрывка могла быть истолкована как субъективистское уподобление истории душе художника, что и сделал Мережковский в фельетоне «Балаган и трагедия» [145].

Отвечая на упреки в «сатанинской гордости», Блок подчеркнул, что речь идет именно о единстве судеб писателя и Родины: «Что особенно самоуверенного в том, что писатель, верующий в свое призвание <. . .>, сопоставляет себя со своей родиной, полагая, что болеет ее болезнями, страдает ее страданиями» (V, 443). Мысли о связи писателя с жизненной «почвой» («писатель может жить, только питаясь брожением своей среды», — V, 370), Родиной, историей очень важны. Утверждая противопоставленность бездушной цивилизации искусству («Современная жизнь есть кощунство перед искусством, современное искусство — кощунство перед жизнью» — ЗК, 132), Блок вместе с тем говорит о служении людям как конечной цели искусства.

При сопоставлении взглядов Блока 1909—1911 гг. и периода статей о народе и интеллигенции выявляется любопытная закономерность. Общее понимание природы мира («платонизирующее» и эстетизированное), отношений искусства и действительности у Блока остается почти неизменным. Меняются представления о *теме* искусства, о *способах* постижения «миров иных» и земного воплощения идеала. В 1909—1911 гг. понимание темы символизма у Блока одновременно и сужается (из него исключаются «политика», «быт», «современность»), и частично расширяется (входят темы истории, искусства, диалектической сложности жизни и т. д.). Сужаются и представления о путях воплощения эстетического идеала. Однако как целостная система блоковская «картина мира» даже и в годы столыпинской реакции сохраняет потенциальную готовность вновь наполниться духом «современности», «социальности» и борьбы. Эта возможность реализуется в его творчестве периода общественного подъема — в 1910-х годах.

6

БЛОК И КРИЗИС РУССКОГО СИМВОЛИЗМА (1912—1917 ГГ.)

К концу 1911 г. взгляды Блока вновь существенно изменяются. Ощущение начавшегося общественного подъема («В прошлом году, — отмечает он 1 января 1913 г., — рабочее движение усилилось в *восемь* раз сравнительно с 1911-м. Общие размеры движения достигают <. . .> 1906 г. и все растут» — VII, 201) возрождает — отныне не покидающую поэта — уверенность в близости «неслыханных перемен» (III, 306): «Были в России «кровь, топор и красный петух» <. . .>, а потом опять будут <. . .> Есть Россия, которая, вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой, может быть, более страшной» (V, 486). Это чувство, сочетаясь с полным отвержением современного государственного и социального строя, формирует мироощущение, которое приведет Блока к Октябрю.

Во взглядах Блока по-прежнему выделяются пласты, относительно стабильные и бурно меняющиеся. Наиболее устойчивы общие контуры миропонимания: сочетание «двоемирия», мыслей о земном мире как «ус-

ловном знаке» «иных миров» (V, 473) с символистской идеей эстетической природы бытия (земное — «только покров, и за этим покровом сквозит Прекрасное» — V, 474).

Вместе с тем, начиная с 1909—1910 гг., у Блока, как мы видели, возникает — однако завершает формирование в 1910-х годах — диалектическое представление о мировом универсуме. Соловьевскому: «Все, кружась, исчезает во мгле, // Неподвижно лишь солнце любви», столь важному для Блока «Стихов о Прекрасной Даме», а также хаосу «стихий» в творчестве периода «антитезы» теперь противополагается мысль поэта о «духе музыки», как начале, не только подвижном, но и *вечно созидающем новые формы*. Теперь, таким образом, история человечества (как и «соответственный» ей «путь» отдельного человека) — не антитеза, а аналог общего «пути мира», точнее — и космические «взрывы страстей», и человечество, и нация, и личность отображают в своем становлении общее движение «духа музыки». *Все* в действительности — даже самое «безмузыкальное» — «тайно» соответствует каким-то сторонам или фазам становления «духа музыки». В итоге идеи эстетизированного платонизма и пантеизма у Блока 1910-х годов соединяются с особым образом понятым историзмом, с представлением о нерасторжимой связи личности и эпохи. Это делает мироощущение позднего Блока типологически близким гегельянству [146], его диалектике и тому особому историзму, который предполагает «примирение с действительностью» как особую форму «умаления» личности перед объективными законами Истории, воплощающими становящийся Мировой дух.

Разумеется, сходство это — лишь частичное. Рационализму Гегеля у Блока противополагается интуитивизм: История — не становление Идеи, а развертывание «мифа о мире»; носитель идеала — не государство, а те или иные стихийные и массовые силы, сам же идеал — абсолютное воплощение не разума, а Прекрасного. Гегельянское: «Все действительное разумно, все разумное действительно» — в «вольном переводе» на язык блоковских представлений могло бы звучать только как: «Все действительное Прекрасно, все Прекрасное — действительно» (ср.: «Да, знаю я, что в тайне — мир прекрасен» — III, 140; «Мир — прекрасен, как всегда» — III, 344; и т. д.).

Такое мировосприятие определяет поэтику позднего творчества Блока и его взгляды. «В сущности, Блок, — пишет Д. Е. Максимов, — <. . .> *теоретически* оставлял для себя из всей сложной конкретной поэтики символистской литературы главным образом лишь общий принцип — символизацию, проецирование в малые объемы больших смыслов». Этот принцип, по мнению Блока, в такой же мере лежал в основе всякого искусства, в том числе и реалистического [147].

У Блока 1910-х годов выявлена национально русская традиция *истолкования гегельянства как основы реалистической эстетики*. Конечно, речь идет лишь *об отдельных точках соприкосновения* блоковского творчества и реалистической традиции. Понимание реального как символа духовной субстанции, интуитивизм, панэстетизм, универсальный символизм и «мифологизм» — все это реализму XIX в. чуждо. Однако представления Блока 1910-х годов о том, что «ubi vita, ibi poesia» (т. е. признание *всех* тем человеческой истории, быта, психологии и т. д. достойными искусства), что «реальные», жизненные воплощения «духа музыки», его беспрестанное обновление в Истории первостепенно важны для искусства и *отражаются* в нем, глубоко родственны реалистической эстетике. Блок стремится создавать произведения, связанные с символизмом, но свободно варьирующие, «синтезирующие» разнообразные традиции и в значительной степени опирающиеся на реализм. Таково все его творчество 1910-х годов.

Признание действительности эстетически ценной (ибо она играет свою ничем не заменимую роль в «мировом мифе») ведет к важному выводу: на нынешнем этапе пути «духа музыки» главные черты его воплощаются именно

в человеческом — историческом, социальном, психологическом. Поэтому «мистические» образы в современном искусстве могут даже извратить подлинно мистический смысл изображаемого. «Нет, в теперешнем моем состоянии ⟨. . .⟩ я не умею и не имею права говорить *больше*, чем о человеческом. Моя тема — совсем не «Крест и Роза» — этим я не овладею», а «судьба человеческая», — записывает Блок 1 декабря 1912 г., работая над драмой «Роза и Крест» (VII, 186). Символическое миропонимание для него теперь — углубленное понимание смысла реальных событий. «Одним из главных моих «вдохновений» была *честность*, т. е. желание не провраться «*мистически*». Так, чтобы все можно было объяснить психологически, «просто». События идут как в жизни, и если они приобретают *иной* смысл, символический, значит, я сумел углубиться в них», — пишет Блок в 1916 г. о поэтике «Розы и Креста» (ЗК, 285).

«Человеческое» господствует и в «Розе и Кресте», и в поэмах «Соловьиный сад» и «Возмездие», и в грандиозной «трилогии лирики», под знаком которой Блок стремится осмыслить и оформить все свое поэтическое наследие в трехтомном «Собрании стихотворений» («Мусагет», 1911—1912). И если глубинный смысл земного мифологичен, то это — «миф о человеке», «трилогия вочеловечения».

«Трилогия лирики» Блока, как он назвал свое «Собрание стихотворений» (I, 559), — это, конечно, не просто собрание наиболее, с авторской позиции, значимых стихов, создающих картину его творческого пути. Нет, это единое произведение, где творческий путь осмыслен как история лирического «я», а в ней постоянно подчеркиваются «соответствия» с «обычной» историей «современного человека», современного мира, России, человечества, наконец, «мирового духа».

Поэтическая генерализация значений образов в «трилогии» идет по двум линиям. С одной стороны, лирический герой и «ты» в лирике Блока живут «как все», в их неповторимо личном отражено социально, исторически и национально характерное — «типическое», в терминах реалистической эстетики. С другой стороны, история «я» и «ты» «соответственна» истории мира в целом и в каких-то его частях, т. е. оказывается их символом. Блок, осмысливая все свое поэтическое творчество как единый символический текст (миф) и воплощая это осмысление в структуре «лирической трилогии», выступает не только как символист, но, пожалуй, и как художник, наиболее полно воплотивший задачи, которые лишь теоретически ставил перед собой «реалистический символизм» (Вяч. Иванов). Никто из символистов не смог создать из своей лирики такого грандиозного «мифа о пути», выйти из мира индивидуального во всеобщий, пройти «от символа к мифу». Вместе с тем блоковская «трилогия вочеловечения» включает реалистический (типизирующий) способ художественной генерализации лишь как один из таких способов, соседствующий с символистской (универсализирующей и мифологизирующей) интерпретацией.

Ставил ли подобные задачи символизм в целом? В критике и теоретических работах, особенно 1900—1910-х годов, — безусловно да. (Здесь в первую очередь отметим как наиболее объективно близкие Блоку концепции Вяч. Иванова.) Однако позиция Блока-художника совершенно особая. Не говоря уже о символистской лирике, насквозь пронзенной романтической идеей неповторимости «я», даже проза и драма символизма, порой ориентированные на отображение целостного «мифа о мире», *существенно отличаются* и общей «картиной мира», и своим строением от зрелого творчества Блока. Проследим основные из этих различий.

Символизм давал одну из двух интерпретаций «земли» и «человека». Это, с одной стороны, типично романтическое осмысление «земного» как антитезы «небесного» или (в субъективистско-соллипсическом варианте) как антипода мира лирического «я». Эта линия реализуется либо как полное игнорирование «суетливых» дел мирских» («Стихи о Прекрасной Даме»,

первые сборники стихов Вяч. Иванова, лирика Ю. Балтрушайтиса и др.), либо как «бодлерианское» изображение земных «цветов зла», — то исполненное своеобразного трагического гуманизма (Инн. Анненский, Ф. Сологуб), то связанное с эстетизацией зла (ранний Брюсов). В таких произведениях роль «земного» резко ограничена, четко и однозначно предопределена, чего совсем нет у Блока 1910-х годов.

Вторая, младосимволистская поэтическая концепция земного вырастала из идей «синтеза», превращенных в оправдание не только «земли», но — особенно у «петербургских мистиков» — и земного зла. Хотя, в отличие от «декадентов», «петербургские мистики» принимали зло не как таковое, а как стадию становления мира и ипостась добра, «исторически» и ограничительно, однако, как мы знаем, отношение к ним Блока уже в начале века было сложным. В целом «реабилитация плоти» близка пафосу блоковского творчества 1910-х годов (о чем еще придется говорить), однако отличается от него ослабленностью или почти полным отсутствием нравственных критериев оценки «земного». Д. Мережковский эпохи «Христа и Антихриста» склонен *все* земное «принять» (ср. у Бальмонта: «Мир должен быть оправдан весь, // Чтоб можно было жить!» [148]), как З. Гиппиус или Ф. Сологуб в своей поэзии 1890-х годов отвергали *все* «злое земное житье» (Ф. Сологуб), принимая лишь то, «чего нет на свете» (З. Гиппиус). Для Блока *этический* критерий оценки изображаемого приобретет в 1910-х годах особое значение.

«Сюжет» блоковской «трилогии вочеловечения» (т. е. трехтомного «Собрания стихотворений», рассмотренного как единый квазиповествовательный текст) сам поэт определил как путь лирического героя от изначальной гармонии, «мгновения слишком яркого света» — через «болотистый лес» земной действительности с ее «отчаянием, проклятьями, «возмездием» (VIII, 344), но и с «земной красотой», с «первыми восторгами книги Бытия» — к «рождению человека «общественного», художника, мужественно глядящего в лицо миру» (VIII, 344).

Роль «земного» в обобщенно-«мифологическом» аспекте «лирической трилогии» двойная. Во-первых, «земное», «человеческое» — этап становления лирического «я» (и «мирового духа»), связанный с утратой изначальной гармонии, «синего берега рая» (III, 55) и «низвержением» лирического «я» (и «героини» блоковской лирики) на землю. Здесь «земное» — наличная, сегодняшняя действительность, во всем ее «зле» — но и в красоте, силе, воплощенности. Так воспринимал земной мир Блок «Нечаянной Радости» и «Снежной маски» (1907). Это восприятие, близкое к символистской «реабилитации плоти», с позиции «трилогии» как целого (т. е. с позиций Блока 1910-х годов) не отрицается, но существенно дополняется: упоение таким бытием — измена «Высокому», которое герой променял на «просто красивое» и демонически злое.

Был я беден, слаб и мал.
Но Величий неких тайна
Мне до времени открылась,
Я Высокое познал.

Недостойный раб, сокровищ
Мне врученных, не храня
. . . . . .
Я пошел во вражий стан
. . . . . .
Ослепительные очи
Повлекли меня в туман

(III, 83)

— так изображает «путь на землю» Блок 1912 г. Герой, идущий этим путем,— «падший ангел» (III, 83), отступник Прекрасного.

Но трилогия знает и иное, собственно блоковское, «земное», иное «человеческое», связанное с воплощением идеала в любви и природе («Арфы и скрипки», 1908—1916), искусстве («Итальянские стихи», получившие в контексте «трилогии» новое звучание), в жизни Родины («Родина», 1907—1916), в полнокровном разливе страстей («Кармен», 1914; позже присоединено к «третьему тому» лирики), наконец, в героике «боя» за будущее («На поле Куликовом», «Ямбы», 1907—1914).

«Воплощенное» для символизма «соловьевской» ориентации чаще всего было (как и у раннего Блока) либо ипостасью нисшедшего в мир божественного (Прекрасная Дама, «Райская мать» Вяч. Иванова, Богородица Сологуба и т. д.), либо условным знаком «воплощения» как такового (Земной храм Ю. Балтрушайтиса — абстрактный символ сотворения «божьего мира» на земле), либо «псевдовоплощением небытия», «дьявольского», «падшего» («Ты — иная, немая, безликая» Блока, «Лжехристос» Белого, «Не знаю, Кто» Вл. Пяста — и т. д., и т. п.). Во всех этих случаях собственно человеческое в образах фактически почти не подчеркнуто, или же оно оказывается лишь внешней оболочкой, сквозь которую сквозит подлинная («небесная» или «инфернальная») сущность изображаемого. Для показа же собственно человеческого не как злого или страдающего решающую роль играют образы неоднозначные, двойственные, связанные с неполным воплощением идеала. Таков, например, светлый мир «Мелкого беса» — «странная» любовь Людмилы Рутиловой и мальчика-гимназиста Саши Пыльникова. «Воплощение» здесь (как, например, и в «Петре и Алексее» Мережковского) еще не окончательное, а опять-таки лишь его «предвестие» и символ. Один из самых тонких и ранимых «романтиков символизма», Сологуб спешит отделить авторской иронией то воплощение светлого, которое может произойти «здесь и теперь» — «над буднями уездной крапивы» (Блок, V, 127), — от Окончательного и вряд ли «здесь» возможного.

Иначе решается эта тема у Блока 1910-х годов. Генерализирующий, мифологический пласт его творчества (особенно лирики и поэмы «Возмездие») говорит о *подлинном*, имеющем универсальный и окончательный смысл воплощении Прекрасного в мире, причем это Прекрасное — именно Человеческое (трехтомник лирики — «трилогия вочеловечения»). «Человеческое» и «Человек» в трилогии поэтому — не символы «чего-то иного», не знаки (или знаки лишь в силу словесной природы образов) и не «личины», а, напротив, глубинное, «тайное» значение таких образов, как «я», «мы», «рыцарь» и даже «Христос», то, что сквозит за буднями повседневности: не земная «маска», а сущность, «Лик». Это — поневоле условное название одного из главных действователей «мирового мифа» (т. е. поэтической картины мира позднего Блока), такой же универсальной, но «живой» сущности, как «Вечная Женственность» или «Хаос».

Блок 1910-х годов существенно видоизменяет концепции «богочеловечества», создавая собственный «миф о Человеке», «миф о человеческой истории». Человеку здесь отводится особая, несоизмеримая с философией и лирикой Вл. Соловьева [149], роль.

«Миф о Человеке» у Блока имеет сложнейший генезис. Он осмыслен в образах фольклора («царевич», спасающий «царевну»), Ветхого Завета (путь к Земле Обетованной), Евангелия (поэтическая синонимичность образов лирического «я», Человека и Христа, опирающаяся на евангельское: «Ессе homo»), Апокалипсиса, средневековой рыцарской литературы («рыцарь»), Вагнера, но и в образах «маленького человека» и в героической традиции романтизма XIX и начала XX в. «Падший ангел» — Человек, который когда-то «небо знал» (II, 183), но «пал» на землю, — оказывается в «страшном мире» земного «inferno». Познав земные «восторги» и падения, подойдя к краю «унижения», «обнищания» и гибели, герой «лирической трилогии» должен стать мужественным — активным действователем «мифа об Истории». Именно Человек — участник героического «вечного боя» за Россию —

«Новую Америку», «рыцарь», освобождающий «пленную царевну» («Душу мира», «тоскующую в объятиях Хаоса» — земного зла), тот, кто должен победить «страшный мир», принести в жизнь новую Радость — не «счастье» «уединенного сознания», пережитое когда-то «в раю», а «творческий восторг» (III, 144) «Новой Жизни» — жизни всеобщей.

Сочетание конкретно-исторического и мифологического пластов повествования, их объединенность «мифом о человеке», «мифом об истории» еще заметнее в драме «Роза и Крест» и поэме «Возмездие», где преодоление «лиризма» (субъективизма, индивидуализма) подсказано и закреплено жанром. Работая над «Розой и Крестом», Блок, как показывают его собственные письма, дневники и записные книжки и подтверждает скрупулезное исследование В. М. Жирмунского [150], детально изучал быт и культуру изображаемой эпохи, ее социальные отношения; стремился он и к углубленно психологическим характеристикам героев. Значения «реальных» пластов произведения, соотнесенных с историей, не равнозначны. Одни (быт, политика) связываются только с первым планом повествования, с его coulor locale, другие (социальные отношения, психология героев) воспринимаются как более стабильные, имеющие отношение к человеку и к человеческому обществу как таковым. Они легко мифологизируются, становятся обобщающими символами человеческого бытия. Поясняя в связи с предполагавшейся постановкой драмы в МХТе смысл пьесы, Блок постоянно соотносит социальные коллизии эпохи кризиса феодализма и крестьянских войн с современностью (см. IV, 295; так же анализирует Блок социальные коллизии пьесы Грильпарцера «Праматерь» в предисловии к переводу пьесы). Как вечные рассматривает Блок и характеры персонажей. Таким образом, для пьесы оказывается необходимым воспроизведение разных сторон действительности, но одни играют роль «индивидуализации» повествования, подчеркивая его неповторимость, другие выделяют в нем общее, одновременно выступающее и как «типическое» и как «мифологическое», вечное в изображаемом.

На фоне так понятой действительности и развертывается важнейший для Блока «миф о человеке» (Блок не раз подчеркивал, что тема драмы — не мистическая, а связанная с «судьбой *человеческой*» — см. VII, 186). Все персонажи характеризуются относительно главного критерия — человечности. Гаэтан, гениальный лирик, обреченный, однако, на эстетическое созерцание, в чем-то, может быть, и «больше человека» (его песни имеют огромную власть над людьми), но он — не человек (в блоковском значении слова), ибо не герой, не тот, кто может совершить подвиг. «Приземленные» персонажи пьесы (Арчимбаут, Алиса, Алискан), а также не реализовавшая дремлющих в ней высоких потенций Изора — это те, кто по тем или иным причинам «меньше человека». «Человек» — и он же «герой» — Бертран, как неоднократно подчеркивал Блок. В понятия «человек» и «человечность» входят неудачливость, страдание и одновременно высокое мужество, спокойная жертвенность, готовность к гибели. Человек — *носитель этического и героического начала.*

Эта поэтическая концепция во многом полемична. Она противостоит ницшеанскому идеалу *сверхчеловека* (герой — тот, кто совершает подвиг, — у Блока в первую очередь Человек, его отношение к миру — нравственно, хотя именно поэтому он стихийно оказывается ближе всего к Прекрасному — к пониманию того Зова, который слышен в песне Гаэтана). Блоковское мироощущение оказывается в известном плане и антисимволистским: понимая Прекрасное как основу мироустройства, пьеса утверждает в человеческой, социальной жизни, пока лишь нащупывающей пути к Красоте, главенство этики.

Полемичен (в чем-то здесь можно говорить об автополемике) и образ Изоры. Красавица, в порывах которой сквозят черты «вечно-женственного», она не в состоянии не только «мир спасти», но и понять смысл песни Гаэтана: всем своим мечтам она предпочла пошлую реальность ухаживаний Алискана. В реальном, сегодняшем мире красота Изоры — не Прекрасное, а «только

красивое» (ср. V, 473), путь же к Прекрасному (и к будущему) связан не с «женским», а с «мужским» — этико-героическим — началом.

Близкую концепцию человеческого и структуру образов находим и в «полной революционных предчувствий» (III, 295) поэме «Возмездие». Здесь еще больше конкретно-исторического, бытового, автобиографически точного. Первая глава в особенности строится так, что позволяет истолковать характеры героев как реалистические — определенные эпохой и историей: повествование о «дворянской семье», живущей «под петербургским небом», не может быть понято вне эпохи, ее механических (путь пехоты) и героических (собрание народовольцев) проявлений.

Но такое истолкование будет и правильным, и неполным. «Эпоха», по Блоку, — не примарное начало жизни. Она, как и персонажи, сама производна от высших, «музыкальных» начал бытия. Чем меньше «музыки» в ходе истории, тем больше «среды», «быта», «нравов». Чем громче звучит мазурка исторического «возмездия», тем эфемернее быт. «Сын» гибнет, уйдя из мира «уютов» и так и не увидев Нового. А сын Сына (о котором Блок пишет во вступлении к неоконченной поэме) вообще дан вне «быта»: дитя дворянина и польской крестьянки, он живет, заброшенный в «широких польских клеверных полях» (III, 299), слушая «музыку» Природы и Истории. Ему-то, быть может, и суждено совершить подвиг Возмездия за искалеченные «страшным миром» судьбы людей.

Такое понимание Человеческого, резко отличаясь от концепций Вл. Соловьева и тем более от символистского «соловьевства», во многом ведет к известным нам традициям — демократическому («руссоистско-толстовскому») утверждению исконной ценности человека, дополненному героической тональностью русской культуры начала XX в. — ее верой в мощь и силу Человека. Сложность генезиса отражена и в типично блоковской попытке объединить генерализирующе символистское и конкретно историческое понимание действительности, создав «миф — об Истории», мифопоэтическую картину не неподвижного или циклически повторяющегося, а меняющегося, «растущего» мира [151].

Мифопоэтический облик блоковской «картины мира», ее неполная переводимость на язык логики, научных концепций человека и истории — черта символистского художественного метода с его представлением об искусстве (символе, мифе) как наиболее глубоком отображении действительности. Но на языке символизма Блок говорит о том, о чем символизм никогда не говорил с такой ясностью.

К столь же чуждым символистской практике последствиям вело Блока типичное для символизма представление о безграничности значений символа и мифа. В блоковском творчестве 1910-х годов действительно (а не декларативно) активны все аспекты изображаемого — от универсально мифологического до исторически и национально «типического» и лирически неповторимого. Мифологический аспект изображаемого подчеркивается многочисленными отсылками к фольклору и «мифам» мировой культуры (цитатами, мифологемами, уподоблениями и т. д., и т. п.), а также включением в «трилогию» текстов нарративного типа, повествующих о пути героя («Идут часы, и дни, и годы. . .», «Как свершилось, как случилось?. .»). Но этот план значений возникает как бы *за текстом* большинства стихотворений, за их непосредственным лиризмом и завораживающей музыкальностью. Неповторимое личное звучание блоковской лирики поддерживается и его установкой на «дневниковость» и «исповедальность» — под явным влиянием Л. Толстого (ср. такие подциклы, так «Черная кровь», «Жизнь моего приятеля» и др.). Эти личные аспекты блоковской лирики настолько самоочевидны, что порой заслоняют и от читателей, и от исследователей другие ее поэтические смыслы. Разумеется, при создании лирических произведений за каждым из них стояло свое живое переживание. «Мифологическое», как и в «Стихах о Прекрасной Даме», возникает в силу уникальной (даже для лирики) верности Блока

определенному кругу чувств и объективной логики его эволюции, осознаваемой позже — при формировании циклов и затем «трилогии лирики». Конечно, осмысление своего пути как имеющего *общее значение* оказывает влияние на позднее блоковское творчество, но столь же очевидно, что не стихи подгоняются под художественно конструируемую «идею пути», а «идея» вырастает из самоосмысления стихийной эволюции.

Но если переход от уникального к всеобщему — характерная черта символистской поэтики, то роль «среднего» пласта значений — исторических, социальных и национальных аспектов блоковского творчества — резко отделяет Блока от большинства символистов. Пожалуй, только у Ф. Сологуба, Инн. Анненского и Ал. Ремизова ощущение реального, способность оценить его роль в искусстве хоть частично близки Блоку. Но и у этих авторов «реальное» не пронизано столь последовательно токами историзма и социальности.

В поэтике зрелого Блока существенную роль играют разнообразные реалии. Реалии не только делают творчество исторически и социально конкретным («Город» Блока — всегда Петербург начала XX в., в его природоописаниях дышит Россия, «страшный мир» неотделим от ощущения духа столыпинской реакции, и т. д.). Блока 1910-х годов не покидает ощущение, что быт, история и современность, именно во всей их конкретности, отображают становление «мирового мифа» и что *вне знания исторически конкретного, как и вне всякой «первой реальности»*, невозможно проникнуть в тайны бытия. Отсюда — постоянные мысли о роли конкретных и живых деталей в искусстве: «Люблю в „Онегине", чтоб сжалось сердце от крепостного права [152]. Люблю деревянный квадратный чан для собирания дождевой воды на крыше над аптечкой возле Plaza de Toros в Севилье (Музыкальная драма — «Кармен»). Меня не развлекают, а мне помогают мелочи (кресла, уюты, вещи) в чеховских пьесах <. . .>

Очень люблю *психологию* — в театре. И вообще чтобы было питательно» (ЗК, 214). «Питательны», жизненно важны для искусства, конечно, не разрозненные «самоценные» детали. Блок по-прежнему полностью отрицает натурализм: он — «вне искусства» (там же). Но подлинное углубление в смысл бытия возможно *только как осмысление реально данного*: лишь так в искусстве «может мелькнуть кому-нибудь <. . .> большее» (VII, 186). Отличия позднего блоковского творчества от символизма в смысле отношения к «первой реальности» кардинальны. И дело не только в том новом качестве, которое придает этому творчеству обилие исторических, бытовых, психологических и других «заземляющих» деталей, но и в их функции. Для большинства символистов преодоление мировоззренческого «лиризма» (индивидуализма) и отход от лирики к прозе и драме в той или иной степени всегда обнажали «конструктивность» замысла (творческий процесс представал как движение от общей идеи к ярко расцвечивающим ее «игровым» и зачастую условным деталям). У Блока 1910-х годов движение *от* факта *к* его обобщенному восприятию шло в том же направлении, что у реалистов XIX в., хотя носило иной, символистский характер (не логического обобщения, а мифологизации действительности). В итоге если ряд критических высказываний Блока (в статьях, письмах, дневниках и т. д.) совпадал с положениями символистской критики, а творческий метод прозы, поэмы и драмы мог — в той или иной степени, но никогда полностью — сближаться с символистским (ср. исторические произведения Мережковского, прозу Белого 1910-х годов, «Мелкий бес», автобиографические поэмы: «Старинные октавы» Мережковского, «Поэму в нонах» Вл. Пяста, позднее «Младенчество» Вяч. Иванова, отчасти — «Первое свидание» Андрея Белого, и др.), то лирики, столь глубоко пронизанной историзмом, символизм никогда не создавал.

Еще дальше блоковское творчество 1910-х годов от символизма в понимании целей искусства. Исходя из общесимволистской панэстетической кар-

тины мира, Блок приходит к двойственной оценке соотношения искусства и действительности. С одной стороны, одноприродность мировой субстанции («музыки») и искусства делает искусство, в глазах Блока, более близким к Прекрасной сущности бытия, чем внеэстетическая действительность: «Жизнь, — пишет он матери из Бретани 2 августа (н. с.) 1911 г., — разумеется, как везде, убога и жалка настолько же, насколько пышно ее можно описать и нарисовать (т. е. — вечное торжество искусства)» (VIII, 357). Однако такое торжество не кажется теперь Блоку полным и естественно — в порядке символистского «жизнестроения» — переносимым на жизнь. Оно лишь намек и предвестие торжества Прекрасного в *реальном мире*. Потому воплощение идеала в искусстве не является его конечной целью. Подлинное искусство *помогает* пересозданию жизни, а не *замещает* его. Это понимание активности искусства, в плане мотивировок оставаясь символистским, в конечных выводах весьма близко реализму.

Но Блоку свойствен и другой ход мысли, более прямо ведущий к сходным выводам. Если по отношению к духовной субстанции бытия и искусство, и жизнь вторичны, то их отношения друг к другу выявляют первичность и бóльшую значимость «жизни», мира объективного, сравнительно с субъективным, личностным миром поэтической «мечты»: «Я ведь никогда не любил „мечты“, а в лучшие свои времена <. . .> я даже ненавижу «мечту», предпочитаю ей самую серую действительность» (VIII, 451). Поэтому Блок все время считает, что Человеческое, даваемое жизнью, для поэта важнее, чем привносимое искусством. «Хочу ли я повторить или вернуть те минуты, когда искусство открывало передо мной бесконечность? Нет, не могу хотеть» (VII, 163). Блока и в глубоко интимных размышлениях томит жажда «питаться» жизнью, а не искусством: «Надоели театры, книги, искусство. Жить хочется мне, если бы было чем, если бы уметь» (VII, 248; запись от 4 мая 1913 г.). Эта устремленность к «жизни» совсем уже близка реалистическому решению вопроса об отношении искусства к действительности. Таким образом, и исходя из символистских посылок, и стихийно сближаясь с «наивно» реалистическим подходом к жизни, Блок приходит к сходным выводам о задачах искусства.

Крайняя точка расхождения Блока с символизмом — вопрос о способах воздействия искусства на жизнь. Полностью отказавшись от утопий «жизнестроения», Блок, поэт революционно активной эпохи, не оставил мыслей о высокой миссии искусства. Однако теперь он видит эту миссию, во-первых, в познавании глубинных основ жизни и главное — путей истории. «При всей нашей слабости и безмолвии, *подкрадыванье* двенадцатого года к событиям отмечается *опять-таки в литературе*» (VII, 131) — с гордостью пишет он в дневнике. Связь искусства с ощущением подземного хода истории для Блока особенно важна:

Мы на стенах читаем сроки.
(III, 90)

В 1910-х годах Блок, резко отрицая «мистическое шарлатанство» символистов начала века, претендовавших на роль «теургов», избегает ответственного слова «пророк» («Не называйте поэтов пророками, потому что этим вы обесцените великое слово» — VIII, 462). Зато он охотно подчеркивает то, что отличает его понимание «пророка» от символистского, — необходимость для художника учиться у жизни.

Но высокий смысл искусства Блок, совсем отходя от символистской эстетики, находит и в ином. Размышляя о «не искусстве», без которого искусство невозможно (ЗК, 214), Блок не случайно называет «тенденции». Из других записей выясняется, что для искусства необходимы прежде всего «тенденции» нравственные: «Вот эсотерическое, чего нельзя говорить людям <. . .> искусство связано с *нравственностью*. Это и есть „фраза“, проникающая

произведение («Розу и Крест», так думаю иногда я)» (VII, 224). Это «тайное» знание, целомудренно хранимое и от символистов («заклюют»), и от «массовой» буржуазной литературы («используют для своих *позорных* публицистических целей» — VII, 224), «проникает» не только «Розу и Крест», но и все творчество Блока 1910-х годов. Его мысли о необходимости для каждого современника «знания о социальном неравенстве», о «позорности» буржуазного строя («Ямбы»), об исторической необходимости «возмездия» (цикл и поэма «Возмездие») [153], о долге («Соловьиный сад», «Роза и Крест») и высокой героике подвига («На поле Куликовом», «Ямбы», «Роза и Крест») не только еще и еще раз свидетельствуют о воздействии на Блока «этического» мировоззрения — демократизма XIX в. В одном из звеньев — притом наиболее существенном для поэтической практики — Блок вообще разрывает «магический круг» панэстетизма. Впервые в истории символизма речь идет не об экспансии эстетического в еще одну область духа (как это было, например, в «мистическом анархизме» и вообще в «неонароднических» произведениях, тонко определенных М. Пришвиным как «эстетическое народничество»), а о том, что «радий» искусства — *средство* для служения *жизненным* целям.

7

КОНЕЦ СИМВОЛИЗМА И БУДУЩЕЕ ИСКУССТВА (БЛОК ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ. 1918—1921 ГГ.)

Октябрь разделил людей русской культуры отнюдь не по их принадлежности к «школам» искусства. Блок в 1918 г. не случайно называет ответственным для него словом «товарищ» футуриста Маяковского (см. VII, 350), а имя одного из своих первых учителей в «новом искусстве», Мережковского, делает символом позорной реакции («Это ватерклозет <. . .>, старуха в автомобиле, *Мережковский в Таврическом саду*, собака подняла ногу на тумбу, m-lle Врангель тренькает на рояле. . .» — VII, 315. Курсив мой. — *З. М.*).

Сюжет «Блок и русские символисты» символически же завершается серией полных и окончательных разрывов. Первым и, видимо, самым неожиданным и горьким ударом был «бойкот» со стороны Мережковских после опубликования «Интеллигенции и революции». 22 января Блок, со слов Есенина, записывает: «<. . .> в Тенишевском зале. Гизетти и толпа кричали по адресу его, А. Белого и моему: „изменники“. Не подают руки. Кадеты и Мережковские злятся на меня страшно» (ЗК, 385). З. Гиппиус адресует Блоку уже не поучающие, а надменно презрительные статьи «Люди и нелюди» [154] и «Неприличия» [155], а затем — стихотворение «Все это было, кажется, в последний. . .» [156]. На получение его (вместе со сборником «Последние стихи») Блок сначала пробует ответить письмом от 31 (18) мая 1918 г., так как хочет сказать Гиппиус «больше, чем лирическое» (VII, 335). Здесь, как известно, он пишет о давних и серьезных расхождениях с Мережковскими («В наших отношениях всегда было замалчиванье чего-то; узел этого замалчиванья завязывался все туже <. . .> Великий октябрь их <узлы. — *З. М.*> и разрубил» — VII, 336), упрекает Гиппиус в пристрастной оценке событий («Не знаю <. . .> почему Вы не увидели октябрьского величия за октябрьскими гримасами, которых было очень мало»), в непонимании их всемирного «апокалиптического» смысла («Неужели Вы не знаете, что „России не будет“ <. . .> Что мир уже перестроился? Что „старый мир“ уже расплавился?» — VII, 336). Однако, не отправив письма, он перешел на предложенный ему язык лирики, ответив стихотворением «З. Гиппиус. (При получении «Последних стихов»)» (1—6 июня 1918). Здесь, отделяя в отношениях личное (его Блок подает в «галантных» и условно жанровых образах:

Ядом напоенного кинжала
Лезвее целую, глядя в даль
(III, 372)

от принципиального, он пытается показать «всемирность» своей и узколичный («антимузыкальный») характер позиции Гиппиус:

Но в дали я вижу — море, море,
Исполинский очерк новых стран,
Голос ваш не слышу в грозном хоре,
Все гудит и воет ураган!
. . . . . .
Высоко — над нами — над волнами, —
Как заря над черными скалами —
Веет знамя — Интернационал!

(III, 372)

Последнее письмо, завершающее 16-летнюю переписку Гиппиус и Блока, — вложенное в конверт без адреса стихотворение «‹Бывшему› рыцарю Прекрасной Дамы», переданное Блоку, согласно его приписке, 7 мая 1919 г. Мережковским. По-видимому, это — воспоминание о случайной встрече с Блоком в трамвае 3 октября 1918 г.[157] Стихотворение менее злобно по тону, чем первое, но позиция Гиппиус та же.

Впереди 12-ти не шел Христос:
Так мне сказали сами хамы.
Но за то в Кронштадте пьяный матрос
Танцовал польку с Прекрасной Дамой.
Говорят — он умер. А если и нет?
Вам не жаль Дамы, бедный поэт?[158]

Блок в мае же ответил стихотворением «Вы жизнь по-прежнему нисколько. . .», где за грустным и почти дружеским тоном, за характерными для Блока 1919 г. мыслями о временном спаде революционной войны:

‹. . .› Сменилась полька
У них печальным *кикапу*. . .

(III, 373)

— чувствуется неизменность отношения к революции и народу и прежнее отвержение антиреволюционной позиции З. Гиппиус:

И что Вам, умной, за охота
Швырять в них солью анекдота,
В них видеть только шантрапу?

На этом все связи Блока и Гиппиус обрываются.

Резче Блок реагировал на отношение к нему Мережковского (и «Мережковских» как существенного для Блока целого). Дело было отнюдь не в личных обидах (через них Блок, как никто другой, умел переступать). За несколько дней *до* начала нападок Мережковских (т. е. до выхода «Интеллигенции и революции») Блок писал, имея в виду газетные и публичные выступления Мережковского: «Я долго (слишком долго) относился к литераторам как-то особенно, ‹полагая›, что они отмеченные. Вот моя отвлеченность. Что же, автор „Юлиана“, „Толстого и Достоевского“ и пр. теперь ничем не отличается от „Петербургской газеты“.

Это простой усталостью не объяснить. На деле вся их революция была кукишем в кармане царскому правительству.

После этого приходится переоценить не только их „Старые годы“ ‹. . .›, но и „Мир искусства“, и пр., и пр.

Так это называлось, что они боялись „мракобесия"? Оказывается, они мечтают теперь об учреждении собственного мракобесия на незыблемых началах своей трусости, своих патриотизмов.

Несчастную Россию еще могут продать» (VII, 318, 319).

Связь этой ответственнейшей записи об интеллигенции вообще и о символистской «общественности» в частности с именем Мережковского не случайна (ср. упоминание «эстетского» «Мира искусства», где печатались первые части трилогии Мережковского). Позиция Мережковского с его колебаниями после 1905 г. между кадетством и эсерами уже давно представлялась Блоку «интеллигентской», нечуткой к истории, порой поверхностной и всегда «отвлеченной». Однако в ее последовательно антиправительственном, антимещанском характере, в ее субъективном порыве к народу Блок не сомневался Более того, как видно из его полемики с Мережковским в 1910-х годах и из записей личного характера, Блок какой-то стороной своего «я» (хотя и не самой внутренней и «тайной») верил в бóльшую последовательность «прогрессизма» Мережковского, чем собственных, «лирических» и меняющихся, взглядов [159]. Поэтому так больно задело поэта злобное отвержение революции Мережковскими.

Почти постоянное для записей начала 1918 г. соединение имени Мережковского с размышлениями об интеллигенции и революции, своеобразная символичность самого его имени объясняет смысл одного важного для статьи «Катилина» (1918), а отчасти и для всей послеоктябрьской публицистики Блока «символа-понятия». «Катилина» — произведение, исполненное пафоса революции и революционного искусства, отрицания старого мира, — дышит ненавистью к «профессорам» и «филологам». Мировоззренчески это можно объяснить, поняв образы «филологов» как метонимическое обозначение «интеллигенции», философски — связав с блоковским интуитивизмом и всегдашним предпочтением искусства науке; генетически — вспомнив филиппики Ницше против «филологов», — жрецов мертвой науки, убивающей все живое. Но есть и еще один конкретный адресат у этого по-блоковски многослойного образа. Говоря об отличии привлекающих его широких исторических параллелей от «мертвых схем», Блок пишет: «Я думаю, что навязыванье мертвых схем, вроде параллелей, проводимых между *миром языческим и миром христианским, между Венерой и богородицей, между Христом и антихристом*, — есть занятие книжников и мертвецов; это — великий грех перед нравственно измученными и сбитыми с толку людьми, каковы многие из современных людей» (VI, 76. Курсив мой. — *З. М.*). Установление «тайного» родства язычества и христианства, Венеры и богородицы — мысль, пронизывающая трилогию «Христос и антихрист». «Книжник» и «мертвец» — это, таким образом, слова о Мережковском (о его отвлеченной «филологичности» Блок писал уже в начале века). Конечно, образы «филологов» и «профессоров» в статье — обобщенные и многогранные. Но живой персонификацией идей отвлеченных и «соблазнительных» для Блока стало творчество Мережковского.

С другой стороны, и вся проблематика «Катилины» может быть теперь рассмотрена как полемически соотнесенная с историософией раннего Мережковского. Действительно, Блок, подобно Мережковскому в «Смерти богов (Юлиане Отступнике)» и «Воскресших богах (Леонардо да Винчи)», обращается к эпохе резких культурных сломов, борьбы христианского и языческого миров. Однако романам Мережковского с их романтико-ницшеанским пафосом сильной личности как движущей историю силы Блок противополагает личность, *стихийно* «сеющую ветер» грядущих бурь («римский большевик» Катилина далек от каких бы то ни было идей социального равенства и ничего не знает о грядущем в мир Христе). Одновременно типичному для Мережковского эстетизированному уравнению «тела» и «духа», «Христа и антихриста» Блок противопоставляет ярко оценочное деление культур на старые, агонизирующие — и новые, историческая победа которых неизбежна.

Блок встречается в 1919 г. с Мережковским на заседаниях Союза деятелей художественной литературы (см. ЗК, 451), в бюро Репертуарной секции ТЕО НКП (см. ЗК, 454), в издательстве «Всемирная литература» (см. ЗК, 459), где 7 мая 1919 г. произошло (по инициативе Мережковского) его «объяснение» с Блоком и где, как уже говорилось, Блок получил конверт со стихами З. Гиппиус и т. д. С обычной для Блока объективностью он принимает участие в подготовке к постановке в Большом Драматическом театре пьесы Мережковского «Царевич Алексей» (ЗК, 489, 503 и др.). Тем не менее ни о какой близости или доверии к Мережковскому — человеку и писателю — теперь не может быть и речи. 27 апреля 1919 г., размышляя в письме М. Ф. Андреевой о необходимости для Большого Драматического театра пьесы «того <. . .> духа, который <. . .> больше всего сближает театр с современностью» (VIII, 522), т. е. пьесы революционной, Блок выводит из этого ряда «Царевича Алексея»: «Об „Алексее„ не говорю, потому что не прочитал его, но заранее могу сказать, что пьеса — *другой породы*» (VIII, 522. Курсив мой. — *З. М.*). 18 июня 1921 г., в начале предсмертной болезни, приводя в порядок остающиеся после него документы, Блок «предает огню» часть материалов, которые ранее «собирал в своих „архивах“ (VII, 421) и к которым, возможно, собирался впоследствии вернуться в «мемуарах» (VII, 421—422). В этих ненужных теперь документах чаще других (7 раз — один без называния фамилии) [160] упоминается Мережковский. После бегства Мережковских из Петрограда за границу Блок мог относиться к ним только как к остальным эмигрантам — полностью отвергая их путь (ср. набросок статьи об эмигрантской прессе — VI, 491—492).

Завершение связей с Мережковскими — не исключение, а скорее знак того, как отнеслось к «Интеллигенции и революции» и «Двенадцати» большинство некогда близких Блоку символистов. Так же резко оборвались отношения с Вл. Пястом, одним из самых близких друзей Блока в первой половине 1910-х годов [161]. Приятель и пламенный почитатель Блока эпохи «Факелов» и «Вольных мыслей», Г. Чулков громит Блока в статье «Красный призрак» [162]; близкий в 1900-х годах к символизму М. Пришвин, с которым у Блока 1907—1908 гг. связывались мысли о поездке в глубину России (ср. ЗК, 131), в статье «Большевик из Балаганчика» утверждает, что «скучающий» индивидуализм, отсутствие идеалов и ирония — основные качества личности и творчества Блока [163]. Ф. Сологуб в публичной речи «упоминал <. . .> что А. А. Блок, которого „мы любили“, печатает свой фельетон против попов в тот день, когда громят Александро-Невскую лавру» (VII, 321; запись от 26 января 1918 г.), а в мае вместе с Вл. Пястом и А. Ахматовой Сологуб отказывается участвовать в вечере, где должна была исполняться поэма «Двенадцать». Отношения с Ф. Сологубом, всегда высоко ценимым Блоком и ценившим его, по сути дела, после 1918 г. не возобновлялись, хотя некоторые формальные контакты не были прерваны.

Разумеется, и в 1918—1921 гг. Блок встречается в Петрограде с рядом писателей-символистов (В. А. Зоргенфреем, Сюннербергом <К. Эрбергом>, реже — с Ал. Ремизовым) или с людьми, в той или иной степени к символизму когда-то близкими (это — переводчица и критик, пропагандист западного «нового искусства» в конце XIX—начале XX в. З. А. Венгерова, бывший редактор «Северного вестника» А. Л. Волынский, К. И. Чуковский и др.). Все это интеллигенты, принимавшие активное участие в культурной жизни послеоктябрьского Петрограда. Связи с ними у Блока довольно интенсивные и не всегда, даже при внешней официальности, чисто «служебные». Они пронизаны для Блока пафосом революции, стремлением привлечь интеллигенцию к строительству новой жизни. Даже такое будничное занятие, как поиски квалифицированных переводчиков для издательства «Всемирная литература», для Блока 1918 г. окрашивается «музыкальным духом» борьбы за новую культуру.

В этом смысле показательна динамика отношений с приятелем Блока 1910-х годов поэтом-символистом В. Зоргенфреем, которому Блок в 1912 г. посвятил «Шаги командора» [164]. 22 февраля 1918 г. Зоргенфрей в телефонном разговоре с Блоком, «конечно, отказался» от какого-то блоковского предложения (вероятно, о вхождении в Комиссию по изданию классиков) и завершил разговор многозначительными «последними словами»: «Будьте здоровы, теперь, вероятно, долго не увидимся» (ЗК, 389), т. е., хотя и мягче, чем «пламенный» Пяст, присоединился к бойкоту Блока символистами. В дальнейшем они, однако, изредка и случайно, но не враждебно встречаются (21 апреля 1918 — см. ЗК, 401; 24 августа — ЗК, 422). 7 декабря 1918 г. Блок обращается к В. А. Зоргенфрею с полуофициальным (знак возобновляющихся отношений!) письмом, в котором просит его принять постоянное участие в переводах Гейне для горьковского издательства «Всемирная литература», поясняя общественные перспективы замысла: «Предстоит дать Гейне *нашей* эпохи — труд большой и ответственный», т. к. «русского Гейне <. . .> не существует, есть только либеральный суррогат» (VIII, 517). Встречи и беседы Блока и Зоргенфрея становятся значительно более частыми, хотя в основном связаны с переводческой деятельностью Зоргенфрея, ее мягким руководством со стороны Блока и с высокой оценкой переводов (ср. ЗК, 433, 434, 439, 442, 470, 471, 472, 509). Записи Блока о Зоргенфрее исполнены забот о защите его материальных интересов (гонорарных — ЗК, 439; о пайке — ЗК, 484; ср. — 506); писатели довольно часто встречаются (ср. о визитах к Зоргенфрею — ЗК, 477, 509) и т. д. В 1920—1921 гг. интенсивность и этих связей ослабевает (зимой — весной 1921 г. В. Зоргенфрей был у Блока всего один раз). . .

Примерно таков же «рисунок» отношений Блока с Р. В. Ивановым-Разумником и Сюннербергом [165], с тем отличием, что Блок особенно часто встречается с ними в конце 1917 — первой половине 1918 г. в редакции «Знамени труда» и у Иванова-Разумника, что объясняется «скифскими» притяжениями писателей (ср. ЗК, 389, 404, 416, 419, 434 и др.). Быстро спавший, но яркий интерес Блока к группе «Скифы» был связан с его несбывшимися надеждами объединить символизм и революцию. С этими настроениями связаны и приглашение Сюннербергом Блока в «Наш путь» (ЗК, 424) и на «заседание об образовании Скифской Академии» (ЗК, 429 — речь идет о будущей Вольфиле), встречи в Вольфиле (ЗК, 445—446, 447, 479), в связи с организацией «Алконоста» (ЗК, 451, 478, 485) и т. п. Интерес к Иванову-Разумнику и Сюннербергу у Блока спадает, когда надежды на «скифство» обнаруживают иллюзорность.

Что касается одного из некогда самых близких Блоку людей — Евг. Иванова [166], то связи их окончательно переходят из «сфер» духовных в бытовые и сводятся к разнообразным попыткам Блока помочь предельно неприспособленному к жизни «Жене». Так, 7 марта 1919 г. «Женя Иванов звонил: погибают, просит спасти» (ЗК, 451); 10 марта Блок заезжает к нему («опухший, ноги в ранах» — ЗК, 452) и тут же придумывает планы спасения: «Пристроить к отделу (Театральному отделу НКП. — *З. М.*), вроде синекуры — 930 руб. (пьесы на дому из Публичной библиотеки)» (ЗК, 452); 22 марта он получает «письмо от Жени, с грехом пополам поправившегося» (ЗК, 453). 23 мая — новая беда: «Телефон от Жени (его забрили!!!)» (ЗК, 461). Несмотря на собственную болезнь (в тот же день Блок записывает: «Очень дурно чувствую себя, и глаза плохи» — там же), Блок сразу же начинает хлопоты (27 мая: «Утром — *Женя*. Зайти к М. Ф. Андреевой по поводу его воинской повинности» — ЗК, 461) — и, по-видимому, успешно. Хотя «Женя» сравнительно часто заходит к Блокам (ср. ЗК, 496, 499, 501, 508), тепло встречаемый и поэтом,и его матерью [167], ничего глубинно важного для себя Блок в этих встречах не находит. Зачастую он не в силах беседовать с не изменившимся духовно с 1903—1905 гг. и абсолютно «внежизненным» Ивановым, раздражается на него и просит его «не принимать» (см. ЗК, 423)

или «почти не говорит» с ним (VIII, 538). Так уходит и эта когда-то очень важная связь. . .

Правда, порой люди, когда-то не очень близкие Блоку, в послеоктябрьские годы, напротив, вызывают у него интерес (А. Волынский) и даже чувства дружбы, искренней приязни (К. Чуковский). Но в этих случаях бросается в глаза, что новые интересы Блока, по существу, никак не связаны с символистским прошлым его и его знакомых, не определены им. Все связи целиком вытекают из послеоктябрьских ситуаций и интересов, даже если эти новые интересы вызывают обращение к каким-то этапам прошлого «пути», воспоминания о нем (сближение с Чуковским во время создания им книги о Блоке [168] — см. VII, 421) или же круг новых вопросов только генетически связан с символизмом (споры с А. Волынским о Гейне, об исторических корнях «гуманизма»).

В ряде случаев ослабление интереса Блока к современникам-символистам ничем внешним не «спровоцировано». Здесь особенно явно выступает на первый план общая полная отчужденность поэта от символизма как безнадежно далекого и мало интересного прошлого. Таково, например, отношение Блока к К. Д. Бальмонту, уже в середине 1900-х годов глубоко его разочаровавшему эпигонским графоманством [169]. Блок принимает предложение Горького составить и редактировать сборник стихотворений Бальмонта (для издательства Гржебина) с большой неохотой (4 мая 1920 г. он записывает: «Горький всучил мне Бальмонта» — ЗК, 492); работа над этим невышедшим сборником не вызывает у Блока никакого интереса [170].

Ценимый Блоком как художник, но всегда далекий ему своим эстетством и тонкими «ядами» декадентской извращенности, М. Кузмин дважды упомянут Блоком [171]. В речи по поводу 45-летнего юбилея Кузмина Блок говорит о нем тепло как о большом поэте, чье творчество не умрет: «Как это чудесно, что, когда все мы уйдем, родятся новые люди, и для них опять зазвучат ваши «Александрийские песни» и ваши «Куранты любви» (VI, 439—440), ибо «многое пройдет, что нам кажется незыблемым, а ритмы не пройдут» (VI, 440). Отсюда следуют важные для Блока 1920—1921 гг. мысли о значении поэта и поэзии и о долге общества — «уберечь» поэта: «Потерять поэта очень легко, но приобрести поэта очень трудно» (VI, 439). Все эти размышления — органично блоковские, в них легко угадать первый абрис концепций «О назначении поэта» (февраль 1921 г.). Однако, несмотря на чрезвычайно высокую оценку Кузмина-поэта («поэтов, как Вы, на свете сейчас очень немного»— VI, 439), бросается в глаза, что Блок его ценит именно как «поэта вообще»; ничего специфически символистского в его творчестве и позиции Блок не выделяет: упоминание «башни Вячеслава Иванова» (VI, 440) носит не концепционный, а биографически интимный характер и вполне в жанре «юбилейного» приветствия. Когда же Блок говорит о символизме Кузмина, в голосе его звучат иные ноты. Характеризуя в рецензии на «китайскую драму» М. Кузмина «Два брата, или Счастливый день» (1918) содержание его произведений как выраженное через адекватную ему «форму», Блок пишет: «Форма эта — обычная для автора: легкий яд, пленительное лукавство, дыхание артистичности, веселость под едва приметной дымкой грусти, но и . . . невыносимая грубость и тривиальность <. . .> *все это было и во многих прежних произведениях Кузмина*» (VI, 314. Курсив мой. — *З. М.*). И здесь причастность к символизму, к его «ядам», скорее отводит Блока от Кузмина, чем сближает с ним.

Более сложны, противоречивы и не совсем относятся только к памяти о прошлом чувства Блока к Андрею Белому и Вяч. Иванову. Белый 1918 г., близкий к «стихийнической» стороне блоковского принятия Октября, явно ищет новых связей с Блоком. Его письмо от 17 марта полно прежнего «трепета» в отношении к блоковскому творчеству. «Скифы», по его мнению, «огромны и эпохальны» [172]. Вместе с тем Белый не скрывает и своей растерянности перед революционным максимализмом блоковского творчества и за-

частую ему «не сочувствует», хотя и поражается «отвагой и мужеством» [173] Блока. В ответном письме от 5 апреля [174] Блок пишет: «Твое письмо очень поддержало меня» (VIII, 512) — и заранее просит Белого «не пугаться» «Двенадцати», «как одиннадцать лет назад — «Снежной маски» (тоже — январь и снег)» (VIII, 512). Указывая на свою новую апологию «стихий», Блок, конечно, имеет в виду выяснить отношение Белого к революции. На этот раз оно было у обоих художников более близким.

И в советском, и в зарубежном литературоведении не раз проводились параллели между «Двенадцатью» Блока и «Христос воскресе!» Андрея Белого (прославление революции; «космические» аспекты революции в сочетании с ироническими бытовыми зарисовками людей старого мира, и т. д.) [175]. Не менее интересно было бы сопоставить и другие произведения Блока и Белого 1918—1921 гг.: автобиографические поэмы «Возмездие» и «Первая любовь» с их стремлением понять единство личного и мирового, а также найти в прошлом истоки настоящего; автобиографическую прозу («Исповедь язычника» Блока, «Я» и другие произведения Белого), а также их публицистику. Роднит художников и святость памяти о «первой любви» — мыслях и чувствах начала XX в. (ср. блоковскую попытку автокомментария к «Стихам о Прекрасной Даме» в дневнике 1918 г. и поэму Белого «Первое свидание»).

Близость позиции художников определит и их многочисленные организационные «встречи»: участие в сборниках «Скифы», в работе Вольфилы, сотрудничество в изд. «Алконост» [176] и в «Записках мечтателей». Это привело к оживлению переписки, к ряду свиданий в Петрограде и Москве (см. ЗК, 446 и 447 — приезд Блока 26 января 1919 г. в Царское село на заседание Вольфилы и свидание с «Борей (больным)»; 448 — проводы Белого; 488 — посещение 1 марта 1920 г. лекции А. Белого о современной поэзии: «Он такой же, как всегда: гениальный, странный»; 491—встреча с Белым и Алянским 1 мая 1920 г.; 492 — посещение лекции Белого о Кампанелле 2 мая и вечерняя встреча с ним и членами Вольфилы; 6 мая — Белый в гостях у Блока; 496 — посещение 7 июля вместе с матерью вечера, устроенного Белому «Алконостом» в Вольфиле). В отличие от других символистских связей Блока отношения с Белым не идут на убыль (сравнительно с 1918—1919 гг.) в последние два года жизни Блока.

И все же пропасть между Блоком и Белым, которую вырыли их личные конфликты и особенно полемика 1917—1908 гг., а также прохладноватые отношения второго десятилетия, оказалась непреодолимой. Пути художников разошлись слишком далеко. Начиная с периода антропософских увлечений Белого, Блок без большого интереса следит за бурной сменой его философских и эстетических поисков, хотя по-прежнему считает Белого художником сумбурным, но порой гениальным. Творческие пути поэтов по существу тоже далеки: нарастанию «конструктивных» и формальных черт поэтики Белого в 1910-х—начале 1920-х годов у зрелого Блока соответствуют поиски искусства «жизненного», органического. Да и их отношение к символизму почти противоположно. Блок, верный многим исходным представлениям о мире, символизм как литературное течение считает *прошлым*, безвозвратно ушедшим, хотя во многом и священным (ср. воспоминания о периоде «Стихов о Прекрасной Даме»). Белый эпохи антропософских увлечений (и последовавшего за ними идейного краха) от «соловьевства» объективно весьма далек (элементы «магизма» и волюнтаризма в его творчестве 1910-х—начала 1920-х годов зачастую побеждают мистику в традиции Вл. Соловьева), но по-прежнему расценивает символизм начала века как высшую сегодняшнюю (и вечную) ценность.

В итоге Блок и Белый оказываются слишком далекими друг от друга, чтобы воскресла хоть тень прежних отношений. Так, во время одного из приездов Белого в Петроград (начало 1921 г.) Блок заходил к нему в отель «по делу»: «Дела и ничего не вышло» (VII, 421), — констатирует Блок.

В каком-то смысле это можно сказать и о попытках возродить «символистские» отношения Блока и Белого в годы революции. Лишь воспоминания об утре русского «младшего символизма» и о «мистических восторгах» начала века для Блока по-прежнему неотделимы от Белого (ср. VII, 346).

С Вяч. Ивановым духовные пути Блока в эти годы тоже перекрещиваются [177]. В начале 1918 г. Иванов порвал отношения с Блоком. Но постепенный отход его от антибольшевистских позиций «Народоправства» к культурническому пафосу «Переписки из двух углов», осмысленному как «созвучный» современности («То, что именуется сознательным пролетариатом, стоит всецело на почве культурной преемственности») [178], сблизил позиции художников. Не случайно С. М. Алянский говорит о взаимной заинтересованности поэтов в восстановлении отношений, об их высокой оценке друг друга [179]. Блок чувствует близость своих настроений и мыслей к Вяч. Иванову. Ср. запись от 1 апреля 1919 г.: «Я получил корректуру статьи Вяч. Иванова о «кризисе гуманизма» («Кручи». — *З. М.*) [180] и боюсь читать ее» (VII, 363). Причина «боязни» в том, что накануне, 31 марта, Блок занес в дневник один из важных вариантов своего «Крушения гуманизма» (9 апреля 1919 г. статья будет прочтена во «Всемирной литературе»). «Боязнь» читать чужую статью на тему, сходную с собственной, — свидетельство, что Блок считает возможным увидеть в ней дорогие ему, «свои» мысли. Напомним, что и название статьи Блока — перефразировка, безусловно, не забытого им доклада Вяч. Иванова «Кризис индивидуализма» [181].

Блоку безусловно были близки некоторые идеи Вяч. Иванова: пафос истории, культуры, памяти. Поэма Вяч. Иванова «Младенчество» (1918) типологически (хотя, конечно, не по художественным масштабам) в каком-то смысле ближе к «Возмездию», чем «Первое свидание» Белого: оба поэта обращаются к духовному миру «отцов», к «кризису позитивизма», из борьбы с которым вырастало «новое искусство».

И все же сильно преувеличивает биограф Вяч. Иванова О. Дешарт, говоря о «новой дружбе» художников [182]. Блок, еще в 1910-х годах резко отошедший от мира Вяч. Иванова, остается и теперь далеким от Иванова-человека и почти не стремится к личным контактам, хотя 23 апреля 1919 г. слушает во «Всемирной литературе» «доклад В. И. Иванова о гибели гуманизма» (ЗК, 457), а во время предпоследней поездки в Москву, 13 мая 1920 г., встречается с Ивановым у Коганов (ЗК, 492). Очевидно, что даже сходные настроения у Блока и Иванова выражались совершенно по-разному. Блоку чужда в Иванове и отстраненность от живой повседневности, культуртрегерство, и возрождающаяся тяга к академической науке, и путь от символистского мистицизма к религии. Никаких впечатлений от этих встреч Блок не фиксирует и никаких шагов к дальнейшим встречам не предпринимает.

Итак, послеоктябрьские годы — это время с каждым днем углублявшегося разрыва всех личных духовных связей Блока с символистами — от окончательных разрывов (З. Гиппиус, «Мережковские») или постепенного охлаждения (Р. В. Иванов-Разумник, Сюннерберг) до превращения контактов в чисто бытовые (Евг. Иванов), деловые (В. Зоргенфрей) или ничего «специфически символистского» в себе не заключающие (К. Чуковский, А. Волынский и др.). Даже в случае сохранения известной объективной общности позиции (Андрей Белый, Вяч. Иванов), она уже не может стать основой для сколько-нибудь серьезных и важных контактов. Символизм и символисты для Блока революционных лет — только прошлое. Это видим и в эволюции блоковского мировоззрения и творчества.

Бурное принятие Октября и последующая напряженная духовная жизнь Блока лишь резче выявили ранее отмеченные черты его эволюции: верность глубинным основам сформировавшегося в 1910-х годах миропонимания при резких сдвигах в понимании действительности и социально определенных задач искусства. Сформировавшиеся в конце 1900-х годов идеи «духа музыки» как мировой субстанции, ее диалектически текучей, внеличностной и эсте-

тической природы, остаются неизменными, хотя выполняют новую функцию — оправдания революции, ее неизбежности. Мир гераклитовски текуч (мысли о мире как «потоке» Блок выделяет в дни наибольшего подъема революционных настроений — в январе 1918 г.; см. VII, 313). Развитие «духа музыки» протекает «в упругих ритмах» — катастрофическими взрывами («Интеллигенция и революция», 1918; «Катилина», 1919; «Крушение гуманизма», 1919), и революции — неизбежное следствие «музыкальности» вселенной. «Мировой оркестр» формирует облик всех явлений природной, исторической и личной жизни; отсюда — особая роль художника, лучше других воспринимающего и воссоздающего его ритмы («Искусство и революция», 1918; «О назначении поэта», 1921).

Для взглядов Блока 1918—1921 гг. существен рост их диалектичности. С одной стороны, Блок начала 1918 г. исполнен яркого ощущения небудничности, необыкновенности происходящего, максималистского характера событий («Что же задумано? *Переделать все.* Устроить так, чтобы все стало новым» — VI, 12). Мир он воспринимает предельно напряженно, героически, в полной готовности к élan и гибели во имя революции, в полной вырванности из «будней», из «обычного» пространства и времени. Отсюда — рост героико-романтических черт мировосприятия. Если для Блока 1907—1908 гг. рост радикальных настроений шел параллельно с нарастанием интереса к русской демократической и *реалистической* культуре и ее «позитивистским» истокам, то для Блока 1918—1921 гг. не менее показательно преимущественное обращение к национально романтическим, славянофильским и «почвенническим» традициям, увлеченность романтической героикой Карлейля. Это способствует активизации символистски «мифологических» пластов сознания, поисков «всемирного», универсально «надысторического» смысла событий.

Отсюда, например, развиваемые в «Катилине» и других статьях этих лет мысли о двух типах пространства и времени (восходящие к Канту — VI, 101 — к кантианству Белого, но истолкованные не в духе агностицизма и скепсиса, а в плане романтического и «соловьевского» двоемирия). «Есть как бы два времени, два пространства; одно — историческое, календарное, другое — нечислимое, музыкальное. Только первое время и первое пространство неизменно присутствуют в цивилизованном сознании; во втором мы живем лишь тогда, когда чувствуем свою близость к природе, когда отдаемся музыкальной волне, исходящей из мирового оркестра» (VI, 101). Отсюда — основная романтическая антитеза «земного» и универсального вселенского (времени и пространства). Выпад «из дней» в «нечислимое» время революции привлекает внимание Блока к космически универсальным законам бытия, к мифологическому, циклическому движению. Эпохи «спящей» природы и народов ритмически сменяются природными и социальными катаклизмами (ср. VI, 103 и др.). Эта мысль, живо напоминающая когда-то важные для Блока идеи Ницше о «вечном возвращении», лишена, однако, пессимизма, который окрашивал «циклическое» переживание жизни в «Страшном мире», «Возмездии» и др. По-видимому, теперь речь идет о неполной повторяемости исторических событий, о том, что повторы подразумевают непрерывное творение новых, невиданных прежде и исторически конкретных форм жизни. Но все же перефразированная пушкинская формула: «Узоры человеческой жизни расшиваются по вечной канве» (VI, 76) — активизирует у Блока романтический (история — аллюзия на современность) и символистский (различные события истории тайно «соответственны» друг другу) взгляд на мир. Его Катилина — «римский большевик» (VI, 86), который «отрекся от старого мира» и «отряс прах» Рима от своих ног» (VI, 84), Цицерон — «интеллигент», «либерал», Катулл — «латинский Пушкин» (VI, 80), Рим эпохи упадка — «громадное, расплывшееся отечество» (VI, 73), погрязшее в войнах и обреченное на гибель, — символ предреволюционной России, и т. д.

С другой стороны, однако, в послереволюционном творчестве Блока, по словам Д. Е. Максимова, видно «сближение с мышлением революционной эпохи» [183] — рост историзма. Оба эти утверждения о мировоззрении Блока 1918—1921 гг. справедливы, как и вывод о том, что сам рост внутренней антиномичности взглядов не случаен. Блок не раз повторял, что «яд» «творческих противоречий» спасителен: только он помогает постичь дух революции.

Если в молодости Блок испытал влияние идей «синтеза», высшего духовного единства как снимающего, претворяющего противоречия, то теперь мировой универсум ему скорее представляется в виде космической «полифонии», где противоположные друг другу «голоса» не заглушаются «мировым оркестром», а мощно звучат в его гармонически-дисгармоничном целом. Так сочетаются в мировоззрении Блока этих лет романтическое «карлейлианство» и апология народной «стихии» как главной действующей силы истории, мессианские надежды на грядущую роль России и пафос «Интернационала» и т. д., и т. п.

Такие же противоречия свойственны и блоковской эстетике. Отмеченный выше героико-романтический пафос соединяется с ростом своеобразной тяги к «реализму». Так, Блок весной 1918 г. заканчивает работу над документальной книгой «Последние дни императорской власти»; тогда же он завершает начатую в 1912 г. статью «Дневник женщины, которую никто не любил» — прославление «ценности всякого искреннего «человеческого документа» (VI, 37), документальной литературы, ее места «в венце новой культуры» (VI, 37). В это же время (апрель 1918 г.) создается «Исповедь язычника» — автобиографическое произведение, содержащее одну из главных для Блока «правд» — правду о себе. Документальность в той или иной форме присуща почти всей его прозе 1918—1921 гг. В поэзии («Двенадцать») ей соответствует плотное насыщение текста реалиями и намеками на жизнь Петрограда конца 1917—начала 1918 г., на которые обратил внимание В. Н. Орлов [184].

«Двенадцать» — яркое свидетельство того, что в послеоктябрьском творчестве Блока усиливается и приобретает новое качество стремление, сформулированное еще в 1910-х годах, — стремление проникать во «что-то большее, чем человеческое», *только через человеческое*: историческое, сегодняшнее, психологическое. Действительно, и известная «Записка о «Двенадцати», и блоковская проза эпохи создания поэмы («Интеллигенция и революция»), как и позднейшие статьи «Катилина», «Крушение гуманизма» и др.), определенно свидетельствуют, что для Блока Октябрь был отражением той универсально космической ситуации, когда «проносящийся революционный циклон производит бурю *во всех* морях — природы, жизни и искусства» (III, 474. Курсив мой. — *З. М.*). В самом тексте поэмы этот космически универсальный аспект отображен, кроме эпилога, в символических образах «ветра // На всем божьем свете» (III, 347) и т. п., имеющих не только «бытовой» смысл, но и оказывающихся, как уже говорилось, символами-*реалиями*. К своим общим осмыслениям жизни Блок идет через всматривание и вслушивание в дух событий эпохи — и иных путей не признает.

Блок по-прежнему считает, что основной смысл изображаемых в поэме событий — «музыкальный». Понятия «стихия» и «музыка» теперь отождествлены: носители «музыкального» начала бытия, глубинно друг другу «соответственные», — «ветер», природные катаклизмы и революционный народ, свершитель исторического возмездия. Пронизывающие поэму разнообразные *ритмы* (от ритмов «ветра» до стройности «державного шага» «Двенадцати» в конце поэмы и до ритмической организации стиха) составляют сложнейшую полифонию, которая, в свою очередь, отображает космическую полифонию «мирового вихря». *В этом* (*и только в этом*) смысле глубинное значение происходящего — эстетическое. Но все «человеческие» планы поэмы еще дальше от «эстетики», чем в произведениях 1910-х годов. В человеческой исто-

рии «музыка» связана *не с Красотой* (ср. пассивную, «медиумическую» роль Катьки; Блок подчеркивал, говоря о рисунках к «Двенадцати», что Катька, молодая, «свежая, простая, добрая», должна вызывать симпатию читателя (VIII, 514); но «мировой вихрь» несет не она; она даже не колеблется, как Изора, между путями высокими и низменными; она — объект, а не субъект творящейся Истории). «*Музыка*» *звучит в героике* «державного шага», в той «демократии, которая приходит, опоясанная бурей», по любимому Блоком выражению Карлейля, «*музыка*» *пронизывает новую этику* (этику «человека-артиста», *прекрасного человека* будущего), — этику массовую, муки рождения которой так ярко описаны в «Двенадцати» (особенно в истории Петрухи, трагического убийства Катьки и последующего приобщения героя «коллективной морали» борьбы за новый мир). Наконец, — этого не знало дореволюционное творчество Блока, — музыка связывается с политикой и звучит в разухабистых мотивах частушки («Пальнем-ка пулей в Святую Русь!» — III, 350) и лозунга («Революцьонный держите шаг!» — там же).

Отсюда — новое понимание задач искусства, которое свидетельствует о дальнейшем росте, условно говоря, диалектических тенденций Блока и — через них — о сближении с реалистической эстетикой и полном разрыве с рядом основополагающих тезисов символизма.

Исходя из символистских представлений о художнике как наиболее совершенном улавливателе объективных «музыкальных волн» (отсюда — старая мысль о преимуществах художника перед ученым — «Искусство и революция»), Блок приходит к выводам, во многом антисимволистским. Таково прежде всего утверждение, что стихийно сложившаяся у художника картина мира значительно важнее любых попыток оценить изображаемое. «Увиденное», «услышанное» — объективная и наиболее ценная сторона произведения; оценки, отношение — субъективная и малозначимая его сторона. Ср.: «Гейне и народолюбец. Несмотря на физическое отвращение, Гейне чувствует, в чем дело («Силезские ткачи»). Он артист. Народолюбец — при любви — не чувствует» (VII, 365). Существенным для искусства оказывается не эмоциональное *отношение* к объекту («отвращение» — «любовь»), а его понимание («чувствует, в чем дело» — «не чувствует»). Это делает понятной и художественно осознанной такую не раз отмечавшуюся, но неожиданную для Блока черту поэтики «Двенадцати», как полное исключение «лирики» — «голоса» автора (в «Скифах» этому соответствует появление «голоса» коллективного героя — «мы»). Хотя в истоках этого представления можно разглядеть символистское предпочтение «стихийного» «сознательному», но, по сути, речь идет совсем об ином. Символистской апологии личного, индивидуального (как наиболее прямо отражающего «мировое») Блок противопоставляет *отказ от личного*.

В связи с этим резко меняется концепция личности художника (продолжая линию 1910-х годов). Художник прежде всего свидетель происходящего. Величие художника в том, что он — лучший свидетель, но перед «событиями» и перед «стихиями» (т. е. перед объективным миром) художник должен «умалиться»: «Художнику надлежит готовиться встретить еще более великие события, имеющие наступить, и, встретив, суметь склониться перед ними» (VI, 59). Такое понимание полностью отрицает символистское жизнестроение; в жизни художник только «свидетель». Даже создавая портрет гения — Пушкина, Блок подчеркивает, что самые важные черты его личности «бледнеют перед одним: Пушкин — поэт» (VI, 160).

Полностью отрицая «жизнестроение» в символистском понимании, Блок, конечно, очень далек от того, чтобы свести задачи искусства к простому отображению реальных событий. Он по-прежнему признает «пророческое» в искусстве и высоко его ценит: «Великие художники русские — Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой — погружались во мрак, но ‹. . .› они верили в свет ‹. . .› Они знали, что рано или поздно *все будет по-новому*, потому что *жизнь прекрасна*» (VI, 13). Однако «пророческое» теперь понимается не как

«магизм», силой слова изменяющий реальность, а как постижение ее глубинной объективной сущности.

Блок значительно яснее, чем прежде, видит и преображающую силу искусства, но опять-таки понимает ее не так, как символисты. Правда, поэт пронес сквозь всю жизнь воспринятую в молодости через символизм ненависть к мещанской морали (ср. о Цицероне, который руководствовался «старой, провинциальной, мещанской, позитивной моралью ‹. . .› накануне того времени, когда в мир пришла новая мораль — мораль как «огонь поедающий» — VI, 78). Он равно резко отрицает и откровенно старую мораль (ср. VI, 309), и старую мораль, притворяющуюся новой, скрытую за «культурно-просветительными» задачами (VI, 278), за примитивной агитационностью и ненавистными Блоку «популяризациями» великих идей и образов. Однако Блок 1918—1921 гг. далек и от декадентского этического релятивизма. В упоминавшейся рецензии на пьесу М. Кузмина «Два брата, или Счастливый день» Блок хотя и подчеркивает, что он «не педагог» и видит в «Двух братьях» прежде всего произведение искусства, однако приходит к самым энергичным и именно «педагогическим» выводам. К пьесе, пишет он, «я бы детей и близко не подпустил», ибо в ней «все пропитано пряностью», ее истинный зритель — это не ребенок, а «умудренный художественными и другими опытами эстет, впадающий в рамолиссмент» (VI, 315). Как глубоко трагические явления современной культуры воспринимает Блок и «не нужные никому» (VI, 55) произведения современных «дэнди» («Русские дэнди», 1918), и тяготение к традициям «искусства для искусства» и «всяческому формализму» у акмеистов (VI, 176 и 183; «Без божества, без вдохновенья», 1921).

Как же должна вне «морализаторства» и в противодействии «старой морали» реализовываться активно-преобразующая сила искусства? По Блоку, великие возможности искусства определены тем, что сами цели истории *глубинно эстетичны*. На развалинах «гуманистической» цивилизации возникает «новая человеческая порода ‹. . .› *человек — артист*» (VI, 115). Поэтому искусство *самой своей природой* гармонизирует мир. В речи «О назначении поэта» (10 февраля 1921 г.) говорится: «Похищенные у стихии и приведенные в гармонию звуки, внесенные в мир, сами начинают творить свое дело» — создание «новых людей»: звуки «испытывают человеческие сердца и производят какой-то отбор в грудах человеческого шлака; может быть, они собирают какие-то части старой породы ‹. . .›, годные для создания новых пород» (VI, 162).

И в этой — последней для Блока — мифопоэтической концепции искусства легко выделяется символистская основа (понимание природы мира и человека), как и мощный пласт ницшеанско-вагнеровских представлений («новый человек», «человек-артист»). Но теперь еще яснее, чем в 1910-х годах, отличие блоковского понимания преображающей силы искусства: «гармония, внесенная в мир поэтом» (VI, 162), *не создана* им, а «улавливает», *отображает* изначальный «порядок мира» (VI, 161). Элемент субъективизма из эстетических представлений Блока 1918—1921 гг. исчез полностью.

Сложное соотношение взглядов Блока 1918—1921 гг. на искусство и «заветов символизма» отразилось и в его итоговой оценке направления. О символизме он пишет теперь довольно мало. Но за разрозненными и порой противоречивыми (в блоковском смысле слова) высказываниями встает то, чем представлялся Блоку символизм в «дыму пожара» революции, когда «все наше прошлое представляется на суд поколениям, следующим за нами людям, очень отличающимся от нас» (VI, 136).

В дни Октября Блок, как известно, сблизившийся с группой «Скифы», ощущал свое «музыкальное» отношение к революции как *символистское по существу*. Повторилась, но в гораздо более динамичном темпе, ситуация 1907—1908 гг. Первоначально (в ответе на анкету «Может ли интеллигенция работать с большевиками?», 14 января 1918 г.; в статьях «Интеллигенция и революция», 9 января; «Исскуство и революция», 12 марта; и др.) Блок внут-

рение отождествляет понятия «интеллигент» и «художник» со своим ближайшим окружением, с интеллигенцией, так или иначе с символизмом связанной. Он рисует портрет интеллигентов, которые «переоценили» все <. . .> ценности», которые «пили <. . .> из источников прозрачных и головокружительно бездонных <. . .>, где вода поет неслыханные для непосвященных песни» (VI, 16), и всегда были «бездомны, бессемейны, бесчинны, нищи» (VI, 18). Эти и подобные определения пестрят перефразировками и «осколками» из языка символистской публицистики («переоценка ценностей», искусство «для посвященных»), из блоковских поэтических портретов современных художников (ср.: «. . .смотрим, // Как рушатся наши дома!» — III, 125) и автохарактеристик («А я печальный, нищий, жесткий» — III, 142). И он уверен, что именно эта художественная интеллигенция должна «пылать гневом против всего, что пытается гальванизировать труп», и жить только будущим (см. VI, 59). Сознание *именно этой* интеллигенции для Блока противостоит ненавистному ему «либерализму» (см. VI, 58 и др.) и обреченному старому «гуманизму»: ведь именно символизм подхватил «антигуманистические» призывы к созданию «нового человека», «человека-артиста», был первым распространителем «музыкального» мироотношения. Не случайно первый художник, о котором Блок пишет после Октября, — Рихард Вагнер, а первый далекий друг, о котором он в эти дни вспоминает, — Андрей Белый, поразивший юного Блока в начале века статьей о музыке.

«Бойкот», объявленный интеллигенцией Октябрю, потряс Блока. Однако он все же полагал, что хоть часть символистов (Андрей Белый, «Скифы») останется верной «заветам символизма». Именно так понимал он символизм, создавая при помощи С. М. Алянского издательство «Алконост» и журнал «Записки мечтателей». Символизм, который Блок вслед за символистской и околосимволистской критикой еще в 1910-х годах сопоставил с Ренессансом — расцветом искусства и «художнического» взгляда на мир, — символизм с его апофеозом музыки должен был бы стать искусством революции. Должен был — но не стал.

Отсюда — новый взгляд Блока на символизм (середина 1918—1921 г.). Это было направление, действительно «музыкальное» и потому рано уловившее природные и иные «знаки» приближающихся великих катаклизмов. В статье «Владимир Соловьев и наши дни» (13 августа 1920 г.) Блок называет идейного учителя символистов 1900-х годов «духовным носителем и провозвестником тех событий, которым надлежало развернуться в мире» (VI, 155), пророком революции. Ученики Соловьева унаследовали от него это чувство будущего, и Блок считает себя обязанным от лица «соловьевцев» 1900-х годов «указать на то <. . .> что самое начало столетия было исполнено существенно новых знамений и предчувствий» (VI, 155). Поэтому главное, что подчеркивает Блок в Вл. Соловьеве и его учениках, — это «страшная тревога, беспокойство, способное довести до безумия» (VI, 155). Впрочем, безумная «порубежная тревога» была не только предчувствием будущего. И Соловьев, и символисты *сами носили в себе* «человека — артиста» будущего.

Однако Блок горько и решительно сознается, что русский символизм не исполнил задуманного. В своей последней статье «Без божества, без вдохновенья», выдвигая идеи органичности русской культуры, Блок решительно восстает против убеждения Н. Гумилева, «что русский и французский символизм имеют между собой что-то общее» (VI, 177). Как и в юности, отделив символизм от «декадентства» с его ориентацией на европейское искусство «fin de siécle», Блок подчеркивает, что «литературное направление, которое по случайному совпадению носило то же греческое имя «символизм», что и французское <. . .> было неразрывно связано с вопросами религии, философии и общественности» (VI, 177). Эта связь с «общественностью», к которой молодой Блок относился (признавая ее!) с некоторой настороженностью, теперь представляется ему сущностью символизма, его единственным «рациональным зерном». Освобожденная от имен и всего личного (Блок не случайно

не вспоминает о том, что формула «религиозная общественность» восходит к Мережковским и «Новому пути»), идея «общественности» вписывает символизм в национально русскую традицию «синтетического искусства». Распад символизма, решительно относимый теперь к сравнительно далекому прошлому (конец 1900-х—начало 1910-х годов), Блок объясняет причинами идейными: «Писатели, соединившиеся под знаком «символизма», в то время разошлись между собою во взглядах и миросозерцаниях» (VI, 178). Это — известная ситуация «кризиса символизма», когда «виднейшие деятели символизма, как В. Брюсов и его соратники, пытались вдвинуть философское и религиозное течение в какие-то школьные рамки» (VI, 178). Таким образом, причина «кризиса» — обострившаяся борьба собственно символистских тенденций и эволюционировавших к формализму «декадентов» (а также — старая блоковская мысль — засилие «эпигонов, пытавшихся спустить на рынке драгоценную утварь и разменять ее на мелкую монету», — VI, 178). В итоге «храм «символизма» опустел, сокровища его (отнюдь не «чисто литературные») бережно унесли с собой немногие: они и разошлись молчаливо и печально по своим одиноким путям» (VI, 178). Это в каком-то смысле объективное объяснение причин «кризиса символизма» дано, конечно, «изнутри», с позиций «соловьевского» идеализма. Блок, очевидно, причисляет себя к тем, кто «бережно унес» и «продолжает хранить» «не чисто литературное» наследие символизма начала XX в. Но крах символизма как целого для него самоочевиден.

Блок не оставил целостных размышлений о причинах гибели направления, но в его статьях и рецензиях разбросаны важные замечания о том, что́ именно в наследии символизма губительно. Это — и «яды» индивидуализма, который, попалив «кое-что на пустошах «филантропии», «прогрессивности», «гуманности» и «полезностей» <. . .> перекинулся за недозволенную черту» (VI, 56—57) и создал «роковую пустоту» (III, 278) в душах людей блоковского поколения, отцов современных «дэнди» — эстетов и эпигонов символизма. Это — и недосказанность, невыраженность многих важнейших сторон символистского ви́дения мира, из-за которой их образы, таившие «возможность вырасти в символы, в ens reale, по выражению Вяч. Иванова, — были превращены стихотворцами <. . .> в расхожую монету» (VI, 334—335). Это и язык символизма. Его Блок считает, с одной стороны, могучим средством познания мира (ср. в рецензии на пьесу Тверского «Город» о способности символизма «показать единую сущность» внешне различных людей и сторон жизни — VI, 330), с другой стороны, однако, он подчеркивает, что язык этот «условен и непитателен, как сахарин»: отвлекаясь от реального, он представляет «не людей, а некие собирательные существа» (VI, 330).

И здесь, вероятно, мы вступаем в область самых глубинных представлений поэта о причинах краха символизма. Блок при всей вере в то, что именно символизм был предвестником «гармонизации» мира, видит его коренной порок в «непитательности» — «внежизненности и отвлеченности». «Современный художник, к какому бы цеху и направлению он ни принадлежал, — неустанно повторяет Блок в 1918—1921 гг., — в работе своей — «натуралист» <. . .> таскает на плечах грузы психологии, истории, быта» (VI, 321). Символизм, предвестник новой «музыки» жизни, сам слушал эту музыку только через культуру, пренебрегая «психологией, историей, бытом». Он келейно, комнатно замкнулся в себе, его художники сделались «филологами», «профессорами». И символизм «оглох к музыке», распался сначала внешне, а затем — в лице Мережковского и других символистов — и глубинно, изменив «духу музыки».

Эта концепция «кризиса символизма» имеет у Блока и еще одну сторону. Известно, что Блок послеоктябрьского периода много думает и пишет о романтизме. Новую, значительно более высокую, чем в 1900-х годах, оценку романтизма Д. Е. Максимов справедливо связывает с настроениями революционной эпохи. Менее известно (хотя и отмечено комментаторами 6-го тома

Собрания сочинений Блока), что Блок во многом пересказывает концепцию книги В. М. Жирмунского «Немецкий романтизм и современная мистика» [185]. И если Жирмунский прямо «опрокидывает» в прошлое, на романтизм, свое понимание русского символизма, то Блок, напротив, осмысляет символизм через характеристику немецких (по преимуществу) романтиков. Впрочем, и В. М. Жирмунский, и Блок понимают романтизм не только исторически, но и типологически. Такой подход давно и органически близок поэту: еще в юности, мы помним, он писал о «новом искусстве» как «видоизменении вечного и живого начала». В романтизме Блок видит то, что так хочет увидеть в символизме: «Подлинный романтизм вовсе не есть только литературное течение. Он стремился стать и стал <. . .> новым способом переживания жизни» (VI, 363). «Новый способ переживания» определяется Блоком в *терминологии* Шеллинга так же, как на мифопоэтическом языке Вл. Соловьева и символистов. Это — близость романтической «души» к «миру», его «неизведанным далям» — и к «Душе мира» (VI, 363). Но значение этих слов у Блока 1918—1920 гг. новое: «Подлинный романтизм не был отрешением от жизни» (VI, 363), а явился «новым способом жить с удесятеренной силой» (VI, 364). Он решал подлинно революционные задачи перестройки человеческой личности, был «способом устроить, организовать человека <. . .> на новую связь со стихией» (VI, 365). Революционность романтизма неотрывна от его художественной природы: он «есть дух, который струится под всякой застывающей формой и в конце концов взрывает ее» (VI, 367). Наконец, романтизм — искусство подлинно «синтетическое»; ему нужна *вся* жизнь, *весь* человек. Поэтому «если у бурных гениев <. . .> мы наблюдаем полное отрицание разума и предпочтение ему чувства, то их преемники — романтики не отвергли и разума» (VI, 364; бросается в глаза параллель между индивидуализмом «бурных гениев» и синтетическими устремлениями иенцев — и соотношением «декаданса» и «младших символистов»).

Романтизм сыграл великую роль в европейской культуре: он «определился как мировое стремление и <. . .> расплеснулся на весь мир» (VI, 364). Однако «убыль стремления <. . .> — наш земной удел <. . .> Убывает и стихийное движение; вырождается революционное движение» (VI, 366), а с ним и романтизм. Только пятилетие (1798—1802) господствовал романтизм как «великое течение» (ср. датировку Блоком зарождения младосимволизма — 1901 год — VI, 155; с 1907 г. он сам уже писал о «кризисе символизма»). Затем, со спадом революционной волны, «разыгралась трагедия; наступил упадок творчества <. . .>; все поставленные задачи были упрощены и облегчены; враги романтизма яростно напали на эпигонов его» (VI, 365; ср. мысли Блока о роли эпигонов в распаде символизма).

Конец этого во многом мифологизированного анализа романтизма символичен. Трагедия спада революции не вечна: «Убыль опять сменится прибылью» (VI, 366), вновь запылает священный огонь героического преображения мира (VI, 367—368). Тогда вновь настанет эпоха героического искусства. Конечно, это не эмпирическая, а обобщенно символизирующая история символизма — история скорее в его «тайных» устремлениях, чем в хорошо известной Блоку реальности. Но это единственное в «новом искусстве», что оказалось живым и нужным для пережившего символизм Блока эпохи «вихрей и бурь», что связывало в его глазах надежды начала века с искусством будущего.

* * *

Идеалом Блока была художественная культура, органическая и синтетическая по существу. По глубокому убеждению Блока следует стремиться не к «закрытости», изоляции от других художественных и общественных веяний, а к культуре, открытой всем ветрам истории и искусства. В отличие от ряда символистов, Блок широко и жадно впитывал впечатления окружаю-

щего мира. Именно поэтому для него формулы «быть верным символизму» и «преодолеть символизм» не исключали друг друга, а самоощущение себя как символиста не мешало чувствовать себя поэтом художественного синтеза. Искусство для Блока определялось не «цеховой» принадлежностью, а способностью «слушать в мире ветер». Глубоко созвучны Блоку слова К. Чапека: «Трагическое ви́дение мира сильнее самой действительности. В этом высочайшая магия истинно великой поэзии: она создает действительность более нетленную, чем то, что называют действительностью материальной» [186].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: Вл. Орлов. Александр Блок. Очерк творчества. М., ГИХЛ, 1956; Л. И. Тимофеев. Творчество Александра Блока. М., Изд-во АН СССР, 1963; Н. Венгров. Путь Александра Блока. М., Изд-во АН СССР, 1963; Б. Соловьев. Поэт и его подвиг. Творческий путь Александра Блока. М., «Сов. писатель», 1965; А. М. Турков. Александр Блок. М., «Мол. гвардия», 1969; А. Е. Горелов. Гроза над соловьиным садом. Александр Блок. Л., «Сов. писатель», 1970; Л. К. Долгополов. Александр Блок. Личность и творчество. Л., «Наука», 1978; и др. См. также главы о Блоке, написанные Б. В. Михайловским и Е. Б. Тагером в кн.: «Русская литература конца XIX—начала XX в.». М., «Наука», 1971 и 1972.

Как специальный предмет исследования тема «Блок и русский символизм» выделена в монографиях: Л. Я. Гинзбург. О лирике. Л., «Сов. писатель», 1964; П. Громов. А. Блок. Его предшественники и современники. М.—Л., «Сов. писатель», 1965; И. Машбиц-Веров. Русский символизм и путь Александра Блока. Куйбышев, 1969; Д. Е. Максимов. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., «Сов. писатель», 1975 (особенно в главе «Критическая проза Блока»), а также, в связи с проблемой блоковского театра, в кн.: Т. Родина. А. Блок и русский театр начала XX века. М., «Наука», 1972; А. В. Федоров. Театр А. Блока и драматургия его времени. Л., изд-во ЛГУ, 1974, и в связи с изучением его поэм: Л. К. Долгополов. Поэмы Блока и русская поэма конца XIX—начала XX веков. М.—Л., «Наука», 1964.

Ср. также отдельные работы, посвященные связям Блока с современниками (Вл. Орлов. История одной дружбы-вражды. — В кн.: Вл. Орлов. Пути и судьбы. М.—Л., «Сов. писатель», 1963, а также отдельные главы в кн.: Вл. Орлов. Гамаюн. Жизнь Александра Блока. Л., «Сов. писатель», 1978; З. Г. Минц. О «Беседах с поэтом В. И. Ивановым» М. С. Альтмана. — «Уч. зап. ТГУ», вып. 209. Тарту, 1968; Е. Л. Белькинд. Блок и Вячеслав Иванов. — «Блоковский сб.», 2; Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы. Л., «Прибой», 1929; Н. Степанов. Вступит. заметка к публ.: А. Блок. Письма к В. Я. Брюсову. — «Лит. современник», 1936, № 9; В. Пуришева. Библиотека Валерия Брюсова. — ЛН, т. 27—28. М., 1937; Д. Е. Максимов. Брюсов. Поэзия и позиция. Л., «Сов. писатель», 1969; Ю. К. Герасимов. Об окружении Александра Блока во время первой русской революции. — «Блоковский сб.», 1; Г. Г. Шмаков. Блок и Кузмин. — «Блоковский сб.», 2; и др.).

[2] Л. И. Тимофеев. Указ. соч., с. 17.

[3] Вл. Орлов. Сны и явь. — ЛН, т. 89. М., 1978, с. 14.

[4] Ср.: Творчество Блока всегда «оставалось романтическим, но романтичность в ходе творческого развития поэта становилась революционной» (Л. И. Тимофеев. Указ. соч., с. 34). Мысль о «новом искусстве как видоизменении романтизма охотно развивали сами символисты. Наиболее четко раскрыта она в работе: М. Гофман. Романтизм, символизм и декадентство. — В кн.: «Книга о русских поэтах последнего десятилетия». Под ред. Модеста Гофмана. СПб. и М., изд. М. О. Вольф, [1909].

В работе В. М. Жирмунского «Поэзия Блока» (Пг., «Картонный домик», 1921), как и в ряде его других исследований, символизм рассмотрен как исторически конкретный вариант более общего типологического понятия «романтизм». О романтическом характере миропонимания и поэзии Блока, главным образом в связи с влиянием немецкой литературы, см. также: R.-D. Kluge. Westeurope und Rußland im Weltbild Aleksandr Bloks. München, 1967.

[5] Л. К. Долгополов. Поэмы Блока и русская поэма конца XIX—начала XX веков, с. 73.

[6] Как аксиома мысль о Блоке-символисте господствует в западноевропейской «блокистике». Ср.: C. M. Bowra. The heritage of symbolism. London, 1943; Sir Cecil Kisch. Alexander Blok, prophet of revolution. A study of his life and work <. . .> London, 1960; J. Lavrin. Aspects of Modernism, from Wilde to Pirandello. London, 1935; R. Poggioli. The poets of Russia. 1890—1930. Cambridge, Mass., 1960; F. D. Reeve. Aleksandr Blok. Between image and idea. New York and London, 1962; J. Holthusen. Studien zur Ästhetik und Poetik des russischen Symbolismus. Göttingen, 1957; J. von Guenther. Aleksander Block. Der Versuch einer Darstellung. München, 1943; R. Poggioli. Studi su Blok: I versi della bellissima dama. — «Rivista di Litterature Slave», 1930, v. 5, N 1;

S. Laffitte. L'univers poetique d'Alexandre Blok. Paris, 1946; E a d e m. Le symbolisme occidental et Alexandre Blok. — «Revue des Etude Slaves». Paris, 1957; и др.

[7] См. прим. 1.

[8] См.: Д. Е. М а к с и м о в. Идея пути в поэтическом сознании Ал. Блока. — В кн.: Д. Е. М а к с и м о в. Поэзия и проза Ал. Блока.

[9] См. сноску 1, а также ряд работ в настоящем томе ЛН («Ал. Блок и Брюсов», «Ал. Блок и Вяч. Иванов», «Блок и Городецкий», «Ал. Блок и Пяст», «Блок и Ремизов» и др.).

[10] И. В. К о р е ц к а я. О «солнечном» цикле Вячеслава Иванова. — «Изв. АН СССР, отд. литературы и языка», т. 37, № 1, 1978, с. 60.

[11] См.: Д. Е. М а к с и м о в. Поэзия и проза Ал. Блока; Б. В. М и х а й л о в с к и й. Из истории русского символизма (1900-е годы). — В кн.: Б. В. М и х а й л о в с к и й. Избранные статьи о литературе и искусстве. М., Изд-во МГУ, 1969; Л. К. Д о л г о п о л о в. На рубеже веков. Л., «Сов. писатель», 1977; и др.

[12] Л. И. Т и м о ф е е в. Указ. соч., с. 11 и 13.

[13] Н. К. М и х а й л о в с к и й. Указ. соч., с. 389—390.

[14] Эти представления о философских истоках «старшего» и «младшего» символизма достаточно четко декларированы в самом творчестве (Д. Мережковского, З. Гиппиус, Ф. Сологуба, В. Брюсова, с одной стороны; Блока, Андрея Белого и Вяч. Иванова — с другой), а также в полемике представителей «нового религиозного сознания» и символистов-«соловьевцев» против «декадентов».

[15] В литературоведении связи эти рассмотрены в работах В. Асмуса (см.: В. А с м у с. Философия и эстетика русского символизма. — ЛН, т. 27—28, а затем И. Машбиц-Верова (см. прим. 1) и др., а также R.-D. Kluge (см. прим. 4), Armin K n i g g e. Die Lyrik Vl. Solov'evs und ihre Nachwirkung bei A. Belyi und A. Blok. Amsterdam, 1973; См. также: «Scandoslavica», t. XIII, Copenhagen, 1967.

[16] См.: С. С. А в е р и н ц е в. Вячеслав Иванов. — В кн.: Вячеслав Иванов. Стихотворения и поэмы. Л., «Сов. писатель», 1976; ср. указанные выше работы Д. Е. Максимова, Б. В. Михайловского и особенно детально R.-D. Kluge (см. прим. 4).

[17] См.: И. П. С м и р н о в. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. М., «Наука», 1977.

[18] Ср. анализ поэмы Н. Минского «Прометей» в кн.: А. Ф. Л о с е в. Проблема символа и реалистическое искусство. М., «Искусство», 1976, с. 280—281.

[19] См. в моей работе: О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов. — «Блоковский сб.», 3.

[20] См.: С. С. А в е р и н ц е в. Указ. соч., с. 14—22; О. Д е ш а р т. Введение. — В кн.: Вячеслав И в а н о в. Собр. соч., т. 1. Брюссель, 1971; Carin T s c h ö p l. Vjatceslav Ivanov. Dichtung und Dichtungsteorie. München, 1968.

[21] См.: А. В. Ф е д о р о в. Поэтическое творчество Иннокентия Анненского. — В кн.: Иннокентий А н н е н с к и й. Стихотворения и трагедии. Л., «Сов. писатель», 1959, с. 29—30.

[22] См.: Д. М а к с и м о в. Поэмы Валерия Брюсова. Л., ГИХЛ, 1940, с. 79—80, 82—83, 93 и др.; Д. М а к с и м о в. Брюсов. Поэзия и позиция. Л., «Сов. писатель», 1969, с. 183—187; П. Н. Б е р к о в. Проблемы истории мировой культуры в литературно-художественном и научном творчестве Валерия Брюсова. — «Брюсовские чтения 1962 года». Ереван, 1963; Э. С. Л и т в и н. Эволюция исторической прозы Брюсова. — «Русская литература», 1968, № 2; и др.

[23] Т. Ю. Х м е л ь н и ц к а я. Поэзия Андрея Белого. — В кн.: Андрей Б е л ы й. Стихотворения и поэмы. М.—Л., «Сов. писатель», 1966, с. 19 и сл.

[24] Вяч. И в а н о в. По звездам. Статьи и афоризмы. СПб., «Оры», 1909, с. 19.

[25] Н. М и н с к и й. Полн. собр. стихотворений в 4 томах, т. 3. «Просветы», изд. 4-е. СПб., изд. М. В. Пирожкова, 1907, с. 34.

[26] «Полн. собр. соч. Дмитрия Сергеевича Мережковского», т. XXII. М., изд. И. Д. Сытина, 1914, с. 42. Ниже при ссылках на это издание указываем том и страницу.

[27] Там же, с. 132.

[28] Федор С о л о г у б. Стихотворения. Л., 1975, с. 87. Ниже при ссылках на это издание указываем том и страницу.

[29] В. Б р ю с о в. Собр. соч. в 7 томах, т. 1. М., «Худож. литература», 1973, с. 99. Ниже при ссылках на это издание указываем том и страницу.

[30] Иннокентий А н н е н с к и й. Стихотворения и трагедии. Л., «Сов. писатель», 1959, с. 115. Ниже при ссылках на это издание указываем том и страницу.

[31] К. Д. Б а л ь м о н т. Стихотворения. Л., «Сов. писатель», 1969, с. 191. Ниже при ссылках на это издание указываем том и страницу.

[32] Б а л ь м о н т, с. 232.

[33] Там же, с. 201.

[34] Ю. Б а л т р у ш а й т и с. Земные ступени. Элегии, песни, поэмы. М., «Скорпион», 1911, с. 68.

[35] Вячеслав И в а н о в. Прозрачность. М., «Скорпион», 1904, с. 3.

[36] Там же, с. 29.

[37] Вячеслав И в а н о в. Кормчие звезды. Книга лирики. СПб., 1903.

[38] Л. Зиновьева-Аннибал. Пламенники. — Цит. по: Вяч. Иванов. Прозрачность, с. 91.
[39] Бальмонт, с. 138.
[40] С. Соловьев. Crurifragium. М., 1908, с. X.
[41] Инн. Анненский, с. 87.
[42] Там же, с. 63.
[43] О мотиве «мигов» см.: И. Машбиц-Веров. Русский символизм и путь Александра Блока, с. 33—35. По всей видимости, символика «мигов» связана с кульминацией «Фауста», возможно, в ее преломлениях у позднего Достоевского.
[44] Брюсов, т. I, с. 33.
[45] Брюсов, т. VI, с. 89.
[46] К. Д. Бальмонт. Поэзия как волшебство. М., «Задруга», 1922, с. 27.
[47] Письмо художника А. Б‹енуа?› к Д. С. Мережковскому. — «Новый путь», 1903, февраль, с. 157. Там же (с. 159—160). — «Ответ Д. С. Мережковского г. А. Б‹енуа?›».
[48] В. Розанов. Шестидесятые годы и утилитарная критика. — «Новый путь», 1903, февраль, с. 141.
[49] В. Розанов. В своем углу. Замечательная статья. — «Новый путь», 1903, май, с. 157.
[50] Там же.
[51] Андрей Белый. О теургии. — «Новый путь», 1903, сентябрь, с. 100.
[52] Там же, с. 102.
[53] Там же, с. 103.
[54] Вяч. Иванов. По звездам. Статьи и афоризмы. СПб., «Оры», 1909, с. 284. «Грубые покровы вещества» — перефразированная цитата из Вл. Соловьева («Три свидания»).
[55] Брюсов, т. 1, с. 432.
[56] Бальмонт, с. 147—148.
[57] Георгий Чулков. О мистическом анархизме. СПб., «Факелы», 1906, с. 71. Не случайно разрыв с символизмом всегда сопровождался максимально выраженной критикой эстетизма и тяготел к таким крайностям «разрушения эстетики», как толстовство Л. Семенова или толстовские тяготения Блока (см.: В. Сапогов. Лев Толстой и Леонид Семенов. (Об одном корреспонденте Л. Н. Толстого). — «Уч. зап. Филологическая серия», вып. 20. Кострома, 1970), а также: З. Г. Минц. Л. Д. Семенов-Тянь-Шанский и его «Записки». — «Уч. зап. ТГУ», вып. 414 (Труды по русской и славянской филологии, XXVIII. Литературоведение), 1977; З. Г. Минц. Ал. Блок и Лев Толстой. — «Уч. зап. ТГУ», вып. 119 (Труды по русской и славянской филологии), 1962.
[58] См.: С. Кульюс. Валерий Брюсов и Спиноза. — «Сборник трудов СНО филологического факультета. Русская филология», V. Тарту, 1977.
[59] Об импрессионизме как художественном методе «старших» символистов см.: Б. В. Михайловский. Указ. соч., с. 425, 428, 433, 436 и др.
[60] В. Розанов. В своем углу. Замечательная статья, с. 154 (Розанов перефразирует известную формулу Шеллинга).
[61] Ср. название цикла Н. Минского «Просветы».
[62] Брюсов, т. VI, с. 92.
[63] Там же, с. 93.
[64] Андрей Белый. Символизм. Книга статей. М., «Мусагет», 1910, с. 70.
[65] Идеи, восходящие к раннему творчеству Д. С. Мережковского.
[66] Мережковский, т. XVIII, с. 198.
[67] Д. Е. Максимов. Поэзия и проза Александра Блока. Л., «Наука», 1975, с. 191.
[68] Вопрос о «преображении» мира искусством — один из самых изначальных для символизма и восходит к романтической традиции. Однако характерно, что в 1890-х годах он решался по преимуществу «декадентами» (В. Брюсов, Ф. Сологуб и др.); предшественники же «соловьевства» (Д. С. Мережковский, З. Гиппиус, И. Коневской) ориентировались на «созерцательное» искусство (под влиянием спинозианских идей). Впрочем, «созерцать» можно было и «преображенный» в душе мир (А. Добролюбов. «Natura naturans. Nature naturata»). Резкий переход большинства символистов от «созерцательности» к «волению» и «преображению мира» искусством происходит в годы возникновения предреволюционной ситуации. О связи критики «созерцательности» с символистским пафосом активности искусства см.: Т. М. Родина. А. Блок и русский театр начала XX века. М., «Наука», 1972, с. 114—120.
[69] Андрей Белый. Символизм, с. 446.
[70] Там же, с. 448.
[71] Собр. соч. Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., «Общественная польза» ‹б. г.›, т. III, с. 124.
[72] Там же, с. 131.
[73] Там же, с. 135.
[74] Вл. Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., «Сов. писатель», 1974, с. 77.
[75] А. Блок. Собр. соч. в 8 томах, т. II, с. 372. Далее все ссылки на это издание даются в тексте.

[76] О мифах, созданных Ф. Сологубом-поэтом, см.: М. И. Дикман. Поэтическое творчество Федора Сологуба. — В кн.: Федор Сологуб. Стихотворения. Л., 1975, с. 27—30.

[77] См.: А. В. Лавров. «Мифотворчество „аргонавтов“. — В сб.: «Миф, фольклор, литература». Л., «Наука», 1978.

[78] Об использовании в «неомифологической» культуре сюжетов литературных произведений на функции «мифов» см.: Е. М. Мелетинский. Поэтика мифа. М., «Наука», 1976.

[79] См. в моей статье «О некоторых «неомифологических» текстах русского символизма». — «Блоковский сб.», 3.

[80] Брюсов, т. I, с. 100.

[81] Федор Сологуб, с. 176.

[82] Н. Минский. Полн. собр. стихотворений в 4 томах, т. 1. Белые ночи. Изд. 4-е. СПб., изд. М. В. Пирожкова, 1907, с. 184.

[83] Брюсов, т. I, с. 100.

[84] Сологуб, с. 176.

[85] А. М. Добролюбов. Отодвиганье смерти. — «Северные цветы на 1901 год». М., «Скорпион», 1901, с. 75.

[86] З. Н. Гиппиус (Мережковская). Новые люди. Рассказы. СПб., 1896, с. 219.

[87] Там же, с. 229.

[88] Ср. подчеркивание этой приметы в пародии Вл. Соловьева «Горизонты вертикальные. . .» (см.: Вл. Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы, с. 164).

[89] Именно в Западной Европе видит И. Коневской тех «литераторов, которые за последнюю четверть века проявили такое могущественное кипение новых соков жизни» (Иван Коневской. Об отпевании новой русской поэзии. . . — «Северные цветы на 1901 год». М., «Скорпион», 1901, с. 180).

[90] Автобиография написана Блоком для «Русской литературы» под ред. С. А. Венгерова, и это тоже в какой-то мере определило место в ней «бекетовской темы» — темы русской демократической интеллигенции XIX в. В письмах к Блоку (см.: «Блоковский сборник», 2, с. 334) С. А. Венгеров чрезвычайно высоко оценивает А. Н. Бекетова («удивительный был человек») и говорит о своих связях с ним. Блок, в свою очередь, пишет матери 14 декабря 1908 г. после доклада «Обожествление народа в литературе» («Россия и интеллигенция») об «очаровательном отношении ‹. . .› стариков из «Русского богатства» (Н. Ф. Анненского, Г. К. Градовского, Венгерова и пр.). Они кормили меня конфетами, аплодировали и относились как к любимому внуку» (VIII, 269). Рассказ Блока исполнен нежности к «дедам».

[91] ЛН, т. 89, с. 46.

[92] «Блоковский сб.», 2, с. 433.

[93] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк. Л., «Academia», 1930, 2-е изд., с. 51—52.

[94] Ср. известный рассказ Блока в «Автобиографии» о том, как В. П. Острогорский, редактор «Мира божьего» и друг Бекетовых, отчитал и «выпроводил ‹. . .› со свирепым добродушием» Блока, принесшего в журнал стихи не о политике (VII, 14).

[95] См.: Н. Венгров. Путь Александра Блока. М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 44—50.

[96] См.: С. В. Шувалов. Блок и Лермонтов. — В сб.: «О Блоке». М., 1929; Л. Жак. Александр Блок о Лермонтове. — «Литературный Саратов», 1946, кн. 7; С. Дурылин. Врубель и Лермонтов. — ЛН, т. 45—46; Д. Максимов. Лермонтов и Блок. — В кн.: Он же. Поэзия Лермонтова. М.—Л. «Наука», 1964; Б. М. Эйхенбаум. О поэзии. Л., «Сов. писатель», 1969, с. 308—310; и др.

[97] См.: М. Гофман. Александр Блок. — В кн.: «Книга о русских поэтах последнего десятилетия». Под ред. М. Гофмана. СПб. — М. ‹б. д.›, с. 308 и след.; А. Цинговатов. Пушкин в сознании Блока. . . — В сб.: «Пушкин». Сб. 1. М., ГИЗ, 1924; Л. Гроссман. Блок и Пушкин. — В кн.: Он же. От Пушкина до Блока. Этюды и портреты. М., «Современные проблемы», 1926; Г. Флоровский. Дом литераторов. — «Пушкин. Достоевский» ‹рец.›. — «Русская мысль», Прага, 1922, апрель; Н. Лернер. Блок и Пушкин. — «Ленинградская правда», 1928, № 36, 11 февраля (литер. приложение); В. Н. Голицына. Пушкин и Блок. — В кн.: «Пушкинский сборник». Псков, 1962; З. Г. Минц. Блок и Пушкин. — «Уч. зап. ТГУ», вып. 306. Тарту, 1973.

[98] См.: И. Сергиевский. Стихотворения А. Фета. — «Лит. обозрение», 1937, № 7, 10 апреля, с. 46; В. А. Кирпотин. Полемический подтекст «Соловьиного сада». — «Вопр. лит.», 1959, № 6; П. Громов. А. А. Фет. — В кн.: А. Фет. Стихотворения. М.—Л., «Сов. писатель», 1963, с. 74, 88; П. Громов. А. Блок. Его предшественники и современники, с. 18—32 и др.; Н. Венгров. Указ. соч., с. 50—68.

[99] Отдельные замечания к теме см.: М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 35, 36, 58, 79; Она же. Александр Блок и его мать. М.—Л., «Петроград», 1925, с. 28; Н. Венгров. Указ. соч., с. 39—40 и след.

[100] См.: Н. Гудзий. Тютчев в поэтической культуре русского символизма. — «Изв. АН СССР по русскому языку и словесности», 1930, т. III, кн. 2; Л. К. Долгополов. Тютчев и Блок. — «Русская литература», 1967, № 2; И. В. Петрова. Блок и Тютчев. — В кн.: «Вопросы истории и теории литературы», вып. IV. Челябинск,

1968; Л. К. Долгополов. Проблемы личности и «водоворот истории» (Александр Блок и Тютчев). — В кн.: его же. На рубеже веков. Л., «Сов. писатель», 1977.

[101] См.: Ассиар. Ап. Григорьев. Стихотворения. . . ‹рец.› — «Путь», 1918, № 1; Н. Ашукин. А. А. Блок — редактор Ап. Григорьева. — «Московский понедельник», 1922, № 8; Д. Д. Благой. Александр Блок и Аполлон Григорьев. — В сб.: «О Блоке». М., 1929; Ив. Розанов. Блок — редактор поэтов. — Там же; Павел Громов. Указ. соч., с. 11, 67, 110—112 и др.

[102] П. Громов. Указ. соч., с. 31—52 и др.; З. Г. Минц. Лирика Александра Блока, вып. III. Тарту, 1973.

[103] См.: Б. Я. Брайнина. Право на жизнь (1-я книга А. Блока). — В сб.: «О Блоке»; З. Г. Минц. Поэтический идеал молодого Блока. — «Блоковский сб.», 1.

[104] О роли этого цикла см.: П. Медведев. Гамлет XX века. — «Жизнь искусства» (газ.), 1922, № 31; М. А. Рыбникова. Блок-Гамлет. М., «Светлана», 1923; Т. М. Родина. Александр Блок и русский театр начала XX в., с. 92—122.

[105] См.: «Письма А. А. Блока К. М. Садовской». Публикация Л. В. Жеравиной. — «Блоковский сб.», 2; В. Н. Орлов. Гамаюн, с. 62—72.

[106] В дневнике М. А. Бекетовой записи о встречах Блока с С. В. Панченко постоянно соседствуют с отрицательными оценками Белого и С. Соловьева. Панченко и Белый для нее «антиподы» (ср. запись от 18 октября 1905 г.: «Оказывается, что С. В. всем-таки понравился ‹. . .› Теперь хорошая минута, потому что Боря только что сильно проштрафился»). Панченко защищает классическую музыку от сторонников «нового искусства» (запись от 30 декабря 1905), говорит о политике, новой жизни и т. д. (запись от 30 ноября 1904 г.), критически относится к «бориному бреду» (6 декабря 1905 г.), предсказывает отход «Сашуры» от декадентов (запись от 1 мая 1906 г.) и т. д.

[107] См.: ЛН, т. 89, с. 42, 128.

[108] Блок пишет матери 14—15 января 1904 г., рассказывая о встрече с Д. И. Менделеевым в Москве: «. . .Отправились к Менделеевым. Очень мило — всего полторы пошлости (отец и сын)» (VIII, 81), приводя и пример этих «пошлостей» (см.: VIII, 82).

[109] Мережковский, т. XVII, с. 214.

[110] Там же, с. 193.

[111] Там же, с. 213—214.

[112] Там же, с. 212.

[113] Вл. Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы, с. 77.

[114] Там же, с. 93.

[115] О двойственности отношения Вл. Соловьева к земле, земной природе, любви см.: З. Г. Минц. Поэтический идеал Ал. Блока. — «Блоковский сб.», 1; Armin Knigge. Die Lyrik Vl. Solov'evs und ihre Nachwirkung bei A. Bely und A. Blok. Amsterdam, 1973; З. Г. Минц. Владимир Соловьев. — В кн.: Вл. Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы.

[116] Мережковский, т. XVII, с. 218.

[117] Там же, с. 267.

[118] Там же.

[119] Ср. комментарий В. Н. Орлова (ЗК, с. 521).

[120] Конец цитаты — слова заупокойной молитвы.

[121] В *сборнике* «Стихи о Прекрасной Даме» (1905) раздел под таким названием отсутствует. Цикл «Стихи о Прекрасной Даме» выделен Ал. Блоком при формировании «первого тома» «лирической трилогии» (М., «Мусагет», 1911).

[122] См.: Н. Гумилев. Письма о русской поэзии. Пг., «Мысль», 1923, с. 155.

[123] См. об этом: Е. Б. Тагер. ‹Раздел о Блоке.› — В кн.: «Русская литература конца XIX—начала XX в. (1908—1917)». М., «Наука», 1972, с. 215 и след.

[124] См.: ЛН, т. 89, с. 35—36.

[125] См.: З. Г. Минц. Поэма Ал. Блока «Ее прибытие» и революция 1905 г. — «Уч. зап. ТГУ», вып. 139, 1963.

[126] См.: Д. Е. Максимов. Поэзия и проза Ал. Блока, с. 49, 59 и др.

[127] Ср.: Л. Е. Ленчик. Символика сюжетно-образных связей в драме А. Блока «Король на площади». — «Блоковский сб.», 2, с. 216—217.

[128] См. в наст. томе вступ. статью к переписке Блока с Брюсовым.

[129] См.: Д. Е. Максимов. А. Блок и революция 1905 года. — В сб.: «Революция 1905 года и русская литература». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1956.

[130] Разбор этого стихотворения см.: Павел Громов. Ал. Блок. Его предшественники и современники, с. 152—154.

[131] См.: К. Чуковский. Горький во «Всемирной». — В кн.: Горький. Сборник статей и воспоминаний. М.—Л., ГИЗ, 1928; Б. Эйхенбаум. Мой временник. Изд-во писателей в Ленинграде, 1929; Е. Малкина. Александр Блок о Максиме Горьком. — «Звезда», 1937, № 6; И. Сергиевский. Горький и Блок. — «Лит. критик», 1938, № 1; С. Касторский. Статьи о Горьком. Л., «Сов. писатель», 1953; Д. Максимов. Из архивных материалов об А. Блоке. 1. К вопросу об А. Блоке и М. Горьком. — «Уч. зап. ЛГПИ», т. XVIII. Факультет русского яз. и лит., вып. 5, 1956; С. М. Тарасенков. А. Блок и М. Горький. — «Уч. зап. Краснодарского гос. пед. ин-та», вып. XVIII. Филология, 1956; Н. А. Венгров. А. Блок и М. Горький. — «Горьковские чтения. 1953—1957». М., Изд-во АН СССР, 1959; Н. О. Ниль-

с о н. Стриндберг, Горький и Блок. — «Scando-slavica», vol. IV. Copenhagen, 1958, а также: Д. М а к с и м о в. Поэзия и проза Ал. Блока, с. 428—431, 518—525.

[132] Об обращении Блока к творчеству Гоголя см.: Андрей Б е л ы й. Мастерство Гоголя. М., 1934 (гл. «Гоголь и Блок»); И. Т. К р у к. Блок и Гоголь. — «Русская литература», 1961, № 1; З. Г. М и н ц. Блок и Гоголь. — «Блоковский сб.», 2.

[133] См.: З. Г. М и н ц. Ал. Блок и Л. Толстой. — «Уч. зап. ТГУ», вып. 119, 1962.

[134] По теме «Блок и Достоевский» см.: Б. И. С о л о в ь е в. Блок и Достоевский.— В сб.: «Достоевский и русские писатели». М., «Сов. писатель», 1971; З. Г. М и н ц. Блок и Достоевский. — В сб.: «Достоевский и его время». Л., 1971.

[135] См.: З. Г. М и н ц. Лирика Ал. Блока. Спецкурс. Вып. 3. Тарту, 1973.

[136] Б р ю с о в, т. I, с. 100.

[137] Вл. С о л о в ь е в. Стихотворения и шуточные пьесы, с. 96.

[138] «Два пути добра» — название одной из статей Н. Минского.

[139] Б р ю с о в, т. I, с. 355.

[140] См. с. 107.

[141] «Две нити вместе свиты» — строка из стихотворения З. Гиппиус «Электричество».

[142] Намек на альманахи «Цветник Ор», издававшиеся в Петербурге Вяч. Ивановым.

[143] Андрей Б е л ы й. О критических перлах. — «Раннее утро», 1907, 5 декабря. Столь же резко критиковали Блока Мережковский, З. Гиппиус, Д. Философов (см. об этом в моей статье «Ал. Блок в полемике с Мережковскими» — в печати).

[144] Внешне этот перелом был спровоцирован смертью новорожденного сына Л. Д. Блок, усыновленного поэтом.

[145] Д. М е р е ж к о в с к и й. Балаган и трагедия. — «Русское слово», 1910, 14 сентября, № 211, с. 3.

[146] Д. М а к с и м о в. Поэзия и проза Александра Блока, с. 416.

[147] Там же, с. 421.

[148] Б а л ь м о н т, с. 169.

[149] В философии и творчестве Вл. Соловьева, однако, тоже есть тема утверждения человека (см.: З. Г. М и н ц. Вступительная статья в кн.: Вл. С о л о в ь е в. Стихотворения и шуточные пьесы).

[150] См.: В. М. Ж и р м у н с к и й. Драма Александра Блока «Роза и Крест». Литературные источники. Л., Изд-во ЛГУ, 1964.

[151] Попытки такого рода предпринимались и другими символистами, однако в основном речь может идти о поэтических декларациях, а не об их творческом воплощении. Ср.: К. Д. Б а л ь м о н т. Полн. собр. стихов, т. I, 1908, с. 5.

[152] Имеется в виду опера П. И. Чайковского (скорее всего — в постановке Театра музыкальной драмы).

[153] О концепции «возмездия» см.: Д. Е. М а к с и м о в. Поэзия и проза Ал. Блока, а также статью Е. Б. Тагера в наст. томе.

[154] См.: Антон К р а й н и й <З. Г и п п и у с>. Люди и нелюди. Литературный фельетон. — «Новые ведомости». (Веч. выпуск), 1918, 10 апреля (28 марта).

[155] См.: О н а ж е. Неприличия. — «Современное слово», 1918, 16 (3) июня.

[156] Это стихотворение было надписано З. Гиппиус на первой странице подаренного Блоку экземпляра сб. «Последние стихи» (1918). — З. Г и п п и у с. Живые лица. Прага, «Пламя», 1925, с. 65. Там же, с. 60—61, см. рассказ о телефонном разговоре с Блоком в 1918 г., в котором поэт выражал симпатии к большевикам.

[157] Там же.

[158] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 26, л. 93.

[159] См. прим. 75.

[160] «Бейлис и поход на Розанова в Религиозно-философском обществе» (VII, 422).

[161] См. мою статью «Ал. Блок и Вл. Пяст» в наст. томе.

[162] См.: Г. Ч у л к о в. Красный призрак. — «Народоправство», 1918, № 23—24.

[163] См.: М. П р и ш в и н. Большевик из «Балаганчика». — «Воля России», 1918, 16 февраля.

[164] См.: Л. Ч е р т к о в. В. А. Зоргенфрей — спутник Блока. — «Русская филология. II сборник научных студенческих работ». Тарту, 1967. А. А. Блок. Письма к В. А. Зоргенфрею. Публикация С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова. — «Русская литература», 1979, № 4.

[165] См.: А. А. Б л о к. Письма к Конст. Эрбергу (К. А. Сюннербергу). Публикация С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова. — Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома. 1977. Л., «Наука», 1979. Интересная тема «Ал. Блок и Р. В. Иванов-Разумник» еще ждет исследователя.

[166] См.: Д. М а к с и м о в. Александр Блок и Евгений Иванов. — «Блоковский сб.», 1.

[167] См.: Н. А. П а в л о в и ч. Воспоминания об Александре Блоке. — Там же, с. 464—465.

[168] К. Ч у к о в с к и й. Книга об Александре Блоке. Пб., «Эпоха», 1922.

[169] Р. Б. Д о н г а р о в. Блок — редактор Бальмонта. — «Блоковский сб.», 2, с. 417—418.

[170] См. там же.

[171] См.: Г. Г. Шмаков. Блок и Кузмин. (Новые материалы). — «Блоковский сб.», 2.
[172] «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 335.
[173] Там же.
[174] Письмо А. Белого датировано по старому стилю, письмо Блока — по новому.
[175] См. особенно: Иванов-Разумник. Александр Блок, Андрей Белый. Пг., 1919; К. В. Мочульский. Андрей Белый. Paris, 1955; Т. Ю. Хмельницкая. Поэзия Андрея Белого. — В кн.: Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. М.—Л., 1966; и др.
[176] См.: И. А. Чернов. Блок и книгоиздательство «Алконост». — «Блоковский сб.», 1; С. Алянский. Встречи с Александром Блоком. М., 1969; С. В. Белов. Мастер книги. Очерк жизни и деятельности С. М. Алянского. Л., 1979.
[177] См. прим. 1 (литература на тему «Блок и Вяч. Иванов»).
[178] Вячеслав Иванов и М. О. Гершензон. Переписка из двух углов. Пг., «Алконост», 1921, с. 45.
[179] С. Алянский. Встречи с Александром Блоком, с. 48—49 и 58—59.
[180] См.: Вяч. Иванов. Кручи. — «Записки мечтателей», 1919, № 1.
[181] Впервые: «Вопросы жизни», 1905, № 9 (ср.: Вяч. Иванов. По звездам, с. 86—102).
[182] О. Дешарт. Введение. — В кн.: Вячеслав Иванов. Собр. соч., т. 1. Брюссель, 1971, с. 163.
[183] Д. Максимов. Поэзия и проза Ал. Блока, с. 449.
[184] См.: Вл. Орлов. Поэма Александра Блока «Двенадцать». Страница из истории советской литературы. М., 1962.
[185] В. М. Жирмунский. Немецкий символизм и современная мистика. СПб., 1914.
[186] Карел Чапек. Об искусстве. Л., 1969, с. 248.

БЛОК И РУССКАЯ СОВЕТСКАЯ ПОЭЗИЯ

Статья М. Ф. Пьяных

1

Судьба поэтических традиций Блока неотделима от истории советской литературы, и в первую очередь от идейно-художественных процессов в русской поэзии на разных этапах ее развития, начиная с периода Великого Октября. Еще при жизни поэта, в революционную эпоху 1917—1921 гг., его художественные и публицистические произведения тех лет, особенно поэма «Двенадцать», вызвали острую литературную полемику, которая свидетельствовала о глубоком социально-политическом и нравственно-эстетическом размежевании среди поэтов и одновременно выявляла сложные, часто прямо противоположные тенденции в их отношениях к творческому наследию Блока в целом, к его значимости в настоящем и будущем.

Среди поэтов, которые не приняли «Двенадцать», были многие символисты: З. Гиппиус, Вяч. Иванов, Ф. Сологуб, В. Брюсов, В. Пяст, большая часть акмеистов и другие. У одних неприятие оказалось устойчивым, непримиримым, у других — преходящим. В записной книжке Блока в числе тех, кто бойкотировал поэму, названа и А. Ахматова. 13 мая 1918 г. он отметил: «Вечер «Арзамаса» в Тенишевском училище. Люба читает «Двенадцать». *Отказались* Пяст, Ахматова и Сологуб» (ЗК, 406).

Блок с неизменным вниманием и сочувствием относился к поэзии Ахматовой («Красота страшна» — вам скажут. . .»). Поэтесса, в свою очередь, посвятила Блоку стихотворение «Я пришла к поэту в гости. . .» (1914). Автор «Двенадцати» высоко оценил патриотическое стихотворение Ахматовой «Мне голос был. Он звал утешно. . .» По свидетельству К. Чуковского, Блок сказал: «Ахматова права. Это недостойная речь. Убежать от русской революции — позор» [1]. В статье 1921 г. «Без божества, без вдохновенья», посвященной критике акмеистов, Блок писал: «Настоящим исключением среди них была одна Анна Ахматова» (VI, 180). Когда автор «Двенадцати» умер, Ахматова посвятила его памяти стихотворение «А Смоленская нынче именинница...», написанное в стиле народного плача. Таким образом, взаимоотношения между двумя поэтами складывались весьма благоприятно, и в свете их бойкотирование Ахматовой «Двенадцати» выглядело если не случайным, то преходящим актом, отнюдь не свидетельствующим о ее принципиальных расхождениях с Блоком. Больше того, начиная с периода Великой Отечественной войны Ахматова в своем творчестве будет активно развивать традиции Блока, а в «Поэме без героя» прямо обратится к опыту «Двенадцати» [2].

В годы революции самым яростным оппонентом поэмы Блока была, несомненно, З. Гиппиус, которую раздражал прежде всего идейный смысл «Двенадцати». Уподобляя в своих стихах революционный народ обезьянам, она не могла примириться с тем, что в поэме Блока красногвардейцы не утрачивали своего человеческого облика и впереди них шел Христос [3].

Идейный разрыв между З. Гиппиус и Блоком подготавливался постепенно. Их дореволюционные взаимоотношения были весьма сложными, неоднозначными и напряженными, отмеченными не только отдельными моментами сближения, особенно в первые годы знакомства, но и — чаще всего — глубокими расхождениями. В неотправленном письме к З. Гиппиус от 18 мая 1918 г. Блок напоминал: «. . . Нас разделил не только 1917 год, но даже 1905-й, когда я еще мало видел и мало сознавал в жизни <. . .>

В наших отношениях всегда было замалчивание чего-то; узел этого замалчиванья завязывался все туже, но это было естественно и трудно, как все кругом было трудно, потому что все узлы были затянуты туго — оставалось только рубить.

Великий октябрь их и разрубил» (VII, 335—336).

У большинства поэтов неприятие «Двенадцати» Блока было в значительной мере обусловлено их враждебным отношением к Октябрьской революции, страхом перед тем, что «темный» народ, разбуженный революцией, уничтожит все плоды национальной культуры и повергнет страну в хаос. По совершенно иным причинам резко отрицательно оценил «Двенадцать» В. Брюсов. Он, как и Блок, принял революцию, но принял по-своему. В дооктябрьскую пору, обращаясь к носителям «губящей стихии», т. е. к тем, кому предстоит уничтожить старый строй, Брюсов солидаризировался с ними в разрушении всего отжившего, но не видел в них созидающего начала, а поэтому заявлял: «Ломать я буду с вами! строить — нет!» [4] После Февральской, а затем и Октябрьской революций позиция Брюсова изменяется: разрушителей старого он призывает работать, строить новое, но при этом не затрагивает проблему их духовно-нравственного преображения, глубоко волновавшую Блока почти на всем протяжении его творческого пути и особенно в период создания «Двенадцати», где она связывается с «христианскими» (не в религиозном, а в нравственном смысле) муками совести красногвардейца Петрухи и демократически интерпретированным, художественно многозначным, трагедийным образом Христа. Брюсов воспринял поэму Блока как чисто религиозную и поэтому счел ее «антиреволюционной по духу» [5].

Широким фронтом после Октябрьской революции шел против Блока акмеистский «Цех поэтов», который еще с 1910-х годов начал полемику с символизмом, а теперь сосредоточил атаки на автора «Двенадцати» и «Скифов». Наиболее активные представители «Цеха поэтов», утверждая так называемое «приятие» жизни, считая «живой водой» искусства парнасцизм, объявили устаревшими, «подержанными», мертвыми не только идеалы «Двенадцати» и «Скифов», но и все миросозерцание и всю поэтику Блока, как якобы проникнутые безысходным трагизмом, «пафосом ликвидации всех человеческих надежд и верований». Автор только что приведенных слов, Г. Адамович, в статье «Смерть Блока» писал: «Для того, кто не ленится читать и понимать стихи Блока, особенно стихи последних лет, смерть его как бы поставила точку над *i* в самых основных вопросах и темах современной поэзии и едва ли показалась неожиданной». «Блок, — продолжал Г. Адамович, — жил последние десять лет, по-видимому, только по инерции. Двигатель его существования давно был остановлен — должно было остановиться и само движение». Полагая, что «после увлечений и розовых мечтаний своих далеких лет» Блок будто бы утратил какую бы то ни было веру в жизнь, что «идеалы Двенадцати слишком уже подержаны», Г. Адамович решительно заявлял: «Русская поэзия сейчас во всем, что есть в ней живого, наследства Блока не принимает» [6]. К такому же выводу приходил и Н. Оцуп: «Продолжения блоковского пути в современной русской поэзии не может быть, если не придавать значения жалкому эпигонству. С Блоком обрывается, вероятно на долгое время, расцвет русского романтизма» [7].

Акмеисты не принимали наследия Блока с антисимволистских, антиромантических позиций, хотя сами, например в лице своего лидера Н. Гумилева, отдали изрядную дань книжно-экзотической романтике. Романтизм Блока был иным. Автор «Двенадцати» считал, что романтизм, как и реализм, явление вечное в искусстве; изменяются только его конкретно-исторические формы, одной из которых в начале XX в. стал русский символизм. Полемизируя с расхожим мнением, согласно которому романтизм якобы оторван от действительности, Блок подчеркивал, что подлинный романтизм преисполнен жажды жизни, что он органически связан с реализмом (VI, 359, 363, 370). Вот этой взаимосвязи романтизма (и символизма) с реализмом, а также многообразия

форм романтизма, их постоянного обновления, нередко проходящего под флагом антиромантизма, не учитывали акмеисты в полемике с поэтикой и миросозерцанием Блока. Считая романтизм обреченным, Н. Оцуп писал, что «темперамент Блока, несмотря на классический уклон третьей книги, чисто романтический, со всеми вытекающими отсюда последствиями» [8].

Акмеисты полагали, что у романтизма нет исторической перспективы, а у Блока могут быть только эпигоны, но не истинные продолжатели его традиций. История русской поэзии в советское время сложилась иначе, чем думали акмеисты. После революции романтизм не прерывается, а у Блока нашлись не только эпигоны, но и подлинные последователи его традиций: в 20-е годы творчество Блока продолжает оказывать большое влияние на Маяковского и Есенина, а с периода Великой Отечественной войны традиции Блока будут подхвачены многими советскими поэтами самых разных поколений, в том числе А. Ахматовой и Б. Пастернаком, П. Антокольским и А. Межировым, А. Вознесенским и Н. Рубцовым.

В революционную эпоху 1917—1921 гг. адепты «Цеха поэтов» полемизировали с Блоком и по вопросу о путях исторического развития новой России, не принимая так называемого «скифства». Характеризуя расхождения между Блоком и «поэтами последних 5—10 лет», т. е. акмеистами, Г. Адамович писал: «Очень неожиданно в это разногласие вмешивается история: если Россия на вызов Петра ответила Пушкиным, то Блоком она отказалась от своего ответа, попыталась зачеркнуть его и потянуться опять в старые азиатские дебри, в азиатскую одурь. Это что-то похожее на измену, и никаким личным очарованием искупить этого нельзя. Скифство как лозунг есть, конечно, один из печальнейших эпизодов в развитии русского сознания. Куда оно ведет? На что оно рассчитывает?» «Осью вращения нашей молодой поэзии, — продолжал Г. Адамович, — ее смыслом и жизнью является решительное и окончательное «приятие» Европы, даже откровенное и долгое еще ученичество, хотя бы и верно было то, что Европа сейчас — только кладбище» [9].

На самом деле Блок не уклонился от вопросов, поставленных революционной Россией, и дал на них, как стало совершенно очевидным теперь, гениальные, пророческие ответы в своей поэтической дилогии — в поэме «Двенадцать» и стихотворении «Скифы». К вопросу о путях развития новой России Блок неоднократно возвращался и в своей философско-публицистической прозе, которая современниками поэта, к сожалению, недооценивалась и даже игнорировалась. Не один С. Бобров утверждал, что будто бы «как критик и публицист Блок не создал ничего заметного» [10]. Между тем статьи, очерки, трактаты, речи и заметки автора «Двенадцати» и «Скифов», развивавшие проблематику его поэтической дилогии, отличались большой глубиной и исторической прозорливостью. Размышляя об исторических судьбах России, он отмечал, что есть два взгляда на ее будущее: «один из них — тот, что Россия — молодая и отсталая страна, которой суждено пойти по пути европейскому». Другой взгляд, разделявшийся и самим Блоком, заключался в том, что «России суждено играть в мире свою особую роль, отличную от Европы, и идти по пути своего, ей одной присущего, развития» (VI, 286—287). Позиция Блока перекликалась с мыслями Пушкина о своеобразии исторических судеб России, высказанными в письме к Чаадаеву [11].

Из акмеистов, пожалуй, только О. Мандельштам сумел по достоинству оценить художественную значимость «Двенадцати» [12] и чуткость Блока к движению русской истории. Он писал: «Не надивишься историческому чутью Блока. Еще задолго до того, как он умолял слушать шум революции, Блок слушал подземную музыку русской истории там, где самое напряженное ухо улавливало только синкопическую паузу» [13].

Историческая и художническая чуткость Блока в период Октября была оценена многими поэтами-современниками: В. Маяковским, А. Белым, М. Кузминым [14], С. Есениным, М. Цветаевой, Н. Клюевым, Н. Асеевым, М. Волошиным, В. Кирилловым, В. Рождественским [15], Н. Павлович [16],

С. Городецким [17] и другими, каждый из которых по-своему был близок к его идейно-художественным устремлениям или по крайней мере в чем-то соприкасался с ними. Близость в данном случае не означала полного совпадения идейных и эстетических взглядов: каждый поэт шел своим путем, утверждая свое индивидуальное мировосприятие, а утверждение собственной поэтической индивидуальности сопровождалось не только преемственностью по отношению к Блоку, но и полемикой с ним по отдельным вопросам. Близость была в главном: в отношении к революции и в ее романтическом восприятии.

Большинство поэтов, тяготевших к Блоку, оказались на стороне революции или в отдельных случаях шли трудными путями к постижению ее исторической значимости. Особенно длинным и трагическим был путь к пониманию революции у М. Цветаевой. Как поэтесса романтического максимализма, она воспевала исключительную личность, осознающую свою обреченность и тем не менее противостоящую обстоятельствам. Такие личности привлекали ее и в истории, и в современности, она стремилась найти их среди защитников «белой» идеи, обреченных на гибель, и это привело Цветаеву к разрыву с родиной на долгие, мучительные для поэтессы годы. Однако уже в ее поэзии революционной эпохи сильно прозвучали мотивы, которые стали своеобразным залогом ее возвращения на родину. Это были стихи о родине, о Степане Разине, цикл «Стихи к Блоку». Образ Блока в лирике Цветаевой не случайно ассоциируется с образом Христа и революционной Россией, автор «Двенадцати» не бросает родину, а «сораспинается» с ней. Позже, в начале 30-х годов, Цветаева писала: «Двенадцать» Блока возникли под чарой. Демон данного часа Революции (он же блоковская «музыка Революции») вселился в Блока <. . .>, а наивная моралистка З. Г<иппиус> потом долго прикидывала — дать или нет Блоку руку, пока Блок терпеливо ждал» [18].

Если не трагическим, как у Цветаевой, то весьма драматическим был путь постижения исторической значимости революции у автора сборника «Демоны глухонемые» М. Волошина, и это сказалось на его восприятии поэмы Блока «Двенадцать». В. Маяковский отмечал, что одни современники Блока прочли в его поэме «сатиру на революцию, другие — славу ей» [19].

М. Волошин был одним из первых и немногих современников Блока, который увидел в его гениальной поэме не просто хвалу революции или памфлет на нее, а почувствовал ее трагедийную коллизию, отметив при этом, что, написав «Двенадцать», Блок не изменил самому себе. М. Волошин утверждал: «Поэма «Двенадцать» является одним из прекрасных художественных претворений революционной действительности. Не изменяя ни самому себе, ни своим приемам, ни формам, Блок написал глубоко реальную и — что удивительно — лирически-объективную вещь. Этот Блок, уступивший свой голос большевикам-красногвардейцам, остается подлинным Блоком «Прекрасной Дамы» и «Снежной маски» [20].

В ту пору, когда многим казалось, что, написав «Двенадцать», Блок изменил себе, кроме Волошина, верно подметил связь поэмы с предшествующим творчеством поэта Н. Асеев [21]. Конечно, ни Волошин, ни Асеев не знали, что сам автор «Двенадцати» отмечал связь поэмы с циклами «Снежная Маска» и «Кармен» (III, 474; VIII, 512).

В интерпретации М. Волошина герои поэмы «Двенадцать» оказываются темными и безликими, способными лишь к разрушению, лишенными каких-либо душевных переживаний, и если в них смутно ощущаются какие-то «святые» человеческие чувства, то они обязаны ими не самим себе, а только Блоку. М. Волошин так и пишет: «Блок уступил свой голос сознательно глухонемой душе двенадцати безликих людей, в темноте вьюжной ночи вершащих свое дело распада и в глубине темного сердца тоскующих о Христе, которого они распинают» [22]. Подобные суждения о народе, разбуженном революцией, были характерны для значительной части русской интеллигенции тех лет. Блок же считал, что «пора перестать прозевывать совершенно своеобычный, открывающий новые дали русский строй души. Он спутан и темен иногда, но

за этой тьмой и путаницей, если удосужитесь в них вглядеться, вам откроются новые способы смотреть на человеческую жизнь» (VI, 28).

Проблема взаимоотношений между интеллигенцией и революционным народом глубоко волновала не только Блока, но и других поэтов, входивших в литературную группу «Скифы», — А. Белого, С. Есенина, Н. Клюева. Взаимное тяготение символистов и так называемых новокрестьянских поэтов друг к другу возникло еще до Октября. Между Клюевым и Блоком существовала переписка, имевшая непосредственное отношение к их идейно-художественным исканиям и приведшая затем к их личным контактам [23]. Блок был первым известным поэтом, к которому обратился за поддержкой молодой Есенин [24]. Их творческие взаимоотношения в годы революции, развитие Есениным блоковских традиций в 20-е годы заслуживают более подробного рассмотрения, и об этом будет сказано особо. Здесь же представляется небезынтересным хотя бы коротко сказать о творческой перекличке между Блоком и писателем из народа Пименом Карповым, автором книги «Пламень», которой Блок в 1913 г. посвятил одноименную статью, проникнутую предчувствием нового революционного взрыва и ощущением драматической коллизии между интеллигенцией и народом.

В 1922 г. Н. П. Карпов выступил как поэт, издав два сборника — «Звезды» и «Русский ковчег». А. Руднев в рецензии на «Русский ковчег» отмечал близость между Карповым и Блоком в изображении народной стихии, разбуженной революцией. Процитировав стихотворение Карпова о «бесшабашном мужике», который говорит:

Сторона ли моя окаянная,
Звездокормчих—хлыстов сторона,
Ты ли, Русь моя обетованная,
На проклятье мне отдана?

Заряжу ружье патронами,
Отточу зазубренный штык
И за пламенными знаменами
Закачусь — бесшабашный мужик!

Сторонитесь, попы долгогривые!
Нипочем теперь мать и отец:
Разгулялось поволье гулливое,
Понакликало свету конец!..

Только голову жаль забубенную...
Не скули, ты, гнусавый набат,
Будто Русь искромсали крещенную
Штык зазубренный, острый булат!

— рецензент писал: «Невольно вспоминается поэма Блока: бесшабашный мужик — один из «Двенадцати», «Пальнем-ка пулей в святую Русь», «Запирайте етажи — нынче будут грабежи» и т. д. Но разительней всего сопоставление заключительных строф «Двенадцати» Блока и «Заклятого цветка» Карпова («Русский ковчег»):

А на заре под шопот тростника,
В степной глуши, дорогой старой ветел
Идет Господь, таинственен и светел,
Чтоб снять заклятье с сердца и цветка.

Поэма Пимена Карпова, как сообщает А. Руднев, была написана и напечатана в газете «Курская жизнь» раньше «Двенадцати» и не была известна Блоку» [25].

Как и в поэме «Двенадцать», проблема духовно-нравственного преображения народной стихии часто связывалась в годы революции многими поэтами, особенно новокрестьянскими и тяготевшими к ним символистами, с демократически осмысленным образом Христа, который в творчестве каждого поэта наполнялся своим особым социальным, этическим, эстетическим и философским содержанием. Наиболее характерной для поэзии революционных лет была такая драматическая коллизия, в которой акт «преображения», акт сотворения нового мира и человека состоял из двух основных частей: сначала разрушение всего старого, в том числе и старой веры, затем — «воскрешение», строительство новой жизни, «Красное Евангелие» (так назвал свой сборник пролетар-

ский поэт В. Князев), творение новых духовных и эстетических ценностей. В этой исторической драме образ Христа — даже в тех случаях, когда он сохранял религиозную окраску, — представал, как правило, символом крушения старого и рождения нового гуманизма.

В поэме А. Белого «Христос воскрес», написанной в апреле 1918 г., т. е. вскоре после «Двенадцати» Блока, преображение России, «облеченной солнцем Жены», «Богоносицы, побеждающей Змия», представлено как мистерия, в которой революционная современность является своеобразным повторением евангельской легенды о распятии и воскрешении Христа. В определенном смысле поэма А. Белого является параллелью к «Двенадцати», в ней есть отдельные мотивы и образы, напоминающие поэму Блока: «очкастый расслабленный интеллигент», произносящий «негодующие слова о значении Константинополя и проливов» [26], напоминает «писателя-витию», брюзжащего о погибели России, но в целом «Христос воскрес» — это бесплотная тень «Двенадцати» [27]. В отличие от А. Белого, в поэме которого преображение России происходит под влиянием духовной силы, находящейся «вне времени» и вне связи с конкретно-исторической психологией русского народа, Блок запечатлел живое борение социальных, нравственных, интимно-личных страстей в «коллективном характере» двенадцати апостолов нового мира, в результате чего евангельская символика в его поэме оказалась не абстрагированной от революционной действительности, как в поэме А. Белого, а органически возникающей из трагедийного преображения «русского строя души».

Известно, что А. Белый с горячим сочувствием отнесся к «Скифам» Блока, но поэма «Двенадцать» и публицистика поэта насторожили его определенностью и решительностью своего революционного пафоса [28]. Вот в этой определенности, решительности и художественной конкретности революционного пафоса Блоку оказался ближе В. Маяковский, чем А. Белый. Правда, Маяковскому, полагавшему, что Блок не выбирал, радоваться ли разрушению старого мира «или стенать над пожарищами» [29], революционная решимость автора «Двенадцати» казалась недостаточно последовательной. Но такая требовательность уже объяснялась не отсутствием необходимого мужества у Блока, а некоторой прямолинейностью Маяковского в трактовке ряда сложных проблем, поставленных революционной эпохой, в том числе проблемы взаимоотношения нового и старого, общего и личного.

Что же касается автора «Двенадцати», то он, не принимая крайностей футуристов, еще до революции стал внимательно присматриваться к ним, в частности к В. Маяковскому, В. Хлебникову, Е. Гуро, а в советское время охарактеризовал их так: «Тянулась война, наступила революция; первой «школой», которая пожелала воскреснуть и дала о себе знать, был футуризм. Воскрешение оказалось неудачным, несмотря на то что футуризм на время стал официозным искусством. Жизнь взяла свое, уродливые нагромождения кубов и треугольников попросили убрать; теперь они лишь изредка и стыдливо красуются на сломанных домах; «заумные» слова сохранились лишь в названиях государственных учреждений. Несколько поэтов и художников из футуристов оказались действительно поэтами и художниками, они стали писать и рисовать как следует; нелепости забылись, а когда-то, перед войной, они останавливали и раздражали на минуту внимание; ибо русский футуризм был пророком и предтечей тех страшных карикатур и нелепостей, которые явила нам эпоха войны и революции; он отразил в своем туманном зеркале своеобразный веселый ужас, который сидит в русской душе и о котором многие «прозорливые» и очень умные люди не догадывались. В этом отношении русский футуризм бесконечно значительнее, глубже, органичнее, жизненнее, чем «акмеизм»; последний ровно ничего в себе не отразил, ибо не носил в себе никаких родимых «бурь и натисков», а был привозной «заграничной штучкой» <. . .> оставаясь в пределах «чисто литературных» (VI, 181).

Маяковский, сильный голос которого еще до революции был услышан Блоком и продолжал привлекать внимание в эпоху Октября, в свою очередь,

находился под обаянием «славнейшего мастера-символиста» [30], одновременно полемизируя с ним, особенно с образом Христа из поэмы «Двенадцать». Не был образ Христа символом духовно-нравственного преображения революционного народа и для пролетарских поэтов, многие из которых в других отношениях испытали на себе влияние поэтики Блока, а В. Кириллов в стихотворении «Поэтам революции», посвященном А. Блоку, писал: «Вы под знамена наши встали, // Чтоб вместе биться до конца» [31]. Стихотворное послание В. Кириллова было замечено Блоком [32] и воспринято в период, когда многие старые ценители его таланта отвернулись от него.

В годы революции Блоку приходилось писать немало отзывов о стихах различных поэтов, в том числе и пролетарских. Особенно обстоятельно он рассмотрел стихи Д. Семеновского, переданные ему на рецензию М. Горьким. Блок отнесся к ним с присущим ему вниманием и требовательностью. Отметив в стихах Д. Семеновского расхожие штампы и заимствования, рецензент вместе с тем выявил в них черты оригинального дарования, которые позволили ему сделать общий вывод: «Много рассеяно в этих стихах признаков живого дарования; многое поется, — видно, что многое и рождается из напева; рифма зовет рифму, иногда — новую, свою» (VI, 344).

М. Горький в сопроводительном письме к отзыву Блока писал Д. Семеновскому летом 1919 г.: «Блоку — верьте, это настоящий — волею божией поэт и человек бесстрашной искренности». А в другом письме добавлял: «Мое к Вам отношение, как к талантливому человеку, было подтверждено А. А. Блоком» (VI, 531).

О внимании Блока к творчеству пролетарских поэтов свидетельствует в своих воспоминаниях Н. Павлович. «Все, что возникало или пыталось возникнуть в годы революции, интересовало его. Таков был, например, его интерес к Пролеткульту до тех пор, пока он не почувствовал «игры». Мне пришлось около двух лет проработать ответственным работником в Пролеткульте (сначала в московском, а потом в самарском) об руку с пролетарскими поэтами, и потому многое могла рассказать Александру Александровичу. Блок знал Петербургский Пролеткульт и относился к нему отрицательно; к идее особой пролетарской культуры — также; но поэты пролетарии его интересовали. В них думал он найти звук той стихии, которая заговорила с ним в 18-м году голосом «Двенадцати».

Ему хотелось видеть в них каких-то новых людей, иной породы, иного мира.

Раз он полушутя спросил меня: «Что ж, они так же влюбляются, как мы?»

Однажды он прочел мою статью в «Творчестве» о пролетарских поэтах, отметил логичность построения, а потом, помолчав, сказал: «А ведь статья ваша им не за здравие».

— Но и не «за упокой. . .»

— Да. . . только они еще не выразители.

Александр Александрович подарил мне свой экземпляр «Монны Лизы» Герасимова. Там есть пометки. Отчеркнуты строфы.

Вся жизнь, вся в бронзовом загаре,
Вся тихоструйный хоровод,
С игрою глаз призывно карих
К нам поступила на завод.

Тебе как мило были рады
И пением твоим пьяны,
Но вот чугунные снаряды
Твоей рукой заряжены.

Блок сказал мне, что это ему нравится <. . .> «Завод весенний» того же поэта ему не нравился, отмечал он влияние Брюсова» [33].

Даже краткий и далеко не полный обзор позволяет судить о том, какой глубокий и разносторонний отзвук вызвало творчество Блока среди поэтов революционной эпохи 1917—1921 гг. Вопреки утверждениям тех, кто связывал физическую смерть автора «Двенадцати» и «Скифов» с полной обреченностью и бесперспективностью его творчества, резонанс от поэзии Блока не затух бесследно в русской советской поэзии, хотя судьба поэтического наследства Блока в 20—30-е годы и была достаточно сложной. Сам Блок в 1920 г. писал: «Произведение искусства оживет в следующем поколении, пройдя, как ему всегда полагается, через мертвую полосу нескольких ближайших поколений, которые откажутся его понимать» (VI, 152). В отчете о лекции А. Белого на тему «Личность и поэзия Блока», прочитанной летом 1927 г., говорилось: «Вывод — Блок сейчас отчасти забыт. Но лектор убежден, что настанет время, когда Блок будет возрожден, как чудесно возрожден в наши дни Пушкин, и тогда он станет тем, кто он есть на самом деле, — одним из величайших наших поэтов» [34].

Как отметил А. Белый, к концу 20-х годов наследство Блока было забыто только отчасти. В течение всего этого десятилетия отзвуки «музыки» Блока, своеобразно преломленные в творческой полемике с ней, продолжали жить в советской поэзии, особенно в произведениях крупнейших поэтов этого времени — В. Маяковского и С. Есенина.

2

Впервые творческие взаимоотношения Блока и Маяковского привлекли к себе внимание литературоведов во второй половине 30-х годов, когда одна за другой появились статьи на эту тему В. Тренина и Н. Харджиева [35], О. Брика [36], А. Метченко, Е. Малкиной, П. Громова, а также воспоминания В. Шкловского и публикация надписей Маяковского на книгах, подаренных Блоку, подготовленная Вл. Орловым. Исследователи неизменно отмечали влияние поэтики Блока на творчество раннего Маяковского. В. Шкловский рассказал о первой встрече поэтов, состоявшейся незадолго до революции [37]. Позднее со слов Маяковского она весьма подробно была описана В. Катаевым в повести «Трава забвенья» со следующими выводами: «Маяковский любил Блока, едва ли не считал его самым великим русским поэтом со времен Пушкина»; «Уверен, что вечно в душе Маяковского жил Александр Блок, тревожа его, заставляя завидовать и восхищаться»; «Блок был совестью Маяковского» [38]. О большой симпатии молодого Маяковского свидетельствовала надпись на книжке «Облако в штанах», вышедшей в 1915 г.: «А. Блоку В. Маяковский. Расписка — всегдашней любви к его слову» [39].

А. Метченко, автор одной из первых статей о влиянии Блока на раннего Маяковского, полагал: «Влияние Блока на Маяковского в основном прекращается к 1917 г. Новые условия революционной эпохи настойчиво диктуют поиски нового поэтического метода, глубоко отличающегося от блоковского. Высоко ценя Блока и благоговейно относясь к его памяти, Маяковский считает теперь его значение исчерпанным» [40]. Однако факты свидетельствуют о другом. В статьях Е. Малкиной и П. Громова убедительно говорилось о том, что влияние Блока продолжало сказываться и на творчестве Маяковского советского времени, в особенности на поэме «Хорошо!». «В сознании Маяковского, и раннего и зрелого, Блок всегда оставался крупнейшей поэтической величиной, — писал П. Громов. — К культурному наследству Маяковский вообще относился иначе, чем это может показаться на первый взгляд. И именно потому, что Блок был наиболее дорог Маяковскому из всех его поэтов-современников, именно поэтому Маяковский зрелый, Маяковский, поэтически подводящий итоги революции, должен был вспомнить Блока» [41]. Позднее Е. И. Наумов [42], И. С. Правдина, В. О. Перцов, Э. А. Шубин выявили влияние Блока не только на поэму «Хорошо!», но и на произведения Маяковского революционной эпохи 1917—1921 гг. — «Мистерию-буфф» и «150 000 000».

Маяковский в советское время развивал традиции Блока, полемизируя с ними, вступая постоянно в творческий спор с автором «Двенадцати».

Интерес к творческому спору двух великих поэтов революционной эпохи возрождается с 60-х годов. Отмечая расхождения между ними, исследователи теперь одновременно стремятся указать на моменты их сближения, не скрывая, что в полемике с Блоком правота отнюдь не всегда была на стороне Маяковского. И. С. Правдина писала: «Никак нельзя согласиться со словами Маяковского о том, что Блок не выбрал — радоваться ли разрушению старого мира или оплакивать его развалины»[43]. Известный исследователь жизни и творчества Маяковского В. О. Перцов, рассматривая седьмую главу поэмы «Хорошо!», в которой Маяковский рассказал о своей встрече с Блоком в революционном Петрограде, отмечал, что «в трактовке отношения Блока к революции Маяковский допустил упрощение, связанное с тем, что автор «Хорошо!» не чувствовал проблемы интеллигенции и революции»[44].

Стремление исследователей выявить идейно-художественные тенденции, не только разделяющие Блока и Маяковского, но и сближающие их, является весьма плодотворным, однако в тех случаях, когда близость двух поэтов трактуется как полное совпадение их взглядов, творческая индивидуальность каждого из них стирается. Ю. Давыдов, приведя высказывания Блока о том, что от искусства, которым дорожила старая цивилизация, «может быть, не останется ничего», а «останется, несомненно, только то, что усердно гнала и преследовала цивилизация, — дух музыки», предполагает, что «в этом пункте с ним полностью солидаризовался бы и Маяковский первых лет революции»[45]. Такое предположение ошибочно. Известно, что в годы революции Блок придавал большое значение классическому искусству, духом которого были проникнуты и его «Двенадцать», и «Скифы» (VII, 350). Даже в максималистски заостренном высказывании, процитированном Ю. Давыдовым, Блок присутствует. А мысль, что произведения старого искусства, несущие в себе «дух музыки», останутся жить (VI, 109).

Главным предметом спора для Маяковского была блоковская концепция социального и нравственного преображения «русского строя души» в революционную эпоху. З. Паперный справедливо заметил: «К поэме «Двенадцать» Маяковский обращался, мысленно спорил с ней всю жизнь»[46]. Особенно настойчиво Маяковский полемизировал с образом Христа в ней. По воспоминаниям современников, поэт, декламируя финал «Двенадцати», вместо слов «Исус Христос» шутливо произносил «Абрам Эфрос» или «Луначарский-наркомпрос». И уже вполне серьезно Маяковский спорил с блоковским Христом в своем поэтическом творчестве.

Э. Шубин отмечает, что «ассоциативные переклички с «Двенадцатью» и в то же время полемика с ними началась еще в «Мистерии-буфф». Если красногвардейцы Блока стреляли в Христа, «не ведая, что творят», то «нечистые» Маяковского, увидев «Человека просто», идущего к ним по воде, и решив, что это Христос, ни за что не желают с ним встречи». Исследователь обращает внимание на особенности художественного обобщения, проявившиеся в образе Христа из «Двенадцати» Блока и в образе Ивана, поставленном Маяковским в «150 000 000» на место Христа: «Иван внутренне множествен и поэтому неуязвим и бессмертен так же, как «от пули невредим» Христос Блока. Но если Христос в «Двенадцати» проницаем, невещественен, то Иван сугубо материален»[47].

Интересные наблюдения Э. Шубина требуют некоторых уточнений. В «Мистерии-буфф» далеко не все «нечистые» не желают встречи с «Человеком просто», принятым ими вначале за Христа. «Не надо его!» — говорит Батрак. Он же заявляет: «Ни с места! А то рука подымется. Эй, кто ты?» В словах Батрака угадываются вопросы и угрозы из финала «Двенадцати»: «Эй, откликнись, кто идет?», «Выходи, стрелять начнем!». У других «нечистых» — Шофера, Плотника, Кузнеца, Швеи — отношение к человеку, идущему

«по воде, что по суху», несколько иное, чем у Батрака, а Швея и впрямь готова признать его за Христа.

Эта сцена в «Мистерии-буфф» полифонична, как и финал «Двенадцати», но смысл многоголосия у Блока и Маяковского различен. Для блоковских красногвардейцев идущий впереди них «невидим», и они даже не предполагают, что им может быть Христос — ведь они «идут без имени святого // Все двенадцать — вдаль». «Нечистые» Маяковского, кое-кто из которых выражает недовольство Христом, вначале не сомневаются, что идет к ним именно он. Блоковские красногвардейцы уже забыли о церковном Христе с «золотого иконостаса», отреклись от него, и только поэт, причастный к их «коллективной душе», видит впереди них Христа, но уже не Христа «толстопузых попов», а Христа мятежного, символизирующего трагический строй души апостолов нового мира.

«Человек просто» Маяковского, в котором легко узнаются черты лирического героя поэта, наделенного свойствами пророка, идет к «нечистым», чтобы сказать им:

> На пророков перестаньте пялить око,
> взорвите все, что чтили и чтут.
> И она, обетованная, окажется под боком —
> вот тут!
> Конец.
> Слово за вами. Я нем.

Новый пророк, «Человек просто», призывает «нечистых» отвергнуть вместе со всем, «что чтили и чтут», и старых пророков, а исполнение своих пророчеств возлагают не на Христа, а на самих «нечистых». «Человек просто» исчезает, а Кузнец и Батрак тут же почувствовали его в себе: «*Кузнец*: По-моему, он во мне. *Батрак*: Думаю, заблагорассудилось и в меня ему. . .» Хотя остальные «нечистые» еще не понимают вполне «кто он?», «зачем он?», они все идут вперед, провозглашая: «Мы сами себе и Христос и спаситель!»

В поэме «150 000 000» (1919—1920) полемика Маяковского с блоковским Христом вступает в новую фазу. То растворение «Человека просто» в «нечистых», о котором говорилось в «Мистерии-буфф», теперь приводит к созданию образа «единого Ивана», объединяющего в себе стопятидесятимиллионное население революционной России и лирическое «я» самого поэта. «Единый Иван» — это «боже из мяса — бог-человек», явившийся по зову миллионов «безбожников, язычников и атеистов». Подобно Христу, «на берег выходит Иван в Америке, сухенький, даже ног не замоча».

Если в «Мистерии-буфф» «нечистые», объединившись вместе и почувствовав, что они теперь «сами себе и Христос и спаситель», сохраняли пусть маленькие, едва различимые индивидуальные черточки, то у ста пятидесяти миллионов, воплотившихся в «единого Ивана», этих черточек уже совсем нет. Растворяется в общей массе и сам поэт. Он даже заявляет в начале поэмы, отрекаясь от своего авторства: «*150 000 000 мастера этой поэмы имя*», хотя, конечно, его скрытое присутствие ощущается постоянно.

Напомним, что в поэме «Двенадцать» с ее «коллективным характером» Блок, в ряде моментов сливая свой голос с голосами красногвардейцев, вместе с тем не отрекается от «музыки» своего лирического «я». Держа «революцьонный шаг», не утрачивает индивидуальных особенностей и красногвардеец Петруха. Его личные, глубоко интимные переживания находятся в сложной взаимосвязи с «революцьонным шагом» красногвардейцев и вместе с ним проецируются в символическом образе Христа.

Спор Маяковского с Блоком свидетельствовал о том, что на место бесплотного блоковского Христа, в образе которого выразилось определенное внутреннее, духовное содержание революционной эпохи, Маяковский неизменно стремился поставить конкретно осязаемые, реально действующие социально-исторические силы: «семь пар нечистых», «единого Ивана», «людей из-за угла»

и т. п. Надо заметить, что подобные силы, хотя и без той степени материализации, без той социально-исторической конкретизации, как у Маяковского, были представлены и у Блока в «революцьонном шаге» двенадцати красногвардейцев, только Блок в отличие от Маяковского с самого начала сосредоточил преимущественно внимание на их внутреннем, духовно-нравственном, драматически-сложном мире, который все сильнее стал приоткрываться и Маяковскому.

Стихия интимно-личных чувств раскрывается у Маяковского в поэме «Про это». Что же касается стихии природно-вселенской, то ее след в творчестве Маяковского мало заметен. В этом плане показателен хотя бы такой факт. Если блоковское представление о гармонии, воплощенное в образе Прекрасной Дамы, было связано с миром природно-вселенской стихии, то представление Маяковского о гармонии будущего, воплощенное в образе Фосфорической женщины из пьесы «Баня», связано с научно-техническими достижениями нового общества: Фосфорическая женщина как «делегатка 2030 года» прибывает из будущего в настоящее на «машине времени».

Революционная эпоха была сложной и многогранной. Блок и Маяковский смогли, каждый по-своему, запечатлеть в художественных произведениях эту сложность и многогранность потому, что они были разными по своим творческим индивидуальностям и в то же время едиными в утверждении величия и всемирно-исторической перспективности нового мира.

В идейно-художественной полемике с Блоком развивал его традиции и другой поэт — С. Есенин. Начавшиеся до революции контакты с Блоком многое значили для молодого Есенина. Общение поэтов возобновляется в первые месяцы Советской власти. К этому времени Есенин познакомился с Р. В. Ивановым-Разумником и А. Белым — руководителями литературной группы «Скифы», которые имели на него большое влияние. Андрею Белому он посвящает поэму «Пришествие», а Иванову-Разумнику — поэму «Преображение».

В 1925 г., вспоминая начало своего творческого пути, Есенин отмечал: «Из поэтов-современников нравились мне больше всего Блок, Белый и Клюев. Белый дал мне в смысле формы, а Блок и Клюев научили меня лиричности» [48]. В период «скифства» происходит самоопределение Есенина как поэта, он много читает, приобретает много новых знаний, интеллектуально развивается, прислушивается к суждениям эрудированных литераторов, стремится овладеть секретами поэтической формы. Что же касается «лиричности», то ему кажется, что он уже овладел ею, и он на время утрачивает интерес к Блоку и больше того — начинает его оценивать весьма критически. Только в 20-е годы, когда Есенин прошел через полосу формальных исканий, оказалось, что в его поэзии подспудно углублялись блоковские воздействия, которые по-разному обнаружили себя в «Москве кабацкой», «Песне о великом походе», стихах о родине, «Черном человеке». В период «скифства» эти воздействия не были непосредственно ощутимыми, они перекрывались другими влияниями, Андрея Белого в частности. Стремясь утвердиться в своем глубоко национальном восприятии жизни, восприятии по преимуществу конкретно-чувственном, осязаемо-предметном, зрительно-живописном, Есенин полемически отрицает то в поэзии Блока, что он именует западным, голландским и, как бы ни выглядело это парадоксально, бесформенным.

4 января 1918 г. Блок в дневнике записал то, «о чем вчера говорил Есенин (у меня)». Это исповедь «открывающегося» Есенина, в которой он говорил о себе, о своем отношении к другим «скифам», а главное — о своем понимании творчества, нашедшем потом отражение в его поэзии и статьях той поры. Блок приводит слова Есенина, обращенные к нему:

«Вы — западник.

Щит между людьми. Революция должна снять эти щиты. Я не чувствую щита между нами» (VII, 313).

Проблема снятия «щитов» между интеллигенцией и народом, стихией и культурой, Востоком и Западом, плотью и духом, национальным и интернациональным была одной из центральных в творчестве «скифов». Если несколько ранее, в письме Ширяевцу от 24 июня 1917 г., Есенин, имея в виду писателей-интеллигентов, «романцев», «западников», в том числе и Блока, считал, что «сближение наше с ними невозможно» [49], то теперь он говорит Блоку: «Я не чувствую щита между нами». В это время Есенин уже испытал влияние другого, условно говоря, «западника» — А. Белого. Блок заметил, что, говоря о взаимоотношениях между интеллигенцией и народом, читая стихи, Есенин — вероятно непреднамеренно — повторял интонации и жесты А. Белого: «жест наверх; вообще — напев А. Белого — при чтении стихов и в жестах, и в разговоре» (VII, 313).

Однако если «западничества» Белого Есенин как бы не замечал или, во всяком случае, не принимал его в расчет, то «западничество» Блока, как показало ближайшее будущее, его несомненно раздражало. В мае 1921 г. в письме Иванову-Разумнику, отметив вначале: «мне кажется, что Вы, по-видимому, обиделись на что-то, уж не за Клюева ли и мое отношение к нему? Не за Блока ли?» — Есенин продолжал: «Я очень много думал, Разумник Васильевич, за эти годы, очень много работал над собой, и то, что я говорю, у меня достаточно выстрадано. Я даже Вам в том письме не все сказал, по-моему, Клюев совсем стал плохой поэт, так же как Блок. Я не хочу этим Вам сказать, что они очень малы по своему внутреннему содержанию. Как раз нет. Блок, конечно, не гениальная фигура, а Клюев как некогда пришибленный им не сумел отойти от его голландского романтизма, но все-таки они, конечно, значат много. Пусть Блок по недоразумению русский, а Клюев поет Россию по книжным летописям и ложной ее зарисовке всех проходимцев, в этом они, конечно, кое-что сделали. Сделали до некоторой степени даже оригинально. Я не люблю их, главным образом, как мастеров в нашем языке.

Блок — поэт бесформенный, Клюев тоже. У них нет почти никакой фигуральности нашего языка» [50].

Итак, Есенин не принимает Блока (и находящегося под его влиянием Клюева) прежде всего как мастера слова (в узком, формально-поэтическом значении этого понятия). Что же касается «внутреннего содержания» поэзии Блока, то его значительности Есенин не отрицает. Есенина раздражает «голландский романтизм», которым Блок «пришиб» Клюева. Под «голландским романтизмом» Есенин, очевидно, имел в виду некоторую отвлеченность духовного идеала, которая, однако, у Блока чаще всего органически, «музыкально», тонко и сложно сопрягалась с предметной конкретностью мира, с его плотью, с живой стихией чувств и переживаний. Клюев с его догматизмом подобной органичности достигал далеко не всегда, в результате чего в его поэзии конкретная изобразительность часто не вступала в живую взаимосвязь с «книжной» отвлеченностью.

Вот эта «книжная» отвлеченность и не нравилась Есенину, который постоянно стремился к «выявлению органического» [51], «любил на этом свете все, что душу облекает в плоть» [52]. Если у Блока Христос, являющийся символом духовно-нравственного преображения апостолов нового мира, не идет, а как бы парит: «Нежной поступью надвьюжной, // Снежной россыпью жемчужной, // В белом венчике из роз. . .», — то у Есенина крестьянский, преображенный Спас едет на кобыле, а поэт заявляет: «Не хочу я небес без лестницы», «обещаю вам град Инонию, где живет божество живых». Стремясь все духовное облечь в плоть национальной, народно-поэтической образности, связанной с миром природы и крестьянской жизни, используя для этого «фигуральность нашего языка», Есенин воспринимал блоковский романтизм как «голландский» и «бесформенный».

Отношение Есенина к поэзии Блока в период «скифства» было, как видим, во многом полемическим, и надо признать, что эта полемичность способство-

вала поэтическому самоопределению Есенина. После смерти Блока Есенин время от времени продолжает полемизировать с некоторыми сторонами его наследия, но при этом заявляет: «Я очень люблю и ценю Блока. . .» [53]. Действительно, в 20-е годы, когда Есенин самоопределился как поэт, в его творчестве начинает ощущаться более глубокое и органичное, чем раньше, восприятие Блока, не заслоняющее есенинской самобытности, а, наоборот, способствующее более полному ее выявлению.

Есенин говорил, что чувство родины является основным в его творчестве. В развитии этого чувства немалую роль сыграла патриотическая лирика Блока. В стихах Есенина о родине центральными являются мотив «пути», «дороги», «жизни-стези», образ покинутого «отчего дома», в которых поэт по-своему продолжал блоковскую тему «бездомности» и странничества (см. стихотворения Блока «Осенняя воля» и другие). «Не один я в этом свете шляюсь, // Не один брожу», — скажет Есенин в 1917 г., а в 1925 г. повторит: «Все мы бездомники. . .». В начале XX в., когда особенно заметно стали разлагаться старые устои жизни, рваться старые связи и возникла необходимость в поисках чего-то нового, традиционный для русской поэзии образ пути-дороги приобретает современный смысл, связывается с мотивом особого рода «бездомничества»: «домом» становится вся родная страна, странники ищут приюта в ее «далях необъятных». Этот мотив «бездомничества» нашел свое выражение в лирике символистов (А. Белый, А. Блок) и в лирике целого ряда крестьянских поэтов.

В книге стихов «Москва кабацкая» отношение Есенина к «отчему дому» драматизируется. «Да! Теперь решено. Без возврата // Я покинул родные поля. . . // Низкий дом без меня ссутулится». Это — с одной стороны, но с другой — мечта «блудного сына» деревни о возвращении к отчим местам: «А сейчас, как глаза закрою, // Вижу только родительский дом».

Место и значение «Москвы кабацкой» в творческом развитии Есенина 20-х годов можно сравнить с местом и значением второго тома лирики в эволюции Блока, а отчасти — с местом и значением цикла «Страшный мир» в третьем томе лирики Блока. Как у Блока второй том, так по-своему у Есенина «Москва кабацкая» была одновременно свидетельством глубокого духовного кризиса и выхода из него. У обоих поэтов кризис был вызван столкновением романтического идеала (у Блока — идеала Прекрасной Дамы, у Есенина — идеала крестьянской Инонии) с реальной действительностью. В результате развития кризисной ситуации лирика того и другого поэтов драматизируется, в ней появляются мотивы внутренней раздвоенности, былая «однострунность» души, как говорил Блок, сменяется многострунностью. Поиски выхода из драматической ситуации заставляют поэтов острее ощутить связь, если так можно сказать, сюжета индивидуальной судьбы с сюжетом истории и приводят к усилению эпико-повествовательного начала в их творчестве.

Блок, начинавший со «Стихов о Прекрасной Даме», во втором томе лирики приходит к теме родины; у Есенина, для которого эта тема была основной с самого начала, она после «Москвы кабацкой» углубляется, а вместе с ее углублением появляется новая для поэта тема — тема любовная, развивающаяся во многом в духе любовной лирики Блока. Именно в пору «Москвы кабацкой» Есенин заявляет: «В первый раз я запел про любовь, // В первый раз отрекаюсь скандалить».

Процесс духовно-нравственного преображения и просветления, характерный для книги «Москва кабацкая», прежде всего связан с любовью к женщине, о которой у Есенина сказано: «Твой иконный и строгий лик // По часовням висел в рязанях». Любовь просветляет душу и песни поэта: «Я на эти иконы плевал, // Чтил я грубость и крик в повесе, // А теперь вдруг растут слова // Самых нежных и кротких песен». Образ женщины, которую сам поэт называет «молодая красивая дрянь», уступает место образу другой женщины, которая приходит к нему, «как спасение»: «Это золото осеннее, // Эта прядь волос белесых — // Все явилось, как спасение // Беспокойного

повесы». О той роли, которую сыграл светлый женский образ в духовно-нравственном преображении поэта, хорошо сказал он сам в стихотворении «Вечер черные брови насопил. . .», которое завершает цикл «Любовь хулигана» в книге «Москва кабацкая»;

Может, завтра совсем по-другому
Я уйду, исцеленный навек,
Слушать песни дождей и черемух,
Чем здоровый живет человек.

Позабуду я мрачные силы,
Что терзали меня, губя.
Облик ласковый! Облик милый!
Лишь одну не забуду тебя.

В новом преломлении мотивы духовно просветляющей любви и чувственной страсти, определившиеся в «Москве кабацкой», получили развитие в лирике Есенина 1924—1925 гг., в частности в цикле «Персидские мотивы», а также в поэме «Черный человек». Сам Есенин указывал, что он испытал в поэме «Черный человек» влияние маленькой трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» [54]. Вместе с тем на этой поэме Есенина сказалось и влияние Блока, в частности его стихотворения «Двойник» из цикла «Страшный мир». Рассказ о встрече со своим двойником Блок завершал вопросом: «Быть может, себя самого // Я встретил на глади зеркальной?»

«На глади зеркальной» встречается со своим двойником — «черным человеком» — и Есенин, только его встреча оказалась более драматичной, чем в стихотворении Блока: «Я взбешен, разъярен, // И летит моя трость // Прямо к морде его, // В переносицу. . .».

Оказавшись в «узком промежутке», Есенин один из выходов ищет в обращении к эпико-повествовательной, историко-революционной теме. Спасаясь от «зол и бед» богемы, он начинает чувствовать: «созрел во мне поэт // С большой эпическою темой». Поэт в эту пору, по его словам, завидует тем, «Кто жизнь провел в бою, // Кто защищал великую идею». Эта «зависть» привела поэта к созданию «Баллады о двадцати шести», «Песни о великом походе», «Поэмы о 36», «Анны Снегиной»... Можно, вероятно, говорить о некотором влиянии на «Песнь о великом походе» поэмы Блока «Двенадцать». Оно сказалось не только в изображении народной революционной стихии, в использовании частушечных ритмов («Ах, рыбки, мои, // Мелки косточки! // Вы, крестьянские ребята, // Подросточки. // Ни ногатой вас не взять, // Ни резанами, // Вы гольем пошли гулять // С партизанами»), но и в раскрытии основной идеи «Песни. . .». Есенин, подобно Блоку, воспринимает революцию как народное возмездие старому миру, в частности той государственности, символами которой были царь Петр и основанный им Питер-град. На месте разрушенной старой государственности «вольный люд» утверждает свою «державность», если говорить словами Блока.

Многогранные и сложные творческие взаимоотношения Есенина и Блока сравнительно недавно стали предметом внимания литературоведов [55]. Несомненно, что их дальнейшее изучение будет способствовать более глубокому восприятию как творчества Блока и Есенина, так и поэзии революционной эпохи в целом.

3

Если в 20-е годы традиции Блока продолжали развиваться такими крупными поэтами, как Маяковский и Есенин, а отчасти и Пастернаком [56], то в 30-е годы влияние поэзии Блока сходит почти на нет.

Сыграла определенную роль в отрицании значения традиций Блока вульгарно-социологическая критика. А. Селивановский, который, по словам

людей, близко его знавших, «горячо любил Блока, мог по первой строчке припомнить и прочесть наизусть любое его стихотворение» [57], тем не менее в 30-е годы убеждал своих современников: «Был поэт Александр Блок. Многие стихи его будут забыты, ибо изменился состав социального воздуха, вбираемого нашими легкими <. . .> Характер его эмоций и интонации его сейчас далеки от нас более чем когда-либо» [58].

И все же традиции Блока не умерли. Начиная с периода Великой Отечественной войны они стали постепенно возрождаться, и едва ли не решающую роль в их возрождении сыграло углубление интимно-лирических мотивов, развитие личностного начала в советской поэзии. Усиление «интимности» сказалось не только в возрождении любовной лирики, но и в патриотических чувствах советских поэтов военных лет. Интимное отношение к общему, к родной земле, к ее истории и культуре способствовало пробуждению блоковской «музыки» в советской поэзии. Интонации и образы Блока ощущаются в эти годы в патриотической лирике П. Антокольского, А. Прокофьева, Н. Рыленкова, А. Суркова, М. Алигер, других поэтов.

Н. Рыленков позднее так говорил о своем восприятии Блока: «У каждого крупного художника есть такие произведения, в которых, как в фокусе, собраны все особенности его таланта и которые поэтому являются ключом ко всему его творчеству, как бы разнообразно оно ни было <. . .> В творчестве Александра Блока такими произведениями являются его стихи о родине начиная с цикла «На Поле Куликовом» и кончая поэмами «Двенадцать» и «Скифы» <. . .> Если бы мы не знали стихов Блока о России, для нас многое осталось бы непонятным в его любовной лирике, хотя в этой области у него есть образцы, равных которым не много во всей мировой поэзии <. . .> Для меня настоящий Блок — это Блок третьего тома, Блок стихов о России. С этим томом у меня связаны самые лучшие воспоминания юности. Этот том я пронес в полевой сумке по самым трудным дорогам войны» [59].

Постепенно возраставший интерес советских поэтов к творческому наследию Блока особенно проявился сразу после окончания войны, когда отмечалось 25-летие со дня смерти поэта. В 1946 г. выходят «Сочинения в одном томе» и «Полное собрание стихотворений» Блока в двух томах. Со стихами и воспоминаниями о Блоке выступают А. Ахматова, Вс. Рождественский, М. Дудин и другие поэты. Номер «Литературной газеты» от 10 августа 1946 г. целиком посвящается памяти Блока. П. Антокольский в статье «Совесть русской поэзии» отмечал: «Основной центральный узел блоковских раздумий там, где соприкасается поэзия и жизнь, личность и общество, сегодняшний день и вся история».

В этом же номере «Литературной газеты» Вл. Орлов в статье «Блок и советская культура» писал о возрождении блоковских традиций в лирической поэзии: «В последнее время влияние Блока заметно возросло; примером этому может служить творчество многих самых разных поэтов, у которых особенно ощутимыми стали не столько типичные для Блока образы и интонации, сколько основные принципы его художественного метода».

Вл. Орлов, к сожалению, не назвал поэтов, которые в середине 40-х годов обратились к блоковским традициям. Будь они названы, то среди них прежде всего оказались бы А. Ахматова и Б. Пастернак, которые в своем творчестве 20—30-х годов больше отталкивались от наследия Блока, испытывая, если так можно сказать, лишь его «реликтовое» влияние, а начиная с периода Великой Отечественной войны стали активно и сознательно развивать традиции своего старшего современника.

О своих встречах и взаимоотношениях с автором «Снежной маски» и «Двенадцати» в дооктябрьский период и в годы революции А. Ахматова рассказала в «Воспоминаниях об Александре Блоке» [60].

Творческие связи Ахматовой с поэзией Блока по своему характеру и направленности существенно изменялись в движении времени. Не только в ранней, дооктябрьской лирике, но и в лирике 20—30-х годов Ахматова

в основном противостояла Блоку. Д. Е. Максимов справедливо отмечал: «По своему духу и поэтике Ахматова, особенно в ранний период, была далека от Блока и шла собственным путем. Поэзию Ахматовой соединяла с поэзией Блока не столько явная преемственность, творческая эстафета, сколько диалектическая связь — *зависимость, проявляющаяся в отталкивании и преодолении*» [61].

Сходные мысли высказывал и В. М. Жирмунский. «Она (Ахматова. — *М. П.*) любила стихотворения Блока, несмотря на полярность творческих методов (теоретические манифесты акмеистов были прежде всего направлены против символизма Блока), но, и отталкиваясь от Блока, она вместе с тем бессознательно и невольно не раз подпадала под чарующее влияние его любовной лирики» [62].

В. М. Жирмунский не уточнял, в каких именно стихах и какого времени Ахматова подпадала под чарующее влияние любовной лирики Блока. Внимательное изучение ее раннего «лирического романа» (термин Б. Эйхенбаума) и поздней интимной лирики с ее мотивами «любви бессмертной», «высокой и тайной любви», любви-«невстречи» позволит, вероятно, более конкретно представить степень зависимости Ахматовой от Блока в этой области поэзии.

Особенно ощутимыми блоковские традиции становятся в «Седьмой книге» Ахматовой [63], т. е. в 40—60-е годы, когда Блок входит в ее творчество как «человек-эпоха». Она отмечала: «Как человек-эпоха попал в мою поэму «Триптих» [64], т. е. в «Поэму без героя». В. М. Жирмунский приводит еще одно аналогичное высказывание Ахматовой: «Блока я считаю не только величайшим поэтом первой четверти XX в., но и человеком-эпохой, т. е. самым характерным представителем своего времени» [65]. Как «трагический тенор эпохи» и «памятник началу века» Блок предстает и в посвященных ему «Трех стихотворениях».

Несомненно, что в ощущении сложного контрапункта между личным и общим, в развитии чувства историзма, которое с начала 40-х годов все больше обостряется в поэзии Ахматовой, традиции Блока сыграли весьма существенную роль. Известно, что для Блока было характерно музыкальное восприятие человека и времени. Поэтика Ахматовой до Великой Отечественной войны во многом определялась изобразительностью и пластичностью. Примерно с того времени, когда в поэзии Ахматовой началось углубление историзма и усилилось внимание к Блоку, отчетливо обозначился интерес поэтессы к музыке. В беседе с корреспондентом АПН А. Авдеенко она говорила: «Вначале самым любимым искусством была архитектура. Последние двадцать лет я все больше и больше люблю музыку. Она мне очень нужна. Просто необходима» [66].

Музыкальное пробуждение души («Тростник оживший зазвучал») оказало глубокое влияние на мировосприятие Ахматовой (см., например, стихотворения «Маяковский в 1913 году», «Когда погребают эпоху» и др.), на ее поэтику (см. стихотворения «Творчество» и «Поэт» из цикла «Тайны ремесла»).

Особенно близкой Ахматовой оказалась трагедийная «музыка» Блока. Имея в виду ее позднее творчество, Д. Е. Максимов справедливо отмечал: «Можно утверждать, что в поэзии Ахматовой в это время по-новому оживает трагический опыт Блока, его тема «страшного мира» и атмосфера, окружающая эту тему («Он прав — опять фонарь, аптека»). По-видимому, также в период «Поэмы без героя» и прежде всего в самой поэме для Ахматовой оказались важными характерные для Блока тема «возмездия», «арлекинада», мотивы двойников, «зеркальности», а, может быть, в какой-то мере и блоковская гражданственность» [67].

Из общего трагедийного восприятия Блока как «человека-эпохи» выделяется мажорным тоном только первое из «Трех стихотворений» Ахматовой — «Пора забыть верблюжий этот гам. . .», написанное в 1944 г. Оно связано с возвращением поэтессы из Ташкента в Москву, в Россию, и восприятие

«широкой осени московской», восприятие родины у нее сливается с образом молодого Блока.

Пора забыть верблюжий этот гам
И белый дом на улице Жуковской.
Пора, пора к березам и грибам,
К широкой осени московской.
Там все теперь сияет, все в росе.
И небо забирается высоко,
И помнит Рогачевское шоссе
Разбойный посвист молодого Блока. . .

В годы войны многие советские поэты воспринимали Блока через его патриотическую лирику, через национальные мотивы его творчества. Через эти мотивы началось и новое ахматовское восприятие Блока. Однако в эту пору для нее близким оказался не столько Блок цикла «На Поле Куликовом» с его историческими ассоциациями и предчувствием «начала высоких и мятежных дней», сколько Блок «Осенней воли» (это стихотворение помечено: «Июль 1905. Рогачевское шоссе»), где свободный, юный, статный поэт выходит «в путь, открытый взорам», ищет приюта в родных просторах, остро воспринимает русскую природу.

Во втором из «Трех стихотворений» Ахматовой — в стихотворении «И в памяти черной, пошарив, найдешь. . .», написанном в 1960 г., представлен Блок середины 10-х годов с его предчувствием «неслыханных перемен, невиданных мятежей. . .». Здесь он похож на «Демона. . . с улыбкой Тамары», каким он выведен в «Поэме без героя», и охарактеризован как «трагический тенор эпохи»:

И в памяти черной, пошарив, найдешь
До самого локтя перчатки,
И ночь Петербурга. И в сумраке лож
Тот запах и душный, и сладкий.
И ветер с залива. А там, между строк,
Минуя и ахи и охи,
Тебе улыбнется презрительно Блок,
Трагический тенор эпохи.

Третье стихотворение — «Он прав — опять фонарь, аптека. . .», написанное в 1946 г. и тогда же прочитанное Ахматовой на вечере памяти Блока в Большом Драматическом театре, рисует поэта в тот момент,

Когда он Пушкинскому Дому,
Прощаясь, помахал рукой
И принял смертную истому
Как незаслуженный покой.

Композиция «Трех стихотворений», тот порядок, в каком они расположены, передает последовательность и историко-психологическую окраску трех периодов в жизни и творчестве Блока. Ахматовское восприятие этих периодов весьма своеобразно и не во всем совпадает с характером различных периодов в творчестве Блока. Стихотворения о Блоке писались не в том порядке, в каком они расположены композиционно. Хронология цикла отражает в себе и различные, исторически обусловленные, внутренние состояния самой Ахматовой. Структура и поэтический строй цикла художественно воплотили в себе связь и различие двух эпох: эпохи Блока, которую захватила и сама Ахматова, и эпохи послеблоковской, современницей которой была уже только Ахматова.

Драматический контрапункт двух эпох еще более широко и глубоко раскрыт в «Поэме без героя». Ахматова здесь смотрит на прошлое «из года

сорокового» и последующих лет. Сюжет поэмы развертывается на фоне предвоенного Петербурга 1913 г., на фоне тревожного времени, когда «по набережной легендарной // Приближался не календарный — // Настоящий Двадцатый Век». Участниками новогоднего маскарада, который в определенном смысле можно назвать историческим, являются многие современники Ахматовой тех лет, в том числе Маяковский. Ахматова изображает тех, кого она считает в том или ином плане характерными для эпохи. Несомненно, среди действующих лиц весьма заметен Блок.

Как парадно звенят полозья
И волочится полость козья. . .
Мимо, тени! — Он там один.
На стене его твердый профиль.
Гавриил или Мефистофель
Твой, красавица, паладин?
Демон сам с улыбкой Тамары,
Но такие таятся чары
В этом страшном дымном лице:
Плоть, почти что ставшая духом,
И античный локон над ухом —
Все таинственно в пришлеце.

Это он в переполненном зале
Слал ту черную розу в бокале,
Или все это было сном?
С мертвым сердцем и мертвым взором
Он ли встретился с Командором,
В тот пробравшись проклятый дом?
И его поведано словом,
Как вы были в пространстве новом,
Как вне времени были вы [68], —
И в каких хрусталях полярных
И в каких сияньях янтарных
Там, у устья Леты — Невы.

Блок стал не только одним из действующих лиц «Поэмы без героя», но и оказал влияние на ее художественный строй. Она не случайно начинается в музыкальном ключе: «Все ближе, ближе. . . Marche funèbre. . . Шопен. . .». Музыкальное восприятие человека и времени, совмещаясь с ахматовской изобразительностью и пластичностью, активно способствовало рождению своеобразного драматического полифонизма «Поэмы без героя», который сказался в системе героев-двойников, в особенностях строфики и композиции, поэтического синтаксиса, ритмики, мелодики стиха. При всей своей специфичности многоголосье «Поэмы без героя» преемственно связано с полифонизмом «Двенадцати». В 1965 г., беседуя с критиком Д. Хренковым, Ахматова отметила, что Блок услышал «на улицах Петрограда новые ритмы, новые слова. Мы сразу увидели это в его поэме «Двенадцать» [69].

К традициям Блока восходит балладная основа «Поэмы без героя», ее драматическая маскарадность, тема Коломбины, Арлекина и Пьеро, мотив духовной метаморфозы, развивающийся в движении времени, в сопряжении личного и общеисторического начала. Благодаря поэзии Ахматовой в облике Блока отчетливо проступили черты нового Данте, черты «человека-эпохи», сумевшего много услышать и увидеть не только в своем времени, но и в нараставшем гуле грядущего.

Активное восприятие творческого наследия Блока у Пастернака, как и у Ахматовой, началось с 40-х годов. Этому способствовали идейно-художественные поиски и переживания поэта периода Великой Отечественной войны, нашедшие свое выражение в сборниках его стихов «На ранних поездах» (1943) и «Земной простор» (1945), в очерках «Поездка в армию» и «Освобожденный город» (1943), в его переводах и литературных заметках.

Критики и литературоведы обычно считают, что в художественном отношении стихи Пастернака военных лет уступают его поэтическим произведениям довоенного времени. Это мнение нуждается в существенных коррективах. Действительно, многим военным стихам поэта свойственна открытая публицистичность, которой у него не было раньше, но это вовсе не значило, что Пастернак перестал быть самим собой. К. Симонов, рецензируя сборник «На ранних поездах», справедливо писал о военных стихах поэта: «Пастернак ни от чего не отказывался в этих стихах, но в лучших из них, сохранив всю неожиданность, всю смелость своих образов и сравнений, он нашел чудесную,

доходящую до сердца простоту. И это особенно дорого, потому что, поэт большой и упрямый в своих исканиях и в заблуждениях, Пастернак пришел к этим военным стихам трудным и правильным путем. Он не подошел к ним как к задаче одного дня, как к злободневным стихам, которые он всегда мог (и умел), если бы захотел, написать ничем не хуже всякого другого, а пришел к ним как к задаче своей жизни и творчества. Такие его стихи, как «Старый парк», или «Страшная сказка», или «Застава», мне кажется, сейчас только по недоразумению или по незнанию не читаются с эстрады артистами фронтовых бригад. Это стихи о войне, которые, можно не сомневаться, впоследствии войдут в поэтические хрестоматии военных лет» [70].

И в самом деле, военные стихи Пастернака, многие из которых были проникнуты глубоким, горячим, искренним публицистическим пафосом, не были только откликом на текущие события: к ним, как точно заметил Симонов, он пришел как «к задаче своей жизни и творчества». Публицистичность была свидетельством выхода Пастернака на прямое, а не только метафорическое, опосредованное ви́дение жизни. Еще сравнительно недавно, в 1936 г., он писал о художнике, «артисте в силе»: «В его залив вкатило время // Все, что ушло за волнолом» [71]. Теперь, в годы войны, «залив» поэта уже не в той мере, как раньше, отделен волноломом от океана времени, и в первую очередь от бурного океана современности, от эпоса народной борьбы с фашизмом. Как известно, у Блока выход на прямое восприятие революционной стихии сопровождался усилением «воли к подвигу»: «Страшно, сладко, неизбежно, надо // Мне — бросаться в многопенный вал». Пастернак, побывавший в 1943 г. на фронте, воспевает героев, которые «своей души не экономили», и делает важный для себя самого вывод:

Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь.

Здесь находит продолжение та линия личного самопожертвования во имя общего дела, которая во второй половине 20-х годов была воплощена Пастернаком в образе лейтенанта Шмидта; только теперь, в стихотворении «Смерть сапера», последняя строфа из которого процитирована выше, «своей души не экономит» сапер—крестьянин из-под Сарапуля, и этот момент весьма важен в постижении поэтом духовно-нравственных свойств народа. В годы войны перед Пастернаком по-новому встает проблема взаимосвязи искусства и действительности, проблема соотношения этического и эстетического в поэзии, решая которые, он особое значение придает нравственным и духовным ценностям в их действенном проявлении, и прежде всего действенному проявлению духовно-нравственных качеств народа.

Позднее, в первое послевоенное десятилетие, в стихотворении «Гамлет» («Гул затих. Я вышел на подмостки») и в стихах, по-новому переосмысляющих образ евангельского Христа, идея самопожертвования приобретает у Пастернака трагедийный характер. Мотивы, связанные с образами Гамлета и Христа, имели тенденцию к слиянию еще в творчестве Блока; у Пастернака это слияние стало более очевидным.

Подобно тому как автор «Двенадцати» в годы революции ощутил свою связь с «коллективным характером» апостолов нового мира, а в самом «коллективном характере» заметил проявление личностного, духовно-нравственного начала, так и Пастернак в годы войны, почувствовав «дух широты и всеобщности», о котором он писал в очерке «Поездка в армию», не обошел вниманием нравственной самоотверженности простых людей, своей сопричастности к ним.

В очерке речь шла о нашей победе на Орловско-Курской дуге. «С недавнего времени, — отмечал поэт, — нами все больше завладевают ход и логика нашей чудесной победы. С каждым днем все яснее ее всеобъединяющая красота и сила. Победил весь народ сверху донизу, от маршала Сталина до рядового труженика и простого бойца (на войне это — главные герои), — победил весь народ, всеми своими слоями, и радостями, и горестями, и мечтами, и мыслями. Победило разнообразье. Победили все, и в эти дни на наших глазах открывают новую, высшую эру нашего исторического существования. Дух широты и всеобщности начинает проникать в деятельность всех. Его действие сказывается и на наших скромных занятиях» [72].

До окончательной военной победы было еще далеко, однако Пастернак говорил о победе как деле уже решенном, имея в виду прежде всего победу нравственную, духовную, победу мыслей и устремлений народа. Важно подчеркнуть, что поэт особо выделяет нравственную победу главных героев — «рядовых тружеников и простых бойцов» — как победу разнообразья во всеобъединяющей красоте и силе народа. Исторический подход к событиям войны позволяет Пастернаку различить в основе эпической всеобщности победу каждого рядового человека, и в первую очередь рост его нравственного самосознания.

Обострившееся у Пастернака в годы войны чувство историзма, чувство духовной связи современности с национальным прошлым, чувство всемирно-исторической значимости нашей победы над фашизмом были родственны эпическим традициям «Двенадцати» и «Скифов» Блока, традициям его стихов о родине. В таких стихотворениях Пастернака военных лет, как «Старый парк», «Неоглядность», «Ожившая фреска», «1917—1942», «Зима приближается», «Весна», в незаконченной поэме «Зарево», на современников поэта «глядят из глубины веков» русские сказки и предания, ожившие фрески, Нахимов и Ушаков, «осенние сумерки Чехова, Чайковского и Левитана». В стихотворении «Весна» (1944), говоря о том, что ему «иначе думается, пишется», Пастернак связывает подъем творческого вдохновения с общим ростом национального самосознания народа, с верой в историческую миссию России как освободительницы славянства. Поэт рад, что и его жизнь имеет какое-то отношение к главному историческому событию середины XX в.:

Мечтателю и полуночнику
Москва милей всего на свете.
Он дома, у первоисточника
Всего, чем будет цвесть столетье.

Есть свой резон в том, что именно в годы войны, в период, когда Пастернак выходит на прямое восприятие действительности и когда у него одновременно обостряются чувства национально-исторической преемственности, связи лирического «я» с эпической жизнью народа, когда в его стихах и прозе выдвигается на первый план проблема духовно-нравственного и гражданского долга отдельной личности перед «всеобщностью», у поэта пробуждается и по-новому проявляется непосредственный интерес к творчеству Блока.

Начиная с военных лет интерес Пастернака к Блоку усиливается. Весной 1944 г. Пастернак написал статью к 100-летию со дня рождения французского поэта-символиста Поля Мари Верлена. Казалось бы, эта статья не давала прямого повода для высказывания суждений о поэзии Блока, однако Блок, вероятно, уже настолько завладел сознанием Пастернака, что он в своей статье о Верлене уделил ему весьма заметное внимание, подчеркнув особо его «орлиную трезвость», «исторический такт», чувство «земной *уместности*, неотделимой от гения» [73].

Новый интерес Пастернака к Блоку не был преходящим. По свидетельству Е. В. Пастернак, «сразу после конца войны, в 1946 г., Пастернак всерьез задумался над статьей о Блоке» [74]. Хотя работа над статьей не была завер-

шена, от нее остались пометки Пастернака в первом томе лирики Блока и его заметки о Блоке, обнаруженные поэтом и литературоведом Львом Озеровым в библиотеке Пастернака. Вот как Л. Озеров рассказывает о своей находке: «Я взял в руки сильно потрепанное, основательно зачитанное «алконостовское» собрание Блока, и каковы были мои удивление, восторг и радость, когда из первого тома посыпались на стол листки малого формата из числа тех, что в писчебумажных магазинах идут под рубрикой «для заметок». Эти листки были испещрены карандашом, характерным летящим и стремительным пастернаковским почерком. На первом листке стояла подчеркнутая надпись «К характеристике Блока». Я поспешил поделиться радостью находки с семьей поэта, с его друзьями» [75].

Теперь заметки Пастернака «К характеристике Блока» опубликованы [76]. Весьма интересные и глубокие, они заслуживают специального изучения. Здесь можно ограничиться выдержкой из письма Пастернака к Вяч. Вс. Иванову от 15 июля 1955 г., в котором поэт, сравнивая молодого Блока с молодым Пушкиным, следующим образом определяет смысл своих заметок: «После войны я собирался писать о Блоке, я разметил для себя первые его страницы, поры «Ante lucem». Тут тоже предвосхищено много будущего, воспоследовавшего в отвлеченных, слабых очертаниях, которые наивны, как слова взрослых в устах ребенка. Эти страницы и даже книги (имеются в виду страницы и стихи молодого Пушкина и молодого Блока. — *М. П.*) никого бы потом не остановили, если бы жизнь вскоре не наполнила, не подтвердила бы их, и как она драматически наполнила эти формы, какой подлила в них краски! Эти превращения были вызваны героическою чертою обоих, готовностью к подвигу, тягой к большому» [77].

У Пушкина и Блока Пастернак учился той «готовности к подвигам, тяге к настоящему», той, наконец, глубокой классической простоте, сложной гармонии — и здесь уже вступали в действие зрелый Пушкин и зрелый Блок, — которые свойственны его собственной поэзии послевоенного времени.

Пастернак не написал специальной статьи о Блоке, так как пришел к мысли, что о Блоке надо писать не статью, а претворять его наследие в своей поэзии. Так, по свидетельству Е. В. Пастернак, «в том же 1946 г. появилось стихотворение «Рождественская звезда» (опубликовано в «Литературной Грузии», 1966, № 2), где этот замысел воплощен с таким блеском во всей своей наглядности» [78].

Десять лет спустя Пастернак написал небольшой цикл стихов «Ветер. (Четыре отрывка о Блоке)». Советская поэзия, а вместе с ней и Пастернак вступали в новый период своего развития. «. . .Вдруг стало видно далеко во все концы света» — эти слова Гоголя В. Луговской взял эпиграфом к книге своих поэм «Середина века». «За далью — даль» — так назвал свою поэму А. Твардовский. «Когда разгуляется» — так называется цикл стихов Пастернака, в который вошли и его стихи о Блоке, проникнутые ощущением родного простора, свежести «русской природы». На этом фоне — юный Блок.

Широко, широко, широко
Раскинулись речка и луг.
Пора сенокоса, толока,
Страда, суматоха вокруг.
Косцам у речного протока
Заглядываться недосуг.
Косьба разохотила Блока,
Схватил косовище барчук.
Ежа чуть не ранил с наскоку,
Косой полоснул двух гадюк.

В движениях Блока Пастернак подчеркнул ту «стремительность», которая ему особенно нравилась и в поэзии Блока. В автобиографическом очерке

«Люди и положения», написанном в том же 1956 г., Пастернак отметил, что «блоковская стремительность» наложила на него «наибольший отпечаток» и потому кажется ему «преимущественной» стороной Блока[79]. Эта «стремительность» сливается с тем ощущением «ветра» человеческих страстей и переживаний, «ветра» истории и природной стихии, которое было характерно для Блока на всем протяжении его творчества.

Тот ветер повсюду. Он — дома,
В деревьях, в деревне, в дожде,
В поэзии третьего тома,
В «Двенадцати», в смерти, везде.

Несколько ранее, в первое послевоенное десятилетие, снежный ветер (метель) вошел и в поэзию Пастернака. В стихотворении «Зимняя ночь» («Мело, мело по всей земле. . .») образ метели символически воплощал «скрещенье» интимной, внутренней жизни людей и судьбы. Теперь, в стихах о Блоке, метель сменяется летним ветром в широких русских лугах. Правда, этот ветер несет и «тучи с востока». Вместе с Блоком Пастернак чувствует в «ветре жестоком не к сроку» предвестия «бурь и невзгод». В четвертом отрывке о Блоке он пишет:

Зловещ горизонт и внезапен,
И в кровоподтеках заря,
Как след незаживших царапин
И кровь на ногах косаря.

Нет счета небесным порезам,
Предвестникам бурь и невзгод,
И пахнет водой и железом
И ржавчиной воздух болот.

В лесу, на дороге, в овраге,
В деревне или на селе
На тучах такие зигзаги
Сулят непогоду земле.

Когда ж над большою столицей
Край неба так ржав и багрян,
С державою что-то случится,
Постигнет страну ураган.

Блок на небе видел разводы.
Ему предвещал небосклон
Большую грозу, непогоду,
Великую бурю, циклон.

Блок ждал этой бури и встряски.
Ее огневые штрихи
Боязнью и жаждой развязки
Легли в его жизнь и стихи.

Поздний Пастернак воспринимает Блока не только как мастера и артиста, родственного Пушкину (они сравниваются в первом стихотворении из цикла «Ветер»), но и как поэта-гражданина, как поэта, чуткого к ветру истории. Пастернак продолжает, как и раньше, считать неорганичными для Блока символистские схемы. Блок для него поэт, «Прославленный не по программе // И вечный вне школ и систем». Блок «ошеломляет» его «настоятельностью сказанного, безусловностью, нешуточностью, прямым значением речи» [80].

4

Начиная с 1970 г., когда отмечалось 90-летие со дня рождения Блока, стали ежегодно в первое августовское воскресенье проводиться блоковские дни поэзии в Шахматово. Участниками этих праздников были многие советские поэты — А. Сурков, К. Симонов, С. Васильев, М. Алигер, Е. Шевелева, М. Матусовский, Е. Долматовский, Л. Ошанин, В. Солоухин, Л. Татьяничева, В. Боков, М. Соболь, Б. Окуджава, С. Орлов, М. Львов, Е. Евтушенко, Т. Жирмунская, Р. Казакова и др. К. М. Симонов писал о Блоке как «об одном из самых прекрасных русских поэтов XX века», который «со школьной скамьи вошел в сознание нескольких поколений советских людей» [81]. Душой этих праздников до конца своих дней был старейший советский поэт Павел Антокольский.

Молодому Антокольскому довелось видеть и слышать Блока. Облик и стихи знаменитого поэта произвели на него неизгладимое впечатление.

В ранних стихотворных опытах Антокольского учеба у Блока выражалась преимущественно в подражании ему. Значительно позднее, в поэме «Сын» и других произведениях, влияние Блока становится более органичным, чем раньше, оно уже не заслоняет собственной поэтической индивидуальности Антокольского, а лишь способствует ее выявлению. Особенно близким оказалось ему блоковское чувство истории. Об этом свидетельствует и поэзия Антокольского, и его многочисленные статьи о Блоке. Со времени Великой Отечественной войны Антокольский становится одним из самых активных исследователей и пропагандистов творчества Блока. Для него Блок «уже не только поэт, но и публицист, упрямый мыслитель, историк, исследователь». Главная мысль поэмы «Возмездие», как он отмечает, — «это мысль историческая». Наиболее полно и глубоко историзм Блока раскрылся в произведениях советской эпохи. В поэме «Двенадцать» Антокольский выделяет три взаимосвязанных начала: начало *социальное*, а внутри него мотив унижения и попрания *красоты*, сопряженный с крушением *безобразного* старого мира. Особое внимание Антокольский уделяет историко-культурной и патриотической проблематике «Скифов». Он считает, что «дата, стоящая под «Скифами», — 30 января 1918 г. — должна быть отмечена как дата рождения советской поэзии. Поистине этими стихами более, чем какими бы то ни было другими, может и должна открываться антология нашей поэзии!» [82]

П. Антокольский был наставником целого ряда молодых поэтов. Перед войной он вел семинар в Литературном институте. «Там, — по воспоминаниям Б. Слуцкого, — любили историю и театр, а из современной поэзии особенно чтили Блока» [83]. Свою любовь к Блоку Антокольский передавал молодым поэтам фронтового поколения и после войны. Следует отметить, что вообще поэты фронтового поколения, не только те, с которыми общался Антокольский, отдали заметную дань Блоку. Еще в 1946 г., когда отмечавшееся 25-летие со дня смерти Блока стало одновременно и знаком начавшегося возрождения его традиций, М. Дудин написал стихотворение «А. Блоку», в котором подчеркивал: «Его поэзия жива. Ей все душа отдать готова», и затем отмечал, что ему у Блока особенно близко «золотое беспокойство за все живое на земле». С. Наровчатов в 1970 г. произнес «Слово о Блоке» [84], Д. Самойлов еще раньше написал стихотворение «Александр Блок в 1917-м» [85]. Е. Винокуров в заметке, предваряющей сборник избранной лирики Блока, определяет главную тему Блока как «налаживание связи между миром и поэтом» [86].

С. Орлов в 1970 г. на первом блоковском празднике поэзии в Шахматово говорил: «Я думаю, сегодняшний день — начало большой традиции. Через десять лет на этой поляне уже привычно соберутся люди, чтобы отметить столетие со дня рождения Александра Блока.

Блок — поэт души человеческой, к нему все больше и больше будут приходить люди, и я не мыслю своего современника, образованного человека, не знающего поэзии А. Блока» [87].

У Александра Межирова нет статей и речей о Блоке, но из всех поэтов фронтового поколения он, кажется, глубже, чем другие, воспринял «музыку» Блока. Для Межирова характерно блоковское «музыкальное» восприятие мира и человека. В стихотворении «Музыка» он передает эпическое единство всех советских людей — «не по ранжиру» — с помощью символического образа струны, которая «через всю страну ‹. . .› натянутая трепетала, // Когда проклятая война и души и тела топтала» [88]. В духе традиций романтизма такая «музыка» в драматическом контрапункте объединяет индивидуальное и общее, «высокое» и обыденное: «Стенали яростно, навзрыд, // Одной-единой страсти ради // На полустанке — инвалид // И Шостакович — в Ленинграде».

Слова Блока «плачу и пою» стали одним из сквозных лейтмотивов в лирике Межирова. Сам поэт отмечал в своих стихах «полублоковскую вьюгу», а когда предъявлял к себе высокие творческие требования, с горечью призна-

вался: «Ты когда-то был похож на Блока, // А теперь на Бальмонта похож». Межиров не повторяет какие-то мотивы и образы своего великого предшественника, а развивает их творчески, обогащая свои индивидуальные возможности, свое восприятие человека и времени.

Глубоко своеобразную интерпретацию получили в лирике Межирова характерно блоковские мотивы женственности и мужественности, ставшие для «поэта той войны, той приснопамятной волны» основой мировосприятия, нравственно-эстетическим критерием его отношений к «долгу и праву», к интимным чувствам и «поворотам» истории, к искусству и действительности, к быту и бытию, к «жизни, не делимой на мир и войну».

Некоторые стихи Межирова прямо перекликаются с творчеством Блока: «Черкешенка» со стихотворением Блока «В ресторане», «Множество затейливых игрушек» — с лирической драмой «Балаганчик», «Прощание с Кармен» — с известным циклом Блока «Кармен», а в балладе «Серпухов» мотив женственности, как и у Блока, связывается с образом родины: «Родина моя, Россия. . . // Няня, Дуня, Евдокия. . .». Во всех случаях мы имеем дело с обращением к блоковским традициям. В лирике Межирова не было изначально «высокого» идеала женственности, не было Прекрасной Дамы, — женственность, способная духовно преобразить и возвысить человека, спасти его от нравственной смерти, открыть ему полноту жизни, стать, наконец, символом родины, рождается в творчестве поэта из реальной, подчеркнуто будничной повседневности.

Драматургия Блока, как известно, была органически связана с его полной драматизма лирикой. Свидетельством творческого развития традиций Блока явилась поэма Межирова «Alter ego» с ее маскарадностью, драматичностью, сложной системой образов-двойников, сопряженностью мотивов женственности и мужественности, темы индивидуальной судьбы с судьбами мира, частной жизни с социальными, нравственно-философскими и эстетическими проблемами века. Если драмы и поэмы Блока рождались из его лирики, то поэма «Alter ego» складывалась из лирических стихотворений Межирова, которые им ранее публиковались как самостоятельные произведения. Это различие не является чисто формальным: оно, будучи художественно реализованным в несколько иных композиционных связях, свидетельствовало о том, что при общности целого ряда мотивов соотношение между личной судьбой поэта и судьбами мира у Межирова и людей его поколения складывалось иначе, чем у Блока.

Лирический герой поэмы Межирова «Alter ego», созданный в традиции блоковского двойника, стремится обрести цельность, и в нем нарастает решимость, родственная блоковской «воле к подвигу».

Эстафета блоковских традиций от своих предшественников была принята поэтами, пришедшими в литературу в 50-е годы. Е. Евтушенко посвятил Блоку ряд стихотворений — «Вам, кто руки не подал Блоку. . .», «Умирающий Блок», «Неразделенная любовь», цикл «Блоковский валун. . .». Поэту близок гражданский пафос поэзии Блока. В стихотворении «Вам, кто руки не подал Блоку. . .» Евтушенко говорит о тех литераторах, которые отвернулись от Блока, когда он написал «Двенадцать». В поэме «Двенадцать» Блок остался верен самому себе, своему ощущению величия революционной эпохи, а злоба тех, кто перестал подавать ему руку, только подчеркивала его гражданскую смелость и поэтическую правоту. Вот почему и Евтушенко говорит:

Когда я напишу «Двенадцать»,
Не подавайте мне руки.

Более сложное преломление традиции Блока нашли в поэзии А. Вознесенского. Автору сборников «Антимиры» и «Витражных дел мастер», сказавшему однажды: «Метафора — мотор формы», «XX век — век превращений, метаморфоз», — близок оказался блоковский принцип поэтического метамор-

физма. Метафоризм, сопрягая интимное с общечеловеческим, настоящее с прошлым и будущим, бытовое с космическим, духовное с предметным, преходящее с вечным, интернациональное с национальным, природное с созданным человеческим разумом, ищет сложной цельности и гармонии в мире, драматически разделенном, разобщенном, разбегающемся. Эти поиски гармонии имеют не только чисто художественный, эстетический смысл, но и смысл нравственно-философский, духовный.

Считая себя, вслед за Блоком, «сыном гармонии» [89], Вознесенский стремится в своей поэзии вскрыть внутреннюю связь больших и малых «антимиров». Это и определяет «ауканье» образов в его поэзии, их метаморфозы подобные тем, о которых говорится, например, в стихотворении «Я в Шушенском. . .»: «Я думаю, что гениальность // Переселяется в других. // Уходят имена и числа, // Меняет гений свой покров. // Он — дух народа». Некоторые критики даже обвиняли поэта в том, что он якобы смешивает в «Параболической балладе» Гогена с Ван-Гогом, а в «Похоронах Гоголя Николая Васильевича» обнаруживает незнание историко-литературных фактов и т. п. не подозревая, очевидно, что такое «смешение» является средством художественного обобщения, и вырастает оно из особенностей метаморфического постижения мира.

В отличие от Блока, в творчестве которого метаморфическая связь образов имела преимущественно внутренний, «музыкальный», духовный, нравственно-психологический характер, у Вознесенского эта связь чаще всего имеет изобразительный характер, как на рисунке Пикассо, где «абрис женского лика переходит в овал голубки». В этом плане показательно и то, что важная для творчества Вознесенского галерея мастеров представлена в основном зодчими, скульпторами, художниками — героями поэмы «Мастера», Микеланджело, Рубенсом, Гогеном, Филоновым, Шагалом или поэтами с живописным видением мира — Маяковским, Лоркой. . .

Однако и в этой галерее мастеров происходили свои метаморфозы, отражающие в значительной степени метаморфозы поэзии Вознесенского в целом. Развивая блоковскую идею «человека-артиста», «новой человеческой породы» (VI, 115), эти образы «художников всех времен» все больше дополнялись образами, несущими в себе «музыкальное» и нравственно-психологическое начала («Пел Твардовский в ночной Флоренции. . .», «Доктор Осень», «Портрет Плисецкой», Резанов и Конча в поэме «Авось!» и т. д.).

Если для Вознесенского вначале были мастера (не только поэма «Мастера» но и в более широком, философском смысле — творцы поэтической вселенной), то для Блока «вначале была музыка» (VII, 358), Душа мира, представшая ему в образе Прекрасной Дамы. Сопряжение предметной действительности с «музыкой» в поэзии Блока протекало как двусторонний, контрапунктный процесс: с одной стороны, процесс распредмечивания действительности, процесс выявления в ней духовно-нравственного начала и, с другой стороны, процесс воплощения духовного идеала в предметно-реальную действительность. В поэзии Вознесенского все более глубоким становится процесс распредмечивания, процесс превращения предметно-изобразительного ряда в ряд звуковой, музыкальный, духовно-психологический. Большую роль в этом процессе играет у него мотив женственности, сопряжение культурно-исторического ряда с природной стихией, обострение нравственной чуткости у его мастеров. Все это свидетельствует о том, что Вознесенский все глубже воспринимает «музыку» Блока.

Специального рассмотрения заслуживает тема России и Америки, намеченная в стихотворении Блока «Новая Америка», продолженная Есениным в поэме «Инония», драме «Страна негодяев» и очерке «Железный Миргород», Маяковским в поэме «150 000 000», в стихах и очерках об Америке, а Вознесенским — в сборнике «Треугольная груша» и других.

Для процесса постепенного усиления влияния Блока на развитие русской советской поэзии, ставшего вновь весьма ощутимым начиная с периода Вели-

кой Отечественной войны, показателен интерес к автору «Двенадцати» не только тех поэтов, которые стремятся следовать его творческим принципам, но и поэтов, воспитанных на иных художественных традициях. А. Твардовский в 1955 г. писал о Блоке, что его «жизнь полна огромного напряжения, бесстрашия, всегдашнего непокоя, самоотвержения и труда, какие только и делают великих поэтов» [90].

Интересно, что Твардовский, в поэзии которого почти отсутствует любовная лирика, в своей статье обратил особое внимание именно на интимные стихи Блока — «Вступление» («Ты в поля отошла без возврата. . .») и «О доблестях, о подвигах, о славе. . .». Вероятно, это внимание можно объяснить тем, что в творчестве самого Твардовского послевоенного периода углубляется лирическое начало, возрастает интерес к духовно-нравственному, а не только социально-психологическому миру личности, в результате чего эпический историзм поэта проникается чувством значимости каждой отдельной индивидуальности.

«Блок, — писал Твардовский, — не только оказал и оказывает большое влияние на нашу поэзию, но — что не менее важно — его поэзия живет в сердцах миллионов читателей, она составляет неотъемлемую часть нашего духовного обихода <. . .> Имя Александра Блока мы давно уже воспринимаем в ряду самых дорогих и любимых имен отечественной поэзии» [91].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] К. Чуковский. Александр Блок как человек и поэт. (Введение в поэзию Блока). Пг., 1924, с. 35.

[2] В 1965 г. в беседе с Д. Хренковым Ахматова, говоря о том, что каждый большой поэт (Пушкин, Некрасов) понимал необходимость обновления жанра поэмы, отмечала: «Понял это и Блок, услыхав на улицах революционного Петрограда новые ритмы, новые слова. Мы сразу увидели это в его поэме «Двенадцать». — «Лит. газета», 23 ноября 1965 г., № 139.

[3] Подробнее взаимоотношения Блока с З. Гиппиус в годы Октябрьской революции рассматриваются в статье Л. М. Фарбера «Переписка из двух миров». — «Нева», 1971, № 8, с. 184—187.

[4] В. Брюсов. Собр. соч. в 7 томах, т. III. М., «Художественная литература», 1974, с. 289.

[5] Там же, т. VI, с. 509.

[6] «Цех поэтов», II—III. Берлин, изд. С. Ефрон <1923>, с. 84—85.

[7] Там же, с. 110.

[8] «Цех поэтов», II—III, с. 110.

[9] Там же, с. 85—86.

[10] С. Бобров. Символист Блок. — «Красная новь», 1922, № 1, с. 250.

[11] См.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10 томах, т. X. М., «Наука», 1966, с. 874—875.

[12] См.: О. Мандельштам. А. Блок. — «Россия», 1922, № 1, с. 29.

[13] О. Мандельштам. О поэзии. Сборник статей. Л., «Academia», 1928, с. 57—58.

[14] См.: М. Кузмин. А. Блок. — «Жизнь искусства», 1921, № 804.

[15] См.: Вс. Рождественский. Александр Блок. (Из книги «Повесть моей жизни»). — «Звезда», 1945, № 3, с. 107—115.

[16] См.: Н. Павлович. Думы и воспоминания. М., «Сов. писатель», 1962, с. 5—40.

[17] См.: С. Городецкий. Воспоминания об Александре Блоке. — «Печать и революция», 1922, кн. 1, с. 75—88; то же в кн.: С. Городецкий. Русские портреты. Библиотека «Огонек», № 30. М., «Правда», 1978, с. 6—12.

[18] См.: В. Н. Голицина. Цветаева о Блоке. — «Тезисы 1-й Всесоюзной конференции «Творчество А. А. Блока и русская культура XX века». Тарту, 1975, с. 135—140.

[19] В. Маяковский. Полн. собр. соч. в 13 томах, т. XII. М., ГИХЛ, 1959, с. 22.

[20] М. Волошин. Поэзия и революция. Александр Блок и Илья Эренбург. — «Камена», 1919, № 2, с. 13.

[21] См.: Ник. Асеев. Радуга революции («Двенадцать» А. Блока). — «Москва», 1974, № 1, с. 197—200. Перепечатка из владивостокской газеты «Воля» от 16 и 17 октября 1919 г., № 4—5. Публикация Ю. Смолы. Отношение Н. Асеева к творчеству Блока освещается также в публикациях Д. И. Никитина («Н. Н. Асеев о последних стихах Александра Блока». — «Русская литература», 1971, № 1, с. 134—135), Д. А. Рачкова («Н. Асеев об А. Блоке». — «Русская литература», 1970, № 2, с. 192—193) и В. Н. Орлова («Письмо Александра Блока Николаю Асееву». — «Тезисы 1-й Всесоюзной конференции «Творчество А. А. Блока и русская культура XX века», с. 176—177).

[22] «Камена», 1919, № 22, с. 19—20.

[23–24] См.: М. Мурашов. А. Блок и С. Есенин. — В кн.: «Воспоминания о Сергее Есенине». М., 1965; Вл. Земсков. А. Блок и С. Есенин. — «Огонек», 1955, № 48; Л. А. Вельская. Роль А. Блока в становлении поэтики раннего Есенина. — «Русская литература», 1968, № 4; В. В. Устименко. С. Есенин и А. Блок. — В сб.: «Научная конференция аспирантов. 9-я. Материалы. Серия гуманитарных наук». Ростов-на-Дону, 1969; Л. Н. Мамонова. Блок и Есенин. (К вопросу о связях и влияниях). В сб.: «Вопросы истории и теории литературы». Челябинск, 1972; Ю. Прокушев. Сергей Есенин. Образ. Стихи. Эпоха. М., 1975 (глава «Уроки Блока»).

[25] А. Руднев. Бесшабашный. — «Вестник литературы», 1922, № 2—3, с. 19—20.

[26] Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. М.—Л., «Сов. писатель», 1966, с. 397—398.

[27] Имея в виду поэму А. Белого «Христос воскрес», М. Кузмин писал: «Последнее произведение довольно слабое, особенно по сравнению с «Двенадцатью» Блока, с которым оно имеет очевидную претензию соперничать, но характерное, как путь, приведший автора ко всевозможным «кризисам» и колоссальному самоистреблению «Эпопеи». — М. Кузмин. Условности. Статьи об искусстве. Пг., «Полярная звезда», 1923, с. 164.

[28] 17 марта А. Белый писал Блоку: «Мы вот опять перекликнулись. Читаю с трепетом Тебя. «Скифы» (стихи) — огромны и эпохальны, как «Куликово поле» <. . .> По-моему, Ты слишком неосторожно берешь иные ноты. Помни — Тебе не *«простят» «никогда»*. . . Кое-чему из Твоих фельетонов в «Знам<ени> Труда» и не сочувствую, но поражаюсь отвагой и мужеством Твоим <. . .> Будь мудр: соединяй с отвагой и осторожность». — «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 335. Р. В. Иванову-Разумнику А. Белый тогда же писал: «Огромны «Скифы» Блока; а, признаться, его стихи «12» — уже слишком; с ними я не согласен». — Там же, с. VIII.

[29] В. Маяковский. Собр. соч., т. XII, с. 22.

[30] Там же, с. 21.

[31] В. Кириллов. Стихотворения. М., ГИХЛ, 1958, с. 54.

[32] «В «Знамени труда» — стихотворение пролетария, посвященное мне (*в рукописи*: А. Блоку и др.; потом «и др.» — зачеркнуто)» (ЗК, 389).

[33] «Феникс». М., 1922, с. 154—155.

[34] А. Б. Личность и поэзия Блока (на лекции Андрея Белого). — «Заря Востока», 2 июля 1927 г., № 1516. Цит. по статье К. Н. Григорьяна «Из неизданной переписки Андрея Белого». — «Русская литература», 1979, № 3, с. 207.

[35] В. Тренин и Н. Харджиев. Поэтика раннего Маяковского. — «Лит. критик», 1935, № 4.

[36] О. Брик. Блок и Маяковский. К вопросу о литературной генеалогии Маяковского. — «Литературный Ленинград», 1 января 1936 г., № 1.

[37] В. Шкловский. О Маяковском. М., «Сов. писатель», 1940, с. 109—111.

[38] В. Катаев. Святой колодец. Трава забвенья. М., «Сов. писатель», 1969, с. 277, 278, 279.

[39] Вл. Орлов. Из библиотеки А. А. Блока. — В кн.: «Владимир Маяковский», сб. 1. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1940, с. 331.

[40] А. Метченко. А. Блок и В. Маяковский. — «Резец», 1937, № 9, с. 22.

[41] П. Громов. Маяковский и Блок. — «Резец», 1939, № 8, с. 17.

[42] Е. И. Наумов. Первая советская пьеса. (Две редакции «Мистерии-буфф» В. В. Маяковского). — «Уч. зап. ЛГУ, серия филологических наук», вып. 13. Л., 1948.

[43] И. С. Правдина. Спор поэтов. (Блок и Маяковский). — В сб.: «Маяковский и советская литература». М., «Наука», 1964, с. 43.

[44] В. Перцов. Маяковский. Жизнь и творчество (1925—1930). М., «Наука», 1972, с. 180; см. также: К. Петросов. Здравствуйте, Александр Блок. . . (А. Блок и В. Маяковский). — «Литературная Россия», 20 ноября 1970 г., № 47.

[45] Ю. Давыдов. Блок и Маяковский: некоторые социально-эстетические аспекты проблемы «искусство и революция». — В сб.: «Вопросы эстетики», 9. М., «Искусство», 1971, с. 24.

[46] З. Паперный. Поэтический образ у Маяковского. М., Изд-во АН СССР, 1961, с. 188.

[47] Э. А. Шубин. Блок и советская поэзия. — В кн.: «Русская советская поэзия. Традиции и новаторство. 1917—1945». Л., «Наука», 1972, с. 217.

[48] С. Есенин. Собр. соч. в 5 томах, т. 5, М., ГИХЛ, 1962, с. 22.

[49] Там же, с. 127.

[50] Там же, с. 145—146.

[51] Там же, с. 18.

[52] Там же, т. 2, с. 157.

[53] Там же, т. 5, с. 78.

[54] Там же, с. 365.

[55] И. С. Правдина. Есенин и Блок. — В кн.: «Есенин и русская поэзия». Л., «Наука», 1967, с. 110—136; Е. Наумов. Сергей Есенин. Личность. Творчество.

Эпоха. Лениздат, 1969. Другие работы о творческих взаимоотношениях Есенина и Блока см. в прим. 24.

[56] См.: Г. Л. Федорова. Наследие А. Блока в советской поэме 20-х годов. — В сб.: «Русская и зарубежная литература», вып. II. Алма-Ата, 1971, с. 49—54.

[57] А. Селивановский. В литературных боях. Избр. статьи и исследования (1927—1936). М., «Сов. писатель», 1959, с. 8.

[58] Там же, с. 452.

[59] Н. Рыленков. Душа поэзии. Портреты и раздумья. М., «Сов. писатель», 1969, с. 99—100, 108.

[60] См.: А. Ахматова. Стихи и проза. Лениздат, 1976, с. 555—558.

[61] Д. Максимов. Ахматова о Блоке. — «Звезда», 1967, № 12, с. 188.

[62] В. Жирмунский. О творчестве Анны Ахматовой. (К восьмидесятилетию со дня рождения). — «Новый мир», 1969, № 6, с. 243.

[63] См.: В. М. Жирмунский. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., «Наука», 1977, с. 323—354; М. Ф. Пьяных. О традициях А. Блока в «Седьмой книге» А. Ахматовой. — В сб.: «XXIV Герценовские чтения. Филологические науки. Краткое содержание докладов». Л., 1971, с. 99—101.

[64] «Звезда», 1967, № 12, с. 188.

[65] «Новый мир», 1969, № 6, с. 243.

[66] А. Авдеенко. В гостях у Анны Ахматовой. — «Вестник АПН. Культура и искусство», 28 февраля 1962 г. Раздел «Мир поэзии», с. 2.

[67] «Звезда», 1967, № 12, с. 188—189.

[68] Перекличка со словами из стихотворения Блока «Милый брат, завечерело. . .»: «Словно мы — в пространстве новом, // Словно — в новых временах» (II, 91).

[69] «Лит. газета», 23 ноября 1965 г., № 139.

[70] К. Симонов. Правильный путь. — «Огонек», 1943, № 34—35, с. 13.

[71] Б. Пастернак. Стихотворения и поэмы. М.—Л., «Сов. писатель», 1965, с. 381. Далее стихи поэта цитируются по этому изданию.

[72] Б. Пастернак. Стихи и проза. — «Новый мир», 1965, № 1, с. 169.

[73] Б. Пастернак. Поль Мари Верлен. — «Литература и искусство», 1 апреля 1944 г., № 14.

[74] «Блоковский сб.», 2, с. 447.

[75] Л. Озеров. Мастерство и волшебство. Книга статей. М., «Сов. писатель», 1976, с. 233.

[76] См.: «Блоковский сб.», 2, с. 447—453.

[77] Там же, с. 447.

[78] Там же, с. 449.

[79] Б. Пастернак. Люди и положения. Автобиографический очерк. — «Новый мир», 1967, № 1, с. 213.

[80] Там же, с. 215.

[81] «Правда», 11 августа 1970 г.

[82] П. Антокольский. Александр Блок. — В кн.: А. Блок. Стихотворения. Поэмы. Театр. Библиотека всемирной литературы. Серия третья, т. 138. М., «Художественная литература», 1968, с. 11, 13, 18—19, 21.

[83] «Лит. газета», 26 июня 1962 г., № 75.

[84] С. Наровчатов. Три слова. Библиотека «Огонек», № 17. М., «Правда», 1972, с. 16—28. То же под заглавием «Уроки Александра Блока» см. в кн.: С. Наровчатов. Собр. соч. в 3 томах, т. 3. М., «Художественная литература», 1978, с. 324—337.

[85] Д. Самойлов. Александр Блок в 1917-м. — «Новый мир», 1967, № 12, с. 41—42. В сборнике Д. Самойлова «Дни» (М., «Сов. писатель», 1970, с. 73—75) это стихотворение опубликовано под названием «Блок. 1917». Д. Самойловым написана вступительная статья «О переводах Александра Блока» к сборнику «На дальнем горизонте. Стихи и драмы зарубежных поэтов в переводе Александра Блока». М., «Прогресс», 1970, с. 5—16.

[86] Евг. Винокуров. От составителя. — В кн.: А. Блок. Избранная лирика. М., «Мол. гвардия», 1966, с. 4. В кн.: Е. Винокуров. Избр. произведения, т. 2 (М., «Художественная литература», 1976, с. 423—424) заметка опубликована под заголовком «А. А. Блок».

[87] «Лит. газета», 12 августа 1970 г., № 33, с. 3.

[88] А. Межиров. Поздние стихи. М., «Сов. писатель», 1971, с. 91—92. Далее стихи поэта цитируются по этому изданию.

[89] «Вопр. лит.», 1973, № 4, с. 74.

[90] А. Твардовский. О литературе. М., «Современник», 1973, с. 204.

[91] Там же, с. 206.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ АВТОГРАФЫ И НЕИЗДАННАЯ ПЕРЕПИСКА БЛОКА

ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ БЛОКА «ВЕСТНИК»

Сообщение М. И. Дикман

«Сочинять я стал чуть ли не с пяти лет», — писал Блок в автобиографии [1]. Как сообщает М. А. Бекетова, он «с семи лет ‹. . .› начал увлекаться писанием», «сочинял коротенькие рассказы, стихи, ребусы и т. д.» [2] Из них Блок составлял маленькие книжечки или журналы; некоторые сохранились в его архиве [3]. Печатными буквами написана 23 декабря 1888 г. книжка «Моей милой мамочке. . .», затем альбом — «Для моей, маленькой, крошки»; в школьной тетради уже детским почерком Блока написан «Журнал для деток», в таких же тетрадях в две линейки писал Блок «ежемесячный журнал «Корабль» (1889—1890 гг.); «вышло» два номера. М. А. Бекетова вспоминает несохранившийся «Кошачий журнал» [4]. Начиная с первой книжечки везде дается оглавление, а затем проза чередуется со стихами, шарадами, шутками, ребусами, загадками. Текст сопровождается рисунками.

14 августа 1893 г. в Шахматове был составлен написанный рукою матери Блока «Сборник сочинений А. Блока и Ф. Кублицкой-Пиоттух». «Цензор — редактор — издатель Ф. А. Кублицкая-Пиоттух». В нее вошли сказка Блока «Сон» (см. ниже), перевод с французского «Это ты», стихотворения «Поток» и «Водопад» [5]. Этот сборник непосредственно предшествовал рукописному ежемесячному журналу «Вестник», который Блок начал «издавать» в одном экземпляре в январе 1894 г.[6]

Журнал выходил в течение трех лет, последний номер вышел в январе 1897 г. Сам Блок выступил в роли редактора-издателя и, конечно, сотрудника, пользуясь иногда псевдонимами: А. Бэ, Мамин (не Сибиряк). В журнале принимали участие двоюродные братья Блока: Ф. и А. Кублицкие-Пиоттух, троюродные братья: Н. Лозинский, В. Недзевецкий, С. Соловьев, а также взрослые: бабушка Е. Г. Бекетова, мать А. А. Кублицкая-Пиоттух, тетки Е. А. и С. А. Бекетовы, П. Н. Краснов (муж Е. А. Бекетовой), О. Н. Галанина. По свидетельству М. А. Бекетовой, дед А. П. Бекетов иногда тоже участвовал в журнале как иллюстратор, но очень редко. В № 2 за 1896 г. в заметке «От редакции» указан следующий состав редакции журнала:

«Цензор — г-жа А. А. Кублицкая-Пиоттух.
Редактор-издатель — г-н А. А. Блок.
Заведующий беллетристическим отделом —
г-н Ф. А. Кублицкий-Пиоттух.
Зав. научным отд‹елом› — г-н А. А. Кублицкий-Пиоттух».

Таким образом, раннее творчество Блока носило систематический характер. Причем он всегда стремился оформить его в виде книги или журнала. Само творчество становилось игрой, а игра переходила в творчество.

Это было совершенно естественно для той пропитанной культурными традициями обстановки, в которой рос и воспитывался поэт. В его неопубликованных записных книжках 1894 г. [7] часто можно встретить краткие записи: «Мама переводила стихи, тетя Маня с бабушкой тоже» или «Бабушка вчера отправляла рукописи, мама кончила перевод» и т. п. В семье Бекетовых «любили и понимали *слово*»; от дедов унаследовались «любовь к литературе и незапятнанное понятие о ее высоком значении» [8]. Бабушка Блока Е. Г. Бекетова и три ее дочери писали и переводили стихи и прозу. Их занятия литературой носили профессиональный характер: они работали главным образом для печати, причем объем переводов, которые делала бабушка, доходил до 200 печатных листов в год. Литература входила в быт семьи: Блок знал классиков русской литературы — Гоголя, Тургенева, Достоевского, Щедрина — не только по книгам, но и по рассказам бабушки и деда, лично



БЛОК
Фотография К. Шапиро. 1891—1892 г. Петербург
Литературный музей, Москва

встречавшихся с этими писателями. В семье увлекались литературными играми: буримэ, шарадами и т. п.; для маленького Блока писались сказки и стихи.

Хранящийся в архиве Института русской литературы АН СССР комплект журнала «Вестник» представляет собою 37 сшитых из писчей бумаги тетрадок обычного формата от 12 до 25 страниц каждая (с 1895 г. нумерация страниц становится сквозной на протяжении года, количество страниц за год доходит до 270—280). Корешок и углы обложки оклеены цветной бумагой. В центре обложки (до № 6 1896 г.) — картинка, вырезанная из какого-нибудь журнала, сверху — заглавие «Вестник», номер журнала и месяц. С 1895 г. внизу указывается год. Все это тоже вырезано из газет и журналов. Текст «Вестника» полностью написан Блоком. На оборотной стороне обложки или титульного листа помещено оглавление номера и перечень иллюстраций. Иллюстрации представляют собой картинки-вырезки из журнала «Нива», субботних приложений к «Новому времени» и других изданий, а также рисунки и виньетки, сделанные от руки большей частью самим Блоком. Имеются также 4 полугодовых приложения (за 1894 и 1895 гг.), по оформлению мало отличающиеся от журнала. Комплект журнала и приложений хранится в твердой лидериновой папке с золотым тиснением — «Редакция журнала «Вестник» А. Блок».

Вспоминая годы издания «Вестника», С. Соловьев писал: «Тогда уж меня поразила и пленила в нем ‹Блоке› любовь к технике литературного дела и особенная аккуратность» [9].

В построении и оформлении журнала, а также заметках и объявлениях от редакции заметно старательное подражание известным Блоку популярным в то время журналам

типа «Нивы». «Вестник» имел обычно основной беллетристический отдел, где помещались оригинальные произведения и переводы в стихах и прозе, а в разное время и другие отделы: «Научный отдел», юмористические отделы «Для смеха», «Обиходная рецептура», отдел «Новости», отдел ребусов, шарад и загадок.

На последней странице первого номера журнала помещено объявление:

«Условия подписки.

1) Журнал «Вестник» издается в 1894 году (первый год издания).

2) Каждый номер журнала по возможности высылается в первых числах месяца.

3) Жалобы и просьбы адресовать в главную контору журнала: С.-Петербургская сторона. Казармы Л. Гв. Гренадерского полка, кв. 2.

4) Каждый из подписчиков может быть и сотрудником для журнала, что даже желательно для редакции.

Редактор А. Блок. 1894»

На первой странице этого же номера находим другое часто повторяющееся в дальнейшем объявление: «Очень рекомендуем и одобряем книгу для детей «Колос», вышедшую в августе 1893, сборник рассказов, стихотворений и повестей».

В журнале № 1 за 1895 г. также помещены «Условия подписки на журнал «Вестник» в 1895»:

«1) Журнал «Вестник» издается в 1895-ом году (второй год издания) в том же духе и направлении, как и предыдущем 1894 году.

2) Журнал «Вестник» выходит ежемесячно с разнообразными картинками на обложке; названия этих картин пишутся в содержании.

3) Журнал «Вестник» в 1895 году придерживается следующего порядка в оглавлении: на оборотной стороне верхней обложки пишется:

Содержание. Стр.

Статья 1-ая (если перевод, то название языка в скобках).

Имя сочинителя или переводчика.

Статья 2-ая, и т. д.

Картины.

Картина 1-ая (название).

Картина 2-ая, и т. д.

На обложке: картина (название).

4) Приложения к журналу «Вестник» выходят в размере 2-х книжек. (За каждое полугодие по одной.) Кроме того, могут быть экстренные приложения или приложения в виде картин.

5) В приложениях к журналу «Вестник» могут быть картины на «лицевой стороне задней обложки», по примеру предыдущего, 1894 года.

6) Рукописи, кроме стихов, не возвращаются, и за пропажу их редакция не отвечает, исключение составляют рукописи, не принятые для журнала.

7) Каждый новый подписчик получает все вышедшие с 1-го января 1895 года №№ со всеми приложениями.

8) Жалобы и просьбы просят адресовать в главную контору журнала: Петербургские казармы Л. Гв. Гренадерского полка, квартира № 2.

Летний адрес: Николаевская железная дорога, станция Подсолнечная, село Шахматово.

Плата за статьи		Рубли печ. л.	стр.	строк.	карт.
Плата не раньше, чем напечатано сочинение или перевод. В состав страницы входят и рисунки	Сочинение	80	5—	—	—
	Перевод	48	3	—	—
	Ориг. стих.	—	—	1	—
	Перев. стих.	—	—	1	—
	Объявление	80	5	—	—
	Картины	—	—	—	1



ОБЛОЖКА СБОРНИКА «КОЛОС», 1893
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

В случае перемены адреса редакция обязана извещать подписчиков и сотрудников.

Редактор-издатель журнала «Вестник» А. Блок печатка
Репортер журнала «Вестник» Ф. Кублицкий-Пиоттух
Цензор журнала «Вестник» А. Кублицкая-Пиоттух.»

Здесь же приложена печать: «Редакция журнала «Вестник», подаренная Блоку его матерью.

В № 1 за 1896 г. появилось следующее объявление:

«К сведению гг. подписчиков.

Выписка из устава журнала «Вестник», 1896 г., п. 1, 2, 3, 5 отд. 8 ж. р.

Цензор и редактор могут изменять статьи, смотря по содержанию.

Рукописи просят отдавать всем членам редакции журнала.

Подписка может быть прекращена по усмотрению членов редакции, о чем будет объявлено в журнале *заранее*.

Подписчики пользуются правом чтения всех номеров журнала с начала года.

Интересно в этой связи воспоминание С. Соловьева: «Когда я дал ему ‹Блоку› в «Вестник» рассказ, он прислал мне коробку шоколадных сардин, написав, что это — в подарок, а не в виде *гонорара*, который будет выслан после» [10].

Сохранившийся комплект журнала дает представление об отрочестве Блока в «благоуханной глуши маленькой усадьбы», где «Саша вполне удовлетворялся атмосферой нашей

Он был заботой женщин нежной
От грубой жизни огражден,
Летели годы безмятежно,
Как голубой весенний сон.

(«Возмездие»)

семьи. Зимой он не терял с ней связи, да и мать его была ярким воплощением этой самой атмосферы» [11], — писала М. А. Бекетова. Оранжерейная атмосфера обособленности от внешнего мира повлекла за собой, конечно, сравнительную ограниченность кругозора и интересов, некоторую инфантильность юного Блока, проявившуюся и в «Вестнике».

Первый год издания журнала открывается приключенческим «романом» Блока «По Америке, или В погоне за чудовищем», который продолжается на протяжении восьми номеров и состоит из 14 глав. Он представляет собою очень слабое подражание Майн-Риду, которым Блок в то время увлекался. Характерны названия отдельных глав: «Исчезновение Гарри Робертсона», «Неудачные поиски», «Ночная стычка» и т. п.

На первых выпусках журнала лежат следы увлечения приключенческой литературой. В № 1 помещена картинка-вырезка «Охота на тигров в Индии», на обложке вырезка «Охота в Африке», в № 2 — вырезка «Охота дайнаков на оранг-утанга» и т. д. В № 4 помещен рассказ Ф. Кублицкого-Пиоттух «Аэростат», а с № 8 начинает выходить его повесть «Экспедиция». В 1895 г. приключенческий жанр представлен уже только повестями Ф. Кублицкого-Пиоттух «Путешествие в Перу», «Пиренейские контрабандисты». Сам Блок пишет «уголовную» повесть «Месть за месть» (1895, № 2—6).

В журнале за 1894 г. отразились те или иные события из жизни юных сотрудников. В №№ 9, 10, 11 появляется произведение Ф. Кублицкого-Пиоттух «Из Петербурга в Гапсала» — описание совершенного им с матерью и братом путешествия. Блок в № 7 помещает обстоятельную заметку «Как сделать змей», в записной книжке того же года он подробно описывает изготовленный для него дедушкой змей и перипетии его полетов.

Интересен рассказ Блока, помещенный в этом же номере, «Призрак» (см. ниже): ирония подчеркивает трезвое отношение Блока к фантастике, следов которой почти нет в журнале. Здесь, очевидно, сказался «дух естественных наук» и несколько консервативного вольтерьянства, который господствовал в семье Бекетовых.

В журналах 1894 и 1895 гг. содержится много переводов Блока с французского (почти в каждом номере). Банальные хрестоматийные рассказики с прописной моралью чередовались со сказками, в которых назидание отходило на второй план. Так, пять номеров журнала за 1894 г. (№ 7—11) занял перевод сказки о маленьком ящере «Несчастия Аргентина».

Нравоучительный характер носит переводная «драма в 2-х действиях» «Король Пингвинов» (1894, № 3, 5), которая, как указывает Блок на полях, 28 октября 1895 г. была переделана для постановки на сцене. Правка Блока непосредственно нанесена на журнальный текст, а в списке действующих лиц указаны исполнители. Все французские имена заменены русскими, язык перевода приближен к разговорному. Внесенные исправления наглядно показывают успехи, достигнутые Блоком в переводе.

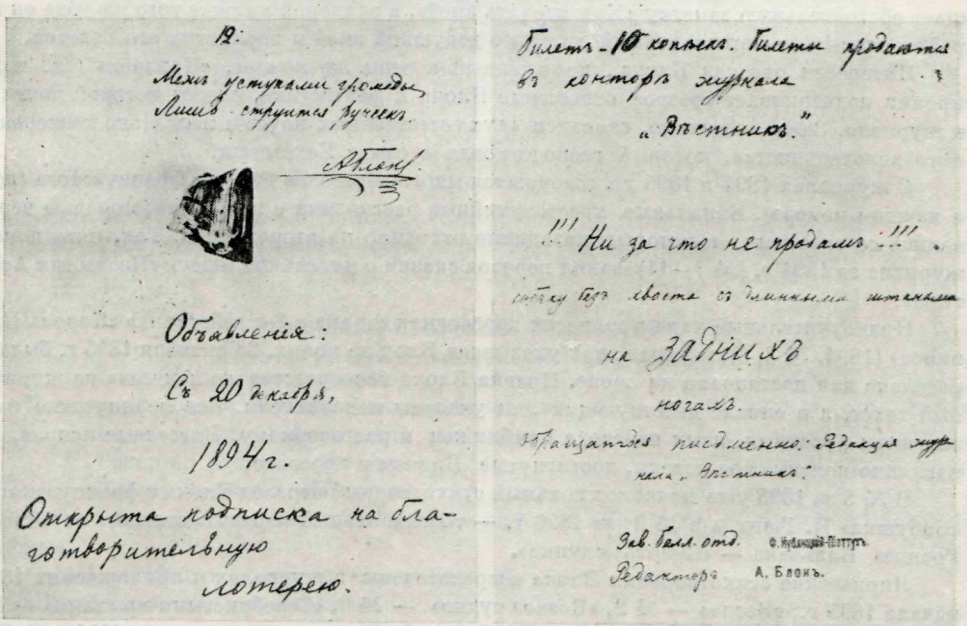
В № 5 за 1895 уже появился вольный стихотворный перевод Блока с французского — «Бабушка» В. Гюго, а в № 2 за 1896 г. — тоже «вольный перевод» отрывка из «Евгении Гранде» Бальзака — «Смерть скупца».

Лирические стихотворения Блока сосредоточены в журналах и приложениях 1894—начала 1895 г.: «Весна» — № 2, «Боевое судно» — № 8, «Серебристыми крылами» — № 9, «Осенний вечер» — № 10, «Судьба» — № 12, «Вечер» — приложение к 1894 г., «Водопад» — январское приложение 1895 г., «Лесной гигант» — 1895 г., № 2 [12]. В дальнейшем Блок помещал в «Вестнике» либо свои юмористические стихи, либо стихотворные переводы. Возможно, что лирические стихи этого времени замкнутый по натуре поэт не хотел придавать гласности.

На стихах Блока в «Вестнике» сказалось прежде всего литературное влияние семьи (стихов бабушки, матери, Е. А. Бекетовой) и семейных вкусов. Баллада «Судьба» — прямое подражание «первому вдохновителю поэта» — Жуковскому, «Весна» перепевает



ОБЛОЖКА К КОМПЛЕКТУ ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК»
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград


12:
Межъ уступами громады
Лишь струится ручеекъ.
А. Блокъ

Объявленія:
Съ 20 декабря,
1894 г.
Открыта подписка на благотворительную лотерею.

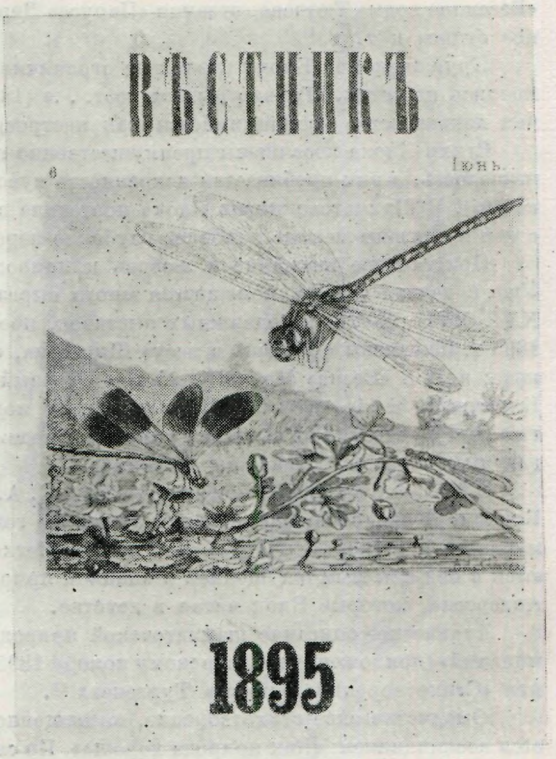
Билетъ - 10 копѣекъ. Билеты продаются въ конторѣ журнала „Вѣстникъ."

!!! Ни за что не продамъ !!!
собаку безъ хвоста съ длинными штанами
на задних
ногахъ.
Обращаться письменно: Редакція журнала „Вѣстникъ".

Зав. Белл. отд. Ф. Кубанскій-Петтуръ.
Редакторъ А. Блокъ.

СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК» С ОБЪЯВЛЕНИЯМИ
Автографы Блока
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

БЛОК В ШАХМАТОВЕ
Фотография 1894 г.
Частное собрание, Москва



ОБЛОЖКА ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК», 1895
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград



«Весенние воды» Тютчева, отзвуки «Паруса» Лермонтова слышатся в стихотворении «Боевое судно» и т. д.

Круг знакомой Блоку поэзии не ограничивался классикой, об этом свидетельствует подпись под стих. «Горько рыдает поэт. . .» (1895, № 10) — «Декадентские стихи», причем декадентство воспринимается как настроение упадничества.

Стихи Блока посвящены преимущественно природе. Несмотря на подражательность, незрелость, в них пробивается искренность чувства и «стремления к musique» («Осенний вечер»). В Шахматове жизнь Блока протекала в непосредственном общении с природой, с ней и связаны первые наиболее глубокие переживания юного поэта.

Пристальное внимание и любовь к природе отразились на содержании журнала. Уже с начала 1895 г. помещается много вырезок — журнальных репродукций картин XVI, XVII, XVIII передвижных выставок, преимущественно пейзажей. Так, в № 2 за 1895 г. помещены «Полдень в лесу» Шишкина, «После дождя» Левитана, «Рассвет» Волкова; в № 3 «Весна» Менка; в № 4 — «Первый снег» Дубровского, «Старая мельница» Клевера, в № 11 — «Зима» Дубровского, «У моря» Судковского и т. д. Интересно отметить, что в рецензии на выставку картин в Академии художеств (см. ниже) Блока занимает главным образом пейзажная живопись.

В № 5 — 6 за 1895 г. помещен рассказ Е. А. Бекетовой «В лесу», иллюстрированный Блоком. В январском приложении за тот же год мы находим сказочку Блока из жизни муравьев и жуков — «Летом» (см. ниже). Легкость изложения и мягкий юмор сочетаются в ней с живым ощущением и знанием природы. Она напоминает сказки Топелиуса, Андерсена, которые Блок читал в детстве.

Лирическое описание шахматовской природы содержит отрывок «Из летних воспоминаний» (приложение к январскому номеру 1895 г., см. ниже), в нем ясно ощутимо влияние «Стихотворений в прозе» Тургенева [13].

Юмористическое стихотворение, посвященное собаке Диане (1896, № 6), заканчивается восклицанием: «Как природа хороша». По свидетельству М. А. Бекетовой, в нем воспроизводятся реальные детали шахматовского пейзажа [14]. Точность лирического пейзажа всегда будет отмечать поэзию Блока.

Блок все время стремился сделать содержание журнала занимательнее и разнообразнее, расширяется отдел ребусов, шарад и загадок (некоторые загадки переводные). Интересный вид задач представляют собою цитаты, недостающее слово которых надо отгадать (№ 10—11 1895 г.). Цитаты взяты из произведений, очевидно, популярных в семье: «Последний Новик» и «Ледяной дом» Лажечникова, «Князь Серебряный» А. Толстого, «Мирович» Данилевского, «Выстрел» Пушкина. В № 11 за 1896 г. появляется первая рецензия на книгу. Она рекомендует «Иллюстрированный Сфинкс» — сборник «разных загадок в картинах», т. е. ребусов.

Свойственный Блоку юмор и самая непосредственная детская веселость ярко проступают в каждом номере журнала. С № 1 1895 г. появляется юмористический отдел «Обиходная рецептура», целиком заполняемый самим Блоком. Вот некоторые образцы этих «рецептов»:

«Как вывести блох? Надеюсь, что наши читатели с радостью ухватятся за нижеописанный, придуманный мною способ, как за самый практичный. Этот способ заключается в следующем: поймав блоху, вы должны отрубить ей голову и, привязав туловище на ниточку за «правую заднюю ногу», повесить его на видном месте, около любимого местопребывания блох. Этот род казни, без сомнения, подействует на блошиные нервы, и блохи перестанут посещать это место». Заголовок другого «рецепта» следующий: «Как отрезать волку хвост, не причиняя ему ни малейшей боли?» (1895, № 1).

В том же году (с № 8) появляется отдел «Для смеха», в котором наклеены юмористические картинки из газет и журналов. Начиная с третьего номера на задней обложке помещаются юмористические пародийные объявления, как, например:

«Любители древнейших вещей, даже допотопных времен! !!! За ненадобностью продаю кусок дерева познания добра и зла!!! !!! Приходите!!! !!! Приходите!!!»

или «Покупайте все у купца Пузатова. Мыло «Грязотин», скребницы «Прогресс», брюки «Недогресс», горчица «à la Кузен», бриллианты «Алмаз», жаренный кофе «à la romu», подтяжки «à la возжи», жидкость против чахотки. Все дешево и (не) практично» и т. п.



«СЕВЕРНАЯ ЗИМА». РИСУНКИ БЛОКА
«Вестник», 1897, № 1
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

Много объявлений о любимых Блоком собаках, как, например:

«На Васильевском острове появилась Собака — феномен. Приметы: Лицо: симпатичное. Хвост: тонкий. Уши: круглые. Рост: весьма небольшой. Порода: такса. Нрав: незлобивый. Голос: тонкий. Темперамент: егоза. Цвет: черный» или

«Чудо из чудес Луна на земле в образе рыжей собаки. Адрес: НЖД ст. Подсолнечная с. Шахматово» и «Желающий видеть грязную собаку неизвестной породы может увидеть оную в с. Шахматово, Клинского уезда, Московской губ.» и т. д.

Многочисленные объявления о популярной в то время крупе «геркулес» проходят через все журналы 1894 г.

Юмористические стихи Блока сопровождаются карикатурными рисунками пером, к стихотворению «По водам глубоким Нила» (1895, № 3) приложен и пародийный «комментарий».

Особо следует отметить стихотворение «Письмо денщика к горничной» (1896, № 10) с рисунком поэта. На рисунке изображены грязная улица, пивная на углу, городовой (он тянет пьяного), женщина в платке (горничная). Это единственный случай, когда в журнале нашли свое отражение впечатления Блока, выходящие за пределы тесного усадебного мирка, возможно, сценки, которые он мог наблюдать в том фабричном районе, где жил зимою. Городские реалии, в которых, как замечает М. А. Бекетова, есть «несомненное предчувствие «Двенадцати», запечатлены на листе под заглавием «Северная зима в очень плохих эскизах г-на ***.

Блок в то время «и не подозревал ничего о мире, о том, как живут вообще люди» [15], — пишет М. А. Бекетова, и журнальное творчество поэта полностью подтверждает это. В редких случаях, когда Блок пытается обратиться к жизни других людей, он прибегает к комическим формам.

В 1896 г. вместе с Ф. Кублицким-Пиоттух он сочинил «раздирательную драму в 3-х действиях» — «Путешествие в Италию» (№№ 9, 10, 11 за 1896 г.). Сюжет ее следующий.

Богатый негоциант Поляков задумал поехать в Италию, чтобы отвязаться на время от надоевших ему знакомых. Свое намерение он разгласил по всему городу и обещал друзьям часто писать. Однако охота ехать у него прошла, но ему уже неудобно в этом признаться, и он решает съехать со своей квартиры и поселиться в дальнем квартале, захватив с собой Бедекер и побольше бумаги. В это время к нему заходит его друг, морской офицер Рупоров — забулдыга и пьяница, который имеет в гавани маленькую квартиру. Он пришел справиться о времени отъезда Полякова. После его ухода Поляков находит в газете объявление о сдающейся квартире в Гавани и собирается переехать туда.

Второе действие происходит уже в бедной квартире в Гавани, где поселился Поляков. Пользуясь Бедекером, он пишет письма «из Италии». Интересно отметить, что в одном из писем цитируются по-итальянски слова «серенады» «Vieni la barca e pronta», которые записаны в записной книжке Блока 1894 г.

Вскоре недовольный убогой обстановкой Поляков решается вернуться домой.

В третьем действии Поляков возвращается на свою квартиру. К нему приходит Рупоров. Поляков пытается рассказать ему об Италии, заглядывая в неизменный Бедекер, но тот угрюмо молчит. Когда выведенный из себя Поляков набрасывается на него с криком, Рупоров разоблачает его, говоря, что он жил у него на квартире. Бурная сцена!

Пьесе предпослано предисловие, в котором сообщается об ее успехе на «частной сцене Шахматовского театра». Написанная бойко, пьеса изобилует штампами второсортной юмористики и показывает полное незнание авторами реальной жизни.

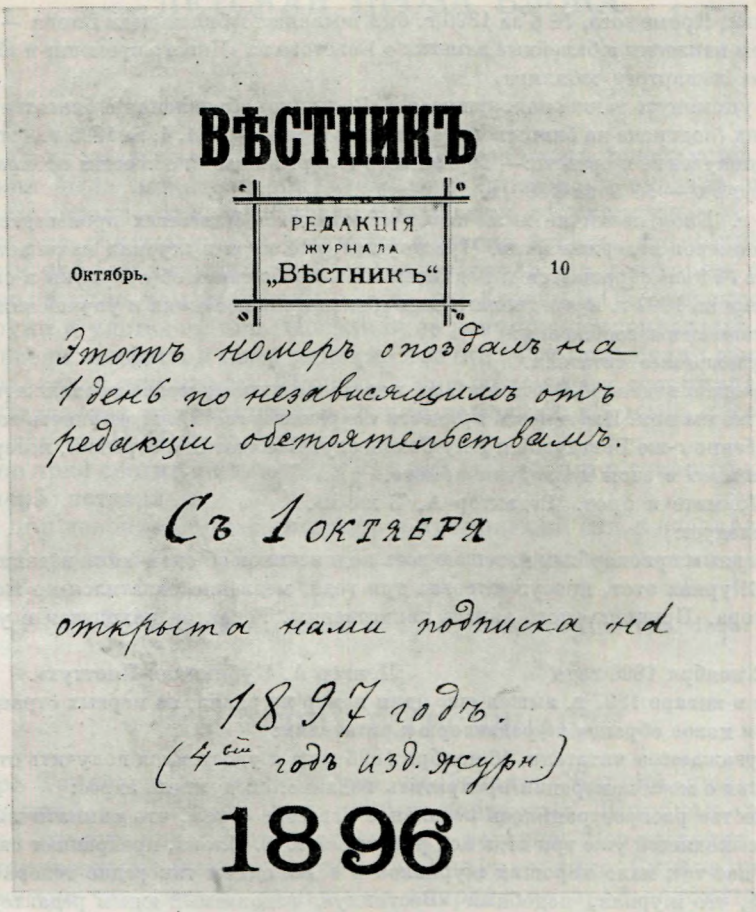
Гимназические занятия Блока только косвенно отразились в журнале, в первую очередь в его переводах, некоторые из которых связаны с гимназическим курсом. Так, в 1895 г. помещено «Сказание о Кожемяке» — перевод со славянского отрывка из летописи Нестора. В том же году в №№ 5—7 появляется первый перевод с латинского — «Орфей и Эвридика» Овидия.

Латынью Блок начал заниматься рано, еще в 1890 г., с первым своим учителем В. М. Грибовским. Мария Грибовская, сестра В. М. Грибовского, в своих воспоминаниях пишет о горячем увлечении маленького Блока Римом «с его героической историей, с его походами, с его дивными архитектурными памятниками» [16]. По словам М. А. Бекетовой, в гимназии он увлекся «древними языками и начал переводить Овидия» [17].

В последнем номере «Вестника» помещен перевод Блока первой песни Энеиды с подзаголовком «Из Марона» и эпиграфом из Пушкина — «Люблю с моим Мароном. . .». Сам номер богато иллюстрирован снимками греческих скульптур.

В 1896 г. Блок пишет две статьи: «О начале русской письменности» по учебнику русской словесности Галахова (№ 3) и «Рецензия выставки картин Императорской Академии художеств» (№ 4). Последняя любопытна как свидетельство раннего интереса Блока к живописи, свойственного ему на всем протяжении его творческого пути. Об этом интересе говорит также и то внимание, которое Блок уделял иллюстративному оформлению журнала.

Таким образом, в «Вестнике» отразился весь необширный диапазон интересов Блока в отроческие годы. Характерно, что журнал почти не откликался на какие-либо общественные события. Правда, № 12 за 1894 г. Блок поместил следующее обращение:


ВѢСТНИКЪ

РЕДАКЦІЯ
ЖУРНАЛА
„ВѢСТНИКЪ“

Октябрь. 10

Этотъ номеръ опоздалъ на
1 день по независящимъ отъ
редакціи обстоятельствамъ.

Съ 1 октября

открыта нами подписка на

1897 годъ.
(4-й годъ изд. журн.)

1896

ОБЛОЖКА ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК», 1896, № 10
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

«Несколько слов от редактора журнала «Вестник».

Г-да подписчики и сотрудники,

Сердечно благодарю всех вас за то, что мой журнал в первый же год своего создания обратил на себя столько внимания с вашей стороны. Он с первых же месяцев обогатился произведениями столь хороших литераторов, как, например: г-жа Бекетова и г-н Краснов. Надеюсь, что вы и в 1895 году не покинете его. Направление моего журнала теперь совершенно определилось, оно было в 1894 году чисто беллетристического характера: но теперь я очень попросил бы господ сотрудников, чтобы кто-нибудь из них помещал в мой журнал в 1895 году статьи из более или менее выдающихся случаев общественной жизни: в ноябре месяце 1894 года сильно не доставало статьи, хотя бы краткой, о в бозе почившем государе Александре III. Также попросил бы очень стихотворений лирического характера и жизнеописаний известных личностей. Условия подписки в 1895 году будут изданы на отдельном листке формата журнала, и вообще он будет гораздо совершеннее в будущем году.

Примите и проч.

Редактор журнала «Вестник»
А. Блок»

Однако намерения «редактора» помещать в журнале статьи об общественной жизни остались неосуществленными, за исключением двух случаев. Вышло «Экстренное прибавление к 1894 году журнала «Вестник» по поводу кончины Александра III», в котором были помещены небольшая заметка А. Блока и Ф. Кублицкого, манифест Николая II и портреты

царской семьи. Кроме того, № 6 за 1896 г. был посвящен юбилею деда Блока — А. Н. Бекетова. В нем наклеены юбилейные заметки о Бекетове из «Нового времени» и «Петербургской газеты» и портрет юбиляра.

Нужно упомянуть также появившиеся в «Вестнике» объявления о благотворительных мероприятиях (подписка на благотворительную лотерею — № 1, 4, за 1895 г., отчет о распределении полученных средств:— № 6 за 1895 г., организация общества собирания марок в пользу бедных — № 9 за 1896 г.).

В 1896 г. Блок почти не включает в «Вестник» собственных произведений; выход отдельных номеров задерживается. Чувствуется, что игра в журнал начинает его тяготить. Хотя в № 9 он обращается к подписчикам с сообщением об открытии в скором времени подписки на 1897 г. и предполагаемых «больших изменениях и улучшениях», в № 12 за 1896 г. помещены сообщения:

«Многоуважаемые читатели.

Я прекращаю издание „Вестника“, не передавая никому права продолжать это издание под тем же именем. Имею честь принести искреннюю свою благодарность всем сотрудникам и особенно г-же Бекетовой и г-ну Соловьеву. Все статьи и отрывки, которые у меня были, я помещаю в этом последнем номере.

Примите и проч. Редактор А. Б л о к».

Далее следует:

«С душевным прискорбием извещаю всех подписчиков об окончании издания журнала «Вестник». Журнал этот, просуществовав три года, медленно закатился по желанию самого редактора. Причины этого заката таинственны. Редактор находится в удрученном состоянии.

2 ноября 1896 года Цензор А. Кублицкая-Пиоттух».

Все же в январе 1897 г. вышел еще один номер журнала, на первых страницах которого имеется новое обращение редактора к читателям:

«Многоуважаемые читатели. 16 ноября 1896 года я удостоился получить от подписчиков, узнавших о моем намерении прекратить издание, следующий адрес:

«В обществе распространилось печальное известие о том, что симпатичный журнал «Вестник», выходящий уже три года под редакцией г. А. Блока, прекращает свое существование. У нас так мало хороших журналов и в молодежи так редко теперь увлечение литературой, что журнал, подобный «Вестнику», издаваемый юным редактором, имевший почти исключительно юных сотрудников, представлял собою исключительно редкое и отрадное явление. В виду всего изложенного, подписчики и усердные читатели «Вестника» обращаются к редакции его с горячей просьбой продолжать начатое дело, которое пользуется таким единодушным сочувствием общества».

Глубоко тронутый таким горячим выражением симпатии к моему журналу, благодарю всех подписчиков под адресом, а именно: г-ж Е. Бекетову, Н. Дементьеву, М. Бекетову, С. Кублицкую-Пиоттух, О. Галанину, П. Мотовилову, О. Федорович, М. Кун, А. Калиновскую и С. Колпакову; г-д А. Бекетова, Ф. Кублицкого-Пиоттух, будущего генерала А. Кублицкого-Пиоттух, Е. Романовского, М. Рожанского и В. Недзевецкого. С Новым Годом, многоуважаемые читатели». Но, несмотря на адрес и объявление о подписке, журнал все же прекратил свое существование.

«Вестник» представляет собой этап в литературной биографии Блока: здесь он прошел первую школу систематического литературного труда. Здесь — начало той большой редакционно-издательской деятельности, которая заняла значительное место в жизни Блока, особенно в послереволюционные годы. Журнал отразил «éducation sentimentale» и безмятежно созерцательное состояние духа юного поэта.

К 1897 г. этот этап был пройден. Но большой запас любви к жизни, жизнеутверждающего оптимизма, полученный Блоком в детстве и отрочестве, позволил ему противостоять миру, с которым он столкнулся.

И я люблю сей мир ужасный,
За ним сквозит мне мир иной,
Неописуемо прекрасный
И человечески-простой, —

скажет он, уже заканчивая свой нелегкий жизненный путь.

ДЕТСКАЯ ПРОЗА БЛОКА

СОН

Жила-была маленькая девочка, которая была очень непослушна. Однажды она должна была ложиться спать. Ее мама пришла и сказала ей это. Но девочка закричала, затопала ногами и насилу ее уложили.

Лежит она и думает: «Ах, если бы я могла делать, что хочу!» И вдруг подходит к ней [собака] девушка, очень красивая, да и говорит: «Пойдем со мной в мое царство, там ты будешь делать, что хочешь!» Обрадовалась девочка, села на руки и улетела с ней. Посадила ее девушка в прекрасный сад: на деревьях висели конфеты и пели райские птички. Тут подбежали к ней маленькие эльфы, стали они играть. Поиграли они до вечера и соскучилась девочка о маме. Стала она капризничать, да как закричит: «К маме я хочу скорее, где она, где она!» И проснулась.

Солнце ярко светит в комнате, а над ней стоит мама и говорит: «Полно тебе спать, пора вставать!»

С тех пор девочка боялась попасть в прекрасный сад и сделалась послушной.

А. Блок

<«Колос». Сборник сочинений А. Блока и Ф. Кублицкого-Пиоттух. 1893. Шахматово, Август. 19>

ИЗ ЛЕТНИХ ВОСПОМИНАНИЙ

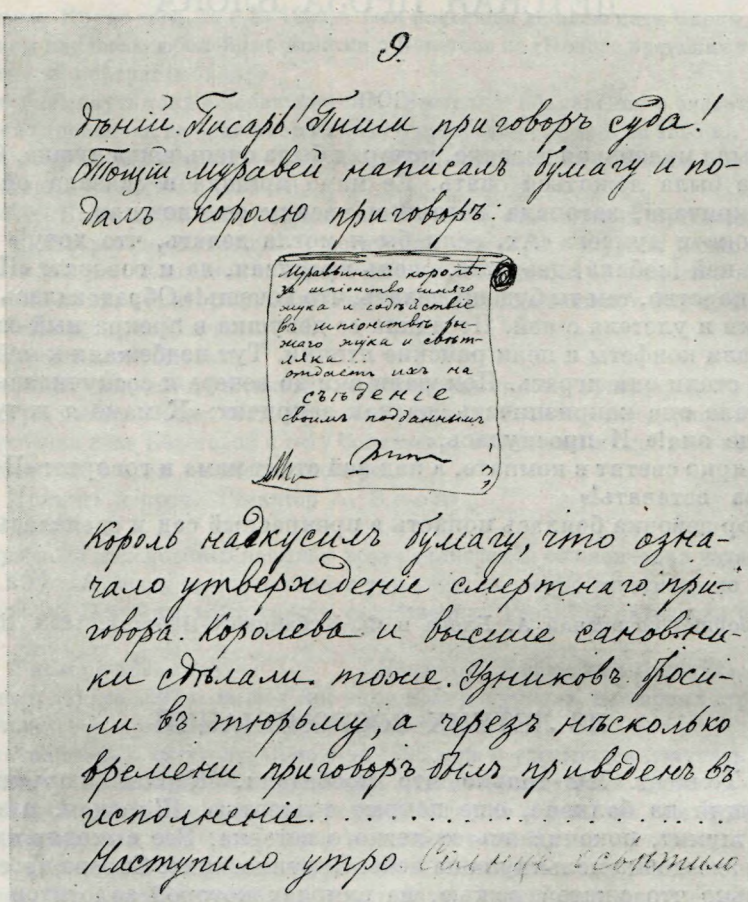
Вечер. Темнеет. Мы только что пообедали. Жаркий июльский день. Стол, стоящий на балконе, еще покрыт скатертью. Широкая, развесистая липа тихо шумит, покачиваясь от легкого ветерка. Все выходят на дорогу. Вот первая звездочка мелькнула на небе. Все тихо, тихо. Справа простирается поле с только что сжатой рожью, на скирдах которой золотится заря. За жнитвом сразу — крутой спуск к лесу. Слева тоже поле и тоже лес. Впереди же, на горизонте, черные тучи с золотистыми краями горделиво приближаются и захватывают горизонт; вот в одной из них блеснула молния; все предвещает грозу. Воздух делается удушливым. И вот начинаешь прислушиваться; слышен крик ястреба, стук телеги на большой дороге. Станция за 15 верст: слышен свист паровоза. А тучи надвигаются. Вот трепет пробежал по верхушкам деревьев, жутко стало; когда надвигается гроза, всегда что-то таинственное обнимает природу. Но вот затихло опять все, но чувствуешь, что сейчас разразится эта туча, грянет гром, блеснет молния. . .

Надо повернуть домой: мы зашли уже далеко, почти к самому лесу. Мы поворачиваем. Вот опять зашумели деревья, на этот раз уже сильнее, и крупный дождь зашумел. Мы прибавляем шагу. Послышался страшный удар грома. . . Между тем мы достигли дома, взошли на крыльцо; дверь захлопнулась за нами, и прошла гроза. . .

Приветливый шум самовара, голоса, шлепанье одной какой-нибудь не заснувшей мухи об потолок, жужание шмеля на окошке. . . Вот и прошел летний вечер. . . Прошло два года. Зима. Вьюга на улице. Ветер воет. Пред окнами искрится Нева, а месяц стоит столбом в глубине ее. И вспоминаешь тот вечер, и тянет снова в деревню, на волю, на чистый воздух; хочется снова выйти на пыльную дорогу. Скоро ли теплое, благодатное лето с треском кузнечика на жнитве, с полным ликом луны, смотрящим из-за березы в саду, с душистыми липами. . .

А на улице снег падает хлопьями, летает и крутится в вихре.

<«Вестник», 1894, январское приложение>



9.

дѣній. Писарь! Пиши приговоръ суда!
Тощій муравей написалъ бумагу и подалъ королю приговоръ:

Муравьиный король за шпіонство шняго жука и содѣйствіе въ шпіонствѣ рыжаго жука и свѣтляка... отдаетъ ихъ на съѣденіе своимъ подданнымъ

Король надкусилъ бумагу, что означало утвержденіе смертнаго приговора. Королева и высшіе сановники сдѣлали тоже. Узниковъ бросили въ тюрьму, а черезъ нѣсколько времени приговоръ былъ приведенъ въ исполненіе.....
Наступило утро. Солнце освѣтило

БЛОК. СКАЗКА «ЛЕТОМ»
Приложение к «Вестнику», 1895, с. 9
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

ПРИЗРАК

Однажды я отправился спать, но долго не мог заснуть; ночь была душная; я распахнул окно и вдруг увидел ужасный призрак, который волновался как раз передо мной; я поспешил захлопнуть окно и всю ночь промучился с бессонницей. Когда я встал утром, призрак исчез. Я стал одеваться, вылил по обыкновению на себя всю воду и заметил, что мое полотенце замечательно напоминает призрак. Это меня очень смутило; тем не менее я отправился за водой. Вернувшись, я увидел, что полотенце также исчезло. Я стал его искать, но за окно, куда порыв ветра снес его, не догадался посмотреть. Оно там лежало и мокло в лужице, только что вылитой мною из таза. Пришлось вытираться рукой, но, когда я попробовал это делать, вода полилась за шиворот и стала меня щакотать. . . Я должен был встать вверх ногами, чтобы вылить ее, но это не помогло. Пришлось остаться в мокрой рубашке. Кое-как одевшись, я отправился в столовую и. . . О! Чудо! . . На ногах своего дяди, который пил чай, заметил призрак, беспокоивший меня всю ночь, это было не что иное, как белые штаны. Вышедши в сад, я увидел другой призрак, лежавший под моим окном. С тех пор я не верю в призраков.

‹«Вестник», 1894, № 7›

Великолепно Адриатическое море в своей величественной тишине, когда его волны омывают берег. На берегу возвышается красивый город Венеция. Вот плывет большая триэра: весла подымаются медленно, плеск воды едва слышен. Пурпуровый флаг неподвижно висит на мачте. Подул ветер; посинело море и покрылось пеной; и из этой пены выплывает морская царица. Она махнула рукой, и ураган налетел. Триэра покачнулась; снасти порвались; большая волна погребла под собою триэру.

Улыбнулась морская царица и опустилась на дно: человек не победит моря.

. . . . . .

Прошли века. Все так же величественно Эгейское море. Греческая Византия превратилась в Турецкий Константинополь. Вдоль Золотого Рога плывут галеры. Их крутые бока смело режут волны. На мачтах блестят полумесяцы.

Море потемнело, и налетел ветер. Из воды показалась морская царица. Она махнула рукой, и ураган засвистел в снастях галер. Паруса порвались. Волны потопили галеры. Улыбнулась морская царица и опустилась на дно: человек не победит моря.

. . . . . .

По Северному морю неслись льдины и сталкивались с грохотом. Море кипело. Высокие волны ходили по нему. И вот вдали показалась черная точка. Она приближается. Это корабль; он борется с бурей. Его стройный корпус дрожит от напора волн.

Морская царица выплывает. Стаи буревестников кружатся над пеной. С севера мчится туча с вихрем и ураганом. Вот она налетела; волны бросают корабль: он то летит кверху, то скрывается в пучине.

. . . . . .

Буря стихла. Туча пролетела, но не сломила корабль. Сияющее солнце озарило его палубу, и он мчится навстречу новым бурям, весь покрытый блестящими брызгами.

А море катит свои темные волны и колыхает морскую царицу, и солнце играет на ее золотой короне. . .

Морская царица наклонила голову и грустно задумалась. . .

Конец

А. Блок

<«Вестник», 1894, № 8>

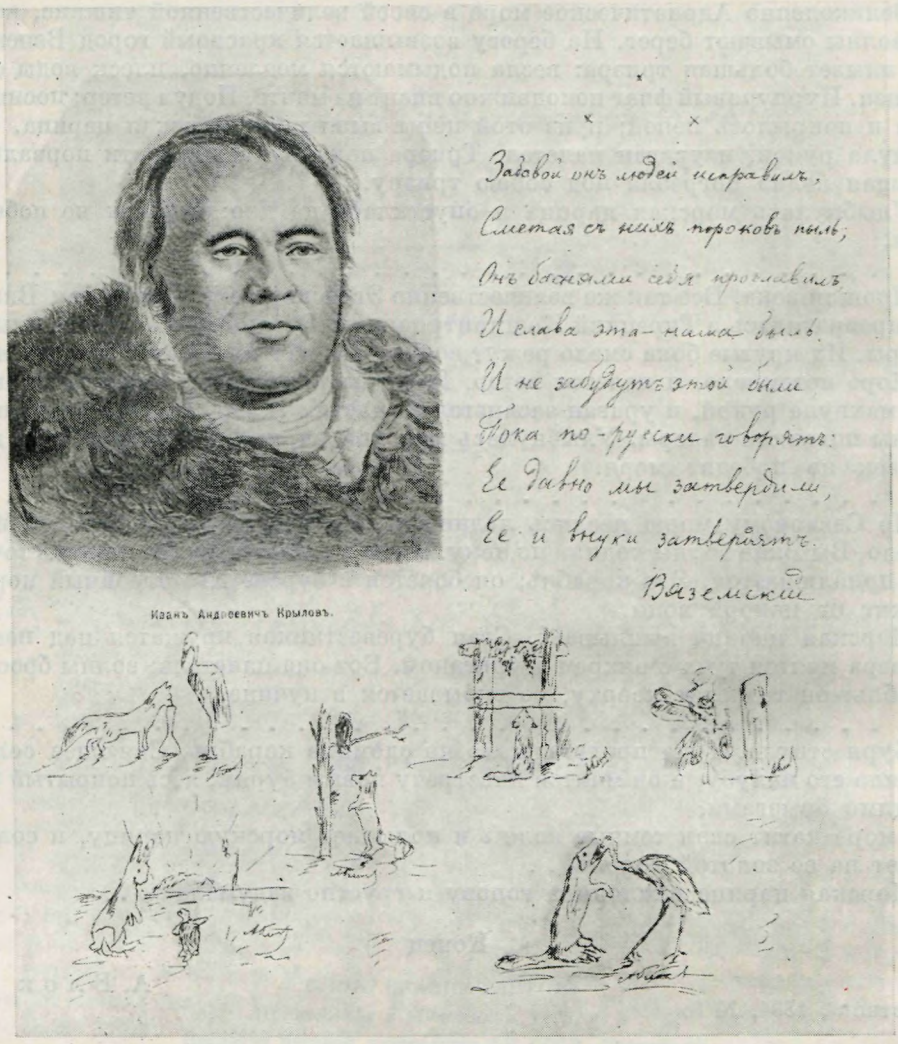
ЛЕТОМ

Посвящается моему кузену Николаю Л.

Солнце невыносимо жгло. Деревья бросали отчетливые тени на луг, усеянный цветами. Под горкой протекал, извиваясь, ручей. От жары он почти что высох, но почва была сырая и целые кусты крупных незабудок были разбросаны по обоим берегам. Дикая малина, обвитая зеленью повилики, выглядывала из целой чащи сорной травы, растущей на берегу ручья. Кое-где попадались цветы серебрянки, змеевик алел на лугу, цветы лопуха протянули свои колючки. Рои пчел жужали между цветами, трубили комары, и огромные навозные жуки копошились на твердой дорожке, то вылезая из своих нор, то влезая туда обратно. Они часто падали навзничь и долго барахтались, работая всеми шестью ногами.

Вдруг с березы свалился тяжелый майский жук и с таким шумом шлепнулся на дорожку, что навозные жуки оторопели и попрятались. Ох! Ох! стонал майский жук, барахтаясь на земле.

Известно, что навозные жуки — народ добрый, а потому, услыша стоны своего собрата, они сейчас же явились к нему на помощь и, приподняв за четыре ноги, подтащили его к своим норам и бережно положили на кусочек моху.



РИСУНКИ БЛОКА К БАСНЯМ И. А. КРЫЛОВА

«Вестник», 1896, № 5

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

Майский жук стонал и охал. Вокруг собралось много синих навозных жуков, и даже прилетела бабочка. Наконец майский жук пришел в чувство и объявил своим собратьям, что на березе поселилась ворона, которая схватила его, унесла на дерево и уронила оттуда; что он путешествовал со своим слугой, синим жучком, который пропал; что он богатый иностранец и просит отвести его домой, что живет он на том берегу ручья, под диким шиповником, в лесу. Наконец он прибавил, что вовсе не прочь покушать. Навозные жуки очень жалели его, и один из них предложил ему пищи, свойственной навозным жукам. Но майский жук с негодованием отказался, и его усы кисточками грозно зашевелились. Он сказал, что любит розы и клубничные корни, а не такую гадость. Простодушные синие жуки, видя, какой он важный господин, стали обращаться с ним иначе. Они отвели его в отдельную норку и попросили забыться сном в ожидании обеда. Солнце уже склонялось к западу, когда наш утомленный путешественник проснулся. Он скушал целый листок дикой розы, которую разыскал усердный навозный жук, и попросил тотчас дать ему про-

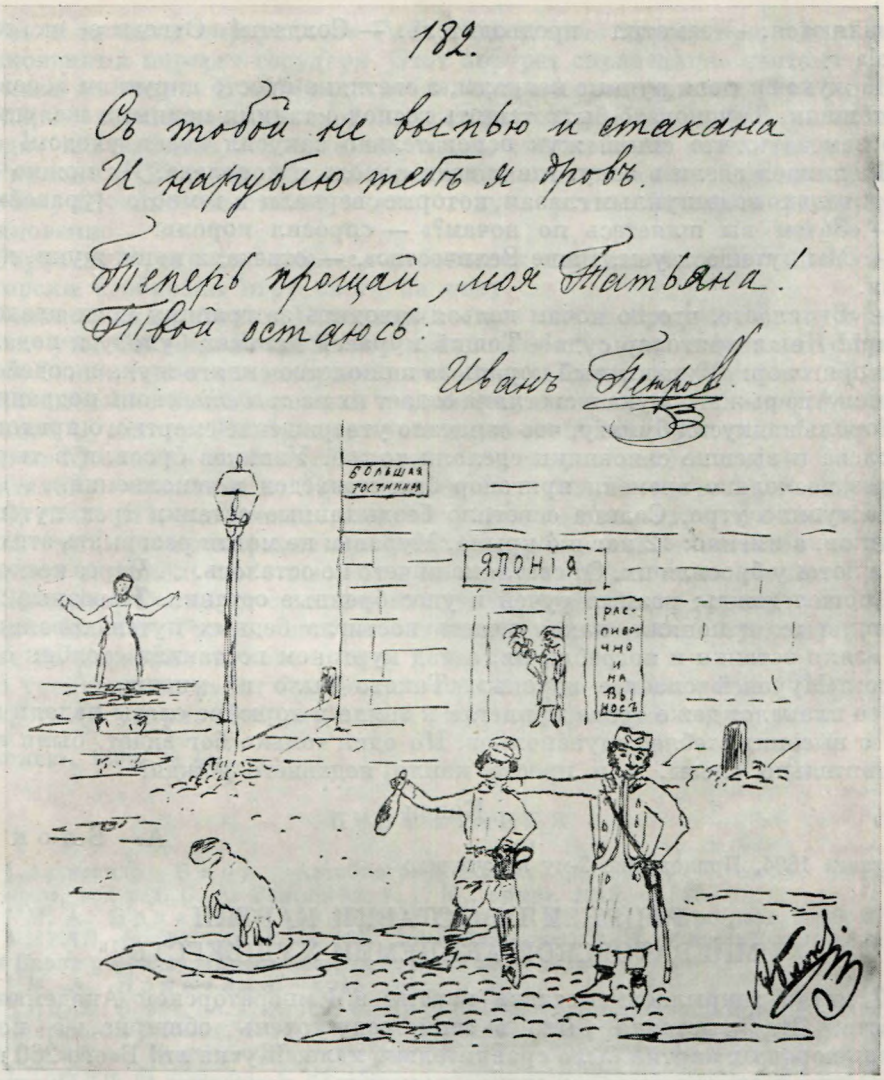


ИЛЛЮСТРАЦИЯ БЛОКА К СТИХОТВОРЕНИЮ
«ПИСЬМО ДЕНЩИКА К ГОРНИЧНОЙ»

«Вестник», 1896, № 10

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

вожатого и провести домой. Один синий жук вызвался, говоря, что лучше всего итти к ночи, так как неподалеку есть большой муравейник. Муравьи ведь грабители и любят особенно жирных господ, а потому и воспользуются случаем напасть на майского жука. Ночью же итти более безопасно. И они отправились.

Светляк из соседней деревни освещал дорогу. Они шли по гладкой тропинке, и последние лучи солнца освещали, бросая на траву золотистый отблеск. Вдруг послышался грозный оклик муравьиного часового — «Кто идет?!» — кричал муравей. Путешественники молчали. У майского жука от страха затряслись усы.

Впереди послышался топот многочисленного войска, и скоро муравьи в блестящих латах окружили их. «Кто вы такие?» — спросил начальник. — «Мы бедные путешественники, сударь», — отвечал синий жук. «По ночам

не шляются, — заметил предводитель. — Солдаты! Отведите их к королю!»

На жуков надели ручные кандалы, а светляка просто скрутили веревками и потащили. Трудновато было тащить господ с такими полными желудками; надо заметить, что синий жук основательно закусил перед уходом!

Пленников ввели в залу, где сидели король и королева. Их можно было видеть только по выпуклым глазам, которые сверкали в темноте муравейника.

— «Зачем вы шляетесь по ночам?» — спросил король.

— «Мы путешествуем, Ваше Величество», — отвечали наши жуки, дрожа усами.

— «Вы знаете, что по ночам нельзя заходить за границу моих владений. Писарь! Пиши приговор суда!» Тощий муравей написал бумагу и подал королю приговор: «Муравьиный король за шпионство синяго жука и содействие в шпионстве рыжаго жука и светляка отдает их на *съедение* своим подданным».

Король надкусил бумагу, что означало утверждение смертного приговора, Королева и высшие сановники сделали то же. Узников бросили в тюрьму, а через несколько времени приговор был приведен в исполнение. . .

Наступило утро. Солнце осветило бездыханные останки трех путешественников, а именно: 12 ног и 4 крыла. Муравьи не могли разгрызть этих членов, а потому бросили их. От светляка ничего не осталось. . . Через несколько дней пошел дождь; размыл ручей и унес бренные останки. Навозные жуки выловили их и поняли, какая участь постигла бедных путешественников. Они взяли останки и погребли их, а над курганом поставили столбик с надписью: «Муравей опаснее вороны». Таково было их мнение.

Все плакало: даже трава прилегла к земле и горючие слезы падали и падали с высоких стеблей одуванчиков. Но один только бог знает, были ли то действительно слезы, или просто капли недавнего дождя?

Конец

А. Блок

<«Вестник» 1894, Приложение 2-му полугодию>

РЕЦЕНЗИЯ ВЫСТАВКИ КАРТИН ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ [18]

17 марта закрылась выставка картин в Императорской Академии художеств. Эта выставка была в этом году очень обширна, а потому и очень хороших картин было сравнительно мало. Шутка ли! Всего 260 номеров картин и скульптуры, не считая посмертной выставки А. Д. Кившенко. Тщательный осмотр потребовал бы больше целого дня. Даже поверхностный осмотр картин занял у меня часа три времени и был очень утомителен. Публики была масса. У кассы стоял хвост. Кстати, почему бы Академии не сделать двух касс на такие случаи. Это очень обязало бы публику! — Картины занимали обе больших залы выставки и много смежных. Выставка А. Д. Кившенко (=) также обширна и занимает две порядочные залы. Из художников выдавались: Айвазовский, Бакалович, Борисов, Крыяницкий, Репин, Рицдони и Степанов. Скульпторы: Гинцбург и, конечно, Антокольский. Айвазовский поместил на выставку две картины: «Лунная ночь» и «Черное море»; обе не уступают прежним его талантливым рисункам.

Картины Бакаловича — верх тонкости, изящества и отделки; прибавьте к этому ровность колорита и увидите, что недостатка в картине Бакаловича нет. Прелестна его картина «При последних лучах». Ее можно рассматривать совсем близко и впечатление не изменится. — «Эдикт Мария» поражает среди других картин опять-таки отделкой. Заметьте лица толпы и каждый мускул рук сурового воина, охраняющего Эдикт!

Других картин Бакалович не дал нам в этом году, но и эти две доставляют зрителям такое эстетическое наслаждение, что их вполне можно назвать лучшими в своем роде.

Репин написал портрет г-на Г. Г. Ге довольно дурно; кроме того он дал великолепный портрет государя. Этот портрет справедливо считают лучшей картиной выставки. Несмотря на небольшую несоразмерность руки и головы, государь совершенно как живой смотрит на толпу. Из средней залы он и производит впечатление человека из толпы, стоящего на возвышении.

Рицпони и Степанов, оба мастерски отделывают свои небольшие картины; впрочем, Степанов выставил в этом году картины большего размера, чем обыкновенно.

Борисову прекрасно удалась небольшая картина «Среди льдов», где он мастерски изобразил игру света на льду.

Великолепны картины Крыжицкого: все они изображают Волгу в разных местах: утес Стеньки Разина, Печерский монастырь и слияние Оки с Волгой. Кроме Волги, талантливый художник написал «Днепр под Киевом» и «Иматру».

На выставке была огромная картина художника С*** — неудачное подражание Сурикову. Изображает она св. митрополита Филиппа II, которого возят по Москве на дровнях. Вокруг — народ, смеющийся над св. Филиппом. В каталоге — выписка из Карамзина («История Государства Российского», том 9, глава III, где сказано, что: «народ бежал за митрополитом, проливая слезы. . »). Вообще картина крайне дурно написана. — «Нестор» и «Иисус Христос» Антокольского высечены из мрамора в маленьком виде.

Скульптор Гинцбург сделал очень удачную гипсовую группу: «Дон-Кихот и Санча-Панса». Группа изображает героев Сервантеса в ту минуту, как те сидят на деревянном коне в саду у герцога.

Из ученических работ бросается в глаза почти точная копия с репинского портрета государя. Колорит копии уже гораздо хуже подлинника.

«Вестник», 1896, № 4»

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Александр Блок. Автобиографическая справка. — «Русская литература XX века», под ред. С. А. Венгерова, т. I. М., «Мир», 1915, с. 316.

[2] М. А. Бекетова. Ал. Блок и его мать. Л.—М., «Петроград», 1925, с. 30.

[3] ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, № 162. См. публикацию З. Г. Минц «Рукописные журналы Блока-ребенка» («Блоковский сб.», 2, с. 292—308).

[4] М. А. Бекетова. Указ. соч., с. 30.

[5] ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, № 164. Стихи опубликованы: Александр Блок. Полн. собр. стихотворений в 2 томах, т. II. Л., «Сов. писатель», 1946, с. 345. См.: Р. В. Иванов-Разумник. История стихотворения Ал. Блока (ЦГАЛИ, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 2).

[6] Там же, ф. 654, оп. 1, № 164.

[7] Архив В. Н. Орлова (Ленинград).

[8] Александр Блок. Автобиографическая справка, с. 316, 315.

[9] С. Соловьев. Воспоминания об А. Блоке. — «Письма Александра Блока», с. 10.

[10] Там же.

[11] М. А. Бекетова. Указ. соч., с. 57.

[12] Оригинальные и переводные стихи Блока, содержащиеся в журнале, опубликованы: Александр Блок. Полн. собр. стихотворений в 2 томах, т. II, с. 345—364.

[13] Влияние Тургенева сказалось и на сочинении без заглавия «Великолепно Адриатическое море. . .» (1895, № 8). В № 2 за 1896 г. помещен портрет Тургенева.

[14] М. А. Бекетова. Указ. соч., с. 54.

[15] Там же, с. 57.

[16] Мар. Грибовская. Воспоминания об Александре Блоке. — «Рижский курьер», 1921, № 208, веч. вып.

[17] М.А. Бекетова. А. Блок. Биографический очерк. Пг. — Берлин, «Алконост», 1922, с. 51.

[18] См.: «Указатель выставки Академии художеств в 1896 г.» СПб., 1896; «Альбом Академической выставки 1896 г.» Фототипическое издание. СПб., 1896.

НЕИЗВЕСТНЫЕ АВТОГРАФЫ РАННИХ СТИХОТВОРЕНИЙ БЛОКА

Сообщение Н. В. Котрелева

Поэтическое наследие Блока известно сегодняшним читателям и исследователям почти с исчерпывающей полнотой — осторожное «почти» следует употребить, поскольку не исключается, разумеется, возможность неожиданных находок (скорее всего — экспромтов, надписей на книгах и т. п., стихотворений «на случай»). Однако насущной потребностью литературоведения остаются на сегодня учет и осмысление вариантов блоковских текстов, изучение творческой их истории и истории их бытования в читательской среде.

Настоящим сообщением мы вводим в научный обиход более ста автографов и авторитетных копий блоковских стихотворений, на рубеже веков обращавшихся в кругу московских почитателей поэта — среди тех, кого в мемуарной и научной литературе именуют «соловьевцами», «аргонавтами», «московскими мистиками». Все эти определения, как известно, имеют в виду не какие-то формальные литературные объединения, а немногочисленную группу московских интеллигентов, захваченных в начале XX в. мистическими упованиями и новыми веяниями в искусстве. Именно для них лирика Блока стала уже в 1901 г. самым ярким словом, выражением и этих чаяний, и пропитанной ими новой культуры. Для «соловьевцев» и «аргонавтов» и были сделаны копии стихотворений, о которых идет речь; в их среде блоковская лирика стала впервые литературным фактом, на несколько лет ранее, чем с нею познакомилась читающая Россия.

К 1905 г. эти рукописи уже перестали читаться. Они стали частью личного архива С. М. Соловьева, который дошел до нас в разрозненном виде и с невосполнимыми утратами. Когда сам С. М. Соловьев в 1925 г. опубликовал письма Блока к нему и его отцу, М. С. Соловьеву, то даже те стихотворения поэта, которые составляли единое целое с письмами, были отражены в публикации далеко не полностью. Ни слова не было сказано о хранившихся у Соловьева автографах ранних стихотворений Блока, некогда присылавшихся в Москву с этими письмами и — по всей вероятности, тогда же — от них отделенных. А позже эти рукописи оставались неизвестными всем, кто готовил издания сочинений Блока. Более того, сам поэт не имел под рукой этих автографов при подготовке своих стихов к публикации.

Автографы стихотворений, о которых идет речь, либо высылались О. М., М. С. и С. М. Соловьевым в Москву, либо были переписаны по их просьбе при личных свиданиях. Сюда же были присоединены и тексты стихотворений, присланные Блоком в письмах к Андрею Белому (и потому оказавшиеся недоступными В. Н. Орлову и при издании их переписки). Копии, принадлежавшие Белому, стали в свое время частью единого «московского собрания» стихотворений Блока, которое складывалось естественно. Присовокупление стихов к письмам было, по всей вероятности, достаточно осознанным движением «авторской воли»; бóльшая часть из них была прислана в то время, когда Блок еще не печатался, и, следовательно, автографы — подчеркнем, все беловые, дающие для своего времени «окончательный текст» — можно и нужно рассматривать как своеобразные публикации. «Собрание» блоковских стихотворений стало чтением для расширяющегося с годами круга читателей, т. е. сыграло именно роль публикации, типологически вполне аналогичной всякого рода другой. Распространение и признание блоковских стихов в Москве естественно привело поэта на пороги журнала «Новый путь», альманахов «Северные цветы» и «Гриф» — стало первым шагом в печатную литературу. Рукописный литературный дебют и стадия рукописных публикаций, неизбежные едва ли не для всякого начинающего, тем более интересны в литературной судьбе Блока. С одной стороны, эту стадию проходит — и достаточно долго — значительнейший поэт эпохи, получая лите-

ратурное имя во взыскательной, высокопрофессиональной и предельно сродной его дарованию среде, к которой принадлежали ближайшие литературные соратники Блока, его «вечные спутники» в русской словесности. С другой стороны, на время, когда сложился основной объем «московского собрания» — до 1904 г., приходятся важнейшие этапы всего творческого пути Блока: от ранних опытов до стихов из раздела «Распутья» первого тома, где сказались явственно лирические темы зрелого Блока.

Учтя все эти свойства «московского собрания», мы должны необходимо заключить, что важность его автографов не только и не столько в извлекаемых из них разночтениях, как ни интересны варианты для истории отдельных произведений, здесь «публиковавшихся» в промежуточном — от рабочей рукописи к печатному тексту, — но на время окончательном виде. Гораздо важнее то, что перед нами важнейший источник к истории такого сложного текста, как первый том блоковской лирики, к истории бытования блоковских произведений в первой его читательской среде. С точки зрения современной науки это — важнейший раздел текстологии; такое изучение текста — норма для медиевистов, детально разработанная Д. С. Лихачевым [2], и распространение ее на памятники новейшей литературы представляется необходимым.

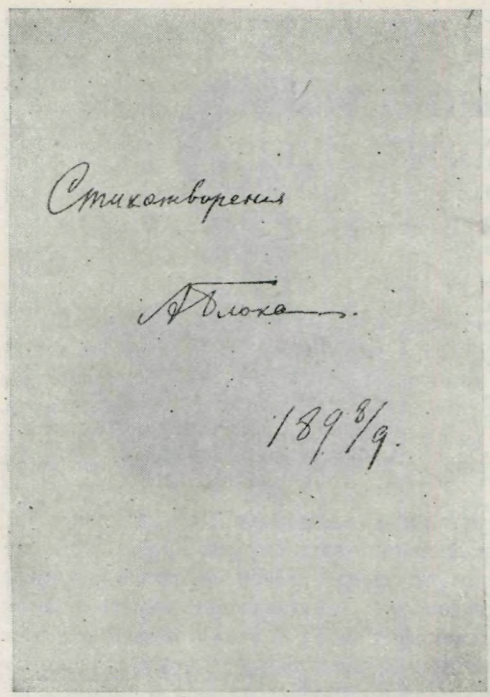


БЛОК
Фотография Е. Мрозовской, 1898 г., Петербург
Литературный музей, Москва

Ответы на возникающие в связи с вышесказанным вопросы выходят за рамки задач и возможностей предлагаемого сообщения. Прежде всего потому, что изучение «московского собрания» — частная проблема, разрешение которой мыслимо лишь в общем контексте текстологического исследования всего первого тома. Наша цель скромна: описать автографы и копии, некогда составлявшие «московское собрание» стихотворений Блока, дать им самую суммарную характеристику, очертить историю этого корпуса, наметить некоторые вопросы, встающие при знакомстве с ним.

Многочисленные свидетельства о бытовании блоковских текстов в Москве на рубеже веков мы находим в материалах, впервые печатающихся в настоящем томе «Литературного наследства», — в письмах О. М. Соловьевой к матери поэта, М. С. и С. М. Соловьевых к Блоку, переписке Андрея Белого с З. Н. Гиппиус и Э. К. Метнером и др. (см. раздел «Блок в неизданной переписке и дневниках современников).

Стихотворения Блока впервые появлялись в Москве с письмами его матери к О. М. Соловьевой. О литературных играх блоковского детства Соловьевы знали и прежде — их сын Сергей принимал участие в домашнем журнале Блока и его кузенов, сообщение о котором помещено выше. «Тогда уж меня поразила и пленила в нем ‹Блоке› любовь к технике литературного дела и особенная [аккуратность» [3], — вспоминал С. М. Соловьев, очень рано осознавший себя наследником профессионально-литературного дома Соловьевых. Тем не менее в письмах его матери, О. М. Соловьевой, какое-то время на первом плане — Блок-актер. Даже когда она пишет, что «Сергей и его друг Боря Бугаев ‹. . .› с головою погружены в поэтов», она сетует: «Как жаль, что Саши нет здесь! Вот бы актер!» (ср. ее письмо от 27 декабря 1897 г.). И еще в августе 1898 г., после того как Блок, гостя у Соловьевых в Дедове, очаровал их, о его стихах Ольга Михайловна говорит походя, главный вопрос для нее — талантлив ли юноша как актер.



ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РУКОПИСНОЙ ТЕТРАДИ СТИХОТВОРЕНИЙ БЛОКА, ПОДАРЕННОЙ С. А. КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ
Литературный музей, Москва

Но уже в октябре того же года, затеряв бывшую у нее копию блоковских стихов, она просит А. А. Кублицкую-Пиоттух: «Если ты очень добрая, то пришлешь мне их опять». В этом письме открываются два важнейших аспекта соловьевского отношения к лирике Блока: с одной стороны, высокая требовательность к юношеским лирическим опытам (понимание зависимости начинающего поэта от Фета, оценка фактуры и отработанности стиха). С другой стороны, письмо впервые для нас определяет, что сделало лирику Блока «своей» для Соловьевых: «Это стихи — к верующему другу, то есть такой их общий смысл». Блок постепенно осознает свое поэтическое призвание. 18 октября 1898 г. он сообщает отцу: «. . .Пишу стихи, иногда пытаюсь писать прозу, но у меня ровно ничего не выходит» (VIII, 8); 22 января 1900 г.: «Стихи подвигаются довольно туго» (VIII, 10); 1 декабря 1900 г.: «Стихов немного и нерационально, потому что не имею в виду их печатания» (VIII, 15); наконец — о переходе на филологический факультет, что вызвано было для Блока решительным выбором истинного своего пути (письма от 29 сентября и 16 октября 1901 г. и позже — VIII, 24—26, 40—41, 47—48). Параллель — в письмах О. М. Соловьевой к А. А. Кублицкой-Пиоттух: вторая половина 1898 г. — признание, что есть стихи, которыми Блок ей «особенно угодил» (но его произведения рассматриваются еще как нечто рожденное поэтической преемственностью, но не ставшее еще самостоятельным явлением). Соловьева пишет, что ей хочется знать, как «это пойдет дальше» — но следует почти трехлетнее молчание о блоковских стихах (однако все ли ее письма дошли до нас?). Наконец, вторая половина 1901 г., после новой, решающей встречи Соловьевых с Блоком в Дедове — безоговорочное признание поэта не только О. М. Соловьевой, но целым московским кружком. Отсюда и настоятельные советы печататься, и хлопоты в редакциях, и резкая ссора с З. Н. Гиппиус; Блок стал поэтом, говорящим от всего кружка, и Соловьева волнуется за его стихи: «мне кажется, ведь стихи-то мои» (наст. т., кн. 3).

Долгое время основной источник знакомства со стихами поэта в Москве — нам неизвестные копии, присылавшиеся Ольге Михайловне матерью Блока. Потому Соловьева просит, когда дело заходит о возможной публикации в «Скорпионе»: «Пожалуйста, пришли стихи Саши скорее, четко переписанные, побольше. У меня есть несколько, но они все в твоих письмах, которые я не могу дать никому <. . .> Я прочла вчера вслух «Шорохи и стуки» (Брюсов почти не разбирает твоей руки)».

Однако к этому времени устанавливаются прямые эпистолярные связи Блока с М. С. Соловьевым и с С. М Соловьевым. При письмах и тому и другому идут беловые авторские копии стихов. Михаил Сергеевич в переписке — явно старший, руководящий Блоком в начале жизненного и литературного пути; отсюда и шутливо-серьезная игра — предложение Блоку благодарить за присылку ему каждого нового тома сочинений Вл. С. Соловьева (издателем которого стал Михаил Сергеевич) собственными стихами. Между Блоком и Сергеем Соловьевым устанавливается, напротив, восторженное братство — подробнее об этом см. в предисловии к их переписке, печатаемой в наст. томе.

Но почитатели Блока — уже не только семья Соловьевых. Его поклонником стал Б. Н. Бугаев (будущий Андрей Белый), на которого «Сашины стихи», как сообщала матери поэта О. М. Соловьева еще 3 сентября 1901 г., «произвели необыкновенное, трудно

описуемое, удивительное, громадное впечатление». Появляется необходимость размножения блоковского текста. Копии, снятые Белым, свидетельствуют, что блоковский текст обладает некоторым качеством, делающим возможной и необходимой его жизнь независимо от автора. Белый заводит тетрадку, куда переписывает блоковские стихотворения, прежде всего, по-видимому, для себя, — об этом говорят его пометы-отзывы при некоторых из них на сохранившихся листках, описываемых нами ниже [4]. Но эти списки одновременно получают и значение публикации (в отличие от списков А. А. Кублицкой-Пиоттух, не отделившихся от частных писем, как мы видели): Белый читает их сам, дает читать многим и многим. Так разрастается московская аудитория Блока. Автографы поэта и копии с них образуют единый общий фонд, удовлетворяющий не только духовным интересам «соловьевцев», «аргонавтов» [5]. Они — первый источник известности Блока за пределами семейного и дружеского круга, в «большой литературе». Еще осенью 1901 г. О. М. Соловьева посылает два блоковских стихотворения З. Н. Гиппиус; позже с этими рукописями Блока знакомится В. Я. Брюсов. В рассказе Соловьевой об одном из чтений Брюсова характерная деталь — одновременно упомянуты и автографы Блока, и копии Белого: «Я сейчас же дала ему — увы, уже без разбора — несколько листов, переписанных Борей и отчасти Сашей (твоим) и лежавших поблизости». Копии, посылаемые Белым в Нижний Новгород Э. К. Метнеру, будущему цензору «Стихов о Прекрасной Даме», восходят именно к этому начальному общему фонду блоковских рукописей в Москве.

С начала 1903 г. связи Блока с Москвой развиваются в существенно иных условиях. В январе уходят из жизни С. М. и О. М. Соловьевы, те, кто первыми обратили внимание на стихи Блока «со стороны» (VII, 14). Но они успели заочно познакомить Блока с Белым, при их посредничестве началась с первых чисел января переписка «друзей-врагов». Весною того же года Блок начинает печататься. Совокупность этих событий и обстоятельств и определяла новую связь Блока с «москвичами», новое «лицо» Блока в Москве. Количество автографов, может быть, и выросло, стали они более частыми — если судить по дошедшим до нас рукописям: пятнадцать стихотворений при письме от 8 октября 1903 г. к Сергею Соловьеву, шесть — при письме к нему же от 8 марта 1904 г., пространные стихотворные приложения при письмах к Белому [6], одно—два стихотворения при многих письмах к тому и другому. Всякий раз стихи посылаются как доверительное слово о себе; даже тогда, когда Блок отбирает их из старых, забывая, что послал прежде, он отвечает на напряженное ожидание человека, заведомо причастного сокровенному смыслу его лирики. Теперь Блок открыт перед москвичами — Соловьевым и Белым — глубже, чем, может быть, после летнего свидания с Соловьевым в 1901 г. В 1901—1902 гг. Блок был дальше лично от своих адресатов как по причинам разницы возрастов, так и по недавности отношений, с другой стороны, тогда острее, по-видимому, переживалась атмосфера литературного дебюта. Теперь уже, в 1903—1904 гг., посылая стихи друзьям, Блок уже не рассматривает это как своего рода «публикацию», но это и не простой обмен (и Соловьев, и Белый в ответ шлют Блоку свои стихи) поэтическими новостями. Стихи — неотъемлемые составляющие переписки, которым поручается часто самая интимная часть послания.

Важно учесть и то, что изменилось отношение адресатов Блока к литературному миру. Прежде Соловьевы «выходили» со стихами Блока на еще далекую от них и тянущейся к ним молодежи «литературную арену» — в «Скорпион», к З. Н. Гиппиус. Теперь Андрей Белый — один из лидеров московского символизма, непременный участник собраний в том же «Скорпионе», в «Грифе» и т. д. А интимный кружок «аргонавтов» внутренне «иссох», перестал восприниматься как побратимство отправляющихся за «золотым руном», хотя члены его сохранили между собою ближайшие отношения. Восторженная встреча, оказанная «аргонавтами» Блоку в Москве в январе 1904 г., при всей своей экзальтированной напряженности как раз и выявила (прежде всего для возглавлявшего их и самого из них чуткого — Андрея Белого) «провал», нежизненность «аргонавтизма» [7]. Как получатели блоковских стихов, Белый и Соловьев близко связаны с поэтом; но, когда они знакомят других людей с этими стихами, они оказываются публикаторами уже отчужденного, оторвавшегося от создателя литературного текста. С одной стороны, перед нами стихотворные исповеди поэта перед Соловьевым и Белым. С другой — Соловьев и Белый — посредники между Блоком и читателем, воспринимающим каждый новый текст только как литературный факт, переживающим эту встречу как личную, жизненно важную, но —

в специфическом и отчужденном контексте литературного ряда, литературного движения. В конечном счете для читателя образ Блока создают его печатные стихи, а не кружковые рукописные копии. Только для самых близких важен факт личного присутствия поэта.

В этом повороте отношений московских символистов к блоковскому тексту нужно отметить один аспект, существенный для судеб всего символистского движения. Он свидетельствует о крахе той утопии, осуществления которой желали московские «аргонавты», Вяч. Иванов, во многом — сам Блок. Они мечтали о возвращении человечества к такой жизни, в которой каждая личность связана с каждой другой без отчуждающих средостений «цивилизации». Но опыт собственного кружка в самую первую пору их пути показывал недосягаемость чаемого. Живое общение многих, но внутренне единых, живущих «об одном» (пользуясь их выражением), не далось «аргонавтам» в 1903—1904 гг. (как не осуществилось и в «башне» Вяч. Иванова [8], в новом журнале, замышлявшемся Ивановым и Блоком, в московском «Мусагете» — во всем русском символизме). Многие из ранних московских почитателей Блока сохранили на всю жизнь отношение к его лирике, как части их собственной жизни; но каждому дано было переживать это лишь уединенно, на расходящихся (настолько, что они уже и не умели понять и принять реального пути Блока) жизненных и духовных путях (ср., например, письмо М. И. Сизова к Белому в наст. томе и многие другие подобные материалы раздела «Блок в неизданной переписке современников»).

В 1903—1904 гг. получаемые Белым и Соловьевым блоковские автографы по-прежнему складываются в общий фонд: об этом свидетельствуют оставшиеся в бумагах Соловьева стихи, приходившие при письмах к Белому, отзывы в письмах то одного из них, то другого к Блоку на стихи, полученные другом. Перестает расти этот фонд и становится материалом личного архива в 1905 г. После резкой ссоры (о которой подробнее см. в предисловии к переписке Блока с Соловьевым) прекращается всякое общение между Блоком и Соловьевым. Переписка с Белым какое-то время сохраняется, но стихи занимают в ней все меньшее место. Однако не одно только напряжение личных отношений объясняет, как кажется, исчезновение из писем стихотворных приложений. Ведь уже и перед разрывом отношений с Соловьевым Блок стал присылать ему стихи значительно реже; и совсем нет стихов в поздней переписке Блока с Белым (не говоря уже о случайных письмах после примирения). Известно, что и Белый, и Соловьев то восторженно (как Белый, например, стихи из цикла «На поле Куликовом»), то болезненно резко (как Соловьев, например, «Двенадцать») переживали новые произведения Блока. Но коренным образом изменился самый стиль, природа общения: прямую связь в письмах сменила связь через печатный лист; невозможной стала прежняя близость (в первые годы века эта дружба была даже несколько искусственно нагнетаемой); печатание стихов, а не сообщение их друг другу стало неотъемлемым атрибутом образа каждого из них в глазах другого. Переписка осталась средством литературно-технического, бытового, дружеского и т. д. общения, но не поэтического, не сокровенно-лирического.

Итак, хронологические рамки, в которых укладывается рукописное московское собрание стихотворений Блока (частью нам неизвестное), — 1898 — начало 1905 г. При том, что складывалось оно поэтапно и каждый этап имеет свои особенности, и с точки зрения отношений между корреспондентами, и с точки зрения того, в каком качестве функционировали неизданные блоковские тексты в Москве, это «собрание» в конечном счете едино. Быть может, главная его ценность — в том, что его история запечатлела самый процесс становления Блока, изменения его образа в русской культуре: от юноши, пробующего себя в поэзии, до зрелого поэта, творчеством которого ознаменовалась эпоха. Такой полноты образа, и образа в движении, с какой выявляет путь Блока это «собрание», не дают разрозненные «допечатные» стихотворные приложения к ранним письмам Блока отцу, А. В. Гиппиусу и др.; только тетрадь стихов, подаренная начинающим поэтом тетке, С. А. Кублицкой-Пиоттух, и ныне хранящаяся в ГЛМ рядом с «московским собранием», по своей текстологической значимости — в предложенном ракурсе — может сравниться с «московским собранием».

Как мы говорили, «московское собрание» дает небольшое количество разночтений к каноническим текстам и к изданному корпусу вариантов. Но при том, что оно достаточно велико по объему, его варианты ставят перед исследователями и издателями поэта

самые различные и весьма существенные текстологические проблемы. Некоторых из них мы коснемся, характеризуя самым общим образом описанные ниже рукописи.

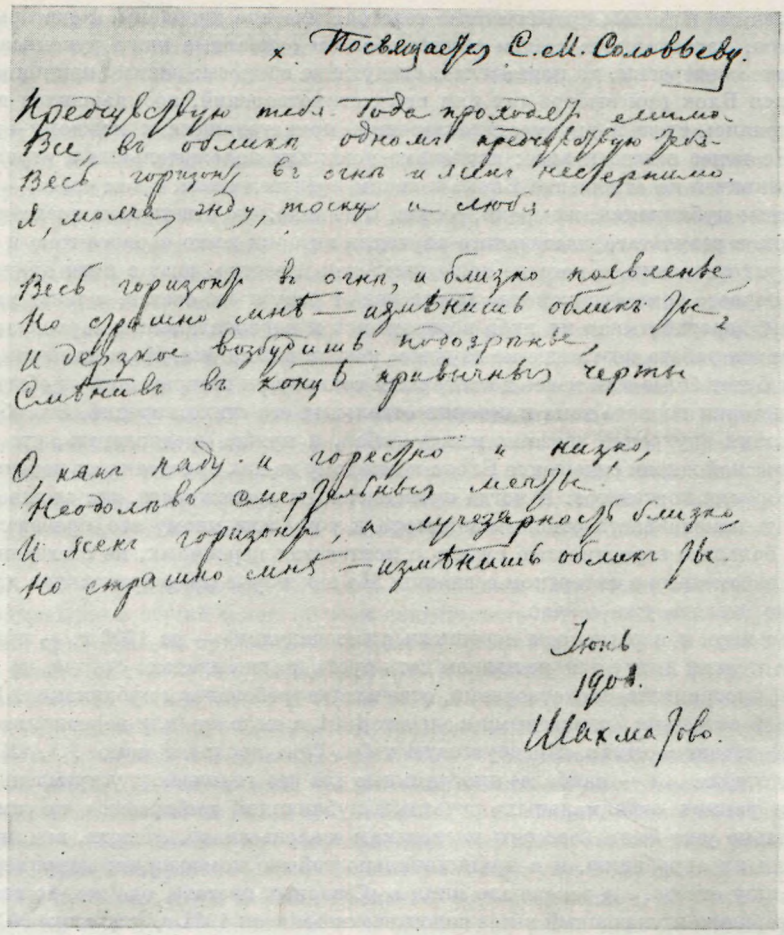
Наиболее интересны, на наш взгляд, следующие вопросы: какими принципами руководствовался Блок при выборе тех или иных стихотворений, посылавшихся в Москву? как подбирались друг к другу стихотворения, прилагавшиеся к каждому отдельному письму? Не менее важно и иное: насколько повлияли положительные и отрицательные отзывы москвичей на отношение Блока к своим произведениям, в том числе — на авторские печатные публикации, их сроки, состав. Очевидно, что ответить на последний вопрос можно лишь в результате тщательного изучения истории всего первого тома и современных ему стихотворений, в него не вошедших: как известно, поэт в пяти прижизненных изданиях первого тома существенно менял раз от разу и его состав, и текст многих стихотворений, перерабатывая их либо возвращаясь к первоначальным вариантам (I, 566), но в целом эта работа поэта еще не изучена, как ни важна она. Но и на первые два вопроса ответ будет более или менее достоверным только при возвращении от общего к частному, от истории первого тома к истории отдельных его стихотворений. Это объясняется тем, что стихи внутренне связаны между собой, и нужно предполагать, что на любом этапе творческой жизни отношение Блока к каждому из них определялось возникновением новых авторских контекстов. И когда прояснится, по возможности, эта сложность — постоянство и изменчивость отношения автора к тому или иному его произведению, мы сможем с большею вероятностью судить о контекстах первичных, не отягченных последующими переменами в авторском сознании. Но некоторые предварительные наблюдения необходимо сделать уже сейчас.

Несомненно, в первые годы переписки с «москвичами» — до 1903 г. — выбор Блока в большей степени диктуется желанием дать пусть и относительно старые, но «репрезентативные», программные стихотворения, отвечавшие требованиям публикации. После знаменательной встречи с Соловьевыми в августе 1901 г. он шлет (или переписывает для них в Дедове?) недавние стихи «Предчувствую тебя. Года проходят мимо. . .», «Я жду призыва, ищу ответа. . .» — наиболее программные для его лирических устремлений. Не случайно для ранних «официальных» печатных публикаций выбираются те самые стихи, которые давно уже были известны московским «соловьевцам», отчасти, видимо, потому, что прошли их апробацию, и в принципиально той же композиции: например, «Я жду призыва, ищу ответа. . .» завершало цикл в «Северных цветах», оно же, по всей вероятности, завершало и указанный выше соловьевский список 1901 г. (см. ниже №№ 42—45).

Позже, в переписке с Сергеем Соловьевым и Андреем Белым 1903—1904 гг., Блок более склонен к ознакомлению друзей со стихами как с листками лирического дневника, и тогда естественными представляются указания, что вот — «последнее» стихотворение или шуточное требование «скандировать на голос Валерия Брюсова». Но Блок не спешил посылать самые последние произведения: при том, что он охотно делится стихами, относясь к ним как к словам, наиболее точно выражающим его внутренний мир и духовный путь, очень часто он дает стихам некоторое время вылежаться и только потом отбирает представляющееся ему более существенным, чтобы послать в Москву.

Ясно, что изучающему и «Стихи о Прекрасной Даме», и первый том в целом нужно учитывать и композиции больших стихотворных подборок для «москвичей», и даже микрокомпозиции отдельных автографов из двух—трех стихотворений. Они почти никогда не выдерживают хронологического порядка, ставшего для «Собрания стихотворений» основным принципом построения, наиболее наглядно прочерчивающим путь Блока. Но тем интереснее однажды установленные автором соотношения отдельных текстов, открывающие, по-видимому, не всегда явные (особенно при естественном стремлении блоковских текстов к циклизации) смысловые связи стихотворений, разделенных между собой временем. Нужно будет рассматривать эти подборки и как существенный для автора опыт составления циклов, использованных при позднейших публикациях.

Проблему влияния московского отклика, московской оценки стихотворений Блока на их дальнейшую судьбу нельзя решать упрощенно, словно московский «приговор» был для поэта истиной в последней инстанции. Но московская читательская среда была для Блока естественным и необходимым резонатором, в отзвуках которого он улавливал сходство с собственным восприятием своих созданий. Отсюда понятным становится тот факт, что значительная часть из посылавшихся в Москву стихотворений и получивших там низ-



x. Посвящается С. М. Соловьеву.

Предчувствую тебя. Года проходят мимо.
Все, в облике одном предчувствую тебя.
Весь горизонт в огне и ясен нестерпимо.
Я, молча, жду, тоску и любя.

Весь горизонт в огне, и близко появленье,
Но страшно мне — изменишь облик ты,
И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменивъ в конце привычныя черты.

О, как паду и горестно и низко,
Неодолевъ смертельныя мечты!
И ясен горизонт, и лучезарность близко,
Но страшно мне — изменишь облик ты.

Июнь
1901.
Шахматово.

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ БЛОКА «ПРЕДЧУВСТВУЮ ТЕБЯ», ИЮНЬ, 1901 г.
Литературный музей, Москва

кие «оценки» позже не была введена в первый том, печаталась много лет спустя и от случая к случаю. Далеко не все стихотворения, известные в Москве, а только меньшая их часть получили отзыв, сохраненный для нас письмами Соловьевых или Андрея Белого, но устные отзывы при встречах были несомненно. Тем интереснее, как ни затруднительна их однозначная интерпретация, многочисленные оценочные пометы на дошедших до нас «московских» автографах и копиях Белого, не говоря уже о выставленных блоковским стихам «баллах» [10]. В некоторых случаях, когда отзыв Сергея Соловьева сохранен для нас письмом, связь его с дальнейшей судьбой стихотворения кажется очевидной.

Наконец, текстологические проблемы в самом узком смысле слова. Только один автограф из описываемых ниже ставит будущего издателя перед проблемой выбора текста (предрешать которую мы не видим надобности): «Корреспонденция Бальмонта из Мексики» (№ 84) Блоком не издавалась; В. Н. Орлов при включении ее во второй том собрания сочинений поэта располагал двумя редакциями, из которых отдал предпочтение более поздней, краткой (II, 452). Описанная ниже — третья, еще более пространная, чем ранняя из двух прежних, и дело будущего — установка ее хронологических и текстуальных отношений к двум известным и выбор основного текста.

Прочие автографы — важный источник к истории отдельных стихотворений, материал для изучения творческого процесса Блока. Рассмотрение и осмысление этих вариантов не входит в задачу настоящего сообщения. Здесь мы должны только отметить, что они затрагивают практически все стороны текста, поскольку дают разночтения и графические

(чрезвычайно важные именно для Блока — I, 567—568), и пунктуационные, лексические, ритмические, иногда перед нами — ранние варианты с выброшенными позже строфами (как правило, известными по прежним публикациям). Интересны ранние варианты и в связи с заменой или опущением заглавий, посвящений (см., напр., четко мотивированный отказ С. М. Соловьева от посвящения ему «Предчувствую тебя. Года проходят мимо. . .») в письме его Блоку от 14 февр. 1902 г. Датировки, как правило, не дают ничего нового для выяснения времени написания текста, они важны при изучении стиля оформления рукописи в блоковских «публикациях». Необходимо отметить только одно стихотворение: «Мы отошли — и тяжко подымали. . .», помеченное в изучаемом автографе ноябрем, а не декабрем 1902 г., как в I, 255.

Однако хотелось бы остановиться все же на нескольких примерах разночтений из «московских» автографов Блока, подобрав их так, чтобы видно было разнообразие текстологических проблем, которые встанут перед будущим исследователем.

Вот текст классического «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо. . .» по «московскому» списку (№ 42):

Посвящается С. М. Соловьеву

Предчувствую тебя. Года проходят мимо.
Все в облике одном предчувствую тебя.
Весь горизонт в огне и ясен нестерпимо.
Я, молча жду, тоскуя и любя.

Весь горизонт в огне, и близко появленье,
Но страшно мне — изменишь облик ты,
И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.

О как паду и горестно и низко,
Не одолев смертельныя мечты!
И ясен горизонт, и лучезарность близко,
Но страшно мне — изменишь облик ты.

Июнь 1901. Шахматово

Окончательный текст с его шестью двустишиями против трех четверостиший в раннем варианте (при том, что рифмовка остается прежней, и стихотворение — трехстрофным) несомненно подчеркивает отрывистую, экстатическую фразировку:

И тяжкий сон житейского сознанья
Ты отряхнешь, тоскуя и любя.

Вл. Соловьев

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
Все в облике одном предчувствую Тебя.

Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,
И молча жду, — *тоскуя и любя.*

Весь горизонт в огне, и близко появленье,
Но страшно мне: изменишь облик Ты,

И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.

О, как паду — и горестно, и низко,
Не одолев смертельныя мечты!

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но страшно мне: изменишь облик Ты.

4 июня 1901 г. С. Шахматово

Ту же цель преследуют и изменения в пунктуации: в строках 1, 3, 4 и 9 появляются не требующиеся нормой тире, выявляющие интонационный жест и ритм стихотво-

рения; вероятно, как компенсация этой повышенной нагрузки четырех тире заменяются на причинные двоеточия первоначальные тире в повторяющихся строках 6-й и 12-й. Одновременно более гибкой, разнообразной становится интонация первых четырех строк. С одной стороны, резко усиливается пробелом пауза после 2-й строки; с другой — тире после 1-й и запятая после 3-й «прорисовывают» — сравнительно с первоначальными точками — смысловые связи между частями текста. Наконец, пауза-пробел после 6-й строки четко оправдывает в конце ее запятую перед союзом, начинающим следующую строку. Необходимо оценить и существенную графическую перемену в стихотворении: в окончательном тексте появляются заглавные буквы в местоимении Ты — заглавные, знаменующие космологическое средоточие лирики Блока.

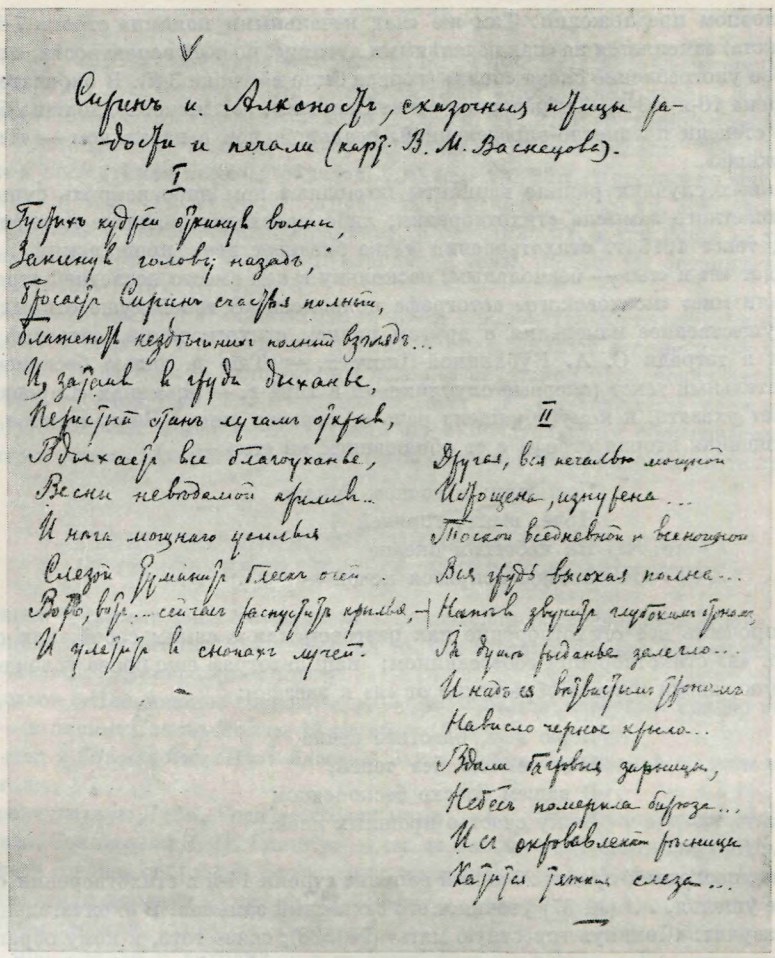
В «московской» авторской копии нет эпиграфа из Вл. Соловьева, он поставлен позже (тогда же, вероятно, появился и курсив в строке 4-й, обозначающий соловьевскую цитату). Но зато в этом списке есть посвящение Сергею Соловьеву, позже снятое по просьбе самого Соловьева. Однако, если судить по расположению текста на листе, можно предположить, что это посвящение появилось после того, как стихотворение было переписано: посвящение «втиснуто» на свободное место, вровень — а не ниже — со значком начала стихотворного текста (отметим, кстати, почти во всех рассматриваемых блоковских автографах наличие этих «типографских» значков — квадратиков, звездочек, линеек и т. п., — придающих рукописи «печатный» вид).

Поскольку речь зашла о посвящениях, необходимо указать еще ряд стихотворений (см. №№ 9, 28, 50, 54, 63), в «московских» автографах посвящений не имеющих. По всей вероятности, Блок ставил посвящение с согласия адресата; мы снова сталкиваемся с тем, что, посылая стихотворения в Москву, поэт знал: это есть своего рода «публикация», предполагающая отклик, оценку (как и в случае со стихотворением «Отшедшим» — № 63, посвященным памяти С. М. и О. М. Соловьевых). Менее интересны, да и не новы первоначальные заглавия иных стихотворений, которые сохранились в «московских» автографах; быть может, любопытнее в этой связи как раз отсутствие заглавия в рукописи стихотворения «Из газет» (№ 80). Позже поэт, в стремлении к предметной четкости, самим названием определил его сюжетное происхождение. Что же касается ритмического характера междустрофных пробелов, о чем мы говорили выше, в связи со стихотворением «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо. . .», то в «московских» автографах, сравнивая их с поздним текстом, мы находим еще несколько примеров подобного переоформления. Особого внимания, разумеется, заслуживает уже не строфическое, а сюжетное членение такого значительного в эволюции раннего Блока стихотворения, как «В полночь глухую рожденная. . .» (I, 585) (№ 47, 94 и 94а), а равно и варианта стихотворения «Сирин и Алконост» из тетради, подаренной С. А. Кублицкой-Пиоттух (описание ее автографов мы даем в приложении к основному).

Некоторые автографы дают метрические варианты к окончательному тексту и могут служить источником для изучения блоковского стиха. Наиболее яркий случай — усечение в окончательном тексте соответственно на одну и две стопы парных, 2—6-й и 4—8-й строк стихотворения «После дождя», начальный вариант которого сохранился в тетради С. А. Кублицкой-Пиоттух. Но следует обратить внимание и на внешне менее значительные метрические поправки, например: в стихотворениях «Все кричали у круглых столов. . .» (№ 66) или «Из газет» (№ 80), где метрика меняется при опущении отдельных слов; в стихотворении «Мы, два старца, бредем одинокие. . .» (№ 73), где легкие перемены — на один слог — произведены в соседних строках и, вероятно, связаны между собой, так что усечение одной повлекло за собою наращение другой.

В нашем материале мы не находим больших различий с окончательным текстом, если не говорить о вычеркивании целых строф и групп строф, которые, как сказано выше, известны по прежним публикациям. Наиболее правленный ранний вариант, оказавшийся в нашем распоряжении, быть может, стихотворение «Свобода смотрит в синеву. . .» (№ 59) с его сильно переработанной при публикации второй строфой, в «московском» автографе выглядящей так:

Он будет ночью, словно серп,
Сверкающий на темной жатве.
Его закат, его ущерб,
Родной моей последней клятве.



Сирин и Алконост, сказочные птицы радости и печали (карт. В. М. Васнецова).

I

Гусляр кудри обнищав волны,
Закинув голову назад,
Бросает Сирин сладкий полный,
Блаженно-медленный взгляд...
И, задрав в груди дыханье,
Перистый край мечами оправ,
Вдыхает все благоуханье,
Весны невиданной приплыв...
И ночи могучего усилья
Слезой сжимает блеск очей.
Вдруг, вдруг... сейчас распустит крылья,
И улетит в сиянье лучей.

II

Другая, вся печалью мощной
Искрещена, изрублена...
Тоской всевидящей и вещей
Вся грудь вспухла полна...
Напев двурогий глубоким грохотом
За душу рыданье залегло...
И над ее взвихренным пророком
Нависло черное крыло...
Ждала багровых зарниц,
Небес померкла бирюза...
И ей окровавленных ресниц
Хлестала грозная слеза...

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ БЛОКА «СИРИН И АЛКОНОСТ» ИЗ ТЕТРАДИ, ПОДАРЕННОЙ С. А. КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

Литературный музей, Москва

Окончательный текст, восходящий, по предположению В. Н. Орлова, к лету 1904 г. (I, 612), меняет рифмы четных строк, служебное «словно» заменяется здесь эпитетом, но сохраняется тот же состав согласных, так что оба слова оказываются как бы анаграммами друг к другу, в 4-й строке сохраняется ключевое «последний»:

Он будет ночью — светлый серп,
Сверкающий на жатве ночи.
Его закат, его ущерб
В последний раз ласкает очи.

Но не менее интересны, очевидно, для исследователя и «легкие» поправки — на уровне замены отдельных слов. Чаще всего перед нами — правка стилистическая, свидетельствующая о профессиональном росте поэта. Так, когда Блок вместо раннего: «Отворил я окно, трепеща и дрожа» в 8-й строке стихотворения «Запевающий сон, зацветающий цвет. . .» (№ 64) ставит: «Распахнул я окно, трепеща и дрожа», — перед нами явно более точный в контексте целого произведения синоним. То же можно сказать и о замене «серебряной бляхи» «оловянной» в 10-й строке стихотворения «Из газет» (№ 80). В том же ключе проведена и внимательная правка стихотворения «За туманом, за лесами. . .» (№ 53), где «едешь» в 3-й строке превращается в «еду», чтобы снять грамматическую двусмысленность, возможность соотнесения «Ты» стихотворения с употреблением второго

лица в условном предложении. Там же «над печальными полями» строки 7-й (11-й — раннего текста) заменяется на «над печальными лугами», по всей вероятности, с тем, чтобы снять второе употребление слова «поля» (первое было в строке 3-й). В окончательной редакции строка 10-я (13-я) «Ты уйдешь в речной камыш», как кажется, должна была стать в большей степени предметно-определенной, реальной, чем в начальном — «Ты замолкнешь и бежишь».

Но в иных случаях ранние варианты позволяют нам либо вскрыть существенные стороны сюжетного замысла стихотворения, либо проследить важные перемены в нем. Например, текст 1915 г. стихотворения «Уже бледнеет день прощальный. . .» (№ 55) делает диалог «я» и «ты» — безмолвным, поскольку в нем вместо последней строки «Твои уста открыли мне» «московского» автографа появилось «В твоей душе открылось мне».

Еще существеннее изменения в другом раннем стихотворении, автограф которого сохранился в тетради С. А. Кублицкой-Пиоттух, — «Там за далью бесконечной. . .». Его окончательный текст (впервые опубликован в 1918 г. — альманах «Сирена», № 2/3 не позволяет указать, к кому обращена речь от первого лица («Вижу счастье прошлых дней»); опущенная вторая строфа с ее обращением на «ты» —

Посмотри: в ночном тумане
Ярче, выше, горячей
На небесном океане
Звезды искрятся ночей —

позволяет прочесть все стихотворение как разговор или с самим собой, или с другим, отличным от «я» стихотворения собеседником; наш автограф еще более усложняет речевую ситуацию, вводя прямое обращение от «я» к звездам:

Верю вам, блестите вечно
Над землею без теней,
В вашем блеске бесконечном
Вижу счастье прошлых дней.

Наконец, последний пример. Ранний вариант строки 14-й в стихотворении «Спустись в подземные ущелья. . .» (№ 37) уточняет его сюжетный замысел. В окончательном тексте эта строка звучит: «Покинув горестную мать» (№ 538); связь того, к кому обращено стихотворение, с матерью (о которой сказано выше: «На песке ложбины // Лежит, убита горем, мать. . .») не выявлена; его действие — «покинув» —не истолковывается как причина ее горести; ранний вариант — «убив покинутую мать» — делает эту связь определенной.

Примеры, конечно, нетрудно было бы умножить.

* * *

Все автографы и копии хранятся в фонде Блока в ГЛМ. Они поступили в архив от наследников С. М. Соловьева в период после Великой Отечественной войны и до 1957 г. — более точных сведений о времени их приобретения нам получить не удалось.

Сличение текстов проведено по изданию: Александр Блок. Собр. соч. в 8 томах, т. I—III. М.-Л., 1960—1961 (подготовлены В. Н. Орловым). Имеющиеся почти во всех автографах пунктуационные (и реже — графические) разночтения, как правило, нами не оговариваются.

В приложении дано описание хранящейся в том же архиве тетради стихотворений, переписанных Блоком в 1899 г. по просьбе его тетки С. А. Кублицкой-Пиоттух и по ее выбору. Этот более ранний образчик допечатной блоковской «публикации» служит интересной параллелью к «публикациям» московским, однако в общую нумерацию «московского собрания» стихов из этой тетрадки мы не включаем.

Помимо описываемых нами, ГЛМ располагает автографами еще нескольких стихотворений Блока: «Жизнь — как море, она — всегда исполнена бури. . .» (ф. 8, оп 1, ед. хр. 2; далее указываем только номер ед. хр.); «Мы были вместе, помню я. . .» (ед. хр. 3); «Смеялись бедные невежды. . .» (ед. хр. 6); Сфинкс («Шевельнулась безмолвная сказка пу-

стынь. . .») (ед. хр. 11); «Не мани меня ты, воля. . .» (ед. хр. 25); Балаганчик («Вот открыт балаганчик. . .») (ед. хр. 26); «Девушка пела в церковном хоре. . .» (ед. хр. 27); Незнакомка («По вечерам над ресторанами. . .») (ед. хр. 27а); «В темной комнате ты обесчещена. . .» (ед. хр. 29); Тишина в лесу («Бушевали ночные метели. . .») (ед. хр. 30); Сочельник в лесу («Ризу накрест обвязав. . .») (ед. хр. 30); «Пристал ко мне нищий дурак. . .» (ед. хр. 36б); «Ты жил один! Друзей ты не искал. . .» (ед. хр. 36в). Эти автографы никак не связаны с «московским собранием», и описание их, а тем более — даже самый первый анализ далеко увели бы нас от избранной темы, потому мы ограничиваемся простым упоминанием этих рукописей.

Только оговоримся: в этих автографах почти исключительно пунктуационные разночтения, да и то редкие; тем не менее рукописи представляют несомненный интерес для текстолога, почти все они — источники к истории печатания блоковских стихотворений; одна рукопись — «Девушка пела в церковном хоре. . .» — носит следы творческой работы Блока, содержащиеся в ней вычеркивания по окончательному общеизвестному тексту нужно рассматривать как фиксацию хотя бы временного недовольства поэта своим созданием.

I. СТИХОТВОРЕНИЯ, УПОМИНАЕМЫЕ В ПИСЬМАХ О. М. СОЛОВЬЕВОЙ К А. А. КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ*

Для идентификации ряда упоминаемых Соловьевой стихотворений Блока нет достаточных оснований; ее письма указывают на то, что в распоряжении Соловьевых имелись списки следующих произведений поэта:

1. Отрывок («Непонятною тоскою. . .») — Текст нам не известен. Разбор этого стихотворения — в письме Соловьевой от 19 октября 1899 г.

2. «Я шел к блаженству. Путь блестел. . .» — Отзыв Соловьевой об этом стихотворении — там же.

3. «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо. . .» — Это и следующее стихотворение были посланы Соловьевой З. Н. Гиппиус — см. ее письмо от 19 сентября 1901 г. Автограф его открывает «первое собрание» блоковских стихотворений в Москве, там же и автограф следующего стихотворения — см. №№ 42—45.

4. «Ищу спасенья. . .» — см. № 3.

5. «Я просыпался и всходил. . .» — Текст нам не известен, но это стихотворение Соловьева читала 18 сентября 1902 г. В. Я. Брюсову.

6. «Мне страшно с Тобой встречаться. . .» — Автограф нам не известен, но сохранилась восходящая к нему копия Андрея Белого — см. № 6а. Уже 21 ноября 1902 г. (стихотворение датируется 5 ноября) Соловьева отзывается о нем как первом в какой-то полученной ею подборке блоковских стихов.

6а. То же — В письме Андрея Белого к Э. К. Метнеру от 4 января 1903 г. — С. 5: «По улицам ходят тени». Дата: Ноябрь. 1902 года.

II. СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ БЛОКОМ С ПИСЬМОМ К М. С. СОЛОВЬЕВУ ОТ 5 НОЯБРЯ 1902 Г.

7. «Вхожу я в темные храмы. . .» (ф. 8, оп. 1, ед. хр. 44, с. 2 об.). — Окончательная редакция.

Кроме этого стихотворения, к письму прилагались еще четыре, списков которых ныне при письме нет. Из разрозненных автографов Блока, попавших в ГЛМ от наследников С. М. Соловьева, выделяется по формальным признакам (бумага, датировка стихотворений) единственный автограф — ф. 8, оп. 1, ед. хр. 13, см. №№ 59—62, содержащий четыре стихотворения. Вероятно, именно он был искомым приложением, поскольку в других списках этой группы либо содержатся стихотворения, написанные позже письма, либо число их недостаточно.

М. С. Соловьеву могло быть адресовано и утраченное ныне письмо Блока со стихами — см. №№ 8—9.

---

* См. в наст. томе публикацию «Блок в неизданной переписке современников».

III. СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ БЛОКОМ С ПИСЬМАМИ К С. М. СОЛОВЬЕВУ

8—9. —Ф. 8, оп. 1, ед. хр. 16. Два стихотворения, записанные на лицевых страницах полулистов сложенного вдвое листа почтовой бумаги, были посланы в Москву Соловьевым с неизвестным нам письмом Блока; на него отвечали (с отзывом на стихи) С. М. Соловьев — 14 февраля, а М. С. Соловьев — 20 февраля 1902 г.

8. «Я шел — и вслед за мною шли. . .» (л. 1; л. 1 об. — чистый).

9. «Бегут неверные дневные тени. . .» (л. 2; л. 2 об. — чистый). — Отсутствует посвящение С. М. Соловьеву. Копия рукою Андрея Белого — № 104.

9а. «Брожу в стенах монастыря. . .» — Послано с письмом, написанным между 11 июня и 6 июля 1902 г. Автограф не сохранился. Копия выслана С. М. Соловьевым А. Белому с его письмом от 6 июля 1902 г. В ней нет разделов между строфами; с. 4: «Слежу мелькание снежинок». — Ср. № 99 и 99а.

10. «Я умер. Я пал от раны. . .» (ф. 8, оп. 1, ед. хр. 45, л. 6 об.). — Послано при письме от 9 августа 1903 г.; вариант опубликован с разночтениями против графики оригинала. — Письма, 1925, с. 54. С. 10: «Подниму раскаленный щит», с. 16: «Безначальной, Четвертой Любви».

11 — 25. Ф. 8, оп. 1, ед. хр. 45. Пятнадцать стихотворений, присланных при письме от 8 октября 1903 г. в ответ на просьбу адресата. В автографе стихотворения пронумерованы поэтом, с пропуском номеров при стихотворениях 8 (18), 10 (20), 13 (23). При каждом стихотворении — «оценка», выставленная С. М. Соловьевым; помимо этих оценок, Соловьев разбирает стихотворения в ответном письме к Блоку (см. публикацию в наст. томе); о впечатлении К. Д. Бальмонта от этих стихов — в разделе «Блок в неизданной переписке современников».

11. «Запевающий сон, зацветающий цвет. . .» (л. 9) — с. 3: «Открывая окно, услыхал я сирень» (как в автографе № 64, но с. 8 здесь — как в окончательном тексте). Дата: Осень 1902. «Оценка» — 4.

12. «Слышу колокол. В поле весна. . .» (л. 9 об.). — Первая строфа — как в варианте I, 604—605. Дата: Апрель 1902. «Оценка» — 5.

13. «Ужасен холод вечеров. . .» (л. 9 об.). — Дата: Июль 1902. «Оценка» — 4+.

14. «О легендах, о сказках, о тайнах. . .» (л. 10) — с. 2: Был один непобедный Христос (как в варианте I, 612, но без курсива). Дата: Сентябрь 1902. «Оценка» — 4.

15. «Мы отошли — и тяжко поднимали. . .» (л. 10). — Дата: Ноябрь 1902. «Оценка» — 3.

16. «Она ждала и билась в смертной муке. . .» (л. 10 об.). — Дата: Декабрь 1902. «Оценка» — 3.

17. «По узким площадям ловил я тень девицы. . .» (л. 10 об.). — С. 8: Я тень твою ловил по узким площадям. Дата: Июль 1902. «Оценка» — 3.

18. «Мой месяц в царственном зените. . .» (л. 11). — Помета Блока перед текстом: Последнее стих‹отворение› (1 окт‹ября› 1903). Курсив в с. 8.: И *только будущей* Заре. «Оценки» нет.

19. Вербная суббота (Вечерние люди уходят в дома. . .) — (л. 11 об). Третья строфа:

Приснились боярам. . . — Проснитесь. . . Мы здесь. . .
Боярышня сонно склонилась в окно. . .
Там кто-то тихонько ей шепчет: — я здесь. . .
Но там только утро. . .
только утро одно. . .

С. 13: Весеннее утро. . . там утро. . . там сон. . .; с. 16: Влюбленная тучка. Жемчужный узор; с. 19 (ср. графику третьей строфы): Чуть розовым светом душа занялась. . . // Заря занялась. Дата: 1 сентября 1903. «Оценки» нет.

20. «Погружался я в море клевера. . .» (л. 12). — Заглавие по дате написания (в этом случае и не проставленной): 18 февраля 1903. С. 7: Указал мне дорогу длинную. «Оценки» нет.

20а. То же. — В письме Андрея Белого к Э. К. Метнеру от середины декабря 1903 г. Тот же текст.

21. «Я был весь в пестрых лоскутьях. . .» (л. 12 об.). — Дата: Весна 1903. «Оценки» нет.

22. «Все огни загораются здесь. . .» (л. 13). — Разделено на четверостишия. Дата: Осень 1902. «Оценка» — 4.

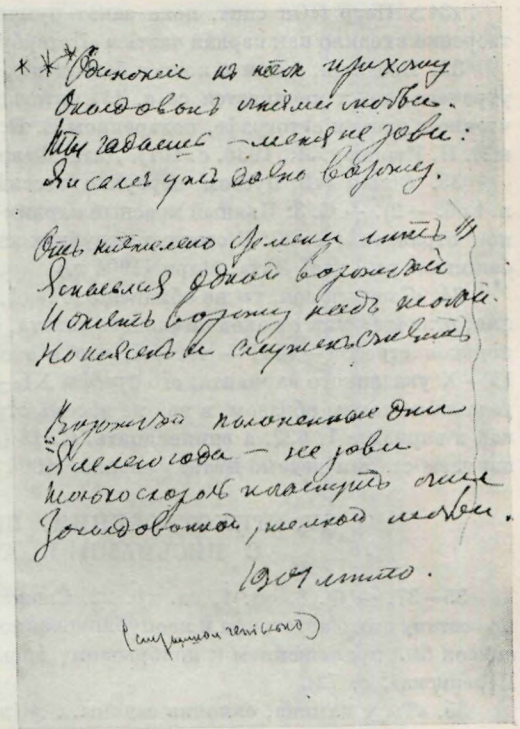
23. «Любил я нежные слова. . .» (л. 13 об.). — Без помеченного тем же числом (18 октября 1902 г.) стихотворения «Безмолвный призрак в терему. . .», позже составившего вместе с ним диптих «Religio» (I, 230—231, 613). — Дата: Октябрь 1902. «Оценка» — 4.

24. «Скрипка стонет под горой. . .» (л. 13 об.—14). — Дата: Bad-Nauheim Июль 1903. «Оценка» — 4+.

25. «Моя сказка никем не разгадана. . .» (л. 14). — Дата: Май 1903. «Оценка» — 4.

26. «Крыльцо Ее словно паперть. . .» (ф. 8, оп. 1, ед. хр. 45, л. 17 об.). — Послано при письме от 10 ноября 1903 г. Начальная редакция, как I, 624—625, но с. 11: А в каждом движении танца.

27. «Мне гадалка с морщинистым ликом. . .» (ф. 8, оп. 1, ед. хр. 45, л. 25). —Послано с письмом от 20 декабря 1903 г. Заглавие — «Символ» — и последняя строфа, как в варианте ‹I›, приводимом в т. I, 626. Дата: 11 декабря ‹1903 г.›.



КОПИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ БЛОКА «ОДИНОКИЙ К ТЕБЕ ПРИХОЖУ» РУКОЙ А. БЕЛОГО
Литературный музей, Москва

28. «Плачет ребенок. Под лунным серпом. . .» (ф. 8, оп. 1, ед. хр. 45, л. 25). — Послано с письмом от 20 декабря 1903 г. Нет посвящения Е. П. Иванову. Дата: 14 декабря ‹1903 г.›.

29—34. ф. 8, оп. 1, ед. хр. 45, лл. 27—30 и ед. хр. 24. Эти два автографа, несомненно, составляли первоначально единое целое: письмо Блока к Соловьеву, с приложением стихотворений, от 8 марта 1904 г.; часть приложения утрачена. Полный состав письма выясняется из записной книжки Блока: «Сереже — 9 марта — при длинн‹ом› письме: Светлый Сон, Обман, Петербургская поэма, Ранним утром, Подражание» (ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 327, л. 8; отметим, что Блок перечисляет посланные стихи в строго обратном порядке). Формальное подтверждение связи двух автографов, разрозненных в архиве, — как в том, что они писаны на такой же бумаге (и нет более ни одного блоковского письма к Соловьеву на подобной), так и в лакуне в начале стихотворения «Поединок», при том, что десять отсутствующих его строк не могли бы заполнить даже одной стороны бумажного листа того же формата. На двух свободных полулистах, заняв их целиком, разместились бы тридцать две строки и эпиграф первоначальной редакции стихотворения «Петр», вместе с «Поединком» составлявшего «Петербургскую поэму» (см. I, 414—415), и стихотворение «Последний день». — С этой рукописью Соловьев познакомил Андрея Белого.

29. «Жду я смерти близ денницы. . .» (ф. 8, оп. 1, ед. хр. 45, л. 30 об.). — Заглавие — позже снятое — «Подражание». Отсутствует посвящение Л. Семенову. При тексте помета — «Скандировать на голос Валерия Брюсова: «Приходи путем знакомым» (о названном стихотворении Брюсова см. прим. 8 к письму Соловьева к Блоку от 24 декабря 1903 г. Блок слышал его в Москве 11 января 1904 г.: «Брюсов без дам читает два стихотворения — «Белый всадник» и «Приходи путем знакомым» — VIII, 82). С. 1: Жду я смерти близь денницы. Дата: Март ‹1904 г.›

‹30.› Последний день («Ранним утром, когда люди ленились шевелиться. . .» (автограф не сохранился). — Соседство с «Подражанием» естественно, если учесть известную близость «Последнего дня» стихотворению Брюсова «Конь Блед» (см. I, 414).

‹31.› Петр («Он спит, пока закат румян. . .») (автограф не сохранился). — Стихотворение входило как первая часть в «Петербургскую поэму» (см. выше).

32. Поединок («Дни и ночи я безволен. . .») (ф. 8, оп. 2, ед. хр. 24, л. 1). — Начало утрачено, текст начинается со с. 11, читающейся: Под прозрачным покрывалом (то же чтение в раннем автографе, подаренном Е. П. Иванову, — см.: Письма Александра Блока к Е. П. Иванову. Л., 1936, с. 101). Дата: Февраль ‹1904 г.›

33. Обман («В пустом переулке весенние воды. . .») (ф. 8, оп. 1, ед. хр. 24, л. 1 об. — 2). — С. 3: Пьяный красный карлик не дает прохода; с. 9: Девушку манит двойное отраженье; с. 22: В светлых струйках весело танцует синева; с. 28: Спускает в воду башмаки: раз! два! Дата: Март ‹1904 г.›

34. «Светлый сон, ты не обманешь. . .» (ф. 8, оп. 1, ед. хр. 24, л. 2). — Особая редакция, отличная как от окончательного текста, так и от редакции, приведенной в т. I, 627: порядок строф I—VIII — тот же, что в окончательном тексте, далее следуют строфы IX—X указанного варианта, его строфы XI—XII отсутствуют, а XIII завершает данную редакцию; таким образом, в ней не восемь строф, как в окончательной, и не тринадцать, как в варианте I, 627, а одиннадцать. С. 13 (по счету строк окончательного текста): Мы внимаем старым дедам. Дата: февраль ‹1904 г.›

IV. СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ БЛОКОМ С ПИСЬМАМИ К АНДРЕЮ БЕЛОМУ

35—37. — Ф. 8, оп. 1, ед. хр. 22. Сложенный пополам лист почтовой бумаги. Судя по составу этого автографа и неопубликованной отметке Блока в записной книжке 1903 г., список был приложением к ноябрьскому письму поэта к Белому («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 72).

35. «Ты у камина, склонив седины. . .» (л. 1). — Окончательный текст, но с. 8 отличается, как от него, так и от ранней редакции (см. I, 624): И не шалили при ней.

36. «Облака небывалой услады. . .» (л. 1 об.—2). — Разделено на четверостишия. С. 1: Облака невозможной услады (ср. черновик 7 июля 1902 г.: Облака невозможного счастья — I, 625); с. 6: Розовеющих дум не буди; после с. 12 следует еще та же строфа, что и в рукописи, цитированной в т. I, 625.

3. «Спустись в подземные ущелья. . .» (л. 1 об.). — Заглавие — «Будущему», — как в I, 686. С. 14: Убив покинутую мать.

38—41. Ф. 8, оп. 1, ед. хр. 21. Сложенный пополам лист почтовой бумаги. По всей вероятности, прилагался к письму Блока к Андрею Белому от 12 декабря 1903 г. Именно в том порядке, в каком дает их настоящий автограф, перечисляет четыре стихотворения В. Н. Орлов, цитируя до сих пор неизданную заметку Блока в записной книжке («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 73). От Белого рукопись попала к С. М. Соловьеву, высказавшему свое впечатление от этих четырех стихотворений в письме к Блоку от 24 декабря 1903 г.; маловероятно, что Блок послал рассматриваемый лист самому Соловьеву, так как стихотворение «Мне гадалка с морщинистым ликом. . .» было ему послано при письме от 20 декабря 1903 г. в той же редакции (см. № 27).

38. «Темная, бледно-зеленая. . .» (л. 1). — Отсутствует посвящение М. А. Олениной-д'Альгейм.

39. Фабрика («В соседнем доме окна жолты. . .» (л. 1 об.). — С. 9: Я вижу, слышу все с вершины; с. 13: Их впустят всех, когда сберутся.

40. «Что с тобой — не знаю и не скрою. . .» (л. 2). — Сс. 9—10: «И лампадка тенью потревожит: // Отделится кто-то от стены».

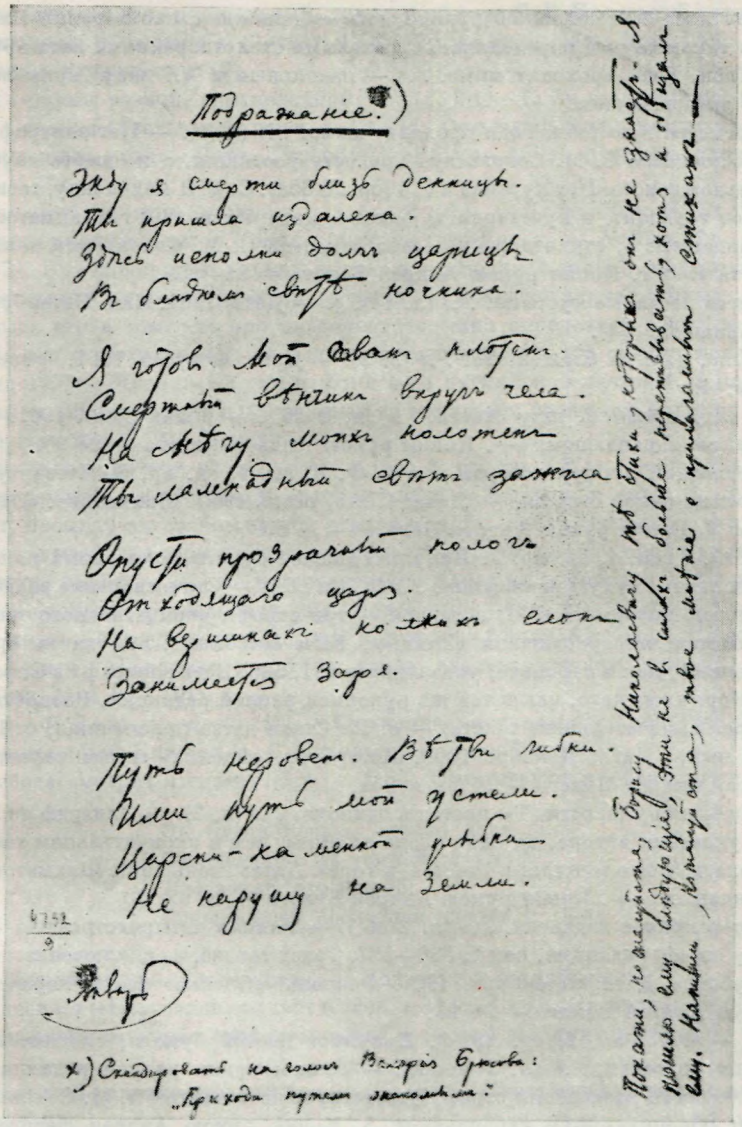
41. «Мне гадалка с морщинистым ликом. . .» (л. 2 об.). — Заглавие — «Символ» — и последняя строфа, как в варианте I, приводимом в т. I, 626. — Ср. № 27.

См. также №№ 65—66.

V. ПРОЧИЕ АВТОГРАФЫ СТИХОТВОРЕНИЙ БЛОКА

По внешним признакам эти списки можно разделить на три группы.

А. 42—57. Судя по всему, — авторская подборка стихов. Хронологические рамки этого достаточно органического «сюжетного» цикла, где самое позднее стихотворение написано в июле 1901 г., позволили бы связать его возникновение с посещением Блоком



Подражание.*)

Жду я смерти близь денницы.
Ты пришла издалека.
Здесь исполни долг царицы
В бледном свете кочевника.

Я готов. Мой факел алый.
Смертный взмах вокруг чела.
На весу моих колоденъ
Ты зажгла.

Опусти прозрачный полог
От холодного огня.
На великаке кожаном слюда
Заискрится заря.

Путь недолог. В бурке гибкой
Или путь мой устелю.
Царски-камешек дубовый
Не нарушу на земле.

*) Следовать на голосъ Валерія Брюсова:
„Я хожу путемъ знакомымъ".

Подарено, по-видимому, Брюсову Николаевичу тогда, когда он ее здесь-то и получил. Следующая была переписана, хотя и не подарена. Напишем, по-видимому, тоже поэтам и приблизительно одинаковым.

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ БЛОКА «ПОДРАЖАНИЕ», 8 МАРТА 1904 г.
Литературный музей, Москва

Соловьевых в Дедове в начале августа 1901 г. В крайнем случае, это — специально составленный Соловьевыми «сборник» стихотворений начинающего поэта. Все списки — на одинаковой бумаге, полулисты писчей бумаги, сложенные пополам. При всех стихотворениях — единообразные, выставленные за одно чтение «оценки» синим карандашом, рукой С. М. Соловьева. Если предположить, что копии блоковских стихотворений, сделанные Андреем Белым (см. ниже), суть последовательная выборка из этого «сборника», то легко показать, что двойные листы этой группы складывались в тетрадку следующего состава: Ф. 8, оп. 1, ед. хр. 10, л. 1. — ед. хр. 8, л. 1 — вложенная четвертушка ед. хр. 5. — ед. хр. 9, л. 1—2 — ед. хр. 8, л. 2 — ед. хр. 10, л. 2; затруднение, таким образом, вызывает лишь размещение двулистной ед. хр. 7. Поскольку это только предположение, мы описываем группу автографов в порядке их архивной нумерации, вынося вперед ед. хр. 10.

42—45. — Ф. 8, оп. 1, ед. хр. 10. Полулист писчей бумаги, сложенный пополам. На л. 2 об., внизу — подпись: Ал. Блок, единственная на все автографы этой группы. Изношенность сгиба и загрязненность наружных страниц заставляют предположить, что

этот двойной лист был обложкой рукописного «сборника» стихотворений Блока. Композиция его в таком случае определялась ключевыми стихотворениями лета 1901 г.: «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо. . .» — начальным и «Я жду призыва, ищу ответа. . .» — завершающим.

42. «Предчувствую тебя. Года проходят мимо. . .» (л. 1). — Нет эпиграфа из Вл. Соловьева. Посвящение С. М. Соловьеву. Три четверостишия, а не шесть двустиший, как в окончательном тексте. Нет курсива в с. 4 (ср. № 85а). С. 4: Я молча жду, тоскуя и любя», с. 11: И ясен горизонт, и лучезарность близко. Дата: Июнь 1901 г. Шахматово. «Оценка» синим карандашом: 5; стихотворение особо отмечено С. М. Соловьевым также в письме от 16 августа 1901 г. Копии рукою Андрея Белого — 85—85а.

43. «Через песчаные пустыни. . .» (л. 1 об.). — Дата: 1901. Май. Петербург. «Оценка» синим карандашом: 3+.

44. «Ныне, полный блаженства. . .» (л. 2). — Дата: Февраль 1901. «Оценка» синим карандашом: 4.

45. «Я жду призыва, ищу ответа. . .» (л. 2 об.). — Дата: Июль 1901. Шахматово. «Оценка» синим карандашом: 4+. Копия рукою Андрея Белого — № 90.

46. «Последний пурпур догорал. . .» — Ф. 8, оп. 1, ед. хр. 5. Четвертушка писчей бумаги, текст на одной стороне. — Дата: [Лето] осень 1900. Шахматово. «Оценка» синим карандашом: 4. Копия рукою Андрея Белого — № 87.

47—49. Ф. 8, оп. 1, ед. хр. 7. Полулист писчей бумаги, сложенный пополам.

47. «В полночь глухую рожденная. . .» (л. 1 и об.). — Стихотворение разделено на две части римскими цифрами I и II: в первой — три строфы окончательного текста; вторая часть начинается четверостишием «Эллины, боги бессонные. . .», за которым следует позже опущенное, как в варианте, указанном в т. I, 585. Есть эпиграф из Софокла в переводе Д. С. Мережковского, как в той же рукописи ранней редакции. Разночтения (по нумерации строк окончательного текста) — с. 11: Стала душа пораженная; с. 18: Встаньте в морозной пыли! Дата: Декабрь 1900. Петербург. «Оценка» синим карандашом: 3+. Копия рукою Андрея Белого — № 94 и 94а.

48. «Не сердись и прости. Ты цветешь одиноко. . .» (л. 2). — Эпиграф из Вл. Соловьева, но без указания автора, на одно слово длиннее, чем в окончательном тексте: «. . . да и поздно желать // Все минуло: и счастье, и горе». Дата: Июнь 1901. Шахматово. «Оценка» синим карандашом: 4+. Копия рукою Андрея Белого — № 95.

49. «Ветер принес издалека. . .» (л. 2 об.). — Ранняя четырехстрофная (но без пробелов между строф) редакция, как I, 586—587. Текст тот же, за исключением с. 9: «Где-то темно и глубоко». Дата: Петербург. 1901. Февраль. «Оценка» синим карандашом: 4+. Копия рукою Андрея Белого — № 96.

50—53. — Ф. 8, оп. 1, ед. хр. 8. Полулист писчей бумаги, сложенный пополам.

50. «Ищу спасенья. . .» (л. 1 и об.). — Точная копия ранней редакции — I, 584, но без графического разделения строф. Отсутствует посвящение О. М. Соловьевой. Дата: Ноябрь 1900. «Оценка» синим карандашом: 5. Копия рукою Андрея Белого — № 86 и 86а.

51. «Прошедших дней немеркнущим сияньем. . .» (л. 1 об.). — Дата: 28 мая 1900. Шахматово. «Оценка» синим карандашом: 4+.

52. «Прозрачные, неведомые тени. . .» (л. 2). — С. 1: Уж легкие неведомые тени; с. 4: Одних лишь снов себя ты отдаешь; с. 10: Взглянув на миг в бессмертные черты. Дата: Июль 1901. Шахматово. «Оценка» синим карандашом: 4.

53. «За туманом, за лесами. . .» (л. 2 об). — Ранняя редакция со второй — позже опущенной — строфой, как I, 590. Разночтения (по нумерации строк ранней редакции) — с. 3: Едешь влажными полями; с. 5: За туманной полосою; с. 11: Над печальными полями; с. 14: Ты замолкнешь и бежишь. Дата: Июнь 1901. Шахматово. «Оценка» синим карандашом: 4+. Копия рукою Андрея Белого — № 89.

54—57. — Ф. 8, оп. 1, ед. хр. 9. Полулист писчей бумаги, сложенный пополам.

54. «Она росла за дальними горами. . .» (л. 1). — Заглавие, как в рукописи, на которую дается ссылка в т. I, 590—591: «Непосвященным». Отсутствует посвящение С. М. Соловьеву. С. 8; И на себе его хранила след; с. 15: Она росла за дальними горами. Дата: Июль 1901. Шахматово. «Оценка» синим карандашом: 4+. Стихотворение особо отмечено в письме С. М. Соловьева к Блоку от 16 августа 1901 г.

55. «Уже бледнеет день прощальный. . .» (л. 1 об.). — С. 2: Последний час мне подари; с. 6: И ты найдешь в ее огне; с. 8: Твои уста открыли мне. Дата: Лето 1900. Шахматово. «Оценка» синим карандашом: 4—.

56. «Ты — думы вечной, вдохновенной. . .» (л. 2). — С. 3—4: С улыбкой боговдохновенной // На чистом девственном челе; с. 10—11: Остывший огнь, потухший свет! // Ты все еще в сердечных нивах. Дата: Петербург. Январь 1901. «Оценка» синим карандашом: 4—.

57. «Одинокий, к тебе прихожу. . .» (л. 2 об.). — Дата: Лето 1901. Шахматово. «Оценка» синим карандашом: 4. Копия рукою Андрея Белого — № 87 и 87а.

Б. 58—74. Выделение этой группы списков, проводимое только по формальным признакам — датировке и особенностям бумаги, — исключительно рабочее, вспомогательное. Смысл его в том, что оно позволяет надежно определить время «публикации» Блоком ряда его стихотворений: за редким исключением в эти списки попадают стихи 1902—начала 1903 г. Исполнены они почти все на английской почтовой бумаге, на которой написаны и письма Блока к Соловьевым за это время; позже она более не встречается в переписке Блока с С. М. Соловьевым.

58. «Говорили короткие речи. . .» (ф. 8, оп. 1, ед. хр. 12). — Окончательный текст. Под стихотворением, на оборотной стороне листа — подпись и дата: А. Блок // 1902. Обычно поэт, посылая авторские копии, ставил подпись после последнего стихотворения, как при журнальной или газетной публикации. Идентичность почтовой бумаги ед. хр. 12 и 17 (см. ниже, №№ 67—68), не встречающейся более ни в списках стихотворений, ни в письмах к Соловьевым, позволяет связать в единое целое ед. хр. 12 и 17. В какой-то степени эту связь подтверждает и то, что в тетрадке копий блоковских стихотворений, сделанных Белым, «Говорили короткие речи» следует непосредственно за стихами ед. хр. 17 (см. №№ 99—101).

59—62. — Ф. 8, оп. 1, ед. хр. 13. — Сложенный пополам лист почтовой бумаги. Мог находиться при письме Блока к М. С. Соловьеву от 5 ноября 1902 г.

59. «Свобода смотрит в синеву. . .» (л. 1). — Отсутствуют пробелы между строфами. Сс. 5—8:

Он будет ночью, словно серп,
Сверкающий на темной жатве.
Его закат, его ущерб
Родной моей последней клятве.

Сс. 11—12: «Замолк давно, пропел давно // Под осокой у прибрежий».

60. Экклесиаст («Благословляя свет и тень. . .») (л. 1 об.). Название: Экклезиаст, XII. Эпиграф, вставленный перед стихотворением в первой публикации (см. I, 611), отсутствует.

61. «Будет день, словно миг веселья. . .» (л. 2). — Канонический текст с пунктуационными вариантами.

62. «Ты свята, но я Тебе не верю. . .» (л. 2 об.). — С. 2: Над Тобой Иное расцветет.

63—64. Ф. 8, оп. 1, ед. хр. 14. Полулист почтовой бумаги, вторая половина листа оторвана. Возможно, было приложением, как и № 74, при письме Блока к Белому от 3 февраля 1903 г. («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 19), но позже передано С. М. Соловьеву, поскольку содержит стихотворение (№ 62) памяти его родителей. В пользу этого предположения говорит то обстоятельство, что Соловьев особо просил Блока переписать второе из содержащихся на этом листе стихотворений в письме от 5 октября 1903 г., не имея собственной его копии, но зная его.

63. Отшедшим («Здесь тихо и светло. Смотри, я подойду. . .») (л. 1). — Название: Сонет. «Оценка» простым карандашом (рукой, быть может, С. М. Соловьева): 5.

64. «Запевающий сон, зацветающий цвет. . .» (л. 1 об.). — С. 3: Открывая окно, услыхал я сирень; с. 8: Отворил я окно: трепеща и дрожа». «Оценки» нет.

65—66. — Ф. 8, оп. 1, ед. хр. 15. Сложенный пополам лист почтовой бумаги; характером расположения текста и следами сгибов сходно с ед. хр. 18 (см. № 69—70).

65. «Там — в улице стоял какой-то дом. . .» (л. 1). — «Оценка» простым карандашом: 4—.

66. «Все кричали у круглых столов. . .» (л. 1 и об.). — Третья строфа:

Тогда она уронила платок.
И все они — в злобном усильи, —
Как будто поняв какой-то намек,
Разрывали с визгом каждый клочок
И окрасили кровью и пылью.

«Оценка» простым карандашом: 5.

66а. То же. — Копия в письме Андрея Белого к Э. К. Метнеру от середины декабря 1903 г. Тот же текст.

67—68. Ф. 8, оп. 1, ед. хр. 17. Несложенный лист почтовой бумаги, по-видимому, посланный с тем же письмом, что и ед. хр. 12 (см. № 58). Расположение текста и порядок копирования стихотворений Белым заставляют предполагать, что сторона, обозначенная в архиве как оборотная, была лицевой.

67. «Я, отрок, зажигаю свечи. . .» (л. 1). — Нет евангельского эпиграфа. С. 9: Покорный сладостному взгляду. Копия рукою Андрея Белого — №№ 101 и 101а.

68. «Когда святого забвенья. . .» (л. 1 об.). — Копия рукою Андрея Белого — № 100.

69—70. — Ф. 8, оп. 1, ед. хр. 18. Сложенный пополам лист почтовой бумаги; видимо, был прислан вместе с ед. хр. 15 (см. №№ 65—66).

71—73. — Ф. 8, оп. 1, ед. хр. 19. Сложенный пополам лист почтовой бумаги. По-видимому, этот список был получен в Москве в апреле 1902 г.: см. публикуемое в наст. томе письмо С. М. Соловьева, в котором разбираются два из трех стихотворений. Дополнительный довод в пользу этого предположения — в том, что бумага ед. хр. 19 и 16 идентична (более в переписке Блока с Соловьевым она не встречается).

71. «Мы преклонились у завета. . .» (л. 1). — Ранняя редакция с позже опущенной второй строфой, как в т. I, 599. С. 4: Улыбка виделась жены; с. 6 (окончательного текста): В одних стенах, в одних мечтах. — Копия рукой Андрея Белого — № 90.

72. «Сны раздумий небывалых. . .» (л. 1 об.—2). — Ранняя редакция, как в т. I, 599—600. Под стихотворением — одиночный крестик простым карандашом. — Копия рукой Андрея Белого — № 93.

73. «Мы, два старца, бредем одинокие. . .» (л. 2 об.). — Ранняя редакция с позже опущенной третьей строфой, как в т. I, 596—598, но заглавие «Два старца», сопровождавшее стихотворение в рукописи и первых публикациях (см. I, 597), — отсутствует. Разночтения: — сс. 8—9: О, невнятное! перед тобой. // Откуда, откуда мглистые. Копия рукой Андрея Белого — № 92.

74. «Целый год не дрожало окно. . .» (Ф. 8, оп. 1, ед. хр. 23). — Полулист почтовой бумаги, вторая половина листа оторвана. — Нет посвящения Андрею Белому. Текст чернилами, с единственным разночтением к окончательному тексту в с. 16: Будто плачущий Ангел в трубу. Однако весь текст перечеркнут карандашом и над сс. 14 и 16 слаборазличимая авторская карандашная правка: Заключенный в гробу услыхал, // ‹. . .› // Лучезарный вдали запевал. — Возможно, этот список прилагался к письму Блока к Белому от 3 февраля 1903 г. — Ср. №№ 63—64.

В. В эту группу мы выделили автографы, связать которые между собой затруднительно. Два из них относятся к более позднему, сравнительно с предыдущей группой, времени, когда эпистолярные «публикации» теряют смысл для Блока, с одной стороны, а с другой — чем дальше, тем больше выявляется расхождение литературных и духовных путей Блока и «москвичей», прежде всего Сергея Соловьева. Стихи присылаются в Москву все реже и реже, единственным получателем неопубликованных блоковских стихотворений остается Андрей Белый.

Первый из включенных в эту группу списков явно попал в Москву с неизвестным нам письмом 1901 г. (возможно, и не поэта, а его матери). Тем самым этот автограф примыкает, по сути, к группе А, куда он не отнесен лишь по формальным соображениям, так как нарушил бы внешнее, материальное единство первого московского «собрания» стихов Блока.

75—78. — Ф. 8, оп. 1, ед. хр. 4. 2 листа почтовой бумаги, автографы Блока на лл. 1—2 об., лл. 3—4 — выписки рукой С. М. Соловьева из письма Вл. С. Соловьева к Фету от июля 1892 г. (см.: В. С. Соловьев. Письма, II. Пб., 1923, с. 228).

75. «Город спит, окутан мглою. . . (л. 1). — Текст разделен графически на две строфы. Дата: 1899. Август. Шахматово.

76. Dolor ante lucem («Каждый вечер, лишь только погаснет заря. . .» (л. 1 об.). — Заглавие, как в «Собрании стихотворений», I, 1911: Dolor ingens ante lucem (см. I, 579), с. 12: О тебе тоскованье до вечера нес. Дата: 1899. Декабрь. Петербург.

77. «Сумерки, сумерки вешние. . .» (л. 2). — С. 5: Отзвуки, крики далекие. Дата: Август 1901. Шахматово. Копия рукою Андрея Белого — № 97.

78. «Ты горишь над высокой горою. . .» (л. 2 об.). — С. 1: «Ты горишь на востоке горою». Дата: Август 1901.

79—83. Ф. 8, оп. 1, ед. хр. 20. Сложенный пополам лист почтовой бумаги и следующий за ним полулист той же бумаги. Следует отметить, что этот список выполнен фиолетовыми чернилами, тогда как все другие, равно как и все известные нам письма Блока к С. М. Соловьеву, писаны черными.

79. «По берегу плелся больной человек. . .» (л. 1). — Окончательный текст, но без разделения на двустишия. Дата: 1903, декабрь.

80. Из газет («Встала в сияньи. Крестила детей. . .»). (л. 1—об.—2). — Отсутствует заглавие. С. 2: Малютки увидели радостный сон; с. 9—10: Через три часа приходил человек // С серебряной бляхой на теплой шапке; с. 16: Сегодня оставила дома красный платок.

81. «Старуха гадала у входа. . .» (л. 2 об. — 3). — Нет пробелов между строф. С. 8: Хотели узнать, что теперь; с. 16: Заструилось — и стало светло.

82. «Потемнели, поблекли залы. . .» (л. 3).

83. «У берега зеленого на малой могиле. . .» (л. 3 об.). С. 5: Будто все они — Помощью Вышнего Веления.

84. Корреспонденция Бальмонта из Мексики («Я бандит, я бандит! . .») (ф. 8, оп. 1, ед. хр. 28). Бумага списка тождественна бумаге писем Блока к С. М. Соловьеву от 23 января и 26 февраля 1905 г., с одним из которых стихотворение, по-видимому, и появилось в Москве. — Заглавие: Корреспонденция // К. Д. Бальмонта:// из Мексики. Разночтения к более пространной ранней редакции (см. II, 452 — с. 2) От меня уже смердит; подстрочное примеч. к с. 10: Перевод с древнеаттического — впервые в русской поэзии. Примеч‹ание› ред‹акции› «Весов»; сс. 16—17 отсутствуют; после с. 23 следуют еще четыре:

Новобрачных
И прозрачных
Как кристалл
И блестящих и сверлящих, как металл;

с. 25: Заприметив кабаллеро; с. 28: Шпаги, сабли и кинжала; сс. 31—34:

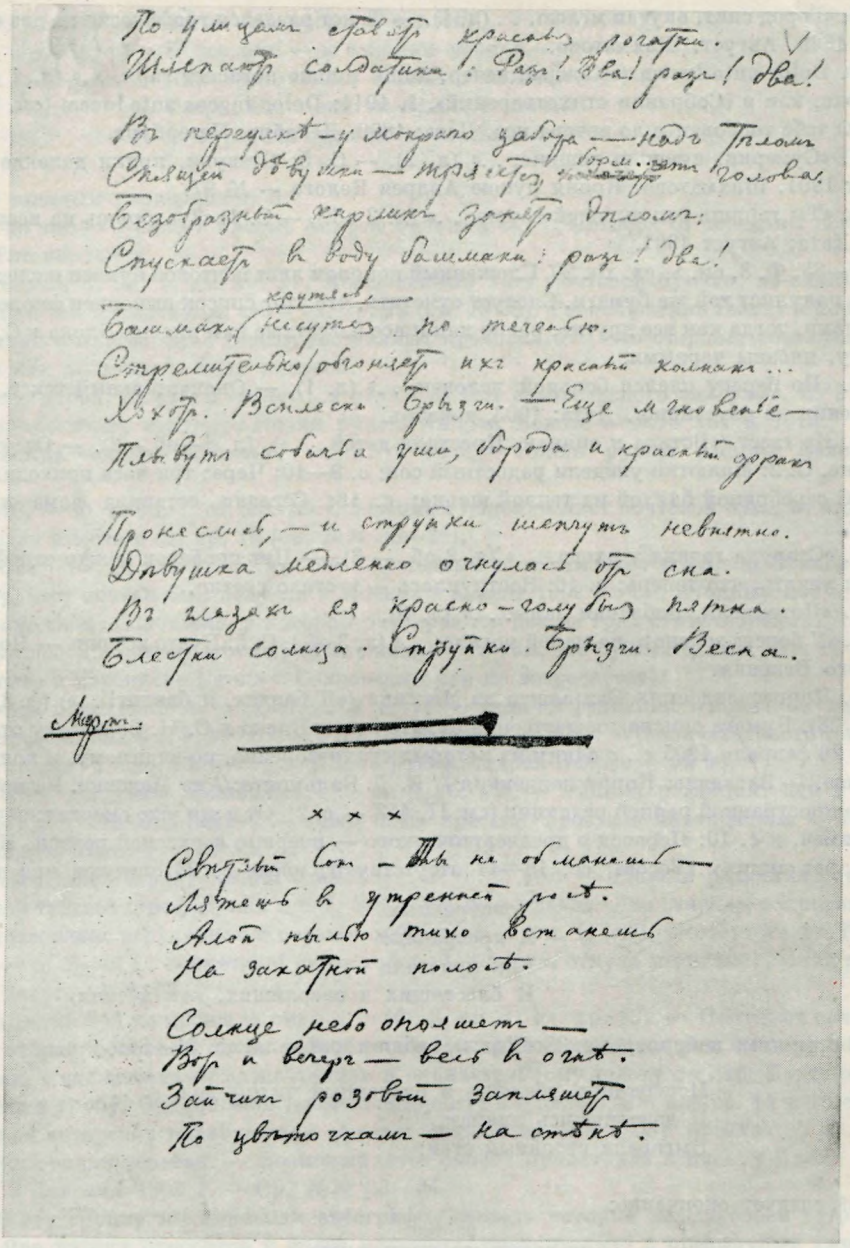
Мексиканка убежала в озаренный тихий дол,
И доверившись лианам,
Выгибала стройный стан;

за с. 51 следует окончание:

Для таких же приключений
Увлечений,
Обольщений,
Совлечений —
Пригласил.

VI. СПИСКИ СТИХОТВОРЕНИЙ БЛОКА, СДЕЛАННЫЕ АНДРЕЕМ БЕЛЫМ
(Ф. 8, оп. 1, ед. хр. 34)

В архиве хранились как «Списки стихов рукой неустановленного лица», однако почерк Белого опознается несомненно. Копии делались в несколько приемов, судя по бумаге и почерку. Два первых двойных листа с архивной нумерацией лл. 1—2 и 3—4 некогда составляли, как свидетельствует расположение текста, одну четырехлистную тет-



По улицамъ ставятъ красныя рогатки.
Шлепаютъ солдатики: Разъ! Два! разъ! два!

Въ переулкѣ — у мокраго забора — надъ тѣломъ
Спящей дѣвушки — трясется, ~~[illegible]~~ борм...ятъ голова.
Безобразный кирпичъ занятъ дѣломъ:
Спускаетъ въ воду башмаки: разъ! два!

Башмаки, крутясь, несутся по теченью.
Стремительно обгоняетъ ихъ красный колпакъ...
Хохотъ. Всплески. Брызги. — Еще мгновенье —
Плывутъ собачьи уши, борода и красный фракъ

Пронеслись, — и струйки шепчутъ невнятно.
Дѣвушка медленно очнулась отъ сна.
Въ глазахъ ея красно-голубыя пятна.
Блестки солнца. Струйки. Брызги. Весна.

Мартъ.

× × ×

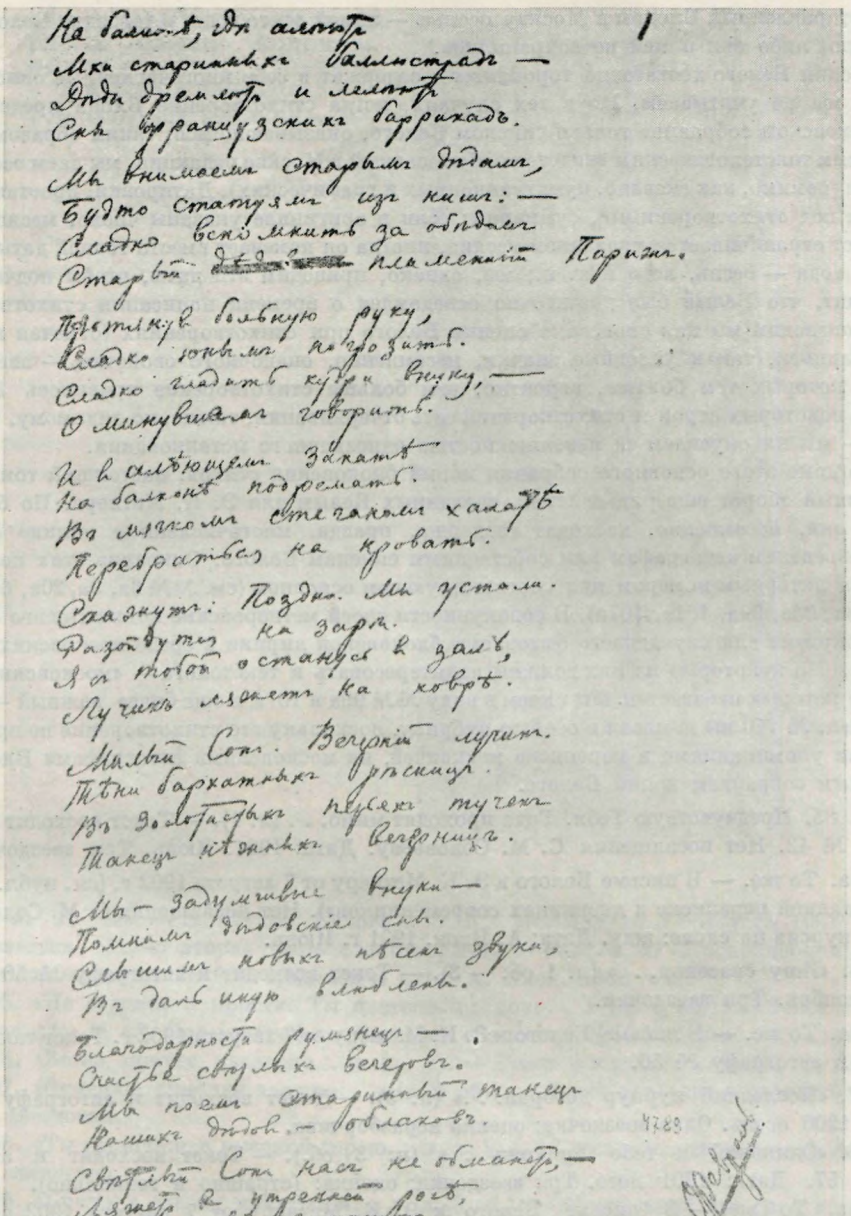
Свѣтлый Сонъ — Ты не обманешь —
Ляжешь въ утренней росѣ.
Алой пылью тихо встанешь
На закатной полосѣ.

Солнце небо опояшетъ —
Вотъ и вечеръ — весь въ огнѣ.
Зайчикъ розовый запляшетъ
По цвѣточкамъ — на стѣнѣ.

АВТОГРАФЫ СТИХОТВОРЕНИЙ БЛОКА «ОБМАН» И «СВЕТЛЫЙ СОН — ТЫ НЕ ОБМАНЕШЬ. . .»

Литературный музей, Москва

радь, с порядком листов 1—3—4—2. Вторая «тетрадь», другой бумаги, шестилистная: 5—6—7—8—9—10, она сохранилась в первоначальном виде. При переходе от первой ко второй меняется также и почерк. Однако можно предположить, что заполнялись они как последовательная выборка из одного источника: последний лист (л. 2 и об.) первой тетради занят копиями №№ 71 и 73, размещенными на наружных страницах двойного листа (ф. 8, оп. 1, ед. хр. 19), по всей видимости, служившего Белому оригиналом; на первом же листе (л. 5 и об.) второй тетради Белого — копия стихотворения № 72 с внутренних страниц оригинала (см. также примеч. к №№ 42—57). Далее еще один двойной



АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ БЛОКА «СВЕТЛЫЙ СОН — ТЫ НЕ ОБМАНЕШЬ . . .»
Литературный музей, Москва

лист (лл. 12—13) сходен по материалу и почерку с лл. 1—4. Отдельные лл. 11 и 14 некогда, несомненно, принадлежали единому целому: оба они — левые, по-видимому, части двойных листов почтовой бумаги, у которых аккуратно оторваны правые полулисты, но не по фабричному сгибу, а на два сантиметра правее; таким образом, нынешние лицевые их стороны были на деле оборотными.

Самая поздняя запись в тетрадке Белого сделана ранней осенью 1902 г. (стихотворение «Я вышел в ночь — узнать, понять. . .» — № 109, датируемое 6 сентября 1902 г.). Начальные копии восходят к первому московскому собранию блоковских автографов (см. выше), далее тетрадка интенсивно пополнялась весной и летом 1902 г.; стихотворе-

ний, отправленных Блоком в Москву осенью — зимой этого года, в тетрадке Белого либо не было, либо они в ней не сохранились.

Копии Белого достаточно торопливы и содержат в себе многочисленные описки, которые мы не учитываем. Но в тех случаях, когда стихотворение Блока представлено в «московском собрании» только списком Белого, оказывающимся, таким образом, единственным текстологическим свидетелем бытовавшей в Москве редакции, мы даем все разночтения (помимо, как сказано, пунктуационных и графических). Датировки, проставленные Белым под стихотворениями, суммарны: если в оригинале указаны число, месяц и год, копиист ограничивается указанием месяца, иногда он помечает вместо точной даты просто время года — осень, лето и т. п.; мы, однако, приводим эти даты, чтобы подчеркнуть тот факт, что Белый был достаточно осведомлен о времени написания стихотворения. Воспроизводим мы как словесные оценки Белого при стихотворениях (отмечая наличие вымаранных), так и условные значки, несомненно, оценочного свойства, — звездочки, число которых тем больше, вероятно, чем больше стихотворение нравилось Белому. Подле некоторых строк и стихотворений есть отчеркивания, также, по-видимому, оценочные, — мы их опускаем за невозможностью однозначного истолкования.

Помимо этого основного собрания копий блоковских стихов, настоящий том вводит в научный оборот еще ряд списков, сделанных Белым для Э. К. Метнера. По большей части они, несомненно, восходят (содержа, правда, многочисленные мелкие описки) к соловьевским автографам или собственным спискам Белого. Описание этих копий мы даем за литерным номером при соответствующем основном (см. №№ 6а, 9а, 20а, 66а, 85а, 86а, 88а, 94а, 99а, 101а. 107а). В совокупности своей метнеровские копии Белого — важный документ для изучающего бытование блоковской лирики в среде московских символистов. Но некоторые из них должны заинтересовать и текстолога — «московский» протограф которых неизвестен. Мы имеем в виду №№ 99а и 107а, и еще более важный — № 6а. Наконец, № 110 мы вынесли в особую рубрику, поскольку это стихотворение не представлено ни упоминаниями в переписке москвичей, ни московскими автографами Блока, ни основным собранием копий Белого.

А. 85. Предчувствую Тебя. Года проходят мимо. . . (л. 1). — Текст восходит к автографу № 42. Нет посвящения С. М. Соловьеву. Дата: 1901. Июнь. Три звездочки.

85а. То же. — В письме Белого к Э. К. Метнеру от 7 августа 1902 г. (см. публ. «Блок в неизданной переписке и дневниках современников»). Нет посвящения С. М. Соловьеву. В с. 4 курсив на слове: жду. Дата: А. Блок, 1901 г. Июнь.

86. «Ищу спасенья. . .» (л. 1 об. — 3). — Текст восходит к автографу № 50. Дата: 1900 ноябрь. Три звездочки.

86а. То же. — В письме Белого к Э. К. Метнеру от 7 августа 1902 г. Текст также восходит к автографу № 50.

87. «Последний пурпур догорал. . .» (л. 3). — Текст восходит к автографу № 46. Дата: 1900 осень. Одна звездочка; оценка неразборчива.

88. «Одинокий к тебе прихожу. . .» (л. 3 об.). — Текст восходит к автографу № 57. Дата: 1901 лето. Три звездочки; оценка: (страшно и гениально).

88а. То же. — В письме Белого к Э. К. Метнеру от 7 августа 1902 г. Текст также восходит к автографу № 57. Дата: А. Блок 1901 года.

89. «За туманом, за лесами. . .» (л. 4). — Текст восходит к автографу № 53. Одна звездочка. Дата: 1901 июнь.

90. «Я жду призыва, ищу ответа. . .» (л. 4). — Текст восходит к № 45. Дата: июль 1901. Три звездочки.

91. «Мы преклонились у завета. . .» (л. 2). — Текст восходит к автографу № 71. Дата: 1902. Три звездочки.

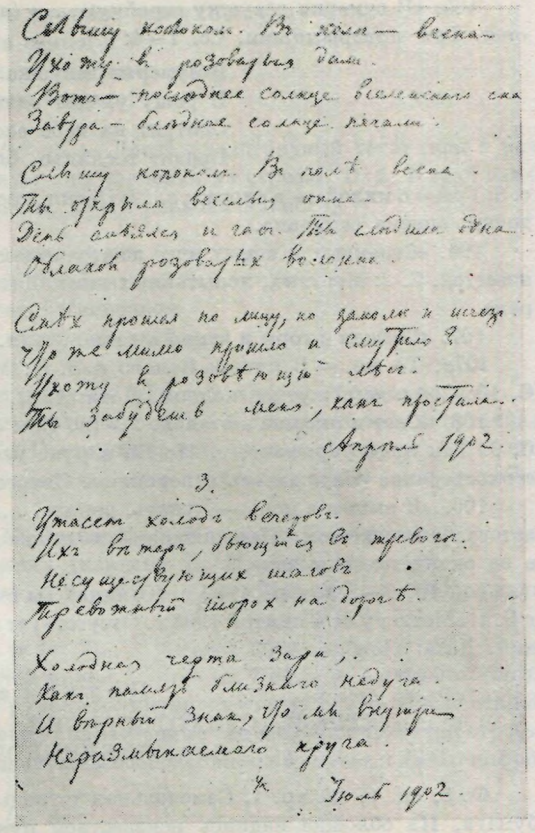
92. «Мы, два старца, бредем одинокие. . .» (л. 2 об.). — Текст восходит к автографу № 73. Без даты. Три звездочки.

93. «Сны раздумий небывалых. . .» (л. 5 и об.). — Текст восходит к автографу № 72. Дата: 1902 года. Одна звездочка.

94. «В полночь глухую рожденная. . .» (л. 5 об. — 6). — Текст восходит к автографу № 47. Дата: 1900 г. Декабрь. Две звездочки; оценка замарана: [очень ‹*нрзб.*› страшно].

АВТОГРАФЫ СТИХОТВОРЕНИЙ БЛОКА «СЛЫШУ КОЛОКОЛ. В ПОЛЕ — ВЕСНА. . .» И «УЖАСЕН ХОЛОД ВЕЧЕРОВ. . .»

Литературный музей, Москва



Слышу колокол. Вот — весна —
Ухожу в розовые дали.
Вот — праздничное солнце великого дня
Завтра — бледное солнце печали.

Слышу колокол. В поле весна.
Ты открыла весенние очи —
День сияющий и святой. Ты следишь сквозь
облаков розовых волокна.

Сколько прошло по лицу, по груди и плечам
Что-то мимо прошло и смутило?
Уходу в розовую даль.
Ты забудешь меня, как прохожего.

Апрель 1902.

3.

Ужасен холод вечеров.
Их вестник, бьющийся во тревоге,
Несущий сорвавшихся орлов
Тревожный шорох на дороге.

Холодная черта зари,
Как пламень близкого недуга.
И вторит знак, что ль внутри
Неразмыкаемого круга.

Июль 1902.

94а. То же. — В письме Белого к Э. К. Метнеру от 7 августа 1902 г. Воспроизведена только вторая часть стихотворения — см. № 47 (с сохранением описок, свойственных копии № 94). Подпись и дата: А. Блок. 1900 года.

95. «Не сердись и прости. Ты цветешь одиноко. . .» (л. 6 об.). — Текст восходит к автографу № 48. Под эпиграфом обозначен его автор: В. С‹оловьев.›. Две звездочки.

96. «Ветер принес издалека. . .» (л. 7). — Текст восходит к автографу № 49.

97. «Сумерки, сумерки вешние. . .» (л. 7 об.). — Текст восходит к автографу № 77. Одна звездочка.

98. «Ты горишь над высокой горою. . .» (л. 8). — Текст восходит к автографу № 78. Одна звездочка.

99. «Брожу в стенах монастыря. . .» (л. 8 об.). — Московский автограф неизвестен. Нет разделов между строф. С. 4: Слежу мелькание снежинок; с. 8: Упорным предаюсь я думам.

99а. То же. — В письме Белого к Э. К. Метнеру от 7 августа 1902 г. Помимо вышеуказанных разночтений — с. 1: Брожу вдоль стен монастыря; с. 13: Мне страшен холод здешних мест. Подпись и дата — «А. Блок. 1902 года».

100. «Когда святого забвения. . .» (л. 9). — Текст восходит к автографу № 68. Дата: 1902.

101. «Я, отрок, зажигаю свечи. . .» — (л. 9 об.). — Текст восходит к автографу № 67.

101а. То же. — Текст восходит к тому же № 67. Дата: 1902 года.

102. «Говорили короткие речи. . .» (л. 10—10 об.). — Текст восходит к автографу № 58. Дата: 1902.

103. «Мы отошли и стали у кормила. . .» (л. 11 об.). — Московский автограф неизвестен. Окончательный текст. Дата: 1902 года. Оценка замарана: очень ‹нрзб.›.

104. «Бегут неверные дневные тени. . .» (л. 11). — Текст восходит к автографу № 9. Дата: 1902. Две звездочки; замаранная оценка, быть может, было: [гениально].

105. «В сумерки девушку стройную. . .» (л. 14 об.). — Московский автограф неизвестен. Три четверостишия. Сс. 1—4:

В сумерки девушка стройная
В рощу уходит одна.
Смотрит на небо спокойное,
Бродит тоскливо, бледна;

с. 8: Грезы о милой — в словах; с. 12: Песня, тоска — замолчит. Дата: 1902 года. Две звездочки; оценка замарана.

106. «Странных и новых ищу на страницах. . .» (л. 14). — Московский автограф неизвестен. С. 2: Мертвых, испытанных книг. Дата: 1902 года. Две звездочки; оценка замарана.

107. «Сбежал с горы и замер в чаще. . .» (л. 12). — Московский автограф неизвестен.

107а. То же. — В письме Белого к Э. К. Метнеру от 4 января 1903 г. Тот же текст. С. 10: Сомкнется жуткое кольцо. Дата: 1902.

108. «Свет в окошке шатался. . .» (л. 12 и об.). — Московский автограф неизвестен. С. 9: Там лицо укрывала; с. 11: Но в руке узнавала. Дата: 1902. — По-видимому, это стихотворение обсуждалось в переписке Белого с З. Н. Гиппиус — см. наст. т., кн. 3.

109. «Я вышел в ночь — узнать, понять. . .» (л. 13; л. 13 об. чистый). — Московский автограф неизвестен. Переписана — и потом перечеркнута — только первая строфа, в ее окончательном виде.

Б. 110. 7—8 ноября 1902 г. (Осанна! Ты входишь в терем! . .). — В письме Белого к Э. К. Метнеру от 4 января 1903 г. Отсутствует заглавие. С. 8: Принесла им вздохи курений. Дата: Ноябрь, 1902 года.

Приложение

ТЕТРАДЬ СТИХОТВОРЕНИЙ, ПОДАРЕННАЯ БЛОКОМ С. А. КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

Ф. 8, оп. 1, ед. хр. 1. Самодельная тетрадь из сложенных вдвое полулистов писчей бумаги. На обложке надпись неизвестной рукой: «Была подарена Блоком его тетке С. А. Кублицкой». На л. 1 рукою Блока: Стихотворения // А. Блока // 1898/9.

Все стихотворения в этом сборничке не датированы. При каждом — несомненно оценочные пометы карандашом — крестики, нулики, галочки, интерпретировать которые затруднительно.

Два стихотворения — №№ 2 и 11 — по этим автографам были впервые опубликованы с сопроводительной заметкой Г. П. Блоком в журнале «Юность» (1955, № 6).

1. «Я шел к блаженству. Путь блестел. . .» (л. 3, л. 2 — чистый) — с пунктуационными разночтениями окончательный текст, без завершающего восьмистишия (см. I, 577).

2. «О не просите скорбных песен. . .» (л. 3 об.). — Пунктуационные и графические разночтения.

3. После дождя («Сирени бледные дождем к земле прибиты. . .» (л. 4). — Заглавие — «Дождь», как в первоначальном тексте (см. I, 655). При окончательной отделке Блок сократил четные строки — 2-ю и 6-ю (т. е. вторые строки катренов) на одну стопу, 4-ю и 8-ю (завершающие катрены) на две: в настоящей рукописи с. 2: Замолкла песнь живая соловья; с. 4: Нагорнего разлитого ручья; с. 6: Тогда цветы поднимут влажный лик, с. 8: Из края в край раздастся птичий крик.

4. «Когда же смерть? Я все перестрадал. . .» (л. 4 об.). — Текст очень близкий к тому, что сам Блок напечатал в первой его публикации («Записки мечтателей», 1919, № 1 — см. I, 637):

Когда же смерть? Я все перестрадал,
Зайдя далеко в мир надзвездный. . .
Там дальний Сириус сверкал,
Горел и искрился над бездной.

Ты, Сириус, пойми меня, звезда!
Прими меня в свой мир далекий,
Чтоб я горел и искрился всегда
Твоею мощью одинокой.

Приму твой свет — пустыню озарить. . .
Спасу людей от зла земного!
Лучом блесну — и зло устанет жить,
Под ярким пламенем благого!

5. «Там, за далью бесконечной. . .» (л. 5). — Двенадцатистрочный текст (как в рукописи, цитируемой в т. I, 637) без графического членения на строфы. С. 1: В этой дали бесконечной; с. 5—8 (окончательного текста, 9—12 первоначального):

Верю вам, блестите вечно
Над землею без теней,
В вашем блеске бесконечном
Вижу счастье прошлых дней.

6. Сирин и Алконост. Птицы радости и печали («Густых кудрей откинув волны. . .») (л. 5 об.). — Заглавие: Сирин и Алконост, сказочные птицы радости и печали (карт‹ина› В. М. Васнецова). Римскими цифрами I и II стихотворение разделено на две части, что соответствует строфическому членению окончательного текста. С. 18: В душе рыданье залегло.

7. Гамаюн, птица вещая (картина В. М. Васнецова) («На гладях бесконечных вод. . .») (л. 6). — Заглавие: Гамаюн // Птица вещая (картина В. М. Васнецова).

8. «Помните день безотрадный и серый. . .» (л. 7). — С. 6: «Шли мы, и песня дрожала впотьмах».

9. «Истомленный дыханьем весны. . .» (л. 7).

10. Песня Офелии («Разлучаясь с девой милой. . .») — (л. 7 об.). — Заглавие: Этюды песен Офелии (импровизация) — так и в рукописи, цитируемой в т. I, 576. После второй строфы окончательного текста еще две строфы, приведенные там же. Последние три строфы первоначального текста в этом автографе написаны особой колонкой справа и имеют цифровую рубрикацию: II.

11. «Туда, где небо с океаном. . .» (л. 8).

12. «Над старым мраком мировым. . .» (л. 8 об.). — Ранний текст, воспроизведенный в т. I, 635—636; разночтения к этому варианту — с. 3: Внимая крикам боевым, с. 8: К ее сверкающему лону; с. 12: Огнем победным иссушенный; последняя строфа от третьей отделена графически — особым значком, косым крестом из двух горизонтальных и двух косых линий.

13. «Не презирайте, Бога ради. . .» (л. 9). — Заглавие: Завещание.

14. «О, край небес — звезда омега. . .» (л. 9 об.). — Начальное пятистишие, как в варианте, приведенном в т. I, 576. Пробелы между строфами подчеркнуты значками, как № 12. Разночтения к окончательному тексту с. 3—4: Из глубины — богиня Вега, // Из царства мрака, льда и снега.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Самый факт признания «допечатного» Блока среди московских единомышленников и собратьев по мистическим чаяниям общеизвестен. Однако в распоряжении исследователей, никогда, впрочем, специальным его изучением не занимавшихся, были материалы вторичные (воспоминания С. М. Соловьева, Андрея Белого в их многочисленных версиях) либо частичные (переписка Блока с Белым, где воспроизведены сохранившиеся при письмах стихотворения Блока, что дает сравнительно малую по объему часть «московского собрания», относящуюся к последним годам его существования). См. «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 1—116; из переписки Блока с Соловьевым — С. М. Соловьев. Письма Александра Блока. Л. 1925. — В последнем издании были опубликованы только блоковские письма, тогда как важнейшие отзывы Соловьева на стихи Блока в ответных письмах были почти неизвестны. Текстологические же характеристики посылавшихся Блоком стихотворений во многом не учитывались. Тем важнее изучить сохранившиеся рукописи «московского собрания» именно как единое целое и во всем объеме свидетельств о них

[2] Д. С. Лихачев. Текстология. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1962.

[3] С. М. Соловьев. «Письма Александра Блока», с. 10.

[4] Бросается в глаза близкое сходство в манере и сути этих коротеньких приговоров у О. М. Соловьевой («страшные» стихи, «я перечла Сашины страшные стихи, и опять они показались мне страшны») — и у Белого (не только в тетрадке копий, но и позже, в письмах к Метнеру, а также и в письме Метнера — см. в наст. томе раздел «Блок в неизданной переписке современников»). Восприятие Блока в узком кругу «москвичей» единообразно и отливается в единые словесные формулы; можно сказать, что блоковская лирика, вскрывая и оформляя вынашиваемые московскими почитателями их собственные чувствования и чаяния, сплачивала эту группу в единое целое.

[5] Наиболее подробно о них — в статье А. В. Лаврова «Мифотворчество «аргонавтов». — В кн.: Миф — фольклор — литература. Л., 1978.

[6] См.: «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 61 и сл., 83 и сл., 96 и сл.

[7] Андрей Белый. Начало века. М.—Л., 1933, с. 293 и сл.

[8] См.: Вяч. Иванов. Собр. соч., т. II. Брюссель, 1977, с. 651 и сл.

[9] Иногда, быть может, стихи должны были раскрывать то, о чем Блок эпистолярной речью говорить не хотел: не следует ли так понять курсив, не сохранившийся в окончательном тексте стихотворения «Мой месяц в царственном зените. . .» (см. № 18, тот же курсив и в копии, посланной Андрею Белому, — см.: «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 53):

Навстречу страстному безволью
И *только будущей* Заре —
Киваю синему раздолью
Ныряю в темном серебре!!. .

Не попытка ли это отстраниться от сомнительных мистических восторгов Соловьева, усматривающего в бракосочетании Блока и Л. Д. Менделеевой чуть ли не второе пришествие (к чему Блок в иные моменты был склонен и сам).

[10] Школьные «баллы», которыми оценивались стихи Блока, нельзя понимать только как серьезную игру гимназиста Соловьева и вчерашнего гимназиста Блока: она была в большом ходу в литературной среде, как наследие классической риторической эпохи.

ПИСЬМА ОТЦА К БЛОКУ
(1892—1908)

Предисловие, публикация и комментарии Т. Н. Конопацкой*

В Отделе рукописей Государственного литературного музея хранятся письма к Блоку его отца, Александра Львовича Блока, за 1892—1908 гг. (3 из них написаны на почтовых открытках, 6 — на отрезных купонах денежных переводов).

Письма эти, приобретенные музеем в феврале 1948 г. у Г. П. Блока, представляют значительный интерес для изучения жизни и творчества поэта. Они многое объясняют в его письмах к отцу, впервые опубликованных в 1927 г. в изд. «Academia», проливают дополнительный свет на отношения отца и сына и являются ценным документальным материалом для характеристики весьма своеобразной, выдающейся и трагической личности самого А. Л. Блока. Значение отца в духовном развитии Блока, в отличие от исключительной роли его матери, выяснено исследователями еще недостаточно. Восполнить этот явный пробел помогут как публикуемые ниже письма Александра Львовича к сыну, так и его переписка с родными и воспоминания современников о нем, которые впервые печатаются в настоящем томе. Для понимания личности А. Л. Блока как человека и ученого большую ценность представляет биография, написанная его учеником Е. В. Спекторским, пользовавшимся в течение многих лет особенным расположением и доверием Александра Львовича [1]. Наконец, обращение к научным работам А. Л. Блока дает возможность глубже понять его убеждения и причины некоторых идейных и эстетических разногласий с сыном.

Из краткой заметки Л. Слонимского, составленной на основе автобиографической записки А. Л. Блока для III тома критико-биографического словаря С. А. Венгерова, известно, что основными жизненными понятиями он «обязан не только родителям, но и некоторым домашним наставникам (людям преимущественно университетского образования, по духу принадлежавшим к двум известным русским поколениям — 40-х и 60-х годов)» [2]. Окончив в 1870 г. Новгородскую гимназию с золотой медалью и поступив на юридический факультет Петербургского университета, юноша «все более и более сосредоточивался на уединенных книжных занятиях или на отдаленных от городского «шума» мечтах. . .» [3].

Известно также, что студентом, чтобы обеспечить себе независимость, он ушел из родительского дома (отец принадлежал к высшей петербургской бюрократии) и стал добывать средства к существованию уроками. В 1876 г. он выдержал магистерский экзамен и вскоре получил приглашение занять кафедру государственного права в Варшавском университете, где и стал преподавать с 1878 г. Казалось, все сулило блестящую будущность талантливому молодому ученому.

Рекомендуя своего ученика ректору Варшавского университета Н. М. Благовещенскому, проф. А. Д. Градовский писал, что Александра Львовича «смело можно отнести к числу весьма образованных, живых людей, с отличною общею подготовкою», что «при производстве магистерского экзамена г. Блок произвел наилучшее впечатление на весь факультет, как основательностью сведений, так и даром изложения» [4]. Градовский характеризует Блока как «отличного товарища, доброго, честного и симпатичного во всех отношениях» [5].

Известно, что Достоевского, встретившего А. Л. Блока в эту пору, заинтересовала незаурядная личность молодого ученого, в котором он угадал глубокий трагизм противо-

---

* За помощь в подготовке комментария к публикации редакция приносит глубокую благодарность М. Л. Гаспарову.



А. Л. БЛОК
Фотография, 1870-е гг., Варшава
Литературный музей, Москва

речивой натуры [6]. Эта душевная раздвоенность, по словам Спекторского, налагала «отпечаток какого-то вечно неудовлетворенного искания как на его благородный внешний облик, так и на все его труды» [7].

Немногочисленные, но несомненно талантливые печатные работы А. Л. Блока в свое время вызвали интерес. Л. Слонимский писал, что они «отличаются большою самостоятельностью мысли, критическим отношением к господствующим западноевропейским теориям и некоторою наклонностью к национально-патриотическому оптимизму» [8].

Первую книгу А. Л. Блока «Государственная власть в европейском обществе. Взгляд на политическую теорию Лоренца Штейна и на французские политические порядки» (С.-Пб., 1880) цензура приговорила к сожжению [9]. С большим трудом преодолев препятствия, А. Л. Блок защитил ее как диссертацию в Петербургском университете и получил степень магистра.

Книга эта, полная интересных наблюдений, примечательна прежде всего тем, что в ней автор — один из первых русских государствоведов, — заявив, что «всякая государственная власть принуждена соблюдать основные интересы господствующего класса. . .», признал таким образом классовый характер современного государства.

Особенно широкую полемику вызвала вторая книга: «Политическая литература в России и о России (вступление в курс русского государственного права)» (Варшава, 1884) с приложением общей программы курса, — предназначавшаяся для студентов Варшавского университета (в то время главным образом поляков).

В этой работе, по жанру скорее напоминающей публицистический очерк, чем ученый труд, Александр Львович, отмечая односторонность славянофилов и западников, стремился доказать, что как те, так и другие не понимали истинного величия России, которой по размерам, социальному и многонациональному составу нет равных в Европе и которой в силу этих и других, присущих ей особенностей, предстоит в будущем великая всемирно-историческая роль.

Чтобы лучше уяснить очень важную для нас черту во взглядах и пристрастиях Александра Львовича, следует привести то место книги, где он, критикуя западников, проглядевших светлые стороны в истории и культуре России, говорит, в частности, о красоте, значительности и реализме русского устного народного творчества, сопоставляя его с западноевропейским: «А народные песни и в особенности *былины* о разных «чудо-богатырях», олицетворявших в себе всякую силу и всякие подвиги, не одни только физические, но отчасти и нравственные? Последние едва ли даже не превышают по своему общественному значению все «благородные» или просто «эффектные» поступки наиболее блестящих западных «героев», — начиная хоть с «неистового Роланда» и кончая позднейшими «рыцарями без страха и упрека», прославленными за непроизводительное служение «богу и даме». Знаменитый Илья Муромец, у которого «сила-то по жилочкам так живчиком и переливается», которому «грузно от силушки, как от тяжкого бремени», — является не простым искателем приключений и личных успехов или самоотверженным блюстителем каких-нибудь королевских интересов, вроде германского Зигфрида. И он, и многие другие богатыри, эти герои русского народного эпоса, отчасти ради собственной «потехи молодецкой» совершают разные общеполезные дела, т. е., например, истребляют разбойников, «поганых» половцев, татар и т. п., отчасти же по доброй охоте, сами по себе и каждый по-

своему «страдают за русскую землю», причем кланяются «на все четыре стороны» и держатся вообще очень независимо, даже по отношению к «ласкову князю Владимиру». Таковы были *идеалы* общества и в ту позднейшую эпоху, к которой относится происхождение былин; таковыми остаются они отчасти и в наше время. Нечего и говорить о сравнительном реализме, всегда отличавшем нашу народную поэзию и многим даже препятствовавшем понять всю возвышенность ее духовного полета. Например, жизнерадостный богатырь «Алеша Попович-млад» занимается между прочим обольщением девиц и молодиц, но употребляет при этом довольно обыкновенные, земные средства (кажется, игру на гуслях и т. п.), не замешивая в дело те небесные и «адские» силы, которые играют такую важную роль в западных легендах о Дон-Жуане и Фаусте; а главное — он и не думает «продавать свою душу дьяволу», что может быть всего характернее в данных примерах» [10]. Завершая свою книгу, в которой много ссылок на исторические и философские труды и цитат из произведений Хомякова, Чаадаева, Герцена, Пушкина, Лермонтова, Тютчева и, конечно, Достоевского, Александр Львович приводит строки из поэмы Некрасова «Несчастные»: «Опередили иноземцы, — // Но мы догоним в добрый час!» и т. д.» — и кончает следующими словами: «Широкая и глубокая *идея России*, столь часто воплощавшаяся в разных изящных искусствах, должна воплотиться, наконец, и в труднейшем из искусств — в искусстве отвлеченного мышления вообще, а в частности, и в мышлении научно-политическом, может быть, наиболее из всех трудном: я не о внешних только трудностях говорю» [11].

Приведенные выше отрывки дают некоторое представление о том сжатом и образном стиле, к которому тяготел Александр Львович.

Кроме двух небольших по объему, но емких по содержанию книжек и актовой речи «Об отношении научно-философских теорий к практической государственной деятельности», появившейся с большими цензурными сокращениями в «Варшавских университетских известиях» в 1888 г., Александр Львович больше ничего из научных трудов не напечатал, если не считать еще нескольких критических статей в специальных журналах и пространных программ курса государственного права в тех же «Варшавских университетских известиях», содержание которого менялось им почти каждый год.

Последние двадцать один год жизни Александр Львович посвятил созданию большого философского труда: «Политика в кругу наук». (Труд этот, в основу которого была положена специально разработанная им своеобразная классификация наук, не был завершен и остался в рукописи.)

Чтобы осуществить задуманное, Александру Львовичу пришлось серьезно расширять свое образование. Особенно глубоко он изучал естественные науки. В. Измаильская в своей статье пишет, что проф. А. В. Горбунов, знавший Александра Львовича, сообщил следующее: «Его своеобразные выводы и точки зрения, привносимые им в эту область знания, являлись весьма ценными и плодотворными для многих исследователей естествознания, искавших общения с ним» [12].

Свои идеи Александр Львович излагал в университете с кафедры и в долгих беседах со своими ближайшими учениками. Хорошо усвоивший его взгляды и идеи Спекторский утверждает: «Александр Львович был убежден, что у каждой мысли есть только одна действительно соответствующая ей форма выражения. Годами переделывая свой труд, он и искал эту единственную форму, преследуя при этом сжатость и музыкальность (ритмичность, размеренность). В процессе этой бесконечной переработки он стал в конце концов превращать целые страницы в строки, заменять фразы отдельными словами, а слова — знаками препинания. При этом, — говорит Спекторский, — он не замечал, что «его работа становится все более и более символистическою, еще понятною для ближайших учеников, но для широкого круга непосвященных уже совершенно недоступною» [13].

Поэтому предсмертное желание Александра Львовича, чтобы его многолетний труд был издан хотя бы в незаконченном виде, не могло быть осуществлено.

Характеризуя человеческие качества Александра Львовича, Спекторский подчеркивает его суровую волю, умевшую твердо и неумолимо подчинять желания и порывы строгим принципам. Одним из основных жизненных правил, — пишет Спекторский, — «являя во многих случаях личной и публичной жизни живой пример строгой принципиальности, он предпочитал вызывать нарекания со стороны других и причинять страдания самому себе, чем уклоняться от сознанного долга и его осуществления. Такие люди мало



А. А. БЛОК (МАТЬ ПОЭТА)
Фотография Бранделя, 1880 г., Варшава
Литературный музей, Москва

популярны. Их часто избегают. И хотя для них добро — нечто весьма важное, их не считают добрыми» [14].

Навестивший своего дядю в Варшаве Г. П. Блок вспоминает, что среди студентов Варшавского университета у него «не было равнодушных слушателей: были враги (огромное большинство) или страстные приверженцы. Такие насчитывались единицами» [15].

Строгий, одержимый своей наукой профессор требовал такого же подвижнического отношения к своим занятиям и от студентов, которым особенно трудно давалась та философская концепция, которую он преподносил им в своих лекциях. Спрашивая на экзаменах иной раз от часу до полутора часов, Александр Львович, по свидетельству Е. А. Боброва, сам оставаясь невозмутимым, порой доводил экзаменующихся до «исступления (см. ниже «Приложение» II).

С людьми Александр Львович сходился трудно. Среди профессоров университета он чувствовал себя одиноким. Необычный образ жизни, который он вел, странности в поведении, постоянная погруженность в какие-то свои думы — все это к нему не располагало. С горечью рассказывал он Боброву о тех притеснениях, какие ему приходилось терпеть в Варшавском университете. За гордость и независимый образ мыслей университетское начальство считало его опасным человеком (см. там же).

Только в 1907 г., за два года до смерти, А. Л. Блок, наконец, был избран деканом юридического факультета.

Из студентов, высоко ценивших своего профессора, кроме Е. В. Спекторского, можно назвать еще Ф. В. Тарановского и М. А. Рейснера. Последний, будучи уже известным профессором, вспоминал своего учителя как выдающегося ученого, «личность весьма одаренную, с признаками гения» [16].

Современники отмечали особую артистичность натуры Александра Львовича. Она проявлялась, в частности, в его живом интересе к живописи, литературе и особенно музыке. Екатерина Герцог, дочь приятеля Александра Львовича, юриста, члена Окружного суда в Варшаве, в семье которого он бывал частым гостем, говорит, что, садясь за рояль, он отрешался от окружающего, забывал о времени: «Он очень хорошо знал историю музыки, — вспоминает она, — и интересно рассказывал нам о каждом произведении Бетховена». Она свидетельствует и о прекрасной памяти Александра Львовича, благодаря которой он мог часами читать своих любимых поэтов. «Евгения Онегина» он знал так хорошо, — по ее словам, — что мог начать читать его с любой строки» (см. ниже «Приложение» II).

По утверждению Спекторского, искусство для Александра Львовича имело не меньшее значение, чем наука. Искусство отвлекало его от житейской прозы и отвечало душевной потребности мечтать. При этом «на его лице строгие аскетические линии сурового моралиста <. . .> озарялись мягкою улыбкою поэтического настроения. В искусстве его <. . .> влекли к себе не столько резко очерченные типы и образы <. . .> сколько нервы, не столько грубые, кричащие краски. сколько нежные нюансы, едва уловимые, трепетные оттенки и переливы» [17].

На склоне лет одинокий, дважды разрушивший своей нетерпимостью семейную жизнь, с надорванным здоровьем и расшатанной психикой, Александр Львович сохранил все же

и очень светлые стороны души. Знавшая его в этот период Е. Герцог вспоминает усталого профессора, который приходил в дом ее родителей в своем неизменном потрепанном черном сюртуке и, ласково улыбаясь молодежи, забрасывавшей его бесчисленными вопросами, всегда обстоятельно и эрудированно отвечал на них, давая справки «на всех европейских языках, которые он знал в совершенстве». Е. Герцог говорит и о том, что Александр Львович охотно принимал участие в шарадах и других затеях, которые устраивала собиравшаяся у них молодежь.

Сам он трагически относился к тому, что совершил в своей личной жизни. В этом убеждает и тот факт, что в холодной, запущенной квартире он все оставил так, как это было в день ухода его второй жены. Даже маленькая кроватка Ангелины, на которую в долгие одинокие вечера он мог смотреть часами, осталась на прежнем месте; и среди хаоса книг, газет и вещей, покрытых пылью, как горький укор его совести стоял портрет дочери, обрамленный венком из цветов.

Одной из странностей характера Александра Львовича было то, что, имея материальную возможность жить безбедно, он будто бы в целях экономии отказывал себе в элементарных бытовых удобствах. Его считали скупым, хотя было известно, что в театр и на концерты он всегда брал лучшие места, делал подарки, охотно давал взаймы. М. А. Бекетова объясняет это противоречивостью его натуры, тем, что «чисто плюшкинская скупость уживалась в нем с отсутствием расчетливости: ведь оба раза, — прибавляет она, — он женился на бесприданницах» [18].

Публикуемые письма — убедительное доказательство того, что, несмотря на сложные отношения с сыном, Александр Львович никогда не проявлял скупости и был неизменно внимателен к Блоку в моменты его материальных затруднений.

Известно, что Александр Львович не был равнодушен к сыну, но отношения их с самого начала были крайне отчужденными. И это понятно. Посещая сына во время зимних и весенних университетских каникул, Александр Львович не мог чувствовать себя естественно и просто в семье Бекетовых. В свою очередь, будущий поэт, разумеется, не мог не воспринять того враждебного отношения, которое, несомненно, было у Бекетовых к Александру Львовичу. Предвзятое с самого начала отношение к отцу у Блока со временем не только не было преодолено, но даже усилилось. Этому немало способствовал и трудный характер Александра Львовича. Письма убеждают в том, что отца интересует все, что касается сына, — его занятия, времяпрепровождение, здоровье (Ср. ниже — более ранние письма А. Л. Блока к родным — «Приложение» I).

Александр Львович делает усиленные (и бесплодные) попытки привлечь внимание сына к тому, что интересует его самого. Пока Блок учится на юридическом факультете, отец следит за его успехами, дает ему советы, посылает в помощь свои статьи и лекции (ср. письмо Блока от 26 сентября 1900 г.). Когда Блок переходит на историко-филологический, отец начинает интересоваться его литературной деятельностью, благодарит за присланные ему стихи и одобряет их (письма от 28 июня и 2 октября 1902 г.), просит прислать еще (письма от 21 сентября 1902 г. и июля 1903 г.), не забывает поздравить с первыми выступлениями в печати (письмо от апреля 1903 г.), читает те альманахи и журналы, о которых сын упоминает в письмах. Александр Львович старается вникнуть в круг интересов и занятий сына, просит его писать и «о житейском». И однажды даже решается пригласить его погостить к себе в Варшаву (письмо от 14 ноября 1902 г.).

Блок-студент, сменив мать в переписке с отцом, относится к этому со всей свойственной ему серьезностью. В письмах он дает отчет Александру Львовичу об основных внешних событиях своей жизни. Но отец мало его интересует и продолжает оставаться чужим ему человеком. Это особенно ясно видно в его письмах к матери, где он упоминает об отце.

Г. П. Блок пишет об Александре Львовиче, что «он очень любил родственников и любовь эта была, по-видимому, какая-то принципиальная» [19]. Отцу очень хочется, чтобы сын сблизился с его родными. Он постоянно напоминает ему о них и настойчиво просит их посещать.

Блоку чужды родственники отца. Он любит по-настоящему только очень немногих самых близких ему родных. Широкие родственные связи ему органически враждебны. Об этом он пишет матери 1 октября 1906 г., заключая следующими словами: «Этого ужаса я избежал, я думаю, потому, что Александр Львович его исчерпал» (VIII, 162). Много

позже в обстоятельном письме к своей двоюродной по отцу сестре С. Н. Тутолминой от 16 января 1916 г. он повторяет ту же мысль и объясняет: «. . . Это происходит не от дурных моих чувств к тебе и всем вам, а от строя моей души, которого я не могу изменить» (VIII, 454). Отношения Блока с отцом заметно обострились с 1903 г. Послав сыну 1000 рублей и не получив от него приглашения на свадьбу, Александр Львович был очень зад[ет]. В сильном раздражении он написал сыну, по справедливому определению М. А. Бекетовой, «чрезвычайно язвительное и неприятное письмо». Блок переслал это письмо матери, сделав на нем пометки красным карандашом (письмо от 30 августа 1903 г.). Вероятно, по ее совету, он игнорировал оскорбительный тон отцовского письма и продолжал писать ему в прежнем духе, благодарить «за денежную поддержку» и посылать стихи.

Александр Львович не смягчился; в следующем своем письме он продолжал еще более язвительно высмеивать письма сына и присланные ему стихи. Блок ответил ему очень сдержанно и коротко, сославшись на занятость, поблагодарил за деньги и «за длинное и интересное письмо». В конце октября 1904 г. он послал отцу свой только что вышедший первый сборник, который вызвал новый взрыв возмущения у Александра Львовича.

Что же произошло? Почему Александр Львович, прежде внимательно следивший творческим путем сына, вдруг резко изменил свое отношение к его стихам и его первый сборник, в который, кстати, вошло и то, что ему раньше нравилось, сравнил с «бедламом»?

Вопрос этот сложный и требует специального изучения. Напомним только, что, по свидетельствам мемуаристов, Александр Львович, обладая тонким вкусом, любил и знал поэзию. Это подтверждает и М. А. Бекетова, недоумевая, почему отец поэта, сыграв такую большую роль в развитии личности своей первой жены и подготовив ее тем самым к духовному общению с сыном, сам к его стихам относился с холодной насмешкой. «Быть может, это был просто педагогический прием?» — сомневается она [20].

Г. П. Блок сообщает, что Александр Львович «стихи сына все знал. Особенно любил стихи о России» [21]. Последнее вполне понятно. В. Д. Измаильская в своей статье подробно осветила вопрос о совпадении взглядов на Россию А. Л. Блока в его книге «Политическая литература в России и о России» и поэта в его стихах о России. Она же первая обратила внимание на отрицательное отношение Александра Львовича к первому сборнику Блока в связи с его критическими замечаниями по поводу «рыцарей без страха и упрека», прославленных за непроизводительное служение «богу и даме» [22].

Нельзя не учитывать и обиду Александра Львовича, получившего книгу сына и понявшего, что тот так и не прочел его труд, бывший, очевидно, среди тех статей и лекций, о которых Блок писал ему в письме от 26 сентября 1900 г.: «Не знаю, когда мне удастся прочесть все это».

Гипертрофированную обидчивость Александра Львовича подтверждает и замечание С. Герцог: «На одной из своих книг А. А. сделал надпись отцу: «Моему отцу по духу». Это «по духу» очень возмутило А. Л. и давало темы его многим комментариям. — Все-таки, говорил он нам, горько улыбаясь, не только же я по духу ему отец».

«Система откровенного высказыванья (даже беспощадного). . .», которой Блок придавал такое большое значение (письмо к матери от 24 ноября 1908 г.), была, как видно, чужда Александру Львовичу, поэтому и отношения его с сыном запутались невероятно и даже на какое-то время прервались. В письме к матери от 25 января 1908 г. Блок пишет: «На днях было письмо от Ал. Львовича — декадентское; с какой-то иронией, как всегда, немножко жалкое, запутанное, предлагает, насколько можно понять, денег и обещает приехать на Пасхе. Просит возобновить сношения. Мне еще трудно ответить ему — все не соберусь». Блок, очевидно, так и не собрался ему ответить. А когда Александр Львович, приехав на пасхальные каникулы в Петербург, хотел встретиться с ним, Блок под благовидным предлогом (срочный вызов на совещание) постарался избежать этой встречи. «Господи, как с ним скучно и ничего нет общего» — жалуется он матери (письмо от 17 апреля 1908 г.).

Совсем по-иному Блок понял отца уже после его смерти, под влиянием похорон и того, что услышал и узнал об Александре Львовиче в Варшаве. Тогда он писал о нем матери: «Все свидетельствует о благородстве и высоте его духа, о каком-то необыкновенном одиночестве и исключительной крупности натуры» (письмо от 4 декабря 1909 г. — VIII, 298).

Значительность личности Александра Львовича была глубоко прочувствована поэтом. И не случайно в 1921 г. в речи «О назначении поэта» Блоком были сказаны многозначи-

тельные слова: «Сын может быть не похож на отца ни в чем, кроме одной тайной черты; но она-то и делает похожими отца и сына» (VI, 161).

Под сильным впечатлением событий, пережитых в Варшаве, им и была задумана поэма «Возмездие», в которой он хотел изобразить отца так, как писал об этом в 1911 г. Е. В. Спекторскому (см. в наст. томе письма Блока к Спекторскому).

Со временем замысел поэмы расширился, а факты действительности, преобразившись в художественном творчестве, подчинились его особым законам.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Е. В. Спекторский. Александр Львович Блок, государствовед и философ. Варшава, 1911.

[2] С. А. Венгеров. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней), т. III. СПб., 1892, с. 397.

[3] Там же.

[4] Е. В. Спекторский. Указ. соч., с. 3—4.

[5] Там же, с. 4.

[6] В поэме «Возмездие» Блок упоминает, что Достоевский, обратив внимание на героя поэмы, находит в нем сходство с Байроном (III, 321). Можно предположить, что об этом раньше Блок слышал от своей бабушки Е. Г. Бекетовой, которая была знакома с писателем. М. А. Бекетова пишет, что на вечерах А. П. Философовой Александр Львович встречался с Достоевским, «которого поразила наружность молодого человека. Как говорили тогда, Достоевский собирался изобразить его в одном из своих романов в качестве главного действующего лица» (М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк. Л., «Academia», 1930, с. 25).

[7] Е. В. Спекторский. Указ. соч., с. 7.

[8] С. А. Венгеров. Указ. соч., с. 399.

[9] В автобиографической записке А. Л. Блока говорится, что труд «Государственная власть в европейском обществе» встретил сначала «большие препятствия как в университетской (предварительной), так и в общей цензуре. . .» А. С. Венгеров. Указ. изд., с. 397.

Е. В. Спекторский пишет более определенно: первая книга А. Л. Блока — «Государственная власть в европейском обществе» — «была приговорена цензурою к сожжению, Не без труда удалось спасти ее от такой участи» (с. 4).

[10] А. Блок. Государственная власть в европейском обществе. Взгляд на политическую теорию Лоренца Штейна и на французские политические порядки. СПб., 1880, с. 41.

[11] А. Л. Блок. Политическая литература в России и о России. Вступление в курс русского государственного права. Варшава, 1884, с. 44—46, 99, 100.

[12] В. Д. Измаильская. Проблема «Возмездия». — «О Блоке». Сб. под ред. Е. Ф. Никитиной. М., «Никитинские субботники». 1929, с. 69.

[13] Е. В. Спекторский. Указ. соч., с. 73.

[14] Там же, с. 8.

[15] Г. Блок. Герои «Возмездия». — «Русский современник», 1924, № 3, с. 177.

[16] В. Д. Измаильская. Указ. соч., с. 66.

[17] Е. В. Спекторский. Указ. соч., с. 9—10.

[18] М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать. М., 1925, с. 123.

[19] Г. Блок. Указ. соч., с. 175.

[20] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк. Л., «Academia», 1930, с. 80.

[21] Г. Блок. Указ. соч., с. 177.

[22] В. Д. Измаильская. Указ. соч., с. 85.

1

‹Варшава, 14 ноября 1892 г.›

Милый мой Сашура,

от души поздравляю Тебя с наступающим днем рождения и желаю между прочим, чтобы это письмо, которое Ты получишь послезавтра вместе с другими поздравлениями, ничем не нарушило твоего обычного веселого настроения: о нем, а также о твоем недавнем нездоровьи, теперь миновавшем слава Богу, мне известно из писем твоей Мамы, которую поблагодари и от меня за разные по отношению к Тебе беспокойства. Присланные в нынешнем и в прошлом году твои стихотворения доставили мне большое удовольствие, как и частые известия о твоих добровольных склонностях к наукам и искусствам, ко-

торые «должны помочь тебе, мой сын», быть действительно свободным человеком.

Давно я не видался с Тобой, Сашура, и Ты, вероятно, совсем плохо меня помнишь. В декабре рассчитываю съездить на короткое время в Петербург и посмотреть на Тебя. Хотелось бы знать заранее, когда кончатся перед праздниками твои уроки в гимназии, чтобы мне не очень помешать Тебе к ним готовиться.

Итак — до скорого свидания — приблизительно через месяц, а может быть, и раньше или позже (если что-нибудь воспрепятствует). Пока целую Тебя крепко и остаюсь искренно любящим Тебя отцом.

Ал. Блок.

Варшава. 14 ноября 1892 г.

2

‹Варшава, 12 ноября 1898 г.›

Благодарю за письменное поздравление [1] и сам хочу Тебя поздравить, милый Саша (и Сашура), с днем рождения, а заодно и с переходом в университет, желая всего больше доброго здоровья и дальнейших расширений умственного горизонта — как во времени, так и в пространстве: *это* может быть достигнуто особенно на первых курсах, где преподаются главным образом науки исторические и отчасти «философские».

О современном петербургском представителе последних я читал и слышал (от студентов) отзывы почти восторженные, на ряду с которыми не мог не придавать значения и твоему (по-видимому, беспристрастному), хотя Ты, вероятно, не без основания предпочитал «профессора, читающего дурно» [2], своему (вполне литературному) домашнему учителю — не отступив перед сравнительными трудностями (каковые с пользою преодолимы если не путем самообразования, то дополнительными лекциями Гессена [3], Кареева [4] или иными).

Радуюсь твоим успехам артистическим [5], а также — что бываешь чаще у моих родных [6], от коих a la longue * получишь, между прочим, сведения и из древней или средневековой *моей* «истории» (отечественной в некотором роде): новой и новейшей я уже не излагаю на тысячеверстном с лишком расстоянии, да и былые «средние века» обыкновенно только резюмировал двумя-тремя стихами Пушкина; во избежание анахронизмов следовало бы давно переменить по крайней мере прежнее «грядущее» на *настоящее*, но в ожидании каких-нибудь «безумных лет» (пока лишь *будущих*) полезнее не портить вообще чужих стихов, а заниматься собственною «прозою», задерживающею и на праздниках меня в «волнуемой» (то Муравьевым, то Мицкевичем и проч.) [7] Варшаве — несмотря на все желание с Тобою и с другими повидаться, что надеюсь, впрочем, выполнить не позже марта, когда будет kiedy będzie Пасха у католиков. — Надеюсь и на письменную откровенность [относительно твоих потребностей академических — elc.

Твой папа.

12 ноября 1898 г.

[1] Ответ на письмо Блока от 18 октября того же года (VIII, 7), в котором сын поздравляет отца с днем рождения и сообщает о некоторых событиях своей жизни.

[2] Речь идет о юристе, профессоре Петербургского университета Льве Иосифовиче *Петражицком* (1867—1931), авторе многочисленных печатных трудов. Блок писал отцу: «Единственный дурно читающий профессор — Петражицкий, который отвратительно говорит по-русски и сыпет иностранными терминами, не объясняя их, хотя следовало бы ему все-таки помнить, что мы — гимназисты 8-го класса и еще не привыкли к научному языку» (VIII, 7). На втором курсе Блок в значительной степени изменил свое отношение к проф. Петражицкому («Письма к родным», I, с. 56).

[3] Владимир Матвеевич *Гессен* (1868—1920), юрист и политический деятель, профессор, преподававший в ряде высших учебных заведений Петербурга.

* со временем (*франц.*).



А. Л. БЛОК (СИДИТ, ВТОРОЙ СЛЕВА) В ГРУППЕ ГИМНАЗИСТОВ — ВЫПУСКНИКОВ 7 КЛАССА

Фотография, 1869 г., Новгород

Литературный музей, Москва

[4] См. наст. том, кн. 2. Письма Блока к Е. В. Спекторскому.

[5] Блок сообщал отцу, что участвовал в спектаклях, которые летом устраивали Менделеевы: «. . .Я очень много играл и имел даже некоторый успех» (VIII, 8).

[6] «Теперь я довольно часто бываю у Качаловых (по субботам), где все со мной очень милы и любезны», — писал Блок (VIII, 7).

Ольга Львовна *Качалова* — родная сестра А. Л. Блока. В ее семье, по свидетельству М. А. Бекетовой, Блок стал бывать в первый год учения в университете. В это время он близко сошелся с двоюродными сестрами — Ольгой Николаевной и Софьей Николаевной Качаловыми. Воспоминания С. Н. Качаловой см. ниже.

[7] 8 ноября 1898 г. в Вильне был открыт памятник М. Н. Муравьеву («Вешателю»). 12 декабря того же года состоялось открытие памятника Мицкевичу в Варшаве. Оба эти столь противоположные по своему общественно-политическому смыслу события широко освещались в печати.

3

‹Варшава, 28 сентября 1899 г.›

Дорогой Сашура,

В письмах к Бабушке я только выразил надежду, что Тебя не затруднит ей сообщить о денежной потребности [1]. Хотя до сих пор счет велся учебными годами, но легко перевести его и в настоящую «минуту» на гражданский год. Во всяком случае могу быть лишь доволен непосредственными сообщениями и за нынешний семестр послать (примерно) 250 рублей, из коих попросил бы перед Р. Х. передать с 15 Бабушке — на свойственные ей обычные домашние подарки от меня; сочтусь с Тобою в следующем полугодии, когда, б‹ыть› м‹ожет›, и опять приеду в П‹етер›бург (на Пасхе или раньше). Если соберешься до тех пор писать мне, то полезно было бы осведомить *и* о т‹ак› н‹азываемых› «практических занятиях» — *особ*‹енно› по *госуд*‹арственному› праву, издавна отбившему меня от разных, в частности почтовых «прак-

тик», требующих утреннего времени и даже соотв‹етствующего› «настроения». Благодарю *и* Твою Маму за известия. Желаю всего лучшего и остаюсь душевно преданным отцом.

С прогулки мог бы Ты когда-нибудь зайти (во избежание «односторонности») *и* к Гардерам [2]: они всегда интересуются учебными, а также театральными делами, да и родственниками всех возрастов, с которыми там встретишься. Здесь «тягостный ярем до гроба все влекут», но «гонят лени сон угрюмый» [3] и т. д.

28 сентября 1899 г.

Письмо на трех отрезных купонах денежного перевода (250 р.).

[1] Речь идет об Ариадне Александровне Блок, матери А. Л. Блока, жившей в семье Качаловых. 20 сентября 1899 г. Блок писал отцу: «Бабушка передала мне о Вашем желании получить от меня письмо в том случае, если мне понадобятся деньги» («Письма к родным» I, с. 46). Далее он сообщает о необходимых расходах и обращается с просьбой дослать 50 р. к тем 350 р., которые в текущем году он уже получил. «Вы посылаете мне 400 рублей в год. . .» — пишет он. После цифры 400 А. Л. Блок поставил в письме сына вопросительный знак и послал ему еще 250 р. (см.: «Письма к родным» I, с. 46 и с. 314).

[2] *Гардеры* — семья родной сестры Льва Александровича Блока — Ольги (1829—1901), вышедшей замуж за Михаила Михайловича Гардера.

[3] Цитаты из стихотворения Пушкина «Деревня».

4

‹Варшава, 22 апреля 1901 г.›

Дорогой Сашура,

Вероятно, твоя Мама написала мне (как обещала) на Страстной неделе о визите к доктору, предполагавшемся 26 марта; но все праздники мои прошли в *напрасном* ожидании известий. Вот уже т. н. (по христ. календарю) «Неделя о расслабленном» [1] — у нас еще лекционная; за нею начинается пора экзаменов, имеющая продолжаться до 9 июня. Зная, что «моя наука (да и всякая другая) не поможет» (без особенной поддержки), все-таки интересуюсь, *между прочим*, действием (хотя изолированным) иных «рецептов», посланных как в прошлом, так и в нынешнем году — Тебе и завтрашней (твоей же) именинице, которую прошу поздравить от меня с днем ангела [2]. В XX веке не было пока ни слова *от Тебя* ко мне.

Твой папа.

22 апреля 1901 г. Варшава.

Занимаясь философиею в перемежку с родственными посещениями, Ты едва ли думаешь (как многие), что петербургские учебные «события» немедленно приобретают всероссийскую известность [3]: например, мои фактические сведения ограничиваются (почти) печатаемым в «Новом времени» и относящимся скорее к старым временам — не очень также «добрым».

[1] Четвертая неделя после Пасхи. Пасха в 1901 г. приходилась на 1 апреля.

[2] 23 апреля — именины матери Блока — Александры Андреевны.

[3] Очевидно, до Александра Львовича дошли слухи об избиении студенческой демонстрации на Казанской площади 4 марта, и он интересуется подробностями и тем, как это событие отразилось на жизни университета. В ответном письме от 2 мая 1901 г. Блок сообщает: «Что касается подробностей учебных волнений, то я знаю о них также большею частью по газетам (самое точное?). Частные же слухи до такой степени путаны, сбивчивы и неправдивы, а настроение мое (в основании) так отвлеченно и противно всяким страстям толпы, — что я едва ли могу сообщить Вам что-нибудь незнакомое» (VIII, 15).

5

‹Варшава, 8 октября 1901 г.›

Милый мой Сашура,

Мысль, теперь осуществленная Тобою, посещала и меня не раз за нынешнее лето: собирался написать Тебе о примирении «деятельности» с «созерцательностью» — в смысле перемены факультета «хлебного» (или служебного) на

более литературный (и педагогический) [1]; однако не хотел «смущать» на случай уже состоявшегося умиротворения в обратном направлении: *так* можно было заключить из Маминого сообщения о «новой (твоей) ясности» пред наступлением последнего учебного периода и из твоих стихов о «светлой темноте» по крайней мере одного предмета, изучаемого петербургскими юристами на III курсе (в мое время — на II-м). «И тут есть боги» — как сказал когда-то Аристотель, занимаясь даже «внутренностями» животных [2]; но, конечно, «Сотворивый мир *открыт*» — не говоря о «чувстве» — преимущественно «в разуме» и в «лире», почему от всей души приветствую Тебя на этом, в сущности, и «самом легком» (т. е. благодарном — при талантах) поприще научного труда, к Нему (который «шлет свои дары») [3] нас приближающем, хотя еще и не приравнивающем, в чем убеждает даже «Мефистофель» — несмотря на традиционное свое «eritis sicut Deus» [4].

До свидания зимою в П‹етер›бурге. Поздравляю с буд‹ущим› гражд‹анским› совершеннолетием.

Твой папа.

Посылаю всего 300 руб.

8 октября 1901 г. См. P. S

P. S. К счастью, и моя ученая «мораль», по-видимому, для *Тебя* излишня.

Письмо на трех отрезных купонах денежного перевода (300 р.).

[1] В письме от 29 сентября 1901 г. (VIII, 24—25) Блок сообщает отцу о «важной перемене» в своей жизни — переходе с юридического на историко-филологический факультет университета, подробно обосновывает причину. В заключение он пишет: «Мама очень поддерживает меня в моих начинаниях. Хотел бы знать, что думаете об этом Вы?» (VIII, 25).

[2] Выражение, видимо, приписано Аристотелю, так как соответствует его мировоззрению, в частности, как автора работ по зоологии. В ответном письме от 16 октября Блок деликатно поправляет отца, цитируя по-гречески слова о том же самом, принадлежащие (на этот раз достоверно) Фалесу Милетскому (VIII, 26).

[3] Слова из стихотворения Блока «Моей матери» («Чем больней душе мятежной», 8 марта 1901 г. Впервые было напечатано в литературно-художественном сборнике «Стихотворения студентов С.-Петербургского университета», 1903).

[4] Слова эти Мефистофель вписывает в книжку студента, размышляющего о выборе факультета, в «Фаусте», ч. I, сцена 4.

6

‹Варшава, 28 июня 1902 г.›

Очень Тебе благодарен, милый мой Сашура, за полученные «характерные» стихи и извещение о переходе в следующий курс [1], где можно еще год подумать о дальнейшей специализации, не исключающей (а даже обуславливающей своим усиленным «анализом» возможность новых) философских обобщений — в частности, при помощи общения «с товарищи» по факультету или с «Филос‹офским› Обществом С-П‹етер›бургским». Самая несчастная из всех та внутренняя «специальность», что сосредотачивает человека на одном лице — своем или чужом, чем нарушается общественное «равновесие», к ‹ото›рое (поскольку и оно — не непосредств‹енное› проявление, а только производное, несовершенное творение благого божества) за это воздает жестокое «отмщение», едва ли открывая «молодому Вертеру» «иные дали»: ведь ему пришлось бы дальше созерцать «прекрасное созвездие Б. Медв‹еди›цы» [2] — «когда б он знал» (хотя бы из латинского Томазия), что избавляется в «уединении» от посторонней «глупости», но наживает собственную — «более опасную» [3].

Конечно Ты и без меня (да и без Д. С. Мережковского) отлично понимаешь Гете, у к-рого «как в первый день прекрасны — alle seine hohen Werke»; отчего бы и не подражать *ему* (способному уравновешивать каких-нибудь терзающих «вакханок» Еврипидовых с истерзанными соловьевскими «чертями») в объективном юморе (уже эпистолярном)? Впрочем, я не столько задаю головоломные вопросы, сколько «отвечаю» (скромно) по-французски:

cela viendra un jour peut-être*, Твоей Маме прежде удавалось более комическое, вообще эпическое; «юмора» — житейского, быть может, и литературного — не лишены и «Блоки» — при хорошей пище и благоприятной почве для него (не чуждого твоим же детским сочинениям) [4].

Не знаю, побывал ли Ты перед отъездом у моих родных: они могли узнать при случае, не нужно ли Тебе поехать на море для поправления здоровья и для развлечения, но ничего не пишут — даже где они теперь находятся. Надеюсь, что Ты сам (или при Мамином посредстве) мне доставишь лишний и удобный повод быть полезным издали — до отлагаемого по различным обстоятельствам свидания «зимою в П‹етер›бурге», где и фетовское «небо» прекращает летом всякий «задушевный зов» [5]. Однако при свободном выборе меня привлек бы не татарский юг, а финский север, соответствующий и твоей потребности в «obscurité de ciel serein» (скрывающей, по мнению Гюго, вселенские потемки близостью к *одной* «звезде»). Со временем поедешь, вероятно, за границу, где, «уравновесив» мало сознанные франко-русские симпатии, практически займешься и немецким языком, завоевавшим себе гегемонию во всех филологич. науках. В виде иллюстрации пересылаю два письма парижских — моего ученика и бывшего сотрудника в «практич‹еских› занятиях» Е. В. Спекторского; прошу их возвратить мне в П‹етер›бурге. Принимают ли посылки или переводы денежные на Подсолнечной?

Твой папа.

[1] Посылая отцу стихотворение «Когда святого забвения», май 1902 г. (впервые — «Новый путь», 1903, № 3), Блок пишет в письме от 4 июня 1902 г.: «Прилагаю одно из характерных стихотворений» («Письма к родным», I, с. 76). В этом же письме он говорит, что затрудняется еще пока в выборе отделения для специализации, и как о важном событии своей жизни сообщает о знакомстве с Мережковскими.

[2] О «прекрасном созвездии Большой Медведицы» вспоминает Вертер в предсмертном письме к Лотте (Гете. «Страдания юного Вертера»).

[3] О каком изречении немецкого юриста и философа Христиана Томазия (1655—1728) идет речь, установить не удалось.

[4] По-видимому, имеются в виду юмористические стихи Блока, которые тот сочинял для рукописного журнала «Вестник».

. . .alle seine hohen Werke — все его высокие творения (*нем.*)

. . .cela viendra un jour peut-être — это, быть может, когда-нибудь случится (*франц.*)

mutatis mutandi — соответственно изменяя (*лат.*)

[5] Из стихотворения Фета: «Измучен жизнью, коварством надежды. . .»: «И только в небе, как зов задушевный, // Сверкают звезд золотые ресницы».

7

‹Варшава, 21 сентября 1902 г.›

Писать нет времени — при всем желании иметь известия или стихи.

$19\frac{21}{IX}\,02$

Написано на трех отрезных купонах денежного перевода (300 р.).

8

‹Варшава, 2 октября 1902 г.›

Дорогой Сашура! Относительно часов — не сделаешь ли Ты еще одну попытку радикально обновить их механизм у добросовестного мастера, с за-

---

* P. S. По-немецки же рискну цитатою (mutatis mutandi):

«. . .Vom Vater hab'ich die Statur,
Des Lebens ernstes Führen;
Vom Mütterchen — die Frohnatur,
Die Lust zu fabulieren». — G o e t h e.

‹*Перевод*:
«. . .От отца у меня внешность
И серьезное отношение к жизни;
От матери — жизнерадостность
И страсть к сочинительству».
Г е т е (*нем.*)›

меною истершихся колес, камней и проч.? Издержку я *охотно* принимаю на свой счет но *не* стесняю предоставленного Тебе права полного распоряжения.

Благодарю за объективное письмо и за удачные стихи [1] — особенно *Екклесиаста*, многое «исследовавшего», а «заповеди (ибо «в этом все для человека») соблюдавшего» (гл. 12) [2].

Твой папа

2 октября 1902 г.

[1] Блок в письме от 26 сентября 1902 г. просит у отца разрешения обменять подаренные ему золотые часы с придачей к ним испорченных своих — «на какие-нибудь хорошие часы». Блок посылает отцу три своих стихотворения, «еще не предназначенных» для напечатанья в «Новом пути»: «Золотистою долиной», «Экклесиаст», «Свет в окошке шатался» («Письма к родным», I, с. 80).

[2] Ссылка на конец 12-й гл. книги «Екклесиаста» из «Ветхого завета», где сказано: «. . .Бойся бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. . .»

9

‹Варшава, 14 ноября 1902 г.›

Милый мой Сашура! *Поздравляю* Тебя с днем рождения — прося прислать мне (заказною бандеролью и не позже первых чисел декабря) курс логики Введенского, а также (*если* есть и не нужна теперь, то) «Логику» Минто [1]. При *лучшей* обстановке (к сожалению — не в ней лишь дело) для «досуга» было бы довольно натурально, если бы и Ты когда-нибудь приехал погостить ко мне. Что «Новый путь» и проч.? [2]

Во избежание чрезмерной «отвлеченности» (благодаря которой мы с Тобою пропустили *даже* годовое философское собрание 22 октября [3]) пиши мне иногда и о родных. Не знаю — получил ли Ты мою записку (до приезда) о часах (о коих на словах меня опять спросил) и о стихах (жалею, что не удалось прочесть других из рукописи)? Адрес Ангелиночки [4]: Изм‹айловский› просп‹ект›, д. 9, кв. 30 (попроси ее прочесть «Мой садик» [5] — и т. п.).

Твой папа.

14 ноября 1902 г.

[1] Отвечая на просьбу отца прислать книги, Блок писал 29 ноября 1902 г.: «Посылаю Вам логику Минто, которую получил недавно в виде приложения к раммовскому «Самообразованию» ‹. . .› а логику Введенского в университете не нашел, моя же мне очень теперь нужна и в очень тяжелом переплете, что несколько затруднило бы пересылку» (VIII, 47).

[2] В том же письме: «В первом № «Нового пути» мои стихи помещены не будут, но позже, говорят, непременно». (VIII, 47). Стихи Блока были впервые напечатаны в № 3 журнала «Новый путь» за 1903 г. под названием: «Из посвящений».

[3] О годовом философском собрании 22 октября Блок знал, о чем он и сообщил отцу (VIII, 48).

[4] Ангелина Александровна *Блок* (1892—1918) — дочь Александра Львовича от второго брака с Марией Тимофеевной Беляевой (1876—1922).

[5] Стихотворение А. Н. Плещеева «Мой садик» стало особенно популярным после того, как П. И. Чайковский в 1883 г. написал на этот текст музыку.

10

‹Варшава›, 19 ноября 1902 г.

Дорогой Сашура! Будучи довольно редким посетителем, не *пожелаешь* ли поздравить тетю Александру Николаевну [1] с днем рождения — 22 ноября? (Баскова улица, № 8 — вблизи Бассейной). Вечером там встретишь, *вероятно*, и других родных. Во избежание чрезмерной «отвлеченности» (благодаря к‹ото›рой мы с Тобою пропустили *даже* годовое философское собрание 22 октября) пиши мне *иногда* и о делах житейских. Адрес *Ангелиночки*: Изм‹айловский› просп‹ект›, д. 9, кв. 30, ворота с площади Соборной, вход налево, звонить крепче. В праздники бывают у нее кузены из кадетиков и реалистов,

или же ее увозят в Ц<арское> Село — к двоюродной сестре; застать всего *удобнее* по будням — в 3 часа (обедают в $5^1/_2$).

Твой папа.

Что за «философ» Вознесенский? [2] и т. д.

[1] Александра Николаевна *Блок* — жена Петра Львовича Блока, брата А. Л. Блока.
[2] В письме от 29 ноября 1902 г., которое является ответом на оба письма Александра Львовича (от 14 и 19 ноября), Блок пишет: «Относительно философа Вознесенского — я знаю только, что он ученик Александра Введенского и, как говорят, находится у него «под башмаком». Введенский вообще большой деспот» (VIII, 48).

11

Апрель 1903 г.

Во истину воскресе!

Дорогой Сашура,

1. Посылаю (переводом в отделение «Варш<авского> коммерч<еского> банка» — где-то на Морской или на Невском: справиться в любой «конторе»; не мешает захватить с собою, кроме «чека», вид на жительство — в придачу к карточке визитной и т. п.) 1000 руб. — на предстоящую необходимую поездку за границу и на свадьбу, побуждающую *от души* желать Тебе с невестою возможно полного благополучия.

2. В виду того, что иногда «портрет еще простить» бывает ближним людям легче, нежели — «аренду» [1], прилагаю также (для *хранения*) одну старинную работу многоуважаемого Д. И. Менделеева — «тех дней, когда любви светило (и) над нами ласково всходило» [2] (впрочем, даже тут «мой горизонт затмило», ибо, очевидно, «не блестел луч солнца для меня»!) [3].

3. Благодарю за сделанные сообщения (в числе их — за Минто) и буду ожидать дальнейших — о *ближайших* надобностях (в русском, как и в польском смысле слова, не всегда входящего в «размер» по ударению). . .

4. Поздравляю (в данном случае нарушив оный) с первыми печатными трудами, за которые пока был привлечен к ответственности лишь одним директором гимназии (он оказался, в противоположность «старому учителю» у Гейне, чуть не «другом Клеопатры», мало озабоченной «карьерами» своих сподвижников из римлян): университет, предусмотрительно выписывая всякие журналы с октября на следующий год, еще не получает «Нового пути», который, кажется, ведет и к нашей Ангелиночке, читающей теперь ветхозаветного «Давида Копперфильда» — в перемежку с римско-католическими «Крестоносцами» Сенкевича, навязанными неким «юным» петербургским органом [4] — должно быть, на погибель государственным заветам обновляемого (?) ныне вовсе не в религиозных *общих* интересах (тех же узковатых духом разноверцев) православия; отсюда «оживленный» интерес и к *мнимой* «философии» — в ущерб науке. . .

5. Эти и другие мои мнения, основанные на научном и житейском опыте — конечно, не неограниченном, нуждаются в самостоятельно-доброжелательной проверке, разумеется, мне очень интересной, несмотря на поглощенность спешными делами.

6. С 21 апреля у меня экзамены; на лето остаюсь в Варшаве.

Твой отец Ал. Блок.

[1] Перефразированные строки из «Баллады о камергере Деларю» А. К. Толстого: «Портрет еще простить убийца может, // Аренду ж — нет».
[2] Измененная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Прости».
[3] Слова из романса А. Варламова «Мне жаль тебя» на слова неизвестного автора. В романсе: «Но туча черная мой горизонт затмила, // И не блестит луч солнца надо мной!»
[4] Имеется в виду петербургский ежемесячный литературно-научный и политический журнал «Северный вестник». В 1897 г. с № 2 в нем начал печататься исторический роман Г. Сенкевича «Крестоносцы» в пер. с польского Нат. Арабажиной.

12

‹Варшава, июль 1903 г.›

Дорогой Сашура! Ты «из заграницы (разобщающей с мирами)» [1] спрашиваешь о «возможности рассчета на получку [2] (к будущей весне) такой же суммы (как писала мама)»; Мама же меня просила о единовременной «субсидии» Тебе в 500 р‹ублей› и «с к р о м н о м» увеличении следующей (я к о б ы «п о с л е д н е й», ч т о н е п о д т в е р ж д а е т с я Т о б о ю)* годовой. Согласно с выраженным думаю, что будет необидно, при казенном помещении и «некоторой общей кассе», ежегодно получать по 600 (как в доме у Бекетовых). Просящему могу давать и более — желая быть действительно полезным ближнему, к чему направлены и свойственные мне (не менее, чем Маме или «бедным, трудно уловимым» Мережковским [3]) «рассуждения».

Твоя женитьба так обставлена, что избавляет от необходимости «заботиться о нуждах низкой жизни» [4], о текущей и грядущей «злобе дня»: «какой простор» [5] для «вольного искусства» или «беспредельного змеиного познания» [6] (цитирую ** Тебя «рядом» если не с евангелистами, то с Пушкиным и Репиным)! *** Однако, в силу роковой наследственности от различных (в том числе и «бедных») «Генрихов» (не — Гейне) [7], Ты стремишься к независимости материальной (вероятно, и от материнской помощи), — нуждаешься в «Освобождении, торчащем из карманов» [8], будто бы основывающем (по Марксу) и моральное. . .[4*] Такая αυταρκεια [5*] (или μεγαλαφυχια [6*]), каковую противопоставил «кроткой» Богородице Казанской петербургский рап Zielinski [9] приложима (до определенной степени) и к многоопытному в ней от юности родителю, которого Ты признаешь настолько посторонним человеком, что, указывая день венчания (когда-то бывший днем рождения Ек‹атерины› А‹ндреевны› [10] и м о е г о п о к о й н о г о о т ц а, Т е б я к р е с т и в ш е г о) [11], не только не «зовешь» (подобно «звездам» фетовским) [12] в деревню, а его «родных не хочешь знать» (по «Горю от ума» в невиннейшей редакции, «оправдывающей» сие у «химика» или «ботаника» отсутствием [7*] досуга для «бродяжнических снов») [13], но также не уведомляешь о *здоровье матери* (небезразличном для меня по старой памяти — тем более, что сам я, как известно сделалось моим родным, все Рождество лежал больным [8*]) и о своих *экзаменах*, о коих не «снестись» ли мне официально с университетом, очевидно [9*] склонным охранять и при потере документов запоздалые «права семейственные» [14]? Ведь о них (не о правах, а об экзаменах) пока не пропе-

---

* Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, подчеркнуты Блоком красным карандашом.

** Блок поставил здесь вопросительный знак красным карандашом.

*** Над словом «Репин» Блок поставил восклицательный знак красным карандашом.

4* Последние две строки отчеркнуты на полях красным карандашом и поставлен вопросительный знак.

5* Блок поставил звездочку и в конце страницы дал перевод с греческого: «Самодовление».

6* Блок поставил две звездочки и дал перевод: «Величие души».

7* После слова «фетовским» Блок поставил восклицательный знак, а слева около последних двух строк — вопросительный и восклицательный знаки красным карандашом.

8* ‹Сноска автора›

Последний (старомодный) стих
Вполне понятен был для них,
Когда, узнав о том чрез денщика Ивана,
Их известила добрая племянница Марианна [15]

(рифма небогатая и даже не «крылатая» — как «книга» и «воркующая птица», несогласные между собою, к счастью, лишь в «согласных» буквах и притом без «ударений», игнорируемых «надвислянским» силлабическим размером в соглашении «панянских» слов с какою-нибудь «рьяною Марьянною»). ‹Все примечание отчеркнуто Блоком на полях слева красным карандашом. Сверху поставлен вопросительный знак, снизу: № .›

9* Последние две строки отчеркнуты Блоком на левом поле и поставлены два вопросительных знака красным карандашом.

чатал «Новый путь», который, кстати, «по дороге» на Москву из западных краев ведет не «в П‹етербург»», а — заодно с окатоличенными самозванцами — через Варшаву, где и Вам случалось прежде останавливаться (rei familiaris me, more scholarium ignaro *); впрочем, обладая столь же «серо-желтою» бумагою [16], я «выясняю денежный вопрос» не хуже «Клеопатры» ** (предыдущего письма) — с тяжелым чувством, но с надеждою приобрести по крайней мере *фотографию* «Царевны» [17], что*** «замолит числа» пишимой везде одними маленькими буквами «царицы» и, пожалуй, разрешит по-божески иные «синие (студенческие или офицерские) загадки»; напиши при случае *фамилию* (девическую) ее матушки [18], к‹ото›рой я совсем не знаю, но предполагаю, что и у нее должно быть «на лице — все тихо» [19].

Политическими «происками» занимаются у нас не «министерства» и «иерархия» [20], а многочисленные «разноверцы», извлекающие (Dei gratia et hominum stultitia) [4*] немало барышей из оградившей их таможнями от них же русской государственности — не прощая ей ее основ духовных, обещающих «веселие» (не в польском смысле слова) «мученикам» [21]: так поется при «ликующем Исаии», тогда как слишком обесцениваемые «ищущим» (не «голубинного», а несколько поверхностного) смысла» критиком [5*] «еврейские поверья» учат «одолжать народы» — с тем, чтобы «господствовать» над ними (по «Второзаконию»); об этом я уже писал (для собственного назидания) по «*пунктам*», терпеливо ждущим от Тебя ответов (если можно — с дополнительными «*оттисками*» [22]). Вообще я очень благодарен и за то немногое, что Ты мне сообщаешь о себе и прочем — не настаивая на немедленной отписке, выбивающей меня из колеи (н е в п о л ь з у «а д р е с а т а») [6*].

Остаюсь Твоим доброжелательным отцом

Ал. Б л о к.

Переменил квартиру: в том же доме (Koszykowa, 29) — № 6.

Варшава — *июль* 1903 г.

Полученная карточка (с Твоим письмом) [23] почти не облегчила «зол», к‹ото›рыми не во-время «душа моя наполнилась» (по песнопению из панихиды): очернив «золотокудрую» невесту (б е з «з а с т а в к и» [7*] — ибо, как свидетельствует «отвратительная» метрика церковная, не «неневестную»), она у «торжествующего» жениха обеливает не «житейские дела и подвиги» [24], а разве лишь «одежды (или «перья»), недостойные Подруги» [25] (чем в мундирный [8*] век немудрено «приблизить к аду свою жизнь» супружескую). Несмотря на то, я собираюсь «полюбить Вас черненькими» — р а д и [9*] ф а н т а с т и ч е с к и х е щ е в н у ч а т, способных (по тому же похоронному напеву) «проливать ко Господу молитву» и за мертвого — когда им после смерти «возвестят (его) печали». Так как Ты, «не чувствуя конца», считаешь только будущую свадьбу «непреложным (н о н е н е о т л о ж н ы м) фактом», то спешу, начав «за упокой», к о н ч а т ь «в о з д р а в и е»: да процветет Твоя семейная [10*] «лампадка» [26] — как эмблема «мудрой кротости» (внушенная «на небесах горящими паникадилами» [27] Вл. Соловьева),

---

* тогда как я, по обычаю ученых, ничего не знал о ‹собственных?› семейных делах (*лат.*).

** Над словом «Клеопатры» Блок поставил вопросительный знак красным карандашом.

*** Т. е. фотография (прим. Блока).

4* Милостью божией и глупостью человеческой (*лат.*).

5* Сверху написано Блоком: Буренин.

6* После скобки Блоком поставлен вопросительный знак.

7* Над словом «заставки» Блок поставил вопросительный знак.

8* Около двух последних строк на полях слева Блок поставил вопросительный знак.

9* Около этой строки слева Блок поставил вопросительный и восклицательный знаки.

10* Около двух последних строк Блок поставил восклицательный знак.

а не «ложной * мудрости» [28], против которой (олицетворяемой, в отличие от пушкинской — «вакхической», «морозным солнцем») [29] Ты заранее запасся «посохом из дуба»! К «ласковому шопоту», идущему от «вьюги», присоединится и сестрица Ангелина.

Август (месяц, а не император римский): и смиренный «символизм» ** мой обращается скорее к «нищему», блуждающему «ради Бога» (в ожидании небесного блаженства), нежели к «приветному царевичу» Твоих стихов, которому пришлось бы «воздавать (и) кесарево кесарю» [30] (читающему уже четверть века государственное право древним скифам и особенно сарматам — при значит‹ельном› проценте «вечных» иудеев), — т. е. например на брачном «пиршестве» (где «с нашей стороны» «избранных» будет более, чем «званных») [31] выпить, между прочим, за его здоровье, сильно пошатнувшееся ныне — после легочного воспаления и инфлюенцы.

Судя по почерку, письмо писалось в два приема. Оно является ответом на письма Блока — от 24 апреля из Петербурга, от 25 июня (8 июля из Bad Nauheim'а и 28 июля из Шахматова («Письма к родным», I, с. 84—89). Отдельные фразы и слова из писем и стихов Блока, которые приводит Александр Львович, в контексте его письма получают язвительный, а иногда даже тонко-издевательский смысл. В письме к матери от 30 августа 1903 г. Блок писал: «Посылаю тебе до *последней* степени отвратительное письмо Ал. Льв., прочти его несколько раз. Я «снабдил» его примечаниями. Тут же и адрес. Не знаю, писать ли тебе ему, не лучше ли подождать, пока ты приедешь, и мы напишем вместе (от меня). Я совершенно твердо уверен, что это письмо отца меня оправдывает в том, что его не было на свадьбе. Некоторых мест понять нельзя, а некоторые я тебе объясню, если ты не поймешь» («Письма к родным», I, с. 91).

[1] В письме из Bad Nauheim'а Блок писал: «Здесь заграницей чувствуется крайняя разобщенность со всеми мирами» («Письма к родным», I, с. 87).

[2] Блок просил сообщить ему, на какую денежную поддержку от отца он может рассчитывать в дальнейшем: «Могу ли я рассчитывать на следующую получку такой же суммы (как писала Вам мама) будущей весной?» — спрашивает он. — «Я прошу Вас выяснить мне денежный вопрос, между прочим и потому, что некоторые траты будущей зимы уже известны, например, надо будет вносить некоторую сумму «в общую кассу», потому что семейные средства иначе невелики» («Письма к родным», I, с. 86, 87).

Позже, в письме от 2 октября («Письма к родным», I, с. 94) он объясняет: «В моих расчетах с Вами было, очевидно, какое-то недоразумение, мама думает, что это она напутала. Извините за эту ошибку».

Под «казенным помещением» Александр Львович разумеет квартиру отчима Блока — Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух: офицерский корпус казарм лейб-гвардии Гренадерского полка. Блок жил здесь с 1889 (с женой с 1903) по 1906 год.

[3] Здесь имеется в виду то место в письме Блока из Bad Nauheim'а, где он пишет о том, что З. Н. Гиппиус не сочувствует его свадьбе, находя в ней «дисгармонию» со стихами. «Для меня это несколько странно, потому что трудно уловить совершенно рассудочные теории, которые Мережковские неукоснительно проводят в жизнь, даже до отрицания реальности двух непреложных фактов: свадьбы и стихов (точно который-нибудь из них не реален!). Главное порицание высказывается мне за то, что я будто бы «не чувствую конца», что ясно вытекает (по их мнению) из моих жизненных обстоятельств» («Письма к родным», I, с. 86—87).

[4] Цитирует слова Моцарта (А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери»):

> . . . никто б не стал
> Заботиться о нуждах низкой жизни;
> Все предались бы вольному искусству.

[5] Картина И. Е. Репина (1844—1930) «Какой простор!» Впервые экспонировалась на XXXI выставке Товарищества передвижных художественных выставок в 1903 г.

[6] Из письма Блока от 29 ноября 1902 г.: «У многих в душе «холодный белый день», и я часто ощущаю его — и беспредельность своего личного «змеиного» познания» (VIII, 48). Ср. стих. Вл. Соловьева «В тумане утреннем неверными шагами. . .» (VIII, 562).

---

* Над словом «ложной» Блок поставил вопросительный знак.

** Около этой строки слева и справа на полях поставлены вопросительные и восклицательный знаки.

[7] В письме от 4 апреля 1903 г. Блок сообщал отцу, что по поводу его стихов, напечатанных в журнале «Новый путь», — «Кратко выругалась газета «Знамя» на ту тему, что почти «Генрих Блок». . .» («Письма к родным», I, с. 83). Может быть, в словах о «бедном Генрихе» содержится намек на популярную в те годы пьесу Г. Гауптмана.

[8] Из Bad Nauheim'a Блок пишет: «В витринах привлекают внимание запрещенные издания <. . .> Очень много толстовских книг, из некоторых карманов торчит «Освобождение» («Письма к родным», I, с. 87).

[9] «Автаркия» и «мегалопсихия» — основные понятия античной этической философии, обсуждавшиеся Ф. Ф. Зелинским в статье «Древнее христианство и римская философия» («Вопросы философии. . .», 1903, № 1). В тексте письма над фамилией Зелинского Блок красным карандашом пометил: «профессор».

[10] Екатерина Андреевна *Краснова*, урожденная Бекетова (1855—1892) — тетка Блока, поэтесса и переводчица.

[11] Лев Александрович *Блок* — дед поэта. Блок был крещен в церкви при Петербургском университете 28 декабря 1880 г. Воспреемниками были Лев Александрович Блок и Елизавета Григорьевна Бекетова (Ленинградский государственный исторический архив, ф. 19, оп. 125, ед. хр. 338, Метрическая книга). Слова «. . .и моего покойного отца, Тебя крестившего», Блок подчеркнул и на полях слева поставил вопросительный знак красным карандашом.

[12] См. п. 6, прим. 5.

[13] Блок в письме к отцу от 29 ноября 1902 г. (VIII, 47 — 48) пишет: «Чувствую потребность и ожидаю скорого вдохновенного стихотворения или даже прозаического экскурса в область мистицизма, который, оправдываясь ходом моих житейских «подвигов и дел», тем самым оправдывает и мои «бродяжнические сны» хотя бы в области наук».

[14] Речь идет о просьбе Блока (телеграмме от 20 мая 1903 г.) срочно выслать ему разрешение на брак, которое требует попечитель, а также о сетованиях (письма из Bad Nauheim'a и из Шахматова) по поводу того, что университетская канцелярия потеряла его метрическое свидетельство.

В письме от 2 октября 1903 г. Блок напоминает отцу, что о своих экзаменах он ему писал сам. «Меня удивило Ваше замечание о моих экзаменах, и я не вполне понимаю, зачем Вам «сноситься» по этому поводу с университетом. Ведь я писал Вам весной и летом о результатах экзаменов, которые не затруднили моего перевода на III-ий курс (а следовательно и на IV-ый, потому что теперь курсы уже не разделены» («Письма к родным», I, с. 95).

[15] Марьяна Петровна — дочь брата А. Л. Блока.

[16] Письмо написано на желтой бумаге.

[17] Л. Д. Блок (ср. стихотворение «Царица смотрела заставки. . .» 14 декабря 1902 г.).

[18] «Вы спрашиваете о девической фамилии Анны Ивановны Менделеевой. Она рожденная Попова» — отвечает Блок в письме от 2 октября 1903 г. («Письма к родным», I, с. 96).

[19] Ср. в стихотворении «Блока: «Все тихо на светлом лице» (19 марта 1903 г.).

Стихотворение послано в письме от 24 апреля 1903 г. В первоначальной редакции было: «Все тихо у Ней на лице».

[20] В письме из Bad Nauheim'a Блок пишет отцу, что «Новый путь» «чуть не прикрыли из-за происков иерархии обеих столиц и министра вн<утренних> д<ел>» («Письма к родным», I, с. 87).

[21] В словах «веселие» (не в польском смысле слова) «мученикам» содержится намек на то, что по-польски слово «wesele» значит «свадьба». Далее слово «голубиное» из стих. «Царица смотрела заставки. . .».

[22] В письме от 4 апреля 1903 г. Блок сообщает отцу: «Стихи мои напечатаны в мартовской книжке «Нового пути» в количестве десяти. Ждал, чтобы послать Вам, оттисков, которые мне обещали, но пока еще не дали» («Письма к родным», I, с. 83).

[23] Речь идет о письме Блока от 28 июля 1903 г., в котором он пишет: «Посылаю Вам, наконец, нашу фотографическую карточку. Она вышла плохо, слишком темно» («Письма к родным», II, с. 88). «Золотокудрую», «Заставки», «Перья» — слова из стихотворения «Царица смотрела заставки. . .».

[24] См. прим. 13.

[25] Слова «Одежды. . . недостойные подруги» — из стихотворения Блока «Я вырезал посох из дуба. . .» (25 марта 1903 г.), которое было послано отцу в письме 24 апреля 1903 г.

[26] «Лампадка» — слово из стихотворения Блока «Царица смотрела заставки. . .».

[27] Из стихотворения Вл. Соловьева «На небесах горят паникадила. . .».

[28] Слова из «Вакхической песни» Пушкина.

[29] Слова из стихотворения Блока «Я вырезал посох из дуба. . .».

[30] «Отдавайте кесарево кесарю, а божие богу» (Евангелие от Матфея, 22, 21).

[31] Ответ на следующие сообщения, содержащиеся в письме Блока от 28 июля 1903 г.: «На свадьбе будут очень немногие, мы посылаем даже не приглашения, а извещения». «С нашей стороны будут, кроме мамы, отчима. . .» (Далее Блок перечисляет остальных) «Из церкви мы поедем прямо в Боблово, а оттуда после соответственных пиршеств — на жел. дор.» («Письма к родным», II, с. 88 и 89). Александр Львович по-своему использует изречение из Евангелия: «. . . ибо много званых, а мало избранных» (Евангелие от Матфея, 20, 16).



А. Л. БЛОК И А. А. БЛОК
Фотография Р. Бейера, 1878 г., Петербург
Литературный музей, Москва

13

‹Варшава, январь—февраль 1904 г.›

Милый мой (так требует «размер» и слов, и чувств) Сашура!

Поздравляю Тебя с новым годом; также твою Маму и Супругу, с пожеланием здоровья. От души благодарю за письма. Относительно профессоров и «мистики» могу откликнуться пока одним евангельским стихом: «Non omnes capiunt (размер нарушен далее; он соблюдается на этом месте лишь в «словенском» (тексте) verbum istud» * — и стихами из пролога к *Фаусту* (неправильно переводимыми):

* Не все понимают это слово (*лат.*).

Der Herr: . . . Von allen Geistern, die verneinen,
Ist mir der Schalk am wenigsten zur Last.
Der Menschen Thätigkeit kann allzuleicht
erschäffen.
Er liebt sich bald die unbedingte Ruh;
Drum geb'ich gern ihm den Gesellen zu,
Der reist und wirkt, und muss, als Teufel,
schaffen *,

что относится, быть может, и к «непроходимым (ex cathedra **) сальностям».

В «классической Вальпургиевой ночи» оба *Грифа* [1] (не умеющие «Zeus zu amüsieren» ***) утверждают, что «der Garstige gehöret nicht hierher» [4]*. и вот — мне кажется (вполне изолированно), что Ты напрасно порождаешь лишние («бесовские») недоумения своим абсентеизмом в отношении к отнюдь не демоническим родным — особенно в столь «близком» новом здании электротехники, вмещающем не олимпийских, но, конечно, и не адских громовержцев (интересный материал для дальних писем, для дальнейшего житейского самообразования, пожалуй, и для далеко хватающего вдохновения — по части русского «земного духа»); на ноябрьском погребении несчастного двоюродного брата (моряка из Порт-Артура и Владивостока) [2] мог бы разом повидать и Олю (из корейского Сеула) [3] и Марианну (из готовящейся «вновь отбунтовать» Варшавы). В первых числах января был «дядя Ваня» — вице-губернатор в Кишиневе [4] (где, согласно утверждению и Брюсова, жил Пушкин): у него уже две дочери — замужние (одна венчалась в сарафане с молодым помещиком в косой рубашке — близ Уфы; другая производит православное потомство «na Wolyniu» — впрочем, не от «смешанного» брака — с пожилым военным); и «едва (во цвете лет) увидевший свет» [5] Никса [6] напрактиковался на Урале (о к‹ото›ром помышлял и Д. И. Менделеев) [7].

Ангелиночка все там же: выдержала корь и наживает помаленьку истинное *просвещение* (одна из женских ныне привилегий); а «в одну любовь (широкую, как море) мы сольемся (кажется не) вскоре» [8].

Собирался в Петербург зимою и весною, но придется, *вероятно*, отложить до осени; теперь изнемогаю от борьбы с предубежденною безграмотностью польской типографии и со своими неразборчивыми (вследствие *моей* разборчивости) манускриптами [9]. Желал бы знать заблаговременно дни Вашего отъезда и приезда [10], а равно другие данные, препятствующие или содействующие свободному обмену мыслей. Было бы недурно Тебе встретиться с ученым переводчиком Шекспира — А. Л. Соколовским [11]: он — двоюродный племянник моей матери (имевшей также общее, еще сибирское родство с Феозвою Ник‹итичной› Менделеевою) [12]; я встречал его лишь в детстве.

Нынешнее наше стихотворство (не «участвующее» в небрежно-прозаическом «неведении» возводимой даже в средний род «грамматики», к которой относилось у Тебя «последнее») — полезная или «приятная» (совсем

---

* Эти слова господа, обращенные к Мефистофелю в «Прологе на небе» из «Фауста» Гете, приводим в переводе Б. Л. Пастернака:

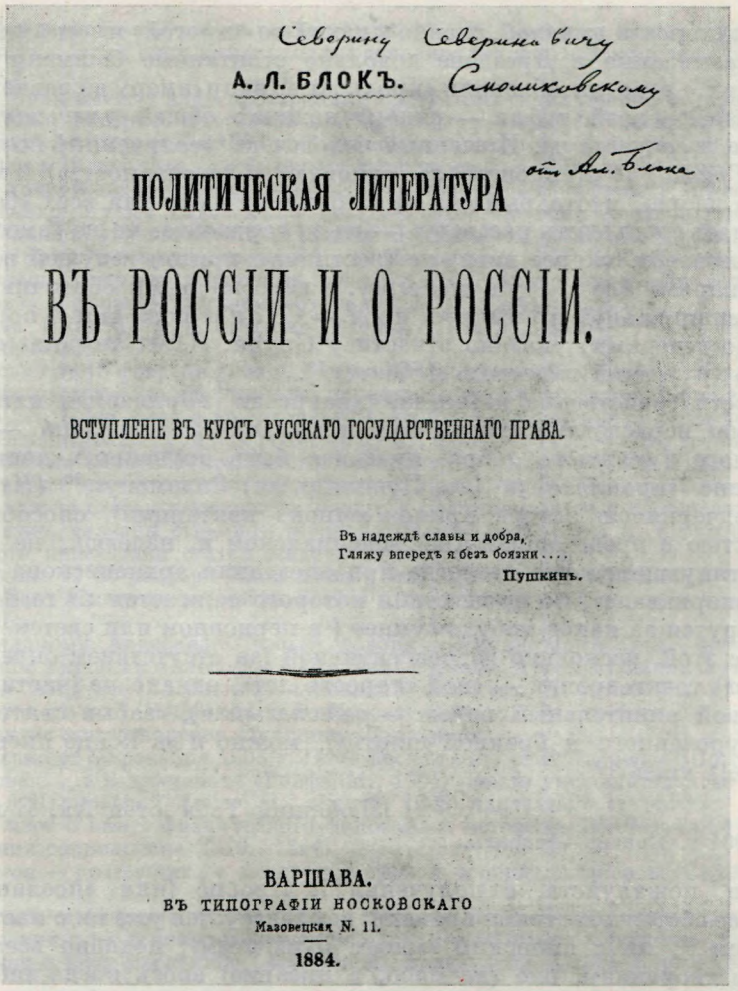
. . . Из духов отрицанья ты всех мене
Бывал мне в тягость, плут и весельчак,
Из лени человек впадает в спячку.
Ступай, расшевели его застой,
Вертись пред ним, томи и беспокой,
И раздражай его своей горячкой.

(Гете. «Фауст». М., ГИХЛ, 1960, с. 51)

** с кафедры (*лат.*), т. е. во всеуслышание. Ср. слова Мефистофеля о Вагнере «С вершины кафедры он объявляет // Всему, что было раньше, пересмотр» (там же, с. 343).

*** Забавлять Зевса (*нем.*).

[4]* Мерзавец здесь совсем не ко двору («Фауст», указ. изд., с. 365).


Северину Севериновичу
А. Л. БЛОКЪ. Смоликовскому
от Ал. Блока

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ВЪ РОССІИ И О РОССІИ.

ВСТУПЛЕНІЕ ВЪ КУРСЪ РУССКАГО ГОСУДАРСТВЕННАГО ПРАВА.

Въ надеждѣ славы и добра,
Гляжу впередъ я безъ боязни....
Пушкинъ.

ВАРШАВА.
ВЪ ТИПОГРАФІИ НОСКОВСКАГО
Мазовецкая N. 11.
1884.

А. Л. БЛОК. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В РОССИИ И О РОССИИ
Вступление в курс русского государственного права
Варшава, 1884
С дарственной надписью автора С. С. Смоликовскому
Музей истории Ленинграда, Ленинград

не как «итог» и не для трудно *обелимой* «жалкой» репутации экзаменаторской) журнальная макулатура будущей утонченной поэзии (с «science conquise» посредством «chanson grise»: *Verlaine*, цитируемый *тонически* — без или с? «e muet»): в нем много смелых музыкальных оборотов сжатой речи (главная — «avant toute chose» — заслуга символистики), и мало еще (при достаточной отточенности) *точного* «значительного (соответственно обширному диапазону звуков) содержания». Сошлюсь для подкрепления на замечание «Антона (*кто* он — кстати?) *Крайнего*» в июньской книжке «Нового пути» (стр. 230) по адресу милейшего «Андрея *Белого*» [13], по-видимому, очень «обожающего» (к счастью, *псевдонимно*) — своего почтеннейшего (не *заклеванного* — по-французски) математика — отца: «сентябрь (121 — 2) [14]. Твой «юбилейный» *Кант* «сидит за ширмой» [15] (там же и — «окошко») в слишком *переносном* смысле (как приличествует разве только «свечке», да и той «не надо»), очевидно чересчур «влюбленно» охраняя собственную «(сморщенную) кожу» — вместо «шкуры» (по свидетельству Ка-

рамзина до старости *румяной*, словно у какой-то «строгой» к чертям «дочки») [16]; а его показываемые в Дрездене довольно стоптанные башмаки («судя не свыше» [17] их) едва ли облекали «крохотные (напр‹имер› в сравнении с Мариею-Терезиею, коей туфли — рядом) ножки»: общей *уменьшительности* тона лично я сочувствую. И «черный человечек» (увеличенный по новой корректуре *Грифа* [18]: «приношу» за таковую «благодарность») трогательно «плачет на дворе», к‹ото›рый «на заре» бывает заперт для всех «бегающих»: это не мешает «подходить рассвету» — из-за горизонта, но не «вместе с человеком» и не вверх (скорее вниз) по «лестнице», притом ведущей ведь к «вечерним фонарям» (не в «style moderne», а керосиновым): образчики придирчивой провинциальной критики; и проч. — Ce qu'il nous faut à nous «(по вечерам — по вечерам)», указано отчасти у Guyau: «L'art au point de vrie sociologique» (р‹усский›п‹еревод› 1891 г.) [19].

Молодости свойственна известная (напрасно порицаемая или одобряемая) «сумма» нерасчетливости, почему и «*сум(м)очка*» презренно — тленно — благо-родного бумажного добра, имеющая быть врученною «почтенному и одновременно «проклятому» (по Пушкину же) Соломону» [20] (*Нейманну* — 500 р.: подчеркиваю автора прилож‹енной› квитанции), способна пригодиться частью в предстоящем (не венецианском и, надеюсь, не «ломбардном» — затянувшемся раз навсегда при опоздании архиепископа Амвросия из Рима) «карнавале», по прошествии которого сжигается «il re dei'pazzi» * и опять берутся за какое-нибудь «умное (в церковном или светском смысле) делание»; с этой, несколько ретроспективной (за отсутствием определенного «проспекта») точки зрения — «под старость лет», однако *не* (частица), заменяющая твой винительный падеж — *родительным*), «забыв святого» (ныне снова приуроченного к бренной «плоти»), можно и «в конце письма поставить (carne!) vale» **

Любящий Тебя отец Ал. Блок

Варшава. 1904 г. Январь—февраль.

Уведоми, пожалуйста, о получении [21]. Письмо (или «послание») мое, задержанное обстоятельствами времени, не согласуется уже ни с наступившим «мясопустом» [22], ни с японским «мясом пушечным»; подобно всем мертворождаемым творениям, оно (не мясо, а писание) авось когда-нибудь «воскреснув оживет» — во свете общей мировой «гармонии» (sub specie aeternitatis) ***, что «обелит» и чернила (прочитать их следует пораньше — пока черны или темносеры, как «тужурка», выражающая «мрак *вседневной* жизни».

[1] «Классическая Вальпургиева ночь» — сцена из второй части «Фауста» Гете. Персонажами этой сцены являются духи греческой мифологии, в том числе — грифы («первый гриф» и «второй гриф»), олицетворяющие темные стихийные силы.

[2] Речь идет о Николае Петровиче *Блоке* (1881—1903).

[3] Ольга Николаевна *Качалова* (1879 — 1940) — двоюродная сестра Блока, в первом браке Штейн. Выйдя замуж в 1901 г., жила в Сеуле, где ее муж был сотрудником посольства.

[4] Иван Львович *Блок* (? — 1906) — дядя Блока, брат его отца.

[5] Перефразированы слова арии Гремина из оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин»: «. . . И юноше во цвете лет, едва увидевшему свет . . .».

[6] Николай Николаевич *Качалов* (1883—1961) — двоюродный брат Блока, химик и технолог. Впоследствии — член-корреспондент Академии наук СССР, крупный ученый, организатор производства оптического стекла в СССР.

[7] В 1899 г. Д. И. Менделеев возглавлял научную экспедицию на Урале по обследованию уральской металлургической промышленности и изучению минеральных богатств края. Результат работы экспедиции был изложен в обширном труде «Уральская железная промышленность в 1899 г.», изданном в 1900 г. под ред. Д. И. Менделеева.

---

* царь дураков (*итал.*) — карнавальное чучело.

** Каламбур: в цитату из «Евгения Онегина» вставлено «carne», что буквально значит «(плотью) будь здоров» и складывается в слово «карнавал».

*** С точки зрения вечности (*лат.*).

[8] Перефразированы слова из стихотворения А. К. Толстого «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре. . .»: «В одну любовь мы все сольемся вскоре, // В одну любовь, широкую, как море. . .»

[9] А. Л. Блок имеет в виду пространные программы своих лекций по курсу государственного права, которые печатались в «Варшавских университетских известиях».

[10] В письме от 30 декабря 1903 г. Блок сообщал отцу: «Весной, по всей вероятности, мы рано уедем в Шахматово. . .» («Письма к родным», I, с. 99). А. Л. Блок, видимо, интересовался точной датой отъезда сына в Шахматово и возвращения в Петербург.

[11] Александр Лукич *Соколовский* (1837 — 1915) окончил Александровский лицей в 1857 г. и занялся изучением и переводами Шекспира. Первый его перевод — «Король Генрих IV» (1860). Для предпринятого Н. А. Некрасовым и Н. В. Гербелем собрания сочинений Шекспира перевел двенадцать пьес. В 1898 г. вышло полн. собр. соч. Шекспира в восьми томах в переводе и с комментариями А. Л. Соколовского.

[12] Феозва Никитична *Менделеева* (рожд. Лещева, 1826—1906) — первая жена Д. И. Менделеева.

[13] В письме от 15 февраля 1904 г. Блок ответил: «Антон Крайний — сборный псевдоним, большею частью — m-me Гиппиус, изредка — Мережковский» («Письма к родным», I, с. 112). А. Л. Блок имел в виду статью З. Гиппиус, подписанную этим псевдонимом, в разделе «Литературная хроника» («Новый путь», июнь 1903 г.) — «Два зверя», в которой автор, критически оценивая московских символистов, печатающихся в изданиях «Скорпиона» и «Грифа», между прочим, затрагивает и прозу Андрея Белого. Отдавая должное его таланту, автор статьи упрекает А. Белого в расплывчатости и бессодержательности.

[14] Вероятно, указаны страницы журнала «Новый путь» 1903 г., в сентябрьском номере которого напечатана статья Андрея Белого «О теургии».

[15] В письме от 30 декабря Блок послал отцу шесть стихотворений, в том числе — «Имманоил Кант (Сижу за ширмой)». В 1904 г. исполнилось сто лет со дня смерти Канта (1724 — 1804).

[16] По-видимому, Александр Львович, говоря о румяной коже Канта, вспоминал описание встречи с немецким философом в «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина: «Меня встретил маленький, худенький старичок, отменно белый и нежный» (Н. К. Карамзин. Избр. соч. в 2 томах, т. I. М., 1964, с. 100).

[17] Намек на стихотворение Пушкина «Сапожник».

[18] В письме от 30 декабря 1903 г. Блок послал отцу стихотворение «По городу бегал черный человек. . .» В альманахе «Гриф» (М., 1904) вместо уменьшительного «человечек» (ср. «Стихи о Прекрасной Даме». М., «Гриф», 1905) напечатано «человек».

[19] Речь идет о книге французского философа и историка Ж. М. Гюйо «Искусство с точки зрения социологии» (СПб., 1891).

[20] Соломон — ростовщик, о котором с гневом говорит Альбер в «Скупом рыцаре» Пушкина.

[21] В письме от 15 февраля 1904 г. Блок сообщал отцу: «Я получил деньги, благодарю Вас очень за них и за длинное и интересное письмо» («Письма к родным», I, с. 111).

[22] Имеется в виду масленица («мясопуст»), начавшаяся в 1904 г. со 2 февраля.

14

Ноябрь 1904 г.

Поздравляю с древним зимним Праздником (Noël)! *.
Благодарю за присланную книгу
Со «стихами о Прекрасной Даме».
Но, смотря в нее[1], все «видят фигу»
И готовы чувствовать себя в Бедламе.

Мое (другой размер) «духовное родство»
Мне лично страха не внушает;
Скорее кровный смысл его
Для публики меня смущает. . .

— Напрасно, говорят мне, Вы
Еще даете деньги сыну:
Ведь он теперь, в виду молвы,
Богаче Вас на половину (?).

Профессорское имя — верный клад:
«Кривлянью на распутьях» [2] — род рекламы;
«Как летом вкусный лимонад» [3],
Раскупят рыцари мудреной «Дамы»!

Не доверяя распродаже —
При репутации своей
(Довольно скромной, темной даже),
«Спешу» отправить — сто рублей.

[1] Конечно — в книгу, а не в «Даму», о которой «рыдать» приходится «на галерее дальней» [4].

* Рождество (*франц.*).

[2] Выражение народное, направленное, очевидно, против всякой эротической мистификации.

[3] Из творений «Августа (когда и я бываю именинником) Бессвязного»: «вдвойне прозрачный псевдоним» [5].

[4] Бессмертный стих «мурзы» Державина, воспевшего «Богоподобную Царевну (Всякой Всячины)» [6].

[5] Умудряющей и здешний книжный магазин Карбасникова.

[6] Чем — меньше «насмешу людей» (пословица).

‹Примечания А. Л. Блока›

Письмо на отрезном купоне денежного перевода (100 р.).

[1] 29 октября 1904 г. Блок писал отцу: «Сегодня получил наконец свой первый сборник, который посылаю Вам» (VIII, 111).

[2] Цитата из стихотворения Блока «Я был весь в пестрых лоскутьях. . .» (апрель 1903 г.).

[3] Цитата из оды Г. Р. Державина «Фелица».

[4] Слова «рыдать» и «на галерее дальней» — из стихотворения Блока «Потемнели, поблекли залы. . .» (4 февраля 1903 г.).

[5] Эпитет «бессвязный» навеян, по-видимому, стихотворением Блока «Я был весь в пестрых лоскутьях. . .».

[6] Упоминаются образы оды «Фелицы» Державина и журнал Екатерины II «Всякая всячина».

15

‹Варшава› 23 марта 1905 г.

Дорогой Сашура!

Посылаю Тебе деньги за «семестр»; надеюсь получить по поводу их относительно «подробный» (год тому назад обещанный) талантливый «ответ». На этих днях поехал в П‹етер›бург Евг. Вас. Спекторский — бывший ученик мой, а теперь доцент «энциклопедии» в Варш‹авском› университете — и хотел быть, между прочим, у Тебя (отчасти по моей же инициативе). Чтобы избежать пустого и притом далекого визита, не уведомишь ли Ты его *немедленно* письмом: в какие дни или часы (по преимуществу вечерние) удобнее Вам познакомиться и побеседовать (без всяких специальных от меня инструкций); он пробудет только до 10 апреля, а остановился у двоюродного брата: Екатерин‹инский› просп‹ект›, д. 69, кв. № 11 (г. Сарандо).

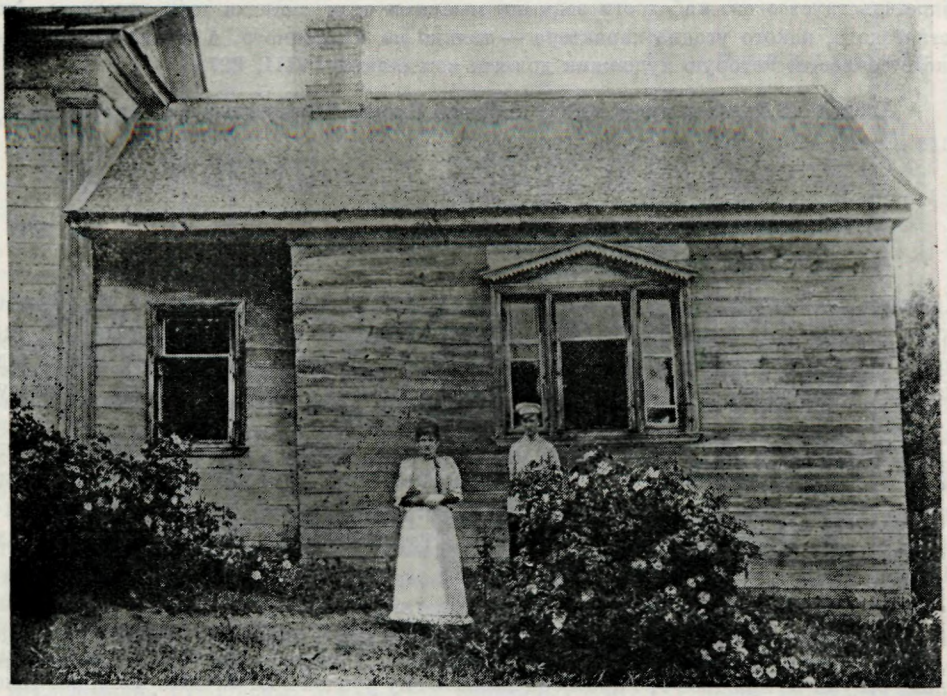
От него недалеко. . . но тут опять «стихи (о Несравненной Девочке)»:

В стихах напомню о сестренке —
Что можно к ней доехать в конке:
На Забалканский, дом 17-ть,
Квартиры № 2+20 (в прозе=22).
Она поет «вторым сопрано»,
Играет же на фортепиано;
Имеет «в среднем» балл 11-ть,
А лет ей — скоро и 13-ть.

Передай мои заочные (до осени или зимы?) поклоны Маме и Любови Дмитриевне, о которой мне недавно написала кое-что приятное моя племянница — со слов ее Мамаши.

Твой отец Ал. Блок

Написано на двух отрезных купонах денежного перевода (300 р.).



БЛОК С МАТЕРЬЮ
Фотография, 1894 г., Шахматово
Литературный музей, Москва

16

‹Варшава, январь 1908 г.›

Дорогой Сашура!

Исходя из твоего «духовного родства», я думаю, что в глубине души Ты мог бы быть еще спокойнее, а это отразилось бы полезно на здоровье * и на творчестве. Не обладаю «герметическими» качествами замкнутой «монады», но располагаю «акциденциями», соответствующими такой «субстанции», и предлагаю пользоваться ими больше. При моей теперешней неопытности буду ждать ближайших указаний от Тебя и для определения размеров помощи (три падежа «родительных»!), соединенной — как всегда — с отцовскою привязанностью; *вероятно* и с приездом в П‹етер›бург (на Пасху или раньше).

Твой Ал. Блок

Надеюсь, что Любовью Дмитриевною получено мое февральское письмо; во всяком случае прошу принять подобное же искреннее соболезнование — по случаю дня первой годовщины смерти Дм. Ив. Менделеева (опять пять тех же падежей — при недостатке поводов для «дательного», если не «винительного»): кончил, да и начал, впрочем, — «за упокоение» во имя *здравой* «русской красоты», рождаемой чрез самокритику.
Январь 1908 г.

В письме к матери от 25 января 1908 г. Блок сообщал: «На днях было письмо от Ал. Львовича — декадентское; с какой-то иронией, как всегда, немножко жалкое, запутанное, предлагает, насколько можно понять, денег и обещает приехать на Пасхе. Просит возобновить сношения. Мне еще трудно ответить ему — все не соберусь» («Письма к родным», I, с. 191). 30 января того же года Блок продолжал: «Последнее письмо отца

* Очень исхудалый у Тебя вид — в «Сером Волке» [1].

свидетельствует о его набитости задними мыслями отвлеченного, теоретического, филологического, какого угодно характера — только не жизненного. А в жизни еще очень много сочности, которую художник должен воплощать» (VIII, 227).

[1] Александр Львович имеет в виду шарж на Блока, помещенный в сатирическом журнале «Серый волк», 1907 г., № 23 (декабрь).

17

‹Варшава, 31 мая 1908 г.›

Дорогой Сашура,

Напиши пожалуйста, что знаешь (*характеристического*) о В. М. Грибовском [1], кажется желающем быть приглашенным в нашу «almam (?) matrem»; если можешь — сообщи мне его адрес, но не выдавай ему моих («дипломатич‹еских›») вопросов. В первых числах июня я опять увижусь с проезжающим в Берлин Е. В. Спекторским.

Ангелиночка окончила свои экзамены и около 4 числа переселяется на дачу; временно живет теперь (и принимает посетителей) в квартире деда — Кирочная 23 (угол Знаменской), кв‹артира› отст‹авного› ген‹ерала› Т. М. Беляева; читала все твои «лирич‹еские› драмы» и сама стихотворит. Что Оля Штейн? [2]

Твой Ал. Блок.

Письмо на отрезном купоне денежного перевода (200 р.). Является ответом на письмо Блока отцу от 24 мая 1908 г. с просьбой выслать ему рублей 200: «Милый папа, вот теперь я обращаюсь к Вам с очень большой просьбой о деньгах: меня внезапно надули разные плательщики (г. Рябушинский и театр Коммиссаржевской), водят за нос вот уже с месяц, и я не могу выехать из Петербурга, а меня ждут в Шахматове около 1 июня» («Письма к родным», I, с. 212).

[1] Вячеслав Михайлович *Грибовский* (1867—?) — юрист, профессор Петербургского университета. Знал Блока с детства, готовил его в гимназию. Позже Блок слушал его лекции на юридическом факультете университета.

[2] Двоюродная сестра Блока. См. п. 13, прим. 3.

I

БЛОК В ПЕРЕПИСКЕ БЛОКОВ И КАЧАЛОВЫХ

Публикация М. Б. Плюхановой

Отец поэта, Александр Львович Блок, профессор государственного права в Варшавском университете, 30 лет прожил в Варшаве, лишь изредка наезжая в Петербург. Он виделся с сыном значительно реже, чем хотел и мог. Все попытки Александра Львовича участвовать в воспитании сына, оказывать на него серьезное благотворное влияние, разбудить сыновние чувства и пр., кончились неудачей. Как свидетельствуют письма, дневники и сочинения поэта, отец тяготил его уже одним фактом своего одинокого и странного существования.

Образ отца в сознании Блока, роль отца в поэтической судьбе Блока описывались многими биографами поэта и всеми исследователями поэмы «Возмездие» [1]. Естественно, что материалы другого порядка, отражавшие роль сына в жизни отца, т. е. личные бумаги Александра Львовича, вызывали значительно меньший интерес. Как университетский профессор и ученый Александр Львович имел своих биографов [2]. Но все они (за исключением Спекторского) [3] не касались его семейной драмы и не обращались к его архиву.

Исследования рукописных документов, связанных с А. Л. Блоком, могут оказаться полезными не только для комментария к «Возмездию», но и для пополнения фактических данных о поэте. Александр Львович был болезненно привязан к сыну и, пытаясь создать себе иллюзию общения, упорно изыскивал источники сведений о нем.

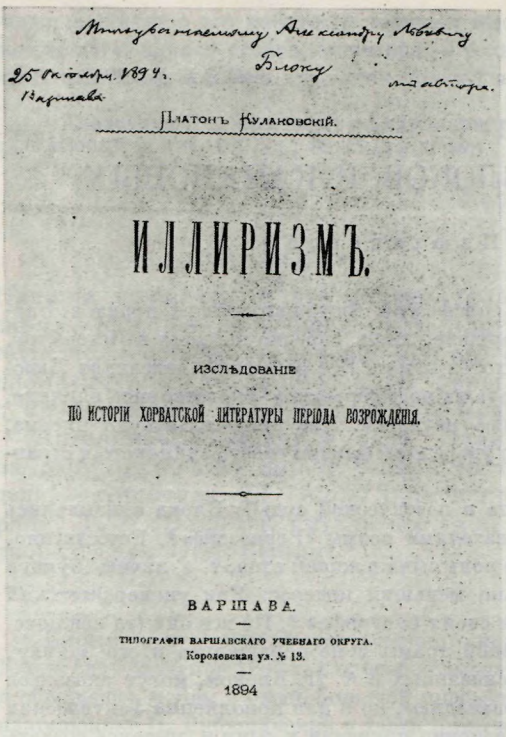
От варшавского архива Александра Львовича, в свое время, несомненно, обширного сохранилась небольшая часть. На запрос о судьбе бумаг профессора Блока в Польше польский блоковед Адам Галис любезно сообщил нам следующее: никаких рукописных материалов, касающихся профессора Блока, даже личного дела его в Варшаве нет. Предполагается, что документы эти были утрачены еще в период эвакуации Варшавского университета в 1915—1921 гг.

В ноябре 1909 г., после похорон Александра Львовича, наследники — сын Александр Александрович и брат Петр Львович — разобрали вещи и документы, оставшиеся в его квартире на Кошиковой. Среди всего прочего они обнаружили пачки писем за многие годы (А. Л. Блок не выбрасывал ничего из своих бумаг). Семейную переписку и другие материалы семейного характера увез с собой А. А. Блок. Перед отъездом из Варшавы он писал матери: «Я приеду к тебе в Ревель на Рождество и буду рассказывать много интересных вещей, а также привезу тебе груду твоих писем, карточек, часть платья и несколько вещей» [4].

«Груды писем» — это, видимо, те «отчеты», о существовании которых сообщала М. А. Бекетова [5]. Подчиняясь настойчивому требованию Александра Львовича, Александра Андреевна почти ежемесячно отправляла в Варшаву описания жизни Саши Блока. Будучи отделены от других варшавских документов, «отчеты» погибли — скорее всего в шахматовском пожаре. Среди бумаг А. А. Кублицкой-Пиоттух сохранилось лишь несколько ответных писем Александра Львовича к ней за те же (1887—1894) годы. Именно эти письма Александра Львовича М. А. Бекетова считала сгоревшими в Шахматове [6]. Возможно, она ошиблась, приписав письмам Александра Львовича к жене судьбу писем жены к Александру Львовичу.

Мы публикуем отрывки из этих писем Александра Львовича. Они содержат в себе немного биографических сведений о самом Блоке, но обладают бесспорной ценностью, как комментарий к «Возмездию» и как средство прояснить некоторые психологические и творческие моменты в жизни поэта, связанные с Александром Львовичем Блоком.

Сам по себе стиль Александра Львовича освещает его облик ярче и точнее, чем мнения и воспоминания современников. Литературный стиль отца Блок считал главным проявлением его личности [7]. Для языка писем Александра Львовича,


Многоуважаемому Александру Львовичу
Блоку
от автора.
25 Октября 1894.
Варшава.
Платонъ Кулаковскій.

ИЛЛИРИЗМЪ.

ИЗСЛѢДОВАНІЕ
ПО ИСТОРІИ ХОРВАТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРІОДА ВОЗРОЖДЕНІЯ.

ВАРШАВА.
ТИПОГРАФІЯ ВАРШАВСКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА.
Королевская ул. № 13.
1894

П. КУЛАКОВСКИЙ. ИЛЛИРИЗМ. ВАРШАВА, 1894
С дарственной надписью автора А. Л. Блоку от 25 октября 1894 г.
Собрание А. Е. Парниса, Москва

вообще очень изменчивого, в целом характерно отсутствие простоты, замысловатость, доходящая до странности, о чем свидетельствуют и публикуемые выше его письма к сыну. Даже к семейным письмам Александр Львович предъявлял экстраординарные требования и просиживал над ними целые вечера. Родственники просили его не тратить времени, писать проще и непосредственнее (см. ниже № 20). Им было трудно понять, что стилистические поиски Александра Львовича имеют целью как раз непосредственность и точность в передаче душевных движений и мыслей. Александр Львович Блок писал стихи, но стихотворные опыты его не сохранились. Предполагают [8], что он сам уничтожил их. К концу жизни А. Л. Блок зашел в некий стилистический тупик. Любое писание требовало от него огромной затраты сил и времени. Он почти совершенно прекратил отвечать на письма родных. В так и не законченном своем сочинении последних лет — «Систематика наук» — он пытался реализовать принципы им самим изобретенной «музыкальной» прозы. Истинно совершенная фраза в такой прозе есть гармоническое целое, порожденное одновременным сосуществованием нескольких идей, сохраняющих самостоятельность во всей полноте вызываемых ими ассоциаций. Александр Львович Блок рассчитывал обогатить литературный стиль возможностями музыкальной композиции. В результате такого синтеза он надеялся, вероятно, обрести в речи ту свободу и точность самовыражения, которой обладал как выдающийся музыкант-импровизатор.

Сохранившиеся разрозненные отрывки семейной переписки позволяют проследить изменения личности Александра Львовича, так как в целом охватывают почти всю его жизнь. В блоковском фонде ИРЛИ хранятся детские письма А. Л. Блока к отцу по-русски и по-французски — свидетельства школьного усердия, юношеские письма к матери из заграничного путешествия, живые и многословные, но с постоянным оттенком сарказма, драматические письма к женщине, письма к матери о втором браке с М. Т. Беляевой, о рождении дочери, об университетских делах. Письма отцу и матери вернулись к Александру Львовичу в Варшаву после смерти матери в 1900 г. Местонахождение его писем к петербургским родным за 900-е годы не выяснено. Из материалов позднейшего периода отчасти известна только переписка Александра Львовича Блока с сыном-поэтом.

Ниже мы приводим только имеющие отношение к А. А. Блоку маленькие отрывки из писем Александра Львовича к матери — Ариадне Александровне Блок и большую часть текста писем Александра Львовича к Александре Андреевне.

Письма Александра Львовича к жене концентрируют в себе характерные особенности его эпистолярного стиля: изощренность, нервность, резкие перепады тона. А. Л. Блок пытается придать письмам интонационную выразительность, подчеркивая слова, расставляя многоточия, скобки, бесчисленные кавычки. Александр Львович заключает в кавычки собственные выражения, которые хочет выделить, фразы из писем жены к нему, словечки сына, а также закрепившиеся в семейном лексиконе Блоков за два года варшавской жизни прозаические цитаты, детские стишки и отдельные слова. Отсутствие писем

Александры Андреевны к мужу лишает нас возможности точно классифицировать все эти случаи.

Находящиеся ныне в ИРЛИ письма Александра Львовича к жене, судя по их содержанию, — далеко не все из адресованного им Александре Андреевне за это время (с 1887 по 1894 г.). Сохранившиеся письма хронологически делятся на две группы: до и после 1889 г., т. е. до и после официального расторжения брака Блоков. Из первой группы совершенно опускаем в публикации только одно — от 1 июля 1887 г. (содержание этого письма Александр Львович воспроизвел в следующем более подробно). Письма второй группы значительно менее примечательны, они обычно просто сопровождают собой денежные переводы. Поэтому из них приводим только одно — развернутый ответ Александра Львовича Блока на письмо Александры Андреевны о жизни сына, остальные (3 января 1890 г., 24 ноября 1890 г., 21 марта 1892 г.) не цитируем.

К середине 90-х годов переписка родителей Блока стала угасать. С 1895 г. Александр Львович начал переводить деньги для сына своей матери Ариадне Александровне Блок, желая таким образом сблизить его с блоковской и качаловской семьей. (Ариадна Александровна жила в семье своей дочери — Ольги Львовны Качаловой.) Теперь постоянные требования известий о сыне А. Л. Блок адресует своим петербургским родственникам. Блоки—Качаловы выполняли просьбы Александра Львовича со всем возможным старанием. Для этого они должны были добиться от А. А. Блока если не родственных чувств, то хотя бы визитов, соблюдения родственного этикета.

Письма Блоков — Качаловых, привезенные А. А. Блоком из Варшавы, характеризуют еще один круг общения поэта в годы его юности, круг, в котором он иногда с удовольствием, но чаще без вдохновения играл роль симпатичного родственника.

Петербургские родные Александра Львовича — Блоки и Качаловы — ко времени, на которое приходится переписка об А. А. Блоке, составляли одну весьма многочисленную семью [9].

Дед поэта Лев Александрович Блок служил в пореформенные годы управляющим Казенной палатой в Новгороде. По службе он был связан с Николаем Александровичем Качаловым — председателем Губернской земской управы. Их семьи сблизились и одновременно дважды породнились. Ольга Львовна Блок (тетка поэта) вышла замуж за Николая Николаевича Качалова, а Петр Львович Блок (дядя поэта) женился на Александре Николаевне Качаловой. Дети тех и других были между собой родными по крови. Марианна, Николай, Георгий Блоки и Ольга, Софья, Николай, Лев, Кирилл, Мария Качаловы — все они двоюродные братья и сестры А. А. Блока.

Когда Н. А. Качалов был переведен в Петербург на должность начальника Департамента таможенных сборов, вместе с ним на должность вице-директора того же департамента был переведен Л. А. Блок. В Петербурге все Блоки и Качаловы поселились в одном доме около Биржи на стрелке Васильевского острова.

После смерти Л. А. Блока и Н. А. Качалова семьи разъехались, но продолжали поддерживать близкие родственные отношения.

Двое Блоков, уехавших из Петербурга, — Александр Львович, варшавский профессор, и Иван Львович, чиновник в южных провинциях, — не теряли родственных связей, так как часто приезжали навестить свою мать. Личные драмы их обоих (семейная жизнь Ивана Львовича тоже складывалась весьма неудачно) были для всех Блоков — Качаловых предметом постоянных волнений, тревог и разговоров. Впрочем, многочисленные несчастья, внутренние неурядицы имели место и в петербургской семье, особенно в период, на который приходится переписка о Саше Блоке. В этих условиях петербургские родственницы Александра Львовича приобрели способность проявлять семейную заботливость, сострадание, не ожидая и не ища встречного сочувствия. Отсюда особый характер, успокаивающий, «психотерапевтический» тон их обычно безответных писем в Варшаву. Отсюда же упорство в проявлении родственных чувств к Саше Блоку, который, посещая их по необходимости, часто не умел и не хотел скрыть своего предубеждения.

Легче и проще всего отношения Блока с отцовскими родными складывались в период дружбы с Софьей и Ольгой Качаловыми — в 1898—1902 гг. Качаловы — родовитые дворяне и крупные государственные чиновники — вообще имели привычку к открытому и широкому образу жизни. К 1898 г. Н. Н. Качалов стал директором Электротехнического института, старшие дети Блоков—Качаловых достигли 17—20-летнего возраста и боль-

шая директорская квартира на Новоисаакиевской наполнилась молодежью. Атмосфера молодого праздничного веселья привлекла А. А. Блока. Он стал часто посещать Качаловых, сдружился с обеими кузинами, летом обменивался письмами с Ольгой (переписка их не сохранилась).

Но в 1900 г. в семье Качаловых умерли бабушка Ариадна Александровна Блок и мать — Ольга Львовна Качалова. Образ жизни кузин Блока совершенно переменился. На них легли заботы по воспитанию младших братьев и сестер. Теперь Блок встречался с кузинами преимущественно в доме дяди, присяжного поверенного Петра Львовича Блока. Сюда Блок заходил редко, главным образом за деньгами, которые отец полтора года, после смерти бабушки и до его совершеннолетия, пересылал ему через Петра Львовича.

В 1902 г. вышла замуж и уехала за границу Ольга Качалова. Качаловы переселились в отдаленный район Петербурга на Аптекарский проспект, где достраивалось новое здание Электротехнического института. Интересы самого Блока менялись. Визиты к родным он делал все реже и к 1903 г. прекратил их совсем.

В 1916 г. Софья Николаевна Качалова-Тутолмина и А. А. Блок увиделись снова, но попытка Софьи Николаевны восстановить родственные связи встретила вежливый отпор со стороны Блока [10].

История отношений Блока с кузинами отразилась в записках С. Н. Качаловой-Тутолминой, опубликованных в журнале «Литературный современник» (1936). Позднее Софья Николаевна составила новый вариант записок, расширив круг сведений о раннем периоде знакомства Блока с семьей Качаловых (1895—1903). В таком виде мемуары С. Н. Тутолминой-Качаловой являются естественным и необходимым комментарием к письмам Блоков—Качаловых в Варшаву за 90—900-е годы. Текст этих мемуаров, любезно предоставленный нам дочерью Софьи Николаевны — Натальей Николаевной Тутолминой, помещаем здесь в приложении к эпистолярным материалам.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См., например: М. А. Бекетова. Александр Блок. Пб., 1922; Она же. Александр Блок и его мать. М., 1925; Г. П. Блок. Герои «Возмездия». — «Русский современник», 1924, № 3; В. А. Десницкий. Социально-психологические предпосылки творчества А. Блока. — В кн.: «Письма к родным», II; В. Д. Измаильская. Проблема «Возмездия». — В сб.: «О Блоке». Л., 1929; A. Galais. Osiemanście dni Aleksandra Błoka w Warszawie. Warszawa, 1976.

[2] И. В. Березарк. Отец Александра Блока. — «Русская литература», 1977, № 3; Е. А. Бобров. Воспоминания об А. Л. Блоке (в печати); Н. Дубровский. Официальная наука в Царстве Польском (Варшавский университет по личным воспоминаниям и впечатлениям). СПб., 1908; Е. Спекторский. Александр Львович Блок, государствовед и философ. Варшава, 1911.

[3] Е. В. Спекторский. Поэт Блок и его отец. — «Српски књижевни гласник», № 38, 1933, 16 марта (на сербском языке).

[4] «Письма к родным», I, с. 293.

[5] М. А. Бекетова. Александр Блок, с. 47.

[6] М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать, с. 123; Она же. Александр Блок, с. 78.

[7] См. автобиографию Блока 1915 г. (VII, 12).

[8] Так сообщал профессор В. В. Есипов. Его воспоминания о А. Л. Блоке см. в ст.: И. Б. Березарк. — Отец Александра Блока. — «Русская литература», 1977, № 3.

[9] Все сведения о семьях Блоков и Качаловых, недостающие в печатных источниках (в записках Г. П. Блока и С. Н. Тутолминой), получены нами от Льва Николаевича Качалова — двоюродного брата А. А. Блока, от дочери С. Н. Качаловой-Тутолминой Натальи Николаевны и от дочери Марианны Петровны Блок-Киршбаум Марии Сергеевны.

[10] В 1921 г. возникла некоторая близость между Блоком и двоюродным братом его — историком и литературоведом Г. П. Блоком (сыном Петра Львовича). Отношения эти были оборваны смертью поэта. Свои встречи и разговоры с Блоком Георгий Петрович описал в очерках «Герои «Возмездия» («Русский современник», 1924, № 3) и «Из семейных воспоминаний» («Александр Блок в воспоминаниях современников», т. I (в печати).

1

ИЗ ПИСЬМА А. Л. БЛОКА К АЛЕКСАНДРЕ АНДРЕЕВНЕ БЛОК[1]

18 июля 1887 г. Варшава

<. . .> Если Вы «никогда не собирались скрывать от ребенка, кто его отец», если «он это и теперь уже знает отлично», то почему же, например, мой мальчик, мой «добренький Сашура» (это его словечки, и я их никогда «не забуду», как он сам мне сказал о себе) должен был, следуя Вашему примеру и руководству, относиться ко мне хуже вообще, чем ко всякому постороннему? Почему меня даже о серьезных его болезнях[2] извещают только спустя целые месяцы, а о многом и совсем не извещают, несмотря на обещанные когда-то «подробные отчеты»? И т. п., и т. п.?? Что касается моего по необходимости «странного слога», то он все-таки яснее, определеннее и, конечно, обдуманнее, а главное — сердечнее вообще, чем «гнусная казенщина» Ваших спорадических ко мне «циркуляров» (под этим названием они известны отчасти и Вашим бывшим знакомым).

<. . .> Пришлите, пожалуйста, заодно какие-нибудь Сашины рисуночки, словечки, волоски, и т. д., и т. д. <. . .>

Ал. Блок

ИРЛИ, ф. 654, оп. 7, № 23.

[1] В 1887 г., в связи с предполагаемым вторым замужеством, Александра Андреевна начала дело о расторжении брака с А. Л. Блоком, которое завершилось официальным разводом 5 сентября (24 авг. н. ст.) 1889 г. 29 сентября 1889 г. Александра Андреевна вышла замуж за Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух. 30 июля 1890 г. А. Л. Блок женился на Марии Тимофеевне Беляевой (1876—1922), смолянке из дворянской офицерской семьи (о ней см.: Н. А. Павлович. Воспоминания об Александре Блоке. — «Прометей», 1977, № 11). В середине 90-х годов Мария Тимофеевна оставила мужа и, забрав дочь Ангелину, навсегда уехала в Петербург.

[2] В ответ на этот упрек Александра Андреевна, видимо, написала, что, будучи в больнице на операции, не могла вовремя сообщить о болезни сына (см. начало письма № 2). Таким образом, единственная тяжелая детская болезнь Блока датируется весной 1887 г. Ср. у М. А. Бекетовой: «В этом же году (вскоре после первой поездки за границу, т. е. в 1885? — *М. П.*), ближе к весне Саша выдержал опасную болезнь (плеврит с эксудатом). Это время было особенно тяжело еще и потому, что Саша заболел в отсутствие матери, которая лежала в больнице, где ей делали операцию («Александр Блок и его мать», с. 25; о том же — «Александр Блок», с. 41).

2

ИЗ ПИСЬМА А. Л. БЛОКА АЛЕКСАНДРЕ АНДРЕЕВНЕ БЛОК

26 ноября 1887, Варшава

<. . .> Какую это Вам операцию делали? [1] и т. д. Что бы Вам, хоть в виду ожидаемого «французского счастья» [2] принять со мной «тон» подобродушнее, а следовательно и пооткровеннее? Я ведь никогда не был и не буду «врагом» Вашим: в моем воображении, так часто заменяющим мне действительность, Вы остаетесь милою, поэтичною, смешною и бедною Асею, какою я преимущественно знал Вас. . . К этому присоединяется более смутный образ любящей, самоотверженной матери, которая бывает, впрочем, и мадонна и тигрица, — но даже «тигрицу» мне не хочется обижать, хотя с нею, как и с «мадонною», трудно быть просто «по-человечески» любезным. . . (помните «Une passion dans le désert» Бальзака? [3])

ИРЛИ, ф. 654, оп. 7, № 23.

[1] См. п. 1, прим. 2.

[2] Так Александр Львович называл намечающийся брак Александры Андреевны с Ф. Ф. Кублицким-Пиоттух.

[3] «Любовь в пустыне» — рассказ Бальзака (1830). Перевод этого рассказа был сделан позже А. А. Кублицкой-Пиоттух и напечатан в кн.: О. Бальзак. Собр. соч. в 20 томах, т. 12. СПб., 1898. В рассказе фигурирует не тигрица, а пантера.

3

ПИСЬМО А. Л. БЛОКА АЛЕКСАНДРЕ АНДРЕЕВНЕ БЛОК

10 апреля 1888 г. Варшава

Вы [1] ссылаетесь на какие-то будто бы «уже данные Вами обещания», но не решаетесь даже повторить их письменно. . . В последнем (втором) письме к А. Ф. Кублицкому [2] я еще раз изложил и подробно мотивировал свои весьма естественные «желания». От Вас зависит скорее «покончить начатое дело», не заставляйте меня «действовать помимо Вас» по вопросу о восстановлении моих прав. Впрочем — не тороплю Вас, тем более, что сам ужасно занят разными делами. Посылаю Вам пока 100 руб., а в течение мая месяца получите от меня еще сколько-нибудь.

Милая, хорошая ма(му)сенька! Тратьте Вы эти денежки хоть на свои какие-нибудь маленькие потребности (в роде варшавских фиалочек и т. п.), но не балуйте уж так слишком нашего драгоценного Сашуру — себе на муку, а ему м<ожет> б<ыть> на погибель! Будьте зато чуточку подобрее, поснисходительнее к самому несчастному из Ваших поклонников, который право же немного у Вас просит.

Ал. Бл.

Напишите же «как Пасха деток веселит», как «скучно деткам в день ненастный» [3] и т. п.

ИРЛИ, ф. 654, оп. 7, № 23.

[1] Начало письма без обращения.

[2] Адам Феликсович Кублицкий-Пиоттух (1855—1932), муж С. А. Бекетовой, брат Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух. С ним Александр Львович вел переговоры об условиях, на которых он со своей стороны готов был согласиться на развод. Свои условия А. Л. перечисляет в публикуемых здесь письмах к жене:

сын должен как следует познакомиться с отцом; Александра Андреевна или ее родственники должны периодически извещать отца о жизни сына; Александр Львович должен получить возможность регулярно навещать сына в Петербурге и, если сын не откажется сам, брать его с собой на короткое время.

[3] Источник цитаты не установлен.

4

ИЗ ПИСЬМА А. Л. БЛОКА АЛЕКСАНДРЕ АНДРЕЕВНЕ БЛОК

11 августа 1888 г. Варшава

Александра Андреевна! Еще в июле мне было неожиданно предъявлен укор при здешней консистории — «о преподавании Александру Блоку тщательнейших пастырских увещаний о прекращении возникших между ним и женой его несогласий взаимным христианским примирением и неуклонным пребыванием в брачном союзе». Видя Ваше нежелание поступиться хоть чем-нибудь от своей маленькой «монополии» на нашего Сашуру, я дал такой *отзыв*, который должен был совершенно прекратить начатое зимою дело. . . [1] Но так как мне ужасен Ваш брак вообще, то я готов теперь, пользуясь знакомством священника, изменить сообразно с Вашими намерениями свой отзыв [2] (всего лучше будет, если Вы мне его продиктуете — поскорей!) — в надежде, что и Вы, наконец, согласитесь исполнить хоть некоторые мои просьбы (а впрочем — как Вам самой угодно. . . Вы уже в таком возрасте, которому доступна бывает и жалость. . . иногда даже на больших расстояниях или даже совершенно вчуже). М<ожет> б<ыть>, Вы исполните хоть то малое, о чем я просил еще весной, если теперь стану просить у Вас большего (на всякий случай)?

Милая, хорошая, самая лучшая мамуся! Вы давно доказали свою способность к полному самоотвержению из-за сына (оно тем выше, что Вы, как будто, даже отрицаете это!), — докажите же еще, что можете действо-

вать вполне самостоятельно (как иногда утверждали?) Приезжайте с Сашурой осенью в Варшаву [3]: я Вас устрою, если хотите, совершенно отдельно от себя, со всеми удобствами — можете взять с собой няню и еще кого-нибудь. *Здесь* Вы будете более, чем где-нибудь, независимы и — *у себя дома*. . . Наша старая Варшава в последние годы сильно изменилась к лучшему: 1) в значительной степени «обрусела», 2) обчистилась, обмылась, обасфальтировалась и т. п. К лету поедете, конечно, опять в деревню (или куда знаете: хоть в Париж на выставку), — но «от осени ненастной — до весны веселой, красной — много месяцев пройдет» [4], в течение которых мне, м‹ожет› б‹ыть›, удастся *спокойно* переговорить с Вами о том, что накопилось за восемь лет, а также о разводе: ведь и для него нужно некоторое «взаимное христианское примирение»! Оно еще нужнее для Вашего добренького (в сущности) Сашуры, которому притом несколько варшавских «месяцев» принесут только пользу, ибо помогут сосредоточиться — хотя бы на привязанности к своей идеальной («лучше ее нет на свете!») мамусеньке. . . Завидую ему и Вам, потому что мне не на ком вообще «сосредоточиться» (а на своих мыслях вредно), не с кем даже говорить «по душе», — давно уж и «побранить меня некому», вообще скверно. . . ‹. . .›

ИРЛИ, ф. 654, оп. 7, № 23.

[1] Дело о разводе.
[2] Александра Андреевна не ответила на это письмо, и Александр Львович самостоятельно изменил отзыв.
[3] Александра Андреевна в Варшаву не ездила.
[4] Источник цитаты не установлен.

5

ИЗ ПИСЬМА А. Л. БЛОКА АЛЕКСАНДРЕ АНДРЕЕВНЕ БЛОК

21 сентября 1888 г. Варшава

Александра Андреевна,

С будущего года я имею право получать здесь пособие (по 100 руб.) на воспитание сына, а с 13 лет по 180 руб. ‹. . .›

ИРЛИ, ф. 654, оп. 7, № 23.

6

ИЗ ПИСЬМА А. Л. БЛОКА АЛЕКСАНДРЕ АНДРЕЕВНЕ БЛОК

15 ноября 1888 г. Варшава

‹. . .› Предупреждаю Вас, что я теперь еще менее, чем когда-нибудь, склонен выносить терпеливо всякие проявления надо мной бекетовской либеральной спеси и вооруженной трусости [1]. Довольно с меня одних консисторских и трактирных петербургских раздражений! ‹. . .›

ИРЛИ, ф. 654, оп. 7, № 23.

[1] А. Л. собирается приехать в Петербург к середине декабря и в этом письме требует подготовить сына к свиданию с ним. Сведениями о том, состоялась ли эта поездка, мы не располагаем.

7

ИЗ ПИСЬМА А. Л. БЛОКА АРИАДНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ БЛОК [1]

16 августа 1890. Петербург

‹. . .› Кроме того, я съездил на пустую теперь квартиру своего сына в казармах [2] и поговорил с денщиком [3] — его постоянным собеседником, спутником и слушателем его чтения ‹. . .›

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 1.

[1] Ариадна Александровна Блок (1832—1900) — дочь псковского губернатора Черкасова, вышла замуж за чиновника особых поручений при губернаторе Льва Александровича Блока (1823—1883). После смерти мужа жила с семьей дочери своей Ольги Львовны Качаловой. С 1895 г. — по приезде в Петербург — Ариадна Александровна искала сближения с обоими детьми Александра Львовича, внуками своими Сашей и Ангелиной. Сашу она могла принимать только у себя, так как с семьей Бекетовых и Кублицких-Пиоттух связей не поддерживала. С М. Т. Беляевой Ариадна Александровна установила дружеские отношения и старалась свести маленькую Ангелину со своими младшими внуками. Саша Блок регулярно навещал бабушку, но она, видимо, не оставила в его памяти заметного следа.

Письмо посвящено описанию свадебного путешествия с М. Т. Беляевой.

[2] Казармы лейб-гвардейского полка на Петербургской стороне, на набережной Большой Невки; сюда переехал Блок с матерью после замужества ее с Ф. Ф. Кублицким-Пиоттух, поручиком полка.

[3] Денщик Ф. Ф. Кублицкого Осип.

8

ИЗ ПИСЬМА А. Л. БЛОКА АРИАДНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ БЛОК

6 сентября 1892 г. Варшава

‹. . .› Вчера было очень жарко, а сегодня уже осенний день, и обе «маленькие», т. е. маменька и дочка [1] прилегли поспать или что называется «скисли», что и я намерен предпринять после обеда, по обычаю предков и в назидание потомству, старший член которого отдыхает (до 15 сентября или дольше) в деревне перед новыми зимними трудами (недавно прислал мне новые стишки своего сочинения).

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 1.

[1] Ангелина Александровна Блок родилась 2 мая 1892 г., умерла 20 февраля 1918 г.

9

ИЗ ПИСЬМА А. Л. БЛОКА АРИАДНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ БЛОК

21 декабря 1892 г. Варшава

‹. . .› Сын пока, вероятно, еще не знает даже о том, что у него есть сестричка, хотя я написал ему ко дню рождения письмецо, предупреждавшее о моем приезде. В октябре у него была ветряная оспа.

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 1.

10

ИЗ ПИСЬМА А. Л. БЛОКА А. А. КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

30 октября 1894 г. Варшава

Посылаю Вам, Александра Андреевна, «переводной билет», по которому Вы можете получить для Сашуры 400 рубл., предъявив в кассе банка свой вид на учительство [1] или засвидетельствованную доверенность и т. п. (кажется до 2-х часов).

Давно собирался писать, но, по обыкновению, все было *некогда*, что мешает мне и в Петербург съездить, и откликаться на Ваши ежемесячные письма. За последние от души благодарю Вас и покорнейше прошу передать милому Сашуре мое сердечное поздравление с наступающим для него возрастом [2], т. е. «несовершеннолетием», а также мое полное сочувствие его доброму сердцу, гимназическим успехам (не по летам быстрым), участию в сельских работах, верховой езде, стихам и изданию «Вестника» [3]. Надеюсь, что старые нумера этого интересного журнала сохраняются, — а м‹ожет› б‹ыть›, иногда и пересылаются по почте? Дабы хоть чем-нибудь



Л. А. БЛОК И А. А. БЛОК (РОЖД. ЧЕРКАСОВА) — ДЕД И БАБУШКА ПОЭТА ПО ОТЦОВСКОЙ ЛИНИИ

Фотография М. Шерета и Х. Энглера, 1883 г., Дрезден

Литературный музей, Москва

напомнить о себе дорогому издателю (и сыну), прилагаю свою новую фотографию.

Ал. Блок. <. . .>

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 1.

[1] Сестры Бекетовы держали экзамены перед специальной комиссией, выдававшей дипломы на право работать домашней учительницей. Об этом в воспоминаниях М. А. Бекетовой «Шахматово. Семейная хроника», публикуемых в наст. томе.

[2] 16 ноября 1894 г. Блоку исполнилось 14 лет.

[3] Рукописный журнал, который Блок выпускал вместе с родными (см. сообщение о нем в наст. томе).

11

ИЗ ПИСЬМА АРИАДНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ БЛОК А. Л. БЛОКУ

23 января 1897 г. Петербург

<. . .> Сашура твой у нас не был. Да и погода стоит неприятная, большей частью ветер <. . .>

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 1.

12

ИЗ ПИСЬМА АРИАДНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ БЛОК А. Л. БЛОКУ

19 мая 1897 г. Петербург

<. . .> Твой Саша был у нас в четверг на Святой [1], о чем и писала в потерянном письме — вид у него очень хороший, вырос на наши глаза, таким молодцом: новый мундир, новое пальто [2], теперь он верно уже уехал в деревню — застал нас он за чаем, это было в четвертом часу. На этот раз был разговорчивее, познакомился побольше с нами. Все были дома, но обедать не остался, хотя это было около 6 часа. <. . .>

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 1.

[1] Т. е. 17 апреля.
[2] В воспоминаниях «Шахматово. Семейная хроника». М. А. Бекетова приводит эту часть письма как иллюстрацию к предлагаемой там же характеристике Ариадны Александровны: «Мать его была женщина добрая и смиренная, но глупая и пошлая. . .» (См. наст. том.)

13

ИЗ ПИСЬМА АРИАДНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ БЛОК А. Л. БЛОКУ

21 марта 1898 г. Петербург

<. . .> Сашуру поджидаю к нам на праздниках, если по случаю занятий не придет, то перешлю с нашим сторожем 200 р. серебром. Хотя ты пишешь и остальные 70 передать, но прости, милый Саша, меня, я 70 р. отдам, получив пенсию 1-го мая. <. . .>

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 1.

14

ИЗ ПИСЬМА АРИАДНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ БЛОК А. Л. БЛОКУ

Апрель 1898 г. Петербург

<. . .> Первый день праздника [1], старшие все наши отправились обедать к Александре Павловне [2], я отговорилась усталостью и осталась дома с Левой и Кирой [3] — и за то была обрадована визитом Сашуры — он посидел со мной час времени — передала ему 200 рублей, он благодарил, очень был разговорчив — между прочим, говорили о Тебе. Саша и говорит, неужели Папе не скучно так одному — спросила его, начал ли он готовиться к экзамену [4] — нет еще пока, кажется, первый будет 16-го числа, а в конце мая и конец. — Переменил факультет [5] и думает поступать на юридический, более разнообразный — От нас пошел обедать к Бекетовым. Деду его не лучше, и электричество не помогает [6]. Потчевала его закускою — он отказался, а покушал только сладкого пирога и выпил наливки, на вид Сашура немного похудел — но это все учащаяся молодежь к концу года, вот и Никс [7] тоже похудел и вытянулся. <. . .>

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 1.

[1] Пасха в 1898 г. приходилась на 5 апреля.
[2] Александра Павловна *Качалова* (1829—1901), урожд. Долгова-Сабурова, мать Николая Николаевича Качалова и Александры Николаевны Блок, жены П. Л. Блока.
[3] Лев Николаевич (1888—1975) и Кирилл Николаевич (1893—1944) *Качаловы* — двоюродные братья Блока.
[4] Весной 1898 г. Блок сдавал выпускные экзамены во Введенской гимназии.
[5] О колебаниях в выборе Блоком в 1898 г. факультета из других источников ничего неизвестно; в августе 1898 г. Блок поступил на юридический факультет Петербургского университета.
[6] Андрей Николаевич *Бекетов* летом 1897 г. был разбит параличом, от которого так и не оправился.
[7] Николай Николаевич *Качалов* (1883—1961) — двоюродный брат Блока.

15

ИЗ ПИСЬМА АРИАДНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ БЛОК А. Л. БЛОКУ

1 января 1899 г. Петербург

<. . .> Я знаю, что Сашура получил твое письмо к 16-му ноября [1]. Он очень был доволен — о чем он мне поспешил и сообщить. Я его с 25-го [2] не видела. Он не участвовал в колядке [3]. <. . .>



СЕМЬЯ КАЧАЛОВЫХ

(О. Н. Качалова — стоит слева, О. Л. Качалова, Николай и Лев Качаловы, С. Н. Тутолмина — сидит, вторая справа, Ариадна Александровна Блок)

Фотография, 1890-е гг., Москва

Собрание М. Н. Качаловой, Москва

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 1.

[1] 16 ноября — день рождения Блока.

[2] 25 декабря на Рождество Блок обычно делал бабушке визит.

[3] О колядке см. ниже, в записках С. Н. Тутолминой. Колядка продолжалась все святки, т. е. от Рождества до Крещения (6 января). Блок мог присоединиться к кузинам после 1 января.

16

ИЗ ПИСЬМА АРИАДНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ БЛОК А. Л. БЛОКУ

17 января 1899 г. Петербург

Дорогой Саша,

Напрасно ожидала вчера и сегодня Сашуру — не пришел — вчера, правда, была ужасно ветреная погода — все жаловались и говорили, что местами трудно было бороться с ветром — и также не был и товарищ [1].

Последний раз Сашура был у нас 9-го, пришел вечером, была это суббота [2], но наши ехали на танцевальный вечер — кого видели, предупредили. Сашура выпил чаю, около 11-ти ушел — ведь поехали на вечер только около 12-ти — тем более, что близко. Вообще у них увеличился эту зиму круг знакомств — вчера напр‹имер› запросто собралось человек 25 молодежи.

‹. . .› Не помню, писала ли я тебе, что 2-го января у нас был большой вечер с тапером, и твой Сашура был и ужинал, остался до 4-х, а прочие до 6-ти, было человек 110, и знакомые, и родные и профессора, одним словом весь наш круг, а 5-го повторили барышни колядку и в одном доме танцевали до 4-х час. ‹. . .›

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 1.

[1] Николай Васильевич Гун (1878—1902) — товарищ Блока по гимназии. О нем см. в наст. томе сообщение К. А. Кумпан и А. М. Конечного «Александр Блок во Введенской гимназии».

[2] Суббота — журфикс в доме Качаловых.

17

ИЗ ПИСЬМА АРИАДНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ БЛОК А. Л. БЛОКУ

30 апреля 1899 г. Петербург

<. . .> Твой приезд сюда был для меня, как сон, но и за то благодарю Бога, что видела тебя. На наши глаза ты совершенно не переменился. Скучно было тебя провожать. Бог знает, когда увидимся. — На другой день твоего отъезда заходил к нам Сашура. Сказал, что в воскресенье ехал к нам на конке, где у него вытащили из кармана кошелек с 10 р., он так был ошеломлен, что вернулся домой — с тех пор мы его не видели. Поздравляю тебя с наступающим днем рождения милой Ангелиночки, по твоем отъезде получила визитную карточку от Марии Тимофеевны. <. . .>

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 1.

18

ИЗ ПИСЬМА АРИАДНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ БЛОК А. Л. БЛОКУ

25 июля 1899 г. Хвалевское [1]

<. . .> Вообще живется тихо — барышни немного скучают. Соня [2] занимается музыкой, а Оля [3] ведет большую переписку — пишет ее кузену внуку моему Саше, от которого тоже получила уже два письма — слава Богу он здоров — навещает соседей [4]. <. . .>

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 1.

[1] Хвалевское — имение Качаловых в Новгородской губернии, где они обычно проводили лето.

[2] Софья Николаевна *Качалова* (1880—1967), в замужестве Хрущёва (с 1909 г.), Тутолмина (с 1916 г.)

[3] Ольга Николаевна *Качалова* — двоюродная сестра Блока. Переписка нам неизвестна.

[4] Лето 1899 г. — второе лето знакомства Блока с Менделеевыми и поездок в их имение Боблово.

19

ИЗ ПИСЬМА АРИАДНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ БЛОК А. Л. БЛОКУ

21 декабря 1899 г. Петербург

<. . .> Эти последние дни мне что-то нездоровится [1].

<. . .> Я приготовила подарить Ангелиночке сказки Гримма, очень хорошенькое издание с гравюрами. Сашу давно не видала, он театрал. Писал как-то Оле, устройте домашний спектакль, я буду у вас участвовать, но этот год ничего не будет у нас [2]. <. . .>

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 1.

[1] 3 января Ариадна Александровна умерла.

[2] В связи с накопившимися долгами предполагалось изменить образ жизни семьи.

20

ИЗ ПИСЬМА АЛЕКСАНДРЫ НИКОЛАЕВНЫ БЛОК[1] А. Л. БЛОКУ

1 февраля 1900 г. Петербург

Дорогой Саша! Прежде всего спешу Вас успокоить, что деньги (275 р.) передал Петя [2] Вашему Саше в воскресенье, 30 января. Я нарочно воспользовалась этим случаем, чтобы получить его, наконец, к себе [3], и так как в этот вечер к нам собирались Оля, Соня и Ив. Ив. Лапшин [4], то я и ухватилась за такой удачный случай и написала ему, чтобы он к нам зашел.

Вечер провели очень хорошо. Сначала до Саши Ив<ан> Ив<анович> нам читал вслух «Честь» Зудермана [5] (есть в ней хорошее, есть и натянутое), затем, когда пришел Саша, мы его попросили прочитать, или вернее, сказать «Сумасшедшего» Апухтина [6]. Он сказал его очень хорошо, горячо и в настоящем тоне. Потом, после пения Оли, Петя, Ив. Ив. и Саша прочли «Три смерти» Майкова [7] (Саша читал Люция). Чудная вещь. Мы, дамы, слушали и работали, так же и наши оба мальчика [8], так было приятно и уютно. Мы с девочками [9] проектируем почаще устраивать подобные сборища и начать пока с самой маленькой компании и будем впускать очень осторожно новобранцев. Сашу, конечно, буду извещать всякий раз, не знаю, будет ли он так же мило отзываться, как в последний раз. Он нам с Петей очень симпатичен (впрочем, и всем родным тоже), и Петя мне сказал, что он, видимо, очень умный мальчик.

Остальные Ваши деньги — 26 р., согласно Вашему желанию, поделили между Вашими петербургскими племянниками, за что все Вас очень благодарят и, вероятно, все будут писать. Большое Вам спасибо за письмо, зная Вашу ненависть к писанию, я это особенно ценю, хотя меня и огорчило, что Вы себе испортили целый вечер. Зачем Вы так много думаете над такими письмами, гораздо бы лучше было, если бы Вы писали менее логично, но зато все, что есть на душе <. . .>

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 18.

[1] Александра Николаевна *Блок* (1855—1927), урожд. Качалова — главная петербургская корреспондентка Александра Львовича Блока с момента смерти его матери до 1909 г. Первое письмо А. Н. Блок (от 29 декабря 1899 г.) содержало просьбу о деньгах на лечение Ариадны Александровны и историю ее болезни. Во втором (от 17 января 1900 г.) — она предлагает Александру Львовичу свою родственную поддержку и выражает готовность навещать семью Беляевых, чтобы давать ему известия об Ангелине. Александра Николаевна спешит также установить отношения с Сашей, как это видно из ее третьего приводимого здесь письма.

[2] Петр Львович *Блок* (1854—1916) — присяжный поверенный, дядя поэта. После смерти бабушки отцовские деньги Блок получал через него.

[3] Об этом же вечере см. в записках Г. П. Блока «Из семейных воспоминаний». — В кн.: «Александр Блок в воспоминаниях современников», т. 1. М. (в печати).

[4] Иван Иванович *Лапшин* (1870—1948) — друг семьи Блоков, профессор философии, читал философские дисциплины в Петербургском университете и на Высших женских курсах, автор многочисленных трудов по истории философии, по психологии и эстетике, сотрудник Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона. Его отец, Иван Осипович Лапшин, находился в дружеских отношениях с Владимиром Соловьевым. Соловьев бывал в доме Лапшиных и переписывался с ними. Сохранилась запись, сделанная Соловьевым в альбом семилетнему Ване Лапшину (см. «Письма В. С. Соловьева». Под ред. Э. Л. Радлова, т. II. СПб., 1908).

[5] Герман *Зудерман* (1857—1928) — представитель натуральной школы в немецкой драматургии; драма «Честь» — 1889 г.

[6] «Сумасшедший» Апухтина — стихотворение 1890 г., исключительно популярное у чтецов-декламаторов конца века. Сам Блок декламировал его сотни раз. О чтении Блоком «Сумасшедшего» см. ниже воспоминания С. Н. Тутолминой, а также: Г. Блок. Герои «Возмездия»; Вл. Пяст. Два слова о чтении Блоком стихов. — В сб.: «Об Александре Блоке». Пб., 1921.

[7] «Три смерти» — поэма или, по собственному определению А. Н. Майкова, лирическая драма в стихах (1851). Сенеку читал Лапшин, Лукана — Петр Львович. О чтении в этот вечер см. VII, 343.

[8] Георгий и Николай Петровичи *Блоки*. Двоюродные братья Блока.

[9] С Олей и Соней.

21

ИЗ ПИСЬМА ОЛЬГИ ЛЬВОВНЫ КАЧАЛОВОЙ [1] А. Л. БЛОКУ

12 апреля 1900 г. Петербург

<. . .> 2-го марта были Оля с Никсом на спектакле в зале Павловой [2], там дебютировал Твой Саша [3], роль его была не особенно большая — адвоката в пьесе «Серж Панин» Онэ [4], но он отлично держался на сцене и был очень авантажен в гриме. Своей манерой держаться и наружностью он ярко отделялся от прочих исполнителей. В пасхальную заутреню Саша ходил вместе с нами на площадь Исаакиевского собора, а потом опять прогулялись, как и в прошлом году, и разошлись все после разговления в третьем часу.

На днях надо будет повидать Ангелиночку. <. . .>

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 35.

[1] Ольга Львовна *Качалова* (1859—1900), урожд. Блок, тетка поэта.

[2] Зал Павловой на Троицкой улице сдавался под спектакли.

[3] Блок — член «Петербургского драматического кружка» — первоначально получил в пьесе Онэ одну из главных ролей (см. письмо к отцу от 22 января 1900 г. в кн.: «Письма к родным», I), но играл в спектакле роль весьма незначительную. Об интригах, шедших вокруг Блока в «Петербургском драматическом кружке», кратко в кн.: Н. Волков. А. Блок и театр. М., 1926, с. 7—8.

[4] Жорж *Онэ* (1848—1918) — французский писатель; его романы пользовались большим успехом у массового читателя. Роман «Серж Панин» (1881) был переделан самим автором в драму, которая затем была переведена в России под названием «Теща». В этой драме роли адвоката нет. Такая роль есть в другой пьесе Онэ — «Горнозаводчики». В дневнике 1918 г. Блок вспоминал, как в декабре 1899 г. в зале Павловой играл роль банкира в «Горнозаводчиках» (VII, 340). Никаких упоминаний о «Серже Панине» у Блока нет.

22

ИЗ ПИСЬМА ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ КАЧАЛОВОЙ А. Л. БЛОКУ [1]

Осень 1900 г. Петербург

<. . .> Сашу Твоего видим довольно часто и еще больше его полюбили. Он как-то очень развился умственно за этот год, да и физически очень окреп и возмужал <. . .>

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 36.

[1] Письмо на бумаге с траурной каймой, написано сразу после смерти матери О. Н. — Ольги Львовны Качаловой.

23

ИЗ ПИСЬМА АЛЕКСАНДРЫ НИКОЛАЕВНЫ БЛОК А. Л. БЛОКУ

18 октября 1900 г. Петербург

<. . .> Иногда по субботам мы собираемся маленькой компанией и читаем вместе. Пока я не назначаю Jour fix'ов [1], боюсь, что это всех испугает и потеряет прелесть наших бесцеремонных сборищ, но со временем я бы хотела устроить, чтоб у меня более или менее регулярно собирались в этот день и чтоб читать вместе. Это так приятно и куда интереснее всех этих вечеров, где говорят большей частью одну чепуху.

В одну субботу был у меня Ваш Саша. Он был накануне у Качаловых и Оля уговорила его насилу придти к нам обедать и провести вечер. Я была очень довольна, что он пришел так бесцеремонно по-родственному. Мы все были очень рады его видеть, и мне очень хочется, чтобы он почаще у нас бывал. Это время он увлекается Платоном [2], всем зачитывается, стихи сочиняет (он нам декламировал свое), видимо навеянные им же. Читали мы Соловьева «Три разговора» [3]. Очень интересную и остроумную вещь.



БЛОК В ШАХМАТОВЕ С ДВОЮРОДНЫМИ БРАТЬЯМИ — ФЕЛИКСОМ И АНДРЕЕМ КУБЛИЦКИМИ-ПИОТТУХ. СПРАВА — ГУВЕРНАНТКА КУБЛИЦКИХ

Фотография, 1892—1893 гг.

Литературный музей, Москва

Иван Иван. Лапшин объяснял нам, кто разумеется под описываемыми лицами [4] и тем, конечно, прибавил интересу. В следующий раз кончим и возьмем что-нибудь другое. Мы читаем понемногу, так как не желаем набивать никому оскомину, и затем в промежутках говорим и музицируем. <. . .>

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 18.

[1] Александра Николаевна взяла на себя заботы по воспитанию детей Ольги Львовны и старалась восстановить прежний образ жизни семьи Качаловых, отсюда — журфиксы по субботам.

[2] Ср. воспоминание Блока в дневнике 1918 г.: «Тут я хвастаюсь у Качаловых своим Платоном» (VII, 343).

[3] «Три разговора» В. С. Соловьева — философские диалоги. Одно из основополагающих для русского символизма сочинений В. Соловьева.

[4] Прототипы участников «Трех разговоров» — вопрос, требующий специальных исследований. И. И. Лапшин, будучи в дружеских отношениях с Соловьевым, мог получить сведения от него самого. (Об отношениях между Соловьевым и Лапшиными см. п. 20, прим. 4).

24

ИЗ ПИСЬМА ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ КАЧАЛОВОЙ А. Л. БЛОКУ

Весна 1901 г. Петербург

<. . .> Третьего дня у нас был Саша и всех поразил своим худым видом. Бледный ужасно и вообще очень плохо выглядит. Симпатичен он по-прежнему, если не больше, и мы его все любим от души [1]. <. . .>

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 36.

[1] Это неосторожное письмо Ольги весьма обеспокоило Александра Львовича. Необходимостью умерить его волнение вызваны письма Софьи (№ 30) и Марианны (№ 31).

25

ИЗ ПИСЬМА СОФЬИ НИКОЛАЕВНЫ КАЧАЛОВОЙ А. Л. БЛОКУ

21 апреля 1901 г. Петербург

Дорогой мой дядя Саша,

Постоянно все мы, и я, в частности, вспоминаем о Тебе, одной из причин, почему я не писала Тебе, было то, что Саша не был у нас с первой недели поста до вчерашнего дня, и поэтому я не могла ничего положительного сказать Тебе про него. Вчера же вечером он долго сидел у нас, и я узнала, что он отлично держит экзамены и репетиции (за Госуд<арственное> право получил 4), был одним из первых экзаменующихся после забастовки [1] и вообще самочувствие у него довольно хорошее, хотя, как и у всех после этого смутного времени, в голове образовалась порядочная путаница мыслей и понятий, и он с нерешительностью ждет лета, чт<обы> отдохнуть и разобраться во всем этом. Устали все тут страшно, и особенно те, кто близко стоял у дела. Бедный Папочка наш теперь даже хворает и довольно серьезно [2]. <. . .>

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 37.

[1] Студенческие волнения 1901 г. ознаменовались забастовкой высших учебных заведений страны и большой студенческой демонстрацией у Казанского собора 4 марта, вылившейся в сражение между студентами и казаками. Восстанавливая в памяти эти события (VII, 340—341), Блок смешал забастовку 1899 г. (февраль—март) и 1901 г. (январь—апрель). Столкновение со студенческой депутацией на экзамене проф. Георгиевского не могло произойти в 1901 г., так как к этому времени экзамены за первый курс Блок уже сдал, а политическая экономия читалась Георгиевским именно на I курсе. Экзамены 1901 г. Блок сдавал со второй половины апреля, после окончания забастовки.

[2] Николай Николаевич *Качалов* был директором Электротехнического института, одного из центров студенческих волнений Петербурга. 14 апреля студенты института после закрытого общего голосования вернулись к занятиям. Н. Н. Качалов действительно был болен до конца 1901 г. Начиная с 4 марта 1897 г. — со дня панихиды по Марии Ветровой, сжегшей себя после допросов в Петропавловской крепости, — студенты-электротехники почти каждую весну организовывали длительные забастовки. Положение Н. Н. Качалова как администратора было исключительно сложным. В конце концов, 10 января 1905 г. он принял участие в сходке преподавателей и студентов, а 11 января подписал решение о прекращении занятий института, о начале забастовки. См.: Г. А. Калиновский. Участие студентов и преподавателей петербургского электротехнического института в борьбе против царизма. — «Известия Ленинградского электротехнического ин-та имени В. И. Ульянова (Ленина)», вып. XXII, 1957.

26

ИЗ ПИСЬМА МАРИАННЫ ПЕТРОВНЫ АНДРЕЕВОЙ [1] А. Л. БЛОКУ

23—24 апреля 1901 гг. Петербург

Милый дорогой дядя Саша. Все не писала Тебе, п<отому> ч<то> не хотела писать, не увидав Сашу. Вчера же у мамы [2] состоялось наше знакомство. Мама праздновала свои именины нарочно днем раньше, чтобы не звать всех родных в тот же день, как и бабушка [3]. Так что вчера был у нее большой вечер. Было много родных и несколько знакомых, в том числе была m-me Лосская с дочерью (жена и дочь папиного умершего друга). Эта барышня только что вернулась из Парижа, где училась петь, и вчера демонстрировала свои успехи. И вот в 9 ч. вошел Саша. Я его представляла себе выше, — в общем же почти так же, как он и есть на самом деле. Сначала мы стали говорить на «Вы», но мама сразу возмутилась этим и заставила нас произнести первое «Ты». Тогда все пошло само легко, как будто бы мы были давно знакомы. Страшно ведь первое слово только. Потом мы много говорили с Сашей. Я села нарочно рядом с ним за чаем и спрашивала его про все, про все, зная, что Тебе будет все это интересно послушать от меня. Его здоровье совсем не так ужасно, как Ты думаешь. Успокойся совсем, милый дядя Саша. Он был у доктора (когда, не спросила

точно), и он ему сказал почти все то же, что говорят мол<одым> людям его возраста, т<олько> л<ишь> нашел у него легкую неправильность в регулярном бое сердца, что весьма часто бывает в это время и нашел нервы немного развинченные, но тоже только в такой степени, как это бывает у многих, почти у всех. Больше же ничего, решительно ничего. И он чувствует себя вполне хорошо.

9-го и 10-го на допущенных правительством сходках решено ведь было держать всем желающим экзамены и вот Саша держал уже Государственное право и получил 4, чем недоволен. Хотел 5. Из Полицейского права он держал еще в феврале месяце репетицию вместо экзамена, чтобы избавиться от него раньше, что дозволяется всем желающим, но чего не делают большинство из-за лени, откладывая все напоследок.

Из Полиц<ейского> права он получил тоже 4. Теперь будет экзамен Ист<ории> Рус<ского> права 2-го мая, после чего Саша едет в деревню [4].

Всеми волнениями студенч<ескими> он не очень интересовался и говорит, что много было таких, так как товарищество ужасно у них мало развито. Теперь его по-прежнему больше интересует декламация, и вот он мне рассказывал, как занимался весной уже 5 раз с актрисой Алекс<андринского> театра Читау 2-ой [5]. Она видела его где-то в обществе и слышала и восхитилась, должно быть (он этого не говорил), так как пригласила его приходить к ней давать даром реплики ее ученицам, за что она его в свою очередь учила и давала советы. Читали они «Горе от ума» — он был Чацкий и было, говорит, очень весело. Теперь, к сожалению, почему-то кружок распался [6]. Но это и не худо, пожалуй, так как он оттого лучше занимается экзаменами и даже уверяет, что временно охладел к декламации. Надо думать, что это только временно — не верится, чтоб эта страсть прошла совсем и так скоро.

24 апреля

Вчера не успела кончить письма. Продолжаю сегодня. Уже времени так мало, что приходится писать урывками, а потому заранее извиняюсь за нескладное, но зато и искреннее письмо свое.

Итак, дальше про Сашу. Он декламировал по нашей просьбе «Сумасшедшего» Апухтина. Оказывается, он его декламирует чуть ли не в сотый раз, уже и потому с меньшим чувством, но все-таки очень талантливо. Он, видно, действительно одаренный юноша, а главное в высшей степени симпатичный. Мне очень, очень было приятно видеть его.

Соня стала мне его расхваливать, похвасталась особенно тем, что он страшно их с Олей уважает, почитает, а он, услыхав это, нарочно стал ее дразнить — и на все ее мнения, слова и даже игру на рояле все прибавлял покровительственным тоном «да ведь она у меня очень хорошая» или «ведь она у меня такая способная. . .» Она делала вид, что очень недовольна, и все это так мило, дружно — сразу видно, что у него и с Олей и Соней чудные дружеские отношения. Со мной он тоже говорил мило, просто, как и нужно с сестрой.

Когда девочки Качаловы собрались домой — он вызвался их проводить и усадить на извозчика, так как они были одни. <. . .>

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 14.

[1] Марианна Петровна *Блок* (1880—1943), в замужестве Андреева, во втором браке — Киршбаум, двоюродная сестра Блока. С 1898 по 1904 г. прожила в Варшаве, где регулярно виделась с Александром Львовичем. Весной 1901 г. гостила в Петербурге у родителей.

[2] Александра Николаевна Блок.

[3] Александра Павловна Качалова.

[4] Экзамен по истории русского права Блок выдержал на 3, экзамен по статистике 22 мая — на 4.

[5] Мария Михайловна *Читау-Кармина* (1861—1935) — актриса Александринского театра, руководила театральными курсами.

[6] С уходом Блока курсы Читау не прекратились, следующей осенью их посещала Л. Д. Менделеева.

27

ИЗ ПИСЬМА СОФЬИ НИКОЛАЕВНЫ КАЧАЛОВОЙ А. Л. БЛОКУ

20 сентября 1901 г. Петербург

‹. . .› Твой Сашура был у нас в мои именины; он по-прежнему удивительно мил, и мы все страшно рады были его видеть.

Он говорит, что отдохнул за лето, но, кажется, немного забросил свою поэзию, по крайней мере мы никак не могли упросить его что-ниб‹удь› нам продекламировать. Теперь он вновь с удвоенным рвением принимается за свои университетские занятия. ‹. . .›

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 37.

28

ИЗ ПИСЬМА АЛЕКСАНДРЫ НИКОЛАЕВНЫ БЛОК А. Л. БЛОКУ

17 ноября 1901 г. Петербург

‹. . .› Сына Вашего Сашу видела мельком на свадьбе [1]. Он был шафером у Штейна [2] и затем подходил ко мне во время поздравления. Сообщил мне, что перешел на филологический факультет, и хотя теряет два года, но очень счастлив, так как напал на свое призвание: изучение философии и других интересующих его наук. Физически не изменился с прошлого года. ‹. . .›

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 18.

[1] Свадьба Ольги Николаевны Качаловой со Штейном — 12 ноября.

[2] *Штейн* — секретарь русского посольства в Корее, позже в Рио-де-Жанейро. Блок был почти незнаком с ним.

29

ИЗ ПИСЬМА СОФЬИ НИКОЛАЕВНЫ КАЧАЛОВОЙ А. Л. БЛОКУ

29 декабря 1901 г. Петербург

‹. . .› Сашура бывает у нас в этом году довольно часто, если принимать во внимание то далекое расстояние [1], кот‹орое› нас разделяет. Он оч‹ень› много занимается, в спектаклях, слава Богу, не принимает участия, а выступает просто как декламатор и имеет большой успех. Мы все по-прежнему оч‹ень› его любим и очень рады, что он не забывает нас. Сами мы провели праздники, конечно, невесело [2]. ‹. . .›

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 37.

[1] Н. Н. Качалов со своей семьей переехал в новое здание Электротехнического института на Аптекарском проспекте. Прежде Институт размещался на Новоисаакиевской улице в доме № 18.

[2] Праздники омрачены болезнью отца и отъездом Ольги в Корею.

30

ИЗ ПИСЬМА СОФЬИ НИКОЛАЕВНЫ КАЧАЛОВОЙ А. Л. БЛОКУ

6 января 1903 г. Петербург

‹. . .› Саша, вообрази, не был у нас со времени твоего приезда, и я только раз мельком видела его на одном концерте Олениной д'Альгейм [1], где он был со своей матерью и отчимом и, как мне показалось, избегал меня [2].

Недавно я получила от него несколько строк [3], где он поздравляет меня и пишет, что не приходил так долго по нездоровью, но теперь чувствует себя хорошо и надеется скоро придти [4]; я слышала также, что он очень занят. ‹. . .›

ИРЛИ, ф. 654, оп. 6, № 37.

[1] Мария Алексеевна *Оленина-д'Альгейм* (1869—1970) — певица, меццо-сопрано, исполняла песни разных народов и камерные произведения новейших композиторов. Была в числе учредителей «Дома песен» (1908). Ее концерты в 900-е годы оценивались как культурные события большой важности и широко обсуждались в символистских кругах. Впечатления Блока от этих концертов см. в письме С. М. Соловьеву от 6 декабря 1903 г. (VIII, 72—73). О ней же см.: Андрей Б е л ы й. Начало века. М.—Л., 1933.

[2] Об этой встрече в записках своих С. Н. Тутолмина не упоминает.

[3] Письмо Блока не сохранилось.

[4] Больше Блок Качаловых не посещал.

АЛЕКСАНДР БЛОК
В ВОСПОМИНАНИЯХ С. Н. ТУТОЛМИНОЙ

С Александром Блоком мы были в близком родстве: его отец — родной брат моей матери. Мы родились в один год. Должно быть, именно потому он был ближе со мной, чем с моей старшей сестрой Ольгой.

Нас связывала еще проявившаяся у обоих с ранних лет любовь к стихам. Нам было по восьми лет, когда мы начали переписываться стихами.

Хотя оба мы жили в Петербурге, однако семьи наши не бывали друг у друга: наша бабушка Ариадна Александровна Блок, которая жила с нами, не могла простить матери поэта ее уход от Александра Львовича ее обожаемого старшего сына, и отношения были порваны.

Но та же бабушка передала мне как-то стихи, написанные Сашей, и велела ответить ему тоже стихами. Переписка эта, не подогреваемая свиданиями, скоро прекратилась. У меня остались в памяти две строчки его письма:

Ужин был у нас прекрасный,
И кисель из клюквы красный.

Помню еще одну встречу в Александровском саду, куда нас водили гулять. Передо мной неожиданно предстал хорошенький мальчик с кудрями, в отложном воротничке. Но и после этого лед не растаял.

В 1890 г. мы уехали из Петербурга и вернулись туда в 1895 г. осенью. Очень скоро после нашего приезда перед обедом раздался звонок, и вошел худенький, невысокого роста гимназист. Это был Саша Блок. Он сказал, что пришел навестить бабушку. Бабушка увела его к себе в комнату, но обедал он с нами. Во время обеда был тих, но не застенчив, охотно отвечая на вопросы с характерной для него уже и тогда манерой говорить замедленно, словно цедя слова сквозь зубы.

В течение зимы он несколько раз приходил к нам и также сидел сначала у бабушки, а затем обедал с нами. Мы считали его бабушкиным гостем и мало интересовались им. Так было и в следующие два года.

Осенью 1898 г. он явился к нам в студенческом сюртуке, возмужавший, оживленный.

В эту зиму у нас собиралась по субботам молодежь: увлекались музыкой, пением, декламацией, и Саша стал непременным членом этих собраний.

Внешне, я помню, меня поразила перемена в фигуре Саши: он как-то раздался в ширину, грудь стала выше, осанка увереннее. Приходил он к нам всегда в студенческой форме. Таким он и запечатлелся в моей памяти.

Был он очень аккуратен, подтянут, но без всякого фатовства. Ботинки носил самые простые, даже несколько по-стариковски широкие, в то время как другие молодые люди особенно щеголяли тогда обувью с какими-то якобы «американскими» носами.

Саше Блоку можно было поставить в упрек разве только слишком подчеркнутую солидность, медлительность, которая делала его старше своих

лет. Я не помню у него ни одного быстрого движения, даже в играх, которые мы часто затевали и в которых он охотно принимал участие. Мне казалось, что он старался подражать нам в живости, но что для него это было непривычно (например, бегать).

Все мы очень любили его. Он очаровывал нас своей милой простотой, чудной улыбкой. И уж ни капли не было в нем унылости, даже вялости. Он от всей души веселился и смеялся, но все это было несколько другого, чем у нас, темпа. Как сказали бы теперь, он был не «физкультурен». «Вырос один в семье», — так объясняли себе это мы.

В одну из суббот Саша выступил у нас как декламатор — прочел «Сумасшедшего» Апухтина, и с таким мастерством, что мы все были поражены.

Ножки ее целовал,
Бледные ножки, худые,

— эти слова он произносил почти со слезами: губы у него дрожали при совершенно неподвижном лице. Это выступление сразу подняло его во мнении всего общества: мы увидели в нем художника, который был выше нас всех.

В этом году устроилась у нас на святках «украинская колядка». Компания наша (около 40 человек) разучила несколько народных украинских песен, «Колядку» из оперы «Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова, застольный хор из оперы «Русалка» Даргомыжского и в крытых дилижансах (так называемых кукушках) разъезжали по знакомым с мешками для колядования. Конечно, был с нами и Саша в украинском костюме, но отнюдь не поющий: как мы ни старались, мы не могли обнаружить у него ни голоса, ни музыкального слуха. Веселился он во-всю. Мы заезжали в 5—6 домов, и всюду нам после наших песен набивали мешки фруктами и сластями. А когда садились в «кукушку» — начиналось «сражение»: перекидывались мандаринами и яблоками, как мячами. Как сейчас вижу хохочущее, задорное лицо Саши, терявшего при этом всю свою «солидность».

Саша часто вписывал в мой альбом стихи, но, к сожалению, не свои, а Мея, Фета, Майкова и др. Читал стихи о «Прекрасной даме», но только, когда мы бывали с ним одни.

В следующем году Саша явился осенью совсем какой-то другой — увлеченный Шекспиром и летними спектаклями на даче у Менделеевых. Он охотно читал нам монологи. Особенно хорошо выходил у него монолог Отелло на суде:

Она меня за муки полюбила,
А я ее за состраданье к ним...

Эти слова он произносил превосходно: очень тихо, как будто монотонно, но с большим внутренним напряжением.

Вижу его сейчас, как живого, в нашей гостиной, окруженного притихшей толпой влюбленной в него молодежи. Он стоит, взявшись руками за спинку стула. Голова поднята. Ореховые глаза полузакрыты. Красивый рот выговаривает слова как бы с усилием, сквозь зубы, и подбородок выдается при этом немного вперед.

Нас увлекало и мужавшее его мастерство, и сам он, но мы начали испытывать ревность. Мы почуяли, что художественная сторона его природы нашла себе новую пищу где-то вне нашего круга. Он любил нас по-прежнему, но от нас ничего уже не брал, а, напротив, приносил нам нечто, накопленное на стороне. Все же личные свои переживания, как и всегда, скрывал.

У нас не принято было говорить о любви, но она носилась в воздухе, как у Ростовых: все были в кого-то влюблены, и все это переключалось

на искусство. Саша раньше тоже поддавался этому, а теперь чувствовалось, что он нас перерос.

Уехав этой осенью в Крым, я часто писала ему оттуда. Я почувствовала, что им начинает овладевать какая-то тоска. В своих письмах я старалась вдохнуть в него ту жизнерадостность, которая никогда во мне не иссякала. Посылала ему в письмах цветы. Он тоже писал мне часто. Помню такую фразу в одном из его писем: «Сумерки души сливаются с наступающей осенью. А роза твоя все же великолепна и говорит о другом».

Помню, как Саша в ранние годы встречался у нас со своим отцом. Отец любил его, расспрашивал об университетских делах, и они подолгу просиживали рядом за столом. Саша прямой, спокойный, несколько «навытяжку», отвечал немногословно, выговаривал отчетливо все буквы, немного выдвигая нижнюю губу и подбородок. Отец сидел сгорбившись, нервно перебирая часовую цепочку или постукивая по столу длинными желтыми ногтями. Его замечательные черные глаза смотрели из-под густых бровей куда-то в сторону. Иногда он горячился, но голоса никогда не повышал.



АНГЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА БЛОК, СВОДНАЯ СЕСТРА ПОЭТА

Фотография В. Ясвоина, 1910 г. (?), Петербург

Литературный музей, Москва

Однажды Александр Львович, приехав из Варшавы, сейчас же вызвал сына: «Ты должен выбрать себе какой-нибудь псевдоним, — говорил он Саше, — а не подписывать свои сочинения, как я — «А. Блок». Неудобно ведь мне, старому профессору, когда мне приписывают стихи о какой-то «Прекрасной даме». Избавь меня, пожалуйста, от этого». Саша стал подписываться с тех пор иначе.

Зимой 1915—1916 г. после долгого перерыва я вернулась в Петроград и от сестры узнала некоторые подробности о жизни Саши. Как-то мы отправились с ней на дневное представление оперы «Кармен» с участием артистки Дельмас. Там оказался Саша. Он увидал меня, подошел, и мы с ним тепло, уютно поговорили.

— Я думала, ты меня не узнаешь: ведь ты стал такой знаменитостью, — сказала я.

— Как можешь ты говорить это серьезно, Соня! Я никогда не переставал помнить и любить вас по-прежнему. Только теперь я живу большей частью один. В обществе мне тяжело бывать.

И на мою просьбу приехать к нам он не ответил согласием. Он прошел в первый ряд, затем за кулисы, и больше я его не видела.

Но через несколько дней я сама поехала к нему. Повод для свидания был деловой. После нескольких лет вдовства я выходила вторично замуж. Мы решили венчаться негласно, позвав на свадьбу только двух свидетелей. Одним из них был мой родной брат Н. Н. Качалов, «Никс», как мы его звали в нашей семье, другим я наметила Сашу и написала ему, прося принять меня по секретному делу. Он немедленно назначил день. Это было в начале января 1916 г. Я пришла к нему в 5 часов вечера. Он сам открыл мне дверь. В квартире больше никого не было. Комната, в которой он при-

нимал меня, была темной, с простой кабинетной обстановкой. Мы сели посреди комнаты за круглый стол. Когда я ему сказала, что его квартира кажется мне мрачноватой, он подвел меня к окну:

— Зато посмотри, какой вид! — В окне виднелась речная даль (он жил на Пряжке).

Когда я изложила свою просьбу, он немедленно и очень охотно согласился быть моим шафером. Ему даже понравилась конспиративность нашей свадьбы.

Его отчужденность от людей произвела на меня тяжелое впечатление, и я решила это высказать.

— Если бы я была все время около тебя, ты был бы, может быть, другой!

— Да, возможно, что я мог бы быть счастливее. . . Но я считаю, что человек в наше время не имеет права на счастье. Я дорожу своим одиночеством. Оно мне не мешает любить жизнь во всех ее проявлениях. Вот эта мелочная лавчонка, что видна из моего окна, говорит мне больше, чем вся искусственно создаваемая людьми мишурная красота, потому что в этой лавчонке сама жизнь.

— Ты называешь мою жизнь мрачной, — продолжал он, — но я люблю эту мрачность и считаю кощунством радоваться и быть счастливым в наше ужасное время.

Мы говорили с ним больше часа. Мы не касались внешних событий его и моей жизни, происшедших за те 14 лет, что мы не виделись, а делились только тем, что накопилось у нас за это время на дне души. Я поняла, что этот человек ушел от меня далеко, что он живет уже не своей личной жизнью, а жизнью своей страны, что в своем сердце он носит судьбу многих и многих людей.

Мне было радостно наблюдать, как под действием юношеских воспоминаний сходит с его лица скорбная складка, и лицо его освещается светлой улыбкой прежнего Саши Блока. . .

Через несколько дней состоялась наша свадьба. Когда мы с мужем приехали в церковь, Саша был уже там. На нем был черный сюртук. (Дома он был в какой-то куртке с отложным мягким полотняным воротничком.)

Он был огорчен, что с нами приехали еще четверо наших близких родных и даже мягко упрекнул меня в том, что я его обманула. Я объяснила ему, что это вышло случайно. Он один держал венец над моей головой, и я чувствовала, что делал он это с любовью.

После свадьбы он наотрез отказался ехать с нами ужинать. За ужином у всех в бокалах вместо вина были живые розы. Все присутствующие соединили их в один огромный букет, и мы с мужем завезли его Саше на квартиру с приветственной запиской, которую я осмелилась написать в стихотворной форме. А на другой день я получила от него то прекрасное письмо, которое напечатано нынче в однотомнике Блока. На конверте он написал мою новую фамилию и, таким образом, нарушил нашу «тайну».

Больше я его не видела.

II

ВОСПОМИНАНИЯ Е. А. БОБРОВА И Е. С. ГЕРЦОГ ОБ А. Л. БЛОКЕ

Публикация Т. Н. Конопацкой

Публикуемые ниже воспоминания писались не в непосредственной близости к изображаемым событиям, а долгие годы спустя. Зато, может быть, то немногое, что у этих людей не ушло из памяти, не стерлось с годами, представляет особый интерес. И Бобров, и Герцог встречались с Александром Львовичем довольно часто вплоть до его кончины.

Стоит обратить внимание на то, что оба эти столь несхожих между собой человека независимо один от другого запомнили и отметили некоторые общие черты и особенности в характере и облике А. Л. Блока. Но многое, и это естественно, освещено ими по-разному.

Машинописный экземпляр воспоминаний философа и публициста Евгения Александровича Боброва (1867—1933) хранится в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, куда он поступил в 1971 г. от Л. Н. Черткова [1].

Е. А. Бобров окончил Юрьевский (бывш. Дерптский) университет по двум отделениям: историко-литературному и философскому. В 1895 г. он защитил диссертацию на степень магистра философии по теме «Отношение искусства к науке и нравственности» и был утвержден в должности доцента философии Юрьевского университета. С 1896 г. Бобров — профессор философии Казанского университета, а с 1903 г. он занимает ту же кафедру в Варшавском университете. С 1915 г. он в Ростове-на-Дону, куда был переведен Варшавский университет. С установлением Советской власти Бобров продолжает оставаться профессором Ростовского университета. Он преподает в Совпартшколе и читает лекции для населения по разным отраслям знаний. Последние годы жизни Бобров работал в Ростовском педагогическом институте. В своем письме к Е. Ф. Никитиной в мае 1930 г. он пишет: «Я сильно постарел, но еще работаю. Ваши книги покупал и пользовался ими для лекций по литературе» [2].

Разносторонне образованный, владевший многими иностранными языками Е. А. Бобров имел тесные личные связи с видными литераторами и учеными своего времени. Он состоял в деловой и дружеской переписке с В. И. Саитовым, с которым обменивался печатными трудами, с Н. О. Лернером, с. В. Е. Чешихиным (Ветринским). Между прочим, в одном из писем (от 7 ноября 1916 г.) он просит Чешихина поблагодарить от его имени М. А. Цявловского, который, — пишет он, — «вспомнил и обо мне как о пушкинисте» [3].

В течение жизни Бобров собрал большую библиотеку, завязывал связи с петербургскими и московскими антикварами. Об этом свидетельствует его письмо в антикварную книжную торговлю П. Шибанова [4].

В своих воспоминаниях Бобров приводит новые факты, говорящие о сложном, доходящем до патологической странности характере А. Л. Блока. Но в них имеется также подтверждение его научной одаренности, своеобычности и широкой образованности. Особенно ценно свидетельство Боброва о том, что Александр Львович не пользовался расположением университетского начальства, обходившего его наградами, а также повышением по службе. Не менее важен рассказ Боброва о взаимоотношениях А. Л. Блока и Г. Ф. Симоненко [5], ибо он вносит существенную поправку в книгу Ник. Дубровского «Официальная наука в царстве Польском» (СПб., 1908), где автор ставит между этими профессорами чуть ли не знак равенства и рассматривает обоих как представителей господствующей в Польше клики ставленников царской России.

Вопрос о Симоненко, профессоре политической экономии, активном противнике теории Маркса, ясен. Не случайно, между прочим, в книге В. В. Есипова «Материалы к истории императорского Варшавского университета» (Варшава, 1913) ему посвящен самый обширный и хвалебный очерк. Что же касается А. Л. Блока, то тут дело обстоит сложнее.

Работая с Александром Львовичем бок о бок в течение шести лет, Бобров знал и его учеников, которых он называет поименно. В перипетиях бурного и сложного XX в. каждый из них нашел свой путь в жизни и все они, каждый в своем роде, оказались людьми значительными, а значит, не случайно были в числе близких учеников А. Л. Блока, воспитывались и мужали под его влиянием.

Существенно в воспоминаниях Боброва и то, что он запомнил, с какой простотой и непосредственностью обидчивый и подозрительный Александр Львович относился к тем людям, в которых он чувствовал по отношению к себе доброжелательное расположение и сердечную теплоту.

Вот об этой особенности его сложной натуры и пишет Е. С. Герцог (1884 — ?); в доме ее родителей А. Л. Блок был частым гостем.

Воспоминания Екатерины Сергеевны Герцог написаны для Государственного литературного музея, и оригинал хранится в отделе рукописей [6]. С этими воспоминаниями она выступала в музее 26 декабря 1955 г. на литературном вечере, посвященном 75-летию со дня рождения поэта.

Через всю свою нелегкую жизнь Герцог пронесла добрую память о близком приятеле своего отца. Возможно, что ее воспоминания несколько «высветлены», потому что связаны с лучшим временем юности. Однако фактам, которые она приводит, не доверять нет основания.

В семье Софроницких, хорошо знавших Екатерину Сергеевну, о ней говорят как о человеке широко образованном, интересном, скромном и очень порядочном. В этой семье до сих пор помнят, как трогательно относилась молодая девушка к необычайно одаренному мальчику, будущему знаменитому пианисту. Она очень ценила его редкостный дар, и он часто подолгу играл ей. Екатерина Сергеевна читала Володе свои стихи. Одно из них было посвящено ему.

В своей автобиографии Герцог пишет: «Я печатаюсь с 1908 г. Пишу стихи, прозу, сценарии, пьесы; перевожу с итальянского, польского, французского, английского... Некоторые мои рассказы переведены на польский и немецкий языки... Последнее место моей работы был музей МХАТ» [7]. В первые годы советской власти Герцог вместе с другими авторами выпустила несколько стихотворных сборников. В справочных книгах «Вся Москва» за 20-е годы она числится как литератор.

Серьезно интересуясь музыкой и литературой, Екатерина Сергеевна в свое время вела переписку с известным пианистом и дирижером В. И. Сафоновым, с выдающимся итальянским певцом М. Баттистини, с поэтом С. Д. Дрожжиным, принимавшим живое участие в ее судьбе и поддерживавшим в ней дух творчества. «Стихи Ваши в 1 № «Женского Дела» я перечитал с удовольствием, — пишет он ей 20 января 1914 г., — в них есть и настроение и огонек» [8].

Екатерину Сергеевну хорошо знал Н. Д. Телешов, она была знакома с поэтом И. А. Белоусовым.

В Варшаве гостеприимство Герцогов, их простота, приветливость и интеллигентность привлекали в их дом людей науки и искусства. В. И. Сафонов в письме к Е. С. Герцог из Петрограда от 20 мая 1915 г. пишет: «Радуюсь за Вас, что Вы побывали в Варшаве и почтили память Вашего покойного отца, о котором у меня сохранилось теплое воспоминание. Я так и вижу Вашу столовую на Горной улице, как мы там пировали и беседовали» [9].

Александр Львович был регулярным посетителем вторников Герцогов. В доброжелательной обстановке этой семьи он оттаивал душой и отдыхал. В рассказе Екатерины Сергеевны перед нами живо встает образ усталого ученого, облаченного в свой неизменный потрепанный сюртук. Ласково улыбаясь молодежи, забрасывающей его бесчисленными вопросами, он обстоятельно и эрудированно отвечает на них, давая справки на всех европейских языках.

Любопытно сообщение Герцог и о том, что Александр Львович охотно принимал участие в шарадах и других затеях, которые устраивала собиравшаяся у них молодежь, а также и то, как трогательно он относился к маленьким детям.

Свидетельство Е. С. Герцог о посещении их дома поэтом в 1909 г. подтверждается пометкой Блока в его «Записной книжке»: «15-го вторник. Вечером у Герцогов» [10].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] ГБЛ, ф. 218, кар. 1348, ед. хр. 7.
[2] ЦГАЛИ, ф. 341, оп. 1, ед. хр. 27.
[3] ЦГАЛИ, ф. 553, оп. 1, ед. хр. 336.
[4] ГБЛ, ф. 342, кар. 11, ед. хр. 16.
[5] Григорий Федорович *Симоненко* (1838—1905) — профессор Варшавского университета по кафедре политической экономии и статистики.
[6] ГЛМ, ф. 7, Нв 1226/1.
[7] ЦГАЛИ, ф. 978, оп. 1, ед. хр. 6.
[8] ЦГАЛИ, ф. 978, оп. 1, ед. хр. 5.
[9] ЦГАЛИ, ф. 978, оп. 1, ед. хр. 3.
[10] ЗК, 163.

Е. А. БОБРОВ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ» ОБ А. Л. БЛОКЕ

Я хорошо знал покойного Александра Львовича Блока. Познакомился я с ним после моего переезда в Варшаву. Делая первый раз визиты всем товарищам профессорам, я не дозвонился у двери его квартиры, которой он не покидал в течение 30 лет — Кошикова ул., № 29. Так как некому было оставить карточку, я через несколько дней зашел еще раз; и опять не дозвонился. Та же участь постигла меня и в третий раз. Тогда я зашел к дворничихе Стручковой и попросил передать свою карточку, на что мне дворничиха возразила: «Да пан Блок дома, но только никому на звонки не отпирает». Это было первым указанием на многие странности, заключавшиеся в натуре Блока. Среди многолюдного и шумного города он жил своеобразным отшельником. Скоро я собрал от общих знакомых достаточно материала, который побудил меня искать знакомства этого своеобразного человека, вдобавок живо интересовавшегося моей специальностью — философией. Я, ввиду трудности проникать к Блоку, часто приглашал его к себе. Мы проводили с ним целые вечера в беседах на самые разнообразные темы. Он познакомил меня как со своей биографией, так и со своими взглядами. Особенно горько он рассказывал о тех притеснениях, какие ему суждено было испытать в Варшавском университете и от начальства, и от студентов, и от товарищей-профессоров. При чем он особенно жаловался на Г. Ф. Симоненко, профессора политической экономии. Недоразумения со студентами проистекали из двух источников. С одной стороны, он не сходился с поляками на национальной почве; будучи славянофилом и государственником, он отнюдь не сочувствовал польским революционным стремлениям. С другой стороны, он доводил студентов до исступления своею невозможной манерой экзаменовать, спрашивая каждого не менее получаса, а иногда даже от часа до полутора. Происходили дикие сцены. Студенты в истерике начинали кричать, бросали литографированный курс к ногам экзаменатора. Сам Блок показывал мне ругательные письма с наклеенной раздавленной молью. Текст гласил, что, подобно этой моли, будет раздавлена моль в образе профессора Блока. Эти выходки принимались им с несокрушимым видимым спокойствием и неуторопленной речью (Блок немного заикался). Начальство, отчасти ввиду постоянных скандалов со студентами, отчасти же в силу его самостоятельности не давало ему ходу, чуть ли не 20 лет выдерживало без повышения, в звании экстраординарного профессора, в то время, как разные ничтожества, не стоившие и пальца Блока, награждались деньгами, чинами, орденами, играли первые роли. Гордость, нелюдимость Блока, его постоянная погруженность в какие-то думы мешали ему сходиться с большинством товарищей-профессоров. По наружности он был высокий, очень худощавый, сутуловатый, несомненно еврейского, благородного типа мыслителя и пророка (о чем он мыслил, будет речь дальше), но к особо скорой дружбе ни внешность Блока, ни его манера говорить и относиться к собеседнику — не располагали; невольно чувствовалась огромная самостоятельность мысли и большая гордость. Мне посчастливилось довольно скоро сблизиться с ним, что, вероятно, отчасти объяснялось философией, которой Блок любил заниматься. Блок чувствовал везде и всегда себя одиноким, но этого одиночества не боялся. Близких отношений с молодежью он не искал, однако у него было некоторое количество верных и чрезвычайно преданных ему учеников, из которых я отмечу Спекторского, бывшего ректора Киевского университета, а ныне бежавшего за границу. К числу учеников Блока относились еще: польский еврей, профессор польской истории Ашкенази [1], профессора Новомбергский [2], Ф. В. Тарановский [3], Топор-Рабчинский [4], Рейснер [5], ставший потом большевиком. Однако ни один из них, питая глубочайшую благодарность к своему учителю за его научное воспитание, не перенял для себя его специфической философии; каждый из них пошел своей особой дорогой. Курс лекций Блока был единственным в Рос-

сии, ибо нигде в русских университетах, кроме Варшавского, не читалось государственное право европейских держав, а преподавалось одно только русское государственное право. Блок же выработал, можно сказать, философию государственного права. Эта философия чрезвычайно трудно давалась студентам; некоторые места вообще среди этих лекций оставались для них непостижимыми, и такие места они называли сфинксами, Блоковскими сфинксами. Правда, нужно сказать, что Блок отдавал в литографию текст окончательно составленный и редактированный им самим, причем каждый год этот текст перерабатывался заново. Вдобавок лекции одновременно выходили в двух изданиях, одно для поляков, другое для русских студентов. Причина этого удвоения была особенная. Поляки часть весьма значительного дохода, получаемого с издания лекций, отправляли всегда на цели будущей польской революции в Швейцарию, в город Раппершвиль, где находился центральный польский революционный музей. Блок объяснял, что он не желает, чтобы на его труды богатела польская революция, а потому и сокращал число экземпляров лекций, поручаемых издавать полякам. Внешняя скромность Блока, происходившая от чрезвычайной гордости, в конце концов привела к тому, что много новых профессоров, не знавших, что такое Блок, ввиду его молчаливости на собраниях и советах начинали считать его жалким ничтожеством, которому и нечего сказать. Тому же способствовала и крайне жалкая одежда, в которую облекался мыслитель. Вечный черный сюртук и черные брюки насчитывали, конечно, не один десяток лет существования. Все на нем было вытерто, засалено, перештопано. Проистекало это не из материальной нужды, а из чисто плюшкинской жадности и скупости. После смерти его в его квартире найдено было денег в различных видах (медью, серебром, золотом, бумажками, билетами, облигациями) свыше 80 000 руб. Он никогда не позволял убирать своей квартиры, никогда в течение десятков лет ее не отапливал, не выставлял рам, питался в высшей степени экономно и, по заключению врачей, этим недостаточным питанием сам вогнал себя в неизлечимую чахотку и уготовил себе преждевременную смерть на почве истощения. Он даже экономил на освещении квартиры. По вечерам он выходил на общую площадку лестницы, где горел даровой хозяйский газовый рожок, и читал, стоя, при этом свете или шел куда-нибудь в дешевую извозчичью харчевню, брал за пятак стакан чаю и сидел за ним весь вечер в даровом тепле и при даровом свете. Знавшие эти странности и слабости Блока и любившие его за его выдающиеся способности охотно приглашали его к себе в гости, немного подкармливали, угощая обедом, чаем, ужином. У Блока было все-таки несколько знакомых семейств, которые он посещал, куда он ходил охотно, будучи убежден в добром к нему расположении. Было у него несколько друзей женщин (особенно помнится мне жена суд-инспектора Крылова), которые, приглашая его к себе, угощая его, брали на себя заботу тут же, во время чая, собственноручно шить и штопать знаменитый сюртук, совлекая его с плеч мыслителя. Всего курьезней, что несмотря на свою славянофильскую манеру мышления, несмотря на глубокое уважение к исторически сложившейся России, в ее своеобразной государственной форме, — Блок в глазах начальства считался опасным человеком. Когда он раз вздумал прочесть актовую речь об отношении философской и общеюридической научной подготовки, получаемой студентами-юристами к их будущей служебной деятельности, то все переполошились. Симоненко, только что дослуживавший свой пенсионный срок, вопил, что если эту речь произнести и напечатать, то это якобы вызовет ни более ни менее, как войну с Германией, в результате которой он, Симоненко, не успеет дослужить своей пенсии. Речь была напечатана с такими сокращениями, которые не позволяют с ясностью проследить даже ее основную мысль. В другой раз его насильно назначили в годичную заграничную командировку, хотя он о таковой не просил и ехать не собирался. Считалось необходимым хоть на год прекратить его опасное пребывание и смягчить недовольство студентов. Конечно, Блок никуда не поехал и весь год пробыл в Варшаве. Вот о таких эпизодах он повест-

вовал с нескрываемой горечью. Можно вообще сказать, что Блока, кроме его прямых учеников по специальности, тех, которых он готовил к профессуре, никто не ценил, никто не понимал. Только в конце его жизни, уже на моих глазах (я прослужил с ним 6 лет) началось постепенное улучшение его участи. Сначала он получил ординатуру, потом его выбрали в члены библиотечной комиссии, мы в комиссии выбрали его в председатели. Кажется, это было первым его административным повышением, совершившимся благодаря моему настоянию. Потом он стал секретарем факультета, наконец, его выбрали даже в деканы юридического факультета и он стал членом правления университета. В этом звании он и умер. Умер Блок от чахотки (туберкулеза легких) и сильного истощения. За месяц до смерти, он, наконец, сам понял невозможность оставаться дальше одному на своей одинокой квартире, без отопления, без освещения и еды. Он был уже так слаб, что с трудом мог двигаться; ослабело сердце, опухли ноги, и он добровольно поступил в частную больницу на «Аллее роз», под названием «Дом здоровья». Для него этот дом оказался домом смерти. Я слышал, что Блок должен умереть, по расчетам врачей, на следующий день. Было воскресенье, и я вместе с моей женой, которая тоже любила Блока, пошли его проведать и навсегда проститься. Как все умирающие от чахотки, он смерти не ждал, истину от него скрывали. Я начал говорить ему, что студенты ожидают его скорого выздоровления. (Состав студенчества в то время уже изменился, поляков осталось очень мало, Варшавский университет был заполнен сотнями русских семинаристов и отношение к Блоку со стороны студенчества стало уважительным.) Блок отвечал мне, что не дальше как в пятницу он возобновит свои лекции; между тем он был уже так слаб, что без посторонней помощи не мог даже поворачиваться на постели. Мы просидели у него часа четыре, вплоть до сумерек, и вели самые оживленные беседы. Я просил его, как только он выйдет из больницы, приходить ко мне обедать, на что он отозвался довольно курьезно: «Да, да, знаете ли, в столовой ужасно скверно кормят. Я буду к вам каждый день ходить обедать». Принесли при мне ему обед, как теперь помню — курицу с рисом, — он раза два ткнул вилкой и велел убрать, говоря, что готовят ужасно невкусно, но, конечно, причина была совсем другая: аппетита у него уже не могло быть. Говорили мы с ним и о философии, и о планах будущей работы, и о делах университета. Конечно, никто не поверил бы, что беседа идет с умирающим. Наконец, в сумерках мы простились с ним самым дружеским образом; в ту же пятницу обещался он нам после лекции придти на обед. Жена моя, как нервная женщина, едва не разрыдалась тут же, при нем. Мы ушли, а рано утром в понедельник (1-го декабря 1909 г.) Александр Львович Блок уже перестал существовать. Я не участвовал в его похоронах, — мне это было чересчур тяжело. Приехали наследники: сын первой жены (урожденной Бекетовой), поэт Ал. Ал. Блок; мать его, сама лично, не приехала, приехала вторая жена — Мария Тимофеевна (урожденная Беляева) со своей дочерью Ангелиной Александровной. И они, и всякого рода посторонние лица, прежде всего полиция, ворвались в неприступную цитадель его квартиры, распотрошили ее и в тюфяке на постели обрели целую калифорнию. Даже по полицейскому счету, как известно, весьма приблизительному, оказалось свыше 80 000 руб. накопленных ценой неимоверных лишений за два с половиной десятка лет. Деньги поделили между собой обе семьи пополам, тело предали погребению, разъехались, разошлись, и на память о Блоке ничего не осталось, кроме нескольких брошюр и газет, совершенно не передающих целиком систему его мышления, которую пытался восстановить, неизвестно с каким успехом и с какой степенью достоверности, его ученик — Спекторский.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Симон *Ашкенази* (1868—1935) — выдающийся польский историк, профессор Лембергского (Львовского), а позже Варшавского университетов, автор многочисленных научных трудов.

[2] Николай Яковлевич *Новомбергский* (1871—1949) — историк, юрист и этнограф. В 1908—1918 гг. был профессором Томского университета. Позже — профессором Омского с/х института, сотрудником Краевой плановой комиссии. Его статья «Краеведение и генеральный план развития народного хозяйства Сибири» («Сибирские огни», 1928, № 1) была положительно оценена Горьким.

[3] Федор Васильевич *Тарановский* (1875—1936) — историк и славист. Занимал кафедру истории русского права в Юрьевском университете, был профессором Петербургского университета. После Октябрьской революции — профессор Белградского университета по кафедре истории славянского законодательства, член Сербской королевской академии, член-корреспондент Болгарской академии наук и Славянского института в Праге.

[4] *Вл. Топор-Рабчинский* — профессор Варшавского университета, автор книги «Макиавелли и эпоха Возрождения» (Варшава, 1908). На правах рукописи была издана его «Энциклопедия права. Курс лекций, читанных на I курсе юридического факультета Варшавского университета» (Ростов-на-Дону, 1916).

[5] О М. А. *Рейснере* см. в публикации писем Блока Е. В. Спекторскому в наст. т. кн. 2.

Е. С. ГЕРЦОГ

ОТЕЦ ПОЭТА БЛОКА

Много писали, много пишут и будут еще много писать о поэте Александре Александровиче Блоке, и далеко еще не сказано последнее слово о нем, но мне хочется рассказать и о нем, и об отце его, давшем миру такого крупного поэта.

О трудах А. Л., о его личности как ученого, так и человека, есть, конечно, тоже достаточно материала, но мои воспоминания о нем будут касаться только его частной жизни (в период 1906—1909 гг.) в Варшаве, где он был профессором государственного права при Варшавском университете.

Если эти немногие штрихи могут служить как бы дополнением к общей сложной обрисовке личности А. Л., мне было бы чрезвычайно приятно. Приятно потому, что общее (одностороннее) мнение об А. Л. создалось как о человеке жестоком, как о деспоте, которому были чужды добрые движения души и все человеческие переживания.

Я не буду вдаваться в подробности его семейной жизни, которые мне мало известны, так как он никогда о них не говорил — а слухам не всегда можно доверять, — но расскажу о нем, каким я его помню в мои молодые годы, и помню простым, незлобивым, часто — кротким, и всегда — неизменно — интересным собеседником.

Правда, характер у него был нелегкий, с большими странностями, которые нередко бывают у людей, отдающих большую часть времени науке и труду, или у одиноких людей, не привыкших к заботам других о себе. Но кто знал его близко, прощал ему эти странности.

Александр Львович был другом моего отца и часто бывал у нас. Характеры их были очень контрастны. Мой отец был человек общительный, тоже глубоко образованный (юрист), чуткий и бесконечно добрый, но связала их общая любовь к науке, литературе и музыке.

Первым знакомством отца с Александром Львовичем был юридический диспут в существовавшем тогда юридическом обществе при университете. Александр Львович относился с исключительно трогательным вниманием и уважением к моему отцу.

Судьба забросила нашу семью в Варшаву, где мой отец служил по Министерству юстиции. В нашем доме собиралось большое и интересное общество — люди, жизнь которых красит жизнь других людей. В стенах нашей скромной квартиры бывали люди науки и искусства.

По вторникам у нас происходили исключительно научные собрания: беседы и чтение, и, конечно, всегда присутствовал А. Л. Он приходил раньше всех и уходил всегда последним. Хотя и бывал часто очень утомлен.

Трудно поверить, видя этого милого, ласково улыбающегося нам человека, что он — гроза студентов, неумолимо строгий и требовательный профессор. А. Л. не прощал небрежного отношения слушателей к своим лекциям и бес-

пощадно проваливал их на экзаменах. Студенты-поляки не любили строгого профессора. И, помню, как однажды он пришел к нам, и, смеясь, показал безграмотно написанное по-русски анонимное письмо с угрозой: если он будет «резать» студентов на экзаменах, то погибнет, как «этот моль». И на бумаге как иллюстрация была раздавленная моль. Угроза эта, впрочем, не исправила строгого профессора. Но были у него и преданные ему ученики, особенно один, Спекторский. Он бывал у А. Л. и очень любил и уважал его.

В частной жизни А. Л. был глубоко интересным человеком. Для нас — молодежи — он был книгой неисчерпаемого интереса. Мы постоянно закидывали его всякими отвлеченными вопросами и всегда получали подробное объяснение, историческую справку или филологическое пояснение на всех европейских языках, которые он знал в совершенстве. Я уже не говорю об его знании истории, литературы и музыки.

Когда, случалось, удивлялись его многостороннему образованию, он всегда отшучивался или говорил:

— Если человек способен оценить многостороннее образование другого, то каким же образованным должен быть он сам! У моего отца и у А. Л. была изумительная память. Они часами читали поэтов наизусть, начиная с Державина.

Особенно же часто повторяли «Евгения Онегина» — целиком, наизусть — с любой строфы.

В то время А. Л. жил одиноко (на Кошиковой ул.), весь уходя в книги и работу. С его слов мы знали, что он был женат два раза и имел от первой жены сына, а от второй — дочь. Портрет дочери стоял всегда перед ним среди хаоса книг, газет и вещей, и был большим трогательным контрастом веночек из цветов на портрете.

Говорил он о своей семье мало, и мы, понятно, не спрашивали. Говорили, что его деспотический характер и эта его отдаленность, как ученого, от будничной жизни, а также расчетливость усложняли его семейную жизнь — но я ничего об этом не могу сказать. Слыхала только, что его вторая жена (урожденная Беляева) жила тогда своим трудом, воспитывая дочь Ангелину. Помогал ли ей А. Л. — не знаю.

Когда А. Л. случалось хворать, мой отец навещал его и всегда поражался той обстановке, в которой он жил. Прислуги у него не было; никто не топил печей, никто не убирал комнаты. На вещах, на книгах, иногда прикрытых газетами, лежали толстые слои пыли.

Ему бывало холодно зимой писать; руки его замерзали. Чтобы впустить немного тепла, он открывал дверь на лестницу или уходил куда-нибудь отогреваться. Зачастую мой отец заставал его совсем застывшим и увозил к нам греться. Очень часто его обкрадывали в квартире. И случилось так, что зимой у него украли шубу. Он ходил тогда в каком-то коротком ватном пальто с рыжим потертым меховым воротником. Пальто это было похоже на дамский жакет, но А. Л. этим нимало не смущался. Вообще он не много внимания уделял своему туалету. Приходил он к нам или в старом сюртуке, или в сером пиджаке, тоже «ветхом вельми», так же, как и обувь его.

Белье на нем всегда было не свежее, так, что воротнички были уже совсем серые, обтрепанные по краям. Запонки на рубашке всегда отсутствовали, и надето бывало на нем по две и даже по три рубашки. Вероятно, он надевал более чистую на более грязную или зимой ему было холодно. Ко всему этому мы относились не с порицанием или с насмешкой, а с сожалением, так как видели в нем человека с надорванной душой, всецело отдавшего себя науке и труду, обрекшего себя на жизнь аскета со всевозможными лишениями, ради какой-то цели, думали мы.

Почему в самом деле, имея возможность жить безбедно и нормально питаться, он жил, не пользуясь никаким абсолютно комфортом в Варшаве — в культурном центре? Вероятно, он долго и упорно копил деньги — трудовые, честно заработанные. Как будто, даже помнится, он говорил, что оста-

вит кое-что детям и на какие-то цели в университет. Впоследствии оказалось, что это был солидный капитал; в какой именно сумме он выразился — не помню.

Значит, если он и копил деньги, лишая себя всего, даже самого необходимого, то отнюдь не был скупым рыцарем, наслаждающимся в тишине звоном золота, а добровольным отшельником в миру ради какой-то большой и значительной для него цели.

Характерно, что наряду с такой бережливостью А. Л. не были чужды порывы, свойственные широкой натуре. Мне известен случай, когда он сам предложил взаймы без всякой расписки сто рублей знакомому в минуту его острой нужды в деньгах.

Так жил А. Л. в ту пору, когда мы с ним встречались.

Как сейчас помню его красивое, худое лицо со слегка западающими щеками, с темной, чуть седеющей бородой. Его высокий лоб с откинутыми назад волосами, сосредоточенный взгляд, часто усталый — говорили сразу о том, что это — человек науки. И как это часто бывает у таких отвлеченных людей, далеких от жизни, у него была какая-то детская, искренняя улыбка.

Наука, работа — были его жизнью, глубокие мысли рождались в его мозгу, а наряду с этим его интересовало все в жизни и иногда он упорно останавливал свое внимание на чем-нибудь очень незначительном, простом и житейском. Не оставались без внимания и люди, и прически дам.

Александр Львович любил играть с моей сестрой, прекрасной пианисткой, в четыре руки.

Любил он только Бетховена и Вагнера, и когда играл, увлекался и забывал о времени. Увлекаясь, подпевал, очевидно, уходя от всего окружающего.

У каждого из нас были свои любимые бетховенские сонаты и симфонии. А. Л. особенно любил сонату «Appassionata», а из симфоний — Пятую.

Он очень хорошо знал историю музыки и интересно рассказывал нам о о каждом произведении Бетховена.

Иногда рассвет заглядывал в окна нашей гостиной, а они все играли, и часто слушательницей была только я одна. Потом он вдруг сразу обрывал игру и очень поспешно, всегда очень извиняясь, смущенный, уходил.

Его ноты были всегда у нас. Иногда он просил меня петь (я училась пению) итальянские романсы, которые он любил, и сам аккомпанировал мне. В нашем доме жила близкая нам семья Софроницких, сын которых — десятилетний Вовочка — теперь известный пианист — часто приходил к нам и играл. Этот мальчик играл уже тогда как законченный пианист с блестящей техникой, доставляя наслаждение всем нам и Александру Львовичу, который всегда им восторгался.

Вовочка играл охотно и никогда не ломался. Это очень ценил Александр Львович. Играл он и отцу-Блоку и сыну, и оба искренно восхищались его игрой.

Но Александр Александрович слушал Софроницкого уже после смерти отца.

Помню, как сейчас, вдохновенное лицо поэта. Он откинул голову назад, на спинку кресла, и слушал мальчика, в игре которого, вероятно, чувствовал родственную поэтическую душу. Может быть, игра эта вдохновила его на новые строфы.

Владимир Софроницкий уже взрослым стал любить до обожания поэта Блока. Его комната была увешана его портретами. Когда умер А. А., я напомнила ему, что он играл ему в детстве. Но он это забыл; он никак не мог припомнить, что играл своему любимому поэту, видел его, говорил с ним. И это его очень огорчало.

Я подарила ему стихи, написанные мне А. А. на память. Писал он их на бумаге со штампом «Café Empüre». Это было стихотворение «Осенний день прошел без дела». Наследственная любовь к Вагнеру передавалась поэту.

И, как ни контрастно, он любил Вагнера, как сказал он мне, и . . . цыганские романсы, в которых он видел надрыв русской души.

Возвращаясь к странностям А. Л., я вспомнила, что он всегда делал то, что считал наиболее удобным для себя.

Мои родители часто приглашали его обедать к нам, тем более, что питался он очень скверно в своем излюбленном дешевом баре «Ala novelka», куда он ходил зимой и греться, если очень прозябал дома. Но очень редко он приходил обедать в тот день, когда мы его ждали: он приходил на следующий день или на второй. Упрямство ли это, рассеянность, или увлечение работой, — мы никогда не знали. Когда раз моя мать, шутя, попеняла ему за это, говоря, что он всегда приходит на следующий день после приглашения, он засмеялся и сказал:

— Да-да. Простите, пожалуйста. Я был, очевидно, занят. Или я мог бы сказать вам, как некий англичанин, которого звали обедать, а он не пришел. А когда его спросили: почему он не пришел, — он задумался и, вдруг вспомнив, сказал: «Ах да! Дело в том, что я вчера не был голоден».

Единственно в чем он был аккуратен — это в посещении наших вторников.

В числе постоянных посетителей вторников был Николай Иванович Викулин. Это был человек с большой эрудицией, красавец — старик-пенсионер, живший в Варшаве.

Обычно за чаем отец или мать читали вслух исторические или философские произведения. Затем шли рассуждения о прочитанном и оживленные диспуты. Иногда это была беллетристика и стихи Блока.

Жена Н. И. Викулина, с которой он давно разошелся, была известная писательница Pierre Coulvin (она взяла для псевдонима все буквы фамилии мужа). Жила она тогда в Париже. Мы следили за всем, что она тогда писала, и нередко читали ее произведения. А. Л. всегда реагировал на прочитанное и разбор и мнения его слушались с большим интересом и вниманием.

Часто у нас собиралась молодежь. Мы всегда приглашали и А. Л. — он нас ничуть не стеснял и даже нередко сам вызывался играть нам штраусовские вальсы. Он живо интересовался нашими шумными «petits jeux» и особенно любил, когда мы устраивали сложные шарады (charades en action). Иногда он сам давал нам темы. Он со вниманием следил за ходом шарады; думал, отгадывал слоги разделенного слова, и искренно смеялся финальному заключению шарады. Он отдыхал с нами и отвлекался от своей сложной и трудной работы.

Как-то раз весной, помнится, он ездил в Петербург. Приехал он оттуда не радостный, а, скорее, сумрачный. Жаловался на «избыток» символизма в сыне. Символизма, которого он не понимал, и видел между сыном и собой пропасть, и это очевидно его огорчало.

Воспитанный на старой литературе в прежних традициях, он многое в творчестве сына не мог себе уяснить, хотя в душе и гордился им.

На одной из своих книг А. А. сделал надпись отцу: «Моему отцу по духу». Это «по духу» очень возмутило А. Л. и давало темы его многим комментариям. Все-таки, говорил он нам, горько улыбаясь, не только же я по духу ему отец.

Как-то раз он получил из Англии письмо от своего старого приятеля, который писал ему: «Неужели ты на старости лет стал писать стихи и ударился в символизм?» А. Л. был очень смущен и поспешил разуверить приятеля, что стихи пишет его сын, тоже Александр, а он по-прежнему пишет труды по государственному праву.

Когда в один из вторников А. Л. не пришел к нам, мой отец пошел к нему на следующий день навестить его. Оказалось, что он простудился и уже несколько дней лежит. Кругом в комнате было, как всегда, холодно, не убрано, неприветливо. Врач определил крупозное воспаление легких, и, так как на дому без ухода, оставаться ему было невозможно, мой отец настоял, чтобы его перевезли в больницу (кажется, на Аллее Роз). Каждый день его навещали

попеременно Викулин, Спекторский и мой отец. Вести из больницы приходили все печальнее — очевидно, и плохое сердце, и надорванный организм не смогли бороться с болезнью. А. Л. сознавал это и просил выписать сына, жену и дочь. Но конец наступил раньше, и приехавшая семья не успела с ним проститься. Благодаря этому печальному для нашей семьи событию мы познакомились с женой А. Л. (урожденной Беляевой), с А. А. и дочерью Ангелиной. Все трое бывали у нас и отдельно, и вместе.

Мой отец был одним из душеприказчиков А. Л., но я не помню, в чем это выражалось. Как я уже говорила, им был оставлен солидный капитал, но как распорядился им А. Л., я не могу припомнить. Дети, конечно, не были забыты.

Похороны А. Л. были торжественные и грустные. Было много его коллег, много венков, говорились речи. Но мало было душевной печали. Плакала Ангелина, плакали мы, потеряв друга, был очень удручен Спекторский. Потеря эта для нашей семьи была очень ощутительна.

Долго еще после казалось, что вот придет он, как всегда, немного сгорбившись, быстрой походкой, слегка сгибая колени на ходу и везя ногами, обойдет всех, здороваясь, и сядет на свое всегдашнее место рядом с отцом. С ним лишились мы преданного друга и самого интересного собеседника.

С Ангелиной я сразу подружилась. Это была прелестная, милая девушка, умная, развитая. Внешность ее очень подходила к ее имени. Я звала ее Ангелочком.

Ко мне она почему-то сразу почувствовала симпатию. Мы проводили с ней целые часы в интересных беседах. Об отце она говорила мало, так как мало и знала его, но жалела его искренно.

Возвратившись в Петербург, она писала мне письма на отвлеченные темы красивым слогом и всегда под конец выражала надежду на встречу. Но видеться нам, к сожалению, так и не удалось. . .

К брату у нее было какое-то благоговейное чувство; она гордилась им, но слишком он был сложная натура, чтобы быть только родственным, только семьянином и братом. Мы все знаем, что прежде всего он был поэтом. Ангелина писала мне, что виделись они редко и что он очень занят.

Между прочим, встреча дочери и сына очень волновала А. Л. Как ни странно, но он очень часто серьезно говорил о том, что боится этой встречи и возможного увлечения детей друг другом.

— Как это бывает в романах, — говорил он.

Такие же странные опасения высказывал он совершенно серьезно моей матери и в отношении меня, боясь, что я, в то время увлеченная интересной и интенсивной перепиской с певцом Баттистини, называвшим меня своим другом, могла увлечься им, и тогда несчастье это принесло бы много огорчений мне и моим родителям. . . Мы, конечно, смеялись, так как ничего подобного не могло случиться.

Перепиской этой сам А. Л. живо интересовался, и, так как она была почти всегда на отвлеченные темы, мы часто вместе с ним разбирали не всегда разборчивый почерк Баттистини, писавшего мне на своем родном языке.

И случилось так, что Ангелина у нас познакомилась с своим братом, за завтраком. Она очень волновалась, ожидая эту встречу. Поздоровались они сердечно, просто, но было странно подумать: что мешало брату и сестре увидеться гораздо раньше, живя в одном и том же городе?

А. А. задержался после похорон на некоторое время в Варшаве и бывал у нас часто.

Мне сейчас очень трудно вспомнить каждое из этих посещений. и все то, что говорил он, но одно я твердо помню и знаю, что об отце своем он не сказал ни одного недоброго слова и ни одного осуждения или упрека ему, и, хотя, видимо, он не очень был огорчен этой смертью, все же он переживал ее по-своему. Он часто бывал задумчив, рассеян, не сразу отвечал на вопросы.

Впрочем, может быть, он всегда был таким — не знаю. Поэты ведь не подходят под общую рамку людей.

Из наших общих разговоров с А. А. я удержала в памяти спор между ним и кем-то из наших гостей.

А. А. говорил о том, что слишком большая скученность людей в городах мешает творчеству, вредит здоровью и вообще усложняет жизнь.

— Поэтому, — говорил он, — чтобы оздоровить людей в городах, необходимо им быть ближе к природе; строить дома в садах — фаланстерии, — где бы люди не мешали друг другу. Оппонировавший ему доказывал, что ведь через некоторое время та же скученность людей образуется и там и будет «город за городом», причем может получиться нехватка хорошей земли для всех, и кому-нибудь придется жить в таких же плохих условиях, в сырой местности, и т. д. — Таким образом, цель — оздоровление — не будет достигнута. Но А. А. отстаивал свои планы. Осталось в памяти у меня еще, как на чье-то замечание «это не поэтично», он сказал, улыбаясь:

— Что такое значит «не поэтично»? Два или три раза в день есть — тоже не поэтично, жить в городе — тоже не поэтично, не поэтично ездить на извозчиках и т. д.

Это запомнилось почему-то.

Конечно, говорил он много более интересного, но длинная вереница тяжелых дней, пережитых после, естественно, пресекла многое в моей памяти.

В одно из посещений — это было вечером, как раз во время игры на рояли Софроницкого, я робко отдала ему на суд свои стихи и очень волновалась, пока он их внимательно читал тут же. Он похвалил одно мое стихотворение, только что написанное тогда мною — мелодекламация на музыку Оскара Недбал — «Valse triste». Он похвалил музыкальность стихов, их лирику и содержание, но о форме сказал, что она устарела. Это были очень лирические, очень женские стихи. Я очень беспощадна в оценке своих стихов и потому сочла тогда похвалу А. А. за простую светскую любезность. Тем не менее, прощаясь перед отъездом, он вспомнил о них и сказал:

— Работайте над стихами.

Заканчивая свои воспоминания об А. Л., я перечла все написанное мною, и в моей памяти вдруг встал один эпизод — иллюстрация того, что родственное и даже нежное чувство к детям жило в этом непонятном человеке.

Однажды А. Л. пришел к нам какой-то торжественный, праздничный. Глаза его мягко светились. Он сказал нам, смущенно и радостно улыбаясь:

— А я — дедушка! У сына ребенок родился. Значит, мой род не погибнет...

И он улыбался, счастливый, когда мы его поздравляли. Вероятно, он любил детей. Я помню, как потом, когда подросла моя племянница, было странно и необычно видеть, как этот человек науки, не от мира сего, целовал ручку девочки, сажал к себе на колени, что-то с ней говорил...

Ведь все эти гаммы семейной жизни были им почему-то добровольно оборваны, и, раб науки, а может быть, своей злой воли, разрушившей его семейный очаг, он жил одиноко, неуютно, заброшенно. Почему? Почему он мог так внимательно, сердечно относиться к нашей семье, в сущности, чужой ему, жить нашими интересами, имея возможность пользоваться всеми радостями семейной жизни, жить с милой умницей дочкой, о которой он, собственно говоря, так редко говорил?

В ответ на этот мой вопрос мне сейчас вспомнились слова одного итальянского писателя:

«Душа человеческая — как огромный, непроходимый, таинственный лес, в котором не знаешь, где кончается тень и начинается свет».

ПЕРЕПИСКА БЛОКА С С. М. СОЛОВЬЕВЫМ
(1896—1915)

Вступительная статья, публикация и комментарии
Н. В. Котрелева и А. В. Лаврова

В своем троюродном брате Сергее Михайловиче Соловьеве (1885—1942) Блок встретил в пору первых поэтических опытов собрата по духовным исканиям. Дружба подростков переросла в глубокую внутреннюю связь, самым значительным образом повлиявшую и на раннего Блока, и на идейное и творческое становление Соловьева — поэта, прозаика, критика, литератора «второго плана», но самостоятельного и заметного в истории русского символизма. Яркие и сложные отношения Блока и Соловьева полно отразились в их переписке, поэтому здесь мы ограничимся лишь самой обобщенной характеристикой этих отношений. В них отчетливо выделяются три этапа: первый, самый значительный и плодотворный, — с начала внутреннего сближения в конце 1890-х годов по 1905 г.; второй — 1906—1909 гг. — разрыв между Соловьевым и Блоком; третий — с конца 1910 г. — восстановление дружбы. Эти три этапа соответствуют по сути дела, трем фазам внутреннего развития Блока, запечатленного его трехтомным собранием стихотворений.

Общение Блока и Сергея Соловьева было непосредственно предопределено дружбой их матерей и — шире — атмосферой «профессорской культуры», окружавшей их с младенчества, воспитанием в кругу больших семей русской интеллигенции. Бабушки поэтов — А. Г. Коваленская и Е. Г. Бекетова, урожденные Карелины — были родными сестрами, но отношения между ними складывались конфликтно. «Антагонизм между Коваленскими и Бекетовыми был, т. е., собственно, был между А‹лександрой› Гр‹игорьевной› и моей матерью; молодые были в хороших отношениях», — пишет М. А. Бекетова, сестра матери Блока, сообщая отдельные подробности этого межсемейного соперничества и нерасположения, и свидетельствует: «Сестру Асю или Алю оценили впоследствии Соловьевы, особенно Оля ‹. . .›, другие ее совершенно не понимали» [1]. Дочь А. Г. Коваленской Ольга Михайловна, вышедшая замуж за Михаила Сергеевича Соловьева, брата философа, и Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух особенно сблизились в 1890-е годы на почве сходных духовных и художественных интересов. «Бекетовы одно время жили в Дедове, и двоюродные сестры вырастали вместе, — писал С. Соловьев в биографическом очерке о своей матери. — Однако, насколько мне известно, особой близости между моей матерью и двоюродной сестрой Асей или Алей Бекетовой в юности не было. Сошлись они поздно, когда сын «Али» А. Блок уже был юношей. В течение ряда лет моя мать раскрывала Але свою душу в письмах» [2]. Мать Сергея Соловьева была даровитой переводчицей (ею были переведены на русский язык «Сер Мар» Альфреда де Виньи, «Человек-невидимка» Герберта Уэллса, сочинения Джона Рескина и многие другие произведения) [3], художницей и тонкой ценительницей искусства. В ее лице мать Блока, со своим интересом к новейшим художественным исканиям Запада и особенным пристрастием к Бодлеру, со своим вниманием к первым выступлениям русских «декадентов», отрицаемых всем окружением семейства Бекетовых, нашла себе увлеченную собеседницу [4]. Естественно, что матери позаботились и о сближении своих сыновей. Говоря в недатированном письме 1897 г. к А. А. Кублицкой-Пиоттух о чтении произведений новой литературы, О. М. Соловьева сообщала: «У нас вообще много читается всего этого, наше подрастающее поколение — Сергей и его друг Боря Бугаев, которому, впрочем, уже 17 лет, с головою погружены в поэтов. Сергею это немножко рано, но что же делать, он очень любит Борю, а Боря на этом замешан. Как жаль, что Саши нет здесь!» [5]

Хотя Сергей Соловьев и был пятью годами моложе Блока, это не помешало им сблизиться: Сергей был не по годам развит. Андрей Белый, узнавший Соловьева, когда тому было десять лет, едва ли ошибался, набрасывая впоследствии полуиронический портрет своего друга юности в поэме «Первое свидание»:

«Сережа Соловьев» — ребенок,
Живой, смышленный ангеленок,
Над детской комнаткой своей
Восставший рано из пеленок ‹. . .›
Трех лет, ну право же-с, ей-богу-с, —
Трех лет (скажу без лишних слов),
Трех лет ему открылся Логос,
Шести — Григорий Богослов,
Семи — словарь французских слов;
Перелагать свои святыни
Уже с четырнадцати лет
Умея в звучные латыни,
Он — вот, провидец и поэт,
Ключарь небес, матерый мистик,
Голубоглазый гимназистик [6].

Уже первая памятная Соловьеву встреча с троюродным братом в Шахматове летом 1896 г. заключала в себе «литературный» элемент: Блок-гимназист выпускал тогда рукописный журнал «Вестник», который заполнял преимущественно собственными произведениями, и предложил участвовать в нем Соловьеву. В № 7 «Вестника» за июль 1896 г. редактор А. Блок особым примечанием «от редакции» просил «гг-д подписчиков обратить особенное внимание на рассказ «Попадья» Сергея Михайловича Соловьева» [7]. Кроме «Попадьи» в «Вестнике» в 1896—1897 гг. появились и другие детские сочинения Соловьева. Но та же первая сознательная встреча была отмечена и эпизодом, как бы предзнаменовавшим будущие мистические упования, сроднившие троюродных братьев на рубеже веков. «Желая поговорить со мною на интересующую меня тему, — пишет Соловьев в мемуарном очерке о Блоке, — он завел речь о богослужении. Предложил отслужить вместе утреннюю литургию в саду и достал откуда-то подобие ораря. Утром жители Шахматова были неожиданно разбужены довольно странными возгласами, доносившимися из сада» [8].

В течение нескольких лет встречи Блока и Соловьева были случайными, но интерес друг к другу накапливался. Блок написал матери 7 августа 1898 г. из Дедова (имения Коваленских), где он был в гостях, что Сережа — «мальчик очень симпатичный и славный» [9], а О. М. Соловьева сообщала матери Блока, что «Сережа от него в восторге, и Саша сделался для него авторитетом решительно во всех вопросах» [10]. Этот авторитет в значительной степени объяснялся стихами Блока, первыми ценителями которых стало семейство Соловьевых. «Уже его поэтическое призвание вполне обнаружилось, — вспоминал о Блоке лета 1898 г. Соловьев. — Во всем подражал Фету, идей еще не было, но пел. Писал стереотипные стихи о соловьях и розах, воспевал Офелию, но уже что-то мощное и чарующее подымалось в его напевах» [11]. Тогда же в Дедове, 8 августа 1898 г., как удостоверяет помета Блока, Соловьев впервые записал в беловую тетрадь блоковских стихотворений свое — «Море жизни» [12]; затем это станет традицией: в беловые тетради Блока занесено множество отроческих стихотворений Соловьева 1898—1903 гг. Большая часть их красноречиво свидетельствует, что юный стихотворец находится под гипнотическим воздействием поэзии Вл. Соловьева и ранних лирических опытов Блока. Достаточно привести хотя бы два стихотворения, переписанные Соловьевым в тетрадь Блока в Дедове летом 1901 г. Первое датировано сентябрем 1900 г.:

Солнце прорвало тяжелую тучу
Ярким лучом.
Свет проливается в душу могучим
Теплым ключом.

Все умолкает пред силою вечною
Чистой волны.
Только летают вокруг бесконечные
Бледные сны [13].

Второе написано в марте 1901 г.:

О, не верь во власть земного тленья!
Это все пройдет, как душный сон.
Лишь лови нетленные мгновенья,
В них огонь бессмертья отражен.

И за этот краткий миг прозренья
Ты забудешь все, чем дорожил,
Воспаришь над злом земного тленья,
Оглушен гармонией светил.

И зажгутся в мыслях ярким светом
Пред тобой священные слова.
И на сердце, пламенем согретом,
Отразится сила божества [14].

Нужно оценить, однако, как черту знаменательную то, что Блок позволяет, и, по-видимому, охотно, Соловьеву вписывать стихи в свою беловую тетрадь: так создается общая книга лирики, что возможно лишь в том случае, если признается внутреннее единство между стихами друга и своими собственными. И еще нужно отметить, что на каждое свидание с Соловьевыми, первыми его почитателями, Блок является с «полным собранием стихотворений» — с беловой тетрадью: об этом можно судить как раз потому, что от каждой встречи в этой тетради остаются стихи Сережи.

Видя в Блоке духовного собрата, Соловьев посвящает ему несколько стихотворений. Самое раннее из них — «Изломан жаждой сладострастья. . .» (с пометой: «Посвящается А. А. Б.») написано в Дедове 16 августа 1898 г.[15], за ним последовало стихотворение «Истертый в прах, подавлен миром. . .» (написано в Дедове 13 июня 1899 г.):

Посвящается А. А. Б<локу>.

Истертый в прах, подавлен миром,
Измучен пошлостью людской,
Склонился я перед кумиром
Своей презренной головой.
Но голос твой раздался ясно,
Меня воззвал из темноты,
И я увидел, что ужасно
Незнанье чистой красоты.
Я понял твой размах могучий
И дух мой с ним соединил,
И с ним теперь лечу над тучей
Исполнен новых свежих сил [16].

В этом отрочески-наивном стихотворении — тот, однако, уже образ поэта, являющего миру «чистую красоту», который только и видел в Блоке Соловьев почти до самого столкновения 1905 г. Точнее, самый конфликт вызван был борьбою Соловьева за этот некогда открывшийся в друге образ, которому Блок, по убеждению Соловьева, изменил — но мы забегаем вперед.

11 августа 1901 г. Соловьев рассказывал в письме к Андрею Белому, что рядом с Блоком он — «в своей природной стихии», пропитанной Вл. Соловьевым [17]. Андрей Белый отнесся к стихам и направлению духовных исканий Блока с восторгом, поддерживая своим авторитетом старшего настроения юного Соловьева и способствуя созданию для Блока круга увлеченных читателей задолго до того, как тот стал публиковать свои стихотворения. Переживания рубежа веков как перелома в судьбах мира, ощущения близящегося наступления «всего нового», просветленные мистические экстазы и упования, взращенные на философских пророчествах Владимира Соловьева, обнаружили себе в стихах Блока поддержку и подтверждение. Сергей Соловьев был фанатичным исповедником имени своего дяди; мы говорим «имени», а не философии, не — даже — мистического учения, поскольку то, что юный Сергей Соловьев, утверждавший себя едва ли не единственным истинным толкователем идей и пророчеств Вл. Соловьева, выдавал за конечный итог «со-

ловьевства», на деле было достаточно произвольным и декларативным выводом из писаний философа и поэта. Та же фанатичная негибкость определила и отношение Сергея Соловьева к Блоку с самого начала. Однако именно в эту первую пору, в 1901—1903 гг., ни лирика Блока, ни его мироотношение в целом не противоречили тому, как понимал их Соловьев, как их развитие рисовалось ему в будущем. Единодушие было, по-видимому, истинным; в поэзии старшим и ведущим был Блок, общемировоззренческие установки Соловьева были громогласнее, но Блоку неощутима еще была их стеснительность. Побратимы были согласны в том, что Блок в письме к Соловьеву от 8 октября 1903 г. (№ 17) называл многозначительно «*все* остальное». А Соловьев признавал лирику Блока голосом собственных взглядов и чувств, красноречива его помета при стихотворении 1902 г. «Сонет» («Торжественная песнь неслась по темным сводам. . .»), вписанном в блоковскую тетрадь, по всей вероятности, в дни свадьбы Блоков: «Мне в этом стихотворении не удалось выразить то, что в совершенстве удалось выразить Блоку»[18].

Безусловно, и Блоку было радостно встретить такую отзывчивость и понимание, какие выказывал к его творчеству юный «матерый мистик». Братство, созвучие душ ощущались обоими как драгоценное обретение, эзотерический союз был достигнут. Четыре стихотворения Блока 1901—1903 гг. из будущего первого тома собрания стихотворений посвящены С. Соловьеву: «Она росла за дальними горами. . .» (I, 103), «Входите все. Во внутренних покоях. . .» (I, 111), «Бегут неверные дневные тени. . .» (I, 150), «У забытых могил пробивалась трава. . .» (I, 274), — типичнейшие произведения Блока этой поры, исполненные тихого, молитвенного преклонения перед «тайной» и женственным символом неизреченного, того чуждого эпохе «прерафаэлитства», которое казалось желанным поэту еще весной 1903 г. (см. п. 10), но в самом близком времени стало представляться уже недосягаемым прошлым (см. п. 22).

На свадьбе Блока Сергей Соловьев был шафером и отнесся к ней как к мистерии: «дело близилось к *реальному откровению*», как признавался он Белому в письме от 2 сентября 1903 г.[19] Восторженные отзывы Соловьева о невесте сохранил Блок: «Лучше не видал и не увижу», «Идеальная женщина» (ЗК, 54). Свадьба в представлении Соловьева развернулась в событие мировое, а Любовь Дмитриевна была воспринята им как самое непосредственное воплощение высшего женственного начала. Все эти восторги вылились в широковещательные риторические стихи, где библейско-христианские символы сплетались с отзвуками Бальмонта и пушкинских сказок (последнее, впрочем, Блоку понравилось), и все это должно было прославить всемирное торжество Света, свершившееся в таракановской церкви, когда бракосочетались А. А. Блок и Л. Д. Менделеева (см. пп. 13 и 17). Блоку стихи, как он и писал Соловьеву, не понравились. И в стихотворном «Ответе», не сомневаясь еще, как будто, в истине заветов, возглашаемых побратимом, Блок оговаривает необходимость для себя уединения, замкнутости в своем и по тому не сходном с хилиастическими ликованиями хора «соловьевцев» —

Смотрю сквозь тонкий пар сомнения
. . . . . .
Твои слова — любимый клик,
Спокойный зов к осенним дням,
Я их люблю — и я привык
Внимать и верить глубинам.
Но сам — задумчивей, чем был,
Пою и сдерживаю речь.
Мой лебедь здесь, мой друг приплыл
Мою задумчивость беречь.

(I, 537)

Однако еще и Блок, несомненно, не замечал, не ожидал, что эти расхождения в тоне переживаний предвещают резкий разрыв с другом. Если свадьба была первой кульминацией этой дружбы, то второй стало пребывание в январе 1904 г. Блока с женой в Москве, где он впервые встретился с Андреем Белым и провел две недели в постоянном общении с ним и с Соловьевым. Был заключен своего рода тройственный союз, вновь пережита радость «единения в мистической идее Владимира Соловьева»[20]. Пребывание в Москве, по дням изложенное Блоком в письмах к матери (VIII, 81—88) и в записной книжке

(ЗК, 58—60), впоследствии в ярких подробностях воскрешенное Андреем Белым в мемуарах, вызвало у него особенно сильный прилив чувств мистического братства и ответственность в деле служения высшему идеалу:

Сторожим у входа в терем,
Верные рабы.
Страстно верим, выси мерим,
Верно ждем трубы.
. . . . . .
В светлый миг услышим звуки
Отходящих бурь.
Молча свяжем вместе руки,
Отлетим в лазурь.

(I, 316)

Нет необходимости подробно характеризовать эту пору взаимоотношений Блока и Соловьева — она достаточно полно прослеживается в их переписке и получает дополнительный отсвет в истории отношений Блока и Белого, хорошо известной и по переписке, и по воспоминаниям Белого. Подчеркнем только, что эзотерический союз Блока — Белого — Соловьева предполагал противодействие как самодовлеющему «декадентству», т. е. «скорпионовской» и «грифовской» группам поэтов, так и религиозному обновленчеству, пропагандировавшемуся журналом «Новый путь» и прежде всего Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус. Искания последних представлялись сомнительными с точки зрения верности мистическим заветам, которые Блок, Белый и Соловьев вычитывали у Вл. Соловьева и полагали последним откровением христианства; необходимо отметить, что из них троих наиболее озабочен был собственным правоверием Соловьев, менее всех — Блок, писавший откровенно Белому 1 августа 1903 г.: «Еще (или уже, или никогда) *не чувствую* Христа. Чувствую *Е е*, Христа иногда только *понимаю* <. . .> *Б о ю с ь е щ е* (м<ожет> б<ыть>, перестану бояться) утратить Соловьевские костыли, подпиравшие меня *сильно* (при жизни Мих<аила> Серг<еевича>)» [21].

Как ни зыбка была мистика «соловьевцев», им самим она представлялась твердыней, цитаделью, где они готовились к битве и с «декадентами» и с Мережковскими. И с теми и с другими у «соловьевцев» были сближения и расхождения, но взгляд со стороны, «из амбразуры» сохранялся неизменно, равно как и ощущение прочности и особой значимости достигнутого внутреннего союза, оставшегося высшим критерием в отношении к обступающему литературному окружению. Не случайно Блок признавался 28 марта 1905 г. в письме к отцу: «Встречи с разнообразными людьми учащаются <. . .> И все-таки ближайшими людьми остаются Сергей Соловьев, Борис Ник. Бугаев (Андрей Белый) и Евг. Павл. Иванов (из «Нового пути») (VIII, 123).

В 1904 г. отношения Блока и Соловьева по-прежнему еще светлы и безмятежны. Весной Соловьев, заканчивавший в это время гимназию и державший экзамены на аттестат зрелости, несколько раз приезжал к Блоку в Шахматово. Но несколько месяцев спустя стали обнаруживаться первые признаки явного взаимонепонимания, которое к 1905 г. уже угрожало разразиться серьезным конфликтом. Причины тому коренились прежде всего в новых акцентах мироощущения Блока и набиравших все большую силу мотивах его творчества, которые вносили разлад и в его собственную мифопоэтическую систему, и в представления о нем, поэте и человеке, которые сложились у друга. Блок неуклонно устремлялся к переоценке ценностей, возвещанных им в «Стихах о Прекрасной Даме», Соловьев и Белый ожидали от него верности объединившим их заветам. В июне 1905 г. в Шахматове эти противоречия выплеснулись наружу, притом в самой резкой форме, между Блоком и Соловьевым, который занимал в вопросе следования «мистическому пути» наиболее догматическую позицию. Белый вспоминал об этой поре: «Я видел двойное непонимание друг друга двух лучших моих друзей <. . .> Я хотел сгладить, стушевать острые углы в этом начавшемся расхождении между С. М. Соловьевым и А. А., расхождении, которое стало уже совершившимся фактом в те дни и которое продолжалось почти до кончины А. А.» [22].

Проблема верности «мистическому пути» и уклонения от него стала самой острой в отношениях Соловьева и Блока, но разногласия усиливались и благодаря все отчетливее

обозначавшимся противоречиям в творческих устремлениях поэтов. Белый отмечал, что летом 1905 г. в Шахматове «вместо прежних интимных бесед поднимались литературные разговоры», — при этом Соловьев, преклонявшийся тогда перед Брюсовым, стремился к «чеканке переживаний» и отвергал «романтическую невнятицу» Блока [23]. Под «романтической невнятицей», конечно, прежде всего подразумевалось угасание в творчестве Блока темы «Прекрасной Дамы» и появление новых, еще не вполне ясных символов, диссонировавших с прежней поэтической системой. Но Соловьев был в принципе прав, когда утверждал особую роль чисто литературного элемента в разладе с Блоком: «Мы разошлись с Блоком прежде всего во взгляде на поэзию. Блок отстаивал стихийную свободу лирики, отрицал возможность для поэта нравственной борьбы, пел проклятие и гибель. Я всегда стоял на той точке зрения, что высшие достижения поэзии необходимо моральны, что красота, по слову Влад. Соловьева, есть только «ощутительная форма добра и истины» [24]. При всем сходстве первоначальных лирических импульсов Блок и Соловьев действительно в ходе творческого становления оказались на противоположных полюсах символистской поэзии, стали выразителями различных творческих принципов: у Блока преобладает музыка стиха, у Соловьева — пластика образа; у Блока на первом плане — субъективный мир поэта, в котором преломляется внешний мир, у Соловьева — тяготение к передаче мира в его объективной данности; у Блока — самодовлеющая лирика, у Соловьева — тяготение к эпике даже в лирических сюжетах. Для Блока ценны «невнятица» и исповедальность непосредственного самовыражения, для Соловьева — мастерство и ясность «внешнего» творчества. Соловьев в своих творческих ориентациях стал «классиком», Блок — бесспорным «романтиком». Если вернуться к формулировкам, употребительным в символистскую эпоху, то Блок был выразителем «дионисийского» начала, а Соловьев — «аполлонического». О «дионисийстве» «Снежной Маски» говорил Вячеслав Иванов [25], а Андрей Белый в рецензии на первую книгу стихов Сергея Соловьева «Цветы и ладан» подчеркивал, что «образы его — аполлонический сон над бездной» [26]. Не случайно критики неизменно отмечали в наиболее удачных стихотворениях Соловьева в первую очередь «безупречную ясность и чистоту стиля» [27], «прекрасную ясность», свойственную «нео-пушкинианцам» начала века, и «ревность по строгой форме» [28], следование А. Майкову — «иногда даже превосходя последнего чеканкой стиха и силой изобразительности» [29].

Многие стихотворения Соловьева — только вариации на заданную тему, часто привлекаемые им исторические сюжеты реализуются сугубо описательно; так, большая драматическая поэма «Саул и Давид» (1904) [30], в сущности, лишь пространно иллюстрирует слова «А от Саула отступил дух господень, и возмущал его злой дух от господа» (Первая книга Царств, XVI, 14) и не привносит ни самостоятельного художественного содержания, ни своеобразия в трактовку знаменитых библейских образов. Эти особенности поэтики Соловьев сохраняет и в самых зрелых произведениях. Они выводят лирику Сергея Соловьева за рамки основных стилистических особенностей той литературной школы, в которой он выступал — при всем том, что творчество Соловьева и тематически, и в области формальных установок, и в мировоззрении имеет много точек соприкосновения с поэтическими мирами таких разных художников, как Блок, Брюсов, Вяч. Иванов, Кузмин и др. Ориентация на доромантическую поэтику [31], привязанность к темам и стилям прошлых эпох (в особенности — классицизма), отказ от характерных проблем своего времени, отказ, наконец, от основного принципа современной большой поэзии (согласно которому в поэзии важнее всего неповторимость индивидуальности), — все это не в меньшей степени, чем и явная ограниченность дарования Соловьева, предопределило отзыв о нем Брюсова (в рецензии на книгу «Апрель»): «талантливый ученик», который не вырос в «самостоятельного мастера» [32].

Разнонаправленность поэтических устремлений Блока и Соловьева сказывалась, по-видимому, всегда, но если в первую пору еще не окончательно определившийся «классик» Соловьев и уже вполне определившийся «романтик» Блок, при сходстве духовных идеалов, находили общий язык, то после того, как в поэзии Блока начали все отчетливее прослеживаться новые мотивы, стало меняться и отношение Соловьева к блоковской музе. О стихах, высланных Блоком Белому в письме от 2 октября 1905 г., — среди них были такие характерные для «нового» Блока произведения, как «В кабаках, в переулках, в извивах. . .», «Иду — и все мимолетно. . .», «Она поет в печной трубе. . .», «Невидимка»,

«Она веселой невестой была. . .», «Девушка пела в церковном хоре. . .» и др.[33], — Соловьев отозвался однозначно: «белиберда» [34]. Год спустя, рецензируя «Нечаянную радость», Соловьев не высказал своего мнения с такой откровенной лапидарностью, напротив, он даже нашел слова одобрения, утверждая, что «среди современных поэтов немногие обладают такою напевностью, как Блок», что «грусть Блока — свежа, прозрачна, хрустальна» и что «в лучших стихотворениях он достигает величавой простоты и спокойствия»; своего приговора он еще не мог публично произнести с полной откровенностью, однако в рецензии сказывается и горечь разуверения от того, что во второй книге стихов Блок отрешился от «апокалиптичности», наполнявшей его первую книгу: «Нет! это — не Блок!» — воскликнут многие, читавшие и любившие «Стихи о Прекрасной Даме». Угас «уголь пророка», «вонзенный в сердце» страстного рыцаря Мадонны. Свеялась дымка апокалиптических экстазов. Поэт освободился от того наносного, что казалось его сущностью. Он нашел себя, свой напев, свои краски. Спала тусклая позолота древнего нимба, расклубился таинственный фимиам перед престолом «Жены, облеченной в солнце», тряские болота проглотили «придел Иоанна», куда случайно забрел непосвященный: и на месте храма зазеленели кочки, запрыгали чертенята. . . Дремотная лира! не сбылись надежды, иссякли пророчества» [35].

Расхождения, наметившиеся между Блоком и Соловьевым в 1905 г., на следующий год привели к фактическому разрыву отношений. После появления «Балаганчика» Соловьев отказывается от какого-либо общения с Блоком. 14 марта 1906 г. он сообщил Брюсову: «Я открыто поссорился с Блоком и написал ему сонет со следующим двустишием:

Ты, верно, думаешь, что мысль твоя глубока!
Но ошибаешься: ты просто лежебока» [36].

Отзывы Соловьева о Блоке приобретают преимущественно пренебрежительный и даже оскорбительный характер. «Относительно книги Блока вполне с тобой согласен, — писал он 31 января 1907 г. Андрею Белому о «Нечаянной радости», уже не скованный дипломатическими условностями жанра журнальной рецензии. — Идиотство и гениальность. Преобладает первое. Замечательно, что Блок первый в истории литературы совместил идиотство с дарованием» [37]. Характеризуя в письме к Брюсову от 17 августа 1907 г. июльский номер «Весов», Соловьев коснулся и помещенного в нем «Третьего видения» пьесы Блока «Незнакомка»: «Незнакомка» была бы б‹. . .› хоть куда, но, к сожалению, кузен мой по старой памяти во всякой б‹. . .› прозревает нечто вроде «Девы Марии», а под конец переносит действие в Шотландию и твердит о Мэри» [38]. Насмешливо-издевательское отношение к «новому» Блоку, Блоку лирических драм и второго тома стихотворений, обнаруживало не только эстетическую глухоту Соловьева, но и принципиальное неприятие «разрушительных» тенденций в творчестве поэта, трагического перерождения Прекрасной Дамы и новых символов и «масок», овладевших сознанием Блока.

Резкая и болезненная перемена в отношении Соловьева к Блоку и его поэзии, к Блоку сегодняшнему и прошлому (поскольку сквозь измену в настоящем прошлое, мы видели, представлялось позой: «поэт освободился от того наносного, что казалось его сущностью») сопровождалась и разочарованием в Л. Д. Блок. Былое восторженное преклонение перед нею, граничившее с прямым прозрением в ней Софии небесной и с готовностью объявить о том во всеуслышание, сменилось третированием ее имени. Произошло это сравнительно скоро после разрыва с Блоком, несмотря на то, что ближайший друг Соловьева Андрей Белый был безнадежно влюблен в Л. Д. Блок. В значительной степени все объяснялось коренной особенностью личности Соловьева: собственную сегодняшнюю веру он считал истиной абсолютной и требовал признать ее таковой ото всех. Но в этой односторонности была и своя логика.

В самом деле, и Соловьев к тому времени уже не оставался прежним восторженным мистическим юношей: внутренние искания, стимулированные занятиями классической филологией в Московском университете, ведут его ко все усиливающемуся преклонению перед «язычеством» и античной культурой, перед стихией «земной» страсти; от сборника к сборнику — от «Цветов и ладана» к «Апрелю» и затем к «Цветнику царевны» — темы радости земного бытия все чаще затмевают религиозно-экстатические, «теократические» мотивы и библейско-евангельские сюжеты. Но исходные идеалы, хотя и отошли на второй план, остались священными и неприкосновенными. В рецензии на «Цветы и ладан» Б. Са-

довской метко указал, что «в поэзии г. Соловьева ладан молитв и возвышенно-неземных созерцаний смешивается с ароматами живых цветов, с гимнами земной красоте» [39]. Именно смешивается, а не соединяется в новое поэтическое целое. Соловьев мог сочетать в себе две системы ценностей, но не мог оправдать трансформации одной в другую, взаимопроникновения чужеродных начал. И превращение «Прекрасной Дамы» «Девы-Зари-Купины» в «Незнакомку», «Снежную Маску», «Фаину» он ощущал в первую очередь как кощунственное надругательство над святыней и не видел этому объяснения или оправдания: сколь сильным было его восхищение ранними стихотворениями Блока, столь же сильным оказалось и неприятие новых мотивов. Именно так отнесся Соловьев к пародийным выпадам в «Балаганчике», не без оснований увидев в них насмешку над общими для него и юноши Блока мечтами и мистическими упованиями. Если даже Белый воспринял «Балаганчик» как «удар тяжелейшего молота» [40], то Соловьева с его несравненно более догматичным подходом к общим «соловьевским» заветам пьеса Блока привела в полное негодование: «Какова же была его злость, — вспоминает Белый, — когда в шедевре идиотизма (слова его), или в «Балаганчике», себя узнал «мистиком»: с провалившейся головой. — Нет, каков лгун, каков клеветник! — облегчал душу он» [41]. И если отношения Белого с Блоком в 1906—1907 гг. все же сохраняются, хотя и сводятся к нагромождению обид, непониманий, бурных ссор и мучительных объяснений, то отношения между Блоком и Соловьевым сходят на нет. Былая дружба, интимная доверительность уже невозвратимы, и взаимная отчужденность становится питательной почвой для резких печатных отзывов друг о друге. 1906—1909 годы — второй этап отношений С. Соловьева и Блока — характеризуется ожесточенной публичной полемикой между ними.

Взаимные полемические выпады Блока и Соловьева стали эпизодом той литературной распри, которая развязалась по поводу «мистического анархизма» и разъединила символистов на два противоположных лагеря. Блок и Соловьев не были инициаторами и главными участниками журнальной полемики, но их личное столкновение сделалось только определеннее и жестче на этом фоне: Соловьев был вместе с другими критиками из «Весов» в числе ниспровергателей «мистического анархизма», в котором видел «подрыв устоев морали, эстетики, религии» [42]; Блок, хотя и не являлся адептом «мистико-анархических» идей, оказался в противоположном «Весам» литературном стане.

В рецензии на вторую книгу сборника «Свободная совесть», написанной осенью 1906 г., Блок коснулся помещенных в ней произведений Соловьева еще очень осторожно. Он уклонился от разбора напечатанной там драматической поэмы «Саул и Давид» (хотя из нескольких отведенных ей строк ясно, что это произведение оставило Блока равнодушным), зато похвалил стихотворение Соловьева «Свете тихий», отметив, что это «истинное украшение книги, пожалуй, лучшее стихотворение, какое есть в ней» (V, 632—633). Однако немногим менее года спустя, в разгар символистской междоусобицы, он дает в статье «О лирике» подробный и весьма нелицеприятный отзыв о «Цветах и ладане». Утверждая, что в книге «все те немногие стихотворения, где есть истинная поэзия, пахнут ладаном, запаха же цветов во всей книге Сергея Соловьева нет ни малейшего» (V, 155—156), — Блок как бы отграничивает стихи Соловьева периода их общности от новейших опытов, прежний «ладан» предпочитая появившимся «цветам». В целом же книга получает беспощадную оценку: «Сам Сергей Соловьев придает своим стихам значение только *ученического опыта* <. . .> Я бы сказал еще резче: это — только справочная книга для поэтов, и все стихи, которые автор произвольно соединил в стихотворения, должны быть разделены на правильные категории, распределены по графам; каждая графа должна объединить в себе однородные примеры образов удачных и неудачных, рифм плохих и хороших и т. д., и т. д.» (V, 151). И Блок не скупится на примеры, подтверждающие его заключения о банальности образов и отсутствии «напева» в поэзии Соловьева.

Стремясь объяснить Андрею Белому резкость своего отзыва о «Цветах и ладане», Блок писал ему 1 октября 1907 г.: «Бичуя себя за лирические яды, которые и мне грозят разложением, я стараюсь предупредить и других. Но, ценя высоко лирический *лад* души, который должен побеждать лирическую распущенность, я не люблю, когда стараются уладить все средствами; посторонними лирике, хотя бы — «градом, обещанным религиями». Отсюда — моя статья о Сереже, в которой Ты, как знающий и меня и Сережу, можешь прочесть между строк бесконечные ненаписанные примечания — о моем отношении к Сереже, о моей осторожности, хотя относительной» (VIII, 212).

Нужно сказать, однако, что подспудные токи, которые Блок предлагал Белому уловить в его критике стихов Соловьева, все же, видимо, были ощутимы только для самого Блока, и не удивительно, что Соловьев увидел в статье лишь жестокий приговор своему поэтическому таланту.

Ответное выступление Соловьева — «Г. Блок о земледелах, долгобородых арийцах, паре пива, обо мне и о многом другом» [43], — как видно уже по заглавию, было подчеркнуто памфлетно. Касаясь не только блоковского разбора «Цветов и ладана», но и в основном общих мыслей о поэзии, высказанных в статье «О лирике», Соловьев язвительно высмеивает субъективный критический метод Блока, усматривая в нем только «несвязный лепет и бред», в котором «мысли сочетаются по законам первичных ассоциаций» [44].

Соловьев убежден, что преклонение перед «плодоносными токами лирической стихии» ведет Блока к фантастическим и в корне неверным представлениям о действительности, и в своих возражениях пытается развенчать «романтизм» блоковского мировосприятия. Так, Блок в своей статье, рассуждая о смысле лирики и ее воздействии, попутно отмечает: «На просторных полях русские мужики, бороздя землю плугами, поют великую песню — «Коробейников» Некрасова» (V, 132). «Где видел г. Блок, чтобы мужики пели «Коробейников», «бороздя землю плугами»? — пишет Соловьев. — Нет, г. Блок, если бы Вы наблюдали мужиков не из вашего кабинета, как добрый помещик старого времени, то Вы узнали бы, что мужику не до ваших «плодоносных токов лирической стихии», когда он, ругая тощую лошаденку и обливаясь потом, пашет землю. Если он и будет петь ваших «Коробейников», то в праздник, а коли он — мужик дельный, то предпочтет в свободный вечер почитать газетку, да поговорить с умным человеком о последнем заседании Государственной Думы, или о чем другом, что считает важнее «сладкого бича ритмов» [45]. На таких переключениях в сферу «здравого смысла» построена большая часть критических выпадов Соловьева. Направлены они все к доказательству беспомощности Блока в обличье поэта-«демониста» и апологета «стихийности». «Арлекинада «Балаганчика» — не возражение молитвам литургии, — утверждает Соловьев, произнося приговор «новому» Блоку. — «Несостоятельность Блока в роли мистического пророка, рыцаря Мадонны за последнее время достаточно выяснилась. Не более удачно играет он роль стихийного гения <. . .> Но что же общего со стихийным титанизмом имеет г. Блок, пересадивший на русскую почву хилые, чахоточные цветы западного декадентства, создатель бесплодных и бескровных призраков в стиле Мориса Дениса и Метерлинка» [46].

Блок отнесся к статье Соловьева как к коллективному выступлению московских символистов, вчерашних своих почитателей. Подразумевая определенно, кроме Соловьева, также Белого и Эллиса, он писал матери 21 апреля 1908 г.: «. . . В только что вышедшей книге Сережи — целая очень уловимо хамская статья обо мне. Московское высокомерие мне претит, они досадны и безвкусны, как индейские петухи» (VIII, 237) [47]. Блок не остался в долгу: в августе 1908 г. он написал статью «Письма о поэзии», в заключительном разделе которой («Два Аякса») высмеял и книгу Соловьева «Crurifragium», и самый полемический стиль «весовских» выступлений. Цель «Двух Аяксов», по ироническому признанию Блока, — доказать, что он «погиб окончательно и стал отныне «мистическим хулиганом» (V, 298). Отказавшись от подробного анализа книги Соловьева, Блок дал ей совершенно издевательскую характеристику, намеренно построив свои рассуждения в соответствии с соловьевской оценкой его критических опытов «по законам первичных ассоциаций». Будучи направленной против Соловьева, статья представляла собою и выпад против «Весов» и их критической линии, устремленной к развенчанию попыток обновления символизма.

Завершила (не сняв, однако, противоречий и в малой степени) полемическую баталию поэтов рецензия Соловьева на третий сборник стихов Блока «Земля в снегу». Написанная еще до появления «Двух Аяксов» (в журнале «Золотое руно»), она не содержала в себе новых памфлетных выпадов — их Соловьев после статьи о Блоке в книге «Crurifragium» не повторял, — но зато с еще большей ясностью определила «роковой», с точки зрения Соловьева, недостаток Блока — «отвращение от объективности и реализма, субъективизм, возведенный в поэтическое кредо»: «Замкнутая в узкий круг субъективных переживаний муза Блока не видит жизни с ее сложностью и многообразием. . . Здесь — оригинальность Блока, здесь — его сила. И здесь его осуждение перед лицом объективного искусства» [48]. Далее рецензия превращается в комментированный подбор цитат из

Блока, которого Соловьев упрекает в отсутствии логики, неразработанности поэтического словаря и доверии к «случайным ассоциациям», т. е. во всех тех «пороках», которые влекут за собой отход от ясности объективно-идеалистического миросозерцания. Соловьев подвергает педантическому разбору один из шедевров Блока этих лет — «Осеннюю любовь» («Когда в листве сырой и ржавой. . .»), обнаруживая полную невосприимчивость к образности этого стихотворения, действительно, не удовлетворяющего тем правилам пуризма и строгих логических «объективных» умозаключений, по которым пытается судить о нем критик.

Достигнув наибольшей остроты в 1908 г., конфликт Блока и Соловьева в дальнейшем уже столь зримо не проявлял себя, а в 1910 г. наметились первые симптомы нового сближения поэтов. В значительной мере этому способствовали перемены в литературной ситуации внутри символизма. Полемика вокруг «мистического анархизма», дополнительно усиливавшая разногласия и резкость критических выступлений Блока и Соловьева, к 1910 г. исчерпала себя, и внутри школы стали обозначаться новые союзы, одним из которых было объединение писателей вокруг только что основанного издательства «Мусагет». Противостояние самодовлеющему эстетизму и обоснование религиозно-философской платформы символизма были выдвинуты «мусагетцами» во главу угла; под знаком «Мусагета» встретились представители еще совсем недавно конфликтовавших групп: Андрей Белый, Эллис и Сергей Соловьев, с одной стороны, Вячеслав Иванов и Блок, с другой.

Наметившийся к 1910 г. новый поворот Блока к религиозно-теургическому символизму неоднократно был охарактеризован многими исследователями творческого пути поэта. Здесь важно лишь подчеркнуть, что эти новые тенденции (точнее, искание новых путей через известное возвращение к прежней «тезе» «Стихов о Прекрасной Даме» и отход от «антитезы» «Балаганчика» и «Снежной Маски») явились поворотным моментом в отношениях Блока с Белым и Соловьевым. Отход к «тезе» от ницшеанства и «язычества» наметился и у Соловьева, хотя возвращение в «дом отчий» (так называлась его последняя изданная книга стихов) завершилось у него много позже, после тяжкого душевного потрясения (см. п. 56).

Первый шаг к сближению сделал Белый после появления в печати цикла Блока «На поле Куликовом», написав автору приветственное письмо. Соловьев, со своей стороны, вспоминает, что в стихах «На поле Куликовом» он «радостно узнал мощные и светлые звуки прежнего певца «Прекрасной Дамы» [49]. Вторым шагом стал доклад Блока «О современном состоянии русского символизма», переоценивавший былые «демоничность» и «иллюзионизм» и призывавший «учиться вновь у мира и у того младенца, который живет еще в сожженной душе» (V, 423). В полемике, развернувшейся в связи с появлением этой статьи и «Заветов символизма» Вяч. Иванова, Блока всецело поддержал Белый своей статьей «Венок или венец».

Соловьев в этих обстоятельствах «перемены декораций» поначалу оставался в стороне. Первым к Блоку обратился, однако, он: не повстречавшись с Блоком, когда тот был в Москве, Соловьев написал ему 20 ноября 1910 г. письмо, в котором высказал надежду вскоре поговорить с Блоком «много и *до конца*» (п. 55). Блок охотно пошел на примирение. Вновь встретились друзья в апреле 1911 г. в Петербурге. Соловьев вспоминает о Блоке: «Очень он был нежен. Вся семья — Любовь Дмитриевна, мать Блока Александра Андреевна и вотчим его, полковник Франц Феликсович Кублицкий — встретили меня как воскресшего из мертвых» [50]. «Мы виделись с Сережей. Он прекрасен», — кратко сообщал Блок Белому 8 мая 1911 г. (VIII, 337). После этого Соловьев приезжал к Блоку в Шахматово. «Сегодня уехал отсюда Сережа, которого я очень рад был видеть и который привез с собой все прекрасное, что в нем есть», — писал Блок Белому 26 июня 1911 г. [51]; в тех же тонах он говорил о встрече с Соловьевым и в письме к жене (30 июня): «В Шахматово провел день Сережа — было очень хорошо» [52]. «Но прежней дружбе не суждено было воскреснуть, — констатирует Соловьев, вспоминая эту, третью пору своих отношений с Блоком. — Мы продолжали смотреть в разные стороны. Встречи наши были ласковы, дружелюбны, но внешни. Вместо первоначальной любви, последовавшей вражды, наступила благосклонная отчужденность» [53]. Блок, застигнутый Соловьевым в июне 1911 г. в Шахматове за чтением корректуры своей четвертой книги стихов «Ночные часы», был уже безмерно далек от настроений, сопутствовавших рождению его первой книги; сложный поэтический синтез 1910-х годов мог нести в себе лишь отголоски ясной художест-

венной системы «Стихов о Прекрасной Даме», и созвучная этим стихам пылкая юношеская дружба могла лишь вспомниться, но не возобновиться. Зрелый Блок и вступавший в пору зрелости 26-летний Сергей Соловьев встретились людьми с коренными несовпадениями в мироощущении. Внутренний консерватизм Соловьева, его всемерная опора на заветы, на семью и верность предкам, на религию в ее освященных веками обрядовых формах, характерный для его стихов «пафос благосостояния» [54], — все это контрастировало с настроениями, преобладавшими у Блока, с его растущим год от года осознанием всеобщего неблагополучия, с его ощущением катастрофизма надвигающихся исторических перемен, с его темами «возмездия» и «страшного мира» и все усиливающимися нотами трагизма в поэтическом творчестве. Сам Блок отчетливо ощущал, что они с Соловьевым теперь живут в разных мирах. «К Сереже особенное отношение ‹. . .›, — писал он Белому 6 июня 1911 г.: — милый Сережа, блестящий человек, будущий ученый филолог, брат по духу и по крови, великолепный патриарх, продолжатель рода (а я истребитель), и т. д.» (VIII, 345). Отношение Блока к «брату по духу и по крови», видимо, вмещало и своеобразное любопытство: видеть реализацию одного из путей, который сам он некогда мог выбрать для себя.

Последующие годы все более разводили Блока и Соловьева по разным путям. На рубеже 1911—1912 гг. Соловьев пережил тяжелый внутренний кризис, доведший его до душевной болезни [55]. Вскоре после выздоровления, осенью 1912 г., он женился на Т. А. Тургеневой (сестре А. А. Тургеневой, жены Андрея Белого) и отправился с нею в путешествие по Италии, ставшее значительной вехой в его духовной жизни [56]. Характерное для эпохи «тезы» стремление к церковной ортодоксии (ср. отказ от посвящения ему классического «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо. . .» — п. 4), тогда остававшееся, по всей видимости, юношеским благим порывом, теперь получает логическое завершение: Сергей Соловьев принимает духовный сан [57]. И четвертая книга его стихов носит красноречивое заглавие — «Возвращение в дом отчий» (М., 1916).

Личные встречи Блока с Соловьевым в эти годы случайны. В декабре 1914 г. Соловьев приезжает в Петроград читать в Религиозно-философском обществе доклад «О современном патриотизме». Соловьев обедал с Блоком у А. А. Кублицкой-Пиоттух, и Блок рассказывал жене: «Он очень хорошо говорил о тебе: что в тебе было в те времена мальчишеской мистики действительное основание для веры в тебя» [58]. И только эта память о прошлом могла быть единственной, по всей видимости, точкой связи между Блоком и Соловьевым. Блок не пошел на доклад друга, в котором тот возвеличивал войну России с Германией как противоборство христианской «Святой Руси» и империалистической «антихристовой» Германии и предрекал этой борьбе «высокий смысл и мировое значение, если Россия покажет себя в ней как подлинная Христова Русь, Русь любви, жертвы и подвига» [59]. Такая постановка вопроса не могла вызвать у Блока ни малейшего сочувствия, даже понимания, как и вообще публицистическая деятельность Соловьева этих лет, стремившегося доказать, что церкви, и только церкви по силам главенствующая и объединяющая роль в деле духовного возрождения России и Европы.

Революция окончательно разделила Блока и Соловьева, они оказались в разных политических и духовных станах.

В годы первой русской революции Соловьев, подобно многим другим литераторам-символистам, готов был не только признать правоту народной борьбы и даже ведущую роль в ней социал-демократов, но и отождествить долг поэта с долгом революционера и даже утверждать, что истинный поэт радикальнее революционера. Он писал в «Предисловии» к своей книге «Crurifragium»: «Социалистические доктрины наших дней ведут борьбу с капитализмом. Но капитализм есть явление общего мирового зла. Поэт борется в мире сущего с тем же началом, с каким общественный деятель борется в мире явлений. Поэтому я решусь сказать, что поэт, поскольку он не изменяет своему назначению и не искажает смысла своей деятельности, ведет борьбу с капитализмом ‹. . .› Капитализм — химера нашего века. Это адское чудовище пожирает все святое и прекрасное. В его щупальцах хрустят кости наших братьев. Но золотой меч красоты жалит черного гада и наносит ему неисцелимые раны» [60]. Февральскую революцию Соловьев принял, но в специфическом ракурсе: уже тогда склонявшийся к католицизму, он увидел в завоеванной свободе совести перспективу для будущего соединения церквей и тем самым исполнения миссии «славянского гения»: «Наша церковь должна войти в единство вселенской церкви. Брат-

ство народов только тогда будет прочно, когда оно оснует себя на высшем религиозном принципе, без этого принципа будет смена национальной вражды враждой сословий, останется в силе железный закон борьбы» [61]. За рамки буржуазного демократизма в христианском его осмыслении Соловьев выйти не мог. При этом он придерживался «западнической» ориентации, взрыв народной мести был для него торжеством «славянофильства» [62].

Соловьев печатает ряд статей, развивающих подобные взгляды, в московском журнале «Народоправство», который получает Блок (ЗК, 274, 299). Но когда в марте 1921 г. Блок описывает свою библиотеку и доходит до этого журнала, он лишь отмечает в дневнике, что среди прочих писал в «Народоправстве» «священник Сережа Соловьев». Трудно судить, насмешка ли в столкновении фамильярного «Сережа» с официальным «священник» или это дань далеким воспоминаниям. Определенно другое: Блок выделяет как более или менее важные или интересные выступления в журнале Н. А. Бердяева, Г. И. Чулкова, В. И. Иванова, А. М. Ремизова, всем им противопоставляет как нечто много более существенное напечатанные там записки солдатских бесед, «подслушанных каким-то Федорченко» («Выходит серо, грязно, гадко, полно ненависти, темноты, но хорошо, правдиво и совестно») — и проходит мимо христианско-демократических филиппик своего давнего собрата (VII, 411). Это последнее из нам известных упоминание Блока о Соловьеве.

Возможно, Блок знал и о том, что после появления «Двенадцати» Соловьев оказался среди тех его прежних друзей, для кого поэма была изменой и кощунством. В газетной статье Соловьев (и Катьку приняв за «буржуйку») причислил Блока к врагам главной своей святыни: «Наши террористы выставляют себя почитателями Христа, который будто бы искажен в церковном сознании. Насколько образ Христа, противопоставленный <. . .> Христу церковному, соответствует евангельскому Христу, хорошо можно видеть из стихов певца современного сатанизма Блока: на все лады воспевая пролетарские порывы «полоснуть ножом» буржуйку за то, что она ходила в театр и ела дорогие конфеты, призывая к кровавой и дикой оргии, он кончает свои стихи такою сладенькой конфеткой: и в венчике из белых роз идет Исус Христос». Ведь недурно? И даже раскольничий «Исус» [63]. Поэма «Двенадцать», как итог жизни и творчества Блока, определила двойственное отношение к нему Соловьева-мемуариста, запечатленное любовью и крайней враждой.

Получив от Белого письмо с известием о смерти и последних неделях жизни Блока, Соловьев отвечал ему 2 сентября 1921 г.: «О смерти Блока я узнал в Балашове и был сильно потрясен и растроган. За последний год я часто о нем думал. Все эти думы сводились к такой формуле: та светлая таинственная тень, которая осенила его юность, не могла до конца его покинуть, может быть, она его спасет. Еще я в моей пустыне ясно понял, что между мною и им существовала странная близость, почти двойничество, и от того мы так мешали друг другу с некоторых пор <. . .> Вспоминая наше прошлое, я скажу так: с одной стороны, мы с тобой были бесконечно правы, когда среди общей слепоты кричали о «блокизме» — «это ужас и бред, это место проклятое». Но, с другой стороны, мы были неправы. мы вели себя, как дети, и не стояли на достаточной духовной высоте, чтобы успешно бороться с блоковским демонизмом. Ведь вся ошибка многих людей и нас с тобой в юност в том, что мы пробовали бороться со зверями вне нас, не понимая, что надо только убить зверя в себе, что все эти извне грозящие звери только проекция вовне наших злых страстей. Мы бывали несправедливы к Блоку. Мы не верили в искренность его «снежных костров», но теперь он доказал, что тема смерти не была для него «литературностью». Потрясающий, многозначительный факт! Искупление, примирение и предостережение для живых <. . .> Я не могу молиться о нем, но мне хочется обмануть его, сказать о том свете, который в нем был. Ему в ином мире, вероятно, трудно, хотя верно это знать нельзя» [64].

Памяти Блока Соловьев посвятил свое стихотворение «Стирфорс». Ставя имя поэта в связь с этим героем романа Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда», Соловьев намекает на роль Блока в своей жизни — подобную, как ему казалось, той, какую сыграл в судьбе юного Копперфилда его старший товарищ, блестящий и талантливый Стирфорс, объект обожания и подражания. Но это уподобление подразумевает и нравственный суд: Копперфилду приходится убедиться в эгоизме и аморальности своего друга, и примиряет их лишь роковая гибель Стирфорса. Блок, с точки зрения Соловьева, носил в себе черты Стирфорса, выражавшиеся, видимо, в «демонизме», эгоцентричности и романтической от-

решенности от земных дел — таковы были представления о «блокизме», выдвинувшиеся в сознании Соловьева на первый план, как это проясняется из его письма к Белому после смерти Блока. Во всяком случае, в соловьевском Стирфорсе, аккуратно воссозданном по сюжетной канве романа Диккенса, заметны совпадения с теми признаками «блокизма», на которых заострял Соловьев внимание Белого:

Благородный и преступный,
Избалован, властен, горд, —
Ты со мною неотступно,
Ледяной, блестящий лорд
. . . . . .
Что тебе чужое горе?
Дом родительский угрюм. . .
Только лодки, только море,
Только бури полнят ум
. . . . . .
Упоен и равнодушен,
Ты не думаешь о том,
Что рукой твоей разрушен
Не один счастливый дом.
. . . . . .

Нет, не надо жертв бесцельных:
На песке морском простерт,
Меж обломков корабельных
Ты лежишь, прекрасный лорд.

Вот куда тебя манила
Убегавшая ладья!
Вся взята морской могилой
Юность гордая твоя [65].

Конечно, этот образ аморального героя, потерпевшего поражение в своем горделивом вознесении над миром, имеет мало точек соприкосновения с личностью Блока, но ведь и автор стихотворения был тогда уже не в силах понять поэта в его последние годы жизни и найти с ним общий язык. Гораздо более точен в воссоздании внутреннего облика покойного друга Соловьев оказался в своих «Воспоминаниях об Александре Блоке» (1921), но и в них он осудил «лирически-хаотическую свободу» Блока и попытался «отделить чистое золото его поэзии от черно-лиловых, мутных сплавов», возвеличить Блока первого тома его стихотворений, поясняя при этом свою позицию: «Быть может, многим почитателям поэта покажется неприятной моя попытка приложить «нравственный» критерий к его творчеству. Но обнародованные мною воспоминания достаточно ясно показывают, что сам Блок в лучшие свои годы применял к себе этот критерий, боролся и восходил и только позднее предался вихрям лирических эмоций» [66].

Вскоре, однако, Соловьев, по-видимому, перечеркнул в памяти и последние остатки доверия к мистическим увлечениям собственной юности и, следовательно, молодого Блока. Произошло это в связи с очередным переосмыслением духовного наследия Вл. Соловьева. Завершая в 1923 г. монографию о философе и поэте, Сергей Соловьев, признавая крайнюю сложность и противоречивость его личности и взглядов, настаивал на первостепенной ценности совсем не тех черт соловьевского наследия, которые в начале века поднимали на щит сам Сергей Соловьев, Блок и другие «соловьевцы»: «Мне дорог в Соловьеве не фантаст и романтик, не автор каламбуров и Дон Жуан великосветских салонов и не профессор философии. Мне дорог добрый человек, любивший нищих, голубей и белые колокольчики Пустыньки. Мне дорог человек, празднословный и лукавый язык которого был вырван серафимом и заменен мудрым жалом змеи <. . .> «Осилившие его на миг искушения» ломали его философскую гордыню, очищали его ум от опасных иллюзий, арлекином которых явился «Третий Завет» А. Шмидт, «Прекрасная Дама» Блока и т. д.» [67]

Примечательно, что в больших и, вероятно, неоконченных, очень подробных «Воспоминаниях», писавшихся в те же годы, Соловьев лишь однажды и, скорее, неприязненно упоминает Блока, хотя известная нам версия их доходит до середины 1903 г. и могла бы содержать повествование о знаменательной встрече Соловьева с Блоком летом 1901 г. и об их мистических восторгах. Однако она об этом умалчивает. Сергей Соловьев, переосмысляя свой жизненный путь, во многом его задним числом переделывал. . .

После этого, сколько известно, Соловьев о Блоке не писал. Перейдя в начале 20-х годов в католичество, в 1926 г. Соловьев стал епископом, вице-экзархом католиков греко-российского обряда. В 20-е и 30-е годы в литературе он выступает исключительно как переводчик. Умер Соловьев в Казани 2 марта 1942 г.[68]

* * *

Ниже печатаются 19 писем Блока к С. М. Соловьеву и 2 к М. С. Соловьеву, 43 письма первого и 3 письма второго — к Блоку. Оба блоковских письма к Михаилу Сергеевичу и 16 писем к Сергею Михайловичу были изданы в 1925 г.[69] с «Воспоминаниями об Александре Блоке» Сергея Соловьева, предпосланными в качестве вступления, и примечаниями В. К‹няжнина-Ивойлова›. Письмо № 51 много позже было опубликовано Д. Е. Максимовым [70]. Письмо № 58 печатается впервые, как и письмо № 7, дошедшее до нас фрагментарно и не в автографе. Все письма Соловьевых также появляются в печати первый раз, прежде они были известны в незначительных выдержках, рассеянных по разным изданиям.

В 1925 г. письма Блока к Соловьевым были опубликованы с неточностями и большими, существенными купюрами: были сокращены главным образом критические суждения поэта о живых тогда еще Д. С. Мережковском, З. Н. Гиппиус, С. А. Соколове и др. Именно в таком цензурованном виде, с воспроизведениями прежних ошибок, а иногда и с новыми они позже перепечатывались и цитировались, в том числе и в восьмитомном «Собрании сочинений» Блока (М.—Л., 1960—1963), служащем сегодня основным источником блоковского текста для исследователей и читателей. Комментарий, сопровождавший издание 1925 г., не может удовлетворить исследователя; позднейшие комментарии в изданиях, рассчитанных на массового читателя, были минимальными.

С сожалением приходится констатировать, что до нас дошли далеко не все письма Блока к Соловьевым. По упоминаниям в ответных письмах и письмах самого Блока можно утверждать, что утрачено по меньшей мере около 10 писем Блока. Хотелось бы верить, что некоторые из них сохранились и еще будут выявлены. Необходимо отметить, что уже в 1925 г. С. М. Соловьев располагал, по-видимому, только теми письмами, которые им опубликованы: подлинники писем им пронумерованы, и эта нумерация вполне соответствует числу писем в публикации. Письма Соловьева дошли до нас, вероятно, почти без утрат: только одно, упоминаемое в письме 11, пропало тогда же, в 1903 г., на почте.

Одно письмо Блока (№ 51) хранится в ГБЛ (ф. 25, к. 26, ед. хр. 5); письмо 58 — в ЦГАЛИ (ф. 475, оп. 1, ед. хр. 20); письмо 7 дошло до нас в виде выписок и пересказа в письме С. М. Соловьева к Андрею Белому (ГБЛ, ф. 25, к. 26, ед. хр. 35), одну фразу из него Соловьев приводит, вероятно, по памяти в своих «Воспоминаниях»; письмо 24 воспроизводится по изданию 1925 г., так как местонахождение подлинника, писанного «на золотой бумаге», как указывалось в первой публикации, ныне неизвестно; все остальные письма Блока находятся в ГЛМ (ф. 8, оп. 1, ед. хр. 43). Все письма Соловьевых к Блоку хранятся в ЦГАЛИ (ф. 55, оп. 1, ед. хр. 405 и 406).

Во вступительной статье и комментариях к настоящей публикации мы ссылаемся на неизданные «Воспоминания С. М. Соловьева»; мы пользовались их неавторизованной копией, предоставленной нам С. С. Лесневским, которому приносим за это искреннюю благодарность.

При ссылках на автографы стихотворений, находившихся в так называемом «московском собрании», имеется в виду их описание в статье Н. В. Котрелева «Неизвестные автографы Блока» в наст. томе.

В приложении печатается переписка Блока с Михаилом Сергеевичем Соловьевым (1862—1903), отцом Сергея Михайловича. Эта небольшая переписка весьма важна для биографа и исследователя Блока, поскольку в соединении с письмами жены М. С., О. М. Соловьевой к матери поэта позволяет понять, почему Блок впоследствии так благоговейно вспоминал тех, кто «первыми ‹. . .› обратил внимание» на его стихи «со стороны» (VII, 14). Два глубоких доверительных письма Блока к Михаилу Сергеевичу говорят сами за себя. Красноречивы в своей неподдельной заботе о юноше-поэте, в духовной открытости и три письма М. С. Соловьева.

В комментариях к публикации приводятся письма О. М. Соловьевой, А. Белого и других лиц из окружения Блока, публикуемые в разделе «Блок в неизданной переписке современников» (кн. 3 наст. тома).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Письмо М. А. Бекетовой к Андрею Белому от 24 января 1931 г. — ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 152.

[2] С. М. Соловьев. Ольга Михайловна Соловьева. — ЦГАЛИ, ф. 475, оп. 1, ед. хр. 16, л. 8.

[3] См.: «Литературный вестник», 1903, т. V, кн. 4, с. 552.

[4] Ср.: М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать. Воспоминания и заметки. М.—Л., «Петроград», 1925, с. 101—104, 132—134.

[5] См. раздел наст. тома «Блок в неизданной переписке и дневниках современников».

[6] Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. М.—Л., «Сов. писатель», 1966, с. 415—416.

[7] ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 164, л. 3.

[8] «Письма Александра Блока», с. 10. — Скорее всего здесь мемуарист допускает — впрочем, малозначительную для изучающего биографию Блока — неточность. Под «интересующей Соловьева темой» нужно понимать страстную игру в священство, которой предавался тогда мальчик. Однако, судя по его неизданным «Воспоминаниям», отцом ему было запрещено «служение» именно литургии, высшего христианского таинства, играть в которое даже свободомыслящему М. С. Соловьеву показалось недопустимым. Т. о., речь может итти только об утрени; да и «подобие ораря» давно уже было, согласно с «Воспоминаниями», у самого Соловьева. Заслуживает внимания, напротив, согласие шестнадцатилетнего Блока играть в такую, вероятно, весьма необычную и по тем временам, игру с десятилетним мальчиком.

[9] «Письма к родным», I, с. 42.

[10] См. прим. 5. Ср. позднейшие слова Блока об этой поре: «Сережа чувствовал ко мне род обожания» (VIII, 341).

[11] «Письма Александра Блока», с. 12.

[12] ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 1, л. 29 об.

[13] ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 2, л. 83 об. Тут же помета Блока: «Переписано в Дедове в Соловьевском флигеле» — и позднейшая приписка — «(сгорел в 1906 году)». — Ср. п. 23.

[14] Там же, л. 25.

[15] ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 1, л. 83.

[16] Там же, л. 97 об. Кроме этого и указанного в прим. 13, тетрадь беловых автографов Блока содержит следующие соловьевские посвящения, также неизданные: «К Дездемоне» («Где ты, мой идеал, блуждающий далеко. . .», помечено 20 августа 1899 г. — там же, л. 98 об.); «Раскрылась Вечности страница. . .» — см. п. 13 прим. 8; стихотворение «Ночной эфир на землю лился. . .» (помечено 4 июля 1899 г.) с блоковским эпиграфом — первые две строки из стихотворения «Я шел к блаженству. Путь блестел. . .» — ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 1, л. 98.

[17] Это письмо публикуется и комментируется в разделе наст. тома «Блок в неизданной переписке и дневниках современников».

[18] Стихотворение не издано — см.: ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 3, л. 78.

[19] ГБЛ, ф. 25, карт. 26, ед. хр. 3.

[20] «Письма Александра Блока», 1925, с. 22.

[21] «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 44.

[22] Андрей Белый. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке. — «Записки мечтателей», 1922, № 6, с. 113. — Ср. письмо Соловьева к Г. А. Рачинскому от 23 июня 1905 г., фрагмент которого печатается в разделе наст. тома «Блок в неизданной переписке и дневниках современников».

[23] Андрей Белый. Воспоминания о Блоке. — «Эпопея», 1922, М. — Берлин, «Геликон», № 2, с. 243—244.

[24] «Письма Александра Блока», с. 33.

[25] См. письмо Вяч. Иванова к В. Я. Брюсову (февраль 1907 г.) — ЛН, т. 85, «Валерий Брюсов», с. 496—497.

[26] «Перевал», 1907, № 7, с. 58.

[27] Рецензия Б. А. Садовского на «Цветы и ладан» («Русская мысль», 1907, № 6, отд. III, с. 107).

[28] С. Дурылин. Луг и цветник. О поэзии Сергея Соловьева. — «Труды и дни издательства «Мусагет», тетрадь 7. М., 1914, с. 152.

[29] Н. Гумилев. Поэзия в «Весах». — «Аполлон», 1910, № 8.

[30] См.: «Свободная совесть». Литературно-философский сборник, кн. 2. М., 1906, с. 87—149.

[31] Ср. в поздней статье противопоставление линии латинских поэтов, Данте и Пушкина линии «смутного вдохновения» Пиндара и Державина; Соловьев, естественно, отдает предпочтение первой. Учитывая все, что сказано Соловьевым о зрелой лирике Блока в «Воспоминаниях» («Письма Александра Блока»), можно понять, что Блок, в этой статье не упомянутый, был относим Соловьевым ко второй линии. — Сергей Соловьев. Бессознательная разумность и надуманная нелепость. — Альманах «Лирический круг». Страницы поэзии и критики» № 1, М., 1922, с. 73—75.

[32] «Русская мысль», 1910, № 6, отд. III, с. 161—162.

[33] «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 142—154.

[34] Письмо к Г. А. Рачинскому от начала октября 1905 г. — см. раздел наст. тома «Блок в неизданной переписке и дневниках современников».

[35] «Золотое руно», 1907, № 1, с. 88—89.

[36] ГБЛ, ф. 386, карт. 103, ед. хр. 23. Текст сонета Соловьева нам неизвестен.
[37] См. раздел наст. тома «Блок в неизданной переписке и дневниках современников».
[38] ГБЛ, ф. 386, карт. 103, ед. хр. 23.
[39] «Русская мысль», 1907, № 6, отд. III, с. 107.
[40] Андрей Белый. Воспоминания о Блоке. — «Эпопея», 1922, № 3, с. 131.
[41] Андрей Белый. Между двух революций. Л., 1934, с. 25.
[42] См.: Андрей Белый. Воспоминания о Блоке. — «Эпопея», № 3, с. 253.
[43] Сергей Соловьев. Crurifragium. М., 1908, с. 153—163.
[44] Там же, с. 162.
[45] Там же, с. 156—157.
[46] Там же, с. 162.
[47] Ср. отзыв Блока в письме к Белому от 24 апреля 1900 г.: «Что касается Сережиной «полемики» (?), то я должен сказать, что он понял меня и то, что я писал, столь же тонко, сколько может понять любой высокомерный директор департамента. Мог бы сказать много, но не хочется» (VIII, 238).
[48] «Весы», 1908, № 10, с. 87.
[49] «Письма Александра Блока», с. 33 — Ср. п. 58.
[50] «Письма Александра Блока», с. 34.
[51] «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 265.
[52] ЛН, т. 89, «Александр Блок. Письма к жене», с. 268.
[53] «Письма Александра Блока», с. 34.
[54] О «пафосе благосостояния» как специфической черте поэзии Соловьева писал Н. С. Гумилев, рецензируя его вторую книгу стихов — «Апрель» («Аполлон», 1910, № 9, отд. III, с. 36).
[55] 31 октября 1911 г. в состоянии нервно-психического расстройства Соловьев покушался на самоубийство, после чего был направлен в психиатрическую лечебницу, где находился несколько месяцев. В ноябре-декабре 1911 г. об этих обстоятельствах неоднократно писал Блоку Белый (см.: «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 272—273, 280—281). Наиболее подробные сведения о случившемся Блок получил от С. Г. Карелиной, писавшей ему 27 ноября 1911 г.: «Вы с Сережей сошлись снова и сошлись хорошо, как братья, и великодушно — как свойственно только таким благородным характерам, как у Вас <. . .> У Сережи было много хлопот по изданию вновь книги дяди его Влад‹имира› Серг‹еевича› и деда по истории и немало собственной работы, т. к. он оставлен при университете и ему задали работу по подготовлению к профессуре впоследствии <. . .> Он — устал <. . .> переутомился до болезни. С 5 ноября он находится в отличной лечебнице — Сокольников в Москве, где была твоя мама Аля, под непосредственным надзором доктора Лахтина. Все это после консилиума 5 хороших врачей — и их приговора» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 267). П. С. Соловьева также писала Блоку 12 декабря 1911 г.: «Очень тяжело мне думать о Сереже. На счастливый исход его болезни я не надеюсь» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 408). В связи с болезнью Соловьева Блок сделал в дневнике несколько записей; так, 16 января 1912 г. он зафиксировал: «Девятая годовщина Соловьевых. Думал и о них, и о милом, бедном Сереже» (VII, 124).
[56] См. поэму Соловьева «Италия» (М., 1914). О целительности итальянского путешествия Соловьев писал Э. К. Метнеру из Рима 22 декабря 1912 г. (ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 43). Тогда же, в конце 1912 г., он признавался в письме к своему другу, будущему писателю А. К. Виноградову о совершившемся внутреннем переломе: «Если ты томишься в сетях мира сего, очарований Гете и Спинозы, то вспомним, что я еще год назад был совсем во власти мира сего и ученик Гете <. . .> Твой наносный эмпиризм лопнет, как лопнул и мой. Сейчас можно быть только в церкви, совсем до конца» (ЦГАЛИ, ф. 1303, оп. 1, ед. хр. 1067); поскольку речь зашла об А. К. Виноградове, то следует отметить, что в его романе «Хроника Малевинских» изображены Блок и Сергей Соловьев в споре о пушкинском «Медном всаднике» и исторических путях России и Европы — см.: Анатолий Виноградов. Хроника Малевинских. М., 1943, с. 248—249. С приведенным высказыванием Соловьева о Гете ср. ниже его п. 57.
[57] 17 ноября 1915 г. Соловьев извещал А. К. Виноградова «21-го, в субботу, я буду посвящен во диакона, в Сергиевом Посаде, в академической церкви» (ЦГАЛИ, ф. 1303, оп. 1, ед. хр. 1067).
[58] ЛН, т. 89, с. 342. Ср. ЗК, 251.
[59] Сергей Соловьев. Богословские и критические очерки. Собрание статей и публичных лекций. М., 1916, с. 139 (Доклад опубликован под заглавием «Правда и ложь современного патриотизма»). См. также брошюру С. Соловьева «К войне с Германией» (М., 1914), в которой Германия уподобляется войскам «безбожного Навуходоносора».
[60] Сергей Соловьев. Crurifragium. М., 1908, с. XII—XIII.
[61] Свящ. Сергей Соловьев. Вопрос о соединении церквей в связи с падением русского самодержавия. М., 1917, с. 13.
[62] Ср. заглавие его доклада, читанного в феврале 1917 г. в Петрограде: «Кризис славянофильства»; знаменательно, что оппонентом Соловьеву выступил будущий единомышленник Блока по «скифству» Андрей Белый; о докладе сообщила Блоку письмом М. А. Бекетова. — ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 145, лл. 12—13.
[63] «Накануне», 1918, № 6.
[64] ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 274.

[65] «Лирический круг». Страницы поэзии и критики, 1. М., «Северные дни», 1922, с. 21—23.
[66] «Письма Александра Блока», с. 45.
[67] С. М. Соловьев. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977, с. 408.
[68] См. свидетельство о смерти С. М. Соловьева — ЦГАЛИ, ф. 475, оп. 2, ед. хр. 14.
[69] «Письма Александра Блока», с. 46—82.
[70] «Уч. зап. Ленинградского пед. ин-та», 1956, т. XVIII, вып. 5, с. 251.

1. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

‹1896 г., вторая половина›

Многоуважаемый Александр Александрович,

пишу вещь в ваш журнал и прошу, чтобы мне вы написали, что лучше — это или попадья.

Ваш С. Соловьев

[P. S. Прилагаю сочинение «Полков» случай извините, что оно написано по ошибке справа налево вместо слева направо.]

Датируется по содержанию. Сохраняем орфографию подлинника.

Приписка под текстом детского сочинения С. Соловьева «Смирнов (очерк с натуры)». Там же — «редакторская» помета Блока: «Очень хорошо. А. Блок». «Очерк» был прислан Соловьевым для детского рукописного журнала «Вестник», который Блок вместе с двоюродным братом Ф. А. Кублицким-Пиоттух (чья редакторская «скрепа» также стоит под «очерком») «издавал» с 1894 по январь 1897 г. (см.: сообщение М. И. Дикман в наст. томе; о более ранних опытах Блока см.: «Рукописные журналы Блока-ребенка». Публикация З. Г. Минц. — В кн.: «Блоковский сб.», 2, с. 292—308). Первое выступление С. Соловьева в «Вестнике» — упоминаемый рассказ «Попадья» — относится к июлю 1896 г. (1896, № 7, л. 3 об.—7); этому выпуску журнала предпослано вступление «От редакции»: «Просим гг-д подписчиков обратить особенное внимание на рассказ «Попадья» Сергея Михайловича Соловьева. Редактор: А. Блок» (л. 3). В «Воспоминаниях об Александре Блоке» С. М. Соловьев в связи с этим пишет: «Когда я дал ему в «Вестник» рассказ, он прислал мне коробку шоколадных сардин, написав, что это — в подарок, а не в виде гонорара, который будет выслан после» («Письма Александра Блока», с. 10; упомянутая записка Блока, так же как и другие его письма к С. Соловьеву, относящиеся к «изданию» «Вестника», не сохранилась). В «Вестнике» также были помещены рассказы С. Соловьева «Свадьба», «Случай — истинное происшествие», «Жизнь» (1896, № 12, декабрь, л. 10—12, 21—24 об., 28—35) и отрывок «Месть» (1897, № 1, январь, л. 5). Рассказ «Смирнов (очерк с натуры)» воспроизведен не был, хотя в примечании «От редакции» к рассказу «Случай» Блок написал, что «это сочинение ‹«Смирнов»› — напечатано в этом же номере» (1896, № 12, л. 21).

2. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

1899 г. 2 августа, Дедово

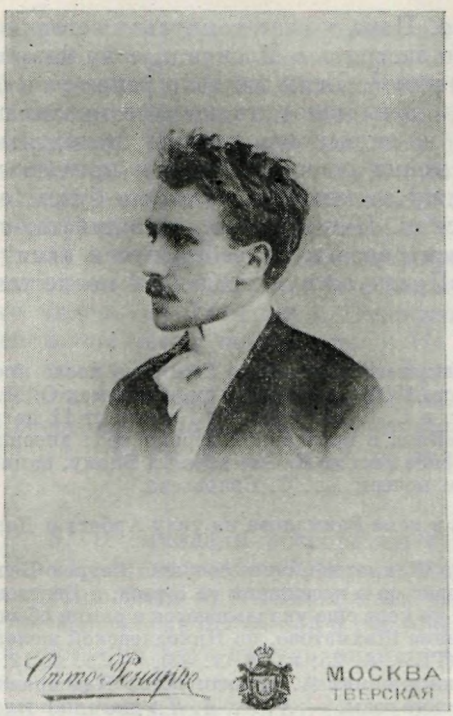
Милый Саша,

я еду с тетей Наташей [1] в Пушкино 4 сего августа и пробуду там у Марковых [2] до шестого, а шестого поеду вместе с тобой из Пушкина к тете Соне [3] с поездом, который выходит из Москвы в 5 часов 5 м‹инут› дня по московскому времени, предполагая, что и ты выедешь с этим поездом, так как он для тебя ближайший. Если же ты, задержанный чем-нибудь, выедешь из Москвы не с этим поездом, то я подожду тебя на Пушкинской станции до следующего поезда. Стало быть, раньше Пушкина, 6-го августа мы не увидимся [4]. Вот тебе стихотворение Фета, которое ты желал знать: ‹. . .› [5]

С. Соловьев

[1] Наталья Михайловна *Дементьева* (урожд. Коваленская, 1852—1900) — старшая сестра О. М. Соловьевой, матери С. М. Соловьева. М. А. Бекетова вспоминает о ней в письме к Андрею Белому от 24 января 1931 г.: «Нат‹алья› Мих‹айловна›, любимица Сережи, которую он, по собств‹енному› признанию, в дет‹ст›ве любил больше матери ‹. . .› очень поздно вышла замуж, обожала своего почтенного, но туповатого мужа, а Сережу страстно любила. Он проводил около нее многие часы и испытал чисто материнскую ласку и внимание» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 152).

[2] Семья протоиерея Владимира Семеновича *Маркова* (служил в Троице-Арбатской церкви, позже — в московском храме Христа-Спасителя — см.: Сергей Соловьев. Памяти протопресвитера В. С. Маркова. — «Богословский вестник», 1918, июль—сент.;



С. М. СОЛОВЬЕВ

Фотография, 1904 г., Москва

С дарственной надписью А. С. Петровскому на обороте: «Любовь — полнота бытия (мнение философа Lapan). Дорогому Алексею Сергеевичу Петровскому. Сергей Соловьев. 17 июня 1904 г.»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

крестил Андрея Белого); с его сыном Колей Марковым С. М. Соловьев дружил с детских лет — см.: Андрей Белый. Начало века. М.—Л., 1933, с. 31—32, 100.

[3] Софья Григорьевна *Карелина* (1826—1915) — сестра Александры Григорьевны Коваленской (бабушки С. Соловьева) и Елизаветы Григорьевны Бекетовой (бабушки Блока); ее подмосковное имение Трубицыно находилось неподалеку от Пушкина.

[4] О намерении отправиться в Трубицыно вместе с С. Соловьевым Блок извещал Андрея Адамовича Кублицкого-Пиоттух в письме из Шахматова от 27 июля 1899 г. (ГЛМ, ф. 8). О поездке с С. Соловьевым в Трубицыно летом 1899 г. Блок вспоминал в позднейших дневниковых записях (VII, 342). 12 июля 1899 г. О. М. Соловьева писала матери Блока А. А. Кублицкой-Пиоттух из Дедова: «Тетя Соня говорит, что Саша собирался к ней. Пожалуйста, напиши, когда он думает к ней ехать, чтобы Сергей мог выехать в Крюково и ехать вместе с ним» (Крюково — ближайшая от Дедова железнодорожная станция). 28 июля она вновь обращалась с тем же к матери Блока: «Если Саша еще не раздумал ехать к тете Соне, то пускай он назначит Сергею день и час, списавшись предварительно с тетей Соней, чтобы она выслала лошадей <. . .> Коля Марков, к которому Сергей должен ехать в Пушкино, сам теперь здесь, уедет в субботу и очень хочет увезти Сережу. . . <. . .> Сергей хочет ехать с Сашей в Трубицино <. . .> Мне ужасно совестно, если мы задержали Сашу и стеснили его» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 551).

[5] Приведен текст стихотворения «Ярким солнцем в лесу пламенеет костер. . .» (1859) (см.: А. А. Фет. Полн. собр. стихотворений. Л., 1959, с. 183—184).

3. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

Дедово, 16 августа <1901 г.>

Милый Саша,

к сожалению, нам едва ли придется к вам приехать по той причине, что нас погнали в Москве с квартиры. Папа сегодня поехал на неопределенное время в Москву, узнать окончательно, остаемся мы на квартире или нет. Если нет, то надо немедленно искать квартиру. Очевидно, что в этом случае нет ника-

кой возможности попасть в Шахматово. Папа может вернуться сегодня вечером, если решится, но может надолго застрять в Москве и, если квартира будет у нас отнята, искать новую квартиру [1]. Если же дело решится в благоприятную сторону (на что вероятия очень мало), то мы еще можем приехать в Шахматово [2], хотя погода, по-видимому, должна испортиться. Так, по крайней мере, всегда бывает в конце августа. Вчера я причащался. Теперь шляюсь в Надовражино [3] и сижу за книгами. Досадно будет, если придется прежде времени ехать в Москву. Напиши мне, пожалуйста, если имеются, новые стихотворения. Мне все более и более нравятся твои два стихотворения: «Непосвященным» [4] и «Предчувствую тебя» [5]. Я после твоего отъезда написал одно стихотворение [6].

Год устанавливается по содержанию и помете Блока: 1901. Написано после пребывания Блока в Дедове в первой половине августа 1901 г., о котором см. в письмах О. М. Соловьевой к А. А. Кублицкой-Пиоттух 1901 г. и С. Соловьева — к Белому от 11 августа 1901 г., публикуемых в разделе наст. тома «Блок в неизданной переписке и дневниках современников». Следует отметить, что это первое письмо С. Соловьева к Блоку, написанное почерком, сознательно воспроизводящим почерк Вл. С. Соловьева.

[1] Соловьевы остались по-прежнему жить в доме Рахманова на углу Арбата и Денежного переулка.

[2] С коротким визитом Соловьев побывал в Шахматове, о чем сообщал Андрею Белому в письме от 23 августа 1901 г.; при этом говорит он о посещении не Блока, а Бекетовых, так как отношения с Блоком для него в какой-то мере еще укладываются в рамки обычных семейных отношений: «Недавно я ездил в имение Шахматово, по Николаевской железной дороге, к своим родственникам Бекетовым» (ГБЛ, ф. 25, к. 26, л. 42). — Ср. п. 12.

[3] Село неподалеку от Дедова; ср. в воспоминаниях А. Белого: «Село Надовражино, куда мы <т. е. автор и С. М. Соловьев в юношеские годы. — *И. К., А. Л.*> шагали после вечернего чая, украшенного «семейным гербом», земляникой и сливками; здесь, в Надовражине, в крестьянском домике, обитали три сестры Любимовы; у них мы распевали народные песни и поминали «нечистого»; раздавались едкие замечания по адресу Коваленских, после чего из папиросного дыма затягивали: «Вы жертвою пали»; мы и сестры Любимовы ниспровергали власть: бар и помещиков» (А. Белый. Между двух революций, с. 13).

[4] «Она росла за дальними горами. . .» Описание автографа, посланного Блоком Соловьевым, см. в статье Н. В. Котрелева «Неизвестные автографы Блока» в наст. томе.

[5] Стихотворение «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо. . .», датированное 4 июня 1901 г. (I, 94) — ср. п. 4.

[6] Следует неизданное стихотворение Соловьева «Холодной осени дыханье. . .» (не датировано).

4. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

14 февраля 1902 г., Москва.

Милый Саша,

мы получили твое письмо со стихами. Относительно стихов я скажу следующее. Первое стихотворение мне *не* нравится [1]. Оно отзывается тем, что князь Урусов определяет как Mania grandiosa, кровожадные гримасы [2]. Одним словом, это стихотворение декадентское, а следоват<ельно>, неудачное. Все окружающие меня со мной не согласны, и они восхищаются этим стихотворением. Второе стихотворение мне *очень* понравилось [3]. Оригинально и сильно. Мама подумала, что в этом стихотворении говорится о Христе. Я сильно протестую. По-моему, дело касается женщины, ибо Христос, «роняющий цветок весны» — просто сентиментально и неестественно [4]. Повторяю: это стихотворение мне очень нравится. Очень удачно выражение «высок и внятен колокольный зов». Сначала это выражение немного поражает своей оригинальностью, но когда оно вторично повторяется в конце стихотворения, оно становится безупречно. Вот все, что я имею сказать тебе об этих стихотворениях. Теперь обо мне. Я занимаюсь главным образом стихами и пробую свои силы в новом для меня жанре. Задумываю поэму à la Пушкин, а пока пишу дневник в стихах, разумеется, не каждый день. Весь ушел в Пушкина, с головы до ног. Изучаю его произведения в микроскопических подробностях. Веду правильную жизнь, мало бываю в обществе и поправляюсь нервами, которые осенью совсем испортились. Нервное рас-

стройство имело некоторые причины *нравственные*, и я ему очень рад. Оно много много принесло мне пользы и *счастия*. Теперь чувствую, что с меня спадает тяжелая пелена болезненного мистицизма и всяких сомнений. В религиозном отношении для меня очевидно одно: истина — только в христианском учении, понимаемом так, как понимает его церковь. Следовательно: вся истина — в символе веры, к которому мы не смеем ни прибавить слова, ни отбавить ни слова. *Ничего* нового ждать не следует. Все современное мистическое движение — *антихрист* [5]. Разум должен сам себя обуздать и уступить *вере*, которая с ним примириться не может. Все сие сообщило мне приятное спокойствие, и я предался филологии и поэзии. Теперь больше всего увлекаюсь Гомером и Пушкиным. Многие житейские обстоятельства содействуют моему поправлению. На Рождестве был в деревне [6]. Много читал и писал. Скоро собираюсь в Трубицино [7] (на масляницe). Напиши, пожалуйста, поскорее и присылай побольше стихов. Твоей маме от меня передай всевозможную любовь. Прикладываю стихотворения. От влияния дяди Володи [8] я почти освободился, но влияние Пушкина очень сильно.

С. Соловьев

P. S. В гимназии поссорился с либералами <. . .> [9]

P. S. Напиши, пожалуйста, критику на стихи. Еще имею к тебе следующую просьбу: посвяти мне, пожалуйста, стихот<ворение> «*Входите все*», а «*Предчувствую тебя*» не посвящай и посвящение зачеркни [10]. Я боюсь, нет ли в этом стихотворении чего-нибудь антицерковного. Кроме стихотворений, похожих на приложенные, я много написал эпиграмм, отрывков, стихотворных писем и шутовских стихотворений.

Оставляю это все до свидания.

С. Соловьев

Ответ на несохранившееся письмо Блока к Соловьевым, к которому прилагался лист с автографами его стихотворений, — см. прим. 1 и 3.

[1] По-видимому, речь идет о стихотворении «Я шел — и вслед за мною шли. . .» (датируемом 1 января 1902 г. — I, 155), переписанном Блоком на лицевом полулисте того двойного листа почтовой бумаги, где переписано и стихотворение «Бегут неверные дневные тени. . .» (см. прим. 3).

[2] Александр Иванович *Урусов* (1843—1900) — юрист, художественный и литературный критик. Соловьев имеет в виду следующее высказывание Урусова из частного письма (адресат при публикации не указан) от 4 июня 1900 г.: «Бальмонт прислал «Горящие здания». Первое впечатление — крайне неблагоприятное. Mania grandiosa, кровожадные гримасы <. . .> Книга производит впечатление психиатрического документа» («Северные цветы на 1901 год, собранные книгоиздательством «Скорпион». М., 1901, с. 168).

[3] Речь идет о стихотворении «Бегут неверные дневные тени. . .» (датируется 4 января 1902 г.).

[4] Имеются в виду строки:

И, может быть, цветок весны уронишь
Здесь, в этой мгле, у строгих образов.

[5] Противление Соловьева богословским новациям направлено прежде всего против «нового христианства» Мережковского с его чаяниями «третьего завета» и т. п. догматическим самоуправством; полнее неприятие Мережковского и его проповеди сказалось в последующих письмах Соловьева к Блоку. — Ср. в письме О. М. Соловьевой к А. А. Кублицкой-Пиоттух от 11 апреля 1902 г.

[6] Соловьев ездил в Лаптево, имение Венкстернов — см. п. 33.

[7] См. п. 2, прим. 3.

[8] Т. е. Вл. С. Соловьева.

[9] Именно к этому письму следует отнести двойной лист со стихами (о которых Соловьев и говорит: «Прикладываю стихотворения»). К письму от 14 февраля были приложены неизданные юношеские стихотворения Соловьева «Умолкнул шум. Блуждают тени. . .» (с датой: 1901 г., 8 октября); «Корою льда подернул воды. . .» (с датой: 12 октября <1901 г.>); «Метель затихла. Утро ясно. . .» (с датой 29 декабря <1901>); «В больной душе томился стих бескрылый. . .» (с датой: 1902 г., 9 февраля). А к апрельскому письму могли быть приложены недатированные стихотворения «Ее дома около. . .» и «Зачем журчащею струею. . .» (из которых первое — «шутовское», как сказано в постскриптуме).

[10] См. п. 3, прим. 5. Автографа стихотворения «Входите все. Во внутренних покоях. . .», в окончательном тексте (I, 111) посвященного Соловьеву, в «московском» собрании рукописей Блока нет.

5. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

‹Москва. Вторая половина апреля 1902 г.›

Милый Саша.

Хотел было много написать тебе о твоих новых стихах, но думаю теперь, что не стоит и лучше ограничиться несколькими словами. Подробности лучше обсудить при свидании. Все стихотворения сильны и оригинальны, но от них веет *мучительным* мистицизмом. Конечно, их нельзя сравнивать с виршами компании Мережковских. То уж одна гниль, по их собственному признанию, «Весь я гниль» (Мережковский) [1]. У тебя отнюдь не гниль, а нечто *могучее*. Одно из самых пронзительных «Мы преклонились у Завета». Жена, смеющаяся из ветхой позолоты, —гениально [2]. Но знаешь, кто она, по моему твердому убеждению? Не «Дева Радужных ворот»! Отнюдь. Припомни Пушкина:

Другой — женообразный, сладострастный
Обманчивый и *лживый* идеал, —
Волшебный демон, *лживый*, но прекрасный [3]

«Лживая, но прекрасная». Не такова мудрость, сходящая свыше. «Мудрость, сходящая свыше, во-первых. чиста, потом скромна, мирна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна» [4]. Такою ли женою ты, «несчастный, бедный, тленный, может быть, любим»? [5] Поэты — цари земные. В писании сказано, что они будут блудодействовать с великою блудницей [6]. Все сбывается. От твоих стихов в восторге Бугаев и А. С. Петровский [7]. Я более или менее поправился и все второе полугодие провел хорошо. Папина болезнь на время разрушила приятное настроение. Теперь держу экзамены и худею над математикой. Пишу много, много перевожу, особенно Мюссе и Гейне [8]. Набил сундук, сегодня уехавший в Дедово, книгами по истории церкви и русской критике. Особенно усердно изучаю в последнее время малоизвестных консервативных критиков: Говорухи-Отрока [9], Страхова [10] и Аполлона Григорьева. Около пятнадцатого мая я начну попеременно жить то в Москве, то в Дедове. До тех пор — нельзя уехать. Впрочем, жизнь в Москве летом я очень люблю. Так как адрес мой в мае очень неопределенен (я буду висеть между Дедовом и различными знакомыми, ибо наша квартира запирается), то пиши всего лучше так: *Москва*, Пречистенка, д. Пегова, гимназия Поливанова, уч. VI кл. Соловьеву. Твоей маме передай от меня и от всех наших самые искренние приветствия. Прикладываю стихотворения [11].

С. Соловьев

Ответ на несохранившееся письмо Блока с рукописями стихов.

[1] См. в стихотворении Д. С. Мережковского «Трубный глас»: «Брат, мне стыдно — весь я пыль // Пыль и тлен, и смрад, и гниль». — «Северные цветы на 1902 г., собранные книгоиздательством «Скорпион»». М., 1902, с. 103—104.

[2] Стихотворение «Мы преклонились у завета. . .», датированное 18 января 1902 г. Соловьев говорит о его последней строфе:

И с этой ветхой позолоты,
Из этой страшной глубины
На праздник мой спустился Кто-то
С улыбкой ласковой Жены.

[3] Неточная цитата из стихотворения Пушкина «В начале жизни школу помню я. . .» (1830).

[4] Соборное послание св. апостола Иакова, 3.17.

[5] Из стихотворения Блока «Сны раздумий небывалых. . .» (3 февраля 1902 г.):

Но Владычицей вселенной,
Красотой неизреченной,
Я, случайный, бедный, тленный,
Может быть, любим.
(I, 164)

[6] См.: Откровение св. Иоанна Богослова, XVIII, 2—3.

[7] Алексей Сергеевич *Петровский* (1881—1958) — студент-естественник, близкий друг Андрея Белого, впоследствии — переводчик, музеевед. О восторженном отношении Белого и Петровского к стихотворениям Блока (с рукописями их познакомили Соловьевы) О. М. Соловьева впервые сообщала в письме к А. А. Кублицкой-Пиоттух от 3 сентября 1901 г.

[8] В тетрадках юношеских стихотворений Соловьева (с надписью, вероятно, самого поэта: «Не печатать при жизни автора») сохранились переводы двух стихотворений А. Мюссе (возможно, интерес у Сергея Соловьева к Мюссе возник под влиянием Вл. Соловьева — ср.: С. М. Соловьев. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977, с. 130) и шести стихотворений Г. Гейне, датированных февралем—апрелем 1902 г. (ЦГАЛИ, ф. 475, оп. 1, ед. хр. 1, лл., соответственно, 15 и об., 46 об.—48 об. и 2 об., 3 об. — 5, 8, 10, 18). Рукописи переводов Соловьева из его архива в ГБЛ (см.: «Записки отдела рукописей», вып. 38. М., 1977, с. 181). Есть еще один перевод из Гейне в письме Соловьева к Андрею Белому от 26 августа ‹1902 г.› — ГБЛ, ф. 25, к. 26, ед. хр. 2, л. 11 об.

[9] Юрий Николаевич *Говоруха-Отрок* (псевдонимы: Ю. Николаев, Ю. Елагин; 1852—1896) — консервативный критик и публицист, сотрудник «Московских ведомостей»; признавал себя последователем Аполлона Григорьева; ярый противник Вл. Соловьева. — Ср. в письме Соловьева к Белому от 8 июня 1902 г.: «Много читал Тургенева и восхищался. Восхищался также Говорухой-Отроком, который открыл мне глаза на Тургенева и научил его понимать и любить. До Говорухи-Отрока я Тургенева не ценил как следует» (ГБЛ, ф. 25, к. 26, ед. хр. 2, л. 19 об.).

[10] Николай Николаевич *Страхов* (1828—1896) — публицист, философ, литературный критик, один из идеологов «почвенничества»; в 1880—1890-е годы придерживался консервативно-охранительной позиции; близкий друг В. Соловьева, с середины 1880-х годов — его антагонист.

[11] См. п. 4, прим. 9.

6. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

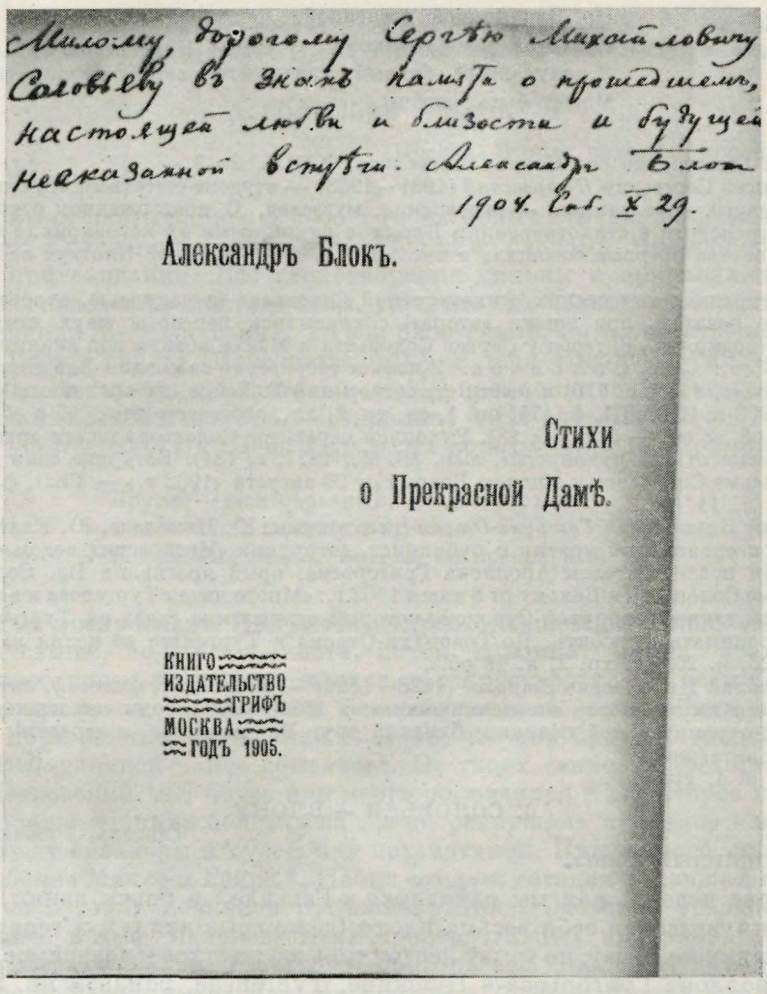
Гапсаль, 1 июля ‹1902 г.›

Милый Саша.

Уже две недели, как мы находимся в Гапсале [1] и берем ванны. Сначала я от ванн чувствовал себя весьма плохо (даже грыз палку), а теперь выправился и палку не грызу, но грызу нечто столь же жесткое и неваримое, а именно статьи Аполлона Григорьева о Пушкине, Тургеневе, романтизме, гегелизме и т. д.[2] Статьи на редкость умные (и главное не либеральные), но слог убийственный. До такой степени теперь я пропитался критическим направлением этого *не* либерального лагеря, что могу извергать из себя целые фейерверки мыслей и чувствую (особенно по ночам) нестерпимый зуд навалять статью, но не выходит ничего, ибо переварены эти мысли не вполне, и я могу говорить только: об этом В. Соловьев говорит так-то, а Страхов так-то и так далее [3].

В Гапсале, к величайшему благополучию, в этом году *скучно*: вместо семи тысяч приехала всего одна тысяча. Погода, к моему удовольствию, холодная и идет дождь. Сегодня он льет с утра, и все сильнее и сильнее. Так называемый «большой *променад*» (происхождение этого замысловатого названия я объясняю тем, что там можно «*променять*» всякую проходящую барышню на другую, идущую вслед за ней, или же тем, что так можно *проминать* ноги) опустел, и там не играет музыка, что также приятно.

Я перевожу Овидия, Шенье и Гейне [4]. Читаю в изобилии Тургенева и историю церкви. Стихов пишу довольно мало, а перед этим писал много. Напиши мне, пожалуйста, и приложи стихи. Напиши также, как тебе понравилась «Симфония» Андрея Белого [5] и имеешь ли ты сношения с Мережковскими. Димитрий Сергеевич талантлив здорово, но он забывает, почему собак не пускают в церковь, а кошек пускают. Он не прочь напустить в церковь и блаженной памяти Изиду, забывая ее предосудительное поведение в самом раннем возрасте, и Федора Павловича Карамазова в виде обратной стороны Христа и т. д. Вообще я боюсь, чтобы будущие историки русской


Милому, дорогому Сергѣю Михайловичу Соловьеву въ знакъ памяти о прошедшемъ, настоящей любви и близости и будущей неказанной встрѣчи. Александръ Блокъ
1904. Сан. X 29.

Александръ Блокъ.

Стихи
о Прекрасной Дамѣ.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ГРИФЪ
МОСКВА
ГОДЪ 1905.

БЛОК. СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ. М., «ГРИФ», 1905
С дарственной надписью С. М. Соловьеву от 29 октября 1904 г.
Собрание Н. С. Соловьевой, Москва

литературы не разделили ее так, в хронологическом порядке: романтизм, натурализм, фаллизм. . . Не дай, Господи. Будем надеяться, что термин «половые», теперь ставший столь обычным в изящной литературе, станет опять употребляться преимущественно в трактирном смысле. Прикладываю стихи [6].

С. Соловьев

Адрес наш: Эстляндская губерния, Гапсаль, отель *Салон*.

[1] В Гапсаль (Эстляндия) С. Соловьев приехал с отцом в середине июня 1902 г. после сдачи экзаменов в гимназии.

[2] Речь идет о статьях А. А. Григорьева «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859) и «И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа «Дворянское гнездо» (1859) (Аполлон Григорьев. Сочинения, т. I. Изд. Н. Н. Страхова. СПб., 1876, с. 230—448).

[3] Ср. в письме С. Соловьева к Андрею Белому от 14 июня 1902 г. из Ревеля: «Я далек от вашего разочарования в русском народе, чему теперь будет способствовать и Аполлон Григорьев, везомый мною в сундуке. Готовлю в голове статью, долженствующую представлять из себя смесь Владимира Соловьева, Говорухи-Отрока, Страхова и других. Задену Белинского и кратко, но сильно уничтожу Добролюбова, которого никогда не

читал (и читать не буду, разве только за чаем у Марковых)» (ГБЛ, ф. 25, карт. 26, ед. хр. 2). Замысел этой статьи, основанной на противопоставлении радикально-демократической и консервативной, «почвеннической», религиозно-философской критики, не был реализован.

[4] Еще до отъезда в Гапсаль Соловьев писал Андрею Белому: «Перевел рифмованным хореем «Дедал и Икар» Овидия» (ГБЛ, ф. 25, к. 26, ед. хр. 3, л. 21); текстов его ранних переводов из Овидия мы не знаем. В тех же тетрадках, где находятся юношеские переводы Соловьева из Гейне и Мюссе (см. п. 5, прим. 8), есть и четыре стихотворения А. Шенье в его переводе; два из них помечены: 1902. Июнь. Гапсаль; два других — маем и июнем 1902 г. (при последнем указано: Дедово) — см.: ЦГАЛИ, ф. 475, оп. 1, ед. хр. 1, лл. 12, 23 об.—24 об., 33, 42 об.—43. — Ср. также в письме Соловьева к Белому от 29 июня 1902 г.: «Перевожу приторно-холодные элегии Шенье, которые мне смертельно надоели. По всему Гапсалю искал Гейне, и не нашел» (ГБЛ, ф. 25, к. 26, ед. хр. 3, л. 24 об.).

[5] «Симфония (2-я, драматическая)» Андрея Белого вышла в свет в апреле 1902 г. в издательстве «Скорпион». Блок опубликовал лирическую рецензию на нее в журнале «Новый путь» (1903, № 4 — см.: V, 525). — На вопрос Соловьева Блок отвечал письмом, которое до нас не дошло, о котором см. ниже, п. 7.

[6] Следует неизданное стихотворение Соловьева «Распластала чайка крылья белые. . .»

7. БЛОК — СОЛОВЬЕВУ

‹Не позднее 6 июля 1902 г.›

«Симфония» разумеется, поразила нас, как и до сих пор поражает. По-моему это вещь громадная, но боюсь высказать мое крайнее, на днях только определившееся воззрение на нее *вообще*, не говоря об «эволюции» частей: есть ли *и это полное* очищение? Не затерялось ли и здесь, в страницах, порой «шумящих» откровением, «злое пламя земного огня»? Мне думается, что автор и еще стряхнет последний обветшалый убор, если правда, что в симфонии звучит какой-то «рай вчерашний» (а не завтрашний) и «соучастница греха». Я бы еще сказал, что не покинуты какие-то «родимые пределы».

Ведь ни *седины* ума не должны привязывать к родному Харрану, ни юность сердца — к родному Уру.

Датируется по содержанию.

Фрагмент письма сохранился в виде цитаты, включенной Соловьевым в письмо к А. Белому от 6 июля 1902 г. (курсивы могут принадлежать как Блоку, так и Соловьеву). Часть письма дана в пересказе: «Он пишет, что и это лето для него не «обойдется без ворожбы и гаданий особого рода» и что он, чувствуя свою отдаленность от Жены, облеченной в Солнце, боится Астарты. Еще сообщает ‹. . .›, что крестьяне в соседних ему деревнях говорят: «*Она несется по ржи*» и больше ничего не прибавляют». О лете 1902 г. Соловьев вспоминал: «Получались письма от Блока и Бори Бугаева. Блок своим большим каменным почерком писал какие-то загадочные пророчества в библейском стиле, которые Брюсов впоследствии называл чревовещаниями. В одном его письме ко мне говорилось: «Представь себе, мужики говорят: «*Она* летит по ржи». Как это попало в деревню?» (Сергей Соловьев. Воспоминания).

Видимо, письмо Блока в мемуарах цитируется по памяти, о чем свидетельствуют разночтения.

Комментарий к публикуемым фрагментам см. при письме С. М. Соловьева к А. Белому в разделе «Блок в неизданной переписке и дневниках современников» (наст. том, кн. 3).

8. БЛОК — СОЛОВЬЕВУ

‹Петербург. 20 марта 1903 г.›

Мой милый и дорогой Сережа.

Столько времени прошло, как мы с тобой писали друг другу, и столько истекло сроков [1]. И, я думаю, столько открылось чудесного и исполнились такие заветы времен, что нет уже надобности заполнять их речью. У нас наступают многогранные дни, и нет нужды упоминать о многодумных свершеньях Писаний и о том, что «закат не без привета и не без смысла эта тень» [2]. Здесь глубоко испытываются храмовые законы Молчаливой Воли, в которых «тяжкий млат, дробя стекло, кует булат» [3]. Прислушиваясь в себе к дробя-

щим звукам, чувствуешь *железные* звуки и эхо в «горних» и готовых для Встречи рудниках сердца. Тебе, одному из немногих и под непременной тайной, я решаюсь сообщить самую важную вещь в моей жизни. Я женюсь. Имя моей Невесты — Любовь Дмитриевна Менделеева. Срок еще не определен — и не менее *года*.[4]

Пожалуйста, не сообщай этого никому, даже Борису Николаевичу [5], не говоря уже о родственниках. Твое письмо к маме произвело на нас очень сильное и вполне благоприятное впечатление [6]. Надеюсь много раз в жизни видеть тебя и приветствую тебя радостно. Если в это лето ты приедешь в Шахматово, все мы будем счастливы тебя видеть. Вот пока все, что сообщаю тебе. Пожалуйста, если не будет настроения или нет времени, не трудись отвечать сразу.

Любящий тебя неизменно А. Блок

Крепко тебя целую и обнимаю.

20 марта 1903. СПб.

[1] Видимо, переписка Блока и С. Соловьева с лета 1902 г. не возобновлялась.
[2] Из стихотворения Я. П. Полонского «Вечерний звон» («Вечерний звон. . . не жди рассвета. . .»). — Я. П. Полонский. Полн. собр. стихотворений в 5 томах, т. 3, СПб., 1896, с. 33.
[3] Из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (п. 1, ст. 148—149).
[4] Блок сделал предложение Л. Д. Менделеевой и получил согласие ее родителей 2 января 1903 г.
[5] Б. Н. Бугаеву (А. Белому).
[6] Письма С. М. Соловьева к А. А. Кублицкой-Пиоттух нам неизвестны.

9. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

25 марта <1903 г.> Благовещение.

Милый мой друг.

Сейчас я вбежал в комнату, быстро зажег лампу и хотел приняться за историю революции, чтобы кончить курс (осталось шесть страниц) [1], когда прочел твое письмо и решил, что не могу ничего делать, прежде чем не напишу тебе. Спасибо, мой милый, за то, что мне сообщил о твоих обстоятельствах, которые меня несказанно обрадовали. Поздравляю тебя ото всей души, но предупреждаю, что я с тобой незнаком, если не позовешь меня шафером, где бы ни произошла твоя свадьба. Я человек легкий на подъем и всегда прискачу, когда будет надо. Летом собираюсь в Шахматово непременно, на несколько дней. Относительно лета нахожусь в положении неопределенном. Хочу только в одно место, где, разумеется, так называемые «сердечные дела», но не знаю, удастся ли туда попасть, хотя шансы имеются. Уже четыре года, как я нахожусь в зависимости, и, представь себе, также от «Дмитриевны» (необыкновенно прозаическое отчество) [2]. Дело дошло до того, что завтра чуть свет должен бежать в один переулок, да еще притом для удобства... одетый инженером [3]. . . Занимаюсь больше стихами, а также философией христианства. Сильно я изменился душевно за последнее время: стал как-то самоувереннее и крепче, хотя нервничаю порядком наедине с самим собой. Май буду проводить в Москве. Очень хотелось бы побывать в Шахматове в начале июня. Борис Николаевич [4] часто у меня бывает. Он теперь сделался злобою дня. Газеты ругают его неприличным образом [5], но и число поклонников все увеличивается.

Так хорошо, что ты женишься, что даже как-то не верится. Слишком мало приходится видеть таких святых вещей среди грязи и мерзости окружающего, грязи, занявшей самое почетное место, с которого трудно смести ее в помойную яму. Во мне теперь всего сильнее желание разогнать это стадо свиней, ибо всякая постройка должна начинаться прежде всего с разрушения.

Ведь брак — первая церковь, образовавшаяся на земле, первый бого установленный союз и первое торжество добра, истины и красоты над мра-ком злых сил.

Друг твой Сергей С о л о в ь е в

Ответ на письмо 8. На письме помета Блока: 1903.

[1] О какой книге идет речь, неизвестно.

[2] По-видимому, здесь говорится об «арсеньевской гимназистке, в которую был влюблен Соловьев. Отношение к ней у Соловьева было «одновременно — и мистическое, и эротическое» (Андрей Б е л ы й. Материал к биографии (интимный), предназначенный для изучения только после смерти автора. — ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 2, ед. хр. 3, л. 18). «Под-черкиваю, — писал три десятилетия спустя Андрей Белый, относя коренное сближение судеб трех друзей к 1901 г., — в январе 1901 г. заложена опасная в нас «мистическая» пе-тарда, породившая столькие кривотолки о «Прекрасной даме»; корень ее в том, что в ян-варе 1901 г. Боря Бугаев и Сережа Соловьев, влюбленные в светскую львицу и в арсеньев-скую гимназистку, плюс Саша Блок, влюбленный в дочь Менделеева, записали «мистиче-ские» стихи и почувствовали интерес к любовной поэзии Гете, Лермонтова, Петрарки, Данте; историко-литературный жаргон — покров стыдливости» (Андрей Б е л ы й. Начало века. М.—Л., 1933, с. 18). Однако до такого «позитивного» переосмысления юно-шеского опыта было еще далеко, и три года спустя после описываемых событий, когда Соловьева и Белого развел с Блоком именно полный крах мистических верований 1901—1903 гг., Соловьев сообщал Белому в письме от 2 сентября 1906 г.: «Мария Дм<итриевна> Шепелева выходит замуж за соседа помещика Нефедова, о котором иронически говорила мне года два назад. Вероятно выходит из-за денег, ибо у них пожары и погромы, и доход с имения уменьшается. Узнав о М<арии> Д<митриевне>, я мгновенно впал в транс; гля-нул из души В. Я. <Брюсов> <. . .> Пасть за пастью зияют на меня из прошлого. Стыдно — ничего кроме Содома и Гоморры» (ГБЛ, ф. 25, к. 26, ед. хр. 6, л. 2—3).

[3] О другом аналогичном «переодевании» С. Соловьева для встреч с «М. Д. Ш.» его мать писала А. А. Кублицкой-Пиоттух 31 декабря 1902 г.: «Есть одна очень юная девица, которая запретила ему встречать ее на улице и гулять с ней, потому что за это может достаться от бабушки. И вот Сергей достал шубу и шапку батюшки Маркова — этот ба-тюшка Марков — протопресвитер Успенского собора — и, привесив себе большую бороду, пошел провожать свою даму в виде необыкновенно почтенного священника. Все это было среди бела дня, и предприятие было рискованное, но удалось великолепно» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 551).

[4] Б. Н. Бугаев (А. Белый).

[5] См., например, стихотворную пародию Lolo (Л. Г. Мунштейна) «Оргия» («Новости дня», 1903, № 7107, 21 марта, с. 3), изображающая сцену в «Литературном клубе» с уча-стием Брюсова, Бальмонта, М. Я. Шика и Андрея Белого — «великого и смелого, гени-ально-скороспелого символиста-новичка».

10. БЛОК — СОЛОВЬЕВУ

1903. <Около 6 апреля.> С<анкт>П<етер>б<ург>.

Христос воскрес, милый друг! Получил твое письмо, таких давно не по-лучал. Моя Невеста давно хочет, чтобы ты был шафером. Что касается меня, то ясно, что это составляет мое величайшее желание — и, более того, я боялся, что тебе не удастся почему-нибудь приехать. Придаю этому осо-бенно большое значение, да и ты, вероятно, знаешь, что́ тут замешано и сколько этим будет сказано и связано. На тебя лично надеюсь во многих отношениях в будущем, сам же пока, по понятным причинам, несколько отстаю от окружающего круговорота (может быть, к лучшему). Со време-нем будем свидетелями многого и важного.

Тебе желаю от всей души «исполнения» четырех лет. Тут ничего нельзя сказать, но можно почувствовать и понять сердцем. Радостно «упрекнем» друг друга в «несвоевременном» (как полагают!) «прерафаэлитстве» [1] (как говорят!), но дело в том, что:

Суровый Дант не презирал сонета,
В нем жар любви Петрарка изливал,
Его игру любил творец Макбета. . .[2]

и мн. др. — все о том же. «Все та же дума», как выразился Бор. Ник. в одном письме (ко мне) [3]. Тихий белый цвет, падающий с весенних яблонь, дает о себе весть.

Сообщаю тебе для сведения нечто полуюмористическое: Мережковский, отправившись в Александро-Невскую Лавру (кажется, в Духовную Академию) провалился там в дотоле неведомый люк, довольно глубокий, разбил стекло и порядочно расшибся. Зин. Гиппиус говорит, что это символизм, и упрекает профессоров Духовной Академии. Впрочем, он (Мережк<овский>) ходит и рассказывает об этом происшествии с жаром.

В последнее время он так тих и грустен (впрочем, это и прежде бывало), что я не вижу, «откуда» он и «куда»? Весьма сомнительно, есть ли здесь и доля оргиазма. По этому поводу у меня есть одно соображение: не слишком ли *ясна* была бы его разгадка — и, мож<ет> б<ыть>, не чересчур ли глубока? Его значение исчерпается скорее, — именно в тот момент, когда многие из нас ясно увидят, что пора «заглядеться» на *другое*. Иное дело — явное нецеломудрие в его стиле (пожалуй, даже, в стиле души). Ибо нельзя так вопить о том, на чем непременно понижается голос. Есть ли в нем любовь, я опять затрудняюсь решать: он часто «мил». Вообще, он так сложен пока, что в будущем окажется прост. Вот Розанов, м. б., проще, но в будущем осложнится. Признаюсь тебе, что редкий талант отвратительнее его.

Твой Ал. Б л о к

Ответ на письмо 9. Датируется по дню пасхи 1903 г. — 6 апреля.

[1] Нарочитый духовный эстетизм английских прерафаэлитов оказал определенное влияние на стилистику раннего творчества Блока. Однако просветленность многих произведений Блока начала 1900-х годов, восхищение «колыханием миротворства», призыв «сохранить *красоту*» («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 27—28) вскоре сменяется обратным устремлением, тогда как у Соловьева «прерафаэлитство» осталось определяющей чертой творчества на многие годы. — Ср. пп. 18, 22.

[2] Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Сонет» (1830).

[3] Этой фразой заканчивается недатированное письмо Андрея Белого к Блоку, относящееся к февралю-марту 1903 г. («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 26).

11. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

3 августа <1903 г.> Трубицино.

Милый мой Саша,

очень мне жаль сообщить тебе, что после некоторых раздумий я решил, что в этом году лучше мне воздержаться от поездки в Шахматово, а весь август безвыездно прожить в Трубицине. Я вижу, что это необходимо для нервного отдыха и подготовки к зимнему сезону. Мне теперь необходимо отсутствие всяких сильных впечатлений, даже приятных, а свидание с вами именно теперь и во время твоей свадьбы, о котором я мечтал все лето, слишком для меня беспокойно и *радостно*, ибо ты знаешь, какое значение имеете для меня ты и тетя Аля [1]. Я чувствую, что слишком много <пробудилось бы?> для меня, задремавшего и стихшего в однообразии трубицинской жизни, а главное, твоя свадьба является для меня в слишком ярком мистическом освещении. По всем этим причинам я решил, что следует воздержаться от августовской поездки в Шахматово [2]. Я думаю, ты поймешь меня и не рассердишься, не примешь это за холодность с моей стороны. Напротив, я слишком горячо отношусь ко всему и хочу себя на время прохладить трубицинским анахоретством, которое всего лучше исцеляет знойные раны, а таких ран у меня достаточно [3]. Настроение теперь сравнительно бодрое, много энергии и сознание необходимости экономить нравственные силы, которыми я *кутнул* в январе [4]. Но довольно об этом.

Как жаль, если ты и тетя Аля не получили моего письма: я его повторить не могу, потому что оно было написано под минутным вдохновением [5].

Но надеюсь, что и без него вы верите в то, что бесконечно для меня дороги. Только говорить об этом совестно, будто панталоны сваливаются.

Получаю письма от Бугаева [6]. Он готовится читать зимой публичные лекции в Москве, Петербурге и Нижнем [7], и готовит сборник стихотворений для «Скорпиона» [8]. Общий наш друг Петровский находится или находился в Сарове, и я этому очень рад, потому что буду иметь известия о чудесах из первых рук [9].

Я много пишу и все больше чувствую тяготение к романтизму, и сам изобретаю стихи, где старый романтизм неудачно смешивается с новым декадентством, так что выходит «и нашим и вашим», а в сущности «*никому*».

Целую твою маму и кланяюсь твоей невесте, которую, хотя не знаю, но очень люблю.

Твой Сергей Соловьев

Перед датой — помета Блока: 1903. По фразе Соловьева «Как жаль, если ты и тетя Аля. . .» можно предположить, что это письмо — ответ на письмо Блока, где он либо сообщал о неполучении письма Соловьева (см. прим. 5), либо упрекал того, что давно не было от него писем.

[1] А. А. Кублицкая-Пиоттух.

[2] Имеется в виду поездка в Шахматово на свадьбу Блока и Л. Д. Менделеевой, назначенную на 17 августа.

[3] Ср. письмо Соловьева к А. Белому от 1 августа 1903 г. в разделе «Блок в неизданной переписке современников».

[4] Соловьев говорит о своих переживаниях, вызванных смертью отца и последовавшим за ней самоубийством матери (16 января 1903 г.).

[5] Текст этого письма неизвестен.

[6] Почти все письма Андрея Белого к С. М. Соловьеву (в том числе письма 1903 г.), по всей вероятности, утрачены.

[7] В письме от 1 августа 1903 г. С. Соловьев предостерегал Белого от этого намерения. Публичные выступления Белого в сезон 1903—1904 гг. не состоялись, Белый выступал только на небольших неофициальных собраниях: в октябре 1903 г. с рефератом «Символизм как миропонимание» в кружке «аргонавтов», в январе 1904 г. на тему «Символизм и религия» в религиозно-философском кружке на квартире у В. Ф. Эрна, участвовал в собеседованиях в издательстве «Гриф» (Андрей Белый. Себе на память. — ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 96, л. 2—2 об.).

[8] Книга Андрея Белого «Золото в лазури», выпущенная в свет издательством «Скорпион» в апреле 1904 г. Ее комплектованием и подготовкой к печати Белый занимался в июле-августе 1903 г. (см.: ЛН, т. 85, с. 359—364).

[9] 19 июля 1903 г. в Сарове при стечении огромного количества паломников были открыты мощи св. Серафима Саровского (1759—1833) — иеромонаха Саровского монастыря. А. С. Петровский ездил туда вместе с художником В. В. Владимировым. «Из Сарова вернулись мы с В. В. 4 авг‹уста›, отправившись туда 8-го июля и проведя на месте ровно 2 недели, — сообщал Петровский Андрею Белому 7 августа 1903 г. — ‹. . .› Мы, а с нами и вся масса богомольцев провела дни 17—19 июля вокруг стен Саровской пустыни, ни разу не проникнув за ограду, я не говорю уже в собор, голодные, неимущие, где главу преклонить ‹. . .› Очень значительна по бездонно глубокой символичности была ночь на 19 июля. В соборе совершалось открытие мощей. Шла всенощная — торжественнейший момент. Вся толпа разместилась у стен, так как внутрь не пускали казаки» (ГБЛ, ф. 25, карт. 21, ед. хр. 16). Саровские события оказали огромное впечатление на А. Белого и весь круг его московских друзей, что нашло себе отражение и в письме Белого к Блоку от 19 августа 1903 г. («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 48).

12. БЛОК — СОЛОВЬЕВУ

9 августа 1903. Шахматово.

Милый, дорогой друг мой Сережа.

Я получил твое письмо третьего дня. Мое, конечно, встретилось с ним в пути, по закону соприкосновения противоположностей [1]. Однако и я, и мама без сомнения *поняли* твои слова и им придали *их* цену. Очень сильно огорчившись, я лично почувствовал одновременно особенную тайную близость и неразрывность с тобой на всю жизнь — и озлобленное одиночество — одиночество по причине малого мистического элемента в столь *крайнем* для меня дне 17 августа. Скажу тебе откровенно: когда отказался быть



Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА
Фотография К. Шапиро, 1898 г. Петербург
Литературный музей, Москва

Андрей Белый, я не почувствовал такого огорчения, как теперь [2]. Потому что *его лицо* еще в тени для меня, твое же — в самой неподдельной яркости *дня*, несмотря на окружающее тебя *ночное* сновидение, насквозь пронизанное жемчугами.

Таким образом, помни твердо, что я тебя люблю и постоянно вспоминаю, также и мама. Надеюсь, что мы *скоро* увидимся, однако увидимся уже совсем иначе, чем когда-то. Тот год, в который мы посл‹едний› раз встретились с тобой сначала в Дедове, потом в Шахматове [3], был для меня «оным часом» в решительном смысле, но вместе незапамятно робким и юношеским. Впрочем, «незапамятно» только внешне, ибо «нет старческих и юношеских снов» [4].

Однако раннее утро прошло. Близится день, глаза расширились, внутри поет то же, и то же Δαιμόνιον [5]. И я имею потребность, давнишнюю и коренную — *вымолчаться*. Едва ли будет когда-либо дано — до настоящей и всеми засвидетельствованной ночи — мне высказаться. И я смотрю и упорно хочу (не по своей, а по Высшей воле) смотреть *сбоку*, в чем помогают мне мои стихи, вечный «вымысел», над которым, не суживая круга, можно «облиться слезами» [6]. Я — не во всеоружии. Но и я *осужден* рассматривать «голубоватую мглу» [7], — не дерзая бросать перчаток, *как Андрей Белый*. Но я ничего не забуду и ни о чем не соблазнюсь, и хотел бы. . . чтобы, когда он, а позже и ты, будете ранены неприятелем, — оба пришли ко мне пить чай! . . Условие одно: чтобы я ждал вас «в своей библиотеке» менее двадцати лет. Что касается кухарки, то можно будет ей «закрыть лицо» в случае надобности.

Будь здоров и крепок, ибо все мы знаем, что «щит не двинется с разрушенной стены». Если придет вдохновение, напиши в Петербург и изложи некоторые планы. Больше всего понравилось мне стихотворение «С полками тьмы» [8]. Интересность же *всех* стихотворений лежит, конечно, в их нерассказанном зерне. Я пишу очень мало и очень скверно, потому посылаю тебе только одно, и то весеннее стихотворение.[9]

Твой, любящий тебя всем сердцем Ал. Б л о к

Ответ на письмо 11, полученное Блоком 8 августа (ЗК, 53).

[1] Письмо Блока к Соловьеву, написанное около 3 августа (т. е. около даты написания письма 11, с которым «встретилось. . . в пути» утраченное блоковское), нам неизвестно.

[2] Блок пригласил Белого шафером на свою свадьбу письмом от 28 апреля 1903 г.; предполагалось, что Соловьев будет шафером жениха, а Белый — невесты. В ответном письме от 9 мая Белый принял приглашение, оговорившись, однако, что при некоторых обстоятельствах он не сможет приехать на свадьбу, а 14 июня известил Блока о своем окончательном отказе.

[3] См. п. 3.

[4] Из стихотворения Фета «Все, все мое, что есть и прежде было. . .»

[5] Демон (*греч.*). Ср. в статье Блока 1908 г. «Генрик Ибсен»: «Душа всякого художника полна демонов. Тем они и ужасны, что все пленительны и красивы. Доверить же себя мы можем только тому художнику, у которого, кроме демонов, есть в душе единое

δαιμόνιον — таинственный, внутренний голос, который позволял Сократу безошибочно различать добро и зло» (V, 316). И позже, в статье «Интеллигенция и революция» (1918) Блок писал: «Дух есть музыка. Демон некогда велел Сократу слушаться духа музыки. Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию» (VI, 20).

[6] Реминисценция пушкинской строки «Над вымыслом слезами обольюсь» из стихотворения «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье. . .») (1830).

[7] Ср. в письме к Андрею Белому от 1 августа 1903 г.: «Не переставая «тянуться в голубоватую мглу», рискую встретиться чорт знает с кем» («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 44); несколько позже этот символ сказался в стихотворном «Ответе» (I, 537) Блока на стихи Соловьева в связи с его свадьбой (см. п. 17, прим. 7):

Сквозь тонкий пар сомнения
Смотрю в голубоватый сон. . .

[8] Приводим текст этого неизданного стихотворения Соловьева по автографу ЦГАЛИ, ф. 475, оп. 2, ед. хр. 4, л. 4):

С полками тьмы сражались три бойца,
Отдавши все единому желанью,
Два первые до смертного конца
Держали стяг слабеющею дланью.

Кругом врагов несметных грозный рев,
А помощи не видно ниоткуда,
И пали два бойца, не одолев
Враждебных сил и не дождавшись чуда.

И подхватив затрепетавший стяг,
Один боец над трупами упавших
Недвижно стал. Кругом бесился враг,
И дол гремел от криков ликовавших.

А он все ждал неведомых чудес,
Стоял один перед несметной ратью.
Над ним пустой, безмолвный свод небес,
У ног его — погибшие собратья.

[9] При письме — стихотворение «Я умер. Я пал от раны».

13. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

12 августа ‹1903 г.› Трубицино.

Милый Саша,

сейчас получил твое письмо, которое очень меня взволновало и пробудило особенно сильное желание ехать в Шахматово. Но, тем не менее, я не изменил своего решения. Ты меня спрашиваешь, чувствую ли я себя достаточно удовлетворительно для поездки в отношении ревматизма? В отношении ревматизма удовлетворительно, но состояние нервов не выпускает из Трубицина. Тетя Соня этого понять не может, и ты с ней об этом не говори [1]. Я думаю, что не только тетя Соня, но даже твоя мама вполне не может понять твоего отношения ко всему происходящему. Я пытаюсь понять, как увидишь из стихов: если не понял, то прости, ведь мне материалом могли служить исключительно одни твои стихотворения.

Слава Богу, что ты отстал от «лилового» Нового пути [2].

Сегодня мучительно душный день, который хочет разрешиться грозой, но не разрешается. Ты написал одну такую фразу в письме, которая меня смутила. От нее пахнет «преображениями», а тут можно сорваться [3] и полететь «вверх пятами», говоря словами Достоевского [4].

Пишу и чувствую, что лью воду через решето и как-то притворяюсь. В стихах я сказал все главное, что хотел бы сказать тебе теперь, а потому прощай пока. Пускай бог благословит тебя и твою невесту, и пускай никто ничего не понимает, и пускай

Люди встречают укором презренным
То, чего не поймут,
Что перед добрым иль вдохновенным
Им тяжело порицанье унять,
Знать и собаке охота рычать

Из хорошего может выйти только хорошее. Не забудь, впрочем, что для совершения третьего подвига надобно совершить прежде второй. Не убив дракона похоти, не выведешь Евридику из Ада. Ты — поэт, это первый залог бессмертия для твоей Евридики. Но, оставаясь поэтом, ты будешь бессильным рабом, пока «дракон не канет в бездну». Итак, мой милый, дорогой Пигмалион, будь Персеем, и тогда уж Орфей овладеет Евридикой в вечности [5]. Я, впрочем, уверен, что ты не примешь того, что есть только реализация, за цель. Не мне тебя учить, ты довольно надышался «горным воздухом» [6]. Однако я никак не могу кончить, ибо дело пахнет Владимиром Соловьевым. Отсылаю тебя к четвертому изданию стихотворений [7] и остаюсь твой невидимый шафер [8]

Сергей Соловьев

17 августа 1903 г.

А. А. Блоку

Откровенный шумный свиток
Раскрывался пред тобой,
И божественный напиток
Пил ты полною струей.
Но таинственное знанье
И соблазны мудреца
Ты отбросил для сиянья
Благодатного венца.
Мудрость сердца не смутила,
Ты один бежал туда,
Где одна тебе светила
Заповедная звезда.
Слышишь: гром тревоги бранной
В отдалении затих. . .
Здравствуй, господом избранный,
Побеждающий жених!
Вестник радостный домчался
До страны святой.
Сонный лотос закачался
Тихо над водой.
Тихо лилии вздохнули,
И зараз одно
Белоснежные шепнули:
«Ждали мы давно».
И долиною Соронской
Ныне твой простерся путь.
Прилетев с горы Сионской,
Голубь сел тебе на грудь.
Там вдали Иерусалима
Загорелися врата.
Дверь крылами серафима
Новобрачным отперта.
Над тобою тихо веют
Два небесные крыла. . .
Слышишь: в страхе цепенеют
Легионы духов зла.

Сергей Соловьев

1903. Август.

Ответ на письмо 12 и на предшествовавшее ему несохранившееся письмо; на отдельном листе — стихотворение Соловьева, посвященное Блоку.
На письме помета Блока: 1903.

[1] Софья Григорьевна *Карелина* (см. прим. 3 на с. 325) собиралась поехать на свадьбу.
[2] Намек на цвет обложки (ср. символику «лилового» для Блока — V, 428) религиозно-философского и литературного журнала «Новый путь», издававшегося с января 1903 г. при ближайшем участии Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус и В. В. Розанова. Видимо, эта фраза — отклик на слова Блока из несохранившегося письма.
[3] Ср. пародийное осмеяние подобных излияний у Белого в разговоре двух московских мистиков: «Оба спускались в теософическую глубину: «Нельзя путать красное с пурпурным. Здесь срываются»». — Андрей Белый. Симфония (2-я, драматическая). М., 1902, с. 186.
[4] См. слова Дмитрия Карамазова «Если уж полечу в бездну, то так-таки прямо, головой вниз и вверх пятами, и даже доволен, что именно в унизительном таком положении падаю и считаю это для себя красотой» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30 томах, т. 14. Л., 1976, с. 99, ср. там же, с. 106). Образ вошел в обиход московских «соловьевцев»: «И случайный проходимец летал вверх пятами, пародируя европейскую цивилизацию». — Андрей Белый. Симфония (2-я, драматическая). М., 1902, с. 172;

ср. там же, с. 198, где подобный полет совершает уже главный и положительный герой; употреблялся образ и в позднейших произведениях Белого.

[5] Все рассуждение от слов «Не забудь, впрочем. . .» представляет собою парафраз стихотворения Вл. Соловьева «Три подвига» (Владимир Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974, с. 70—71).

[6] Учитывая, что письмо С. Соловьева «пахнет», по его собственному выражению, Владимиром Соловьевым, можно предположить, что эти слова — цитата из стихотворения последнего «Пора весенних грез еще не миновала . . .» — ср. его 9—10 строки: «И воздух горный радостно вдыхая, //Я в новый путь готов».

[7] Четвертое (М., 1901), первое посмертное, выходившее под редакцией М. С. Соловьева издание стихотворений Вл. Соловьева было в это время настольной книгой «соловьевцев».

[8] Вопреки принятому решению, С. Соловьев приехал в Шахматово (запись Блока от 15 августа: «Сейчас ворвался в комнату Сергей Соловьев» — ЗК, 54) и был шафером на свадьбе. Его переживания во время венчания Блоков отразились в четверостишии, сохранившемся в тетради беловых автографов стихотворений Блока:

Раскрылась Вечности страница.
Змея бессильно умерла.
И видел я, как голубица
Взвилась во сретенье орла.

Под этими стихами — помета: 17 августа. Тараканово (ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 3, л. 71); как известно, Блоки были венчаны в таракановской церкви; стихи Соловьева развивают тему церковного песнопения «Гряди, голубица. . .», которым встречают невесту. — Ср., п. 17, прим. 7.

14. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

1 сентября ‹1903 г.› Москва.

Милый мой Саша,

третьего дня я приехал в Москву и сегодня был в гимназии и «в путь пошел, изнемогая под никому не видимым крестом». За время пребывания в Шахматове [1] я так много узнал важного и нового для меня, что не сразу пришел в себя в Трубицине и сначала нервничал. Теперь переварил все впечатления, и они сделались прочным фундаментом для спокойно приподнятого отношения к жизни. Знакомство мое с Александром Ивановичем было с начала до конца одною из *предопределенных* встреч и было насквозь мистично, так что «петербургский мистик» вполне оправдал свое наименование [2]. Бугаева в Москве нет и долго не будет [3], зато с Петровским много видался и узнал интересные известия про чудеса в Сарове, которых он был очевидцем, т. е. видел исцеленных, хотя самого процесса исцеления не видал [4]. Сейчас я прочел статью Минского «о двух путях добра», напечатанную в «Северных цветах», и по многом с Минским согласен [5]. Розанова он разбивает совершенно и вполне справедливо говорит, что идеал целомудрия требуется не современной церковью, а современной интеллигенцией, в лице лучших ее представителей [6]. А Розанов, кроме всего, пошляк и невежа, когда, например, сожалеет, что в чине венчания не говорится о звездах, цветах и поцелуях [7]. Согласно рецепту «цинического мистика» [8], *великий* обряд венчания, весь проникнутый прозрением мистического смысла брака, до удивительных тонкостей (например, призывание мучеников, страдавших и венчавшихся), следует заменить символами Мирры Лохвицкой, или кого-нибудь из компании. Ты просто пошляк, Василий! Я хотел тебе, Саша, дать один совет, но не успел. Почитал бы ты теперь «Теократию» Вл. Соловьева [9], именно теперь, ибо теперь в твоей жизни должен быть силен дух церковности: брак — первое основание той церкви, которую «не одолеют врата адовы» [10]. В то время, когда ты венчался, я с поразительной ясностью увидел то «горчичное зерно», которое покроет весь мир своими ветвями [11]. Недавно один мой знакомый женился и после свадьбы уехал куда-то на три дня со своей женой, и они захватили с собой томик. . . Короленки. . . Видишь, как много еще придется делать усилий, чтобы мир преобразился. Ведь все почти после таинства венчания готовы сразу приняться за Короленку. Но все сие есть шутки. Не думаю, чтобы удалось в течение зимы с тобой увидаться, зато летом меч-

таю побывать в Шахматове, где соберутся три идеальных женщины —тетя Аля, тетя Маня [12] и Любовь Дмитревна — и сносный мужчина — Александр Александрович Блок. Твоей жене мое всяческое приветствие.

Преданный тебе московский мистик.

[1] С. Соловьев пробыл в Шахматове с вечера 15 августа до утра 18 августа, после чего вернулся в Трубицино. На письме помета Блока: 1903.

[2] Александр Иванович *Розвадовский* (1885—1946); (общепринятую дату рождения — 1883 г. — изменяем в связи с указанной в университетском личном деле Розвадовского: ЛГИА, ф. 14, оп. 3, ед. хр. 40357). Студент физико-математического факультета Петербургского университета, товарищ И. Д. Менделеева, брата Любови Дмитриевны; на свадьбе был шафером невесты. О нем см.: К. Н. Суворова. Архивист ищет дату (К изучению архива А. А. Блока). — В кн.: «Встречи с прошлым», вып. 2. М., 1976, с. 122—123; Adam Galis. Osiemnaście dni Aleksandra Błoka w Warszawie. Warszawa, 1976, s. 78—94. О своем общении с Розвадовским 16 и 17 августа в Боблове и Шахматове С. Соловьев вспоминал: «Рядом со мною сел шафер невесты, молодой польский граф Розвадовский, которого Блок называл «Петербургским мистиком». Мы сразу с ним сошлись. Оба мы были настроены крайне ортодоксально и враждебно к новому религиозному движению, которое возглавлялось тогда Розановым и Мережковским <. . .> За свадебным столом <. . .> я опять был рядом с графом Розвадовским. Никогда его не забуду. Маленький, беленький, худой и неврастеничный, но упорный и сильный в своей слабости. Скоро мы уже пили на ты. Он говорил мне, что климат Петербурга ему вреден и что он едет в южные страны. Речь зашла о Польше, о католичестве и преевятой деве. Граф готовился к пострижению в монахи» («Письма Александра Блока», с. 18, 20).

[3] Белый прожил в имении Серебряный колодезь (Тульская губерния, Ефремовский уезд) до середины сентября.

[4] См. п. 11, прим. 9.

[5] Н. Минский. О двух путях добра. (Два доклада, прочитанных в Петербургских религиозно-философских собраниях). — «Северные цветы». Третий альманах книгоиздательства «Скорпион». М., 1903, с. 131—147. Статья направлена против выступлений В. В. Розанова по вопросам брака. Ср. аналогичный отклик на спор Минского с Розановым в письме Соловьева к А. Белому от 20 сентября 1903 г.: «Прочел недавно Минского о двух путях добра, и вполне с ним согласен. Розанова он отделывает искусно, и несомненно, что Розанов в споре побежден и выказал себя пошляком и невеждой. Вообще к Минскому у меня душа лежит, а ярость к Розанову все возрастает. Впрочем, в «Новом времени» появилась недавно весьма недурная его статья о Тургеневе. В «Новом времени» он, видимо, подтягивается и не дает простору астартическим кликушествам, зато не так ярок и силен, ибо Розанов силен только в гадости. Мне начинает казаться, впрочем, что успех его в значительной степени есть недоразумение и что он слишком ничтожен, чтобы быть названным «предшественником антихриста». Хотя Ницше я не читал, но мне кажется, что он гораздо сильнее, чем Розанов, и что его философия скорее имеет будущность, чем грязные псевдофилософские размышления Розанова. Алексей Сергеевич Петровский со мной не согласен и находит в Розанове «белость»» (ГБЛ, ф. 25, к. 26, ед. хр. 3, л. 18 об.— 19 об.).

[6] Ср. утверждения Минского в статье «О двух путях добра»: «Хочется спросить Розанова, неужели он не читал ни одного поэта 19 в. и не знает, что все новые поэты воспевали не только радости любви, но и разочарования от любви, что пессимизм европейской литературы не что иное, как отрицание любовничества и жажда целомудрия <. . .> Не только поэты, художники минутных настроений, но и романисты развенчивают любовь, жаждут девства и целомудрия. Весь французский роман — сплошной обвинительный акт против любовничества» (с. 134).

[7] Имеется в виду «записка» В. В. Розанова «О некоторых подробностях церковного воззрения на брак», оглашенная на XIII Религиозно-философском собрании в Петербурге. В ней говорится о «влюблении» как главной основе брака: «Введите, однако, этот прекрасный и должный момент в музыку венчания взамен грубого, а главное сухого, как пропись, дьяконского возгласа: «жена да боится мужа своего»: польются звуки мистической любви, слова заговорят о звездах, о цветах, о томлениях влюбления, о лунной ночи и томительных ожиданиях, о завтрашних объятиях и поцелуях» («Новый путь», 1903, № 8, с. 296). Другие выступления Розанова по вопросу о браке были к этому времени собраны в кн.: В. В. Розанов. Семейный вопрос в России, I. СПб., 1903.

[8] Именование Розанова «циническим мистиком» восходит к «Симфонии» Белого (возможно, только отразившего речение, закрепившееся в обиходе «московских мистиков»): «На всю Россию кричал тогда циничный мистик из города Санкт-Петербурга, а товарищи озаряли крикуна бенгальскими огнями». — Андрей Белый. Симфония (2-я, драматическая), с. 77 (ср. с. 105, где пародируется название альманаха «Северные цветы» — «Полярные узоры»).

Имеется в виду сочинение Вл. С. Соловьева «История и будущность теократии» (1886).

[10] «И я говорю тебе: ты — Петр *, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее» (Евангелие от Матфея, XVI, 18).

[11] См. евангельскую притчу о горчичном зерне (Евангелие от Матфея, XIII, 31—32; от Марка, IV, 30—32; от Луки, XIII, 18—19).

[12] Мария Андреевна Бекетова.

15. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

29 сентября ‹1903 г.› Москва.

Милый мой Саша,

спасибо тебе за письмо, доставившее мне *особенно* много радости и послужившее завершением дня, по существу *белого*, наступившего после целого ряда грязновато-серых дней. Стихи твои мне совсем не нравятся, исключая последнюю строфу, которая великолепна. Но и все стихотворение доставило мне по некоторым причинам большое удовольствие [1]. Гимназия стала так омерзительно действовать на мою нервную систему, что я ее бросил, и готовлюсь к экзаменам зрелости дома. Это обстоятельство повергает меня в столь приятное настроение, что я танцую перед умывальником по утрам. Незаменимый Андрей Белый появился окончательно *убеленный* и преисполненный тихой жизнерадостности. Я его осчастливил, подробно изложил метафизику моего пребывания в Боблове [2], так что он, одеваясь в передней и надевая калоши, чтобы не погрузить ног в слякоть, говорил: «Спасибо. Ты мне дал такой запас белости». О твоих стихах он такого мнения: вся современная поэзия, до Брюсова и Бальмонта включительно, перед Блоком стушевывается. Мы часто вспоминаем твои стихи, и особенно мы прыгаем при каждом слове стихотворения: «У забытых могил пробивалась трава» [3]. Бугаев очень тонко заметил, что в «ужасах» у тебя есть сродство с Врубелем. Действительно, то впечатление ужаса, которое производят твои стихи, можно сравнить только с картинами Врубеля. Особенно ужасно:«Черный человечек плачет на дворе» [4]. Недавно была у меня тетя Соня [5] и читала твои стихи, напечатанные в «С‹еверных› цветах» [6], что ее очень огорчило, так что я всячески старался убедить ее, что глупые северные цветы напечатали худшее, что, по-моему, до известной степени справедливо. Профискалю тебе, что по поводу эпитетов, напечатанных с большой буквы (Непостижной, Недостижимой) [7], тетя Соня с горечью сказала: «Конечно, Люба очень милая, и все мы ее очень любим, но для того, чтобы писать с большой буквы, для этого есть другие слова», намекая, очевидно, на Бога. Из того, как тетя Соня принимает каждое твое печатное слово к сердцу, видно, до чего она тебя любит.

Напиши мне, что знаешь о Розвадовском, где он теперь.

Тетя Аля писала мне [8], но я теперь ей отдельно не пишу, ибо это письмо предназначается и ей. Впрочем, ответ на некоторые ее слова я могу написать ей только отдельно. Целуй от меня тетю Алю и приветствуй Любовь Дмитревну.

Твой Сергей Соловьев

P. S. Посылаю тебе стихи. Второе стихотворение я сам считаю окончательно негодным, за исключением третьей строфы.

Ответ на неизвестное нам письмо Блока со стихами (см. прим. 1). Год — по содержанию и помете Блока: 1903. К письму приложены стихотворения Соловьева «Золотой закат» («Молчаливые аллеи. . .») и «Утро. К окну прилетя. . .» с пометой: «оба стихотворения написаны сегодня».

[1] Скорее всего, при неизвестном письме Блока был его «Ответ» («Смотрю сквозь тонкий пар сомненья. . .») на стихи Соловьева о венчании Блоков — см. п. 13 и 17.

[2] В Боблово (имение Менделеевых) С. Соловьев ездил вместе с Блоком 16 августа и утром в день свадьбы 17 августа. «На другой день я приехал с розовым букетом к не-

* Камень (*греч.*).

весте, чтобы везти ее в церковь», — вспоминает С. Соловьев («Письма Александра Блока», с. 18—19; ср.: ЗК, 54).

[3] Стихотворение «У забытых могил пробивалась трава. . .» (I, 274), написанное 1 апреля 1903 г., посвящено С. Соловьеву; было послано — без этого посвящения — Белому ‹4 или 5 апреля› 1903 г. — см.: «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 29—30).

[4] Заключительная строка стихотворения Блока «По городу бегал черный человек. . .» (I, 278), написанного в апреле 1903 г.: оно также попало в Москву при письме Блока к Белому — от 1 августа 1903 г. («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 46). Ср. отзыв об этом стихотворении в письме Андрея Белого к А. С. Петровскому от 18 августа 1903 г., печатаемом в разделе наст. тома «Блок в неизданной переписке и дневниках современников».

[5] С. Г. Карелина.

[6] Цикл Блока «Стихи о Прекрасной Даме», составленный из 10 стихотворений («Северные цветы». Третий альманах книгоиздательства «Скорпион». М., 1903, с. 93—99).

[7] В стихотворении «Безмолвный призрак в терему. . .»

[8] Письма А. А. Кублицкой-Пиоттух к С. Соловьеву нам неизвестны.

16. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

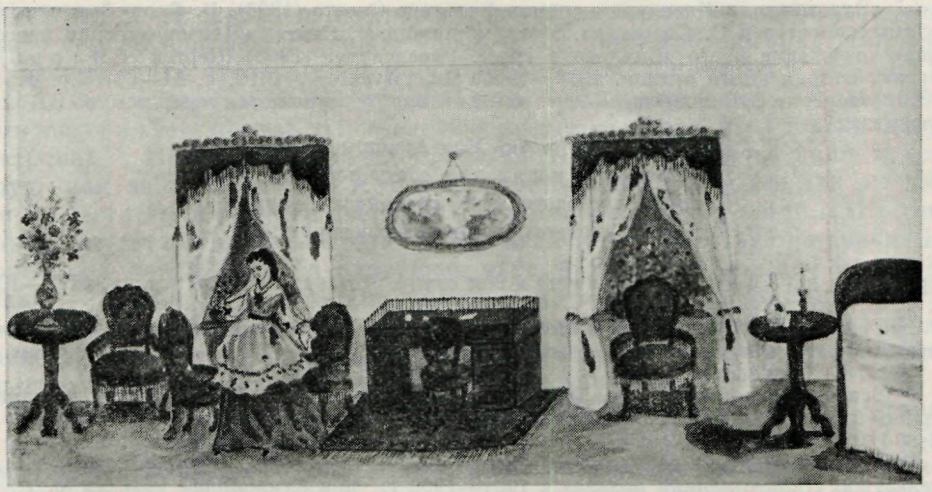
5 октября ‹1903 г.› Москва.

Милый мой Саша,

хотя недавно я писал тебе, но чувствую потребность написать опять, ибо ты слишком много места занимаешь в теперешней моей жизни. Имею к тебе настоятельную просьбу: перепиши *кучу* твоих стихотворений и пришли мне. Перепиши между прочим «Запевающий сон, зацветающий цвет» [1].

В жизни так перемешаны элементы света и тьмы, что те немногие мгновения, когда свет ярко возносится над тьмою, остаются на всю жизнь в памяти и служат твердой опорой для духа в борьбе с его гордостью и с грехами плоти. Такие мгновения я пережил во время нашего последнего свидания [2], и понятно, что мысль моя постоянно возвращается к этому прошедшему, а от прошедшего переходит к *твоему* настоящему. Ты уже знаешь, что из твоих стихов мне всего больше нравится «У забытых могил пробивалась трава». Теперь я особенно вник в это стихотворение, и оно мне показалось гениальным *все*, до «восковых черт» включительно, которые меня сначала смущали [3]. Бывают в жизни минуты, которые обостренно блаженны, и они проходят, оставляя «огнистый след» [4], но только след. «Того мгновенья жаль, что сгибло навсегда», как говорит дядя Володя [5]. В твоих стихах я нахожу воскрешение таких мгновений *моей* жизни, которые воскресить я тщетно стараюсь сам. Настроение некоторых твоих стихов мне до того знакомо, что мне делается странно, как будто кто-то забрался мне в душу и изложил письменно то, что там узнал.

Поэтому ты мне особенно близок: помни это. Я все больше и больше разочаровываюсь в людях и расхожусь с ними, но несколько друзей только укрепляются с годами в моей душе: это те, которые умеют пить чай. . . некоторые из них печатают свои стихи и даже мистерии в «Северных цветах» [6]. Я люблю оставаться вечером один в квартире за чаем. Становится совершенно тихо, самовар шипит, кот спит, передо мной лежит приятная книга и «Полны любви мы человечной, любовью к богу мы полны». Тогда в тишине слышно, как медленно, но верно кладется основа царствия божия и протягивается рука ко всем немногим строителям его. Понятно, что вспоминаешься ты и многие другие, бесплотное присутствие которых особенно ощутительно. Свидания мои с тобой необыкновенно редки, но тем более знаменательны. Когда мы теперь увидимся? Покрыто сие мраком неизвестности. Читаю Вальтера Скотта и получаю громадное наслаждение. Только что кончил «Вудстока» [7]. Я пишу теперь довольно мало. Пробую переводить из Гете [8]. Сегодня у меня был приятный гость: тетя Сена [9]. Завтра утром она уезжает в Петербург, и я сейчас бегу провести с ней вечер. Дядя Всеволод умирает в Москве [10], и тетя Сена говорит, что она — последний из братьев Соловьевых. Тетя Сена, оказывается, знала твою жену, когда она была девочкой. Скоро выходит 8-й том сочинений дяди Володи [11], и я немедленно по получении тебе его пришлю.



ТРУБИЦЫНО. ИНТЕРЬЕР ГОСТИНОЙ
Акварель С. Г. Карелиной, 1871 г.
Литературный музей, Москва

Быть может, я в октябре на неделю поеду в деревню, в Нижегородскую губернию. Жду твоих стихов: они будут лучшим для меня ответом. Приветствую тетю Алю, Любовь Дмитриевну и дядю Франца [12]. Мне иногда приходит в голову мысль, что ведь Любовь Дмитревна мне теперь приходится некоторым образом родней, и, выходя на улицу, я гордо задираю нос. Не могу более писать: сейчас перевел 50 стихов Гомера [13], и в голове образовался *туман*, что неприятным образом приводит на память знаменитого автора знаменитого рассказа «В тумане», которого я не читал [14].

Преданный тебе Сергей Соловьев

Год — по содержанию и помете Блока: 1903.

[1] Стихотворение Блока, написанное в сентябре-декабре 1902 г. (I, 257). Соловьев знал его, видимо, по рукописи, посланной Блоком Андрею Белому 3 февраля 1903 г. («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 19, 20).

[2] Т. е. 15—17 августа 1903 г., на свадьбе Блоков.

[3] Заключительная строфа стихотворения «У забытых могил пробивалась трава. . .»:

Где впервые в мои восковые черты
Отдаленною жизнью повеяла Ты,
Пробиваясь могильной травой. . .

(I, 274).

[4] См. в стихотворении Блока «Ты — думы вечной, вдохновенной. . .»:

Первоначальных лет счастливых
Остывший огнь, потухший свет!
Ты все еще в сердечных нивах
Огнистый оставляешь след.

Стихотворение (впервые опубликовано в 1909 г.) в раннем варианте, который мы и цитировали, было известно Соловьеву по имевшемуся в Москве автографу. См. с. 239.

[5] См. стихотворение Вл. С. Соловьева «Опять надвинулись томительные тени. . .» (1895), посвященное памяти А. Ф. Аксаковой (Владимир Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974, с. 109).

[6] Намек на напечатанные в третьем альманахе «Северные цветы» (М., 1903) цикл Блока «Стихи о Прекрасной Даме», драматическое произведение Андрея Белого «Пришедший. Отрывок из ненаписанной мистерии» и его же цикл стихов «Призывы».

[7] «Вудсток, или Кавалер» — роман Вальтера Скотта (1826). В. Скотт был одним из любимых писателей С. Соловьева. Мотивы романа В. Скотта «Ламмермурская невеста» нашли отражение в его «Балладе о графе Равенсвуде» (1908). (Сергей Соловьев. Апрель. Вторая книга стихов. 1906—1909. М., «Мусагет», 1910, с. 61—65). Ср. строфу из стихотворения С. Соловьева «К Англии», в которой упоминаются герои романа В. Скотта «Уэверли»:

В твоих горах досель Мак-Айвор и Стюарт
Блуждают на конях при свете ночи лунной,
И славу прошлого поет шотландский бард,
Под елью древнею, на арфе тихострунной.

(Сергей Соловьев. Возвращение в дом отчий. Четвертая книга стихов. 1913—1915. М., 1916, стр. 126).

[8] Ранние опыты переводов Соловьева из Гете и Гомера (упоминаемые ниже) нам не известны (быть может, они обнаружатся среди его бумаг в ГБЛ — см. п. 5, прим. 8).

[9] П. С. Соловьева.

[10] Всеволод Сергеевич *Соловьев* (1849—1903) — писатель, исторический романист; старший брат Вл. С. и М. С. Соловьевых, дядя С. Соловьева. Скончался в Москве 20 октября 1903 г.

[11] Т. е. восьмой том собрания сочинений Вл. С. Соловьева, выпущенного в свет издательством «Общественная польза» в 1901—1903 гг. при ближайшем участии М. С. Соловьева.

[12] Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух.

[13] См. прим. 9.

[14] «В тумане» — рассказ Л. Н. Андреева, опубликованный в «Журнале для всех» (1902, № 12) и вызвавший многочисленные печатные отклики и бурную полемику (свод данных об этом см. в кн.: «Русская литература конца XIX—начала XX вв. 1901—1907». М., 1971, с. 380).

17. БЛОК — СОЛОВЬЕВУ

С‹анкт›П‹етер›б‹ург,› 8 окт‹ября,› 1903.

Милый мой Сережа.

Сегодня получил твое письмо второе. Получил, вернувшись из университета и особенно ощущая в эту минуту отчужденность от людей и злость на толстого и бородатого студента, *ежедневно* спрашивающего у меня: 1) что такое декадентство? 2) оправдываю ли я его существование наряду с другими общественными факторами — и т. д. много, долго и все одно и то же. По этой причине (пропуская бездну всех других тебе известных, из которых не последнюю роль играет врожденное и раздуваемое влечение к тебе) был особенно доволен и сменил злость на безмятежное чаепитие. Впрочем, за спиной еще торчали смягчения зубных и гортанных, которые — увы! — будут «сниться на яву» еще два года [1]. Все это, однако, не удручает, а, надеюсь, в скором времени поможет возобновить стихи, редко удающиеся теперь. Ты знаешь, я послал в «Гриф» 15 стихотворений [2]. Андрей Белый написал мне о предложении Соколова [3] (кстати, я не отвечаю Андрею Белому и отвечаю Соколову [4] не потому, что ценю славу больше, чем его, а просто потому, что я «прирожденный скот»; на днях, однако, собираюсь исправлять свою репутацию перед ним и отвечать на длинное письмо и великолепную «Старушку») [5]. Знаешь ли ты, что «Симфонию» нельзя достать, она вся разошлась, по крайней мере в Петербурге [6].

Вчитываюсь в твои стихи и не понимаю, чего нет в них? Прихожу к разным заключениям. Иногда думаю, что они скользят по верху. «Ликуй, Исайя» мне совсем не понравилось. «Грех бессилен» сначала чрезмерно логично и «топографично» и «симметрично» и вообще «ично» — и вдруг обрадуешься, когда начинается «Словно лебедь обняла. . .» Но кончается опять как-то не так. А звучат вообще в нем Пушкинские сказки («восхищенья не снесла»), но точно не параллельно им, и как будто вторые их варианты. И оно в сущности не нравится [7]. *Положительно* нравится мне: 1) «Долго, долго по балкону» — отсюда и до конца. 2) «Тревога жизни отзвучала» — до 4-ой строфы (из переписанных осенью тобой в красную тетрадь) [8]. Остальное нравится *все*, но не за стихи, а за *все* остальное. Может быть, я вообще люблю односто-

ронние стихи. Я особенно люблю, когда «только ласковой думы волненье, только сердца напрасная дрожь» [9] и вместе с тем — не поверху. Впрочем, это, разумеется, в отношении к тому кругу стихов, о которых и которые мы пишем. Твои переводы, напротив, поражают меня и вызывают благодарность, в том числе и «Vita nuova». В последней (Сонет) мне не нравится только «вдруг» (8 строка) [10]. Не хочется писать об «ином». Но снова и снова лишь констатирую как «общеизвестное» и «общепонятное»: почтальон все так же взбегает на лестницу к верхней двери. И прячется за шкапами некто и «Критика разума» лежит в *другой* комнате [11]. Обо всем этом существуют намеки. Недавно мы с женой были на кладбище, искали могилу ее няни. Вместо того нашли. . . могилу студента-самоубийцы, о котором я только слышал, видел его портрет (снятый в день самоубийства) и читал его стихи [12]. Это не трудно «распечатать». Но я не распечатываю. О Розвадовском нет слухов. Я предполагал, что вы в переписке. Странное приходит в голову [13].

Л<юба> тебя приветствует. Сейчас она одна в концерте (а мне «медведь на ухо наступил»). Мы постоянно вместе ходим в учебные заведения, а, кроме этого, почти никуда. Театров мало, а со знакомыми раззнакомливаемся. Начинаются понемногу новые и пока по принципу, формулированному тобой: «Подать сюда мистика!» [14]. У мамы сердце скверно, бывают черные мысли Ты же своими письмами убеляешь косвенно и ее. Но все прекрасно, о чем, впрочем, я ужасно не хотел бы говорить и даже думать. Обнимаю тебя и целую. Вот тебе стихи, боюсь послать уже известные тебе [15].

Твой Ал. Блок

Милый друг!

Напиши мне, пожалуйста, какие у тебя есть из моих стихов, а то я уже все напутал и посылаю тебе, вероятно, известные. Я еще не видал никого из Нового Пути, кроме некот<орых> студентов [16]. Собираюсь писать универс<итетское> сочинение, вероятно, о письмах Жуковского [17]. Пиши и помни, что все сведенья, какие ты даешь, для всех нас драгоценны.

Твой Ал. Блок

Ответ на письма 15 и 16.

[1] Намек на университетские занятия фонетикой.

[2] Цикл из 15 стихотворений Блока, а также его стихотворение «Темная, бледно-зеленая. . .» (с посвящением М. А. Олениной-д'Альгейм) были опубликованы в кн.: «Альманах «Гриф». М., 1904, с. 19—27.

[3] 23 сентября 1903 г. Белый писал Блоку: «Сергей Алексеевич Соколов просил меня Вас уведомить, что ему было бы приятно получить от Вас стихи для декабрьского «Альманаха «Гриф» («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 51).

[4] Цикл из 15 стихотворений Блок выслал Соколову вместе с письмом от 1 октября 1903 г., прося сохранить при печатании обозначенный им порядок стихотворений. Письмо ошибочно датировано Блоком 1 сентября (ошибка осталась не отмеченной в кн.: «Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог», вып. 1. «Письма Александра Блока». М., 1975, с. 369).

[5] Стихотворение «Старушка» («Задумчивый вид. . .») вместе с рукописями других стихотворений было послано Белым в письме к Блоку от 19 августа 1903 г. («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 50—51). 13 октября 1903 г. Блок писал Белому: «Ваша «Старушка» так изумительна, что я даже откладываю писание Вам о ваших стихах, которые Вы мне прислали» (VIII, 67). В измененном виде, под заглавием «Воспоминание» и с посвящением Л. Д. Блок стихотворение вошло в книгу Андрея Белого «Золото в лазури» (М., «Скорпион», 1904, с. 86).

[6] Имеется в виду книга: Андрей Белый. Симфония (2-я, драматическая). <М.>, «Скорпион», <1902>. Как распроданная она была указана в объявлениях издательства «Скорпион», помещенных в кн.: Иван Коневской. Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений. М., «Скорпион», 1904 (вышла в свет в конце 1903 г.).

[7] Речь идет о стихотворном диптихе Соловьева, написанном под впечатлением венчания Блоков и присланном с одним из предыдущих писем Соловьева. В. Н. Орлов ссылается на неизвестный нам автограф, сохранившийся в бумагах поэта (I, 686, но ср. VIII, 565, где это место оставлено без комментария). Мы приводим текст стихотворений по другой рукописи (ЦГАЛИ, ф. 475, оп. 2, ед. хр. 3, лл. 2—3):

17 августа 1903 г.

1

Грех бессилен. Смерть мертва.
Светит пламя божества.
Вечный знак соединенья —
Золотые блещут звенья,
Два священные кольца,
Два небесные венца.
В круге действия земного
Неподвижная основа
Откровением легла:
Вечность светоч свой зажгла,
И звезда Иммануила
Двум избранным засветила,
Все замкнулось золотой
Неуклонною чертой.
И, склоняясь с амвона
Новой матери на лоно,
Словно лебедь, обвила
Взмахом белого крыла.
Голубь в куполе зареял,
Дух святой чуть слышно веял,
И тогда к моей груди
Что-то нежное прильнуло,
И с улыбкою шепнуло:
Все прекрасно впереди.

Август, Трубицино.

2

Ликуй, Исайя, ликуй!
Ликуй, пророк Иммануила!
Се дева в таинство вступила:
Пророка, церковь, именуй.

Неизглаголанных свершений
Полна веков грядущих мгла,
И цепь огнистых откровений
Перед очами залегла.

И разверзается могила,
Бредут толпами мертвецы.
На них звезда Иммануила
Свивает новые венцы.

Ликуй, пророк Иммануила!
Твой вопль исполнен: оживи!
Настанет час, узрится сила
Еще не явленной любви.

Август, Трубицино

Говоря о пушкинских отзвуках в первом стихотворении, Блок цитирует «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях».

[8] Оба стихотворения, строки из которых приводит Блок, были вписаны Соловьевым в тетрадь «Стихи Александра Блока. 1902, 8 ноября — 1903, декабрь». В первом случае поэт говорит о последних строфах стихотворения «Смерклось. Небо потухает. . .» —

Долго, долго по балкону
Я хожу в вечерней мгле.
Ночь ползет по небосклону
И спускается к земле.

Будто нежной женской ласки
В этот час леса полны.
Эти гаснущие краски,
Эта песня тишины.

Стихотворение помечено: 1902. Октябрь, с‹ело› Лаптево (ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 3, л. 75). Вторая цитата — из стихотворения, помеченного февралем 1903 г., «Кругом покой и мрак глубокий. . .» (там же, л. 77). Именно эти отрывки поэт приводит в позднейшем письме, от ‹20 декабря 1903 г.›, для характеристики эпохи, уже отошедшей, наибольшей близости своей к Соловьеву в переживаниях и чаяниях.

[9] Неточная цитата из стихотворения Фета «День проснется — и речи людские. . .» (1884).

[10] Речь идет ближайшим образом о переводе «Из Vita nuova, Данте. Сонет» (первого сонета «Новой жизни»), записанном Соловьевым в тетрадь беловых автографов Блока (см. прим. 8). — Других переводов Соловьева в этой тетради нет (как и в двух хронологически предшествующих ей, где содержится несколько десятков стихотворений Соловьева). Множественное число у Блока объясняется знакомством с иными опытами друга (б. м., нечеткая надпись — «лучшее» — при одном переводе из Мюссе в тетрадях юношеских стихов Соловьева, упоминаемых в прим. 8 к п. 5, принадлежит Блоку? — см.: ЦГАЛИ, ф. 475, оп. 1, ед. хр. 1, л. 15). Упоминаемая Блоком восьмая строка сонета в контексте четверостишия выглядит так:

Уж был четвертый час. Светил, взнесенных богом,
На тверди голубой сиял лучистый круг,
Когда, предавши дух мучительным тревогам,
Крылатый бог любви ко мне явился вдруг.

[11] Намек на следующее место из «Симфонии (2-й, драматической)» Андрея Белого: «1. А в соседней комнате висело огромное зеркало, отражавшее в себе вечно то же и то же.

2. Там был ужас отсутствия и небытия.

3. Там лежала на столе *Критика чистого разума*».

[12] Имеется в виду Владимир Васильевич Лапин. 26 сентября 1902 г. Блок описал в записной книжке «портрет самоубийцы студента Лапина» (ЗК, 42). Ср.: VII, 65.

[13] Этими «странными» мыслями о Розвадовском Блок поделился с Белым в письме от 13 октября 1903 г.: «В эту минуту, как я пишу Вам запоздалые ответы, может быть, один из «нас» (не нас с Вами, а нас нескольких, «преданных Испанской Звезде») идет по австрийской дороге в священнической рясе. Я не имею никаких данных утверждать этого, а если бы имел, то не был бы вправе сообщать об этом даже Вам. Но теперь, теряясь в области предположений, хочу известить о них Вас непременно. Вы могли слышать об этом странном человеке от Сергея Соловьева» (VIII, 65).

[14] Шутка, видимо, восходит к репликам городничего из «Ревизора» Гоголя (действие I, явление 1): «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!», «А подать сюда Земляникy!»

[15] Следует пятнадцать стихотворений Блока, о рукописях которых см. в статье Н. В. Котрелева в наст. томе.

[16] Видимо, имеются в виду Л. Д. Семенов, А. А. Кондратьев, А. А. Смирнов — ср. п. 19, прим. 6; п. 22, прим. 6 и 7.

[17] Намерение не было осуществлено. Кандидатское сочинение Блока — «Болотов и Новиков». (см.: Александр Блок. Собр. соч., т. XI. Л. Изд-во писателей в Ленинграде, 1934, с. 7—80).

18. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

‹Москва. После 20 октября 1903 г.›

Милый Саша,

из твоих стихов мне всего больше понравилось: «Слышу колокол. В поле весна». Особенно хороша и безукоризненна вторая строфа. Только «вселенский день» не дает образа и портит впечатление [1]. «Скрипка стонет под горой» музыкально и задумчиво. Все портит только скрипка, неизвестно для чего напевающая «живи», что скрипке даже совсем не к чему. Сильно и мучительно «Я был весь в пестрых лоскутьях». Превосходны некоторые места в «Вербной субботе», только относительно «заморских гостей» никуда не годится. «Запевающий сон» — прекрасно и безукоризненно. Бальмонт пришел в восторг от «Проходил я морем клевера» и «Мой месяц в царственном зените» [2]. По-моему, первое слишком темно и запутанно, а второе местами сильно, но строфа относительно воздушного шара смахивает на издевательство над самим собой [3]. Не могу не упрекнуть тебя за предосудительное ловление девицы по узким площадям. Думаю, что не будь ты в это время «безликий», не миновать бы тебе участка [4]. Не советую тебе злоупотреблять кричащими рифмами, как: «севера—клевера», «ладана—разгадана» [5]. А, черт возьми, какая скверная почтовая бумага! Вот что значит съэкономить! И мне, и Бугаеву кажется, что в твоей поэзии заметен некоторый поворот, за самое последнее время. Я бы мог назвать этот поворот «отрешением от прерафаэлитизма» [6].

Твои предположения относительно Розвадовского, вероятно, справедливы. В Боблове мы с ним расстались, вероятно, навсегда. Он с первого свидания стал для меня «большим человеком», и образ его не только не тускнеет теперь, а озаряется все более ярким светом. Смерть последнего из братьев Соловьевых порядком меня потрепала [7]. Хотя я не был с ним близок, но особенно теперь почувствовал, что мы с ним одной крови, одного родового безумия, смышленности и страстности. Минутами становится жутко и странно. Сегодня вечером собираюсь на репетицию концерта Олениной-Дальгейм, к ней на квартиру [8]. Недавно Бугаев наделал переполох своими Огыгами, Единорогами и т. д. К нему чуть ни призвали психиатра, и много было тяжелого и для него самого, и для нас. Приветствую тетю Алю, Любовь Дмитревну и дядю Франца.

Твой друг Сергей Соловьев

P. S. Зимой непременно буду в Петербурге.

Ответ на письмо 17. Датируется по упоминанию о кончине Вс. С. Соловьева (п. 16, прим. 10); на письме помета Блока: 1903.

[1] Здесь и ниже Соловьев неточно цитирует стихотворение в полученном им раннем варианте — см. п. 17, прим. 15.

[2] См. там же (первое стихотворение названо неточно, следует — «Погружался я в море клевера. . .»).

[3] Третья строфа стихотворения «Мой месяц в царственном зените. . .»:

На площадях столицы душной
Слепые люди говорят:
«Что над землею? Шар воздушный.
Что под луной? Аэростат».

[4] Речь идет о стихотворении «По узким площадям ловил я тень девицы» (см. п. 17, прим. 15). Его седьмая строка: «Я был перед тобой двуликий и безликий». При жизни поэта не публиковалось.

Первая рифма — в первой строфе стихотворения «Погружался я в море клевера. . .». Вторая — в первой строфе стихотворения «Моя сказка никем не разгадана. . .» (см. там же), хотя и опубликованного Блоком в 1907 г., но не включавшегося в основное собрание стихотворений.

[6] См. п. 10, прим. 1.

См. п. 16, прим. 10.

[8] Мария Алексеевна *Оленина-д'Альгейм* (1869—1970) — выдающаяся камерная певица. С. Соловьев и Андрей Белый восторженно относились к ее выступлениям (см. статью Белого «Певица» — «Мир искусства», 1902, № 11). М. А. Олениной-д'Альгейм, которой С. Соловьев был очарован уже при личном знакомстве в Киеве в январе 1903 г. (ГБЛ, ф. 25, к. 26, ед. хр. 3, л. 7), он посвятил третью книгу своих стихов «Цветник царевны» (М., «Мусагет», 1913).

19. БЛОК — СОЛОВЬЕВУ

‹Петербург. 10 ноября 1903 г.›

Милый Сережа.

Написал было тебе письмо в отчаяньи — по поводу Грифов и Скорпионов [1]. Часть его уже лежала в столе [2], когда пришел сам Соколов [3]. Передал письмо от Бугаева и известие, что он, смущенный было Мережковскими, теперь остается в Грифе. Впрочем, письмо от Бугаева кратко. Он говорит о сложности всего этого и что напишет подробнее [4]. Во всяком случае, я обещал Соколову стихи и участие в Грифе, несмотря на Скорпионов [5]. Завтра поеду с ним к нескольким студентам-декадентам [6]. Соколов был ужасно любезен, показался мне простым, но очень по-редакторски ловким. Вообще сейчас, после его ухода, чувствую себя взвинченно, но не слишком тонко. Все было и будет, кажется, довольно громко, голосисто и разговористо. Это ничего и к лучшему. Знаешь, мы с Любой думаем приехать в январе в Москву. Остановиться надо будет у родственников ее — Менделеевых, которых ты видел осенью.

Но это очень близко от всех вас, кажется (тебя и Андр. Белого) — и от Грифа. Ты приедешь, надеюсь, на рождестве [7]. Был я у Мережковских [8]. Он был мил и мягок. Она необычно суха. Я только и делаю, что падаю в ее глазах. Прежде всего женился, а теперь еще участвую в Грифе. Даже не приглашает! Верить ее рассказам я совершенно не в силах после всех ее выкрутасов [9]. Видел и Перцова, который, кажется, молчаливо сидит, погружаясь в корректуры и пр. Тихо и мило спорит с секретарем «Нов‹ого› пути», который хохочет животом [10]. Но ничего не добьешься и от него. После всех этих посещений я пришел в неподражаемо отвратительное настроение, из которого меня вывела Анна Ивановна Менделеева, вернувшаяся из-за границы и рассказавшая, как там омерзительно [11]. Часто подобные рассказы заставляют ликовать. Окончательно развеселил Соколов. Он прочел свое стихотворение, которое мне понравилось.

Ты написал последнее письмо довольно мрачно. Совершенно понимаю чувство после смерти дяди Всеволода Сергеевича. И я чувствовал его последнесть из старшего мужского поколения и какую-то тяжесть сквозь

октябрьско-ноябрьскую любовь к декадентству, сквозь пыль университета, дум, комбинаций и посторонней говорильни. И ново-временский некролог покоробил[12]. Знаешь ли ты, где и что тетя Сена[13]? Я еще не последовал твоему совету и не прочел «Теократии»[14]. Читал осенью «Духовные основы жизни»[15], потом опять оставил. Теократию, впрочем, я читал прошлой зимой, но не достаточно углубленно. Намереваюсь писать сочинение «Сказания об иконах Богородицы» — боюсь наглупить в нем и превысить университетскую норму[16]. Даст ли Оленина концерт у нас?[17] Возобновил частое стихописание. Тебе посылал тогда стихи, какие приходило в голову, б‹ольшей› ч‹астью› старье. Прилагаю последнее — 7 ноября[18]. Люблю тебя по-прежнему, жду тебя сравнительно скоро, все мы тебя приветствуем. Будь здоров, мы все тебя очень хотим увидеть.

Твой Ал. Блок

10 ноября 1903. СПб.

Продолжаешь ли ты не ходить в гимназию? Что пишешь? Пришли, пожалуйста, стихов, много их читаю вообще, распеваются внутри.

P. S. Люба просит особо передать тебе, что она «очень кланяется».

Ответ на письмо 18.

[1] О столкновении московских символистских издательств «Скорпион» и «Гриф» см. наст. том, раздел «Блок в неизданной переписке современников».

[2] Первоначальный вариант блоковского письма нам неизвестен.

[3] Ср. в записях Блока за ноябрь 1903 г.: «10. Был Соколов. 11. Завтракал у Лейнера с Соколовым» (ЗК, 55). О приезде Соколова Блока предупреждал Белый в письме от ‹начала› ноября 1903 г. («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 59).

[4] Речь идет о недатированном письме Белого, опубликованном там же, с. 64. Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус встречались в Москве с Белым; они поддерживали в конфликте «Скорпиона» Брюсова (ср. прим. 9). Сам Белый подробно рассказывал Блоку о своем отношении к двум столкнувшимся издательствам в письме от первой половины ноября 1903 г. — «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 64—65.

[5] Об участии Блока в «Альманахе «Гриф» см. в наст. томе переписку Блока с С. А. Соколовым.

[6] В числе «студентов-декадентов» подразумевались, видимо, А. А. Смирнов, Л. Д. Семенов и А. А. Кондратьев — ср. в стихотворении Блока «Опрокинут, канул в бездну. . .», которое датируется 10 ноября 1903 г.:

Завтра буду с Соколовым
На извозчике — вдвоем!
Мы Семенова с Смирновым
И с Кондратьевым найдем!

(I, 553)

Три стихотворения Кондратьева и его мифологический этюд «Иксион» были помещены в «Альманахе «Гриф» (М., 1904, с. 114—119).

[7] См. п. 20, прим. 1.

[8] Запись Блока, относящаяся к 8 ноября 1903 г.: «Был у Мережковских и в редакции «Нового пути» (ЗК, 55).

[9] Ср. в письме Блока к Белому от 8 или 9 ноября 1903 г., где упомянута мать Соловьева, О. М. Соловьева: «Сразу я подумал, что тут (т. е. в конфликте «Грифа» и «Скорпиона». — *Н. К., А. Л.*) замешаны какие-то деньги. «Новый путь» (т. е. З. Н. Гиппиус, в первую очередь, и Д. С. Мережковский, руководители журнала «Новый путь». — *Н. К., А. Л.*) отрицает это и страшно ругает Грифов ‹. . .› Напишите, прошу Вас. Я не верю одной Зин‹аиде› Никол‹аевне›, потому что имею несчастие знать ее прошлые поступки, напр‹имер› с Ольгой Михайловной» («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 59). Более подробно свое отношение к Гиппиус, с ее, как он выражается, «метафизической сплетней» вокруг женитьбы Блока, поэт высказал Белому в письме от 20 ноября 1903 г. (VIII, 68—71).

[10] Ефим Александрович *Егоров* — секретарь Религиозно-философских собраний, секретарь «Нового пути» с января 1903 по апрель 1904 г.; позже — заведующий иностранным отделом «Нового времени». О нем: «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1973 год.» Л., 1976, с. 47.

[11] А. И. *Менделеева* (1860—1942) — теща Блока, вторая жена Д. И. Менделеева.
[12] Анонимный некролог Вс. С. Соловьеву («Новое время», 1903, № 9926, 22 окт.) «покоробил», по-видимому, Блока своим полным несозвучием отношению С. Соловьева и его собственному к этой смерти.
[13] П. С. Соловьева.
[14] См. п. 14, прим. 9.
[15] Сочинение Вл. С. Соловьева «Духовные основы жизни» (1884).
[16] Намерение было оставлено.
[17] Блок был на концерте М. А. Олениной-д'Альгейм 30 ноября 1903 г. (ЗК, 58) — Ср. п. 21.
[18] За письмом следует стихотворение Блока «Крыльцо Ее, словно паперть. . .»

20. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

23—24 ноября <1903 г.> Москва.

Милый Саша,

я нахожусь в Москве [1]. Сегодня первый раз был в больнице у тети Саши [2] и понял, что неразумно было до сих пор к ней не ездить и не обговорить с ней всего по-человечески. Был на днях у Брюсова, которому делали операции и каждый день причиняют боль, ковыряя где-то внутри лица, между носом и глазами [3]. Относительно моего стихотворения «За окошком синеют снега» он заметил, что первые его строфы написаны под влиянием Андрея Белого [4]. Я узнал, что одна из наиболее талантливых сотрудниц «Северных цветов» Анастасия Мирович [5] находится «в доме сумасшедших», где Добролюбов [6] проводил дни «в свободном славословии».

Читаю повсюду твое стихотворение «Сижу за ширмой» [7] и порчу этим твою репутацию, что мне весьма с руки, ибо мы с тобой занимаемся одной профессией. У бабушки [8] провел с приезда два вечера. Занимаюсь алгеброй и Еврипидом. Принимаю *души*, что весьма полезно для *тела*. Впечатление такое, как будто несколько палок и кнутов ударяются о спину, живот и т. д., а в ушах свист и шипение, так что «над ними хаос шевелится» [9]. В результате четыре строчки стихов. Читаю дядю Всеволода.

Приветствую тетю Алю, дядю Франца и Любовь Дмитревну, карточки которой распространяю среди родных и знакомых. Дядя Витя [10] спрашивает: «Ну, как тебе нравится *Блочиха*?»

Пока я писал письмо, пришел милейший теософ Батюшков и читал мне свою интересную статью по теософии, немогущую появиться в печати, вследствие ее нецензурности [11]. Я показал Батюшкову, как человеку опытному, карточку Любови Дмитриевны. Он долго и внимательно смотрел на нее, и наконец вскрикнул «Она что-то знает, но сама не знает, откуда?» Потом зашел разговор о Брюсове, и Батюшков вполне подтвердил, что Брюсов способен раздавить ребенка. Он определил Брюсова так: «Он многое знает, но хочет воспользоваться этим *для себя*, обратить знания на свою личную пользу, скрыв от других то, что он знает».

Прошу тебя *немедленно* узнать все, что можно, о Розвадовском и сообщить мне его адрес. Я не хочу верить, что наши с ним отношения кончены. Посвятил ему свое стихотворение «Иосиф», написанное под его непосредственным влиянием [12]. Переписываю папино сочинение о четвертом евангелии [13] и готовлю большое стихотворение, заглавие которого «Перед Иерусалимом» [14]. Отыскал свой прошлогодний перевод из книги Стапфера «Jesus Christ» [15] и пользуюсь им как источником для географии Палестины. Пописываю маленькие стихи <. . .>.

Когда я написал для Л<юбови> Д<митриевны> стихотворение «К Гиппиусу» [16], то она просила меня подписать, а я забыл. Поэтому прилагаю к письму бумажку, которую ты приклей снизу под стихотворением, купив предварительно *гуммиарабику*.



Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА-БЛОК
Фотография, 1902—1903 гг.
Литературный музей, Москва

В вагоне со мной было странное приключение. Проснувшись и увидев в полусне всклокоченную и седую голову моего соседа, я неистово что-то ему закричал, может быть, весьма непристойное, приняв его за тетю Сену [17]. Изумление соседа достигло крайних пределов, когда я быстро проговорил: «Извините, я вас принял за мою тетю». А это был немец, толстый, с большой седой бородой. Вероятно, он подумал, что и меня не мешало бы поместить в «доме сумасшедших». Однако до свидания. У меня скоро экзамены, и я очень боюсь. Сегодня пробовал решать три задачи и не решил ни одной, как это часто со мной бывает.

Для меня стало очевидно, что Гриф заслуживает сочувствия, а Скорпион с ним поступил не по-христиански. Впрочем, какое же христианство у гадов? Странно только, что такая маленькая гадина, как Скорпион, съела большую гадину, как Гриф. Это что-то напоминает сон Фараона [18]. . .

Прилагаю стихи и остаюсь Сергей Соловьев

Письмо получено Блоком 26 ноября (ЗК, 57). Год — помета Блока: 1903. При письме — неизданное стихотворение Соловьева «На заре пробудись и взгляни. . .»

[1] С 12 по 16 ноября С. Соловьев был в Петербурге, 14 и 15 ноября он ночевал у Блока (ЗК, 55).

[2] Александра Михайловна *Марконет* (урожденная Коваленская) — тетка С. Соловьева, старшая сестра О. М. Соловьевой. Блок с женой также навещали ее в больнице во время своего пребывания в Москве (13 января 1904 г. — см.: VIII, 83).

[3] Операцию по поводу гайморита Брюсов перенес в четверг 13 ноября — см.: Валерий Брюсов. Дневники, 1891—1910. (М.), 1927, с. 134—135. Сообщая о предстоя-

щей операции, Брюсов писал Андрею Белому: «Мне ужасно жаль, что через это откладывается встреча с С. М. Соловьевым. Завезите его ко мне — проведать больного — после четверга» (ЛН, т. 85, с. 370).

[4] Этого стихотворения Соловьева мы не знаем.

[5] В «Северных цветах на 1901 год» были помещены два стихотворения Анастасии Мирович (М., 1901, с. 102—103), в «Северных цветах на 1902 год» — ее рассказы «Ящерицы» и «Эльза» (М., 1902, с. 80—83).

[6] А. М. Добролюбов.

[7] Стихотворение «Сижу за ширмой. У меня. . .» (I, 294), датированное 18 октября 1903 г.

[8] Александра Григорьевна Коваленская (1829—1914).

[9] Измененная цитата из стихотворения Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной? . . .» (1830-е годы).

[10] Виктор Михайлович *Коваленский* (ум. в 1924 г.) — сын А. Г. Коваленской, дядя С. М. Соловьева; математик, приват-доцент по кафедре механики Московского университета; о нем см.: Андрей Белый. Между двух революций. Л., 1934, с. 12 — ср. отзыв Блока: VIII, 86.

[11] О знакомстве Блока с П. Н. Батюшковым см. в наст. томе в разделе «Блок в неизданной переписке и дневниках современников».

[12] По-видимому, речь идет о стихотворении «Иосиф» («Сойдет ли ночь, или денницы. . .»), автограф которого сохранился в бумагах А. Белого (ГБЛ, ф. 25, к. 26, ед. хр. 15, л. 1).

[13] Эта работа М. С. Соловьева нам не известна.

[14] См.: Сергей Соловьев. Цветы и ладан. М., 1907 с. 19—24.

[15] Речь идет о трехтомном труде французского богослова Эдмонда-Луи Стапфера (1844—1908) «Иисус Христос, его личность; его власть, его дело», напечатанном в 1895—1898 гг. По всей вероятности, Соловьев перевел только часть этого сочинения, в полном объеме составляющего 900 страниц печатного текста. Стапферу принадлежит и специальное исследование по библейской географии.

[16] Этого произведения Соловьева мы не знаем.

[17] П. С. Соловьева.

[18] По библейскому преданию, египетскому фараону однажды приснились «семь коров, хороших видом и тучных плотию» и «семь коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотию», и тощие пожрали тучных; приснилось ему также, что семь тощих колосьев пожрали семь тучных; по прозорливому истолкованию Иосифа, эти сны предвещали семь лет изобилия, которым на смену пришли семь лет голода — Быт., 41.

21. БЛОК — СОЛОВЬЕВУ

С‹анкт›П‹етер›б‹ург› 1 дек‹абря—6 декабря› 1903.

Милый Сережа.

Вчера вечером мы с Любой истратили порядочно нервов. Был концерт Олениной [1]. Со мной делалось сначала что-то ужасно потрясающее изнутри, а после немецких песен я так устал, что с трудом слушал русские [2]. Она пела между прочим «Лесного царя», «Двойника» [3] и «Два гренадера». *К счастью*, не было песен и плясок смерти, но была «Детская» Мусоргского [4]. Люба была совсем потрясена, также действовало и на маму. Мы были втроем, и видели тетю Сену [5], которая с грустью говорила маме, что ты ей не пишешь. Была с Манасеиными [6]. С Олениной что-то делается, когда она поет. Мне кажется, что она не проживет долго. Она кидается глазами на публику. Возвратясь домой, я собирался написать о ней в «Весы», но вместо того вышла рецензия на «Urbi et orbi» в «Новый путь» [7]. Брюсов мучает меня приблизительно с твоего отъезда [8], ибо тогда я стал читать его книгу. Мне, откровенно говоря, хочется теперь сказать ему какую-нибудь пакость, разумеется, только потому, что обратное плохо говорится. Читать его стихи вслух в последнее время для меня крайне затруднительно, вследствие горловых спазм. Приблизительно как при чтении Пушкинского «Ариона» или «Ненастный день потух».

6 декабря.

Продолжаю. Начал тебе писать ночью, вне себя от «Urbi et orbi». Бросил и заснул. Не отвечаю тебе долго, потому что очень много дела — штук 10 рецензий, некоторые — к определенному сроку [9]. Сообщу тебе несколько фактов. Я получил от Брюсова очень лестное письмо по поводу моего письма к нему о его книге [10]. Вижусь со здешними поэтами, от кото-

рых, в противоположность московским, веет молчанием и холодом. До сих пор не могу оценить этого качества, иногда мне кажется, что это залог будущих действий, а не разговоров. Настроение самое лучшее (у меня), очень деятельное, подвижное, даже без молчания. Хотим непременно приехать в Москву, если будут деньги.

Слова Батюшкова о Брюсове, которые ты мне передал в письме, мне показались настолько важными, что я в ином виде вставил их в рецензию [11]. Как видишь — на языке до сих пор Брюсов. «Он не змеею сердце жалит, но, как пчела, его сосет» [12]. <. . .>

Фамилия твоя приклеена к *твоим* стихам. О твоих стихах напишу тебе как-нибудь отдельно, когда упьюсь «Королевной». По-моему, в ней нет подражания Белому. Спешу тебя уверить, что ты мне никогда не представлялся «скромным тружеником», но не пришлось ли тебе быть им относительно задач и экзаменов? — Можно ли писать: «Мальчик на горку уж ввез санки с обмерзлой веревкой»? Ведь это уже написано в «U‹rbi› et O‹rbi›»! [13]. Не потерплю такой узурпации относительно Брюсова и отомщу тебе кинжалом — в свой час [14]. Впрочем, надо полагать, что скоро сам напишу стихи, которые все окажутся дубликатом Брюсова. Пока скажу тебе, что, по-моему, кроме классической «Королевны», лучше всего «Мы шли в последней темноте», «Дымка прозрачного пара» и струнный голос [15]. Кончаю письмо, сейчас выйду не без приятности на улицу, где иллюминация. Люба в симфоническом концерте, где поминают Берлиоза [16].

Твой Ал. Блок

Ответ на письмо 20.

[1] Ср. запись Блока, относящуюся к 30 ноября 1903 г.: «Концерт Олениной. Стихотворение «Темная, бледно-зеленая. . .» посвятить Олениной» (ЗК, 58; об упомянутом стихотворении см. п. 23). — Оленина выступала в зале Санкт-Петербургского Кредитного общества в воскресенье, 30 ноября 1903 г., начался концерт в 8 ч. 30 мин. вечера («Новое время», 1903, № 9964, 29 ноября).

[2] В программе концерта были произведения Ф. Листа, Р. Шумана, Ф. П. Шуберта (первое отделение) и М. П. Мусоргского (второе). — См. рецензии, напр.: анонимная — там же, 1903, № 9967 (2 декабря); А. К. — «Санкт-Петербургские ведомости», 1903, № 337 (2 декабря).

[3] Произведения Ф. П. Шуберта на слова, соответственно, И. В. Гете и Г. Гейне.

[4] Названы вокальные произведения М. П. Мусоргского на слова А. А. Голенищева-Кутузова.

[5] П. С. Соловьева.

[6] Семья детской писательницы, редактора журнала «Тропинка» Натальи Ивановны Манасеиной (1869—1930), с которой П. С. Соловьева состояла в дружеских отношениях.

[7] Первая рецензия Блока на «Urbi et Orbi» Брюсова была послана Блоком не в «Новый путь», а в начавший выходить с 1904 г. журнал «Весы»; Брюсов, фактический руководитель «Весов», не счел возможным напечатать рецензию из-за ее восторженного, лирически-приподнятого тона. Рецензия была опубликована уже после смерти Блока — см.: V, 532—534, 771. Для «Нового пути» Блок написал вторую, более сдержанную рецензию на книгу Брюсова, которая была опубликована в № 7 журнала за 1904 г. (написана в начале мая 1904 г.; см.: V, 540—545, 772—773).

[8] С. Соловьев выехал из Петербурга в Москву 16 ноября.

[9] Рецензии, предназначенные для январского номера «Нового пути» за 1904 г. В нем были помещены три рецензии Блока (см.: V, 528—532).

[10] 26 ноября 1903 г. Блок отправил Брюсову письмо с восторженным отзывом об «Urbi et Orbi» (VIII, 72). Ответное письмо Брюсова, в котором он благодарит Блока за оценку книги и выражает мнение о его стихах, см. в наст. томе публикацию переписки Блока с Брюсовым.

[11] Ср. с приводимыми С. Соловьевым в п. 20 словами П. Н. Батюшкова слова в рецензии Блока о «*важнейшей* черте книги»: «что-то начатое должно быть окончено мной без участия других — близких ли, далеких ли?» (V, 533).

[12] Из стихотворения Тютчева «Не верь, не верь поэту, дева. . .»

[13] Блок цитирует стихотворение Соловьева «Утро. К окну прилетя. . .»

Мальчик на горку уж ввез
Санки с обмерзлой веревкой.
«Не отморозь себе нос. . .
Экий неловкий!
В снеге валяться нельзя!»

Блок, несомненно, сопоставляет стихи Соловьева со стихотворением Брюсова «Мальчик» («В бочке обмералой вода колыхается. . .») из раздела «Картины», «Urbi et Orbi» (В. Брюсов, Собр. соч., в 7 томах, т. 1. М., 1973, с. 330); в более широком смысле Блок говорит о брюсовской установке на поэтический прозаизм, сильно повлиявшей и на развитие поэтики самого Блока.

[14] Намек на последнюю строку стихотворения Брюсова «Андрею Белому» («Я многим верил до исступленности. . .»): «И мстил неверным в свой час кинжалом».

[15] Можно предположить, что «Королевна» — это стихотворение «За окошком синеют снега. . .» (ср. отзыв о последнем Брюсова — п. 20 — и утверждение Блока в настоящем письме независимости «Королевны» от Андрея Белого). Приводим три упоминаемых в этом и других письмах стихотворения Соловьева по рукописи из его архива (ЦГАЛИ, ф. 475, оп. 2, ед. хр. 3, л. 4, ед. хр. 4, лл. 1—1 об.).

* * *

Золотой качался колос,
Гасли облака. . .
Небо гасло. Струнный голос
Звал издалека.

И раздавленной лежала
Древняя змея,
Тело билось и дрожало,
Блекла чешуя.

Золотой качался колос . . .
Ночь была близка.
Замирая, струнный голос
Звал издалека.

1903. Август.

(Посвящается Б. Бугаеву)

Дымка прозрачного пара,
Вымыты белые чашки.
Дремлет в близи самовара
Мальчик в матросской рубашке.

Мальчик сидит не тревожен
С кроткою девочкой рядом.
Хлеб по корзинам наложен,
Ваза стоит с виноградом.

Дети устали немножко,
Верно, езда закачала. . .
Ночь в небольшое окошко
Вдруг постучала.

Кто там стоит на пороге?
Думать об этом не надо.
Вам показалось с дороги. . .
Тихо сияет лампада.

Там зашептались тени
В темном углу, точно в сказке.
Руку сестре на колени
Брат положил в тихой ласке.

Тихо сияла икона
В розовом свете лампадки.
Что вы так смотрите сонно?
Верно пора вам в кроватки?

Дети спокойно сидели,
Нежно прижавшись друг к другу,
Тихо и сонно глядели
Слушали зимнюю вьюгу.

* * *

Мы шли в последней темноте,
Далекий путь белел в тумане. . .
Уже на огненной черте
Свивались траурные ткани.

Не знали мы, что ждет нас там,
Какие сбудутся надежды,
Какие новым божествам
Готовы новые одежды.

Иль суждено нам изнемочь,
Не перейдя заветной грани?
Редела мгла, светлела ночь,
Свивались пурпурные ткани.

[16] 24/11 декабря 1903 г. исполнялось сто лет со дня рождения Г. Берлиоза (1803—1869), в Петербурге состоялись памятные концерты; однако уточнить, что за концерт имеет в виду Блок, нам не удалось.

22. БЛОК — СОЛОВЬЕВУ

<Петербург. 20 декабря 1903 г.>

Милый Сережа.

К тебе и стихам твоим я чувствую глубокую нежность. Люба необыкновенно точно представляет, как ты читаешь «Королевну» [1]. Настолько близко, что мне стало «чуть-чуть страшно», как говорится в Писании («Симфония» 1-ая героическая) [2]. В эту минуту я вдруг опять вспомнил все прошлогоднее с новой силой. Очень и слишком часто приходит в голову эти дни, что было бы теперь, как было бы, если бы все осталось по старому.

Долго, долго по балкону
Я хожу в вечерней мгле.
Ночь ползет по небосклону
И спускается к земле [3].

Все *перемены* жизни, и мои лично, и твои, и наши, и те, и другие, и еще, и еще. . . все обвили меня белой пеленой, обязали к *чему-то*. Все, что было, отрезало пути к отступлению в детство жизни. И это прекрасно, и к лучшему. Прежде *когда-то* мне удавалось прожить твою строфу:

Тревога жизни отзвучала
И замирает далеко.
Змеиной страсти злое жало
В душе уснуло глубоко [4].

Теперь я почти поручусь, что это когда-то стоящее рядом, навсегда остановилось в воспоминании только, и я бессилен понять такую близкую минуту. Тем более, мне издали поется это каждый день теперь. И рядом с этим, например, Врубель, который меня затягивает и пугает реально, особенно, когда вспомнишь, что с ним теперь [5].

Еще одна разгадка твоих стихов: они требуют отдельного «настроения». Кроме того, часто требуют твоего голоса. Они не гибки, или, выражаясь чисто современным декадентским языком, не «изысканны». То же самое в стихах Владимира Соловьева: они требуют любви, а не любовь — их. Когда им отдашь любовь, они заполнят годы жизни и ответят во сто раз больше, чем в них сказано. Может быть, заполнят и целую жизнь. Твои стихи (хотя далеко не все) тоже необходимо полюбить через кого-нибудь: иногда — через твой голос, через однозвучность и скандированье, а иногда — через собственную мысль или собственный образ, перехваченный по дороге. Тогда «Королевна» говорит во сто раз больше, чем сказано словами. Также — «Мы шли в последней темноте» и «Золотой качался колос». Эти три — самые любимые мной — из последних. «Дымка прозрачного пара» еще под сомнением, там ужасно портит чередование настоящего и прошедшего времени (даже perfectum и imperfectum), — и еще кое-что, что я тебе говорил, особенно — «Брат положил в тихой ласке».

«Королевну» (я для краткости) я читал на днях Семенову (автору драмы и стихов в «Новом пути») [6] и Смирнову (постоянному сотруднику «Н<ового> п<ути>» [7]; оба — студенты и поэты). Они отнеслись равнодушно. По этому поводу мне приходит в голову нечто о прерафаэлитстве (ибо ты к нему

в последнее время, кажется, близишься, в противоположность мне, удаляющемуся; «Королевну» я нахожу в боль<шой> степ<ени> прерафаэлитской). Оно не может быть забыто теперь, но оно не к лицу нашему времени. Лицо искажено судорогой, приходит постоянное желание разглаживать его морщины, но они непременно опять соберутся. Это чересчур просто сказано у меня, но я не чувствую надобности усложнять, потому что это действительно просто до угнетения. Потому же особенно ясно, что теперь именно труднее всего рассказать другому свой самый светлый сон (это отчасти говорит Гиппиус в предисловии к «Собранию стихов») [8]. Чтобы его поняли, нужно чтобы любили, а так как все заняты своим делом, — то современнее (более ли *вечно* — не знаю) действовать кинжалом, как Брюсов [9], как Врубель.

Скоро для поэзии наступят средние века. Поэты будут прекрасны и горды, вернутся к самому обаятельному источнику чистой поэзии, снижут нити из всех жемчугов — морского дна, и города, и ожерелья девушек каждой страны. Мне кажется возможным такое возрождение стиха, что все старые жанры от народного до придворного, от фабричной песни до серенады — воскреснут. Но при этом повторится и кочевая жизнь с оружием в руках и под руками, стилеты под бархатными плащиками, целая жизнь пажа или трубадура, или крестового рыцаря, или дуэньи, или «дамы сердца» — всех в целости и полной индивидуальности — *на всю жизнь*. Это как реакция на место богословия, с одной стороны, вздыхающей усталости — с другой. Сологуб и сквозь усталость увидал звезду Маир, реку Лигой, землю Ойле [10]. Что же мы-то, желающие *жизни*? Я лично хочу, сойдя с астрологической башни, выйти потом из розового куста и спуститься в ров *непременно* в лунную голубую траву, пока не появился в зеркале кто-нибудь сквозь простыню. Трудно будет с моими «восковыми чертами» [11], но тем не менее попробую. А пока я болен (простудился) и сижу дома. У мамы — головные боли, у дяди Франца — флюс. О Любе не говорю, чтобы не сглазить. Пожалуйста, напиши о себе.

У меня к тебе одна нескромная просьба. Скажи пожалуйста, живет ли у тебя кто-нибудь? Дело в том, что у меня тайное желание ночевать у тебя, когда мы будем в Москве. Люба должна остановиться у своих родственников, которые очень милы, но тем не менее мне бы очень хотелось самому не стеснять их и быть в отношении к ним не слишком в зависимости, чтобы осталось больше времени на мистическую Москву. Предупреждаю тебя, что: 1) ты прежде всего *д о л ж е н* совершенно обдуманно и искренно сообщить мне, помешаю я тебе или нет; 2) что мы не наверное поедем в Москву; 2) что, если поедем, рассчитаем так, чтобы, проведя дней десять, быть в Москве в день 16 января [12], притом лучше, чтобы этот день оказался одним из последних дней пребывания в Москве; 4) что я *могу* остановиться у Любиных родственников, которые даже приглашают меня, и обращаюсь к тебе скорее по собственному капризу.

Напиши, мой милый, целую тебя и обнимаю крепко. Все мы тебя любим.

Твой Ал. Б л о к

Вот два последних стихотворения [13].
Пришли мне твои последние стихи.

20 декабря 1903 г. Петербург

[1] См. п. 21, прим. 15.

[2] Ср.: «Летел на меня кентавр Буцентавр <. . .> улыбался молниевой улыбкой. . . чуть-чуть страшной» (Андрей Б е л ы й. Северная симфония (1-я героическая). М., «Скорпион», 1904, с. 13).

[3] См. п. 17, прим. 8.

[4] См. там же.

[5] Намек на симптомы психического заболевания М. А. Врубеля, впервые обозначившиеся весной 1902 г. Лето, осень и часть зимы Врубель провел в психиатрической клинике в Москве (см.: «Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике». Л., 1976, с. 335).

[6] В «Новом пути» были опубликованы драма Л. Д. Семенова «Около тайны» (1903, № 5, с. 1—33) и цикл его стихотворений (ср. п. 23, прим. 1).

[7] Александр Александрович *Смирнов* (1883—1962) — университетский товарищ Блока, впоследствии — литературовед, специалист по европейским литературам Средневековья и Возрождения, профессор Ленинградского университета. Его заметки и рецензии постоянно печатались в «Новом пути» с апреля 1903 г.

[8] Ср. заключение З. Н. Гиппиус в предисловии «Необходимое о стихах»: «Виноваты ли мы, что каждое «я» теперь сделалось особенным, одиноким, оторванным от другого «я» и потому непонятным ему и ненужным? Нам, каждому, страстно нужна, понятна и дорога наша молитва, нужно наше стихотворение — отражение мгновенной полноты нашего сердца. Но другому, у которого заветное «свое» — другое, непонятна и чужда моя молитва. Сознание одиночества еще более отрывает людей друг от друга, обособляет, заставляет замыкаться душу. Мы стыдимся своих молитв и, зная, что все равно не сольемся в них ни с кем, — говорим, слагаем их уже вполголоса, про себя, намеками, ясными лишь для себя» (З. Н. Гиппиус. Собр. стихов 1889—1903 г. М., «Скорпион», 1904, с. III; книга вышла в свет в октябре 1903 г.).

[9] См. п. 21, прим. 14.

[10] Образы «далекого мира» из стихотворного цикла Ф. Сологуба «Звезда Маир» (Ф. Сологуб. Собр. стихов, кн. III и IV. 1897—1903 г. М., «Скорпион», 1904, с. 57—60; книга вышла в свет в октябре 1903 г.). Блок очень ценил этот цикл. Сохранилась его надпись на «Стихах о Прекрасной Даме» (1904): «Федору Кузьмичу Сологубу — автору Звезды Маир — Утешения — Сказок в знак глубокого уважения и благодарности» (приведено М. И. Дикман в примечаниях к кн.: Ф. Сологуб. Стихотворения. Л., 1975, с. 599).

[11] См. п. 16, прим. 3.

[12] Годовщина смерти М. С. и О. М. Соловьевых.

[13] Приложены рукописи стихотворений «Мне гадалка с морщинистым ликом. . .» и «Плачет ребенок. Под лунным серпом. . .». См. наст. кн., с. 235.

23. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

‹Москва. 24 декабря 1903 г.›

Милый Саша,

Сегодня я получил твое письмо. Узнав, что Семенову не понравилось мое стихотворение, я преисполнился чувством негодования против него, тем более, что изо дня в день собирался написать тебе самую свирепую критику его стихов. Особенно поразил меня загадочный образ «тетки, собирающей васильки» [1]. Очевидно, эта тетка должна соответствовать «матери варящей черешни», но на деле она приводит на память мать, «уходящую под портик» [2]. В общем Семенов довольно бесцветен и напоминает «смесь г‹. . .› с недоуменьем».

Я приобрел «Только любовь» [3] и нашел много хорошего; особенно: «Есть в русской природе усталая нежность», «Влад. Соловьев», некоторые строчки в «Гимне солнцу», «Возвращение», две первые строфы в «Ручейке», «Разлученные», «Птички», «У моря ночью» и особенно «*Прилив*». Это стихотворение отличается от прочих цельностью, чеканкой формы, особенно последняя строфа, которая прямо совершенна ‹. . .›

Твой отзыв о сущности моих стихотворений, мне кажется, неверен, ибо односторонен. Поговорим об этом при свидании. «Магдалина», мне кажется, именно «изыскана» [4]. А последние стихи и подавно. Много пишу и не хочу посылать, а читать тебе в Москве. Что вы не приедете в Москву — я слышать не хочу.

В ответ на ваше гостеприимство прямо говорю: и не воображай у меня останавливаться! Если хочешь, остановись в квартире Марконет. Там, вероятно, завелись привидения, но авось на твое счастье, будут вести себя сдержанно. Во всяком случае ты — «обстрелянный» [5].

Из твоих последних стихов [6] мне очень понравились «Темная, бледно-зеленая» и «Ты больна прозрачной белизной» [7]. «Роковая цыганка» не нравится [8].

«Фабрика» — так себе. «Плачет ребенок» нравится местами. Вторая строфа превосходна, третья тоже. . . Э, да как стал разбирать, все хорошо кроме: «к познанью, к молчанью» и «ожиданью», «дыханью» [9].

Моя «Королевна» мне самому нравится, хотя меньше «Магдалины»; ну а «Золотой колос» — не очень. Это стихотворенье коряво.

Брюсов заметил, что из-за твоей свадьбы подняли «слишком много шума». Мне совсем перестало нравиться стихотворение «Откровенный шумный свиток», слишком многим оно нравилось [10].

Брюсов не понимает шуток. Кажется, он обиделся, когда я заметил, что не ожидал, что Валерий Яковлевич во время твоей свадьбы в растрепанном виде прибежал в Тараканово [11], бесновался у дверей, прильнув на этот раз к болтам, и пропечатал *обо* всем этом в сборнике [12].

Сегодня я сдал русский экзамен, причем учитель спрашивал очень долго и вытянул всю душу. Я отвечал хорошо, только в баснях путался и на слово учителя: «а еще?» произносил мычащие звуки среди гробовой тишины и наконец выговаривал: «Лев на воеводстве». А учитель поправлял «не лев, а слон. А еще?» [13]. И опять тишина, и опять мычание.

По математике получил двойку и три четверки. Одним словом, все обстоит как следует. Теперь остается пустяк: немецкий экзамен после праздников. Все трудное отделал.

У Коваленских похоже на ад. Дядя Витя в состоянии близком к безумию или к самоубийству. Каждый день он ко мне приходил, и я его успокаивал. Бегал, чтобы уладить его дела. Имел аудиенции у незнакомых людей, где говорил с цицероновским красноречием. В результате я должен был принесть дяде Вите известие, относительно которого он мне сказал накануне: «Этого я не выдержу. Или умру, или сойду с ума». Едва я вошел в переднюю, дядя Витя, бледный, с горящими глазами, стоит у дверей и гробовым голосом говорит: «Да или нет?» Я отвечаю: «нет». Тогда дядя Витя с криком выбегает с свой кабинет и затворяет дверь. Я жду, что сейчас раздастся выстрел. Все-таки удалось немного его успокоить и взять с него обещание, что он будет сдержан [14]. Во время этого разговора дядя Витя походил на тетю Сашу [15]. Вероятно, тети Вера и Маруся [16] собираются меня окончательно возненавидеть за сочувствие дяде Вите. Я очень рад. Они думают, что после папиной смерти им из «Соловьевского угла» больше не будет неприятностей. Вот и ошиблись [17]. Когда вы приедете, во-первых, Любочка подвергнется строгой критике, заочно. Это будет значить, что *я* помогал дяде Вите.

Дядя Коля [18], вероятно, приедет на днях, и извозчик услышит: «Претерпевый до конца спасется» [19], а дядя Витя, пожалуй, не претерпит до конца. Впрочем, я верю, что он с собой справится. Тетю Алю и дядю Франца приветствуй. Милую Любочку от меня целуй и передай ей, что моя к ней любовь скоро примет определенно греховный оттенок, и Коваленские скажут: «этого давно надо было ожидать», а бабушка будет делать вид, что ничего этого нет [20].

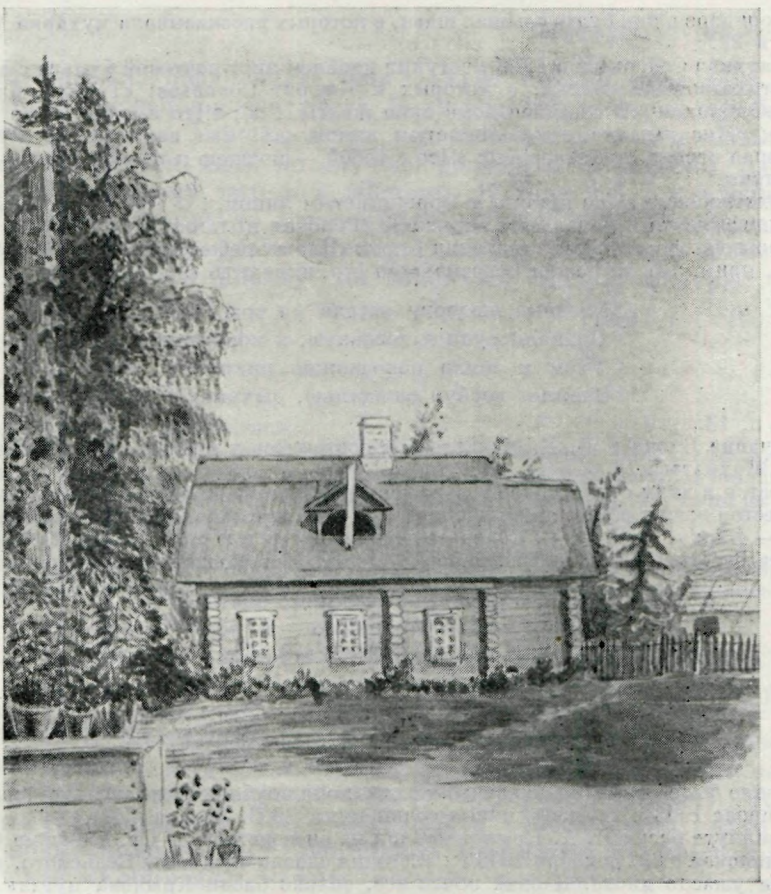
Тогда я усиленно стану бранить твои стихи, и в обществе будут шептать: «это он из ревности». А самый злой язык скажет: «Ну, хороша Любовь Дмитревна! Двух поэтов подцепила!».

А когда Любовь Дмитревна явится к моему гробу, украшенному венком с надписью: «Какой светильник разума угас» [21], то скажут: «вот видите!» Однако начертанная мною картина столь привлекательна, что у меня явилось желание, дабы все это случилось. Однако я дьявольски заболтался. Непременно приезжайте. Я жду вашего приезда, как в детстве ждал подарка. Замираю от удовольствия при мысли, что сведу вас с Бугаевым, Кобылинским, Рачинским [22] и т. д. А главное: Любовь Дмитревна будет у меня пить чай! Пим-пам-пам! Тралили-лилю! Ой, как хорошо!

Сергей Соловьев

P. S. Недавно крестил ребенка с дочерью министра Боголепова [23]. «Куда этот Соловьев метит?»

Ответ на письмо 22. Датируется по почтовому штемпелю: Москва, 24.12.03; писалось 22—23 декабря. На конверте помета Блока: 1903.



ДЕДОВО. ФЛИГЕЛЬ

(Здесь бывали Вл. С. Соловьев, С. М. Соловьев, А. Белый и Блок)

Акварель С. Г. Карелиной, 1900-е гг.

Литературный музей, Москва

[1] Имеется в виду цикл из десяти стихотворений Л. Д. Семенова, напечатанный в «Новом пути» (1903, № 11, с. 143—154). Заключительные строки входящего в него стихотворения «Я шел с нею рядом. . .»

Даже тетка и та отставала:
Она собирала в тот день васильки.

[2] См. начало «Новогреческой песни» Козьмы Пруткова («Сочинения Козьмы Пруткова». М., 1955, с. 70):

Спит залив. Эллада дремлет.
Под портик уходит мать
Сок гранаты выжимать. . .

[3] Книга К. Д. Бальмонта «Только любовь. Семицветник» (М., «Гриф», 1904) вышла в свет в начале ноября 1903 г. Далее называются входящие в нее стихотворения.

[4] По-видимому, речь идет о стихотворении Соловьева «Мария Магдалина» («Чья это песня во мраке доносится . . .»), позже вошедшем в его книгу «Цветы и ладан» (М., 1907).

[5] Пустовавшая тогда квартира семьи Марконет (А. М. Марконет — тетка С. Соловьева) на Спиридоновке, где Блоки и останавливались в их приезд в Москву в январе 1904 г. Судя по «Воспоминаниям» Соловьева, в его семье многие были убеждены в том, что в доме Марконетов «завелись привидения» после смерти его хозяина, А. Ф. Марконета. Летом 1901 г. Соловьев провел там ночь, о которой вспоминал: «Я чувствовал себя переутомленным: на диванчике, в гостиной, где стоял когда-то гроб дяди Саши, спалось плохо.

Ночью в коридоре я как будто слышал шаги, о которых рассказывала кухарка Марья». — Ср. п. 28 и 29.

[6] Из архива Соловьева в ГЛМ поступил двойной лист почтовой бумаги с автографом четырех стихотворений Блока, о которых и говорит Соловьев: «Темная, бледно-зеленая. . .»; «Фабрика» («В соседнем доме окна желты. . .»); «Что с тобой — не знаю и не скрою. . .»; «Мне гадалка с морщинистым ликом. . .». См. наст. кн., с. 236.

[7] Вторая строка стихотворения «Что с тобой — не знаю и не скрою. . .» — см. предыдущее прим.

[8] Стихотворение «Мне гадалка с морщинистым ликом. . .» (см. прим. 6) названо по его последней строке в начальном варианте: «Роковая цыганка моя» (I, 626).

[9] Соловьев говорит о стихотворении Блока «Плачет ребенок. Под лунным серпом. . .» (См. п. 22, прим. 13), выражая недовольство его четвертою строфой:

Бледные девушки встали из трав.
Подняли руки к познанью, к молчанью.
Ухом к земле неподвижно припав,
Внемлет горбун ожиданью, дыханью.

[10] См. п. 13.

[11] Венчание Блока и Л. Д. Менделеевой состоялось в церкви села Тараканово, недалеко от Шахматова.

[12] Имеется в виду стихотворение Брюсова «Младшим» («Они Ее видят! Они Ее слышат! С невестой жених в озаренном дворце! . . .»), обращенное к «младшим» символистам-мистикам — Блоку, Белому, С. Соловьеву (Валерий Брюсов. Urbi et Orbi, с. 167). С. Соловьев шутливо связал со свадьбой Блока его заключительные строки:

Дойдя до ворот, на железные болты
Горячим лицом приникаю — и жду.
Там, там, за дверьми — ликование свадьбы,
В дворце озаренном с невестой жених!
Железные болты сломать бы, сорвать бы!. . .
Но пальцы бессильны и голос мой тих.

Стихотворение было написано до свадьбы Блока: оно опубликовано под заглавием «За оградой» в апреле 1903 г. («Ежемесячные сочинения», 1903, № 4, с. 242).

[13] Упомянута басня И. А. Крылова «Слон на воеводстве». — Ср. в письме Соловьева к Т. А. Рачинской от 22 декабря 1903 г.: «Сегодня сдавал экзамен у Вельского, и он спрашивал меня ужасно много. Я знал почти все, только басни Крылова путал» (ЦГАЛИ, ф. 427, оп. 1, ед. хр. 3222).

[14] Возможно эту ситуацию имеет в виду А. Белый. (Андрей Белый. Между двух революций, с. 16, ср. с. 15: «Приоткрывались семейные тайны; несло разбитыми жизнями»).

[15] А. М. Марконет.

[16] Вера Владимировна *Коваленская* (урожд. Коншина) — жена В. М. Коваленского — и Мария Викторовна *Коваленская* — их дочь.

[17] Ср. в записи мемуариста: «Сережа мне клялся: — Кровь Коваленских во мне — упадок; доброе — от Соловьевых; от Коваленских — больные фантазии чувственности, которые должно замаливать» (Андрей Белый. Между двух революций, с. 16; тут же сам Белый наследственность Коваленских распространяет и на линию А. А. Блок—Кублицкая-Пиоттух—Блок).

[18] Николай Михайлович *Коваленский* — дядя С. Соловьева, брат В. М. Коваленского, председатель Виленской судебной палаты.

[19] Контаминация славянского и русского переводов слов Христа: «Претерпевый же до конца, той спасен будет» и «претерпевший же до конца спасется» (Евангелие от Матфея, X, 22).

[20] Ср. в воспоминаниях А. Белого об А. Г. Коваленской: «Но мне претили: <. . .> несение «чести рода», переходящее в сделки с совестью; то, что она не желала видеть, она — не видела; и, стоя перед коровьей лужей, сказала б, вздохнув: «Здесь пахнет розами» (А. Белый. Между двух революций, с. 17).

[21] Из стихотворения Н. А. Некрасова «Памяти Добролюбова» («Суров ты был, ты в молодые годы. . .»).

[22] О Г. А. Рачинском см. ниже.

[23] Николай Павлович *Боголепов* (1847—1901) — юрист и государственный деятель, с 1898 г. — министр народного просвещения.

24. БЛОК — СОЛОВЬЕВУ

‹Петербург. 28 декабря 1903 г.›

Милый Сережа, поздравляю тебя [1]. Твое письмо произвело на меня сразу довольно тяжелое впечатление. Если удастся, мне хотелось бы с тобой поговорить о разном. Утешаюсь тем, что мои стихи с арлекинами и т. п. обыкновенно пишутся мной по случаю рожденья и именин ближайших родственников. Потому, это мне знакомо. К тому же в последнее время я часто чувствую какую-то угнетенность и даже желание «развлечься» [2]. У нас была елка с подарками. Присутствовали: мама, тетя Маня [3] и дядя Франц. Если поедем в Москву, то, вероятно, около 7 января [4].

Твой Ал. Блок

28/XII 1903. П‹етер›б‹ург›.

Ответ на письмо 23.

[1] Поздравление с рождеством.

[2] По всей вероятности, Блок имеет в виду опыты бытовых арлекинад и масок (в сублимированном виде определявших и многие черты литературной поэтики «младших символистов» — Белого, Соловьева, Блока, из «старших» — Брюсова), что было вызвано ощущением собственной чуждости жизненной, даже семейной среде.

[3] М. А. Бекетова.

[4] Блоки приехали в Москву утром 10 января 1904 г. и остановились в квартире Марконетов. В тот же день они встретились с Соловьевым и лично познакомились с Андреем Белым.

25. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

‹Москва. 14 января 1904 г.›

Заходил в 3 часа пополудни и не застал никого. Тем не менее, необходимо вас увидать в близком будущем и сговориться относительно свидания с бабусей, которое желательно было бы устроить завтра [1]. Постараюсь завтра притти пораньше. Надо поговорить относительно графа: у меня явились новые комбинации [2]. Занимаюсь Вергилием и геометрией, и дело идет на лад. Собираюсь купить «четки» и «вздеть рясу и клобук» [3], а также потащить вас обедать в «Славянский базар», имеющий мистическое значение [4].

Ὁ σκάνδαλα ἀεί **ποιῶν** καὶ ἐντῇ κόνκῃ τὰς κακὰς γυναῖκας ἀδικῶν [5].

На обороте записки — помета Блока: 1904, в Москве. Датировка определяется на основании блоковских записей: 14 января Блоки, с утра ездившие (без Соловьева) в Донской монастырь, а затем обедавшие у Тестова одни, с Соловьевым встретились только вечером; тогда и определились сроки тех посещений, о которых идет речь в письме, так как 14 и утром 15 января Блок сообщал об них матери (VIII, 84—85; ЗК, 59).

[1] У А. Г. Коваленской Блоки были 18 января (VIII, 86).

[2] Имеется в виду А. И. Розвадовский.

[3] Возможно, слова, взятые Соловьевым в кавычки, представляют собой аллюзию к образу монахини Новодевичьего монастыря из «Симфонии» Белого: «Неподвижная, как изваяние, она стояла в черном клобуке, и в воздетых руках виднелись вечные четки» — Андрей Белый. Симфония (2-я, драматическая). М., 1902, с. 197. Для времени пребывания Блоков в Москве, с неоднократным посещением соловьевских могил в Новодевичьем, такая реминисценция характерна. — Символичность этого образа из «Симфонии» для Блока видна по его письму к Белому от 3 января 1903 г., где он спрашивает: «Есть ли эта последняя музыка — яблоня, обсыпающая монашку белыми цветами забвения (2-я Симфония, 4 часть) ‹. . .›?» (VIII, 54).

[4] Ср. в письме Блока к матери от 14—15 января 1904 г.: «Скоро будем обедать в «Славянском базаре» ‹. . .›, где происходил роман Владимира Сергеевича Соловьева и Софьи Петровны Хитрово и где Соловьевы (братья и Ольга) собирались в важных разговорах» (VIII, 85). — Вл. С. Соловьев в последние годы жизни обычно останавливался в «Славянском базаре», когда наезжал в Москву.

[5] «Соблазны (игра слов, т. к. заимствованное слово «скандал» соответствует тому же греческому и латинскому слову, что и «соблазны». — *Н. К., А. Л.*) всегда творящий и на конке нехороших женщин обижающий» (*греч.*). — Соловьев отсылает к эпизоду, так опи-

санному Блоком в письме к матери: «12-е, понедельник. Утром приходит Сережа. Мы втроем едем на конке в Новодевичий монастырь. Сережа кричит на всю конку, скандалит, говоря о воскресении нескольких мертвых на днях, о том, что антихрист двинул войска из Бельгии. Говорим по-гречески. Все с удивлением смотрят <. . .> Возвращаемся не без прежних скандалов в город» (VIII, 82—83).

26. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

‹Москва. В ночь с 22 на 23 января 1904 г.›

Милый Саша,

Среди ночи, во время неспанья от сильной зубной боли, мне внезапно пришла в голову важная мысль: не говорите завтра у Коваленских, что я простудился [1]. Если вы это сообщите, то может случиться, что бабушка придет вечером справиться о моем здоровье, а между тем мне необходимо беседовать с вами наедине, хотя бы дело шло только о «борще» [2].

Жар у меня самый маленький: 37,1. А вот зубная боль — неожиданное свинство, боюсь, что не отпустит до утра. Для развлечения мечтаю о том, как буду умирать в Шахматове и пошлют телеграмму Бугаеву, чтобы он приезжал. Подробности завтра за обедом.

Сергей Соловьев.

На обороте рукой С. Соловьева: «Александру Александровичу *Блоку*. Прошу читать без отлагательства». Датируется по содержанию следующей записи Блока, относящейся к 23 января: «С утра — визиты: тетя Саша, Бугаев <. . .> Обедали и вечером — у Сережи (с Бугаевым)» (ЗК, 59), хотя на письме — помета Блока (ошибочная): 1903.

[1] С. Соловьев заболел скарлатиной. 24 января (в день отъезда из Москвы) Блок записал: «у Сережи — скарлатина» (ЗК, 60). Ср. воспоминания Белого: «Сережа <. . .> раздувая все более пафосы к идеологии с Блоком <. . .> под северным ветром, схватив скарлатину, внезапно свалился в постель» (Андрей Белый. Начало века, с. 303).

[2] Это был намеченный заранее «конфиденциальный, последний» (VIII, 87) вечер Блока с С. Соловьевым.

27. БЛОК — СОЛОВЬЕВУ

29/I—1904 г. С‹анкт›П‹етер›б‹ург›

Милый Сережа!

1) По дороге к Николаевскому вокзалу[1] мы с Любой ясно поняли, почему твоя скарлатина — болезнь мистическая: она прикует тебя к одру на время пребывания в Москве Мережковских, которым ты при случае не затруднился бы нанести физические повреждения [2]; между тем последние (повреждения) должны притти как следствие нравственных, которыми они уже страдают, в чем я сомневаюсь менее, чем когда бы то ни было, под влиянием *Москвы вообще*, тем более что:

2) Приехав в Петербург, я нашел на столе *письмо от графа*, которое передаю тебе целиком. Вот оно [3]:

«адрес: Autrich, Dalmatie
Raguza.
poste restante. 23/I 1904

Многоуважаемый А. . . А. . .

L'homme propose, Dieu dispose *. К сожалению, нам не пришлось увидеться. Случилось так, что я покинул Петербург и, вероятно, навсегда. Петербурга я не люблю, и мне его не жаль. Слишком в нем много холода, слишком много эгоизма. А я все искал в людях сердца. — Однако сохранились и приятные воспоминания. Мы познакомились с вами очень недавно, тем не менее с величайшим удовольствием я вспоминаю теперь наши длинные разговоры и прогулки в светлые майские вечера. — И вот теперь

* Человек предполагает, а бог располагает (*франц.*).

я пишу Вам, чтобы у нас не порывались отношения с Вами. О себе я не имею ничего почти сообщить, разве только, что Запад мне гораздо более по душе, чем Восток.

Здоровье мое было довольно плохо, так что меня повезли на юг. Теперь с матерью и сестрой мы находимся в Рагузе. Какой прелестный уголок! Через месяц едем в Рим. Здесь я ничего не делаю, отдыхаю, целыми часами греюсь на солнце на берегу моря и наслаждаюсь. О себе больше нечего рассказать. Зато с величайшим нетерпением буду ожидать известий от Вас; меня живо интересует все, что делается в П‹етер›б‹ур›ге, особенно в известном направлении. Итак, что делает «Новый путь», что Мережковские, что Розанов и их последователи? Расширяется ли власть тьмы?

Скажите пожалуйста, Сережа Соловьев в П‹етер›б‹ур›ге ли? Он, кажется, намеревался приехать. Кланяйтесь ему от меня, о нем я сохранил наилучшее воспоминание. Пишите, пожалуйста, обо всем, все меня интересует, и что особенно, это Вы более меня знаете. Правда ли, что в П‹етер›б‹ург›е обнаруживается некоторое тяготение в Западу, мистическое. Это крайне меня интересует. Прощайте, дорогой Ал. Ал., как здоровье Любови Дмитриевны? Дай бог счастья ей и Вам, от души желаю Вам этого. — А. Розвадовский».

Переписал буквально. Еще не отвечал. Да поможет это тебе переносить скарлатину. Кланяйся от нас Александре Степановне и Варе [4]. Люба кланяется и желает тебе поправиться.

Твой Ал. Блок

[1] Николаевский вокзал в Москве, откуда отправлялись поезда на Петербург. Блок с женой уехали из Москвы домой вечером 24 января.

[2] Отношение Соловьева к Мережковским в это время характеризует следующий эпизод пребывания Блоков в Москве: «Обсуждались «Весы», пробный номер которых с портретами Брюсова, Гиппиус тут же лежал; Соловьев, ненавидевший Гиппиус, вырвав портрет поэтессы со свойственной ему способностью все доводить до конца, ставя даже не точки над «и», а огромные дыры, колом пробиваемые (он шутил монструозно), топтал каблучищем портрет поэтессы — во славу супруги поэта ‹т. е. Л. Д. Блок› — (потом с Гиппиус дружил); Блок, отметив единственность Гиппиус, иронизировал над ее слабостью: ссорить людей» (Андрей Белый. Начало века, с. 291). В Москве, под впечатлением «всего, что здесь лучшее и самое чистое» (VIII, 88), в Блоке крепнет неприятие Петербурга и его людей (от которых «ничего не жду, кроме литературных разговоров в лучшем случае и пошлых издевательств или «подмигиваний о другом» — в худшем». — Там же); отсюда меняется и тонус высказываний о Мережковских: от «сдержанного юмора», с каким «он излагал свои домыслы о Мережковских» (Андрей Белый. Начало века, с. 291), и защиты «единственности» Гиппиус к признанию матери в письме от 14—15 января: «Видеть Мережковских слишком не хочу. Тоже всех петербургских «мистиков»-студентов» (VIII, 88); и наконец — к резкости комментируемой фразы. — Ср. юмористические стихи Соловьева при письме 28.

[3] Оригинал этого письма сохранился в архиве Блока (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 381). Кроме того, сохранилось еще одно письмо А. И. Розвадовского к Блоку, посланное из Неаполя 14 марта 1904 г.; из его текста можно составить некоторое представление о содержании письма Блока, отправленного в ответ на письмо Розвадовского, сообщенное им С. Соловьеву. «‹. . .› Отсюда едем в Рим, — извещал Розвадовский. — Подумайте, какое счастье! Впрочем, не знаю, разделяете ли Вы мое мнение, не знаю, испытываете ли Вы обаяние Рима. Вы говорите, что на мой коренной вопрос о тяготении к Западу Вы не можете ответить: или не понимаете его, или не осведомлены. Однако это вопрос действительно важный, который живо меня интересует. Буду говорить ясно. Религиозный вопрос, я думаю, теперь вообще на очереди ‹. . .› Но для России, я думаю, этот вопрос имеет совершенно особенное значение. Россия нация молодая и сознание ее младенческое по сравнению с остальной Европой. Поэтому, мне кажется, ложь рационалистов, матерьялистов и позитивистов была гораздо искреннее, т. е. бессознательнее в России, чем на Западе ‹. . .› Мне кажется, в России сильнее, чем где бы то ни было, чувствуется потребность новой религиозной правды. Вопрос, где ее найдет русская интеллигенция? Быть может, в чистом, нетронутом православии русского народа. Весьма возможно. Однако я не могу не выразить одного сомнения: в состоянии ли удовлетворить эта вера, столь, по-видимому, здоровая и крепкая в народе, всем требованиям полного сознания и всем трудностям практической жизни. Чем объяснить, с одной стороны, это поразительное безверие русской интеллигенции, с другой, еще более удивительное сектантство. Ведь сектантство не случайное и не спорадическое явление в русском народе, а общее и постоянное. Очевидно, есть что-то в православии, что не удовлетворяет более чуткие души, которые

более искренне ищут правды, для которых религия не остается отвлеченностью, но которые стремятся воплотить ее в практическую жизнь. По той же самой причине в лоне православия мы не находим таких истинных и всемирно прославленных и известных святых, каких производила и производит западная церковь. Не говорю уже о тех многочисленных примерах в течение всего XIX века, которые представляет русская аристократия, приходящая в столкновение и близко знакомящаяся с западом. — Можно что угодно говорить против аристократии, однако, несомненно, она представляет элемент с наименее свежим, наименее молодым и наименее незрелым сознанием <. . .> Сереже Соловьеву кланяйтесь, пожалуйста, от меня» (там же).

[4] С Варварой Борисовной Новиковой и Александрой Степановной Любимовой (Зязей) Блок встречался в Москве (VIII, 83). А. С. Любимова, прежде бывшая воспитательницей в семье Коваленских, жила при С. Соловьеве после смерти его родителей.

28. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

<Москва.> 18 февраля <1904 г.>

Милый Саша,

вчера я встал с постели, омылся, и сегодня лежу на диване, одетый. Занимаюсь порядочно. Несмотря на намерение «не писать», я писал, не переставая, с первого дня болезни [1]. Все, что было перед болезнью, для меня осталось неизменным, хотя сделалось «Бескрылый дух, землею полоненный» [2]. Но все же «слышится далекий голос тени: верь несказанному, люби и не забудь» [3] и «один лишь сон, и в тяжком пробужденьи. . .» [4]. Боря уже заколебался и стал думать, «не поспешили ли мы» поверить моим комбинациям [5]. Для меня же очевидно, что я тогда не заблуждался, хотя из этого еще не следует, чтобы признание моей правоты сделалось обязательным для всех. Вообще искушения тяжелы и постоянны, но все вместе более, чем прежде, ясно, просто и хорошо.

Тетя Гриф оскандалилась еще хуже, чем я в конке [6]. Почти весь альманах хочется положить в печку. «Последняя ночь» Нины Ивановны очень симпатично, но окончательно бездарно [7]. Борину сказку [8] трудно понять, а где поймешь, так не рад, что понял: много неестественного, выдуманного, натянутого. Как и всегда, есть великолепные места: например, старик в пенснэ, со стекающей лентой [9], очевидно *хаос*, и столь старый, что даже не «*шевелится*» [10]. «Битва исполинов» совершеннее, чем «Предание» [11]. Из твоих стихотворений [12] я поставил пятерки (5) следующим №№ 2, 5, 15 и 16 [13]; четверки (4) — №№ 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 [14] и тройки (3)— 6 и 8 [15].

Но что за безобразие — сонет Бориса Койранского [16], рассказ Ремизова «Иван Купал» и прочее [17]! Совершенные бездарности подражают посредственным из стихотворений Брюсова и скверным стихам Бальмонта. А сам Бальмонт, наконец, окончательно истощившись, написал стихотворение на назидательный сюжет, что убивать на войне — нехорошо, и побеждены те, которые победили [18]. Хорошо его первое стихотворение «К Елене» и «Мандолина» [19], а все прочее мне не по вкусу. В «Вакханалии» Кобылинского слишком много реминисценций и местами пресно [20].

Думал много о твоих стихах, читал, выучивал. Мне кажется, что у тебя центр тяжести в *эпитетах* и поразительной *красочности* образов, причем и то, и другое не зависит от движения стиха и рифмы. «Там *голубое* окно Коломбины, *розовый* вечер, *уснувший* карниз» [21]. «Рождество *голубого* ручья» [22] и т. д. У Валерия, наоборот, вся сила в движении стиха и в рифме. Он не любит эпитетов, определений, прилагательных. Любит замыкать в один стих большое количество одиноких существительных. Например: «С нимфой, с зверем, с богом, с бесом» [23]. Лучшие твои стихи — нежно расплывчаты, а Брюсовские — резко скованы, и эту особенность он подчеркивает, когда сам читает свои стихи. Представь себе тонкость бабушки! [24] Она не могла примириться с Марионетовской квартирой, когда жила там весной. А теперь говорит, что когда увидала на окне кучу забытых Любой шпилек, то ей сразу стало легко. И старушка смекнула! Каково? [25] Излагал

Рачинскому мои потуги создать философию, основанную на любви, как начале гносеологическом, несколько часов мы рвали друг друга на части, кричали, он бегал и прихлебывал вино, я потел. В результате я был очень счастлив. Рачинский, строгий, спуску не дающий, сказал: «Может быть это так. Мне кажется, что этим ничего нового не вносится в философию. А впрочем, пытайтесь».

Основная моя мысль: Любовь есть *существо*, вечное, созидающее, хранящее и ведущее к воссоединению с собой. К берегу любви философская мысль текла, минуя многие острова. Имя одного острова «слепая воля» (Шопенг‹ауэр›), затем «бессознательное» Гартмана [26]. Но об этом поговорим в Шахматове, даст бог.

Графово письмо не особенно сильно на меня подействовало. Значительно то, что он едет в Рим, но ведь дальнейшее покрыто мраком неизвестности. Я первое время болезни все время держал на столике, у кровати, календарь, раскрытый на той странице, где станция Барановичи [27]. С громадным интересом прочел начало романа Мережковского [28]. Стихи Сологуба в январской книжке окончательно бездарны, кроме: «Лобзай ее пернатые края» и т. д.[29] Я писал много, и под сильным влиянием Бори, тебя и Брюсова. Бабушка прочла мне вслух «Анну Каренину». Любе скажи, что я был ужасно рад ее письму и отвечу на него, как только соберусь с мыслями, ибо она задает два вопроса [30]. Я сильно верю в тебя как мистика, особенно после нашего последнего свидания. Ты не стесняешься внешностью и, мне кажется, равно признаешь богочеловека, будь он в сюртуке или каких-нибудь древних тряпках и плаще багрового цвета. Это замечательно у Достоевского. Меня всегда радовало, что сверхчеловек Ставрогин «проходит в буфет» и это ничему не мешает [31].

Я начинаю чувствовать настоятельную потребность вернуться в Дедово. Может быть, весной на один день съезжу с Борей. А следующим летом, может быть, поселюсь во флигеле, живя и обедая независимо от Коваленских [32]. Всего лучше было бы поселить с собой Алексея Петровского, ибо он — «пассивный и знающий» [33]. А вы на недельку приедете погостить. Вот когда начнется «козловак» [34]. Надеюсь, что у тети Али прошло скверное настроение, я ей напишу на днях [35]. Ее, Любу, дядю Франца и Крабба [36] и тетю Маню [37] приветствую. Тетю Маню я поместил после Крабба не только потому, что ставлю Крабба выше в нравственном отношении, но также и потому, что имею привычку сначала перечислять лиц, живущих в одной квартире, а уж потом переходить за пределы дома.

Сергей Михайлович Соловьев
Разговор Бога с Бальмонтом

«Благодарен будь мне, Бог!
Я дарю тебе мой вздох».
— Отвечал Бальмонту Бог:
«Эх, Бальмонт, и так ты плох.
Ну на что мне нужен вздох?
Поправляй-ка лучше слог!
Я моргну, и ты издох».

«Злюсь на Сына твоего!
Только это — ничего!
Знают все теперь на свете,
Что и не было его».

— Бог сказал на речи эти:
«Прожил много я столетий,
Где ж поспеть за вами, дети,
Сам был в университете —
Знаешь лучше моего».

«Отчего скажи мне, Бог,
Ты жену создать не мог,
Не пустивши в ход ребро?
Что молчишь? Или оглох?».
Но почтенный, старый Бог
Больше выдержать не мог
И промолвил: «Non, c'est trop*.
Прекратите этот лай,
Чудотворец Николай».

* Нет, это чересчур (*франц.*).

* * *

Мережковскому отдыха нет:
С Зинаидой трепещут, как листики.
Зимней ночью, в дому Марконет
Собрались христианские мистики.
«Сердце подымем горе!
Адское пламя, потухни!»
Марья стучала: пюре
Стряпала в кухне.

Черти подымали злее и злее вой,
Но, жены Блока испугавшись, Любы,
Урожденной Менделеевой,
Улетели в трубы.
В прах распростерты враги:
Кончилась мистика.
Блок закричал: «сапоги,
Марья, почисти-ка!»

P. S. Варя тронута вашими поклонами и кланяется. А также Зязя [38] и бабуся. Сплетня: <. . .> [39].

Год — помета Блока: 1904.

[1] См. п. 26, прим. 1.

[2] Первая строка одноименного стихотворения Вл. С. Соловьева (1883) (Владимир Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974, с. 71).

[3] Сознательно неточно, в духе чаяний «соловьевцев», преданных «несказанному», цитируются заключительные строки стихотворения Вл. Соловьева «Какой тяжелый сон! В толпе немых видений. . .» (1885—1886): «И еле слышится далекий голос тени: // «Не верь мгновенному, люби и не забудь!» (Там же, с. 77).

[4] Строка из стихотворения Вл. Соловьева «Бескрылый дух, землею полоненный. . .» (Тем же, с. 72).

[5] Подразумеваются темы «мистических» бесед, происходивших между Соловьевым, Блоком и Андреем Белым в январе 1904 г.

[6] Имеется в виду «Альманах «Гриф» (М., 1904), вышедший в свет в начале февраля 1904 г. (цензурное разрешение — 31 января 1904 г.) — С. Соловьев «оскандалился» в конке 12 января 1904 г. — См. п. 25, прим. 5.

[7] Рассказ Н. И. Петровской (1884—1928) — писательницы, жены издателя «Грифа» С. А. Соколова (Кречетова). См.: «Альманах «Гриф», с. 51—53 (рассказ посвящен Андрею Белому).

[8] «Световая сказка» Андрея Белого (Там же, с. 11—18).

[9] Ср.: «Кто-то седой и скорбный сидел за столом, вперив серые очи в одну точку <. . .> широкая, черная лента его пенсне непрерывно стекала со скорбного лица» (Там же, с. 12).

[10] Из стихотворения Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?. . .»:

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
. . . . . .
О, бурь заснувших не буди —
Под ними хаос шевелится! . . .

[11] Стихотворения Андрея Белого («Альманах «Гриф», с. 2, 5—8).

[12] В «Альманахе «Гриф» было помещено 16 стихотворений Блока (с. 19—27).

[13] «Ты отходишь в сумрак алый . . .» (I, 81); «Сны раздумий небывалых. . .» (I, 164); «Вот они — белые звуки. . .» (I, 529) — с посвящением Л. Д. М<енделеевой>, в основное собрание не включено; «Темная, бледно-зеленая. . .» (I, 301) — с посвящением М. А. Олениной-д'Альгейм.

[14] «В полночь глухую рожденная. . .» (I, 71) — без двух последних строф; «Ночью сумрачной и дикой. . .» (1, 85) — с посвящением Ольге Михайловне Соловьевой; «Одинокий, к тебе прихожу. . .» (I, 93); «Там — в улице стоял какой-то дом. . .» (I, 192); «Дома растут, как желанья. . .» (I, 238); «Сбежал с горы и замер в чаще. . .» (I, 206); «Свет в окошке шатался. . .» (I, 210); «Я был весь в пестрых лоскутьях. . .» (I, 277); «Мне страшно с Тобой встречаться. . .» (I, 237); «День был нежно-серый, серый как тоска. . .» (I, 284).

[15] «Я просыпался и всходил. . .» (I, 219); «По городу бегал черный человек. . .» (I, 278).

[16] «Сонеты о встречах» — цикл из трех сонетов («Альманах «Гриф», с. 97—99) молодого литератора из круга «Грифа» Бориса Арнольдовича Койранского.

[17] Три прозаических этюда А. М. Ремизова — «Молитва», «Последний час», «Иван-Купал» (Там же, с. 39—46).

[18] Десятое стихотворение из цикла К. Д. Бальмонта «Земля» — «Да, я помню, да, я знаю запах пороха и дыма. . .» (Там же, с. 158).

[19] «К Елене» («Когда тебя я увидал. . .») и «Мандолина» («Светлый голос мандолины сладкой лаской прозвучал. . .»; посвящено Нине Петровской) (Там же, с. 139, 142; под псевдонимом: Лионель).

[20] Стихотворение Эллиса (Л. Л. Кобылинского) «Вакханалия» («И звон амфор, и запах нарда. . .») (Там же, с. 128—130).

[21] Из стихотворения Блока «Двойник» («Вот моя песня — тебе, Коломбина. . .»), датированного 30 июля 1903 г. и известного С. Соловьеву в рукописи.

[22] Из стихотворения Блока «Облака небывалой услады. . .», датированного 21 ноября 1903 г. и известного С. Соловьеву в рукописи.

[23] Из стихотворения В. Я. Брюсова «In hac lacrimarum valle» (1902), вошедшего в его книгу «Urbi et Orbi» (см.: В. Брюсов. Собр. соч. в 7 томах, т. 1. М., 1973, с. 307).

[24] Т. е. А. Г. Коваленской.

[25] Намек на будто бы благое мистическое значение, которое С. Соловьев придавал пребыванию Л. Д. Блок в январе 1904 г. в квартире семьи Марконет, ср. п. 23.

[26] Ср. названия основных произведений упомянутых философов: А. Шопенгауэра — «Мир как воля и представление» (1818) и Э. фон Гартмана — «Философия бессознательного» (1869); теории последнего были известны Соловьеву из ранних работ Вл. Соловьева.

[27] Местечко Барановичи (ныне город в Белоруссии) наделяется такой важностью, возможно, потому, что там жили родители Розвадовского (см. Adam Galis. Osiemnaście dni Aleksandra Błoka w Warszawie. Warszawa, 1976, s. 91). и именно там, по предположениям или каким-то сведениям Соловьева, мог находиться Розвадовский.

[28] Роман Д. С. Мережковского «Петр и Алексей» был начат печатанием в первом номере журнала «Новый путь» за 1904 г.

[29] «Лобзай ее пернатые края» — строка из стихотворения «Благословлять губительные стрелы. . .», напечатанного в составе цикла стихотворений Ф. Сологуба «Гимны страдающего Диониса» («Новый путь», 1904, № 1, с. 138).

[30] Переписка Соловьева с Л. Д. Блок нам неизвестна.

[31] Ср.: Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 10. Л., 1974, с. 237, 20—29; ср. там же, с. 407, 38; 515, 23—24.

[32] О пикировке двух бытов при внешне «добром» сожительстве в Дедове Коваленских и Соловьевых см.: Андрей Белый. Между двух революций, с. 11—12.

[33] Дается прямое отождествление А. С. Петровского с положительным персонажем второй «Симфонии» А. Белого Алексеем Сергеевичем Петковским, чье знание и действие противопоставлены «крайностям мистицизма». Тема этого героя вводится так: «4. Над туманным городом играли вечные упражнения. И скука, как знакомый, милый образ, танцовала на семи холмах. 5. И там. . . на верху. . . кто-то пассивный и знающий изо дня в день повторял «сви-нарня». 6. Все то же и то же повторял изо дня в день» (Андрей Белый. Симфония (2-я, драматическая), с. 17; развитие этой темы — с. 18, 74, 187, 218; иногда дается вариация — «спокойный и знающий» — с. 75, 217).

[34] «Козловак» на жаргоне семьи Соловьевых и московских «аргонавтов» — гротескное отражение в бытовом поведении мистических уровней бытия; участие в нем могло не сознаваться человеком (как это часто бывает в мемуарах и «симфониях» Белого, где московские «профессора», «приват-доценты» и т. п. представляют фигурами «козловака» постольку, поскольку находятся в соприкосновении с «посвященными»), но могло быть и шутейно-сознательным, как «прикровенное» выражение «несказанного». Ср. в письме О. М. Соловьевой к А. А. Кублицкой-Пиоттух от 11 декабря 1902 г.: «Напиши мне о Сашином вечере у Мережковск‹их›. Такие вечера мы называем «козловак». Прошлого года как раз в это время у нас должен был быть козловак ‹. . .› Впрочем, у нас и без Мережковских таки бывают изрядные козловаки».

[35] Письма С. Соловьева к А. А. Кублицкой-Пиоттух нам неизвестны.

[36] Такса Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух.

[37] М. А. Бекетова.

[38] Варя и Зяня — см. п. 27, прим. 4.

[39] Следует почти страница нечитаемого, нарочно залитого чернилами текста.

29. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

1904 г. 26 февраля. Москва.

Милый Саша,

сию минуту я накричал на бабушку и тетю Соню [1] по вопросу о браке. Я резко провел границу между двумя путями, говоря, что вне брака, понимаемого как церковное таинство, во образе Христа и церкви, существует только блудодеяние. Я все это подтвердил столь наглядными примерами, говоря, что нехристианин имеет право менять жен в громадном количестве, что бабушка и тетя Соня почти упали в обморок. Тетя Соня стала нести толстовщину в самой невозможной редакции, а бабуся была совсем огорчена. Я стоял на строго церковной точке зрения и побивал тетю Соню свидетельствами писания. Вдруг тетя Соня сказала: «вот, еще только в будущем году будет студентом, а говорит в таком роде», очевидно, разумея, что я по-студенчески либеральничаю. Тогда я накричал. Действительно, не выношу

я этого жеманства, этой безнравственной нравственности и смеси «г<. . .> с недоразумением».

Из того, что я изобразил в самых ужасных чертах картину половых отношений вне таинства, говоря даже: «и ему хорошо, и ей хорошо. Кому же от этого плохо?» собеседницы вывели заключение, что я и в теории и на практике апостол разврата. Наконец тетя Соня сказала, что я вследствие моей юности верю в брак как таинство, а скоро перестану в это верить, и что самое лучшее — жить по природе, а священники выдумали, что это грех. Одним словом, старая каша. Когда же я рискнул сказать, что влюбленность и взгляд на женщину с вожделением [2] не имеют ничего общего, бабуся сказала, что это — одно и то же. А я ответил: «влюбленность есть главное средство богопознания».

Сегодня я первый раз вышел на двор, и было похоже на сон, и хорошо. Неспроста бог поверг меня в болезнь, это — несомненно. Милый мой и дорогой, я нашел твои письма, писанные в марте прошлого года [3]. Сколько радости они мне доставили! Ты в них говоришь прямо то, что никогда мне в лицо не говорил, — о «многодумных свершениях писаний» [4]. Но знай, что если б и ты стал глумиться надо мной, я не перестал бы утверждать того же. Одиночество для меня дело привычное. Ты скорее меня можешь не видеть теперь истину. Диск солнца может быть виден только благодаря свету, им разливаемому, но если слишком близко приблизиться к диску (т. е. шару, виноват), то луч ослепляет и ты сам перестаешь от обилия света видеть то солнце, которое другим видно только благодаря этому самому свету. Со стороны виднее.

Помни, что царствие божие подобно зерну горчичному [5]: зерно горчичное легко проглядеть, если только всю жизнь не отдать его исканию. Еще царствие Божие подобно купцу, ищущему, который, найдя одну истинную жемчужину, продает остальные [6]. Все это — крайне любопытно и (знаешь?) умно! Не глуп был галилейский плотник [7] и даже умнее нас с Андреем Белым и Вл. Соловьевым включительно. Мне очень ясно вспомнилась та ночь, почти выходившая из границ мира времени, пространства и причинности, та ночь, когда мы с тобой ехали из Боблова [8] <. . .>. Мне кажется, тогда я сказал вкратце все, что говорил тебе теперь в Москве. Во всяком случае, объективная достоверность истины, ее извне навязанная необходимость была сознана мной тогда же. Ты верил сам (по твоим письмам) во вселенское значение Блочихи [9], веришь ли теперь, я точно не знаю. Тебе, как мистику и человеку с Кантовскими мозгами, я не боюсь говорить прямо, но для людей неопытных тут соблазн, и надо молчать. Перед всеми я могу без колебаний заявить только одно: «Любовь Дмитревна есть божье знамение», и больше ничего. Понимать это можно в разных смыслах. Зязя [10] со мной не соглашается, и я пыряю в нее ножом. Да! да! удивительная эта была дорога от Баблова до Шахматова!

Скоро я буду ночевать на Спиридоновке [11], вероятно, в одиночестве: я не хочу туда никого пускать. Боюсь, как бы не пришлось опять бороться там с чертями à la Валерий Брюсов и т. д.[12] Они отступают только «до времени».

Я повторил 15 билетов по геометрии. Б-я-да!

Тирские б<. . .>, живущие в доме Пегова [13], все более и более мне противеют. Бияяда!

Ужасно рад тому, что выздоравливаю. Это имеет и некоторое особое значение.

Чувствую легкомысленное влечение к обществу молодых девиц, и вероятно, «припущусь во всю», прикрываясь мидианкой [14]. Не думаю, чтобы вскорости мог влюбиться comme il faut *. К старым берегам иногда потягивает, но оттуда веет смертью, а жизнь обличается в форму астартическую.

---

* Как подобает (*франц.*).

Против астартизма теперь чувствую в себе запас сил. Думаю, что приеду в Шахматово только в июне, хотя хотелось бы раньше. Прочел Гиппиус. Все хорошо, но не терплю я этого блудодеяния по теории, которое рекомендует тирская Зинаида [15]. Кстати, не думаешь ты, что в 21-м веке в учебнике венерических болезней болезни будут перечисляться так: сифилис, триппер, гиппиус и т. д. Прости за это сквернословие. Я сказал тете Соне, что моя посмертная биография будет называться так: «блудник XX-го века»!

Сергей Соловьев

Блок получил это письмо 28 февраля 1904 г. — ЗК, 60.

[1] С. Г. Карелина.

[2] Евангельская реминисценция: «. . . Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Евангелие от Матфея, V, 28).

[3] Из этих писем сохранилось только письмо Блока от 20 марта 1903 г.

[4] Цитата из письма Блока от 20 марта 1903 г.

[5] Евангельская притча: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его» (Евангелие от Матфея, XIII, 31—32; ср.: от Марка, IV, 31—32; от Луки, XIII, 18—19).

[6] Ср.: «Еще: подобно Царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее» (Евангелие от Матфея, XIII, 45—46).

[7] Подразумевается Иисус Христос (см.: Евангелие от Марка, VI, 3).

[8] Ночь в канун свадьбы Блока — с 16 на 17 августа 1903 г. 16 августа Блок и С. Соловьев ездили в имение Менделеевых Боблово, где Соловьев познакомился с невестой Блока. О возвращении вместе с Блоком в Шахматово Соловьев писал в воспоминаниях о нем: «Уже стемнело, когда подали лошадей. Блок, низко поклонившись, поцеловал руку своей невесте, и мы отъехали. Еще раз, в эту знаменательную для него ночь, ехал он через тот лес, через который привык проезжать верхом, глухою ночью» («Письма Александра Блока», с. 19).

[9] Т. е. Л. Д. Блок.

[10] См. п. 27, прим. 4.

[11] Т. е. в квартире Марконетов, в которой останавливались Блок с женой в январе 1904 г.

[12] Брюсов в это время в восприятии Андрея Белого и С. Соловьева наделялся «темной» «демонической» личиной и воспринимался как «служитель тьмы»; себя же они считали представителями «светлых» начал, выдерживающими психологический натиск со стороны Брюсова. О характере этих мифологизаций реальных событий и о перипетиях «умственной дуэли» между Брюсовым и Белым, в обстоятельства которой был посвящен и С. Соловьев, подробнее см.: ЛН, т. 85, с. 332—338; С. С. Гречишкин, А. В. Лавров. Биографические источники романа Брюсова «Огненный ангел», — «Wiener slawistischer Almanach», 1978, Bd. 1, S. 83—99.

[13] Подразумеваются преподаватели гимназии Поливанова, в которой в этом году заканчивал обучение Соловьев (она размещалась в дома Пегова на Пречистенке).

[14] По-видимому (хотя в тексте стоит «мидианкой», но это, скорее, описка), шуточная аллюзия к стихотворению Вл. Соловьева «Неопалимая купина» («Я раб греха. Во гневе яром. . .»), написанному на библейский сюжет; Моисей, бежав из Египта, живет у мадиамского священника Рагуила и женат на его дочери:

И вот в пустынном Мидиане
Коснею долгие года.

В трудах бесславных, в сонной лени,
Как сын пустыни я живу
И к Мидианке на колени
Склоняю праздную главу.

Последние две строки из приведенных Блок взял эпиграфом к своему стихотворению «Через песчаные пустыни. . .» (I, 472) — Для культуры, в рамках которой развивалось «соловьевство», враставшее в платонические и куртуазные основания европейского культурного предания, важно отметить, что, казалось бы, проходная фраза Соловьева по сути дела косвенно восходит к эпизодам с «дамой-завесой» из «Новой жизни» Данте, к аналогичным сюжетам в обиходе трубадуров.

[15] Возможно, речь идет о «Собрании стихов» З. Н. Гиппиус, выпущенном московским издательством «Скорпион» в конце 1903 г.

30. БЛОК — СОЛОВЬЕВУ

‹Петербург. 8 марта 1904 г.›

Милый Сережа.

Несмотря на получение двух твоих писем, я до сих пор не мог выбрать *настоящей* минуты для ответа. Все было что-то неспокойно. Между тем я имею сообщить тебе многое.

Прежде всего, приехав из Москвы [1], мы с Любой совершенно пришли в отчаянье от Петербурга. Въезд наш был при резком безнадежном ветре — без снега, так что порошинки неслись по мостовой взад и вперед без толку, и весь город как будто забыл число и направление своих улиц. Через несколько дней впечатление было еще пострашнее. Мы встретились в конке с чортом, и, что всего ужаснее, — *не* лицом к лицу. В погоду, подобную вышеописанной, сидела в конке против нас «симфоническая» (А. Белый) фигура женщины [2] (или — нет), по-видимому, на подложенном кругу (какой кладут больным от геморроя и т. п.), в бесформенной шубе, с лицом, закрытым белой вуалью, под которой вместо глаз и носа виднелись черные впадины. Она говорила вульгарно сипловатым дамским баском с несчастной и преждевременно состарившейся (!) женщиной-поводильщицей. По-видимому, последняя от рождения *раба*. Всего ужаснее, что мы с Любой до сих пор не знаем, клевета ли это на больную старушку (впрочем, исполинского роста), или правдивый рассказ о «нем». Но «он» был близко, ибо в тот же день мы не узнали одной из самых примечательных для нас улиц.

Еще через несколько дней стали приходить «петербургские мистики» [3]. Один целый вечер хихикал источным голоском. Другой не знал, что ему предпринять ввиду важности своего положения, и говорил строгим уклончиво дипломатическим тоном. Третьего (и самого замечательного — Иванова *Евгения*) «коряжило» от Медного Всадника всю зиму, — представь, что с ним к весне![4] Он вполне и безраздельно пылает Розановым и Мережковскими. В тот вечер получил я впервые в этом году приглашение в «Новый путь» от Зинаиды — крайне любезное, с подписью «душевно ваша» [5]. После долгих разговоров, в которых Люба была против «Нов‹ого› пути», я внезапно решился и написал сдержанно и вежливо, что я не приду, потому что «пока молчу и пишу стихи», а потому не имею права *молча* присутствовать на собрании, с которым несогласен [6]. Опускал письмо сам, ночью, причем внезапно (и единственный раз) на лестнице потухло все электричество, и было страшно итти с напряженными нервами. Но я принял это за диавольское препятствие и прошел до ящика ощупью.

Все это описываю тебе так подробно, потому что чувствую, что тут наступает что-то важное для меня, и именно после наших мистических встреч в Москве. Во всяком случае могу формулировать (до нельзя осторожно) так: во мне что-то обрывается и наступает новое в положительном смысле, причем для меня это *желательно*, как никогда прежде. Я чувствую неразрывную связь с Мережковскими *только* как с *прошлым* и в смысле *отучения* от *пошлости* и пр. Теперь меня пугает и тревожит Брюсов, в котором я вижу, однако, неизмеримо больше света, чем в Мережковских. Вспоминаю, что апокалиптизм Брюсова (т. е. его стихотворные приближения к Откровению) не освещены исключительно багрянцем, или исключительно рациональной белизной, как у М‹ережков›ских. Что он *смятеннее* их (*истинный* безумец). Что у него есть *д е т с к о е* в выражениях лица, в неуловимом. Что он может быть *положительно д о б р*. Наконец, что он, без сомнения, носит в себе *возможности* многого, которых М‹ережков›ский совсем не носит, ибо *большего* уже не скажет. Притом, мне кажется теперь, что Брюсов всех крупнее — и М‹ережков›ского. Ах, да! Отношение Брюсова к Вл. Соловьеву — *положительное*, а М‹ережковского› — вполне отрицательное. Как-то М‹ережков›ский сказал: «Начитались Соловьева, что же — *умный* человек» (!?!). Вообще я могу припомнить много словечек Дм. Сергеича, не говорящих в его пользу. Но он важен и считаться с ним надо.



А. БЕЛЫЙ
Фотография, 1904 г., Москва
Литературный музей, Москва

На днях приезжал С. А. Соколов [7]. Вышло глупо и скверно. Я *думаю*, что он добрый человек. Но я *знаю*, что он *совсем ничего не понимает*. Прежде всего он развязно спросил: как нам нравится альманах? Я замямлил (ибо мое убеждение сходится с твоим — относительно печки, за исключением Бугаева, напрасно тебе не нравится «Световая сказка») [8]. Он уже слегка обиделся. Из долгих и бесплодных разговоров в продолж‹ение› двух дней и скитаний по совершенно ненужным местам выяснилось, что мы совсем разных мнений. К тому же я раскис, и Люба не была в духе поддерживать расклеившийся разговор. Наконец перед отъездом (за обедом у нас) добрый Сергей Алексеевич разбух от грусти и всем живо напомнил Крабба [9]. Стало совсем отвратительно, примешалась жалость к нему. Он уехал грустный и обиженный на вокзал. Через неск‹олько› минут я сорвался с места и поскакал за ним. Приехал к нему в номер, проводил его на вокзале, каялся, просил прощенья, он слегка растрогался. Вообще, конец оказался удачнее. Но в конце концов у меня чувства следующие: 1) Гриф выпустил два альманаха, Бальмонта и Уайльда [10]. Все издано более или менее скверно. 2) Редактор ничего не понимает. 3) Скорпион сделал бы все это гораздо лучше. 4) Гриф не имеет никакой реальной почвы под ногами. 5) Я попал в грязную историю, и мне ужасно не хочется печатать сборник в Грифе [11]. 6) Самое ужасное: Грифы (особенно совершенно бездарная Нина Ивановна) — очень хорошие люди и искренно не понимают и не видят, что им гораздо лучше не издавать ничего; 7) мало того — Гриф — *положительная* подделка и большой грех против искусства по отношению к людям (публике): публика не различает дурного от хорошего и будет ругать без разбора «Гриф» и «не Гриф». В последнее время подделки фабрикуются в неописуемых дозах — на картинных выставках (вся Акад‹емия› Художеств) [12] и. . . в Грифе. — Все это заставляет грустить и предвидеть какие-то дурные последствия.

О, позволь мне отругаться (по алфавиту)! [13]. Какая скотина Бальмонт [14]! Что он печатает! Твои стихотворения о нем (кстати, и «М‹ережковск›ому отдыха нет») — превосходны, я уже читал их Семенову, который совсем не понимает смешного (о!) и послал в Сибирь Гиппиусу (*Александру*, который очень хорошо понимает смешное). Мы же все в восторге [15]. — Сергей Кречетов вполне бездарен [16]. А. Ремизов неудобочитаем от скуки [17]. А. Койранский еще менее нужен чем Б. Койранский [18]. Нина Ивановна нарушила всякую женскую скромность, проявила крайнее отсутствие целомудрия [19], Вяч. Иванов красиво врет о кипарисах, а в остальном бездарен [20]. О Миропольском не следует говорить [21]. Дурнов думает, что он сын Брюсова, но зачат последним, скорее, в минуту ожесточения от игры в карты по воскресеньям [22]. Курсинский — сволочь [23]. (По)Ярков — пуговица от Бальмонтовых панталон! [24] Кондратьев — безвкусица последнего сорта [25]. Смородский (!) *л у ч ш е* других! [26] Эллис (извини, пожалуйста) никогда поэтом не был и не будет, Бодлэра *совсем* не понимает (мама читала мне стихотв‹орение› из альманаха по-французски) [27]. П. Н. Батюшкова надо читать

в кантианскую минуту [28]. А. Белый — изумителен. «Тор» совершенно нигде не умещается [29]. Александр Блок — свинья, ибо поместил половину стихотворений — скверных, старых, подслеповатых.

Твои замечания о моих стихах (ср‹а›вн‹ительно› с Брюсовым), мне кажется, очень тонки, но не применимы к моим стихам теперешним. Кроме того, я совершенно не могу надеяться вырасти до Брюсова, даже теперешнего. А что будет его *будущая книга*! Буду ждать с восхищением и надеждой.

Сведения о графе [30] — из третьих рук: он в Риме и поступил в Краковский университет. Я не имею писем от него. Недавно нам с Любой было неописуемое и нерассказываемое знамение.

Верю в Любу без колебаний по-прежнему, между прочим потому, что знаю о ней более, чем кто-либо на Земном шаре. Твоя вера в нее еще более сближает меня с тобой и все, что касается наших с тобой отношений в этой и будущей жизни, кажется мне привлекательным и полным тайного смысла. Поэтому на первый случай, несмотря на твой отказ, мы ждем тебя в Шахматово весной [31], когда будем там одни, а также летом, когда не одни — и т. д.

Пишу стихи длинные, часто совершенно неприличные, которые, однако, нравятся мне больше прежних и кажутся сильнее. Не ругай за неприличие, сквозь него во мне *все то же*, что в прежнем «расплывчатом» [32], но в формах крика, безумий и часто мучительных диссонансов. В этом отношении ведь и у Брюсова *то же*. Сверх того, мне кажется, что у Брюсова в окошке *светает*, сравнительно с прежним.

Письмо начинает походить на краткие заметки в «Весах». Потому, кончаю.

Пожалуйста, кланяйся от нас с Любой, мамой, дядей Францем, Краббом и тетей Маней: 1) себе; 2) Зязе; 3) Варе; 4) Григорию Алексеевичу [33]; 5) Борису Николаевичу; 6) Татьяне Анатольевне [34].

Когда же выйдет «Золото в лазури» [35]? Мы с Любой хотим читать, я буду читать всем достойным по ночам, когда «чернь» ложится спать, а «белизна» заставляет пробалтываться самых оргиастических молчальников.

Целую тебя крепко и обнимаю, мой милый друг и кузен, пиши мне, пожалуйста, без особенно скверных слов, чтобы Люба могла читать беспрепятственно [36].

Твой Александр Блок

марта 1904. С‹анкт›п‹етер›б‹ург›.

Покажи, пожалуйста, Борису Николаевичу те стихи, которых он не знает. Я пошлю ему следующие, эти не в силах больше переписывать, хотя и обещал ему [37]. Напиши, пожалуйста, твое мнение о прилагаемых стихах.

Пришли мне непременно твоих стихов!

Ответ на письма 28 и 29.

[1] Блок с женой возвратились в Петербург 25 января 1904 г.

[2] Намек — по контрасту — на эпизод из «Симфонии (2-ой, драматической)» Андрея Белого:

«1. И тогда демократ увидел свою сказку, сказку демократа.
2. По улице ехал экипаж, а на козлах сидел окаменелый кучер в цилиндре и с английским кнутом.
3. В экипаже сидела сказка, сказка демократа.
4. У нее были коралловые губы и синие, синие глаза, глаза сказки».

[3] Блок рассказывает о вечере 24 февраля, когда к Блоку пришли (судя по его записи об этом дне — ЗК, 60) Л. Д. Семенов, А. А. Смирнов, Е. П. Иванов и Н. С. Цулукидзе (студент юридического факультета).

[4] В «Воспоминаниях об Александре Блоке» Е. П. Иванов писал, характеризуя свои встречи с Блоком этого времени: «Л. Семенов говорил о Всаднике-Петре с Александром Блоком, говорил и я ‹. . .› Относительно себя я только скажу, что «Медный Всадник» был «мой конек», на которого если я вскакивал, так наговаривал такого, что только головой потрясешь и прочь отойдешь. В феврале месяце Ал. Блок сказал мне, что разговоры наши с ним (Семенова и мои) о «Всаднике-Петре» побудили и его написать о нем стихи. Он вынул написанную еще начерно свою «Петербургскую поэму» ‹. . .›» («Блоковский сб.», 1, с. 376—377). Первоначальная редакция «Петербургской поэмы» с посвящением

Е. П. Иванову опубликована в кн.: «Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову». М.—Л., 1936, с. 99—102; впервые «Петербургская поэма» была опубликована в альманахе «Белые ночи» (СПб., 1907); в Собрании стихотворений Блока «Петербургская поэма» разделена на стихотворения «Петр» (II, 141) и «Поединок» (II, 144). Е. П. Иванов развил свои размышления и фантазии о Медном всаднике в прозаическом этюде «Всадник. Нечто о городе Петербурге», опубликованном также в альманахе «Белые ночи». В одном из вариантов воспоминаний Е. П. Иванов писал: «‹. . .› Меня страшно увлекала идея «Медного Всадника», связанного с наводнением в Петербурге. Этот образ Медного Всадника связывается у меня с образом Демона мятежного, ищущего бури ‹. . .› Образ Медного Всадника связывался у меня с бурей и революцией. Под простертою дланью Всадника поднимаются бурные воды и народы» («Блоковский сб.», 1, с. 387).

[5] 24 февраля 1904 г. З. Н. Гиппиус писала Блоку: «Дорогой Александр Александрович, мы так давно вас не видели, ни у себя, ни в «Новом пути». Не приедете ли завтра вечером (среда) в редакцию? По средам мы там часто собираемся. Ваша душевно З. Гиппиус» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 26, л. 26; на почт. бум. журнала «Новый путь»).

[6] Текст этого письма Блока неизвестен.

[7] Блок встречался с С. А. Соколовым 2 и 3 марта 1904 г. (ЗК, 60). 3 марта Соколов обедал у Блока.

[8] См. п. 28, прим. 8.

[9] См. п. 28, прим. 36.

[10] Имеются в виду издания: Альманах книгоиздательства «Гриф». М., 1903; «Альманах «Гриф». М., 1904; К. Д. Бальмонт. Только любовь. Семицветник. М., «Гриф», 1904; Оскар Уайльд. Саломея. Перевод В. и Л. Андрусон. Под редакцией и с предисловием К. Д. Бальмонта. М., «Гриф», 1903.

[11] Первая книга Блока «Стихи о Прекрасной Даме», принятая к печати издательством «Гриф».

[12] Имеется в виду в первую очередь выставка «Нового общества художников» в Академии наук в Петербурге. Блок осмотрел ее 17 и 24 февраля (ЗК, 60) и написал о ней отзыв для «Весов» (V, 673—674).

[13] Далее характеризуются произведения участников «Альманаха «Гриф» (1904). Ср. аналогичный отзыв Блока о нем в письме к А. В. Гиппиусу от 23 февраля 1904 г. (VIII, 91).

[14] «Альманах «Гриф» открывается стихотворением К. Д. Бальмонта «Просвет», посвященным С. А. Соколову (с. 1); кроме того, в нем напечатаны четыре его стихотворения под псевдонимом «Лионель» (с. 139—142) и цикл из 12 стихотворений «Земля» (с. 149—161).

[15] Шуточные стихотворения Соловьева см. в п. 28. Блок переписал оба и выслал их в письме к А. В. Гиппиусу от 23 февраля 1904 г., сделав помету на втором стихотворении: «Описано наше пребывание в Москве» («Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог», вып. 1. «Письма Александра Блока». М., 1975, с. 150).

[16] С. Кречетов (С. А. Соколов) поместил в «Альманахе «Гриф» 7 своих стихотворений (с. 31—38).

[17] См. п. 28, прим. 17.

[18] См. п. 28, прим. 16. Брат Б. А. Койранского, поэт, художник и журналист Александр Арнольдович *Койранский* (р. 1884) опубликовал в альманахе четыре стихотворения (с. 47—50).

[19] См. п. 28, прим. 7.

[20] В альманахе помещено 4 стихотворения Вяч. Иванова — «Фуга» («Пышные угрозы. . .»), «Темница» («Кипарисов строй зубчатый. . .»), «На чужбине» («Мое томление, светила темной ночи. . .»), «Кармил» («Из мест, где знойный сон чужого небосклона. . .») (с. 64—68).

[21] Имеются в виду стихотворения «На поле», «Древнее заклятие» и рассказ «Пришлец» (с. 69—73) поэта и прозаика, участника трех брюсовских сборников «Русские символисты» А. Л. Миропольского (один из псевдонимов Александра Александровича Ланга, 1872—1917).

[22] Имеется в виду стихотворение поэта, художника и архитектора Модеста Александровича Дурнова (1868—1928) «Слезы» (с. 74—75). Обложка «Альманаха «Гриф» была выполнена по рисунку Дурнова. — Говоря об «игре в карты», Блок имеет в виду регулярную игру В. Я. Брюсова в преферанс с отцом.

[23] Три стихотворения и рассказ «Возвращенное зрение» (с. 76—82) поэта-символиста Александра Антоновича Курсинского (1873—1919).

[24] В альманахе напечатаны четыре стихотворения и прозаический этюд «Пустыня» (с. 88—96; под псевдонимом: Н. Ярков), поэта, прозаика и критика-символиста Николая Ефимовича Пояркова (1877—1918).

[25] Три стихотворения и «Иксион» (переложение древнегреческого мифа) А. А. Кондратьева (с. 114—119).

[26] «Два стихотворения» (с. 120) Федора Александровича Смородского (псевдоним — Ф. Ладо-Светогорский; 1883 — ?) — поэта, в 1904 г. — студента юридического факультета Петербургского университета. Блок был знаком с ним по университету и состоял в переписке. В январском номере «Нового пути» за 1904 г. он поместил сочувственную рецензию на сборник стихотворений Смородского «Новые мотивы» (V, 530—531).

[27] В альманахе были опубликованы два оригинальных стихотворения Эллиса («Вакханалия», «Мироздание») и два перевода с французского — «Непокорный» (из Бодлера) и «Из Роденбаха» («Фонтаны кружатся, как будто веретена. . .») (с. 128—134).

[28] Имеется в виду статья «Карма» (с. 143—148) Павла Николаевича Батюшкова (1864 — ок. 1930) — теософа, близкого к московскому кружку «аргонавтов».

[29] Кроме рассказа «Световая сказка», в альманахе были помещены стихотворения Андрея Белого «Битва исполинов», «Поединок», «Предание» и «Осень» (с. 2—10). Тор— образ из стихотворения «Поединок».

[30] А. И. Розвадовский. После отъезда Розвадовского за границу осенью 1903 г. Блок с ним более не встречался. Ср.: «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 54.

[31] По-видимому, под отказом Блок подразумевает фразу Соловьева из письма 29: «Думаю, что приеду в Шахматово только в июне, хотя хотелось бы раньше». Против ожиданий, Соловьев побывал в Шахматове в конце апреля и в начале мая еще раз (ЗК, 62; см. также: там же, с. 64; «Письма к родным», I, с. 117—118; и в воспоминаниях Соловьева — «Письма Александра Блока», с. 27—30).

[32] См. характеристику стиля Блока в письме 28: «Лучшие твои стихи — нежно расплывчаты».

[33] Г. А. Рачинский, который произвел на Блока при знакомстве в Москве «впечатление небывалое, равно как и вся обстановка их дома, обед и пр.» (VIII, 86).

[34] Т. А. *Рачинская* (1863—1920) — жена Г. А. Рачинского.

[35] Книга Андрея Белого; вышла в свет в апреле 1904 г.

[36] К письму прилагались стихотворения Блока, из которых ныне при нем сохранилось только «Жду я смерти близ денницы. . .», см. наст. кн., с. 235.

[37] Речь идет об устном обещании, данном в Москве. Блок выслал Белому большие подборки своих стихов при письмах от 9 апреля и 5 июня 1904 г. («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 82—86, 95—102).

31. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ И Л. Д. БЛОК

‹Москва. 1904 г., март?›

Милые Саша и Люба,

поздравляю с праздником, помню, надеюсь, люблю. Действуйте в прежнем духе.

Сергей Соловьев

Открытое письмо, фоторепродукция: Madonna del Granduca. Rafael. Год — помета Блока: 1904. Сохраняем отнесение к марту, данное в кн.: «Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог», вып. 2, с. 430, хотя не видим никаких оснований для уточнения блоковской датировки.

32. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

‹Трубицыно. Июнь 1904 г.›

Милый Саша,

созвездия сгруппировались так, что мне не пришлось приехать в Шахматово со Щукиным в мае [1]. Полагаю, что им жадно будет в скорости направить меня в Шахматово в сообществе с тетей Соней [2]. Я хожу в черной тужурке с золотыми пуговицами и в фуражке с синим околышем и белым чехлом. Стал опять романтиком до такой степени, что готов писать статью, цель которой — доказать превосходство Жуковского над всеми русскими поэтами. Но эта статья — только прихоть великого человека! (так же, как необходимо должна быть противоестественность великого человека). Анне Николаевне я не пишу и не буду писать до последней крайности [3]. Рачинский и Петровский считают ее зловредной и достойной тюремного заключения. Боря Бугаев поправляется нервами в деревне [4], чему едва ли способствует визит Левы Кобылинского, приехавшего к нему. . . недели на две. . . чтобы вести. . . *центральные* разговоры (вероятно, ночные). Щукин уже в Дании, куда я шлю ему послание à la Италия Брюсова [5]. А как хорошо стихотворение «Помню вечер, помню лето, Рейна полные струи». Тютчевым пахнет, ей Богу! [6] Повторяю иногда твое стихотворение: «Солнце, света не тая, Праздно бьет в пустые окна» [7]. Из всего этого, вместе взятого, ты вправе заключить, что я видел номер «Журнала для всех». Стихотворение Фофанова «Две царевны» мне очень нравится, напоминает несколько «Царь Девицу» Полонского [8]. Собираюсь писать Курс по философии в размере десяти

чтений для прочтения их Кате Щукиной [9] или кому-нибудь другому. Замысел читать лекции по философии дочери Мецената — по существу романтичен. Приветствую Любу и всех.

Serge

[1] Блок с женой жил в Шахматове с 22 апреля. Иван Сергеевич *Щукин* — друг Соловьева, сын фабриканта и известного коллекционера живописи Сергея Ивановича Щукина.

[2] С. Г. Карелина. В июньском письме к Андрею Белому (из Трубицына) Соловьев сообщал: «К Блокам я раньше июля, вероятно, не соберусь» (ГБЛ, ф. 25, карт. 26, ед. хр. 13).

[3] Имеется в виду Анна Николаевна Шмидт (1851—1905) — сотрудница нижегородских газет, автор мистического трактата «Третий Завет» и других сочинений религиозно-экстатического характера (см.: «Из рукописей Анны Николаевны Шмидт». <М.>, 1916). Ознакомившись с произведениями Вл. Соловьева, она «вообразила себя воплощением Софии, инспирировавшей Вл. Соловьева» (Андрей Белый. Воспоминания о Блоке. «Эпопея», 1922, № 1, с. 156). В апреле 1900 г. Шмидт встречалась с Вл. Соловьевым и затем — с М. С. Соловьевым и С. Соловьевым. «Я лично хорошо знал А. Н. Шмидт, — вспоминает С. Соловьев. — Она производила впечатление доброй, глубоко несчастной и помешанной женщины, отталкивала в ней какая-то сектантская самоуверенность и назойливость. Весь ее «Третий Завет» стар, как все произведения подобного рода, представляя амальгаму из гностиков и каббалы. Интересно в писаниях Анны Николаевны только то, что она создала все это сама, не читая ни гностиков, ни каббалы, ни даже Соловьева, с которым ознакомилась позднее» (С. М. Соловьев. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977, с. 400—401). — 12 марта 1904 г. Шмидт отправила Блоку обстоятельное письмо (ошибочно датированное 1903 г. — «Переписка. Аннотированный каталог», вып. 2, с. 489), начинавшееся словами: «Пишу Вам, хотя не знаю полного вашего имени. Но мы друг о друге слышали от Сергея Соловьева. Он мне даже читал отрывок вашего письма к нему, который мне памятен. Читала я и некоторые ваши стихотворения в «Нов<ом> пути» <. . .> Давно собираюсь я Вам написать, но, помимо моего большого недосуга, все как-то не приходила настоящая для этого минута. Теперь, узнав от Сережи, что Вы «в своих стихах, обращенных к таинственному женскому лицу, глубоко проникли в таинство Премудрости», я решила не откладывать далее своего намерения» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 466). Далее А. Н. Шмидт спрашивала, какого взгляда на Софию придерживается Блок, и утверждала, что «София живет не только на небесах, но имеет и близкую связь с землей». Шмидт касалась также вопроса о «цели христианских усилий» — «преображение наших тел по примеру Христа на Фаворе, сперва на мгновения, потом на век» — и об условиях этого грядущего преображения: «Кто бы ни достиг первым до этого берега, — не двинется к нему история человечества, пока не достигнет его одна земная женская личность, составляющая крайнюю низшую степень Софии, связанная с нею таинственно, и конечная цель развития которой есть образование с ней, с Софией, одного лица, в двух «естествах» <. . .> Несовершенный двойник Софии живет в каждом поколении лишь в одном экземпляре — эту истину я утверждаю непоколебимо». Из письма Блока к матери от 4 мая 1904 г. известно, что он не ответил на письмо Шмидт и что она в новом письме к нему (не сохранившемся в архиве Блока) просила о личной встрече («Письма к родным», I, с. 120). Встреча эта состоялась в Шахматове 12—13 мая 1904 г. (ЗК, 64). Л. Д. Блок, в присутствии которой происходила беседа Блока и Шмидт, свидетельствует: «Очевидно, поведение Блока сразу показало А. Н. Шмидт, что из ее попытки завязать с ним сношения ничего не выйдет. Блок не признал ее «душою мира» и не заинтересовался ни ее личностью, ни ее теориями» («Письма к родным», I, с. 326). Впрочем, в письме к Андрею Белому от 16 мая 1904 г. Блок признавался, что Шмидт «впечатление оставила смутное, во всяком случае, хорошее — крайней искренности и *ясности ума* <. . .> Говорила много тонких вещей, которые мне *только понятны*» (VIII, 102).

[4] В июне 1904 г. Андрей Белый жил в своем семейном имении Серебряный Колодезь (Ефремовский уезд Тульской губернии). В это время он находился в состоянии внутреннего кризиса, вызванного в значительной степени развитием отношений с Н. И. Петровской (см.: ЛН, т. 85, с. 334). Вспоминая о своих переживаниях в этом месяце, Белый писал: «Лейтмотив бегства подготовляется, бегства из уз плоти», «*чувственности*», городской пыли московской болтовни и нестроицы <. . .>» (Андрей Белый. Материал к биографии (интимный), предназначенный для изучения только после смерти автора (1923). — ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 2, ед. хр. 3, л. 47).

[5] «Италия» («Страна, измученная страстностью судьбы. . .») — стихотворение Брюсова, вошедшее в его книгу «Urbi et Orbi» (1903). См.: В. Брюсов. Собр. соч. в 7 томах, т. 1, с. 300—302. «Послание» С. Соловьева — стихотворение «И. С. Щукину», датированное маем 1904 г. см.: С. Соловьев. Цветы и ладан. Первая книга стихов. М., 1907, с. 81—82.

[6] «Помню вечер, помню лето. . .» — стихотворение Брюсова, опубликованное в составе цикла «Вечеровые песни» («Журнал для всех», 1904, № 5, с. 259); вошло в книгу Брюсова «Stephanos» (1905). Эпиграф из стихотворения Тютчева «Я помню время золотое. . .», предпосланный стихотворению Брюсова в «Stephanos», в журнальной публикации отсутствовал.



БЛОК. НОЧНАЯ ФИАЛКА
Рисунок П. Филонова (тушь), 1908 г.
Литературный музей, Москва

[7] Неточная цитата (в оригинале «слепые окна») из стихотворения Блока «Золотистою долиной. . .» (I, 212), впервые опубликованного в «Ежемесячном журнале для всех» (1904, № 5).

[8] К. Фофанов. Две царевны («В дни, когда так задушевен. . .») — «Ежемесячный журнал для всех», 1904, № 5, с. 258. — «Царь-Девица» («В дни ребячества я помню. . .»). — Я. П. Полонский. Полн. собр. стихотворений в 5 томах, т. 2. СПб., 1896, с. 201—203. В статье «Поэзия Я. П. Полонского» Вл. Соловьев писал, что в этом стих. Полонский яснее всех почувствовал «женственную Тень» (Собр. соч. Вл. С. Соловьева. Изд. «Обществ. польза», т. VI, с. 620). Блок в письме к Белому от 1 августа 1903 г. отмечал, что Соловьев «не усумнился в «бесплотскости» «Царь-Девицы» Полонского» («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 45).

[9] Дочь С. И. Щукина. Ср. свидетельство Андрея Белого: «Сережа, учившийся с сыном Щукина, одно время дружил и с Катей Щукиной, барышней бойкой, способной на все» (Андрей Белый. Между двух революций, с. 51).

33. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

10 июля ‹1904 г.› Лаптево.

Милый Саша,

Скоро ли наконец я к вам попаду? День моего приезда все более и более становится темным [1]. Я попал в положение функции, изменения которой происходят в зависимости от множества сложных аргументов. Из Лаптева [2] я хотел ехать раньше, но остался до дня именин Ольги Егоровны Венкстерн [3]. Но теперь оказывается, что Щукин вернулся из Дании [4] и ожидает в Москве смерти своей бабушки. Со дня на день, если бабушка умрет и‹ли› выздоровеет, он может приехать в Лаптево. Если я не получу от него известий, до 13-го, то, вероятно, 13-го выеду в Москву и в соединении со Щукиным поеду в Дедово и Лаптево. Затем, подавши прошение в университет, явлюсь в Шахматово. Если не застану там Борю, буду огорчен. Одним словом, ничего не знаю и предоставляю событиям разверстывать свой свиток. Пишу много и иногда хорошо, но часто не только не хорошо, но даже с пошловатостью ‹. . .› Я в Петров день говел. Третьего дня, на спиритическом сеансе, имел необыкновенно интересный и страшный разговор с дьяволом, после

чего «убоялся» и хочу разведывать адрес графа [5]. Все лето упиваюсь ядовитыми для меня вещами: Шопенгауэром [6] и Мережковским. Особенно второй сильно действует, уж очень он гениален и о главном говорит. Представь себе, что я после «Отверженного» перечел повесть об антихристе и она мне показалась поверхностна [7]. Проделал две корректуры дяди-Володиных стихов и жду выхода книжки [8]. Пишу столь неразборчиво потому, что в пузырьке иссякли чернила. Мечтаю об осеннем свидании с Брюсовым и постоянно откладываю в уме вещи, которые ему следует сообщить. Впрочем, значительную часть осени и отчасти зимы думаю проводить здесь же, в Лаптеве, только наезжая в Москву. Любу, тетю Алю, Крабба и прочих всех, а главное Катю [9] (demain *) приветствую. Постараюсь приехать скоро, ибо очень хочу вас видеть и Борю.

Твой Сергей Соловьев

Год — по содержанию.

[1] О летнем посещении Соловьевым Шахматова в 1904 г. см. в разделе «Блок в неизданной переписке и дневниках современников» (кн. 3 наст. тома).

[2] Лаптево — подмосковное имение Венкстернов, друзей Соловьевых, под Каширой, на границе Московской и Тульской губерний.

[3] Жена Алексея Алексеевича Венкстерна, владельца имения Лаптево, цензора, автора биографии Пушкина и переводчика «Ночей» А. де Мюссе, и сестра Владимира Егоровича Гиацинтова — искусствоведа, профессора Московского университета. Именины Ольги — 11 июля.

[4] См. п. 32, прим. 1.

[5] Имеется в виду А. И. Розвадовский.

[6] Ср. сообщение Соловьева в июньском письме к Андрею Белому: «Нюхаю Шопенгауэра и восхищаюсь» (ГБЛ, ф. 25, карт. 26, ед. хр. 13).

[7] «Отверженный» — первоначальное название романа Д. С. Мережковского «Смерть богов (Юлиан-Отступник)», под которым он был опубликован в 1896 г. Этому замечанию о «Краткой повести об антихристе» Вл. Соловьева соответствует признание С. Соловьева в недатированном письме к Андрею Белому, написанном около того же времени, что и письмо к Блоку: «Мне хочется выпрыгнуть из дядюшкиной философии, а главное, доказать, что ученики Влад. Соловьева — это самый непригодный народ» (ГБЛ, ф. 25, карт. 26, ед. хр. 4, л. 3).

[8] Речь идет о книге: «Стихотворения Владимира Соловьева». Изд. 5-е С. М. Соловьева. М., тип. А. Мамонтова (б. г.). Книга представляет собой перепечатку 4-го издания «Стихотворений Владимира Соловьева», вышедшего под редакцией М. С. Соловьева в 1901 г.

[9] Видимо, Екатерина Михайловна Манасеина — дочь детской писательницы, редактора журнала «Тропинка» Н. И. Манасеиной, приятельницы матери Блока; впоследствии — драматическая актриса.

34. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

‹Середина августа 1904 г.› Лаптево

Милый Саша,

поздравляю тебя и Любу с семнадцатым, буду в этот день вспоминать вас и графа [1]. Нарыв мой достиг огромадных размеров, так что его с сильной болью разрезали [2]. Теперь подживает. Читаю второй том Мережковского о Толстом и Достоевском [3]. Написано сквернова́то, а содержание интересно, хотя до некоторой степени — «смесь ‹. . .› с недоразумением». На всем — неприятный налет, что-то неблагородное, неоткрытое и подло смиренное. Мысли иногда — блестящи и верны. Но рядом — мысли прямо противоположные. Много натяжек, убивающих живой смысл романа, подменяющих его искусственной и мертвой аллегорией. Напутано о Христе немилосердно, и чертовщинка облечена в плед «благовидной лжи» и хамского смирения. Хочется возражать и написать такой же объемистый том, как кирпич Мережковского. Как Брюсов кажется мил, легок и *невинен* после Мережковского! Прямо отдыхаешь на Urbi et Orbi. Мережковский повергает в продолжительное уныние, беспокойство и недовольство. Погода стоит хорошая. Нина Владимировна [4] говорит по-прежнему: «антихрист». Я благодаря Мереж-

* завтра (*франц.*).

ковскому убедился, что во мне мало антихристовского, что мне неинтересна компания человекобогов, что я питаю к оным отвращение. Напротив того, срыв для меня может быть в вопросе не о Христе, где все ясно для меня и просто, а в вопросе о Богородице, о женском начале божества. Мережковский прямо искажает Достоевского, не говоря о смысле «Братьев Карамазовых», который дает решение всей трагедии Достоевского, всем вопросам, поставленным в «Преступлении и наказании». Виделся в Москве с Алексеем Петровским и говорил о Ничше. Не могу согласиться с тем, чтобы Ничшеанское «По ту сторону добра и зла» совпадало с Христианской свободой в благодати. Со стороны Петровского это — недоразумение [5]. Целую тетю Алю и прочих. Желаю верить во все хорошее и надеяться преодолеть гадкое. 19-го вечером думаю быть в Москве.

Твой Сергей Соловьев

Написано после пребывания в Шахматове в начале августа 1904 г.

[1] Имеется в виду годовщина свадьбы Блока. Граф — А. И. Розвадовский.

[2] 12 августа 1904 г. А. Г. Коваленская писала Андрею Белому о С. Соловьеве из Дедова: «Он был здесь три раза и в последний раз 7-го августа, уехал к доктору, в Москву, у него прорезали большой нарыв под мышкой, и он с этим уехал к Венкстернам» (ГБЛ, ф. 25, карт. 17, ед. хр. 15).

[3] См.: Д. С. Мережковский. Лев Толстой и Достоевский, т. I—II. СПб., 1903.

[4] Лицо неизвестное.

[5] «По ту сторону добра и зла» — книга Ф. Ницше. Сообщая в недатированном письме к Г. А. Рачинскому, что А. С. Петровский отходит от «церковной узости», Соловьев отмечал также, что тот «иногда и перехватывает, напр‹имер›, когда стушевывает разность между Ничше и христианством» (ЦГАЛИ, ф. 427, оп. 1, ед. хр. 2903).

35. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

‹Первая половина октября 1904 г.› Москва.

Милый друг,

так много все время было надо сказать тебе, что я уже предпочитал ничего не говорить. Весь месяц я провел в неприятнейшей борьбе с «великим магом» [1], который пустил несколько бомб, необыкновенно разрушительных: одна из них «Медея», другая «Орфей», а третья «Ариадна» (еще не напечатана) [2]. Я уже два раза попадал в положение Куропаткина [3], но оба раза вывернулся. Временами я совсем погрязал в этих проклятых «выгибах рук», «алчных губах», «ужасных ласках» [4], но тогда раздавался голос:

От родных многоводных халдейских равнин,
От нагорных лугов Арамейской земли [5] и т. д.

План кампании мага Валерия был следующий, поистине блестящий: обезоружить меня, заставив меня влечь в бездну за собой ту особу, роль которой в моей жизни я считал конченной [6]. Таким образом, зараз гибли три: я, она и ἕν καὶ πᾶν [7]. Я встретил М. Д. Я был весь заряжен Брюсовым и Пшибышевским, Ницше и Шопенгауэром. Меня раздавливал образ слепой, жестокой природы (Хаос). Я вдруг увидел, что Брюсов следит за всем. М. Д. смотрела на меня совсем нестерпимо. Я ощутил разбитость во всем теле и полное отсутствие разума. В довершенье греха я, ничего не понимая и не видя, начал говорить «Орфея и Евридику», чувствуя, что сжигаю последние корабли и ясно видя, что каждым словом затягиваю проклятое магическое кольцо. Чувствовал себя зараз и жертвой, и палачом. М. Д. была только жертвой; маг — только палачом. Ты понимаешь, что такое все это? Сказав раз, я повторял стихотворение еще раз, с начала до конца, и каждое слово — было для меня — восторг и боль, жизнь и смерть. На прощанье, я задержал ее руку в своей руке, и было назначено свидание в Третьяковской галерее. Когда пришел домой, то увидел, что не могу ничего делать. Но вдруг

вспомнил, что нужно переводить для экзамена «Электру» Софокла [8]. Перевод на меня подействовал целительно. Затем я облекся в длинный, чистый сюртук с золотыми пуговицами и пошел в дом герцога. Я застал вдвоем молодого герцога и мать его герцогиню [9]. Герцогиня, поправив прическу, сказала: «отчего мы с вами никогда не говорим о философии». Затем открыла Канта и спросила: «Что, например, это значит: «Как возможны синтетические суждения a priori?» Я провел рукой по голове и начал излагать. Дело дошло до Гегеля и Шопенгауэра. Я начал себя хорошо чувствовать, особенно надеясь увидеть за чаем молодую герцогиню. В довершение всего герцогиня и мисс Холь [10] согласились поиграть на рояли и органе, и я имел удовольствие прослушать Бетховена и Моцарта. Мир как воля сменился миром как представление [11]. Вечер закончился разговором о художественном театре, причем я обличал односторонность реализма и бессилие художественного театра в символических пьесах [12]. В то же время я пил чай и ел виноград. Но ведь это все только на время. Предстоит свидание с М. Д., а у меня в отношении к ней уже не осталось никакого романтизма. Несколько дней провел я в брюсовщине и начал сходить с ума. Все предметы были покрыты каким-то слоем ужаса, милые лица становились чуждыми, новыми, холодными. Я *один* проваливался в черную пропасть, а надо мной выкрикивал маг: Вспомни, вспомни луг зеленый. . .[13]. О, этот луг зеленый, чтобы чорт его побрал. Два слова всего, а сколько сказано! Я понял, что впервые сознательно и последовательно отхожу от Христа. Я молился ему, но сознавал, что теперь уже не имею права требовать от него помощи, что он может покинуть меня, как и я покинул его. Все основание моей жизни начало шататься. Ведь если так, то и вся моя проповедь не будет иметь силы, если есть какая-нибудь истина вне христианства, чуждая ему, несогласимая с ним. Где же тогда бой со Скорпионом, с Новым путем. Значит, самому мне итти по Новому пути? Я доходил почти до отрицания духовного мира. Я решил говорить М. Д. тогда буквально то, что Фальк говорит Марит. Я хотел стать *сознательным соблазнителем* [14]. Вдруг внезапно сел и написал ей, что все между нами кончено и что на свидание не приду. Все вокруг изменилось и стало по-старому. Тогда маг пустил еще несколько бомб.

Но в результате одолело то, что я лучше всего назову «теократическим принципом», т. е. заветное, Соловьевское. А было очень темно и трудно. Первая победа была 14-го сентября, вторая — 1-го октября. Здесь тетя Сена [15] и бабушка. Вчера Боря читал три главы четвертой симфонии [16] мне, тете Сене и Сергею Щукину (брату) [17].

В университете много злых, бородатых и глупых людей. Стараюсь держаться особняком. Часто езжу в духовную семинарию, где слушаю лекции еврейского языка и библейской археологии. Бываю у почти святого старца Исидора, который живет в двух верстах от Троицы [18].

Твои стихи непростительны: Брюсов, Брюсов и Брюсов. Впрочем, ты вправе мне сказать: «что видишь сучець в глазу брата твоего, а в своем глазу бревна не чуешь» [19]. Поистине, я ничего не пишу кроме брюсовских стихов и скоро выпущу «Me eum esse» [20]. Теряю надежды писать в близком будущем оригинально. Если у тебя написано «Помню вечер, помню лето» [21], то у меня найдется «Медея», «Орфей и Евридика» и многое другое.

Очередь за «Конем бледом» [22]. Читаю Ренана [23], гностические сочинения, Гаусрата [24], Шопенгауэра и Герике [25]. Голова мутится от первых веков христианства, тем более, что кругом появляются люди, как будто из этих самых первых веков. Прочел «Homo sapiens». Дало мне очень много и помучило. Мережковские на заднем плане. Брюсов — Куроки, Розанов — Ояма (кажется есть такой?) [26]. Привет мой Любе, тете Але, дяде Францу, тете Мане, Краббу, Пику [27] и т. д.

Любящий и помнящий Сергей Соловьев

Датируется по связи с ответом Блока — п. 36.

[1] Подразумевается В. Я. Брюсов (ср. п. 29, прим. 12). Н. И. Петровская пишет в «Воспоминаниях»: «Смешных легенд в те годы о Валерии Брюсове ходило множество, и все они почему-то окрашивались в один цвет: черный. Всего больше этому способствовали А. Белый и С. Соловьев» (ЛН, т. 85, с. 785).

Образ Брюсова в позе «вселенского мага» запечатлен в стихотворениях А. Белого «В. Я. Брюсову» («Я в свисте временных потоков. . .» — «Альманах «Гриф», М., 1903, с. 35) и «Одинокий» («Бегут года, летят планеты» — 1904 г., переработано в 1908 г.). Первое стихотворение под заглавием «Маг» вошло в кн. «Золото в лазури», второе см.: Андрей Белый. Урна. Стихотворения. М., «Гриф», 1909, с. 18—19.

По свидетельству Белого, С. Соловьев способствовал такому восприятию им образа Брюсова: «Он укрепляет меня в мысли, что в Брюсове есть нечто *«магическое»* (в это время Брюсов увлекается спиритизмом, дурного сорта магией, телепатией и т. д.)» (Андрей Белый. Материал к биографии (интимный). . ., л. 43 об.). «Борьбе» С. Соловьева с «великим магом» соответствует в это же время кульминация «умственной дуэли» между Брюсовым и Андреем Белым, мифологизировавшейся как противоборство «мрака» и «света».

[2] Стихотворения Брюсова «Медея» («На позлащенной колеснице. . .»), «Орфей и Эвридика» («Слышу, слышу шаг твой нежный. . .»), «Тезей Ариадне» («Ты спишь, от долгих ласк усталая. . .»). Первое опубликовано в «Журнале для всех» (1904, № 9, с. 516), второе — в «Новом пути» (1904, № 8, с. 168—170), третье — в «Беседе» (1905, № 1, с. 231—232). Все три стихотворения вошли в книгу Брюсова «Stephanos» (1905).

[3] Т. е. попал в опасное положение. Генерал Алексей Николаевич *Куропаткин* (1848—1925) — главнокомандующий вооруженными силами на Дальнем Востоке (с октября 1904 до марта 1905 гг.), смещенный после разгрома русской армии в Мукденском сражении.

[4] Образы из названных стихотворений Брюсова.

[5] Из стихотворения Вл. Соловьева «В землю обетованную» («Покинь скорей родимые пределы. . .»). — Владимир Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974, с. 75—77.

[6] Т. е. М. Д. Ш. — М. Д. Шепелеву (см. п. 9, прим. 2).

[7] «Единый и все» (*греч.*) — в различных мистических и философских учениях одно из ознаменований мирового начала, единого в себе и в то же время содержащего в себе всю полноту мировой жизни в ее разнообразии и множественности. — Ср. юношеское (1902, не опубликовано) стихотворение Соловьева под таким названием: ЦГАЛИ, ф. 475, оп. 1, ед. хр. 1, л. 9 об.

[8] В 1904 г. Соловьев поступил на словесное отделение ист.-филол. факультета. С осени 1907 г. перевелся на классическое отделение. 22 июля 1907 г. он писал из Петровского Г. А. Рачинскому: «Я очень рад моему переходу со словесного отделения на классическое, хотя благодаря этому переходу не кончу ранее, чем через два, а то и три года» (ЦГАЛИ, ф. 427, оп. 1, ед. хр. 2903).

[9] Шуточные намеки, не поддаются расшифровке.

[10] См. предыдущее прим.

[11] Каламбур: «Мир как воля и представление» — основной философский труд Шопенгауэра.

[12] Видимо, имеются в виду такие постановки Московского художественного театра, как «Михаил Крамер» Г. Гауптмана, «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» Г. Ибсена и др.

[13] «Вспомни, вспомни луг зеленый» — цитата из стихотворения Брюсова «Орфей и Эвридика».

[14] Эрик Фальк — герой романа польского писателя-модерниста Станислава Пшибышевского (1868—1927) «Homo Sapiens» (вышедшего в русском переводе в издательстве «Скорпион» в 1902 г. и затем неоднократно переиздававшегося), воплощающий собой тип «сверхчеловека»-имморалиста. Во второй части романа («Мимоходом») Фальк соблазняет провинциальную девушку Марит Кауэр, которая после этого кончает с собой.

[15] П. С. Соловьева.

[16] Одна из ранних ненапечатанных и несохранившихся редакций четвертой «симфонии» Белого. Отрывки из первоначальной редакции четвертой «симфонии» (1902) были опубликованы в «Альманахе «Гриф» (М., 1903, с. 52—61). «Считаю *нормальной* 4-ой Симфонией эти не существующие первые две редакции ‹. . .›», — утверждал Андрей Белый в письме к Р. В. Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г. и сообщал далее, что эта «симфония» «не напечатанная лежит года, перезревает в сознании; и потом уже в 1906 и 1907 годах *ломается* 3-ей и 4-ой редакцией в многослойный, пере-пере-мудреный «Кубок метелей» («Cahiers du Monde russe et soviétique», vol. XV, 1974, N 1—2, p. 55).

[17] Брат И. С. Щукина (см. п. 32, прим. 1).

[18] По всей вероятности, речь идет о иеромонахе Исидоре (Иване Андреевиче Грузинском-Козине, 1824—1908), высоко чтимом в кружке П. А. Флоренского, В. Ф. Эрна и др.: см. о нем: П. А. Флоренский. Соль земли, то есть Сказание о жизни Старца Гефсиманского скита иеромонаха Аввы Исидора, собранное и по порядку изложенное недостойным сыном его духовным Павлом Флоренским. Сергиев Посад, 1909 (отд. отт. из журнала «Христианин», 1908, № 10—12; 1909, № 1, 5). По-видимому, старца Исидора Соловьев имеет в виду ниже, когда говорит о людях «первых веков» христианства.

[19] Контаминация славянского и русского текста Евангелия: «И что́ ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» (Евангелие от Матфея, VII, 3; от Луки, VI, 41).

[20] «Me eum esse» («Это — я») — книга стихов Брюсова (М., 1897).

[21] Стихотворение Брюсова, опубликованное (в составе цикла «Вечеровые песни») в «Журнале для всех» (1904, № 5, с. 259).

[22] Стихотворение Брюсова, опубликованное в «Новом пути» (1904, № 5, с. 146—147). С. Соловьев воспринял его восторженно. 19 марта 1904 г. Брюсов писал П. П. Перцову: «Хотел было предложить Н<овому> пути свое апокалиптическое стихотворение, лучшее, что мной пока написано (А. Белый и юный С. М. Соловьев, когда я им его прочел, повскакали со стульев)» («Печать и революция», 1926, № 7, с. 42).

[23] Эрнест *Ренан* (1823—1892) — французский философ, историк религии.

[24] Адольф *Гаусрат* (1837—1909) — немецкий протестантский богослов, известный исследователь раннего христианства.

[25] По-видимому, речь идет о Генрихе Эрнсте Фердинанде Герике (1803—1878), немецком протестантском богослове, авторе ряда трудов по первым векам христианства, солидных по фактической оснащенности, но рассчитанных на широкого читателя.

[26] Генерал Тамемото *Куроки* (1843—1923) — командующий 1-й японской армией в русско-японской войне 1904—1905 гг.; Ивао *Ояма* (1842—1916) — маршал, во время русско-японской войны главнокомандующий сухопутными вооруженными силами Японии в Маньчжурии и на Ляодунском полуострове.

[27] Пик — такса М. А. Бекетовой.

36. БЛОК — СОЛОВЬЕВУ

21.X.<19>04. П<етер>Б<ург>.

Милый друг.

Почему ты придаешь такое значение Брюсову? — Я знаю, что тебя несколько удивит этот вопрос, особенно от меня, который еле выкарабкивается из-под тяжести его стихов. Но ведь «что прошло, то прошло». Год минул как раз с тех пор, как «Urbi et Orbi» начала нас всех раздирать пополам. Но половинки понемногу склеиваются, раны залечиваются, хочешь другого. «Маг» ужасен не вечно, а лишь тогда, когда внезапно в «разрыве туч» появится его очертание. В след<ующий> раз в очертании уже заметишь частности («острую бородку»), а потом и пуговицы сюртука [1], а потом, наконец, начнешь говорить: — А что этот черноватый господин все еще там стоит? [2]

Конечно, это жестокий цинизм. Но мне и не хотелось бы, чтобы было иначе. Если бы было вечно так, то мы бы представляли из себя вечно и стойко сражающихся с упрямым, круторогим и постоянно разозленным быком. Вследствие привычки бык стал бы казаться только задорным петухом, и наша стойкость упала бы в собственных наших глазах, стала бы «декадентской».

Мне искренно кажется, что «Орфей» и «Медея» далеко уступают «Urbi et orbi». Почти так же, немного выше — «Конь блед». И так должно быть всегда — после затраты чудовищных сил (а ведь Брюсов иногда тратил же их «через силу»). После сильного изнурения пища сразу в рот не полезет.

Конечно, при М. Д. [3] «Орфей» разросся перед тобой, но. . . прислушайся к его «субстанции»: много перебоев, словом, то, что пишется «внешним нутром», на «авось»; много перепетого у самого себя. Тоже — в «Медее», которая, однако, выше.

На днях я закончил большое университетское сочинение [4], которое лишало меня возможности читать интересное. Стихов почти не пишу, с декадентами очень затрудняюсь говорить, не вижу никакого сколько-нибудь продолжительного выхода из наук до конца сезона.

Конечно, после всех наших споров о Мережковском мне продолжает быть близко и необходимо «Соловьевское заветное», «Теократический принцип». Чтобы чувствовать его теперь так исключительно сильно (хотя и односторонне), как прежде, у меня нет пока огня. Кроме того, я не почувствую в нем, вероятно, никогда того, что есть специально — Христос. Но иногда подходит опять близко и напевает.

Недавно читал твои стихи Е. и А. Ивановым [5], которым они очень понравились (особенно Бернард-первый). Очень досадовал, что не имею «Beato», прошу очень прислать мне его, он — из ряду вон [6]

Только что мама получила твой адрес от бабушки. В конце концов ждем тебя все сюда в ноябре. Как хороши последние стихи Б. Н. [7]? Я совсем разучился писать длинно. Скоро пришлю тебе, наконец, собрание своих сочинений, боюсь, что в ультра-декадентской обложке, которую Соколов от меня утаил благоразумно; уж одну я похерил [8].

Приветствуем тебя все.

Твой Александр Блок

Ответ на письмо 35.

[1] Ср. образ Брюсова в стихотворении Андрея Белого «Одинокий»: «Грустен взор. Сюртук застегнут», «Плещет черная бородка» (см. п. 35, прим. 1). Рукопись стихотворения была послана Белым Блоку в конце марта 1904 г. («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 75—76).

[2] Иронический намек на образ Брюсова в стихотворении Андрея Белого «Маг» (см. п. 35, прим. 1):

И вот — утес, и вы стоите
В венце из звезд упорным магом,
С улыбкой вещею глядите.

[3] В комментарии В. К<няжнина-Ивойлова> к первой публикации писем Блока к Соловьеву указывалось, что М. Д. настоящего письма — Мария Дмитриевна Менделеева, сестра Л. Д. Блок («Письма Александра Блока», с. 87; в новейшем издании блоковское сокращение безоговорочно раскрыто, и принята конъектура первой публикации — VIII, 110, 692—693). Однако контекст предыдущего письма не оставляет сомнений, что речь идет о «М. Д. Ш.» — М. Д. Шепелевой (см. п. 9, прим. 2).

[4] Кандидатское сочинение «Болотов и Новиков».

[5] Александр Павлович *Иванов* (1876—1933) — брат Е. П. Иванова; математик по образованию, прозаик, искусствовед.

[6] Видимо, либо стихотворение «Видение святого Бернарда» (декабрь 1903 г.), либо «Пресвятая дева и Бернард» (март 1904 г.) — см.: Сергей Соловьев. Цветы и ладан, с. 30—31, 36—37. — Стихов Соловьева под названием «Beato» мы не знаем.

[7] В октябре 1904 г. Андрей Белый прислал Блоку рукописи стихотворений «Бегство», «На железнодорожном полотне», «Меланхолия», «На вольном просторе» (напечатаны в этих предварительных редакциях в кн.: «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 109—110). 21 октября 1904 г. Блок писал Белому: «Твои стихи по-новому прекрасны, особенно первые три («Бегство», «На полотне», «Меланхолия»). В них и не то, что было летом, и не то, что в «Золоте в лазури» (там же, с. 111).

[8] Историю обложки первой книги Блока см. в его переписке с С. А. Соколовым и прим. к письму Белого к Метнеру от 9 сентября 1904 г. (см. кн. 3 наст. тома).

37. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

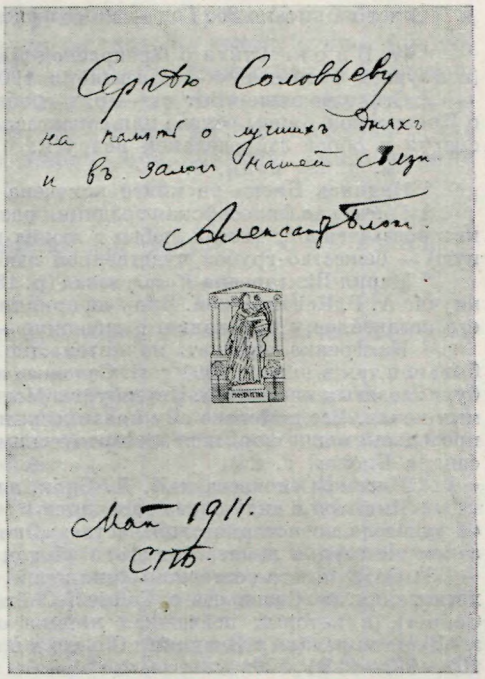
31 октября <1904 г.> Москва

Спасибо тебе, милый друг,

книжку получил [1] и очень ей доволен. Она не только оправдала ожидания, но превзошла их. За исключением Urbi et orbi, я не видал книги такой цельной и стройной. Она вкусна с начала до конца и от нее не получается никакого осадка, как от Брюсова. И знаешь что: она не только производит, несмотря на карликов и арлекинов, светлое и мирное внечатление, но прямо христианское и потому противоположное Брюсову. Стихотворение «Вот он ряд гробовых ступеней» прямо контр-Орфей и Евридика [2], и потому, конечно, немногими будет понято. Одного этого стихотворения довольно для принятия тебя в лоно христианской церкви: ведь это прямо христианская трактовка вопроса о жизни, смерти и любви. Как раз то самое, что у Брюсова трактуется язычески. Владимир Соловьев, видно, одолел. Я все не могу бросить читать этого стих<отворения> и почти плачу от радости. От него веет тем самым, тем, что мы ощущали, когда ночью мы ехали из Боблова в Шахматово [3]. И вдруг еще твоя надпись о несказанной встрече [4]. Я опять почувствовал себя официальным лицом, хотя на этот раз не шафером, а служителем похоронного бюро.

Я пробую объяснить, почему с твоим браком сразу не кончилось все трудное и темное, как я это ожидал раньше. Есть Афродита Площадная, есть Афродита небесная — Урания [5] и есть Дева Мария. Если Брюсов гиб-

нет от Афродиты Площадной, то тебе она теперь не страшна. Но я упускал из вида Уранию, ту борьбу начал, которая возникает в глубочайших безднах, когда Афродита Площадная, грубая материя и чувственность (некоторая) уже превзойдены. Так мне кажется, но не буду настаивать. А, пожалуй, это все просто вздор. Вообще я почти утратил способность рассуждать, и когда спорю, то мне представляется, что я отстаиваю один вздор, а мой противник — другой, а тем не менее за свой вздор надо держаться крепко. Я очень редко думаю о Любе, но чем меньше думаю, тем она как-то прочнее установляется, подобно невидимому, мыслимому центру, без которого не может быть проведен круг жизни. Совершенно трогаюсь отношением к ней бабушки Александры Григ<орьевны>. Не смотря на твое старое ухаживание за Марусей [6], такая справедливая любовь — прямо высока и удивительна. Как можно скорее вы должны переправляться в Москву [7], по крайней мере через два года, когда откроются первые действия и заварится борьба не на жизнь, а на смерть; надеюсь, что тут будет не без вас. В двух письмах, которые я писал Любе [8], очень много ненужных славянизмов, глупых мыслей, и одним словом: «хотя Александр Македонский великий человек и т. д.» [9] Но такой тон оправдывается моим критическим положением, когда только неприличные выходки могли помочь мне, и я решил писать вовсю. Вероятно, Люба положила эти письма в «шкатулку», и я надеюсь, что они потонули в лазурных волнах озера Саймы [10], где тонет всякая моя неровность, брюсовщина и т. д. Впрочем, от основных положений не отказываюсь нисколько и живу ими. Никакой эмпирический факт расстроить их не может, ибо они вполне метафизичны и составляют подкладку всякого явления.



БЛОК. СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ. КН. I. «СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ». М., «МУСАГЕТ», 1911

Шмуцтитул с дарственной надписью С. М. Соловьеву от мая 1911 г.

Собрание Е. Л. и Л. А. Соломоновых, Москва

Я третьего дня вернулся из деревни и начал работать. Похвастаю: читаю апостола Павла по-гречески и выписываю слова. Часто радуюсь, что теперь еще ты и Люба не в Москве, а в Петербурге. Сила, чтоб приподнять тело, должна быть отдалена от него (рычаг). Только в отдалении все приходит в порядок, уясняется истинный смысл и отбрасываются крайности увлечений. Писал тете Але [11]. Боюсь, что твоя книжка испортит мои отношения со многими, если будут спрашивать о смысле стихов и требовать от меня, как от родственника, толкований. Григорий Алексеевич [12] великолепен, нервничает, говорит о Боге и читает гостям «Орфея и Эвридику». По поводу М. Д. он мне сказал: «Любви бывают только две. Если вы мне когда-нибудь скажете, что хотите жениться, то я вас спрошу: так же ли вы любите свою невесту, как Блок любил свою, и если не так — то надо все бросить». Борис Николаевич действует и остается единым, незаменимым. Еще немножко, и я возвышенно увлекусь (не рассказывай чужим) Катей Щукиной. Приветствуй всех.

Сергей Соловьев

Ответ на письмо 36. Год — по содержанию и помете Блока на письме: 1904.

[1] А. Блок. Стихи о Прекрасной Даме. Первый сборник стихов. М., «Гриф», 1905 (цензурное разрешение — 9 сентября 1904 г.).

[2] Стихотворение «Вот он — ряд гробовых ступеней» (I, 323), завершающее «Стихи о Прекрасной Даме»; основа для сопоставления с «Орфеем и Эвридикой» Брюсова — тема смерти и образ запредельной подруги.

[3] См. п. 29, прим. 8.

[4] Надпись Блока на книге помечена 29 октября 1904 г. См. с. 330.

[5] Греческая философская традиция различает Афродиту Уранию (Небесную) — источник возвышенной, чистой любви в людях и Афродиту Пандемос (Площадную, Всенародную) — божество грубой чувственной любви и сладострастия.

[6] Мария Викторовна *Коваленская* (р. 1882) — переводчица, троюродная сестра Блока, внучка А. Г. Коваленской. Блок «неприлично и парнисто ухаживал за Марусей» (согласно его позднейшему признанию в дневнике — VII, 341—342) летом 1899 г. в Дедове.

[7] Намерение переехать на жительство в Москву возникло у Блока во время его пребывания там в январе 1904 г. С. Соловьев вспоминает: «В январе Блок вернулся в Петербург завзятым москвичем. Петербург и Москва стали для него символами двух непримиримых начал. Все в Москве ему нравилось: и Белый, и Брюсов, и Рачинский, а Петербург продолжал олицетворяться «астартическими» Мережковским и Гиппиус» («Письма Александра Блока», с. 24).

[8] Письма Соловьева к Л. Д. Блок, видимо, не сохранились.

[9] Имеются в виду слова городничего («Ревизор» Н. В. Гоголя, действие I, явление 1) об «учителе по исторической части»: «Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? от этого убыток казне».

[10] Озеро в юго-восточной Финляндии. Вероятно, С. Соловьев намекает здесь на стихотворения Вл. Соловьева о Сайме («Сайма», «На Сайме зимой», «Июньская ночь на Сайме»), в которых пейзажная лирика облекает мистически-возвышенные обращения к «Душе мира» (см.: Владимир Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы, с. 105, 107, 112—113).

[11] Письма Соловьева к А. А. Кублицкой-Пиоттух, видимо, не сохранились.

[12] Г. А. Рачинский; он был опекуном Соловьева.

38. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

22 янв<аря 1905 г.> Москва

Милый друг,

прости, что навьючу на тебя поручение. Сходи, ради Бога, к Булгакову [1], сообщи ему о моем существовании и предложи напечатать мои переводы из Мюссе. Я могу ему доставить: «Августовскую ночь», «Декабрьскую ночь», «Воспоминание» (Souvenir) и «Rappelle-toi». Скажи еще, что у меня переведены две первые главы поэмы «Ролла», которые я могу прислать на рассмотрение, и что, если он обещает напечатать всю поэму, я берусь кончить ее месяца в три [2]. Прибавь, если это может иметь значение, что мой перевод «Декабрьской ночи» Брюсов считает лучшим из ее русских переводов. Если Булгаков откажет, придется связаться с проклятой «Русской мыслью». Имени своего под переводом я подписывать не буду, а только буквы. Ты спросишь, зачем я устраиваю это? А вот: вчера прочел я статью Волошина о Дункан, и все мне опротивело, кроме Греции [3]. Сегодня пошел за билетом на второй концерт, и не нахожу дешевле 10 рубл. А изображаться будет «Prima vera» и Орфей! [4] Ну, я сразу покорился, а потом решил бросить 10 рубл. Но придется должать за квартиру и питаться у знакомых, и вот я решаю торговать своим гением! Утешаю себя отчасти мыслью, что Дункан оплодотворит меня в такой мере, что я смогу в будущем продать сотню антологических стихотворений, написанных сапфической строфой, где будут действовать люди, окончательно распоясанные относительно одежд [5]. Милочка моя, какое счастье находить себя самого! Как мерзкий кошмар, я стряхиваю с себя пыль учебных заведений и Критику чистого разума [6]. Будем жить с нимфами, ангелами, фавнами и святыми анахоретами. Зло — только в смерти, только в хаосе. А неужели хаоса больше в песнях Гомера, чем в трансцендентальной аналитике? А кругом все — трупы, заседания, шарады, в которых изображают слово «Святополк Мирский» [7], а надо всем — «голос злобы, крик невежды». Жду с нетерпением Борю [8]. Хочу сговориться с ним и грянуть на пролом о Любе в Астровском кружке [9]. Пишу много. Занимаюсь Еврипи-

дом и Жуковским. В феврале опять в Трубицыно. Представь себе, что я часто думаю о Нине Ивановне и что ее существо мне очень стало дорого, явившись сквозь призму Андрея Белого [10]. Когда я мечтаю о белом братстве, нищенствующем, собирающем цветы и влюбленном, я думаю, что она могла бы быть в нем. Когда я сказал ей, что надо, чтобы вся жизнь насквозь стала любовью, чтобы не было ничего, кроме любви, она сказала: «мне странно слышать это от вас. Это мои слова».

Итак, не забудь Булгакова.

Твой всегда Сергей Соловьев

P. S. Любу приветствуй.

На письме помета Блока: 1906? Но контекст следующих писем однозначно разрешает сомнение Блока в пользу 1905 г.

[1] Федор Ильич *Булгаков* (1852—1908) — искусствовед, редактор-издатель «Нового журнала иностранной литературы, искусства и науки». Блок был знаком с ним по многолетнему сотрудничеству его матери и тетки в журнале; у Соловьева были денежные претензии к журналу — см. п. 40, прим. 1 и п. 43, прим. 1.

[2] Выполненные Соловьевым переводы стихотворений Альфреда де Мюссе (1810—1857) в «Новом журнале иностранной литературы, искусства и науки» опубликованы не были и, насколько известно, вообще не увидели света. О двух ранних его переводах из Мюссе см. п. 5, прим. 7. Цикл Мюссе «Ночи» и поэмы «Воспоминание» и «Ролла» Соловьев анализирует в позднейшей — 1915 г. — статье «Альфред Мюссе и его «Ночи» (Сергей Соловьев. Богословские и критические очерки. Собрание статей и публичных лекций. М., 1916, с. 209—220).

[3] Видимо, имеется в виду раздел об американской танцовщице Айседоре Дункан (1876—1927) в статье М. А. Волошина «Письмо из Парижа» («Весы», 1904, № 5, с. 33—39). Другая статья Волошина на ту же тему («Айседора Донкан») была одновременно напечатана в газете «Русь» (1904, № 144, 7 мая). Это были первые русские статьи (появившиеся до гастролей Дункан в Петербурге и Москве), в которых давалась подробная характеристика танца Дункан и, в частности, отмечалась преемственность ее искусства по отношению к древнегреческому.

[4] Первый концерт Айседоры Дункан в Москве состоялся в Большом зале консерватории 24 января 1905 г. (исполнялись танцы на музыку Шопена), второй концерт — там же 27 января (Dances idylles). После этого Дункан выступала дважды — 31 января и 3 февраля — в театре Солодовникова.

[5] Это выражение использовано Блоком в шуточном стихотворении «Корреспонденция Бальмонта из Мексики», автограф ранней редакции которого сохранился в бумагах Соловьева. См. с. 241.

[6] «Критика чистого разума» — основной философский труд Иммануила Канта.

[7] Петр Дмитриевич *Святополк-Мирский*, князь (1857—1914) — министр внутренних дел (1904—начало 1905 гг.).

[8] Андрей Белый находился в Петербурге с 9 января по 4 февраля 1905 г.

[9] Кружок, собиравшийся по средам в квартире Павла Ивановича Астрова (1866 — ?) — члена Московского окружного суда и лектора гражданского процесса на Высших женских курсах Полторацкой, автора статей на церковные и судебные темы. У него собирались «аргонавты» (Андрей Белый, Эллис, С. Соловьев, М. И. Сизов, М. А. Эртель и др.), а также знакомые Астрова и его двух братьев и члены их семей. См.: Андрей Белый. Начало века, с. 357—363; Андрей Белый. Воспоминания о Блоке. — «Эпопея», 1922, № 2, с. 156—157. В намерения С. Соловьева входило провозглашение мистического культа Л. Д. Блок.

[10] Речь идет о Н. И. Петровской и ее сложных личных отношениях с А. Белым.

39. БЛОК — СОЛОВЬЕВУ

<Петербург. 23 января 1905 г.>

Милый друг.

Все складывается так, что тебя очень не хватает. Несколько дней мы с Борисом Николаевичем собирались писать тебе, наконец, выяснилось, что надо послать телеграмму [1]. Деньги найдутся, и ты после нам отдашь, только приезжай. Относительно места остановки мы придумали, что у тети Мани есть очень удобная, совсем отдельная комната, которая стоит без жильцов только случайно. Тетя Маня теперь живет от нас на расстоянии пяти минут ходьбы. Ты приезжай прямо к нам в казармы, отсюда уж устроим тебя у тети Мани [2]. Таким образом, внешние препятствия устраняются, найди только деньги

доехать. Если поедешь в III классе (это удобно, мы в прошлом году с Любой ездили и в Москву и обратно так), то это будет стоить 6 рублей (неспальный), а со скидкой для учащихся, которую можно взять в Университете — 5 рублей, а спальный — 6. Для II класса скидки не дают, и он стоит, кажется, рублей 9 (неспальный).

С Б‹орисом› Ник‹олаевичем› видимся почти ежедневно [3]. Он живет у Мережковских, которые совсем другие, чем когда-то. Дм‹итрий› Серг‹еевич› и говорить нечего — ничего кроме прозрачной белизны нет. Зин‹аида› Никол‹аевна› тоже бела, иногда (часто) — совсем. Все происходящее ежедневно описывать долго, настолько это исторически и мистически важно. Давно Петербург не был таким, может быть — никогда. Б‹орис› Ник‹олаевич› уже читал 4-ую Симфонию (первые 3 части [4]), а потом уже несколько раз принимался за изложение Lapan [5]. Но, так как начинается с «эмпирической психологии», гегельянства, вещей в себе и других вещей, которых мама не понимает, — изложение самой системы все еще не состоялось, но предполагается в скором времени [6]. Спасибо за твои великолепные письма маме и мне. Относительно Дункан ты прав, что взял место в 10 руб. Мы с Любой и Бор‹исом› Никол‹аевичем› в положительном восторге. Бор‹ис› Никол‹аевич› говорит, что в Дункан — один, но строго и до тонкости проведенный «цвет» Lapan [7]. Все чрезвычайно хотим тебя видеть. Если II-ой конц‹ерт› Дункан не скоро, приезжай теперь, если на днях — после. Думаю, что Борис Николаевич останется дольше, он решил ввиду важности событий (между прочим в русской церкви и государстве) плюнуть на университет пока [8]. Наш университет тоже закрыт на неопределенное время [9]. Самое приятное — если выедешь завтра, получив это письмо. К Булгакову непременно пойду скоро; но ведь это не обеспечит немедленных доходов. Мы с Любой боимся, что ты влюбишься в Дункан. Это соблазн, который должно преодолеть, необходимо — она требует совершенного бескорыстия. Особенно опасно, пожалуй, то, что ты будешь смотреть вблизи, издали — сначала — лучше. — Приезжай непременно во всяком случае. Точно объяснить важность твоего присутствия, конечно, нельзя, как вообще невозможно объяснить важнейших пунктов. Итак, приезжай прямо в казармы. Пишу так скверно, потому, что только что вернулись с выставки «Союза», где возбуждается съизнова нежность к Врубелю и другим [10]. Целую крепко, все целуют. Приезжай, ждем все.

Твой Ал. Блок

23 янв‹аря›.

Ответ на письмо 38.

[1] Телеграмма нам не известна. Однако она, по всей вероятности, была отправлена, возможно, даже, что их было две. Первая содержала в себе приглашение приехать, и именно о ней говорит Блок — иначе трудно мотивировать его следующую фразу, как бы продолжающую текст телеграммы («Деньги найдутся» и т. д.); она могла быть дана 23 января, поскольку комментируемое письмо написано вечером этого дня, после посещения выставки (см. прим. 10) и получения отправленного накануне письма Соловьева. Можно предположить, что на следующий день Блок побывал у Булгакова и неожиданно выяснилась необходимость иметь доверенность на получение гонорара покойной О. М. Соловьевой, а также готовность издателя рассмотреть переводы Соловьева: тогда была дана вторая телеграмма, без которой необъяснимы начальные слова письма 40.

[2] С. Соловьев тогда в Петербург не приехал. Блок жил в квартире отчима, Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух — в офицерском корпусе казарм лейб-гвардии Гренадерского полка (на набережной Большой Невки у Гренадерского моста). В 1905 г. М. А. Бекетова поселилась на набережной Большой Невки (дом 22), куда она переехала с Большой Монетной улицы (дом 16) — также неподалеку от квартиры Блока.

[3] Наиболее подробно свои встречи с Блоком в январе 1905 г. Андрей Белый описал в «Воспоминаниях о Блоке» («Эпопея», № 2, с. 159—232).

[4] См. п. 35, прим. 16.

[5] Лапан — вымышленный исследователь «секты блоковцев» из XXII в.; С. Соловьев, придумавший и изображавший его в Шахматове летом 1904 г., пародировал таким образом, по словам Белого, «собственную приподнятость чувств» и мистические устремления «соловьевцев». С этим именем были связаны и другие разнообразные игровые, юмористические моменты в общении С. Соловьева, Андрея Белого, Блока и членов его семьи. См.:

Андрей Белый. Воспоминания о Блоке. — «Эпопея», № 1, с. 215—216; Андрей Белый. **Начало** века, с. 343—347. М. А. Бекетова в связи с этим заключает: «Очень забавны были шаржи Сергея Соловьева: философы Lapan и Pampan и будущие споры филологов XXII века смешили нас до изнеможения, были в высшей степени остроумны, но все-таки нельзя не вспомнить, что поведение «блоковцев» не всегда соответствовало тому серьезному смыслу, который они придавали своему культу. В их восторгах была изрядная доля аффектации, а в их речах много излишней экспансивности. Они положительно не давали покоя Любови Дмитриевне, делая мистические выводы и обобщения по поводу ее жестов, движений, прически ‹. . .› На это нельзя было сердиться, но это как-то утомляло, атмосфера получалась тяжеловатая. Шутки Сережи, его пародии на собственную особу облегчали дело, но и тут оставался какой-то неприятный осадок. Сам Александр Александрович никогда не шутил такими вещами, не принимал во всем этом никакого участия и, относясь ко всему этому совершенно иначе, тут предпочитал отмалчиваться» (М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк. Пб., «Алконост», 1922, с. 89—90).

[6] Белый об этом вспоминал: «Я часто в те дни философствовал; и Л. Д. ‹Блок› мне внимала ‹. . .› так, однажды она мне поставила строгий вопрос: каковы должны были бы быть гносеологические основы «*Lapan*», ежели бы этот философ культуры действительно появился; и из вопроса естественно вырос ряд лекций моих, импровизированных на квартире у Блоков; А. А. неизменно присутствовал тут и прислушивался ко мне» («Эпопея», № 2, с. 229). Решить эти задачи Белый пытался с помощью научных и философских данных: «Шуточные гротески о «*блоковцах*» я задумал нешуточно обосновать; и — наткнулся на трудности справиться с логикой, бросившие меня прямо к Канту; от Канта же к Рилю; от Риля же — к Риккерту; так уткнулся я в Риккерта, выгрызая старательно за страницей страницу из «Gegenstand der Erkenntnis», исписывая вереницы листов (все — потеряны), пролагающих путь — от Риккерта к. . . к. . . «Ьарап'у» (Там же, с. 108).

[7] Айседора Дункан выступала в зале Петербургской консерватории 21 января 1905 г. с танцевальной программой на музыку Бетховена и Шопена. На концерте присутствовали Блок с женой и Андрей Белый. «Помнится: в революционные дни Айседора Дункан исполняла 7-ую симфонию неумирающего Бетховена и Л. Д. ‹Блок› заставила пойти — на концерт ‹. . .›, — писал Андрей Белый в «Воспоминаниях о Блоке», — в те дни увлекались Дункан (более всех увлекалась Л. Д.); А. А. был всех сдержанней, но и он отдавался соединению музыки с жестом» («Эпопея», № 2, с. 228). «Милый, не унывай. Христос с Тобой. Ведь есть же на свете Айседора Дёнкан», — писал Белый Блоку в марте 1905 г. в ответ на письмо последнего, полное «грусти и утомления» («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 127). Свои восторженные впечатления от танца Дункан Андрей Белый отразил в статье «Луг зеленый» («Весы», 1905, № 8, с. 5—16; вошла в кн.: Андрей Белый. Луг зеленый. Книга статей. М., «Альциона», 1910, с. 3—18). О Дункан собирался написать в аналогичном ключе и Блок (в статье «Безвременье»), но отказался от этого намерения после появления статьи Белого. Ср. его заметку в записной книжке (1905): «Зеленые луга ‹. . .› Танец юности. Дункан. Ай! Боря уже написал в «Весах»! (№ 8)» (ЗК, 70).

[8] Осенью 1904 г. Андрей Белый вторично приступил к занятиям в Московском университете — на историко-филологическом факультете.

[9] Петербургский университет был закрыт в связи со студенческими волнениями, вызванными событиями 9 января.

[10] Вторая выставка «Союза русских художников», открывшаяся в Петербурге в залах Академии художеств в конце декабря 1904 г. По-видимому, в связи с посещением этой выставки возник разговор о Врубеле, «Демоне» и т. д. у Блоков 24 января 1905 г. («Блоковский сб.», 1, с. 390). На выставке экспонировались работы М. А. Врубеля «Жемчужина», «Этюд», «Портрет С. И. Мамонтова», «Кампанулы», «Портрет ребенка», «Муза» («Каталог выставки картин «Союз русских художников». С.-Петербург, 1905 г. (СПб., 1905, с. 10), а также, судя по рукописному дополнению, сделанному Н. В. Недоброво в принадлежавшем ему экземпляре каталога (хранится в библиотеке ИРЛИ), картины «Морская царевна» и «Снегурочка».

40. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

‹Москва. 25 января 1905 г.›

Милый Сашенька,

спасибо тебе за труды. Пришлю переводы, кое-что поправив, и доверенность [1]. Приехать, право, не ловко; нужно теперь быть в Москве. Вчера видел Айседору Дункан [2] и. . . евангелие лучше, чем ее пляска, но вот и все. Я не влюбился. Однако кричал до хрипоты и, наконец, через всю толпу швырнул ей мою фуражку. Она ее взяла и надела на голову. Теперь я не позволяю этой фуражке ночевать в передней и кладу ее в спальне на стол. Куплю новую, а эту буду носить только по богородичным праздникам [3]. Написал рецензию о Дункан и отдал Валерию. Только он едва ли напечатает, ибо я написал не совсем в его вкусе и без особого уважения прошелся

на счет хаоса. Если не в «Весы», то пристрою в другое место [4]. Но молчать теперь нельзя, ибо публика ведет себя, как сволочь, а газеты обливают бога помоями [5]; впрочем, это их обычная функция. Занимаюсь Еврипидом, и это все к одному. Заказал у Готье [6], чтоб мне выписали его «Вакханок». Вчера, после Дункан, ко мне пришел ангелоподобный студент, и мы до третьего часа говорили о самом заветном. Бальмонтовская «Литургия Красоты» [7] никуда не годится. Яковлевич [8] его окончательно убил и землею засыпал. Третьего дня я был исключительно счастлив. Читал в обществе барышень «Саула» [9]. Им очень понравилось, и они были со мной добры и нежны. Мы пили золотое вино с апельсинами, и Таня Шуцкая [10] сказала мне: «Хорошо бы в это вино набросать цветов и измять их». Каково? Потом я стал нетверд на ногах, мы пошли в комнату Бенкендорфа [11], скинули тужурки и сюртуки (барышень, разумеется, уже не было) и стали петь «Gaudeamus igitur» и цыганские песни. А вчера Дункан и швыряние фуражки на сцену. В феврале еду в Трубицино. Готовлюсь писать драму «Давид» и потом «Соломон». «Давид» начинает слагаться в голове довольно стройно, и я надеюсь в нем довольно полно выразиться [12]. Прообраз Христа красной нитью должен идти по драме. Но едва ли напишу до лета. Передай тете Але, что часто вспоминается стихотворение Пушкина «Чернь», хотя оно очень давно написано. Вообще я теперь, подобно Версилову, «девочкам евангелие проповедую» [13]. И внутри бело, только бы не сглазить. В одном стихотворении я говорю: «провидец Блок» [14]. Мой роман стоит на трех главах и вряд ли скоро кончится [15]. Губит меня «орудие мытья» [16]. Иногда заглядывают коллеги, и иногда я испытываю такое отчаяние, что сомневаюсь в творении мира богом, ибо если эти люди созданы Богом, то. . . Привет Любе, тете Але, дяде Францу.

Твой Сергей Соловьев

Ответ на письмо 39; на письме помета Блока: 1906? Датируется по упоминанию концерта Дункан — см. прим. 2.

[1] О необходимости иметь доверенность для получения денег в журнале Блок мог уведомить Соловьева только телеграфно, о чем см. п. 39, прим. 1. Дело Соловьева с Булгаковым разрешилось много времени спустя, когда отношения между Блоком и Соловьевым окончательно испортились, ср. письмо Блока к матери от 9 сентября 1905 г.: «Вчера я <. . .> встретил Женю <Е. П. Иванова> и опять шел с ним по набережной к Булгакову, от которого наконец получил Сережины деньги, которые и послал переводом (больше 50 рублей)» («Письма к родным», I, с. 145); отрезной купон перевода, по всей вероятности, представлявший собой записку Блоку, необходимую при том, что сношения с Соловьевым прекратились, — нам неизвестен.

[2] Первый московский концерт А. Дункан 24 января 1905 г. (см. п. 38, прим. 4).

[3] Андрей Белый по возвращении в Москву сообщал Блоку (в начале февраля 1905 г.) о встрече с С. Соловьевым, поделившимся с ним своими восторженными впечатлениями от выступлений Дункан. Соловьев, по словам Белого, «рассказывал и то, как он бросил Астрову в ответ на общественное значение Христа, что дело Христово бесконечно больше в танцах Дёнкан. Он-таки вручил ей свое стихотворение по-гречески с переводом по-английски, упав на колени перед ней, за что и удостоился цветов от нее» («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 123). Обращенное к Дункан стихотворение Соловьева см. в книге: Сергей Соловьев. Цветы и ладан, с. 108—110.

[4] Заметка Соловьева «Айсадора Дёнкан в Москве» была напечатана в «Весах» (1905, № 2, с. 33—34; подпись: С. С.). Говоря в ней о пассивной природе, «пассивной плоти», он утверждает: «Темный хаос манит ее в свои сети, обращая ее потенцию в активное Зло, раздробляя ее цельный образ, увлекая ее к греху и смерти». Танец Дункан, по впечатлению Соловьева, противостоит этой угрозе: «Айсадора Дёнкан дала нам предчувствие того состояния плоти, которое я называю «духовною телесностью». В ее танце форма окончательно одолевает косность материи, и каждое движение ее тела есть воплощение духовного акта. Она, просветленная и радостная, каждым жестом стряхивала с себя путь хаоса, и ее тело казалось необыкновенным, безгрешным и чистым».

[5] В московской прессе преобладала сдержанная, зачастую недоуменная оценка танцев Дункан.

[6] Книжный магазин: «В. Г. Готье» (Кузнецкий мост, дом Захарьина).

[7] Книга К. Д. Бальмонта «Литургия Красоты. Стихийные гимны» (М., «Гриф», 1905) вышла в свет в декабре 1904 г.

[8] В. Я. Брюсов.

[9] Вероятно, это произведение имело отношение к драматической поэме С. Соловьева «Саул и Давид», напечатанной впоследствии в литературно-философском сборнике «Свободная совесть» (кн. 2, М., 1906).

[10] Подруга сестер Марии и Натальи Венкстерн и Софьи Гиацинтовой, с которыми был дружен С. Соловьев. См. его шуточное стихотворение «Письмо Тане Шуцкой» в детском журнале Н. А. Венкстерн и С. В. Гиацинтовой (ЦГАЛИ, ф. 2050, оп. 1, ед. хр. 102, л. 17 об.).

[11] Александр Александрович *Бенкендорф* — гимназический и студенческий товарищ С. Соловьева. См. его стихотворение «А. А. Бенкендорфу» (Сергей С о л о в ь е в. Цветник царевны. Третья книга стихов (1909—1912). М., «Мусагет», 1913, с. 108—109). Блок познакомился с Бенкендорфом в Москве в январе 1904 г. (см.: VIII, 83).

[12] Эти произведения Соловьева нам неизвестны. Возможно, что замысел драматической трилогии на библейские темы («Саул», «Давид», «Соломон») свелся в конечном счете к драматической поэме «Саул и Давид» (см. прим. 9).

[13] Имеется в виду ироническая характеристика Версилова, вложенная в уста старого князя Сокольского («Подросток», ч. 1, гл. 2). — «Ну и что ж, — изменилось вдруг все лицо князя, — проповедует бога по-прежнему, и, и. . . пожалуй, опять по девочкам, по неоперившимся девочкам?» (Ф. М. Д о с т о е в с к и й. Полн. собр. соч. в 30 томах, т. 13. Л., 1975, с. 31). Ср. прозвище Версилова «бабий пророк» (Там же, с. 121).

[14] Стихотворение Соловьева с такой характеристикой Блока нами не обнаружено.

[15] Об этом произведении Соловьев писал Андрею Белому в июне 1904 г.: «Начал писать роман под забористым заглавием «Дети хаоса» (ГБЛ, ф. 25, карт. 26, ед. хр. 13). Сохранилась рукопись начальных глав «Детей хаоса» (ЦГАЛИ, ф. 446, оп. 1, ед. хр. 72).

[16] Т. е. губка, в древности применявшаяся для подчистки текста при его правке,— Соловьев говорит о постоянных переделках начальных глав своего романа.

41. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

‹Москва. Февраль 1905 г.›

Милый Сашенька,

много совсем нового и радостного. Я живу с тобой и Борей все время, мы с ним окончательно говорим теперь одно. Все скажу в Шахматове. Дело моей жизни предстало мне совсем в новом свете, хотя главное, конечно, неколебимо. Я чувствую себя как бы восставшим из мертвых и совсем одиноким. Все провалились, кроме вас, Бори, Нины Ивановны [1] и Брюсова. С последним часто вижусь и сближаюсь. Он теперь не страшный и трогательно мудрый. Пишу много. Сейчас мы с Борей говорили о Любе, затворив все двери. Поражались, до чего мои и его переживания совпадают. Люблю бывать у бабушки, в «Весах» и «Грифе». Люблю чувствовать себя литератором-декадентом и в обществе подражаю манерам Брюсова, а наедине — манерам Дункан. Если б ты знал, что открылось! что зажглось! Веселое, легкое, радостное. Хорошо, что Боря был в Петербурге, а мне не надо было ездить, я все равно *все это* в Москве переживал и шел к тому же. Усиленно привязываю маску за ушами, предвкушая наслаждение когда-нибудь сорвать ее и захохотать в лицо идиотам. Читаю «Ифигению» Еврипида и пишу стихи на греческие темы. Брюсов растет не по дням, а по часам. Хочется говорить: Эсхил, Гете, Брюсов [2]. В моей и Бориной борьбе с ним было много недоразумения, в котором и он был виновен, ибо надевал страшную маску [3]. Теперь я не могу его бояться: он на мой вопрос: «воскрес ли Христос?» — посмотрел грустными глазами и сказал: «Конечно, воскрес, Серг‹ей› Мих‹айлович›! Я ни одной минуты в этом не сомневался. И, конечно, бог победит дьявола, но мне кажется как-то неблагородно становиться на сторону победителя» [4].

Я отлитографировал «Август‹овскую› ночь» и «Воспоминание». Вчера проработал весь день и кончил «Майскую ночь». Отдал и ее в литографию и пришлю вместе с другим [5]. Напиши поскорее, какую нужно прислать тебе доверенность на получение денег: довольно простой записки или прислать официальную доверенность. Напиши еще адрес Булгакова, его имя и отчество. Не медли, ибо деньги довольно нужны. Бедного Борю мучают люди, академики, мистики, либералы [6]. Я не принимаю больше никого, кроме Бори, и бываю только в излюбленных местах, хотя иногда и приходится влачиться черт знает куда, чтобы пребывать, шокировать своим невежеством

в политике и беспомощно бормотать что-то о конституции. Милый, до свиданья. Любу хорошенько, хорошенько приветствуй и благодари за все. Тете Але напишу.

Твой С. Соловьев

Датируется по содержанию и помете Блока: Февраль 1905.

[1] Н. И. Петровская. Ср. п. 38, прим. 10. Сохранилась открытка, посланная ею и Брюсовым Соловьеву с озера Сайма весной 1905 г. (ЦГАЛИ, ф. 475, оп. 1, ед. хр. 20).

[2] В январе 1905 г. Соловьев написал два посвященных Брюсову стихотворения, в которых его творчество приравнивалось к вершинным достижениям русской и античной поэзии. В первом из них утверждается:

Ты, Брюсов, не был бы унижен
Среди поэзии царей,
И к ямбу Пушкина приближен
Твой новоявленный хорей.

. . . . . .

То вещим магом, то ученым
Ты встал: безжалостно греметь.
В твоем стихе озолоченом
Звенит Виргилиева медь.

Второе стихотворение начинается строфой:

Ты, Валерий, Пушкина лиру поднял.
Долго в прахе звонкая лира тлела.
В пальцах ловких вновь рассыпает лира
Сладкие звуки.

(Сергей Соловьев. Цветы и ладан, с. 65—67).

[3] Духовно-психологический поединок между Брюсовым и Андреем Белым завершился в декабре 1904 г.; Брюсов признал несостоятельность взятой на себя роли «демона-искусителя». См. его обращенное к Андрею Белому стихотворение «Бальдеру. II» (1 января 1905 г.) с эпиграфом из З. Н. Гиппиус «Тебя приветствую, мое поражение» (В. Брюсов. Стихотворения и поэмы. Л., 1961, с. 502—503). Белый писал о разрешении этого психологического конфликта: «Пропал Брюсов, страшащий в астрале <. . .> воля Брюсова была сломлена: сброшен гипноз» (Андрей Белый. Начало века. «Берлинская редакция 1922—1923 гг.» — ГПБ, ф. 60, ед. хр. 11, л. 75). Подробнее см.: ЛН, т. 85, с. 336—338.

[4] Аналогичную аргументацию Брюсов развивал в то время и в беседах с Андреем Белым. В «Воспоминаниях об Александре Александровиче Блоке» Белый пишет: «Помню один характерный разговор мой с Брюсовым, когда В. Я. воскликнул с совершенно искренним пафосом: «Что же, Борис Николаевич, ведь в Апокалипсисе сказано, что гад будет повержен в смерть. И так: вы против Гада, против слабейшего? Мне — жаль гада, бедный гад, я с гадом!» («Записки мечтателей», № 6. Пб., «Алконост», 1922, с. 95). Ср.: «Эпопея», № 1, с. 261.

[5] Речь идет о переведенных Соловьевым произведениях Мюссе, предназначавшихся для «Нового журнала иностранной литературы, искусства и науки» (см. п. 38).

[6] В одном из февральских писем к Блоку Белый сообщал: «В Москве мучительно, грузно и нудно. Был у Котляревского, говорил о революции, видался с Эрном, Свентицким <. . .>» («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 123). Упомянуты профессор Московского университета С. А. Котляревский и студент, религиозные мыслители В. Ф. Эрн и В. П. Свенцицкий, под влиянием начавшейся революции образовавшие так называемое «Христианское братство борьбы»; их деятельность имела целью соединение революционно-преобразовательных и религиозно-обновленческих задач. В другом февральском письме Белый шутливо информировал Блока о приезде в Москву религиозного публициста Волжского (А. С. Глинки): «Наконец из Петербурга приехал зуборог Волжский с охапкой религиозной общественности, и прошел караван, меся песок, — Флоренский, Свентицкий, Эрн, Сыроечковский и др.» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 149). О встречах Белого с участниками «христианского братства борьбы» см. в его «Воспоминаниях о Блоке» («Эпопея», № 2, с. 237—239).

42. БЛОК — СОЛОВЬЕВУ

‹Петербург. Середина февраля 1905 г.›

Милый Сережа.

Спасибо за все слова и не слова. Люблю тебя и Борю. И я политики *не* понимаю, на сходке подписался в числе «воздержавшихся», но . . . покорных большинству. Не знаю, что из всего этого выйдет. Читая «Красный смех» Андреева, захотел пойти к нему и спросить, *когда* всех нас перережут [1]. Близился к сумасшествию, но утром на следующий день (читал ночью) пил чай. Иногда «бормочу» и о политике, но — все меньше. Осенью был либералом более. Но, когда заговорили о «реформах», почувствовал, что деятельного участия в них не приму. Впрочем, консерваторов тоже почти не могу выносить [2]. Пишу иногда стихи, бóльшая часть их есть у Бори. О Брюсове — ничего не понимаю, кроме того, что он — гениальный поэт Александрийского периода русской литературы. Верю совершенно тому, что говорите о нем вы с Борей, но несколько сержусь за никуда не годный последний номер «Весов» (1905, № 1) [3]. Начинаю чувствовать преданность и благодарность товариществу «Знание». Люба сказала, что она похожа на Печорина [4], который охладевал немедленно, как только рядом с ним проявляли вспыхиванье, тревогу и беспокойство. Люба кланяется тебе. Доверенность Булгакову (Федор Ильич. Улица Гоголя, 9) необходима *официальная*, присылай ее поскорей — мне. Твой очень любящий тебя

Ал. Блок

Изменяем принятую датировку этого письма (январь 1905 г. — «Письма Александра Блока», с. 77; VIII, 117; «Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог», вып. 1, с. 372), поскольку это письмо — ответ на п. 41, написанное после возвращения А. Белого из Петербурга, т. е. после 4 февраля 1905 г.

[1] Повесть Л. Н. Андреева «Красный смех» была напечатана в «Сборнике товарищества «Знание» за 1904 год» (кн. 3. СПб., 1905), вышедшем 22 января 1905 г. В воспоминаниях «Памяти Леонида Андреева» (1919) Блок писал: «Что везде неблагополучно, что катастрофа близка, что ужас при дверях, — это я знаю очень давно, знал еще перед первой революцией, и вот на это мое знание сразу ответила мне «Жизнь Василия Фивейского», потом «Красный смех» ‹. . .›» (VI, 130—131). Подробнее о восприятии Блоком «Красного смеха» см. в статье В. И. Беззубова «Александр Блок и Леонид Андреев» («Блоковский сб.», 1, с. 231—234).

[2] Отношение Блока к революции 1905 г. характеризуется в статье: Д. Е. Максимов. Александр Блок и революция 1905 г. — В кн.: «Революция 1905 г. и русская литература». М.—Л., 1956, с. 246—279.

[3] В январском номере «Весов» были напечатаны статьи «Поэзия стихий» К. Бальмонта, «Священная жертва» В. Брюсова, «Творчество М. В. Якунчиковой» М. Волошина, корреспонденции «Айседора Дёнкан в Петербурге» Л. Вилькиной, «Петербургские театры» С. Рафаловича и другие обзоры и рецензии.

[4] Имеется в виду Печорин из романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

43. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

‹Вторая половина февраля 1905 г. Москва.›

Милый Шурочка,

прежде чем мне тебе прислать доверенность, узнай, голубчик, сколько следует мне получить маминых денег [1]. И объясни еще, зачем нужна доверенность: для доказательства того, что я наследник О. М. Соловьевой или просто, чтобы ты не украл денег. Во втором случае, право, можно было бы обойтись проще. Наконец, почему Булгакову не прислать мне денег на квартиру, в Москву? Я говорил с Рачинским, и оказывается, что для официальной доверенности надо идти к нотариусу!

Соколов хотел издать моего «Саула» к Пасхе. Но я сказал ему, между прочим, что определенно предпочитаю «Северные цветы» альманаху «Гриф» [2]. Тогда он принял такой неблаговоспитанный тон, что я, вернувшись домой, написал ему краткое, но вразумительное извещенье о прекращении всяких

между нами сношений [3]. Это очень неприятно из-за Нины Ивановны [4], которая вконец измучилась во время моего разговора с С. А.[5] Но пусть этот лакей знает свое место.

Дружу с Брюсовым, у которого более чем когда-либо «грустен взор и сюртук застегнут» [6]. Был на выставке московских художников [7], где прекрасные Врубелевские лебеди, с закатом à la Блок. Я упорно отвергаю твою связь с Лермонтовым и устанавливаю оную между тобой, Фетом и Врубелем [8].

На первой неделе поста еду в Трубицыно.

Твой Сергей Соловьев

Ответ на письмо 42.

[1] Видимо, невыплаченные гонорары О. М. Соловьевой за ее переводы в «Новом журнале иностранной литературы, искусства и науки». В 1903 г. там были посмертно опубликованы ее переводы повестей «Женщины, которых я знал» Маартен Маартенса и «Совратитель Гадлейбурга» Марка Твена.

[2] О «Сауле» см. п. 40. Третий «Альманах «Гриф» (М., 1905) вышел в свет в конце февраля 1905 г. без произведений С. Соловьева. В альманахе «Северные цветы ассирийские» (М., «Скорпион», 1905, вышел в свет весной 1905 г.) был помещен цикл стихотворений Соловьева «Предания».

[3] Впоследствии, ко времени издания Соколовым журнала «Перевал» (с ноября 1906 г.), отношения между ним и Соловьевым восстановились, но лишь формально. 12 декабря 1906 г. Соловьев писал Вяч. Иванову: «С. А. Соколова я очень не люблю и нисколько не уважаю. Но нельзя же участвовать только в тех журналах, где любишь и уважаешь редактора!» (ГБЛ, ф. 109).

[4] Н. И. Петровская (Соколова) — жена С. А. Соколова.

[5] С. А. Соколов.

[6] Строка из стихотворения Андрея Белого «Одинокий» (1904) — см. п. 36, прим. 1.

[7] Вторая выставка «Союза русских художников» открылась в Москве 13 февраля 1905 г.

[8] Сопоставительный анализ поэзии Блока и живописи М. А. Врубеля дан в книге В. Альфонсова «Слова и краски» (М.—Л., 1966, с. 13—62).

44. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

‹Москва. 24 февраля 1905 г.›

Милый друг,

сейчас второй час ночи. Я пришел от «аргонавтов» [1], молча прошел в кабинет и зажег свечу. На столе нашел номер «Весов» с моей статейкой о Дункан [2] и два письма. Это все-таки изящно и близится к идеалу литературного поденщика! Горит свеча, кругом навалены книги, обрывки стихов, цветы, альбом одной девочки, куда я должен написать много стихов. Передо мной — портреты Дункан и Любы. Пишу кузену-поэту. А вчера был обед в герцогском доме [3], я говорил стихи, и Катя Щукина была необыкновенно мила.

Сейчас у Астрова произошел ужасный разговор. Большая свора христиан (Боря, Астров, я, В. Ф. Эрн [4]) затравливала одного демониста (Л. Л. Кобылинского) и затравила, доказав ему его. . . нелогичность. Особенно хорошо говорил Эрн: сильно, строго, мистически. Я поражался, до чего каждое его слово выражало мою мысль. Кобылинский нападал на плоть, Эрн возвеличивал ее. Когда демонист был окончательно затравлен, мы пошли с Эрном, и во всем соглашались. Но в результате он начал отстаивать *интенсивность* (sic) *плотской жизни*, восставая на *сладострастие* (sic), как на грех. Тогда я почувствовал желание бежать за врагом плоти и броситься ему на шею. Представь себе, что образовывается целое общество людей, говорящих все как следует и притом окончательных *тупиц* (*да-с*), ибо лучше говорить не так, но не принимать известное учение только потому, что не делаешь из него последних выводов. Пойми, что вреднее этого трудно себе что-нибудь представить, ибо они тормозят торжество религии святого сладострастия, которое я исповедую, за что диавол рвет меня когтями, ибо уж он-то во всяком случае не тупица и понимает, что только эта религия одолеет его окон-



19 13 № 1612

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОКЪ

(Бол. Дмитровка, д. Востряковыхъ).

СЪ ЯНВАРЯ 1913 г.

открывается рядъ спектаклей ГРУППЫ МОЛОДЫХЪ АРТИСТОВЪ (студія при курсахъ драмы артистки Московскаго Художественнаго театра С. В Халютиной).

Первый спектакль въ Воскресенье, 13-го Января: Первый спектакль.

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВѢ.

Текстъ А. Н. Майкова.

Суббота, 19-го Января:

Ч А Й К А. Комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ, А. П. Чехова.

Воскресенье, 20-го Января:

ИЛІАДА и ОДИССЕЯ.

Гомера, пер. Жуковскаго и Минскаго.

Среда, 23-го Января:

НЕЗНАКОМКА. Лирическая драма, А. Блока.

Среда, 30-го Января:

ТРАГЕДІЯ ЛЮБВИ.

Въ 4-хъ дѣйствіяхъ, Г. Гейберга.

О дняхъ слѣдующихъ спектаклей будетъ своевременно оповѣщено

Начало спектаклей въ 8 час. вечера.

Послѣ начала дѣйствія входъ въ залъ не допускается.

Для дальнѣйшаго репертуара готовятся: Аминта—пастораль Торквато Тассо, Испанцы—трагедія Лермонтова, Циклъ русскихъ сказокъ.

БИЛЕТЫ отъ 5 руб. 10 коп. до 75 коп. (учащимся въ формѣ въ день спектакля на свободныя мѣста 50 коп.) можно получать ежедневно въ Литер.-Худож. Кружкѣ и на курсахъ драмы С. В. Халютиной (Б. Чернышевскій пер., д. 15, кв. 1, телеф. 260-92).

На основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 5 мая 1892 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта и утвержденныхъ 8 марта 1908 г. правилъ взиманія сбора съ публичныхъ зрѣлищъ и увеселеній, со всѣхъ билетовъ взимается дополнительный сборъ въ пользу Вѣдомства учрежденій ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ, оплачиваемый марками онаго, безъ коихъ билеты не дѣйствительны.

Печ. разр. 23 ноября 1912 г. 3а Моск. Град. Помощн. его ЗАККИТЪ.

Тип. Императорскихъ Моск. Театровъ Т-ва Скоропеч. А. А. Левенсонъ. Москва

АФИША СПЕКТАКЛЯ ПО ПЬЕСЕ БЛОКА «НЕЗНАКОМКА» В ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ КРУЖКЕ

Москва, 1913 г.

Литературный музей, Москва

чательно. Если б ты знал, как мне теперь ясно, что такое христианство! Летом я не мог вам ничего об этом сказать, ибо был на пути, а теперь столько узнал, что чувствую на себе новое помазание, а потому и смело выступаю печатно. Были дни, когда я не мог ходить, и все танцевал. В разъяснении христианства мне много помогает Брюсов, именно потому, что на нем я вижу, что такое — нехристианин, язычник. Мечтаю о тех временах, когда вы будете жить в Москве, и на всю Европу будут известны вечера у Блоков, где собирается цвет русской поэзии. Корреспондент немецкой газеты будет описывать вечер, на котором он видел хозяйку дома Л. Д. Блок, в капоте, сделанном по рисунку А. Белого. Сам Блок занимал гостей, впрочем довольно молчаливо, уже маститый А. Белый, облокотясь на спинку кресла, развивал

Lapan [5], а Соловьев, только что вернувшийся из Афин, где проводил время с Дункан, утомленно развалясь на диване, готовился прочесть изысканный и шутливый сонет. Тон всего — крайне культурный и светский. Мистика подразумевается, но при гостях читают сонеты и говорят о литературе. Брюсов, подтянувшись и застегнувшись, стоит в углу.

Сашка, ведь я всю жизнь обожал Пушкина, а разве можно совместить это с духовной академией и мистиками, ведущими порядочный образ жизни! Ведь они дышать не дают! Мы — поэты, литераторы, и пусть в нашу религиозную жизнь не ввязываются. Мистические переживания должны быть сокровенны, и толпе пусть подносятся только результаты их, и непременно в литературной, изящной форме. Вся жизнь моего отца была несением трудного Христова подвига, но не учил же он людей, не проповедовал ничего и считал, что все решено [6]. Пусть и мои подвиги (ты-то знаешь, что я не Бальмонт [7]) останутся известными богу. Чувствую, что когда я заговорю самое сокровенное, свиньи осквернят это, а благородные люди вознегодуют. В. Я., подмигивая, говорит: «дьявольщина, Сергей Михайлович. Только это-то и хорошо!» А я отвечаю: «Нет, Валерий Яковлевич, это нехорошо». И вот я, израненный стрелами чорта, но торжествующий над ним, и, когда я торжествую, глупцы кричат: «вот у Сережи рога, рога, а дядю его канонизировать скоро будут! В кого это он таким мерзавцем вышел!» Милый друг, свет вечен, и я более, чем когда-либо, в нем уверен. И как раз то, что во мне *им* кажется темным, может быть, единственное, от чего я не провалился в тартарары, самое светлое и победное. До свиданья, верь счастью, нюхай цветы, жалей бедных и не щади негодяев. Большая любовь требует большой вражды. Думаю, что теперь мы с Любой хорошо поговорим, и она поймет меня, одна из немногих. Я тоже не хочу, чтобы было *«батюшка»*. Довольно с меня этого, за глаза довольно. Много лет целовал я руки батюшкам и проклинал все, что не батюшка, а теперь предпочитаю поповну и семинариста [8]. Розанов набросился на Эрна и Свентицкого [9] яростно [10]. Мне Розанов враг заклятый, но [и] * Эрн — не друг, и мы будем с ним полемизировать. Для нового света мало людей. Мережковским не верю. На Борю надеюсь, хотя он во многом еще дитя и пугается. Упивается цветами и ягодами, грызет и виноград и отмахивается от сладострастия. А ведь это только то же, доведенное до конца. Ты со мной спорил, когда я говорил, что христианство в основе своей вне пола. Теперь я считаю, что понимание христианства возможно до конца только сквозь сладострастие, как и всякой религии. И только потому, что в нем пламенеет сладострастие виноградных гроздьев, оно учение вечное, религия будущего. Но довольно одной черточки, и правда искажается и вместо неба — черная дыра. О, я далеко не победил черта, но понимаю вполне теперь, как надо вести борьбу, где черт, и где бог. Прежде я слишком многое проклинал, и выходил «батюшка». Но ты подумай: Эрн отстаивает плоть, умно, проникновенно, и в результате «интенсивность плотской жизни», противоположное сладострастию. Вот она «схемочка» проклятая. Брюсов не хочет святой плоти, а хочет греха; неохристиане хотят нелепой «интенсивности плоти» (если это не сладострастие, то, очевидно, потребность питания, ибо что же еще остается); Кобыл‹инский› не хочет никакой плоти, и трогательно честен. Боря хочет того, что надо, но еще боязлив. Мережковские говорят, что хотят самого лучшего, но люди — сомнительные. А я хочу настоящей святой плоти.

С. Соловьев

На письме помета Блока: 1906? Но по содержанию письма и по ответу на него Блока (п. 45) наша датировка не вызывает сомнений.

[1] Т. е. с собрания кружка «аргонавтов». Они происходили в квартире П. И. Астрова по средам, в данном случае (судя по упоминанию только что полученного февральского номера «Весов», вышедшего в конце месяца) — 23 февраля.

* Возможна утрата одного знака (след от дырокола). — *А. Л., Н. К.*

[2] См. п. 40, прим. 4.
[3] См. п. 35, прим. 9.
[4] Владимир Францевич *Эрн* (1800—1917) — философ.
[5] См. п. 9, прим. 5.
[6] Ср. признание Соловьева в письме к Г. А. Рачинскому от 14 мая 1905 г.: «Эрна и Свенцицкого определенно не хочу и верую не по-ихнему и знаю, что отец мой тоже верил не по-ихнему» (ЦГАЛИ, ф. 427, оп. 1, ед. хр. 2903).
[7] Намек на демонстративную широковещательность Бальмонта в стихах и прозаических опытах.
[8] Намек на только что написанное стихотворение Андрея Белого «Поповна и семинарист». Опубликовано в журнале «Золотое руно» (1906, № 4, с. 33) с датировкой: «1905, март»; в расширенном виде и под заглавием «Поповна» вошло в книгу Андрея Белого «Пепел» (СПб., «Шиповник», 1909, с. 191—195).
[9] Валентин Павлович *Свенцицкий* (1879—1931) — писатель, религиозный публицист, в 1905 г. совместно с В. Ф. Эрном возглавлял «Христианское братство борьбы».
[10] По-видимому, речь идет о столкновении Розанова с Эрном и Свенцицким в Петербурге, где представители «Братства борьбы» пытались собрать подписи под манифестом «христиан-радикалов» — см.: Андрей Белый. Начало века, с. 452—454. Ср. более поздние выступления Розанова об Эрне: «Религиозные голоса в нашей смуте». — «Маленькая газета», 1906, № 84 (18 апр.); «Вечная тема». — «Новое время», 1908, № 11427 (4 янв.).

45. БЛОК — СОЛОВЬЕВУ

‹Петербург› 26 февр‹аля 1905 г.›

Милый Сережа. Передал я Булгакову твои переводы; сам он меня не принял, но студент, управляющий журналом, спросив его, передал мне, что достаточно *простой* твоей записки на мое имя приблизительно такого содержания: «доверяю получить А. А. Блоку. . . и т. д. — следует подпись». (Никакого нотариуса следов‹ательно› не нужно.) *Непременно* присылай мне ее *скорей*, потому что Булгаков скоро известит меня о дне и часе, в который я могу получить деньги, и пропустить нельзя, так как он очень занят. Присылай немедленно.

Забываю сообщить тебе приятное: Розвадовский — в монастыре, в каком — неизвестно; и с каких пор он монах — тоже неизвестно. Начинаю совсем *не* выносить декадентов. Альманах «Гриф» производит отталкивающее и омерзительное впечатление. Бóльшая часть «Весов» — то же [1]. Твоя (?) заметка о Дункан меня как-то испугала, и еще не знаю о ней. Любе очень понравилась, особенно о телесности музыки [2]. Подпись твоя напоминает нечто вроде «статского советника», по словам Владимира Соловьева[3]. Кстати, если тебе не трудно (т. е., если у тебя есть экземпляры), пришли мне VI том Вл. Соловьева, ты все остальные нам прислал.

Жить в городе почти невыносимо. «Пойти» некуда почти и сосредоточиться нельзя; каждый день — вести, которых я не могу оценивать по достоинству. Пиши. Крепко целую.

Твой Ал. Блок

Ты пишешь о Соколове. Конечно, он — глупая декадентская скотина, но нужно ли его обижать? Ведь и «Скорпион» занимается рассадкой декадентства — и часто столь же тупого.

Ответ на письмо 44. Год определяется по содержанию.

[1] Имеется в виду февральский выпуск «Весов». Основные статьи, помещенные в нем: «Тайна одиночества и смерти. О творчестве Мэтерлинка» К. Бальмонта, «Вагнер и Дионисово действо» Вяч. Иванова, «Зачарованный лес» В. В. Розанова, «Одежда и мода» К. Fillonеau—Jарр, «Врубель» Н. К. Рериха.
[2] В заметке «Айсадора Дёнкан в Москве» Соловьев писал: «Музыка не выше пластического искусства и, как оно, материальна: звук столь же телесен, как изгиб тела, краска. И телодвижение столь же духовно, как звук» («Весы», 1905, № 2, с. 33).
[3] Заметка «Айсадора Дёнкан в Москве» подписана инициалами: С. С.

46. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

‹Москва. 1905 г., первые числа марта.›

Милый Сашуренька,

вот и весна, а скоро и Христос воскреснет. Сейчас без конца говорил на память твои стихи, и мне стало думаться, что ты первый теперь поэт в России. Взял для сравнения несколько брюсовских аккордов, и они прозвучали чуждо. Впрочем, это — от весны. Удивительно ты хорошо письма пишешь. Пиши почаще. То обстоятельство, что Любе понравилась моя заметка о Денкан, мне бесконечно приятно. Ведь она — главное начальство, а выслужиться всегда хорошо. Понимаю твое омерзение к декадентам, но ведь термин «декаденты» употребляется главным образом публикой, и главными декадентами она считает Брюсова, Блока и Белого. А этих господ едва ли ты считаешь плохими поэтами. Затем, между альманахами Гриф и Северными цветами — все-таки громадная разница. И если Соколов «декадентская скотинка», то Брюсов, хотя не Скотт [1], но во всяком случае «здоровый скот», имеющий ‹так. — *А. Л., Н. К.*› бодаться, но весьма пригодный для полевого (особенно, впрочем, для полового) хозяйства. Прости за этот вздор, душа моя, но мне весело, хотя еще вчера было грустно, когда я читал «Саула» чуть не в десятый раз и видел насквозь все его несовершенство и ученичество.

Говорим о вас с Борей каждый день и неистово жаждем свидания. Я плачу над Шиллером, размякаю над Фетом и сливаюсь в одно с Жуковским, в которого окончательно влюблен [2]. 5-го марта еду в Трубицыно. Буду там заниматься древними греками и переводить Шиллера [3], стараясь не думать о косоглазых чертях, которые лезут с востока [4] и от которых. . . но это потом. Итак, не посылай денег [5], пока я не напишу, что вернулся из Трубицына, а это будет недели через две или три. Привет Любе и тете Але.

Твой Серг. Соловьев

Из монолога «неокантианца»

Меня наука так измучила,
Что стал-я — нравственный урод.
Похож наружностью на чучело,
Что ставят птицам в огород.

Ответ на письмо 45. Датируется в связи с упоминаемым числом отъезда из Москвы Соловьева, хотя на письме помета Блока: 1906? При письме — автограф стихотворения Соловьева «Там, там блаженство, там отрада. . .»

[1] Каламбур. Подразумевается Вальтер Скотт, исключительно высоко ценимый С. Соловьевым (ср. п. 16, прим. 8).

[2] Вспоминая о весне 1905 г., Андрей Белый свидетельствует, что в это время Соловьев предавался чтению Жуковского и что у него тогда «проснулись филологические интересы» («Эпопея», № 2, с. 240). «В начале лета в Дедове была мода на Оссиана, Жуковского», — отмечает он же в мемуарах «Между двух революций» (с. 32).

[3] Баллады Ф. Шиллера «Кассандра», «Геро и Леандр» и «Рыцарь Тоггенбург» в переводах С. Соловьева были напечатаны в «Весах» (1905, № 5, с. 4—17) — к 100-летию со дня смерти поэта.

[4] Имеются в виду события русско-японской войны. Соловьев воспринимал их под знаком взглядов Вл. Соловьева.

[5] Вероятно, речь идет о деньгах, которые Блок должен был получить по доверенности Соколова от Ф. И. Булгакова — см. п. 38, прим. 1.

47. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

‹Москва, 1905 г., около 17 апреля.›

Милый Саша.

Христос Воскрес! Жду скорого свидания в Шахматове. Люблю особенно. Ты, один из немногих, находимых вне τῶν χοίρων *. Я начинаю пользоваться

* свиней (*греч.*).

подозрительным успехом, как поэт. Очевидно, надо писать по-новому. За неимением декадентства попробую пугать людей эротизмом.

Твой Серг. Соловьев.

Датируется по пасхе 1905 г. — 17 апреля.

48. БЛОК — СОЛОВЬЕВУ

‹Шахматово. 19 мая 1905 г.›

Милый Сережа,

Пишу тебе в Москву наудачу, приезжай к нам, мы давно в Шахматове, ждем тебя [1]. Здесь великолепно. В Москве, говорят, что-то ужасное происходило на улицах. Если не забудешь, захвати «Северные цветы», нам очень хочется видеть их. Отчего они ассирийские? Поздравляю тебя с открытием стихотворной кампании в печати [2]. Очень хочу знать, какие стихи и сколько помещено, а также очень хочу слышать все новые стихи и, если есть, также и арии.

Твой Ал. Блок

19 мая 1905. Шахматово.

[1] Блок с женой приехали в Шахматово 27 апреля.

[2] В альманахе «Северные цветы ассирийские» (М., «Скорпион», 1905; надпись на титульном листе: «Обложка, пять рисунков во всю страницу, заставки и концовки работы Н. Феофилактова по образцам ассирийского искусства») был напечатан цикл С. Соловьева «Предания», включавший пять стихотворений: «Иаков», «Primavera», «Дидона и Эней», «Ромео и Джульетта», «Сестре» (с. 44—50). Это была первая публикация стихов Соловьева.

49. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

‹Конец мая 1905 г.›

Дорогой, милый друг!

сейчас прочел твою рецензию о книге Веселовского [1], и хочу без конца целовать тебя. Люблю тебя ужасно и *преклоняюсь* перед твоим литературным мастерством. Тут есть чему поучиться. «Грубоватый Вяземский» окончательно наступил мне ногой на горло [2]. Дышать могу только в деревне. Господа христиане — самая нестерпимая и обидная порода существ. Лезут ко мне, как городовые к б‹. . .› на Тверском бульваре. И чего от меня им нужно? Ну, я погиб. Махните на меня рукой и спасайте, кого можно. Нет, они хотят, чтобы я объяснил, в чем я с ними *не согласен*. А я готов заорать: или Вы все или Пушкин. Но чтобы зараз — этого нельзя! Они все примирили. И монахи, и безбожные приват-доценты, и блудливые поэты вроде меня — все в одну кучу: «светится, светится новый Иерусалиме» [3]. А вот вам и не засветиться! Люба, властно извлеки Борю из всего этого! Ах, я и забыл, что Любе нельзя читать этого письма. Ведь я тут совсем один. Брюсовские черти и Свенцицкие ангелы, и затем хоть шаром покати. И вдруг твоя божественная рецензия, где ты полным ковшом зачерпнул из океана благовоний — которому имя — Жуковский [4]. И все это обидное христианство основывается на дяде Володе, одно *же* которого спугнуло бы эту преосвященно-либеральную шайку [5]. Приедем в Шахматово между 10-м—15-м июня [6]. Я встану под сильное покровительство Любы и открою огонь. Разошлю письма всем христианам с объявлением, что я погиб и спасаться по-ихнему ни в коем случае не намерен. Стихи привезу. Пишу много. Ну, прощай, мой «попик болотный»! [7] Приветствую твою «святую Елизавету» [8], и припадаю к твоим ногам, ногам истинного поэта.

Твой брат и почитатель Сергей Соловьев.

Ответ на письмо. 48. Датируется по содержанию и помете Блока: 1905.

[1] Пространная рецензия Блока на книгу академика А. Н. Веселовского «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения» (СПб., 1904) была опубликована в жур-

нале «Вопросы жизни» (1905, № 4—5). Там же была помещена его рецензия на книгу Н. К. Козмина «О переводной и оригинальной литературе конца XVIII и начала XIX века в связи с поэзией В. А. Жуковского» (СПб., 1904). См.: V, 568—578.

[2] Соловьев пользуется выражением из рецензии Блока на книгу Веселовского: «Грубоватый Вяземский тащит поэта в общественность» (V, 575).

[3] Слова пасхального канона. Библейский источник этого песнопения — Исайя, LX, 1.

[4] Ср. п. 46, прим. 2.

[5] Речь идет о Вл. С. Соловьеве. — О его необычном хохоте вспоминают многие мемуаристы. Блок говорил о «созидающем» хохоте Вл. Соловьева» («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 4).

[6] О приезде Соловьева с Бугаевым в июне 1905 г. в Шахматово см. вступительную статью.

[7] Имеется в виду стихотворение Блока «Болотный попик» («На весенней проталинке. . .»), датированное 17 апреля 1905 г. (II, 14—15). 19 мая Блок выслал его рукопись (с посвящением «Л. Д. Б‹лок›») Андрею Белому (см.: «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 133—134).

[8] Можно предположить, что «святой Елизаветой» (мать Иоанна Предтечи) Соловьев именует Л. Д. Блок, однако это — не более чем рискованное предположение; не более обоснованным было бы и отождествление «святой Елизаветы» с Е. П. Безобразовой, кузиной Соловьева, жившей в Петербурге — см. его письмо к Белому от 27 июля 1905 г. в разделе «Блок в неизданной переписке современников».

50. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

9 июля ‹1905 г.›, Дедово.

Милый Саша!

Я собираюсь писать статью о твоей поэзии[1]. Напиши, разрешаешь ли процитировать некоторые строки из стихотворения: «Сижу за ширмой» [2] и «Ты, держащая море и сушу» [3].

Пиши мне в Трубицино. Там я предполагаю пробыть до августа, а потом вернуться в Дедово [4]. Я нахожусь в периоде дикого увлечения Валерием Яковлевичем и почти не говорю собственным голосом, не вытягиваясь и не изломываясь [5]. Хочу поработать над переводом Фауста [6]. Настроение вообще не самостоятельно творческое, а переводно-статейное. Ловлю рыбу каждый вечер, но не вылавливаю более пяти. Все-таки — это самое теперь прекрасное и «венец пустого дня» [7]. Недавно ездил с удочками в женский монастырь, но ни одной хорошенькой монахини и ни одной рыбы. Продолжаю «Легенду о святой Варваре» [8]. Боря научил меня понимать зарю, но только розовую [9]. Когда хорошо клюет и сзади клубится розовый туман, кто-то приходит несказанный [10], и становится хорошо.

Твой Сер. Соловьев

P. S. Всем — привет.

Год — по содержанию и помете Блока: 1905.

[1] Нереализованный замысел (ср. п. 52).

[2] Стихотворение Блока «Сижу за ширмой. У меня. . .» (I, 294), датированное 18 октября 1903 г.; впервые напечатано в журнале «В мире искусств» (1909, № 1) под заглавием «Испуганный» и с подзаголовком «Иммануил Кант». Текст его был послан поэтом 8 или 9 ноября 1903 г. А. Белому («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 61).

[3] Строка из стихотворения «Ты в поля отошла без возврата. . .» (II, 7), датированного 16 апреля 1905 г. Его рукопись (под заглавием «Молитва») была послана Блоком Белому с письмом от 19 мая 1905 г. («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 133).

[4] Ср. письмо А. Г. Коваленской к Андрею Белому (Дедово, 5 августа 1905 г.): «Сережа в Трубицыне, но 10-го обещает быть здесь» (ГБЛ, ф. 25, карт. 17, ед. хр. 15).

[5] 27 июля 1905 г. Соловьев писал из Трубицына Андрею Белому в связи с публикацией в июльском номере «Вопросов жизни» цикла стихотворений Брюсова «Озимя»: «В общем разительно. Особенно «Деметре» и «Маргерит». Я уже списываю эти стихи и шлю по разным концам России, не утомляясь в моей неустанной пропаганде. Пишу стихотворение, где говорится:

Пушкин — альфа, ты — омега
В книге русского стиха.

Ты — Валерий Яковлевич» (ГБЛ, ф. 25, карт. 26, ед. хр. 5). Стихотворная цитата — из послания к Брюсову «В ответ на «Озимя», написанного в Трубицыне в июле 1905 г.

(Сергей Соловьев. Цветы и ладан, с. 68). Вспоминая лето 1905 г., Андрей Белый писал о Соловьеве: «В нем филолог окреп; и вырастало в сознаньи его все значенье поэзии Брюсова и стремление к чеканке переживаний; поэзия Блока казалась ему *«романтическою невнятицею»*; А. А. ставил он ниже, чем Брюсова» («Эпопея», № 2, с. 243).

[6] Видимо, это намерение не было осуществлено.

[7] Заключительная строка стихотворения Баратынского «На что вы, дни! Юдольный мир явленья. . .» (1840) (Е. А. Баратынский. Полн. собр. стихотворений. Л., 1957, с. 183).

[8] Прозаическая «Повесть о великомученице Варваре» была завершена Соловьевым только в 1913 г. См.: Сергей Соловьев. Возвращение в дом отчий. Четвертая книга стихов. 1913—1915. М., 1916, с. 171—184.

[9] Наблюдение закатов и утренних зорь и угадывание их символического смысла было одним из основных мифотворческих «действ» Андрея Белого в начале 1900-х годов; оно было связано с философскими концепциями и мистическими упованиями Белого, с его мифологизированными представлениями о цветовой символике.

[10] Выражение восходит ближайшим образом к «Симфониям» Андрея Белого — ср. п. 21, прим. 13, п. 29, прим. 9 и 33, комментарий к письму Соловьева к Белому от 6 июля 1902 г. (печатается в разделе наст. тома «Блок в неизданной переписке и дневниках современников»).

51. БЛОК — СОЛОВЬЕВУ

Шахматово. 19 июля 1905.

Милый Сережа. Конечно, цитируй. — Мне бы хотелось успокоиться, так как я беспокоюсь о тебе. После твоего отъезда (а ваш с Борей приезд был, пожалуй, самым важным из всех прежде бывших) стало возрастать мое беспокойство [1]. У меня определенная мысль, что ты не только изменяешься, но временно *заменился* другим. «Почти не говорю собственным голосом», — пишешь ты мне, — но ты говоришь и *не* голосом Брюсова. Тебе предстоят, верно, сильные муки, и многие из них — безплодные. Может быть, это Брюсов таскает тебя. В тебе появилась угрюмость и пассивность, но на что они направлены, я не знаю. И вот — «венец пустого дня» [2]. Я не знаю определенно, где помещается то, что появилось в тебе. Хочу очень сильно, чтобы к тебе «приходил кто-то несказанный и становилось бы хорошо» [3]. Господь с тобой, Милый.

Твой Саша

Ответ на письмо 50. Это письмо, написанное после кризисного свидания трех друзей — Блока, Соловьева и Белого — в Шахматове в июне 1905 г., было воспринято Соловьевым как явный знак измены всем идеалам, связывавшим еще недавно «блоковцев». Д. Е. Максимов писал во вступительной статье к первой публикации письма: «Расхождение между Блоком и С. М. Соловьевым, вскоре приведшее их к длительному разрыву отношений и к резкой печатной полемике, отразилось в приводимом письме в туманной, иносказательной и сглаженной форме. Тем не менее письмо могло только усилить размолвку и, несомненно, ее усилило. Отослав его, Блок не писал С. М. Соловьеву более пяти лет, дружба их, в сущности, прекратилась» (Д. Е. Максимов. Из архивных материалов об А. Блоке. — «Уч. зап. Ленинградского гос. пед. ин-та», т. XVIII. Факультет языка и литературы, вып. 5. Л., 1956, с. 249). Именно поэтому Соловьев переслал письмо Блока «на рассмотрение» Белому (см. п. 52), сопроводив его отчаянным собственным (см. раздел «Блок в неизданной переписке и дневниках современников»).

[1] В тот же день Блок писал Андрею Белому: «Ваш приезд с Сережей — последний — был, пожалуй, для меня важнее всех остальных — очень окрылил меня. Я чувствую в нем много Нечаянной Радости. Но теперь я беспокоюсь внутренно о Сереже, мне все кажется, что здесь что-то не так, и как бы не заменили одну пьесу — другой «по болезни артиста и лошади». Действие же пьесы уж, пожалуй, происходит именно в цирке, по силе критического момента и по трагизму его» («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 136). Сходным образом оценивал Блок пребывание Белого и Соловьева в Шахматове и в письме к Е. П. Иванову от 25 июня 1905 г.: «На днях уехали — сначала Бугаев, потом Соловьев, приехавшие вместе, привезшие новизну и голос событий, совершающихся в самой главной области — «Несказанной» (VIII. 130). Однако Белый, описывая в мемуарах это посещение Шахматова в июне 1905 г., подчеркивал приметы своего и С. Соловьева расхождения с Блоком и его семьей: «Вместо дружеских, тихих совместных сидений окреп тон глухой, напряженной борьбы: и меж нами в молчании свершался труднейший диалог»; у Белого

и Соловьева нарастало восприятие Блока «падшим рыцарем», предавшим религиозно-мистические идеалы: «Словами такими мы вслух не обменивались; только издали, из молчания фехтовались друг с другом» («Эпопея», № 2, с. 248, 249).

Уехали Белый и Соловьев из Шахматова преждевременно, в результате происшедшего инцидента (на него, видимо, намекает Блок в письме к Белому, говоря о своем беспокойстве о Соловьеве и перенесении действия «пьесы» в «цирк»). Подробно рассказав в «Воспоминаниях о Блоке» об этом происшествии, Белый так разъяснил мотивы поступка С. Соловьева: «Вдруг понял он, что для спасения *«зорь»*, нам светивших года, должен он совершить некий жест символический, что от этого жеста зависит вся будущность наша‹. . .› С. М. вдруг почувствовал: если сейчас не пойдет напрямик он чрез лес, чрез болота (все прямо, все прямо) — к заре, за звездою, то что-то, огромное, в будущем рухнет ‹. . .›» («Эпопея», № 2, с. 259). После отъезда Белого из Шахматова «два дня еще оставался он с Блоками; ничего не сказали друг другу они; с остервенением (неестественным) проражались за картами; и С. М. распевал все: «Три карты, три карты, три карты. . .» (Там же, с. 260—261). Белый заключает, что это «трехдневное сражение в карты с С. М. Соловьевым» нашло отклик в стихотворении Блока «Потеха! Рокочет труба. . .», написанном в июле 1905 г. (см.: II, 66, 398)».

[2] См. п. 50, прим. 7.

[3] См. п. 50, прим. 10.

52. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

3 августа, ‹1905 г.› Трубицыно.

Милый друг!

серьезное спасибо тебе за письмо. Оно очень важно и хорошо. В нем много правды, хотя и не все — правда. Брюсов, например, едва ли играет тут большую роль. Особенно не пугайся моей угрюмости, я ищу ее, временно она необходима. Надо увиться как саваном этой угрюмостью, чтобы защищать свою сущность от «дыханья посторонней суеты».[1] Заключение твоего письма проникло в меня очень глубоко и всколыхнуло нежность к тебе. Это из прежнего, из дней перед твоим венчанием, из той ночи, когда мы вдвоем ехали из Боблова. Часто вспоминаю появление Муси в саду, и оно всегда — залог несказанного, прекрасного и победительного.

Приезжайте с Любой в Москву в сентябре. Я опять покажу Вам московские храмы, людей «чающих спасения Израилева» и приму вас под моей кровлей и мы разделим вечернюю трапезу.

Высшую силу в себе сознавая,
Что тосковать о ребяческих снах.
Жизнь только подвиг. . .[2]

Твое письмо переслал Боре на рассмотрение [3].

Я безвозвратно погубил «Вопросы жизни» в глазах тети Саши, хотя предупреждал ее *не* читать «Пруд» [4], но она увидала там кое-что и сказала: «если бы я получала в год 10 000 рубл., то все-таки не подписалась бы на этот журнал». А тетя Лена [5] подтряхнула головкой. Я же как-то въелся в Ремизова, и постигаю его несомненные достоинства. Ну, а стихи Сологуба продолжаю ненавидеть [6]. Статья о тебе отложена, и вместо нее пишется статья о Мережковском [7].

От 15-го думаю быть в Дедове.

В октябре приеду в Петербург на неделю. Боря мне написал, что одному из нас ехать необходимо. Но, очевидно — мой черед [8]. Еще надо очень повидать бабушку и некоторых барышень, у которых со времени нашего последнего свидания, вероятно, отросли косы. Привет — тете Але.

Твоя Словачка (смягчение: словак, женщина: словачка, винительный пад‹еж›: словачкж) [9].

P. S. Читаю Софоклова Аякса.

Ответ на письмо 51. Год — по содержанию и помете Блока: 1905.

[1] Из стихотворения Е. А. Боратынского «Чудный град порой сольется. . .» (1829).

[2] Из стихотворения Вл. Соловьева «Если желанья бегут словно тени. . .» — см.: Владимир Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974, с. 100.

[3] См. сопроводительное письмо Соловьева к этой посылке в разделе «Блок в неизданной переписке современников».

[4] Роман А. М. Ремизова «Пруд» был начат в 1905 г. печатанием в № 4—5 «Вопросов жизни» и печатался ежемесячно в последующих номерах.

[5] Видимо, Елена Валерьяновна Никольская, дальняя родственница Блока и С. Соловьева. Блок встречался с нею в Москве 10 января 1904 г. (VIII, 81).

[6] Имя Сологуба возникает, вероятно, в связи с содержанием весенне-летних номеров «Вопросов жизни», где шел роман Ремизова: девять стихотворений Сологуба были напечатаны в № 4—5 и стихотворение «Свободный ветер давно прошумел. . .» — в № 7; скорее всего, речь идет о первой из упомянутых публикаций, так как при знакомстве с более поздними номерами естественно было бы ожидать упоминания о романе Сологуба «Мелкий бес», печатание которого началось в журнале с № 6.

[7] Об этом замысле (видимо, неосуществленном) Соловьев сообщал и Белому 27 июля 1905 г.: «Собираюсь писать статью о Мережковском» (ГБЛ, ф. 25, карт. 26, ед. хр. 5). Ср. письмо Соловьева к Г. А. Рачинскому (Дедово, 14 октября 1905 г.): «Обдумываю сочинение о Вл. Соловьеве, Мережковском и Вяч. Иванове. В голове возникла довольно сложная и стройная схема, но осуществить ее долго не дадут университетские занятия» (ЦГАЛИ, ф. 427, оп. 1, ед. хр. 2903).

[8] Явно около этого времени (не позже 8 августа) Соловьев писал в недатированном письме к Белому: «Дорогой Борис Николаевич! Понимаю всю важность и думаю, что мой черед ехать осенью в Петербург, все так складывается. Были недавно ужасы, явление грозящего в ‹мантии?›, который потребовал от меня под угрозой немедленной гибели подтверждение моей готовности к борьбе. Я дал подтверждение. И на время *они* отступили от меня.

‹. . .› ежедневно в молитвах поминаю рядом Любовь и Бориса ‹. . .›» (ГБЛ, ф. 25, к. 26, ед. хр. 13, л. 11; существенно важно, что Соловьев безоговорочно поддерживает Белого в его борьбе за Л. Д. Блок).

Однако отношения между Соловьевым и Блоком испортились настолько, что поездка его в Петербург стала попросту невозможной.

[9] Слово «словачка», по свидетельству М. А. Бекетовой, «есть намек на некоего московского профессора, которого изображал в лицах Серг. М. Соловьев» («Письма к родным», I, с. 330). Блок обозначал им экзамен по славяноведению (Там же, с. 144). Ср. шуточную фразу в письме Блока к Белому от 9 сентября 1905 г.: «Я — женщина словачка» («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 140).

53. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

1910 г. 20 ноября. Москва. 6-й Ростовский, д. Кожиной.

Милый Саша,

я очень рад, что мы с тобой не встретились в Москве [1]. Я уверен, что время нашей встречи близко, но оно еще не совсем назрело. Мне надо говорить с тобой и с Любой много и *до конца*. Думаю в конце зимы побывать в Петербурге, и тогда побываю у тебя основательно. Все, что я слышал от тети Сони о Шахматове, исполняет меня прекрасной и твердой надеждой.

Пока крепко жму твою руку и прошу передать сердечный привет Любе и тете Але [2].

Твой брат Сергей Соловьев

На письме помета Блока: На Монетную.

[1] Блок был в Москве с 1 по 4 ноября 1910 г. 1 ноября он присутствовал в Московском религиозно-философском обществе на докладе Андрея Белого «Трагедия творчества у Достоевского». Белый специально приглашал Блока приехать к докладу, считая, что это «предлог идейно понять друг друга» («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 241). В «Воспоминаниях о Блоке» Белый подробно описал приезд Блока («Эпопея», 1923, № 4, с. 185—200). Письмо это — первый шаг к примирению с Блоком после пятилетнего разрыва отношений. В «Воспоминаниях об Александре Блоке» Соловьев писал: «Осенью 1910 г. я написал Блоку приветливое письмо с предложением ликвидировать наш раздор. Он радостно отозвался» («Письма Александра Блока», с. 34).

[2] 25 ноября 1910 г. Блок сообщал матери: «23-го я получил письмо от Сережи, который слышал о нас от тети Сони, хочет говорить со мной до конца и просит передать тебе и Любе «сердечный привет». Он приедет в П‹етер›б‹ур›г в конце зимы» («Письма к родным», II, с. 100—101).

54. БЛОК — СОЛОВЬЕВУ

23 XI 1910.
Санкт-Петербургская сторона, Малая Монетная, 9, кв. 27.

Милый Сережа.

Твое письмо очень радостно мне. Да, надо и будем говорить. Тетя Соня — всегда добрая вестница. Думаю, что мы могли ⟨бы⟩ встретиться и в Москве [1].

Сообщи, когда ты приедешь в Петербург. Мы, может быть, рано уедем в Шахматово, но не в конце зимы, а в начале весны. Шахматовские же свидания зависят от здоровья мамы, которое в трудном положении. Я был бы рад видеть тебя скорее. Приветствую тебя.

Твой Александр Блок

Ответ на письмо 53.

[1] Позже, когда Блок предполагал поехать в Москву на заседание Религиозно-философского общества, посвященное памяти Вл. Соловьева. Соловьев ждал встречи с Блоком (см. его письмо к Белому от 9 февраля 1911 г. в разделе «Блок в неизданной переписке современников»); поездка Блока, как известно, не состоялась, и примирились старые душевные друзья и недавние враги только весной 1911 г. — см. там же. Следует заметить, однако, что комментируемую фразу Блока можно понять и иначе: с его точки зрения, решительное и благотворное объяснение с Соловьевым могло бы состояться и в начале ноября 1910 г., встреться они в Москве.

55. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

⟨26 декабря 1910 г. Москва⟩.

Милый Саша,

поздравляю тебя с праздником [1] и желаю провести его радостно. От Бори имею прекрасные письма из Сицилии [2]. До свидания, до весны.

Твой Сер. Соловьев

Датируется по почтовому штемпелю: Москва. 26.12.10. Открытка с репродукцией: «Botticelli. La Vergine col S. Bambino». Помета Блока: XII 1910.

[1] Рождество.

[2] Эти письма Белого к Соловьеву нам неизвестны. Ср. письмо Белого к Блоку из Сицилии (Палермо), полученное в середине декабря 1910 г. («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 243).

56. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

Дедово, 16 июня ⟨1911 г.⟩

Милый Саша,

не можешь представить, как я жалел, что ты не застал меня в Москве. Я был на квартире через несколько часов после тебя [1]. Едешь ли ты за границу и когда? [2] Не знаю, удастся ли выбраться в Шахматово [3]. Во всяком случае ты и Люба должны быть зимой в Москве, и мы будем много пить с Борей и Кожебаткиным [4], который постоянно приезжает в Дедово с бутылкой вермута, к немалому соблазну Коваленских.

Я остался при университете по греческой филологии, у Соболевского. Это для меня очень важно и приятно [5]. Теперь отдыхаю и упиваюсь Шекспиром. Знаешь, эту зиму в Москве пойдут Гамлет в Художественном [6], Ромео и Юлия в Малом [7], и Фауст у Незлобина [8]. Это здорово!

Мой душевный и более того привет тете Але, тете Мане, и Любе, если она в Шахматове.

Твой всегда Сергей Соловьев

Год — по содержанию и помете Блока на письме: 1911.

[1] «Вчера я вернулся из Москвы, где пробыл только два дня», — писал Блок жене из Шахматова 17 июня 1911 г. (ЛН, т. 89, с. 266).

[2] Видимо, при личной встрече (в Петербурге в апреле 1911 г.) Блок сообщил Соловьеву о своем намерении отправиться летом в заграничное путешествие. Он выехал из Петербурга 5 июля.

[3] Соловьев приехал в Шахматово 25 июня. «Завтра я еду в Шахматово, — писал Соловьев Андрею Белому из Дедова 24 июня. — Не знаю, застану ли Блока. Он мне очень нравится. Примирение с ним для меня воистину «Нечаянная радость». Только теперь я понял, как гибелен был раздор с Шахматовым, как безбожен» (ГБЛ, ф. 25, карт. 26, ед. хр. 10). «В Шахматове провел день Сережа — было очень хорошо», — сообщал Блок жене 30 июня (ЛН, т. 89, с. 268). Соловьев описал этот визит в воспоминаниях о Блоке («Письма Александра Блока», с. 35—37).

[4] Александр Мелентьевич *Кожебаткин* (1884—1942) — секретарь издательства «Мусагет», основатель и владелец издательства «Альциона». 5 мая 1911 г. Соловьев писал Белому: «Личность Кожебаткина мистически утверждает во мне веру в Мусагет и в его прочность» (ГБЛ, ф. 25, карт. 26, ед. хр. 13).

[5] Сергей Иванович *Соболевский* (1864—1963) — филолог-классик, профессор Московского университета, с 1928 г. — чл.-корр. АН СССР. Весной 1911 г. Соловьев закончил классическое отделение историко-филологического факультета Московского университета (держал государственные экзамены в апреле—мае 1911 г.). 27 ноября 1911 г. С. Г. Карелина писала Блоку о С. Соловьеве: «Он оставлен при университете и ему задали еще работу по подготовлению к профессуре впоследствии» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 267). Будучи студентом, Соловьев занимался под руководством Соболевского. Сохранилась рабочая тетрадь (1909): «Семинарий по Гесиоду проф. Соболевского. Студента VH-го семестра Соловьева Сергея» (ЦГАЛИ, ф. 475, оп. 2, ед. хр. 1). — Ср. в письме Соловьева к Белому от 4 июня 1911 г.: «Спасибо за поздравление. Ты знаешь, какое громадное значение имело для меня оставление при университете, как затуманились бы мои пути без оного» (ГБЛ, ф. 25, к. 26, ед. хр. 7, л. 7; в этом же письме Соловьев говорит о своем постепенном отходе от ницшеанства — «базельского филолога», — что отчетливо сказалось в его позднейших письмах к Блоку: «Образ базельского филолога на моем знамени, хотя все чаще и чаще звучат для меня новозаветные струны и уже близок день примирения»).

[6] Премьера «Гамлета» Шекспира в Московском Художественном театре состоялась 23 декабря 1911 г. (постановка и декорации Гордона Крэга, режиссеры К. С. Станиславский и Л. А. Сулержицкий).

[7] Постановка не была осуществлена.

[8] Постановка «Фауста» Гете (режиссер Ф. Ф. Комиссаржевский) в театре К. Н. Незлобина была осуществлена лишь в сентябре 1912 г.

57. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

Дедово 6 августа ‹1911 г.›

Милый Саша,

спасибо за память обо мне. Твое письмо было очень кстати и доставило мне большую радость.

В Художественном театре начались репетиции, и я пасусь по ночам в Камергерском переулке [1] и бешу актеров.

Читаю Вильгельма Мейстера, потому что там об актерах [2]. Разоряюсь на лихачей и духи [3] и спорю с бабушкой о Кане Галилейской [4]. Бабушка находит, что Христос напрасно поощрял пьянство, да еще чудесными способами. Интересно, что думает об этом тетя Соня.

Я влюблен в немецкий язык и Гете [5]. Занимаюсь Софоклом в солнечные дни на балконе, а недалеко стоит рябина, и в голубом небе краснеют спелые кисти. Недостает только Христа в лодочке [6], каковой поистине сыграл роль Гоголевского «гусака» (Ив‹ан› Ив‹анович› и Ив‹ан› Никиф‹орович›) в нашей ссоре. 2-го августа мы играли следующее действие Женитьбы, и дядя Витя [7] был чудным Подколесиным. Представь себе, как он говорил: «Неужели она правду сказ(ж)ала, что предпочитает меня вшем»? [8] А какую вялую порнографическую гадость напечатал Брюсов в Северных цветах! [9]

Боря на днях приезжает в Москву [10]. Я не хочу слышать, что ты и Люба не будете в Москве эту зиму.

Любе передай мою преданную и благодарную любовь.

Твой Сер. Соловьев

Ответ на несохранившееся письмо Блока. Направлено в Аберврах, откуда переслано до востребования в Париж.

[1] Здание Московского Художественного театра в Камергерском переулке (ныне — проезд Художественного театра).

[2] Речь идет о романе И. В. Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера».

[3] Соловьев в это время был увлечен С. В. Гиацинтовой. Об этой эпохе в жизни Соловьева дает представление такой отрывок из его письма от 6 апреля 1910 г. к Гиацинтовой: «Знаешь, благодаря тебе, я как будто бы начинаю просыпаться от многолетнего и дурного сна, огрубления, варварства, мистицизма и декадентства. Ты снова возвращаешь меня к той изящной и прекрасной жизни, которую я знал в детстве и для которой был рожден» (ЦГАЛИ, ф. 2049, оп. 1, ед. хр. 296, л. 1).

[4] Первое чудо Христа — претворение воды в вино во время брачного пиршества в Кане Галилейской (Евангелие от Иоанна, II, 1—11).

[5] Свои воззрения на Гете С. Соловьев позже пересмотрел и наиболее отчетливо выразил в книге «Гете и христианство» (Сергиев Посад, 1917).

[6] Соловьев отсылает к образам стихотворения Блока «Когда в листве сырой и ржавой. . .» (первого в цикле «Осенняя любовь» — II, 263). Нужно отметить, что стихотворение было написано и стало известно Соловьеву в то время, когда вражда между ним и Блоком достигла крайнего предела. Соловьев не мог не познакомиться со стихотворением тогда же, так как оно было напечатано в «Весах» (1907, № 12), где он был ближайшим сотрудником.

[7] В. М. Коваленский.

[8] Имеется в виду домашний спектакль в Дедове. Реплика Подколесина («Женитьба», д. II, явление XII): «Я все еще не верю, чтобы она прямо сказала, будто предпочитает меня всем» (Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. V. [Л.], 1949, с. 49).

[9] Имеются в виду «Семь земных соблазнов (отрывки из романа)» В. Я. Брюсова, напечатанные в пятом альманахе «Северные цветы» (М., «Скорпион», 1911).

[10] Лето 1911 г. Андрей Белый с женой проводил в Боголюбах под Луцком (Волынская губерния), в имении В. К. и С. Н. Кампиони.

58. БЛОК — СОЛОВЬЕВУ

‹Петербург› 16 сентября 1911.
Малая Монетная 9, кв. 27 (прежняя)

Милый Сережа.

Твое письмо я получил еще в Париже. С тех пор был в Бельгии, Голландии и Берлине [1]. А ты все еще «пасешься по ночам в Камергерском переулке»? Даже в Париже я почуял весь аромат этого сообщения — столь знакомо мне было когда-то такое состояние. Художественные актеры от этого «бесятся», а Коммиссаржевские приходили в приятное и ласковое недоумение. Кроме того, Офицерская шире Камергерского переулка и можно было незаметно деловым шагом переходить на другую сторону, теряясь во мраке снежной ночи за киоском с афишами. Воротясь в Петербург, теперь вспоминаю все это с удовольствием [2]. Будь здоров, целую тебя и люблю.

Мама будет жить в Петербурге и сегодня приехала из Шахматова.

Любящий тебя Ал. Блок

Ответ на письмо 57.

[1] Блок вернулся в Петербург из заграничного путешествия 7 сентября.

[2] Имеется в виду петербургский театр В. Ф. Коммиссаржевской на Офицерской улице. Блок вспоминает зиму «Снежной маски» — Н. Н. Волоховой.

59. СОЛОВЬЕВ И Т. А. ТУРГЕНЕВА — БЛОКУ

25 июня ‹1912 г.› Боголюбы.

Милый друг Саша,

отвечаю тебе на твое письмо, 9 лет назад написанное [1]. И тебе одному из первых хочу сказать, что обрел путь в Кану Галилеи [2], и имя моей невесты — Татьяна Алексеевна Тургенева [3]. В первый раз назвал я ее моей невестой 3 года назад. Но «‹зл›ые * вихри» нас разлучили [4].

Обнимаю тебя, а о том, что в моей душе, лучше всего скажу твоими словами:

И когда заутра ратью черной
Двинулась орда,
Был в щите твой лик нерукотворный
Светел навсегда [5].

---

* Утрата нескольких знаков — след дырокола.

Твое «Куликово поле» любимые стихи мои и моей невесты, которая любит тебя вместе со мной и подписывает письмо

Сергей Соловьев
Т. Тургенева

P. S. Тетю Алю обнимаю. Надеюсь когда-нибудь вместе с Таней быть в Шахматове. Сейчас пребываю в Волынской губернии, в Дедове буду в середине июля.

Адрес мой пока: Волынская губерния, Луцк, Татьяне Алексеевне Тургеневой с передачей мне [6].

Год устанавливается по содержанию и помете Блока на письме: «После выздоровления 1912» (Имеется в виду психическое заболевание Соловьева осенью—зимой 1911 г.).

[1] Имеется в виду письмо Блока к Соловьеву от 20 марта 1903 г., в котором он извещал о своей предстоящей женитьбе.

[2] Т. е. к бракосочетанию — см. п. 57, прим. 4.

[3] Т. А. *Тургенева* (1896—1966) — сестра А. А. Тургеневой, первой жены Андрея Белого.

[4] Соловьев использует название романа своего дяди, Вс. С. Соловьева, про который писал в «Воспоминаниях»: «Из писем царя Алексея Михайловича заимствовал он название одного из трех своих неисторических романов «Злые вихри». Все названия его романов из современной жизни характерны: «Наваждение», «Злые вихри», «Цвета бездны» (последний роман не закончен). «Меня всю жизнь носили злые вихри», — говорит герой романа Аникеев. То же мог сказать о себе и автор ‹. . .› Грустная таинственная музыка судьбы запевает в современных романах Всеволода Сергеевича».

[5] Неточная цитата из стихотворения Блока «В ночь, когда Мамай залег с ордою. . .» (1908), входящего в цикл «На поле Куликовом» (III, 251). Цикл был опубликован в кн.: «Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник», кн. 10. СПб., 1909.

[6] По получении письма Соловьева Блок писал матери (3 июля 1912 г.): «То, что пишет Сережа, мне необыкновенно близко именно сейчас. Когда все вокруг или убого, или ужасно, — остается жить только «последним». В последнем мы с Сережей всегда близки, настолько же, насколько далеки во внешнем. Напишу ему» (VIII, 396—397). — Намерение Блок исполнил, но его письмо нам неизвестно (см. следующие письма).

60. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

21 июля ‹1912 г.› Дедово.

Милый друг Саша,

вчера я приехал в Дедово и нашел твое письмо.

Благодарю тебя.

Для меня очень значительны были минуты в Софийском соборе, в Киеве, когда я ехал от Тани [1]. Я понял, что София искони хранила Русь, но поклонялись ей только *до* Москвы. В Москве была *Мат‹ерь› Пресвятая Богородица*, но Предвечная Дева, Риза Христова, светлое тело вечности — София — ведома была только Киеву и Новгороду [2].

Эта Дева хранит и меня и тебя, и я вновь чувствую, что и любовь и злоба наши вытекали только из теснейшей нашей связи с тобой, рыцарской нашей клятвы у Ее алтаря.

Против Нее мы оба согрешили, и приняли мзду.

Милый, обнимаю тебя.

Когда мы с Таней перед прощанием читали Иоанна, два белых аиста взвились над нами.

Еду опять на Волынь в начале августа.

Венчание будет в Дедове 8 или 9 сентября, в рождество Богородицы [3]. Я был бы очень рад, чтобы тетя Аля мне написала.

Что у Вас? Из твоего письма я вижу, что что-то тяжелое.

Будущим летом надеюсь быть в Шахматове с Таней.

Твой Сер. Соловьев

Ответ на несохранившееся письмо Блока.

[1] Соловьев проезжал Киев по дороге из Луцка в Москву (из имения Боголюбы под Луцком, принадлежавшего отчиму его невесты В. К. Кампиони и ее матери С. Н. Кампиони).



БЛОК
Фотография, 1916 г., Пинские болота (Белоруссия)
Подарена Блоком Л. А. Дельмас
Собрание И. А. Фащевской, Ленинград

[2] Сходные мысли Соловьев развивает в статье «Путь русской культуры» (Сергей Соловьев. Богословские и критические очерки. Собрание статей и публичных лекций. М., 1916, с. 89—90).

[3] Блок процитировал строки из этого письма о предстоящем венчании в письме к матери от 29 июля 1912 г. («Письма к родным», II, с. 223). 8 сентября 1912 г. он записал в дневнике: «Сегодня, может быть, свадьба Сережи Соловьева в Дедове» (VII, 157).

61. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

Дедово, 17 июня 1913.

Милый Саша.

Я хотел в начале июня ехать к тебе в Шахматово, но приехал Боря и сказал, что ты в Шахматове не будешь [1]. Откладываю поездку до будущего лета. Надеюсь и тебя видеть в Дедове.

Твои шаги Командора очень меня поразили [2]. Ты давно не писал так сильно.

Твой Серг. Соловьев

Видовая открытка: Новый Иерусалим, общий вид. Адресована в Шахматово «Александре Андреевне Кублицкой с просьбой *переслать* Александру Александровичу Блоку». Помета Блока: «Мама переслала мне в Guéthary». Позже Блок сделал еще одну помету: «1913». 23 (10) июля 1913 г. Блок сообщал матери из Гетари (местечко на юге Франции): «Сегодня я получил твое письмо со вложением Сережиного» («Письма к родным», II, с. 243).

[1] Блок и Андрей Белый встречались в Петербурге в мае 1913 г., и Белый знал о скором отъезде Блока за границу. В июне 1913 г. Белый приезжал в Дедово к Соловьеву.

[2] Стихотворение Блока «Шаги Командора» («Тяжкий, плотный занавес у входа. . .») (III, 80—81) было опубликовано в журнале «Русская мысль» (1912, № 11).

62. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

28 мая 1915. Дедово.

Милый Саша,

пишу тебе на мусагетской бумаге, ибо другой сейчас нет. В Мусагете я уже давно не состою.

Напиши мне, пожалуйста, не можешь ли ты узнать адреса графа Розвадовского [1]. Мне бы очень хотелось возобновить с ним сношения.

Любу я искал во Львове в начале февраля [2]. Но я ничего не знал, кроме ее имени, отчества и фамилии, а потому понятно, что поиски мои не увенчались успехом, хотя мне усердно помогал один офицер, очевидно понимавший мое желание найти сестру милосердия в несколько легкомысленном и ложном освещении. В конце июля я буду опять во Львове, если не будет австрийцев и если Люба там, пожалуйста, напиши мне ее точный адрес.

Извести меня также о том, что дядя Франц. Я часто о нем думаю с беспокойством и любовью. Поцелуй от меня тетю Алю и тетю Маню.

Адрес мой пока Дедовский.

Твой Сергей Соловьев

На почтовой бумаге издательства «Мусагет». Помета Блока: «Получ‹ил› и отв‹етил› 5 июня. Мама переслала из Шахм‹атова›». В конце мая Блок находился в Петрограде. Ответное письмо Блока, видимо, не сохранилось.

[1] Вероятно, Блок не мог выполнить эту просьбу: связи с Розвадовским были им к тому времени уже давно утрачены. В «Воспоминаниях о Блоке» Белый свидетельствует, что в последнем его разговоре с Блоком весной 1921 г. был упомянут Розвадовский: «А. А. повернулся ко мне и сказал, что в Галиции (кажется) упоминается имя епископа; и что это есть граф Розвадовский: «Ты знаешь, ведь это наверно *тот* Розвадовский», сказал, улыбаясь мне, Блок; и в улыбке мелькнуло: воспоминание о далеких годах, когда юные шафера Л. Д. Блок ждали новой зари; один видел «мистерию» в свадьбе; другой непосредственно после обряда пошел за «Звездой», увенчавшей епископской шапкой его» («Эпопея», № 1, с. 177).

[2] Вскоре после начала войны Л. Д. Блок поступила в сестры милосердия, 3 сентября она отправилась с 5-м Кауфмановским госпиталем в Галицию. С конца декабря 1914 г. Л. Д. Блок находилась во Львове (см.: ЛН, т. 89, с. 345). О поездке С. Соловьева в Галицию в начале 1915 г. см. его очерк «Впечатления Галиции» (1915, апрель) (Сергей Соловьев. Богословские и критические очерки, с. 239—286).

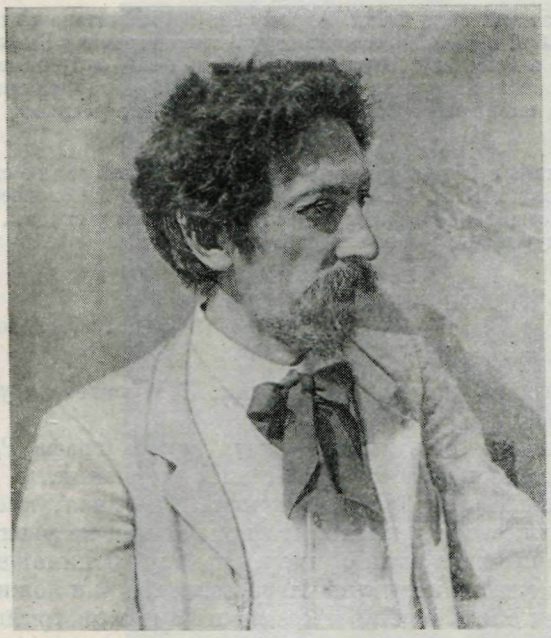
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕПИСКА БЛОКА С М. С. СОЛОВЬЕВЫМ

1. М. С. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

‹Москва. 15 октября 1901 г.›

Я очень рад, милый Саша, что вы перешли на филологический факультет, т. е. что вы сели в свою тарелку [1]. Своя тарелка — это, разумеется, самое главное, я ценю это особенно потому, что редко бываю в своей. Получили ли вы ответ от Скорпиона? [2] Я познакомился еще с одним Скорпионом, кроме Брюсова, оказалось — бывший мой ученик, которого я очень любил [3]. Произведение Б. Бугаева оказалось для «Северн‹ых› цветов» неудобным по большому объему, но, может быть, Скорпионы издадут его отдельно,



М. С. СОЛОВЬЕВ
Фотография, 1902 г.
Литературный музей, Москва

а если не издадут, то мне самому придется издавать [4]. Представьте себе, что произошло: отвозя рукопись Брюсову, я совершенно забыл зачеркнуть в ней то место, где говорится о Валерии Брюсове под именем Бромелия Флюсова! [5]

Сережа расстроился нервами и уехал отдохнуть в деревню к знакомым; знакомых этих (Венкстернов) в деревне сейчас нет, а есть там всего одна ключница и библиотека. Вчера получили от него восторженное письмо по поводу природы и тишины [6].

Целую вас и ваших, жена намерена на днях написать вашей маме [7].

Мих. Соловьев

15 окт‹ября› 1901 г.

Скажите Гиппиусу, что диссертации моего отца в скором времени напечатаны *не* будут [8].

[1] Соловьевы узнали об оставлении Блоком юридического факультета, вероятно, из неизвестного письма матери поэта к О. М. Соловьевой, но, может быть, и из утраченного письма Блока. Блок подробно обосновал свое решение перейти на филологический факультет с юридического в письме к отцу от 22 октября 1901 г.; он писал, в частности: «Теперь ‹. . .› я окончательно решился на этот серьезный и крайне для меня важный шаг и уже подал прошение ректору о нереводе ‹. . .› Сознание необходимости моих занятий до сих пор у меня отсутствовало, и никаких целей (практических) я даже не имел возможности провидеть впереди, потому что был ужасно отчужден от того, что, собственно, должно быть в полной гармонии с моими душевными наклонностями» (VIII, 25).

[2] Речь идет о первой — неудачной — попытке напечатать стихотворения Блока в «скорпионовском» альманахе «Северные цветы» — подробнее см. в разделе наст. тома «Блок в неизданной переписке и дневниках современников».

[3] М. С. Соловьев говорит, вероятно, о М. Н. Семенове или А. С. Полякове; кроме них и Брюсова, основателями издательства «Скорпион» были также К. Д. Бальмонт и Ю. К. Балтрушайтис.

[4] Первая книга Андрея Белого (Б. Н. Бугаева) — «Симфония (2-я, драматическая)» — выпущена в свет «Скорпионом» в 1902 г.

[5] В печатном тексте «Симфонии» этого эпизода нет.

[6] Письма С. М. Соловьева к отцу нам неизвестны. — О поездках С. М. Соловьева к Венкстернам см. в его письмах к Блоку (№№ 4, 33). А. А. Венкстерн был «цензором» «Симфонии» Белого. См.: Андрей Белый. На рубеже двух столетий, с. 382—383.

[7] Письма О. М. Соловьевой к А. А. Кублицкой-Пиоттух см. в разделе наст. тома «Блок в неизданной переписке и дневниках современников».

[8] Речь идет о магистерской («Об отношении Новгорода к великим князьям», 1845) и докторской («История отношений между русскими князьями Рюрикова дома», 1847) диссертациях историка С. М. Соловьева, которыми интересовался, видимо, А. В. Гиппиус в связи со своими университетскими занятиями — см. в наст. томе публикацию переписки Блока с А. В. Гиппиусом.

2. М. С. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

‹Москва. 20 февраля 1902 г.›

Милый Саша, если вы думаете, что должны благодарить за каждый том Вл. Соловьева, то вы ошибаетесь и с течением времени сами убедитесь в этой ошибке, потому что я не намерен ограничиться только еще пятью томами Соловьева, но намерен посылать вам почти всякий блин, какой испеку в типографии [1]. Но мы все очень остались довольны вашею ошибкой, и по причине письма, а главное по причине стихов. Всех они расшевелили, это не подлежит сомнению. Б. Бугаев в восторге; положим, что он легко воспламеняется, но не без всякой же причины, а понимать он очень понимает. На него и на меня подействовало больше первое стихотворение, которое покоряет, а на жену и на Сережу второе [2]. Вообще же о всех ваших последних стихах я всегда спрашиваю себя: хорошо это или дурно? — и отвечаю: кажется, скорее, хорошо. Происходит ли такое колебание оттого, что я перестаю понимать, или оттого, что в самом деле вопрос еще не решен, не знаю. Тем более хочется мне, чтобы вы писали побольше. Условимтесь так: за каждую книжку, какую я вам пришлю, присылайте мне пару стихов, отнюдь не меньше, а если можно, то и больше.

То, что вы пишете о Добролюбове, очень нехорошо, бог с ним! [3] А ваше зло, я думаю, легко и проходимо. У нас все благополучно, только весь дом был болен, а я болел с месяц, теперь поправляемся. Все это к лучшему. Целую ваших. Будьте здоровы и крепки.

Ваш М. Соловьев

20 февр‹аля› 1902 г.

Ответ на неизвестное письмо Блока, благодарившего за присланный ему очередной том собрания сочинений Вл. Соловьева, выходившего под редакцией М. С. Соловьева. К письму Блока прилагались стихотворения, о чем подробнее см. в наст. томе в статье Н. В. Котрелева: «Неизвестные автографы Блока».

[1] Кроме собрания сочинений брата, М. С. Соловьев продолжал также начатое совместно с покойным издание сочинений Платона в русском переводе (см. ниже, п. 4).

[2] Ср. письмо к Блоку С. М. Соловьева от 14 февраля 1902 г.

[3] Блок, пролагая свой собственный путь — путь «соловьевца», — в это время резко отталкивался от «нового христианства» Мережковских, с одной стороны, с другой — от декадентства, одним из наиболее ярких представителей которого был А. М. Добролюбов. Духовный опыт декадентов был для Блока ориентиром и предупреждением на собственном пути, он писал А. В. Гиппиусу 23 июля 1902 г.: «Неужели плеяда гибнущих застрельщиков (‹. . .› Добролюбов, Ореус ‹. . .›) не говорит о границе, до которой мы дошли» (VIII, 37). «Противоположное, — заносил поэт в записную книжку, размышляя о декадентстве Добролюбова и др., — соловьевский лагерь» (ЗК, 43). Подробнее об отношении Блока к Добролюбову в 1902 г. см. ЛН, т. 89, с. 86—87 (но см. также ЗК, 23, 27). Можно предположить, что Блок сообщал М. С. Соловьеву о тех событиях, о которых В. Я. Брюсов писал в дневнике (запись относится как раз к февралю 1902 г.): «Был у Добролюбовых. А. М. Добролюбов обвиняется в оскорблении святыни и величества. Дома тоже перебил иконы. . . Ему грозит каторга. Отец Гиппиуса (Вас‹илия›) хлопочет, чтобы его послали на поселение. Мать, негодуя, хочет спасти его сумасшедшим домом» (В. Брюсов. Дневники. 1891—1910. М., 1927, с. 116).

3. БЛОК — М. С. СОЛОВЬЕВУ

‹Петербург. 5 ноября 1902 г.›

Милый дядя Миша.

Спасибо Вам большое за четвертый том [1]. Я хочу к Вам обратиться со специальной просьбой. Помните ли Вы, что, когда я был у Вас в Дедове в последний раз, Вы предложили нам с Сережей собрать юмористические стихи

Владимира Соловьева [2]. Теперь, когда моя любовь к нему возросла еще больше, я хочу сделать это здесь в Петербурге, насколько возможно цельно, может быть, даже и в долгий промежуток времени, но с полной верой и с глубокой религиозной серьезностью. Так вот, напишите мне, прошу Вас, прежде всего, считаете ли Вы это своевременным и уместным, потом, не занят ли уже этим делом кто-нибудь здесь в Петербурге. Мне, кажется, что теперь мне это будет возможнее, чем прежде, потому что мои литературные знакомства очень быстро увеличиваются. Хорошо бы было, если бы Сережа (а может быть, и Б. Н. Бугаев) занялись этим параллельно в Москве [3]. Не найдете ли Вы нужным также дать мне для этого какой-нибудь «патент» или «удостоверение», или тут ничего такого не может понадобиться? Я имею в виду, например, Саломона [4], Величко [5], Ник. Энгельгардта [6], Оболенского [7], Лукьянова и его семью [8], и вообще таких, более или менее «важных» людей, которые меня в глаза не видели. Может быть, Вы можете написать мне приблизительно список тех лиц (я думаю, довольно пространный?), к которым я могу с этим обратиться. Я бы хотел не пренебрегать также и серьезными стихами, и вообще разыскать все, что возможно в отношении к стихам. Что Вы обо всем этом думаете? Если Вам нет времени теперь писать, поручите Сереже. Этим делом я бы лично себе принес духовное очарование и, может быть, одоление той, которая тревожит меня больше чем когда-нибудь, вознеслась горделиво и кощунственно. Перед ее лицом я еще дрогну и зябну, потому что не знаю ее, а Другая посещает редко и мимолетно. Говорить об этом, впрочем, трудно, а писать еще труднее [9]. Всех вас я еще больше люблю и чту. По уговору посылаю Вам пять стихотворений [10].

Ваш любящий Ал. Блок

5 ноября 1902. С‹анкт›П‹етер›б‹ург›.

[1] См. п. 2.

[2] Предложение (как видно из следующего письма, совсем неопределенное) было сделано, когда Блок гостил в Дедове в августе 1901 г. и вполне пропитался «соловьевством» — см. письмо С. М. Соловьева к Андрею Белому от 11 августа 1902 г., публикуемое в разделе наст. тома «Блок в неизданной переписке и дневниках современников». Редактируя сочинения брата, М. С. Соловьев знакомил «соловьевскую» молодежь и с его неизданными сочинениями: «М. С. редактирует книги его, приобщая нас к черновикам, выволакивая из потертых портфелей пуки пожелтевшей бумаги, исписанной крупным, кривым, броским почерком» (Андрей Белый. Начало века, с. 119). Ср. письмо к Блоку от 16 августа 1901 г.

[3] Этот замысел был оставлен — ср. следующее письмо.

[4] Далее Блок называет ряд близких друзей Вл. С. Соловьева. Андрей Петрович *Саломон* (1853—1908) — медик, директор Александровского лицея; сотрудник журнала «Вестник Европы».

[5] Василий Львович *Величко* (1860—1903) — литератор, автор первой книги о Соловьеве («Владимир Соловьев. Жизнь и творения», СПб., 1902), о которой крайне пренебрежительно отозвался Блок (V, 647, ср. VIII, 128).

[6] Николай Александрович *Энгельгардт* (1866—1942) — писатель, историк литературы, критик, много писавший о Вл. Соловьеве.

[7] Алексей Дмитриевич *Оболенский* (р. 1857), князь — государственный деятель.

[8] Сергей Михайлович *Лукьянов* (1855—1935) — медик, крупнейший биограф Вл. Соловьева.

[9] Блок говорит о противоборстве двух начал — возвышенно-чистого, «Девы Радужных Ворот», и чувственно-низкого, «Астарты»; эта тема неоднократно возникает в его переписке и с С. М. Соловьевым, Андреем Белым и т. д.

[10] См. в наст. томе статью Н. В. Котрелева «Неизвестные автографы Блока».

4. М. С. СОЛОВЬЕВ — БЛОКУ

‹Москва,› 21 дек‹абря› 1902 г.

Милый Саша, простите ради бога, что не ответил на ваше письмо [1]. Дело в том, что я не собирался сначала отвечать на него письменно, а совсем наоборот собирался увидаться с Вами в Петербурге, но сначала задержало окончание II-го тома Платона [2], а потом пришла простуда, а теперь, наконец, пришли праздники [3], и вот приходится отложить поездку до половины сле-

дующего месяца [4], потому что на праздниках никаких дел делать не приходится.

Вчера я наконец увидался с Брюсовым и спросил его, будут ли напечатаны в «Сев‹ерных› цв‹етах›» Ваши стихи, на что он ответил: «О, да! и как можно больше!» Больше поговорить об этом было неудобно, но во всяком случае первый существенный пункт выяснен, а второй существенный пункт будет выяснен в скором времени: как только он к нам приедет, я спрошу его, сколько он платит сотрудникам «Сев‹ерных› цв‹етов›» и немедленно сообщу Вам об этом пункте [5].

Относительно шуточных стихов брата я должен Вам сказать, что издавать их представляется мне *пока* невозможным. Лучшие из них или политически или нравственно нецензурны, и мне не думается, чтобы набралось достаточное количество хороших и в то же время цензурных, но окончательно это можно будет решить только тогда, когда они будут собраны. Ни Сережа, ни тем паче Бугаев на это неспособны (собирать) и придется этим заняться, по всей вероятности, мне, потому что и в Вас я сомневаюсь. Но, может быть, Вы мне в этом поможете? Только я сейчас и думать об этом, как следует, не в состоянии, столько у меня разных подобных дум. Сначала нужно издать «Собрание сочинений» и выпустить III том Платона, на что уйдет ровно еще год, а тогда *письма* и шуточные стихи, если будет можно. При свидании поговорим об этом подробнее [6].

То, что Вы мне кратко написали, я понял. Это ничего. Это неизбежно. Собиранием шуточных стихотворений тут не поможешь, нужно, чтобы это чаще выходило в ваших собственных стихах. Другого главного средства для обезврежения *этого* я пока не вижу, а это средство верное. И чем больше Вам будет удаваться выражать в стихах нехорошее, тем скорее придет хорошее. Не *слишком* бойтесь нехорошего. Что Вы читаете? Читали ли Метерлинка Le trésor des humbles *, *сокращенный* дневник Иоанна Кронштадского, Кнута Гамсуна «Пан» и «Драма жизни»? Если не читали, — попробуйте, все это подобно бромист‹ому› кал‹ию› или лавровишн‹евым› каплям и должно быть принимаемо на ночь.

Спасибо Вам за ваше письмо. Целую Вас и люблю.

Ваш М. Соловьев

Ответ на письмо 3.

[1] Ср. в письме О. М. Соловьевой к А. А. Кублицкой-Пиоттух от 5 декабря ‹1902 г.›: «Миша скорбит, что не написал Саше до сих пор, он кончал второй том Платона. Теперь кончил и напишет очень скоро и с большим удовольствием, а я тоже с большим удовольствием прочту, что он напишет» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 455, л. 90).

[2] Первый том «Творений Платона» вышел в издательстве К. Т. Солдатенкова в 1899 г.; единственным переводчиком его значился Вл. Соловьев, однако в работе над томом принимал участие и Михаил Сергеевич (ср. переписку О. М. Соловьевой с А. А. Кублицкой-Пиоттух в разделе наст. тома «Блок в неизданной переписке и дневниках современников»). М. С. Соловьев подготовил второй том, привлекши к работе С. Н. Трубецкого, но вышел он в свет после смерти младшего из братьев Соловьевых, в 1903 г. Третий том, о котором говорится в письме ниже, не был подготовлен.

[3] Рождество, 25 декабря по старому стилю.

[4] Поездка не состоялась, 16 января 1903 г. М. С. Соловьев умер.

[5] О переговорах Соловьевых с Брюсовым относительно участия Блока в «Северных цветах» см. материалы в разделе наст. тома «Блок в неизданной переписке и дневниках современников».

[6] Шуточные стихотворения Вл. Соловьева (как некоторые темы его писем и черты бытового поведения) явно противоречили иконописному облику аскета, философа-мистика, который сложился в литературном предании сразу после его смерти; это по сути искаженное представление о философе обязано своим рождением его родственникам, близким друзьям и поклонникам; но и они, в конечном счете, были связаны литературным этикетом, не позволявшим предавать гласности произведения, в свое время предназначавшиеся для чтения в дружеском кружке, где подобные вольности были традиционными. Игровые стихи Соловьева были собраны лишь С. М. Соловьевым в 1921 г. в приложении к седьмому

* «Сокровище смиренных» (*франц.*).

изданию его «Стихотворений»; но и это издание было далеко не полным: многие «вольные» стихотворения неизданы по сю пору. Подробнее см. в текстологической справке З. Г. Минц в кн.: Владимир Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы, с. 289—290.

5. БЛОК — М. С. СОЛОВЬЁВУ

С<анкт>П<етер>б<ург>. 1902. 23 декабря.

Милый дядя Миша.

Сейчас получил ваше милое, ласковое, во всех отношениях целебное письмо, а вчера — пятый том Владимира Соловьева. За все это не знаю как Вас благодарить. Мы уже испугались одно время, что никто из вас не писал после последнего письма тети Оли о нездоровьи Сережи [1]. Из вашего письма и посылки заключили, что у вас пока все благополучно. Хорошо и приятно, что Вас можно еще ждать в январе. Ваше известие о Брюсове, которого я в Петербурге не видел [2], обрадовало нас с мамой очень сильно. Еще раз благодарю Вас за все это. Мне лично тут еще, кроме всего другого, особенно важно, что мои стихи будут помещены в *Московском* сборнике — оттого, что ваша Москва чистая, белая, древняя, и я это чувствую с каждым новым «петербургским» вывертом Мережковских и после каждого номера холодного и рыхлого «Мира искусства». Наконец, последний его номер ясно и цинично обнаружил, как церемонно расшаркиваются наши Дягилевы, Бенуа и проч., и как с другой стороны, с вашей, действительно страшно до содрогания «цветет сердце» Андрея Белого [3]. Странно, что я никогда не встретился и не обмолвился ни одним словом с этим до такой степени близким и милым мне человеком. По Москве бродил этой осенью, и никогда не забуду Новодевичьего монастыря вечером [4]. Ко всему еще за прудами вились галки и был «гул железного пути» [5], а на могиле — неугасимая лампада и лилии [6], и проходили черные монахини. Все было так хорошо, что нельзя и незачем было писать стихи, которые я тщетно пытался написать тут же.

Когда я послал Вам мое предыдущее письмо, сейчас же сообразил, что написал много ненужных вопросов о собирании шуточных стихов Владимира Соловьева. Но Вы мне даже и на них ответили. Если Вам будет нужна впоследствии помощь, пожалуйста, знайте, что для меня это величайшая честь и огромное удовольствие, как в отношении помощи Вам, так и в отношении собирания самых стихов. М<ada>me Мережковская однажды выразилась, что Соловьев устарел и «нам» надо уже идти дальше. Чем больше она говорит таких (а также и многих других!) вещей, тем больше я на нее злюсь, и иногда даже уж до такой степени злюсь, что чувствую избыток злобы и начинаю напоминать себе о ее несомненных талантах. Она ужасна и, по-видимому, могущественна в своем кругу, а я не могу постичь, чем, собственно, она берет. Ведь она, наконец, даже и не изящна и шмыгает носом, когда у нее насморк, и очень не выдерживает своего стиля. Я слышал, что в прошлом году вместо религиозного общества Мережковские думали (действительно!) устроить настоящий «козлак» [7]. И все сведения и сплетни от них и о них в таком роде! В довершение всего на сцену выступает г-н Добролюбов, который «выздоровел»! [8] Наше место свято.

Ни одной из четырех книг, о которых Вы мне написали, я не прочитал, но прочту. Гамсуна давно уже имел в виду, читал рецензию Льдова [9], слушал похвалы и невиннейшую брань. Читаю Владимира Соловьева, древнюю философию, Аристофана, историю реформации, Тютчева, Фета и мн. др., все это зараз, часто урывками, бегаю, как угорелый, по городу, часто радуюсь, никогда не скучаю, имею бесчисленные планы, половины которых уж верно не выполню. Стихов пишу мало, потому Вам теперь не посылаю. Спасибо Вам, крепко обнимаю Вас, целую и хочу видеть.

Ваш Ал. Блок

Ответ на письмо 4.

[1] Речь идет о письме О. М. Соловьевой к А. А. Кублицкой-Пиоттух от 11 декабря 1902 г. (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 455, л. 92—93).

[2] В. Я. Брюсов в ноябре—декабре 1902 г. был в Петербурге, и Соловьевы предполагали, что Блок неизбежно встретится с ним; подробнее см. в письмах О. М. Соловьевой к А. А. Кублицкой-Пиоттух, печатаемых в разделе наст. тома «Блок в неизданной переписке и дневниках современников».

[3] Блок имеет в виду № 11 «Мира искусства», где была напечатана статья Андрея Белого «Певица». Слова «цветет сердце» взяты Блоком из стихотворения Вл. Соловьева «Белые колокольчики» (Владимир Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы, с. 135).

[4] См. блоковские заметки о посещении 22—23 августа 1902 г. «московских святынь» (VIII, 41), в том числе Новодевичьего монастыря — ЗК, 36—40.

[5] Из стихотворения Вл. Соловьева «Там, где семьей столпились ивы. . .» (Владимир Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы, с. 90).

[6] Блок говорит о могиле Вл. Соловьева; ср.: «Деревянный крест: *В. С. Соловьев.* Лилии, искусственные розы. . . *Скончался 31 июля 1900 г.* Пальмы. Неугасимая лампада. Вечерняя Заря. Гул железного пути» (ЗК, 38).

[7] Т. е. «козловак» — см. выше, п. 28, прим. 34. Ср. тождественные по смыслу слова Блока о Мережковских в его письме к невесте от ‹18 декабря 1902 г.› — ЛН, т. 89, с. 86.

[8] Ср. дневниковую запись Брюсова от декабря 1902 г.: «Ездили к Добролюбову. Он в сумасшедшем доме. Но уже и доктора согласны, что он здоров» (В. Брюсов. Дневники. 1891—1910, с. 126). В названном в прим. 7 письме Блока к невесте говорится: «Знаменательно теперь новое появление г-на Добролюбова на литерат‹урно›-мистических горизонтах. О, как они все провалятся!»

[9] Блок имеет в виду, возможно, статью К. Льдова «Пан», роман Кнута Гамсуна». — «Северный вестник», 1896, № 5.

ПЕРЕПИСКА БЛОКА С А. В. ГИППИУСОМ (1900—1915)

Предисловие, публикация и комментарии
В. В. Бузник, Л. К. Долгополова, В. А. Шошина

Александр Васильевич *Гиппиус* (1878—1942) — ближайший друг Блока в университетские годы. Оба они, когда познакомились, были студентами юридического факультета Петербургского университета, но учились на разных курсах. В 1900 г. Блок с удовлетворением сообщал в одном из писем к С. А. Кублицкой-Пиоттух, что находится «в общении с Гиппиусом, который умен и часто интересен, вообще вполне противоположен Коке Гуну и пр., «их же имена ты веси, господи» («Письма к родным», I, с. 58).

Знакомство с Гиппиусом Блок сохранял на протяжении всей жизни, но характер отношений и интересов, связывавших друзей, с годами менялся.

На первых порах Блок и Гиппиус часто бывали друг у друга, встречались у общих знакомых, вместе участвовали в любительских спектаклях, постоянно переписывались. Дружба эта питалась общей склонностью к философски-мистическому осмыслению жизни, сходными литературными вкусами (Гиппиус писал стихи, близкие по настроению ранней поэзии Блока), а также совместным горячим увлечением театром.

Переписка 1900—1901 гг. позволяет судить об умонастроениях и чувствах Блока в тот период, когда он переживал увлечение Л. Д. Менделеевой, послужившее основой «Стихов о Прекрасной Даме», когда он познакомился с философией и поэзией своего «властелина» (по словам Блока) — Вл. Соловьева, когда он окончательно творчески самоопределился, оставив мечту об актерской деятельности ради поэзии.

Целый ряд писем, касающихся, казалось бы, чисто студенческих забот, приоткрывает картину эволюции гражданского чувства молодого поэта, который постепенно переходил от полной политической индифферентности к определенной озабоченности смыслом совершающихся на его глазах событий университетской общественной жизни.

Позже (в 1902—1903 гг.), когда Блок вошел в кружок Мережковского, а затем примкнул к восторженно принявшим его московским соловьевцам и увлекся поэзией Брюсова, в переписке с Гиппиусом начинают преобладать литературные интересы.

Вытеснение из писем мотивов узколичного характера продолжается и в дальнейшем. Почти все письма Блока после 1905 г. посвящены вопросам, так или иначе связанным с творческой деятельностью и планами на будущее. Характер писем меняется. От былой интимности не остается и следа. Редко переступает Блок эту границу и, переступив, тут же замолкает. «Когда так далеко, — говорит он, — не веришь, что письмо дойдет. Да и о чем писать — все другое и все такое тревожное, что не написать» (VIII, 141).

Ценность этой группы писем и в раскрытии внутреннего мира, и в тех фактах и сведениях, которые подробно и с охотой сообщает Блок о своей, так сказать, «внешней» жизни. Чрезвычайно интересна, например, его оценка сатирического журнала «Жупел», впервые мы узнаем от самого Блока о запрещении цензурой «Короля на площади» и т. д. Иногда Блок вскользь касается вопросов, занимающих большое место в письмах к другим адресатам. Сюда следует отнести, например, упоминания об отношении к лирике, о «неуютности» жизни и др. В целом публикуемая переписка позволяет внести уточнения в датировку ряда стихотворений Блока и в сведения об их первой публикации.

С отъездом Гиппиуса в провинцию стала несколько убывать потребность постоянного общения, которая характеризовала его отношения с Блоком до 1904 г. Переписка начинает замирать, а затем совсем прекращается.

Письма Блока публикуются по автографам, хранящимся в Рукописном отделе ИРЛИ (Р. I, оп. 3, № 73—76), а включенные в публикацию письма А. В. Гиппиуса к Блоку — по автографам, хранящимся в фонде Блока в ЦГАЛИ.

17 писем Блока (от 2 и 25 июня, 28 июля, 13 и 23 августа 1901 г., 23 июня, 23 июля, 28 августа и 28 декабря 1902 г., 30 апреля и 12/25 июня 1903 г., 23 февраля 1904 г.,

4 февраля и 9 ноября 1905 г., 7 мая 1906 г., 20 января 1907 г. и 13 июня 1911 г.), не включенные в настоящую публикацию, были опубликованы ранее (VIII, 16—24, 31—33, 35—37, 43—44, 50, 56, 61—63, 89—93, 118—119, 141, 153—154, 176—177 и 348—349).

В примечаниях частично использован комментарий самого Гиппиуса к письмам Блока (рукопись хранится в редакции «Литературного наследства»).

Письма Блока отправлены по следующим адресам: С.-Петербург, Фонтанка, 116, кв. 54. Его высокородию Александру Васильевичу Гиппиусу (закрытые письма I, 18—20, 22, 24, 26—27, 29, 30—32, 34, 40—42, 44—49 и открытые письма 33, 35—36, 38—39, 43). На конвертах писем 10, 13, 15—16, 17 указан тот же адрес, но с измененным номером квартиры: 64 вместо 54.

Ст. Маньчжурия Забайкальской ж/д., Переселенческий пункт (два закрытых письма — 51—52).

С.-Петербург, В. О., Средний проспект, 46, комната 17 (два открытых письма — 54 и 56).

С.-Петербург, В. О., 5 линия, д. 40, кв. 1. Меблированные комнаты Ивановой, комната № 6 (открытое письмо 61 и закрытое письмо 59).

С.-Петербург, В. О., 4 линия, 11, кв. 3 (письмо 57—58, 60).

С.-Петербург, Петроградская сторона, Малая Монетная, 1-в, кв. 3 (письма 62—63, 65—66).

1. БЛОК — ГИППИУСУ

‹2 ноября 1900 г.›

Многоуважаемый Александр Васильевич!

Если Вы даже хотели, то не приходите завтра ко мне; завтра мне предстоит выбирать или «родственный визит» к Варшавскому вокзалу [1], или Мочаловский вечер в Музыкально-драматическом кружке [2], куда меня приглашали очень любезно вчера. Конечно, мне улыбается только последнее. «Лес» я достану, вероятно, завтра же, а считаться мы, конечно, успеем [3]. В субботу увидимся на лекциях Петражицкого [4].

Ваш А. Блок

2/XI 1900.

[1] В районе Варшавского вокзала жили родные отца Блока, у которых он изредка бывал по поручению отца, «с родственными визитами».

[2] 3 ноября 1900 г. исполнялось 100 лет со дня рождения выдающегося актера-трагика П. С. Мочалова. Этот юбилей широко отмечался в театральном мире, а также актерами-любителями. Блок пишет, видимо, об одном из таких юбилейных вечеров в музыкально-литературном кружке при Русском женском взаимноблаготворительном обществе. «Очень любезно» на этот вечер Блока могла пригласить участница кружка и знакомая Блока — Евгения Иустиновна Лучинская. В переписке Блока с А. В. Гиппиусом за 1900—1901 гг. встречаются упоминания о Е. И. Лучинской.

В доме Лучинских нередко устраивались журфиксы с любительскими спектаклями. 23 ноября 1900 г. Блок сообщал С. А. Кублицкой-Пиоттух, что ушел с традиционного семейного празднования дня рождения бабушки, так как спешил «попасть в Зал Павловой для того, чтобы аплодировать новой знакомой барышне, соучастнице наших литературных вечеров по фамилии Лучинской. . .» («Письма к родным», I, с. 57).

В «Зале Павловой» (Троицкая ул., 13) давал свои спектакли также С.-Петербургский драматический кружок, в который Блок вступил в 1900 г.

Первое время Блок с большим энтузиазмом относился к занятиям в кружке. По поводу роли первого любовника, которую ему предстояло играть в пьесе В. Сарду «Светящийся жучок» («Pattes de mouche»), он сообщал отцу: «. . .считки, репетиции, а главное мысль об исполнении такой ответственной роли берут у меня, конечно, время» (VIII, 10). Этой роли Блок не играл и за все время пребывания в кружке выступил несколько раз в самых незначительных ролях. С самого начала Блока не удовлетворял состав кружка, в котором профессиональных актеров почти не было, во главе стоял присяжный поверенный С. И. Троицкий, а главным премьером был известный агент Департамента полиции Ратаев. Последний факт, в частности, Блоку «сурово поставил однажды на вид» «либеральный однокурсник» поэта по университету (VII, 340).

Репертуар любителей, за редким исключением, состоял из второразрядных пьес и водевилей. В 1901 г., например, ставились следующие пьесы: «Чародейка» И. Шпажинского, комедия Г. А. Берникова (Ратаева) «Муж госпожи Шамбурской» и др.

Атмосфера кружка отдавала закулисными интригами. Блоку не довелось здесь сыграть ни одной значительной роли. «Опытный jeune premier не первой молодости, — вспоминает

М. А. Бекетова, — явно не давал ему ходу» (М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк. 2-е изд., Л., 1930, с. 69). Названная выше роль первого любовника в переводной пьесе была заменена другой, незначительной.

Один из старых членов кружка поставил Блока в известность относительно подобных «интриг», тот вскоре «вышел из кружка, и актерская карьера перестала казаться ему столь заманчивой, а понемногу он и совсем отошел от этой мысли» (там же). Это случилось позже 1900 г., так как на протяжении 1900—1901 гг. Блок постоянно упоминает в письмах к А. В. Гиппиусу о предстоящих считках, репетициях, любительских спектаклях и литературно-музыкальных вечерах.

[3] Сцену из пьесы «Лес» А. Н. Островского (встреча Несчастливцева с Счастливцевым) Блок и Гиппиус подготавливали для вечера у Лучинских. Блок читал роль Несчастливцева.

[4] Лев Иосифович *Петражицкий* (1867—1931) — профессор Петербургского университета, автор работ: «Введение в политику права» (СПб., 1896—1897), «Очерки философии права» (СПб., 1900).

Характеризуя профессуру юридического факультета, В. Н. Княжнин писал, что последняя «была бессильна» пробудить у молодежи «спящие научные интересы», что Л. И. Петражицкий, крайне монотонно читавший свои лекции, вызывал у студентов сильное «искушение заснуть» (В. Н. Княжнин. А. А. Блок. Пб., «Колос», 1922, с. 37).

Блок вначале был весьма недоволен лекциями Петражицкого. 18 октября 1898 г. он писал отцу: «Единственный дурно читающий профессор — Петражицкий, который отвратительно говорит по-русски и сыпет иностранными терминами, не объясняя их, хотя следовало бы ему все-таки помнить, что мы — гимназисты 8-го класса и еще не привыкли к научному языку» (VIII, 7).

Позднее отношение Блока к Петражицкому изменилось, 26 сентября 1900 г. он сообщал отцу, что привык уже к лекциям Петражицкого, который «начинает серьезно интересовать меня как философ» («Письма к родным», I, с. 56).

2. БЛОК — ГИППИУСУ

‹23 ноября 1900 г.›

Милый Александр Васильевич, приходите ко мне, пожалуйста, завтра в пятницу 24-ого и принесите мою коричневую тетрадь [1], если Вам не трудно.

Ваш А. Блок

23/XI 1900.

[1] По свидетельству А. В. Гиппиуса, это была тетрадь в коричневом переплете, куда Блок вписывал свои стихи и которую не надолго Гиппиус брал у Блока.

3. БЛОК — ГИППИУСУ

‹4 декабря 1900 г.›

Милый Александр Васильевич, завтра я не могу к Вам придти, потому что у нас будут Гущины [1]; если получите какое-нибудь извещение о нашей репетиции с Евгенией Иустиновной [2], напишите мне. Я, по рассеянности, забыл приписать Евг. Иуст. свой адрес, когда писал о «Маскараде» [3].

Любящий вас Ал. Блок

4/XII 1900.

[1] Борис Петрович и Олимпиада Николаевна *Гущины* — знакомые семьи Бекетовых. Б. П. Гущин — в то время — студент-технолог, впоследствии — библиотечный работник.

[2] О Евгении Иустиновне *Лучинской* см. п. 1, прим. 2.

[3] «Маскарад» — драма М. Ю. Лермонтова. В июле 1901 г. исполнялось 60 лет со дня смерти М. Ю. Лермонтова. Музыкально-литературный кружок, в котором участвовала Е. И. Лучинская, готовил вечер, посвященный памяти поэта (вечер состоялся 2 ноября 1901 г. — «Новое время», 1901, № 9218, 1 ноября).

4. БЛОК — ГИППИУСУ

‹21 декабря 1900 г.›

Милый Александр Васильевич, мне бы хотелось видеть Вас завтра (22-го), не придете ли Вы? Если Вам не трудно, пожалуйста, приходите, тем более,



БЛОК В ШАХМАТОВЕ
Справа от него: А. А. Кублицкая-Пиоттух, А. Н. Бекетов, Н. Н. Бекетов, Е. Г. Бекетова, М. А. Бекетова
Фотография, 1894 г.
Литературный музей, Москва

что у меня немного побаливает горло и я стараюсь сидеть дома. Слышали ли Вы что-нибудь о вечере 2 января? [1]

Любящий Вас Ал. Блок

21/XII 1900.

Речь идет, по-видимому, об одном из любительских спектаклей в доме Лучинских.

5. БЛОК — ГИППИУСУ

‹24 декабря 1900 г.›

Милый Александр Васильевич, заняты у меня следующие вечера: 25, 26, 28 (Вы будете у нас обедать). Что Вы скажете относительно 27-ого по отношению к Лучинским? [1] Хотите быть там вместе? Пожалуйста, напишите, если 27 не можете, можно и позже. Во всяком случае, мне кажется, надо мне там побывать, между прочим, и по поводу вечера 2 января [2].

Любящий Вас Ал. Блок

24/XII 1900.

[1] См. п. 1, прим. 2.
[2] См. п. 4, прим. 1.

6. БЛОК — ГИППИУСУ

‹Декабрь 1900 г.› [1]

Милый Ал‹ександр› Вас‹ильевич›,

ничего не знаю относительно Лучинских (в субботу). Вероятно, ничего не будет? Напишите мне, пожалуйста, что Вы об этом знаете?

Любящий Вас Ал. Блок

[1] Записка красным карандашом (без даты), которую Блок оставил на квартире Гиппиуса, не застав его дома. Датируется предположительно в связи с упоминанием вечера у Лучинских (см. п. 4, прим. 1).

7. БЛОК — ГИППИУСУ

‹11 января 1901 г.›

Милый Александр Васильевич, мы с вами так давно не виделись, что я ничего о Вас не знаю. Между тем у Лучинских [1] я слышал, что Вы больны, впрочем, этому там решительно не верят и даже просили меня передать Вам это. Провал пикника объясняется тем (между прочим), что Вы «завертелись». Напишите, пожалуйста, что с Вами? Я все не могу к Вам собраться, потому что сам ужасно забегался. Рождество для меня наступило после 1 января, когда я почти каждый вечер (а иногда и днем) стал делать всякие — родственные и неродственные — посещения. Все это и до сих пор продолжается. Во всяком случае напишите мне, пожалуйста, о себе, а также, когда я могу Вас застать, сообразуясь со следующей программой моих действий: 12-е января — «Кин» [2]. 13-е почти наверно занято, один из следующих дней — М. М. Читау (?) [3]. 17-е — концерт Сем‹ена› Викт‹оровича› Панченки [4], где я, вероятно, буду продавать афиши (не будете ли Вы там?). Кроме того, на днях, вероятно, мне придется быть на похоронах одной родственницы [5]. Согласитесь, — все это крайне разнообразно и не способствует нашему с вами свиданию. Недостает приглашения крестить «у вдовы, у докторши» [6]. Кстати — будете ли Вы участвовать в «Горе от ума» на журфиксе у Лучинских? [7] Если да, то нужно опять-таки считаться и прорепетировать. Вообще вопросов к Вам у меня много, напишите, пожалуйста, только в общих чертах, что с Вами и где и когда мы можем увидеться?

Любящий Вас Ал. Блок

11/I 1901.

См. п. 1, прим. 2.

[2] 12 января 1901 г. в Малом театре шла драма А. Дюма «Кин, или Гений и беспутство», главную роль исполнял В. П. Далматов.

[3] Мария Михайловна *Читау 2-я* (*Кармина*) — актриса Александринского театра, дававшая уроки сценического искусства.

[4] Семен Викторович *Панченко* (1867—1937) — композитор и музыкальный критик. Окончив Петербургскую консерваторию, давал уроки музыки. С 1894 г. был инициатором и руководителем народных общедоступных концертов в зале фон Дервиза (Васильевский остров. Средний проспект, 48). Панченко — автор церковных произведений, фортепьянных пьес, романсов, хоров, детских песен. Один из первых композиторов, написавших несколько детских песен и романсов на слова Блока.

С семьей Бекетовых он познакомился, когда Блоку было «лет 20 или немного больше» (М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать. Л., 1925, с. 140). По своему умонастроению и взглядам Панченко был склонен к религиозно-апокалиптическим и анархистско-мистическим веяниям начала XX в. По свидетельству М. А. Бекетовой, он оказал «несомненное влияние» на Блока и его мать (там же).

17 января 1901 г. состоялся первый из трех задуманных С. В. Панченко больших концертов, которые должны были ознакомить русскую публику с выдающимися произведениями западноевропейских композиторов. Программа первого концерта состояла из музыки немецких и скандинавских авторов. Были исполнены: симфония № 4 (романтическая) А. Брукнера, увертюра «Леонора» № 3 Бетховена, симфоническая поэма «Макбет» Р. Штрауса, концерт для скрипки a-moll К. Гольдмарка и другие произведения (о концертах С. В. Панченко см.: «Новое время», 1900, № 8900, 5 декабря; 1901, № 8943, 19 января).

В программу второго концерта, который состоялся 31 января 1901 г., входили 5-я симфония Бетховена, произведения Р. Вагнера, Сен-Санса («Новое время», 1901, № 8957, 2 февраля).

Предполагаемый третий концерт не состоялся.

[5] 9 января 1901 г. умерла Ольга Александровна фон Гардер (урожд. Блок, 1829—1901) — сестра деда Блока.

[6] Цитата из монолога Фамусова в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

[7] См. п. 1, прим. 2.

8. ГИППИУС — БЛОКУ

‹14 января 1901 г.›

Милый Александр Александрович!

Простите, что не сразу ответил Вам. До сегодняшнего дня не мог определенно располагать временем. Если будете так добры и зайдете ко мне в любой день на будущей неделе, начиная со вторника 16-го, буду очень Вам рад, так я по Вас соскучился. О том, как я «завертелся» [1] (если только «завертелся»), расскажу при свидании. Насчет «Горя от ума» [2] — ничего не знаю, не получил никакого известия. Не знаю даже, когда будет журфикс у Лучинских [3].

Простите, что пишу так, что скучно. Неизменно к Вам благосклонный и любящий Вас А. Гиппиус.

Янв. 14. 1901.

[1] Это выражение употребил Блок в письме от 11 января, на которое и отвечал Гиппиус.

[2] Из письма Блока видно, что сцены из «Горя от ума» предполагались к исполнению на журфиксе у Лучинских.

[3] См. п. 1, прим. 2.

9. БЛОК — ГИППИУСУ

‹24 января 1901 г.›

Милый Александр Васильевич, приходите, пожалуйста, ко мне завтра (четверг 25), мне очень хочется Вас видеть. Буду ждать Вас непременно до 9-ти часов вечера.

Любящий Вас Ал. Блок

24/I 1901.

10. БЛОК — ГИППИУСУ

‹7 февраля 1901 г.›

Милый Александр Васильевич! Сегодня нам не удалось видеться с Вами в Петровском училище [1], в чем, впрочем, буду оправдываться главн‹ым› обр‹азом› перед Евгенией Иустиновной [2]. Не придете ли Вы ко мне в пятницу 9-ого? Если да, — то доставите мне большое удовольствие. Такое приглашение основываю на Ваших же словах; Вы сказали, что придете ко мне в конце этой недели. Впрочем, не могу быть уверен в Вашем согласии, имея в виду, что и сегодня, и завтра Вы бодрствуете по ночам.

Любящий Вас Ал. Блок

7 февраля 1901 г. (ночь)

[1] Петровское училище «Петербургского купеческого общества» (Фонтанка, 62) предоставляло свой зал для спектаклей любительских кружков и разного рода вечеров. 7 февраля 1901 г. там устраивался благотворительный вечер с музыкально-литературным отделением. Как свидетельствует Гиппиус, он и Блок часто принимали участие в этих вечерах в качестве «распорядителей».

[2] См. п. 1, прим. 2. Е. И. Лучинская, видимо, была участницей вечера 7-го февраля, на котором не мог быть Блок.

11. БЛОК — ГИППИУСУ

‹26 февраля 1901 г.›

Милый Александр Васильевич, завтра, во вторник, я думаю держать экзамен полицейского права [1]. Если бы Вы пришли, то я был бы очень рад Вас видеть завтра вечером. Приходите, если Вам не трудно.

Любящий Вас Ал. Блок

26 февраля 1901 года.

[1] Экзамен полицейского права Блок сдавал профессору Петербургского университета Сергею Владимировичу *Ведрову* (1855—1909).

12. ГИППИУС — БЛОКУ

‹1 марта 1901 г.›

Милый Александр Александрович!

Простите, что не исполнил Вашей просьбы — не был у Вас во вторник: неожиданно я должен был быть в народном доме. Завтра мы можем увидеться — напишите, как. В субботу я тоже свободен. Во всяком случае напишите, как поживаете, как Ваш экзамен.

Любящий Вас А. Гиппиус

СПб. 1901 1/III

13. БЛОК — ГИППИУСУ

‹1 марта 1901 г.›

Милый Александр Васильевич.

Если бы Вы пришли ко мне завтра (в пятницу), я был бы Вам очень благодарен. Приглашаю Вас к себе, потому что Вы предоставили мне выбор. Что касается экзамена, то я получил только 4, в чем, впрочем, виноват не только я, но и Ведров [1], задавший мне вопрос, требующий политико-экономической опытности. Последняя же, как Вам известно, меня не коснулась. Очень Вас завтра жду.

Любящий Вас А. Блок

1/III 1901.

[1] См. п. 11, прим. 1.

14. БЛОК — ГИППИУСУ

‹30 марта 1901 г.›

Милый Александр Васильевич!

Может быть, Вы получите письмо слишком рано, но все равно: Христос воскрес! Всю эту неделю, несмотря на наше условие, я не мог к Вам собраться главным образом из-за отсутствия времени, а также и настроения, потому что передо мной раскрылась целая бездна государственного права [1], дно которой мне удалось увидеть только недавно.

. . . Рассеялся туман, и ясно видит око,
Как труден горный путь и как еще далеко,
Далеко все, что грезилося мне. . .[2]

Впрочем, эти стихи соответствуют случаю только отчасти, ибо государственное право — предмет не из «грезящихся».

Вероятно, и Вы находитесь под ближайшим впечатлением церковного права, а потому едва ли можете воспользоваться «Светом» предстоящей Пасхи, которая действительно представляется мне «Светлой».

Надеюсь увидеться с Вами в один из вечеров на первой неделе (если они у Вас не все заняты). Я, во всяком случае, буду почти все время (исключая первого дня) свободен. В заключение привожу еще одно, на этот раз цельное, стихотворение Соловьева (оно не пасхальное и не весеннее, но, по-моему, идет к тому и к другому):

Там, где семьей столпились ивы
И пробивается ручей
По дну оврага торопливо,
Запел последний соловей.

Что это? Радость обновленья,
Иль безнадежное прости?. .
А вдалеке неслось движенье
И гул железного пути.

И небо высилось ночное
С невозмутимостью святой
И над любовию земною
И над земною суетой . . .[3]

30 марта 1901 года.

Любящий Вас Ал. Блок

[1] Среди дисциплин, преподаваемых на юридическом факультете, Блока привлекало государственное право. «Наиболее интересует меня, — писал он отцу 20 августа 1899 г., — русское государственное право. Последнее придется проходить по курсу Коркунова, чего я несколько боюсь, так как слышал, что он трудно написан» («Письма к родным», I, с. 46). Ко времени учения Блока в университете Н. М. Коркунов там уже не преподавал, но его книга «Русское государственное право» (т. I—II. СПб., 1892—1893) рекомендовалась в качестве учебника. Лекции государственного права Блок слушал у приват-доцента Любомира Петровича Дымши (род. 1860), который «нравился» ему «до некоторой степени» (там же, с. 56).

[2] Цитата из стихотворения Вл. Соловьева «В тумане утреннем неверными шагами. . .» (см. Владимир Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., «Сов. писатель», 1974, с. 72).

[3] Там же, с. 90—91.

15. ГИППИУС — БЛОКУ

‹2 апреля 1901 г.›

Христос воскресе! Милый Александр Александрович! Простите, что не сразу ответил Вам на ваше письмо. Думал зайти. Если Вы не очень заняты — приходите ко мне в среду или четверг. Если Вам неудобно, напишите — постараюсь зайти к Вам эти вечера. Спасибо за стихотворение [1]. По-моему, тоже — подходит к весеннему настроению. Был бы еще более рад, если бы Вы мне прислали свое.

Я окончательно неспособен больше написать ни одной строчки.

Душа как-то мало потрясена, хотя чувствую какое-то необыкновенно радостное настроение.

Хвалебный гимн Творцу Миров.

Очень прошу Вас, милый Александр Александрович, передать мой искренний привет и поздравление Александре Андреевне и Францу Феликсовичу [2].

Искренно любящий Вас Александр Гиппиус

СПб. 2 апреля

[1] В письме от 30 марта Блок послал Гиппиусу стихотворение Вл. Соловьева «Там, где семьей столпились ивы. . .»

[2] Александра Андреевна (1860—1923) и Франц Феликсович (1860—1920) *Кублицкие-Пиоттух* — мать и отчим Александра Блока.

16. БЛОК — ГИППИУСУ

‹3 апреля 1901 г.›

Милый Александр Васильевич!

Приду к Вам в четверг вечером, если ничего не случится. Очень благодарю за письмо; на этот раз посылаю собственное стихотворение (на след‹ующем› листе). Крепко жму вашу руку.

Любящий Вас Ал. Блок

3/IV 1901.

Вчера я слышал песни с моря
И плески волн о южный брег.
Душа, в смятеньи песням вторя,
К полудню направляла бег.

Так — невозможного искала,
И, лишь далеко ввечеру,
Сознаньем поздним разгадала
Волны певучую игру.

Но вновь, перед вечерним светом,
Она болит из глубины
И чует в сумраке согретом
Загадку песни и волны [1].

1901.19 марта.

[1] Стихотворение было впервые напечатано лишь после смерти Блока (А. Блок. Неизданные стихотворения. 1897—1919 гг. Редакция и примечания П. Н. Медведева. Л., «Жизнь искусства», 1926, с. 82).

17. БЛОК — ГИППИУСУ

‹10 апреля 1901 г.›

Милый Александр Васильевич, «дело стоит» следующим образом: прежде всего советую Вам экзаменоваться у Ляронда [1], сегодня я получил 5. Спрашивает он очень легко, дает перевод (хотя и юридический), грамматику у меня не спрашивал. В университете — сходка. Резолюция Ванновского [2] Вам, вероятно, известна. Пожалуй, Вам придется держать экзамен еще через несколько дней. Напишите, когда Вы придете ко мне и, когда придете, если Вам не трудно, принесите конспект древней истории русского права [3], если он Вам не нужен. Впрочем я, конечно, могу подождать с ним, во всяком случае не очень об этом заботьтесь. Приходите поскорее и прямо с экзамена, а если можете, и до (на этих днях), только напишите, когда?

Любящий Вас Ал. Блок

10 апреля 1901 г.

[1] Андрей Александрович *Ляронд* — преподаватель французского языка в Петербургском университете, доцент. По правилам в течение университетского курса нужно было сдать экзамен по одному из трех иностранных языков. Зная одинаково слабо как немецкий, так и французский, Гиппиус колебался в выборе и спрашивал совета Блока.

[2] 3 апреля 1901 г. в университете состоялась студенческая сходка, участники которой выступили с протестом против «Временных правил студенческих организаций» Ванновского. П. С. Ванновский (1822—1904), бывший в 1881—1898 гг. военным министром, во время студенческих волнений 1898—1899 гг. возглавлял комиссию по расследованию причин «беспорядков» в высших учебных заведениях.

«Временные правила», изданные 29 июля 1899 г., угрожали студентам за «учинение скопом ‹. . .› беспорядков ‹. . .› исключением из университета и отдачей в солдаты». В начале апреля 1901 г. Ванновский был назначен на пост министра народного просвещения. Новые «Временные правила», принадлежавшие Ванновскому, явились результатом проводимой царским министром компромиссной политики. Эти «Временные правила» предоставляли студентам «право» устраивать сходки, но — под «наблюдением» начальства. В. И. Ленин назвал деятельность нового министра политикой «заигрывания со студентами», политикой иудиных поцелуев. «Мы не переставали твердить либералам, — говорил Ленин о революционерах, — что циркуляры «сердечного» генерала и рескрипты Николая Обманова представляют лишь новое проявление все той же либеральной политики, в которой самодержавие успело искуситься за 40-летний период борьбы с «внутренним врагом», т. е. со всеми прогрессивными элементами России» (В. И. Ленин, ПСС, т. 6, с. 63).

«Временные правила» Ванновского вызвали новый протест со стороны студентов. На сходке 8 апреля была принята резолюция, требовавшая полной свободы «прений по вопросам, так или иначе соприкасающимся с общественной жизнью». Участники сходки сочли невозможным продолжать учебные занятия и постановили начать забастовку с обструкции («Общественное движение в России в начале XX века», т. I. СПб., 1909, с. 280—281).

В период своего пребывания в университете Блок, как известно, стоял в стороне от студенческих волнений. В письмах к родным он с осуждением отзывался о студенческих «обструкциях», в которых усматривал «не особенно умное» и просто непонятное для себя («Письма к родным», I, с. 47). В мае 1901 г. Блок писал отцу, что знает о происходящих событиях «большею частью по газетам», что «настроение» его «отвлеченно и противно всяким страстям толпы» (VIII, 15).

«Реформы» Ванновского были восприняты Блоком как «очень важные и многим интересные события». Он даже присоединился к партии «охранителей», которая видела свою задачу в «охранении» учебных занятий от «обструкционистов». Блок высказывал опасение, что «порядок», установленный «Временными правилами», может быть нарушен неуспокаивающимися студентами. О партии «охранителей» он писал: «Такая партия (хотя неорганизованная) тем более необходима, что носятся тревожные слухи о том, что

Ванновский может изменить свое поведение, видя в студентах постоянное и часто (по-моему) возмутительное упорство и обструкцию всем его начинаниям» («Письма к родным», I, с. 69—70).

В письмах Блока последующих лет продолжает ощущаться полное непонимание политического смысла студенческого движения и беспокойство о том, чтобы это движение не помешало занятиям (письмо к отцу от 26 сентября 1902 г. — там же, с. 79).

Но вместе с тем со временем появляется и сомнение в правоте «усмирителей», а также в полезности различных «партий». Последние он в 1902 г. расценивает как «временные» и «бессильные» организации, которые «возят по головам студентов, отчего последние свирепеют уже в последней мере; практических же перспектив трудно и доискаться в этом хаосе, где нельзя даже различить точно, кто первый виноват» (там же, с. 72).

[3] Историю русского права до XVIII в. Блок слушал у проф. Василия Ивановича *Сергеевича* (1835—1911). 26 сентября 1900 г. он писал отцу, что вообще чтение лекций преподавателями юридического факультета вызывает в нем «скептицизм» вследствие «бесталанности и халатности профессоров»: «Приходится радоваться далеко не совершенным Сергеевичу и Петражицкому, — лучше их я себе представить пока не могу» («Письма к родным», I, с. 56).

В. И. Сергеевичу принадлежат работы: «Лекции и исследования по истории русского права» (СПб., 1883), «Русские юридические древности» (т. I—II. СПб., 1890—1896).

В своем примечании к этому письму Блока А. В. Гиппиус говорит о сохранившемся у него печатном конспекте по древней истории русского права, составленном И. Рогалевичем, студентом, окончившим университет в 1901 г. Этот конспект и просил принести Блок.

18. БЛОК — ГИППИУСУ

‹21 апреля 1901 г.›

Милый Александр Васильевич, к несчастью, не могу придти к Вам раньше пятницы (27-го) [1]. Если этот день у Вас чем-нибудь занят, — напишите пожалуйста. Желаю Вам всяких успехов с историей философии [2]. Искренно любящий Вас

Ал. Блок

Извините, что поздно отвечаю.

21 апр. 1901 года.

[1] В. А. Пяст вспоминает об усердии, с которым Блок относился к экзаменам. «С начала великого поста Блок тщательнейшим образом переключает весь свой обиход на потребный для экзаменного бдения. Самое испытание еще не скоро, — но Блок уже «невидим» ни для кого, кроме имеющих непосредственное отношение к задуманному им делу (с некоторыми университетскими товарищами он готовится к двум-трем экзаменам совместно). Кроме того, он очень регулярно встает в одно и то же время; ест, пьет, ходит гулять (пешком, далеко) в определенные часы; занимается почти ежедневно одно и то же количество часов и ложится в одинаковую пору» (Вл. Пяст. Воспоминания о Блоке, с. 36).

[2] Речь идет об экзамене по истории философии права, к которому в то время готовился Гиппиус.

19. ГИППИУС — БЛОКУ

‹24 апреля 1901 г.›

Милый и дорогой Александр Александрович! Очень жалко, но 28-го у меня экзамен, так что вечер 27-го у меня занят. Вообще каторжная жизнь, учусь за двоих — за себя и за кузину, у которой завтра и 28-го экзамены по физике и математике. Стараюсь учиться прилежно, но что-то не выходит, т. е. выходит не всегда.

Те язвы, быть может, целебны, — но больно! (Фет) [1].

Конспект Рогалевича я Вам достал [2]. К 28-му будут у меня остальные. Если Рогалевич нужен сейчас, черкните — и он у Вас будет. Впрочем, я попросту отправлю с этим письмом.

28-го надеюсь видеть Вас у себя. Надеюсь, что Вам удастся посвятить этот вечер мне.

Простите, что пишу не интересно и декадентно (по Дягилевски! [3]) но «самочувствие скверное, пульс слаб, полная безнадежность». Выписал сборник «Скорпиона» [4] — очень неудачно. Чеховский рассказ [5] любопытен, безнадежен по настроению и напоминает чужеземные образцы. Кое-что из



БЛОК В ШАХМАТОВЕ НА БЕРЕГУ ПРУДА
Фотография, 1894 г.
Литературный музей, Москва

стихов, «Святая кровь» — Зинаиды Гиппиус [6], а то пель-мель, как говорят французы!

Еще раз простите и до свидания.

Искренно Ваш Александр Гиппиус

Пет. 1901. 24/IV.

[1] Цитата из стихотворения Фета «Напрасно!. . .». См.: А. А. Фет. Полн. собр. стихотворений. Л., «Сов. писатель», 1959, с. 293—299.

[2] См. п. 17, прим. 3.

[3] Сергей Павлович *Дягилев* (1872—1929) — выдающийся деятель русской культуры, организатор творческого объединения «Мир искусства», вписавшего блестящие страницы в историю отечественной живописи, основатель и редактор журнала, выходившего под тем же названием, лучшего художественно-периодического издания конца прошлого — начала нынешнего века. С 1906 г. началась многолетняя дягилевская эпопея пропаганды за рубежом русского музыкального, оперного, балетного и театрально-декорационного искусства. Все это, блистательно представленное Дягилевым за рубежом, оказало большое влияние на культуру Запада. См.: И. С. Зильберштейн. Парижские находки. Лучшая за рубежом коллекция реликвий русской культуры. — «Огонек», 1970, № 5 и 6.

[4] Альманах «Северные цветы» на 1901 год, собранные книгоиздательством «Скорпион». М., 1901.

[5] Рассказ А. П. Чехова «Ночью».

[6] З. Гиппиус напечатала в альманахе драму «Святая кровь». Из стихов в альманахе были помещены произведения А. Фета, К. Павловой, А. Добролюбова, К. Фофанова, К. Бальмонта, В. Брюсова и др.

20. БЛОК — ГИППИУСУ

(26 апреля 1901 г.)

Дорогой Александр Васильевич, безмерно благодарю Вас за Ваши хлопоты [1] и письмо, хотя и декадентное, но очень обстоятельное и «естественно-разговорное» [2]. Рогалевича я встретил с распростертыми объятиями. Учусь,

но, вероятно, меньше чем Вы — экзамен будет 2-ого мая. Приду к Вам в субботу 28-ого с большим удовольствием.

Третьего дня я бродил в удельном лесу около Лесного, там все время несется «гул железного пути» [3] и анемоны в бутонах под снегом — какая-то «смесь зимы и лета» (Фет?) [4]. Если бы было время сосредоточиться, оттуда можно бы вывезти «настроений» на несколько дней. Я же попал в Лесной слишком поздно, потому торопился и бегал почти рысью. И то было хорошо.

Вообще же настроение скверное — без равновесия, рифмы частенько глагольные [5], скверно.

Искренно любящий Вас Ал. Блок

26 апреля 1900*

* Дата письма ошибочна. По почтовому штемпелю письмо датируется 26 апреля 1901 г.

[1] Гиппиус по просьбе Блока доставал ему конспекты лекций к предстоящим экзаменам.

[2] Определение «естественно-разговорное» пришло на память Блоку, видимо, не без влияния шуточной пьесы любимого поэтом К. Пруткова «Опрометчивый турка, или Приятно ли быть внуком? (Естественно-разговорное представление)». Эпитет же «декадентное» Блок употребил вслед за самим Гиппиусом (см. письмо 19).

Гиппиус, называя свое письмо декадентным, очевидно, имел в виду его хаотичность и малосодержательность. В подобном смысле употреблял тогда, как известно, Блок и слово «декаданс». В юношеском дневнике поэта имеется запись, характеризующая «декаданс» как «упадок», который состоит в том, что авторы «затемняют смысл своих произведений», в результате чего последние становятся «темной формулой, составленной из непонятных терминов» (VII, 26).

[3] Цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Там, где семьей столпились ивы. . .» (см. п. 1, прим. 3).

[4] Цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Воскресшему» (см.: Вл. Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., «Сов. писатель», 1974, с. 110—111).

[5] Прогулка в Лесном вызвала появление стихотворения Блока «Навстречу вешнему рассвету», датированного 25 апреля 1901 г. В этом стихотворении есть строфа, целиком построенная на глагольных рифмах:

Душа в стремленьи запоздала,
В паренье смутном замерла,
Какой-то тайны не познала,
Каких-то слов не поняла. . .

(I, 351)

21. ГИППИУС — БЛОКУ

СПб., 4 мая 1901.

Милый мне Александр Александрович! Как ваши дела? Сколько? Мои — чудесно! 5 и, кроме того, бездна приятного. Напишите, если не трудно, так как зайти к Вам мне не очень просто. Увидимся вероятно 8-го у Лучинских [1], где состоится последнее собрание в этом сезоне. Или приходите ко мне, с воскресенья я свободен по вечерам часов с 2. Т. е. вернее могу освободить вечер.

Очень хотелось бы Вас повидать.

Неизменный к Вам Александр Гиппиус

Буренин [2] сегодня забавен — в стихах, а не в прозе конечно.

[1] См. п. 1, прим. 2.

[2] Виктор Петрович *Буренин* (1841—1926), поэт-сатирик, фельетонист и критик. 4 мая 1901 г. в № 9044 газеты «Новое время» был напечатан фельетон В. Буренина (под псевдонимом «Граф Алексис Жасминов») «Новый талант, а может быть и гений», с посвящением гг. Бальмонту, Брюсову и Добролюбову, в котором были также стихотворные пародии на декадентскую поэзию.

22. БЛОК — ГИППИУСУ

<7 мая 1901 г.>

Милый Александр Васильевич!

Очень радуюсь за Ваше настроение, ибо в последнее время мало вижу людей в сколько-нибудь сносном настроении (включая и себя) [1]. По истории русского права я получил у Латкина 3, но это меня не смущает и не огорчает [2]. Чувствую страшную необходимость уехать из Петербурга; пока не уеду, — ничего путного не будет [3]. Относительно 8-ого я ничего не знаю еще, — попаду я к Лучинским [4] или нет — уж очень скверно себя чувствую. В воскресенье я не пришел к Вам, потому что, во-первых, был несвободен, а во-вторых, слишком поздно получил письмо. Вообще же, с большим удовольствием приду к Вам как-нибудь, только сообщите мне, когда Вы свободны.

По-прежнему очень буду рад, если Вы устроите мне покупку Коркуновской истории философии [5] у вашего товарища (если он не будет в претензии). Что касается Буренинских стихов, то мне они очень понравились [6]; местами и проза недурна. Читаю «Северные цветы» [7], нахожу в них много хорошего и интересного.

Любящий Вас Ал. Блок

1901. 7 мая.

[1] В настоящем письме Блока нашли отражение его переживания, связанные с увлечением мистической философией и окрашенной этим увлечением любовью к Л. Д. Менделеевой. Под впечатлением «суровости» Любови Дмитриевны Блок делал «мистические» умозаключения, которые гнетуще отражались на его настроении. Позднее, вспоминая май 1901 г., Блок писал в своем дневнике: «Очевидно, под влиянием ее непрекращающейся (или растущей, или случайной) суровости — май начался теми же мрачными предчувствиями: я удаляюсь в *страны холодные, немые, без любви и без весны*, где нет *страстей, любви матери*, где царит *равнодушие* и где *угасает* мое скитанье» (VII, 349).

[2] Василий Николаевич *Латкин* (1858—1927) — профессор истории русского права Петербургского университета. Ему принадлежит «Учебник истории русского права периода империи. XVIII и XIX ст.» (СПб., 1899).

Блок был недоволен лекциями Латкина. В письме к отцу (26 сентября 1900 г.) он писал, что его настроение «не может всегда совпадать <. . .> с далеко не всегда научными курсами Сергеевича, Латкина и других. Все это последнее часто кажется разбавленным водой. . .» («Письма к родным», I, с. 55).

В. Н. Княжнин свидетельствует, что лекции ряда преподавателей университета, в том числе и Латкина, были очень специальными и потому вряд ли могли сколько-нибудь привлечь к себе не «юриста в душе» (В. Н. Княжнин. А. А. Блок, с. 37—38).

По случаю предстоящей сдачи экзамена у Латкина, 26 апреля 1901 г. Блок написал шутливое стихотворение «Права русского историю. . .» (I, 547).

[3] Желание уехать из Петербурга обусловлено не только тем, что 2 мая Блок уже сдал предпоследний экзамен. Пробуждение природы и возможность соприкосновения с ней поэт рассматривал как отрешение от «пошлых» житейских забот и приобщение к Мировой душе. В письме к отцу (2 мая 1901 г.) Блок писал о том, что на его настроении «в высшей степени» отозвалась весна: «Пора свести городские счеты и временно перейти в созерцательность» (VIII, 15—16).

Вспоминая о своих переживаниях весны 1901 г., Блок писал позже про охватившее его тогда «необычайное слияние с природой», которое было преддверием будущего «колдовства» (VII, 344).

[4] См. п. 1, прим. 2.

[5] Курс истории философии права Блок слушал у Л. И. Петражицкого. Книга же Н. М. Коркунова «Лекции по общей теории права» (3-е изд. СПб., 1894) рекомендовалась студентам юридического факультета как учебник.

Историю философии права Блок особо выделял среди других дисциплин. «Наиболее интересным, но зато и очень трудным для слушания предметом мне кажется история философии права», — писал он отцу 26 сентября 1900 г. («Письма к родным», I, с. 56).

Склонность к этому предмету была обусловлена, по-видимому, тем интересом, который проявлял Блок тогда к истории философии и философии. В том же письме к отцу он сообщал, что, кроме специально университетских юридических наук, занимается еще и историей философии вообще (там же, с. 55).

Блок искал в идеалистической философии Платона (которого он читал в переводе Вл. Соловьева) подтверждения своим мистическим представлениям об искусстве. В его дневнике есть следующая запись, раскрывающая характер интересов поэта в 1900—1901 гг. к философии: «Начинается чтение книг; история философии. Мистика начинается. . .». И дальше: «Начинается покорность богу и Платон» (VII, 342).

[6] См. п. 21, прим. 2.

[7] См. п. 19, прим. 4. Позже Блок писал в своем дневнике об особой роли, которую сыграла для него эта книга: «А. В. Гиппиус показывал мне в эту весну только что вышедшие первые «Северные цветы» «Скорпиона», которые я купил, и Брюсов (особенно) окрасился для меня в тот же цвет, так что в следующее затем «мистическое лето» эта книга играла также особую роль» (VII, 344).

Из стихов В. Брюсова в упоминаемой книге были напечатаны цикл «Осенние цветы» и «Отрывки из поэмы». «Мы жили в городе, замкнутом безнадежно. . .».

В экземпляре «Северных цветов», который хранится в личной библиотеке Блока (ИРЛИ), рукой поэта особо отмечены следующие стихи В. Брюсова: «По поводу «Tertia vigilia», «В моих словах бесстыдство было. . .», «И снова ты, и снова ты. . .», а также «Отрывки из поэмы».

23. БЛОК — ГИППИУСУ

Шахматово, 30 августа 1901.

Дорогой Александр Васильевич, вышло недоразумение, Вы не получили еще моего письма. Запоздание его обусловлено редким посыланием на почту, а также моим выжиданием дня: часто выжидаю я, когда пройдет известный срок и совершится еще хоть небольшое событие (ожидаемое) и прибавит что-нибудь новое к настроению и к жизни,

И как-то весело и больно
Тревожить язвы старых ран. . .
Тогда пишу [1].

Пишу и стихи и письма к Вам. На этот раз я, кажется, выжидал очень мало, а потому письмо, должно быть, Вы уже получили теперь. Мы с Вами, я надеюсь, увидимся очень скоро, потому что мы с мамой выезжаем отсюда 6 сентября, значит, будем в Пб. 7-ого (это почти наверно). Нахожу, что нам пора уже возобновить личное знакомство и по-прежнему ограничиться краткими, но ясными открытыми письмами.

Мое лето кончилось — в главном почти без результатов — красиво, звучно, для меня приятно [2]. Петербург представляется удивительно хорошим городом; все еще несколько жаль покидать Шахматово, хотя счеты с ним почти сведены, а все еще хочется «помедлить на этом пепелище моих надежд земных» [3]. Впрочем, «надежды и желания» не оскудевают.

Если Вам не лень, напишите еще раз, как Вы себя чувствуете во всех отношениях и окончательно ли довольны результатами лета. Я все-таки доволен, «скажу более» — если бы было в 100 раз хуже, — все равно был бы доволен, и даже не из-за одного мистического баланса [4], а просто потому, что известной стороне своей жизни роковым образом всегда приписываю доброе и счастливое. Осень теперь свежая, большей частью бодрая, а иногда и солнечная, желтеют деревья, воздух ясный и далеко видно; ходишь или ездишь по полям и все «выпеваются» какие-то стихи, какие-то мысли.

Успокоилось сердце мятежное
И земного блаженства не ждет.
Что-то тихое, светлое, нежное
Торжествует, звучит и зовет.

И не жаль уже ни весны, ни лета, потому что чувствуется скорое их зарождение.

Снова зверь во тьме возникнет,
Птица в чаще леса крикнет [5].

Очень ли Вам противен г-н Буренин по поводу «Мира Искусства»? Мне очень [6].

Желаю Вам счастья и удачи, жму руку, до свидания в Петербурге.

Ваш Ал. Блок

[1] Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (М. Ю. Лермонтов. Собр. соч. М.—Л., Изд-во АН СССР, т. 1, 1958, с. 480).

[2] Под безрезультатностью «в главном» Блок подразумевал невыясненность своих отношений с Л. Д. Менделеевой.

Однако в творческом отношении лето, проведенное в Шахматове, было для Блока весьма плодотворным. Произведения, написанные поэтом в течение мая—сентября 1901 г., составили II раздел книги «Стихов о Прекрасной Даме».

[3] Неточная цитата из стихотворения А. К. Толстого:

«О не спеши туда, где жизнь светлей и чище. . .»

У Толстого:

«Помедли здесь со мной, на этом пепелище
Твоих надежд земных!. .»

(А. К. Толстой. Полн. собр. стихотворений. Л., «Сов. писатель», 1937, с. 154).

[4] В дневнике 1918 г. Блок писал, что в середине мая 1901 г. пришел к определенному мистическому осознанию своей личности и своей любви к Л. Д. Менделеевой, что выразилось «в ощущении себя как микрокосма, в котором *вся вселенная*, все *прошедшее и грядущее* и *с избытком — все огни, какими горит она*, потому — *нет ни слабости, ни силы, ее участие или безучастие* не трогает, *провидцу* не нужно *сочувствия*. Я уже *перешел граничную черту* и *только жду условленного виденья, чтобы отлететь в иную пустоту* (которая также не страшна)» (VII, 349).

[5] Цитата из стихотворения Владимира Г. (Вл. В. Гиппиуса) «Все пройдет, что плотью было. . .» («Северные цветы на 1901 г.», М., «Скорпион», 1901, с. 98).

[6] 24 августа 1901 г. в «Новом времени» (№ 9149) была напечатана статья В. Буренина «Критические очерки. Цветы новейшей поэзии и новейшего художества», в которой дягилевский журнал «Мир искусства» характеризовался как один из «довольно затхлых и гнилых уголков ‹. . .› в широком мире искусства», а о творчестве Д. Мережковского, Ф. Сологуба, З. Гиппиус, Н. Минского и других говорилось как о «вырождении поэзии». Статья была написана в развязном тоне.

24. БЛОК — ГИППИУСУ

8 сентября ‹1901 г.›

Милый Александр Васильевич, с большим удовольствием приду к Вам завтра 8-ого (вечером), следуя Вашим указаниям. Если некогда — известите. Приехал только сегодня из Шахматова, чувствую себя прекрасно [1], как-то Вы?

Любящий Вас Ал. Блок

[1] 5 сентября 1901 г. Блок писал С. А. Кублицкой-Пиоттух: «Лето прошло прекрасно для меня, я им ужасно доволен. . .» («Письма к родным», I, с. 65).

Прекрасному настроению способствовало, видимо, и сообщение М. С. Соловьева (6 сентября) о том, что в Москве «обращено внимание» на стихи Блока (VII, 345).

25. БЛОК — ГИППИУСУ

29 сентября 1901 года СПб.

Дорогой Александр Васильевич!

Представьте себе, я таки перешел на филологический факультет! [1] Можно ли придти к Вам завтра вечером? (воскресенье). Если можно — не пишите ничего. Всякие подробности — при свидании.

Любящий Вас Ал. Блок

[1] Выбор юридического факультета был для Блока довольно случайным. «Три года тому назад, — писал он отцу 29 сентября 1901 г., — я желал больше всего облегчения занятий и выбрал юридический факультет, как самый легкий (при желании, разумеется)» (VIII, 25). Учеба на юридическом факультете не удовлетворяла Блока, о чем он неоднократно писал отцу.

Летом 1901 г. окончательно определились духовные интересы Блока как интересы литературные, он почувствовал «вполне определенное стремление к филологическим знаниям» (там же) и 27 сентября 1901 г. подал прошение о своем переводе на историко-филологический факультет.

А. В. Гиппиус, комментируя это решение Блока, писал, что оно было для него «приятной неожиданностью, так как с первых же дней знакомства я убеждал его это сделать».

26. БЛОК — ГИППИУСУ

1 октября. Понедельник. 1901. СПб.

Дорогой Александр Васильевич, простите меня, пожалуйста, я ужасно перед Вами виноват. Вчера целый день хотел идти к Вам, и вдруг вечером случилось непредвиденное обстоятельство: именно, я узнал, что в понедельник к нам придут Гущины [1] и я должен быть дома, а, между тем, мне непременно нужно было быть эти два дня (или вчера или сегодня) у Менделеевых [2]; а потому я и пошел вчера к Менделеевым и заставил Вас просидеть дома, в чем ужасно прошу прощения. Приду к Вам как-нибудь на неделе, о чем напишу. Завтра буду в Университете записываться на лекции, следовательно, и еще пропущу, что меня очень не устраивает, потому что собираюсь слушать если не всех, то многих. Решение мое произошло до легкомысленности быстро, что, может быть, и к лучшему, потому что долго думать совершенно было бы бесполезно.

Жму вашу руку. Ваш Ал. Блок

[1] См. п. 3, прим. 1.

[2] Вспоминая осень 1901 г., Блок писал в своем дневнике, что октябрь был связан для него с настроениями неизвестности и неопределенности в отношениях с Л. Д. Менделеевой: «Любовь Дмитриевна уже опять как бы ничего не проявляла. В октябре начались новые приступы отчаянья. . .» (VII, 345). Эти настроения нашли свое отражение в стихотворении, написанном 21 сентября 1901 г. «Пройдет зима — увидишь ты. . .», где поэт говорил о том, что он, «больной, мятежный и угрюмый», тщетно ждал, «но мимо проходила ты» и т. д. (I, 126).

Однако в стихах, помеченных 3 и 4 октября 1901 г. («Встану я в утро туманное. . .», «Ранний час. В пути незрима. . .»), т. е. написанных после упоминаемого здесь посещения Менделеевых, настроение резко меняется, становится жизнерадостным, полным надежд: «Песни такие веселые не раздавались давно!» (там же, с. 127—128).

27. БЛОК — ГИППИУСУ

9 октября 1901 г. СПб.

Милый Александр Васильевич!

Можно придти к Вам в четверг? Если можно — не пишите. Я только что отказался от Поповского спектакля [1] за совершенным неимением времени и, чтобы отрезать все пути отступления, собираюсь к Вам в день, назначенный для репетиции. Не собрался к Вам так долго оттого, что постоянно хожу в Университет и ужасно устаю, пока, по вечерам. Филологи мне очень нравятся [2].

Любящий Вас Ал. Блок

P. S. На этот раз обещаю не надуть Вас.

[1] Речь идет о спектакле в зале Павловой, устраиваемом Н. А. Поповым, впоследствии видным театральным работником, с которым Блок познакомился у Лучинских. Поставлены были «Втируша» М. Метерлинка и «Зеленый попугай» А. Шницлера.

[2] О своем увлечении профессорами-филологами Блок писал также отцу (VIII, 25—26). Наиболее глубокое впечатление на Блока произвели лекции по истории философии Александра Ивановича *Введенского* (1856—1925) — известного философа-кантианца.

28. БЛОК — ГИППИУСУ

⟨5 декабря 1901 г.⟩

Дорогой Александр Васильевич!

Приходите, пожалуйста, к нам обедать в воскресенье; у нас будет Панченко [1]. Я перед Вами виноват, но существуют оправдания, если не документальные, то интуитивные. Кроме остального — я чувствую себя не совсем хорошо — очень утомленно [2]. Настроение крайне мятежное, но

Ни битва, ни покой. Страх душу леденит,
И вдруг ее согрел надежды яркий пламень.
То падаю во прах, то подымусь в зенит.
Хочу весь мир обнять — в объятьях мертвый камень [3].

Впрочем (и конечно) это не совсем подходяще, а написано больше потому, что сочинил Петрарка. Все-таки, Вы приходите, я буду ужасно рад Вас видеть. Мама Вас очень просит.

Ваш Ал. Блок

СПб. 1901.5/XII

[1] См. п. 7, прим. 4.

[2] Блок писал С. А. Кублицкой-Пиоттух о том, что он, как и его мать, плохо переносит «темное и сумеречное» время начинающейся петербургской зимы: «. . . все мы зависим от солнца, особенно же в Петербурге, где оно не балует» («Письма к родным», I, с. 69).

[3] Цитата из сонета Петрарки № 104 в переводе Д. Мережковского («Вестник иностранной литературы», 1891, № 3, с. 306).

29 БЛОК — ГИППИУСУ

24 января 1902

Дорогой Александр Васильевич, пожалуйста, согласитесь быть распорядителем на вечере в Кредитном обществе в воскресенье 27-ого января в пользу Женского общества. Приходите туда в 7 или в начале 8-ого, устраивает м-ме Адикаевская, которую Вы знаете. Мне ужасно хочется, чтобы Вы согласились, мы можем там поговорить. Вечер очень хороший, все время объявляется в «Новом времени», m-me Адикаевская просила меня Вас пригласить [1]. Мы с Вами так давно не виделись и в последние дни произошло столько странного, что мне очень хочется Вас видеть [2]. Если Вы придете ко мне раньше воскресенья, буду рад; в воскресенье-то уж приходите *непременно*.

Ваш Ал. Блок

[1] В воскресенье 27 января 1902 г. в зале Городского кредитного общества (Александринская площадь) состоялся концерт в пользу временного общежития Русского женского взаимноблаготворительного общества, членами которого, в частности, являлись Евгения Александровна Чебышева-Дмитриева, Александра Николаевна Засодимская, Александра Николаевна Пешкова-Толиверова, Софья Любимовна Адикаевская. Будучи знаком с последней, Блок принимал участие в мероприятиях общества.

[2] В начале января 1902 г. начат четвертый раздел «Стихов о Прекрасной Даме»; 11 января закончен набросок статьи о декадентстве, в которой Блок рассматривает историю русской литературы в плане борьбы метафизики и мистики с материализмом и высказывает суждение о самостоятельности русского символизма, устанавливая его связь с творчеством Тютчева, Фета, Полонского и Вл. Соловьева.

30. БЛОК — ГИППИУСУ

<26 января 1902 г.> [1]

Милый Александр Васильевич, был у Вас и, к несчастью, не застал, хотел спросить относит<ельно> завтрашнего Кредитного общества [2], если можете, вернувшись, напишите (завтра днем я получу): в котором часу мне там быть? Мои обязанности вкратце? Увижу ли Вас там? И то, что найдете нужным. Надеюсь и даже уверен, что Вы уже здоровы и мы завтра увидимся.

Ваш Блок

[1] Записка без даты. Датируется по связи с письмом 29.

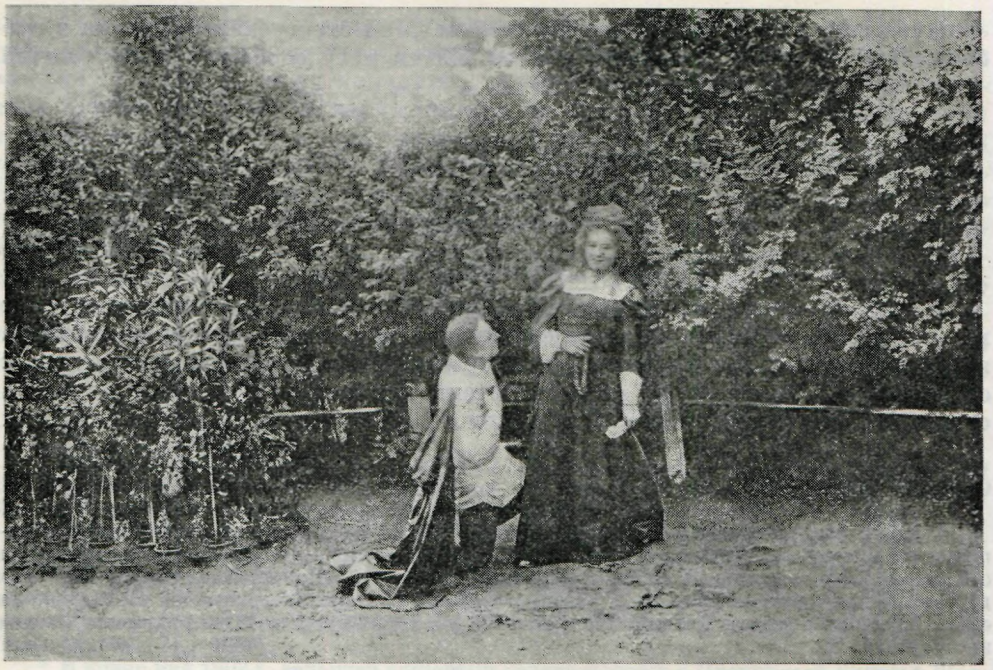
[2] См. п. 29, прим. 2.

31. БЛОК — ГИППИУСУ

1 марта 1902

Милый Александр Васильевич!

Мне очень хочется Вас видеть. Поэтому напишите мне, можно ли к Вам придти теперь; а если все еще нельзя, то приходите сами, но — напишите —



БЛОК В РОЛИ ДОН ГУАНА В СЦЕНЕ ИЗ МАЛЕНЬКОЙ ТРАГЕДИИ ПУШКИНА «КАМЕННЫЙ ГОСТЬ»
Фотография. 1899 г.
Литературный музей, Москва

когда? [1] «Могу многое сообщить и вызываюсь по документам даже в Сибирь. Не презирайте предложения. Письмо от инфузории разуметь в стихах.

Капитан Лебядкин,
покорнейший друг и
имеет досуг» [2].

(Адрес — Гренадерские казармы).

[1] Некоторый перерыв в общении между Блоком и Гиппиусом был вызван болезнью отца последнего.

[2] Цитата из «Бесов» Ф. М. Достоевского. Этими словами кончается письмо Игната Лебядкина к Елизавете Тушиной (цит. по кн. из библиотеки А. Блока — Ф. М. Достоевский. Бесы. СПб., 1873, с. 184).

В переписке с Гиппиусом образы Достоевского встречаются неоднократно. Об интересе Блока к Достоевскому свидетельствуют также многочисленные упоминания и оценки Достоевского и в других письмах Блока. Так, он сообщает Л. Д. Менделеевой 31 мая 1903 г. из Бад-Наугейма: «Скоро отыщу точки устоя у Соловьева и Достоевского» (VIII, 57). Два года спустя он вновь перечитывает «Подростка» и пишет Е. Иванову: «Я перечитывал «Идиота» и «Подростка» — больше «Подростка» Д‹остое›вский не написал» («А. Блок. Письма к. Е. П. Иванову». М.—Л., 1936, с. 42).

Интерес к Достоевскому Блок сохранил и в дальнейшем.

32. ГИППИУС — БЛОКУ

СПб. 26 марта 1902 года

Дорогой Александр Александрович! В эту пятницу в Соляном Городке состоится лекция Мережковского о Гоголе, где он докажет как дважды два, что Чичиков и Хлестаков — антихристы. Билеты в Сол‹яном› Городке. Я думаю быть [1].

Чувствую себя усталым, но спокойным. Мой отец уехал в Берлин в субботу. Все остальное касающееся моей жизни могу сообщить только лично.

Любящий А. Гиппиус

[1] Здесь помета Блока карандашом: «и даже имею билет».

33. БЛОК — ГИППИУСУ

‹27 марта 1902 г.›

Дорогой Александр Васильевич.

Я буду в пятницу в Соляном Городке с Менделеевыми, когда они уедут, мы поговорим с Вами, а во всяком случае увидимся и до лекции. Вчера я брал билеты и познакомился с Мережковским, часа два разговаривал с Зинаидой Николаевной, она мне очень понравилась [1]. Хуже моего настроения в эту минуту вообразить трудно, а потому отложу все до свидания.

Ваш Ал. Блок

СПб., 27 марта 1902.

[1] Придя за билетами к Д. С. Мережковскому, Блок познакомился с ним и его женой — поэтессой и критиком Зинаидой Николаевной *Гиппиус* (1869—1945); они оба уже слышали о Блоке от Соловьевых и А. Белого. В пятницу 29 марта в Большой аудитории Соляного городка (Пантелеймоновская ул., у Цепного моста) состоялась лекция Д. С. Мережковского «Судьба Гоголя» в пользу Общества для усиления средств Женского медицинского института.

34. БЛОК — ГИППИУСУ

Пасха ‹апрель› 1902 года. Петербург

Милый и дорогой Александр Васильевич! Христос воскрес! Мы увидимся только на Пасхе, кажется. Люблю Вас и целую.

Ваш Ал. Блок

35. ГИППИУС — БЛОКУ

‹Апрель 1902 г.›

Христос воскрес! Милый и дорогой Александр Александрович! Жалко, что не могу быть у Вас и похристосоваться. Не знаю, знаете ли Вы, что я решил держать экзамены, а потому целый день занимаюсь. В этом и только в этом состоит мое препровождение времени. Сдал богословье, подал прошение и теперь сижу учу уголовщину и жду первого экзамена, который, по всей вероятности, освободит меня от труда подготовляться к следующим. Впрочем, все это рассуждения робкой души и не мои по существу. Мои вот какие. Еще неизвестно, от чего зависят результаты экзаменов. Едва ли только от познания. Имею сильное предчувствие, что в этом году удастся окончить университет [1]. Расписание экзаменов удобно — словно нарочно создано для меня.

Получаю, кажется, на лето урок в Териоках. Жить и заниматься с двумя мальчиками.

Ах, Александр Александрович! Кажется мне иногда, что жизнь моя — это удивительное счастье и удача. Благодарю бога за все.

Любящий Вас А. Гиппиус

[1] А. В. Гиппиус закончил учение в 1902 г., без сдачи государственных экзаменов.

36. БЛОК — ГИППИУСУ

4 июня 1902. Петербург

Дорогой Александр Васильевич, пишу к Вам с небольшой надеждой, что Вы получите письмо, потому что Вы, конечно, уехали. Дело в том, что я Вас ждал 20-ого, в тот самый день, когда Вы, вероятно, были у Лучин-

ских [1]. В сущности, я бы мог пойти тогда к ним, но ужасно не хотелось (уже заранее), и, кроме того, устал после греческого экзамена. Экзамены сегодня (4 июня) у меня кончились, притом же гораздо лучше, чем начались (греческий — 5, психология — 4 и Соколов — 5!) [2]. К Лучинским я опять не пошел, хотя был даже около них, но в час их обеда, так что идти было неудобно, однако лучше, чем совсем не идти, как это случилось теперь. Впрочем, экзамены действительно одолели, и теперь очень трудно воспринимать окружающее. Я очень виноват, что не написал Вам, но писать после 20-ого уже было, пожалуй, поздно. Завтра мы уедем в Шахматово, пишите мне по старому адресу (Подсолнечная) [3]. Где Вы именно и что делаете? Я Вам напишу подробнее, когда несколько отдохну, потому что теперь довольно раскис [4]. Напишите мне точный адрес. Могут ли Вам переслать это письмо в Любань [5], боюсь, что все ваши уже разъехались.

Любящий Вас Ал. Блок

[1] См. п. 1, прим. 2.

[2] Оценки Блока на экзаменах: логика (А. И. Введенский) — 3, церковнославянский (А. И. Соболевский) — 3, психология (А. И. Введенский) — 4, средняя история (Э. Д. Гримм) — 4, древнегреческий язык и античная история (Ф. Ф. Соколов) — 5.

[3] В письме к отцу от 4 июня 1902 г. Блок сообщал: «Теперь мы едем в Шахматово, как всегда; в этом я ощущаю настоятельную потребность» («Письма к родным», I, с. 76). Пейзажи окрестностей имения Бекетовых, находившегося в 17 верстах от ст. Подсолнечная (теперь Солнечногорск), нашли отражение в поэзии Блока (см. об этом в статье А. Белого в «Записках мечтателей», 1922, № 6 и в статье Г. П. Блока в сборнике «Литературное Подмосковье». М., 1950).

[4] В конце мая 1902 г. закончен четвертый раздел «Стихов о Прекрасной Даме»; в Шахматове, после переезда, начат пятый.

[5] А. В. Гиппиус летом 1902 г. жил в Любани на даче Владимира Николаевича Антипова, поступив воспитателем к сыну последнего.

37. ГИППИУС — БЛОКУ

<Июнь 1902 г.>

Дорогой Александр Александрович! Так давно мы с Вами не видались и не имели никаких вестей друг от друга. Я, конечно, нисколько не сомневаюсь, что Вы более чем благополучно кончили экзамены — но все-таки интересно знать подробности. Как Вы себя чувствуете и где Вы теперь? Имею много оснований думать, что Вы в Шахматово, поэтому пишу туда. Что касается до меня — чувствую себя средне, скорее хорошо — но только пока здесь, в Любани. Любань, несмотря ни на что, оказалась отличным местом, где можно с приятностью проводить время. До сегодняшнего дня я не приступал еще к исполнению своих обязанностей. Но сейчас должен сидеть заниматься с мальчиком. Очень хороший мальчик. Одна беда — очень большой сорванец и мало меня слушается, хотя очень любит.

Есть у меня до Вас просьба — думаю, что у Вас в Шахматове есть сочинения (дополнительный том к Истории Российск.) С. М. Соловьева. Если можно одолжить мне его на лето, мне очень нужно. Не сердитесь, что пишу мало и гадко — это отличительная черта всех моих писем — но верьте, будет и эпоха Возрождения.

Пишите, милый Александр Александрович. Очень меня обрадуете.

Любань. Ник. жел. дорога, дача Влад. Никол. Антипова. Алекс. Вас. Гиппиусу.

Любящий Вас Александр Гиппиус

38. ГИППИУС — БЛОКУ

Июнь 1902

Милый и дорогой Александр Александрович! Если Вы на меня сердитесь, то Вы совершенно правы — но я все-таки пытаюсь просить у Вас прощения. Я уже не так виноват. Чувствую себя теперь лучше, чем в Пе-

тербурге, но все как-то странно. Пока в Любани — ничего себе — жить можно. Прибуду в Петербург, увижу самых близких людей и опять тяжело. Ну да и бог с этим.

Время провожу почти сплошь трудовым образом и даже не особенно замечаю времени. Порою смутно в душе раздается: да, ясно мне, что ты бежишь, но — все на том же ты окне!

Изучаю, конечно, науки и уголовное право, и историю. Читаю по-немецки, главное, изучаю себя. Я теперь понял, что мне нужно в жизни, чтоб быть в состоянии жить — дыхание человеческой жизни. Жизни другого, даже не очень близкого существа. Порой мне становится очень одиноко, но я не падаю духом, так как чувствую, что вокруг меня (рядом в комнате спит мой воспитанник) и подо мной (живу в третьем этаже) дышут и живут люди, которым я (а некоторые и мне) могут улыбнуться.

Почитываю кое-что. Щедрина «Господа Головлевы», Фета и многих других. А теперь попрошу Вас написать мне о себе побольше и поподробнее (и жандармов позовите побольше и посильнее!).

От души желаю, чтобы Вы в это лето поправились и отпоились молоком. В этом (ради бога, только в этом!) отношении берите пример с меня. Каждого кушанья ем по две порции. Это в чужом все-таки доме. А что было бы в своем! Но, несмотря на это, поправляюсь не слишком быстро. В каком состоянии ваше отношение к мирам иным? Декадентству, Мережковским и т. д. Переписываетесь Вы с ними? Или они куда-нибудь уехали.

Пишите обо всем: по Николаевской железной дороге, станция Любовь, дача Антипова, Александру Васильевичу Гиппиусу

Любящий Вас Александр Гиппиус

39. БЛОК — ГИППИУСУ

21 (суббота) сент‹ября› 1902 г.

Милый Александр Васильевич!

Представьте, сейчас уезжаю в Лугу к Мережковским [1]. Вернусь завтра или — крайний срок — в понедельник. Тогда приду к Вам, или Вы ко мне. Все объясним и поговорим.

Ваш Ал. Блок

[1] Об этой поездке в Заклинье под Лугой Блок писал отцу 26 сентября 1902 г.: «На днях я провел два дня около Луги на даче у Мережковских ‹. . .› Разговоры были, разумеется, довольно отвлеченные — об Антихристе и «общем деле» ‹. . .› Впечатление мое от самих доктрин Мережковского затуманилось еще более, и я уже совсем не могу ничего ни утверждать, ни отрицать. . .» («Письма к родным», I, с. 79).

40. БЛОК — ГИППИУСУ

28 сентября 1902

Милый Александр Васильевич!

Я узнал, что мои родственники теперь непременно требуют от учителя, чтобы он ехал в Сибирь. Кажется, дело устроится, потому что скоро приезжает какой-то саратовский господин, который, вероятно, на это согласится [1]. Пожалуйста, напишите, когда Вы придете. У нас очень скверно, бабушка так больна, что мама постоянно сидит у них, и я ухожу туда иногда, так что Вы легко можете не застать меня дома [2].

Ваш Ал. Блок

[1] См. п. 41, прим. 1.
[2] См., п. 42, прим. 1.

41. БЛОК — ГИППИУСУ

28 сентября 1902 вечером. СПб.

Милый Александр Васильевич!

Пишу Вам письмо обратного содержания, надеюсь, Вы получите их вместе. Дело в том, что мои родственники, которых я сейчас видел, кажется, отчаялись в сибирском учителе, и тетя просит Вас подождать несколько дней; она подумает и напишет Вам, когда Вы можете придти к ним для переговоров (Екатерининский канал, 17, Софья Андреевна Кублицкая-Пиоттух) [1]. Адрес ваш я уже дал ей. Приходите, пожалуйста, ко мне.

Ваш Ал. Блок

[1] Софья Андреевна *Кублицкая-Пиоттух* (1857—1919), тетка Блока, искала учителя для своего младшего сына Андрея; в связи с этим велись переговоры и с А. В. Гиппиусом, который и занимался с Андреем Кублицким до весны 1903 г.

42. БЛОК — ГИППИУСУ

1 октября 1902

Милый Александр Васильевич!

Ко мне не приходите пока. Сегодня ночью умерла моя бабушка [1].

Ваш Ал. Блок

[1] Елизавета Григорьевна *Бекетова*, переводчица. О ней — см. в «Автобиографии» (VII, 9—11).

43. БЛОК — ГИППИУСУ

11 октября 1902. СПб.

Милый и дорогой Александр Васильевич!

Мы с вами очень давно не виделись. Напишите мне, пожалуйста, не придете ли Вы ко мне во вторник на той неделе? Это будет уж после знаменитого Ипполита. Будете ли Вы? Дм‹итрий› Серг‹еевич› будет читать лекцию [1]. Напишите и приходите обедать непременно. Число будет 15-ое. Раньше я все время в расходе.

Ваш Ал. Блок

[1] Премьера «Ипполита» Еврипида в переводе Д. С. Мережковского состоялась в Александринском театре 14 октября 1902 г.

Перед началом спектакля Д. С. Мережковский прочел вступительное слово «О новом значении древней трагедии», рассматривая «Ипполита» как продукт религиозной философии народа.

И. Анненский писал в «С.-Петербургских ведомостях» (№ 281, 14 октября) о «блестящей постановке и талантливых исполнителях» (роль Ипполита играл Ю. Юрьев, декорации Л. Бакста), «Биржевые ведомости» (№ 281, 15 октября) отмечали достоинства перевода Мережковского, но и эти газеты, и «Новое время» (№ 9560, 15 октября) указывали на трудность пьесы для широкого зрителя.

О предстоящей постановке «Ипполита» Блок писал отцу: «Все это — «религиозное дело», или — близко от него» («Письма к родным», I, с. 80).

44. ГИППИУС — БЛОКУ

СПб. 24 окт‹ября› 1902 года

Милый Александр Александрович! Мне очень грустно, что мы давно не виделись и что не имею от Вас никаких известий. Приходите ко мне когда Вам угодно. Конечно, лучше напишите. В воскресенье днем я буду в театре на «Ревизоре», кстати о театре. Был на «Ипполите» и содержание оного одобрил! Играют (что грех таить) — оченно даже безобразно, но за то постановка — на совесть! [1]

Иду смотреть «Ревизора» больше для своего маленького брата.

Как Вы поживаете? Напишите непременно. Если уж Вам так не хочется придти ко мне, я приду, хотя это будет совершенно против правила,

которое гласит: Вы ко мне два раза — я к Вам один, а вовсе не так — я к Вам два раза — Вы ни одного.

Вечно любящий Вас Александр Гиппиус

[1] См. п. 43, прим. I.

45. БЛОК — ГИППИУСУ

25 октября 1902. СПб.

Милый Александр Васильевич. Я непременно скоро приду к Вам, но потом и Вы ко мне, потому что мне хочется, чтобы Вы видели новую квартиру (№ 13, так и пишите впредь) [1]. Мы эти дни переезжали, кроме того — приезжал мой отец [2]. В воскресенье я пойду к Менделеевым, в понедельник — на собрание «Мира искусства» [3]. Можно к Вам во вторник? Если можно — не пишите ничего. Кстати: Formensatz [4] у нас в Музее не получается, потому я не могу дать Вам сведений о нем.

Ваш Ал. Блок

[1] Выйдя замуж за Франца Феликсовича Кублицкого-Пиоттух, мать Блока жила с 1889 г. на набережной Большой Невки в здании казарм лейб-гвардии гренадерского полка (Петроградская набережная, 44); квартиры менялись в зависимости от прохождения отчимом Блока служебной лестницы. До 1906 г. вместе с матерью и отчимом жил и Блок.

[2] Об отце Блока и его отношениях с сыном см. в наст. томе публикацию писем А. Л. Блока и писем Блока к Е. В. Спекторскому.

[3] Блок писал отцу 29 ноября 1902 г.: «Мир искусства» приглашает меня на свои журфиксы, но я был только на одном, где нашел много знаменитостей из художников и литераторов и дух «светский» без отношения к моему «духовному», внутреннему, все больше опознаваемому» (VIII, 47). Выставки «Мира искусства» пропагандировали новейшую западноевропейскую живопись, Блоку же духовно близкими были в ту пору московские «соловьевцы»; охарактеризовав журнал «Мир искусства», руководимый А. Бенуа и С. Дягилевым, как «холодный и рыхлый», Блок писал М. С. Соловьеву 23 декабря 1902 г.: «Наконец, последний его номер ясно и цинично обнаружил, как церемонно расшаркиваются наши Дягилевы, Бенуа и проч.» («Письма Александра Блока», с. 48).

[4] «Formensatz» — художественный журнал, издававшийся в Мюнхене. Гиппиус просил Блока достать ему этот журнал в библиотеке университета.

46. БЛОК — ГИППИУСУ

19 ноября ‹1902 г.›

Милый Александр Васильевич!

Жду Вас, если можете, приходите в эти дни, я все буду сидеть дома, но мне лучше.

Ваш Ал. Блок

47. БЛОК — ГИППИУСУ

‹21 ноября 1902 г.›

Милый Александр Васильевич!

Я перед Вами кругом виноват, прошу прощения и не знаю, как загладить свою вину. Дело в том, что вчера я получил письмо от Мережковской, где сказано было, что жаль, если я не приду. Я думал — minimum Брюсов и Перцов [1] и вообще что-нибудь важное. Так как мне лучше, то поехал. Оказались Венгерова [2], Owerbeck [3] и громкие крики Тернавцева [4], который скоро ушел. До трех часов ночи говорили по-французски о любви и chair sainte (святая плоть). Было забавно, но с Вами я провел бы время много приятнее. Да и письмо Вам написал, почему-то думая, что в среду Вы уж не придете, а придете в четверг или позже. Как видите, история глупая и я очень виноват. Думаю, что скоро мне можно к Вам придти, но злоупотреблять выходами не надо. Доктор велел пока сидеть до воскресенья. Лучше уж я сделаю это, а то опять будет плохо. Вы говорили, что можете придти. Если теперь вы придете, написав, то я уж, конечно, буду ждать Вас, не внемля разным пленительным Сфинксам в виде З‹инаиды› Н‹ико-

лаевны› [5]. Другие, более важные обстоятельства могут в этом случае заставить меня «покинуть дом родительский» и лишиться удовольствия видеть Вас, но тогда я уж без сомнений Вам или напишу или телеграфирую. Вообще таких свинств, какие сделал вчера по отн‹ошению› к Вам, более делать не намерен (для литературного закругления скажу: Пусть делает их кто-нибудь другой!). Итак, если Вам не будет очень трудно или лень или не захочется, приходите ко мне в эти дни, или я приду к Вам на той неделе (м‹ожет› б‹ыть›, и на этой! Сроки мало ощутительны и понятны для меня теперь). Простите мои безнравственности.

Ваш Ал. Блок

21/XI 1902. СПб.

Стихотворение напишите, если будете писать. Ça m'interesse beaucoup!*

[1] Петр Петрович *Перцов* (1868—1947), литературный критик, редактор журнала «Новый путь».

[2] Зинаида Афанасьевна *Венгерова* (1867—1941), критик и литературовед, переводчица.

[3] *Owerbeck* — Е. Овербек, музыкантша, автор музыки к постановке «Ипполита» в переводе Д. С. Мережковского (см. п. 43, прим. 1), жила в Англии.

[4] Валентин Александрович *Тернавцев* (1866—1940), чиновник Синода, деятельный участник Религиозно-философских собраний, частый посетитель салона Мережковских в доме Мурузи на Литейном проспекте, впоследствии писатель. Открывал докладом первое заседание Религиозно-философских собраний в 1901 г.

[5] З. Н. Гиппиус. Г. И. Чулков вспоминает: «Полулежа на мягком диване и покуривая изящно тоненькую душистую папироску, З. Н. Гиппиус чаровала своих друзей философическими и психологическими парадоксами, маня их воображение загадками и намеками. Несмотря на соблазнительность салонного стиля, в этих беседах была значительность и глубина, и нет ничего удивительного, что Блок был в сетях Мережковских — ускользал из этих сетей и вновь в них попадал» («Письма Александра Блока», с. 103—104). З. Гиппиус (за подписью «Х») написала одобрительную рецензию на первую книгу Блока «Стихи о Прекрасной Даме» в журнал «Новый путь» (1904, декабрь).

48. БЛОК — ГИППИУСУ

‹23 ноября 1902 г.›

Милый Александр Васильевич.

Пожалуйста, не приходите ко мне 24-ого в воскресенье. Я уйду. Мне лучше. Думаю придти к Вам на той неделе.

Ваш Ал. Блок

23/XI 1902. СПб.

49. БЛОК — ГИППИУСУ

Петербург. $4^1/_2$ часа дня 1 дек‹абря› 1902 (воскресенье)

Дорогой Ал‹ександр› Вас‹ильевич›. Пишу не дома, потому карандашом. Можно завтра после 6-ти дня зайти к Вам? Если Вам куда-нибудь нужно, уходите, это ничего. Мне только хочется Вас видеть, притом не надолго — часов в 8 (или раньше) опять необходимо уйти. Извините, но я не совсем «в себе». Когда дóльше — не знаю.

Любящий Вас Ал. Блок

50. БЛОК — ГИППИУСУ

3 декабря 1902. СПб.

Милый Александр Васильевич.

Ведь я чуть не пришел к Вам вчера [1]. Был у Менделеевых около $^1/_2$ часа. Пошел вниз и увидел, что швейцар ушел и запер мои калоши, шапку и пальто. Ждал его долго, стучал, звонил, курил и пел. Наконец, не дождавшись, ушел опять наверх и сидел у Менделеевых уже весь вечер.

---

* Это меня очень интересует (*франц.*).

Вина не моя, тут больше судьба. Приду к Вам когда-нибудь, написав об этом заранее. Думаю, что скоро. Не сердитесь на меня, я Вас очень люблю и хочу видеть, но — «время войне, и время миру» (и вообще — см. Экклесиаст, глава 3, стихи 1—8) [2].

Любящий Вас Ал. Блок

[1] Как свидетельствует А. В. Гиппиус, в этот день Блок заходил к нему в начале вечера, потом пошел к Менделеевым и обещал скоро вернуться. Гиппиус жил тогда на Фонтанке, недалеко от квартиры Менделеевых.

[2] Ссылка на «Екклесиаст» не случайна: у Блока в ту пору и в стихах звучат библейские мотивы — так, 24 сентября того же года им было написано стихотворение «Экклесиаст» «Благословляю свет и тень. . .» (переложение части XII главы (ст. 3—6) «Екклесиаста», отчеркнутой на полях экземпляра Библии, принадлежавшей Блоку. — Библия. СПб., 1900, с. 771—773).

«Время войне, и время миру» — цитата из указанной Блоком III главы «Екклесиаста» (ст. 8).

51. БЛОК — ГИППИУСУ

<13 декабря 1902 г.>

Милый Александр Васильевич.

Представьте, что я опять болен и сижу в постели. Все это меня очень не устраивает по многим причинам. Если можете, придите ко мне как-нибудь вечером или обедать, или днем, когда хотите. Может быть, будет опять жар и все прочее, так что еще по крайней мере до понедельника я совсем никуда не уйду, а в понедельник, разве что, к доктору. Все эти дни я почти не бывал дома с утра и до поздней ночи. 6 декабря сделал визит Лучинским [1] и видел там «молодых». Все они, по-моему, не только не молоды, но и очень стары — до ветхости. Даже рассердился. Никто ничего не понимает. Один раз был у Мережковских с Бенуа [2], Дягилевым [3] и Философовым [4]. Зинаида вывезла вашего брата на большую дорогу — впрочем умеренно [5]. Мои мысли отдельны и целомудренны. Все собираюсь писать хорошие стихи и не нахожу основной субстанции, которую я потерял месяца полтора тому назад [6]. Но она близко. Был на двух концертах Олениной д'Альгейм [7]. Все вообще, что со мной происходит, — вне обыкновенного. Приходите — поговорим.

Ваш Ал. Блок

13/XII 1902. СПб.

[1] См. п. 1, прим. 2. «Молодые» — Блок имеет в виду Е. И. Лучинскую, вышедшую замуж весной 1902 г., и ее мужа.

[2] Александр Николаевич *Бенуа* (1870—1960), художник и художественный критик, искусствовед, глава и идеолог «Мира искусства».

[3] См. п. 19, прим. 3.

[4] Дмитрий Владимирович *Философов* (1872—1940), публицист и литературный критик.

[5] Речь идет о Владимире Васильевиче *Гиппиусе* (1876—1941) — поэте и критике, брате А. В. Гиппиуса.

[6] В ноябре 1902 г. написаны последние стихи VI раздела книги «Стихи о Прекрасной Даме».

[7] В сезон 1902—1903 гг. в зале Городского кредитного общества в Петербурге давала концерты певица Мария Алексеевна Оленина д'Альгейм, пропагандистка русской музыки за границей, особенно М. П. Мусоргского, которому посвящена ее брошюра «Заветы М. П. Мусоргского» (1910). Оленина д'Альгейм пользовалась известностью и в литературных кругах. С. Соловьев посвятил ей третью книгу стихов «Цветник царевны», а Блок — стихотворение «Темная, бледно-зеленая //Детская комнатка. . .». 1 декабря 1903 г. Блок писал С. Соловьеву о впечатлении, которое произвело на него выступление Олениной д'Альгейм. В 1908 г. Оленина д'Альгейм вместе с мужем основала «Дом Песни» в Москве.

52. БЛОК — ГИППИУСУ

‹30 декабря 1902 г.›

Милый Александр Васильевич.

Служба в церкви начнется в 7 часов [1]. Приходите обедать. Все время пишу реферат непомерной длины, даже слишком. Был у доктора, он сказал, что лучше.

Ваш Ал. Блок

30/XII 1902. СПб.

[1] А. В. Гиппиус поясняет в своем примечании, что мать Блока пригласила его пойти с ней в церковь Георгиевской общины вечером 31 декабря 1902 г.

53. БЛОК — ГИППИУСУ

‹10 января 1903 г.›

Милый Александр Васильевич!

В субботу и воскресенье у меня два родственных собрания. Там необходимо быть. Вообще — выхожу. Думаю придти к Вам в *понед*‹ельник› или во *вторник* вечером. Если можно — не пишите, если соберетесь уйти — лучше напишите.

Ваш Ал. Блок

10/I 1903. СПб.

54. БЛОК — ГИППИУСУ

14 янв‹аря› 1903

Милый Александр Васильевич!

Я не пришел к Вам только потому, что услышал у Кублицких [1] о ветряной оспе у вашего маленького брата [2]. Правда ли это? Этих ходячих болезней боюсь теперь, как огня (конечно, — не для себя). Напишите, если действительно так, лучше подожду приходить. Я все время страшно занят и устал физически сильно, но отдыхать совсем нет времени. Однако думаю, что «мы отдохнем» [3].

Ваш Ал. Блок

[1] См. п. 41, прим. 1.

[2] Василий Васильевич *Гиппиус* (1890—1942) — поэт и литературовед. См. его воспоминания «Встречи с Блоком» («Ленинград», 1941, № 3, с. 18—20).

[3] Слова Сони из пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня».

55. ГИППИУС — БЛОКУ

15 янв‹аря› 1903 г. Фонтанка 116, кв. 54

Милый Александр Александрович! Наконец-то я разгадал по существу, почему Вы ко мне не приходите и не приходили все время: мне просто не суждено Вас увидеть очень долгое время! Если Вы боитесь ветряной оспы (хотя совершенно напрасно — она какая-то «ветреная!»), то не приходите ко мне, пока я Вас не извещу.

Я, конечно, не могу понять, за кого Вы боитесь, если не за себя, насколько мне известно, Вы не женаты, детей у Вас нет. Впрочем дело ваше.

Я не имею никакой возможности придти к Вам, так дела по горло. Устать я еще не устал, да и надеюсь не устану до окончания экзаменов.

Если бы Вы знали, как мне помогает блуждающая почка, т. е., конечно, не сама почка, а пояс, который я ношу для ее излечения.

Что Вы теперь поделываете? Судя по вашему письму не бываете у Мережковских. Объяснение: Вы боитесь заразы, а Альма — драма Минского — поцеловала прокаженного. А всему миру известно, что Гедда Габлер, Альма, не кто иная, как сама Зинаида Николаевна! Если ее увидите, спросите читала ли она «Драму жизни» Гамсуна (издание «Скорпиона»). Я прочел эту драму и нахожу, что ее героиня недурное изображение Зина-

иды Николаевны или прекрасный сюжет для подражания и воплощения в конкретный образ Зинаидой Николаевной. Впрочем, это шутки — а всерьез драма эта недурна и при первом свидании дам ее Вам почитать. «Нового Пути» так и не видал. А Вы? Получили? Думаю, что нет.

Кстати: читал на обложке «Драмы жизни», что Альманах «Скорпиона» на 1903 год уже печатается.

Впрочем, пребываю к Вам благосклонным и искренно любящим Вас

Александр Гиппиус

56. ГИППИУС — БЛОКУ

‹20 января 1903 г.›

Милый Александр Александрович!

Когда я узнал от Андрея [1] о смерти Соловьевых [2], я первым делом вспомнил о Вас и мне захотелось Вас видеть, но я не знал, знаете ли Вы об этом и потому не решался Вам написать. Сегодня Софья Андреевна [3] мне говорила, что Вы оттого не ходите ко мне, что не вполне уверены в ветренности оспы моего брата. Уверяю Вас, что она ветренна до последней степени и ее почти нет. Если остановка была только из-за нее — не бойтесь, приходите. Буду очень и очень рад Вас видеть. Дома я всегда ‹. . .›

Если не можете придти — напишите что-нибудь, как себя чувствуете. Это очень не хорошо, что мы не видимся. Уеду в провинцию, тогда свидания сделаются невозможны даже при желании.

Очень Вас любящий Александр Гиппиус

1903 20-I СПб.

[1] См. п. 41, прим. 1.

[2] Михаил Сергеевич *Соловьев* (1862—1903), педагог и переводчик, брат Вл. Соловьева и его жена — Ольга Михайловна (урожд. Коваленская), двоюродная сестра матери Блока, покончившая с собой сразу по смерти мужа.

[3] См. п. 41, прим. 1.

57. БЛОК — ГИППИУСУ

‹22 января 1903 г.›

Милый Александр Васильевич.

Теперь еще не приду к Вам. Мама очень серьезно больна, у нее растяжение сердца. Прописан строгий режим, между прочим совсем запрещено вести разговоры. Вероятно, понадобится ехать за границу. Мне лучше, по возможности, проводить вечера с мамой [1]. Все, что произошло и происходит, — к лучшему [2].

Любящий Вас Ал. Блок

22/I 1903. СПб.

[1] У матери Блока в 1896 г. был обнаружен сильно развившийся порок сердца, ей было предписано лечение углекислыми ваннами за границей (курорт Наугейм). Блок был дружен с матерью, понимавшей и разделявшей его творческие устремления. «. . .Ранние попытки писать обнаруживают ‹. . .› великую нежность Саши к матери», — сообщает его тетка (М. Бекетова. Александр Блок и его мать. Л.—М., 1925, с. 31). Эта нежность и духовная близость сохранились и впоследствии, о чем свидетельствуют письма поэта к матери, воспоминания его тетки и других современников.

[2] В январе 1903 г. происходят два важных события в жизни Блока: 2 января он делает официальное предложение Л. Д. Менделеевой и получает согласие ее родителей; 3 января начинает переписку с А. Белым.

58. ГИППИУС — БЛОКУ

30 янв‹аря› ‹1903 г.›

Милый и дорогой Александр Александрович! Я бесконечно огорчился вашим последним письмом. Я от всего сердца желаю скорейшего выздоровления Александре Андреевне [1] и вполне Вам сочувствую. Очень бы хотел Вас повидать, и если бы это удалось, был бы бесконечно счастлив. Если Вам трудно придти ко мне, может быть, мы могли бы встретиться где-

Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА
Фотография, 1900 г.
Литературный музей, Москва



нибудь на полпути. На Финляндском вокзале? У Эрмитажа? В Летнем саду? Может быть, Вы что-нибудь и придумаете. Вы мне пишете, все что совершилось и совершается — к лучшему. Я совершенно с Вами согласен, но не надо упускать из виду одну черту. Помните у Фета «Те язвы, быть может, целебны — но больно! . .» [2]

Сообщу Вам нашу семейную новость. Мой второй брат Лёва [3] женился на своей кузине, сестре Елены Васильевны. В это воскресенье я был у них в Нарве.

Из старших братьев только я один холостяк. Положим, я еще не имею чина и не состою на государственной службе. Напишите мне о себе, мой милый, буду ждать вашего ответа с нетерпением.

Очень Вас любящий Александр Гиппиус

Еще раз желаю Вам всего хорошего.

СПб. 30 янв.

[1] Мать Блока.
[2] См. п. 19, прим. 1.
[3] Лев Васильевич *Гиппиус* (1880—1922).

59. БЛОК — ГИППИУСУ

〈2 февраля 1903 г.〉

Милый и дорогой Александр Васильевич!

Прежде всего поздравляю Вас и всех ваших и Льва Васильевича. Я ужасно радуюсь. Ведь это непомерно важно. Знаю Льва Васильевича мало, но думаю, что его жизнь и его *живые* факты по важности первостепенны [1]. А *такие* факты, как совершившийся, должны соприкоснуться с неожиданно Великим — с «рубежом Земли Обетованной» [2]. Тут всем надо «радостно плакать», потому что еще и еще, как все чаще и выше, поднимается и трепещет завеса, мелькают образы Иного «за гранью прош-

лых дней». Радостно поздравляю Вас, крепко целую, очень хочу, чтобы и к Вам «это» придвинулось, «сладостно и больно» возмутило. Вы говорите: «Те язвы, быть может, целебны — но больно» [3]. «Он» (Фет) здесь еще лирик. Это не надо. Вспомните лучше:

Много промчалось веков,
Сменяя знамена и власти,
Много сковали оков
Вседневные мелкие страсти, —
Вынырнул снова поток. . .
Струею *серебряной* мчало
Только лавровый венок,
Да мчало Ее покрывало [4].

И подобное (напр<имер>: «О, не зови. . .») [5].

Солнце любви *неподвижно* [6].

Смен нет. Все — одно, «единое во многом» (ἕν ἐν ὁμοίῳ) * *Чудеснее* рождения, брака, смерти нет ничего именно потому, что это не смены, не нарушение порядка, а *поправка*, предостережение (иногда) для сошедшего со стези, и всегда — прикасание окружающих, давно не смеявшихся и не плакавших со страстью, — к великолепию, к благолепию, к Неисповедимому. Я равно праздную все это. Вспомнить только: «Девица не умерла, но спит» [7]. Надо ходить около тихо, без шороха, чтобы не разбудить празднующих свое Великое и Последнее Молчанье.

Мама чувствует себя все так же — плохо. К нам не надо приходить. Я непременно приду к Вам и скоро. Вы писали, что почти всегда вечером дома. Буду избегать вторника и пятницы, когда Вы можете остаться после обеда у Антиповых [8]. Так ли? В остальные дни еще не могу сказать наверное. Но думаю, что на этой неделе приду к Вам — вечером. Интересно, как Вы думаете про поездку в Сибирь с Кублицкими? [9] Обо всем этом, если не захотите, не пишите, лучше поговорим. Я ужасно устал и не перестаю уставать физически — но все это — так надо — и необходимо. Чувствую же себя хорошо. Вас очень люблю и крепко целую.

Ваш Ал. Блок

2/II 1903. СПб.

[1] См. п. 58, прим. 3.

[2] Цитата из стихотворения А. Фета:

Когда мои мечты за гранью прошлых дней
Найдут тебя опять за дымкою туманной,
Я плачу сладостно, как первый иудей
На рубеже земли обетованной.

Цитируется по книге, хранящейся в библиотеке А. Блока (ИРЛИ): А. Фет. Полн. собр. стихотворений, т. I. СПб., 1901, с. 275; стихотворение отмечено Блоком крестом и отчеркнуто на полях. Заимствуя из вышеприведенного стихотворения название для цикла своих стихов и для своей книги «За гранью прошлых дней», Блок писал в мае 1919 г., что эти строки были для него некогда «путеводной звездой».

[3] См. п. 19, прим. 1.

[4] Цитата из стихотворения А. Фета «В пене несется поток» (А. Фет. Полн. собр. стихотворений. Л., «Сов. писатель», 1959, с. 484); только у Фета не «Ее покрывало», а «ее покрывало». Эти же стихи цитируются Блоком в письме А. Белому от 3 февраля 1903 г. и в статье «Рыцарь-монах» (1910).

[5] Из стихотворения Фета «О, не зови! Страстей твоих так звонок. . .» (там же, с. 253).

[6] Неточная цитата из строфы Вл. Соловьева, резюмирующей его миросозерцание:

Смерть и Время царят на земле,
Ты владыками их не зови;
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

* Греч.

Строка взята из стихотворения «Бедный друг, истомил тебя путь. . .» (Вл. Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., «Сов. писатель», 1974, с. 79).

[7] Цитата из Евангелия: «Сказал им: выйдите вон; ибо не умерла девица, но спит» (Евангелие от Матфея, IX, 24).

[8] См. п. 36, прим. 5.

[9] Семья тетки Блока Софьи Андреевны приглашала Гиппиуса ехать в качестве учителя младшего сына с ними на зиму в Барнаул.

60. ГИППИУС — БЛОКУ

‹Февраль 1903 г.› [1]

Милый Александр Александрович! Я был очень обрадован вашим письмом. Большое спасибо за поздравление.

Приходите — буду ждать Вас всю неделю, кроме субботы.

У Антиповых [2] я больше не даю уроков еще с декабря, между прочим потому, что они живут в Гатчине.

Очень конфиденциально! Не подчеркивайте в нашей семье свадьбы Левы, т. е. не надо поздравлять, когда придете. Отчасти объясню при свидании.

Чувствую последнее время себя очень плохо. Сейчас иду к доктору.

Приходите же непременно и помните, что даже вторников и пятниц избегать нечего.

А. Гиппиус

[1] Датируется по связи с письмом 59.

[2] См. п. 19, прим. 1.

61. БЛОК — ГИППИУСУ

‹15 февраля 1903 г.›

Милый Александр Васильевич.

Я так необыкновенно устал за это время, что еще не приду к Вам. Даже сплю плохо, не могу заснуть. Все это нравственно *не* действует дурно, зато — физически. И вся зима такая, в отношении всех и всего. Даже хорошо.

Любящий Вас Ал. Блок

15/II 1903. СПб.

62. ГИППИУС — БЛОКУ

‹Февраль—март 1903 г.›

Милый Александр Александрович! Так как Вы при последнем нашем свидании согласились придти ко мне как-нибудь, то считаю долгом предупредить Вас, что я не буду дома: в пятницу, т. к. отправлюсь в этот день в Гатчину, и, вероятно, воскресенье вечером. В четверг у нас будут сестры Мейстер. Может быть, захотите их повидать. ‹. . .›

Приходите в воскресенье пораньше, вечером я, может быть, уйду — я возобновил одно знакомство, потом расскажу.

Выписал себе «Новый путь» и нахожу его довольно-таки интересным, несмотря на то, что моя кузина Зина [1] мне не нравится, даже когда она тянется к звездам, так как тянется она, как *резина**. Но все-таки журнал очень жив. Особенно второй нумер. Читаю я, впрочем, мало, больше смотрю.

Чем и кем Вы живете? Я главным образом А. М. Д., хотя буквы совершенно другие. Увидимся — скажу какие, хотя это так понятно.

Я как-то был в концерте в Дворянском и слушал между прочим Дальского, Мальского и Адельгейма. Вывел следующее заключение. Что Даль

* Здесь очевидно автор хотел сострить хотя бы с помощью курсива. Примеч. Козьмы Пруткова.

в Дальском так же не причем, как Маль в Мальском и Адель в Адельгейме. Ибо Дальский очень и очень посредственен и едва ли не бездарен — но зато Адельгейм прекрасен — вот актер, играет он в Пассаже. Если ходите в театры, посмотрите его. Я его на сцене не видел, но судя по декламации (Ричард 3 и Шейлок), это большой актер.

Больно жму вашу руку Александр Гиппиус

P. S. Андрей [2] в восторге от имени Гиппократа. Еще бы это соединение Гиппиуса и Сократа!

[1] З. Н. Гиппиус.
[2] Андрей Кублицкий-Пиоттух.

63. БЛОК — ГИППИУСУ

8 марта 1903. СПб.

Милый Александр Васильевич!

Простите, что не отвечаю долго и не прихожу. Думаю придти к Вам на этой неделе, ведь Вы часто дома вечером.

Дня еще не могу указать, но, если не застану, — ничего, приду в другой раз.

64. ГИППИУС — БЛОКУ

‹Февраль—март 1903 г.›

Милый Александр Александрович!

Простите мне, если можете, мою невежливость. Я написал Вам несколько писем, но почему-то не послал их. И Вы до сих пор не получили отклика на ваше послание. Мне было неизмеримо жалко, что Вы меня не застали, так мне очень хотелось и хочется Вас видеть.

Сижу обыкновенно дома, но чувствую себя иногда плохо и тогда ухожу куда-нибудь.

Часто очень жалею, что не могу пойти к Вам. Приходите когда хотите — днем, к обеду, вечером — всегда буду неизмеримо рад Вас видеть. Только лучше известите. Нам не нужно избегать свиданий друг с другом, так, в будущем году мы, вероятно, не будем видеться.

Принесите почитать свои стихи, но в рукописи, так я плохо ловлю, когда мне читают, а не я читаю.

Приходите, милый!

Любящий Вас Александр Гиппиус

65. ГИППИУС — БЛОКУ

30 марта 1903

Милый и дорогой Александр Александрович!

Вы меня опять совершенно незаслуженно позабыли. Я Вас часто ждал и не дождался до сих пор. Дома я постоянно. Приходите, когда хотите, конечно, лучше вечером. Как Вы себя чувствуете? Думаю, что очень хорошо и светло. Приходите и приносите ваши стихотворения. Те, что напечатаны в «Новом пути» [1], — читал и содержание оных не вполне одобрил. По-моему, если выбирать из всех ваших стихотворений — двенадцать, — то можно выбрать гораздо лучшие. Царевна и царица [2] мне все больше нравится, а Эклесиаст [3] все меньше. Вообще я теперь очень впечатляем и еще не все вполне понял, когда отдохну, тогда вчитаюсь больше. Экзамены мои распределены очень удобно. Занятия идут посредственно, но надежда шевелится сильнее, чем когда-либо. Приходите же. В прошлый раз я Вам говорил, что, может быть, летом приеду к Вам в Шахматово. Но увы! Беру свои слова назад. Если

все будет благополучно и сдам куда следует и как следует экзамены [4] — то уеду (куда — скажу, когда увидимся, но во всяком случае очень далеко).

Крепко Вас целую и очень Вас жду

Александр Гиппиус

[1] В журнале «Новый путь» (1903, март) был напечатан цикл из десяти стихотворений Блока «Из посвящений».

[2] Стихотворение «Царица смотрела заставки. . .»

[3] См. п. 50, прим. 2.

[4] Гиппиус готовился к государственным экзаменам в университет, которые не сдал.

66. БЛОК — ГИППИУСУ

‹4 апреля› [1] 1903. СПб.

Милый и дорогой Александр Васильевич!

Христос воскрес. Уж до Пасхи не увидимся. Помимо всего прочего, у меня первый экзамен 15 апреля. Думаю придти к Вам на Пасхе. Может быть, и Вы придете? Целую Вас крепко и поздравляю. Вечер, устал и как-то не пишется.

Ваш Ал. Блок

[1] Датируется по почтовому штемпелю.

67. ГИППИУС — БЛОКУ

‹5 апреля 1903 г.›

Христос воскрес! Милый, хороший Александр Александрович! Спасибо Вам за письмо. Очень Вас благодарю. Спасибо, что собираетесь придти ко мне, но лучше не приходите до экзамена. Экзамен 21-го. Дела мои очень плохи. Но почувствовавший безвыходность положения — несомненно, чувствует себя бодрее и спокойнее.

Счастливый, довольный не покоен. Поэтому я к своему будущему крушению отношусь твердо. Какой славный сегодня день. Какое солнце.

Вам, должно быть, очень хорошо. Дай Вам бог счастья.

Вероятно, Вы встретите Христово Воскресенье в церкви. Где я встречу — не знаю. Кажется, нигде.

«И странная тоска теснит чуть грудь мою!. .» [1]

Крепко Вас целую.

Очень прошу Вас передать мой искренний и сердечный привет Александре Андреевне и Францу Феликсовичу [2].

Дай Вам бог счастья.

Очень Вас любящий Александр Гиппиус

Суббота великая 1903 года.

[1] Неточная цитата из стихотворения Ю. Жадовской: «Я все еще его, безумная, люблю. . .». У Жадовской: «Тоска по-прежнему сжимает грудь мою. . .». «Стихотворения Юлии Жадовской». СПб., тип. Э. Праца, 1858.

[2] Мать и отчим Блока.

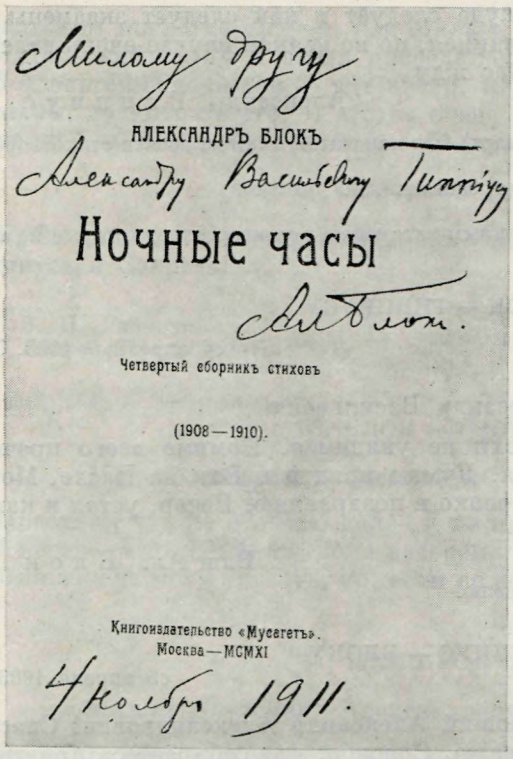
68. БЛОК — ГИППИУСУ

20 апреля 1903. СПб.

Милый и дорогой Александр Васильевич.

У меня 24-ого экзамен Введенского. До тех пор думаю, что не приду к Вам. Но после этого (не в день экзамена, а позже) думаю, что приду, тогда напишу. Или Вы приходите, если не трудно. Дела ужасно много. Кроме экзаменов, еще много нерешенного и многое нужно сообразить. Как Вы себя чувствуете? Я очень хорошо, только озабоченно — и сильно устаю.

Ваш Ал. Блок


Милому другу

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ

Александру Васильевичу Гиппиусу

Ночные часы

Ал. Блок.

Четвертый сборникъ стиховъ

(1908—1910).

Книгоиздательство «Мусагетъ».
Москва—MCMXI

4 ноября 1911.

А. БЛОК. «НОЧНЫЕ ЧАСЫ». М. «МУСАГЕТ», 1911
С дарственной надписью А. В. Гиппиусу от 4 ноября 1911 г.
Собрание Е. С. Шальмана, Москва

69. ГИППИУС — БЛОКУ

Сретенск, 15 августа 1903

Милый и дорогой Александр Александрович! На свете совершаются иногда события странные, от нашей воли не зависящие и нам непонятные. Отчего мы так долго не подавали друг другу голоса — хотя адреса были известны и, говоря формально, это ничего не стоило. Но по существу дело было не так-то просто. Вы были заняты будущей жизнью — свадьбой — самым великим и значительным, что может быть в жизни человека. Я — работал с утра до ночи, а когда был свободен — то погружался в неделанье и радовался этому — до письма ли тут. А *<1 нрзб>* я был совершенно сверх ожидания. Послали меня к черту на кулички регистрировать переселенцев, а недели через две по приезде сделан заведующим переселенческим пунктом на ст. Маньчжурия, сохранив за мною обязанности регистратора [1]. Пункт этот оказался большой важности — не угаданной заранее — думали, что это будет в этом году маленький лечебный и врачебный пункт — а оказалось, что на долю чиновника оказалось пропасть работы. Так что мне одному приходилось быть и чиновником, и писарем, и регистратором. Так что работы хоть отбавляй. Условия работы необыкновенно счастливы и удачны. Значительная самостоятельность и милое общество. Все барышни-фельдшерицы. Заведующие хозяйством петербургские курсистки, народ по большей части серьезный и работящий (бывали и исключения). А Вы знаете, как у любых барышень (предтечи вечного сиянья!). Пишу и думаю — ведь Вы, вероятно, теперь женаты, хотя не знаю наверное, а я Вас еще не поздравил как следует, поздравляю, конечно, от всего сердца Вас, жену вашу и всех близких вашему сердцу с той радостью, которая охватила ваше сердце, которой Вы живете. Рад был бы чрезвычайно видеть Вас, поцеловать и поздравить Вас от всего сердца. Но что делать. На днях будет здесь начальник управления, и его приезд решит мою зимнюю судьбу, останусь ли я в Маньчжурии или прекращу

свою деятельность и все свои силы употреблю на подготовку к весенним экзаменам. Но какие отношения будут с Андреем [2], до сих пор не знаю. Я ему до сих пор не ответил, по той же причине и Вам и многим близким. Если не трудно — черкните ему пару слов обо мне. Напишите, что скоро напишу ему сам, что помню его, люблю и желаю всего хорошего.

Здоровье мое не лучше, чем в Петербурге, — слабовато. Теперь я в Стретенске: по начальству сдать отчет и воспользовался, чтобы отдохнуть среди милых и интересных сослуживцев. О всех них потом, в другой раз, а пока прощайте. Стретенск — чудо — зеленые горы, река Шилка — «совсем как за границей».

Очень Вас любящий Гиппиус

[1] А. В. Гиппиус, потерпев неудачу со сдачей государственных экзаменов и получением университетского диплома, в конце апреля 1903 г. уехал из Петербурга на Дальний Восток.

[2] Андрей Кублицкий-Пиоттух, двоюродный брат Блока, ученик А. В. Гиппиуса.

70. ГИППИУС — БЛОКУ

‹Сентябрь или октябрь 1903 г.›

Милый и дорогой Александр Александрович! Пишу Вам и чувствую себя безмерно перед Вами виноватым. И вина моя глубока: не поздравил Вас и Любовь Дмитриевну как следует вовремя, хотя помнил Вас и думал о Вас много и нежно. Не удалось мне быть на вашей свадьбе, увидеть воочию ваше счастье, поздравить вас и пожелать долгой и вечной радости [1]. Да благословит господь ваш брак. Мне очень грустно, что я так мало знаю Любовь Дмитриевну и еще грустнее делается, когда вспомню, что в этом виноваты Вы лично. Передайте ей от меня поздравления и самые сердечные и глубокие пожелания. Бог даст увидимся вскоре (через год) и лучше узнаем друг друга. Очень поздравляю Александру Андреевну и Франца Феликсовича [2], очень прошу передать им мой привет.

Если бы Вы знали, как грустно жить вдали от всех близких и родных сердцу — но тем не менее хочется остаться здесь, пока не сдам весенних экзаменов и выпутаюсь из жизненной каши. Живется здесь мне не так плохо, так как и здесь, на Дальнем Востоке, можно встретить людей не только милых и добрых, но очень умных и интересных. Моя теория, что люди в провинции не хуже и не менее значительны, чем в столице, подтвердилась самым блестящим образом.

Вообще представление о провинции в Петербурге неверное, если не сказать превратное.

Есть у меня большая к Вам просьба, Александр Александрович. Если можно, зайдите к моим родителям, навестите их и напишите мне свои впечатления, особенно об отце, как Вы его нашли. Адреса их я еще не знаю, но его можно узнать на Высших курсах. Буду от всей души Вам благодарен. Тоже прошу относительно брата Володи — навестите его, и вообще навещайте, это будет для нас обоих хорошо. Вы знаете! У него сын (и о нем напишите), которого я еще не видел. Просто ужас, когда вспомню в какой дали я от Вас.

Где именно буду зимой — неизвестно. Очень хлопочу остаться здесь, на своем Маньчжурском пункте, которым заведую с середины июня. Не знаю, удастся мне достигнуть этого, но предпринимаю для достижения цели самые энергичные шаги.

Можно сказать — я нахожусь в другом государстве, так как подчинен наместнику. ‹*И нрзб*› чем я человек маленький. Странно Вам, что я почти ничего не пишу о своей службе, своих восточных впечатлениях, но это в другой раз, когда буду поспокойнее, а пока я настроен тревожно из-за будущности.

Очень крепко Вас целую, люблю и жду письма. Пишите пока по старому адресу.

А. Гиппиус

[1] Свадьба А. А. Блока и Л. Д. Менделеевой была 17 августа 1903 г. в с. Тараканово, близ Шахматова.
[2] Мать и отчим Блока.

71. БЛОК — ГИППИУСУ

2 ноября 1903. СПб.

Мой милый и дорогой Александр Васильевич.

Простите меня по доброте Вам свойственной. Я совсем избаловался относительно писем. Отвечаю всем редко и мало, скорблю о неполучении ответов.

Спасибо Вам, дорогой мой, за все, что Вы пишете, в частности, за горячие слова мне и моей жене. Она Вас очень благодарит и очень Вам кланяется [1]. Я боюсь, что это письмо уж Вас не застанет, потому что провел недавно вечер у ваших. Они ждали тогда вашего ответа — едете ли Вы сюда. Все они, как всегда, были со мной такие милые и славные. Только вашего папу я не застал и счел это за благоприятное свидетельство о его здоровье. И мама и сестра говорили, что он чувствует себя хорошо. Вася был задумчив, но разговорился. А Владимир Васильевич [2] живет в Царском селе и целый день проводит в Пб-ге на службе и в двух гимназиях, так что мне к нему не попасть теперь, тем более, что мы с женой ужасно много сидим дома. Учиться нужно, писать сочинение («Сказания об иконах Божьей Матери») и рефераты, понемногу приготовляться к государственным экзаменам и, по всей вероятности, к урокам русской словесности после окончания курса [3]. Так определяется пока мое *ближайшее* будущее, которое мне улыбается. Вас надеюсь и хочу очень видеть скоро, на что могу рассчитывать только на основании сведений, полученных от ваших родных, а не из вашего письма. Кстати, в новой квартире ваших я видел комнату Веры Васильевны [4] и столовую. Ужасно уютно и тихо, а столовая почти совсем такая, как на Фонтанке, и многое напомнила мне из прежнего, которое неизменно «мило». Мне странно писать Вам. Вы за тридевять земель, и я не могу представить себе ни одного вашего часа. В последний раз Вы писали в беспокойстве о делах ваших со службой. И как это Вы служите? Для меня особенно непостижимо последнее, потому что я имею еще право учиться и в этом (официальном) отношении быть спокойнее. Стихи, прекратившиеся было, возобновились [5]. И могу оглядеться. Ближайший громадный факт моей жизни прошел в идеальной обстановке. Свадьба была в Шахматове, оттуда мы с женой в тот же день уехали в Пб-г и прожили три недели вдвоем. Потом вернулись наши, жизнь пошла теперь скоро, внутренно деятельней. Ходим ежедневно в Университет и на курсы, мало куда еще. За границей мы с мамой провели время неприятно, скучно, медлительно, однообразно. Лечение ей не очень помогло. Я чувствую себя хорошо, только устаю. Кублицкие живут здесь всю зиму, Андрей учится, кажется, усердно. Он очень был рад вашему письму. Имеет двух учителей и одну учительницу (прежнюю). Отец его в Сибири [6]. Так давно не писал Вам, что сообщаю большей частью одни факты. Логика — ясна? О многом и писать не хочется, а приятно сказать. Да ведь и краски принимают под влиянием времени оттенки, не всегда уловимые в письме. Время бежит. Увидимся же скоро. Целую Вас крепко, обнимаю нежно, милый друг! Жена моя Вам сочувствует. Мама и отчим просят Вам передать приветствия самые лучшие.

Любящий и преданный Ал. Блок

[1] См. письмо 70. В нем А. В. Гиппиус поздравлял Блока и его жену с их свадьбой.
[2] Василий и Владимир Васильевичи — братья А. В. Гиппиуса. К ним, а также к родителям Гиппиуса Блок заходил по его просьбе. См. письмо 70.
[3] Блок собирался писать кандидатское сочинение «Сказания об иконах Божьей Матери», потом охладел к этой теме, думал заняться письмами Жуковского и, наконец, по-

дал кандидатское сочинение «Болотов и Новиков» (окончено 14 октября 1904 г.). Беловая рукопись этой работы была передана Блоком в 1905 г. проф. И. А. Шляпкину и затеряна им. После окончания университета Блок на службу не определялся.

[4] Вера Васильевна (род. 1882) — сестра А. В. Гиппиуса.

[5] К ноябрю 1903 г. относится увлечение Блока творчеством Брюсова (книгой «Urbi et orbi») и подготовкой сборника стихов для издательства «Гриф».

[6] Андрей *Кублицкий-Пиоттух* — сын Адама Феликсовича Кублицкого-Пиоттух, брата отчима Блока.

72. БЛОК — ГИППИУСУ

20 декабря 1903. Петербург.

Милый, дорогой Александр Васильевич.

Пишу Вам наугад, потому кратко. Где Вы? [1] Поздравляю Вас с праздником. Целую и обнимаю крепко. Хочу видеть. Постоянно вспоминаем Вас, не забываем и любим. Давно уже (с осени) не имею от Вас никаких известий. У ваших был только раз (писал Вам): далеко, был очень занят, а теперь простужен. Письмо опоздает или не дойдет. Но, ведь приедете же Вы! И убедитесь мистически, что я Вас по-прежнему люблю.

Ваш Ал. Блок

Будьте здоровы. Пусть будет Вам хорошо, милый. Люба кланяется Вам. И мама, и отчим.

[1] Это письмо адресовано на ст. Манчжурия, где А. В. Гиппиус жил до февраля 1904 г.

73. ГИППИУС — БЛОКУ

5 января, 1904, Манчжурия

Милый, дорогой Александр Александрович!

Чувствую себя пред Вами так виноватым, что делается стыдно при одном воспоминании. Сегодня получил ваше поздравление и ваших близких и надеюсь, что мои поздравления тоже получены. Что же делать? Писать совершенно нет времени: утром дела служебные поглощают меня до обеда — часов до 2 или до часу — обед — остальное время все в занятии. Конечно, бывают минуты, часы (очень редко дни), когда ничего не в состоянии делать — но это так редко. Занятия подвигаются не слишком быстро, но зато сознательно. Верю и надеюсь, что кончу этой весной.

Сегодня 5-ое. Через десять дней кончается срок моей службы, и я перекочевываю в Томск, где и завершу мою учебную карьеру. Найму себе комнату и буду готовиться еще усерднее.

Конечно, там будет одиночество — но оно поможет мне достигнуть цели.

Эту зиму я не был одинок. Пишу это Вам одному, как другу, которому могу поведать тайны, вернее, одному Вам не могу не поведать ее. Я служу вместе с фельдшерицей, милой и славной, чудной девушкой. Больше пока об этом ничего писать не могу. И если и напишу больше, может и раньше. Конечно, все может кончиться «к худу» — хотя и верю в обратное. На душе порою тяжело. <. . .>

Иногда предо мною ясно встает картина моей будущности: жизнь в провинциальном городе. Весна. Весна в провинции почему-то чарует мое воображение. Прозрачный воздух. Синее небо. Талый снег, вечерняя благовесть и т. д. Я холост, одинок — служу дельно, убежденно, но скромно. Может, воспитываю сироту (не смейтесь, ради бога!). Хожу в гости к Вам. У Вас семья: у Вас радости, дети, светло — ясно. А я грустно мечтаю — а придя домой пишу статьи мистические, ряд статей «о сущности», умираю рано (хотя не очень! Здесь улыбнитесь пронзительно). Но жизнь моя не пройдет бесследно! Уж в это я верю. Дудки! Довольно я ходил к Лучинским [1] и выслушивал их «западноевропейские», в частности, швейцарские глупости. Читали Вы «Кому на Руси жить хорошо?» Н. А. Некрасова? Представьте, я прочитал

этой осенью до конца эту скучную и плохо вышитую поэму и остался доволен. Удивительно скучная идея: Кому хорошо жить на Руси? — Мечтателям, верящим в нее, в ее будущее величие. И мне хорошо по той же причине.

Но одиночество, одиночество.

Той милой, хорошей, с которой разлучусь через 10 дней верю и молю бога!. .

Друг мой, дорогой и хороший, что Вы мне пишете: «убедитесь, что люблю Вас, когда приедете» [2]. Да ведь в это я безумно верю и теперь. А увижусь с Вами, конечно, буду радоваться вечной радостью. О Вас и Александре Андреевне [3] каждый день думаю.

Когда же мы увидимся? Верю, что: или весною, вернее в начале лета или осенью, опять-таки вернее в начале зимы — будущей. Где я буду служить в будущем? Конечно, в переселенческом ведомстве или вообще по делам. Но останусь ли в Манчжурии (есть привлекательная сторона) — или буду на ином «пункте», не знаю. Верю, что все будет хорошо. Получил «Нов. путь». Хотя времени нет, но урывками просматриваю и, кажется, все больше примиряюсь с ними. Дай ему бог всего хорошего. Напрасно только «они» терпят этого гнуснеца Бальмонта. Бываете Вы у Мережковских? Знаете, что умерла (так неожиданно!) мать Зин. Николаевны? Если бы Вы знали, как мне грустно было прочесть известие об ее смерти в газетах.

Собирался несколько раз писать ее дочери, но до сих пор не собрался. Пока прощайте, голубчик, пишите и не сердитесь, если пишу плохо, мне, правда, трудно. Пишите пока по старому адресу. Мне перешлют. Пока еще не знаю, как устроюсь в Томске. Передайте мой сердечный привет Любовь Дмитриевне, Александре Андреевне и Францу Феликсовичу [4] и Андрею [5]. Ему скоро напишу. Вас же крепко целую и обнимаю.

Любящий Вас А. Гиппиус

Будет время — навестите моих. Большое спасибо, что нашли, спасибо за известие о них.

[1] См. п. 1, прим. 2.
[2] См. п. 72.
[3] Мать Блока.
[4] Жена, мать и отчим Блока.
[5] Андрей Кублицкий-Пиоттух.

74. ГИППИУС — БЛОКУ

‹Февраль 1904 г.› [1]

Милый Александр Александрович. Не обижайтесь на меня и пишите. Мне некогда. Адрес: г. Томск, Жандармская улица, дом № 60, кв. 3 [2]. Я жив, здоров и доволен. Крепко целую Вас.

А. Гиппиус

[1] Датируется по связи с письмом Блока от 23 февраля 1904 г. (VIII, с. 89—93).
[2] А. В. Гиппиус переехал в Томск, чтобы весной 1904 г. держать государственные экзамены при Томском университете.

75. БЛОК — ГИППИУСУ

Пасха 1904 г. ‹20-е числа марта›

Милый и дорогой Александр Васильевич.

Крепко целую Вас и обнимаю. Христос воскрес. Напишите, когда будет время — как Вы? Жена, мама и Ф‹ранц› Ф‹еликсович› [1] Вам кланяются.

Ваш Александр Блок

[1] Отчим Блока.

76. ГИППИУС — БЛОКУ

<21 марта, 1904 г.> [1]

Христос воскрес! От всей души поздравляю Вас, милый Александр Александрович, и вашу жену Любовь Дмитриевну. От всей души желаю счастья.

А. Гиппиус

[1] Датируется по почтовому штемпелю.

77. ГИППИУС — БЛОКУ

30 сентября <1904 г.>

Милый Александр Александрович! Не сердитесь и не обижайтесь на меня бога ради! Все не мог к тебе до сих пор собраться [1].

Завтра рано утром уезжаю с женой в Нарву. Буду у тебя на следующей неделе, в начале которой вернусь в Петербург. Во всяком случае всегда рад видеть тебя у себя и удивляюсь, что ты не собрался. В этом у нас есть нечто общее.

Вообще будущая неделя для меня роковая. Выяснится относительно дальнейшей службы, где и как. Крепко тебя целую.

Твой Александр Гиппиус

[1] В начале сентября 1904 г. А. В. Гиппиус с женой приехал в Петербург и вскоре был у Блока. В одно из первых свиданий они перешли на «ты».

78. БЛОК — ГИППИУСУ

<1 октября 1904 г.>

Милый друг, не сердись, что я до сих пор не показываю носа. Причина тому — университет и усталость [1]. Мне хочется прийти к тебе на той неделе, как мы уговаривались, т. е. — или днем или вечером (начиная с понедельника). Лучше не назначать, если даже не застану, приду в скорости еще.

Твой любящий Ал. Блок

1/X 1904. С-п-б.

[1] Осенью 1904 г. Блок усиленно работает над кандидатским сочинением «Болотов и Новиков» (закончено в октябре).

79. БЛОК — ГИППИУСУ

26-ого октября 1904

Милый друг.

Можно прийти завтра (27-ого) вечером? Если вас не будет дома и нужно уйти — это ничего. Я приду, застану или не застану. Не отвечай.

Твой Ал. Блок

80. БЛОК — ГИППИУСУ

<Октябрь 1904 г.>

Милый Александр Васильевич!

Приходил во вторник и не застал тебя. Это ничего. Приду еще. И ты приходи, пожалуйста.

Твой Александр Блок

81. ГИППИУС — БЛОКУ

<14 ноября 1904 г.> [1]

Милый и дорогой друг! Шлю тебе и твоим родным привет от себя и от жены. Двигаемся вперед понемногу. Осталось до Манчжурии всего 2300 верст [2]. Через недельку будем там.

Твой А. Гиппиус

[1] Датируется по почтовому штемпелю.

[2] В ноябре 1904 г. Гиппиус с женой уехали из Петербурга вновь на Дальний Восток. Это и следующее письмо посланы с дороги.

82. ГИППИУС — БЛОКУ

16 декабря 1904

Дорогой друг Александр Александрович! Всем сердцем, всей душою поздравляю тебя, Любовь Дмитриевну, Александру Андреевну и Франца Феликсовича с праздником и желаю всего хорошего, радостного и святого. Жена моя просит передать ее поздравления и пожелания и шлет свой привет. Сижу на ст. Мысовск на берегу Байкала, среди гор, и это радует нас обоих. В скором времени (надеюсь) напишу тебе письмо большое, а пока жду твоего. Крепко, крепко тебя целую.

А. Гиппиус

83. БЛОК — ГИППИУСУ

16 ноября 1905 [1]

Милый Александр Васильевич.

Можно прийти к тебе в пятницу, — скорее вечером (а не к обеду)? Если можно, — не отвечай ничего, а если занят, — напиши.

Любящий тебя Ал. Блок

[1] В начале ноября 1905 г. А. В. Гиппиус снова приехал в Петербург.

84. БЛОК — ГИППИУСУ

3 декабря 1905. СПб.

Милый Александр Васильевич.

Я не пришел к тебе на этой неделе из-за груды обязанностей, свалившихся на меня. Получил от Венгерова работу («Очерк литературы о Грибоедове») [1] и сижу целые дни в Публ<ичной> библ<иотеке>. По вечерам — таскаюсь на литерат<урные> собрания возникающих журналов [2]; и возвращаюсь домой в 4 часа утра — пьяный. Такая убийственная жизнь долго продолжаться не может, несмотря на то, что есть доля привлекательности в полном изнеможении. Потому на след<ующей> неделе буду ограничивать себя больш<ей> ч<астью> одной Публ<ичной> библиотекой. Работы еще недели на две. Надеюсь прийти к тебе на след<ующей> неделе, но все-таки не обещаю наверное. А ты можешь? Большую часть вечером хочу сидеть дома, да и надо работать. Но, если ты придешь, буду ужасно рад. Поздравляю тебя с тем, что у тебя работа, работать всегда хорошо (афоризм). Крепко целую тебя.

Твой Ал. Блок

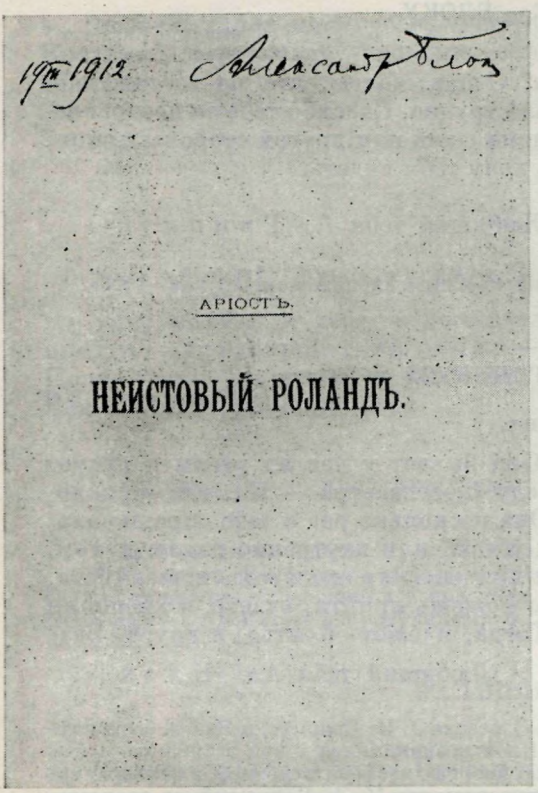
Купил «Жупел». Ожиданий не оправдывает. Кажется, все скверно, кроме Серова и, главное, Добужинского [3].

[1] «Очерк литературы о Грибоедове» — компилятивная работа, выполнявшаяся Блоком по заказу проф. С. А. Венгерова (1855—1921) для неосуществившегося издания русских классиков в издательстве «Светоч». Впервые опубликован во II томе Собрания сочинений Блока (Л., «Издательство писателей в Ленинграде», 1934).

Работал над очерком Блок много и интенсивно. 30 декабря в письме к отцу, называя осень 1905 г. временем знакомства и сближения с С. А. Венгеровым, Блок говорит об очерке как о поручении, уже выполненном (VIII, 144). Очерк в основном был закончен в конце 1905 г., однако, судя по письму Блока С. А. Венгерову, приложенному к беловой рукописи, он дорабатывался и в январе—феврале 1906 г. (переписка Блока с Венгеровым опубликована в книгах: «Литературный архив», т. I. Л., Изд-во АН СССР, 1938, с. 352—358 и «Блоковский сб.», 2, с. 333—340).

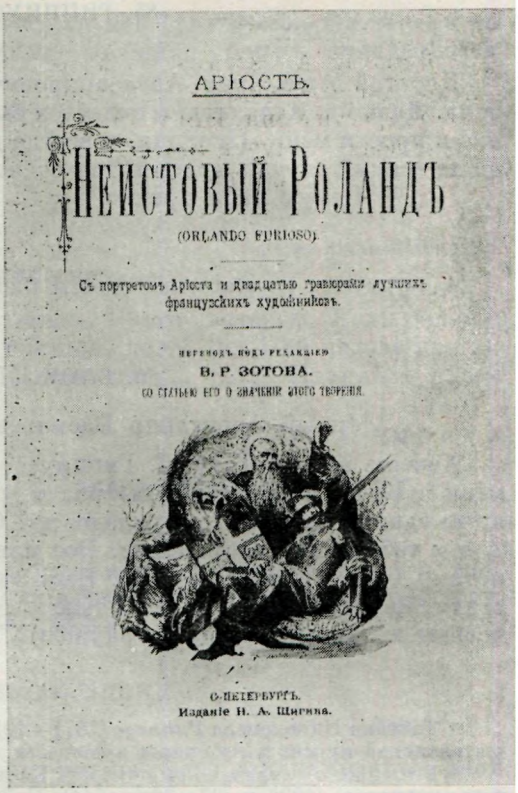
Блок давал обзор критической литературы о Грибоедове с 1815 г. до конца века. Поэт выделял «три обширных фазы понимания комедии» «Горе от ума». Границы этих фаз — статьи Белинского (1832—1844) и «Миллион терзаний» Гончарова (1872). По этим трем периодам (до Белинского, от Белинского до Гончарова и после Гончарова) Блок и располагает исследуемый материал.

[2] В тот же день Блок сообщал Е. Иванову: «Если бы ты знал, что было со мной всю неделю! Два раза в день ходил: сначала в Публичную библиотеку <. . .> а потом на «литерат<урные> собрания», откуда, пьяный, возвращался утром» (VIII, 141—142). И в первом и во втором случае речь, видимо, идет о собраниях, на которых решался вопрос об издании


19/III 1912. Александр Блок

АРІОСТЪ.

НЕИСТОВЫЙ РОЛАНДЪ.


АРІОСТЪ.

НЕИСТОВЫЙ РОЛАНДЪ

(ORLANDO FURIOSO).

Съ портретомъ Ариосто и двадцатью гравюрами лучшихъ французскихъ художниковъ.

ПЕРЕВОДЪ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

В. Р. ЗОТОВА.

СО СТАТЬЕЙ ЕГО О ЗНАЧЕНІИ ЭТОГО ТВОРЕНІЯ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе Н. А. Шигина.

АРИОСТО «НЕИСТОВЫЙ РОЛАНД». СПб., 1912, ИЗД. Н. А. ШИГИНА

С автографом Блока: «19.III.1912. АЛЕКСАНДР БЛОК»

Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

символистского журнала «Факелы». Мысль о журнале возникла в конце 1905 г. в среде литераторов, группировавшихся ранее вокруг прекратившего свое существование журнала «Вопросы жизни». Г. Чулков, один из самых активных участников «Факелов» и фактический организатор сборников, свидетельствовал впоследствии: «Первоначально «Факелы» были задуманы как журнал; потом решено было ограничиться публикацией сборников» («Письма Леонида Андреева». Л., 1924, с. 8). Среди имен участников сборников Г. Чулков называет также имя Блока.

[3] «Жупел» (Пб., 1905—1906) — «журнал художественной сатиры» (издатель — З. И. Гржебин), был закрыт на третьем номере. Блок имеет в виду первый номер, появившийся в продаже 2 декабря (1 декабря сообщалось о его выходе в ближайшие дни, а 3 декабря он уже был конфискован — см. статью З. М. Карасик «М. Горький и сатирические журналы «Жупел» и «Адская почта» в книге: «Горький в эпоху революции 1905—1907 годов». М., 1957, с. 373).

Среди массы сатирических журналов, вызванных к жизни событиями первой русской революции, «Жупел» выделялся революционной настроенностью и политической остротой. Активное участие в журнале принимал М. Горький, оказывавший воздействие на общую программу его.

Блок, очевидно, имел сведения о журнале еще до его выхода в свет и связывал с ним определенные «ожидания». Однако содержание «Жупела» не удовлетворило поэта. Он выделил в нем лишь рисунки известных художников В. Серова и М. Добужинского. Валентин Александрович *Серов* (1865—1911) опубликовал в первом номере журнала рисунок «Солдатушки, бравы ребятушки! Где же ваша слава?», изображающий в трагических тонах столкновение казачьего отряда с безоружной толпой демонстрантов. Рисунок отражает события 9 января, свидетелем которых был художник (см. письмо В. Серова к И. Репину — «Искусство и жизнь», 1941, № 4). Мстислав Валерианович *Добужинский* (1875—1957) принадлежал к кругу художников, объединившихся в конце 90-х годов вокруг журнала «Мир искусства». Идя во главе левого фланга «мирискусников», Добужинский принимает активное участие в сатирической прессе 1905—1906 гг. В «Жупеле» был помещен его рисунок «Октябрьская идиллия», с сарказмом показывающий характер «свободы», дарованной царским манифестом 17 октября.

85. ГИППИУС — БЛОКУ

‹6 января› 1906 г.› [1]

Дорогой Александр Александрович! Очень жалею, что не застал тебя дома. Давно не видались, а видеться было трудно. Спасибо тебе за поздравление и прости меня. Приходи, я всегда дома с той или другой стороны линии, но на всякий случай извести, так очень хочу тебя видеть.

Целую тебя крепко

Любящий тебя А. Гиппиус

[1] Датируется на основании пометы Блока красным карандашом: «6 янв. 1906».

86. БЛОК — ГИППИУСУ

16 янв‹аря› 1906

Милый Александр Васильевич.

Хочешь видеть Тату Н. Гиппиус?[1] Она бывает у нас по утрам и рисует меня [2]. Будет в след‹ующий› раз в среду (послезавтра — 18), так от половины одиннадцатого. Не придешь ли? Она несколько раз о тебе спрашивала. А я к тебе приду непременно. Все или устаю, или внутренно падаю духом, потому до сих пор не пришел. Если ты придешь, принеси мне, пожалуйста, стихи Мережковского [3]. Если теперь не можешь прийти, ответь, можешь ли вообще по утрам (всегда ли служба)? Тогда, м‹ожет› б‹ыть›, в другой раз?

Любящий тебя Ал. Блок

[1] Татьяна Николаевна *Гиппиус* (1877—1957), сестра З. Н. Гиппиус, в 1906 г. была слушательницей курсов в Академии художеств. Блок познакомился с ней в 1903 г.

[2] Речь идет о карандашном портрете Блока, впервые воспроизведенном в «Литературном наследстве» (1937, т. 27—28, с. 541). По свидетельству М. А. Бекетовой, «в сходстве, в характере передачи было много ценного» (М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк. 2-е изд. М., 1930, с. 87). Письмо Блока позволяет уточнить время работы над портретом (портрет хранится в ИРЛИ).

[3] Возможно, имеется в виду принадлежавшее Блоку и, видимо, взятое у него А. В. Гиппиусом «Собрание стихов» Д. С. Мережковского (Пб., 1904). Эту книгу Блок приобрел в апреле 1905 г., о чем свидетельствует надпись на шмуцтитуле (книга хранится в библиотеке поэта в ИРЛИ).

87. БЛОК — ГИППИУСУ

25 янв‹аря› 1906

Милый Александр Васильевич.

Сейчас условились с Татьяной Николаевной [1], что она придет к нам в понедельник (30) вечером. Так как вы говорили о любом дне на той неделе, — я обещал ей, что придете ты и Юлиания Ксенофонтовна [2]. Можно ждать? Напиши два слова. Крепко целую тебя и люблю.

Твой Ал. Блок

[1] См. п. 86, прим. 1.

[2] Жена А. В. Гиппиуса.

88. ГИППИУС — БЛОКУ

28-го января ‹1906 г.›

Милый Александр Александрович, жена и я очень рады будем быть у вас в понедельник и встретиться с Татьяной Николаевной. Очень тронут твоим вниманием и от души желаю, чтобы ничто не помешало Уле [1] выбраться в этот день из дому.

Чувствую себя перед тобой очень виноватым и очень ропщу на долгую разлуку, тем более, что кажется февраль это последний месяц моего пребывания в Петербурге.

Вообще, глядя на многое, чувствуешь грусть (фраза скверна, что-то из Коз‹ьмы› Пруткова), главным образом, внешняя жизнь складывается неважно.

Крепко тебя целую. А. Гиппиус

[1] Жена А. В. Гиппиуса.

89. БЛОК — ГИППИУСУ

‹9 февраля 1906 г.› [1]

Милый друг Александр Васильевич.

Хочу прийти к тебе в понед‹ельник›, 13-ого вечером. Если можно прийти — не отвечай. Если нельзя — напиши, когда (на 1-ой неделе поста). Пока, кроме вторника, я свободен. Крепко целую тебя. Кланяйся твоей жене. Всегда любящий тебя

Ал. Блок

Рассматриваю с удов‹ольствием› Грабаря в-рубель [2]. Принесу.

[1] Датируется по почтовому штемпелю.

[2] Каламбур. Речь идет о выпусках художественных репродукций в издании И. Кнебеля «Современные художники в красках», выходивших под редакцией Игоря Грабаря. Цена выпуска с пятью репродукциями была 1 рубль.

90. ГИППИУС — БЛОКУ

1 мая 1912 г.

Милый и дорогой друг! Прости меня, что не сразу откликнулся на твои подарки — твои стихи. Чувствую особенную вину в этот раз — потому что вина эта в неблагодарности. Ни разу я еще не испытывал столько радости при чтении твоих стихов, как в этот раз при получении твоих стихов «Ночные часы» [1]. Изменился ли я, или тому другая причина, но воспринимать тебя (конечно, еще не вполне) я стал как-то больше, полнее. А сколько радости, как дрожит иной раз сердце.

Жаль только, что приходится радоваться почти в одиночестве. Но одна из твоих почитательниц уже растет.

Стихи: Как стройна ты в красной шубке и т. д. [2] приводят в восторг мою Наташу и она готова слушать их каждый день да по нескольку раз, хотя знает почти наизусть. Еще раз спасибо тебе, мой милый.

Что ты теперь делаешь? Где будешь летом?

Я беру отпуск и думаю провести лето с братом Левой и его семьей под Нарвой.

А до тех пор служу, по возможности, усердно и в свободное время погружаюсь в иные миры. Кроме твоих стихов, читаю теперь Лукомского — «Старый Париж», Владимира Соловьева («Духовные основы», «Еврейский вопрос» и т. д.), очень жалею, что не читал ранее. Зимой в первый раз в жизни читал Писемского — и читал с удовольствием — талант несомненный, а, главное, для меня нужный — какое-то пропущенное звено.

Пока прощай, будь здоров, откликнись — буду благодарен. И я и жена моя шлем искренний привет тебе и Любовь Дмитриевне.

Любящий тебя А. Гиппиус

[1] Название четвертого сборника стихов Блока, вышедшего в издательстве «Мусагет» в 1911 г.

[2] Неточная цитата из стихотворения Блока «Рождество» («Звонким колокол ударом. . .»). У Блока: «Как тонка ты в красной шубке. . .». Впервые опубликовано в журнале «Тропинка» (1907, № 1, под загл. «На Рождестве»). Вошло в Собрание стихотворений. Книга вторая. М., «Мусагет», 1912, с. 29—30 (II, 328).



БЛОК. «ПЕСНЯ СУДЬБЫ»
Обложка с рисунком А. Я. Головина (тушь), 1919
Литературный музей, Москва

91. БЛОК — ГИППИУСУ

27 декабря ‹1913 г.› [1]

Милый друг Александр Васильевич.

Я простужен немного, боюсь далеко идти [2], потому сегодня к тебе не иду. Приду как-нибудь вечером. Целую тебя.

Твой Ал. Блок

[1] Датируется по почтовому штемпелю.

[2] С лета 1912 г. до самой смерти Блок жил на Офицерской ул. (ныне ул. Декабристов) в доме № 57 (на углу Пряжки). А. В. Гиппиус с осени 1913 г. жил на Малой Монетной ул. Петроградской стороны.

92. БЛОК — ГИППИУСУ

14 февраля ‹1914 г.› [1]

Милый Александр Васильевич.

Ты не забудешь воскресенья (блины у мамы в 6 часов)?[2] Вчера я убежал несколько неожиданно, даже для самого себя, и не успел тебе напомнить. Пожалуйста, приходи.

Твой Ал. Блок

[1] Датируется по почтовому штемпелю.
[2] См. запись за 16 февраля 1914 г. в записной книжке: «У мамы — блины, с Ал. Вас. Гиппиусом и тетей» (ЗК, с. 208).

93. БЛОК — ГИППИУСУ

17 мая 1915.

Милый Александр Васильевич.

Сейчас Мейерхольд [1] прислал корректуру и просит исправить ее поскорее, так как типография торопит. Пошли ее заказной бандеролью прямо в типографию (улица Гоголя 9, типография А. Н. Лаврова).

Если не придумал нового псевдонима, по-моему, выйдет хорошо: «Стихотворения Александра Надеждина» [2].

Я указал разделение на строфы и на страницы для верстки, но, если ты что-нибудь выкинешь, надо будет изменить верстку, и потому я прошу, чтобы мне прислали еще одну корректуру.

Корректуру я *не* исправлял.

Если ты находишь, что можно уместить *четыре* строфы на странице (посмотри для примера мои стихи «Кармен») [3], то перенумеруй сызнова страницы (красным).

Стихи в типографию верни *вместе с рукописью*!

По-моему, без нумерации красивее; если думаешь иначе, уничтожь мое указание для типографии и поставь номера.

Крепко целую тебя, милый.

До свидания. Твой Ал. Блок

[1] Всеволод Эмильевич *Мейерхольд* (1874—1942), в это время редактор-издатель журнала «Любовь к трем апельсинам».
[2] Речь идет о корректурном оттиске 14 стихотворений А. В. Гиппиуса. Они появились в журнале «Любовь к трем апельсинам» (1915, № 1—3) под псевдонимом «Александр Надеждин». Гиппиус последовал совету Блока: стихи были опубликованы без нумерации и по четыре строфы на странице.
[3] Имеется в виду стихотворный цикл Блока «Кармен», опубликованный в этом же журнале (1914, № 4—5).

94. БЛОК — ГИППИУСУ

27 июня 1915.

Милый Александр Васильевич.

Вышло так, что я звонил к тебе, когда тебя не было на службе или ты не мог подойти к телефону; а теперь уезжаю в Шахматово [1], может быть, на месяц. Крепко целую тебя.

Твой Ал. Блок

[1] Блок выехал из Петербурга в Шахматово 30 июня 1915 г. и вернулся в Петербург только 29 сентября (ЗК, 267—268).

95. БЛОК — ГИППИУСУ

23 декабря 1915

Дорогой Александр Васильевич, сегодня я звонил к тебе, но сторож, вероятно, не передал. Не хочешь ли в воскресенье 27-ого обедать у мамы? [1] Тогда сговоримся о дальнейшем.

Твой Ал. Блок

[1] В записной книжке Блока за этот день отмечено: «27 декабря <. . .> Обедал у мамы (А. В. Гиппиус, В. Н. Ивойлов, Люба, тетя)» (ЗК, 282).

ПИСЬМА П. П. ПЕРЦОВА К БЛОКУ
(1902—1908)

Предисловие, публикация и комментарии И. И. Аброскиной

Петр Петрович *Перцов* (1868—1947) — публицист, литературный критик. Его литературная деятельность начинается в 1890 г. В петербургских газетах «Новости» и «Неделя» он публикует небольшие корреспонденции из Казани, в то же время в Казани сотрудничает в газетах «Казанский биржевой листок» и «Волжский вестник». В эти годы Перцов встречается с Н. Г. Гариным-Михайловским, В. Г. Короленко, работает с Н. К. Михайловским. В 1892—1893 гг. в журнале «Русское богатство» появляются его рецензия на сборник Н. Г. Чернышевского «Эстетика и поэзия» и первая большая статья об А. П. Чехове, в которой, высоко оценивая талант писателя, Перцов противопоставляет свою точку зрения взглядам Н. К. Михайловского. В 1893 г. при содействии Перцова в «Волжском вестнике» были напечатаны рассказы Горького «Месть», «Разговор по душе», «О чиже, который лгал, и о дятле — любителе истины».

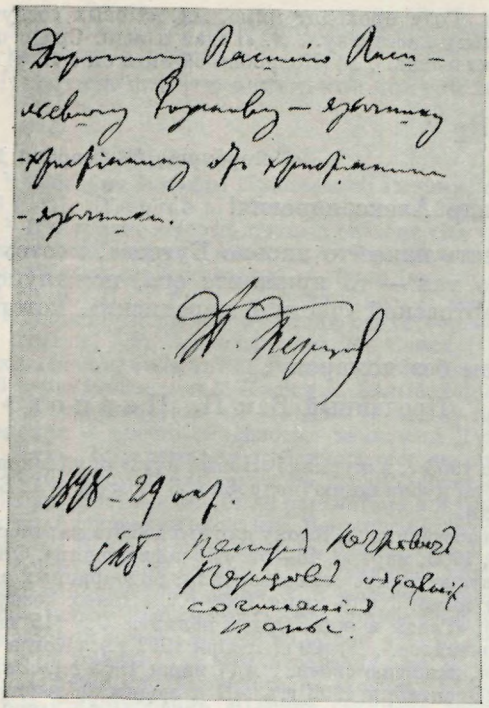
После переезда в Петербург в 1892 г. Перцов начал постепенно отходить от своих непродолжительных связей с народничеством и к 1900-м годам он становится одним из зачинателей движения символистов. Он издает «Письма о поэзии», антологию «Молодая поэзия», составляет вместе с Вл. Соловьевым сборник «Философские течения русской поэзии», участвует в религиозно-философских собраниях, сотрудничает в «Северном вестнике», «Мире искусства», «Новом пути» и др. изданиях, где печатаются Брюсов, Вяч. Иванов, Мережковский, Федор Сологуб, А. Белый, А. Блок.

Перцов не просто знал и любил поэзию, но и был хорошим организатором (его привлекали к работе в разных издательствах). Он как никто другой умел оценить дарование писателя, определить значение того или иного литературного произведения. У него были все основания сказать о себе: «Я один из первых оценил дарование Чехова еще тогда, когда оно казалось спорным для таких критиков, как Михайловский; я встретил приветом и проводил в печать первые рассказы Горького; я имел смелость признать дарование поэта во всеми тогда осмеиваемом декаденте Брюсове; я первый разгадал в студенте Блоке будущего классика русской литературы» [1].

Перцов познакомился с Блоком осенью 1902 г., будучи редактором журнала «Новый путь», основанного Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус. В мартовском номере этого журнала за 1903 г. впервые были напечатаны стихотворения Блока. Перцов писал о своем самом первом впечатлении о Блоке: «. . .за много лет разной редакционной возни, случайного и обязательного чтения «начинающих» и «обещающих» молодых поэтов только однажды было такое впечатление: пришел большой поэт ‹. . .› Пришел кто-то необыкновенный; никто из «начинающих» никогда еще не начинал такими стихами» [2]. «Вот настоящий, прирожденный поэт — кого можно узнать с первого взгляда ‹. . .› Что Блок — поэт, этому можно было поверить, этому трудно было не поверить» [3]. Тогда же Мережковский, прочитав стихи Блока, «забраковал новичка», а Брюсов написал Перцову: «Блока знаю, он из мира Соловьевых. Он — не поэт» [4]. А Перцов не только увидел «поэта», но и «мастера, а не ученика», «черту — полной зрелости таланта, полной уверенности в том, что он хочет сказать и что говорит» [5].

Публикуя стихотворения в редактируемых Перцовым журнале «Новый путь» и приложениях к газете «Слово», Блок в некоторых случаях вносил в стихи изменения, о которых его просил Перцов, но чаще всего при последующих публикациях он возвращался к своей собственной редакции.

В 1922 г. в книге «Ранний Блок» Перцов подробно рассказал о редакторской работе с Блоком и опубликовал 15 писем поэта. В конце книги он сказал: «Я думаю, когда будут подведены итоги русскому литературному движению последнего двадцатипятилетия, именно Блок останется ‹. . .› как поэт наиболее связанный со своей эпохой» [6].





П. П. ПЕРЦОВ

Фотография. 1898 г., Петербург

С дарственной надписью В. В. Розанову на обороте: «Дорогому Василию Васильевичу Розанову — язычнику-христианину от христианина-язычника. П. Перцов 1898 — 29 окт. СПб.»
Ниже — рукой Н. В. Розановой: «Петр Петрович Перцов — издатель сочинений папы»

Литературный музей, Москва

В настоящее время 15 писем Блока Перцову хранится в ИМЛИ (ф. 12, оп. 1, ед. хр. 47—49), а 12 писем Перцова Блоку за период с 1 ноября 1902 г. по 21 ноября 1908 г. — в ЦГАЛИ (ф. 55, оп. 1, ед. хр. 361).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Союз писателей СССР. Отдел творческих кадров. Личное дело П. Перцова.
[2] П. Перцов. Ранний Блок. М. «Костры», 1922, с. 9.
[3] П. Перцов. Литературные воспоминания (1890—1902). М.—Л., Academia, 1933, с. 186.
[4] П. Перцов. Ранний Блок, с. 24.
[5] Там же, с. 10.
[6] Там же, с. 58.

1

Петербург. 1 ноября 1902

Многоуважаемый Александр Александрович!

Я с искренней радостью прочел Ваши стихи: мало что на свете радует больше, чем встреча с истинным «божией милостью» талантом, в какой бы то ни было области, в области поэзии особенно. Мне лично Ваша поэзия «Прекрасной Дамы», как говорите Вы, или «бого-природы», как говорю я, на языке моей философии, — особенно близка и понятна. Пусть же она пошлет Вам лучшие свои вдохновения! [1] — Жму Вашу руку.

Преданный Вам П. Перцов

[1] Перцов прочел находившиеся в портфеле редакции журнала «Новый путь» стихи Блока из цикла «Стихи о Прекрасной Даме»: «Когда святого забвения. . .», «Я, отрок,

зажигаю свечи. . .», «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо. . .», «Новых созвучий ищу на страницах. . .», «Я к людям не выйду навстречу. . .», «Гадай и жди. Среди полночи. . .», «Экклесиаст» («Благословляя свет и тень. . .») (Подробно об этом см.: П. Перцов. Ранний Блок., с. 9—10).

2

‹Петербург›, 18 февраля 1903

Многоуважаемый Александр Александрович!

Вы говорили как-то, что у Вас есть какое-то письмо Бугаева, к‹ото›рое еще можно понять. Если это точно так — то пришлите его, пожалуйста, может быть, оно пригодится для мартовской «частной переписки», которую хотелось бы «скрасить» [1].

Ваши стихи пропущены цензором без помарок [2].

Преданный Вам П. Перцов

[1] Письмо А. Белого Блоку от 6 января 1903 г. в журнале «Новый путь» опубликовано не было, так как А. Белый не дал согласия на публикацию (подробно об этом см.: «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 8—12, 19, 20).

[2] Редакция журнала «Новый путь» предоставила А. Блоку для его дебюта мартовский номер журнала за 1903 г. — «Новый путь», 1903, март, с. 48—59. «Из посвящений». Стихотворения Александра Блока. Всего напечатано десять стихотворений, подобранных автором: «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо. . .» (4 июня 1901 г.), «Новых созвучий ищу на страницах. . .» (4 апреля 1902 г.), «Гадай и жди. Среди полночи. . .» (15 марта 1902 г.), «Старик» («Под старость лет забыв святое. . .») (29 сентября 1902 г.), «Когда святого забвения. . .» (май 1902 г.), «Я, отрок, зажигаю свечи. . .» (7 июля 1902 г.), «Экклесиаст» («Благословляя свет и тень. . .») (24 сентября 1902 г.), «Я к людям не выйду навстречу. . .» (14 января 1903 г.), «Царица смотрела заставки. . .» (14 декабря 1902 г.), «Верю в Солнце Завета. . .» (22 февраля 1902 г.) (Подробно о прохождении стихов Блока в цензуре и отзыве о них цензора Е. С. Савенкова см.: П. Перцов. Ранний Блок, с. 21—22).

3

‹Петербург›, 28 февраля 1903 г.

Многоуважаемый Александр Александрович!

С письмом З. Н., очевидно, кончено навсегда [1]. Разве что оно вернется со временем из какой-нибудь Лозанны (см. письма в «Нов. вр.»). А пока его остается оплакивать.

Присланное Вами письмо пускаю в № 3 (но пройдет ли в цензуре?) Нельзя ли подписать его как-нибудь иначе? Я *пока* поставил подписью: «incognito» [2].

Стихи Бугаева очень «милы» и свежи. Субтильность вполне сомовская — казалось, не встретишь у Бугаева. — Спасибо за копии [3].

Я хотел бы просить у Вас две *поправки*: 1) в стих. «Я к людям не выйду. . .», в 8-й строке, очень неприятно:

Расцветает знакомый * Дух.

Нельзя ли другой глагол и особенно эпитет? [4]

2) в стих. «Будет день, словно миг веселья. . .», в 5 стихе, —

По лицу, объятому дрожью, —

желателен другой эпитет (рифму, вероятно, нельзя изменить?) М‹ожет› б‹ыть›, выпустить вовсе этот куплет? Изменив далее в начале 3 и 4 куплетов «*Как* тогда» и «*Но* тогда» на «*И* * тогда»? Нехорошо также в 13-м стихе «величавей и краше» — (о *себе*) [5].

В стих. «Царица и Царевна» мне все хочется выпустить средние куплеты. Но колеблюсь, какие 4 и 5? или 5 и 6? В 5-м смущает «лазурное око», к‹ото›рое, когда из него прилетает птица, как-то вводит в недоумение [6]. Я знаю,

* Дважды подчеркнуто автором.

что у Вл. С. «Лазурное око опять потонуло в тумане» и т. д. Но там понятно, что именно о небесах [7].

Простите все эти маленькие докуки и не посердитесь.

Преданный Вам П. Перцов

[1] О письме Зинаиды Николаевны Гиппиус см. в письме Блока Перцову от 28 февраля 1903 г. (П. Перцов. Ранний Блок, с. 29).

[2] В журнале «Новый путь» в разделе «Из частной переписки» предполагалась публикация письма матери Блока, А. А. Кублицкой-Пиоттух, за подписью «Алчущая и жаждущая». Письмо опубликовано не было (см. об этом в письме Блока Перцову от 1 марта 1903 г.: П. Перцов. Ранний Блок, с. 30—31.).

[3] Блок послал Перцову копию стихотворения А. Белого «Встреча» («Вельможа встречает гостью. . .»), посвященного К. Сомову. Стихотворение было послано А. Белым Блоку в письме от 24 или 25 февраля 1903 г. (подробно об этом см. в письме Блока А. Белому от 20 марта 1903 г. — «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 27).

[4] В стихотворении «Я к людям не выйду навстречу. . .» в восьмую строку Блок внес изменения — вместо «Расцветает знакомый Дух» было напечатано: «Просыпается светлый Дух». Впоследствии публиковалось по этому варианту.

[5] Стихотворение «Будет день, словно миг веселья. . .» в журнале «Новый путь» не опубликовано. Впервые оно было напечатано в журнале «Золотое руно» (1908, № 1, с. 33—34) в первом блоковском варианте. В архиве поэта сохранился корректурный лист этого стихотворения. В нем отсутствует вторая строфа и дается другой текст последней строфы: «Но любовью иной отвечу //И дрожащий лик изменю, // И пойду на иную встречу, // Твоему сопричастный Дню», т. е. внесены изменения, о которых просил Блока Перцов. Отсюда можно предполагать, что сохранился корректурный оттиск стихотворения журнала «Новый путь». Возможно, Блок уже на стадии корректуры предпочел совсем отказаться от публикации стихотворения, но не вносить в него изменений. Впоследствии стихотворение публиковалось по первому блоковскому варианту.

[6] В стихотворение «Царица смотрела заставки. . .» (в письме Перцова «Царица и царевна. . .») предлагавшиеся Перцовым изменения внесены не были.

[7] «Лазурное око // Опять потонуло // в тумане // В тоске одиноко // Бледнеет надежда // свиданий» — строфа из стихотворения Вл. Соловьева «Сон наяву» («Лазурное око сквозь мрачно нависшие тучи. . .») (февраль 1895 г.).

4

‹Петербург›, 23 марта 1903 г.

Дорогой Александр Александрович!

Не зайдете ли в редакцию как-нибудь? У меня есть книжка, присланная для отзыва, и к ‹ото›рый мне хотелось бы, чтоб написали Вы (книжка маленькая, — и отзыв в *май*) [1]. Я уеду в благовещенье и, если Вы меня не застанете, Вам отдаст ее Е. А.[2] А пока поздравляю Вас с этим праздником.

Ваш П. Перцов

1903 23 III

[1] Возможно, имеется в виду роман А. Е. Зарина «Спирит», короткую заметку о котором Блок опубликовал в апрельском номере журнала «Новый путь» за 1903 г. в разделе «Литературная хроника». Других публикаций Блока в журнале за этот год не было.

[2] Вероятно, Е. А. Егоров — в 1903 г. секретарь редакции журнала «Новый путь».

5

‹Петербург›, 8 декабря 1903 г.

Многоуважаемый Александр Александрович!

Ваши стихи я прочел с большим удовольствием, и почти все они показались мне удачными.

Вы знаете мои симпатии к Вашей музе и поэтому поверите, что если бы это зависело только от меня — стихи Ваши непременно были бы напечатаны в «Новом пути». Но, к сожалению, против них существует такая упорная и обширная оппозиция, что в настоящее по крайней мере время я лишен возможности это сделать [1]. Всякая новизна требует привычки к ней, и я живо помню еще время, когда Бальмонт и Брюсов возбуждали такое же недоу-

мение, как Вы. Поэтому эти затруднения первых шагов не должны Вас обескураживать. Ваше будущее во всяком случае принадлежит Вам.

Сборник, мне кажется, Вам следует издать, хотя бы уже потому, что таким путем легче достигается и литературное «признание» [2].

Жду рецензий на Бальмонта и Брюсова. 10-е — послезавтра [3]. Мы хлопочем над январем вовсю. — О Сологубе у нас уже заказана рецензия [4]; Коневской же еще не выходил [5].

Искренно желаю Вам всего хорошего.

Ваш П. Перцов

Письмо Перцова — ответ на письмо Блока от 1 декабря 1903 г., на которое Блок отвечает письмом от 9 декабря 1903 г.

[1] Блок послал Перцову 15 стихотворений с предложением опубликовать в журнале «Новый путь». Но как писал Перцов в книге «Ранний Блок», стихи Блока воспринимались в то время окружающими как «совершенно непонятные», «бог весть о чем — какая-то Дева, Заря, Купина, какой-то Дух. . . большие буквы. . .» (с. 24). «Я не помню в тогдашней критике сколько-нибудь ярких отзывов о дебютных стихах Блока <. . .> Стихи Блока ведь еще несколько лет потом пугали газетных ценителей» (с. 27).

[2] В письме от 1 декабря 1903 г. Блок писал Перцову: «. . .задумываюсь о сборнике своих стихов, который согласился напечатать «Гриф»». Сборник был издан — Александр Блок. Стихи о Прекрасной Даме. М., «Гриф», 1905.

[3] В письме от 1 декабря 1903 г. Блок писал Перцову: «Рецензии на книги Брюсова и Бальмонта будут готовы не позже 10 декабря» (П. Перцов. Ранний Блок, с. 34—35). В журнале «Новый путь» (1904, январь), в разделе «Литературная хроника», были опубликованы рецензии Блока на сборники К. Д. Бальмонта «Будем как солнце» и «Только любовь» и в июльском номере за тот же год на сборник В. Я. Брюсова «Urbi et orbi».

[4] В журнале «Новый путь» (1904, февраль), в разделе «Литературная хроника», была опубликована рецензия Д. Философова «Федор Сологуб. Собрание стихов. Книга III и IV. 1897—1903. Москва, 1904. Книгоиздательство «Скорпион»».

[5] В 1904 г. выходит книга Ив. Коневского «Стихи. Проза. Посмертное собрание сочинений». М., «Скорпион». Об Ив. Коневском Блок пишет в рецензии «А. Л. Миропольский. Ведьма. Лествица. Предисловие Андрея Белого. Книгоиздательство «Гриф», Москва, 1905», опубликованной в журнале «Золотое руно», 1906, № 1.

6

<Петербург>, 1 мая 1904 г.

Многоуважаемый Александр Александрович!

Рецензии о Бальмонте и Иванове — прекрасны. Большое за них спасибо. Сдал их в набор для № 5 [1].

Стихи думаю поместить в № 6, если. . . не встретится препятствий [2]. Вариант вм<есто> «тот самый» неудачен. Нехороша и основная редакция. Не знаю, что делать. Нельзя ли оставить «за рамой» или «у рамы» — ведь действие в каком-то коридоре? Не придумаете ли чего? А выбрасывать стих. — жаль. Новое мне не понравилось.

Вот какая просьба и большая: напишите *поскорее* рецензию [3] на «Urbi et orbi», но в «трезвом» жанре (к<ак> две последние). Ведь Вы отлично можете, когда захотите. А нам *очень* нужно [4]. Белый прислал — и Мережковские забраковали (я не читал). Вероятно, слишком «мирно-пирно». Ох, уж этот жанр второго пришествия!

Брюсов прислал «Коня Бледа» [5]. Знаете, мне не очень. М<ожет> б<ыть>, потому, что ранее много слышал. Мне кажется, вообще *не* брюсовская тема. Слишком он — посюсторонняя душа — «и пыль земли на нем легла»[6]. Что не мешает этой пыли «петь» и «алеть» *по-своему* расчудесно. Возвращаясь к просьбе — необходимо воспеть эту поющую пыль. И прямо от Вас *жду*. Для № 6.

Преданный П. Перцов

Поймайте летом побольше «пчелиных сказок». Это Ваше «клеверное» стих. мне особенно по душе [7].

[1] Вместе с письмом от 27 апреля 1904 г. Блок прислал Перцову свои рецензии на сборник статей К. Д. Бальмонта «Горные вершины» и сборник стихов Вяч. Иванова «Прозрачность», которые были опубликованы в июньском номере журнала «Новый путь» за 1904 г. в разделе «Литературная хроника».

[2] В июньском номере журнала «Новый путь» за 1904 г. было опубликовано девять стихотворений Блока: Андрею Белому («Целый год не дрожало окно. . .») (6 января 1903 г.); «Погружался я в море клевера. . .» (8 февраля 1903 г.); «Мы встречались с тобой на закате. . .» (13 мая 1902 г.); «Я вырезал посох из дуба. . .» (25 марта 1903 г.); «У забытых могил пробивалась трава. . .» (1 апреля 1903 г.); «И снова подхожу к окну. . .» (26 октября 1903 г.); «Ты у камина, склонив седины. . .» (1 ноября 1903 г.); «Потемнели, поблекли залы. . .» (4 февраля 1903 г.); «Я, изнуренный и премудрый. . .» (30 ноября 1902 г.).

Три стихотворения — из отобранных для публикации двенадцати — были вычеркнуты цензурой: «Был вечер яростно багровый. . .» (с посвящением И. Д. Менделееву) (19 апреля—28 сентября 1902 г., впервые опубликовано — «Речь», 25 декабря 1907 г.). «Мой любимый, мой князь, мой жених. . .» (26 марта 1904 г. впервые опубликовано — «Стихи о Прекрасной Даме». М., «Гриф», 1905). «Я—меч, заостренный с обеих сторон. . .» (июль 1903 г. Впервые опубликовано — «Стихи о Прекрасной Даме». М., «Гриф», 1905).

[3] В стихотворении «Потемнели, поблекли залы. . .» редакцию «Нового пути» не удовлетворяла последняя строфа: «У дверей несравненной Дамы // Я рыдал в плаще голубом. // И, шатаясь, вторил тот самый — // Незнакомец с бледным лицом». Блок предложил не нравившийся ему самому вариант: «У дверей королевы прекрасной // Я рыдал в плаще голубом. // И, шатаясь, вторил ужасный // Незнакомец с бледным лицом» (см. подробно в письме Блока Перцову от 27 апреля 1904 г. П. П е р ц о в. Ранний Блок, с. 38—39). Опубликовано было стихотворение с последней строфой в первом варианте.

[4] См. п. 5, прим. 3.

[5] «Конь Блед» — стихотворение В. Я. Брюсова (май, июль и декабрь 1903 г., впервые опубликовано в журнале «Новый путь», 1904, май).

[6] Перифраз из стихотворения А. С. Хомякова «Надпись на картине (Ангел спасает две души от сатаны)»: «И пыль земли на ней легла».

[7] Перцов имеет в виду стихотворение Блока «Погружался я в море клевера, // Окруженный сказками пчел. . .» (18 февраля 1903 г., опубликовано в журнале «Новый путь», 1904, июнь).

7

Петербург, 3 ноября 1904 г.

Спасибо, дорогой Александр Александрович, за книжку и добрый привет. С большим сочувствием увидел Вашу «первинку» [1]. От души желаю, чтобы за ней последовала новая жертва на алтарь неведомого. . . Я вообще *верю* в Вас и Ваши стихи.

Крепко жму руку

Ваш П. П е р ц о в

1904 3.XI. СПб., «Пале-Рояль»

[1] Перцов получил от Блока его книгу «Стихи о Прекрасной Даме». М., «Гриф», 1905.

8

Петербург, 27 января 1906 г. Пушкинская, 20

Дорогой Александр Александрович!

Валерий Брюсов говорил мне, что Вы хотели посетить меня в «Слове» [1]. Был бы очень рад этому. Вы знаете, что Ваше «перо», и в стихах, и в прозе, было мне всегда близко. В «Слове» Вы найдете, кроме Брюсова, Вашего школьного товарища — С. В. фон Штейна [2], помогающего мне по отделу библиографии. В редакции я бываю ежедневно от 6 до 7 ч<асов> в<ечера> (Невский, 92).

Захватите с собой что-нибудь из новых Ваших стихов, которые меня весьма заинтересовали у Брюсова [3]. Вы начинаете что-то новое, удивительно *желанное* — именно то самое, что ожидалось.

Принесите стихи о лягушечьей лапе и римском папе, о больной русалке и вообще о «болотном» — если не для газеты, то лично мне [4]. Хотелось бы их перечитывать.

Жму руку.

Искренно преданный П. П е р ц о в

P. S. Хотелось бы иметь рецензию на брюсовский «Στεφανος» и бальмонтовские «Фейные сказки» — м<ожет> б<ыть>, Вы дадите их нам? [5]

П. П.

[1] С января 1906 г. Перцов стал редактором «Литературного приложения» к газете «Слово» (ежедневная общественно-литературная газета, 1903—1909, СПб.), с № 11 приложение стало называться «Понедельники газеты «Слово».

[2] Сергей Владимирович *Штейн* (р. 1882 — 1951) — филолог, славист, переводчик.

[3] Можно предполагать, что Перцов имеет в виду стихи Блока, опубликованные в журнале «Весы», 1906, № 5: «На весеннем пути в теремок. . .» (3 июня 1905 г.); «На весенней проталинке. . .» (17 апреля 1905 г.); «Твари весенние («Золотистые лица купальниц. . .»)» (19 февраля 1905 г.); «Умолкает светлый ветер. . .» (21 августа 1905 г.); «В кабаках, в переулках, в извивах. . .» (декабрь 1904 г.); «Вот Он — Христос — в цепях и розах. . .» (10 октября 1905 г.); «В голубой далекой спаленке. . .» (4 октября 1905 г.).

[4] Перцов имеет в виду стихотворение Блока «Болотный попик» («На весенней проталинке. . .»), где есть строки: «. . .И тихонько молится, // Приподняв свою шляпу, // За стебель, что клонится, // За больную звериную лапу, // И за римского папу».

[5] 12 февраля 1906 г. в «Литературном приложении» к газете «Слово» была опубликована рецензия Блока «Валерий Брюсов. Στέφανος. Венок. Стихи 1903—1905 гг. Книгоиздательство «Скорпион», Москва. 1906» (подробно об этом см. письмо Блока Перцову от 28 января 1906 г. — П. П е р ц о в. Ранний Блок, с. 44). 27 февраля 1906 г. в «Литературном приложении» была опубликована рецензия: «К. Д. Бальмонт. Фейные сказки. Детские песенки. Книгоиздательство «Гриф», Москва, 1905».

9

Петербург, 28 марта 1906 г.

Дорогой Александр Александрович!

У меня к Вам *большая просьба*: нельзя ли поместить в пасхальном № приложения «Слова» (будет большой двойной; там рассказ Сологуба и перевод. стихи Брюсова) [1] одно Ваше стихотворение из числа отданных Вами в «Весы»? Именно: «*Побывала старушка у Троицы. . .*» Очень бы этого хотелось! Дело в том, что пасхальный № наш, при обилии и стихов и всего прочего, не имеет в себе, к великому моему горю, никакого надлежащего и отвечающего своей дате стихотворения! А между тем без того как-то скучно, *не в смысле только литературного пробела*. Между тем Ваше стихотворение точно создано для этого случая — так бы и начать с него №!

Если Вам неловко перед «Весами», то *я беру это на себя*. Ведь туда Вы отдали много — и одним больше, одним меньше для них уж не так важно. А нас Вы просто вывезете! Если Вы согласны, то я и от себя напишу Брюсову и уговорю его не претендовать. Я уверен, что на Вас и меня он не посердится — к тому же и в приложении он свой человек. Итак, если Вы согласны, то дайте знать — и *немедленно* (если можно, зайдите сами завтра около 6 часов вечера или телеграфируйте в редакцию). Необходимо сейчас же печатать!

Повторяю, *очень* прошу [2].

Ваш П. П е р ц о в

[1] 2 апреля 1906 г. в «Литературном приложении» № 9 к газете «Слово» были опубликованы: «Декабрь (Из Эмиля Верхарна)» — перевод В. Брюсова и рассказ Ф. Сологуба «Два Готика».

[2] Стихотворение Блока «Старушка и чертенята» («Побывала старушка у Троицы. . .», июль 1905 г.) было опубликовано 2 апреля 1906 г. в «Литературном приложении» № 9 к газете «Слово». 29 марта 1906 г. Блок написал по этому поводу письмо В. Я. Брюсову (см. ГБЛ, ф. 386.77.36) и 31 марта 1906 г. — Перцову (см. П. П е р ц о в. Ранний Блок, с. 49).

10

Сочи, 17 октября 1907 г.

Дорогой Александр Александрович!

Спасибо за обе Ваши книжки, к<ото>рые нашли меня здесь [1]. Прочел их с прежним сочувствием и интересом в Вашей музе. Конечно, мне, как

Андрею Белому, остается ближе первый сборник, и Несравненную Даму я предпочитаю всем Снежным Маскам, которые ведь так быстро тают. Но мы живем в трех измерениях и среди их вечной маски, конечно, и сами обречены на грим. Поэтому я буду перечитывать и новый Ваш сборник и от души желаю Вам сменить еще много тайных личин. Жму руку.

Вам искренно преданный П. Перцов

Сочи, Черноморской губ.

[1] В 1907 г. Перцов получил от Блока сборники ««Нечаянная радость». Второй сборник стихов» (М., «Скорпион», 1907) и «Снежная маска» (СПб., «Оры», 1907).

11

Ялта, 2 февраля 1908 г.
Виноградная, д<ом> Чингиза

Многоуважаемый Александр Александрович!

Посылаю Вам фельетон, посвященный Вам, напечатанный сегодня в здешней газете («Русская Ривьера»). Иначе он, вероятно, не дойдет до Вас. Но только не подумайте, что это — мой (я теперь ничего не пишу). Кто такой этот «Милль» — не знаю [1]. Вероятно, потомок Джон Стюарта [2]. Фельетон неважный и интересен только как показатель, что даже на ялтинском молу ожидают появления «больших кораблей». Я согласен с ним только в том, что первый Ваш сборник лучше двух других. Но вовсе не согласен, что не надо ждать еще лучших. Напротив, я лично убежден, что Вы, подобно Фету, зажжете Ваш настоящий свет только в «Вечерних огнях». Да Вы и сами это сказали:

Вот скоро вечер придвинется,
И ночь — навстречу судьбе:
Тогда мой путь опрокинется,
И я возвращусь к Тебе [3].

Это Ваш непреложный гороскоп. А пока, понятно, снежные маски и «сердце предано мятели» [4]. — Ну, всего хорошего!

Ваш П. Перцов

[1] В ялтинской газете «Русская Ривьера» 2 февраля 1908 г. № 28 была опубликована статья К. Милля «Ночная фиалка». Казимир Ромуальдович *Милль* (1878—1932) — писатель, переводчик.
[2] Джон Стюарт *Милль* (1806—1873) — английский философ, экономист.
[3] Строфа из стихотворения Блока «Когда святого забвения» (май 1902 г.).
[4] «Сердце предано метели» («Сверкни, последняя игла. . .») — название стихотворения Блока (13 января 1907 г.).

12

Петербург, 21 ноября 1908 г.
Знаменская 2, кв. 75

Дорогой Александр Александрович!

Благодарю Вас за любезную присылку Вашей книги [1]. Прочитаю ее с тем бóльшим удовольствием, что за долгим пребыванием в местах отдаленных совсем отлучился от поэзии.

Всего хорошего. Жму Вашу руку.

Преданный Вам П. Перцов

1908 21.XI

[1] В 1908 г. Перцов получил от Блока книгу «Земля в снегу. Третий сборник стихов». М., «Золотое руно», 1908.

ПЕРЕПИСКА БЛОКА С В. Я. БРЮСОВЫМ
(1903—1919)

Вступительная статья З. Г. Минц и Ю. П. Благоволиной
Публикация и комментарии Ю. П. Благоволиной

Многолетняя переписка Блока и Брюсова — важный памятник символистского эпистолярного наследия. В ней нет, правда, напряженного биения мысли, ярких эмоций, откровенности, «эзотеризма» языка, характеризующих переписку Блока и Белого [1]. Нет в ней и принципиальных высказываний на философские, художественные или общественно-политические темы и исповедального тона, типичного, по всей вероятности, для частично утраченной и восстанавливаемой по письмам З. Гиппиус переписки Блока с Мережковскими [2]. Нет здесь и сердечности дружеских интонаций писем Блока к С. Соловьеву, Г. Чулкову [3], Евг. Иванову [4] и др. Однако переписка Блока и Брюсова — это не простое собрание разрозненных обращений одного из поэтов к другому и ответов адресата. Это — именно переписка, диалог ведущих художников русского символизма. В ней есть своя тема, свой стиль. Она занимает свое, четко определенное место: в ней отразились многие интересные факты деловой истории русского символизма — истории его журналов, сборников, авторских изданий, его реализованных и нереализованных планов. Вместе с тем за деловым тоном сквозит и многое иное, отражающее сближения и — чаще — отталкивания двух столь разных художников, их столь различную общественную, поэтическую и человеческую сущность.

Брюсов не был первым из русских символистов, с которым перекрестился творческий и духовный путь Блока. В 1900—1902 гг. Блок пережил глубокий интерес к творчеству Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, в 1902 г. познакомился с ними, вступил в «мистическую» переписку с З. Гиппиус, стал посетителем собраний на квартире Мережковских и в «Новом пути» — и постепенно начал разочаровываться в доктринах, творчестве и личности З. Гиппиус и Мережковского. К лету 1905 г. эти отношения временно прервались [5].

1903 г., в значительной мере, прошел «под знаком Белого». Начало переписки, знакомство в Москве в 1904 г., общность мистико-утопических и эсхатологических чаяний [6], близость художественных поисков — все это широко отразилось в настроениях, мыслях и творчестве Блока. Однако уже к 1904 г. и эти настроения переживают известный (на «поверхности» отношений почти не заметный) спад, завершившийся временным расхождением в 1905 г. и бурными событиями 1906 и 1907 гг.[7]

Начало спада увлеченности Блока мистикой московских «аргонавтов» не случайно совпало с ростом его интереса к творчеству Брюсова.

Отношение Блока к Брюсову также пережило именно в 1904—1906 гг. подъем, апогей и известный спад, с тем, однако, отличием, что здесь не было никакой «симметрии» взаимных оценок. Брюсов, первоначально отнесшийся к Блоку довольно холодно, примет его творчество позже, в 1907 г.

Тема «Блок и Брюсов» изучалась главным образом при анализе их переписки [8], а также — восторженных отзывов Блока о сборнике «Urbi et orbi». Представляется важным отметить ряд моментов, связанных с творчеством Блока, с его эволюцией, а также со сложным «узором» истории их взаимоотношений, определявшимся перекрещиванием двух самобытных и во многом даже противоположных путей.

Брюсову в начале 1900-х годов, по всей вероятности, ранние произведения Блока не казались значительными. «Мистическая устремленность молодого Блока не нравилась Брюсову», — справедливо замечает Д. Е. Максимов [9].

Но дело не только в этом. Содержательная сторона произведений, вообще, интересовала Брюсова во вторую очередь или, по крайней мере, ее значительность представлялась Брюсову одной из функций формального новаторства: чем новей «прием», тем любопытней воплощенная в нем идея. Кроме того, мистический порыв «Стихов о Прекрасной Даме»

представлял направление символизма, хотя и внутренне чуждое Брюсову, но все же — как один из потоков «нового искусства» — им принимавшееся. Так, Брюсов чрезвычайно высоко ценил ум и талант Андрея Белого — автора «Симфоний» и «Золота в лазури».

Решающую роль в отношении Брюсова к Блоку сыграло, думается, кардинальное отличие их творческой направленности. Блок всегда стремится к предельно адекватному выражению чувства и мысли. Брюсов — к поискам новых «средств художественной выразительности», к обновлению искусства. Блок, внутри каждого периода своего творчества, напряженно вглядывается в открывающиеся ему «миры», углубляет свое знание о них — Брюсов (как показал в двух монографиях о нем Д. Е. Максимов) либо стремительно меняет темы и точки зрения на мир, либо пытается обновить свою картину мира новизной «приема». Не случайно и в лирике Блока наиболее яркое новаторство скрыто в поэтической семантике, в создании оригинальной системы символов, самобытной картины мира. Музыка блоковского стиха, ее сложная звуковая, грамматическая, интонационно-синтаксическая организация, метрическое новаторство и т. д. — все это ощущается Блоком как поиск предельно точных поэтических смыслов. Для Брюсова же новизна отображаемой мысли и чувства — безусловный, но побочный результат поисков нового. Лирика Блока — художественная вершина «органической», интуитивной устремленности русского символизма, а творчество Брюсова — символистского рационализированного новаторства. Разумеется, в силу нерасторжимой связи содержания и выражения в искусстве, новаторство Блока неизбежно вело и к реформам поэтического языка, а брюсовское — к идейному обогащению русской поэзии. Но и по субъективной устремленности, и по художественному воплощению их творчество резко отлично.

Неудивительно, что глубокая художественная оригинальность «Стихов о Прекрасной Даме», скрытая в строении образа-символа и в композиции сборника-«мифа», но не нуждавшаяся во внешнем подчеркивании «новаторства» (резкой оригинальности лексики или грамматических структур, размеров, рифмы и т. д.), видимо, просто не была замечена Брюсовым. «Золото в лазури» Белого, с ярко специфической лексикой и словообразованием, с новаторской поэтической графикой и т. д., по всей вероятности, казалось Брюсову гораздо более художественно значительным произведением: по крайней мере в своей дневниковой записи этой поры он сразу исключил Белого из числа «мелких» молодых поэтов, назвав «интереснейшим человеком в России», а Блока упомянул лишь как наиболее заметного в большой группе начинающих [10].

О низкой оценке поэзии Блока свидетельствует не только самое раннее брюсовское: «Он из мира Соловьевых. Он не поэт».

Один из самых характерных фактов отношения Брюсова к Блоку в начале 900-х годов — странная история с исчезновением ранней подборки стихов Блока, посланной для альманаха «Северные цветы», — история, в брюсовскую версию которой полностью поверил не только Блок, но и исследователи его творчества. . .

Брюсов довольно резко характеризует манеру и масштаб дарования Блока и позже, в 1905 г., после выхода «Стихов о Прекрасной Даме». Противопоставляя Блока Белому, Брюсов пишет: «Александр Блок ‹. . .› *принадлежит к числу тех художников, которые как-то сразу обретают себя*, с первых же произведений *обличают все*, ‹. . .› *чего могут достигнуть. Блок бесспорно маленький* maître *в нашей поэзии*; *он создал свою манеру письма*, у которой нашлись даже свои подражатели (в иных вещах Леонид Семенов). *Но все новое, что пишет Блок*, в случшем случае *развивает его ранние произведения*. Как ‹. . .› Борисов-Мусатов, Блок ‹. . .› *списывает сам у себя, повторяет раз удавшиеся приемы, раз найденные образы*. Хотелось бы ошибиться ‹. . .›, верить, что Блоку ‹. . .› еще суждены новые откровения, новые пути» (Курсив мой. — *З. М.*) [11]. Приведенный отзыв любопытен не только явно недоброжелательным тоном и полностью несправедливыми «пророчествами» о дальнейшем пути Блока. Не поняв художественного смысла изображаемого, Брюсов, однако, очень точно увидел именно те черты блоковского творчества, которые составят специфику его символизма: цельность его лирики как своеобразного единого текста, верность определенному кругу настроений, обилие «сквозных» образов, автоцитацию (небрежно названную «списыванием у себя»). Весьма характерно этим отзывом подчеркнулось блоковское стремление к углубленному проникновению в «единую» сущность бытия — и брюсовская экспансия во все новые темы и «приемы».

Более известна полемика Брюсова с Андреем Белым о значении блоковской поэзии. На восторженную оценку Блока в статье «Апокалипсис в русской поэзии» [12] Брюсов откликается «Открытым письмом Андрею Белому» — «В защиту от одной похвалы», где недоумевает, как Белый «мог ‹. . .› пропустить имена Кольцова, Баратынского, А. Майкова, Я. Полонского ‹. . .›, К. Бальмонта» [13], утверждает, что выбор «лучших поэтов» у Белого основан только на «личном вкусе» [14], и поучает критика-младосимволиста: «Ты расцениваешь поэтов по тому, как они относятся к «Жене, облеченной в Солнце». Критики 60-х годов оценивали поэтов по их отношению к прогрессивным идеям своего времени. Те выкидывали из своей схемы Фета, ты — Бальмонта. Право, разница небольшая. Оба метода подают друг другу руки» [15]. Это очень важное для позиции Брюсова высказывание обнажает его идеалы самоценности искусства и первостепенной важности эстетической критики. Броское заключение статьи Брюсова: «Предпочитаю быть исключенным из представителей современной поэзии, вместе с Бальмонтом, чем числиться среди них с одним Блоком» [16], — имеет две стороны. «Открытое письмо» оказывается одним из многочисленных эпизодов борьбы «чистого» эстетизма («декадентства») с младосимволистской эстетизированной мистикой. Но из нее, безусловно, вычитывается и весьма сдержанная оценка Блока. Кстати, в этом же номере «Весов» Брюсов (возможно, под влиянием рассмотренной полемики с Белым) дает и прямую оценку Блока, более резкую, чем в рецензии на альманах «Гриф»: Блок назван здесь в числе «*второстепенных* поэтов» (которые умеют, впрочем, «писать безукоризненно красивые стихи») [17]. Сравнение Блока с С. Маковским и А. Кондратьевым здесь полемически противопоставлено восторженным сближениям Блока с Лермонтовым, Тютчевым и другими в статье Андрея Белого. Сдержанное отношение Брюсова к Блоку проявилось и в том, что он сам не откликнулся на один из первых символистских сборников начала XX в., а заказал рецензию в «Весы» на «Стихи о Прекрасной Даме» Вяч. Иванову. Из письма Иванова от 26 (13) ноября 1904 г. мы узнаем не только о его любви к блоковской поэзии: «Блока неожиданно полюбил ‹. . .› Даже стыдно мне стало, что прежде, чем я увидел его вещи во всей их совокупности, я сомневался и в его самобытности, и в его непосредственности; *мне они казались деланными* и *навеянными*» [18], — но и о прежней недооценке «Стихов». Не исключено, что первоначальное мнение Вяч. Иванова было известно Брюсову, когда он заказывал ему рецензию для «Весов». . .

Однако было бы совершенно неправильным предположить, что оценка поэзии Блока Брюсовым была однолинейно негативной. Этому полностью противоречат высказывания о блоковском творчестве в письмах Брюсова: «Я *высоко ценю Вас* как *поэта*» (письмо от 6 декабря 1903); «Ждем от Вас ‹для «Весов». — *З. М.*› таких же коротких и *попадающих прямо* в *цель рецензий*: какие Вы печатали в «Новом пути»» (там же); «Примите мою благодарность за присланную Вами мне книгу стихов. Читаю ее с *тем редким чувством, какое испытываешь, читая «настоящие» стихи*. Верьте, что *во мне Вы имеете читателя, какого каждый автор желал бы иметь*: старающегося угадать недосказанное, от слов перейти к тому, что за ними, к душе поэта и ко всей бесконечности, которая за этой душой» (осень 1904) и т. д. Не следует думать, что это — лишь ни к чему не обязывающие или «подбадривающие» комплименты (хотя ободряющие интонации тут чувствуются): помещая весьма хвалебную рецензию Вяч. Иванова в «своих» «Весах», Брюсов в какой-то степени публично солидаризировался с его оценкой, столь отличной от своей собственной.

Рецензия Брюсова в «Athenaeum'e» также выдержана в позитивных тонах. Психологическая разгадка этих противоречий, по-видимому, не очень сложна: Брюсов, субъективно не воспринимая блоковскую поэзию, ощущал возможность и совсем иных ее оценок (таких, как у Белого и Вяч. Иванова). В этом случае позиция «вождя нового искусства» безусловно диктовала тактику привлечения Блока к сотрудничеству в «Весах» и в других близких Брюсову изданиях. Но такая тактика имела и другие причины: она входила в «жизнетворческий» стиль поведения «мага», в равной мере и любящего «все гавани», и ничем не дорожащего. О подобной двойственности в отношении к нему молодой Блок, выросший в «старинной» дворянско-интеллигентной атмосфере «бекетовского дома», скорее всего пока просто не догадывался. В дальнейшем брюсовский вариант «жизнетворчества» станет для Блока наиболее неприемлемым.

Отношение молодого Блока к Брюсову выявляет важное свойство характера Блока, о котором писали и современники, и исследователи: его оценки Брюсова — поэта, критика и человека — абсолютно «объективны» и никак не связаны с брюсовским отноше-

нием к Блоку. Стремление найти идеал в «чужом» оборачивалось у Блока удивительной способностью смотреть на свое творчество отчужденно, спокойно выслушивать мнения любой резкости. Поэтому ни прямые несправедливости брюсовских рецензий, ни принципиальное различие их позиций внутри символизма, ни довольно скоро понятая Блоком человеческая чуждость ему «мага» не помешали Блоку непосредственно и открыто отдаться впечатлениям от глубоко его поразившей брюсовской лирики.

Брюсов стал для Блока, как сказано в дарственной надписи на экземпляре «Стихов о Прекрасной Даме», не только «законодателем русского стиха», но и — что для него гораздо важнее — «кормщиком» и «путеводной звездой» русского символизма (см. с. 491). Он считает Брюсова лучшим поэтом эпохи. Брюсов, пишет Блок Андрею Белому 9 января 1903 г., «поет уже так, что, кажется иногда, что «решается судьба» [19]. В широко известных отзывах на «Urbi et orbi» (в письмах С. Соловьеву, А. Белому, самому Брюсову конца 1903—1904 гг.) Блок восторженно пишет о брюсовском сборнике: «Книга совсем тянет, жалит, ласкает, обвивает. Внешность, содержание — *ряд небывалых откровений, озарений почти гениальных*» (VIII, 69; А. Белому от 20 ноября 1903); «Каждый вечер я читаю «Urbi et orbi» <. . .> У меня в голове груды стихов, но *этих я никогда* не *предполагал возможными* <. . .> Быть *рядом* с Вами я не надеюсь никогда. То, что *Вам* известно, не знаю, доступно ли кому-нибудь еще и *скоро* ли будет доступно» (VIII, 72; В. Я. Брюсову от 26 ноября); «Читать его (Брюсова. — *З. М.*) стихи вслух в последнее время для меня крайне затруднительно, вследствие горловых спазм. Приблизительно как при чтении пушкинского „Ариона“ или „Ненастный день потух“». «На языке до сих пор Брюсов» (VIII, 73; С. М. Соловьеву от 1—6 декабря); «Urbi et orbi» все еще лишает меня возможности писать вполне собственные стихи» (VIII, 89; В. Я. Брюсову от 23 февраля 1904); «Брюсов теперь первый в России поэт <. . .> «Urbi et orbi» <. . .> — крупнейшее литературное явление в последние годы <. . .> Старого декадентства, по-моему, нет и следа. Иные стихи лягут алмазами в коронах королей» (VIII, 90; А. В. Гиппиусу от 23 февраля 1904); «Я совершенно не могу надеяться вырасти до Брюсова, даже теперешнего. А что будет его будущая книга! Буду ждать с восхищением и надеждой» (VIII, 96; С. М. Соловьеву от 8 марта 1904). Влияния Брюсова на свое творчество Блок обнаруживает постоянно и все время говорит о них — то всерьез («Вы давно влияете на меня Вашими книгами (не исключая «Chefs d'oeuvre» и «Me eum esse»)» (VIII, 76—77; В. Я. Брюсову от 13 декабря 1903), то иронически («От моего имени остается разве окончание: *ок* (В. Я. Бр . . . — ок!)» — VIII, 101; Белому от 16 мая 1904); ср. в более позднем — 1905 — шуточном оглавлении журнала «Новый путь»: «Александр Блок. «Приходи путем знакомым. . .» (из Valer. Brussow)» — VII, 441). Столь же чуток он и к «брюсовским» мотивам и интонациям в творчестве С. Соловьева и Белого. Ср. в письме С. Соловьеву: «Можно ли писать: «Мальчик на горку уж ввез сани с обмерзлой веревкой». Ведь это уже написано в «Urbi et orbi» (VIII, 74; имеются в виду строки из стихотворения Брюсова «Мальчик»:

. . .Мальчик-вожатый из сил выбивается,
Бочку на горку не втащит никак
и т. д.) [20];

Андрею Белому: «В стихах — лучшие строки —

На руках и я носил
Золотые кольца.

А вообще — сочинение если не Валерия Яковлевича, то по крайней мере — Валерия Николаевича Бугаева» (VII, 101; имеется в виду отражение в стихотворении Белого «Попрошайка» интонаций и мотивов из раздела «Песни» в «Urbi et orbi»).

Только к лету 1904 г. поток восторженных высказываний Блока о творчестве Брюсова несколько ослабевает, а 21 октября он подводит итоги: «Год минул как раз с тех пор, как «Urbi et orbi» начало нас всех раздирать пополам. Но половинки понемногу склеиваются, раны залечиваются, хочешь другого» (VIII, 109). Однако и в это время в письме к отцу (29 октября) Блок называет Брюсова своим учителем (VIII, 111).

В чем причины больше года длившейся «завороженности» Блока сборником «Urbi et orbi»? На этот вопрос по-своему отвечает первая из двух его рецензий, предназначавшаяся для «Весов», но не опубликованная Брюсовым по тактическим соображениям

(см. VI, 771). Эта восторженная рецензия — одна из трудно «дешифруемых» блоковских статей, целиком написанных не только в импрессионистическом ключе «искусства об искусстве», но и «эзотерическим языком» для посвященных, где к тому же многое нарочито «табуировано» (ибо сам сборник Брюсова для Блока — «тайна»: «Кто-то светлый <. . .> зарыл *клад* на неизвестном месте <. . .> Мы срываем цветы. *Который из них* возник над кладом? Они молчат в красоте одиночества» (V, 533). Блок отмечает удивительную целостность сборника, новизну его — и в русской поэзии, и в творчестве Брюсова («сделан *какой-то* шаг» — V, 533), самостоятельность и единственность брюсовского замысла («*что-то начатое должно быть окончено мной без участия других*» — V, 333) и вместе с тем его идейную направленность (это — «воинствующая» книга, «она воинствует *среди прочих*» — V, 532). В чем же проявлены эти черты сборника? Ответ дан лишь намеками и зачастую в форме отрицательной. Сборник, считает Блок, не декадентский («На взгляд объективный, непредубежденный, «декадентства» нет и следа»— V, 534; ср. выше письмо А. В. Гиппиусу) и, вообще, «всякое направление беспомощно меркнет в красках книги» (там же; это — одно из первых высказываний Блока о том, что лучшие произведения символистов перерастают рамки литературного направления). Существенно постоянно мелькающее у Блока в 1903—1904 гг. сопоставление Брюсова с Пушкиным [21]. В рецензии оно имеет смысл указания на подобное пушкинскому новаторство Брюсова — введение в поэзию «прозаических» мотивов из реальной действительности, «прозаизацию» стиха: «Когда у Пушкина «жук жужжал» — критик, как известно, радовался появлению этого нового лица. Теперь пищу для такой «радости» может дать русский «vers libre» или упоминание о предметах столь мало «возвышенных», каковы конки и поезда» (V, 534). О влиянии урбанизма Брюсова на Блока упоминалось в исследовательской литературе (ср. о значении для «Андрея Белого и особенно Блока» «поэтического открытия «страшного мира» и «мифологизации» городского быта» [22]. Но важно то, что брюсовский город для Блока был далеко не только поэтически новой темой. Ошеломило его прежде всего то, что с городской темой в современное искусство вошли *жизнь*, *реальная действительность*, *современность* и *история*. «Конки» и «асфальтовые существительные» (VIII, 101) для Блока 1903 г. — знаки этого мира реальности, его символы, но это символы живого, зримого, ощутимого, и именно их Блок «никогда не предполагал возможными».

Важнейшие признаки реального мира в «Urbi et orbi», по Блоку, — многообразие, движение, динамизм («пестротонное начало» книги — «стимул ее переливчатого движения» — V, 533), глубинная страстность («затихший вулкан не спокоен в своих недрах» — V, 532), отражающаяся в «пламени распри» (V, 534). Но реальность современной городской жизни дана не только «под знаком боя», «кинжальной» мести, братоубийственной борьбы (там же). Город Брюсова, по Блоку, — не только «страшный мир». За звуками боя, быть может, стоит брюсовский «ангел», и брат когда-нибудь «бросится на грудь пораженного брата» (там же), а «струнный бич» искусства укротит «диких зверей» (V, 532).

Эту возможность просветления сегодняшнего, злого мира города Блок подчеркивает заключительной цитатой из Белого, также увидевшего в черном «маге» пророка грядущего света («Застывший маг <. . .> // Пророк безвременной весны» — V, 534).

Более детально и «логично» это истолкование сборника отразилось во второй рецензии Блока на «Urbi et orbi» (начало мая 1904 г.). Здесь находим, наряду с прежними, и новые мысли (о построении сборника по законам «математической формулы» — V, 541; о господствующих настроениях «воли к жизни» — там же, о «трагедии целомудрия и сладострастия» как важнейшей брюсовской теме — V, 542 и др.). В центре рецензии, однако, — утверждение «соприкосновения идей Брюсова с центральной идеей стихов Владимира Соловьева» (V, 542). Это сродство Блок находит и в обращении к земле — «искони матери и владычице всякого цветения» (V, 542), и в эсхатологических чаяниях «нового мира» (V, 542—43) и в «одной и той же мечте о неведомой царице» — «Деве Радужных Ворот» (V, 543).

Блок, конечно, преувеличивает влияние на Брюсова соловьевской поэзии (например, он как бы не замечает пока брюсовского субъективизма, «протеизма»)[23]. Особенно интересно постоянное стремление Блока противопоставить «соловьевство» Брюсова «изменам» Мережковских: «Отношение Брюсова к Вл. Соловьеву — *положительное*, а Мережковского — вполне отрицательное» (VIII, 95), — писал он 8 марта 1904 г. С. Соловьеву. Еще любопытнее, что очень друг другу близкие идеи «реабилитации плоти» в схоластических рассу-

ждениях Мережковского кажутся Блоку «антихристовыми», а в творчестве Брюсова — светлыми, «соловьевскими». Блок ощущает холодность Мережковского ко всему «эмпирически» данному, живому — и жадное любопытство Брюсова к жизни. Пока что Блок видит в этой особенности брюсовского творчества «соловьевскую» веру в возможность «просветления» земного бытия, его слияния с духовным началом мира. Но одновременно у Блока растет и более непосредственное восприятие «земных» начал поэзии Брюсова: Блок видит в ней поэзию конкретного, чувственно ощутимого, непосредственно данного, устремленность к «роднику кипучей жизни и труда» (V, 544). Так живо ранний Блок воспринимал лишь природу и «лирический» мир своих внутренних устремлений. Брюсов открыл для него живые «миры» города, истории, научил «ценить» жизнь во всех ее стихийных проявлениях. Это был важнейший стимул к дальнейшей эволюции Блока-поэта. Особенно заметен он в блоковской лирике конца 1903—1904 гг.

Правда, брюсовские воздействия ощутимы в творчестве Блока и в 1902—начале 1903 г., еще до выхода «Urbi et orbi», и навеяны, главным образом, сборником «Tertia vigilia» (1900), а также стихотворениями, публиковавшимися в альманахе «Северные цветы» [24], в журнале «Новый путь» и др. Первое стихотворение, где Блоком прямо отмечено присутствие «брюсовского» начала, — это «Подраж‹ание› Вал. Брюсову» — «Ты простерла белые руки. . .» (июль 1902 г.). В нем легко выделить то, что сам Блок считал «брюсовским»: тему, отнесенную к реальности, неизбежный мотив земного зла, извращенности — страсти, приведшей к преступлению:

Дышу — и думаю радостный:
«В этом теле я видел дрожь».
И трепет объемлет сладостный,
На полу — окровавленный нож.

(I, 513),

— намек на сюжетность, повествование. Знаком «брюсовского начала» оказывается и тонический стих (трехударный дольник, впоследствии, как известно, канонизированный Блоком, но ранее введенный Брюсовым и З. Гиппиус). По отдельности эти приметы «брюсовского» стиля встречались и раньше. Так, к дольникам, ассоциирующимся с «прозаизацией» стиха, Блок обращается уже в 1901 г. («Мы, два старца, бредем одинокие. . .» — 29 декабря 1901 г. и ряд др.), мотив страсти — убийства находим в стихотворении «Двойнику» (27 декабря 1901 г.) и т. д., однако, в этих случаях «брюсовское начало» вряд ли еще существовало в сознании Блока как целостное и *неповторимо индивидуальное* («Двойнику», что особенно видно по записи в дневнике — VII, 19 — ориентировано на традицию Достоевского; дольники могли быть и «гиппиусовскими» и т. д.). Наличие подобных примеров в лирике 1901 г. свидетельствует лишь о том, что собственный путь Блока вел его к тому же, что он вскоре найдет в «Tertia vigilia» и особенно в «Urbi et orbi».

С осени 1902 г. (примерно с середины октября) резко возрастает число текстов, соединяющих «реальные» описания, мотивы смерти (самоубийства), повествовательность (или — чаще — намек на сюжетное действие), дольник («Ушел он, скрылся в ночи. . .» — I, 229; «Его встречали повсюду. . .» — I, 235; «Мне страшно с Тобой встречаться. . .» — I, 237 и мн. др.) — все разрозненные приметы «подражания Брюсову», сочетающиеся, однако, с необязательной для Брюсова, но типично блоковской лиричностью (и непременным присутствием лирического «я»). Но 17 ноября 1902 г. Блок пишет стихотворение «Жрец», вновь прямо ориентированное на стилизованные баллады Брюсова (более всего — на «Жреца Изиды» из «Tertia vigilia», но и на более широкий круг текстов). Эта прямая обращенность к балладе интересна потому, что сравнительно редка для Блока (Д. Е. Максимов, например, вообще считает, что Блок прошел мимо этой линии брюсовской поэзии) [25], но очень важна: в прямом или — чаще — преобразованном виде, в виде свернутых знаков, намеков, брюсовская «балладная» тематика и сюжетность войдут в позднейшее блоковское творчество, эпохи «Нечаянной радости», чуждое первой наивной подражательности.

«Urbi et orbi» Блок читает между 16 и 20 ноября 1903 г. (см. VIII, 73); 20 ноября он уже пишет об этом сборнике Белому. 24 ноября — в разгар бурного увлечения Брюсовым — Блок создает «Фабрику» — первое стихотворение, где «брюсовское» выступает

не как объект подражания, а претворяется в новую для поэта, но органически блоковскую тему.

Современное, городское у Блока — и именно после «Urbi et orbi» — начинает связываться не столько с эстетизацией зла, сколько с эмоциями сострадания (ср. стихотворение Брюсова «Мальчик», несколько раз — и в рецензии, и в письмах — упомянутое Блоком). От «Фабрики» к стихотворению «Из газет» (27 декабря) видно, что именно гуманный и социальный поворот темы современности становится все более значимым для Блока.

Лирика Блока 1904 г. (а отчасти и 1905 г. и позже) еще несет прямые следы поэтических впечатлений от «Urbi et orbi». Особенно заметно это в стихотворениях, которые во втором блоковском сборнике («Нечаянная радость») войдут в разделы «Магическое» и «Перстень-страданье», а позже, во втором томе «трилогии лирики», — в циклы «Разные стихотворения» и «Город». Здесь постоянно мелькают реминисценции из Брюсова. Ср.:

В синеве плывет весна [26] —

из стихотворения «У земли», процитированного Блоком во второй рецензии на «Urbi et orbi» (V, 542), — и строку из блоковской «Легенды» (1905):

Весна плыла высоко в синеве
(II, 167);

брюсовское:

Рыдать на раздолии нив [27] —

и блоковское:

Над печалью нив твоих заплачу
(II, 75) и т. д.

Однако теперь речь идет уже не о перекличке отдельных образов и даже широко понятых тем, мотивов, композиционных принципов и т. д., а о соотнесении *целостного* поэтического мира Блока 1904—1905 гг. и мира «Urbi et orbi».

Во второй рецензии на брюсовский сборник Блок широко процитировал предисловие, где говорилось, что «книга стихов должна быть не случайным *сборником* разнородных стихотворений, а именно *книгой*, замкнутым целым» (V, 540). Эта мысль Брюсова оказалась для Блока чрезвычайно близкой, хотя и заполнилась впоследствии новым содержанием. Теперь же, компонуя «Нечаянную радость», Блок пишет (в августе 1906 г.): «В семи отделах я раскрываю семь стран души моей книги» (II, 369). Как и Брюсов, он стремится к созданию целостной картины мира в совокупности «отделов» («глав», по Брюсову) сборника. Конечно, целостность «Нечаянной радости» совсем иная, чем «Стихов о Прекрасной Даме»: картина мира у Блока утратила гармоничность, включила представление о многообразии и хаотичности действительности. Целостность здесь — стремление отобразить многообразные, хотя и не всегда органически связанные стороны жизни. Проявляется оно, в частности, в широте тематического диапазона сборника. Именно этим и сближается блоковский поэтический мир с брюсовским.

Под явным влиянием «Urbi et orbi» в мир Блока входит город как царство многих людей и многих истин:

Есть лучше и хуже меня,
И *много людей и богов*

(II, 104; ср. брюсовское из «Tertia vigilia» «И всем богам я посвящаю стих» [28], а также знаменитую апологию «всех гаваней» в «Urbi et orbi» [29]. От этой множественности «миров» лирический герой Блока, как и Брюсова, приходит к утверждению индивидуализма:

Да буду я — царь над собой,

полной свободы выбора идеала:

Я буду смотреть на Зарю
Лишь с теми, кого полюблю,

и свободы стихийных страстей:

. . .Чтоб видеть над бездной глухой
Черты ослепительных дев!
(II, 104).

Это мироощущение подчеркивает известное родство путей раннего Брюсова и Блока: их индивидуализм вначале покоился на романтическом отвержении «людей» («Me eum

esse» — «Стихи о Прекрасной Даме»), а затем связался с плюрализмом «многих», с приходом к реальности («Tertia vigilia», «Urbi et orbi» — «Нечаянная радость»). Индивидуализм такого рода отражал настроения предреволюционных лет и отличался от более раннего декадентского индивидуализма 90-х годов оптимистическим «принятием мира», активностью, волевым напором, пафосом «страстей» и своеобразным интересом к «другим»: к людям и событиям повседневности. Вместе с тем плюрализм подразумевал и отрицание «неколебимой истины» [30], и возникающий на перекрещении субъективизма и символистского эстетизма образ мира как театра. (Ср. «Сонет» — «О ловкий драматург, судьба, кричу я «браво». . . В. Брюсова и тему жизни-балагана в лирике и драмах Блока) [31]. Естественно совмещается такой плюрализм и с этическим релятивизмом, у Брюсова обычно принимавшим формы эстетизации зла, а у Блока, чаще всего, — его «констатации» («Обман», «Легенда», «Повесть», «В голубой далекой спаленке...» и даже в какой-то мере «чердачный цикл»). И все же сам Блок не случайно подчеркивал важность «книги Бытия», раскрывшейся перед ним в эпоху «Нечаянной радости»: «нисхождение» на землю, к людям, путь к реальной действительности для него — шаг, без которого не было бы и гуманизма его последующего творчества.

О близости решения революционной темы у Блока и Брюсова говорилось не раз [32]. Для обоих характерно восприятие революции как проявления основных, глубинных свойств жизни (динамизма, стихийности, «страстей»), как силы героической и радостной, хотя и несущей разрушение и смерть. У обоих революционные настроения вырастают из эсхатологических («Конь блед» — «Последний день» Блока). У обоих жизнь и революция противопоставлены мещанству — символу существования «скучного» (безобразного), недвижного и обреченного. Характерно влияние на Блока пространственной символики произведений Брюсова о мещанстве: вслед за поэмой «Замкнутые» он изображает мир «сытых» как закрытый (в стенах домов, в улицах города) и противопоставляет его миру воли и Родины как безгранному [33]. Ср., с одной стороны:

Недвижные *дома* — как тысячи *могил*.
Там *люди-трупы* спят. . . [34] —

и:

Заборы — как гроба . . .
Все, все *погребено в безлюдьи* окаянном
(II, 150),

с другой — мотив бегства из города на просторы природы и России (Брюсов «Мечтание», «Искатель» — Блок «Осенняя воля» и др.). Мотив бегства, возникший у Блока в начале «брюсовской эры» (1902—1903 гг.), первоначально связывается с разочарованиями в «соловьевстве», затем входит в кардинальную для Блока тему ухода из городского (и интеллигентского) мира к природе, народу и Родине, а в итоге, по тонкому наблюдению Д. Е. Максимова, ведет к «Соловьиному саду» [35].

Наконец, революционная тема и у Брюсова, и у Блока связана с младосимволистской утопией. Утопизм Блока, значительно более близкий к «соловьевству», принимает, однако, в годы революции «брюсовские» контуры именно там, где речь идет о *земном* «рае». Не случайно поэма «Ее прибытие», начиная от метрических и эвфонических цитат, всегда связанных у Блока со смысловой близостью (ср.:

Домчало нас к пристани в *час* предвечерний [36]

и:

Нас море примчало к земле одичалой — II, 52),

от образов кораблей, исполнена брюсовских интонаций и завершается главкой «Рассвет», где грядущее счастье рисуется в тонах брюсовских стихотворений («В раю» и др). и неотделимо от мотивов юности, красоты земных страстей и т. д.

Однако эта безусловная ориентированность поэтического мира Блока 1903—1905 гг. на Брюсова в каком-то смысле лишь подчеркивает их коренное отличие. Прежде всего та картина мира и тот способ ее художественной организации, которые для Брюсова стали итогом и вершиной творческих поисков, для Блока были лишь одним из этапов его пути (как известно, поздний Блок менее всего ценил свое творчество периода «антитезы»). Картина хаотического мира, складывающаяся лишь в сумму тематических «аспектов» бытия («разделов» сборника), — ничего более чуждого зрелому Блоку, стремящемуся

показать глубинное единство мирового процесса, и представить себе невозможно. Поэтому и любая особенность брюсовской поэтики, любая тема, мотив, как бы они ни привлекали Блока, входят в его творчество (за исключением нескольких «подражаний» 1902—1903 гг.) в резко преображенном виде. «Объективное» повествование резко размывается лирикой, сюжетность чаще всего оказывается лишь намеком на сюжет, баллада быстро эволюционирует к городскому роману: ср. путь от «Последнего дня» (1904) к «Повести» (январь 1905 г.), а затем — к «Перстню-страданье» (30 октября 1905 г.). «Город» оказывается лишь этапом на пути героя от изначального уединения к просторам России, этический релятивизм в изображении городской жизни почти никогда не принимает декларативно декадентских форм, начисто лишен малейшего оттенка извращенности и быстро, уже в 1905—1906 гг., сменяется гуманистической традицией показа «маленьких людей» или героикой народных образов и т. д.

Уже в 1904 г. можно заметить некоторое охлаждение в отношении Блока к брюсовскому творчеству; еще раньше Блок, после кратковременной увлеченности, разочаровался в Брюсове-человеке. Разумеется, Блок продолжает следить за всем, что печатает Брюсов, но теперь его отзывы неизмеримо холоднее и отчужденнее. Так, по мнению Блока, «ΣΤΈΦΑΝΟΣ» не превосходит «Urbi et orbi» (V, 600; рецензия от января 1906 г.) [37]. Его основные темы — прежние: «Любовь и Смерть» (V, 601). Правда, Брюсов по-прежнему, считает Блок, стремится уйти из уединенного мира: «Он строит новую лиру, «ответственную» за все и на все, о чем поет народная душа <. . .>, он — певец Брута и Робеспьера» (V, 603). Однако — и это теперь все более чуждо Блоку — мир «всех» для Брюсова — не самый близкий и окончательный. Его героика снимается иронией — «судорогой смеха» (V, 603). Отношение к этой иронии у Блока двоится. Она и близка ему; рецензия на «ΣΤΈΦΑΝΟΣ» пишется в те же дни, когда Блок работает над «Балаганчиком», и не случайно включает очень любопытную развернутую автореминисценцию из драмы (или примыкающих к ней стихотворений): «Вот и вступили мы в царство *веселья*: в царство безумного хохота, неудержимого, в царство балагана, за ширму паяца, нечаянно встряхнувшего невесту за шиворот в минуту первого любовного объяснения <. . .>, так что она шлепнулась об пол, и вот, склонившись над павшей невестой, с удивлением услыхал картонный звук: *темечко-то* у *невесты было картонное*! *Разливается по полу пятнышко клюквенного сока*» (V, 604). Здесь же Блоком впервые, на наш взгляд, намеком упоминается Гейне — «всесветный скептик <. . .>, узнавший цену всем надрывам и падениям, свободно разъезжающий в колесном кресле вдоль книжных шкафов» (V, 604).

Но Блок начинает понимать и гибельность универсального скепсиса: через два года он напишет статью «Ирония», где будет прямо назван Гейне с его «провокаторской иронией» и «криком о спасении» от смертельной боли скептицизма (V, 348 и 349). Критика «декадентства» и «иронии» как выявления декадентского субъективизма уже в 1906 г. мелькает в письмах и сохраненных мемуаристами высказываниях Блока.

Блоку и в этой рецензии все еще кажется, что спасение от «всесветной» иронии Брюсов по-прежнему находит в поисках идеала Лучезарной Подруги. В цикле «Вечеровые песни» Блок находит «мир и вечное счастье» (V, 604), «великую тишину», «возвращающую поэта к виденьям первоначальной юности» — к «Me eum esse» (V, 605). Из интимной лирики Брюсова Блок тонко выделяет те (посвященные Н. Петровской) стихотворения, которые проникнуты не «черной» страстью, а «грустной и светлой гармонией» Первой любви, и в них, отождествляя брюсовский путь со своим, он видит единственный путь к спасению. Но «близкое не сказалось. Видение, не разгаданное, отошло» (V, 606).

Двумя рецензиями на «Στέφανος» завершаются основные высказывания Блока о Брюсове в 1903—1906 гг., которые во многом проходили «под брюсовским знаком». Но еще до их написания Блок существенно отдаляется от «мага» и ищет новых, чуждых Брюсову путей.

Дальнейший «сюжет» отношений Блока и Брюсова дает неожиданно резкий индивидуальный поворот. В 1907—1908 гг., в период написания статей о народе и интеллигенции, Блок резко рвет (и с Блоком резко рвут) связи, когда-то для него дорогие, — связи с большинством корифеев русского символизма. С одной стороны, Андрей Белый ведет ожесточенную и во многом беспринципную полемику в «Весах» против «мистического анархизма» и Блока [38]. Тот же «брюсовский» орган помещает и высокомерно презрительные оценки публицистики Блока Д. Мережковским и З. Гиппиус. С другой стороны,

сам Блок в это время энергично отходит от «мистического анархизма» Вяч. Иванова и Г. Чулкова, постоянно критикует выступления Чулкова в записных книжках и письмах этих лет. После смерти (осенью 1907 г.) жены Вяч. Иванова, Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, Блок постепенно отходит от круга «Вячеслава Великолепного».

На какое-то время (особенно с лета 1907 г. по осень 1908 г., до возобновления отношений с Мережковскими) Блок остается в почти полном литературном одиночестве. К этому периоду относится неожиданная и очень радостная для Блока новая «встреча» его с Брюсовым.

В 1907—начале 1909 г. Блока с Брюсовым сближают, во-первых, по-прежнему высокая (хотя отнюдь уже не апологетическая) оценка Блоком брюсовского творчества и, во-вторых, неожиданная поддержка в разгар травли Блока в 1907 г. — положительный отзыв Брюсова о «Нечаянной Радости». В 1907 г. Блок пишет свою последнюю рецензию на Брюсова — отзыв о сборнике «Земная ось» — «странной, поразительной, магической книге» (V, 642). В рецензии звучит голос Блока эпохи статей о народе и интеллигенции. В Брюсове он видит по-прежнему певца революционного «сегодня»: «Историческая «среда», в которой возникла эта книга, — безумный мятеж, кошмар, охвативший сознание передовых людей всей Европы» (V, 637). Однако в этом «сегодня» Блок характерно стремится найти связь с привлекавшей его самого в 1907—1908 гг. культурой XIX в.: Брюсова он связывает с идущей «сквозь всю литературу XIX века» линией «пытаний естества» (V, 641) и даже с «механическим миросозерцанием» (там же).

Радостью для Блока была рецензия Брюсова в «Весах». П. Громов пишет о том, что хотя в резкой критике Блока в 1907 г. принимал участие и журнал «Весы», «однако руководящему журналом В. Я. Брюсову самому чужды соловьевские схемы и он следит за эволюцией своего поэтического собрата в общем доброжелательно; специфически социальные аспекты блоковского движения, по свойствам идейно-художественной позиции Брюсова, занимают его относительно мало, но <. . .> он точно видит главное не только в сегодняшнем, но и в завтрашнем Блоке — поэте трагических страстей, выраженных «полным звуком» [39]. В науке уже указывалось на «волевую» направленность этой рецензии: подчеркивая в ней то, что Блок, в основах своего творчества, не мистик, что он «поэт дня, а не ночи» и «скорее эпик, чем лирик» [40], Брюсов стремился «воздействовать на эволюцию Блока в желательном ему направлении» (см. прим. М. И. Дикман: VIII, 583). Следует особо выделить (отмечаемый и П. Громовым) [41] полемический характер заметки всегда самобытного в своих оценках Брюсова: формула «поэт дня, а не ночи» противостоит представлению А. Белого, С. Соловьева и Мережковских о Блоке как «мистическом анархисте» (последний — всегда «ночной», «дионисийский», и всегда «лирический», а не эпический).

Для Блока знаменем «дня» (преодоления «хаоса» в искусстве, четкости образов, «классичности» стиля) в 1909—1911 гг. становится сам Брюсов. В записи от 5 сентября <?> 1909 г. Блок пишет: «*Хорошим художником* я признаю лишь того, кто из данного хаоса <. . .> творит космос» (ЗК, 160). Как пример «оформляющего хаос искусства» приводится проза Брюсова. Вспоминает Блок и брюсовскую поэзию. 25 мая из Флоренции он пишет Брюсову: «И здесь, и в Венеции, и в Равенне по-новому и с особенной значительностью вспоминаю Ваши стихи» (VIII, 285), а вернувшись в Петербург 2 октября 1909 г. отправляет Брюсову восторженное письмо о «Путях и перепутьях», и о «старых стихах» Брюсова, «по-новому» звучащих в душе» (VIII, 293). Не случайно и упоминание пушкинистских работ Брюсова (там же): Брюсов Блоком теперь особенно четко воспринимается как продолжатель пушкинской традиции (ср. конец записи 5 сентября <?> 1909 г. об искусстве, побеждающем «хаос»: «Брюсов — проза. От Пушкина» — ЗК, 160). Но постепенно подступает и разочарование: Блок все яснее чувствует, что «космос» Брюсова — во многом лишь поиски гармонических форм — «декадентство», всегда Блоку чуждое.

Полное внутреннее расхождение Блока с Брюсовым относится к 1910 г., когда в ответ на «Заветы символизма» Вяч. Иванова и «О современном состоянии русского символизма» Блока появляется резко полемическая брюсовская статья «О «речи рабской», в защиту поэзии». Она окончательно проясняет Блоку позицию Брюсова — «служить искусству», вне всяких иных высоких целей [42] — и навсегда отделяет его от Брюсова. Даже в своей предсмертной статье «Без божества, без вдохновенья» (1921), Блок свяжет гибель русского символизма со вступлением его на «брюсовский» путь развития — путь «литературной

школы», а не одного из направлений синтетической русской культуры. Ни продолжавшийся всю жизнь интерес Брюсова к Блоку, ни его неизменно доброжелательные рецензии 1910-х гг.[43], ни (достаточно редкие) встречи и письма не могли изменить позиции Блока.

Однако и после статьи Брюсова в «Аполлоне» переписка и отношения с Брюсовым не прерываются. Правда, теперь письма Блока становятся, как и брюсовские, совсем уж деловыми, и, как правило, весьма краткими. В переписке полностью побеждает «брюсовский» стиль. Однако с Брюсовым все же связываются многие творческие планы Блока (публикация стихов в «Русской мысли», куда Брюсов, став одним из редакторов литературного отдела, сразу же приглашает Блока), в том числе и совершенно для Блока новые и неожиданные (переводы из армянских поэтов). Можно говорить об известной перемене позиций Блока и Брюсова в их взаимоотношениях в 10-е годы: Брюсов, хотя по-прежнему не испытывает к Блоку чувств личной близости, с каждым новым стихотворным сборником все выше оценивает его как художника, пишет рецензии на новые сборники Блока и статью о нем для «Русской литературы XX века», редактируемой С. А. Венгеровым Многие высказывания Брюсова о творческом пути и творческом методе Блока до сих пор остаются классическими для «блоковедения». Таковы, например, мысль (высказанная еще в рецензии на «Нечаянную радость») о важности «реальных» (автобиографических) впечатлений для раннего Блока, а также концепция блоковской эволюции, изложенная в рецензии на первый том его «Собрания стихотворений» («Мусагет», 1911) и сборник «Ночные часы». Здесь Брюсов говорит о движении Блока от прославления «божественного, вечно женственного начала, которое должно, широко проникнув в мир, возродить, воскресить его» [44] — через «демонизм» «второй книги» — к отходу от «всеобъемлющих концепций» к «заботам, радостям и печалям родной «горестной земли»». Хотя мысль об отказе Блока от «всеобъемлющих концепций» представляется сейчас научно несостоятельной и скорее вызвана обычным в символистской критике переносом на блоковскую эволюцию черт собственной, в целом точка зрения Брюсова принята современной наукой. Блока же теперь Брюсов интересует мало. Правда, он откликается на присылку в марте 1912 г. сборника Брюсова «Зеркало теней» стихотворным посланием. В нем видно и прежнее ощущение Блоком Брюсова-художника:

И вновь, и вновь твой дух таинственный
В глухой ночи, в ночи пустой
Велит к твоей мечте единственной
Прильнуть и пить напиток твой.

Чувство духовной близости возродилось у Блока отчасти под влиянием упомянутой рецензии Брюсова в «Русской мысли» (январь 1912 г.).

Но в послании остро ощущается и грусть исчерпанности «пути». Недаром о «жизни» здесь говорится в прошедшем времени и лишь о ее отражениях в «зеркалах» искусства — в настоящем:

Что жизнь пытала, жгла, коверкала,
Здесь стало легкою мечтой,
И поле траурного зеркала
Прозрачной стынет красотой
(III, 139).

Чувство «исчерпанности», — конечно же, для Блока относится не только к Брюсову Это прежде всего его собственное лирическое восприятие жизни «в ночи пустой», а также — поэтическое «эхо» брюсовских настроений. Но, думается, есть в «итоговости» блоковской оценки «Зеркала теней» и отношение его к общей эволюции Брюсова. Из единственного Учителя Брюсов превратился для Блока в то, чем и был в 10-е годы — одним из многих символистов, заблудившихся в «ночи», когда сам символизм стал уже прошлым русской культуры.

Расхождение путей Блока и Брюсова в 10-е годы оказалось окончательным. Не изменились их личные отношения и после революции: экспериментаторство и «всеядность» культурных интересов Брюсова были решительно чужды Блоку. Хотя Брюсов в 1918—1921 гг. не раз откликается рецензиями на выходящие в это время книги Блока, но поэт об этих рецензиях ни разу не упоминает и, скорее всего, просто их не читает. Позднее

творчество Брюсова тоже не интересует Блока; он лишь однажды, очень холодно и скрыто осудительно, упоминает «Erotopaegnia» — «брюсовские переводы с порнографическими виньетками» (ЗК, 412).

Полная противоположность в отношении Брюсова к своей роли председателя Всероссийского Союза поэтов и Блока — к своей (председателя Петроградского отделения Союза) бросалась в глаза современникам. Ироническое отношение к организаторскому пафосу Брюсова и его честолюбию отражено в шуточных «Стихах о предметах первой необходимости» (1919):

«Книг чтоб не было в шкапу ста!» —
Скажет Брюсов, погоди
(III, 427).

В целом же не будет преувеличением сказать, что Брюсову не оказалось места в духовном мире Блока в 1917—1921 гг.

В предреволюционные годы затухает и переписка Блока и Брюсова. Блок посылает Брюсову лишь одно краткое благодарственное письмо (в ответ на полученные им брюсовские сборники — см. стр. 523) в 1917 г. и одно — последнее, чисто деловое, — в 1919 г. В последнем, однако, сквозит и привычное уважение к Брюсову как мастеру перевода. Еще одним доказательством тому может служить следующий эпизод. В мае 1919 г., работая с актерами Большого драматического театра, Блок в наброске «О чтении стихов русскими актерами» обращает внимание на плохой перевод пьесы В. Гюго «Эрнани» и «варварские» его переделки при постановках. Поэт записывает важнейшие для него мысли о «самостоятельном значении» стиха (VI, 474), т. е. о новых, внеязыковых, возникающих через интонации стиха смыслах, и завершает набросок энергичным вопросом: «Полно, «Эрнани» ли Гюго играли у нас на образцовой сцене?» (там же). При сравнении этого наброска с блоковским письмом от 29 июля 1919 г. напрашивается мысль, что переговоры А. Н. Лаврентьева с Брюсовым о срочном переводе «Эрнани» для БДТ и одновременно планы публикации нового перевода пьесы в издательстве «Всемирная литература» как-то связаны и с проявленной Блоком инициативой.

Дело, однако, не в этих отдельных «встречах» художников. Бросая итоговый взгляд на переписку, нельзя не отметить глубинной особенности отношений Блока и Брюсова — их связь (правда, лишь на ранних этапах) с периодами наибольшей общественной активности обоих художников. Блок считает «Учителем» Брюсова «Urbi et orbi», Брюсов, вопреки твердо сложившемуся общесимволистскому мнению, утверждает большую ценность творчества Блока эпохи первой русской революции сравнительно с мистикой «Стихов о Прекрасной Даме». Позже ситуация меняется: объективное сходство позиции двух крупнейших русских символистов, принявших революцию, не приводит к их новым духовно значительным «встречам». Однако в 1917—1921 гг. отчетливо выявляются типологически сходные черты их «пути». Оба поэта, в 1914—1916 гг. трагически считавшие свою творческую активность иссякшей, в 1917 г. чувствуют себя духовно воскресающими; оба много и радостно работают. Оба видят в революции реализацию «грез», романтических предчувствий «начала века», крушение ненавистного им мира мещанства, «прозы», рождение нового мира и человека. Оба взволнованно вглядываются в революцию, надеясь, что она принесет полное (ср. блоковское «переделать все» — VI, 12), праздничное всеобщее и личное обновление. Оба стремятся претворить творческий подъем конца 1917—начала 1918 г. в пафос практических дел — «культурного строительства». И эти последние годы творчества и жизни Блока и Брюсова, внутренне родственные (несмотря на ряд очевидных отличий), бросают свет на смысл и стиль их жизненных исканий в предыдущие десятилетия.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Александр Блок и Андрей Белый. Переписка».
[2] См.: ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 26.
[3] Александр Блок. Письма. Л., «Колос», 1925.
[4] «Письма А. Блока к Е. П. Иванову». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1936.
[5] См. об этом письмо З. Н. Гиппиус к Блоку от 29 марта 1905 г. — ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 26, л. 31, 32.
[6] См.: Вл. Орлов. История одной «дружбы—вражды». — В кн.: Вл. Орлов. Пути и судьбы. Л.: «Сов. писатель», 1971, с. 525—436.

[7] Там же, с. 537—586.

[8] См.: Н. Степанов. (Вступительная статья к публикации). В. В. Гольцев. Брюсов и Блок (по неопубликованным материалам). «Печать и революция», 1928, № 4 и 5. А. Блок. Письма к В. Я. Брюсову. — «Литературный современник», 1936, № 9; В. П. Енишерлов. Александр Блок и его неизданные письма. — «Новый мир», 1979, № 4; см. также: К. Пуршиева. Библиотека Валерия Брюсова. — ЛН, т. 27—28, М., 1937. О творческих связях поэтов см.: Ю. Тынянов. Валерий Брюсов. — «Архаисты и новаторы». Л., «Прибой», 1929; А. Островский. Валерий Брюсов. — В кн.: В. Брюсов. Стихотворения. Л., «Сов. писатель», 1939; П. Перцов. Брюсовское стихотворение «Младшим». Из литературных воспоминаний. — «30 дней», 1939, № 10—11; О. Цехновицер. В. Я. Брюсов. — «Звезда», 1939, № 7—8, а также многочисленные важные замечания к теме в работах Д. Е. Максимова.

[9] Д. Максимов. Поэзия Валерия Брюсова. Л., Гослитиздат, 1940, с. 218.

[10] См.: Валерий Брюсов. Дневники 1891—1910. М., Изд. М. и С. Сабашниковых, 1927, с. 122.

[11] Вал. Брюсов. Альманах книгоиздательства «Гриф» (рец.). — «Весы», 1905, № 3, стр. 60.

[12] Андрей Белый. Апокалипсис в русской поэзии. — «Весы», 1905, № 4, с. 11—28.

[13] «Весы», 1905, № 5, с. 38.

[14] Там же, с. 37—38.

[15] Там же, с. 38.

[16] Там же.

[17] Пентуар (В. Брюсов). Тан. Стихотворения (рец.). — «Весы», 1905, № 5, с. 44.

[18] ЛН, т. 85 (Валерий Брюсов). М., 1976, с. 466.

[19] Александр Блок. Андрей Белый. Переписка, с. 13.

[20] В. Брюсов. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 1, с. 330.

[21] Д. Максимов. Поэзия Валерия Брюсова, с. 156 и след., а также: З. Г. Минц. Ал. Блок и Пушкин. — Уч. зап. ТГУ. (Труды по русской и славянской филологии, XXI), Тарту.

[22] Д. Максимов. Брюсов. Поэзия и позиция. Л., 1969, с. 75; ср. там же, с. 138, а также: Д. Максимов. Поэзия Валерия Брюсова, с. 36, 121 и др.

[23] Ср., например, «негласную полемику» Брюсова с младшими символистами. См.: В. Н. Орлов. Комментарий к стихотворению А. Блока. «Молитвы. ‹. . .› 4. «Ночная» («Тебе, Чей сумрак был так ярок. . .») — I, 628—629.

[24] См. комментарий М. Васильева и Р. Щербакова к сб. «Tertia vigilia» (Брюсов, т. I, с. 588).

[25] Ср. мысль о том, что на лирику Блока повлияла урбанистическая поэзия, «а не баллады Брюсова» (Д. Е. Максимов. Брюсов. Поэзия и позиция, с. 138).

[26] Брюсов, т. I, с. 278.

[27] Там же, с. 282.

[28] Там же, с. 142.

[29] Там же, с. 354—355.

[30] Там же, с. 354.

[31] См.: Павел Громов. А. Блок. Его предшественники и современники. М.—Л., «Сов. писатель», 1966, с. 191—192, 204 и др.

[32] Наиболее убедительное сопоставление творческих позиций см.: Д. Е. Максимов. Александр Блок и революция 1905 года. — В сб.: «Революция 1905 года и русская литература». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1956, с. 262—264.

[33] См.: З. Г. Минц. Структура «художественного пространства» в лирике А. Блока. — Уч. записки ТГУ. Вып. 251 (Труды по русской и славянской филологии, XV. Тарту, 1970), с. 203—293.

[34] Брюсов, т. I, с. 329.

[35] Д. Максимов. Брюсов. Поэзия и позиция, с. 160.

[36] Брюсов, т. I, с. 357.

[37] Вторая рецензия на «ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Венок», предназначенная для газеты и адресованная массовому читателю, повторяет мысли первой рецензии на этот сборник, а также концепции двух рассмотренных выше отзывов на «Urbi et orbi». Интересна в ней главным образом высказанная более четко, чем прежде, мысль о том, что Брюсов ««рукоположен» Пушкиным, это поэт «пушкинской плеяды»» (V, 616).

[38] См. прим. 7.

[39] Павел Громов. А. Блок. Его предшественники и современники, с. 190—191.

[40] В. Брюсов. Новые сборники стихов (А. Блок. Нечаянная радость). — «Весы», 1907, № 2, с. 85.

[41] П. Громов. А. Блок, с. 191.

[42] В. Брюсов, т. 6, с. 178.

[43] См., например: В. Брюсов. Александр Блок. — «Русская мысль», 1912, № 1. Статья тронула Блока (см. VIII, 382—383, VII, 122—123).

[44] В. Брюсов, т. 6, с. 180.

З. Г. Минц

Переписка Блока с Брюсовым сохранилась в архивах обоих писателей почти в полном объеме. Нам известны 53 письма Блока к Брюсову [1] и 30 писем Брюсова к Блоку. Внимательное знакомство с перепиской убеждает в том, что разница в количестве писем Брюсова и Блока объясняется прежде всего тем, что многие письма Блока оставались без ответа.

Бо́льшая часть писем Блока хранится в ГБЛ, в фонде 386 (В. Я. Брюсов), 77.35—37; письма от 18 апреля 1906 г., 17 февраля 1911 г. и 29 июня 1919 г. — в ЦГАЛИ, в фонде 2530 (В. В. Гольцев), оп. 1, ед. хр. 191 и б. ш.; письмо от 7 октября 1915 г. — в ИМЛИ, в фонде 13 (В. Я. Брюсов), оп. 3, ед. хр. 65. Письма Брюсова к Блоку хранятся в ЦГАЛИ, в фонде 55 (А. А. Блок), оп. 1, ед. хр. 174. Хронологический охват переписки — 1903—1919 гг.

Но регулярной переписке поэтов предшествовала, как известно, история их взаимоотношений, активно налаживаемых в 1901—1902 гг. М. С. и О. М. Соловьевыми. Документы, раскрывающие и этот период их отношений, находятся также в архивах обоих поэтов. Важный источник для изучения «предыстории» отношений Блока с Брюсовым — письма О. М. Соловьевой к А. А. Кублицкой-Пиоттух (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 551). Они не раз привлекали к себе внимание исследователей и цитировались в работах о раннем Блоке. Однако история взаимоотношений с Брюсовым по этим письмам никогда еще не была изложена последовательно и с учетом новейших архивных данных, а между тем она представляет безусловный интерес.

10 сентября 1901 г. Блок, по рекомендации Соловьевых, послал в редакцию «Скорпиона» четыре стихотворения: «В бездействии младом, в передрассветной лени. . .», «Не призывай и не сули. . .», «Ночью сумрачной и дикой. . .», «Ты горишь над высокой горою. . .» [2]. 19 сентября 1901 г. О. М. Соловьева пишет: «Посмотрим, что скажет Скорпион! Весьма очень рады, что Саша уже послал туда!»

О посылке стихов Соловьевы Брюсова не предупредили, но через месяц, 22 октября, обеспокоенная отсутствием ответа, О. М. Соловьева пишет: «Об Скорпионе вот что: хотя мы и говорили с Сашей, что лучше без всякой протекции (для себя и для своих очень близких «протекция» мне кажется вещью несносной), но все-таки не спросить ли при случае Брюсова, прочел ли он, не сказать ли, чтоб прочел и не прочесть ли ему хотя «Предчувствую тебя. . .» ‹. . .›. Заранее боюсь. Впрочем, «Скорпион» — не один Брюсов, и я не знаю, к кому попали стихи Саши». Но прошло еще два месяца, прежде чем разговор с Брюсовым состоялся. Об этом разговоре О. М. Соловьева сообщает 20 декабря 1901 г.: «Милая Аля, прости, что до сих пор не написала тебе о Брюсове, мне хотелось узнать что-нибудь определенное ‹. . .›. Оказалось, что никаких стихов Блока они не получали! Хорошо, что я спросила».

Эта версия, подтвержденная затем в письме О. М. Соловьевой еще раз, почти через год, 19 октября 1902 г. («стихи, посланные самим Сашей, Скорпион так и не получил. . .») легко опровергается, однако, архивными данными. Автограф посланных в «Скорпион» стихов с надписью Блока на обложке: «Стихи Александра Блока (1—4)» хранится сейчас в отделе рукописей ГБЛ, в фонде Блока (ф. 429, 1.3, лл. 1—4). Стихи поступили в отдел в 1959 г. от наследников В. В. Гольцева вместе с другими автографами Блока, находившимися в коллекции исследователя. Анализ состава коллекции В. В. Гольцева, хранящейся сейчас частично в ГБЛ, частично в ЦГАЛИ, убеждает, что бо́льшая часть автографов Блока из этой коллекции восходит к архиву Брюсова (см. об этом также п. 20, прим. 2).

В. В. Гольцев, как известно, первым начал изучать историю взаимоотношений Брюсова и Блока [3]. Очевидно, во время работы над этой темой он брал у И. М. Брюсовой материалы из архива поэта и не успел их вернуть (или, по взаимному соглашению, и не должен был их возвращать).

О принадлежности указанной рукописи к архиву Брюсова определенно свидетельствует его помета-автограф в верхнем правом углу листа 1: «А. Блок». Стало быть, Брюсов получил эти стихи и держал их в руках. Возможно, что получив без всякого предупреждения в сентябре 1901 г. стихи совершенно ему не известного юноши за подписью «Блок», Брюсов не обратил на них внимания и о получении их к декабрю, когда о них спросила О. М. Соловьева, просто забыл. Но из этого, разумеется, следует, что стихи эти не произвели на него сколько-нибудь значительного впечатления.

О. М. Соловьева, однако же, узнав, что стихи до редакции «Скорпиона» не дошли, решила исправить положение дел. «Я сейчас же дала ему, — пишет она в том же письме 20 декабря 1901 г. — увы, уже без разбора — несколько листов, переписанных Борей и отчасти Сашей (твоим) и лежавших поблизости. Брюсов взял, начал читать, но ему все мешали, и он попросил стихи с собой». Какие стихи передала Брюсову в этот раз О. М. Соловьева, установить не представляется возможным. Стихов Блока, переписанных рукой А. Белого, в архиве Брюсова не сохранилось. Как следует из дальнейшей переписки, никакого определенного ответа и об этих стихах Брюсов Соловьевым так и не дал.

Тема «Брюсов — Блок» возобновляется в письмах О. М. Соловьевой только почти через год, в октябре 1902 г. 17 октября она сообщает, что «Брюсов даже в письме к Мише справляется о «Блоке»», а 19 октября пишет уже подробно: «Пожалуйста, пришли стихи Саши скорее, четко переписанные, побольше <. . .>. Вчера был Брюсов <. . .>, он *очень охотно* напечатает стихи Саши в Сев<ерных> Цветах, для кот<орых> теперь набирает материалы. Я торжествую <. . .>. Лучше бы побольше стихов, чтобы можно было выбрать, и выбрать много. Я прочла вчера вслух «шорохи и стуки» [4] <. . .>, и они очень понравились. Еще два Сашин<ых> стих<отворения> (из последнего времени) он знает от Перцова и говорит, что они великолепны. Ура. Что же это все значило, прошлого года? Я уже попрекала Брюсова, хотя может быть лучше было пройти это молчанием».

В этом письме любопытно упоминание о стихах, известных Брюсову от Перцова. Эти стихи («Я, отрок, зажигаю свечи. . .» и «Когда святого забвения. . .») Перцов, по-видимому, прислал Брюсову в письме от 29 июля 1902 г. с вопросом: «Знаете ли Вы поэта Блока?» и со своим отзывом о прилагаемых стихах [5]. Брюсов, как известно, ответил ему в начале августа: «Блока знаю. Он из мира Соловьевых. Он не поэт» [6]. В разговоре же с О. М. Соловьевой он называет присланные Перцовым стихи «великолепными», а на верхнем поле обоих этих стихотворений (ГБЛ, ф. 386, 129. 16) ставит помету «С<еверные> Цв<еты>», т. е. предназначает их к публикации в альманахе «Скорпиона».

Стихи Блока для передачи Брюсову были получены Соловьевыми из Петербурга 26 октября 1902 г., а 30 октября пересланы по назначению. Однако ответ Брюсова был снова неясным. «Брюсов ничего такого не писал, из чего можно было бы заключить, что он не хочет печатать Сашины стихи в Северных Цветах, — сообщает О. М. Соловьева 21 ноября, — напротив, мне казалось, что они непременно будут напечатаны, хотя мнение Брюсова было выражено именно «неопределенно» <. . .>. У нас он выражал твердое намерение оттягать у Нов<ого> Пути Блока и Бугаева, а З. Гиппиус, вероятно, захочет оттягать их у Скорпиона».

Это последнее письмо проливает свет на отношение Брюсова к раннему творчеству Блока: относясь к стихам Блока более чем сдержанно, Брюсов, однако, заинтересован в том, чтобы сплотить вокруг «Скорпиона» молодые литературные силы и потому не хочет отвечать отказом на предложение сотрудничества молодого поэта, которого многие вокруг него (в том числе высоко ценимый им А. Белый) считают необычайно талантливым, почти гениальным (см. об этом также с. 468 наст. публ.). Но, попав в ноябре 1902 г. в Петербург и завязав и укрепив там множество связей с петербургскими литераторами, Брюсов не нашел в этот приезд времени для знакомства с Блоком. 23 декабря 1902 г. Блок пишет М. С. Соловьеву, что Брюсова он «в Петербурге не видел» (VIII, 48) [7].

Знакомство двух поэтов состоялось лишь в следующий приезд Брюсова в Петербург, 30 января 1903 г., в редакции «Нового пути». Во время личной встречи была, видимо, наконец достигнута договоренность о публикации цикла стихов Блока в «Северных цветах», потому что через день, 1 февраля 1903 г., Блок пишет свое первое письмо Брюсову, сообщая, что посылает ему стихи о Прекрасной Даме. «Заглавие ко всему отделу моих стихов в «Северных цветах», — пишет он, — я бы хотел поместить такое: «О вечно-женственном». В сущности, это и есть тема всех стихов, так что не меняет дела и то, что я не знаю точно, какие именно Вы выбрали, тем более, что, вероятно, у Вас были в руках некоторые стихи, посланные мной Соловьевым» (VIII, 55).

В архиве Блока в ГБЛ хранится в настоящее время 33 ранних стихотворения Блока из коллекции В. В. Гольцева, не считая четырех уже названных выше (ф. 429, 1.1, 3, 4). Все они восходят к архиву Брюсова или, точнее, к той части архива издательства «Скор-

пион», которая отложилась в фонде Брюсова [8]. Многие стихи Блока имеют пометы Брюсова: «С. Цв.», или «С. Цв.?», или зачеркнутое «С. Цв.», или «нен» (‹не надо (?)›). Часть стихов пронумерована рукой Брюсова, иногда зачеркнута авторская нумерация стихов. Все это, безусловно, следы редакторской работы Брюсова по отбору стихов Блока для публикации.

Какие именно и сколько стихотворений послал Блок в «Скорпион» 1 февраля 1903 г., установить теперь трудно. Опубликованы были, как известно, 10 стихотворений, право отбора которых, как следует из письма Блока, автор предоставил Брюсову. Наборный экземпляр этого цикла хранится в ГБЛ (ф. 429, 1.4). Из 10 стихотворений семь («Тебя скрывали туманы. . .», «Безмолвный призрак в терему. . .», «Бегут неверные дневные тени. . .», «Она стройна и высока. . .», «Днем вершу я дела суеты. . .», «Пытался сердцем отдохнуть я. . .», «Я жду призыва, ищу ответа. . .») написаны на одинаковой бумаге, два («Вхожу я в темные храмы. . .» и «Ты свята, но я тебе не верю. . .») — на бумаге другого типа, и одно («Я вышел в ночь — узнать, понять. . .») — не только на бумаге третьего типа, но и рукой не Блока, а, видимо, А. А. Кублицкой-Пиоттух. Но на бумаге первого образца написаны еще шесть не вошедших в публикацию стихотворений Блока: «Ходит месяц по волне. . .» (1.1, л. 4), «Ночью сумрачной и дикой. . .» (1.3, л. 9), «Сумрак дня несет печаль. . .» (1.3, л. 11), «Ночью вьюга снежная. . .» (1.3, л. 17), «Ты горишь над высокой горою. . .» (1.3, л. 18) и «Хранила я среди младых созвучий. . .» (1.3, л. 19). Возможно, что Блок прислал 13 стихотворений, 7 из них Брюсов включил в публикацию без изменений, 3 просто отбросил, а 3 заменил стихами, особенно понравившимися и уже отобранными им ранее для «Северных цветов». Так, например, на нижнем поле листа со стихотворением «Вхожу я в темные храмы. . .», которым открывалась публикация в «Северных цветах», стоит помета: «№, В Сев‹ерные› Цветы». Возможно, что еще до присылки цикла стихов Блоком Брюсов решил эти стихи непременно включить в публикацию и ради них пожертвовал одним из присланных вновь стихотворений. О стихотворении же «Я вышел в ночь — узнать, понять. . .» О. М. Соловьева, как уже говорилось (см. с. 480), писала А. А. Кублицкой-Пиоттух, что оно «очень понравилось» Брюсову. Любопытно, что среди стихов, присланных Блоком для публикации, было одно из четырех уже посланных им в «Скорпион» раньше в составе четырех так называемых «не дошедших» стихов («Ночью сумрачной и дикой. . .») — и оно вновь не было принято Брюсовым. Следует отметить также, что среди стихов Блока, не вошедших в публикацию, есть пять («Погибло всё. . .» — 1.1, л. 4, «Синие горы вдали. . .» — 1.1, л. 5, «Всё бытие и сущее согласно. . .» — 1.3, л. 8, «Одинокий, к тебе прихожу. . .» — 1.3, л. 10, «Ты прошла голубыми путями. . .» — 1.3, л. 12), представлявших собой первоначально цикл. Все они написаны на бумаге одного типа, все были пронумерованы автором, но номера затем автором же зачеркнуты так тщательно, что прочитать их сейчас нельзя.

Сколько-нибудь детальный анализ стихов Блока из портфеля «Северных Цветов» не входит, разумеется, в задачу данной заметки. Необходимо только обратить внимание исследователей на то, что в фонде 429 ГБЛ хранятся материалы, дающие возможность проанализировать работу Брюсова-редактора с текстами раннего Блока. Название «Стихи о Прекрасной Даме» вместо предложенного Блоком «О вечно-женственном» вписано над первым стихотворением цикла рукой Брюсова, его же рукой пронумерованы стихи и листы цикла и под последним стихотворением поставлена подпись «Александр Блок».

Трудно предполагать, что и отбор стихов, и замену заглавия цикла Брюсов не согласовал с автором, однако письмами ни того, ни другого корреспондента за февраль—март 1903 г. мы не располагаем, хотя, по логике вещей, такие письма должны были быть написаны. Не дошло до нас и письмо Блока с откликом на публикацию стихов в альманахе, что тоже не может не удивлять. И несмотря на то, что неизвестны и косвенные упоминания об этих письмах, не исключена все-таки возможность, что они могут быть впоследствии где-то обнаружены и что эта предполагаемая лакуна заполнится. Других подобных лакун в переписке двух поэтов нет.

В письмах каждого года прослеживаются обычно один-два центральных мотива, чаще всего деловых, объединявших корреспондентов на какое-то время, с начала до завершения того или иного общего дела.

Письма за ноябрь—декабрь 1903 г. связаны с брюсовским предложением Блоку сотрудничать в «Весах» и восторженной оценкой Блоком сборника «Urbi et orbi». Без ответа осталось письмо Блока от 13 декабря 1903 г. (VIII, 76—77) относительно его заметки о гастролях труппы Леблан Метерлинк, но известно, что ответ он получил в устной беседе в январе 1904 г., когда приезжал с женой в Москву (VIII, 83).

В 1904 г. Блок — сотрудник «Весов», и его письма чаще всего — сопроводительные к посылаемым корреспонденциям и статьям. Кроме того, происходит обмен письмами в связи с выходом в свет сборника «Стихи о Прекрасной Даме». Без ответа остались письма Блока от 23 февраля (VIII, 88—89), от 4 мая (п. 5 наст. публ.), от 6, 15 и 18 ноября (VIII, 112 и п. 7 и 8 наст. публ.) и от 30 декабря (п. 9 наст. публ.). Из деловых предложений Блока без ответа остались его вопрос о возможности опубликовать в «Весах» статью об А. Т. Болотове (письмо от 23 февраля) и, главное, вопрос о том, может ли Блок считать себя в 1905 г. сотрудником «Весов» (письмо от 30 декабря).

Не получив ответа на последний вопрос, Блок, очевидно, прекращает переписку. Прерывается на целый год и его сотрудничество в «Весах».

Отношения со «Скорпионом» возобновляются в 1906 г. по инициативе Блока. Но характерно, что с предложением издательству напечатать сборник его стихов и сотрудничать в «Весах» стихами Блок обращается не к Брюсову, а к Полякову, не надеясь, впрочем, на его согласие. На этот раз предложение его было принято очень охотно, Брюсов передал через Белого и согласие издать книгу Блока, и высокую оценку стихов этой книги (см. п. 10, прим. 4). Из писем Блока 1906 г. шесть (от 11 января, 24 и 29 марта, 25 апреля, 18 августа и 17 октября) остались без ответа, но деловой необходимости в ответе на них, строго говоря, не было, а занятость Брюсова, видимо, мешала ему быть в переписке безукоризненно пунктуальным. Одно из его писем 1906 г. так и начинается: «Простите мои молчания. Все «занят»» (24 апреля, п. 12 наст. публ.).

1907 год — время наиболее активного общения поэтов. Блок деятельно сотрудничает в «Весах», Брюсов привлекает его к участию в газетах «Столичное утро» и «Голос Москвы». Блок пишет рецензию на «Земную ось», Брюсов — на «Нечаянную радость» и т. д. Без ответа остаются письма Блока от 19 и 24 февраля и от 8 декабря (VIII, 179—180, п. 22 наст. публ. и VIII, 220), но содержание их таково, что обязательного ответа не требовало.

Дальше переписка становится отрывочной, случайной. Какие-то письма оставляет без ответа Брюсов, какие-то (правда, реже) — Блок. Не сохранились ответы Блока на две записки Брюсова 1909 г. с просьбой уточнить день встречи, но они, видимо, были потеряны Брюсовым. И если от начала 1903 г. сохранились материалы, посланные Блоком в «Скорпион», но неизвестна переписка этого времени, то дальше дело обстоит как раз наоборот: дальнейшая переписка сохранилась, по-видимому, полно, зато неизвестно местонахождение большей части материалов Блока, посланных им Брюсову: нет ни наборного экземпляра, ни корректур «Нечаянной радости»; нет автографов «Незнакомки» и, за небольшим исключением, стихов Блока, печатавшихся в «Весах» и «Русской мысли». Нет и некоторых книг, посланных Блоком Брюсову с дарственными надписями. Хочется надеяться, что со временем они обнаружатся где-то.

Публикация переписки Блока с Брюсовым была начата, как уже говорилось, В. В. Гольцевым в 1928 г. в журнале «Печать и революция» (№№ 4—5). Им было опубликовано пять писем Блока (от 1 февраля и 26 ноября 1903 г., 6 ноября 1904 г., 24 марта 1907 г. и 2 октября 1909 г.) и два письма Брюсова (о них см. ниже). Письма были опубликованы в составе статьи В. Гольцева «Брюсов и Блок», в тексте которой были процитированы отрывки и из других писем обоих корреспондентов. Письма Блока публиковались по подлинникам, хранившимся в то время у И. М. Брюсовой. Текстологически публикация выполнена очень тщательно, небольшие неточности есть лишь в пунктуации и расстановке кавычек.

Работу В. В. Гольцева в 1936 г. продолжил Н. Л. Степанов, опубликовавший 12 писем Блока к Брюсову («Литературный современник», 1936, № 9). В состав этой публикации вошли четыре из пяти писем, опубликованных Гольцевым (было опущено лишь письмо от 1 февраля 1903 г.). Кроме того, было опубликовано еще восемь писем (от 11 января, 5 июня и 26 декабря 1906 г., 20 января 1907 г., 8 апреля 1908 г., 3 сентября 1910 г., 2 ноября и 11 декабря 1915 г.). Письма опубликованы с мелкими текстологическими неточностями (подготовка текстов — И. М. Брюсовой). Откомментированы письма Н. Л. Сте-

пановым, им же написана краткая вступительная статья. Ошибка этой публикации — включение в ее состав письма от 8 апреля 1906 г. Публикаторы ошиблись в адресате письма: оно написано не Брюсову, а М. Ф. Ликиардопуло [9], так что всего в журнале было опубликовано 13 писем Блока, но из них писем к Брюсову — только 12.

Следующая публикация писем Блока была осуществлена только через 19 лет. В 1955 г. вышли сочинения Блока в двух томах. В состав второго тома В. Н. Орлов включил 11 писем поэта к Брюсову, из которых четыре (от 17 октября 1906 г., 13 января и 8 декабря 1907 г. 16 января 1912 г.) опубликовал впервые.

К моменту, когда осуществлялось восьмитомное[10] собрание сочинений Блока (М.-Л., 1960—1965), было, таким образом, опубликовано 17 писем Блока к Брюсову из 53. В VIII томе этого собрания (1963) было напечатано 24 письма, из них 16 переопубликованы, а восемь (23 ноября 1903 г., 23 февраля 1904 г., 25 апреля 1906 г., 19 февраля и 20 октября 1907 г., 25 мая 1909 г., 11 апреля 1911 г.) опубликованы впервые[11]. Текст писем был подготовлен и откомментирован М. И. Дикман. Из ранее опубликованных писем в восьмитомник не вошло лишь письмо от 20 января 1907 г.[12]

Надо сказать, что ни в одной из перечисленных публикаций не были сформулированы принципы отбора писем, и почему 29 писем Блока Брюсову не попали ни в одну из них и почему за рамками публикаций остались именно эти 29, а не другие — объяснить теперь трудно.

В 1975 г. был подготовлен и вышел в свет аннотированный каталог писем Блока [13], В этом издании три коротеньких письма (от 7 октября 1910 г., 25 января 1912 г. и 12 июня 1913 г.) и надпись на визитной карточке (без даты) [14] были опубликованы целиком, но, разумеется, без комментариев.

В 1978 г. в сборнике «Встречи с прошлым» К. Н. Суворова процитировала бо́льшую часть письма Блока к Брюсову от 18 апреля 1906 г., в своем сообщении «Рукой Александра Блока» [15].

Настоящая публикация была уже получена редакцией «Литературного наследства», когда в журнале «Новый мир» (1979, № 4) были напечатаны 23 не публиковавшихся ранее письма Блока из фонда 386 ГБЛ. Публикация подготовлена В. П. Енишерловым. Она, к сожалению, несвободна от значительных неточностей в воспроизведении текста и снабжена крайне скупым комментарием. За рамками этой журнальной публикации остались два письма, хранящихся в ЦГАЛИ (от 17 февраля 1911 г. и 29 июля 1919 г.), и одно — из архива ИМЛИ (от 7 октября 1915 г.). Они в настоящей публикации воспроизводятся впервые.

Из 30 писем Брюсова к Блоку до настоящего времени были опубликованы лишь пять. Два (от ноября 1904 г. и 4 мая 1912 г.) — в указанной публикации В. Гольцева [16], письмо от 9 сентября 1906 г. — в томе «Литературного наследства», посвященном истории символизма [17], письмо от 21 ноября 1903 г. процитировано почти полностью в комментарии В. Н. Орлова к письму А. Белого Блоку от конца ноября 1903 г.[18] и письмо от 30 октября 1907 г. — во втором выпуске каталога переписки Блока [19].

Остальные письма Брюсова Блоку до сих пор не публиковались, хотя широко использованы в науке. Они постоянно цитируются, например, М. И. Дикман в ее комментариях к письмам Блока в восьмом томе его сочинений, а также используются во многих работах, посвященных как Блоку, так и Брюсову.

Но задача полного комментированного издания переписки двух крупнейших поэтов-символистов начала XX в. давно уже ощущается как насущная необходимость. Публикация их двусторонней переписки дает возможность представить себе историю их взаимоотношений во всей совокупности фактов, часть которых до сих пор не была исследователями учтена. В истории журналистики, например, очень мало освещался эпизод сотрудничества символистов в газетах «Голос Москвы» и «Столичное утро». Приводимый в настоящей публикации материал дает возможность ощутить, с какой энергией и настойчивостью взялся Брюсов налаживать это сотрудничество и как огорчен он был неудачей. Письмо Блока от 1 ноября 1907 г. свидетельствует о том, сколь горячо откликнулся поэт на замысел создания издательства «Пантеон», его же письмо от 7 октября 1915 г. дает возможность впервые установить, какое стихотворение В. Терьяна посылал Блоку для перевода Брюсов [20] и т. д.

Настоящая публикация включает все дошедшие до нас письма Блока к Брюсову, кроме тех 24, которые опубликованы в восьмом томе собрания его сочинений, и все известные нам письма Брюсова к Блоку. Кроме того, мы включаем в публикацию переписку Блока с И. М. Брюсовой, относящуюся к 1915—1916 гг. и по тематике неотделимую от переписки Блока с Брюсовым того же периода. И. М. Брюсова писала Блоку по поручению мужа, который был в это время очень загружен работой, и Блок обращался с письмами к ней, зная, что ответы на его деловые вопросы будут непременно согласованы с Брюсовым. Поэтому выделение переписки с И. М. Брюсовой в отдельную публикацию представляется нам нецелесообразным. Три письма Блока к Брюсовой хранятся в ГБЛ (ф. 386, 77.38). Два из них (от 11 февраля 1906 г. и 30 ноября 1915 г.) опубликованы в VIII томе Собрания сочинений, письмо от 7 января 1916 г. публикуется впервые. Три письма И. М. Брюсовой к Блоку хранятся в ЦГАЛИ (ф. 55, оп. 1, ед. хр. 175), все они публикуются впервые в настоящем издании.

Письма публикуются по правилам современной орфографии и синтаксиса. Индивидуальная специфика пунктуации в письмах, как правило, воспроизводится. Явные орфографические или синтаксические описки исправляются в тексте без специальных примечаний.

[1] В каталоге переписки Блока числится 54 письма. Под № 54 приводится недатированная надпись на визитной карточке Блока: «Тверск. Гост. Франция, 7» (Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог. Вып. I. Письма Александра Блока. М., 1975, с. 132). Эта надпись, не являясь, строго говоря, письмом, нами в данной публикации опускается.

[2] См. ЗК, с. 21.

[3] См. об этом наст. том, с. 482.

[4] Очевидно, имеется в виду стихотворение Блока «Я вышел в ночь — узнать, понять. . .» (I, 215).

[5] См. об этом подробнее: «Записки отдела рукописей», вып. 39. М., 1978, с. 56. Впрочем, возможно, что стихи (переписанные рукой П. П. Перцова — ГБЛ, ф. 386, 129.16) не были приложены к письму, а переданы Брюсову позже. (См. помету Перцова на ответном письме к нему Брюсова — ИМЛИ, ф. 13, оп. 3, ед. хр. 21, л. 8).

[6] П е р ц о в П. П. Ранний Блок. М., 1922, с. 24.

[7] Впервые опубликовано: «Письма Александра Блока». Л., 1925, с. 48. Предположение В. Гольцева о том, что оба поэта встретились, очевидно, у Мережковских на вечере, посвященном Блоку, в начале декабря 1902 г. (см. «Печать и революция» 1928, № 4, с. 35), этим письмом полностью опровергается. Гольцев просто не обратил, по-видимому, внимания на свидетельство самого Блока. Кроме того, как следует из писем Брюсова к И. М. Брюсовой, Брюсов уехал из Петербурга 29 ноября («Завтра выезжаю курьерским», — пишет он 28 ноября. — ГБЛ, ф. 386, 69.3. л. 25). Запись же о его пребывании в Петербурге, обозначенная им в дневнике 1902 г. надписью «Вообще декабрь» (В. Б р ю с о в. Дневники. М., 1927, с. 126), сделана им позднее — и, вероятно, ошибочно. События, описанные им под этой приблизительной датой, относятся не к декабрю, а к концу ноября 1902 г. В начале декабря Брюсов был уже в Москве и на вечере у Мережковских присутствовать не мог.

[8] Описывая материалы портфеля издательства «Скорпион», сохранившиеся в фонде В. Я. Брюсова (ГБЛ, ф. 386) в «Записках отдела рукописей» (вып. 39, с. 53—59), я не обратила внимания на то, что часть рукописей Блока, посланных им в «Скорпион», хранится в фонде Блока (ГБЛ, ф. 429). По существу же они должны были быть включены в описание архива Брюсова, так как составляют его органическую часть и «откололись» от него лишь случайно.

[9] См. об этом подробнее наст. том с. 525—526.

[10] Точнее, девятитомное, так как «Записные книжки» составляют, по сути дела, девятый, хотя и не нумерованный, том этого собрания.

[11] В статье «Адресаты и источники текста» (VIII, 552) ошибочно сказано, что в этом издании впервые публикуется 10 писем. Письма от 17 октября 1906 г. (№ 106) и 8 декабря 1907 г. (№ 149) уже были опубликованы в т. II Сочинений в двух томах.

[12] «Литературный современник», 1936, № 9, с. 201.

[13] Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог под редакцией В. Н. Орлова. Вып. 1. Письма Александра Блока. М., 1975.

[14] См. прим. 1 к наст. статье.

[15] «Встречи с прошлым», М., 1978, с. 89.

[16] Письма Брюсова публиковались по очень тщательным копиям, снятым для Гольцева Д. М. Пинесом (см. об этом «Печать и революция», 1928, № 4, с. 34). В настоящее время эти копии хранятся в ЦГАЛИ (ф. 391 (Д. М. Пинес), оп. 1, ед. хр. 32).

[17] ЛН, т. 27—28, М., 1937, с. 517—518.

[18] См. легенду к письму 1 наст. публ.

[19] Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог. Вып. 2. Письма к Александру Блоку. М., 1979, с. 139.

[20] «Теперь трудно судить о причинах равнодушия Блока к Терьяну, так как не известно, подстрочники каких стихотворений были посланы русскому поэту», — пишет К. Н. Григорьян в книге «Ваан Терьян» (М., 1957, с. 83). В письме же от 7 октября 1915 г. Блок так конструирует фразу, характеризующую это стихотворение («Я сильно сомневаюсь, не одна ли риторика эта «ночь страданий», подпущенная к спуску занавеса. . .»), что становится совершенно ясно, о каком стихотворении идет речь. Это стихотворение «В весеннем городе», заключительная строфа которого в переводе Брюсова звучит так:

О! благо вам, песнь, мечта и любовь!
Привет тебе, жизнь, безгранность стремленья!
Привет тебе, ночь страдания вновь!
И муки и смерть, вам благословенье!

(«Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней в переводе русских поэтов». Под редакцией, со вступительным очерком и примечаниями Валерия Брюсова. Ереван, 1973, с. 383).

Ю. П. Благоволина

1. БРЮСОВ — БЛОКУ

‹21 ноября 1903 г. Москва›

Уважаемый Александр Александрович!

С января 904 года Скорпион издает ежемесячный научно-литературный журнал «Весы» (статьи, корреспонденции, рецензии — без стихов и без беллетристики) [1]. Участники многие из Н‹ового› Пути: Д. С. Мережковский, З‹инаида› Н‹иколаевна› [2], Перцов, Бальмонт, Розанов, Сологуб, вероятно, Минский, наш Белый [3]. Можно ли считать и Вас в числе сотрудников? От Вас (кроме общих статей) [4] ждем особенно рецензий на новые русские книги и корреспонденций о Петербургской литературной и и художественной жизни.

Ваш Валерий Брюсов

P. S. Гонорар 50 р. с листа в 1 отделе и 10 коп. со строки во 2-м.

Опубл. (без подписи и Post scriptum'а): «Александр Блок и Андрей Белый. Переписка». М., 1940, с. 70. Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Раздел стихов и беллетристики был введен в «Весах» в 1905 г. (разрешение Главного управления по делам печати получено 7 октября 1905 г. — ЛН, т. 85, с. 278—279).

[2] З. Н. Гиппиус.

[3] О степени дальнейшего реального участия в «Весах» перечисленных здесь Брюсовым лиц см. там же, с. 269.

[4] В редакционной статье первого номера «Весов» имя Блока среди участников раздела «Общие статьи по вопросам искусства, науки и литературы» не названо. Оно упомянуто только среди авторов второго раздела — «Библиография и художественная хроника» — «Весы», 1904, № 1 (лист не нумерован). С общими статьями по вопросам искусства и литературы Блок в «Весах» никогда не выступал.

2. БРЮСОВ — БЛОКУ

‹3 декабря 1903 г. Москва› [1]

Уважаемый Александр Александрович!

Мне очень дороги Ваши слова о моих стихах [2], ибо я высоко ценю Вас как поэта. Мне лично очень хотелось бы, чтобы Вы участвовали в Сев‹ерных› Цветах. Но Вы знаете о жестокой распре между Скорпионом и Грифом, которая разгорелась за последние месяцы [3]. У нас в Скорпионе постановили (я был решительно против), что в Сев‹ерных› Цветах не должно быть участников альманаха «Гриф» [4]. Страсти были так возбуждены, что я не нашел возможным спорить и разубеждать. Надеюсь, однако, что все это само собой уладится [5].

Во всяком случае очень рассчитываю на Ваше участие в Весах. Ждем от Вас таких же коротких и попадающих прямо в цель рецензий, какие Вы печатали в Нов‹ом› пути [6].

Сердечно Ваш Валерий Брюсов

[1] Датируется на основании пометы Д. М. Пинеса на сделанной им копии письма: «Штемпель почтовый — Москва 3/XII 903 г.» (ЦГАЛИ, ф. 391, оп. 1, ед. хр. № 32, л. 2). Так же датировано это письмо и В. В. Гольцевым, который цитирует его частично в статье «Брюсов и Блок» («Печать и революция», 1928, № 4, с. 37). При подлиннике письма в ЦГАЛИ конверт в настоящее время отсутствует.

[2] Отзыв А. А. Блока о сборнике «Urbi et orbi» см. VIII, 72.

[3] См. письмо Блока от 23 ноября 1903 г. (VIII, 71—72)

Подробнее о взаимоотношениях двух символистских издательств: «Гриф» и «Скорпион» — см.: «Александр Блок и Андрей Белый. Переписка», с. 59—70 и ЛН, т. 85, с. 280 и 372—373.

[4] В письме к Белому от 5 декабря 1903 г. Брюсов не противопоставляет себя тем сотрудникам «Скорпиона», которые считали невозможным одновременное сотрудничество в «Грифе»: «Вы были среди *нас*, когда *мы* решали, что участвовать в «Грифе» не должно». . . (ЛН, т. 85, с. 372. Курсив мой. — *Ю. Б.*).

[5] В четвертом выпуске альманаха книгоиздательства «Скорпион» («Северные цветы ассирийские». М., 1905) приняли участие и авторы второго выпуска альманаха книгоиздательства «Гриф» (М., 1904): К. Бальмонт, А. Белый, В. Иванов, А. Ремизов. Блок в четвертом выпуске «Северных цветов» не участвовал.

[6] В «Новом пути» за 1903 г. Блок напечатал 5 рецензий: ««Героини» Овидия» (№ 3— подпись «Б»), «Близость второго пришествия Спасителя» (№ 3—«Ал. Бл.»), «Андрей Белый. Симфония (2-я, драматическая)» (№ 4 — «А. Блок», «А. Е. Зарин. Спирит» (№ 4 — «Ал. Бл.»). «1. Е. И. «Просветы» и настроения. 2. Иван Абрамов. В культурном скиту» (№ 5 — «Ал. Бл.»). В «Весах» в качестве рецензента Блок выступил лишь однажды: ««Свободная совесть». Книга первая». («Весы», 1906, № 2).

3. БЛОК — БРЮСОВУ

‹31 января 1904 г. Петербург›

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич.

Посылаю Вам мою ноябрьскую заметку об «Urbi et orbi» [1]. Если даже она не годна для печати, мне хочется, чтобы Вы знали мое впечатление от этой книги, хотя бы нецельно и неполно выраженное. Буду Вам глубоко признателен, если Вы дополните мне «Urbi et orbi» стихотворением «Приходи путем знакомым» [2].

Обращаюсь к Вам с просьбой. Сообщите мне, пожалуйста, не имеет ли «Скорпион» надобности в переводах *с французского* — каких-нибудь журнальных статей или беллетристических сочинений — классических или современных — для «Весов» или отдельных изданий? Если да, — то моя мать (А. А. Кублицкая-Пиоттух) охотно предложила бы свои услуги. Она работала преимущественно в изданиях «Вестника Иностранной Литературы» под редакцией Ф. Булгакова [3], где переводила Бальзака [4], Мопассана [5], Золя [6], Доде [7], Прево [8], поэтов — Бодлера [9], Верлена [10], Ришпена [11], Гюго [12], Мюссе [13], Сюлли-Прюдома [14]. Некоторые из 144 томов «Собрания сочинений избранных иностранных писателей» переведены ею целиком [15].

Я был бы крайне обязан Вам, если бы Вы ответили мне на это предложение. Из основательно забытых классических сочинений моя мать могла бы предложить «Скорпиону» перевод «Stello» Виньи, который исполнила бы на тех условиях, какие Вы ей предложите.

Искренно преданный Вам и готовый к услугам Вашим

Александр Блок

31 января 1904.

СПб., Петерб. Набержн. Гренадерские Казармы, кв. 13

[1] См. V, 532—534 Посланный Брюсову автограф заметки хранится в ГБЛ (ф. 429, 1. 14).



В. Я. БРЮСОВ
Фотография Д. С. Здобнова, 1900-е гг. Петербург
Литературный музей, Москва

[2] Имеется в виду стихотворение В. Я. Брюсова «Призыв». Опубл. впервые: «Золотое руно», 1906, № 1, с. 43, в составе подборки из четырех стихотворений (1. «Тени» — 1895, 2. «Призыв» — 1900, 3. «Женщина» — 1901, 4. «В сумраке» — 1904), объединенных заголовком «Воскресшие песни», с примечанием редакции: «Прилагаемые стихотворения Валерия Брюсова (1895—1904) не могли быть напечатаны автором раньше по цензурным условиям прежних лет».

Просьбу Блока о присылке стихотворения Брюсов выполнил. Среди копий писем Брюсова, сделанных Д. М. Пинесом, под № III значится следующая запись: «III. На бланке «Весов»: Из «Urbi et orbi»: Отдел «Баллады», между III и IV — «Приходи путем знакомым. . .» (ЦГАЛИ, ф. 391, оп. 1, ед. хр. 32). В настоящее время среди писем Брюсова к Блоку в ЦГАЛИ стихотворение отсутствует.

14—15 января 1904 г. Блок писал матери из Москвы: «Брюсов <. . .> читает два стихотворения — «Белый всадник» и «Приходи путем знакомым». Еще важнее «Urbi et orbi»!» (VIII, 82). Под впечатлением «Призыва» Блок пишет «Подражание» («Жду я смерти близ денницы. . .») — II, 35 и 389).

[3] Федор Ильич *Булгаков* (1852—1908) — редактор журнала «Вестник иностранной литературы» (1893, № 4 — 1897, № 2) и приложения к нему («Собрание сочинений избранных иностранных писателей»). Общую оценку Блоком деятельности Ф. И. Булгакова см. V, 579—580.

[4] «Собр. соч. Бальзака», т. 1—20, СПб., 1896—1899; т. 2 («Бедные родственники» и «Кузина Бета»); т. 8 («История тринадцати»), ч. I и III («Феррагюс вождь пожирателей» и «Золотоглазая девушка»); т. 12 («Сцены из военной жизни: «Шуаны, или Бретань в 1799 г.» и «Любовь в пустыне»»).

[5] «Собр. соч. Гюи де Мопассана», т. 1—12. СПб., 1894—1896; т. 5 («Под солнцем», «На водах», «В Бретани», «Крезо»); т. 6 («Идиллия», «Человек, кружку пива!», «Крестины», «Сожаление», «Дядя Жюль»); т. 10 («Семейный мир»); т. 12 (стихотв. «Конец любви» и «Ужас»).

[6] «Собр. соч. Эмиля Золя», т. 1—14. СПб., 1896—1899; т. 14 («Дамское счастье»).

[7] «Собр. соч. Альфонса Доде», т. 1—12. СПб., 1894—1895; т. III—VI («Джек»); т. VII («Письма с мельницы»); т. XII («Белая гвоздика», «Старший брат», «Арлезианка»).

[8] М. Прево. Заветный сад. — «Вестник иностранной литературы», 1897, № 5—9.

[9] Ш. Бодлер. «Осенняя песнь» («Охватят скоро нас потемки ледяные. . .»), «С того света» («Подобно ангелу с орлиными очами. . .»), «De profundis clamavi» («К тебе взываю я, о, та, кого люблю я. . .»). «Портрет» («Болезнь и Смерть все в пепел обратили. . .») — «Вестник иностранной литературы», 1894, № 12, с. 142; 1895, № 4, с. 18 и № 12, с. 12; 1896, № 8, с. 16.

[10] П. Верлен. «Сентиментальная прогулка» («Таяло солнце в прощальных лучах. . .»), «Заветный сон» («Я часто вижу сон пленительный и странный. . .»), «Мне страшно, Господи. Душа трепещет в страхе. . .», «Рояль, где нежных рук не замерли лобзанья. . .», «Я не знаю, зачем. . .», «Слезы безмолвные в сердце моем. . .» — «Вестник иностранной литературы», 1895, № 7, с. 76 и 128; 1896, № 2, с. 162; № 3, с. 60 и № 10, с. 96; 1897, № 4, с. 163.

[11] Ж. Ришпен. «Нет, то еще не ночь, не мрак и не молчанье. . .» — «Вестник иностранной литературы», 1895, № 1, с. 84.

[12] В. Гюго. «Утро» («Уж утро по горам ночной покров свивает. . .»), «Кошмар» («На трепетную грудь, на лоб мой наклоненный. . .») — «Вестник иностранной литературы», 1894, № 8, с. 34 и № 11, с. 88.

[13] А. Мюссе. «О, вспоминай. . .» — «Вестник иностранной литературы», 1894, № 7, с. 68.

[14] Сюлли-Прюдом. «Здесь на земле» («Здесь на земле сирень, расцветши, увядает. . .»), «Роса» («Я грезами объят, а бледная роса. . .»), «Глаза» («О сколько чудных глаз, любимых и прекрасных. . .»), «Идеал» («Луна взошла. На небесах. . .»), «Сон» («Я умер, и меня в могилу опускали. . .»). — «Вестник иностранной литературы» 1895, № 3, с. 70 и 212, № 5, с. 14, № 11, с. 16; 1897, № 4, с. 134.

[15] Тома 13, 82, 114 и 87 серии («Собр. соч. Бальзака», т. 2, 8 и 12; Собр. соч. Золя, т. 14). Какому тому серии соответствует 3-й том Собр. соч. А. Доде — установить не удалось.

4. БРЮСОВ — БЛОКУ

<Февраль, до 23, 1904 г. Москва> [1]

Дорогой и уважаемый Александр Александрович!

Простите, что откликаюсь так поздно: мучительно занят. Статью Вашу о себе получил [2]. За Ваши строчки — очень спасибо, но думаю, нам лучше ее не печатать: и так «Русь» все попрекает нас, что мы друг друга славим [3].

Вот к Вам просьба. Не можете ли Вы написать о выставке «Нового общества художников» в залах академии наук? Я не знаю Вашего отношения к живописи как искусству, но думается мне, Вы не должны быть ему чужды. Заметка нужна небольшая, не свыше двух наших страниц [4].

Если Вы не возьметесь за это дело, пожалуйста, известите: нам нужно будет просить кого-либо другого. Срок для доставки заметки — увы — самый скорый, так как до пасхи нам надо напечатать два №№ — 3-ий и 4-ый, итак, скажем 26, 27, 28 февраля до * 1 марта.

На Вашу просьбу о переводах [5] ничего радостного сообщить Вам не могу. Мы все, ближайшие, слишком знаем языки, и нам совершенно не приходится искать переводов со стороны.

Сердечно Ваш Валерий Брюсов

На бланке «Весов».

[1] Датируется по связи с предыдущим письмом Блока (№ 3) и последующим, от 23 февр. 1904 г. (VIII, 88—89).

[2] См. прим. 1 к письму 3.

[3] Имеется в виду заметка «По книжной части», опубликованная в «Руси» 16 февраля (№ 65) за подписью «Офеня» и посвященная первому номеру «Весов» за 1904 г. Высоко оценивая статьи Брюсова, Волошина и особенно Бальмонта, напечатанные в этом номере

* Подчеркнуто двумя чертами.

журнала, рецензент пишет далее: «В таких статьях — хорошая будущность журнала. Ему нужно только отделаться от пренеприятной манеры возвеличивания своего околотка: все у них гении и все расшаркиваются друг перед другом. Брюсов находит, что Бальмонт великолепен, Бальмонт объявляет Брюсова неподражаемым; оба венчают Андрея Белого лавровым венком, а Андрей Белый курит фимиам обоим. В этом случае они напоминают историю петуха с кукушкой, и это смешная сторона дела».

[4] Заметка Блока «Новое общество художников» опубл.: «Весы», 1904, № 3. См. также V, 673—674.

[5] См. п. 3.

5. БЛОК — БРЮСОВУ

‹4 мая 1904 г. Шахматово›

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич.

Прошу Вас, если понадобятся рецензии для «Весов», прислать мне книги по следующему адресу: Никол. ж. д., станция Подсолнечная, именье Шахматово. Я напишу с готовностью.

Преданный Вам Александр Блок

1904. 4 мая. Шахматово Моск. губ.

6. БРЮСОВ — БЛОКУ

‹Ноябрь, до 6, 1904 г.› [1]

Уважаемый Александр Александрович!

Примите мою благодарность за присланную Вами мне книгу стихов [2]. Читаю ее с тем редким чувством, какое испытываешь, читая «настоящие» стихи. Верьте, что во мне Вы имеете читателя, какого каждый автор желал бы иметь, — старающегося угадать недосказанное, от слов перейти к тому, что *за* ними, к душе поэта и ко всей бесконечности, которая за этой душой. Пишу безо всякой излишней скромности, что не считаю себя вправе принять того слишком ответственного посвящения, какое я нашел на своем экземпляре [3]. Не возлагайте на меня бремени, которое подъять я не в силах. Принимаю разве только первую строчку. Дайте мне быть только слагателем стихов, только художником в узком смысле слова, — все большее довершите Вы, молодые, младшие.

Я не решился сам «разобрать» Вашу книгу в «Весах». Сказать все, что должно, я не сумею, меньше — не хочу. Я поручил ее Вяч. Иванову: думаю, она в надежных руках [4].

Как всегда, Ваш сердечно

Валерий Брюсов

На бланке «Весов». На поле слева рукой Брюсова дата: «1904 ноябрь». Опубл.: «Печать и революция», 1928, № 4, с. 42—43.

[1] Датируется на основании ответного письма Блока от 6 ноября 1904 (VIII, 112).

[2] А. Блок. Стихи о Прекрасной Даме. М., «Гриф», 1905. Книга вышла в октябре 1904 г. (цензурное разрешение — 9 сентября). Присланный Брюсову экземпляр хранится в ГБЛ (ф. 386. Книги. № 948).

[3] См. наст. том. с. 491.

[4] Рецензия Вяч. Иванова «Александр Блок. Стихи о Прекрасной Даме» опубл.: «Весы», 1904, № 11, с. 49—50. В. Иванов писал Брюсову 13/26 ноября 1904 г.: «Блока неожиданно полюбил. ‹. . .› Даже стыдно мне стало, что прежде чем я увидел его вещи во всей их совокупности, я сомневался в его самобытности, и в его непосредственности; мне они казались деланными и навеянными» (ЛН, т. 85, с. 466). А 16/29 ноября того же года он пишет: «Кстати, если есть у тебя собственная рецензия о Блоке — не вздумай предпочесть мою. Брось ее, или, наконец, помести рядом с твоей» (Там же, с. 468). Брюсов о сборнике «Стихи о Прекрасной Даме» отдельной рецензии не написал. Но в обзоре русской литературы 1904 г., помещенном в английском журнале «Athenaeum», он так характеризует Блока: «Настоящим самостоятельным поэтом показал себя А. Блок в своих «Стихах о Прекрасной Даме». Прекрасная Дама поэта — это не столько его земная любовь, сколько — мистическая мадонна, «дева радужных ворот», по терминологии гностиков. Русская поэзия еще не знала таких проникновенных песен к «вечно женственному». В них звучит грустная мечта о нездешнем детского сердца, которому тяжело в грубых условиях современности, и святые молитвы рыцаря нового небесного Иерусалима.

Местами в стихе видна неопытная рука художника начинающего, но форма поэзии Блока настолько своеобразна, что он должен быть признан мастером, maître'ом, создателем своей школы, и действительно, у него уже нашлись подражатели, ученики» (англ. текст — «Athenaeum», 1905 октября 14, № 4068, с. 501; русский — ГБЛ, ф. 386, 36. 33, л. 33—34). Известно, однако, что рецензии Брюсова в «Athenaeum'е» всегда были чуть более комплиментарны в оценках, чем его же аналогичные суждения, предназначенные для русского читателя (см. об этом, например: Э. А. П о л о ц к а я. Неоконченная статья о «Вишневом саде» Чехова. — ЛН, т. 85, с. 193). Дошедший до нас черновой автограф русского текста этой статьи свидетельствует о том, что последняя фраза о признании Блока maître'ом и мастером стиха далась Брюсову нелегко, пройдя через ряд редакций, одна из которых звучала так: «форма [стих] поэзии Блока наст‹олько› своеобразна, что он [*похож* на соверш‹енно› самостоятел‹ьног›]. . .» «фраза не дописана и зачеркнута. Курсив мой. — *Ю. Б.*). Вежливое молчание Брюсова о книге Блока в русской печати — есть, безусловно, свидетельство сдержанного отношения его к этой книге. Ср., например, его фразу из письма к Перцову от 5 апреля 1906 г., по поводу сборника «Нечаянная радость»: «Сборник интересный, *лучше* «Прекрасной Дамы»» («Печать и революция», 1926, № 7, с. 43. Курсив мой. — *Ю. Б.*). Позднейшее суждение его о первой книге Блока см. также в статье: «А. Блок. Нечаянная радость. Второй сборник стихов. М., 1907». — «Весы», 1907, № 2, с. 84—85. Фраза об «обманности прежних чар» поэзии Блока из этой позднейшей рецензии невольно встает в один ассоциативный ряд с суждением о том, что Блок лишь «похож» на самостоятельного поэта — из черновой редакции статьи 1904 г. И констатация Брюсовым наличия «школы Блока» в статье из «Athenaeum'а» — в рецензии 1907 г. повторена, но включена в контекст уже явно отрицательный: «Этот прием «умолчания» нашел себе многочисленных подражателей и создал даже целую «школу Блока». Но сам А. Блок, по-видимому, понял всю обманность прежних чар своей поэзии. В его стихах с каждым годом все меньше «блоковского», и перед его читателями все яснее встает новый, просветленный образ поэта» (Цит. по: Я. Я. Б р ю с о в. Собр. соч., т. 7, М., 1975, с. 329). Об упоминаниях Брюсовым имени Блока в «Весах» за 1905 г. см. с. 467 наст. тома. См. также воспроизведение текста помет Брюсова на экземпляре книги «Нечаянная радость» (ЛН, т. 27—28, с. 671).

7. БЛОК — БРЮСОВУ

‹15 ноября 1904 г. Петербург›

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич

Позвольте мне на этих днях доставить в редакцию «Весов» отчет о лекции Минского «Нравственная проблема наших дней», читанной 13 ноября [1]. На этой лекции я был и, кроме того, имею ее в руках в настоящее время. Отчет не должен превысить двух страниц (во втором отделе), постараюсь сжать его, сколько сумею.

Неизменно преданный Вам Александр Б л о к

15/XI.1904. СПб.

[1] Опубл.: «Весы», 1904, № 12, с. 46—47.

8. БЛОК — БРЮСОВУ

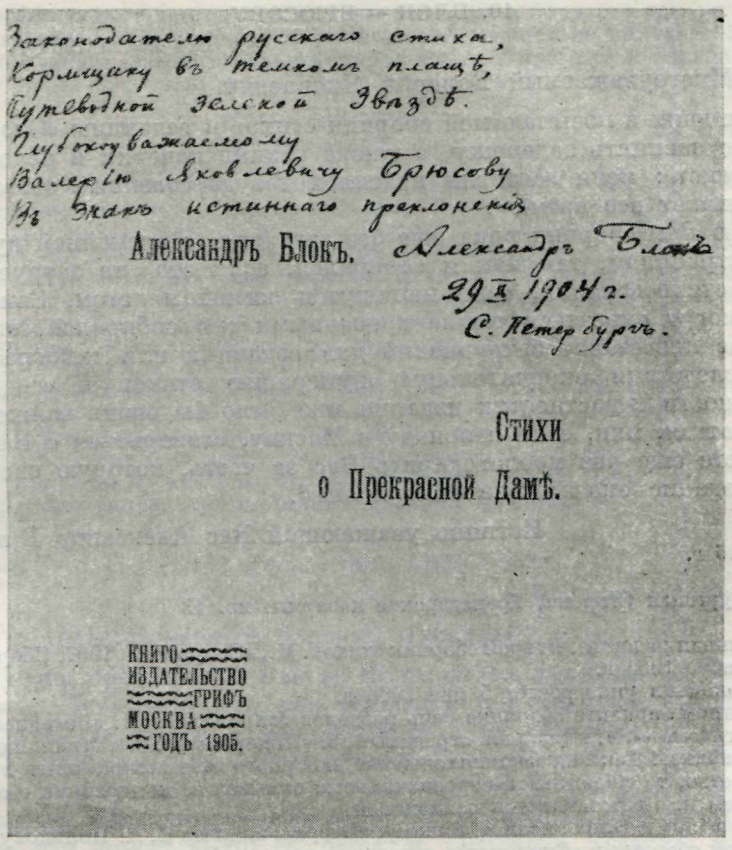
‹18 ноября 1904 г. Петербург›

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич.

Прилагаю только отчет о лекции Н. М. Минского, не прибавляя от себя ни слова. Боюсь, что и этот отчет мне не удалось сжать в достаточной мере; лекция длилась два часа; пришлось все-таки многое выпустить, а на многое — только намекнуть. Потому совсем не уверен, что выполнил задачу удовлетворительно. Может быть, отчет этот будет годен, как сырой материал, в том случае, если Минскому (по его собственному предположению) не удастся прочесть свою лекцию в Москве по цензурным условиям [1]. Так как моего нет ни слова, оставляю отчет без подписи [2].

Истинно преданный Вам Александр Б л о к

18.XI.1904. СПб.


Законодателю русскаго стиха,
Кормщику въ темномъ плащѣ,
Путеводной зеленой Звѣздѣ.
Глубокоуважаемому
Валерію Яковлевичу Брюсову
Въ знакъ истиннаго преклоненія
Александръ Блокъ. Александръ Блокъ
29 X 1904 г.
С. Петербургъ.

Стихи
о Прекрасной Дамѣ.

КНИГО
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ГРИФЪ
МОСКВА
ГОДЪ 1905.

БЛОК. «СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ». М., «ГРИФ», 1905.
С дарственной надписью В. Я. Брюсову от 29 октября 1904 г.
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

[1] Лекция Н. М. Минского в Москве состоялась 22 января 1905 г. в аудитории Исторического музея. Отчет о ней см.: Н. Аратов. Лекция Минского. — «Искусство», 1905, № 2, с. 57—58.

[2] Отчет был опубликован в «Весах» за подписью «А. Б-ъ».

9. БЛОК — БРЮСОВУ

‹30 декабря 1904. Петербург›

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич.

Не могу ли я считаться, по-прежнему, сотрудником «Весов»? [1] В близком будущем надеюсь доставить в редакцию небольшую статью общего характера. Если представится случай для рецензии или отчета, — то, конечно, — и в этом отношении — остаюсь

готовый к Вашим услугам Александр Блок

30.XII.1904. СПб.

[1] В № 12 «Весов» за 1904 г. в списке лиц, которые ««Весам» обещали свое сотрудничество» (с. 3 рекламы журнала на 1905 г.), имени Блока нет. Настоящее письмо — очевидно, реакция Блока на это рекламное объявление «Весов». Брюсов, по-видимому, на письмо не ответил. В перечне сотрудников «Весов», помещенном в январском и февральском № за 1905 г., имя Блока тоже не упомянуто. Блок в 1905 г. в «Весах» не сотрудничал (см. предисловие к публикации). Об общей оценке Брюсовым творчества Блока в 1905 г. см. прим. 4 к письму 6 и с. 467 наст. книги.

10. БЛОК — БРЮСОВУ

‹24 марта 1906 г. Петербург›

Многоуважаемый Валерий Яковлевич.

На этих днях я посылаю мой сборник стихов в редакцию «Скорпиона» [1]. Прошу Вас извинить задержку, а также разные почерки и некоторые помарки в тексте: меня застигли врасплох государственные экзамены, которые отнимают все время [2].

Посылаю Вам сборник пока еще без заглавия, с временной нумерацией лишь по страницам, так как я собирался, если это не затруднительно, добавлять стихотворения, если напишутся весной и летом. Семь отделов сборника могут оказаться также временными [3]; я собирался, опять-таки, если это не представит затруднений для редакции или типографии, прислать впоследствии окончательную нумерацию стихов и «содержание».

О внешности и частностях издания мне было бы очень важно впоследствии списаться, или, если я попаду в Москву, сговориться с Вами.

Позвольте еще раз поблагодарить Вас за честь, которую своим согласием на издание оказал мне «Скорпион» [4].

Истинно уважающий Вас Александр Блок

24 марта 1906 г.

СПб. Петербургская Сторона, Гренадерские казармы, кв. 13

[1] «Нечаянная радость». Второй сборник стихов. М., «Скорпион», 1907. Сборник вышел в свет в декабре 1906 г.

[2] Блок окончил университет 5 мая 1906 г.

[3] В печатном варианте сборника семь разделов сохранились: 1. «Весеннее», 2. «Детское», 3. «Магическое», 4. «Перстень-страданье», 5. «Покорность», 6. «Нечаянная радость», 7. «Ночная фиалка». Так как местонахождение наборного экземпляра книги в настоящее время неизвестно, то сопоставить первоначальный замысел ее композиции с окончательным вариантом не представляется возможным.

[4] 3 января 1906 г. Блок писал А. Белому: «Вчера я написал С. А. Полякову предложение издать мой сборник в «Скорпионе» и сотрудничать в «Весах» (стихами). Не надеюсь на его согласие». В ‹начале февраля› 1906 г. Белый сообщал: «В‹алерий› Я‹ковлевич› просил меня передать Тебе, что «Скорпион» с радостью издаст Твой сборник в первой же очереди. Просит к пасхе приготовить книгу, а после пасхи начнется печатание и пр., чтобы к осени вышла книга. Об условиях печатания Брюсов просил меня передать Тебе лично. В Петербурге передам» («Александр Блок и Андрей Белый. Переписка», с. 173).

11. БЛОК — БРЮСОВУ

‹29 марта 1906 г. Петербург›

Многоуважаемый Валерий Яковлевич.

Я должен очень извиниться перед Вами. П. П. Перцов непременно захотел напечатать в пасхальном № «Слова» мои стихи о старушке и чертенятах, которые я дал Вам для «Весов» [1]. П‹етр› П‹етрович› сам обещал написать Вам об этом [2]. Если найдете возможным, — замените стихотворение одним из прилагаемых [3].

Искренно уважающий Вас Александр Блок

29 марта 1906. СПб.

[1] «Старушка и чертенята». Опубл.: «Литературное приложение» к газете «Слово», 1906, № 9, апреля 2 (II, 20). П. П. Перцов просил об этом Блока в письме от 28 марта 1906 г. (см. с. 464 наст. книги).

[2] 3 апр. 1906 г. Перцов писал Брюсову: «Вы, вероятно, уже заметили по «Литерат‹урному› прилож‹ению›» к пасхальному №, что мною совершено некоторое нарушение права собственности в отношении «Весов». А именно, я поместил одно из стихотворений Блока, отданных в «Весы», чтобы начать с него наш пасхальный №. Я очень просил Блока позволить мне сделать это, и хотя он весьма колебался, но я его почти принудил к сему, а теперь также *очень* прошу Вас извинить мне это правонарушение. Спросить «Весы» предварительно я не имел никакой возможности, ибо нужно было в тот же момент отослать стихи в печать. Дело же все в том, что в последнюю минуту, составляя пасхальный №, я увидал, что у нас есть стихи о Декабре, есть о колокольчиках, о старинных клавесинах,

но ничего «отвечающего моменту». Я перерыл все запасы, в газете и дома, и нашел только это стихотворение Блока, которое, по-моему, провиденциально выручало №. А то ведь в редакции начинали уже поговаривать о необходимости призвать Аполлона Коринфского (он бродит где-то в окрестностях «Слова») и заказать ему что-либо на мотив:

«Христос Воскрес!!!
Порхают ангелы с небес». . . etc.

Вы можете себе представить мое положение! С одной стороны Блок с *настоящими* (во *всех* смыслах) стихами, с другой — сей лже-Аполлон! Тут поневоле решишься на преступленье. Тем более, что «Весы» ведь, имея большой запас Блока, ничего в сущности не теряют. Я написал Блоку отчаянное письмо, умоляя его передать мне это стих‹отворение›. Я надеюсь также, что и Вам не совсем безразличны «Приложения» и посему Вы простите мне это прегрешение хотя бы ради того эффекта, кот‹орый› производит «декадентская» пасхальность этого стихотворения. Тернавцев уже обличал и громил меня, смущены, кажется, и другие добрые христиане. Посудите сами, как было пропустить такой случай». (ГБЛ, ф. 386, 98. 13, л. 12—13 об.).

Брюсов ответил Перцову 5 апреля 1906 г.: «Что до «Старушки» Блока, то, конечно, мы нисколько не в обиде, что она миновала «Весы». Ведь у нас целый сборник его стихов на выбор!» («Печать и революция», 1926, № 7, с. 45).

[3] О каких стихах идет здесь речь — установить не удалось, но одно из них вошло, очевидно, в цикл из восьми стихотворений «Тишина цветет» (см. п. 12, прим. 8) вместо изъятого из этого цикла стихотворения «Старушка и чертенята».

12. БЛОК — БРЮСОВУ

‹18 апреля 1906 г. Петербург›

Многоуважаемый Валерий Яковлевич.

Я глубоко признателен Вам за Ваши слова, переданные Борисом Николаевичем [1]. Позвольте еще раз выразить мое глубокое уважение к Вам и благодарность за Ваше отношение к моим стихам.

М. Ф. Ликиардопуло писал мне, что скоро предполагается приступить к печатанью сборника [2]. Могу ли я просить Вас, чтобы он печатался обычным шрифтом «Скорпиона», как в первых «Северных цветах» (1901—1903) [3]; я думаю, что шрифт «Urbi et orbi» и «Στεφανος» слишком классичен для моих стихов [4]; кроме того, мне хочется, чтобы каждый стих начинался с большой буквы. Формат, обложка и даже бумага давно представлялись мне, как в «Письмах Пушкина и к Пушкину» [5]; это оттого, что во мне есть консервативная книжность: я всегда чувствовал особенную нежность к обложкам с простыми буквами или в старинной книжной рамке, а сложные линии и все, превышающее виньеточность, скоро надоедало. До сих пор я люблю целиком издание «Пана» [6]: и формат, и бумагу, и 4 простые зеленые буквы на сером; еще я думал о красных буквах на сером или серо-синем [7].

Но все, касающееся обложки, формата и бумаги, второстепенно, а, главное, прошу Вас о шрифте и больших буквах.

Искренно преданный Вам и уважающий Вас

Александр Блок

18 апреля 1906 г. СПб.

P. S. Очень благодарю Вас за корректуру «Весов», которую отсылаю сегодня же [8].

Опубл. (без обращения, первых трех фраз, подписи и postscriptum'а): «Встречи с прошлым». М., 1978, с. 89.

[1] В письмах А. Белого к Блоку за март — апрель 1906 г. упоминаний имени Брюсова нет. Очевидно, Белый передал Блоку слова Брюсова устно, при личном свидании с ним в Петербурге в апреле 1906 г.

[2] Письма М. Ф. Ликиардопуло к Блоку неизвестны.

[3] Эта просьба Блока была выполнена.

[4] В. Брюсов. «Urbi et orbi»; «Стихи 1900—1903 г.» М., «Скорпион», 1903; «Stephanos». «Венок». Стихи 1903—1905 гг. М., «Скорпион», 1905. В рецензии на «Urbi et orbi» Блок писал о внешнем оформлении книги: «Вся она должна была замкнуться с головы до ног

(говорю как о живом лице) в белый с золотом панцырь с могучим латинским восклицанием «Urbi et orbi»! Средний знак обложки — золотая лира — становится понятным, когда вглядишься в печать текста, узнавая в определенно четких очертаниях необычайно мелких букв — дух автора» (V, 532).

[5] «Письма Пушкина и к Пушкину. Новые материалы, собранные книгоиздательством «Скорпион». Редакция и примечания Валерия Брюсова». М., «Скорпион», 1903. Формат сборника «Нечаянная радость» крупнее («Письма» — 14,3×20,3; «Нечаянная радость» — 14,3×21,8). Бумага иного качества. Формат и бумага книги Блока такие же, как в сборнике Брюсова «Stephanos» (см. п. 17).

[6] Кнут Гамсун. Пан. Из записок лейтенанта Томаса Глана. Предисловие К. Д. Бальмонта. Перевод с норвежского С. А. Полякова. М., «Скорпион», 1901. Формат книги — 10,3×16,5.

[7] Издательство остановилось на первом варианте: серая обложка и зеленые буквы заглавия сборника: «Нечаянная радость». Блок был, по-видимому, удовлетворен этим оформлением, так как на проспекте обложки второго издания той же книги (М., «Мусагет», 1911) стоит его помета: «Буквы зеленые, как «Нечаянная радость»» (ГБЛ, ф. 190, XI. 1, л. 6).

[8] Корректура № 5 «Весов» за 1906 г., где были напечатаны 8 стихотворений А. Блока под общим заглавием «Тишина цветет» («Так. Неизменно все, как было. . .», «На весеннем пути в теремок. . .», «На весенней проталинке. . .», «Твари весенние» («Золотисты лица купальниц. . .»), «Умолкает светлый ветер. . .», «В кабаках, в переулках, в извивах. . .», «Вот он Христос — в цепях и розах. . .» и «В голубой далекой спаленке. . .»). Местонахождение этой корректуры в настоящее время неизвестно. Все эти стихи вошли затем в сборник «Нечаянная радость».

13. БРЮСОВ — БЛОКУ

<24 апреля 1906 г. Москва>

24 апр. 906.

Дорогой Александр Александрович!

Простите мои молчания. Все «занят». Перечел Ваш «Балаганчик». Прекрасно, хорошо совсем [1]. Выделяю лишь его да стихи Вяч<еслава> Ивановича [2], пожалуй, еще отчасти рассказ Л. Андреева [3]. Все остальное в «Факелах» (в том числе стихи мои [4] и Б<ориса> Н<иколаевича>) [5] — дрянь, вещи, которые к искусству причислить нельзя никак. И никакого «мистического анархизма» не оказалось, а — просто тенденциозная беллетристика, во вкусе «Русского богатства». И эту старую, пережеванную муку нам выдают за истинный хлеб, которым должно будто бы заменить очерствелый символизм! И эти «факельщики», подлинные реакционеры в искусстве, воображают себя прогрессистами и новаторами! Стыдно [6]. Пишу все это, в более приличных выражениях, в «Весах» [7]. — За печатание Вашей книги примемся тотчас, как будет закончено печатание моей (переводы из Верхарна) [8], вероятно, с начала июня. За корректурами я очень советую следить Вам самому, тем более, что меня к тому времени в Москве уже не будет [9]: впрочем, Вы и сами, вероятно, желаете иметь в руках корректуры своей книги. Все, что касается Ваших желаний относительно шрифта, бумаги и т<ому> под<обное> будет выполнено. Затруднения могут возникнуть только относительно формата [10], так как он определяется форматом той бумаги, какая есть на рынке: издатели в этом не очень вольны. О денежных условиях «Скорпиона» С. А. Поляков напишет Вам лично [11].

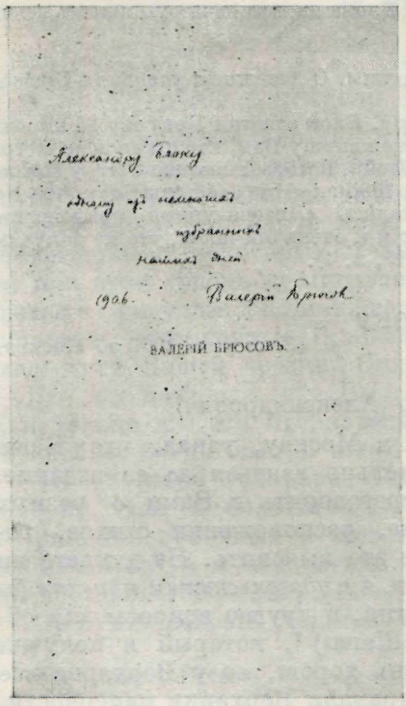
Где проводите Вы лето?

Сердечно Ваш Валерий Брюсов

P. S. Привет Б<орису> Н<иколаевичу> — Кстати: знаете ли Вы, и если знаете, не можете ли сообщить, кто теперь за отъездом П<етра> П<етровича>, распоряжается в «Слове» [12]. Мне на мои письма никто не откликается.

На бланке «Весов».

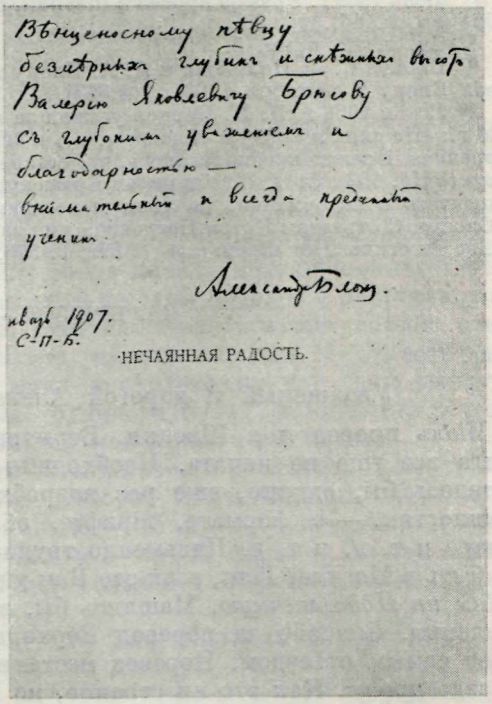
[1] «Балаганчик. Лирические сцены Александра Блока». — «Факелы», кн. I. СПб., 1906, с. 197—211. Брюсов писал Перцову 5 апреля 1906 г.: «Включаю после «Балаганчика» Блока в священное число семи современных поэтов: Сологуб, З. Гиппиус, Бальмонт,



В. БРЮСОВ. «ΣΤΕΦΑΝΟΣ» («ВЕНОК»), СПб, 1906.

С дарственной надписью Блоку: «Александру Блоку, одному из немногих избранных наших дней. Валерий Брюсов. 1906».

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград



БЛОК. «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»

С дарственной надписью В. Я. Брюсову от января 1907 г.

Музей истории Ленинграда, Ленинград

я, Вяч. Иванов, Белый, Блок — вот эти семь (в политике это называется гептархией)». — «Печать и революция», 1926, № 7, с. 45.

[2] Вяч. Иванов. 1. «Неприятие мира» («Пять узниц-дев под сводами томленья. . .»); 2. «Odi et spero» («В надежде славы и добра. . .»); 3. «Бессонница» (I. «В комнате сонной мгла. . .» и II. «Казни ль вестник предрассветный»); 4. «Парнасс» («Осиян алмазной славой. . .»). 5. «Перед жертвой» («Скорбь нашла и смута на мэнаду. . .») — «Факелы», кн. 1, с. 51—61. Альманах открывался, кроме того, дифирамбом Вяч. Иванова «Факелы» (там же, с. 5—9).

[3] Л. Андреев. «Так было» (там же, с. 65—102).

[4] В. Брюсов. 1. «Близким» («Нет, я не ваш! Мне чужды цели ваши. . .»); 2. «Нам руки свободные свяжут. . .» (там же, с. 26—28).

[5] А. Белый. 1. «Опять он здесь, в рядах борцов. . .»; 2. «Толпы рабочих в волнах золотого заката». . . (там же, с. 33—36).

[6] О своем неприятии альманаха «Факелы» Брюсов писал Г. Чулкову 19 июня 1906 г.: «В «Факелах» помещены создания искусства или нет? Если создания искусства, то там не место таким оскорбляющим художественный вкус вещам, как рассказ Сергеева-Ценского, как болтовня Лидии Дмитриевны (Зиновьевой-Аннибал. — *Ю. Б.*), как явные пародии Андрея Белого и многое иное. А если «Факелы» только прикрываются флагом искусства, намерены под видом художественных произведений вести проповедь революции, в них не место «декадентам», которые прежде всего отстаивали и будут отстаивать свободу творчества. Вяч‹еслав› Ив‹анович› пишет мне, что в «Ф‹акелах›» совершается устремление декадентства от уединения к соборности. Устремление это желанно, но позор, если оно пойдет по пути потакания вкусам «толпы». А именно это последнее есть в «Ф‹акелах›»» (ГБЛ, ф. 386, 73.10, л. 1—1 об.).

[7] Аврелий. «Вехи. IV «Факелы»». — «Весы», 1906, № 5, с. 54—58.

[8] Эмиль Верхарн. Стихи о современности. В переводе Валерия Брюсова. М., «Скорпион», 1906. Книга вышла в мае 1906 г.

[9] Июль 1906 г. Брюсов провел в Швеции. Книга Блока начала печататься лишь в сентябре (см. п. 14).

[10] См. п. 12, прим. 5.

[11] Письма С. А. Полякова к А. А. Блоку неизвестны. О денежных условиях Брюсов писал Блоку 9 сентября 1906 г. (п. 17).

[12] Летом 1906 г. П. П. Перцов уезжал за границу. Блок ответил Брюсову 25 апреля 1906 г.: «На днях я пойду в «Слово» <. . .> и сейчас же напишу Вам, кто остался за Петра Петровича. Прежде предполагалось, что останется Штейн, который помогал Петру Петровичу» (VIII, 153). С. В. Штейн писал Брюсову 2 мая 1906 г.: «Мне сообщил Блок, что Вы находитесь в недоумении, на чьем попечении остались «Литературные приложения к «Слову». С отъездом Петра Петровича ими заведую я и очень опечален, что не получаю от Вас ни стихов, ни «Звеньев»» (ГБЛ, ф. 386, 109.16, л. 1).

14. БРЮСОВ — БЛОКУ

<3 августа 1906 г. Москва>

3 авг. 1906

Уважаемый и дорогой Александр Александрович!

Июль провел я в Швеции. Вернувшись в Москву, узнал, что Ваша книга все еще не начата. Необходимо деятельно взяться за ее издание. Хотелось бы, однако, еще раз подробно переговорить с Вами о разных внешностях, — о формате, шрифте, обложке, расположении стихов, гонораре и т. д. и т. д. Письменно трудно все это выяснить. Не думаете ли Вы быть в Москве? Или, если это Вам удобнее, *я с удовольствием приехал бы к Вам на Подсолнечную*. Нашлись бы, вероятно, и другие вопросы для обсуждения. Спасибо за перевод Верхарна («Шаги») [1], который я получил перед самым отъездом. Перевод местами очень хорош, но у Верхарна все гораздо *проще*. Как это ни странно, но Вы придали Верхарну манерности, одекадентили его.

Всегда Ваш Валерий Брюсов

На бланке «Весов».

[1] См.: II, 342—344. Стихи были приложены Блоком к письму от 5 июня 1906 г. В настоящее время присланный Брюсову автограф перевода см.: ГБЛ, ф. 386, 77.36, л. 12—13 об.

15. БЛОК — БРЮСОВУ

<18 августа 1906 г. Шахматово>

Многоуважаемый Валерий Яковлевич.

Я уезжаю в Петербург несколько раньше, чем думал: в среду 23 августа. Почта у нас очень неправильная; из Петербурга я могу скорее возвращать корректуры. В Москве мне, по-видимому, уже не удастся быть. Если Вы соберетесь до 23 в Шахматово, — буду очень рад видеть Вас.

Искренно преданный Вам Александр Блок

18 августа 1906

16. БЛОК — БРЮСОВУ

<23 августа 1906 г. Шахматово>

Многоуважаемый Валерий Яковлевич.

Сегодня я уезжаю в Петербург и потому, к сожалению, никак не могу быть в Москве и поговорить с Вами лично. Ужасно жаль, что Вам не удалось побывать у нас. Может быть, Вы найдете возможным написать мне о двух, важных для меня вопросах: о гонораре и о возможном количестве авторских экземпляров? Что касается обложки и остальных украшений «Нечаянной Радости», то я, конечно, по-прежнему, вполне полагаюсь на вкус всех руководителей «Скорпиона».

Адрес мой, пока, остается прежний: Петерб<ургская> Сторона, Гренадерские казармы, кв. 13.

Неизменно преданный Вам Александр Блок

23 августа 1906. С. Шахматово

17. БРЮСОВ — БЛОКУ

‹9 сентября 1906 г. Москва›

9 [авг.] сент. 1906

Дорогой Александр Александрович!

М. Ф. Ликиардопуло уехал на несколько недель в Берлин, и я не знаю, писал ли он Вам о причинах, почему печатание Вашей книги все еще медлится [1]. Первая причина: не было на готове бумаги; это теперь устранено (бумага такая же, как в моем «Венке»). Вторая — все еще продолжалось обсуждение о некоторых мелких подробностях в расположении текста; [в] и в этом теперь достигнуто между нами полное соглашение. Остается третья — рисунки: на днях, вероятно, еще на этой неделе, я доставлю Вам виньетки, исполненные В. Милиоти. Нам кажется, что они вполне отвечают духу Вашей поэзии. Виньетки эти назначены для 9 № «Весов», и [Вы] мы надеемся, что Вы согласитесь допустить их и в свою книгу [2]. Как только все эти предварительные трудности будут закончены, печатание пойдет очень быстро и в 3—4 недели может быть закончено.

Относительно гонорара «К‹нигоиздательст›во» предлагает Вам те же условия, как и большинству других авторов стихотворных сборников, в принципе принятых к изданию: именно — 15 рубл. с печатного листа, исключая титул и оглавление. Для книги в 10—12 листов, какова Ваша, это составит 150—180 р. Гонорар будет уплачен тотчас по выходе книги.

Простите деловой тон письма.

Ваш Валерий Брюсов

На бланке «Весов».

Опубл.: ЛН, т. 27—28, М., 1937, с. 517—518.

[1] Письма М. Ф. Ликиардопуло к Блоку не сохранились.

[2] Блок одобрил виньетки В. Д. Милиоти в письме к М. Ф. Ликиардопуло от 1 октября 1906 г. (см. наст. том, с. 526).

18. БРЮСОВ — БЛОКУ

‹13 октября 1906 г. Москва› [1]

Дорогой Александр Александрович!

Сейчас узнал, что завтра Вы читаете в театре Коммиссаржевской свою драму «Король на площади». Получил приглашение, но трудно в один день «собраться» и ехать в Петербург. Буду в Вашем городе, но несколько позже. Приветствую Вас издали. А что это за драма. Заглавие меня соблазняет. Предназначили ли Вы ее куда-либо. Не отдадите ли в «Весы»? [2] Мы уже мечтаем о составе первых книжек 1907 г., и Ваша драма могла бы идти, если не в январе, то в феврале. Сообщите.

Ваш сердечно Валерий Брюсов

P. S. Благодарю за рецензию о Верхарне [3]. — Ваша книга в работе и к Рождеству появится наверное [4].

Post. P. S. Еще вопрос: отдана ли в какой-либо журнал та Ваша поэма, которой заканчивается «Нечаянная Радость»? [5]

На бланке «Весов». На левом поле дата рукой Брюсова: «1906».

[1] Датируется на основании упоминания о чтении «Короля на площади» в театре В. Ф. Комиссаржевской, которое состоялось 14 октября 1906 г. Л. Д. Зиновьева-Аннибал писала М. М. Замятниной 17 октября 1906 г.: «Интересные собрания затеяла Комиссаржевская в своем театре по субботам: новое искусство и актеры. Каждый раз чтение драматических новых произведений и стихов. Было первое собрание. Читал Блок драму. Мейерхольд — режиссер ее — умоляет и торопит нас с Вячеславом с нашими драмами» (ГБЛ, ф. 109, б. ш.).

[2] «Король на площади». — «Золотое руно», 1907, № 4. Блок писал Брюсову в ответном письме: «Драму уже давно у меня просит Рябушинский» (VIII, 164).

[3] А. Блок. Э. Верхарн. Стихи о современности. Пер. В. Брюсова. М., 1906 — «Золотое руно», 1906, № 7, с. 175—176.
[4] См. п. 10, прим. 1.
[5] Блок в ответном письме пишет: «Поэму «Ночная фиалка» я никуда не отдавал и ужасно хотел бы, чтобы она появилась до сборника. Она мне до сих пор нравится. Если бы она могла попасть в «Весы», я был бы очень счастлив» (VIII, 164). Поэма в «Весах» не появилась и была впервые опубликована в сборнике «Нечаянная радость».

19. БРЮСОВ — БЛОКУ

9 января 1907 г. Москва

9 янв. 1907

Дорогой Александр Александрович!

Благодарю за «Tristia» [1] и за добрые слова о «Земной Оси» [2]. Я слышал от А. А. Курсинского [3], что Вы предлагали написать об ней в «З‹олотом› Руне» [4]. Но там, кажется, это уже было поручено ему лично [5]. Если Ваша заметка не найдет себе приюта ни в «Руне», ни в другом каком журнале, то можно поместить ее и в «Весах». В этом последнем случае придется конечно принимать в расчет, что я «ближайший» их сотрудник и, не слишком браня и не слишком хваля меня, больше говорить о книге, чем обо мне.

В феврале буду писать о «Нечаянной Радости» и о «Яри» [6]. Обе книги мне очень нравятся. В «Яри» больше поразительного; у Вас больше незыблемого, вечного, уже совершенного. Жду с нетерпением «Эроса» [7], которого еще не видал в законченном виде, но который хочется присоединить, как необходимого члена, к триаде новых поэтических сборников. Какой перевод из Верхарна поместили Вы в «Ниве» — Les pas? [8]

Привет Любови Дмитриевне [9].

Ваш Валерий Брюсов

Белый был очень болен [10]. Теперь поправляется. Знали ли Вы об этом.

Очень жалею, что не мог видеть «Балаганчика» [11]. Проездом была в П‹етер›б‹урге› сестра (Н‹адежда› Я‹ковлевна›) [12], видела, рассказывала мне.

P. S. Я у Вас в долгу за «Tristia» и ‹В› надеюсь, что Вы позволите отплатить Вам каким-либо сходным одолжением [13].

На бланке «Весов».

[1] Блок присылал, очевидно, Брюсову книгу: «Tristia». Из новейшей французской лирики ‹. . .›. Перевод И. И. Тхоржевского. СПб., 1906. Рецензия Блока на эту книгу опубл.: «Слово», 1906, июня 3, «Литературное приложение» № 19, (V, 625—626); рецензия Брюсова — «Весы», 1907, № 2, с. 86.
[2] См. письмо Блока к Брюсову от 26 декабря 1906 г. (VIII, 172).
[3] Александр Антонович *Курсинский* (1873—1919) — поэт, секретарь журнала «Золотое Руно», университетский товарищ Брюсова.
[4] Рецензия Блока о «Земной оси» опубл.: «Золотое руно», 1907, № 1, с. 86—88 (V, 637—642).
[5] Ср. п. 21.
[6] В. Брюсов. Новые сборники стихов. Сергей Городецкий. «Ярь»; Александр Блок «Нечаянная радость». — «Весы», 1907, № 2, с. 83—85.
[7] В. Иванов. «Эрос», Пб., «Оры», 1907. Рец. Брюсова на эту книгу см. там же, с. 85—86.
[8] См. ««Шаги» (Emile Verhaeren)». — «Нива», 1907, № 1, с. 7—9.
[9] Л. Д. Блок.
[10] 2 января 1907 г. А. Белый перенес в Париже операцию флегмоны. (См. об этом подробнее письмо Белого к Брюсову от 6/19 января 1907 г. и коммент. к нему — *ЛН*, т. 85, с. 404.)
[11] Премьера «Балаганчика» в театре Комиссаржевской состоялась 30 декабря 1906 г.
[12] Надежда Яковлевна *Брюсова* (1881—1951) — музыковед, с 1921 г. профессор Московской консерватории.
[13] В ответном письме от 13 января 1907 г. Блок просил Брюсова прислать ему две книги, изданные «Скорпионом»: Г. Ландсберг. Долой Гауптмана! Пер. с немецкого М. Семенова. М., 1902 и Жагадис. Облака. Поэма в прозе. М., 1905 (VIII, 175).

20. БРЮСОВ — БЛОКУ

‹17 января 1907 г. Москва›

Дорогой Александр Александрович!

С большим удовольствием высылаю Вам Ландсберга и Жагадиса [1]. Но, увы! читать их Вы будете безо всякого удовольствия. Три Ваши стихотворения пока еще не получили определенного назначения, т. е. книжки [2]. Если пришлете новые, заменить очень не трудно. Печатать стихи в 1907 будем, вероятно, не «циклами» (кроме уже принятых «циклов» М. Кузмина и А. Белого) [3], но отдельными стихотворениями. «Незнакомку» надеюсь поместить в апреле, но обещать это наверное не могу [4]. «Весы» в 1907 г. очень богаты материалом. По счастию богаты они, сравнительно, в этом году и подписчиками: их у нас *теперь*, до выхода № 1, почти столько же, сколько *в конце* прошлого года [5]. Если Ваша статья об «Оси» [6] еще не закончена, не предложите ли Вы ее пресловутому «Провалу» [7] (если Вы там еще сотрудничаете). У них, как я слышал, еще нет статьи о моей книге, а мне будет очень дорого, если там напишете Вы, а не некоторый икс из их редакции [8]. В «Весах» в таком случае напишет об «Оси» З. Гиппиус [9]. Впрочем, [это] решайте этот вопрос — Вы. — Спасибо за обещанную «Нечаянную Радость», но если у Вас есть кому раздать все полагающиеся Вам экземпляры, то мне *не* присылайте. «Радость» у меня давно на столе, уже переплетенная, и Вы, когда будете в Москве, надеюсь, не откажетесь вдохнуть жизнь в этот экземпляр своей подписью [10].

Всегда Ваш Валерий Брюсов

17 янв. 1907.

P. S. Не пишу Вам подробно своих впечатлений о Вашей книге. Постараюсь все изложить, откровенно и полно, в своей рецензии, в «Весах» [11].

На бланке «Весов».

[1] См. п. 19, прим. 13.

[2] В письме от 13 января 1907 г. Блок спрашивал Брюсова: «Как Вы отнеслись к тем трем стихотворениям, которые я передал Вам для «Весов»?» (VIII, 174). Комментатор писем. М. И. Дикман, полагает, что речь идет о цикле «Осенняя любовь», опубликованном в № 12 «Весов» за 1907 г. (VIII, 581). Однако из более поздних писем (см. № 23 и 25) ясно, что это не так. Какие три стихотворения были посланы Блоком в «Весы» в начале 1907 г., установить не удалось. Из письма 22 ясно только, что среди них был «Балаган» («Над черной слякотью дороги. . .»). Автограф «Балагана» (ноябрь 1906 г. — ГБЛ, ф. 429, 1.1, л. 6) поступил в ОР ГБЛ в 1959 г. от наследников В. В. Гольцева. в коллекции которого оказалось и еще несколько автографов Блока, восходящих к архиву «Скорпиона» или В. Я. Брюсова (наборный экземпляр цикла «Стихи о Прекрасной Даме», первая рецензия Блока на сборник «Urbi et orbi» и т. д. См. об этом также предисловие к публикации, с. 479). В составе коллекции В. В. Гольцева в ЦГАЛИ хранятся еще 2 стихотворения Блока конца 1906 г.: «Ты можешь по траве зеленой. . .» (октябрь 1906 г. — ЦГАЛИ, ф. 2530, оп. 1, ед. хр. 188) и «Вот явилась. Заслонила. . .» (декабрь 1906 г. — там же, ед. хр. 189). Очевидно, все три автографа попали к Гольцеву из архива Брюсова. На одном из них («Ты можешь по траве зеленой. . .») стоит помета Гольцева: «№ 278. 4 стр. Под‹арено› И. М. Б‹рюсовой› 17/II 26». Оба стихотворения, хранящиеся в ЦГАЛИ, написаны на бумаге одинакового формата и качества, чернилами одного цвета. Автограф «Балагана» — на другой бумаге. Ни одно из этих стихотворений не вошло в сборник «Нечаянная радость», и следовательно, они были присланы Брюсову для публикации в журнале. Но утверждать, что именно они составляли тот цикл из трех стихотворений, о которых идет речь в настоящем письме, — у нас нет, разумеется, достаточных оснований.

[3] В «Весах» 1907 г. был опубликован цикл стихов М. Кузмина «Любовь этого лета» (№ 3, с. 11—20) и лирическая поэма А. Белого «Панихида» (№ 6, с. 5—14).

[4] Драма «Незнакомка» опубл.: «Весы», 1907, № 5—7.

[5] Количество подписчиков на «Весы» в 1906 г. — 845, в 1907—1095 (*ЛН*, т. 85, с. 299).

[6] См. п. 19, прим. 4.

[7] Речь идет о журнале «Перевал» (1906—1907), издававшемся в Москве владельцем издательства «Гриф» С. А. Соколовым. 12/25 октября 1906 г. Брюсов писал Чуковскому: «Год обещает быть для нас буйным и бранным. На «Весы» идет походом «Перевал» или «Провал», как у нас называют сие издание «Грифа»» (Корней Чуковский. Из воспоминаний. М., 1959, с. 435).

[8] В «Перевале» резко отрицательную рецензию о «Земной оси» написал Г. И. Чулков («В. Брюсов. Земная ось. Рассказы и драматические сцены. М., 1907». — «Перевал», 1907, № 4, с. 64—65).

[9] З. Гиппиус. В. Брюсов. Земная ось. М., 1907. — «Весы» 1907, № 3, с. 65—71.

[10] В сохранившейся части библиотеки В. Я. Брюсова ни одного экземпляра «Нечаянной радости» изд. 1906 г. нет. Дарственную надпись Блока см. наст. том, с. 495. Экземпляр с этой надписью хранится в коллекции Н. П. Ильина (ГМИЛ). Текст помет Брюсова в книге опубл.: ЛН, т. 27—28, с. 671.

[11] См. п. 19, прим. 6.

21. БЛОК — БРЮСОВУ

‹20 января 1907 г. Петербург›

Дорогой Валерий Яковлевич.

Большое спасибо за Ваш двойной подарок — Ландсберга и Жагадиса [1]— и за письмо. Стихи я пришлю непременно, когда напишу, а сейчас осталось все только «среднее». Мне было бы ужасно важно, чтобы «Незнакомка» пошла в апреле — во всех отношениях важно [2]. О «Земной Оси»: я только что отослал длинную рецензию о ней в «Золотое Руно», по просьбе А. А. Курсинского, который завален работой и не успел написать. «Неч‹аянную› Радость» я уже послал Вам [3]. Благодарю Вас за то, что Вы будете писать о ней.

Искренно преданный Вам Александр Блок

20 января 1907. СПб.

Опубл.: «Литературный современник», 1936, № 9, с. 201.

[1] См. п. 19, прим. 13.

[2] См. п. 20, прим. 4. Блок писал жене ‹21 мая 1907 г.›: «Незнакомка» будет в 3-х №№ — по одному видению в каждом, но ведь это мне все равно. Мама на это обиделась». (*ЛН*, т. 89, с. 196). Критика отмечала, что печатание драмы в трех номерах журнала вредит впечатлению от нее: «Плохую услугу оказали А. Блоку «Весы», разорвав на куски его пьесу!» («Русь», 1907, июня 18, № 156).

[3] См. п. 20, прим. 10.

22. БРЮСОВ — БЛОКУ

‹16 февраля 1907 г. Москва›

16 февр. 1907.

Дорогой Александр Александрович!

Благодарю Вас за Ваш отзыв о «Земной Оси» [1]. Я сам написал бы о своей книге рецензию гораздо менее благоприятную. Нашел я в Вашей статье много интересных мыслей, открывших мне кое-что новое в моих собственных рассказах. И вообще считаю эту Вашу заметку (и, верьте, не оттого, что она обо мне) — из числа удачнейших Ваших критических статей: все сказано так ясно, отчетливо и просто, как не всегда Вам удается.

«Незнакомку» пока твердо надеюсь поместить не позже апреля [2]. Но, разумеется, в журнальном деле могут возникать всякие неожиданности. Совершенно определенный ответ дам Вам в конце февраля, когда будет закончен № 2, и мы составим план №№3 и 4. Очень жалею, что Комиссаржевская не везет в Москву «Балаганчика» [3]. Так мне и не суждено было увидеть его.

Пишу для «Весов» об «Эросе», «Яри» и «Радости» [4]: совсем не легкая задача. Кстати, — меня упрекают за мои рецензии в № 1 [5], но, клянусь, я писал именно то, что думал. Не мог я по чести хвалить деревяшки Людм‹илы› Ник‹олаевны›, выдаваемые ею за сонеты, не мог, не мог, не мог!. .

Всегда Ваш Валерий Брюсов

На бланке «Весов».

[1] См. п. 19, прим. 4.

[2] См. п. 20, прим. 4, п. 21, прим. 2.

[3] «Балаганчик» был показан театром Комиссаржевской на гастролях в Москве в сентябре 1907 г. Видел ли Брюсов этот спектакль, установить пока не удалось.

[4] См. п. 19, прим. 6 и 7.

[5] Имеются в виду рецензии Брюсова на сборники стихов К. Бальмонта («Злые чары»), И. Бунина («Стихотворения 1903—1906»), И. Рукавишникова («Стихотворения», кн. IV), Л. Вилькиной («Мой сад», «Сонеты и рассказы») и А. Федорова («Сонеты»). — «Весы», 1907, № 1, с. 69—73. Все эти сборники были признаны Брюсовым в основном неудачными. Особенно резкими были отзывы о книгах Л. Н. Вилькиной и А. М. Федорова. Рецензия заканчивалась обещанием поговорить в следующем номере «Весов» «о трех прекрасных сборниках стихов: С. Городецкого («Ярь»), Вяч. Иванова («Эрос») и А. Блока («Нечаянная радость»)».

23. БЛОК — БРЮСОВУ

‹24 февраля 1907 г. Петербург›

24.II.07.

Дорогой Валерий Яковлевич.

Пользуясь Вашим позволением [1], беру из «Весов» те три стихотворения, которые я Вам передал. Из них одно («Над черной слякотью дороги») хочу предложить «Образованию» [2]. Как только будут настоящие стихи, пришлю их Вам. Может быть, в одном из будущих нумеров Вы оставите место для нескольких моих стихотворений? [3]

Искренно Ваш Александр Б л о к

[1] См. п. 20.

[2] Стихотворение было опубликовано в журнале «Образование», 1907, № 3, под заглавием «На пути».

[3] Стихи Блока в 1907 г. появились в «Весах» лишь в декабре (цикл «Осенняя любовь» и «Снежная дева». — № 12, с. 10—16).

24. БРЮСОВ — БЛОКУ

‹5 октября 1907 г. Москва›

Дорогой Александр Александрович!

В «Весах» давно не было ничего Вашего [1]. Не дадите ли нам что-либо для последних книжек этого года или для первых будущего? В №№ 11 или 12 мы могли бы напечатать 2 или 3 стихотворения [2], в №№ 1 или 2 — небольшую драму или цикл стихотворений (8—10 страниц) [3]. «Весы», хотя и давали место нападкам на Вас отдельных своих сотрудников [4], всегда Вас ценили очень высоко и очень дорожили Вашим сотрудничеством. Я лично уже давно считаю Вас в числе наших замечательнейших писателей [5].

В Москве есть две газеты, которые жаждут Вашего сотрудничества. Первая: «Столичное Утро» [6]. Политическое направление — «левее кадетов». Среди ее сотрудников — Д. Мережковский [7], З. Гиппиус [8], я [9]. Она ждет от Вас стихов. Кроме того, ей хотелось бы напечатать Ваш портрет и она просит Вас прислать ей свою фотографию.

Вторая: «Голос Москвы» [10]. В политическом отношении — «октябризм». Сотрудничают, из Вам знакомых, А. Кондратьев [11], Б. Садовской [12], Нина Петровская [13]. «Голос Москвы» хочет еженедельно издавать особое вполне самостоятельное литературное приложение, как прежде делало «Слово». Заведование этим отделом предлагает мне. Я колеблюсь. Соглашусь только в том случае, если участие примет вся наша группа, напр‹имер› Вы, Бор‹ис› Ник‹олаевич›, Ф. Сологуб [14]. . . Мне говорили, что Вы уже дали свое согласие. Верно ли? (№ «Голос Москвы» соблазняет особо высокими гонорарами). Если бы «Литер‹атурное› приложение» осуществилось, там можно было бы печатать и более крупные вещи: поэмы, большие статьи etc.

Прошу передать мой привет Любови Дмитриевне.

Сердечно и всегда Ваш Валерий Б р ю с о в

На бланке «Весов». На левом поле дата рукой Брюсова: «5 окт‹ября› 1907».

[1] См. п. 20, прим. 4.

[2] См. п. 23, прим. 3.

[3] В № 3 «Весов» за 1908 г. (с. 7—20) был опубликован цикл стихов Блока «Заклятие огнем и мраком и пляской метелей» (11 стихотворений).

[4] Имеются в виду выступления Д. Мережковского («Декадентство и «общественность»» — 1906, № 5, с. 30—37), А. Белого («Штемпелеванная калоша» — 1907, № 5, с. 49—52, ««Цветник ор». Кошница первая» — 1907, № 6, с. 66—69, «Синематограф» — 1907, № 7, с. 50—52, ««Белые ночи». Петербургский альманах. 1907» — 1907, № 7, с. 71—74) и З. Гиппиус («Трихина» — 1907, № 5, с. 68—72). Суждения же самого Брюсова о Блоке в «Весах» за 1906—1907 гг. были неизменно сочувственными («Вехи. IV. Факелы» — 1906, № 5, с. 53—58, «А. Блок. «Нечаянная радость»» — 1907, № 2, с. 84—85, «А. Блок. «Снежная маска»» — 1907, № 5, с. 66—67).

[5] См. п. 13, прим. 1.

[6] «Столичное утро» — газета, выходившая в Москве с 30 мая по 19 октября 1907 г. (№ 1—118). Редактор — С. Л. Кугульский. Приостановлена в административном порядке. Ближайшее участие в газете принимал Н. Е. Эфрос, который и вел переписку с литераторами — сотрудниками газеты.

[7] Д. С. Мережковский писал Брюсову из-за границы 17 сентября 1907 г.: «Спасибо за приглашение в «Столичное утро». Я с этим письмом отправляю письмо Н. Е. Эфросу, которому сообщаю наши условия — 1) абсолютная свобода в выборе темы 2) 4 фельетона по 300—400 строк в месяц — 2 фел‹ьетона› мои, 2 — З‹инаиды› Н‹иколаевны› или Ан‹тона› Кр‹айнего› 3) по 20 к. за строку». (ГБЛ, ф. 386, 94.44 л. 19—20 об.). Н. Е. Эфрос принял эти условия (там же, л. 21). Но Мережковский, занятый в то время окончанием драмы «Павел I», статьи для газеты выслал не сразу. Посланная же им статья «У позорного столба» была получена редакцией «Столичного утра» уже после закрытия газеты (там же, л. 24—26 об.).

[8] В № 105 и 107 «Столичного утра» (4 и 6 октября) был опубликован рассказ З. Гиппиус «Уверенная», а в № 118 (19 октября) — рассказ «Дверь». Посланный ею за подписью «Антон Крайний» фельетон «Толстой и Плеханов» не был напечатан ввиду закрытия газеты (ГБЛ, ф. 386, 82.39, л. 45—47).

[9] Брюсов опубликовал в «Столичном утре»: «В защиту декадентов» (Письмо в редакцию) — № 23, 26 июня; «Письмо в редакцию» об отказе сотрудничать в журнале «Золотое руно» (совместно с А. Белым, З. Гиппиус и Д. Мережковским) — № 69, 21 августа; стихотв. «В лицо мне веет ветер нежащий. . .» — № 76, 29 августа; рецензию на книгу В. Сиповского «Пушкин. Жизнь и творчество» — № 79, 1 сентября; стихотв. «Жигули» («Слева робко никнут ивы. . .») — № 105, 4 октября; этюд «В башне» — № 108, 7 октября и перевод из В. Гюго «Мотылек и роза» — № 118, 19 октября.

7 сентября 1907 г. в газете «Русское слово» было опубликовано коллективное письмо Т. Ардова, С. Бердяева, Б. Борского, В. Брюсова, Вилли, Г. Гольдштейна, М. Ликиардопуло, А. Микаэлянца, Л. Мунштейна, М. Нейфельда, М. Ольшанского, Д. Прибудагова, Н. Рахманова, В. Сергеева и А. Тарновского — о выходе из редакции «Столичного утра». Причины выхода в письме не указаны. Очевидно, инцидент уладился очень быстро, так как в первой же половине сентября Брюсов приглашает участвовать в газете Мережковских (*ответное* письмо Мережковского датировано 17 сентября).

[10] «Голос Москвы» — ежедневная газета, выходившая в Москве с 23 декабря 1906 г. по 30 июня 1915 г. Редактор — А. И. Гучков, издатель — В. П. Рябушинский. Переписку с литераторами вел в 1907 г. сотрудник редакции А. Тимофеев.

[11] 4 октября 1907 г. А. Тимофеев писал Брюсову: «Спешу Вам сообщить, что мы получили согласие от Кондратьева, который уже выслал нам свой рассказ» (ГБЛ, ф. 386, 104.46, л. 1). 4 октября 1907 г. в № 233 газеты был опубликован рассказ А. А. Кондратьева «Что случилось потом», а 18 октября (№ 241) — рассказ «Следы Селемна». Письма А. Кондратьева к Брюсову с благодарностью за рекомендацию в «Голос Москвы» см.: ГБЛ, ф. 386, 90.6, л. 19—20. Об А. А. Кондратьеве см. наст. кн., с. 552—562.

[12] «Был Борис Садовской, на днях печатаем его рассказ и стихи», — писал А. Тимофеев Брюсову в том же письме (ГБЛ, ф. 386, 104.46, л. 2). 5 октября 1907 г. в № 230 газеты опубликовано стихотв. Б. Садовского «Любовь» («Поздний жук, прожужжав, утонул в фиолетовой дали. . .»), 6 октября (№ 231) — рассказ «Степной пленник», а 17 октября (№ 240) — стихотв. «В саду» («Подстриженных деревьев низкий ряд. . .») и «Степь» («Черное поле Микулою брано. . .»).

[13] «Дали свое согласие Александр Блок, Нина Ивановна, Б. Попов, Л. Галин и несколько других «богов третьестепенных» (цитирую Вас)», — сообщал Тимофеев там же (ГБЛ, ф. 386, 104.46, л. 1).

[14] Издание «Литературного приложения» к «Голосу Москвы» не состоялось (см. п. 29).

25. БЛОК — БРЮСОВУ

‹14 октября 1907 г. Петербург›

14.X.07.

Дорогой Валерий Яковлевич.

Вот маленький цикл из трех стихотворений — «Осенняя Любовь» [1]. Мне кажется, это лучше тех двух стихотворений, которые мы выбрали [2], хотя не могу судить определенно, потому что только что написал. Если годится, поместите, пожалуйста, в 12-й №.

Сейчас получил «Столичное Утро» с моим стихотворением [3] — спасибо Вам. Портрет свой я пошлю им, как только будет готов. Жду Вашего извещения о «Голосе Москвы».

Сердечно Вам преданный Александр Блок

P. S. Цикл стихов и сказку я пришлю Вам, как только они у меня будут — для будущего года «Весов» [4].

[1] См. п. 23, прим. 3.
[2] О каких стихах идет речь, установить не удалось.
[3] «Мне битва сердце веселит. . .» — «Столичное утро», 1907, № 113, 13 октября.
[4] О цикле стихов см. п. 24, прим. 3. Сказки Блока в «Весах» не печатались.

26. БРЮСОВ — БЛОКУ

‹16 октября 1907 г. Москва› [1]

16 окт. 1907

Дорогой Александр Александрович!

Издание «Литературных Приложений» к «Голосу Москвы» окончательно устраивается на тех условиях, какие я Вам излагал. Не повторяю их все, но вот существеннейшие:

1. «Голос Москвы» становится газетой внепартийной.

2. «Лит‹ературные› Прил‹ожения›» выходят отдельно от газеты, под нашим редакторством *, четыре раза в месяц.

3. В каждом № «Прилож‹ений›» 2000 строк, оплачиваемых в 400 р., или в месяц 8.000 строк, оплачиваемых 1.600 р.

4. Каждый из нас четырех (Вы, я, Сологуб, А. Белый) имеет право ежемесячно поместить своих произведений на сумму до 200 р. **

5. Наш гонорар: стих — 80 к.; строка прозы художественной 25 к.; критики — за подписью 20 к.; без подписи 10 к. ***

Если нужны еще какие подробности, спросите — я сообщу немедленно.

Пока позвольте Вас считать согласным на эти условия. «Лит‹ературное› Прил‹ожение›» начнет выходить с ноября и потому материал необходимо собирать теперь же. Желательно поместить в № 1 за Вашей подписью хотя бы одно стихотворение. Вообще жду от Вас рукописей, Ваших и не Ваших, какие Вы найдете подходящими для газеты.

Всю корреспонденцию пока необходимо адресовать на мое имя.

Всегда Ваш Валерий Брюсов

P. S. Стихи для «Весов» получил. Мне они очень нравятся; более, чем второе, стихотворения первое и третье [3]. Все три пойдут в № 12 этого года. Для будущего года ждем еще стихов и «Сказок» [4].

На бланке «Весов».

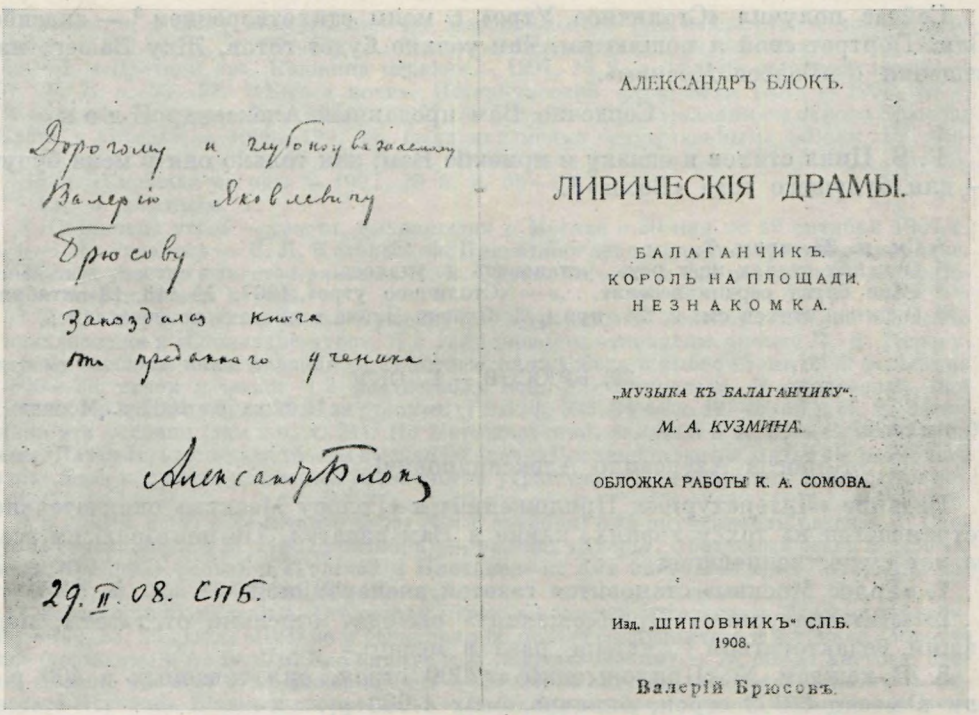
[1] Аналогичное (почти дословно совпадающее) письмо Брюсова к Ф. Сологубу, тоже от 16 октября 1907 г., см. «Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома. 1973». Л., 1976, с. 112—113.
[2] Возможно, что Блок отказался от постоянного гонорара в одном из не дошедших до нас писем к А. Тимофееву.
[3] Цикл «Осенняя любовь» состоит из трех стихотворений: 1. «Когда в листве сырой и ржавой. . .», 2. «И вот уже ветром разбиты, убиты. . .», 3. «Под ветром холодные плечи. . .».
[4] См. п. 25, прим. 4.

---

* Общая редакция газеты сохраняет за собой право *veto* на тот случай, чтобы не появилось в газете произведений, которые могли бы повлечь за собою ее закрытие или тяжкий штраф.

** От фиксирования ежемесячного гонорара (как это сделано для А. Белого, Ф. Сологуба и меня) Вы отказались [2].

*** Это размеры гонорара для нас четырех; для других — стих 35 к., строка прозы — 15 к. и 10 к.



БЛОК. «ЛИРИЧЕСКИЕ ДРАМЫ», СПб., ИЗД. «ШИПОВНИК», 1908.
С дарственной надписью В. Я. Брюсову от января 1907 г.
Музей истории Ленинграда, Ленинград

27. БРЮСОВ — БЛОКУ

‹Между 20 и 26 октября 1907 г. Москва› [1]

Дорогой Александр Александрович!

Благодарю за присылку стихов [2]. «Снежная Дева» мне очень дорога. [Нельзя бы] Даже как-то жалко отдать ее газете? Не поместить ли ее в «Весах» взамен одного стихотворения из «Осенней Любви»? Как укажете?[3]

На всякий случай, ввиду Ваших планов, сообщаю Вам, что *театральный отдел* в «Голосе Москвы» не будет в нашем распоряжении [4]. Это совершенно естественно. О спектаклях надо давать отчеты немедленно, а наше «Приложение» будет выходить лишь раз в неделю. Но это, конечно, не лишает нас права писать вообще о театре и об отдельных постановках с общей точки зрения, — статьи, а не отчеты.

Всегда Ваш Валерий Брюсов

P. S. Пока «Столичное Утро» закрыто администрацией, но м‹ожет› б‹ыть›, оживет под другим именем [5].

На бланке «Весов».

[1] Датируется по связи с письмом Блока от 20 октября 1907 г. (VIII, 216), на которое отвечает Брюсов, и письмом от 26 октября 1907 г. (№ 28) — ответом на данное письмо Брюсова.

[2] Блок писал Брюсову 20 октября 1907 г.: «Пока посылаю Вам для «Голоса Москвы» только два своих стихотворения, из которых первое («Она пришла из дикой дали. . .») прошу Вас передать для помещения в первом № приложений, а второе («Пожар») — в следующем, или как Вам заблагорассудится» (VIII, 216).

[3] «Снежная Дева» была опубликована в № 12 «Весов» за 1907 г. вместе с циклом «Осенняя любовь» (ср. п. 31 и 33).

[4] Блок писал 20 октября 1907 г.: «В ближайшем будущем мне хочется на страницах «Голоса Москвы» возвратиться подробно к театру Комиссаржевской в особенности и к некоторым другим петербургским постановкам» (VIII, 216).

[5] ‹25 октября› 1907 г. Н. Е. Эфрос писал Брюсову: «Завтра газета выйдет, как «Правда». Политику придется свести до minimum'a. И увеличить литературу, искусство, театр. Уповаю на Ваше широкое содействие. А пока, для завтрашнего номера, пожалуйста, дайте стихотворение, подписанное хорошим именем (Борис Николаевич не подойдет, т. к. идет его проза) и, если случайно есть готовая, какую-нибудь статью литературного характера. Пожалуйста, поддержите в это архитрудное время» (ГБЛ, ф. 386, 110.16, л. 5). Газета «Правда живая» вышла 26 октября 1907 г. В № 1 газеты был опубликован перевод В. Брюсова из Э. По («Эльдорадо»). Вышло только 3 номера этой газеты, 29 октября издание было приостановлено (в № 2 был опубликован этюд А. Белого «Притча о смерти», а в № 3 — стихотворение Балтрушайтиса «Отторгнутым»). Стихи Блока там не опубликованы (ср. п. 29 и 30).

28. БЛОК — БРЮСОВУ

‹26 октября 1907 г. Петербург›

26.X.07

Дорогой Валерий Яковлевич.

«Осенней Любви» мне не хотелось бы разбивать, пусть останется она так, как есть. Но, если Вам нравится «Снежная Дева», отложите ее для будущего года в «Весы» [1]. Кажется, она разрастается в целый цикл, который мне хочется прислать Вам, как только будет написан. Цикл я во всяком случае обещаю Вам и прошу Вас оповестить о нем и о сказках в последнем проспекте «Весов» [2]. А вот два стихотворения взамен «Снежной Девы» для «Голоса Москвы», разместите их, как Вам угодно (кажется, в № 1 — или «Пожар», или «Подруге» [3], а «Так было» — дальше). О театре я совсем не думал давать *отчетов*, но, напротив, принципиально обсудить «мейерхольдию» и кое-что еще (антрепризы Санина [4], Красова [5]) — сравнительно.

Еще одна просьба. Я предлагал Городецкому дать стихов для «Голоса Москвы», а он просит 50 коп., а не 35: как Вы думаете, можно ему это устроить? [6] Спасибо Вам за письмо.

Ваш сердечно Александр Блок

[1] См. п. 27, прим. 3.

[2] В извещении «От редакции» в № 12 «Весов» за 1907 г. среди произведений, которые имеются «в распоряжении редакции для беллетристического отдела 1908 г.» значатся: «Алек‹сандр› Блок. Сказки и Александр Блок. Заклятие огнем и мраком и пляской метелей. Поэма» (с. 84). О сказках см. п. 38, прим. 4.

[3] Вероятно, имеется в виду стихотворение «Везде — над лесом и над пашней. . .» (в сборнике «Земля в снегу» было опубликовано под заглавием «Подруга светлая»).

[4] Александр Акимович *Санин* (1869—1956) — актер и режиссер. В 1907 г. работал в «Старинном театре» в Петербурге, где поставил, в частности, миракль Рютбефа «Действо о Теофиле» в переводе А. Блока.

[5] Николай Дмитриевич *Красов* (1867—1940) — актер, антрепренер. Упоминание о его спектакле «Черные вороны» см. в лекции А. Блока «О театре» (V, 266).

[6] Ср. п. 29.

29. БРЮСОВ — БЛОКУ

‹28 октября 1907 г. Москва› [1]

Дорогой Александр Александрович!

Октябристы после победы оказались гораздо менее сговорчивыми, нежели были до выборов [2]. С другой стороны Бор‹ис› Ник‹олаевич› [3], вспомнив вдруг, что он — левый, отказался от участия в «Голосе». В результате вся комбинация с этой газетой расстроилась.

У нас в Москве, однако, есть другая газета «Правда Живая», направления вполне левого, которая весьма желает нашего сотрудничества [4]. Там уже пишут Мережковские [5]. Дал кое-что свое и я [6]. Сегодня даю туда Ваш «Пожар» [7]. Думаю, Вы не будете против? Если пришлете для «Правды» — прозы, она примет с благодарностью. Желателен для нее и Городецкий (но лишь по 40 к. стих, а не по 50: ибо времена тяжелые!). Подробнее расскажет Вам Б‹орис› Н‹иколаевич›, который едет к Вам [8].

Жаль, что «Снежную Деву» нельзя напечатать теперь же: стихи мне нравятся очень.

Анонсирую для «Весов» 1908 г. Вашего — серию (?) * сказок и цикл стихов «Снежная Дева». Так? [9]

Всегда Ваш Валерий Брюсов

На бланке «Весов».

[1] Датируется на основании упоминания о газете «Правда живая» (вышла 3 раза: 26, 27 и 28 окт. 1907 г.). Аналогичное письмо к Ф. Сологубу см. «Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома. 1973», с. 113.

[2] Имеются в виду выборы в третью Государственную думу. 25 октября 1907 г. А. Тимофеев писал Брюсову: «Нам надо было бы увидеться, чтобы окончательно переговорить о нашем литературно-художественном отделе ‹. . .› У Владимира Павловича (Рябушинского. — *Ю. Б.*) и у меня вечер в субботу свободен. Если бы Вы могли пожертвовать час—другой — мы были бы крайне благодарны. Может быть, Вы не отказались бы в субботу в 8 ч. вечера пообедать с нами в Метрополе. Мы были бы очень признательны Вам за согласие» (ГБЛ, ф. 386, 104.46, л. 5—6). Очевидно, именно в этом разговоре В. П. Рябушинский и проявил несговорчивость, приведшую к решению отказаться от издания «Литературного приложения» к «Голосу Москвы».

[3] Андрей Белый.

[4] См. п. 27, прим. 5.

[5] Очевидно, Брюсов передал в газету статьи З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского, присланные ими в «Столичное утро» (см. п. 24, прим. 7 и 8). Статьи опубликованы в газете не были.

[6] См. п. 27, прим. 5.

[7] См. там же.

[8] А. Белый уехал в Петербург в начале ноября 1907 г.

[9] См. п. 28, прим. 2 и п. 31.

30. БРЮСОВ — БЛОКУ

‹29 октября 1907 г. Москва› [1]

Дорогой А. А.

А «Правду Живую» сегодня запретили, — и вот все наши мечтания развеялись дымом.

Ваш В. Б.

На открытке с издательской маркой «Скорпиона».

Опубл.: Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог. Вып. 2, с. 139.

[1] Датируется по упоминанию о запрещении газеты «Правда живая» (см. п. 27, прим. 5)

31. БЛОК — БРЮСОВУ

‹31 октября 1907 г. Петербург›

31.X.07

Дорогой Валерий Яковлевич.

Благодарю Вас, я получил оба Ваши письма и сожалею о расстройстве наших планов, но как-то отвлеченно, потому что совсем еще не думал, что писать, только сию минуту кончил перевод мистерии [1], целиком в стихах. К тому же мне приходило в голову, что Борис Николаевич спохватится.

Цикл стихов я не назову, пожалуй, «Снежной Девой», но не могу еще придумать, как [2]. В анонсе можно оставить и это заглавие. Если можно, я рад был бы, чтобы «Снежная Дева» вошла в декабрьский №, *кроме* тех трех стихотворений об осенней любви. Можно? [3] Цикл новый не совсем согласен с нею, в нем больше смятения и октябрьской хляби.

Ваш Ал. Блок

[1] Миракль Рютбефа «Действо о Теофиле» (V, 267—291).

[2] См. п. 28, прим. 2.

[3] См. п. 27, прим. 3.

---

* Знак вопроса поставлен В. Брюсовым.

32. БЛОК — БРЮСОВУ

‹1 ноября 1907 г. Петербург›

1.XI.07

Дорогой Валерий Яковлевич.

Пишу Вам об одном литературном деле, которое должно начаться в начале декабря. Руководитель его (или один из руководителей) — Гржебин, который напишет Вам на днях, вероятно, подробнее меня [1]. Открывается издательство «Пантеон», ближайшая цель которого — издать избранные произведения «всех» замечательных писателей «всех» веков и народов в красивых и доступных изданиях, в лучших переводах и в лучшей редакции [2]. Дальнейшая цель — издание журнала, подобного «Миру Искусства» [3], но это — в далеком будущем, пока же им предстоит работы, может быть, на несколько лет. В начале декабря выйдет первая серия (10 книжек) [4], куда войдут северяне (кажется, Гамсун), что-то из Андреева (не знаю подробно) [5]. Все книжки под общей обложкой Лансере [6], 12×16 сантим., на бумаге Верже с набором типа «Северных Сборников» «Шиповника» [7]. по 96 стр. (или двойные), ценою по 18 коп. (или 36) [8]. Прежде всего, необходимо составить планы издания, причем требуется не только указание имен авторов, но и их произведений, которые достаточно выражают их. В нормальной (не двойной книжке) будет заключаться 60000—90000 букв. Гонорары за переводы: лист прозы (40000 б.) — 50 рублей, строка стихотворения — 30 коп. (все это за каждые 6000 экземпляров). За переводы «под редакцией» — та же полистная плата. Я уполномочен Гржебиным обратиться к Вам с просьбой, прежде всего, дать указания относительно выбора авторов и их произведений для *французской* серии [9] (испанская поручается Бальмонту, итальянская, кажется, Минскому, северная — Балтрушайтису, русская, кажется, Венгерову, но и здесь хотят просить Ваших указаний) [10]. Из французов намечены пока: Мериме (перев. Сологуб), Мюссе, Верхарн, Метерлинк [11]. В последних трех я лично очень не отказался бы принять участие [12]

У Мюссе хотят взять стихи, я советовал еще взять одну из маленьких пьес, если уж нельзя взять таких прекрасных драм, как, напр‹имер›, «Кармозина». Мне самому хочется перевести «Декабрьскую ночь». Гржебин просит Вас сделать выбор стихов Мюссе и перевести из него то, что Вы захотите; остальное из выбранного Вами можно передать другим, я бы охотно взял несколько маленьких стихотворений, сверх «Декабрьской ночи». Книжка Мюссе — на 60000 букв.

Относительно Верхарна просят указаний, конечно, у Вас. Предпочтительна, кажется, драма (Филипп или Монастырь, потому что они не переведены еще) [13], но не найдете ли Вы, что лучше дать стихи? То, чего Вы не захотите сделать из переводов, опять-таки с удовольствием взял бы я. Книжку Метерлинка (и выбор и перевод) поручили мне и я лично прошу у Вас, во-первых, прислать мне «Пеллеаса» (кажется, я видел там большую библиографию Вами составленную) [14], а, во-вторых, посоветовать мне, какую взять пьесу: мне кажется, для такого издания подходили бы «Слепые» или «Intérieur» или «L'Intruse» [15], но все это слишком известно *. Не взять ли, кроме того, главу из «Trésor des Humbles» [или] и статью из «Le double Jardin» [16], напр‹имер›, о новой драме, и, кроме того, приниматься ли за «Serres chaudes»? [17] И где можно найти биографию Метерлинка? (портреты и краткие очерки будут приложены ко всем книжкам). Извините, что обременяю Вас всеми этими вопросами, но не решаюсь положиться только на свой вкус.

Хорошо бы потом составить для «Пантеона» книжку из трубадуров, из средневековых мистерий, V. Hugo, немецких романтиков [18] — это первое,

---

* Что скажете Вы о «Семи принцессах»? Мне очень улыбается

что приходит мне сейчас в голову. Мне кажется, задача благодарная и стоит заняться этим. Жду Вашего ответа, еще раз, извините.

Ваш Ал. Блок

[1] Зиновий Исаевич *Гржебин* (1869—1929) — художник-график, карикатурист. Редактор журнала художественной сатиры «Жупел» (1905—1906). В 1906 г. активно сотрудничал в журнале «Адская почта», вел деловую часть издательства «Факелы». Один из основателей издательств «Шиповник» (1906—1918) и «Пантеон» (1907—1910). Письмо Гржебина к Брюсову (от 31 окт. 1907 г.), о котором пишет здесь Блок, см. ГБЛ, ф. 386, 84.2.

[2] Издательство «Пантеон» существовало только 3 года и успело осуществить лишь немногое из своих замыслов. Блок выпустил в этом издательстве перевод трагедии Грильпарцера «Праматерь» (СПб., 1908). Брюсов — перевод «Франчески да Римини» Г. Д'Аннунцио (совместно с Вяч. Ивановым) (СПб., 1908) и книгу переводов «Французские лирики XIX века» (СПб., 1909).

[3] Этот проект издательством осуществлен не был.

[4] Книги издательства «Пантеон» начали выходить лишь в 1908 г.

[5] Произведения Гамсуна, так же как и Андреева, издательством «Пантеон» изданы не были.

[6] Евгений Евгеньевич *Лансере* (1875—1946) — художник, член объединения «Мир искусства».

[7] «Северные сборники» издательства «Шиповник» выходили в 1907—1911 г. Вышло 7 сборников. В первом из них (СПб., 1907) опубликован перевод А. Блока из И.-П. Якобсена «Пусть розы здесь цветут» (с. 91—100).

[8] Цена дешевых изданий «Пантеона» была 20 коп., «роскошных» его изданий — 1 р.

[9] В ГБЛ (ф. 386, 135.24) хранится составленный Брюсовым подробнейший список книг по французской и франкоязычной бельгийской литературе, рекомендуемый им к изданию и включающий около 150 имен. На л. 1 этого проспекта стоит помета рукой И. М. Брюсовой: «Программа, составленная Брюсовым, помнится, для издательства «Парус»». Давая информацию об этом проспекте в «Записках отдела рукописей» (вып. 39. М., 1978, с. 68), я главным образом на основании этой пометы, предположительно датировала список серединой 1910-х годов. Возможно, однако, что список представляет собой проспект французской серии издательства «Пантеон» и датируется, следовательно, 1908 г. Но утверждать это с уверенностью у нас нет определенных данных.

[10] Русская серия была поручена Гржебиным тоже Брюсову. В письме от 19 ноября 1907 г. он пишет: «Вы литературу французскую и *русскую* взяли на себя» (ГБЛ, ф. 386, 84.1, л. 18. Курсив мой. — *Ю. Б.*).

[11] Ни один из названных Блоком авторов в издательстве «Пантеон» издан не был.

[12] В проспекте издательства, изданном в 1908 г., была объявлена книга М. Метерлинка («Драмы. Статья о театре») в переводах Блока. В 1908 г. Блок работал над переводом драм «Семь принцесс» и «Алладин и Паломид» и стихов из сборника «Serres chaudes». Однако переводы из Метерлинка закончены Блоком не были, в печати не появились и до нас, даже в черновиках, не дошли.

[13] В проспекте «Пантеона» была анонсирована трагедия Э. Верхарна «Филипп II» в переводе В. Брюсова. Но перевод не был закончен и не опубликован. Автограф перевода см. ГБЛ, ф. 386, 25.11. Подробнее о работе над этим переводом см. *ЛН*, т. 85, с. 571—573, 598. В 1917 г. Брюсов собирался издать перевод драмы в издательстве «Парус» (см. об этом его письмо к А. Н. Тихонову от ‹1917 г.› б. ч. (ГБЛ, ф. 386, 72.44, л. 40).

[14] Имеется в виду книга: М. Метерлинк. Пелеас и Мелизанда и стихи в переводе Валерия Брюсова. М., «Скорпион», 1907. Книга заканчивалась разделом «Библиография» (с. 65—68).

[15] Драмы Метерлинка «Intérieur» — «Там, внутри», «L'Intruse» — «Непрошенная».

[16] Философский трактат «Trésor des Humbles — «Сокровище смиренных» и книга статей «Le double Jardin» — «Двойной сад».

[17] Книга стихов «Serres chaudes» — «Теплицы».

[18] Ни один из этих проектов Блока осуществлен не был.

33. БРЮСОВ — БЛОКУ

‹2 ноября 1907 г. Москва› [1]

Дорогой Александр Александрович!

Благодарю за два полученных мною письма. Пользуясь Вашим позволением, «Снежную Деву», которая мне очень нравится, я присоединю к [*двум* сти] *трем* стихотворениям «Осенняя Любовь» [2]. В «Весах» 1908 объявлю Ваши «Сказки» и «Стихи» без определенного заглавия [3].

Замысел «Пантеона» мне очень нравится. Охотно окажу помощь «Шиповнику» и советом и переводами. Мне хотелось бы, однако, узнать точнее план этого издания. Выдающихся писателей можно насчитать *много тысяч* и

нельзя издать всех. Надо сделать выбор. Не знаю, с какой точки зрения. Из названных Вами французских писателей я мог бы взять на себя любого, т. е. Гюго, или Мюссе, или Верхарна [4]. Только [мне] я поставлю необходимым условием, чтобы редакция предоставленного мне сборника [будет] всецело принадлежа[ть]ла мне: т. е. выбор стихотворений и переводов, составление предисловия, etc. Замечу, что у меня уже есть почти готовый томик — Верлен. Впрочем, пока он обещан «Скорпиону» [5]. Сообщите, от кого узнать мне подробности всего предприятия: сообщите ли их мне Вы или Гржебин? Гржебину пишу сейчас по поводу книги о театре [6] и задаю ему тот же вопрос.

Ваш всегда Валерий Брюсов

На бланке «Весов».

[1] Датируется по связи с содержанием предыдущего (от 1 ноября) и последующего (от 3 ноября) писем Блока.
[2] См. п. 27, прим. 3 и п. 31.
[3] См. п. 28, прим. 2.
[4] См. п. 32, прим. 11, 13, 18.
[5] Книга переводов В. Брюсова из П. Верлена вышла в 1911 г. в издательстве «Скорпион».
[6] Имеется в виду книга «Театр. Книга о новом театре. Сборник статей». Пг., «Шиповник», 1908.

34. БЛОК — БРЮСОВУ

‹3 ноября 1907 г. Петербург›

Дорогой Валерий Яковлевич.

И за «Пелеаса» [1] и за письмо, которое я получил сейчас, благодарю Вас от души. Радуюсь, что «Снежную Деву» берете в декабрьские «Весы». Все, что Вы пишете о «Пантеоне», передам Гржебину. Кажется, поручение редакции каждого сборника одному лицу дело установленное. И о Верлене передам Гржебину [2].

Преданный Вам Александр Блок

3/XI—07

[1] См. п. 32, прим. 14.
[2] См. п. 33, прим. 5.

35. БЛОК — БРЮСОВУ

‹14 ноября 1907 г. Петербург›

14.XI.07 СПб.

Дорогой Валерий Яковлевич.

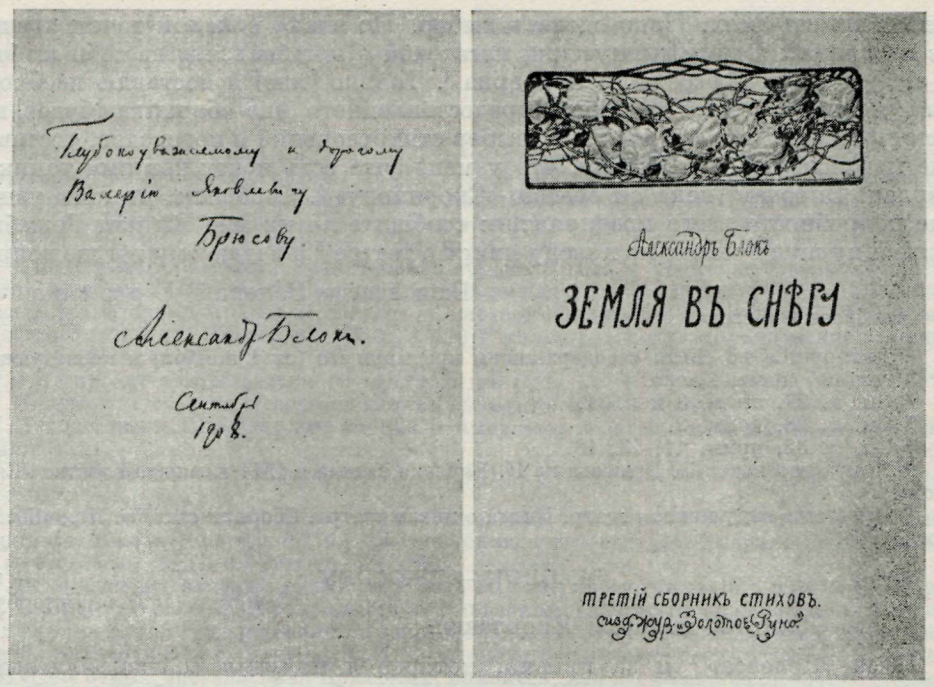
Вот — новый цикл стихов, или поэма, непосредственно примыкающая к «Снежной Маске» [1]. Заглавия составляют вместе одну заклинательную фразу [2], потому можно печатать стихи все сряду, если для «Весов» — слишком много уделить каждому — отдельную страницу [3].

Очень хочется видеть это «Заклятие» в «Весах», в одном из первых номеров, если это покажется Вам возможным, так как возможно, что в марте (приблизительно) я приготовлю новый сборник, куда непременно должен войти этот цикл, вслед за «Снежной Маской» (она разошлась, говорят, и я думаю включить ее в книгу, как отдел) [4].

Очень хочу знать Ваше мнение об этих стихах, а также жду от Вас инструкций, касающихся «Пантеона».

Преданный Вам Александр Блок

[1] Имеется в виду цикл «Заклятие огнем и мраком и пляской метели».
[2] В состав цикла входило 11 стихотворений: 1. «Принимаю», 2. «В огне», 3. «И во мраке», 4. «Под пыткой», 5. «В снегах», 6. «И в дальних залах», 7. «И у края бездны», 8. «Безумием заклинаю», 9. «В дикой пляске», 10. «И вновь покорный», 11. «Тебе предаюсь».
[3] Стихи в «Весах» (1908, № 3, с. 7—20) были напечатаны подряд.
[4] Имеется в виду книга: А. Блок. Снежная маска. Лирическая поэма. СПб., «Оры», 1907. Следующая книга Блока — «Земля в снегу» («Золотое руно», 1908) разделом



БЛОК. «ЗЕМЛЯ В СНЕГУ», СПб., «ЗОЛОТОЕ РУНО», 1908
С дарственной надписью В. Я. Брюсову от сентября 1908 г.
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

«Снежная маска» заканчивается. Стихи из цикла «Заклятие огнем и мраком. . .» были распределены в этой книге по разным отделам: 10. «Работай» («Работай, работай, работай. . .») и 9. «Пляска» («Гармоника, гармоника!. .») — были помещены в отделе «Мещанское житье» (с. 55—56 и 57—58); 7. «Над бездной» («По улицам метель метет. . .»), 1. «Принимаю» («О, весна без конца и без краю!. .»), 2. «Пожар» («Приявший мир, как звонкий дар. . .»), 4. «Под пыткой» («Перехожу от казни к казни. . .») и 11. «Предаюсь» («И я опять затих у ног. . .») — в отделе «Песня судьбы» (с. 94—100 и 110); 5. «Пойми» («Пойми же, я спутал, я спутал. . .») — в отделе «Послания» (с. 131).

Стихотворения 3. («Я неверную встретил у входа. . .»), 6. («В бесконечной дали коридоров. . .») и 8. («О, что мне закатный румянец. . .») — в сборник «Земля в снегу» не вошли совсем.

36. БРЮСОВ — БЛОКУ

‹10 января 1908 г. Москва›

Дорогой Александр Александрович!

Простите мне долгое и упорное молчание. Сначала я был мучительно занят выпуском последних №№ «Весов» 1907 г., а потом всю мою обычную деятельность расстроило печальное событие нашей семейной жизни: болезнь и смерть отца [1]. Теперь понемногу возвращаюсь к обычной работе.

Вы видели, конечно, что Ваши «Сказки» и Ваше «Заклятие» обещаны «Весами» на 1908 г.[2] Согласно Вашему желанию «Заклятие» будет напечатано в мартовском № (февральский давно обещан М. Кузмину) [3]. Вам, вероятно, известен обычай «Весов» — при печатании целого цикла стихотворений оплачивать их не по строкам, а по страницам: 5 р. страница. На таких условиях помещали свои циклы и М. Кузмин, и К. Бальмонт, и Бор‹ис› Ник‹олаевич› [4].

«Сказок» Ваших очень ждем, потому что прозою в этом году довольно бедны [5].

Ваши стихи, присланные для провинциального журнала, будут напечатаны в его ближайшем № [6].

Видаете ли Вы Вяч‹еслава› Ив‹ановича›. Его письма, очень редкие, оставляют во мне впечатление, что он переживает дни довольно тягостные для себя. Нельзя ли вернуть его к литературной интенсивной работе: временно это было бы для него целением [7].

Душевно Ваш Валерий Брюсов

10 янв., 1908.

На бланке «Весов».

[1] Яков Кузьмич Брюсов скончался 8 января 1908 г.

[2] См. п. 28, прим. 2.

[3] В № 2 «Весов» за 1908 г. опубликован цикл стихов М. Кузмина «Ракета» (9 стихотворений. — с. 7—14).

[4] Андрей Белый.

[5] В 1908 г. в «Весах» печатался роман Брюсова «Огненный ангел» (№№ 2, 3, 5—8), его же этюд «Ночное путешествие» (№ 11, псевд. К. Веригин), рассказ А. Белого «Адам» (№ 4), новеллы Н. Гумилева «Радости земной любви» (№ 4), рассказы М. Кузмина «Решение Анны Мейер» и «Флор и разбойник» (№ 1 и 9), рассказ Б. Садовского «Праздничный день» (№ 12) и легенда Ф. Сологуба «Претворившая воду в вино» (№ 10). Из переводной прозы были напечатаны новелла О. Бердслея «История Венеры и Тангейзера» и отрывки из «De profundis» О. Уайльда.

[6] Возможно, что речь идет о стихотворении «Поет, краснея, медь над горном. . .» (опубл.: «В мире искусств». Киев, 1908, № 1). Другие публикации Блока в провинциальных журналах в начале 1908 г. нам неизвестны.

[7] 17 октября 1907 г. умерла жена В. И. Иванова — Л. Д. Зиновьева-Аннибал. Эта потеря надолго лишила писателя способности работать. К усиленным литературным занятиям он вернулся лишь весной 1908 г. 15 мая 1908 г. М. М. Замятнина пишет В. К. Шварсалон: «Он чувствует себя хорошо и так сильно и усидчиво работает, кажется, *за всю зиму думает теперь наверстать*. Он кончает «По звездам» (ГБЛ, ф. 109, б. ш. — Курсив мой. — *Ю. Б.*), а 1 июня того же года она сообщает, что сборник «Cor ardens» «совершенно переработан в смысле перестановки и посвящения, так что книга приобрела совершенно иное значение» (там же).

37. БЛОК — БРЮСОВУ

‹13 января 1908 г. Петербург›

13.I.1908.

Дорогой Валерий Яковлевич.

Спасибо Вам за письмо. Искренно сочувствую Вам в Вашем горе [1].

Разумеется, на денежные условия «Весов» я согласен и очень рад, что «Заклятие» пойдет в марте, потому что сборник стихов моих хотел бы выпустить в апреле, около пасхи [2]. Могу ли я просить корректуру? Кажется, в стихотв‹орении› «И у края бездны», в последней строфе, есть грубая ошибка: вместо «больнее» — «более» [3].

Относительно «сказок» я еще ничего не знаю; не начинал их писать, они заслонились пока большой пьесой, над которой я мучусь вот уже год! Это — пяти или четырехактная драма под названием «Песня Судьбы» [4].

Работаю очень много и очень доволен работой; в «Пантеоне» у меня, кроме Метерлинка, — «Книга песен» Гейне [5], да еще В. Ф. Комиссаржевская заказала мне перевести к будущему сезону «Die Ahnfrau» Грильпарцера [6]. Это — пять актов в стихах!

Людей вижу немного. Вячеслава Ив‹ановича› не видал с октября, но слышал о нем то же, что пишете Вы. На днях хочу увидеться с ним. То, что он ничего не пишет теперь, меня очень печалит [7].

Преданный Вам Ал. Блок

[1] См. п. 36, прим. 1.

[2] Сборник «Земля в снегу» вышел в свет в июле 1908 г.

[3] Автографа цикла «Заклятие огнем и мраком. . .» в архиве Брюсова не сохранилось. Поэтому была ли действительно допущена Блоком ошибка, установить не удалось.

[4] «Песня Судьбы» опубл.: Альманах книгоиздательства «Шиповник», № 9, СПб., 1909, с. 192—252 (см. также IV, 103—167). О работе Блока над этой драмой см. IV, 578—582.

[5] О переводах из Метерлинка см. п. 32, прим. 12. Перевод «Книги песен» Г. Гейне Блоком не был закончен и в издательстве «Пантеон» не вышел. Цикл «Heimkehr» («Опять на родине») из этой книги Блок включил в четвертый сборник своих стихов — «Ночные часы» (М., «Мусагет», 1911).

[6] Премьера спектакля «Праматерь» в театре В. Ф. Комиссаржевской состоялась 29 января 1909 г. Об издании перевода см. п. 32, прим. 2.
[7] См. п. 36, прим. 7.

38. БРЮСОВ — БЛОКУ

‹9 марта 1908 г. Москва›
Получ. 10.III.*

Дорогой Александр Александрович!

Благодарю Вас за присылку Вашей новой книги [1]. Драмы я знал давно, но предисловие прочел с большим интересом.

Извиняюсь, что не ответил Вам в свое время на Ваш вопрос о переводах Метерлинка для «Пантеона» [2]. Я ожидал, пока выяснится предел моего участия в этом книгоиздательстве. Только недавно определилось окончательно, что редактировать французского отдела я не буду [3] и что следовательно Вам надо обращаться со всеми запросами прямо к З. И. Гржебину. Впрочем, Вы все это, конечно, уже знаете.

«Весы» продолжают надеяться на «Сказки» [4].

Ваш Валерий Брюсов

1908

[1] А. Блок. Лирические драмы («Балаганчик» — «Король на площади» — «Незнакомка»). Музыка к «Балаганчику» М. А. Кузмина. СПб., «Шиповник», 1908. Дарственную надпись Блока см. наст. том, с. 504.
[2] См., п. 32 и 35.
[3] З. И. Гржебин был вынужден отказаться от идеи закрепления литератур разных регионов за специалистами-редакторами из-за недостатка средств. (См. об этом подробнее — ЛН, т. 85, с. 667, прим. 5).
[4] Единственная сказка в прозе, которая была написана Блоком в 1907 г. («Сказка о той, которая не поймет ее»), — была опубл. в журнале «Луч» (1907, № 2).

39. БРЮСОВ — БЛОКУ

‹Между 1 и 12 марта 1909 г. Петербург› [1]

Дорогой Александр Александрович!

Попав в Петербург, хотел бы я, согласно со всеми добрыми традициями прошлого, повидать Вас. Не позволите ли заехать к Вам в пятницу около 5 дня? Выбираю такой час, потому что знаю, как бывают заняты у Вас все вечера.

Видеть Вас очень хотела бы и Нина Ивановна [2], которая сейчас также в Петербурге.

Ваш Валерий Брюсов

Северная гостиница, 108

[1] Брюсов приехал в Петербург 1 марта. Был у Блока в четверг, 12 марта. «Вчера очень хорошее впечатление оставил у нас Вал‹ерий› Брюсов, — пишет Блок А. А. Кублицкой-Пиоттух 13 марта 1909 г. — Я чувствую к нему какую-то особенную благодарность за его любовь к стихам, он умеет говорить о них, как никто. И я с ним говорил, как давно уже не говорил ни с кем, на языке, понятном, вероятно, только поэтам. Он очень оценил мои переводы из Гейне» (VIII, 279).
[2] Нина Ивановна *Петровская* (по мужу Соколова, 1884—1928) — писательница, переводчица, жена владельца издательства «Гриф» С. А. Соколова. Ее воспоминания о Брюсове и фрагменты его писем к ней см.: ЛН, т. 85, с. 773—798.

40. БРЮСОВ — БЛОКУ

‹11 марта. Петербург› [1]

Дорогой Александр Александрович!

Мне очень стыдно, но я не точно помню день, в который Вы просили меня и Н‹ину› И‹вановну› быть у Вас. Кажется, в четверг? [2] Если да, то не тру-

* Помета Блока, карандашом.

дитесь подтверждать. Если нет, не откажите сообщить. Очень прошу извинить и этот нелепый вопрос и все причиняемое им Вам беспокойство.

Ваш сердечно Валерий Брюсов

[1] Датируется по почт. шт.
[2] См. п. 39, прим. 1.

41. БРЮСОВ — БЛОКУ

‹23 августа 1910 г. Москва›

23 августа 1910 г.

Дорогой Александр Александрович!

В последнем № «Аполлона» довелось мне с Вами поспорить [1]. Надеюсь, это не изменит наших с Вами добрых отношений. Я по крайней мере по-прежнему люблю Вас и Ваши стихи.

Как Вы, может быть, знаете из газет, я с этой осени «принимаю ближайшее участие в редактировании литературного отдела «Русской Мысли» [2]. Вы до сих пор в «Русс‹кой› Мысли» писали редко, мало. Почему это? Мне хотелось бы привлечь Вас к более деятельному сотрудничеству. Не пришлете ли Вы стихов для одной из ближайших книжек журнала? Весьма обрадовали бы. Адресуйте или мне (Москва, 1-ая Мещанская, 32) или в «Р‹усскую› Мысль».

Мой привет Л‹юбови› Д‹митриевне›.

Ваш всегда Валерий Брюсов

На почтовой бумаге со шт. «Русской мысли».

[1] Имеется в виду статья Брюсова «О речи рабской в защиту поэзии» («Аполлон», 1910, № 9, с. 31—34), полемизирующая со статьями В. Иванова «Заветы символизма» и А. Блока «О современном состоянии русского символизма» («Аполлон», 1910, № 8, с. 5—20 и 21—30).
[2] Брюсов принял на себя редактирование литературного отдела «Русской мысли» с сентября 1910 г.

42. БРЮСОВ — БЛОКУ

‹10 сентября 1910 г. Москва›

Дорогой Александр Александрович!

Благодарю за письмо и за стихи [1]. Стихи, вероятно, удастся напечатать в *декабрьской* книжке; в самом удачном случае в *ноябрьской* [2]. Очень надеюсь на Ваше дальнейшее сотрудничество в «Русской Мысли».

Ваш всегда Валерий Брюсов

Москва, 1-ая Мещанская, 32. 10 сент. 1910.

[1] Блок прислал для «Русской мысли» цикл стихов «Страшный мир» («Демон», «В ресторане», «Большая дорога», «Вдвоем» — см. письмо Блока к Брюсову от 3 сентября 1910 г. — VIII, 313—314).
[2] Цикл был опубликован в № 11 «Русской мысли» за 1910 г.

43. БЛОК — БРЮСОВУ

‹7 октября 1910 г. Шахматово›

Дорогой Валерий Яковлевич.

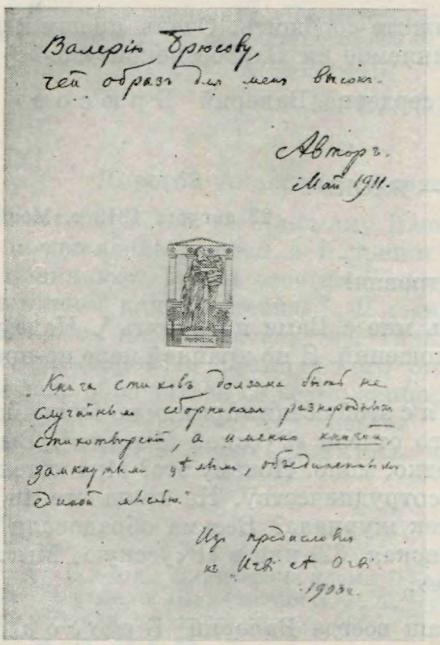
Благодарю Вас за книгу [1] от души.

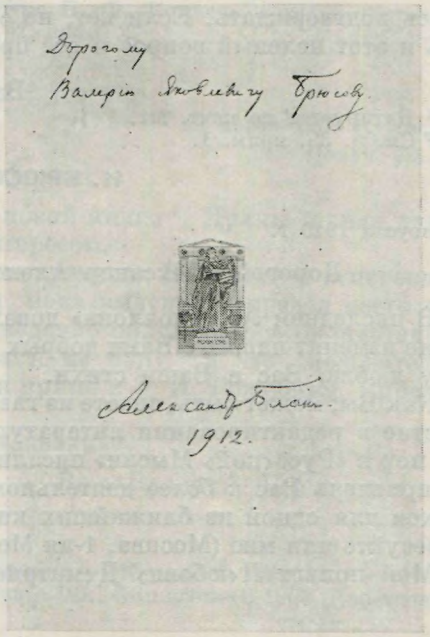
Преданный Вам Ал. Блок

7.X.1910. Никол. ж. д. ст. Подсолнечная, с. Шахматово.

Опубл.: Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог. Вып. I, с. 130.

[1] Речь идет, вероятно, о втором издании сборника рассказов В. Брюсова «Земная ось» (М., «Скорпион», 1910). Книга сохранилась в составе библиотеки Блока в ИРЛИ.





БЛОК. СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ. КН. I. «СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ». М. «МУСАГЕТ», 1911

С дарственной надписью В. Я. Брюсову от мая 1911 г.

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

БЛОК. СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ. КН. II. «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» М. «МУСАГЕТ», 1912

С дарственной надписью В. Я. Брюсову

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

44. БЛОК — БРЮСОВУ

‹17 февраля 1911 г. Петербург›

Дорогой Валерий Яковлевич.

Посылаю Вам два стихотворения для «Русской мысли» [1]. Простите, что так долго не посылал ничего. Это потому, что почти не пишу больше коротких стихотворений; приступил к большой поэме [2].

Если не затруднит Вас, очень прошу сообщить в конторе, что я не получил февральского номера. Не знаю, случайно ли мне не прислали его, или Вы решили, что я так и не исполню Вашей просьбы о стихах и не пошлю Вам ничего. — А мне очень интересно читать новую «Русскую мысль», с которой Вы сделали чудеса [3]: весь номер можно читать.

Неизменно преданный Вам Александр Блок

17 февраля 1911. СПб., М. Монетная 9, кв. 27.

[1] Речь идет о стихах «На севере» («Здесь дух мой, злобный и упорный. . .») и «Не спят, не помнят, не торгуют. . .».
[2] Имеется в виду поэма «Возмездие».
[3] См. п. 41, прим. 2 и п. Блока от 3 сентября 1910 г. (VIII, 313).

45. БРЮСОВ — БЛОКУ

‹8 апреля 1911 г. Москва› [1]

1911.

Дорогой Александр Александрович!

Вы видели, что я напечатал одно из присланных Вами стихотворений в апрельской книжке «Р‹усской› М‹ысли›». Другое, посоветовавшись с П. Б. Струве [2], я напечатать не решился по соображениям цензурным [3].

Может быть, мы были в этом отношении слишком осторожны, — но в наше время приходится быть таким. Итак, это стихотворение остается у Вас свободным. — Надеюсь на дальнейшее Ваше сотрудничество.

С большим нетерпением жду нового издания «Стихов о Прекрасной Даме» [4]. Видел Ваше очень интересное предисловие: несколько, но очень содержательных, строк.

Сердечно Ваш Валерий Брюсов

[1] Датируется по почт. шт.
[2] Петр Бернгардович *Струве* (1870—1944) — редактор «Русской мысли», один из лидеров партии кадетов.
[3] См. п. 44, прим. 1. Стихотворение «На севере» опубл.: «Русская мысль», 1911, № 4, с. 1; «Не спят, не помнят, не торгуют. . .» — впервые в сборнике «Ночные часы» (М., «Мусагет», 1911, с. 37).
[4] А. Блок. Собр. стихотворений. Книга первая. Стихи о Прекрасной Даме (1898—1904). Издание второе, исправленное и дополненное. М., «Мусагет», 1911. Книга вышла из печати в начале мая 1911 г.

46. БРЮСОВ — БЛОКУ

‹20 октября 1911 г. Москва›

20 ноября 1911 г.[1]

Дорогой Александр Александрович!

Давно Вы ничего не предлагали «Русской Мысли» [2]. Не пришлете ли стихов? Очень хотелось бы порадовать ими и себя и читателей.

На днях пришлю Вам книгу своих статей, — весьма случайных, собрание разных моих рецензий [3]. Мне очень стыдно, что я в ней так мало и так не по существу говорю о Вашей поэзии. Но в этом я извиняюсь уже в предисловии. Надеюсь вскоре написать о Вашей поэзии подробнее, — для какого-то издания, предпринятого С. А. Венгеровым [4].

Верю, что Вы хорошо провели это лето и хорошо работали. Кланяюсь Любови Дмитриевне.

Всегда Ваш Валерий Брюсов

На почтовой бумаге со шт. «Русской мысли».

[1] Датировка Брюсова ошибочна. См. ответное письмо Блока от 24 октября (№ 47).
[2] См. п. 45, прим. 3.
[3] В. Брюсов. Далекие и близкие. Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней. М., «Скорпион», 1912. Книга сохранилась в составе библиотеки Блока в ИРЛИ.
[4] См. статью В. Брюсова «Александр Блок» в книге «Русская литература XX века». Под ред. С. А. Венгерова. М., 1915, т. 2, с. 320—330.

47. БЛОК — БРЮСОВУ

‹24 октября 1911 г. Петербург›

24.X.1911. СПб. М. Монетная 9.

Дорогой Валерий Яковлевич.

Спасибо за письмо [1]. Вот стихотворение для «Русской мысли» [2]. Стыжусь того, что так скупо проявляюсь последние годы вообще, и в частности, мало могу посылать Вам, в «Русскую мысль», несмотря на Вашу, дорогую мне, память обо мне. Утешаюсь только тем, что доволен и впечатлениями от путешествия [3] и многими подготовительными работами, которые затеял [4].

Заранее благодарю Вас за книгу о «Далеких и близких» [5]. Не забывайте меня. Прошу Вас передать мой поклон Иоанне Матвеевне.

Преданный Вам Ал. Блок

[1] См. п. 46.
[2] «Раздумье» («Все это было, было, было. . .»). — «Русская мысль», 1911, № 11, с. 70.
[3] Лето 1911 г. Блок с женой провел за границей (Германия, Франция, Бельгия, Голландия). 17 октября 1911 г. он записывает в дневнике: «В начале сентября мы вороти-

лись: Люба — из Парижа, я — оттуда же, проехав Бельгию и Голландию и поживя в Берлине. ‹. . .› Как из итальянской поездки (1909) вынесено искусство, так из этой — о жизни: тягостное, пестрое, много не связного» (VII, 69).

[4] Блок напряженно работал в это время над поэмой «Возмездие». В тот же день он пишет в дневнике: «Стадия поэмы (семидесятые годы, о двух полюсах в искусстве, семейное, Чацкий, Демон).

Надо: побеждая восторги (частые) и усталость (редкую — я здоров) писать задумчиво. Это написать (что я задумал) надо. «Помогай бог»» (там же, 72).

[5] См. п. 46, прим. 3.

48. БРЮСОВ — БЛОКУ

‹4 мая 1912 г. Москва›

Москва, 4 мая 1912 г.

Дорогой Александр Александрович!

Хотя несколько поздно, но приношу Вам дружескую благодарность за Ваши стихи, написанные Вами на экземпляре «Снежной ночи» [1]. Мне они очень дороги, и если я не сказал Вам этого до сих пор, то лишь потому, что хотел Вам ответить стихами же. Но пока мне не удалось написать в ответ Вам ничего, что было бы равносильно Вашим строфам, и я принужден сказать свое «благодарю» — «смиренной прозой».

Не забывайте «Русскую Мысль».

Ваш Валерий Брюсов

Машинопись с подписью-автографом
Опубл.: «Печать и революция», 1928, № 5, с. 78.

[1] Дарственную надпись Блока см. наст. кн., с. 521.

49. БЛОК — БРЮСОВУ

25 сентября 1912. Офицерская 57, кв. 21.

Дорогой Валерий Яковлевич.

Вот мой новый адрес и моя ежегодная дань «Русской мысли» [1].

Всегда Вам преданный Александр Блок

Опубл.: Александр Блок. Переписка. Вып. I, с. 131.

[1] Стихотв. «Шаги командора» («Тяжкий, плотный занавес у входа. . .»). — «Русская мысль», 1912, № 11, с. 191—192.

50. БРЮСОВ — БЛОКУ

29 сентября 1912. Петербург. Гранд-Отель.

Дорогой Александр Александрович!

Благодарю за память и за стихи. Сознаюсь, что «мотор» Дон-Жуана меня несколько смущает, и я не вполне уверен, хорошо ли это. Но, конечно, на то — Ваша воля, и я не почитаю себя вправе посягать на нее [1]. Стихотворение будет напечатано в одной из ближайших книжек «Р‹усской› М‹ысли›» [2].

Очень желал бы повидать Вас в Петербурге, но, к сожалению, не знаю, найду ли я для этого время: крайне занят делами редакции. Впрочем, в этом году я буду бывать в Петерб‹урге› часто и, надеюсь, Вы позволите мне в один из моих приездов посетить Вас.

Дружески Ваш Валерий Брюсов

[1] Имеются в виду строки из стихотворения «Шаги командора»: «Пролетает, брызнув в ночь огнями, // Черный, тихий, как сова, мотор». Брюсова смущало употребление слова «мотор» в качестве синонима слова «автомобиль», бытовавшее лишь в просторечии.

[2] См. п. 49, прим. 1.

51. БЛОК — БРЮСОВУ

30 сентября 1912. ‹Петербург›

Дорогой Валерий Яковлевич.

Спасибо Вам за письмо [1]. Относительно «мотора» Вы, кажется, правы, он и меня иногда коробил [2]; но строфе этой уже около двух лет [3], а я все не сумел исправить, ничего лучшего пока не нашел. Если Вы найдете время и соберетесь ко мне в один из Ваших приездов в Петербург, я, Вы знаете, буду рад Вам всегда. Так давно мы не виделись и так много произошло в это время перемен!

Всегда Ваш Ал. Блок

Офицерская 57, кв. 21. (Угол Пряжки)

[1] См. п. 50.

[2] См. п. 50 и прим. 1 к нему.

[3] О работе над стихотворением «Шаги командора» см. подробнее III, 519.

52. БЛОК — БРЮСОВУ

12 июня 1912 г.* Офицерская 57, кв. 21.

Дорогой Валерий Яковлевич.

Сейчас получил Ваши книги [1], спасибо Вам от души. Через несколько часов уезжаю в Париж, а оттуда — к океану [2].

Преданный Вам Ал. Блок

Опубл. Александр Блок. Переписка. Аннотированный указатель, вып. I, с. 131.

[1] Речь, вероятно, идет о книгах Брюсова: «Полное собрание сочинений и переводов», т. I; «За моим окном» и «Библиография Валерия Брюсова», вышедших в 1913 г. Книги сохранились в составе библиотеки Блока в ИРЛИ.

[2] Лето 1913 г. Блок с женой провели в Нижних Пиренеях, на границе Франции и Испании.

53. БРЮСОВ — БЛОКУ

13 сент‹ября› 1915 г. ‹Москва›

Москва, 1 Мещанская, 32

Дорогой Александр Александрович!

Вы, может быть, слышали, что я редактирую сборник «Поэзия Армении» [1], для чего, между прочим, посвятил все лето, — после своего возвращения с фронта [2], — на изучение армянского языка [3]. Очень Вы меня порадовали бы, и всю нашу редакцию также, если бы Вы согласились принять участие в этом сборнике. С этим письмом я посылаю Вам стихи Териана [4], современного поэта, переводившего на армянский яз‹ык› многих русских поэтов (если не ошибаюсь, и Ваши стихи также) [5], и весьма прошу посмотреть, не захотите ли Вы эти стихи Териана переложить в русские стихи. Кажется, стихотворение стóит Вашей работы и по духу подходит к Вашей поэзии. Исполнением моей просьбы крайне меня обязали бы, а, если бы Вы захотели поработать для сборника больше, я с радостью прислал бы Вам еще несколько стихотворений для перевода.

Обычный гонорар редакции — скромный, но пристойный: 50 коп. за стих

Всегда дружески Ваш Валерий Брюсов

P. S. Неужели наш «Сирин» так и бросил нас? [6] Мне это было и грустно и тяжело в отношении материальном. Вероятно, огорчило и Вас?

Над текстом, в верхнем правом углу, пометы Блока: «отв. 30/IX Попытаюсь. 7/X отказался».

---

* Описка Блока. Письмо относится к 1913 г.

[1] «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней в переводе русских поэтов». Под редакцией, со вступительным очерком и примечаниями Валерия Брюсова. Издание Московского Армянского Комитета, 1916.

[2] Брюсов выехал на фронт корреспондентом «Русских ведомостей» в августе 1914 г. и вернулся окончательно в Москву в мае 1915 г.

[3] О работе Брюсова над сборником армянской поэзии см. подробнее: И. М. Брюсова. Из воспоминаний. — «Литературная Армения», 1959, № 5, с. 99—106; К. Н. Григорьян. Брюсов и армянская поэзия. М., 1962; Л. М. Мкртчян. Армянская поэзия и русские поэты XIX—XX вв. Ереван, 1968, с. 90—136.

[4] «В весеннем городе» («На улице шум и топот шагов. . .»). Опубл. (в переводе В. Брюсова): «Поэзия Армении. . .», с. 382—383. (См. прим. 20 на с. 485).

[5] В. Териан в 1913 г. перевел 10 стихотворений Брюсова: «Быть без людей», «Грустный вечер», «Одиночество», «L'Ennui de vivre», «Городу», «Блудный сын», «Час воспоминаний», «Благословение», «Колыбельная песня», «Побег». Стихов Блока Териан не переводил.

[6] Издательство «Сирин», созданное в 1912 г. М. И. и П. И. Терещенко, предприняло издание «Полного собрания сочинений и переводов» В. Брюсова. В начале 1915 г., по условиям военного времени, издательство прекратило свою деятельность, выпустив в свет лишь тт. 1—4, 12, 13, 15 и 21. Брюсов был крайне раздражен сложившимся положением дел, так как предпринимать полное собрание сочинений в другом издательстве, после выхода отдельных, разрозненных его томов в «Сирине», было трудно. 30 января 1915 г. он писал П. И. Терещенко: «Как ни затруднительно для меня то положение, в которое я поставлен решением „Сирина“ — прервать издание моих соч‹инений› после 8 томов, я, может быть, не стал бы утруждать Вас подробным выяснением его, если бы я не был одним только представителем целой группы. Конечно, мои сотоварищи по Вашему издательству, Ф. Сологуб, А. Ремизов, А. Блок и др., оказались в положении лучшем, нежели я, потому что собрания соч‹инений› Сологуба и Ремизова почти что закончены, А. Блока не начато вовсе, а другие сотрудники „Сирина“ А. Белый, Вяч. Иванов и остальные участвовали пока только в альманахах. Но я думаю, что выскажу их общее мнение (хотя пока имел возможность снестись с одним Вяч. И. Ивановым), сказав, что мы, вступая в „Сирин“, ожидали иного отношения к нам и к делу» (ЛН, т. 27—28, с. 500).

Блок, будучи дружески близок с Терещенко, отнесся, напротив, к ликвидации «Сирина» спокойно. «„Сирину“ нашему конец пришел, — пишет он Л. Д. Блок 19 ноября 1914 г. — Хотят закрывать (не говори об этом никому пока, если даже случится). Хозяин твой будет искать нового издателя. А с Терещенками отношения еще будут лучше, может быть. Им такое дело не свойственно, не по нраву, и потому я, если жалею тут кого, то одного бедного Ремизова. Опять он остался на мели» (ЛН, т. 89, с. 338). А 12 января 1915 г. сообщает ей же: «„Сирин“ окончательно ликвидируется, теперь уж это не секрет. ‹. . .› Собственно, я доволен, что получил меньше всех материальных выгод от Терещенок, будучи близким к Сирину в течение двух лет. Так отчетливее и лучше. У меня к ним доброе чувство, думаю, что и они обо мне думают не плохо» (там же, с. 348).

54. БЛОК — БРЮСОВУ

30.IX.1915. Петроград, Офицерская 57, кв. 21.

Дорогой Валерий Яковлевич.

Только вчера я вернулся из деревни и нашел Ваше письмо. Спасибо за предложение, я попытаюсь переложить стихи Териана [1]. Пока позвольте ограничиться одною этой пробой; звуки языка — очень чужие, а содержание, пока что, не радует. Может быть, удастся, если вгляжусь пристальнее.

Да, Сирин закрылся совсем [2]; я уже давно примирился с этим обстоятельством. С изданием своих книг вернулся в «Мусагет» [3].

Душевно Ваш Ал. Блок

[1] См. п. 53, прим. 4 и п. 55.

[2] См. п. 53, прим. 6.

[3] В 1915 г. издательством «Мусагет» было выпущено второе издание стихотворений А. Блока (т. 1—3) и книга «Театр (Балаганчик — Король на площади — Незнакомка — Роза и крест)». Издательство предполагало продолжить и издание сочинений В. Брюсова. 3 февраля 1915 г. И. М. Брюсова писала мужу в Варшаву: «Утром в 10 ч. приехал Вик‹ентий› Вик‹ентьевич› Пашуканис ко мне. Он сообщил, что „Сирин“ известил „Мусагета“ о своем намерении прекратить издательство ‹. . .› Пашуканис приехал узнать у меня, на каких условиях ты намереваешься продать продолжение издательства Мусагету. Я говорила, что пока все еще не выяснено ‹. . .› Пашуканис сегодня поехал в Петербург, главной целью его поездки было [пригласить] предложить Блоку второе изд‹ание› его собрания сочинений и затем должен выяснить твои дела с «Сирином». Пашуканис говорит, „Мы“ очень радуемся мысли, что у нас будет издаваться Брюсов, конечно, если это устроится, мы должны будем написать нашему принципалу (Э. К. Метнеру. — *Ю. Б.*),

который теперь в Цюрихе» (ГБЛ, ф. 386, 69.13, л. 1—1 об.). Но собрание сочинений Брюсова «Мусагетом» издано не было. Как можно понять из писем В. Пашуканиса к Брюсову от марта—апреля 1915 г. (ГБ Л, ф. 386, 97. 41, л. 1—4), Брюсова не удовлетворили те условия, которые предложил ему «Мусагет».

55. БЛОК — БРЮСОВУ

7.X 1915, Пет<роград>, Офицерская 57, кв. 21

Дорогой Валерий Яковлевич.

Увольте — не могу. Я старался переложить прилагаемый текст [1] в стихи, но выходит невероятно вяло, а я не хотел бы делать переложение только ремесленное. Дело в том, что меня не трогает ни один образ, ни одно выражение, по-моему, автор воспринимает окружающее необыкновенно неоригинально. Если стихотворение написано 15 лет назад — куда ни шло [2]; в таком случае — оно, по-моему, только устарело, заслонилось многими гораздо более сильными выражениями того же строя души.

Если же это стихотворение недавнее — то что оно представляет из себя, кроме слабого подражания поэзии «символистов»? (а подражание, мне кажется, очевидно: выражения мало-мальски оригинальные — заимствованы).

Нет в этом авторе никакого «яду», и я сильно сомневаюсь, не одна ли риторика эта «ночь страданий», подпущенная к спуску занавеса, — после довольно монотонного изъявления «телячьего восторга», свойственного всем людям?

Читая текст, я не мог отделаться от строки: «В соседней палате кричит армянин» [3]. Так ничего и не восхи́тило меня из прутковских сопоставлений: мелко автор плавает. Разве Вы с этим не согласны?

Душевно Вам преданный Александр Блок

P. S. Мне не удалось сразу приняться за Териана, потому что я был поглощен последними корректурами стихов Ап. Григорьева [4]. Теперь книга выйдет скоро [5]; сегодня я читал, что Ваша К. Павлова уже вышла [6]. Если Вас не затруднит, подарите мне экземпляр [7]. Книжка 63 года у меня есть [8], и я люблю некоторые стихи в ней. Григорьева я пошлю Вам, когда получу [9].

[1] См. п. 53, прим. 4.

[2] Стихотворение В. Териана «В весеннем городе» входит в цикл его стихов «Золотая сказка», написанный в 1908—1911 гг.

[3] Строчки из «Романса» Козьмы Пруткова: «На мягкой кровати // Лежу я один // В соседней палате // Кричит армянин» («Сочинения Козьмы Пруткова». М., 1959, с. 30).

[4] «Стихотворения Аполлона Григорьева. Собрал и примечаниями снабдил Александр Блок». М., Кн-во К. Ф. Некрасова, 1916.

[5] Книга вышла 7 ноября 1915 г.

[6] Каролина Павлова. «Собрание сочинений. Ред. и материалы для биографии К. Павловой В. Брюсова», т. 1—2. М., 1915. Книга вышла в начале октября 1915 г.

[7] В составе библиотеки Блока в ИРЛИ этого издания сочинений К. Павловой нет.

[8] К. Павлова. Стихотворения. М., 1863. (Книга сохранилась в составе библиотеки Блока в ИРЛИ.)

[9] В сохранившейся части библиотеки Брюсова этой книги нет.

56. БРЮСОВ — БЛОКУ

<18 октября 1915 г. Москва> [1]

Дорогой Александр Александрович!

Рекомендую Вам Павла Никитича Макинциана [2], моего профессора армянского языка и соредактора в сборнике «Поэзия Армении», которому я сейчас весь предан. Присоединяю свои горячие просьбы к просьбам всей редакции и надеюсь, что Вы не откажете нам в своем сотрудничестве. Редакция будет Вам за него глубоко благодарна, а меня Вы этим порадуете очень-очень.

Всегда Ваш Валерий Брюсов

P. S. Гонорар редакции за переводы — 50 коп. стих.

[1] Написано одновременно с письмом 57 и передано через П. Н. Макинциана.
[2] Павел Никитич *Макинциан* (1884—1938) — литератор, один из инициаторов издания сборника «Поэзия Армении».

57. БРЮСОВ — БЛОКУ

18 октября 1915. Москва

Дорогой Александр Александрович!

Очень Вы меня огорчили своим отказом. Вероятно, вся вина в том лежит на мне самом, так как я выслал Вам лишь одно стихотворение, которое Вам не пришлось по сердцу [1]. Павел Никитич Макинциан, член нашей редакции, который передаст Вам это письмо, предложит Вам теперь целый ряд стихотворений нескольких армянских поэтов. Мне хочется верить, что среди этих стихов окажутся такие, которые что-либо скажут Вашей душе и которые Вы согласитесь перевести [2]. Меня своим согласием Вы очень обрадуете, так же как и всю редакцию, а сборнику, конечно, окажете своим участием большую честь. Простите мою настойчивость, но верьте, что причина тому прежде всего одна: мне грустно не видеть Вашего имени в числе сотрудников редактируемого мною издания.

Дружески Ваш Валерий Брюсов

[1] См. п. 53—55.
[2] Блок ответил на это письмо 2 ноября 1915 г.: «Сейчас говорили мы с Павлом Никитичем Макинцианом, он дал мне много ценных и интересных сведений и предложил несколько текстов, из которых я непременно возьму несколько. Думаю пока о Кучаке и Исаакиане; оба пленили меня» (VIII, 449).

58. И. М. БРЮСОВА — БЛОКУ

‹28 ноября 1915 г. Москва›

Многоуважаемый Александр Александрович,

вместо Валерия Яковлевича, который по обыкновению очень занят, я обращаюсь к вам с просьбой выслать нам по возможности скорее ваши переводы армянских поэтов.

Все составители армянского сборника с нетерпением ждут эту вашу присылку; Павел Никитич в одном письме дважды спрашивает о ваших переводах. Но кроме интереса к ним, нас с ними торопит типография, т. к. сборник уже отдан в набор [1].

Очень прошу извинить меня за мою настойчивую просьбу, с которой обращаюсь к вам в качестве секретаря Вал‹ерия› Як‹овлевича›.

С уважением Иоанна Брюсова

28.XI.15. Москва

[1] См. ответное письмо Блока к И. М. Брюсовой от 30 ноября 1915 г. и письмо к В. Я. Брюсову от 1 декабря 1915 г. (VIII, 450—451). 1 декабря Блок выслал Брюсову переводы 13 стихотворений А. Исаакяна.

59. И. М. БРЮСОВА — БЛОКУ

‹Между 2 и 4 декабря 1915 г. Москва› [1]

Многоуважаемый Александр Александрович,

Брюсов очень вас благодарит за присланные стихи [2], благодарит как от своего лица, так от лица армянского комитета, который очень дорожит вашим сотрудничеством. Вал‹ерий› Як‹овлевич› поручил мне обратиться к вам с просьбой: прислать оригиналы переведенных вами стихотворений.

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ

СОБРАНІЕ СТИХОТВОРЕНІЙ

КНИГА ТРЕТЬЯ

СНѢЖНАЯ НОЧЬ

(1907—1910)



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
«МУСАГЕТЪ»
МОСКВА. MCMXII

Валерію Брюсову.



И вновь, и вновь Твой духъ
Въ глухой ночи, въ ночи пустой
Велитъ къ Твоей мечтѣ единственной
Прильнуть и путь напитанъ Твой...

„Вновь причастясь души нечистовой,
И ядъ, и боль, и сладость пей,
И тихо книгу перелистывай,
Впиваясь въ зеркало Тѣней...

Пусть, несказанной мукой мучая,
Здѣсь бьется страсть, змѣится грусть,
Восторженная буря случая
Сумѣетъ конецъ, убійство — пусть!..

Что жизнь питала, жгла, коверкала,
Здѣсь стало мягкою мечтой,
И поле траурнаго зеркала
Прозрачной стынетъ красотой..

А красотой — безъ словъ повелѣно:
„Гори, гори. Жива, жива.
Пускай крыло души прострѣлено,
Кровь обагритъ алтарь любви!"

Мартъ 1912. Александръ Блокъ

БЛОК. СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ. КН. III. «СНЕЖНАЯ НОЧЬ». М., «МУСАГЕТ», 1912
С дарственной надписью В. Я. Брюсову
Собрание Э. И. Григолюка, Москва

Мы будем вам очень признательны, если вы доставите эти оригиналы в скором времени, так как к печатанию сборника уже приступлено.

С уважением Иоанна Брюсова

Пометы Блока над текстом: «получ‹ено› 5.XII.1915.
отв. 6.XII (возвр‹ащаю› и прошу опять вернуть)».

[1] Датируется по связи с письмом Блока к Брюсову от 1 декабря 1915 г. (VIII, 451) и на основании пометы Блока. Стихи, посланные 1 декабря, могли быть получены в Москве не раньше 2 декабря. Следовательно, письмо И. М. Брюсовой написано не раньше 2 и не позже 4 декабря, т. к. 5 оно уже было получено Блоком в Петрограде.

[2] Блок послал следующие стихи Исаакяна: «Моей матери» I—II, «Алзлат наряд», «Был бы на Аразе у меня баштан», «Быстролетный и черный орел», «В долине, в долине Сално», «Под алмазным венцом», «Уж солнце за вершиной гор», «Караван мой бренчит и плетется», «Издалека в тиши ночной», «Я увидел во сне», «Да, я знаю всегда», «Видит лань. . .».

60. И. М. БРЮСОВА — БЛОКУ

‹2 января 1916 г. Москва›

Многоуважаемый Александр Александрович,

Валерий Як‹овлевич› просит уведомить Вас, что гонорар, следуемый вам за армянские переводы, будет вам выслан 4-го янв., в сумме 82 р. (всего пер‹еведено› 164 стих.).

Я очень извиняюсь, что не ответила вам в свое время относительно ваших недоразумений в армянских подстрочниках [1], но за точными справками, касательно ваших недоразумений, нам самим пришлось обратиться к Павлу Н‹икитичу› Макинциану на Кавказ, который, вероятно, вам ответил [2], что стихотворение «Уж солнце за вершиной» заканчивается так, как вы его закончили, что слова «Ирикуун этав» [3] начинают новое стихотвор‹ение›, что *яр* в данном случае относится, как вы и перевели, к молодому человеку [4].

Мы еще надеемся получить от вас дальнейшие переводы [5]. Последний срок, когда они могут быть приняты, приблизительно 14—15 янв‹аря›. К этому времени сборник начнут верстать.

Завтра на несколько дней мы едем на Кавказ, т. е. в Баку, где Вал‹ерий› Як‹овлевич› прочтет, по настоянию армян, лекцию об их поэтах [6].

С уважением Иоанна Брюсова

Москва. 2 янв. 16

Помета Блока: «отв‹ечено› 7 янв‹аря›».

[1] 1 декабря 1915 г. Блок писал Брюсову: «Относительно одного стихотворения у меня есть недоумение (написано на полях рукописи). Павел Никитич далеко, может быть, можно попросить об этом Иоанну Матвеевну» (VIII, 451). Помета Блока стоит возле перевода стихотворения «Уж солнце за вершиной гор. . .» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 77, л. 9): «В транскрипции и подстрочнике неясно указано, обрывается ли стихотвор‹ение› на четвертой строфе, или есть еще три (Ирикуун этав тынэ тун мытав. . .). Если всего семь, то прошу сообщить, — я переведу остальные три и переделаю эти четыре соответственно (если яр — относится к женщине) А. Б.». (Цит. по: Л. М. Мкртчян. Армянская поэзия и русские поэты XIX—XX вв. Ереван, 1968, с. 145).

[2] См. п. 61.

[3] У И. М. Брюсовой ошибка в написании этих слов.

[4] Субстантивированное прилагательное «яр» («милый» или «милая») вне контекста в армянском языке может быть отнесено к лицу как мужского, так и женского пола, так как категория рода в армянском языке не выражена.

[5] Кроме 13 стихотворений, посланных Блоком к Брюсову 1 декабря 1915 г. (см. п. 59, прим. 2) в сборнике «Поэзия Армении» было опубликовано еще одно: «Словно молньи луч. . .» (см. п. 61). Еще 5 стихотворений А. Исаакяна: «От алой розы, розы любви. . .», «Не глядись в черный взор. . .», «Снилось мне — у соленой волны. . .», «Ночью в саду у меня. . .», «В разливе утренних лучей. . .» — были переданы Блоком в «Сборник армянской литературы», вышедший в издательстве «Парус» (1916), а стихотворение «Схороните, когда я умру. . .» — напечатано вместе со стихами «Снилось мне — у соленой волны. . .»

и «Словно молньи луч, словно гром из туч. . .» в журнале «Летопись» (1916, № 1, с. 170—171).

[6] В январе 1916 г. Брюсов читал лекции об армянской поэзии не только в Баку, но еще в Тифлисе и Ереване. По возвращении с Кавказа он выступил с лекциями о поэзии Армении в Москве и Петрограде.

61. БЛОК — И. М. БРЮСОВОЙ

7 января 1916 г. ‹Петроград›

Многоуважаемая Иоанна Матвеевна.

Спасибо Вам за письмо, а Валерию Яковлевичу за присылку денег (82 рубля). Я понял так, что этим оплачено и 14-е стихотворение («Словно молньи луч. . .»), которое Вам должен был прислать А. Н. Тихонов [1].

Еще несколько стихотворений у меня начато; если только удастся закончить, я пришлю их Вам к 14-ому января [2].

Письма от П‹авла› Н‹икитича› я не получал, так что от Вас узнал впервые, что не сделал ошибки, чему очень рад [3].

Надеюсь, что не откажете мне в экземпляре сборника.

Пожалуйста, передайте мой привет Валерию Яковлевичу.

Преданный Вам Ал. Блок

[1] Александр Николаевич *Тихонов* (Серебров — 1880—1956) — писатель, издательский работник. В 1916 г. вместе с А. М. Горьким — редактор журнала «Летопись» и издательства «Парус», где печатался в то время «Сборник армянской литературы». 22 января 1916 г. А. Н. Тихонов писал Брюсову: «Посылаю Вам перевод стих‹отворения› Исаакяна, выполненный А. Блоком. Не пригодится ли он Вам для московского сборника? Вышло так, что у нас оказалось два перевода одного и того же стих‹отворения›: — Ваш и А. Блока. Ваш перевод мы помещаем в свой сборник, а Блоковский предлагаем Вам — для московского. Должен однако предупредить, что пер‹евод› Блока появится в январской книге «Летописи», для которой он в сущности и был заказан, ранее, чем был получен Ваш перевод». В дате письма — описка А. Н. Тихонова: 1915 г. вместо 1916 г. (ГБЛ, ф. 386, 105.2, л. 4 об.).

[2] См. п. 60, прим. 5.

[3] См. п. 60, прим. 1 и 4.

62. БЛОК — БРЮСОВУ

‹Март, после 19, 1917 г. Петроград›

Март 1917. СПб. Офицерская 57.

Дорогой Валерий Яковлевич,

приехав с фронта [1], нашел у себя Ваши книги [2] с милыми надписями, сердечное спасибо Вам за память.

Ваш Ал. Блок

[1] Блок был призван в действующую армию в июле 1916 г. и возвратился в Петроград 19 марта 1917 г.

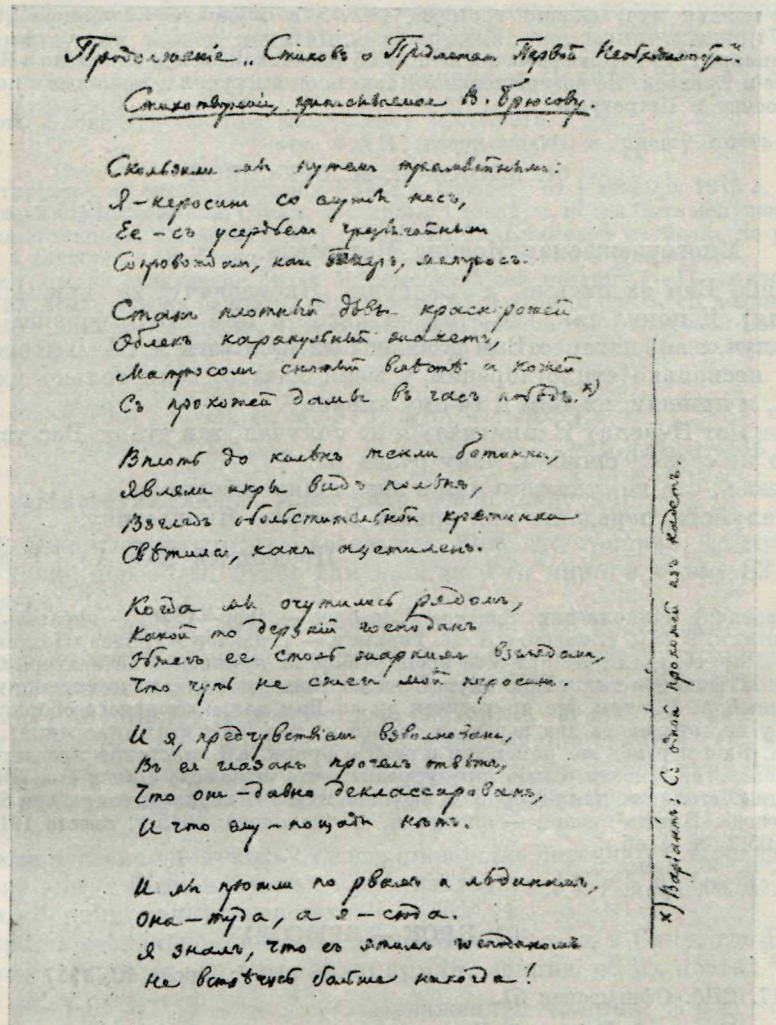
[2] В составе библиотеки Блока в ИРЛИ сохранились книги издания «Универсальной библиотеки»: О. Уайльд «Баллада Рэдингской тюрьмы» (перевод Брюсова — 1915), три книги Брюсова — «Обручение Даши» (1915), «Рея Сильвия. Элули, сын Элули» (1916), «Избранные стихи» (1916) — и «Египетские ночи» — оттиск из альманаха «Стремнины» (1916). Все дарственные надписи Брюсова на этих книгах датированы 1917 г.

63. БЛОК — БРЮСОВУ

29 июля 1919 ‹Петроград›

Многоуважаемый и дорогой Валерий Яковлевич.

А. Н. Лаврентьев [1] говорил мне, что Вы изъявили согласие присылать переводы «Эрнани» [2] по частям. Теперь Большому Драматическому Театру пора уже приступать к работе над текстом. Поэтому очень прошу Вас, если готов хотя бы первый акт, прислать его мне по адресу: Пб., Офицерская 57, кв. 21.



Продолженіе „Стиховъ о Предметахъ Первой Необходимости".

Стихотворенія, принадлежащія В. Брюсову.

Сквозь мглу пустых пространств земных:
Я — керосин со двух шагов несу,
Ее — съ усердьем грузчицким
Сопровождая, как вакханку, матроса.

Стоят плотней день ото дня рогожи
Облек карающий объемлет,
Матросом снятый ватник с кожи
Съ прохожей дамы в час победы.*)

Вплоть до колен тех ботфорт,
Являя вид полка,
Взгляд обольстительно кроткий
Светился, как огонек.

Когда мы очутились рядом,
Какой то дерзкий восторг
Обнял ее стройный взрывом,
Что чуть не сжег мой керосин.

И я, предчувствуя возможность,
В ее глазах прочел ответ,
Что он — давно деклассирован,
И что ему — плащей как.

И мы пошли по рвам и льдинам,
Она — туда, а я — сюда.
Я знал, что ей этот поединок
Не встретить больше никогда!

*) Вариант: С одной прохожей изъ кадета.

А. А. БЛОК. «ПРОДОЛЖЕНИЕ СТИХОВ О ПРЕДМЕТАХ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ».
Автограф, лист «чукоккалы»
Собрание К. И. Чуковского, Москва

Предполагаю, что перевод Ваш, исполненный и для «Всемирной литературы» [3], Вы снабжаете примечаниями, которые могли бы принести пользу и актерам. Если таковые есть, не откажите прислать и их, я передам их в полной сохранности во «Всемирную литературу».

Всегда Ваш Ал. Блок

[1] Андрей Николаевич *Лаврентьев* (1882—1935) — актер и режиссер. В 1919 г. — главный режиссер Большого драматического театра в Петрограде. Блок 24 апреля 1919 г. был назначен председателем управления этого театра.

[2] Перевод драмы В. Гюго «Эрнани» не был закончен Брюсовым, и в Большом драматическом театре спектакль «Эрнани» осуществлен не был. Автограф перевода Брюсова (отрывок, 10 л.) см. ГБЛ, ф. 386, 26.8.

[3] В 1919 г. Блок состоял членом коллегии экспертов издательства «Всемирная литература». Перевод Брюсова в печати не появился.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПИСЬМА БЛОКА К М. Ф. ЛИКИАРДОПУЛО

Михаил Федорович *Ликиардопуло* (1883—1925) — переводчик, журналист, сотрудник книгоиздательства «Скорпион», секретарь редакции журнала «Весы» (подробнее о нем см. *ЛН*, т. 85, с. 282).

Взаимоотношения Блока с ним — чисто деловые. В 1906 г. Блок печатает в издательстве «Скорпион» второй сборник стихов — «Нечаянная радость». Сохранилось три письма Блока к Ликиардопуло, и все они связаны с этим изданием. Ответные письма Ликиардопуло не сохранились.

Первое письмо Блока — от 8 апреля 1906 г. опубл. Н. Л. Степановым и И. М. Брюсовой в «Литературном современнике» (1936, № 9, с. 200) с ошибочным указанием адресата: В. Я. Брюсов, так как оно осталось в бумагах Брюсова (в настоящее время хранится в его архиве — ГБЛ, ф. 386, 77.36, л. 7). Письмо начинается обращением «Милостивый государь», без имени и отчества, что в письме Блока к Брюсову в 1906 г. было, разумеется, невозможно. Составители каталога переписки Блока справедливо указали на ошибку публикаторов этого письма и поместили его в раздел «Официальные письма», обозначив как письмо в издательство «Скорпион» (Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог. Вып. I, с. 143). Это правильно по существу, но письмо обращено все-таки к *одному* лицу, и есть все основания предполагать, что лицо это — М. Ф. Ликиардопуло, который вел в эти годы значительную часть деловой переписки издательства «Скорпион». 18 апреля 1906 г. Блок сообщал Брюсову: «М. Ф. Ликиардопуло писал мне, что скоро предполагается приступить к печатанию сборника» (п. 12 настоящей публикации). Очевидно, письмо Блока от 8 апреля и было ответом на это, не дошедшее до нас, письмо.

Письма от 1 сентября и 1 октября 1906 г. хранятся соответственно в фонде Брюсова в ГБЛ (ф. 386, 77.39) и фонде Блока в ИМЛИ (ф. 12, оп. 1, ед. хр. 39). 23 августа Блок пишет Брюсову из Шахматова о переезде в Петербург и о том, что его адрес прежний: «Петербургская сторона, Гренадерские казармы, кв. 13» (п. 16 наст. публ.), а через неделю сообщает Ликиардопуло о перемене адреса. Письмо послано не Брюсову, а Ликиардопуло, вероятно, потому, что содержит практическую просьбу — отправлять по новому адресу корректуру книги и экземпляры «Весов», а рассылкой почты занимался в «Скорпионе», очевидно, именно Ликиардопуло. Но письмо не застало адресата в Москве и было передано Брюсову. «М. Ф. Ликиардопуло уехал на несколько недель в Берлин, — сообщает Брюсов Блоку 9 сентября 1906 г. — <. . .> На днях <. . .> я доставлю Вам виньетки, исполненные В. Милиоти <. . .>, и мы надеемся, что Вы согласитесь допустить их в свою книгу» (п. 17 наст. публ.). Однако виньетки были посланы Блоку уже не Брюсовым, а вернувшимся из Берлина Ликиардопуло, и Блок высказывает одобрение работы Милиоти в письме от 1 октября 1906 г.

Таким образом, публикуемые письма Блока к Ликиардопуло и Брюсову от 1906 г. неразрывно связаны между собой и представляют единый комплекс, объединенный одной общей темой: издание сборника стихов Блока, которым в равной степени занимались оба его адресата.

Более поздних писем Блока к Ликиардопуло не сохранилось. Их, скорее всего, просто не было. В 1907—1908 гг., в период обострившихся разногласий между московскими и петербургскими символистами, Ликиардопуло занимал по отношению к петербуржцам враждебную позицию. Явившись в июле 1908 г. инициатором изгнания из «Весов» С. Городецкого (см. об этом *ЛН*, т. 85, с. 285, 513—515), он 27 августа пишет Брюсову во Францию: «Очевидно, придется выставить (или сами уйдут) еще Блока, Калошина (видимо, имеется в виду М. А. Волошин. — *Ю. Б.*) и прочую мелочь. Да и лучше, по крайней мере у нас чище будет» (ГБЛ, ф. 386, 92.22, л. 28). Брюсов, как известно, не разделял этих «крайних» настроений секретаря «Весов» — и его отношения с Блоком остались навсегда корректными и взаимно доброжелательными. Деловые же контакты Блока с «Весами» со второй половины 1908 г. прекратились.

1

‹8 апреля 1906. Петербург›

Милостивый государь.

Крайне извиняюсь перед Вами за поздний ответ: опоздать с ним меня заставила масса срочного дела.

Решаюсь остановиться на заглавии (для всего сборника моих стихов) «Нечаянная Радость» — по имени последнего отдела, наиболее важного по внутреннему смыслу.

С истинным уважением Александр Блок

8.IV 1906. СПб.

2

‹1 сентября 1906. Петербург›

Многоуважаемый Михаил Федорович.

Я переехал на другую квартиру: СПб, Петербургская Сторона, Лахтинская улица, д. № 3, кв. 44. Пожалуйста, присылайте мне туда корректуры и «Весы». Прошу Вас также передать мой новый адрес В. Я. Брюсову.

Искренне Ваш Ал. Блок

1 сент. 1906

3

[30] 1 окт. 1906. ‹Петербург›

Многоуважаемый Михаил Федорович.

Только что получил Ваше письмо — спасибо. В. Я. Брюсов писал мне, что Вы были за границей.

Все заставки Милиоти [1] нравятся мне необыкновенно, я ужасно рад, что мой сборник будет украшен ими. Если позволяете, я оставлю их у себя, а, если Вам нужно, сейчас же пришлю Вам их. Спасибо за обещание относительно корректур. Прошу Вас написать мне, если это не слишком затруднит Вас, о двух вещах: во-первых, можно ли надеяться, что сборник выйдет скоро и когда именно? [2] Во-вторых, принято ли в «Скорпионе» давать авторские экземпляры и, если принято, то в каком количестве? Ответом на эти два вопроса Вы очень обязали бы меня.

Искренне уважающий Вас Александр Блок

Не будете ли Вы в Петербурге? Если будете, пожалуйста, соберитесь к нам, будем всегда рады видеть Вас: Пет. Сторона, Лахтинская ул. 3, кв. 44.

[1] Василий Дмитриевич *Милиоти* (1875—1945) — художник, график.
[2] См. п. 10, прим. 1 наст. публ.

ПЕРЕПИСКА БЛОКА С С. А. СОКОЛОВЫМ (1903—1910)

Предисловие, публикация и комментарии К. Н. Суворовой

Сергей Алексеевич *Соколов*, псевд. С. Кречетов (1878—1936) — присяжный поверенный, поэт, издатель, напечатавший первую книгу Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (вышла в октябре 1904 г., на обложке год издания — 1905).

В 1903 г. Соколов основал издательство «Гриф». По цели — пропаганда «нового искусства» — издательство было аналогично «Скорпиону». Как и «Скорпион», оно начало издавать книги и альманахи. Но равноценным «Скорпиону» не стало: центром, объединяющим представителей «нового искусства», остался «Скорпион». Рассказывая Блоку о новом издательстве, А. Белый писал ему в ноябре 1903 г.: «Грифы» — люди (это между нами), не имеющие *столь определенного внутреннего пути*, как, например, Брюсов, Балтрушайтис и т. д.[1] Характеризуя Соколова, А. Белый отметил: «Гриф» (Соколов) может иногда смешать новое, *действительное* искусство со «style moderп‹е›» порядком-таки опошленным». (Там же, с. 65).

Альманахи «Грифа» (1903, 1904, 1905), не считая юбилейного, вышедшего в 1914 г., прекратились на третьем выпуске. Но книгоиздательство просуществовало вплоть до 1914 г., выпустив в свет ряд книг поэтов и писателей-модернистов.

Не довольствуясь деятельностью издателя, которую он совмещал с занятиями адвоката, Соколов после прекращения альманахов «Грифа» взял на себя редактирование литературной части московского журнала «Искусство» (1905, № 1 январь — № 8 август). Начиная с № 8, он был вторым редактором журнала (наряду с издателем, художником Н. Я. Тароватым). Однако на этом номере за недостатком средств журнал был закрыт. Затем Соколов сблизился с миллионером Н. П. Рябушинским, поэтом и художником-дилетантом, познакомил его с Брюсовым и принял участие в организации создававшегося Рябушинским журнала «Золотое руно» (1906, январь — 1909, декабрь). С первого номера Соколов вел в «Золотом руне» литературный отдел. Летом 1906 г., поссорившись с Рябушинским (см. п. 17, прим. 1), Соколов ушел из журнала и в конце года начал выпускать собственный журнал «Перевал» (1906, ноябрь — 1907, октябрь).

«Перевал», в отличие от эстетических программ журналов «Искусство» и «Золотое руно», объявил своей задачей «объединение свободного искусства и свободной общественности». Провозглашая девизом журнала «радикализм философский, эстетический и социальный», Соколов вместе с тем акцентировал надпартийную позицию «Перевала».

После прекращения «Перевала» Соколов заведовал литературным отделом газеты «Час», организовал Бюро провинциальной прессы. 13 апреля 1908 г. он сообщил Г. И. Чулкову: «Бюро пров‹инциальной› прессы одно время приостановилось, но теперь снова воскресло, добыв денег, под моей редакцией (без Сергея Глаголя)» [2]. Однако летом Бюро прекратило существование.

В эти годы Соколов выпустил в «Грифе» сборники И. Ф. Анненского «Кипарисовый ларец» (1910), Бальмонта «Только любовь» (1908, 2-е изд.) и «Зарево зорь» (1912), сборник стихотворений А. Белого «Урна» (1909), книгу рассказов Ф. Сологуба «Истлевающие личины» (1907), сборники И. Северянина «Громокипящий кубок» (1913) и «Златолира» (1914), сборник стихов А. Толстого «За синими реками» (1911), первую книгу стихов В. Ходасевича «Молодость» (1908) и др., а также два сборника своих стихов «Алая книга» (1907) и «Летучий голландец» (1910).

После Октября Соколов эмигрировал. В Берлине он создал русское издательство «Медный всадник».

Связь Блока с издательством «Гриф» установилась через А. Белого. В письме от 23 сентября 1903 г. Белый сообщил Блоку: «Сергей Алексеевич Соколов просил меня Вас уведомить, что ему было бы приятно получить от Вас стихи для декабрьского альма-

наха «Гриф» [3]. В ноябре 1903 г. во время приезда Соколова в Петербург состоялось личное знакомство Блока с Соколовым. Видимо, тогда же Соколов договорился с Блоком об издании сборника его стихов. (Историю издания сборника Блока «Стихи о Прекрасной Даме» см. в статье Вл. Орлова «Литературное наследство Александра Блока». — *ЛН*, т. 27—28, с. 514—516.) 1 декабря 1903 г. Блок упомянул о предполагаемом издании в письме к П. П. Перцову: «Я должен Вам признаться, что задумываюсь о сборнике своих стихов, которые согласился напечатать «Гриф», конечно, не раньше будущей осени» [4].

Однако ближе познакомившись с Соколовым, Блок составил о нем нелестное мнение. 3 марта 1904 г. Блок писал С. Соловьеву: «На днях приезжал С. А. Соколов. Вышло глупо и скверно. *Я думаю*, что он добрый человек. Но *я знаю*, что он *совсем ничего не понимает* ‹. . .›. Из долгих и бесплодных разговоров в продолжение двух дней и скитаний по совершенно ненужным местам, выяснилось, что мы совсем разных мнений» (VIII, 95). Подытоживая свои впечатления, Блок констатировал: «Но, в конце концов, у меня чувства следующие: 1) «Гриф» выпустил два альманаха, Бальмонта и Уайльда. Все издано более или менее скверно. 2) Редактор ничего не понимает. 3) «Скорпион» сделал бы все это гораздо лучше. 4) «Гриф» не имеет никакой реальной почвы под ногами. 5) Я попал в грязную историю, и мне ужасно не хочется печатать сборник в «Грифе». 6) Самое ужасное: «Грифы». . . — очень хорошие люди и искренно не понимают и не видят, что им гораздо лучше не издавать ничего. 7) Мало того — «Гриф» — *положительная* подделка и большой грех против искусства по отношению к людям (публике): публика не различает дурного от хорошего и будет ругать без разбора «Гриф» и «не Гриф» (Там же, с. 95—96).

При таком отношении к деятельности «Грифа» Блок не без больших колебаний решился издать в нем свою первую книгу, изданием которой, впрочем, остался доволен (см. об этом А. Блок и А. Белый. Переписка, с. 83, 86—87, 89—90 и п. 12).

Поэтическое творчество Соколова Блок ценил невысоко. Еще зная его отдельные стихотворения, Блок заметил: «Сергей Кречетов вполне бездарен» (VIII, 96). Позднее эта оценка по существу не изменилась. О первом сборнике стихов Соколова «Алая книга» (1907) Блок высказался в статье «О лирике» и охарактеризовал его вполне определенно: «. . .почти сплошная риторика» (V, 158). Более снисходительно он отнесся ко второму сборнику Соколова «Летучий голландец», вышедшему в конце 1909 г. (на обложке год издания — 1910). В рецензии на этот сборник Блок писал: «. . . вторая книга его стихов и по строгости выбора и по форме значительно превосходит первую. Здесь С. Кречетов уже не только искусно подражает, он порою преломляет по-своему напев и размеры других поэтов» (V, 653). Однако отдавая Соколову должное, Блок отметил: «Несмотря на то, что С. Кречетов не нашел своего, ему одному принадлежащего, мира, надо признать, что он любит мир поэзии вообще, и любит его по-настоящему, заветной любовью. Если он не поэт, то у него есть заветное в искусстве. . .» (Там же, с. 653).

Письма Блока к Соколову хранятся в ЦГАЛИ, ф. 1430, оп. 1, ед. хр. 5 (2 письма 1903 г. и записка б. д.) и в ГБЛ, ф. 499. 1.7 (2 письма 1906 г.). Письма Соколова к Блоку хранятся в ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 65 (25 писем 1903—1913 гг.).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 64.
[2] ГБЛ, ф. 371.4.2., л. 19.
[3] «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 51.
[4] П. Перцов. Ранний Блок. М., «Костры», 1922, с. 35.

1. БЛОК — СОКОЛОВУ

‹1 октября 1903. Петербург.›

Милостивый государь Сергей Алексеевич.

Пользуясь Вашим предложением, которое передал мне Борис Николаевич Бугаев [1], посылаю Вам для выбора 15 стихотворений в декабрьский альманах «Гриф». Если найдете возможным, сохраните и при выборе тот самый порядок, который я обозначил нумерацией. Мне хотелось бы дать гамму разнородных предчувствий (1—6), слившуюся в холодный личный ужас (7—13), разрешенную *лишь вполовину* предгрозовой духотой (14) и *вполне* —

на рассвете, в отзвуках, в отблесках уходящих туч (15). Потому, между прочим, мне бы очень хотелось видеть в «Грифе» последнее стихотворение (15-ое), относительно же остальных очень прошу Вас известить меня, — какие Вы найдете возможным напечатать [2].

Готовый к услугам Вашим Александр Блок

1 октября 1903. С.Петербург.
Мой адрес:
С.Петербург, Петербургская Сторона, Казармы Гренадерского полка, кв. 13

[1] В письме от 23 сентября 1903 г. См. предисловие.

[2] В альманахе «Гриф» (М., 1904) были напечатаны следующие стихотворения Блока: 1. «В полночь глухую рожденная. . .», 2. «Ты отходишь в сумрак алый. . .», 3. «Ночью сумрачной и дикой. . .», 4. «Одинокий, к тебе прихожу. . .», 5. «Сны раздумий небывалых. . .», 6. «Я просыпался и всходил. . .», 7. «Там — в улице стоял какой-то дом. . .», 8. «По городу бегал черный человек. . .», 9. «Дома растут, как желанья. . .», 10. «Сбежал с горы и замер в чаще. . .», 11. «Свет в окошке шатался. . .», 12. «Я был весь в пестрых лоскутьях. . .», 13. «Мне страшно с тобою встречаться. . .», 14. «День был нежно-серый, серый, как тоска. . .», 15. «Вот они — белые звуки. . .», 16. «Темная, бледно-зеленая. . .».

2. СОКОЛОВ — БЛОКУ

3 нояб‹ря› ‹1›903. ‹Москва›.

Милостивый государь!

Чрезвычайно благодарен Вам за присланные Вами стихотворения, которые будут напечатаны во II Альманахе «Гриф», вероятно, все, или во всяком случае не менее 12 — с соблюдением указанного Вами порядка. Альманах по разным обстоятельствам выйдет в свет не в декабре, а в январе. Гонорар будет выслан по напечатании.

Идя навстречу одной возможности, я считаю долгом сообщить Вам следующее: «Скорпион», недовольный развивающейся деятельностью «Грифа», намерен потребовать от всех своих сотрудников, чтобы они воздержались от участия в «Грифе» на том основании, что «Гриф», будучи в общем аналогичен «Скорпиону» по направлению, является, по его мнению, «лишним»[1].

Какие истинные интересы и какие опасения просвечивают сквозь такую аргументацию и что общего имеют они с служением литературе, предоставляю судить Вам самому. Мне думается, что с точки зрения строгого принципа на этот счет не может быть двух мнений. Совершенно ясно, что если люди преданы известному идейному течению, то, чем больше способов его развития, чем больше русл, через которые оно вливается в жизнь, тем это желаннее для сторонников движения.

Как бы то ни было, более, чем вероятно, что в скором времени Вы получите ультиматум в том смысле, что все, печатающие свои вещи в «Грифе», не будут приняты в «Северные цветы» [2].

Как отнестись к этому, — дело Вашей совести, но я хочу думать, что Вы отнесетесь так, как только и может отнестись человек, которому дорога его внутренняя свобода.

С глубоким уважением С. Соколов

Считаю нужным заметить, что точку зрения «Скорпиона» разделяют далеко не все его сотрудники. С ней, например, вполне не согласен К. Д. Бальмонт, стоящий очень близко к «Грифу» и являющийся его внутренним руководителем. Есть и другие.

[1] Параллельная деятельность нового издательства, копирующего «Скорпион», ослабляла, по мнению редакции «Скорпиона», его лидерство в символистском движении, мешала «Скорпиону» сохранять свою индивидуальность. Публикацию в альманахе «Грифа», наряду с произведениями настоящих символистов, произведений эпигонских, вроде стихотворений А. Койранского или Б. Москвина, скорпионовцы считали дискредитацией «нового искусства». В ноябре 1903 г. назрел конфликт между издательствами. «Скорпион» предложил связанным с ним писателям отказаться от участия в альманахе «Грифа»

на 1904 г. Было объявлено также, что участники «Грифа» не будут приняты в альманах «Скорпиона» «Северные цветы». Этому ультиматуму ряд писателей не подчинился, его не приняли, в частности, К. Бальмонт, А. Белый, А. Ремизов и др. (О конфликте между «Скорпионом» и «Грифом» см.: «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 59, Комментарии Вл. Орлова; ЛН, т. 85, с. 272—273, с. 280). Получив письмо Соколова, Блок обратился за разъяснениями по поводу этого инцидента к А. Белому. Тот ответил ему в нескольких письмах. Считая, что еще рано «судить о том, вреден или полезен «Гриф», А. Белый не находил нужным разрывать отношения с новым издательством («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 65). В письме В. Я. Брюсову от 23 ноября 1903 г. Блок, благодаря Брюсова за приглашение сотрудничать в создающемся журнале «Весы», предупредил его о том, что «связан обещанием (относительно своих стихов) с редактором альманаха «Гриф» (VIII, 72).

[2] 26 ноября 1903 г. в письме В. Я. Брюсову о новом его сборнике «Urbi et orbi» Блок между прочим сообщил о своем отказе от участия в альманахе «Северные цветы». 3 декабря он получил ответ Брюсова: «Мне лично очень хотелось бы, чтобы Вы участвовали в «Се‹верных› цветах». Но Вы знаете о жестокой распре между «Скорпионом» и «Грифом», которая разгорелась за последний месяц. У нас в «Скорпионе» постановили (я был решительно против), что в «Сев‹ерных› цветах» не должно быть участников альманаха «Гриф». Страсти были так возбуждены, что я не нашел возможным спорить и разубеждать» (см. в наст. томе).

3. СОКОЛОВ — БЛОКУ

23 нояб‹ря› ‹1›903. ‹Москва›

Дорогой Александр Александрович!

С тех пор как я вернулся из Петербурга, мысль о Вас не раз приходила мне в течение минут, и вот я снова возвращаюсь к Вам воспоминанием [1]. Мне хочется, чтобы и Вы, читая эти строки, почувствовали, что я существую. Наша встреча, хотя и недолгая, оставила во мне глубокий след, и я чувствую, что она незабываема. Мне было бы так отрадно снова встретиться с Вами и потому я с удовольствием думаю о Рождестве. Надеюсь, Вы не переменили Ваших планов о приезде в Москву. Этого очень жаждет также Борис Николаевич, который очень расспрашивал меня — какой Вы. Но рассказать это так трудно, и едва ли мне удалось хоть сколько-нибудь осветить Ваш облик ему, как и его — Вам [2].

Вам нужно приехать в Москву: в зоне того мглистого хаоса, через который мы идем теперь нетвердыми шагами, нащупывая, как слепые, каждый шаг посохом, все, что увеличивает количество благоприятных вибраций, так ценно и нужно. И сами Вы посмотрите наших людей, завяжите новые нити. . .

Мы живем теперь обычной московской жизнью: туман, слякоть, споры «до упаду» (кажется, лишь у нас и мыслимые), рефераты, газетные помои, которые черпают, пользуясь погодой, по-видимому, прямо с улицы. Как-то Бальмонт читал в Литерат‹урном› клубе реферат об Оскаре Уайльде, после чего была ожесточенная схватка: говорили между пр. — Белый и я [3].

Наши отношения с Скорпионом по-прежн‹ему› неопределенны. Его ультиматум, как видится, ни на кого не производит должного впечатления. По крайней мере с ним решительно отказались считаться, кроме Вас — Бальмонт, Белый, Миропольский и Ремизов. На днях получил письмо от Кондратьева: обещает прислать, что есть налицо. Повоздействуйте, дабы прислал, что получше [4]. Ваши стихотворения пойдут, должно быть, все. Материал для Альманаха сбирается. К Рожд‹еству› выйдет «Саломея» с анонсом о Ваш‹ем› сборнике [5]. До свидания! Крепко жму Вашу руку. Если бы черкнули, был бы рад душой. Мой привет Вашей жене.

Ваш С. Соколов

Как уцелел Новый путь? [6]. . .

[1] С. А. Соколов был у Блока 10 ноября 1903 г., они встретились также на следующий день (ЗК, 55). 10 ноября после разговора с С. А. Соколовым Блок писал С. М. Соловьеву: «Я обещал Соколову стихи и участие в «Грифе», несмотря на Скорпионов. Завтра поеду с ним к нескольким студентам-декадентам. Соколов был ужасно любезен, показался мне простым, но очень по-редакторски ловким. Вообще сейчас, после его ухода, чувствую себя взвинченно, но не слишком тонко» (см. в наст. томе).



БЛОК

Фотография, 1907 г., Петербург

С дарственной надписью М. П. Ивановой

[2] О предполагаемом приезде в Москву Блок сообщил А. Белому в письме от 20 ноября 1903 г. Приехал Блок вместе с женой в Москву 10 января 1904 г., пробыл до 24 января. Подробно о его пребывании в Москве см. в письмах к матери («Письма к родным», I, с. 101—111) и ЗК, 59—60. В этот приезд состоялось личное знакомство Блока не только с А. Белым, но и с другими московскими символистами, близкими к редакциям «Скорпиона» и «Грифа», в том числе с К. Д. Бальмонтом, Эллисом, Н. И. Петровской.

[3] Имеется в виду выступление К. Д. Бальмонта на «вторнике» в Литературно-художественном кружке 18 ноября 1903 г., посвященное О. Уайльду. К. Бальмонт охарактеризовал творчество О. Уайльда и прочел свой перевод его «Баллады о Редингской тюрьме» («Новости дня», 1903, № 7346, 19 ноября, с. 2; «Русское слово», 1903, № 318, 20 ноября, с. 2).

[4] В альманахе «Гриф» (М., 1904) были напечатаны стихотворения А. А. Кондратьева «Бес юго-западного ветра» («На четырех крылах, зловещий и могучий. . .»), «Смерть Соломона» («Опираясь на трость, кипарисную. . .»), «Адам» («Прости, блаженный сад, роскошных грез приют!. . .») и древнегреческий миф «Иксион».

[5] В конце 1903 г. «Гриф» выпустил отдельное издание драмы О. Уайльда «Саломея» в переводе В. и Л. Андрусонов, под редакцией К. Д. Бальмонта (на титульном листе год издания — 1904). В книге было помещено объявление об изданиях «Грифа», в числе готовящихся к печати книг указывался и сборник Блока — «Александр Блок. Стихи».

[6] «Новый путь» — общественно-политический и литературный ежемесячник (СПб., 1903—1904). Редактор-издатель П. П. Перцов, затем, с № 7 1904, — Д. В. Философов. Религиозно-философское направление журнала определялось Д. С. Мережковским, З. Н. Гиппиус, В. В. Розановым, Н. Минским. В октябре 1903 г. в газетах появились сведения, что из-за малочисленности подписчиков «Новый путь» прекратит свое существование после декабрьского номера (см. например, заметку за подписью «бо» в газ. «Новости дня», 1903, № 7323, 27 октября, с. 3). В поисках средств для журнала Мережковские в октябре-ноябре 1903 г. вели не имевшие успеха переговоры с московским купцом-миллионером Хлудовым и А. С. Суворины. Затем была предпринята попытка создания особого издательского фонда, состоящего из пятидесяти паев (см. статью «Новый путь» в кн. В. Евгеньева-Максимова и Д. Максимова «Из прошлого русской журналистики». Изд-во писателей в Ленинграде, 1930).

4. БЛОК — СОКОЛОВУ

26.XI 1903. Пб.

Дорогой Сергей Алексеевич.

Я все собирался Вам написать подробно о результатах разных переговоров с «петербургскими мистиками». Простите меня, пожалуйста, что Ваше милое и ласковое письмо застало меня все еще за сборами. Дело в том, что я до сих пор не мог поймать всех. Относительно Кондратьева Вы уже знаете от него самого, а я непременно постараюсь повлиять на него согласно Вашей просьбе. Смирнова [1] я видел недолго, только на улице, он собирается прислать, кажется, рассказ, я ему сообщил все, он сочувствует. Он милый. Остальных я, кажется, упомянул Вам напрасно. Иванов [2] туг на писание, а Семенов [3], кажется, не хочет долго печататься и как-то еще вглядывается. Он какой-то опасливый, между тем как мне кажется, что не всегда возможно (и нужно) беречь *себя*, особенно, когда вокруг столько трескотни и гула позитивистов. Я глубоко сочувствую Вам, когда Вы говорите о «нетвердости» нашей поступи. Как бы ни утверждались некоторые (напр. Мережковские), я уверен, что и у них в душе некоторый грозовой излом. И тот, кто днем, перед толпой отрицателей, «во фраке», сверкающий, гремучий, язвящий — может быть ночью стонет, зарываясь в подушки. В этом смысле многого «у нас», в этом наша *любовь* и верность внутренняя — «преданность Испанской Звезде» и залог будущей гранитности наших душ [4]. «Газетные помои». . . сегодняшняя рецензия на Белого в «Нов‹ом› врем‹ени›» [5]. Становится стыдно и тошно, особенно утром, когда получается газета.

Спасибо Вам за Ваше письмо, дорогой Сергей Алексеевич, за все, что Вы там пишете. Крайне важно всем, я думаю, перемолвиться, несмотря на природное молчанье. Особенно теперь, *зимой*, в *боевое* время, когда с утра приходится надевать панцирь, отправляясь в чужой лагерь. А там не преминут часто уколоть иголочкой.

Я пишу Вам просто и несколько устало, теперь уже ночь, а вечером и сегодня и все эти дни, меня мучает Брюсов с «Urbi et orbi». По моему мнению, это что-то совсем вышедшее из пределов возможного, столь неожиданное и громадное, что трудно совладать, употребляешь какие-то *физические* усилия, чтобы преодолевать эти стихи с давно знакомого и так мало и мелко знакомого берега [6]. Ваши слова о «раздавленном ребенке» все время приходят в голову. А как думаете Вы? Я удивляюсь и кланяюсь в пояс. — Вы уехали, а на другой день море, которое Вы хотели видеть, наделало хлопот. Утром плавали в лодках под нашими окнами. Вы спрашиваете, «как уцелел «Новый Путь»? — При помощи каких-то паев, которые все, кажется, еще не обеспечены, однако хватит на первое время. Все это я слышал из вторых рук, потому что не был в ред‹акции› и у Мережковских после Вашего отъезда. До свиданья, дорогой Сергей Алексеевич. Моя жена Вам кланяется.

Любящий Вас Ал. Блок

Мне было бы очень *хорошо* получить еще Ваше письмо, милый Сергей Алексеевич!

В Москву приедем, по всей вероятности, в январе.

Об А. А. Кондратьеве см. в наст. томе переписку Блока с Кондратьевым.

[1] Александр Александрович *Смирнов* (1883—1962) — товарищ Блока по историко-филологическому факультету Петербургского университета, впоследствии литературовед, переводчик. В альманахе «Гриф» на 1904 год не участвовал.

[2] Евгений Павлович *Иванов* (1879—1942) — студент юридического факультета Петербургского университета. Ближайший друг Блока. Сотрудничал в символистских изданиях, писал для детей. В альманахе «Гриф» на 1904 год не участвовал.

[3] Леонид Дмитриевич *Семенов* (Семенов-Тянь-Шанский) (1880—1917) — товарищ Блока по историко-филологическому факультету Петербургского университета, поэт, драматург. Впоследствии оставил литературную деятельность и ушел «в народ». В альманахе «Гриф» на 1904 год не участвовал.

[4] Из стихотворения К. Д. Бальмонта «Испанский цветок»: «Жестокому чуду я верным пребуду, // Я предан испанской звезде!» Ср. также в письме Блока А. Белому от 13 октября 1903 г. об А. И. Розвадовском: «В эту минуту, как я пишу Вам запоздалые ответы, может быть, один из «нас» (не нас с Вами, а нас нескольких, «преданных Испанской Звезде») идет по австрийской дороге в священнической рясе» («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 51).

[5] Блок имеет в виду рецензию на «Северную симфонию» А. Белого, подписанную псевдонимом «Ю-н» («Новое время», 1903, № 9961, 26 ноября, с. 10). Автор рецензии указывал, что изданием «Северной симфонии» А. Белого издательство «Скорпион» «причислило его к лику тех же кривляющихся и юродствующих, которые охотно несут свои вдохновения под знамена скорпионовы». Считая «Северную симфонию» ядовитою сатирою на столпов декадентства, пародией на произведения нового искусства, рецензент утверждал: «Их шарлатанский тон, упоение своим величием, нагромождение бессмыслиц и бормотание их с таким видом, как будто они представляют некое откровение, — все это в совершенстве выдержано в пародии».

[6] О своем восхищении сборником «Urbi et orbi» Блок в этот же день писал Брюсову (VIII, 72). Оценки сборника Блоком содержатся в его письмах к А. Белому (от 20 ноября 1903 г.), А. В. Гиппиусу (от 23 февраля 1903 г.), С. М. Соловьеву (от 1—6 декабря 1903 г.), а также в двух его рецензиях (V, 532—534, 540—545).

5. СОКОЛОВ — БЛОКУ

7 дек. <1>903, <Москва>

Милый Александр Александрович!

Я молчал, но это молчание не было молчанием забвения. Наоборот, оно было исполнено возможностей. Я рад знать, что Вы существуете, хотя бы там, далеко, за сотни и сотни верст. Ибо бесконечно ценны те золотые нити, что связывают людей и не боятся верст.

Вы так правы, говоря, что нам всем необходимо перемолвиться. Трудно биться в одиночку, когда туман так густ и так сильно гуденье фабричных свистков и пар толпы, пар крови и не поднимающихся над землею мыслей застилает глаза.

Надо бряцать мечом о щит, надо призывно трубить. . . И когда рука каждого из нас встретит во мгле дружескую руку, — образуется золотая цепь и, звеня, закрутится сквозь века.

А враждебный лагерь не дремлет. Там горят костры. . . Там куют мечи. . . Оттуда летят громкие вопли ярости. . . Это терзают пленных. Те люди сильны своей злобой и своим непониманием, ибо в непонимании — обратный лик — уверенность в себе, а это сила.

У нас в Москве полоса довольно хмурая. Небо так низко нависло, не в силах оторваться от земли.

В отношениях с тем берегом штурмы сменяются беспорядочной перестрелкой. Мы дали им одно сражение в Литературном кружке, после того, как Бальмонт прочел реферат об Уайльде и его тюремную балладу [1]. Было поломано много копий. Враги были побиты, но, как всегда, побежденные газетчики на другой день, никем не опровергаемые, трубили победу на столбцах бумаги, ибо она терпит многое. На нашем берегу все, как и прежде, нет полного согласия. Скорпион продолжает упорно, хотя и бессильно, точить зубы на Грифа. В Петербург летят к Мережковским минорные

письма с просьбами повлиять и на петербургских и на московских «еретиков».

Гриф на Скорпиона не озлоблен нимало, но опечален и, пожимая плечами, идет своей дорогой.

Материал для «Альманаха» собирается весьма успешно. Будет всего, по-видимому, имен 25. Через дней 10 выходит «Саломея» Уайльда. Тотчас вышлю Вам. Там будет уже анонс о Вашей книге. Хочу постараться устроить «Саломею» в один из московских театров, хотя, чувствую, — поставить ее, как следует, не сможет ни один.

О, Новый путь! Как мог случиться с ним этот ужасный факт, что под вывеской Балтийской новеллы Ал. Дивина («Вдова») прошел рассказ Гамсуна с замененными именами героев!. .[2]

У нас с января будут скорпионовы «Весы», но чем этот орган, исключивший из программы беллетр‹истику› и стихи, будет пополняться — загадка [3].

У нас сейчас усилились мистические веяния. . . гудят, как шмели, спириты, и чувствуется наличность, хотя и подземная, теософов.

От Кондратьева [4] я получил нечто. От Смирнова нет [5].

Радуюсь, что Вы будете в Москве. С Нов‹ого› года буду и я безотлучно. До свидания, дорогой! Крепко жму Вашу руку.

Ваш душой Г р и ф

Мой сердечный привет Вашей жене. . .
Пришлите мне, лично, Ваших стихов. Очень прошу.

[1] См. п. 3, прим. 3.

[2] «Балтийские новеллы» Ал. Дивина были опубликованы в ноябрьском номере журнала «Новый путь» за 1903 г. С небольшими изменениями, под заглавием «Вдова», среди них был напечатан рассказ К. Гамсуна «Рабы любви».

[3] Журнал «Весы» (1904—1909) в 1904 г. выходил как научно-литературный и критико-библиографический ежемесячник. Приглашая Блока сотрудничать в «Весах», В. Я. Брюсов писал ему 21 ноября 1903 г.: «С января 904 года Скорпион издает ежемесячный научно-литературный журнал «Весы» (статьи, корреспонденции, рецензии — без стихов и без беллетристики)». («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 70). Беллетристический отдел был введен в «Весах» с 1906 г.

[4] См. п. 3, прим. 4.

[5] См. п. 4, прим. 1.

6. СОКОЛОВ — БЛОКУ

22 февр. 1904, ‹Москва›.

Дорогой Александр Александрович!

До сих пор не мог собраться написать Вам, как следует. Весь январь и февраль у меня такое количество разных необходимостей, властно берущих время, что поднимаясь и опускаясь в их пестром колесе, буквально не находил времени обдуматься и подвести какие-либо итоги. Я чувствую и теперь, что на моих строках лежит отблеск суеты, которая меня мучит все время и которая во время Вашего пребывания в Москве мешала мне быть с Вами часто, дружески и близко.

В этой шумливой сутолоке, в этом неугомонном бросании из одного места в другое, от шумных споров Земского Собрания к пюпитру защитника, из-за которого я пытаюсь убедить 12 сидящих передо мною людей, что укравший — не украл, а убивший — не хотел убить, — создается глубокое внутреннее утомление и больше, чем когда бы то ни было, хочется думать, что на каком-то далеком море есть остров блаженных, тихая страна, обвеянная легким дыханием ветра, с печальными кипарисами, что глядятся в зеркальные воды, с беломраморными ступенями, которые целует с ласковым шепотом море. Там хотел бы я вместе с жителями этой успокоенной страны под мерный переплеск волн, под тихую музыку Вечного вести неторопливую беседу, где взгляды говорили бы больше, чем слова.

И когда я, закрыв глаза, думаю об этом, мне завидно тем уральским раскольникам, которые еще так недавно искали Беловодское царство.

У нас в Москве над умами общества царит война, и только война. Большинство думает, что в наши дни из «литературных» произведений стоит покупать лишь прибавления газет.

Только и дышится легко в нашем тесном кружке — мы, Белый, Батюшков [1], Эллис.

Большое спасибо Вам, милый Александр Александрович, за хлопоты с грифскими делами. В этом направлении у меня к Вам еще 2 просьбы:

1. Посылаю Вам комиссионные квитанции на «Только любовь» [2]. Получите по ним, что можно. Я знаю, это скучно, но просить больше некого.

2. На днях выйдут «Горные вершины» [3]. Я опять отправлю штук 200—300 для Митюрникова, а накладную вышлю Вам, чтобы Вы, отдав ее Мит‹юрникову›, получили расписку. Пожалуйста, не сердитесь, что я Вас обременяю. Если бы я не знал, какой Вы, я, конечно, не просил бы.

Ваш душой Г р и ф

Любови Дмитриевне сердечный мой привет.

Милый Александр Александрович, пришлите: 1. Ваших стихов. 2. Вашу карточку для фотограф‹ической› группы сотрудников Грифа, каковая предполагается.

Нина [4] обоим Вам посылает приветствия.

[1] Павел Николаевич *Батюшков*, — литератор, теософ, сотрудник Румянцевского музея в Москве (с 1907 года), один из «аргонавтов»; друг А. Белого.

[2] Сборник стихотворений К. Д. Бальмонта, вышедший в издательстве «Гриф» в 1903 г. Распродавался в Петербурге, как и другие издания «Грифа», на комиссионных условиях через книжный магазин И. И. Митюрникова.

[3] Сборник статей К. Д. Бальмонта, выпущенный «Грифом» в 1904 г.

[4] Нина Ивановна *Петровская* (1884—1928) — писательница, первая жена С. А. Соколова, с 1911 г. жила за границей.

7. СОКОЛОВ — БЛОКУ

29 февраля ‹1904. Москва›

29 февр. воскр.

Дорогой Александр Александрович!

Несколько дней тому назад по распоряжению министра вн‹утренних› дел арестовано накануне выхода в свет наше последнее издание — «Горные вершины» Бальмонта. В понед‹ельник› вечером выезжаю в Петербург лично хлопотать в Главн‹ом› упр‹авлении› по делам печати. В среду вечером еду назад. Буду у Вас во вторник днем. Потому, если Вас не будет дома, оставьте сведения, когда Вы вернетесь. Буду у Вас приблизит‹ельно› 1—3 ч‹аса› [1].

Целую. Ваш душой Г р и ф

[1] Блок виделся с С. А. Соколовым 2 и 3 марта (ЗК, 60). О своем впечатлении от встреч с Соколовым Блок писал С. М. Соловьеву 8 марта 1904 г. См. предисловие.

8. СОКОЛОВ — БЛОКУ

Малаховка. Казанск. ж. д. св‹оя› дача

21 июля 1904

Дорогой Александр Александрович!

Много дней сменило друг друга с той минуты, когда на Петербургском вокзале я последний раз пожал Вашу руку и с невольным волнением следил из окна вагона, как медленно уплывала вдаль и таяла Ваша фигура и прощальным жестом взмахивала фуражкой Ваша рука. Я смотрел Вам вслед, и я сознавал ясно, что во всем том далеко раскинувшемся и завешенном сеткой дождя городе есть только один маленький островок, где для меня не звучит при встрече рог вражды, где живут близкие, дружественные люди.

Потом шло время. . . И я молчал, и Вы молчали. Почему было так, я не знаю, как не знаешь часто, почему делаешь так, а не иначе. Но мне было лишь совершенно ясно одно, что для меня это молчание не было молчанием отчужденности, порождением какого-либо внутреннего разрыва.

Я так же отчетливо, как и раньше, ощущал уходящие к Вам незримые нити. Вы были для меня в молчании таким же близким и дорогим, как и в слове. И вот я теперь пишу Вам так же просто и нестесненно, как если бы мы расстались только вчера. Я живу все лето в Малаховке, шумной дачной местности, где на меня смотрят неодобрительными глазами проходящие мимо дачные бюргеры, — в большинстве немцы и иудеи, смотрят и говорят своим тупым женам: «Этого человека надо бояться, душечка: декаденты — такой беспринципный, такой безнравственный народ».

Но я не вижу их серых фигур. Моя жизнь проходит внешне — довольно подвижно, но она — тайно-уныла. И когда я лежу ночью с открытыми глазами и слушаю, как мерно шумит по крыше дождь и шепчется о чем-то раскинувшееся кругом сосновое царство, я с острым ужасом думаю о том, как мало на свете людей с душами трепетными и отзывными, как лютни, людей, которым можно сказать все, и о том, что подавляющее большинство людей живут и умирают, как землеройки, как слепые кроты, даже не зная о Вечных тайнах, мимо которых проходят.

Будет обо мне. Что делаете Вы и как живете Вы на Вашем острове? Готовите ли Вы к печати сборник? [1] Имейте в виду, что он намечен первым осенним изданием «Грифа». 15 августа я перееду в Москву, здесь же я хотел бы иметь его в руках, а к 1/2 сентября он уже вышел бы. Судя по ходу изданий «Грифа», можно, кажется, рассчитывать на значительно большие доходы, чем мы с Вами когда-то рассчитывали [2].

Очень необходимо, чтобы Вы числах в 20-х августа приехали ко мне лично: переговорили бы о формате, об обложке, о бумаге, о размере и проч‹ем›. Мой новый моск‹овский› адрес: Угол Б. Никитской и Мерзляковского пер., д. Якунина, кв. 12.

Сборник было бы хорошо прислать теперь же, в Малаховку: я сообразился бы о размере и пр‹очем›.

Целую Вас, милый Александр Александрович, а Любовь Дмитриевну очень приветствую.

Ваш Г р и ф

[1] 25 июля 1904 г. Блок писал А. Белому: «. . . я получил письмо от С. А. Соколова, и вижу, что *должен* заняться изданием сборника в «Грифе». Не имею ни сил, ни веских причин отказаться» («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 103). В письме к матери от 2 сентября 1904 г. Блок сообщил: «Послал Соколову сборник» («Письма к родным», I, с. 128).

[2] Ориентировочный подсчет расходов и прибыли по изданию сборника «Стихи о Прекрасной Даме» см. ЗК, 55—56.

9. СОКОЛОВ — БЛОКУ

Москва, Никитские ворота.
Угол Мерзляковск. пер., д. Якунина. 12.

22 авг‹уста 1› 904

Дорогой Александр Александрович!

До сих пор не писал Вам о деталях издания, т. к. ждал Вас, полагая, что всего лучше обсудить все лично, что думаю и теперь. Приезжайте непременно. Все обдумаем. Если Ваш приезд оттянется, присылайте стихи раньше, чтобы я мог сообразиться с размером книги.

Пишу кратко, ибо очень занят, — только что переехал. Жму руку.

Ваш Г р и ф

Любовь Дмитриевну очень приветствую.

10. СОКОЛОВ — БЛОКУ

Москва, Никитск‹ие› вор‹ота›, д‹ом› Якунина. 12
26 авг‹уста 1› 904

Дорогой Александр Александрович!

Судя по Вашему письму, мое, которое я послал Вам в Шахматово, разошлось с Вами.

Присылайте стихи поскорее. Не забывайте, что придется проводить их через цензуру (менее 10 листов).

Ваши пожелания относительно формата и внешности в общем выполнимы. Жалею только, что буквы будет делать Владимиров [1], а не Дурнов [2], но... конечно, предоставляю решать Вам [3].

Думаю издавать 1000 экз‹емпляров›. . .[4] По моим расчетам, при очень хорошей бумаге (какую Вы хотите) и при не более 100 даровых экземплярах (авторских, отзывных и проч.) чистого дохода должно получиться не более 250 руб‹лей› при полной распродаже издания.

Итак, присылайте. Пишу мало. Дел по горло. Крепко жму Вашу руку. Любовь Дмитриевну приветствую.

Ваш Г р и ф

Что касается предполагаемой продажной цены книги, то думаю, что дороже рубля назначить нельзя, ибо 1) это Ваша *первая* отдельная книга. 2) Из поэтов по нашему времени только Бальмонт да, пожалуй, Брюсов могут назначать за свои сборники по 2 руб‹ля›, не рискуя, что они останутся навсегда на полках. Толпа платит за имя. Надо создать себе известность и невысокой ценой первой книги подготовить широкий круг читателей для следующей.

[1] Василий Васильевич *Владимиров* (1880—1931) — художник, участник кружка «аргонавтов», друг А. Белого; автор обложки сборника Блока «Стихи о Прекрасной Даме».

[2] Модест Александрович *Дурнов* (1868—1928) — художник, архитектор; оформлял многие издания «Грифа».

[3] Блок писал С. М. Соловьеву 21 октября 1904 г.: «Скоро пришлю тебе наконец собрание своих сочинений, боюсь, что в ультрадекадентской обложке, которую Соколов от меня утаил благоразумно; уж одну я похерил» (VIII, 111).

[4] См. п. 28.

11. СОКОЛОВ — БЛОКУ

21 сент‹ября 1› 904. ‹Москва›

Дорогой Александр Александрович!

Книгу Вашу мне удалось провести через цензуру без урезок. Сделал я это не в Москве, а в Н. Новгороде, у Метнера [1]. Теперь очень тороплюсь, т. к. Метнер в 20-х числах октября уезжает в отпуск, и до того времени надо представить ему книгу в отпечат‹анном› виде, чтобы он дал выпускной билет.

Посылаю одновременно с письмом оригинал обложки: она здесь всем (в том числе и Белому) очень нравится. Она очень выдержана и изящна; надеюсь, Вы не увидите в ней налета «ор‹на›стичности», который пугал Вас в рисунках других людей, как напр‹имер› Дурнова. Взгляните на обложку и тотчас присылайте назад: дорог каждый день.

Корректуры посылать Вам для просмотра вряд ли будет возможно: это страшно затянет издание.

В моей жизни — перемены. Моего брата (нотариуса) взяли на войну: он упросил меня на это время управлять его конторой, ergo 10—5 ч‹асов› — будет сплошная работа. Разумеется, на интенсивности деятельности «Грифа» отразиться это никоим образом не должно.

Привет Любовь Дмитриевне.

Жму Вашу руку. Ваш Г р и ф

[1] Эмилий Карлович *Метнер* (1872—1936) — литературный и музыкальный критик (псевд. Вольфинг), руководитель символистского издательства «Мусагет» (1910—1917),



БЛОК «СНЕЖНАЯ МАСКА», СПб, «ОРЫ», 1907
Фронтиспис и титульный лист (литография с рис. Л. Бакста)
С дарственной надписью Е. П. Иванову от 11 апреля 1907 г.
Собрание Д. М. Ганьковского (пос. Ульяновка, Ленинградской обл.)

друг А. Белого. В 1904 г. служил цензором в Нижнем Новгороде. Причина проведения сборника Блока через цензуру в Нижнем Новгороде была в следующем: «. . .боялись, что московские цензора кое-что могут вычеркнуть в книге, или, что хуже всего: могут книгу отдать для просмотра духовной цензуре; чтобы спасти цельность книги, ее мы послали Э. Метнеру, почитателю Блока» (А. Б е л ы й. Воспоминания об А. А. Блоке. — «Эпопея», 1922, № 2, с. 109). Цензурное разрешение на печатание сборника Блока «Стихи о Прекрасной Даме» было получено 9 сентября 1904 г.

12. СОКОЛОВ — БЛОКУ

27 окт‹ября 1› 904. ‹Москва›

Дорогой Александр Александрович!

Ваша книга вышла [1], и одновременно с этим письмом я посылаю Митюрникову накладную на отправленные еще в чера 300 экз‹емпляров›. Я написал ему, чтоб он отдал Вам 50 экз‹емпляров›, почему будьте любезны зайти к нему и взять. Для подарков я думаю п редоставить Вам 25 экз‹емпляров›, как и себе самому. Я решительно не имею ничего против того, чтобы Вы взяли и еще 25 (почему и отдал Митюрн‹икову› предписание о 50 экз‹емплярах›), но *как совет*, сообщаю Вам, что ничто так вредно не отражается на продаже, как слишком большое количеств о подарочных книг: каждый одаренный дает почитать двадцати знакомым, и в результате круг людей, интересующихся книгой, исчерпан. Т‹ак› к‹ак› Вы впервые выступаете отдельной книгой, то думаю ее разослать во множество газет и журналов всех концов России. (В «Н‹овый› путь» послал, «Мир иск‹усства›» тоже. «Ж‹урналу› д‹ля› всех» отдайте сами) [2]. *Очень прошу прислать стихов для альманаха вскорости* [3].

Ваш Г р и ф

Привет Любови Дмитриевне.

[1] 29 октября 1904 г. Блок писал отцу: «Сегодня получил наконец свой первый сборник, который посылаю Вам. Пока не раскаиваюсь в его выходе, тем более, что «Гриф» приложил к нему большое старание и, по-моему, вкус» (VIII, 111).

[2] В «Журнале для всех» и «Мире искусства» рецензий на сборник не было.

В «Новом пути» его рецензировала З. Гиппиус (под псевдонимом «Х»). Она писала: «Книжка эта родилась точно вне временности, — вне современности, во всяком случае. Она и стара, и нова, хотя, может быть, все-таки не вечна, ибо соткана из слишком легкой паутины. Она, может быть, только отдаленный намек на ту красоту, правду и сиянье, которые должны спуститься с небес на землю и властно обвить жизнь» («Новый путь», 1904, № 12, с. 273). Отмечая, что между мистикой и религией «лежит пропасть», З. Гиппиус утверждала: «Прекрасная мистика рыцаря — безрелигиозна, безбожественна» (Там же, с. 276).

На выход первой книги Блока откликнулись также два московских модернистских журнала: в «Весах» (1904, № 11, с. 49—50) была напечатана рецензия Вяч. Иванова, в «Искусстве» (1905, № 1, с. 40) — В. Гофмана.

Характеризуя «Стихи о Прекрасной Даме», Вяч. Иванов писал: «Что ни стихотворение, — из тех, где отсветился лик Прекрасной Дамы — то мелодический вздох, полузабытая песня за холмом зеленым, — и в сладостной муке прислушивается к ней сердце, сжимаясь родною тоской <. . .>. Что за дело, что в мастере стольких безупречных стихотворений подчас обличается художник все еще не довольно «взыскательный»! На счет этой невзыскательности можно поставить порой аморфность языка, сбивчивость образа, изредка несовершенства ритмические, как и бутафорские условности медиевизма и романтизма. Высшее требование, предъявленное поэзии Верленом: «de la musique avant toute chose», — исполнено: везде мелодия или мелодический шепот».

В одной из автобиографий Блок отмечал: «Критических отзывов о моей первой книге было не много. . .» (VII, с. 433).

[3] Для альманаха «Гриф» на 1905 год. см. п. 14, прим. 1.

13. СОКОЛОВ — БЛОКУ

<Декабрь 1904—февраль 1905. Москва>

Дорогой Александр Александрович!

От всей души благодарю Вас, что Вы хлопочете по моим делам. Подумав, я решил принять предложение Митюрникова. Прилагаю квитанцию на 200 книг, высланных большой скоростью. Будьте добры до конца, — отдайте эту квитанцию Митюрникову: пусть его получит с вокзала. А с него возьмите расписку, которая удостоверяла бы, что он двести книг со скидкой 35% на комиссию получил. Возьмите у него для себя, сколько надо: пусть он скинет со счета это число экземпляров. Будьте также добры, выясните с ним, как и каким образом будет производиться у нас с ним расчет, т. е. по изв<естным> месяцам, что ли.

Целую Вас от всей души. Вы оба оставили у нас в Москве неизгладимое впечатление. Пишу мало, ибо куда-то стремлюсь!

Любовь Дмитриевну приветствую.

Любящий Вас Г р и ф

Опечатку в Ваших стихах «человечек» [1] Вы пропустили, увы, сами.

[1] Речь идет об опечатке в первой строке стихотворения «По городу бегал черный человек. . .» в сб. «Стихи о Прекрасной Даме» (М., «Гриф», 1904, с. 80).

14. СОКОЛОВ — БЛОКУ

9 марта <1>905. <Москва>

Дорогой Александр Александрович!

Вчера я послал Вам по почте 50 р., из них 20 надо рассматривать как гонорар за стихи в Альманахе [1], а 30 — в счет Вашей половины доходов с «Прекр<асной> Дамы». Пока эти доходы еще будущие, т. к., правда, книга расходится не очень быстро, и еще не окупились издержки. Но мне хотелось хотя немного быть Вам полезным в Ваших финансовых неустройствах теперь, — в тот момент, когда это Вам нужно и моя присылка придется вовремя.

Я ничуть не отчаиваюсь в судьбе книги и уверен, что со временем она двинется быстрее. Дело в том, что теперь, благодаря войне, книжное дело вообще переживает тяжелый кризис, если не считать книг, посвященных злободневности. Но я думаю, когда минет военная непогода, люди вспомнят, что, кроме шимоз, есть еще на свете красота и, кроме зловещей Беллоны, одетой багряным заревом, есть «Прекрасная Дама», для кого горят тихие свечи и чьи рыцари не кровавят мечей кровью убитых в бою.

Вы правы, — внутренняя расколотость достигла зенита. Скрылись интимные цветы в тайники затаенных переживаний, и за ними закрылись тяжелые двери. Вихрь «общих мест», элементарных истин, элементарных слов бушует над склоненными головами. Однако ж мне хочется верить в славянскую душу, ибо может ли оказаться банкротом нация, которая дала Толстого и Достоевского. . . Я надеюсь твердо, что когда пройдет бранное (не только с японцами) время, когда *элементарные* права: дышать, думать, верить и говорить — будут завоеваны, начнется опять углубление внутрь, — быть может, с еще большей силой. Мы это увидим.

Ваш Гриф

Т. к. в этом альманахе *по общему правилу* гонорары не платились, очень прошу не проговориться об *данном исключении* перед Кондратьевым и Смирновым.[2]

[1] В альманахе «Гриф» (М., 1905) было напечатано пять стихотворений Блока под общим названием «Город»: 1. «Взморье» («Сонный вздох онемелой волны. . .»); 2. «Фабрика» («В соседнем доме окна жолты. . .»), 3. «Статуя» («Лошадь влекли под уздцы на чугунный. . .»); 4. «Вечер» («В высь изверженные дымы. . .»); 5. «Гимн» («В пыльный город небесный кузнец прикатил. . .»).

[2] В альманахе «Гриф» (М., 1905) А. А. Кондратьев напечатал отрывок из мифологического романа и стихотворения «Фразиллид» («На берегу вздыхающего моря. . .»), «Черная птица» («В виноградниках племени Дана. . .»), «Хеабани» («О, Аруру, я чадо Твое. . .»), «Дики ущелья пустынные. . .»; А. А. Смирнов — стихотворения «Солнечный герой» («Мчится в вихре колесница. . .»), «Мелисанда» («Мелисанда! Мелисанда! Долго я блуждал по свету. . .»), «Принц Иуда» («В моих жилах течет кровь библейских Пророков. . .»), «Власть имущий» («Искуситель, черный Мара. . .»), «Завод» («Взгляни: укрыт узорными тенями. . .»), «Городок» («Залиты лучами зимними. . .»).

15. СОКОЛОВ — БЛОКУ

France. Calvados. Bénérville.
Chateau de A. Homuakoff

31 июля <1>905. Бенервиль.

Дорогой Александр Александрович!

Когда еще в России я получил Ваше письмо о Вашем согласии участвовать в «Искусстве», мне не пришлось ответить на него среди всевозможных хлопот, — и предотъездных, и по «Искусству» [1].

Теперь в открытом окне я вижу, как в раме, матово-изумрудную ширь Океана, и ветер приносит с собой соленую влажную свежесть.

У меня есть время думать и писать.

Сперва отвечу на интересующие Вас вопросы. Гонорар «Искусство» *Вам* во всяком случае платить будет. Вообще оно богато не слишком и охотно будет принимать труд тех, которые *могут* работать gratis, но тем, кому нужно, платить оно будет.

Беллетристического отдела пока там нет.

Адресую к Вам, дорогой Александр Александрович, следующее предложение: напишите приличных размеров рецензию об новой книге Минского «Религия будущего» (ряд философских диалогов по теории меонизма и по вопросам мистического познания). Думаю, что написать это должны именно Вы, т. к. по верху Вы не скользнете и дадите оценку, по глубине достойную этой интереснейшей книги.

Хорошо бы, чтоб Ваша статья пошла в августовском №. Для этого надо прислать ее *не позднее* 23 августа, иначе пойдет лишь в сентябрьском [2].

Очень надеюсь поставить «Искусство» в литературном смысле на должную высоту. Обещали мне *деятельное* участие: Мережковские, Бальмонт, Белый и Минский.

В конце августа, в начале сентября рассчитываю быть в Петербурге лично; надеюсь, — увидимся.

В Москву вернусь августа 16.

Ваш Сергей Соколов

Любови Дмитриевне привет.

[1] «Искусство» — художественный и художественно-критический журнал, издававшийся в Москве художником Н. Я. Тароватым (1905, № 1, январь — № 8, август). В недатированном письме (получено Блоком 20 июня 1905 г.) А. Белый писал: «Дорогой Саша, изловивший меня С. А. Соколов просил Тебе передать, что он вступает в редактирование журналом «*Искусство*» и просит Твоего благосклонного сотрудничества. При этом он «*бахвалялется*» изгнать гофманов и пр‹очую› К° из журнала и вообще сокрушить «*Болвана Тьмутараканского*» в виде дешевого декадентства. Показывал мне список сотрудников. Вообще же по-моему ввиду прекращения «Мира искусства» и на том основании, что «*Искусство*» теперь единственный худ‹ожественный› журнал (кроме «Весов») в России, *стоит* от времени до времени поддерживать его. («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 135). В письме к Е. П. Иванову от 19 августа 1905 г. Блок, опасаясь, что не сможет участвовать в журнале «Вопросы жизни», заметил: «Это беспокойно относит‹ельно› денег, потому что единственный теперь для меня источник «Искусство», пожалуй, будет платить мало» («Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову», с. 42).

[2] Рецензия Блока на книгу Н. Минского «Религия будущего» (V, 593—598) была закончена 19 августа 1905 г. (см. «Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову», с. 42) и появилась в № 8 «Искусства».

16. СОКОЛОВ — БЛОКУ

7 февр‹аля 1›906. ‹Москва›.

Дорогой Александр Александрович!

Статью о Леконте возвращаю [1]. Дело в том, что наши задачи выяснились определенно в форме сжатого отражения для Европы *русской* культуры. Поэтому, напр., мы будем касаться иностр‹анных› книг в смысле подробного их разбора лишь постольку, поскольку они переведены на русский язык и, следственно, влились струею в русскую культуру.

1 № Вам уже выслан, как и гонорар (руб. 70), который теперь Вы уже, вероятно, получили [2].

По поводу стихов надо сказать, что мы более склоняемся к отдельным стихотворениям, чем к циклам (разве только очень небольшие). Дело в том, что мы в стихотв‹орном› отделе принуждены вообще очень сжиматься, т. к. стихи не переводятся и так‹им› образом являются некоторым нарушением наших обязательств перед французскими подписчиками, с другой же стороны количество стихотворного материала, находящегося в распоряжении «Руна»,— громадно [3].

О статье «Мир с нами» должен сказать заранее, хотя и с печалью, что она не может пойти в «Руне», как в органе, посвященном чистому искусству. Современность общественная долетает к нам лишь в отделе хроники, где она — неизбежна при изображении тех воздействий, которые жизнь оказывает на искусство.

Потому статьи нам желательны или художественного или литературного свойства, и притом — небольшие, дабы иметь возможность представить писателей, участвующих в «Руне», в возможной полноте. Желательны статьи в 5—6—7 страниц.

Имеется в виду развить беллетристику.

Ах, Александр Александрович, почему Вы не пишете рассказов? Я уверен глубоко, что художественная проза была бы у Вас великолепна.

Шлю привет Вам и Любови Дмитриевне.

Не черкнете ли нечто о петербургских делах. До нас долетают слухи о новых журналах — «Прометей», «Меч» [4]. . . Что это за вещи?. . .

Ваш Сергей Соколов

[1] Статья Блока «Sebastien Charles Leconte. Le sang de meduse» (V, 611—614) была напечатана в литературном приложении № 16 к газ. «Слово», 12 июня 1906 г., которое редактировал П. П. Перцов. Блок писал отцу 25 апреля 1906 г.: «Из газет я теперь имею постоянные отношения со «Словом», где мои стихи и рецензии помещаются почти в каждом «понедельнике». («Письма к родным», I, с. 154).

[2] Имеется в виду № 1 журнала «Золотое руно» за 1906 г., в котором были напечатаны стихотворение Блока «Влюбленность» («Королевна жила на высокой горе. . .»), его статья «Краски и слова» и две рецензии «Валерий Брюсов. ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Венок» и «А. Л. Миропольский. Ведьма. Лествица».

[3] Первые номера журнала «Золотое руно» (№ 1—6 за 1906 г.) содержали параллельный русскому французский текст. В отношении стихотворений это правило соблюдалось не всегда. В № 1 (1906) редакция уведомляла подписчиков журнала, что «французские переводы помещаемых в журнале стихотворений будут даваться ею лишь в тех случаях, когда они вполне удовлетворяют всем требованиям точной передачи содержания, художественности формы и непогрешимости версификации». С № 7 (1906) французский текст был отменен, о чем было объявлено редакцией в № 6 «Золотого руна» за 1906 год.

[4] В № 2 «Золотого руна» за 1906 г. в разделе «Вести отовсюду» сообщалось: «В Петербурге возникает новый религиозно-общественный, философский и литературный журнал «Меч» при близком участии гг. Мережковского и Бердяева. Говорят также об основании нового журнала «Прометей», затеваемого кружком зеленой молодежи без всякой определенной литературной физиономии» (с. 120). «Прометей» — еженедельный литературно-художественный журнал (редактор А. П. Каменский) начал выходить в Петербурге в марте 1906 г., закончил свое существование на № 2.

Журнал «Меч» не был создан.

Летом 1906 г. В. Я. Брюсов вел переговоры о слиянии предполагаемой редакции журнала «Меч» с редакцией «Весов»: «Нам не довольно того, что в «Весах» будет печататься большее число статей Д‹митрия› С‹ергеевича›, Ваших, Д‹митрия› В‹ладимировича› и Бердяева: мы мечтаем на самом деле, чтобы этот «меч» мог естественно вплестись в эмблему «Весов»» (Черновик письма В. Я. Брюсова к З. Н. Гиппиус от 31 июля, 13 августа 1906 г. — ГБЛ, ф. 386, 70, 38, л. 2).

17. СОКОЛОВ — БЛОКУ

Малаховка, Казанск‹ая› д‹орога›. Св‹оя› д‹ача›

6 июля ‹1›906

Дорогой Александр Александрович!

Я расстался с «Руном», не будучи в состоянии переносить возмутительно самодурного отношения к делу г. Рябушинского, который воздвиг гонение на «декадентство» и желает *потребовать* от сотрудников, чтобы они писали «тургеневским» слогом.

Из прилагаемой копии письма моего к нему Вы усмотрите положение вещей [1]. Я счел нужным разослать копии этого письма всем ближайшим сотрудникам, т. к. формировал то «Руно», каким оно было до сих пор, *я*; люди шли туда, веря *мне*, и я считаю себя обязанным открыть им истинное положение вещей, чтобы вернуть и обеспечить им свободу действия и приготовку к таким неожиданностям, как появление в «Руне» Куприна и К° или, напр., Галиной [2], а также к таким сюрпризам, как получение от г. Рябушинского писем с требованием писать определенным слогом и на определенные темы (он собирается «задавать» каждому сотруднику особые темы для стихов и рассказов).

Осенью займусь серией сборников, о коей писал. Спасибо за согласие [3].

Не хотите ли принять участие в «Литературном товариществе для художеств‹енного› выполнения переводов» с русского и на русский [4]. Основатели: Эсмер Вальдор [5] (Рябушинский, прекратив франц‹узский› текст, вышвырнул его за борт, несмотря на двухлетний контракт, по коему пригласил его из Парижа, так что Вальдор вынужден обратиться к суду), Тастевен [6] и я. Привлекаем много литературных сил и для переводов, и для редактирования. Черкните о согласии, чтоб можно было внести Ваше имя в список для

анонсов и публикаций. Дело должно пойти и дать доход. «Декадентам» насчет переводов верят.

Если из «Руна» вернут «Безвременье» [7], присылайте для сборников.

Жму руку. Привет. Ваш Г р и ф

Готовится уход из «Руна» ряда сотрудников, не хотящих быть объектами «педагогических» экспериментов г. Рябушинского.

[1] В пространном письме к Н. П. Рябушинскому от 4 июля 1906 г. С. А. Соколов изложил причины своего ухода из «Золотого руна». Указывая на самодурство Рябушинского, на его стремление единолично вести литературную часть журнала при отсутствии «достаточной литературной эрудиции», Соколов упрекал Рябушинского в том, что он «авторитет знания, опыта и утонченного вкуса» подменяет «грубым авторитетом денежной силы» (ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 124, лл. 4—6).

[2] *Галина* — псевдоним Глафиры Адольфовны Эйнерлинг (1873—1942) — поэтессы.

[3] См. п. 15 прил.

[4] См. п. 18.

[5] Эсмер *Вальдор* — переводчик; заведовал переводом в стихотворном отделе журнала «Золотое руно». Им переведен на французский язык ряд стихотворений Блока, а также Вяч. Иванова, И. Бунина, Ф. Сологуба.

[6] Генрих Эдмундович *Тастевен* (ок. 1881—1915) — художественный критик, заведующий редакцией журнала «Золотое руно».

[7] Статья Блока «Безвременье» (V, 66—82) была напечатана в «Золотом руне» (1906, № 11—12).

18. СОКОЛОВ — БЛОКУ

Малаховка, М. Казанск. ж. д.
С 15 авг.: Москва, Арбат,
Б. Николопесковский пер., д. Голицына, 28

5 авг‹уста 1›906

Дорогой Александр Александрович!

Спасибо за доброе ко мне отношение и за сочувственные строки. Извиняюсь, что до сих пор не отвечал.

Рад Вашему согласию участвовать в Товариществе для переводов. Только, видимо, я не вполне ясно изобразил в прошлом письме его сущность: я вижу это из Вашего письма. «Товарищество» — не есть *книгоиздательское* дело, а *чисто переводное*: всякий издатель, директор театра, ученый и т. д. может прийти туда и заказать перевести то, что ему нужно. Я думаю, что дело пойдет, ибо на книжный рынок выбрасываются теперь потоки переводных книг, статей, брошюр и т. д., а переводится все это случайно и скверно. Надеемся сконцентрировать переводное дело в своих руках. Конечно, все делается не сразу, но думаю, что со временем участники получат приличный заработок. Плата за заказ распределяется между первоначальным переводчиком (такие всегда будут иметься наготове), учредителями (% 15) и лицом, держащим стилистическую редакцию. Действия Т-во откроет осенью.

С начала осени приступаю к выпуску серии сборников, которые послужат базой, — мостом, из которого развернется журнал, для коего деньги в должном количестве придут ко мне только в 1907 году.

В сборниках, как я писал Вам, будет представлен и политический элемент. *Не*партийный. Основа его — общее стремление человеческого духа к свободе.

Остается ненарушимым, конечно, основной принцип Свободы Творчества. И во имя этой именно свободы, рядом с произведениями, не имеющими никакого касательства к современности, будут помещаться и вещи, которые, будучи произведениями искусства, в то же время по фабуле имеют второе, особое значение для современности.

Думаю, что эти сборники, как и журнал, в который они развернутся, должны разрушить в конец еще существующее предубеждение, что за новым искусством кроется реакционерство.

Присылайте несколько стихотворений, из них часть политических (хорошо бы Ваш «Митинг» [1]). Мне хочется непременно видеть Ваши вещи в 1 же сборнике, который выйдет в сентябре.

Вы писали, что душу тянет к общественности. Не напишите ли статьи общественного характера? Строк в 300 или несколько больше, как выйдет?

Насчет денег не скажу, чтоб мы были пока очень богаты. За строку стихов могу предложить пока 25 к‹опеек›. За строку прозы — 10 коп. Последнее выходит не меньше, чем в «Руне», ибо строка сборников предположена в 45 букв и 3200 букв дает 72 руб. (в «Руне» 75 р.). Что возможно, присылайте скорее. Приступаю к формированию немедленно. Сделаю все, чтобы обеспечить сборникам широкое распространение.

Жму руку. Привет Любови Дмитриевне. Ваш Г р и ф

Из «Руна» ушло уже человек 10, в том числе Сологуб.

[1] Стихотворение «Митинг» («Он говорил умно и резко. . .»; впервые было напечатано в сборнике Блока «Нечаянная радость» (1907).

19. СОКОЛОВ — БЛОКУ

Арбат, Б. Николопесковский пер., д. Голицына, кв. 28

12 сент‹ября› 1906, ‹Москва›

Дорогой Александр Александрович!

Для меня открылась возможность начать прямо журнал, минуя промежуточную стадию сборников, о коих писал Вам.

Журнал будет называться «Перевал» и начнет выходить ежемесячно, под моей редакцией, с ноября.

Основа — объединение эстетизма и общественности. В последней части, как я писал Вам еще о сборниках, он будет радикален по общему духу, но *над*партиен и *не* злободневен (не будет даже т. н. «внутренних обозрений») [1].

Россыпей денежных нет, но дело поставлено *прилично и прочно*.

За стихи моту предложить от 40—50 коп. за строчку (в зависимости от количества стихов, которое войдет в каждый № и более детального выяснения нашего бюджета). Во всяком случае, — никогда не меньше 40 к.

За прозу — 77 руб. за лист в 32 тысячи букв. Библиография — 10 к. за строку.

Стихи получил. Спасибо. Только боюсь, не вышла бы Ваша книга раньше! [2]

Заметку о Бакунине присылайте [3]. Только просмотрите ее с той стороны, что вещь, написанная для «Слова», не всегда может подойти без малейших переделок для политич‹еской› части «Перевала», ибо «Перевал» будет хотя и достаточно отрешенным от земли, но все же радикальным.

Жму крепко Вашу руку.

В конце сентября думаю быть в Петербурге, — увидимся. Привет Любови Дмитриевне.

Помыслите о статье общественного характера.

Ваш всегда Г р и ф

«Перевал» будет изящен, но очень дешев (4 руб. — год). По количеству материала — вроде «Весов».

Налаживаю широкие пути для распространения.

Адрес его: Пречистенский бульв., угол Сивцева Вражка, д. Тарасовой, кв. 1, мне.

Редакция откроется там с 17 числа.

Объявления будут с конца сентября.

[1] «Перевал» — «журнал свободной мысли» (М., 1906, № 1 ноябрь—1907 № 12 октябрь). Редактор С. А. Соколов, издатель Вл. Линдебаум. В № 1 (1906) журнала в заметке «От ре-

дакции» была изложена программа журнала. Определяя свое отношение к политическим партиям, редакция декларировала свою надпартийную позицию: «Перевал» посвящает себя служению абсолютной свободе. Поэтому он должен быть выше партийной точки зрения. Отдел, посвященный общественности, будет чужд всякой партийной окраски. И так как всякое обсуждение наличных политических конъюнктур немыслимо без того, чтобы заранее не была постулирована та или иная политическая платформа, «Перевал» намеренно устраняет из своей программы т. н. «политическую хронику» («Перевал», 1906, № 1, с. 5).

[2] Стихотворения Блока «Корабли идут» («О, светоносные стебли морей, маяки. . .»), «Рабочие на рейде» («Окаймлен летучей пеной. . .») были напечатаны во № 2 «Перевала» за 1906 г.

[3] Статья «Михаил Александрович Бакунин» (V, 31—35) впервые напечатана в № 4 «Перевала» за 1907 г.

20. СОКОЛОВ — БЛОКУ

Москва, Пречистенский бульв., угол Сивцева Вражка, д. Тарасовой, кв. 1 редакция «Перевала»

15 сент‹ября 1› 906

Дорогой Александр Александрович!

Отправил Вам письмо, что журнал осуществлен, и через день получил Ваше, написанное, очевидно, до прибытия моего. Да, теперь «Перевал» существует, и 1 № выйдет к 1/2 ноября. Объявления начнутся с 1 октября.

Радуюсь, читая Ваши строки о «статье в форме диалога» с касанием к общественности [1].

Статейку о Сологубе беру [2].

Заметки о книге Горнфельда и о хрестоматии Тхоржевского присылайте (если только они не очень велики) [3]. О книжке Мережковского помещать не хочется — III издание [4].

Рецензию Вашу о Брюсовском переводе Верхарна помещу с огромным удовольствием. Только одно маленькое условие, — скорее просьба: как бы положительно (и притом вполне заслуженно) ни отнеслись бы Вы к достоинствам перевода, необходимо *во имя справедливости и во избежание упреков в «непотизме»* упомянуть о том, что нельзя сказать по-русски: «В веках я вы*сюсь* (шусь?) древней башней» (стр. 50), а также ветер не может говорить про листья: «плащом покрою их все, их вс*ех*» (стр. 80), ибо винительный падеж имени существительного («листья», с коим согласуется «всех») одинаков с именительным. В обоих случаях Брюсов вопреки очевидности, как я знаю, упорно настаивает на своей правоте.

Думаю, что внутренняя ценность рецензии лишь выиграет, если при самом в общем положительном отношении не будет умолчано об двух этих промахах: кому много дано, с того много и спросится [5].

Хроники у нас систематической не будет. Будут письма по отдельным интересным поводам по соглашению со мной.

Дорогой Александр Александрович! Имею к Вам *большую* просьбу: пригласите *лично* от моего имени Бердяева (Саперный, д. 10, кв. 55), и Шестова (Пушкинская, №№ «Пале—Рояль») участвовать в «Перевале». Изъясните им, что я писал Вам о его направлении. Посылаю еще для этой цели один приблизительный набросок.

Исполнением очень обяжете меня. Умоляю не отказать. О результате (или если не можете) черкните вскорости.

Жму руку. Привет. Радуюсь Вашему участию в «Перевале». Работа Вам всегда там будет.

Ваш Г р и ф

О гонораре писал в прошлом письме: в общем не хуже «Руна».

Что за человек — Горнфельд? И где он? Не пригодится ли он для «Перевала»? Если да, не пригласите ли и его?

[1] Имеется в виду диалог Блока «О любви, поэзии и государственной службе» (IV, 61—71). Напечатан впервые в журнале «Перевал», 1907, № 6.



БЛОК. КАРИКАТУРА РЕ-МИ (Н. В. РЕМИЗОВА)
«Сатирикон», 1910 № 26

[2] Статья Блока «Творчество Федора Сологуба» (V, 160—163). Напечатана впервые в журнале «Перевал», 1907, № 10.

[3] Рецензии Блока на книжку А. Г. Горнфельда «Муки слова», СПб., 1906 (СС, V, 636—637) и сборник переводов И. И. Тхоржевского из французской лирики (Собр. соч., «Изд-во писателей в Ленинграде», т. 10, с. 349—350) напечатаны впервые в журнале «Перевал», 1906, № 1.

[4] Имеется в виду книга Д. С. Мережковского «Вечные спутники. Пушкин». 3-е издание (СПб., издание М. В. Пирожкова, 1906). Рецензия Блока на эту книжку (V, 635—636) впервые напечатана в сборнике «Хризопрас» (М., «Самоцвет», 1906—1907).

[5] В предисловии к сборнику своих переводов из Э. Верхарна Брюсов разделил их на две группы. Он писал: «В переводах первого типа я жертвовал точностью — легкости изложения и красоте стиха; в переводах второго типа все принесено в жертву точному воспроизведению подлинника» (Эмиль В е р х а р н. Стихи о современности в переводе Валерия Брюсова. М., «Скорпион», 1906, с. 28). Первое стихотворение («Женщина на перекрестке»), из которого приводит цитату С. А. Соколов, Брюсов относил к первому типу своих переводов, следующее цитируемое стихотворение («Декабрь») — ко второму.

В рецензиях на сборник (V, 626—629, 633—635), напечатанных в «Золотом руне» (1906, № 7—8) и сборнике «Хризопрас» (М., «Самоцвет», 1906—1907), Блок советом С. А. Соколова не воспользовался.

21. БЛОК — СОКОЛОВУ

‹24 сентября 1906. Петербург›

Дорогой Сергей Алексеевич.

Вчера я заходил и к Шестову и к Бердяеву. Оказалось, что Шестов уехал, кажется, в Киев, так что я не мог исполнить Вашего поручения. Бердяев еще не приехал в Петербург. Приедет он, кажется, скоро, и тогда я приглашу его в «Перевал». Слышал, что он с Мережковским будет редактировать большой журнал здесь в Петербурге [1].

Диалог мой для «Перевала» почти готов, и на днях я надеюсь прислать его Вам [2]. Статью о Бакунине также скоро кончу, хочу сделать ее заметкой по поводу всех (ух) книжек, вышедших до сих пор на русском языке [3].

Обращаюсь к Вам с большой просьбой, дорогой Сергей Алексеевич. На этих днях мне страшно необходимы деньги; если для Вас не составит особенного затруднения, вышлите мне авансом, сколько возможно, в пределах от 50 до 100 рублей. Извините, что прошу заранее, за 1 1/2 месяца до выхода журнала, но, право, очень нужно.

Давно уже у меня был проект — написать статью о Л. Андрееве [4]. Писать ли мне такую статью для «Перевала»?

Если Вам понадобится еще библиография, — я готов написать.

Буду ждать Вашего ответа.

Ваш Ал. Блок

24 сентября 1906. СПб.

[1] См. п. 16, прим. 4.
[2] См. п. 20, прим. 1.
[3] См. п. 19, прим. 3.
[4] Отдельной статьи, посвященной творчеству Л. Н. Андреева (кроме мемуарной статьи 1919 г. «Памяти Леонида Андреева»), Блок не написал. Но о произведениях Л. Андреева высказывался неоднократно в ряде статей («Безвременное», «О реалистах», «О драме» и др.).

22. БЛОК — СОКОЛОВУ

5 октября 1906. <Петербург>

Дорогой Сергей Алексеевич!

Большое спасибо за 50 р., которые устроили меня с квартирой [1]. 3-его вечером я получил Вашу телеграмму и ответил Вам телеграммой же.

Бердяева еще нет в Петербурге, он обещал быть около 10-ого, но, говорят, обыкновенно опаздывает. Потому я написал ему подробное письмо по его адресу: *Ст. Люботин Харьк<ово>-Никол<аевской> ж. д., им<ение> Трушевой*, с просьбой ответить прямо Вам, или мне, согласен ли он участвовать в «Перевале». Если окажется, что письмо уже не застало его и он здесь, я сейчас же приглашу его и сообщу Вам о результате.

Адрес Шестова (Льва Исааковича Шварцмана) вот какой: *Киев. Межигорская, 8 (на Подоле)*.

Бердяеву я послал манифест «Перевала» [2], который Вы мне прислали.

Ваш. Ал. Блок

5 окт. 1906

[1] Возвратившись 24 августа 1906 г. из Шахматова в Петербург, Блок поселился отдельно от матери по адресу: Петербургская Сторона, Лахтинская ул., д. 3, кв. 44 (1 сентября он известил о своем переезде и новом адресе секретаря журнала «Весы» М. Ф. Ликиардопуло. — ГБЛ, ф. 386.77.39).
[2] Программа журнала была сформулирована в статье «От редакции» в № 1 «Перевала» (1906).

23. СОКОЛОВ — БЛОКУ

18 ноября <1>906. <Москва>

Дорогой Александр Александрович!

В последнем письме Вы говорите относительно библиографии для «Перевала». В этом направлении Вы разрешите мне усвоить такую систему, что я буду обращаться к Вам по поводу каждой отдельной рецензии. С своей стороны ничего не имею, чтобы Вы запрашивали меня о тех книгах, о коих хотелось бы написать Вам.

По поводу «письма из СПб» о нескольких театральных постановках: Ваше письмо, по непонятной причине, завалялось долго на почте, и я уже обратился с просьбой написать о Театре Коммиссаржевской к Г. И. Чулкову [1].

Чулков писал мне о Вашем желании написать о книге Зайцева. Охотно встречу Вашу рецензию. Только надо иметь в виду, что необходима именно *рецензия* (строк 150), в библиографическом отделе, т. к. отдельной *статьи* о книге Зайцева (вне библиографии) помещать не собираюсь [2].

«Перевал» выйдет 20-го.

Жму руку. Ваш Гриф

Во II № будут Ваши стихи [3].

[1] В этот же день, 18 ноября 1906 г., Соколов писал Г. И. Чулкову: «Письма Ваши (оба получил и написал Блоку о рецензии относительно книги Зайцева. А. А. Блок изъявил

желание написать «Письмо из СПб» о нескольких новых постановках Комиссаржевской, но мне очень хочется предложить это Вам (в «Перевале» есть достаточно материала от А. А. и в частности для II №), и я пустился на некую невинную хитрость: написал А. А., что его письмо задержалось на почте, и я тем временем уже направил предложение Вам. Сохраните эту маленькую тайну» (ГБЛ, ф. 371.4.2. л. 3).

В «Перевале» о театре В. Ф. Комиссаржевской была напечатана статья Блока «Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской» (1906, № 2).

[2] Речь идет о книге Б. Зайцева «Рассказы» (СПб., 1906). Блок рецензии на нее не написал. В «Перевале» (1907, № 4, с. 65—66) под псевдонимом Б. Кремнев книгу рецензировал Г. Чулков. Блок высказался о ней в статье «О реалистах» (V, 124).

[3] См. п. 19, прим. 2.

24. СОКОЛОВ — БЛОКУ

26 февр‹аля 1›907. ‹Москва›

Дорогой Александр Александрович!

24 марта в Лит‹ературно›-худож‹ественном› кружке устраивается «литературное исполнительное собрание», где писатели будут читать свои произведения.

По поручению литер‹атурной› комиссии обращаюсь к Вам с просьбой принять на этом вечере участие [1].

Кружок выдаст Вам, как и каждому из нескольких приглашаемых петербургских литераторов, 75 руб. на расходы по приезду.

В числе других приглашенных лиц могу указать: Брюсова, Бунина, Зайцева, Дымова, Ремизова, Куприна, Серафимовича и др.

Был бы очень обязан Вам, если бы Вы были любезны ответить вскорости.

В 4 № «Перевала» идет Ваш «Бакунин». 4 №, почти совсем отпечатанный, лег, благодаря локауту, объявленному синдикатом московских типографов: выйдет после масленицы.

Жму руку. Ваш С. Соколов

[1] Вечер в московском Литературно-художественном кружке состоялся 23 марта. Блок, видимо, предполагавший приехать на него (см. след. письмо), в вечере не участвовал. Сведения о вечере см. «Русские ведомости», 1907, № 67, 23 марта, с. 5.

25. СОКОЛОВ — БЛОКУ

12 марта ‹1›907. ‹Москва›

Дорогой Александр Александрович!

Вечер в кружке с Вашим участием будет не 24-го, а 23-го марта. Иначе почему-то не разрешает градоначальник. Очень прошу, пришлите названия вещей, которые Вы будете читать. Надо для программы. Если можно, вскорости.

Прибывать надо в Кружок к вечеру, в 8 ч., спросить секретаря лит‹ературной› комиссии Петра Константиновича Иванова.

Ваш С. Соколов

26. СОКОЛОВ — БЛОКУ

‹5 или 6 ноября 1907, Москва›

Тверская, Козицкий пер., д‹ом› Бахрушина, кв. 198

Дорогой Александр Александрович!

Я стал заведующим литературным отделом газеты «Час» (левая беспарт‹ийная›) [1].

Не пришлете ли стихи и нечто прозаическое, — хотя бы одну из тех «сказок», которые Вы стали писать [2].

Или статейку литературного свойства?

За стихи 40—45 к‹опеек›.

За статью —15 к‹опеек›. За худож‹ественную› прозу постараюсь 20 к‹опеек› [3].

Жму руку. Ваш С. Соколов

[1] «Час» — ежедневная политическая, общественная и литературная газета, выходившая в Москве (1907, № 1 12 августа — 1908, № 106 29 января). Редактор-издатель В. А. Беляев, затем — А. М. Подолинский.

[2] Цикл «Сказки» (1. «У моря». — «Стоит полукруг зари. . .»; 2. «Балаганчик». — «Вот открыт балаганчик. . .»; 3. «Поэт». — «Сидят у окошка с папой. . .») Блок написал в июле 1905 г. (II, 398, прим.). Два стихотворения («У моря», «Поэт») под заглавием «Из сказок» он приложил к письму А. Белому от 2 октября 1905 г. («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 150—151). Впервые стихотворения были опубликованы в сборнике «Нечаянная радость» (1907). Блок, видимо, собирался продолжать писать «сказки». В начале ноября 1907 г. В. Я. Брюсов сообщил Блоку: «В «Весах» 1908 объявляю Ваши «Сказки» и стихи без определенного заглавия» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 174, л. 20).

[3] Блок послал стихотворения «Улица, улица. . . Тени беззвучно спешащих. . .», «В темной комнате ты обесчещена. . .», «Ветер хрипит на мосту меж столбами. . .», которые были напечатаны в газ. «Час» (1907, № 51, 21 ноября, с. 2) под общим заглавием «Город».

27. СОКОЛОВ — БЛОКУ

11 дек<абря 1>910 года <Москва>

Дорогой Александр Александрович!

Очень извиняюсь, что задержался ответом на лишний день. Всю неделю лежу больной (с почками что-то), с трудом встал, чтоб написать это письмо.

Завтра отправляю Вам посылкой 14 экземпляров Вашей книги [1]. Четыре штуки оставил себе. Может быть, со временем соберу еще несколько экземпляров, застрявших у разных провинциальных представителей «Грифа».

На днях пришлю подробный отчет по изданию. Только брать с Вас за посылаемые 14 экз. не желаю. Вы знаете, милый Александр Александрович, ведь «Гриф» никогда не был для меня коммерческим строго делом, и я всегда охотно давал книги авторам для подарков и так же охотно дарил книги сам стоющим людям.

Письмо Ваше меня очень тронуло. Верьте, я не испытываю никакой обиды оттого, что Вы переходите в «Мусагет» [2], ибо понимаю душевные причины этого.

Я очень счастлив тем, что применительно к Вам «Гриф» свое дело сделал, и того обстоятельства, что он издал первую книгу Блока, у него никто не отымет, — этого сознания с меня довольно.

К Вам лично, через все разделявшие нас «химеры», я всегда питал нежные и дружественные чувства и таковым останусь неизменившим всегда.

Мне радостно сказать Вам, что как бы редко мы ни встречались, мы всегда можем открыто смотреть друг другу в глаза.

Крепко жму Вашу руку. Любовь Дмитриевну приветствую от души. Лида [3] шлет обоим сердечный привет.

Ваш Гриф

[1] В связи с подготовкой нового издания «Стихов о Прекрасной Даме» в «Мусагете» Блок должен был выкупить у Соколова оставшиеся нераспроданными экземпляры первого издания (ЛН, т. 27—28, с. 516—517).

[2] Издательство «Мусагет» возникло в Москве в 1910 г. Наряду с официальным владельцем издательства Э. К. Метнером руководящую роль в его редакции на первых порах играл А. Белый. Полемика 1910 г. о символизме выявила близость идейных позиций Блока к редакции «Мусагета». А. Белый обратился к Блоку с предложением дать стихи в альманах, выпускаемый «Мусагетом» (письмо от конца августа — начала сентября 1910 г. — «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 233). Это был первый шаг к возобновлению после более чем двухлетнего перерыва отношений между А. Белым и Блоком и к привлечению Блока в «Мусагет». В начале ноября во время приезда Блока в Москву был решен вопрос об издании в «Мусагете» собрания стихотворений Блока (там же, с. 243), которое Блок начал готовить к печати (ЗК, 173—174). 19 декабря 1910 г. Блок уведомил Э. К. Метнера о том, что первая книга собрания стихотворений подготовлена к печати и изложил план издания других своих книг в «Мусагете» («Блоковский сб.», 2, с. 389).

О взаимоотношениях Блока с издательством «Мусагет» см.: Н. А. Фрумкина и Л. С. Флейшман. А. Блок между «Мусагетом» и «Сирином» («Блоковский сб.», 2, с. 385—397).

[3] Лидия Дмитриевна *Соколова* (Рындина — 1883—1964) — драматическая актриса, вторая жена С. А. Соколова.

28. СОКОЛОВ — БЛОКУ

21 дек‹абря 1›910 ‹Москва›

Дорогой Александр Александрович!

Посылаю Вам расчет по «Стихам о Прекрасной Даме» и одновременно переводом 32 рубля. Таким образом оказывается, что Вами всего получено по книге: деньгами 130 руб. и книгами 74 экземпляра.

Это, конечно, немного, но могу Вас утешить тем, что, во-первых, книга вышла и распространялась в такие времена, когда это было делать далеко не просто, а, во-вторых, что «Гриф» не получил и того по той простой причине, что в первые годы его существования «декадентскому» издательству приходилось с таким трудом прокладывать коммерческие пути среди нерасположенного к сему течению книжного мира, что случалось то и дело, прибегая поневоле к широкой раздаче книг на комиссию, нарываться на случаи жульничества и неуплаты. Так, например, за одним лишь гнусным книжным складом некоего Самцова у меня пропало около 100 экз. Вашей книги, каковые в публике разошлись, но денег ни мне, ни Вам не принесли фактически.

Разумеется, пропажи такого рода я при расчете не учитывал, и все экземпляры числю как проданные и оплаченные.

14 экз. Вашей книги теперь Вы, конечно, получили.

Жму Вашу руку дружески и сердечно. Привет Вам от Лиды, Любови же Дмитриевне от нас обоих.

Ваш Гриф

Полный расчет по книге А. Блока
«Стихи о Прекр. Даме»

Издание — 1200 экз. цена 1 руб.

Бесплатные экз.	автору (50 + 10 + 14) = 74 экз.	
	издателю для беспл. разд.	= 74 экз.
	для отзыва разослано	= 42 экз.
	цензурных	= 10 экз.
		200 экз.

Продано 1000 экз. из них:	200 экз. (скидка 25%)	= 150 р.
	300 экз. (скидка 30%)	= 210 р.
	400 экз. (скидка 35%)	= 260 р.
	100 экз. (скидка 40%)	= 60 р.
	валовый доход	680 р.

Расходы по изданию

клише обложки	7 р. 60 к.
художнику за обл.	25 р.
типография	146 р.
бумага	97 р. 20 к.
рассылка отзывных	10 р. 18 к.
бумага обложки	5 р. 46 к.
отправка в СПБ.	4 р.
‹часть› стоим. публик.	5 р. 10 к.
Итого	300 р.

валовый доход	= 680 р.
расходы	= 300 р.
чистый доход	= 380 р.
доля автора	= 380/2 = 190 р.

Подлежит удержанию по расчету автора:

1. произведенные ему уплаты	март	905 — 30 р.
	ноябрь	905 — 28 р.
	янв.	909 — 40 р.
		98 р.

2. 5% за содержание склада — 60 р.

итого удерживается 158 р.

Причитается к уплате автору: 190
158
32 р., каковые одновременно досылаются переводом

Сергей Соколов

29. СОКОЛОВ — БЛОКУ

Москва. Тверская, Пименовский пер. 2, кв. 20
23 авг<уста 1>913

Дорогой Александр Александрович!

Решил я по поводу десятилетия «Грифа» (903—913) выпустить в ограниченном количестве юбилейных альманах [1].

Вы начинали в «Грифе», и он гордится тем, что выпустил Вашу 1 книгу. Пришлите на грифский алтарь сколько можете стихов и Вашу фотографию [2]. Участвовать в альманахе будут *только* лица, участвовавшие за десятилетие в «Грифе». Пришлите поскорее, ибо надо *выпустить* в октябре, в пределах 913 г., иначе сорвется смысл юбилейности.

Пришлю 3 экземпляра на особой бумаге. Ежели не пришлете, очень обижусь, но надеюсь, что Вам нет повода поминать «Гриф» лихом.

Лида очень приветствует Вас и Любовь Дмитриевну. Она в этом сезоне будет у московского Незлобина, но будет, наверно, и в СПб. командировках.

Дружественно жму Вашу руку. Любовь Дмитриевне привет. Буду в СПб., заверну.

Жду ответа и стихов. Ваш Гриф

[1] «Альманах «Гриф» 1903—1913» был выпущен в 1914 г. в количестве 600 (30 именных и 570 нумерованных) экземпляров.

[2] В юбилейном альманахе «Грифа» были напечатаны стихотворения Блока «Не ты ль в моих мечтах, певучая, прошла. . .», «За городом в полях весною воздух дышит. . .» под общим заглавием «Поле за Петербургом» и репродукция портрета Блока, рисованного К. А. Сомовым (1907).

ПИСЬМА А. А. КОНДРАТЬЕВА К БЛОКУ (1903—1912)

Предисловие, публикация и комментарии Р. Д. Тименчика

Среди литературных знакомств Блока Александр Алексеевич Кондратьев привлекает внимание, во-первых, тем, что знакомство это было достаточно ранним (они познакомились в университетские годы Блока, а затем встретились в студенческом кружке поэтов в начале 1902 года [1]), а во-вторых потому, что в духовной жизни Блока был кратковременный период, когда общение с этим современником было предельно значимым: «Кондратьев удивительный человек. Его рассказ о чертике и Христе — глубоко символичен. Он совершенно целен, здоров, силен инстинктивной волей; всегда в пределах гармонии, не навязывается на тайну, но таинственен и глубок. Он — страна, после него душа очищается — хорошо и ясно» (ЗК, 84).

А. А. Кондратьев родился 11 мая 1876 г. в Петербурге, окончил 8 петербургскую гимназию, где учителем и директором был И. Ф. Анненский, дружеские связи с которым продолжились и в последующие годы. Стихи опубликовал впервые в 1899 г. В 1902 г. окончил юридический факультет Санктпетербургского университета. Участвовал в студенческом «Литературно-художественном сборнике», в котором дебютировал Блок; активно выступал в университетском кружке «Изящная словесность» (членом которого был и Блок [2]), где читал доклад о «Стихах о Прекрасной Даме». Весной 1903 г. сблизился с руководителями журнала «Новый путь» [3], в последующие годы часто появлялся в поэтических салонах, особенно у Ф. Сологуба [4], но к символическим группировкам не примыкал, предпочитая им кружок «Вечера Случевского», тон в котором задавали противники «новой» поэзии. Он сравнительно широко печатался в периодике [5] и издал до революции 8 книг: «Стихотворения» (1905), перевод «Песен Билитис» Пьера Луиса (1907), «Сатиресса. Мифологический роман» (1907), «Белый козел. Мифологические рассказы» (1908), «Стихи. Кн. 2. Черная Венера» (1909), «Улыбка Ашеры. Вторая книга рассказов» (1911), «Граф А. К. Толстой. Материалы для истории жизни и творчества» (1912), «Елена. Драматический этюд из эпохи Троянской войны» (1917).

В поэзии и прозе у Кондратьева были свои тематические пристрастия — античная и древневосточная мифология. Многие его рассказы — «реставрация мифа» [6]. Отсюда и его особый интерес к противопоставлениям и отождествлениям символа Софии и ее павшего в хаос начала Ахамот в поэзии Вл. Соловьева и Блока (см. п. 3). В. Пяст писал о «чутье праэллинской культуры» в стихах Кондратьева [7]. Точнее, впрочем, стилистическую специфику его поэзии определил И. Ф. Анненский: «Александр Кондратьев (два сборника стихов) говорит, будто верит в мифы, но мы и здесь видим только миф. *Слова* своих стихов Кондратьев любит точно, — притом особые, козлоногие, сатировские слова, а то так и вообще экзотические» [8]. Этим свойством Кондратьев был эстетически близок Брюсову, который, в общем, положительно оценил «Черную Венеру» как образец «антологической поэзии» [9] и еще более высоко ставил его прозу [10].

В годы гражданской войны Кондратьев жил на хуторе под Ровно. Эта территория отошла к Польше, и он оказался отрезанным от России. «Я за границу никогда не выезжал и не виноват, что само отечество от меня эмигрировало», — писал он в 1929 г. знакомой поэтессе в Ленинград [11]. В 1930 г. в Берлине был издан его «демонологический роман» «На берегах Ярыни», а в 1936 г. в Ровно — сборник «стихотворений на мифологические темы» «Славянские боги». Сама обстановка его жизни заставила обратиться к воспоминаниям. В стихотворении 1936 г. он писал:

. . .Забыл меня здесь Аполлон,
И всеми позабыт я ныне,
Но верю: помнят про меня

Не знающие света дня
На берегах печальной Леты
Мои знакомые поэты
И ждут, молчание храня.

В эти годы он изредка выступал в печати с мемуарными очерками — выявлена пока только часть их. После второй мировой войны он жил в Югославии и Швейцарии. Умер в США 26 мая 1967 г.

Даты некоторых встреч с Кондратьевым в 1903—1904 гг. зафиксированы у Блока (ЗК, 55, 58, 60). На квартире Кондратьева в этот период Блок встречался с Л. Д. Семеновым, В. М. Верцелиусом (участником «Литературно-художественного сборника»), В. Л. Поляковым. Встречи с последним у Кондратьева Блок вспоминал в 1910 г.: «С этим печальным, строгим, насмешливым, умным и удивительно привлекательным юношей я встречался за несколько лет до его смерти у одного из наших общих литературных приятелей. Он много молчал, а когда говорил, это было (или казалось нам тогда) очень остро и метко» (V, 411). В письме к Брюсову 1917 г. Кондратьев сходным образом описывает покойного товарища: «Я вспоминаю молчаливого, как бы из камня изваянного, никогда не прибегавшего к жестам Виктора Полякова, эпиграмм которого так боялся А. А. Блок» [12]. Эпиграммы Полякова на Блока нам неизвестны, если не считать одной пародии, которую Кондратьев упомянул в статье «Литературные утраты» (подписанной его обычным в 20-е годы псевдонимом «Каппа»): «Приятие Блоком революции со всеми ее логическими последствиями отнюдь не было новостью для тех, кто знал его еще на университетской скамье. И недаром покойный Виктор Лазаревич Поляков, поэт, не лишенный злого остроумия, товарищески пародировал когда-то блоковские стихи: «Покорный ласковому взгляду, любуюсь тайной красоты, и за церковную ограду бросаю бомбу и цветы» [13].

Любопытно свидетельство Кондратьева о другом шуточном сочинении Полякова, содержавшем, видимо, самую первую поэтическую пародию на Блока: «Он написал, между прочим, длинное стихотворение-пародию, вышучивавшее всех участников выпускавшегося нами поэтического сборника. . .» [14].

В 1905—1907 гг. Кондратьев устраивал у себя поэтические вечеринки, «собирал гостей, не стесняясь различием школ и вкусов» [15]. Блок был одним из постоянных посетителей. О некоторых эпизодах, связанных с кондратьевскими вечеринками, рассказали Зоргенфрей и Пяст [16]. Об одном из таких эпизодов сообщает и Кондратьев в письме к Сологубу от 26 октября 1906 г.: «Бер читал, между прочим, переведенный им размером подлинника Гимн Кардуччи. Затем он сцепился с Блоком и спорил с ним до четырех часов. . . А как бы Вы были в данном случае кстати!» [17]. Кондратьев участвовал в заседаниях «Кружка молодых» [18]. Был он и на чтении «Короля на площади» у Блока 13 октября 1906 г.[19] К осени 1906 г. и относится блоковская запись о Кондратьеве и внимание к его творчеству — ранее Блок отозвался о его стихах как «безвкусице последнего сорта» (VIII, 96). В записи упоминается рассказ «В пещере» — повествование о евангельских событиях от лица «забитого маленького беса», изгнанного в числе легиона из тела бесноватого [20]. Тематическим резервуаром творчества Кондратьева и постоянным предметом его интересов была фольклорная демонология. Можно думать, что вокруг этих «демонологических» интересов Кондратьева во многом строилось литературное общение Блока и Кондратьева. Уже в отборе понравившихся Кондратьеву блоковских стихов (см. п. 2) видно, что его привлекали те из них, в которых можно вычитать мотивы «нéжити».

В альбом Кондратьева (ныне разрозненный) Блок вписал в 1905 г. «Болотного попика» (автограф — в собрании В. Г. Лидина), а Кондратьев в шуточном экспромте пародировал это стихотворение (II, 364). Перекликаются по мотивам с блоковским циклом «Пузыри земли» и кондратьевские «Болотные бесенята» [21]. Возможно, что и в письме 6 речь идет о том, чтобы Кондратьев написал для «Истории русской литературы», издававшейся Е. В. Аничковым, главу о народной демонологии (Блок в это время писал для того же издания статью «Поэзия заговоров и заклинаний») [22]. Этот замысел не реализован (на сходную тему в этом томе помещена статья С. Городецкого «Народные чудища»).

В начале 1907 г. Блок и Кондратьев часто встречаются — в «Кружке молодых» (например, 18 января 1907 г.[23]), у Кондратьева, на чтении «Незнакомки» и стихов из «Снежной Маски» (VIII, 173), которое Кондратьев описал в письме к С. А. Соколову [24].

Но внутреннее отчуждение от поэзии Блока осознается Кондратьевым. Хотя он и пишет Б. В. Беру: «С Блоком мы в великолепных наружных отношениях» (23 февраля 1907 г.), но в другом письме (от 17 февраля) раскрывает отношения «ненаружные»: «Получил от него маленькую новую книжку его стихов «Снежная Маска». Не читал еще пока ее, да и не знаю, когда соберусь прочесть. Судя по тому, что помню из слышанного, больно уж неудобнопонятно» [25]. Вообще, для понимания его взаимоотношений с Блоком следует напомнить данную ему Зоргенфреем характеристику: «благодушный не без лукавства» [26]. Так, в письме 12 содержится завуалированно-двусмысленная оценка сочинений Блока. Позднее он писал: «Пишущий эти строки присутствовал в свое время на первом представлении раздутого публикою «Балаганчика» и находит, что превозносить эту имеющую нечто общее с «Фантазией» Козьмы Пруткова пьесу нет никаких оснований» [27].

С осени 1907 г. их встречи становятся редкими и случайными [28]. В 1911 г. Кондратьев навестил Блока (см. п. 12 [29]). Последний раз они встретились на вечере Союза деятелей искусств 16 декабря 1917 г. Письма Кондратьева к Блоку хранятся в ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 283. В январе 1918 г. Кондратьев в последний раз выехал из Петрограда в Крым. Судьба его архива (в том числе и писем Блока к нему) неизвестна. Разрозненные листы его альбома автографов, в который вписывали стихи Блок, В. Пяст, А. Тиняков и другие поэты 1900—1910-х годов, хранятся в частных собраниях.

История взаимоотношений Кондратьева с Блоком прослеживается по изменению тона дарственных надписей Кондратьева Блоку. На первой книге Кондратьева («Стихотворения») надпись — «Дорогому Александру Александровичу — автор. 27 апр‹еля› ‹19›05 г.» На ней же выписан прозаический отрывок: «В далекой стране, утомясь полуденным зноем, подошла к окруженному скалами озеру дева Заря. «Здесь купался некогда он, смеющийся и лучезарный», — пронеслось в голове у Златокудрой. Томимая жаждой и зноем склонилась дева к черной воде, манящей в свои холодные объятия. Неподвижны были отражения утесов. На их темном фоне появилось чье-то лицо. . . Уста не прильнули к устам. С испугом отпрянула Царевна, и пустыня услышала громкий раздирающий крик: — «Это не я!»

И захохотали вокруг зловещие мрачные горы».

Этим характерным образчиком своей прозы Кондратьев как бы устанавливает связь со стилем блоковского символизма. Об этом же говорит и надпись на «Сатирессе» — «Прекрасной Даме — мохнатая сатиресса. 25 декабря 1906 г.» Последующие инскрипты: «Песни Билитис» Пьера Луиса — «Дорогому Александру Александровичу Блоку — на память о переводчике. 21 апреля 1907»; «Белый козел» — «Дорогому Александру Александровичу от автора. 2 февраля ‹19›08 г.; «Стихи. Кн. 2-я» — «Александру Александровичу Блоку от неизменно любящего автора»; «Улыбка Ашеры» — «Дорогому Александру Александровичу Блоку от издавна любящего его автора, апрель 1911 г.»; «Граф А. К. Толстой» — «Глубокоуважаемому Александру Александровичу Блоку — на добрую память — автор»; «Елена» — «Старому товарищу, дорогому Александру Александровичу Блоку — автор. 16 XII 1917) (титульные листы с инскриптами на «Сатирессе» и «Песнях Билитис» хранятся в ЦГАЛИ, в письмах Кондратьева Блоку, остальные инскрипты — на книгах Блока в ИРЛИ).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В. И. Беззубов, С. Г. Исаков. Блок — участник студенческого сборника. — «Блоковский сб.» 2, Тарту, 1972, с. 329.

[2] Там же, с. 329.

[3] А. В. Лавров. Архив П. П. Перцова. — «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1973 год». Л., «Наука», 1976, с. 43. См. воспоминания о «редакционной атмосфере» «Нового пути»: А. Кондратьев. Первая встреча с Сологубом. — «Последние известия», Ревель, 1927, № 5, 6 января.

Из его публикаций в «Новом пути» отметим цикл из трех стихотворений (1903, № 7) и рассказ «Белый козел» (1903, № 9). Некоторое время он принимал участие в корректуре этого издания и получил предложение стать секретарем редакции, но отказался. Вследствие этого произошло его расхождение с Мережковскими.

[4] Андрей Белый. Начало века. М., 1933, с. 444; В. Пяст. Встречи. М., 1929, с. 79, 110.

[5] Перечень изданий см. в его анкете 1915 г. — ЦГАЛИ, ф. 1068 (П. Я. Заволокин), оп. 1, ед. хр. 77.

[6] Подзаголовок его рассказа «Цирцея» («Русская мысль», 1916, № 2).

[7] В. П я с т. Встречи, с. 79.

[8] Иннокентий А н н е н с к и й. Книги отражений. М., «Наука», 1979, с. 377. См. также рецензию И. Ф. Анненского на «Сатиressу», в которой определена функция прозы Кондратьева в литературном процессе 1900-х годов, предвосхищающая, с одной стороны, программы «кларизма» и «адамизма», а с другой стороны — перекликающаяся с некоторыми настроениями блоковского «второго тома»: «Если вы хотите уйти хоть на время от психологии шелковых юбок, молитвенников и мертвецкой, то загляните в книгу А. А. Кондратьева — на вас пахнет смолою и морем» («Перевал», 1907, № 4, с. 62).

[9] Валерий Б р ю с о в. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 6. М., 1975, с. 343—344.

[10] ЛН, т. 85, М., 1976, с. 220, 228. В 1906—1919 гг. Кондратьев состоял в переписке с Брюсовым.

[11] ИРЛИ, ф. 43 (М. Г. Веселкова-Кильштедт), № 281.

[12] ГБЛ, ф. 386, к. 90, № 11. О книге Полякова см. в другом письме Кондратьева к Брюсову: «Она заслуживает того, чтобы быть прочитанной и отмеченной (не так, конечно, как это сделал Блок, при жизни как будто побаивавшийся Полякова и не очень любивший его)» (Там же, № 8, л. 13).

[13] «Волынское слово», Ровно, 1923, № 609. Пародируется стих. Блока «Я отрок, зажигаю свечи . . .»

[14] А. К о н д р а т ь е в. В. Л. Поляков. — «Последние известия», Ревель, 1927, № 47, 19 февраля. Попутно следует упомянуть о другом, пока не обнаруженном письменном отклике на «Литературно-художественный сборник», принадлежавшем перу А. Л. Слонимского, впоследствии видного советского пушкиноведа. В программе своих литературных воспоминаний, составленной в 1945 г., он отмечал: «Ненапечатанная рецензия (в «Историческом» вестнике») о студ. сборнике Никольского (отзыв об Ал. Блоке)» (ЦГАЛИ, ф. 2281, оп. 1, ед. хр. 47, л. 5). В этой же программе намечен пункт о В. Л. Полякове — «Мычащие пророки».

[15] В. А. З о р г е н ф р е й. Александр Александрович Блок. — «Записки мечтателей», 1922, № 6, с. 133. Там же Зоргенфрей вспоминает, что «А. А. Кондратьев, человек терпеливый, общительный и изысканно-любезный <. . .> сравнивал очертания лица Блока с профилями на древних монетах, изображающих диадохов — преемников Александра Великого» (с. 125).

[16] В. П я с т. Воспоминания о Блоке, с. 31, 41; В. П я с т. Встречи, с. 132. Ср. о вечере у Кондратьева 2 апреля 1907 г.: Сергей Ш т е й н. Воспоминания об А. Блоке. — «Последние известия», Ревель, 1921, № 203, 21 августа.

[17] ИРЛИ, ф. 289, оп. 3, ед. хр. 342, л. 4. На этот вечер (25 октября 1906) Кондратьев и Блок совместно приглашали Пяста (см. наст. том, кн. 2) и Зоргенфрея («Русская литература», 1979, № 4, с. 132).

[18] См. письмо С. Городецкого к Блоку от 6 февраля 1906; В. П я с т. Воспоминания о Блоке, с. 32; В. П я с т. Встречи, с. 78.

[19] «Письма А. Блока к Е. П. Иванову». М.—Л., 1936, с. 53. Об этом вечере (и о том, что Сологуб заснул во время чтения) см.: А. К о н д р а т ь е в. Из воспоминаний о Ф. К. Сологубе. — «Меч», Варшава, 1934; № 30, с. 3.

[20] «Перевал», 1907, № 6. Вошел в сборник «Улыбка Ашеры». Сходен по тематике и композиции рассказ Кондратьева «Последнее искушение (Рассказ духа)» — история духа тьмы, вошедшего в тело разбойника, распятого на Голгофе. Рассказ вошел в сборник «Белый козел».

[21] «Сатирикон», 1908, № 29, с. 7.

[22] О других работах, которые Блок одно время планировал сделать для Аничкова, см.: ЗК, 93; «Письма к родным», т. 1, с. 155; ЛН, т. 89, с. 208.

[23] О назначенном на этот день заседании см. письмо С. Городецкого к Пясту от 14 января 1907 (ГПБ, ф. 248, ед. хр. 109). На этом заседании Кондратьев передал Блоку книгу Б. В. Бера «Сонеты и другие стихотворения», которую Блок назвал «неумеренно банальной и ненужной» (V, 159).

[24] ГБЛ, ф. 499, к. 1, № 13.

[25] Куйбышевский литературно-мемориальный музей им. Буревестника, ф. Б. В. Бера.

[26] В. А. З о р г е н ф р е й. Александр Александрович Блок, с. 133.

[27] К а п п а. Рецензия на «Алхимию театра» С. Вермеля. — «Волынское слово», Ровно, 1923, № 583.

[28] См., например, «Письма к родным», т. II, с. 108.

[29] Ср. в письме Кондратьева к М. Г. Веселковой-Кильштедт от 3 сентября 1913 г.: «У Блока, когда он жил на Монетной, вид был прекрасный, но лишь на соседние кварталы и улицы» (ИРЛИ, ф. 43, ед. хр. 281).

1

‹17 ноября 1903, Петербург›

Дорогой Александр Александрович.

Благодарю за то, что обо мне вспомнили [1]. Страшно жалею, что не могу воспользоваться Вашим приглашением, т. к. освобождаюсь я только в шестом часу, а место моего служения находится на противоположном конце го-

рода [2]. Так что я буду просить у Вас позволения посетить Вас несколько позже, т. е. часов в 8, в 8 1/2, в 9. Что касается до «Грифа», то мне, как ничего не знающему о внутренних распрях московских модных писателей, хотелось бы с Вами предварительно поговорить и посоветоваться [3]. Завтра, т. е. во вторник, я жду к себе вечером, часам к 9, человека четыре, в числе их Полякова и Семенова [4]. Вы несказанно обрадовали бы всех нас, явясь со стихами и наглядно доказав, что Вы пишете не хуже прежнего. Ибо, должен Вам сообщить, что относительно Вас существует легенда, будто после свадьбы Вы уже не пишете [5]. Говорить о том, что Вы, может быть, придете, не буду никому.

Любящий Вас Александр К о н д р а т ь е в

NB. Если удастся, постараюсь быть у Вас в среду, если не явлюсь до 9 1/4 ч. — значит, не мог.

Кроме того, о ужас, не помню имени Вашей супруги.

Датируется по содержанию.

[1] Ср. в записной книжке Блока 16 ноября 1903 г.: «Пригласил Кондратьева на этой неделе (в среду?)» и 19 ноября: «Был Кондратьев» (ЗК, 55).

[2] Кондратьев служил в это время в юридической части управления железных дорог Министерства путей сообщения.

[3] Конфликт книгоиздательств «Гриф» и «Скорпион» (т. е. С. А. Соколова и В. Я. Брюсова) подробно обсуждался в переписке Белого и Блока в ноябре 1903 г. (Александр Б л о к и Андрей Б е л ы й. Переписка. М., 1940, с. 59—70). Блок, вставший на сторону С. А. Соколова, намеревался содействовать привлечению к «Грифу» молодых литераторов. Ср. в его шуточном стихотворении 10 ноября 1903 г.:

Завтра буду с Соколовым
На извозчике вдвоем!
Мы Семенова с Смирновым
И с Кондратьевым найдем! (I. 553).

[4] Виктор Лазаревич *Поляков* (1881—1906) — поэт; учился на юридическом факультете Санктпетербургского университета; участвовал в «Литературно-художественном сборнике» и «Альманахе» «Грифа» (1905), покончил с собой в Париже. По воспоминаниям С. В. фон-Штейна, Поляков, как и Л. Семенов и В. Верцелиус, принадлежал к «либеральной, но умеренной группе», сформировавшейся в университете в 1901 г. (С. В. Ш т е й н. Безвременно ушедшие. — «Последние известия», Ревель, 1926, № 167, 30 июля). О Полякове Кондратьев писал Брюсову в 1906 г. (ГБЛ, ф. 386, к. 90, № 5, лл. 7.8). О нем же, как и о других своих литературных друзьях (без называния имен) он писал в статье «Призраки юных» («Голос», Одесса, 1906, № 4, 17 марта). Леонид Дмитриевич *Семенов-Тянь-Шанский* (1880—1917) — поэт.

[5] Ср. в письме Блока к Белому от 20 ноября 1903 г.: «Один из петербургских поэтов пишет мне: «Про Вас ходит легенда, что Вы, женившись, перестали писать стихи. М-ме Мережковская, кажется, решила это заранее» (VIII, 69).

2

4 ноября 1904 ‹Петербург›

Дорогой Александр Александрович.

Очень благодарю Вас за присланные мне «Стихи о Прекрасной Даме» [1]. На страницах этой книги мелькает неясный, величавый и строгий образ безысходно туманной, всепроникающей Белой Жены. Вечно изменчивая, Она является то алой зарею, то павиликою среди золотой нивы, то белым речным цветком, то робким огоньком церковной свечи, то зеленою травой на могилах, то улыбающейся, розовой царевной Весной. . .

Я рад, что мог теперь сразу прочесть весь Ваш сборник. Многое из того, что мне было ранее непонятным, в настоящее время стало ясным. Особенно мне нравятся стр. 9, 19, 21, 28, 58, последняя строка на стр. 74, 103, 107, 124, и 125 страницы [2]. Если Вы случайно увидите Смирнова, будьте добры ему сказать, что к Рождеству выходит альманах Грифа (Вы, конечно, об этом знаете), и Соколов предлагает ему принять в этом издании участие [3]. Если у Вас будет время — напишите мне, пожалуйста, что такое случилось в Новом Пути. Пока я могу констатировать три факта:

1) Перцов более не редактор (носятся слухи, что он поссорился с четой Мережковских [4] 2) фамилия Розанова не выставлена в списке сотрудников 3) когда я в приемные часы (воскресенье днем) зашел к Зин. Ник. Гиппиус, она меня не приняла, ссылаясь на годовщину смерти матери [5].

Поэтому сам я решил не показываться в редакции Н. П., доколе не уясню всего, что там произошло. До свиданья! Желаю успешно справиться с сочинением [6].

Крепко жму Вашу руку

Ал. Кондратьев

P. S. Шлю мой почтительный привет Любовь Дмитриевне.

[1] См. наст. том, кн. 3.
[2] Перечислены стихотворения: «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо. . .», «Я жду призыва, ищу ответа. . .», «Я отрок, зажигаю свечи. . .», «Бегут неверные дневные тени. . .», «До утра мы в комнатах спорим. . .», «День был нежно-серый, серый, как тоска. . .», «Плачет ребенок. Под лунным серпом. . .», «Экклесиаст», «Ты у камина, склонив седины. . .», «Что с тобой — не знаю и не скрою. . .».
[3] Александр Александрович *Смирнов* (1883—1962) — поэт, литературовед. В альманахе «Гриф» (М., 1905) было помещено 6 его стихотворений.
[4] О расхождении Перцова с редакцией «Нового пути» см.: А. В. Лавров. Архив П. П. Перцова, с. 47.
[5] Мать З. Н. Гиппиус умерла 10 октября 1903 г.
[6] Кандидатское сочинение «Болотов и Новиков».

3

16 ноября 1904 <Петербург>

Дорогой Александр Александрович.

В настоящее время я вновь перечитываю Вашу книгу. Во мне возникло при этом несколько вопросов, которых без Вас не решить. Пожалуйста, напишите мне ответ, т. к. я лишился даже сна. . . I Начну с эпиграфа. В нем Вл. Соловьев говорит о дочери Темного Хаоса [1]. Я понимаю под нею Душу мира, земли, т. е. особу, прямо противоположную Софии. Как по Вашему, не писал ли он в честь обеих? «Владычица Земля, твоя краса нетленна» или «Владычица Земля, к тебе чело склонил я» совсем не похожи на «У Царицы моей есть высокий дворец». . . Будьте добры написать мне, соглашаетесь ли Вы с этим противоположением и с кем отождествляете Вы свою «Прекрасную Даму»: с Софией или Ахамофой — Изидою — Геей. II «Изменишь облик Ты» [2] — кто: София или Ахамофа? III «Вечная Жена» [3] — неужели это Женское Начало Божества, от которого открещивался Соловьев? IV «Ты ль смыкаешь, пламенея, бесконечные круги?[4]» Кто? Космическое ли это явление? V Стихи на стр. 49 посвящены как будто Изиде или Гее [5], на стр. 41 Софии или Марии.[6] Не опечатка ли маленькие буквы в словах мне и моя на стр. 63[7]; или это стихотв. посвящено той же умершей особе, о которой говорится на стр. 62 [8].

Мне очень нужно все это знать, т. к. в понедельник в Кружке Изящной Словесности доклады о Ваших стихах, и я один из референтов. Если София и Изида-Гея, по Вашему, одно и то же, пожалуйста, напишите в нескольких словах (я постараюсь догадаться), как Вы объясняете тождество или где можно прочесть. Пожалуйста, не откажите.

Преданный Вам Александр Кондратьев

Мой почтительный поклон Любовь Дмитриевне.

[1] Последняя строфа стихотворения Вл. Соловьева «На Сайме зимой».
[2] Из стихотворения Блока «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо. . .»
[3] Из стихотворения «Вхожу я в темные храмы. . .»
[4] Из стихотворения «Ты отходишь в сумрак алый. . .»
[5] Стихотворение «У забытых могил пробивалась трава. . .»

[6] Стихотворение «Я, изнуренный и премудрый. . .»
[7] На этой странице таких слов нет, возможно, имеется в виду стихотворение «Я их хранил в приделе Иоанна. . .» (с. 55).
[8] Стихотворение «Мой любимый, мой князь, мой жених. . .»

4

‹6 октября 1905 г. Петербург›

Дорогой Александр Александрович,

Очень бы хотел с Вами повидаться. Не придете ли сегодня в четверг вечерком ко мне на Галерную (д. 48, кв. 18). Будет Андрусон [1] и несколько более молодых дебютантов в литературе. Жду В. Полякова.

Искренне Вас любящий Ал. Кондратьев

P. S. Вход в ворота, третий двор, 1-ая лестница налево, 5-й этаж.

[1] Леонид Иванович *Андрусон* (1875—1930) — поэт. Блок был на этом вечере у Кондратьева (Я. Годин. Памятные встречи. — «Удмуртская правда», Ижевск, 1946).

5

‹28 сентября 1906 г. Петербург›

Дорогой Александр Александрович. В субботу 30 сентября к 8 ч. вечера ко мне обещался приехать (если позволит здоровье) слушать Сатиressу Иннокентий Анненский [1]. Мне было очень приятно, если бы Вы также были добры прослушать это капризное детище, над которым я бьюсь уже около трех лет. Если увидите Пяста или Городецкого или к Вам заедет С. А. Соколов, тащите их с собою. Мой адрес: Галерная д. 48, кв. 14. Почтительный привет Любовь Дмитриевне.

Ваш. Ал. Кондратьев

Датируется по почт. шт.

[1] На этот же вечер были приглашены Вяч. Иванов (ГБЛ, ф. Вяч. Иванова, письмо А. Кондратьева от 23 сентября 1906), Ф. Сологуб (ИРЛИ, ф. 289, оп. 3, ед. хр. 342). Ранее, 9 февраля 1906 г., Городецкий писал Пясту: «Получил от Кондратьева открытку, где он пишет, что у него сегодня соберутся Блок, Сологуб, Ремизов слушать его мифологическую повесть» (ГПБ, ф. 248, ед. хр. 109, д. 5).

6

12 ноября 1906 ‹Петербург›

Дорогой Александр Александрович,

получил Ваше заказное письмо, и от души благодарю Вас за добрые товарищеские чувства, которые Вы по отношению ко мне проявили. Думал лично поблагодарить Вас, но простудился и уже четвертый день не выхожу. Если Аничков предложит мне эту работу — конечно, возьму. Сам же просить у него эту главу я не буду. . . Шлю мой сердечный почтительный привет Любовь Дмитриевне.

Жму руку Ал. Кондратьев

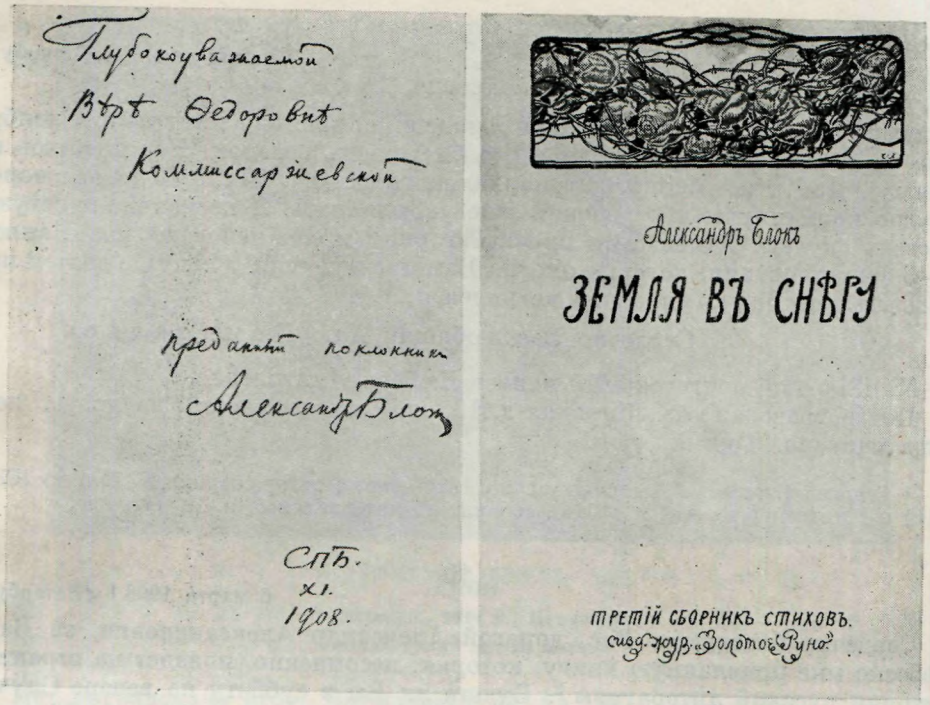
7

2 января 1907 [1] ‹Петербург›

Дорогой Александр Александрович.

Прилагаю попавшуюся мне сегодня под руки рецензию на Балаганчик и проект заявления в редакцию «Самоцвета» [2]. Если ничего не имеете против этого текста — подпишите, а затем отправьте для подписи Сологубу, прося его вернуть мне, т. к. я попытаюсь еще присоединить подписи Чулкова и Анненского, а также Ремизова и Зоргенфрея, когда они вернутся в Петербург. Я, кроме того, и сам подпишусь.

Сам Соколов по моей просьбе решил не отвечать на нападки Перевала [3], так что можно надеяться, инцидент нежелательных размеров не примет. Если кто-либо из выше упомянутых лиц будет у Вас (напр. Ремизов или Чул-



БЛОК. «ЗЕМЛЯ В СНЕГУ». СПб., «ЗОЛОТОЕ РУНО», 1908
С дарственной надписью В. Ф. Коммиссаржевской от ноября 1908
Институт мировой литературы АН СССР, Москва

ков), предложите им дать свой автограф (отнюдь не настаивая), т. к. две таких фамилии, как Ваша и Сологуба, произведут достаточное впечатление на опрометчиво неблагодарную редакцию Самоцвета. . .

Неужели Брюсов коварен? Я до сих пор думал, что его коварство плод подозрительной фантазии Соколова?

Когда я однажды разговаривал на эту тему с Чулковым, то он задумался и сказал, что в словах Соколова есть доля правды. . .

Мой почтительный привет Любовь Дмитриевне.

Жму руку Александр Кондратьев

P. S. Если что-либо из текста заявления Вам не понравится, пришлите мне Ваши поправки, не стесняясь. А. К.

[1] В подлиннике описка: «1906».
[2] См. подробнее — наст. том, кн. 3, раздел «Блок в неизданной переписке и дневниках современников».
[3] Описка: должно было быть — «Самоцвета» (или «Хризопраса») или «против «Перевала».

8

2 апреля <1907, Петербург>. Понедельник

Дорогой Александр Александрович.

Если у Вас не предстоит сегодня ничего интересного и занятного, то не соберетесь ли ко мне вечерком? Если успеете получить письмо, приходите пораньше. Будут 2—3—4 человека [1].

Вас любящий Ал. Кондратьев

[1] Об этом вечере см. в дневнике М. Кузмина (наст. том, кн. 2) и в письме Кондратьева к Б. В. Беру (наст. том, кн. 3, раздел «Блок в неизданной переписке и дневниках современников»).

9

8 ноября 1907 ‹Петербург›

Дорогой Александр Александрович,

целую вечность Вас не видел. Если Вы ничем не заняты в пятн‹ицу› 9 ноября, мне было бы очень приятно Вас у себя увидеть вечером. Постарайтесь пораньше. Дом, где я живу, патриархального склада. После 10 часов в ворота трудно проникнуть, ибо дворник уже уходит спать. Я несколько простужен и очень скучаю. Хотел быть князь Гагарин [1] и еще человека два. Написал 2—3 стихотворения, которые охотно Вам прочту, если у меня не совсем пропадет голос. Давно ни с кем не виделся.

Сердечно Вас любящий Ал. Кондратьев

№ Шлю мой почтительный привет Любовь Дмитриевне.

Пет‹роградская› ст. Широкая д. 10, кв. 8, вход в ворота, на дворе, лестница направо. Третий этаж.

[1] Георгий Сергеевич *Гагарин* (ум. в 1915) — поэт, автор сборников «Стихи» (СПб., 1908) и «Стихотворения» (Пг., 1914), собиратель материалов о Ф. И. Тютчеве.

10

6 марта 1908 [1] ‹Петербург›

Сердечно благодарю Вас, дорогой Александр Александрович, за Вашу любезно мне присланную книгу, которая, несомненно, попадет на страницы Истории русской литературы [2]. Будете ли Вы в субботу на вечере Случевского (у М. Г. Кильштедт) [3] П‹етроградская› С‹торона› Церковная 23, кв. 3. Вы ведь давно уже состоите там членом и не бываете [4]. Посылает ли Вам Ф. Ф. Фидлер повестки?

Ал. Кондратьев

[1] В автографе описка: «6 февраля».

[2] Возможно, «Лирические драмы».

[3] Мария Григорьевна *Веселкова-Кильштедт* (1861 — середина 1930-х годов) — поэтесса.

[4] Блок был заочно выбран в члены кружка «Вечера К. К. Случевского» одновременно с Кондратьевым — 18 февраля 1906 г. (ЦГАЛИ, ф. 518, оп. 1, ед. хр. 6, лл. 43, 56). 20 февраля 1906 г. Блок благодарил за это секретаря кружка Ф. Ф. Фидлера (Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог. Вып. I, с. 385).

11

‹6 апреля 1909 г. Петербург›

Глубокоуважаемый и дорогой Александр Александрович.

Дважды заходил к Вам этою весною и ни разу не заставал Вас. А повидаться с Вами очень бы хотелось. Между прочим, мне хотелось бы получить от Вас по примеру прежних лет дружеское указание адресов, по которым мне следовало бы разослать «Черную Венеру», в том числе Макса Волошина, Бориса Садовского, Корнея Чуковского, журнала «В мире искусств» и других газет и журналов, как Вы обыкновенно делали это прежде. Пожалуйста, не откажите в этой маленькой просьбе моей. Спешу Вас также уведомить, что на ближайшем собрании Кружка Случевского будет происходить избрание председателя кружка взамен отказавшегося Черниговца-Вишневского [1], и поэтому следовало бы сговориться, а Вам явиться и подать свой голос. Мне кажется, что при избрании Сологуба, Кружок получил бы несколько иную физиономию, что устранило бы все препятствия для Вас быть действительным, а не номинальным только его членом [2]. Мы с Вами очень давно не видались, а повидаться бы хотелось. К сожалению, у меня бывают свободны, кроме праздников, лишь утренние часы [3], в которые Вы куда-то исчезаете. Жму крепко руку

Ал. Кондратьев



БЛОК
Фотография, 1916 г., Петербург
Литературный музей, Москва

Пет‹роградская› стор. Бармалеева 20, кв. 10.
Получили ли Вы мою книжку?

Датируется по почт. шт.

[1] Заседание кружка «Вечера Случевского», посвященное избранию нового председателя, было назначено на 18 апреля 1909 г. Федор Владимирович *Черниговец-Вишневский* (1838—1916) — поэт и переводчик. 19 марта 1909 г. он отказался от звания председателя кружка (ЦГАЛИ, ф. 512, оп. 3, ед. хр. 8, л. 36).

[2] Блок ни разу не посетил заседаний кружка, о чем Кондратьев сообщил И. И. Ясинскому в недатированном письме 1910-х годов (ГПБ, ф. 901, оп. 3, ед. хр. 391, л. 3). Ср. в письме Кондратьева к В. В. Уманову-Каплуновскому от 22 марта 1912 г.: «Некоторые лица, числящиеся у нас членами, как известно, до сих пор не заявляли о своем желании быть ими. Блок например, хотя его заочно (вместе с другими) и избрали (не справясь даже о его [желании]) просил меня повесток ему не присылать» (ГПБ, ф. 248, ед. хр. 343).

[3] С 1908 г. Кондратьев служил в канцелярии Государственной думы.

12

‹10—11 апреля 1909 г. Петербург›

Дорогой Александр Александрович.

Счастливого Вам пути! Любовь Дмитриевне мой сердечный привет и лучшие пожелания. Кланяйтесь от меня сафирно-голубому небу, золотистому морю и солнечному воздуху, прозрачно зеленой прибрежной волне.

Спуститесь до Неаполя. . . Он и Венеция единственные крупные города, сохранившие в Италии свою физиономию. Флоренция буржуазно приличная с артистическими наклонностями пожилая дама [1] (на манер Поликсены Соловьевой, если бы та побывала несколько раз замужем).

Буду весьма рад, если письмо мое Вас застанет. Быть может, Вы исполните тогда мою просьбу. Вы, наверно, будете в больших городах слоняться от нечего делать по табачным магазинам, покупать скверные spagnoletti (или что-то вроде этого «из лучшего македонского табаку»), а также открытки. И если Вам попадется снятая на carte postale Афродита Капуанская или Венера Урания или Леда, *стоя* прижимающая к себе взлетевшего к ней куда следует лебедя, Вы таковую открытку, пожалуйста, не медля, приобретите и отошлите мне. Очень обяжете. В коллекции не хватает. Посылаю несколько марок, вроде как бы в частичное возмещение имеющего для Вас получиться

убытка. . . Кто теперь пишет критические статьи в Зол‹отом› Руне ? Последнего мне больше не высылают. Не знаю, кто мне постарался там удружить. Вячеслав Иванов или Чулков?

Счастливого пути! Сердечно Вас любящий Ал. Кондратьев. Мой адрес до конца мая: Пет‹роградская› ст. Бармалеева д. 20, кв. 10. После этого — СПб. Шпалерная Таврический дворец Канцелярия Государственной Думы. I отдел. пом. делопроизводителя А. Ал-чу Кондратьеву (имя и отчество необходимо, в виду наличия второго Кондратьева, однофамильца).

[1] Отношение Блока к современному облику Флоренции (отразившееся в его стихотворении «Умри, Флоренция, Иуда. . .») оказалось еще более отрицательным, чем у Кондратьева. Неординарность такой оценки видна из отзыва критика: «Кто живал в Флоренции, тот, вероятно, с удивлением прочтет посвященные ей стихи Блока. Та наружная суета и налет современности, которые столь мало характерны и случайны для Флоренции, так мало заслоняют ее святую прелесть, убили последнюю в глазах Блока» (А. Дерман. Об Александре Блоке. — «Русская мысль», 1913, № 7, отд. 2, с. 61—62).

13

15 ноября 1911 ‹Петербург›. Сергиевская 61, кв. 26

Дорогой Александр Александрович.

Большое спасибо за книгу [1]. Получив ее, не мог оторваться от ее страниц, пока не кончил. Много нового, интересного, такого, что мне чрезвычайно понравилось. Вы первый из поэтов России, который говорит о татарском в ней.

Сердечно желаю Вам новой, вполне заслуженной славы. Прошу передать почтительный привет мой Любовь Дмитриевне. Вам — крепко, крепко жму руку Ал. Кондратьев.

[1] «Ночные часы».

14

18 апреля 1912 ‹Петербург›.

Дорогой Александр Александрович,

сердечно благодарю Вас за присланные вчера две книги Ваших стихов [1]. Они очень меня обрадовали не только как произведение искусства, но и как лестное для меня доказательство доброго Вашего внимания ко мне и неизменного расположения.

А таким отношением со стороны товарищей по перу я не избалован.

Искренно, от всей души желаю, чтобы книги эти способствовали приумножению славы Вашей и не были бы последними Вашими книгами.

Желал бы, как и в прошлом году, Вас повидать перед летним Вашим отъездом в деревню, не отнимая при этом у Вас времени более чем на 10 минут. Был бы счастлив, если бы Вы сочли возможным навестить меня в один из вечеров и вспомнить вместе старые годы, когда мы оба вступали в литературу, из которой жестокая жизнь все больше и больше меня вытесняет.

Жму крепко Вашу руку. Ваш Александр Кондратьев.

Сергиевская 61, кв. 26.

[1] По-видимому, «Снежная ночь» и «Нечаянная радость».

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ 5

СЛОВО О БЛОКЕ
С. С. Наровчатов 9

ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ
Е. Ф. Книпович 16

СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

НАСЛЕДИЕ БЛОКА
Статья Л. И. Тимофеева 47

К ВОПРОСУ О ТВОРЧЕСКОМ МЕТОДЕ БЛОКА
Статья Г. А. Гуковского 63

МОТИВЫ «ВОЗМЕЗДИЯ» И «СТРАШНОГО МИРА» В ЛИРИКЕ БЛОКА
Статья Е. Б. Тагера 85

БЛОК И РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ
Статья З. Г. Минц 98

БЛОК И РУССКАЯ СОВЕТСКАЯ ПОЭЗИЯ
Статья М. Ф. Пьяных 173

НЕИЗВЕСТНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ АВТОГРАФЫ И НЕИЗДАННАЯ ПЕРЕПИСКА БЛОКА

ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ БЛОКА «ВЕСТНИК»
Сообщение М. И. Дикман 203

НЕИЗВЕСТНЫЕ АВТОГРАФЫ РАННИХ СТИХОТВОРЕНИЙ БЛОКА
Сообщение Н. В. Котрелева 222

ПИСЬМА ОТЦА К БЛОКУ (1892—1908)
Предисловие, публикация и комментарии Т. Н. Конопацкой 249

Приложения

I. БЛОК В ПЕРЕПИСКЕ БЛОКОВ И КАЧАЛОВЫХ
Публикация М. Б. Плюхановой 275

II. ВОСПОМИНАНИЯ Е. А. БОБРОВА и Е. С. ГЕРЦОГ ОБ А. Л. БЛОКЕ
Публикация Т. Н. Конопацкой 296

ПЕРЕПИСКА БЛОКА С С. М. СОЛОВЬЕВЫМ (1896—1915)

Вступительная статья, публикация и комментарии Н. В. Котрелева и А. В. Лаврова 308

Приложение

ПЕРЕПИСКА С М. С. СОЛОВЬЕВЫМ 407

ПЕРЕПИСКА БЛОКА С А. В. ГИППИУСОМ (1900—1915)

Предисловие, публикация и комментарии В. В. Бузник, Л. К. Долгополова и В. А. Шошина 414

ПИСЬМА П. П. ПЕРЦОВА К БЛОКУ (1902—1908)

Предисловие, публикация и комментарии И. И. Аброскиной 458

ПЕРЕПИСКА БЛОКА С В. Я. БРЮСОВЫМ (1903—1919)

Вступительная статья З. Г. Минц и Ю. П. Благоволиной, публикация и комментарии Ю. П. Благоволиной 466

Приложение

ПИСЬМА БЛОКА К М. Ф. ЛИКИАРДОПУЛО 525

ПЕРЕПИСКА БЛОКА С С. А. СОКОЛОВЫМ (1903—1910)

Предисловие, публикация и комментарии К. Н. Суворовой 527

ПИСЬМА А. А. КОНДРАТЬЕВА К БЛОКУ (1903—1912)

Предисловие, публикация и комментарии Р. Д. Тименчика 552

Литературное наследство

Том 92

АЛЕКСАНДР БЛОК.
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Книга первая

Утверждено к печати
Институтом мировой литературы им. А. М. Горького
Академии наук СССР

Редакторы издательства
Е. В. Белова, Г. А. Гудимова
Художественный редактор *Н. Н. Власик*
Технический редактор *Л. Н. Золотухина*
Корректоры *О. В. Лаврова, Е. В. Шевченко*

ИБ № 18022

Сдано в набор 06.08.80
Подписано к печати 21.11.80
А-01951. Формат 70×108¹/₁₆
Бумага типографская № 1
Гарнитура обыкновенная
Печать высокая
Усл. печ. л. 49,7. Уч.-изд. л. 54,8
Тираж 30 000 экз. Тип. зак. 1690
Цена 7 р. 10 к.

Издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90
Ордена Трудового Красного Знамени
1-я типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

Книги издательства «Наука» можно предварительно заказать в магазинах Центральной конторы «Академкнига», в местных магазинах книготоргов или потребительской кооперации.

Для получения книг почтой заказы направлять по адресу: 117192 Москва В-192. Мичуринский проспект, 12, магазин «Книга — почтой» Центральной конторы «Академкнига»; 197110 Ленинград П-110. Петрозаводская ул., 7, магазин «Книга — почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига» или в ближайший магазин «Академкнига», имеющий отдел «Книга — почтой».

480091 Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97 («Книга — почтой»);
370005 Баку, ул. Джапаридзе, 13;
320005 Днепропетровск, проспект Гагарина, 24 («Книга — почтой»);
734001 Душанбе, проспект Ленина, 95 («Книга—почтой»);
335009 Ереван, ул. Туманяна, 31;
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289;
252030 Киев, ул. Ленина, 42;
252030 Киев, ул. Пирогова, 2;
252142 Киев, проспект Вернадского, 79;
252030 Киев, ул. Пирогова, 4 («Книга — почтой»);
277001 Кишинев, ул. Пирогова, 28 («Книга — почтой»);
343900 Краматорск Донецкой обл., ул. Марата, 1;
660049 Красноярск, проспект Мира, 84;
443002 Куйбышев, проспект Ленина, 2 («Книга — почтой»);
192104 Ленинград, Д-120, Литейный проспект, 57;
199164 Ленинград, Таможенный пер., 2;
196034 Ленинград, В/О, 9 линия, 16;
220012 Минск, Ленинский проспект, 72 («Книга—почтой»);
103009 Москва, ул. Горького, 8;
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7;
630076 Новосибирск, Красный проспект, 51;
630090 Новосибирск, Академгородок, Морской проспект, 22 («Книга—почтой»);
142292 Пущино Московской обл., МР «В», 1;
620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»);
700029 Ташкент, ул. Ленина, 73;
700100 Ташкент, ул. Шота Руставели, 43;
700187 Ташкент, ул. Дружбы народов, 6 («Книга — почтой»);
634050 Томск, наб. реки Ушайки, 18;
450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»);
450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49;
720001 Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42 («Книга — почтой»);
310078 Харьков, ул. Чернышевского, 87 («Книга — почтой»).

ГДЗК.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЛАНЕТА»

Цена 10 к.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»